This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

**Правила использовапия**

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

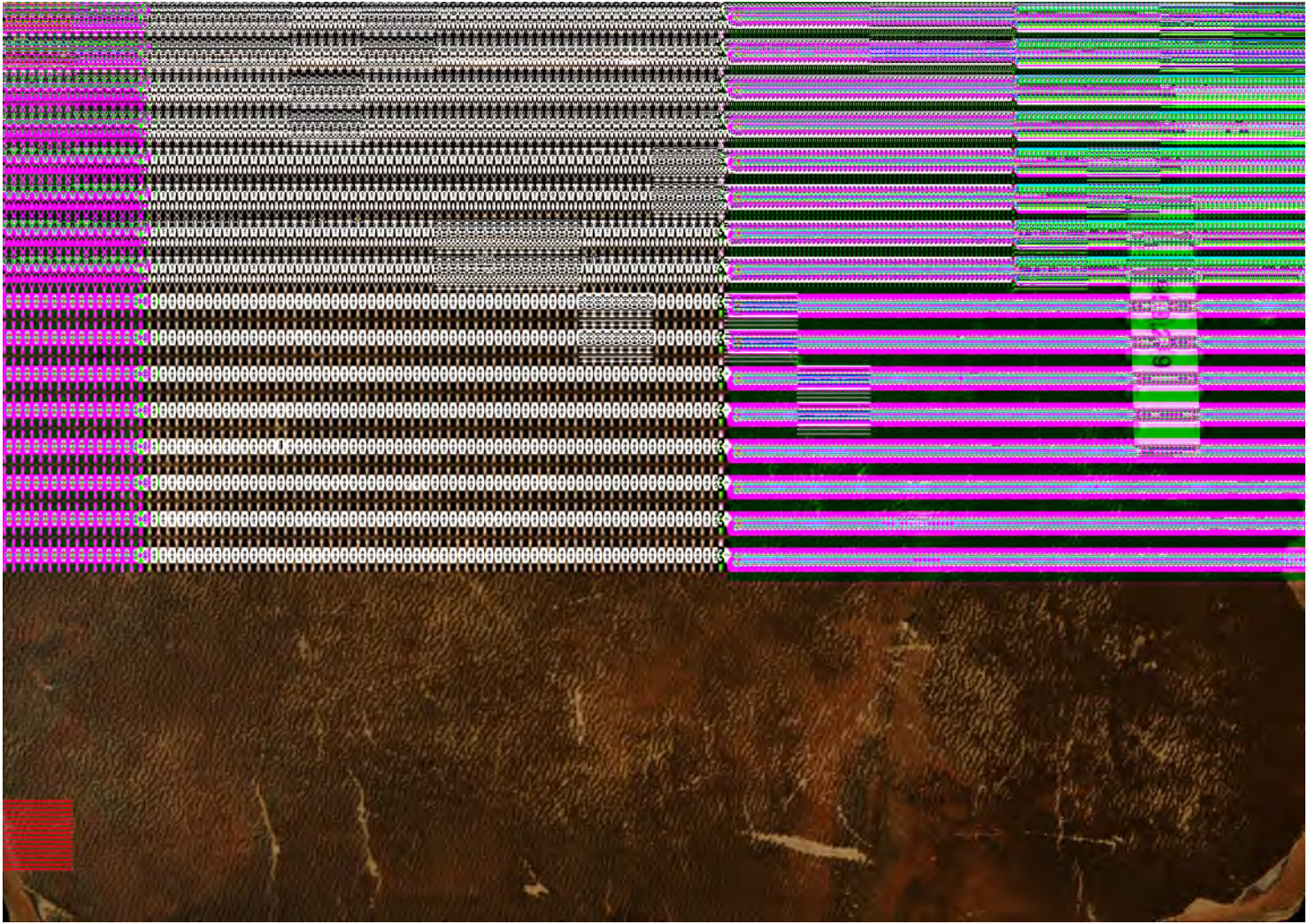
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

**О программе Поиск кпиг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



891.78
C51
A
V.5-8.

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

# Ант. П. ЧЕХОВА.

**ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ**

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

## ТОМЪ ПЯТЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Враги.—Ксшмаръ.—Святою ночью.—Счастье.—Тифъ.—Ванька.—Свирѣль.—Перекати-поле.—Задача.—Степь.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
**Изданіе А. Ф. МАРКСА.**
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

# ВРАГИ.

Въ десятомъ часу темнаго сентябрьскаго вечера у земскаго доктора Кирилова скончался отъ дифтерита его единственный сынъ, шестилѣтній Андрей. Когда докторша опустилась на колѣни передъ кроваткой умершаго ребенка и ею овладѣлъ первый приступъ отчаянія, въ передней рѣзко прозвучалъ звонокъ.

По случаю дифтерита вся прислуга еще съ утра была выслана изъ дому. Кириловъ, какъ былъ, безъ сюртука, въ разстегнутой жилеткѣ, не вытирая мокраго лица и рукъ, обожженныхъ карболкой, пошелъ самъ отворять дверь. Въ передней было темно, и въ человѣкѣ, который вошелъ, можно было различить только средній ростъ, бѣлое кашнэ и большое, чрезвычайно блѣдное лицо, такое блѣдное, что, казалось, отъ появленія этого лица въ передней стало свѣтлѣе...

— Докторъ у себя?—быстро спросилъ вошедшій.

— Я дома,—отвѣтилъ Кириловъ.—Что вамъ угодно?

— А, это вы? Очень радъ! — обрадовался вошедшій и сталъ искать въ потемкахъ руку доктора, нашелъ ее и крѣпко стиснулъ въ своихъ рукахъ.—Очень... очень радъ! Мы [illegible] вами знакомы!.. Я—Абогинъ... имѣлъ удовольствіе видѣть васъ лѣтомъ у Гнучева. Очень радъ, что засталъ... Бога ради, не откажите поѣхать сейчасъ со мной... У меня опасно заболѣла жена... И экипажъ со мной...

По голосу и движеніямъ вошедшаго замѣтно было, что онъ находился въ сильно возбужденномъ состояніи. Точно испуганный пожаромъ или бѣшеной собакой, онъ едва



185958

сдерживалъ свое частое дыханіе и говорилъ быстро, дрожащимъ голосомъ, и что-то неподдѣльно-искреннее, дѣтски-малодушное звучало въ его рѣчи. Какъ всѣ испуганные и ошеломленные, онъ говорилъ короткими, отрывистыми фразами и произносилъ много лишнихъ, совсѣмъ не идущихъ къ дѣлу словъ.

— Я боялся не застать васъ,—продолжалъ онъ.—Пока ѣхалъ къ вамъ, изстрадался душой... Одѣвайтесь и ѣдемте, ради Бога... Произошло это такимъ образомъ. Пріѣзжаетъ ко мнѣ Папчинскій, Александръ Семеновичъ, котораго вы знаете... Поговорили мы... потомъ сѣли чай пить; вдругъ жена вскрикиваетъ, хватаетъ себя за сердце и падаетъ на спинку стула. Мы отнесли ее на кровать и... я ужъ и нашатырнымъ спиртомъ теръ ей виски, и водой брызгалъ... лежитъ, какъ мертвая... Боюсь, что это аневризма... Поѣдемте... У нея и отецъ умеръ отъ аневризмы...

Кириловъ слушалъ и молчалъ, какъ будто не понималъ русской рѣчи.

Когда Абогинъ еще разъ упомянулъ про Папчинскаго и про отца своей жены и еще разъ началъ искать въ потемкахъ руку, докторъ встряхнулъ головой и сказалъ, апатично растягивая каждое слово:

— Извините, я не могу ѣхать... Минутъ пять назадъ у меня... умеръ сынъ...

— Неужели? — прошепталъ Абогинъ, дѣлая шагъ назадъ.—Боже мой, въ какой недобрый часъ я попалъ! Удивительно несчастный день... удивительно! Какое совпаденіе... и какъ нарочно!

Абогинъ взялся за ручку двери и въ раздумьи поникъ головой. Онъ видимо колебался и не зналъ, что дѣлать: уходить, или продолжать просить доктора.

— Послушайте,—горячо сказалъ онъ, хватая Кирилова за рукавъ:—я отлично понимаю ваше положеніе! Видитъ Богъ, мнѣ стыдно, что я въ такія минуты пытаюсь овладѣть вашимъ вниманіемъ, но что же мнѣ дѣлать? Судите сами, къ кому я поѣду? Вѣдь, кромѣ васъ, здѣсь нѣтъ другого врача. Поѣдемте ради Бога! Не за себя я прошу... Не я боленъ!

Наступило молчаніе. Кириловъ повернулся спиной къ Абогину, постоялъ и медленно вышелъ изъ передней въ залу. Судя по его невѣрной, машинальной походкѣ, по тому

вниманію, съ какимъ онъ въ залѣ поправилъ на негорѣвшей лампѣ мохнатый абажуръ и заглянулъ въ толстую книгу, лежавшую на столѣ, въ эти минуты у него не было ни намѣреній, ни желаній, ни о чемъ онъ не думалъ и, вѣроятно, уже не помнилъ, что у него въ передней стоитъ чужой человѣкъ. Сумерки и тишина залы, повидимому, усилили его ошалѣлость. Идя изъ залы къ себѣ въ кабинетъ, онъ поднималъ правую ногу выше, чѣмъ слѣдуетъ, искалъ руками дверныхъ косяковъ, и въ это время во всей его фигурѣ чувствовалось какое-то недоумѣніе, точно онъ попалъ въ чужую квартиру, или же первый разъ въ жизни напился пьянъ и теперь съ недоумѣніемъ отдавался своему новому ощущенію. По одной стѣнѣ кабинета, черезъ шкапы съ книгами, тянулась широкая полоса свѣта; вмѣстѣ съ тяжелымъ, спертымъ запахомъ карболки и эфира, этотъ свѣтъ шелъ изъ слегка отворенной двери, ведущей изъ кабинета въ спальню... Докторъ опустился въ кресло передъ столомъ; минуту онъ сонливо глядѣлъ на свои освѣщенныя книги, потомъ поднялся и пошелъ въ спальню.

Здѣсь, въ спальнѣ, царилъ мертвый покой. Все до послѣдней мелочи краснорѣчиво говорило о недавно пережитой бурѣ, объ утомленіи, и все отдыхало. Свѣчка, стоявшая на табуретѣ въ тѣсной толпѣ стклянокъ, коробокъ и баночекъ, и большая лампа на комодѣ ярко освѣщали всю комнату. На кровати, у самаго окна лежалъ мальчикъ съ открытыми глазами и удивленнымъ выраженіемъ лица. Онъ не двигался, но открытые глаза его, казалось, съ каждымъ мгновеніемъ все болѣе темнѣли и уходили во внутрь черепа. Положивъ руки на его туловище и спрятавъ лицо въ складки постели, передъ кроватью стояла на колѣняхъ мать. Подобно мальчику, она не шевелилась, но сколько живого движенія чувствовалось въ изгибахъ ея тѣла и въ рукахъ! Припадала она къ кровати всѣмъ своимъ существомъ, съ силой и жадностью, какъ будто боялась нарушить покойную и удобную позу, которую, наконецъ, нашла для своего утомленнаго тѣла. Одѣяла, тряпки, тазы, лужи на полу, разбросанныя повсюду кисточки и ложки, бѣлая бутыль съ известковой водой, самый воздухъ, удушливый и тяжелый—все замерло и казалось погруженнымъ въ покой.

Докторъ остановился около жены, засунулъ руки въ кар-

маны брюкъ и, склонивъ голову на бокъ, устремилъ взглядъ на сына. Лицо его выражало равнодушіе, только по росинкамъ, блестѣвшимъ на его бородѣ, и замѣтно было, что онъ недавно плакалъ.

Тотъ отталкивающій ужасъ, о которомъ думаютъ, когда говорятъ о смерти, отсутствовалъ въ спальнѣ. Во всеобщемъ столбнякѣ, въ позѣ матери, въ равнодушіи докторскаго лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человѣческаго горя, которую не скоро еще научатся понимать и описывать и которую умѣетъ передавать, кажется, одна только музыка. Красота чувствовалась и въ угрюмой тишинѣ. Кириловъ и его жена молчали, не плакали, какъ будто, кромѣ тяжести потери, сознавали также и весь лиризмъ своего положенія: какъ когда-то, въ свое время, прошла ихъ молодость, такъ теперь, вмѣстѣ съ этимъ мальчикомъ, уходило навсегда въ вѣчность и ихъ право имѣть дѣтей! Доктору 44 года, онъ уже сѣдъ и выглядитъ старикомъ; его поблекшей и больной женѣ 35 лѣтъ. Андрей былъ не только единственнымъ, но и послѣднимъ.

Въ противоположность своей женѣ, докторъ принадлежалъ къ числу натуръ, которыя во время душевной боли чувствуютъ потребность въ движеніи. Постоявъ около жены минутъ пять, онъ, высоко поднимая правую ногу, изъ спальни прошелъ въ маленькую комнату, наполовину занятую большимъ, широкимъ диваномъ; отсюда прошелъ въ кухню. Поблуждавъ около печки и кухаркиной постели, онъ нагнулся и сквозь маленькую дверцу вышелъ въ переднюю.

Тутъ онъ опять увидѣлъ бѣлое кашнэ и блѣдное лицо.

— Наконецъ-то! — вздохнулъ Абогинъ, берясь за ручку двери.—Ѣдемте, пожалуйста!

Докторъ вздрогнулъ, поглядѣлъ на него и вспомнилъ...

— Послушайте, вѣдь я уже сказалъ вамъ, что мнѣ нельзя ѣхать!—сказалъ онъ, оживляясь.—Какъ странно!

— Докторъ, я не истуканъ, отлично понимаю ваше положеніе... сочувствую вамъ! — сказалъ умоляющимъ голосомъ Абогинъ, прикладывая къ своему кашнэ руку. — Но вѣдь я не за себя прошу... Умираетъ моя жена! Если бы вы слышали этотъ крикъ, видѣли ея лицо, то поняли бы мою настойчивость! Боже мой, а ужъ я думалъ, что вы пошли одѣваться! Докторъ, время дорого! Ѣдемте, прошу васъ!

— Ѣхать я не могу!—сказалъ съ разстановкой Кириловъ и шагнулъ въ залу.

Абогинъ пошелъ за нимъ и схватилъ его за рукавъ.

— У васъ горе, я понимаю, но вѣдь приглашаю я васъ не зубы лѣчить, не въ эксперты, а спасать жизнь человѣческую!—продолжалъ онъ умолять, какъ нищій.—Эта жизнь выше всякаго личнаго горя! Ну, я прошу мужества, подвига! Во имя человѣколюбія!

— Человѣколюбіе—палка о двухъ концахъ,—раздраженно сказалъ Кириловъ.—Во имя того же человѣколюбія я прошу васъ не увозить меня. И какъ странно, ей-Богу! Я едва на ногахъ стою, а вы человѣколюбіемъ пугаете! Никуда я сейчасъ не годенъ... не поѣду ни за что, да и на кого я жену оставлю? Нѣтъ, нѣтъ...

Кириловъ замахалъ кистями рукъ и попятился назадъ.

— И... и не просите! — продолжалъ онъ испуганно. — Извините меня... По XIII тому законовъ я обязанъ ѣхать, и вы имѣете право тащить меня за шиворотъ... Извольте, тащите, но... я не годенъ... Даже говорить не въ состояніи... Извините...

— Напрасно, докторъ, вы говорите со мной такимъ тономъ!—сказалъ Абогинъ, опять беря доктора за рукавъ.— Богъ съ нимъ, съ XIII томомъ! Насиловать вашей воли я не имѣю никакого права. Хотите—поѣзжайте, не хотите— Богъ съ вами, но я не къ волѣ вашей обращаюсь, а къ чувству. Умираетъ молодая женщина! Сейчасъ, вы говорите, у васъ умеръ сынъ, кому же, какъ не вамъ, понять мой ужасъ?

Голосъ Абогина дрожалъ отъ волненія; въ этой дрожи и въ тонѣ было гораздо больше убѣдительности, чѣмъ въ словахъ. Абогинъ былъ искрененъ, но замѣчательно, какія бы фразы онъ ни говорилъ, всѣ онѣ выходили у него ходульными, бездушными, неумѣстно цвѣтистыми и какъ будто даже оскорбляли и воздухъ докторской квартиры, и умирающую гдѣ-то женщину. Онъ и самъ это чувствовалъ, а потому, боясь быть непонятымъ, изо всѣхъ силъ старался придать своему голосу мягкость и нѣжность, чтобы взять если не словами, то хотя бы искренностью тона. Вообще фраза, какъ бы она ни была красива и глубока, дѣйствуетъ только на равнодушныхъ, но не всегда можетъ удовлетворить тѣхъ, кто счастливъ, или несчастливъ, потому-то выс-

нимъ выраженіемъ счастья, или несчастья является чаще всего безмолвіе; влюбленные понимаютъ другъ друга лучше, когда молчатъ, а горячая, страстная рѣчь, сказанная на могилѣ, трогаетъ только постороннихъ, вдовѣ же и дѣтямъ умершаго кажется она холодной и ничтожной.

Кириловъ стоялъ и молчалъ. Когда Абогинъ сказалъ еще нѣсколько фразъ о высокомъ призваніи врача, о самопожертвованіи и проч., докторъ спросилъ угрюмо:

— Далеко ѣхать?

— Что-то около 13—14 верстъ. У меня отличныя лошади, докторъ! Даю вамъ честное слово, что доставлю васъ туда и обратно въ одинъ часъ. Только одинъ часъ!

Послѣднія слова подѣйствовали на доктора сильнѣе, чѣмъ ссылки на человѣколюбіе или призваніе врача. Онъ подумалъ и сказалъ со вздохомъ:

— Хорошо, ѣдемте!

Онъ быстро, уже вѣрною походкой пошелъ къ своему кабинету и, немного погодя, вернулся въ длинномъ сюртукѣ. Мелко сѣменя возлѣ него и шаркая ногами, обрадованный Абогинъ помогъ надѣть ему пальто и вмѣстѣ съ нимъ вышелъ изъ дома.

На дворѣ было темно, но свѣтлѣе, чѣмъ въ передней. Въ темнотѣ уже ясно вырисовывалась высокая, сутуловатая фигура доктора съ длинной, узкой бородой и съ орлинымъ носомъ. У Абогина, кромѣ блѣднаго лица, теперь видна была его большая голова и маленькая, студенческая шапочка, едва прикрывавшая темя. Кашнэ бѣлѣло только спереди, позади же оно пряталось за длинными волосами.

— Вѣрьте, я сумѣю оцѣнить ваше великодушіе, — бормоталъ Абогинъ, подсаживая доктора въ коляску. — Мы живо домчимся. Ты же, Лука, голубчикъ, поѣзжай какъ можно скорѣе! Пожалуйста!

Кучеръ ѣхалъ быстро. Сначала тянулся рядъ невзрачныхъ построекъ, стоявшихъ вдоль больничнаго двора; всюду было темно, только въ глубинѣ двора, изъ чьего-то окна, сквозь палисадникъ, пробивался яркій свѣтъ, да три окна верхняго этажа больничнаго корпуса казались блѣднѣе воздуха. Затѣмъ коляска въѣхала въ густыя потемки; тутъ пахло грибной сыростью и слышался шопотъ деревьевъ; вороны, разбуженныя шумомъ колесъ, закопошились въ листвѣ и подняли тревожный жалобный крикъ, какъ будто

знали, что у доктора умеръ сынъ, а у Абогина больна жена. Но вотъ замелькали отдѣльныя деревья, кустарникъ; сверкнулъ угрюмо прудъ, на которомъ спали большія черныя тѣни—и коляска покатила по гладкой равнинѣ. Крикъ воронъ слышался уже глухо, далеко сзади и скоро совсѣмъ умолкъ.

Почти всю дорогу Кириловъ и Абогинъ молчали. Только разъ Абогинъ глубоко вздохнулъ и пробормоталъ:

— Мучительное состояніе! Никогда такъ не любишь близкихъ, какъ въ то время, когда рискуешь потерять ихъ.

И когда коляска тихо переѣзжала рѣку, Кириловъ вдругъ встрепенулся, точно его испугалъ плескъ воды, и задвигался.

— Послушайте, отпустите меня,—сказалъ онъ тоскливо.— Я къ вамъ потомъ пріѣду. Мнѣ бы только фельдшера къ женѣ послать. Вѣдь она одна!

Абогинъ молчалъ. Коляска, покачиваясь и стуча о камни, проѣхала песочный берегъ и покатила далѣе. Кириловъ заметался въ тоскѣ и поглядѣлъ вокругъ себя. Позади, сквозь скудный свѣтъ звѣздъ, видна была дорога и исчезавшія въ потемкахъ прибрежныя ивы. Направо лежала равнина, такая же ровная и безграничная, какъ небо; далеко на ней тамъ и сямъ, вѣроятно на торфяныхъ болотахъ, горѣли тусклые огоньки. Налѣво, параллельно дорогѣ, тянулся холмъ, кудрявый отъ мелкаго кустарника, а надъ холмомъ неподвижно стоялъ большой полумѣсяцъ, красный, слегка подернутый туманомъ и окруженный мелкими облачками, которыя, казалось, оглядывали его со всѣхъ сторонъ и стерегли, чтобы онъ не ушелъ.

Во всей природѣ чувствовалось что-то безнадежное, больное; земля, какъ падшая женщина, которая одна сидитъ въ темной комнатѣ и старается не думать о прошломъ, томилась воспоминаніями о веснѣ и лѣтѣ и апатично ожидала неизбѣжной зимы. Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась темной, безгранично-глубокой и холодной ямой, откуда не выбраться ни Кирилову, ни Абогину, ни красному полумѣсяцу...

Чѣмъ ближе къ цѣли была коляска, тѣмъ нетерпѣливѣе становился Абогинъ. Онъ двигался, вскакивалъ, вглядывался черезъ плечо кучера впередъ. А когда, наконецъ,

голяска остановилась у крыльца, красиво задрапированнаго полосатой холстиной, и когда онъ поглядѣлъ на освѣщенныя окна второго этажа, слышно было, какъ дрожало его дыханіе.

— Если что случится, то... я не переживу,—сказалъ онъ, входя съ докторомъ въ переднюю и въ волненіи потирая руки.—Но не слышно суматохи, значитъ, пока еще благополучно,—прибавилъ онъ, вслушиваясь въ тишину.

Въ передней не слышно было ни голосовъ, ни шаговъ, и весь домъ казался спавшимъ, несмотря на яркое освѣщеніе. Теперь ужъ докторъ и Абогинъ, бывшіе до сего времени въ потемкахъ, могли разглядѣть другъ друга. Докторъ былъ высокъ, сутуловатъ, одѣтъ неряшливо и лицо имѣлъ некрасивое. Что-то непріятно рѣзкое, неласковое и суровое выражали его толстыя, какъ у негра, губы, орлиный носъ и вялый, равнодушный взглядъ. Его нечесаная голова, впалые виски, преждевременныя сѣдины на длинной, узкой бородѣ, сквозь которую просвѣчивалъ подбородокъ, блѣдно-сѣрый цвѣтъ кожи и небрежныя, угловатыя манеры—все это своею черствостью наводило на мысль о пережитой нуждѣ, бездольѣ, объ утомленіи жизнью и людьми. Глядя на всю его сухую фигуру, не вѣрилось, чтобы у этого человѣка была жена, чтобы онъ могъ плакать о ребенкѣ. Абогинъ же изображалъ изъ себя нѣчто другое. Это былъ плотный, солидный блондинъ съ большой головой и крупными, но мягкими чертами лица, одѣтый изящно, по самой послѣдней модѣ. Въ его осанкѣ, въ плотно застегнутомъ сюртукѣ, въ гривѣ и въ лицѣ чувствовалось что-то благородное, львиное; ходилъ онъ держа прямо голову и выпятивъ впередъ грудь, говорилъ пріятнымъ баритономъ, и въ манерахъ, съ какими онъ снималъ свое кашнэ или поправлялъ волосы на головѣ, сквозило тонкое, почти женское изящество. Даже блѣдность и дѣтскій страхъ, съ какими онъ, раздѣваясь, поглядывалъ вверхъ на лѣстницу, не портили его осанки и не умаляли сытости, здоровья и апломба, какими дышала вся его фигура.

— Никого нѣтъ и ничего не слышно,—сказалъ онъ, идя по лѣстницѣ.—Суматохи нѣтъ. Дай-то Богъ!

Онъ провелъ доктора черезъ переднюю въ большую залу, гдѣ темнѣлъ черный рояль и висѣла люстра въ бѣломъ чехлѣ; отсюда оба они прошли въ маленькую, очень уют-

ную и красивую гостиную, полную пріятнаго розоваго полумрака.

— Ну, посидите тутъ, докторъ,—сказалъ Абогинъ:—а я... сейчасъ. Я пойду погляжу и предупрежу.

Кириловъ остался одинъ. Роскошь гостиной, пріятный полумракъ и само его присутствіе въ чужомъ, незнакомомъ домѣ, имѣвшее характеръ приключенія, повидимому, не трогали его. Онъ сидѣлъ въ креслѣ и разглядывалъ свои обожженныя карболкой руки. Только мелькомъ увидѣлъ онъ ярко-красный абажуръ, футляръ отъ віолончели, да, покосившись въ ту сторону, гдѣ тикали часы, онъ замѣтилъ чучело волка, такого же солиднаго и сытаго, какъ самъ Абогинъ.

Было тихо... Гдѣ-то далеко въ сосѣднихъ комнатахъ кто-то громко произнесъ звукъ «а!», прозвенѣла стеклянная дверь, вѣроятно шкапа, и опять все стихло... Подождавъ минутъ пять, Кириловъ пересталъ оглядывать свои руки и поднялъ глаза на ту дверь, за которой скрылся Абогинъ.

У порога этой двери стоялъ Абогинъ, но не тотъ, который вышелъ. Выраженіе сытости и тонкаго изящества исчезло на немъ, лицо его, и руки, и поза были исковерканы отвратительнымъ выраженіемъ не то ужаса, не то мучительной физической боли. Его носъ, губы, усы, всѣ черты двигались и, казалось, старались оторваться отъ лица, глаза же какъ будто смѣялись отъ боли...

Абогинъ тяжело и широко шагнулъ на середину гостиной, согнулся, простоналъ и потрясъ кулаками.

— Обманула!—крикнулъ онъ, сильно напирая на слогѣ *ну*.—Обманула! Ушла! Заболѣла и услала меня за докторомъ для того только, чтобы бѣжать съ этимъ шутомъ Папчинскимъ! Боже мой!

Абогинъ тяжело шагнулъ къ доктору, протянулъ къ его лицу свои бѣлые мягкіе кулаки и, потрясая ими, продолжалъ вопить:

— Ушла!! Обманула! Ну, къ чему же эта ложь?! Боже мой! Боже мой! Къ чему этотъ грязный, шулерскій фокусъ, эта дьявольская, змѣиная игра? Что я ей сдѣлалъ? Ушла!

Слезы брызнули у него изъ глазъ. Онъ перевернулся на одной ногѣ и зашагалъ по гостиной. Теперь въ своемъ короткомъ сюртукѣ, въ модныхъ, узкихъ брюкахъ, въ кото-

рыхъ ноги казались не по корпусу тонкими, со своей большой головой и гривой онъ чрезвычайно походилъ на льва. На равнодушномъ лицѣ доктора засвѣтилось любопытство. Онъ поднялся и оглядѣлъ Абогина.

— Позвольте, гдѣ же больная?—спросилъ онъ.

— Больная! Больная!—крикнулъ Абогинъ, смѣясь, плача и все еще потрясая кулаками.—Это не больная, а проклятая! Низость! Подлость, гаже чего не придумалъ бы, кажется, самъ сатана! Услала затѣмъ, чтобы бѣжать, бѣжать съ шутомъ, тупымъ клоуномъ, альфонсомъ! О, Боже, лучше бы она умерла! Я не вынесу! Не вынесу я!

Докторъ выпрямился. Его глаза замигали, налились слезами, узкая борода задвигалась направо и налѣво вмѣстѣ съ челюстью.

— Позвольте, какъ же это?—спросилъ онъ, съ любопытствомъ оглядываясь.—У меня умеръ ребенокъ, жена въ тоскѣ, одна на весь домъ... самъ я едва стою на ногахъ, три ночи не спалъ... и что же? Меня заставляютъ играть въ какой-то пошлой комедіи, играть роль бутафорской вещи! Не... не понимаю!

Абогинъ разжалъ одинъ кулакъ, швырнулъ на полъ скомканную записку и наступилъ на нее, какъ на насѣкомое, которое хочется раздавить.

— И я не видѣлъ... не понималъ!—говорилъ онъ сквозь сжатые зубы, потрясая около своего лица однимъ кулакомъ и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто ему наступили на мозоль.—Я не замѣчалъ, что онъ ѣздитъ каждый день, не замѣтилъ, что онъ сегодня пріѣхалъ въ каретѣ! Зачѣмъ въ каретѣ? И я не видѣлъ! Колпакъ!

— Не... не понимаю!—бормоталъ докторъ.—Вѣдь это что же такое! Вѣдь это глумленіе надъ личностью, издѣвательство надъ человѣческими страданіями! Это что-то невозможное... первый разъ въ жизни вижу!

Съ тупымъ удивленіемъ человѣка, который только-что сталъ понимать, что его тяжело оскорбили, докторъ пожалъ плечами, развелъ руками и, не зная, что говорить, что дѣлать, въ изнеможеніи опустился въ кресло.

— Ну, разлюбила, полюбила другого—Богъ съ тобой, но къ чему же обманъ, къ чему этотъ подлый, измѣнническій фортель?—говорилъ плачущимъ голосомъ Абогинъ.—Къ чему? И за что? Что я тебѣ сдѣлалъ? Послушайте,

докторъ,—горячо сказалъ онъ, подходя къ Кирилову.—Вы были невольнымъ свидѣтелемъ моего несчастья, и я не стану скрывать отъ васъ правду. Клянусь вамъ, что я любилъ эту женщину, любилъ набожно, какъ рабъ! Для нея я пожертвовалъ всѣмъ: поссорился съ родней, бросилъ службу и музыку, прощалъ ей то, чего не сумѣлъ бы простить матери, или сестрѣ... Ни разу я не поглядѣлъ на нее косо... не подавалъ никакого повода! За что же эта ложь? Я не требую любви, но зачѣмъ этотъ гнусный обманъ? Не любишь, такъ скажи прямо, честно, тѣмъ болѣе, что знаешь мои взгляды на этотъ счетъ...

Со слезами на глазахъ, дрожа всѣмъ тѣломъ, Абогинъ искренно изливалъ передъ докторомъ свою душу. Онъ говорилъ горячо, прижимая обѣ руки къ сердцу, разоблачалъ свои семейныя тайны безъ малѣйшаго колебанія и какъ будто даже радъ былъ, что, наконецъ, эти тайны вырвались наружу изъ его груди. Поговори онъ такимъ образомъ часъ, другой, вылей свою душу, и несомнѣнно ему стало бы легче. Кто знаетъ, выслушай его докторъ, посочувствуй ему дружески, быть-можетъ, онъ, какъ это часто случается, примирился бы со своимъ горемъ безъ протеста, не дѣлая ненужныхъ глупостей... Но случилось иначе. Пока Абогинъ говорилъ, оскорбленный докторъ замѣтно мѣнялся. Равнодушіе и удивленіе на его лицѣ мало-по-малу уступили мѣсто выраженію горькой обиды, негодованія и гнѣва. Черты лица его стали еще рѣзче, черствѣе и непріятнѣе. Когда Абогинъ поднесъ къ его глазамъ карточку молодой женщины съ красивымъ, но сухимъ и невыразительнымъ, какъ у монашенки, лицомъ, и спросилъ, можно ли, глядя на это лицо, допустить, что оно способно выражать ложь, докторъ вдругъ вскочилъ, сверкнулъ глазами и сказалъ, грубо отчеканивая каждое слово:

— Зачѣмъ вы все это говорите мнѣ? Не желаю я слушать! Не желаю!—крикнулъ онъ и стукнулъ кулакомъ по столу.—Не нужны мнѣ ваши пошлыя тайны, чортъ бы ихъ взялъ! Не смѣете вы говорить мнѣ эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорбленъ? Что я лакей, котораго до конца можно оскорблять? Да?

Абогинъ попятился отъ Кирилова и изумленно уставился на него.

— Зачѣмъ вы меня сюда привезли?—продолжалъ док-

торъ, тряся бородой.—Если вы съ жиру женитесь, съ жиру бѣситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чемъ тутъ я? Что у меня общаго съ вашими романами? Оставьте меня въ покоѣ! Упражняйтесь въ благородномъ кулачествѣ, рисуйтесь гуманными идеями, играйте (докторъ покосился на футляръ съ віолончелью)—играйте на контрабасахъ и тромбонахъ, жирѣйте, какъ каплуны, но не смѣйте глумиться надъ личностью! Не умѣете уважать ее, такъ хоть избавьте ее отъ вашего вниманія!

— Позвольте, что это все значитъ?—спросилъ Абогинъ, краснѣя.

— А то значитъ, что низко и подло играть такъ людьми! Я врачъ, вы считаете врачей и вообще рабочихъ, отъ которыхъ не пахнетъ духами и проституціей, своими лакеями и моветонами, ну, и считайте, но никто не далъ вамъ права дѣлать изъ человѣка, который страдаетъ, бутафорскую вещь!

— Какъ вы смѣете говорить мнѣ это?—спросилъ тихо Абогинъ, и его лицо опять запрыгало и на этотъ разъ уже ясно отъ гнѣва.

— Нѣтъ, какъ вы, зная, что у меня горе, смѣли привезти меня сюда выслушивать пошлости?—крикнулъ докторъ и опять стукнулъ кулакомъ по столу.—Кто вамъ далъ право такъ издѣваться надъ чужимъ горемъ?

— Вы съ ума сошли!—крикнулъ Абогинъ.—Не великодушно! Я самъ глубоко несчастливъ и... и...

— Несчастливъ,—презрительно ухмыльнулся докторъ.—Не трогайте этого слова, оно васъ не касается. Шалопаи, которые не находятъ денегъ подъ вексель, тоже называютъ себя несчастными. Каплунъ, котораго давитъ лишній жиръ, тоже несчастливъ. Ничтожные люди!

— Милостивый государь, вы забываетесь!—взвизгнулъ Абогинъ.—За такія слова... бьютъ! Понимаете?

Абогинъ торопливо полѣзъ въ боковой карманъ, вытащилъ оттуда бумажникъ и, доставъ двѣ бумажки, швырнулъ ихъ на столъ.

— Вотъ вамъ за вашъ визитъ!—сказалъ онъ, шевеля ноздрями.—Вамъ заплачено!

— Не смѣете вы предлагать мнѣ деньги!—крикнулъ докторъ и смахнулъ со стола на полъ бумажки.—За оскорбленіе деньгами не платятъ!

Абогинъ и докторъ стояли лицомъ къ лицу и въ гнѣвѣ

продолжали наносить другъ другу незаслуженныя оскорбленія. Кажется, никогда въ жизни, даже въ бреду они не сказали столько несправедливаго, жестокаго и нелѣпаго. Въ обоихъ сильно сказался эгоизмъ несчастныхъ. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менѣе, чѣмъ глупцы, способны понимать другъ друга. Не соединяетъ, а разъединяетъ людей несчастье, и даже тамъ, гдѣ, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, продѣлывается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чѣмъ въ средѣ сравнительно довольной.

— Извольте отправить меня домой!—крикнулъ докторъ, задыхаясь.

Абогинъ рѣзко позвонилъ. Когда на его зовъ никто не явился, онъ еще разъ позвонилъ и сердито швырнулъ колокольчикъ на полъ; тотъ глухо ударился о коверъ и издалъ жалобный, точно предсмертный стонъ. Явился лакей.

— Гдѣ вы попрятались, чортъ бы васъ взялъ?!—набросился на него хозяинъ, сжимая кулаки.—Гдѣ ты былъ сейчасъ? Пощелъ, скажи, чтобы этому господину подали коляску, а для меня вели заложить карету! Постой!—крикнулъ онъ, когда лакей повернулся уходить.—Завтра чтобъ ни одного предателя не оставалось въ домѣ! Всѣ вонъ! Нанимаю новыхъ! Гадины!

Въ ожиданіи экипажей Абогинъ и докторъ молчали. Къ первому уже вернулись и выраженіе сытости, и тонкое изящество. Онъ шагалъ по гостиной, изящно встряхивалъ головой и, очевидно, что-то замышлялъ. Гнѣвъ его еще не остылъ, но онъ старался показывать видъ, что не замѣчаетъ своего врага... Докторъ же стоялъ, держался одной рукой о край стола и глядѣлъ на Абогина съ тѣмъ глубокимъ, нѣсколько циничнымъ и некрасивымъ презрѣніемъ, съ какимъ умѣютъ глядѣть только горе и бездолье, когда видятъ передъ собой сытость и изящество.

Когда, немного погодя, докторъ сѣлъ въ коляску и поѣхалъ, глаза его все еще продолжали глядѣть презрительно. Было темно, гораздо темнѣе, чѣмъ часъ тому назадъ. Красный полумѣсяцъ уже ушелъ за холмъ, и сторожившія его тучи темными пятнами лежали около звѣздъ. Карета съ красными огнями застучала по дорогѣ и перегнала доктора. Это ѣхалъ Абогинъ протестовать, дѣлать глупости...

Всю дорогу докторъ думалъ не о женѣ, не объ Андреѣ,

а объ Абогинѣ и людяхъ, жившихъ въ домѣ, который онъ только-что оставилъ. Мысли его были несправедливы и нечеловѣчно жестоки. Осудилъ онъ и Абогина, и его жену, и Папчинскаго, и всѣхъ, живущихъ въ розовомъ полумракѣ и пахнущихъ духами, и всю дорогу ненавидѣлъ ихъ и презиралъ до боли въ сердцѣ. И въ умѣ его сложилось крѣпкое убѣжденіе объ этихъ людяхъ.

Пройдетъ время, пройдетъ и горе Кирилова, но это убѣжденіе, несправедливое, недостойное человѣческаго сердца, не пройдетъ и останется въ умѣ доктора до самой могилы.

# КОШМАРЪ.

Непремѣнный членъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствія Кунинъ, молодой человѣкъ, лѣтъ тридцати, вернувшись изъ Петербурга въ свое Борисово, послалъ первымъ дѣломъ верхового въ Синьково за тамошнимъ священникомъ, отцомъ Яковомъ Смирновымъ.

Часовъ черезъ пять отецъ Яковъ явился.

— Очень радъ познакомиться! — встрѣтилъ его въ передней Кунинъ. — Ужъ годъ, какъ живу и служу здѣсь, пора бы, кажется, быть знакомыми. Милости просимъ! Но, однако... какой вы молодой!—удивился Кунинъ.—Сколько вамъ лѣтъ?

— Двадцать восемь-съ... — проговорилъ отецъ Яковъ, слабо пожимая протянутую руку и, неизвѣстно отчего, краснѣя.

Кунинъ ввелъ гостя къ себѣ въ кабинетъ и принялся его разсматривать.

«Какое аляповатое, бабье лицо!»—подумалъ онъ.

Дѣйствительно, въ лицѣ отца Якова было очень много «бабьяго»: вздернутый носъ, ярко-красныя щеки и большіе, сѣро-голубые глаза съ жидкими, едва замѣтными бровями. Длинные, рыжіе волосы, сухіе и гладкіе, спускались на плечи прямыми палками. Усы еще только начинали формироваться въ настоящіе, мужскіе усы, а бородка принадлежала къ тому сорту никуда негодныхъ бородъ, который у семинаристовъ почему-то называется «скоктаніемъ»: рѣденькая, сильно просвѣчивающая; погладить и почесать ее гребнемъ нельзя, можно развѣ только пощипать... Вся

эта скудная растительность сидѣла неравномѣрно, кустиками, словно отецъ Яковъ, вздумавъ загримироваться священникомъ и начавъ приклеивать бороду, былъ прерванъ на половинѣ дѣла. На немъ была ряска, цвѣта жидкаго цикорнаго кофе, съ большими латками на обоихъ локтяхъ.

«Странный субъектъ...—подумалъ Кунинъ, глядя на его полы, обрызганныя грязью.—Приходитъ въ домъ первый разъ и не можетъ поприличнѣй одѣться».

— Садитесь, батюшка, — началъ онъ болѣе развязно, чѣмъ привѣтливо, придвигая къ столу кресло.—Садитесь же, прошу васъ!

Отецъ Яковъ кашлянулъ въ кулакъ, неловко опустился на край кресла и положилъ ладони на колѣни. Малорослый, узкогрудый, съ пѐтомъ и краской на лицѣ, онъ на первыхъ же порахъ произвелъ на Кунина самое непріятное впечатлѣніе. Ранѣе Кунинъ никакъ не могъ думать, что на Руси есть такіе несолидные и жалкіе на видъ священники, а въ позѣ отца Якова, въ этомъ держаніи ладоней на колѣняхъ и въ сидѣніи на краешкѣ, ему видѣлось отсутствіе достоинства и даже подхалимство.

— Я, батюшка, пригласилъ васъ по дѣлу... — началъ Кунинъ, откидываясь на спинку кресла. — На мою долю выпала пріятная обязанность помочь вамъ въ одномъ вашемъ полезномъ предпріятіи... Дѣло въ томъ, что, вернувшись изъ Петербурга, я нашелъ у себя на столѣ письмо отъ предводителя. Егоръ Дмитріевичъ предлагаетъ мнѣ взять подъ свое попечительство церковно-приходскую школу, которая открывается у васъ въ Синьковѣ. Я, батюшка, очень радъ, всей душой... Даже больше: я съ восторгомъ принимаю это предложеніе!

Кунинъ поднялся и заходилъ по кабинету.

— Конечно, и Егору Дмитріевичу и, вѣроятно, вамъ извѣстно, что большими средствами я не располагаю. Имѣніе мое заложено, и живу я исключительно только на жалованье непремѣннаго члена. Стало-быть, на большую помощь вы разсчитывать не можете, но что въ моихъ силахъ, то я все сдѣлаю... А когда, батюшка, думаете открыть школу?

— Когда будутъ деньги...—отвѣтилъ отецъ Яковъ.

— Теперь же вы располагаете какими-нибудь средствами?

— Почти никакими-съ... Мужики постановили на сходѣ платить ежегодно по тридцати копеекъ съ каждой мужской души, но вѣдь это только обѣщаніе! А на первое обзаведеніе нужно, по крайней мѣрѣ, рублей двѣсти...

— М-да... Къ сожалѣнію, у меня теперь нѣтъ этой суммы... — вздохнулъ Кунинъ.—Въ поѣздкѣ я весь истратился и... задолжалъ даже. Давайте общими силами придумаемъ что-нибудь.

Кунинъ сталъ вслухъ придумывать. Онъ высказывалъ свои соображенія и слѣдилъ за лицомъ отца Якова, ища на немъ одобренія или согласія. Но лицо это было безстрастно, неподвижно и ничего не выражало, кромѣ застѣнчивой робости и безпокойства. Глядя на него, можно было подумать, что Кунинъ говорилъ о такихъ мудреныхъ вещахъ, которыхъ отецъ Яковъ не понималъ, слушалъ только изъ деликатности и притомъ боялся, чтобы его не уличили въ непониманіи.

«Малый, какъ видно, не изъ очень умныхъ...—думалъ Кунинъ.—Не въ мѣру робокъ и глуповатъ».

Нѣсколько оживился и даже улыбнулся отецъ Яковъ только тогда, когда въ кабинетъ вошелъ лакей и внесъ на подносѣ два стакана чаю и сухарницу съ крендельками. Онъ взялъ свой стаканъ и тотчасъ же принялся пить.

— Не написать ли намъ преосвященному?—продолжалъ соображать вслухъ Кунинъ. — Вѣдь, собственно говоря, не земство, не мы, а высшія духовныя власти подняли вопросъ о церковно-приходскихъ школахъ. Онѣ должны, по-настоящему, и средства указать. Мнѣ помнится, я читалъ, что на этотъ счетъ даже была ассигнована сумма какая-то. Вамъ ничего неизвѣстно?

Отецъ Яковъ такъ погрузился въ чаепитіе, что не сразу отвѣтилъ на этотъ вопросъ. Онъ поднялъ на Кунина свои сѣро-голубые глаза, подумалъ и, точно вспомнивъ его вопросъ, отрицательно мотнулъ головой. По некрасивому лицу его отъ уха до уха разливалось выраженіе удовольствія и самаго обыденнаго, прозаическаго аппетита. Онъ пилъ и смаковалъ каждый глотокъ. Выпивъ все до послѣдней капли, онъ поставилъ свой стаканъ на столъ, потомъ взялъ назадъ этотъ стаканъ, оглядѣлъ его дно и опять поставилъ. Выраженіе удовольствія сползло съ лица... Далѣе Кунинъ видѣлъ, какъ его гость взялъ изъ сухарницы одинъ кренде-

лекъ, откусилъ отъ него кусочекъ, потомъ повертѣлъ въ рукахъ и быстро сунулъ его себѣ въ карманъ.

«Ну, ужъ это совсѣмъ не по-іерейски!—подумалъ Кунинъ, брезгливо пожимая плечами.—Что это, поповская жадность, или ребячество?»

Давъ гостю выпить еще одинъ стаканъ чаю и проводивъ его до передней, Кунинъ легъ на софу и весь отдался непріятному чувству, навѣянному на него посѣщеніемъ отца Якова.

«Какой странный, дикій человѣкъ!—думалъ онъ.—Грязенъ, неряха, грубъ, глупъ и, навѣрное, пьяница... Боже мой, и это священникъ, духовный отецъ! Это учитель народа! Воображаю, сколько ироніи должно быть въ голосѣ дьякона, возглашающаго ему передъ каждой обѣдней: «Благослови, владыко!» Хорошъ владыко! Владыко, не имѣющій ни капли достоинства, невоспитанный, прячущій сухари въ карманы, какъ школьникъ... Фи! Господи, въ какомъ мѣстѣ были глаза у архіерея, когда онъ посвящалъ этого человѣка? За кого они народъ считаютъ, если даютъ ему такихъ учителей? Тутъ нужны люди, которые...»

И Кунинъ задумался о томъ, кого должны изображать изъ себя русскіе священники...

«Будь, напримѣръ, я попомъ... Образованный и любящій свое дѣло попъ много можетъ сдѣлать... У меня давно бы уже была открыта школа. А проповѣдь? Если попъ искренъ и вдохновленъ любовью къ своему дѣлу, то какія чудныя, зажигательныя проповѣди онъ можетъ говорить!»

Кунинъ закрылъ глаза и сталъ мысленно слагать проповѣдь. Немного погодя, онъ сидѣлъ за столомъ и быстро записывалъ.

«Дамъ тому рыжему, пусть прочтетъ въ церкви...»—думалъ онъ.

Въ ближайшее воскресенье, утромъ, Кунинъ ѣхалъ въ Синьково покончить съ вопросомъ о школѣ и кстати познакомиться съ церковью, прихожаниномъ которой онъ считался. Несмотря на распутицу, утро было великолѣпное. Солнце ярко свѣтило и рѣзало своими лучами кое-гдѣ бѣлѣвшіе пласты залежавшагося снѣга. Снѣгъ на прощаньи съ землей переливалъ такими алмазами, что больно было глядѣть, а около него спѣшила зеленѣть молодая озимь. Грачи солидно носились надъ землей. Летитъ грачъ, опу-

стится къ землѣ и, прежде чѣмъ стать прочно на ноги, нѣсколько разъ подпрыгнетъ...

Деревянная церковь, къ которой подъѣхалъ Кунинъ, была ветха и сѣра; колонки у паперти, когда-то выкрашенныя въ бѣлую краску, теперь совершенно облупились и походили на двѣ некрасивыя оглобли. Образъ надъ дверью глядѣлъ сплошнымъ, темнымъ пятномъ. Но эта бѣдность тронула и умилила Кунина. Скромно опустивъ глаза, онъ вошелъ въ церковь и остановился у двери. Служба еще только началась. Старый, въ дугу согнувшійся дьячокъ глухимъ, неразборчивымъ теноромъ читалъ часы. Отецъ Яковъ, служившій безъ дьякона, ходилъ по церкви и кадилъ. Если бъ не смиреніе, какимъ проникся Кунинъ, входя въ нищую церковь, то при видѣ отца Якова онъ непремѣнно бы улыбнулся. На малоросломъ іереѣ была помятая и длинная-предлинная риза изъ какой-то потертой желтой матеріи. Нижній край ризы волочился по землѣ.

Церковь была не полна. Кунина, при взглядѣ на прихожанъ, поразило на первыхъ порахъ одно странное обстоятельство: онъ увидѣлъ только стариковъ и дѣтей... Гдѣ же рабочій возрастъ? Гдѣ юность и мужество? Но, постоявъ немного и вглядѣвшись попристальнѣй въ старческія лица, Кунинъ увидѣлъ, что молодыхъ онъ принялъ за старыхъ. Впрочемъ, этому маленькому оптическому обману онъ не придалъ особаго значенія.

Внутри церковь была такъ же ветха и сѣра, какъ и снаружи. На иконостасѣ и на бурыхъ стѣнахъ не было ни одного мѣстечка, котораго бы не закоптило и не исцарапало время. Оконъ было много, но общій колоритъ казался сѣрымъ, и поэтому въ церкви стояли сумерки.

«Кто чистъ душою, тому хорошо здѣсь молиться...—думалъ Кунинъ.—Какъ въ Римѣ у св. Петра поражаетъ величіе, такъ здѣсь трогаютъ эти смиреніе и простота».

Но молитвенное настроеніе его разсѣялось въ дымъ, когда отецъ Яковъ вошелъ въ алтарь и началъ обѣдню. По молодости лѣтъ, попавъ въ священники прямо съ семинарской скамьи, отецъ Яковъ не успѣлъ еще усвоить себѣ опредѣленную манеру служить. Читая, онъ какъ будто выбиралъ, на какомъ голосѣ ему остановиться, на высокомъ тенорѣ, или жидкомъ баскѣ; кланялся онъ неумѣло, ходилъ быстро, царскія врата открывалъ и закрывалъ по-

рывисто... Старый дьячокъ, очевидно больной и глухой, плохо слышалъ его возгласы, отчего не обходилось безъ маленькихъ недоразумѣній. Не успѣетъ отецъ Яковъ прочесть, что нужно, а ужъ дьячокъ поетъ свое, или же отецъ Яковъ давно уже кончилъ, а старикъ тянется ухомъ въ сторону алтаря, прислушивается и молчитъ, пока его не дернутъ за полу. У старика былъ глухой, болѣзненный голосъ, съ одышкой, дрожащій и шепелявый... Въ довершеніе неблаголѣпія, дьячку подтягивалъ очень маленькій мальчикъ, голова котораго едва виднѣлась изъ-за перилы клироса. Мальчикъ пѣлъ высокимъ визгливымъ дискантомъ и словно старался не попадать въ тонъ. Кунинъ постоялъ немного, послушалъ и вышелъ покурить. Онъ былъ уже разочарованъ и почти съ непріязнью глядѣлъ на сѣрую церковь.

— Жалуются на паденіе въ народѣ религіознаго чувства... — вздохнулъ онъ. — Еще бы! Они бы еще больше понасажали сюда такихъ поповъ!

Раза три потомъ входилъ Кунинъ въ церковь, и всякій разъ его сильно потягивало вонъ на свѣжій воздухъ. Дождавшись конца обѣдни, онъ отправился къ отцу Якову. Домъ священника снаружи ничѣмъ не отличался отъ крестьянскихъ избъ, только солома на крышѣ лежала ровнѣе, да на окнахъ бѣлѣли занавѣсочки. Отецъ Яковъ ввелъ Кунина въ маленькую, свѣтлую комнату съ глинянымъ поломъ и со стѣнами, оклеенными дешевыми обоями; несмотря на кое-какія потуги къ роскоши, въ родѣ фотографій въ рамочкахъ да часовъ съ прицѣпленными къ гирѣ ножницами, обстановка поражала своею скудостью. Глядя на мебель, можно было подумать, что отецъ Яковъ ходилъ по дворамъ и собиралъ ее по частямъ: въ одномъ мѣстѣ дали ему круглый столъ на трехъ ногахъ, въ другомъ — табуретъ, въ третьемъ — стулъ съ сильно загнутой назадъ спинкой, въ четвертомъ — стулъ съ прямой спинкой, но съ вдавленнымъ сидѣньемъ, а въ пятомъ — расщедрились и дали какое-то подобіе дивана съ плоской спинкой и съ рѣшетчатымъ сидѣньемъ. Это подобіе было выкрашено въ темно-красный цвѣтъ и сильно пахло краской. Кунинъ сначала хотѣлъ сѣсть на одинъ изъ стульевъ, но подумалъ и сѣлъ на табуретъ.

— Вы это первый разъ въ нашемъ храмѣ? — спросилъ

отецъ Яковъ, вѣшая свою шляпу на большой уродливый гвоздикъ.

— Да, въ первый. Вотъ что, батюшка... Прежде чѣмъ мы приступимъ къ дѣлу, угостите меня чаемъ, а то у меня вся душа высохла.

Отецъ Яковъ заморгалъ глазами, крякнулъ и пошелъ за перегородку. Послышалось шушуканье...

«Должно-быть, съ попадьей...—подумалъ Кунинъ.—Интересно бы поглядѣть, какая у этого рыжаго попадья...»

Немного погодя, отецъ Яковъ вышелъ изъ-за перегородки красный, потный и, силясь улыбнуться, сѣлъ противъ Кунина на край дивана.

— Сейчасъ поставятъ самоваръ,—сказалъ онъ, не глядя на своего гостя.

«Боже мой, они еще самовара не ставили! — ужаснулся про себя Кунинъ.—Изволь теперь ждать!»

— Я вамъ привезъ, — сказалъ онъ: — черновое письмо, которое я написалъ архіерею. Прочту послѣ чая... Можетъ-быть, вы найдете что-нибудь добавить...

— Хорошо-съ.

Наступило молчаніе. Отецъ Яковъ пугливо покосился на перегородку, поправилъ волосы и высморкался.

— Погода чудесная-съ...—сказалъ онъ.

— Да. Между прочимъ, интересную я вещь прочелъ вчера... Вольское земство постановило передать всѣ свои школы духовенству. Это характерно.

Кунинъ поднялся, зашагалъ по глиняному полу и началъ высказывать свои соображенія.

— Это ничего,—говорилъ онъ:—лишь бы только духовенство стояло на высотѣ своего призванія и ясно сознавало свои задачи. Къ моему несчастью, я знаю священниковъ, которые, по своему развитію и нравственнымъ качествамъ, не годятся въ военные писаря, а не то что въ священники. А вы согласитесь, плохой учитель принесетъ школѣ гораздо меньше вреда, чѣмъ плохой священникъ.

Кунинъ взглянулъ на отца Якова. Тотъ сидѣлъ согнувшись, о чемъ-то усердно думалъ и, повидимому, не слушалъ гостя.

— Яша, поди-ка сюда! — послышался женскій голосъ изъ-за перегородки.

Отецъ Яковъ встрепенулся и пошелъ за перегородку. Опять началось шушуканье.

Кунина защемила тоска по чаю.

«Нѣтъ, не дождусь я тутъ чаю! — подумалъ онъ, глядя на часы. — Да кажется, тутъ я не совсѣмъ желанный гость. Хозяинъ не соблаговолилъ со мной и одного слова сказать, а только сидитъ да глазами хлопаетъ».

Кунинъ взялся за шляпу, дождался отца Якова и простился съ нимъ.

— Даромъ только утро пропало! — злился онъ дорогой. — Бревно! Пень! Школой онъ такъ же интересуется, какъ я прошлогоднимъ снѣгомъ. Нѣтъ, не сварю я съ нимъ каши! Ничего у насъ съ нимъ не выйдетъ! Если бы предводитель зналъ, какой здѣсь попъ, то не спѣшилъ бы хлопотать о школѣ. Надо сперва о хорошемъ попѣ позаботиться, а потомъ ужъ о школѣ!

Кунинъ теперь почти ненавидѣлъ отца Якова. Этотъ человѣкъ, его жалкая, карикатурная фигура, въ длинной, помятой ризѣ, его бабье лицо, манера служить, образъ жизни и канцелярская, застѣнчивая почтительность оскорбляли тотъ небольшой кусочекъ религіознаго чувства, который оставался еще въ груди Кунина и тихо теплился на ряду съ другими нянюшкиными сказками. А холодность и невниманіе, съ которыми онъ встрѣтилъ искреннее, горячее участіе Кунина въ его же собственномъ дѣлѣ, было трудно вынести самолюбію...

Вечеромъ того же дня Кунинъ долго ходилъ по комнатамъ и думалъ, потомъ рѣшительно сѣлъ за столъ и написалъ архіерею письмо. Попросивъ денегъ для школы и благословенія, онъ, между прочимъ, искренно, по-сыновьи, изложилъ свое мнѣніе о синьковскомъ священникѣ. «Онъ молодъ, — написалъ онъ: — недостаточно развитъ, кажется, ведетъ нетрезвую жизнь и вообще не удовлетворяетъ тѣмъ требованіямъ, которыя вѣками сложились у русскаго народа по отношенію къ его пастырямъ». Написавъ это письмо, Кунинъ легко вздохнулъ и легъ спать съ сознаніемъ, что онъ сдѣлалъ доброе дѣло.

Въ понедѣльникъ утромъ, когда онъ еще лежалъ въ постели, ему доложили о приходѣ отца Якова. Вставать ему не хотѣлось, и онъ велѣлъ сказать, что его нѣтъ дома. Во вторникъ уѣхалъ онъ на съѣздъ и, вернувшись въ субботу,

узналъ отъ прислуги, что безъ него ежедневно приходилъ отецъ Яковъ.

«Какъ, однако, ему мои крендельки понравились!» — подумалъ Кунинъ.

Въ воскресенье, передъ вечеромъ, пришелъ отецъ Яковъ. На этотъ разъ не только полы, но даже и шляпа его была обрызгана грязью. Какъ и въ первое свое посѣщеніе, онъ былъ красенъ и потенъ, сѣлъ, какъ и тогда, на краешекъ кресла. Кунинъ порѣшилъ не начинать разговора о школѣ, не метать бисера.

— Я вамъ, Павелъ Михайловичъ, списочекъ учебныхъ пособій принесъ... — началъ отецъ Яковъ.

— Благодарю.

Но по всему видно было, что отецъ Яковъ не изъ-за списочка пришелъ. Вся его фигура выражала сильное смущеніе, но въ то же время на лицѣ была написана рѣшимость, какъ у человѣка, внезапно озареннаго идеей. Онъ порывался сказать что-то важное, крайне нужное и силился теперь побороть свою робость.

«Что же онъ молчитъ? — злился Кунинъ. — Разсѣлся тутъ! Мнѣ вѣдь некогда возиться съ нимъ!»

Чтобы хоть чѣмъ-нибудь сгладить неловкость своего молчанія и скрыть борьбу, происходившую въ немъ, священникъ началъ принужденно улыбаться, и эта улыбка, долгая, вымученная сквозь потъ и краску лица, не вязавшаяся съ неподвижнымъ взглядомъ сѣро-голубыхъ глазъ, заставила Кунина отвернуться. Ему стало противно.

— Извините, батюшка, мнѣ нужно ѣхать... — сказалъ онъ.

Отецъ Яковъ встрепенулся, какъ сонный человѣкъ, котораго ударили, и, не переставая улыбаться, началъ въ смущеніи запахивать полы своей рясы. При всемъ отвращеніи къ этому человѣку, Кунину вдругъ стало жаль его, и онъ захотѣлъ смягчить свою жестокость.

— Прошу, батюшка, въ другой разъ... — сказалъ онъ: — а на прощаньи у меня къ вамъ будетъ просьба... Тутъ какъ-то я вдохновился, знаете, и написалъ двѣ проповѣди... Отдаю на ваше разсмотрѣніе... Коли сгодятся, прочтите.

— Хорошо-съ... — сказалъ отецъ Яковъ, покрывая ладонью лежавшія на столѣ проповѣди Кунина. — Я возьму-съ...

Постоявъ немного, помявшись и все еще запахивая ряску,

онъ вдругъ пересталъ принужденно улыбаться и рѣшительно поднялъ голову.

— Павелъ Михайловичъ, — сказалъ онъ, видимо стараясь говорить громко и явственно.

— Что прикажете?

— Я слышалъ, что вы изволили тово... разсчитать своего писаря и... и ищете теперь новаго...

— Да... А вы имѣете порекомендовать кого-нибудь?

— Я, видите ли... я... Не можете ли вы отдать эту должность... мнѣ?

— Да развѣ вы бросаете священство? — изумился Кунинъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, — быстро проговорилъ отецъ Яковъ, почему-то блѣднѣя и дрожа всѣмъ тѣломъ. — Боже меня сохрани! Ежели сомнѣваетесь, то не нужно, не нужно. Я вѣдь это какъ бы между дѣломъ... чтобъ дивиденды свои увеличить... Не нужно, не безпокойтесь!

— Гм... дивиденды... Но вѣдь я плачу писарю только двадцать рублей въ мѣсяцъ!

— Господи, да я и десять взялъ бы! — прошепталъ отецъ Яковъ, оглядываясь. — И десяти довольно! Вы... вы изумляетесь, и всѣ изумляются. Жадный попъ, алчный, куда онъ деньги дѣваетъ? Я и самъ это чувствую, что жадный... и казню себя, осуждаю... людямъ въ глаза глядѣть совѣстно... Вамъ, Павелъ Михайловичъ, я по совѣсти... привожу истиннаго Бога въ свидѣтели...

Отецъ Яковъ перевелъ духъ и продолжалъ

— Приготовилъ я вамъ дорогой цѣлую исповѣдь, но... все забылъ, не подберу теперь словъ. Я получаю въ годъ съ прихода сто пятьдесятъ рублей, и всѣ... удивляются, куда я эти деньги дѣваю... Но я вамъ все по совѣсти объясню... Сорокъ рублей въ годъ я за брата Петра въ духовное училище взношу. Онъ тамъ на всемъ готовомъ, но бумага и перья мои...

— Ахъ, вѣрю, вѣрю! Ну, къ чему все это? — замахалъ рукой Кунинъ, чувствуя страшную тяжесть отъ этой откровенности гостя и не зная, куда дѣваться отъ слезливаго блеска его глазъ.

— Потомъ-съ, я еще въ консисторію за мѣсто свое не все еще выплатилъ. За мѣсто съ меня двѣсти рублей положили, чтобъ я по десяти въ мѣсяцъ выплачивалъ... Судите

же теперь, что остается? А вѣдь, кромѣ того, я долженъ выдавать отцу Авраамію, по крайней мѣрѣ, хоть по три рубля въ мѣсяцъ!

— Какому отцу Авраамію?

— Отцу Авраамію, что до меня въ Синьковѣ священникомъ былъ. Его лишили мѣста за... слабость, а вѣдь онъ въ Синьковѣ и теперь живетъ! Куда ему дѣваться? Кто его кормить станетъ? Хоть онъ и старъ, но вѣдь ему и уголъ, и хлѣба, и одежду надо! Не могу я допустить, чтобъ онъ, при своемъ санѣ, пошелъ милостыню просить! Мнѣ вѣдь грѣхъ будетъ, ежели что! Мнѣ грѣхъ! Онъ... всѣмъ задолжалъ, а вѣдь мнѣ грѣхъ, что я за него не плачу.

Отецъ Яковъ рванулся съ мѣста и, безумно глядя на полъ, зашагалъ изъ угла въ уголъ.

— Боже мой! Боже мой! — забормоталъ онъ, то поднимая руки, то опуская. — Спаси насъ, Господи, и помилуй! И зачѣмъ было такой санъ на себя принимать, ежели ты маловѣръ и силъ у тебя нѣтъ? Нѣтъ конца моему отчаянію! Спаси, Царица Небесная.

— Успокойтесь, батюшка! — сказалъ Кунинъ.

— Замучилъ голодъ, Павелъ Михайловичъ! — продолжалъ отецъ Яковъ. — Извините великодушно, но нѣтъ уже силъ моихъ... Я знаю, попроси я, поклонись, и всякій поможетъ, но... не могу! Совѣстно мнѣ! Какъ я стану у мужиковъ просить? Вы служите тутъ и сами видите... Какая рука подымется просить у нищаго? А просить у кого побогаче, у помѣщиковъ, не могу! Гордость! Совѣстно!

Отецъ Яковъ махнулъ рукой и нервно зачесалъ обѣими руками голову.

— Совѣстно! Боже, какъ совѣстно! Не могу, гордецъ, чтобъ люди мою бѣдность видѣли! Когда вы меня посѣтили, то вѣдь чаю вовсе не было, Павелъ Михайловичъ! Ни соринки его не было, а вѣдь открыться передъ вами гордость помѣшала! Стыжусь своей одежды, вотъ этихъ латокъ... ризъ своихъ стыжусь, голода... А прилична ли гордость священнику?

Отецъ Яковъ остановился посреди кабинета и, словно не замѣчая присутствія Кунина, сталъ разсуждать съ самимъ собой.

— Ну, положимъ, я снесу и голодъ, и срамъ, но вѣдь у меня, Господи, еще попадья есть! Вѣдь я ее изъ хоро-

шаго дома взялъ! Она бѣлоручка и нѣжная, привыкла и къ чаю, и къ бѣлой булкѣ, и къ простынямъ... Она у родителей на фортепьянахъ играла... Молодая, еще и двадцати лѣтъ нѣтъ... Хочется, небось, и нарядиться, и пошалить, и въ гости съѣздить... А она у меня... хуже кухарки всякой, стыдно на улицу показать. Боже мой, Боже мой! Только и утѣхи у нея, что принесу изъ гостей яблочекъ, или какой кренделечекъ...

Отецъ Яковъ опять обѣими руками зачесалъ голову.

— И выходитъ у насъ не любовь, а жалость... Не могу видѣть ее безъ состраданія! И что оно такое, Господи, дѣлается на свѣтѣ. Такое дѣлается, что если въ газеты написать, то не повѣрятъ люди... И когда всему этому конецъ будетъ!

— Полноте, батюшка! — почти крикнулъ Кунинъ, пугаясь его тона. — Зачѣмъ такъ мрачно смотрѣть на жизнь?

— Извините, великодушно, Павелъ Михайловичъ... — забормоталъ отецъ Яковъ, какъ пьяный. — Извините, все это... пустое, и вы не обращайте вниманія... А только я себя виню и буду винить... Буду!

Отецъ Яковъ оглянулся и зашепталъ:

— Какъ-то рано утромъ иду я изъ Синькова въ Лучково; гляжу, а на берегу стоитъ какая-то женщина и что-то дѣлаетъ... Подхожу ближе и глазамъ своимъ не вѣрю... Ужасъ! Сидитъ жена доктора, Ивана Сергѣича, и бѣлье полощетъ... Докторша, въ институтѣ кончила! Значитъ, чтобъ люди не видѣли, норовила пораньше встать и за версту отъ деревни уйти... Неодолимая гордость! Какъ увидала, что я около нея и бѣдность ея замѣтилъ, покраснѣла вся... Я оторопѣлъ, испугался, подбѣжалъ къ ней, хочу помочь ей, а она бѣлье отъ меня прячетъ, боится, чтобъ я ея рваныхъ сорочекъ не увидѣлъ...

— Все это какъ-то даже невѣроятно... — сказалъ Кунинъ, садясь и почти съ ужасомъ глядя на блѣдное лицо отца Якова.

— Именно, невѣроятно! Никогда, Павелъ Михайловичъ, этого не было, чтобъ докторши на рѣкѣ бѣлье полоскали! Ни въ какихъ странахъ этого нѣтъ! Мнѣ бы, какъ пастырю и отцу духовному, не допускать бы ее до этого, но что я могу сдѣлать? Что? Самъ же еще норовлю у ея мужа даромъ лѣчиться! Вѣрно вы изволили опредѣлить, что

все это невѣроятно! Глазамъ не вѣрится! Во время обѣдни, знаете, выглянешь изъ алтаря, да какъ увидишь свою публику, голоднаго Авраамія и попадью, да какъ вспомнишь про докторшу, какъ у нея отъ холодной воды руки посинѣли, то, вѣрите ли, забудешься и стоишь, какъ дуракъ, въ безчувствіи, пока пономарь не окликнетъ... Ужасъ!

Отецъ Яковъ опять заходилъ.

— Господи Іисусе! — замахалъ онъ руками. — Святые угодники! И служить даже не могу... Вы вотъ про школу мнѣ говорите, а я, какъ истуканъ, ничего не понимаю и только объ ѣдѣ думаю... Даже передъ престоломъ... Впрочемъ... что же это я? — спохватился отецъ Яковъ. — Вамъ уѣзжать нужно. Простите-съ, я вѣдь это такъ... извините...

Кунинъ, молча, пожалъ руку отца Якова, проводилъ его до передней и, вернувшись въ свой кабинетъ, остановился передъ окномъ. Онъ видѣлъ, какъ отецъ Яковъ вышелъ изъ дому, нахлобучилъ на голову свою широкополую, ржавую шляпу и тихо, понуривъ голову, точно стыдясь своей откровенности, пошелъ по дорогѣ.

«А его лошади не видно», — подумалъ Кунинъ.

Помыслить, что священникъ всѣ эти дни ходилъ къ нему пѣшкомъ, — Кунинъ боялся: до Синькова было семь-восемь верстъ, а грязь на дорогѣ стояла невылазная. Далѣе Кунинъ видѣлъ, какъ кучеръ Андрей и мальчикъ Парамонъ, прыгая черезъ лужи и обрызгивая отца Якова грязью, подбѣжали къ нему подъ благословеніе. Отецъ Яковъ снялъ шляпу и медленно благословилъ Андрея, потомъ благословилъ и погладилъ по головѣ мальчика.

Кунинъ провелъ рукой по глазамъ, и ему показалось, что рука его отъ этого стала мокрой. Онъ отошелъ отъ окна и мутными глазами обвелъ комнату, въ которой ему еще слышался робкій, придушенный голосъ... Онъ взглянулъ на столъ... Къ счастью, отецъ Яковъ забылъ второпяхъ взять съ собой его проповѣди... Кунинъ подскочилъ къ нимъ, изорвалъ ихъ въ клочки и съ отвращеніемъ швырнулъ подъ столъ.

— И я не зналъ! — простоналъ онъ, падая на софу. — Я, который уже болѣе года служу здѣсь непремѣннымъ членомъ, почетнымъ мировымъ судьей, членомъ училищнаго совѣта! Слѣпая кукла, фатъ! Скорѣй къ нимъ на помощь! Скорѣй!

Онъ мучительно ворочался, стискивалъ виски и напрягалъ свой умъ.

— Получу 20-го числа жалованья 200 рублей... Подъ благовиднымъ предлогомъ суну и ему, и докторшѣ... Его позову молебенъ служить, а для доктора фиктивно заболѣю... Такимъ образомъ, не оскорблю ихъ гордости. И Авраамію помогу...

Онъ разсчитывалъ по пальцамъ свои деньги и боялся себѣ сознаться, что этихъ двухсотъ рублей едва хватитъ ему, чтобы заплатить управляющему, прислугѣ, тому мужику, который привозитъ мясо... Поневолѣ пришлось вспомнить то недалекое прошлое, когда неразумно проживалось отцовское добро, когда, будучи еще двадцатилѣтнимъ молокососомъ, онъ дарилъ проституткамъ дорогіе вѣера, платилъ извозчику Кузьмѣ по десяти рублей въ день, подносилъ изъ тщеславія актрисамъ подарки. Ахъ, какъ бы пригодились теперь всѣ эти разбросанные рубли, трехрублевики, десятки!

«Отецъ Авраамій проѣдаетъ въ мѣсяцъ только три рубля, думалъ Кунинъ. За рубль попадья можетъ себѣ сорочку сшить, а докторша прачку нанять. Но я все-таки помогу! Обязательно помогу!»

Тутъ вдругъ Кунинъ вспомнилъ доносъ, который написалъ онъ архіерею, и его всего скорчило, какъ отъ невзначай налетѣвшаго холода. Это воспоминаніе наполнило всю его душу чувствомъ гнетущаго стыда передъ самимъ собой и передъ невидимой правдой...

Такъ началась и завершилась искренняя потуга къ полезной дѣятельности одного изъ благонамѣренныхъ, но черезчуръ сытыхъ и не разсуждающихъ людей.

# СВЯТОЮ НОЧЬЮ.

Я стоялъ на берегу Голтвы и ждалъ съ того берега парома. Въ обыкновенное время Голтва представляетъ изъ себя рѣчонку средней руки, молчаливую и задумчивую, кротко блистающую изъ-за густыхъ камышей, теперь же предо мной разстилалось цѣлое озеро. Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захвативъ огороды, сѣнокосы и болота, такъ что на водной поверхности не рѣдкость было встрѣтить одиноко торчащіе тополи и кусты, похожіе въ потемкахъ на суровые утесы.

Погода казалась мнѣ великолѣпной. Было темно, но я все-таки видѣлъ и деревья, и воду, и людей... Міръ освѣщался звѣздами, которыя всплошную усыпали все небо. Не помню, когда въ другое время я видѣлъ столько звѣздъ. Буквально некуда было пальцемъ ткнуть. Тутъ были крупныя, какъ гусиное яйцо, и мелкія, съ конопляное зерно... Ради праздничнаго парада вышли онѣ на небо всѣ до одной, отъ мала до велика, умытыя, обновленныя, радостныя, и всѣ до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось въ водѣ; звѣзды купались въ темной глубинѣ и дрожали вмѣстѣ съ легкой зыбью. Въ воздухѣ было тепло и тихо... Далеко, на томъ берегу, въ непроглядной тьмѣ, горѣло въ разсыпную нѣсколько ярко-красныхъ огней...

Въ двухъ шагахъ отъ меня темнѣлъ силуэтъ мужика въ высокой шляпѣ и съ толстой, суковатой палкой.

— Какъ, однако, долго нѣтъ парома!—сказалъ я.

— А пора ему быть,—отвѣтилъ мнѣ силуэтъ.

— Ты тоже дожидаешься парома?

— Нѣтъ, я такъ... — зѣвнулъ мужикъ: — люминаціи дожидаюсь. Поѣхалъ бы, да, признаться, пятачка на паромъ нѣтъ.

— Я тебѣ дамъ пятачокъ.

— Нѣтъ, благодаримъ покорно... Ужо на этотъ пятачокъ ты за меня тамъ въ монастырѣ свѣчку поставь... Этакъ любопытнѣй будетъ, а я и тутъ постою. Скажи на милость, нѣтъ парома! Словно въ воду канулъ!

Мужикъ подошелъ къ самой водѣ, взялся рукой за канатъ и закричалъ:

— Іеронимъ! Іерон-и-имъ!

Точно въ отвѣтъ на его крикъ, съ того берега донесся протяжный звонъ большого колокола. Звонъ былъ густой, низкій, какъ отъ самой толстой струны контрабаса: казалось, прохрипѣли сами потемки. Тотчасъ же послышался выстрѣлъ изъ пушки. Онъ прокатился въ темнотѣ и кончился гдѣ-то далеко за моей спиной. Мужикъ снялъ шляпу и перекрестился.

— Христосъ воскресъ!—сказалъ онъ.

Не успѣли застыть въ воздухѣ волны отъ перваго удара колокола, какъ послышался другой, за нимъ тотчасъ же третій, и потемки наполнились непрерывнымъ, дрожащимъ гуломъ. Около красныхъ огней загорѣлись новые огни и всѣ вмѣстѣ задвигались, безпокойно замелькали.

— Іерон-и-мъ!—послышался глухой, протяжный крикъ.

— Съ того берега кричатъ,—сказалъ мужикъ.—Значитъ, и тамъ нѣтъ парома. Заснулъ нашъ Іеронимъ.

Огни и бархатный звонъ колокола манили къ себѣ... Я ужъ началъ терять терпѣніе и волноваться, но вотъ, наконецъ, вглядываясь въ темную даль, я увидѣлъ силуэтъ чего-то, очень похожаго на висѣлицу. Это былъ давно ждавный паромъ. Онъ подвигался съ такою медленностью, что если бъ не постепенная обрисовка его контуровъ, то можно было бы подумать, что онъ стоитъ на одномъ мѣстѣ, или же идетъ къ тому берегу.

— Скорѣй! Іеронимъ!—крикнулъ мой мужикъ.—Баринъ дожидается!

Паромъ подползъ къ берегу, покачнулся и со скрипомъ остановился. На немъ, держась за канатъ, стоялъ высокій человѣкъ въ монашеской рясѣ и въ конической шапочкѣ.

— Отчего такъ долго? — спросилъ я, вскакивая на паромъ.

— Простите Христа ради,—отвѣтилъ тихо Іеронимъ.— Больше никого нѣтъ?

— Никого...

Іеронимъ взялся обѣими руками за канатъ, изогнулся въ вопросительный знакъ и крякнулъ. Паромъ скрипнулъ и покачнулся. Силуэтъ мужика въ высокой шляпѣ сталъ медленно удаляться отъ меня,—значитъ, паромъ поплылъ. Іеронимъ скоро выпрямился и сталъ работать одной рукой. Мы молчали и глядѣли на берегъ, къ которому плыли. Тамъ уже началась «люминація», которой дожидался мужикъ. У самой воды, громадными кострами пылали смоляныя бочки. Отраженія ихъ, багровыя, какъ восходящая луна, длинными, широкими полосами ползли къ намъ навстрѣчу. Горящія бочки освѣщали свой собственный дымъ и длинныя человѣческія тѣни, мелькавшія около огня; но далѣе въ стороны и позади нихъ, откуда несся бархатный звонъ, была все та же безпросвѣтная, черная мгла. Вдругъ, разсѣкая потемки, золотой лентой взвилась къ небу ракета: она описала дугу и, точно разбившись о небо, съ трескомъ разсыпалась въ искры. Съ берега послышался гулъ, похожій на отдаленное ура.

— Какъ красиво!—сказалъ я.

— И сказать нельзя, какъ красиво! — вздохнулъ Іеронимъ.—Ночь такая, господинъ! Въ другое время и вниманія не обратишь на ракеты, а нынче всякой суетѣ радуешься. Вы сами откуда будете?

Я сказалъ, откуда я.

— Такъ-съ... радостный день нынче...—продолжалъ Іеронимъ слабымъ, вздыхающимъ теноркомъ, какимъ говорятъ выздоравливающіе больные.—Радуется и небо, и земля, и преисподняя. Празднуетъ вся тварь. Только скажите мнѣ, господинъ хорошій, отчего это даже и при великой радости человѣкъ не можетъ скорбей своихъ забыть?

Мнѣ показалось, что этотъ неожиданный вопросъ вызывалъ меня на одинъ изъ тѣхъ «продлинновенныхъ», душеспасительныхъ разговоровъ, которые такъ любятъ праздные и скучающіе монахи. Я не былъ расположенъ много говорить, а потому только спросилъ:

— А какія, батюшка, у васъ скорби?

— Обыкновенно, какъ и у всѣхъ людей, ваше благородіе, господинъ хорошій, но въ нынѣшній день случилась въ монастырѣ особая скорбь: въ самую обѣдню, во время паремій, умеръ іеродьяконъ Николай...

— Что жъ, это Божья воля!—сказалъ я, поддѣлываясь подъ монашескій тонъ.—Всѣмъ умирать нужно. По-моему, вы должны еще радоваться... Говорятъ, что кто умретъ подъ Пасху, или на Пасху, тотъ непремѣнно попадетъ въ царство небесное.

— Это вѣрно.

Мы замолчали. Силуэтъ мужика въ высокой шляпѣ слился съ очертаніями берега. Смоляныя бочки разгорались все болѣе и болѣе.

— И писаніе ясно указываетъ на суету скорби, и размышленіе, — прервалъ молчаніе Іеронимъ: — но отчего же душа скорбитъ и не хочетъ слушать разума? Отчего горько плакать хочется?

Іеронимъ пожалъ плечами, повернулся ко мнѣ и заговорилъ быстро:

— Умри я, или кто другой, оно бы, можетъ, и не замѣтно было, но вѣдь Николай умеръ! Никто другой, а Николай! Даже повѣрить трудно, что его ужъ нѣтъ на свѣтѣ! Стою я тутъ на паромѣ и все мнѣ кажется, что сейчасъ онъ съ берега голосъ свой подастъ. Чтобы мнѣ на паромѣ страшно не казалось, онъ всегда приходилъ на берегъ и окликалъ меня. Нарочито для этого ночью съ постели вставалъ. Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая! У иного человѣка и матери такой нѣтъ, какимъ у меня былъ этотъ Николай! Спаси, Господи, его душу!

Іеронимъ взялся за канатъ, но тотчасъ же опять повернулся ко мнѣ.

— Ваше благородіе, а умъ какой свѣтлый!—сказалъ онъ пѣвучимъ голосомъ.—Какой языкъ благозвучный и сладкій! Именно, какъ вотъ сейчасъ будутъ пѣть въ заутрени: «О, любезнаго! о, сладчайшаго твоего гласа!» Кромѣ всѣхъ прочихъ человѣческихъ качествъ, въ немъ былъ еще и даръ необычайный!

— Какой даръ?—спросилъ я.

Монахъ оглядѣлъ меня и, точно убѣдившись, что мнѣ можно ввѣрять тайны, весело засмѣялся.

— У него былъ даръ акаѳисты писать...—сказалъ онъ.—

Чудо, господинъ, да и только! Вы изумитесь, ежели я вамъ объясню! Отецъ архимандритъ у насъ изъ московскихъ, отецъ намѣстникъ въ казанской академіи кончилъ, есть у насъ и іеромонахи разумные, и старцы, но вѣдь, скажи пожалуйста, ни одного такого нѣтъ, чтобы писать умѣлъ, а Николай, простой монахъ, іеродьяконъ, нигдѣ не обучался и даже видимости наружной не имѣлъ, а писалъ! Чудо! Истинно чудо!

Іеронимъ всплеснулъ руками и, совсѣмъ забывъ про канатъ, продолжалъ съ увлеченіемъ:

— Отецъ намѣстникъ затрудняется проповѣди составлять; когда исторію монастыря писалъ, то всю братію загонялъ и разъ десять въ городъ ѣздилъ, а Николай акаѳисты писалъ! Акаѳисты! Это не то что проповѣдь, или исторія!

— А развѣ акаѳисты трудно писать?—спросилъ я.

— Большая трудность...—покрутилъ головой Іеронимъ.— Тутъ и мудростью, и святостью ничего не подѣлаешь, ежели Богъ дара не далъ. Монахи, которые не понимающіе, разсуждаютъ, что для этого нужно только знать житіе святого, которому пишешь, да съ прочими акаѳистами соображаться. Но это, господинъ, неправильно. Оно, конечно, кто пишетъ акаѳистъ, тотъ долженъ знать житіе до чрезвычайности, до послѣдней самомалѣйшей точки. Ну, и соображаться съ прочими акаѳистами нужно, какъ гдѣ начать и о чемъ писать. Къ примѣру сказать вамъ, первый кондакъ вездѣ начинается съ «возбранный» или «избранный»... Первый икосъ завсегда надо начинать съ ангела. Въ акаѳистѣ къ Іисусу Сладчайшему, ежели интересуетесь, онъ начинается такъ: «Ангеловъ творче и Господи силъ», въ акаѳистѣ къ Пресвятой Богородицѣ: «Ангелъ предстатель съ небесе посланъ бысть», къ Ноколаю Чудотворцу: «Ангела образомъ, земнаго суща естествомъ» и прочее. Вездѣ съ ангела начинается. Конечно, безъ того нельзя, чтобы не соображаться, но главное вѣдь не въ житіи, не въ соотвѣтствіи съ прочимъ, а въ красотѣ и сладости. Нужно, чтобъ все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтобъ въ каждой строчечкѣ была мягкость, ласковость и нѣжность, чтобъ ни одного слова не было грубаго, жесткаго, или несоотвѣтствующаго. Такъ надо писать, чтобъ молящійся сердцемъ радовался и плакалъ, а умомъ содрогался и въ трепетъ приходилъ. Въ Богородичномъ акаѳистѣ есть слова: «Радуйся,

высото неудобовосходимая человѣческими помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и ангельскими очима!» Въ другомъ мѣстѣ того же акаѳиста сказано: «Радуйся, древо свѣтлоплодовитое, отъ него же питаются вѣрніи, радуйся, древо благосѣннолиственное, имъ же покрываются мнози!»

Іеронимъ, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрылъ ладонями лицо и покачалъ головой.

— Древо свѣтлоплодовитое... древо благосѣннолиственное...—пробормоталъ онъ.—Найдетъ же такія слова! Дастъ же Господь такую способность! Для краткости много словъ и мыслей пригонитъ въ одно слово и какъ это у него все выходитъ плавно и обстоятельно! «Свѣтоподательна свѣтильника сущимъ»...— сказано въ акаѳистѣ къ Іисусу Сладчайшему. Свѣтоподательна! Слова такого нѣтъ ни въ разговорѣ, ни въ книгахъ, а вѣдь придумалъ же его, нашелъ въ умѣ своемъ! Кромѣ плавности и велерѣчія, сударь, нужно еще, чтобъ каждая строчечка изукрашена была всячески, чтобъ тутъ и цвѣты были, и молнія, и вѣтеръ, и солнце, и всѣ предметы міра видимаго. И всякое восклицаніе нужно такъ составить, чтобъ оно было гладенько и для уха вольготнѣй. «Радуйся, крине райскаго прозябенія!»—сказано въ акаѳистѣ Николаю Чудотворцу. Не сказано просто: «крине райскій», а «крине райскаго прозябенія!» Такъ глаже и для уха сладко. Такъ именно и Николай писалъ! Точь-въ-точь такъ! И выразить вамъ не могу, какъ онъ писалъ!

— Да, въ такомъ случаѣ жаль, что онъ умеръ,—сказалъ я.—Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаемъ...

Іеронимъ спохватился и побѣжалъ къ канату. На берегу начали перезванивать во всѣ колокола. Вѣроятно, около монастыря происходилъ уже крестный ходъ, потому что все темное пространство за смоляными бочками было теперь усыпано двигающимися огнями.

— Николай печаталъ свои акаѳисты? — спросилъ я Іеронима.

— Гдѣ жъ печатать?—вздохнулъ онъ. — Да и странно было бы печатать. Къ чему? Въ монастырѣ у насъ этимъ никто не интересуется. Не любятъ. Знали, что Николай пишетъ, но оставляли безъ вниманія. Нынче, сударь, новыя писанія никто не уважаетъ!

— Съ предубѣжденіемъ къ нимъ относятся?

— Точно такъ. Будь Николай старцемъ, то, пожалуй,

то вѣдь ему еще
мѣялись и даже

Изъ всей братіи
Приду къ нему
ь и радъ, что я
гладитъ, ласко-
кого. Затворитъ
давай читать...
ко мнѣ.
ъ были,—зашеп-
ами.—Куда онъ,
обилъ онъ меня
акаѳистовъ пла-
все равно какъ
настырѣ народъ
ни въ комъ нѣтъ
люди простого
итъ, ногами сту-
творилъ завсегда
о спитъ, или мо-
комарикъ. Лицо

за канатъ. Мы
потемокъ и рѣчь
ть заколдованное
ого свѣта и гама.
видно, двигались
снымъ лицамъ и
выраженіе. Из-
падиныя морды,
мѣди.
...—сказалъ Іеро-
Для него слаже
въ каждое слово,
сподинъ, и вник-

— Не знаю... Меня еще въ девятомъ часу нужно было смѣнить, да вотъ, видите, не смѣняютъ! А, признаться, хотѣлось бы въ церковь...

— Вы монахъ?

— Да-съ... то-есть я послушникъ.

Паромъ врѣзался въ берегъ и остановился. Я сунулъ Іерониму пятачокъ за провозъ и прыгнулъ на сушу. Тотчасъ же телѣга съ мальчикомъ и со спящей бабой со скрипомъ въѣхала на паромъ. Іеронимъ, слабо окрашиваемый огнями, налегъ на канатъ, изогнулся и сдвинулъ съ мѣста паромъ...

Нѣсколько шаговъ я сдѣлалъ по грязи, но далѣе пришлось идти по мягкой, свѣже-протоптанной тропинкѣ. Эта тропинка вела къ темнымъ, похожимъ на впадину, монастырскимъ воротамъ сквозь облака дыма, сквозь безпорядочную толпу людей, распряженныхъ лошадей, телѣгъ, бричекъ. Все это скрипѣло, фыркало, смѣялось, и по всему мелькали багровый свѣтъ и волнистыя тѣни отъ дыма... Сущій хаосъ! И въ этой толкотнѣ находили еще мѣсто заряжать маленькую пушку и продавать пряники!

По ту сторону стѣны, въ оградѣ, происходила не меньшая суетня, но благочинія и порядка наблюдалось больше. Тутъ пахло можжевельникомъ и роснымъ ладаномъ. Говорили громко, но смѣха и фырканья не слышалось. Около могильныхъ памятниковъ и крестовъ жались другъ къ другу люди съ куличами и узлами. Повидимому, многіе изъ нихъ пріѣхали святить куличи издалека и были теперь утомлены. По чугуннымъ плитамъ, которыя лежали полосой отъ воротъ до церковной двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бѣгали молодые послушники. На колокольнѣ тоже возились и кричали.

«Какая безпокойная ночь! — думалъ я. — Какъ хорошо!»

Безпокойство и безсонницу хотѣлось видѣть во всей природѣ, начиная съ ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, подъ которыми суетились люди. Но нигдѣ возбужденіе и безпокойство не сказывались такъ сильно, какъ въ церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива съ отливомъ. Одни входили, другіе выходили и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуютъ съ мѣста на мѣсто, слоняются и какъ будто чего-то ищутъ. Волна идетъ отъ

входа и бѣжитъ по всей церкви, тревожа даже передніе ряды, гдѣ стоятъ люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитвѣ не можетъ быть и рѣчи. Молитвъ вовсе нѣтъ, а есть какая-то сплошная, дѣтски-безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться въ какомъ-нибудь движеніи, хотя бы въ безпардонномъ шатаніи и толкотнѣ.

Та же необычайная подвижность бросается въ глаза и въ самомъ пасхальномъ служеніи. Царскія врата во всѣхъ придѣлахъ открыты настежь, въ воздухѣ около паникадила плаваютъ густыя облака ладаннаго дыма; куда ни взглянешь, всюду огни, блескъ, трескъ свѣчей... Чтеній не полагается никакихъ; пѣніе суетливое и веселое не прерывается до самаго конца; послѣ каждой пѣсни въ канонѣ духовенство мѣняетъ ризы и выходитъ кадить, что повторяется почти каждыя десять минутъ.

Не успѣлъ я занять мѣсто, какъ спереди хлынула волна и отбросила меня назадъ. Передо мной прошелъ высокій, плотный дьяконъ съ длинной, красной свѣчой; за нимъ спѣшилъ съ кадиломъ сѣдой архимандритъ въ золотой митрѣ. Когда они скрылись изъ виду, толпа оттиснула меня опять на прежнее мѣсто. Но не прошло и десяти минутъ, какъ хлынула новая волна, и опять показался дьяконъ. На этотъ разъ за нимъ шелъ отецъ-намѣстникъ, тотъ самый, который, по словамъ Іеронима, писалъ исторію монастыря.

Мнѣ, слившемуся съ толпой и заразившемуся всеобщимъ радостнымъ возбужденіемъ, было невыносимо больно за Іеронима. Отчего его не смѣнятъ? Почему бы не пойти на паромъ кому-нибудь менѣе чувствующему и менѣе впечатлительному?

«Возведи окрестъ очи твои, Сіоне, и виждь...—пѣли на клиросѣ: — се бо пріидоша къ тебѣ, яко богосвѣтлая свѣтила, отъ запада и сѣвера, и моря, и востока чада твоя»...

Я поглядѣлъ на лица. На всѣхъ было живое выраженіе торжества; но ни одинъ человѣкъ не вслушивался и не вникалъ въ то, что пѣлось, и ни у кого не «захватывало духа». Отчего не смѣнятъ Іеронима? Я могъ себѣ представить этого Іеронима, смиренно стоящаго гдѣ-нибудь у стѣны, согнувшагося и жадно ловящаго красоту святой фразы. Все, что теперь проскальзывало мимо слуха стоящихъ около меня людей, онъ жадно пилъ бы своей чуткой душой, упился бы до восторговъ, до захватыванія духа,

и не было бы во всемъ храмѣ человѣка счастливѣе его. Теперь же онъ плавалъ взадъ и впередъ по темной рѣкѣ и тосковалъ по своемъ умершемъ братѣ и другѣ.

Сзади хлынула волна. Полный, улыбающійся монахъ, играя четками и оглядываясь назадъ, бокомъ протискался около меня, пролагая путь какой-то дамѣ въ шляпкѣ и бархатной шубкѣ. Вслѣдъ за дамой, неся надъ нашими головами стулъ, торопился монастырскій служка.

Я вышелъ изъ церкви. Мнѣ хотѣлось посмотрѣть мертваго Николая, безвѣстнаго сочинителя акаѳистовъ. Я прошелся около ограды, гдѣ вдоль стѣны тянулся рядъ монашескихъ келій, заглянулъ въ нѣсколько оконъ и, ничего не увидѣвъ, вернулся назадъ. Теперь я не сожалѣю, что не видѣлъ Николая; Богъ знаетъ, быть-можетъ, увидѣвъ его, я утратилъ бы образъ, который рисуетъ теперь мнѣ мое воображеніе. Этого симпатичнаго поэтическаго человѣка, выходившаго по ночамъ перекликаться съ Іеронимомъ и пересыпавшаго свои акаѳисты цвѣтами, звѣздами и лучами солнца, не понятаго и одинокаго, я представляю себѣ робкимъ, блѣднымъ, съ мягкими, кроткими и грустными чертами лица. Въ его глазахъ, рядомъ съ умомъ, должна свѣтиться ласка и та едва сдерживаемая, дѣтская восторженность, какая слышалась мнѣ въ голосѣ Іеронима, когда тотъ приводилъ мнѣ цитаты изъ акаѳистовъ.

Когда послѣ обѣдни мы вышли изъ церкви, то ночи уже не было. Начиналось утро. Звѣзды погасли, и небо представлялось сѣро-голубымъ, хмурымъ. Чугунныя плиты, памятники и почки на деревьяхъ были подернуты росой. Въ воздухѣ рѣзко чувствовалась свѣжесть. За оградой уже не было того оживленія, какое я видѣлъ ночью. Лошади и люди казались утомленными, сонными, едва двигались, а отъ смоляныхъ бочекъ оставались однѣ только кучки чернаго пепла. Когда человѣкъ утомленъ и хочетъ спать, то ему кажется, что то же самое состояніе переживаетъ и природа. Мнѣ казалось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не такъ громко и весело, какъ ночью. Безпокойство кончилось, и отъ возбужденія осталась одна только пріятная истома, жажда сна и тепла.

Теперь я могъ видѣть рѣку съ обоими берегами. Надъ ней холмами то тамъ, то сямъ носился легкій туманъ. Отъ

воды вѣяло холодомъ и суровостью. Когда я прыгнулъ на паромъ, на немъ уже стояла чья-то бричка и десятка два мужчинъ и женщинъ. Канатъ, влажный и, какъ казалось мнѣ, сонный, далеко тянулся черезъ широкую рѣку и мѣстами исчезалъ въ бѣломъ туманѣ.

— Христосъ воскресъ! Больше никого нѣтъ?—спросилъ тихій голосъ.

Я узналъ голосъ Іеронима. Теперь ночныя потемки ужъ не мѣшали мнѣ разглядѣть монаха. Это былъ высокій, узкоплечій человѣкъ, лѣтъ 35, съ крупными округлыми чертами лица, съ полузакрытыми, лѣниво глядящими глазами и съ нечесаной клиновидной бородкой. Видъ у него былъ необыкновенно грустный и утомленный.

— Васъ еще не смѣнили?—удивился я.

— Меня-съ? — переспросилъ онъ, поворачивая ко мнѣ свое озябшее, покрытое росой лицо и улыбаясь. — Теперь ужъ некому смѣнять до самаго утра. Всѣ къ отцу архимандриту сейчасъ разговляться пойдутъ-съ.

Онъ да еще какой-то мужичокъ въ шапкѣ изъ рыжаго мѣха, похожей на липовки, въ которыхъ продаютъ медъ, поналегли на канатъ, дружно крякнули, и паромъ тронулся съ мѣста.

Мы поплыли, безпокоя на пути лѣниво подымавшійся туманъ. Всѣ молчали. Іеронимъ машинально работалъ одной рукой. Онъ долго водилъ по насъ своими кроткими, тусклыми глазами, потомъ остановилъ свой взглядъ на розовомъ, чернобровомъ лицѣ молоденькой купчихи, которая стояла на паромѣ рядомъ со мной и молча пожималась отъ обнимавшаго ее тумана. Отъ ея лица не отрывалъ онъ глазъ въ продолженіе всего пути.

Въ этомъ продолжительномъ взглядѣ было мало мужского. Мнѣ кажется, что на лицѣ женщины Іеронимъ искалъ мягкихъ и нѣжныхъ чертъ своего усопшаго друга.

# СЧАСТЬЕ.

Посвящается Я. П. Полонскому.

У широкой степной дороги, называемой большимъ шляхомъ, ночевала отара овецъ. Стерегли ее два пастуха. Одинъ, старикъ лѣтъ восьмидесяти, беззубый, съ дрожащимъ лицомъ, лежалъ на животѣ у самой дороги, положивъ локти на пыльные листья подорожника; другой — молодой парень, съ густыми черными бровями и безусый, одѣтый въ рядно, изъ котораго шьютъ дешевые мѣшки, лежалъ на спинѣ, положивъ руки подъ голову, и глядѣлъ вверхъ на небо, гдѣ надъ самымъ его лицомъ тянулся млечный путь и дремали звѣзды.

Пастухи были не одни. На сажень отъ нихъ въ сумракѣ, застилавшемъ дорогу, темнѣла осѣдланная лошадь, а возлѣ нея, опираясь на сѣдло, стоялъ мужчина въ большихъ сапогахъ и короткой чумаркѣ, по всѣмъ видимостямъ, господскій объѣздчикъ. Судя по его фигурѣ, прямой и неподвижной, по манерамъ, по обращенію съ пастухами, лошадью, это былъ человѣкъ серьезный, разсудительный и знающій себѣ цѣну; даже въ потемкахъ были замѣтны въ немъ слѣды военной выправки и то величаво-снисходительное выраженіе, какое пріобрѣтается отъ частаго обращенія съ господами и управляющими.

Овцы спали. На сѣромъ фонѣ зари, начинавшей уже покрывать восточную часть неба, тамъ и сямъ видны были силуэты не спавшихъ овецъ; онѣ стояли и, опустивъ головы, о чемъ-то думали. Ихъ мысли, длительныя, тягучія, вызываемыя представленіями только о широкой степи и небѣ, о дняхъ и ночахъ, вѣроятно, поражали и угнетали

ихъ самихъ до безчувствія, и онѣ, стоя теперь, какъ вкопанныя, не замѣчали ни присутствія чужого человѣка, ни безпокойства собакъ.

Въ сонномъ, застывшемъ воздухѣ стоялъ монотонный шумъ, безъ котораго не обходится степная лѣтняя ночь; непрерывно трещали кузнечики, пѣли перепела, да на версту отъ отары, въ балкѣ, въ которой текъ ручей и росли вербы, лѣниво посвистывали молодые соловьи.

Объѣздчикъ остановился, чтобы попросить у пастуховъ огня для трубки. Онъ молча закурилъ и выкурилъ всю трубку, потомъ, ни слова не сказавъ, облокотился о сѣдло и задумался. Молодой пастухъ не обратилъ на него никакого вниманія; онъ продолжалъ лежать и глядѣть на небо, старикъ же долго оглядывалъ объѣздчика и спросилъ:

— Никакъ Пантелей изъ Макаровской экономіи?

— Я самый,—отвѣтилъ объѣздчикъ.

— То-то я вижу. Не узналъ — богатымъ быть. Откуда Богъ несетъ?

— Изъ Ковылевскаго участка.

— Далече. Подъ скопчину отдаете участокъ?

— Разное. И подъ скопчину, и въ аренду, и подъ бакчи. Я собственно на мельницу ѣздилъ.

Большая старая овчарка грязно-бѣлаго цвѣта, лохматая, съ клочьями шерсти у глазъ и носа, стараясь казаться равнодушной къ присутствію чужихъ, раза три покойно обошла вокругъ лошади и вдругъ неожиданно съ злобнымъ, старческимъ хрипѣньемъ бросилась сзади на объѣздчика, остальныя собаки не выдержали и повскакали со своихъ мѣстъ.

— Цыцъ, проклятая! — крикнулъ старикъ, поднимаясь на локтѣ.—А, чтобъ ты лопнула, бѣсова тварь!

Когда собаки успокоились, старикъ принялъ прежнюю позу и сказалъ покойнымъ голосомъ:

— А въ Ковыляхъ, на самый Вознесеньевъ день, Ефимъ Жменя померъ. Не къ ночи будь сказано, грѣхъ такихъ людей сгадывать, поганый старикъ былъ. Небось, слыхалъ.

— Нѣтъ, не слыхалъ.

— Ефимъ Жменя, кузнеца Степки дядя. Вся округа его знаетъ. У, да и проклятый же старикъ! Я его годовъ шестьдесятъ знаю, съ той поры, какъ царя Александра,

что француза гналъ, изъ Таганрога на подводахъ въ Москву везли. Мы вмѣстѣ ходили покойника царя встрѣчать, а тогда большой шляхъ не на Бахмутъ шелъ, а съ Есауловки на Городище, и тамъ, гдѣ теперь Ковыли, дудачьи гнѣзды были—что ни шагъ, то гнѣздо дудачье. Тогда еще я примѣтилъ, что Жменя душу свою сгубилъ и нечистая сила въ немъ. Я такъ замѣчаю: ежели который человѣкъ мужицкаго званія все больше молчитъ, старушечьими дѣлами занимается, да норовитъ въ одиночку жить, то тутъ хорошаго мало, а Ефимка, бывало, смолоду все молчитъ и молчитъ, да на тебя косо глядитъ, все онъ словно дуется и пыжится, какъ пивень передъ куркою. Чтобъ онъ въ церковь пошелъ, или на улицу съ ребятами гулять, или въ кабакъ—не было у него такой моды, а все больше одинъ сидитъ, или со старухами шепчется. Молодымъ былъ, а ужъ въ пасѣчники да въ бакчевники нанимался. Бывало, придутъ къ нему добрые люди на бакчи, а у него арбузы и дыни свистятъ. Разъ тоже поймалъ при людяхъ щуку, а она—го-го-го-го! захохотала...

— Это бываетъ,—сказалъ Пантелей.

Молодой пастухъ повернулся на бокъ и пристально, поднявъ свои черныя брови, поглядѣлъ на старика.

— А ты слыхалъ, какъ арбузы свистятъ? — спросилъ онъ.

— Слыхать не слыхалъ, Богъ миловалъ,—вздохнулъ старикъ:—а люди сказывали. Мудренаго мало... Захочетъ нечистая сила, такъ и въ камнѣ свистѣть начнетъ. Передъ волей у насъ три дня и три ночи скеля *) гудѣла. Самъ слыхалъ. А щука хохотала, потому Жменя замѣсто щуки бѣса поймалъ.

Старикъ что-то вспомнилъ. Онъ быстро поднялся на колѣни и, пожимаясь, какъ отъ холода, нервно засовывая руки въ рукава, залепеталъ въ носъ, бабьей скороговоркой:

— Спаси насъ, Господи, и помилуй! Шелъ я разъ бережкомъ въ Новопавловку. Гроза собиралась, и такая была буря, что сохрани Царица Небесная, Матушка... Поспѣшаю я, что есть мочи, гляжу, а по дорожкѣ, промежъ терновыхъ кустовъ—теренъ тогда въ цвѣту былъ—бѣлый волъ

*) Скала.

идетъ. Я и думаю: чей это волъ? Зачѣмъ его сюда занесла нелегкая? Идетъ онъ, хвостомъ машетъ и му-у-у! Только, это самое, братцы, догоняю его, подхожу близко, глядь!—а ужъ это не волъ, а Жменя. Святъ, святъ, святъ! Сотворилъ я крестное знаменіе, а онъ глядитъ на меня и бормочетъ, бѣльмы выпучивши. Испужался я, страсть! Пошли рядомъ, боюсь я ему слово сказать, — громъ гремитъ, молонья небо полосуетъ, вербы къ самой водѣ гнутся, — вдругъ, братцы, накажи меня Богъ, чтобъ мнѣ безъ покаянія помереть, бѣжитъ поперекъ дорожки заяцъ... Бѣжитъ, остановился и говоритъ по-человѣчьи: «Здорово, мужики!» Пошла, проклятая!—крикнулъ старикъ на лохматаго пса, который опять пошелъ обходомъ вокругъ лошади.—А, чтобъ ты издохла!

— Это бываетъ,—сказалъ объѣздчикъ, все еще опираясь на сѣдло и не шевелясь; сказалъ онъ это беззвучнымъ, глухимъ голосомъ, какимъ говорятъ люди, погруженные въ думу.

— Это бываетъ, — повторилъ онъ глубокомысленно и убѣжденно.

— У, стервячій былъ старикъ! — продолжалъ старикъ уже не такъ горячо. — Лѣтъ черезъ пять послѣ воли его міромъ въ конторѣ посѣкли, такъ онъ, чтобы значитъ злобу свою доказать, взялъ да и напустилъ на всѣ Ковыли горловую болѣзнь. Повымерло тогда народу безъ счету, видимо-невидимо, словно въ холеру...

— А какъ онъ болѣзнь напустилъ? — спросилъ молодой пастухъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Извѣстно, какъ. Тутъ ума большого не надо, была бы охота. Жменя людей гадючьимъ жиромъ морилъ. А это такое средство, что не то что отъ жиру, даже отъ духу народъ мретъ.

— Это вѣрно,—согласился Пантелей.

— Хотѣли его тогда ребята убить, да старики не дали. Нельзя его было убивать; онъ зналъ мѣсто, гдѣ клады есть. А кромѣ него ни одна душа не знала. Клады тутъ заговоренные, такъ что найдешь и не увидишь, а онъ видѣлъ. Бывало, идетъ бережкомъ, или лѣсомъ, а подъ кустами и скелями огоньки, огоньки, огоньки... Огоньки такіе, какъ будто словно отъ сѣры. Я самъ видѣлъ. Всѣ такъ ждали, что Жменя людямъ мѣста укажетъ, или самъ вы-

ростъ, а онъ—сказано, сама собака не ѣстъ и другимъ не даетъ—такъ и померъ: ни самъ не вырылъ, ни людямъ не показалъ.

Объѣздчикъ закурилъ трубку и на мгновеніе освѣтилъ свои большіе усы и острый, строгаго, солиднаго вида носъ. Мелкіе круги свѣта прыгнули отъ его рукъ къ картузу, побѣжали черезъ сѣдло по лошадиной спинѣ и исчезли въ гривѣ около ушей.

— Въ этихъ мѣстахъ много кладовъ,—сказалъ онъ.

И, медленно затянувшись, онъ поглядѣлъ вокругъ себя, остановилъ свой взглядъ на бѣлѣющемъ востокѣ и добавилъ:

— Должны быть клады.

— Что и говорить,—вздохнулъ старикъ.—По всему видать, что есть, только, братъ, копать ихъ некому. Никто настоящихъ мѣстовъ не знаетъ, да по нынѣшнему времю, почитай, всѣ клады заговоренные. Чтобъ его найти и увидать, талисманъ надо такой имѣть, а безъ талисмана ничего, паря, не подѣлаешь. У Жмени были талисманы, да нешто у него, у чорта лысаго, выпросишь? Онъ и держалъ-то ихъ, чтобъ никому не досталось.

Молодой пастухъ подползъ шага на два къ старику и, подперевъ голову кулаками, устремилъ на него неподвижный взглядъ. Младенческое выраженіе страха и любопытства засвѣтилось въ его темныхъ глазахъ и, какъ казалось въ сумеркахъ, растянуло и сплющило крупныя черты его молодого, грубаго лица. Онъ напряженно слушалъ.

— И въ писаніяхъ писано, что кладовъ тутъ много,—продолжалъ старикъ.—Это что и говорить... и говорить нечего. Одному новопавловскому старику-солдату въ Ивановкѣ ярлыкъ показывали, такъ въ томъ ярлыкѣ напечатано и про мѣсто, и даже сколько пудовъ золота, и въ какой посудѣ; давно бъ по этому ярлыку кладъ достали, да только кладъ заговоренный, не подступишься.

— Отчего же, дѣдъ, не подступишься? — спросилъ молодой.

— Должно, причина какая есть, не сказывалъ солдатъ. Заговоренный... Талисманъ надо.

Старикъ говорилъ съ увлеченіемъ, какъ будто изливалъ передъ проѣзжимъ свою душу. Онъ гнусавилъ отъ непривычки говорить много и быстро, заикался и, чувствуя та-

кой недостатокъ своей рѣчи, старался скрасить его жестикуляціей головы, рукъ и тощихъ плечъ; при каждомъ движеніи его холщевая рубаха мялась въ складки, ползла къ плечамъ и обнажала черную отъ загара и старости спину. Онъ обдергивалъ ее, а она тотчасъ же опять лѣзла. Наконецъ, старикъ, точно выведенный изъ терпѣнія непослушной рубахой, вскочилъ и заговорилъ съ горечью:

— Есть счастье, а что съ него толку, если оно въ землѣ зарыто? Такъ и пропадаетъ добро задаромъ, безъ всякой пользы, какъ полова или овечій пометъ! А вѣдь, счастья много, такъ много, парень, что его на всю бы округу хватило, да не видитъ его ни одна душа! Дождутся люди, что его паны выроютъ, или казна отберетъ. Паны ужъ начали курганы копать... Почуяли! Берутъ ихъ завидки на мужицкое счастье! Казна тоже себѣ на умѣ. Въ законѣ такъ писано, что ежели который мужикъ найдетъ кладъ, то чтобъ къ начальству его представить. Ну, это погоди — не дождешься! Есть квасъ, да не про васъ!

Старикъ презрительно засмѣялся и сѣлъ на землю. Объѣздчикъ слушалъ со вниманіемъ и соглашался, но по выраженію его фигуры и по молчанію видно было, что все, что разсказывалъ ему старикъ, было не ново для него, что это онъ давно уже передумалъ и зналъ гораздо больше того, что было извѣстно старику.

— На своемъ вѣку я, признаться, разъ десять искалъ счастья,—сказалъ старикъ, конфузливо почесываясь.—На настоящихъ мѣстахъ искалъ, да, знать, попадалъ все на заговоренные клады. И отецъ мой искалъ, и братъ искалъ—ни шута не находили, такъ и умерли безъ счастья. Брату моему Ильѣ, царство ему небесное, одинъ монахъ открылъ, что въ Таганрогѣ, въ крѣпости, въ одномъ мѣстѣ подъ тремя камнями кладъ есть, и что кладъ этотъ заговоренный, а въ тѣ поры — было это, помню, въ тридцать восьмомъ году — въ Матвѣевомъ Курганѣ армяшка жилъ, талисманы продавалъ. Купилъ Илья талисманъ, взялъ двухъ ребятъ съ собой и пошелъ въ Таганрогъ. Только, братъ, подходитъ онъ къ мѣсту въ крѣпости, а у самаго мѣста солдатъ съ ружьемъ стоитъ.

Въ тихомъ воздухѣ, разсыпаясь по степи, пронесся звукъ. Что-то вдали грозно ахнуло, ударилось о камень и побѣжало по степи, издавая: «тахъ! тахъ! тахъ! тахъ!» Когда

звукъ замеръ, старикъ вопросительно поглядѣлъ на равнодушнаго, неподвижно стоявшаго Пантелея.

— Это въ шахтахъ бадья сорвалась,—сказалъ молодой, подумавъ.

Уже свѣтало. Млечный путь блѣднѣлъ и мало-по-малу таялъ, какъ снѣгъ, теряя свои очертанія. Небо становилось хмурымъ и мутнымъ, когда не разберешь, чисто оно, или покрыто сплошь облаками, и только по ясной, глянцовитой полосѣ на востокѣ и по кое-гдѣ уцѣлѣвшимъ звѣздамъ поймешь, въ чемъ дѣло.

Первый утренній вѣтерокъ безъ шороха, осторожно шевеля молочаемъ и бурыми стеблями прошлогодняго бурьяна, пробѣжалъ вдоль дороги.

Объѣздчикъ очнулся отъ мыслей и встряхнулъ головой. Обѣими руками онъ потрясъ сѣдло, потрогалъ подпругу и, какъ бы не рѣшаясь сѣсть на лошадь, опять остановился въ раздумьѣ.

— Да,—сказалъ онъ:—близокъ локоть да не укусишь... Есть счастье, да нѣтъ ума искать его.

И онъ повернулся лицомъ къ пастухамъ. Строгое лицо его было грустно и насмѣшливо, какъ у разочарованнаго.

— Да, такъ и умрешь, не повидавши счастья, какое оно такое есть...—сказалъ онъ съ разстановкой, поднимая лѣвую ногу къ стремени.—Кто помоложе, можетъ, и дождется, а намъ ужъ и думать пора бросить.

Поглаживая свои длинные, покрытые росой усы, онъ грузно усѣлся на лошади и съ такимъ видомъ, какъ будто забылъ что-то или не досказалъ, прищурилъ глаза на даль. Въ синеватой дали, гдѣ послѣдній видимый холмъ сливался съ туманомъ, ничто не шевелилось; сторожевые и могильные курганы, которые тамъ и сямъ высились надъ горизонтомъ и безграничною степью, глядѣли сурово и мертво; въ ихъ неподвижности и беззвучіи чувствовались вѣка и полное равнодушіе къ человѣку; пройдетъ еще тысяча лѣтъ, умрутъ милліарды людей, а они все еще будутъ стоять, какъ стояли, нимало не сожалѣя объ умершихъ, не интересуясь живыми, и ни одна душа не будетъ знать, зачѣмъ они стоятъ и какую степную тайну прячутъ подъ собой.

Проснувшіеся грачи, молча и въ одиночку, летали надъ землей. Ни въ лѣнивомъ полетѣ этихъ долговѣчныхъ птицъ,

ни въ утрѣ, которое повторяется аккуратно каждыя сутки, ни въ безграничности степи — ни въ чемъ не видно было смысла. Объѣздчикъ усмѣхнулся и сказалъ:

— Экая ширь, Господи помилуй! Пойди-ка, найди счастье! Тутъ,—продолжалъ онъ, понизивъ голосъ и дѣлая лицо серьезнымъ:—тутъ навѣрняка зарыты два клада. Господа про нихъ не знаютъ, а старымъ мужикамъ, особливо солдатамъ, до точности про нихъ извѣстно. Тутъ, гдѣ-то на этомъ кряжѣ (объѣздчикъ указалъ въ сторону нагайкой), когда-то во время оно разбойники напали на караванъ съ золотомъ; золото это везли изъ Петербурга Петру императору, который тогда въ Воронежѣ флотъ строилъ. Разбойники побили возчиковъ, а золото закопали, да потомъ и не нашли. Другой же кладъ наши донскіе казаки зарыли. Въ двѣнадцатомъ году они у француза всякаго добра, серебра и золота награбили видимо-невидимо. Когда ворочались къ себѣ домой, то прослышали дорогой, что начальство хочетъ у нихъ отобрать все золото и серебро. Чѣмъ начальству такъ зря отдавать добро, они, молодцы, взяли и зарыли его, чтобъ хоть дѣтямъ досталось, а гдѣ зарыли — неизвѣстно.

— Я слышалъ про эти клады, — угрюмо пробормоталъ старикъ.

— Да,—задумался опять Пантелей.—Такъ...

Наступило молчаніе. Объѣздчикъ задумчиво поглядѣлъ на даль, усмѣхнулся и тронулъ повода все съ тѣмъ же выраженіемъ, какъ будто забылъ что-то или не досказалъ. Лошадь неохотно пошла шагомъ. Проѣхавъ шаговъ сто, Пантелей рѣшительно встряхнулъ головой, очнулся отъ мыслей и, стегнувъ по лошади, поскакалъ рысью.

Пастухи остались одни.

— Это Пантелей изъ Макаровской экономіи, — сказалъ старикъ.—Полтораста въ годъ получаетъ, на хозяйскихъ харчахъ. Образованный человѣкъ...

Проснувшіяся овцы — ихъ было около трехъ тысячъ — неохотно, отъ нечего дѣлать принялись за невысокую, на половину утоптанную траву. Солнце еще не взошло, но уже были видны всѣ курганы и далекая, похожая на облако, Сауръ-Могила съ остроконечной верхушкой. Если взобраться на эту могилу, то съ нея видна равнина, такая же ровная и безграничная, какъ небо, видны барскія

усадьбы, хутора нѣмцевъ и молоканъ, деревни, а дальнозоркій калмыкъ увидитъ даже городъ и поѣзда желѣзныхъ дорогъ. Только отсюда и видно, что на этомъ свѣтѣ, кромѣ молчаливой степи и вѣковыхъ кургановъ, есть другая жизнь, которой нѣтъ дѣла до закрытаго счастья и овечьихъ мыслей.

Старикъ нащупалъ возлѣ себя свою «герлыгу», длинную палку съ крючкомъ на верхнемъ концѣ, и поднялся. Онъ молчалъ и думалъ. Съ лица молодого еще не сошло младенческое выраженіе страха и любопытства. Онъ находился подъ впечатлѣніемъ слышаннаго и съ нетерпѣніемъ ждалъ новыхъ разсказовъ.

— Дѣдъ,—спросилъ онъ, поднимаясь и беря свою герлыгу:—что же твой братъ Илья съ солдатомъ сдѣлалъ?

Старикъ не разслышалъ вопроса. Онъ разсѣянно поглядѣлъ на молодого и отвѣтилъ, пошамкавъ губами:

— А я, Санька, все думаю про тотъ ярлыкъ, что въ Ивановкѣ солдату показывали. Я Пантелею не сказалъ, Богъ съ нимъ, а вѣдь въ ярлыкѣ обозначено такое мѣсто, что даже баба найдетъ. Знаешь, какое мѣсто? Въ Богатой Балочкѣ, въ томъ, знаешь, мѣстѣ, гдѣ балка, какъ гусиная лапка, расходится на три балочки; такъ въ средней.

— Что жъ, будешь рыть?

— Попытаю счастья...

— Дѣдъ, а что ты станешь дѣлать съ кладомъ, когда найдешь его?

— Я-то?—усмѣхнулся старикъ.—Гм!.. Только бы найти, а то... показалъ бы я всѣмъ Кузькину мать... Гм!.. Знаю, что дѣлать...

И старикъ не сумѣлъ отвѣтить, что онъ будетъ дѣлать съ кладомъ, если найдетъ его. За всю жизнь этотъ вопросъ представился ему въ это утро, вѣроятно, впервые, а судя по выраженію лица, легкомысленному и безразличному, не казался ему важнымъ и достойнымъ размышленія. Въ головѣ Саньки копошилось еще одно недоумѣніе: почему клады ищутъ только старики и къ чему сдалось земное счастье людямъ, которые каждый день могутъ умереть отъ старости? Но недоумѣніе это Санька не умѣлъ вылить въ вопросъ, да едва ли бы старикъ нашелъ, что отвѣтить ему.

Окруженное легкою мутью, показалось громадное багро-

ныя, купаясь

лымъ видомъ,

надоѣло имъ,

лынь, голубые

васильки—все

инца за свою

краямъ отары.

я въ землю и

ѣ, второй же

совало его не

непонятно, а

счастья.

непонятномъ

у отъ отары.

льныя и тягу-

омъ же непо-

рону, но тот-

на васъ по-

ый зной, стало

галось и изда-

рикъ и Санька

жныхъ краевъ

на молитвѣ, и

другъ друга,

жизнью. Овцы

# ТИФЪ.

Въ почтовомъ поѣздѣ, шедшемъ изъ Петербурга въ Москву, въ отдѣленіи для курящихъ ѣхалъ молодой поручикъ Климовъ. Противъ него сидѣлъ пожилой человѣкъ съ бритой шкиперской физіономіей, по всѣмъ видимостямъ, зажиточный чухонецъ или шведъ, всю дорогу сосавшій трубку и говорившій на одну и ту же тему:

— Га, вы официрь! У меня тоже братъ официрь, но только онъ морьякъ... Онъ морьякъ и служитъ въ Кронштадтъ. Вы зачѣмъ ѣдете въ Москву?

— Я тамъ служу.

— Га! А вы семейный?

— Нѣтъ, я живу съ теткой и сестрой.

— Мой братъ тоже официрь, морьякъ, но онъ семейный, имѣетъ жена и три ребенка. Га!

Чухонецъ чему-то удивлялся, идіотски-широко улыбался, когда восклицалъ «га!», и то и дѣло продувалъ свою вонючую трубку. Климовъ, которому нездоровилось и тяжело было отвѣчать на вопросы, ненавидѣлъ его всей душой. Онъ мечталъ о томъ, что хорошо бы вырвать изъ его рукъ сипѣвшую трубку и швырнуть ее подъ диванъ, а самого чухонца прогнать куда-нибудь въ другой вагонъ.

«Противный народъ эти чухонцы и... греки,—думалъ онъ.—Совсѣмъ лишній, ни къ чему не нужный, противный народъ. Занимаютъ только на земномъ шарѣ мѣсто. Къ чему они?»

И мысль о чухонцахъ и грекахъ производила во всемъ его тѣлѣ что-то въ родѣ тошноты. Для сравненія хотѣлъ

онъ думать о французахъ и итальянцахъ, но воспоминаніе объ этихъ народахъ вызывало въ немъ представленіе почему-то только о шарманщикахъ, голыхъ женщинахъ и заграничныхъ олеографіяхъ, которыя висятъ дома у тетки надъ комодомъ.

Вообще офицеръ чувствовалъ себя ненормальнымъ. Руки и ноги его какъ-то не укладывались на диванѣ, хотя весь диванъ былъ къ его услугамъ, во рту было сухо и липко, въ головѣ стоялъ тяжелый туманъ; мысли его, казалось, бродили не только въ головѣ, но и внѣ черепа, межъ дивановъ и людей, окутанныхъ въ ночную мглу. Сквозь головную муть, какъ сквозь сонъ, слышалъ онъ бормотанье голосовъ, стукъ колесъ, хлопанье дверей. Звонки, свистки, кондуктора, бѣготня публики по платформѣ слышались чаще, чѣмъ обыкновенно. Время летѣло быстро, незамѣтно, и потому казалось, что поѣздъ останавливался около станцій каждую минуту, и то и дѣло извнѣ доносились металлическіе голоса:

— Готова почта?

— Готова!

Казалось, что слишкомъ часто истопникъ входилъ и поглядывалъ на термометръ, что шумъ встрѣчнаго поѣзда и грохотъ колесъ по мосту слышались безъ перерыва. Шумъ, свистки, чухонецъ, табачный дымъ—все это, мѣшаясь съ угрозами и миганьемъ туманныхъ образовъ, форму и характеръ которыхъ не можетъ припомнить здоровый человѣкъ, давило Климова невыносимымъ кошмаромъ. Въ страшной тоскѣ онъ поднималъ тяжелую голову, взглядывалъ на фонарь, въ лучахъ котораго кружились тѣни и туманныя пятна, хотѣлъ просить воды, но высохшій языкъ едва шевелился, и едва хватало силы отвѣчать на вопросы чухонца. Онъ старался поудобнѣе улечься и уснуть, но это ему не удавалось; чухонецъ нѣсколько разъ засыпалъ, просыпался и закуривалъ трубку, обращался къ нему со своимъ «га!» и вновь засыпалъ, а ноги поручика все никакъ не укладывались на диванѣ и грозящіе образы все стояли передъ глазами.

Въ Спировѣ онъ вышелъ на станцію, чтобы выпить воды. Онъ видѣлъ, какъ за столомъ сидѣли люди и спѣшили ѣсть.

«И какъ они могутъ ѣсть!» — думалъ онъ, стараясь не нюхать воздуха, пахнущаго жаренымъ мясомъ, и не гля-

дѣть на жующіе рты, — то и другое казалось ему противнымъ до тошноты.

Какая-то красивая дама громко бесѣдовала съ военнымъ въ красной фуражкѣ и, улыбаясь, показывала великолѣпные бѣлые зубы; и улыбка, и зубы, и сама дама произвели на Климова такое же отвратительное впечатлѣніе, какъ окорокъ и жареныя котлеты. Онъ не могъ понять, какъ это военному въ красной фуражкѣ не жутко сидѣть возлѣ нея и глядѣть на ея здоровое, улыбающееся лицо.

Когда онъ, выпивъ воды, вернулся въ вагонъ, чухонецъ сидѣлъ и курилъ. Его трубка сипѣла и всхлипывала, какъ дырявая калоша въ сырую погоду.

— Га!—удивился онъ.—Это какая станція?

— Не знаю,—отвѣтилъ Климовъ, ложась и закрывая ротъ, чтобы не дышать ѣдкимъ табачнымъ дымомъ.

— А въ Твери когда мы будемъ?

— Не знаю. Извините, я... я не могу отвѣчать. Я боленъ, простудился сегодня.

Чухонецъ постучалъ трубкой объ оконную раму и сталъ говорить о своемъ братѣ-морякѣ. Климовъ ужъ болѣе не слушалъ его и съ тоской вспоминалъ о своей мягкой, удобной постели, о графинѣ съ холодной водой, о сестрѣ Катѣ, которая такъ умѣетъ уложить, успокоить, подать воды. Онъ даже улыбнулся, когда въ его воображеніи мелькнулъ деньщикъ Павелъ, снимающій съ барина тяжелые, душные сапоги и ставящій на столикъ воду. Ему казалось, что стоитъ только лечь въ свою постель, выпить воды, и кошмаръ уступилъ бы свое мѣсто крѣпкому, здоровому сну.

— Почта готова?—донесся издали глухой голосъ.

— Готова!—отвѣтилъ басъ почти у самаго окна.

Это была уже вторая или третья станція отъ Спирова.

Время летѣло быстро, скачками, и казалось, что звонкамъ, свисткамъ и остановкамъ не будетъ конца. Климовъ въ отчаяніи уткнулся лицомъ въ уголъ дивана, обхватилъ руками голову и сталъ опять думать о сестрѣ Катѣ и деньщикѣ Павлѣ, но сестра и деньщикъ смѣшались съ туманными образами, завертѣлись и исчезли. Его горячее дыханіе, отражаясь отъ спинки дивана, жгло ему лицо, ноги лежали неудобно, въ спину дуло отъ окна, но, какъ ни мучительно было ему ужъ не хотѣлось перемѣнять свое

по-малу овла-

тонѣ было уже
лись. Поѣздъ
и съ бляхами
ихъ чемоданы.
ъ за другими
ѣть не онъ, а
ъ чувствовалъ,
каръ, жажда и
вали ему спать.
лъ извозчика.
рубль съ чет-
вно, послушно
понималъ, но
ы.
атя, восемнад-
а она здорова-
вспомнилъ, что
Не отвѣчая на
отъ жара, онъ
атамъ и, дойдя
ухонецъ, крас-
пахъ жаренаго
и уже онъ не
ыхъ голосовъ.
постели, раздѣ-
а, но отъ этого
удобнѣе. Ноги
прилипалъ къ
трубки... Возлѣ
авла, суетился

онъ.—Отлично,

сто «такъ» го-

къ... Отлично,

тая физіономія
имова.

— Зачѣмъ вы зовете меня юношей?—простоналъ онъ.— Что за фамильярность? Къ чорту!

И онъ испугался своего голоса. Этотъ голосъ былъ до того сухъ, слабъ и пѣвучъ, что его нельзя было узнать.

— Отлично, отлично,—забормоталъ докторъ, нисколько не обижаясь.—Не надо сердиться... Дэ, дэ, дэ...

И дома время летѣло такъ же поразительно быстро, какъ и въ вагонѣ... Дневной свѣтъ въ спальной то и дѣло смѣнялся ночными сумерками. Докторъ, казалось, не отходилъ отъ кровати и каждую минуту слышалось его «дэ, дэ, дэ». Черезъ спальную непрерывно тянулся рядъ лицъ. Тутъ были: Павелъ, чухонецъ, штабсъ-капитанъ Ярошевичъ, фельдфебель Максименко, красная фуражка, дама съ бѣлыми зубами, докторъ. Всѣ они говорили, махали руками, курили, ѣли. Разъ даже при дневномъ свѣтѣ Климовъ видѣлъ своего полкового священника о. Александра, который въ эпитрахили и съ требникомъ въ рукахъ стоялъ передъ кроватью и бормоталъ что-то съ такимъ серьезнымъ лицомъ, какого раньше Климовъ не наблюдалъ у него. Поручикъ вспомнилъ, что о. Александръ всѣхъ офицеровъ-католиковъ пріятельски обзывалъ «ляхами», и, желая посмѣшить его, крикнулъ:

— Батя, ляхъ Ярошевичъ до лясу бѣжалъ!

Но о. Александръ, человѣкъ смѣшливый и веселый, не засмѣялся, а сталъ еще серьезнѣе и перекрестилъ Климова. Ночью разъ за разомъ безшумно входили и выходили двѣ тѣни. То были тетка и сестра. Тѣнь сестры становилась на колѣни и молилась: она кланялась образу, кланялась на стѣнѣ и ея сѣрая тѣнь, такъ что Богу молились двѣ тѣни. Все время пахло жаренымъ мясомъ и трубкой чухонца, но разъ Климовъ почувствовалъ рѣзкій запахъ ладана. Онъ задвигался отъ тошноты и сталъ кричать:

— Ладанъ! Унесите ладанъ!

Отвѣта не было. Слышно было только, какъ гдѣ-то не громко пѣли священники и какъ кто-то бѣгалъ по лѣстницѣ.

Когда Климовъ очнулся отъ забытья, въ спальной не было ни души. Утреннее солнце било въ окно сквозь спущенную занавѣску, и дрожащій лучъ, тонкій и граціозный, какъ лезвіе, игралъ на графинѣ. Слышался стукъ колесъ— значитъ, снѣга уже не было на улицѣ. Поручикъ поглядѣлъ

на лучъ, на знакомую мебель, на дверь и первымъ дѣломъ засмѣялся. Грудь и животъ задрожали отъ сладкаго, счастливаго и щекочущаго смѣха. Всѣмъ его существомъ, отъ головы до ногъ, овладѣло ощущеніе безконечнаго счастья и жизненной радости, какую, вѣроятно, чувствовалъ первый человѣкъ, когда былъ созданъ и впервые увидѣлъ міръ. Климовъ страстно захотѣлъ движенія, людей, рѣчей. Тѣло его лежало неподвижнымъ пластомъ, шевелились однѣ только руки, но онъ это едва замѣтилъ и все вниманіе свое устремилъ на мелочи. Онъ радовался своему дыханію, своему смѣху, радовался, что существуетъ графинъ, потолокъ, лучъ, тесемка на занавѣскѣ. Міръ Божій даже въ такомъ тѣсномъ уголкѣ, какъ спальня, казался ему прекраснымъ, разнообразнымъ, великимъ. Когда явился докторъ, поручикъ думалъ о томъ, какая славная штука медицина, какъ милъ и симпатиченъ докторъ, какъ вообще хороши и интересны люди.

— Дэ, дэ, дэ... — сыпалъ докторъ. — Отлично, отлично... Теперь ужъ мы здоровы... Тэкъ, тэкъ.

Поручикъ слушалъ и радостно смѣялся. Вспомнилъ онъ чухонца, даму съ бѣлыми зубами, окорокъ, и ему захотѣлось курить, ѣсть.

— Докторъ,—сказалъ онъ:—прикажите дать мнѣ корочку ржаного хлѣба съ солью и... и сардинъ.

Докторъ отказалъ, Павелъ не послушался приказанія и не пошелъ за хлѣбомъ. Поручикъ не вынесъ этого и заплакалъ, какъ капризный ребенокъ.

— Малюточка!—засмѣялся докторъ.—Мама, бай, а-а!

Климовъ тоже засмѣялся и, по уходѣ доктора, крѣпко уснулъ. Проснулся онъ съ тою же радостью и съ ощущеніемъ счастья. Возлѣ постели сидѣла тетка.

— А, тетя!—обрадовался онъ.—Что у меня было?

— Сыпной тифъ.

— Вотъ что. А теперь мнѣ хорошо, очень хорошо! Гдѣ Катя?

— Дома нѣтъ. Вѣроятно, зашла куда-нибудь съ экзамена.

Старуха сказала это и нагнулась къ чулку; губы ея затряслись, она отвернулась и вдругъ зарыдала. Въ отчаяніи, забывъ запрещеніе доктора, она проговорила:

— Ахъ, Катя, Катя! Нѣтъ нашего ангела! Нѣтъ!

Она уронила чулокъ и нагнулась за нимъ, и въ это время съ головы ея свалился чепецъ. Взглянувъ на ея сѣдую голову и ничего не понимая, Климовъ испугался за Катю и спросилъ:

— Гдѣ же она? Тетя!

Старуха, которая уже забыла про Климова и помнила только свое горе, сказала:

— Заразилась отъ тебя тифомъ и... и умерла. Третьяго дня похоронили.

Эта страшная, неожиданная новость цѣликомъ вошла въ сознаніе Климова, но какъ ни была она страшна и сильна, она не могла побороть животной радости, наполнявшей выздоравливающаго поручика. Онъ плакалъ, смѣялся и скоро сталъ браниться за то, что ему не даютъ ѣсть.

Только спустя недѣлю, когда онъ въ халатишкѣ, поддерживаемый Павломъ, подошелъ къ окну, поглядѣлъ на пасмурное весеннее небо и прислушался къ непріятному стуку старыхъ рельсовъ, которые провозили мимо, сердце его сжалось отъ боли, онъ заплакалъ и припалъ лбомъ къ оконной рамѣ.

— Какой я несчастный!—забормоталъ онъ.—Боже, какой я несчастный!

И радость уступила свое мѣсто обыденной скукѣ и чувству невозвратимой потери.

отданный три
у Аляхину, въ
давшись, когда
къ досталъ изъ
ручку съ за-
обой измятый
вывести первую
ся на двери и
стороны кото-
сто вздохнулъ.
стоялъ передъ

писалъ онъ.—
Рождествомъ и
меня ни отца,
ся».
которомъ мель-
лъ себѣ своего
очнымъ сторо-
тощенькій, но
ка, лѣтъ 65-ти,
лазами. Днемъ
тъ съ кухар-
тулупъ, ходитъ
ику. За нимъ,
та и кобелекъ
цвѣтъ и тѣло
новенно почти-

теленъ и ласковъ, одинаково умильно смотритъ какъ на своихъ, такъ и на чужихъ, но кредитомъ не пользуется. Подъ его почтительностью и смиреніемъ скрывается самое іезуитское ехидство. Никто лучше его не умѣетъ во-время подкрасться и цапнуть за ногу, забраться въ ледникъ, или украсть у мужика курицу. Ему ужъ не разъ отбивали заднія ноги, раза два его вѣшали, каждую недѣлю пороли до полусмерти, но онъ всегда оживалъ.

Теперь, навѣрно, дѣдъ стоитъ у воротъ, щуритъ глаза на ярко-красныя окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагуритъ съ дворней. Колотушка его подвязана къ поясу. Онъ всплескиваетъ руками, пожимается отъ холода и, старчески хихикая, щиплетъ то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто намъ понюхать?—говоритъ онъ, подставляя бабамъ свою табакерку.

Бабы нюхаютъ и чихаютъ. Дѣдъ приходитъ въ неописанный восторгъ, заливается веселымъ смѣхомъ и кричитъ:

— Отдирай, примерзло!

Даютъ понюхать табаку и собакамъ. Каштанка чихаетъ, крутитъ мордой и, обиженная, отходитъ въ сторону. Вьюнъ же изъ почтительности не чихаетъ и вертитъ хвостомъ. А погода великолѣпная. Воздухъ тихъ, прозраченъ и свѣжъ. Ночь темна, но видно всю деревню съ ея бѣлыми крышами и струйками дыма, идущими изъ трубъ, деревья, посеребренныя инеемъ, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звѣздами, и млечный путь вырисовывается такъ ясно, какъ будто его передъ праздникомъ помыли и потерли снѣгомъ...

Ванька вздохнулъ, умокнулъ перо и продолжалъ писать:

«А вчерась мнѣ была выволочка. Хозяинъ выволокъ меня за волосы на дворъ и отчесалъ шпандыремъ за то, что я качалъ ихняго ребятенка въ люлькѣ и по нечаянности заснулъ. А на недѣлѣ хозяйка велѣла мнѣ почистить селедку, а я началъ съ хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня въ харю тыкать. Подмастерья надо мной насмѣхаются, посылаютъ въ кабакъ за водкой и велятъ красть у хозяевъ огурцы, а хозяинъ бьетъ чѣмъ попадя. А ѣды нѣту никакой. Утромъ даютъ хлѣба, въ обѣдъ каши и къ вечеру тоже хлѣба, а чтобъ чаю или щей, то хозяева сами трескаютъ. А спать мнѣ велятъ въ сѣняхъ, а когда ребятенокъ ихній плачетъ, я вовсе не сплю, а качаю люльку.

Милый дѣдушка, сдѣлай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нѣту никакой моей возможности... Кланяюсь тебѣ въ ножки и буду вѣчно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру»...

Ванька покривилъ ротъ, потеръ своимъ чернымъ кулакомъ глаза и всхлипнулъ.

«Я буду тебѣ табакъ тереть, — продолжалъ онъ: — Богу молиться, а если что, то сѣки меня, какъ Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мнѣ нѣту, то я Христа-ради попрошусь къ приказчику сапоги чистить, али замѣсто Ѳедьки въ подпаски пойду. Дѣдушка милый, нѣту никакой возможности, просто смерть одна. Хотѣлъ было пѣшкомъ на деревню бѣжать, да сапоговъ нѣту, морозу боюсь. А когда выросту большой, то за это самое буду тебя кормить и въ обиду никому не дамъ, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно какъ за мамку Пелагѣю».

«А Москва городъ большой. Дома все господскіе и лошадей много, а овецъ нѣту и собаки не злыя. Со звѣздой тутъ ребята не ходятъ и на клиросъ пѣть никого не пущаютъ, а разъ я видалъ въ одной лавкѣ, на окнѣ, крючки продаются прямо съ леской и на всякую рыбу, очень стоющіе, даже такой есть одинъ крючокъ, что пудоваго сома удержитъ. И видалъ которыя лавки, гдѣ ружья всякія на манеръ бариновыхъ, такъ что, небось, рублей сто кажное... А въ мясныхъ лавкахъ и тетерева, и рябцы, и зайцы, а въ которомъ мѣстѣ ихъ стрѣляютъ, про то сидѣльцы не сказываютъ».

«Милый дѣдушка, а когда у господъ будетъ елка съ гостинцами, возьми мнѣ золоченый орѣхъ и въ зеленый сундучокъ спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи — для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнулъ и опять уставился на окно. Онъ вспомнилъ, что за елкой для господъ всегда ходилъ въ лѣсъ дѣдъ и бралъ съ собою внука. Веселое было время! И дѣдъ крякалъ, и морозъ крякалъ, а глядя на нихъ, и Ванька крякалъ. Бывало, прежде чѣмъ вырубить елку, дѣдъ выкуриваетъ трубку, долго нюхаетъ табакъ, посмѣивается надъ озябшимъ Ванюшкой... Молодыя елки, окутанныя инеемъ, стоятъ неподвижно и ждутъ, которой изъ нихъ помирать? Откуда ни возьмись, по сугробамъ летитъ стрѣлой заяцъ... Дѣдъ не можетъ, чтобъ не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ахъ, куцый дьяволъ!

Срубленную елку дѣдъ тащилъ въ господскій домъ, а тамъ принимались убирать ее... Больше всѣхъ хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господъ въ горничныхъ, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и отъ нечего дѣлать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцовать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сиротку Ваньку спровадили въ людскую кухню къ дѣду, а изъ кухни въ Москву къ сапожнику Аляхину...

«Пріѣзжай, милый дѣдушка,—продолжалъ Ванька:—Христомъ Богомъ тебя молю, возьми меня отседа. Пожалѣй ты меня, сироту несчастную, а то меня всѣ колотятъ и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А намедни хозяинъ колодкой по головѣ ударилъ, такъ что упалъ и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Аленѣ, кривому Егоркѣ и кучеру, а гармонію мою никому не отдавай. Остаюсь твой внукъ Иванъ Жуковъ, милый дѣдушка пріѣзжай».

Ванька свернулъ вчетверо исписанный листъ и вложилъ его въ конвертъ, купленный наканунѣ за копейку... Подумавъ немного, онъ умокнулъ перо и написалъ адресъ:

*На деревню дѣдушкѣ.*

Потомъ почесался, подумалъ и прибавилъ: «Константину Макарычу». Довольный тѣмъ, что ему не помѣшали писать, онъ надѣлъ шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо въ рубахѣ выбѣжалъ на улицу...

Сидѣльцы изъ мясной лавки, которыхъ онъ разспрашивалъ наканунѣ, сказали ему, что письма опускаются въ почтовые ящики, а изъ ящиковъ развозятся по всей землѣ на почтовыхъ тройкахъ съ пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добѣжалъ до перваго почтоваго ящика и сунулъ драгоцѣнное письмо въ щель...

Убаюканный сладкими надеждами, онъ, часъ спустя, крѣпко спалъ... Ему снилась печка. На печи сидитъ дѣдъ, свѣсивъ босыя ноги, и читаетъ письмо кухаркамъ... Около печи ходитъ Вьюнъ и вертитъ хвостомъ...

# СВИРѢЛЬ.

Разморенный духотою еловой чащи, весь въ паутинѣ и въ хвойныхъ иглахъ, пробирался съ ружьемъ къ опушкѣ приказчикъ изъ Дементьева хутора, Мелитонъ Шишкинъ. Его Дамка—помѣсь дворняги съ сетеромъ—необыкновенно худая и беременная, поджимая подъ себя мокрый хвостъ, плелась за хозяиномъ и всячески старалась не наколоть себѣ носа. Утро было нехорошее, пасмурное. Съ деревьевъ, окутанныхъ легкимъ туманомъ, и съ папоротника сыпались крупныя брызги, лѣсная сырость издавала острый запахъ гнили.

Впереди, гдѣ кончалась чаща, стояли березы, а сквозь ихъ стволы и вѣтви видна была туманная даль. Кто-то за березами игралъ на самодѣлковой, пастушеской свирѣли. Игрокъ бралъ не болѣе пяти-шести нотъ, лѣниво тянулъ ихъ, не стараясь связать ихъ въ мотивъ, но тѣмъ не менѣе въ его пискѣ слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое.

Когда чаща порѣдѣла и елки уже мѣшались съ молодой березой, Мелитонъ увидѣлъ стадо. Спутанныя лошади, коровы и овцы бродили между кустовъ и, потрескивая сучьями, обнюхивали лѣсную траву. На опушкѣ, прислонившись къ мокрой березкѣ, стоялъ старикъ-пастухъ, тощій, въ рваной сермягѣ и безъ шапки. Онъ глядѣлъ въ землю, о чемъ-то думалъ и игралъ на свирѣли, повидимому, машинально.

— Здравствуй, дѣдъ! Богъ на помощь!—привѣтствовалъ его Мелитонъ тонкимъ, сиплымъ голоскомъ, который совсѣмъ не шелъ къ его громадному росту и большому, мя-

систему лицу.— А ловко ты на дудочкѣ дудишь! Чье стадо пасешь?

— Артамоновское,— нехотя отвѣтилъ пастухъ и сунулъ свирѣль за пазуху.

— Стало-быть, и лѣсъ артамоновскій?—спросилъ Мелитонъ, оглядываясь. — И впрямь артамоновскій, скажи на милость... Совсѣмъ-было заблудился. Всю харю себѣ въ чепыгѣ исцарапалъ.

Онъ сѣлъ на мокрую землю и сталъ лѣпить изъ газетной бумаги папиросу.

Подобно жиденькому голоску, все у этого человѣка было мелко и не соотвѣтствовало его росту, ширинѣ и мясистому лицу: и улыбка, и глазки, и пуговки, и картузикъ, едва державшійся на жирной, стриженой головѣ. Когда онъ говорилъ и улыбался, то въ его бритомъ, пухломъ лицѣ и во всей фигурѣ чувствовалось что-то бабье, робкое и смиренное.

— Ну, погода, не дай Богъ!—сказалъ онъ и покрутилъ головой. — Люди еще овса не убрали, а дождикъ словно нанялся, Богъ съ нимъ.

Пастухъ поглядѣлъ на небо, откуда моросилъ дождь, на лѣсъ, на мокрую одежду приказчика, подумалъ и ничего не сказалъ.

— Все лѣто такое было...—вздохнулъ Мелитонъ.—И мужикамъ плохо, и господамъ никакого удовольствія.

Пастухъ еще разъ поглядѣлъ на небо, подумалъ и сказалъ съ разстановкой, точно разжевывая каждое слово:

— Все къ одному клонится... Добра не жди.

— Какъ у васъ тутъ? — спросилъ Мелитонъ, закуривая. — Не видалъ въ артамоновской сѣчи тетеревиныхъ выводковъ?

Пастухъ отвѣтилъ не сразу. Онъ опять поглядѣлъ на небо и въ стороны, подумалъ, поморгалъ глазами... Повидимому, своимъ словамъ придавалъ онъ не малое значеніе и, чтобы усугубить имъ цѣну, старался произносить ихъ въ растяжку, съ нѣкоторою торжественностью. Выраженіе лица его было старчески острое, степенное и оттого, что носъ былъ перехваченъ поперекъ сѣдлообразной выемкой и ноздри глядѣли кверху, казалось хитрымъ и насмѣшливымъ.

— Нѣтъ, кажись, не видалъ, — отвѣтилъ онъ. — Нашъ охотникъ Еремка сказывалъ, будто на Ильинъ день со-

гналъ около Пустошья одинъ выводокъ, да должно, брешетъ. Мало птицы.

— Да, братъ, мало... Вездѣ мало! Охота, ежели здравомысленно разсудить, ничтожная и нестоющая. Дичи совсѣмъ нѣтъ, а которая есть, такъ объ ту сейчасъ нечего и рукъ марать — не выросла еще! Такая еще мелочь, что глядѣть совѣстно.

Мелитонъ усмѣхнулся и махнулъ рукой.

— Такое дѣлается на этомъ свѣтѣ, что просто смѣхъ, да и только! Птица нынче стала несообразная, поздно на яйца садится, и есть такія, которыя еще на Петровъ день съ яицъ не вставали. Ей-Богу!

— Все къ одному клонится, — сказалъ пастухъ, поднимая вверхъ лицо. — Лѣтошній годъ мало дичи было, въ этомъ году еще меньше, а лѣтъ черезъ пять, почитай, ея вовсе не будетъ. Я такъ примѣчаю, что скоро не то что дичи, а никакой птицы не останется.

— Да,—согласился Мелитонъ, подумавъ.—Это вѣрно.

Пастухъ горько усмѣхнулся и покачалъ головой.

— Удивленіе!—сказалъ онъ.—И куда оно все дѣвалось? Лѣтъ двадцать назадъ, помню, тутъ и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева—туча-тучей! Бывало, съѣдутся господа на охоту, такъ только и слышишь: пу-пу-пу! пу-пу-пу! Дупелямъ, бекасамъ да кроншпилямъ переводу не было, а мелкіе чирята да кулики все равно, какъ скворцы или, скажемъ, воробцы—видимо-невидимо! И куда оно все дѣвалось! Даже злой птицы не видать. Пошли прахомъ и орлы, и соколы, и филины... Меньше стало и всякаго звѣрья. Нынче, братъ, волкъ и лисица въ диковинку, а не то, что медвѣдь или норка. А вѣдь прежде даже лоси были! лѣтъ сорокъ я примѣчаю изъ года въ годъ Божьи дѣла и такъ понимаю, что все къ одному клонится.

— Къ чему?

— Къ худу, паря. Надо думать, къ гибели... Пришла пора Божьему міру погибать.

Старикъ надѣлъ картузъ и сталъ глядѣть на небо.

— Жалко!—вздохнулъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.— И, Боже, какъ жалко! Оно, конечно, Божья воля, не нами міръ сотворенъ, а все-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнетъ, или, скажемъ, одна корова падетъ, и то жалость беретъ, а каково, добрый человѣкъ, глядѣть, коли

весь міръ идетъ прахомъ? Сколько добра, Господи Іисусе! И солнце, и небо, и лѣса, и рѣки, и твари—все вѣдь это сотворено, приспособлено, другъ къ дружкѣ прилажено. Всякое до дѣла доведено и свое мѣсто знаетъ. И всему этому пропадать надо!

На лицѣ пастуха вспыхнула грустная улыбка и вѣки его заморгали.

— Ты говоришь—міру погибель... — сказалъ Мелитонъ, думая. — Можетъ, и скоро конецъ свѣта, а только нельзя по птицѣ судя. Это наврядъ, чтобы птица могла обозначать.

— Не одни птицы,—сказалъ пастухъ. — И звѣри тоже, и скотина, и пчелы, и рыба... Мнѣ не вѣришь, спроси стариковъ; каждый тебѣ скажетъ, что рыба теперь совсѣмъ не та, что была. И въ моряхъ, и въ озерахъ, и въ рѣкахъ рыбы изъ года въ годъ все меньше и меньше. Въ нашей Песчанкѣ, помню, щука въ аршинъ ловилась, и налимы водились, и язь, и лещъ, и у каждой рыбины видимость была, а нынче ежели и поймалъ щуренка или окунька въ четверть, то благодари Бога. Даже ерша настоящаго нѣтъ. Съ каждымъ годомъ все хуже и хуже, а погоди немного, такъ и совсѣмъ рыбы не будетъ. А взять таперя рѣки... Рѣки-то, небось, сохнутъ!

— Это вѣрно, что сохнутъ.

— То-то вотъ и есть. Съ каждымъ годомъ все мельче и мельче, и ужъ, братушка, нѣтъ тѣхъ омутовъ, что были. Эвона, видишь кусты? — спросилъ старикъ, указывая въ сторону. — За ними старое русло, заводиной называется: при отцѣ моемъ тамъ Песчанка текла, а таперя погляди, куда ее нечистые занесли! Мѣняетъ русло и, гляди, домѣняется до той поры, покеда совсѣмъ высохнетъ. За Кургасовымъ болота и пруды были, а нынче гдѣ они? А куда ручьи дѣвались? У насъ вотъ въ этомъ самомъ лѣсу ручей текъ, и такой ручей, что мужики въ немъ верши ставили и щукъ ловили, дикая утка около него зимовала, а нынче въ немъ и въ половодье не бываетъ путевой воды. Да, братъ, куда ни взглянь, вездѣ худо. Вездѣ!

Наступило молчаніе. Мелитонъ задумался и уставилъ глаза въ одну точку. Ему хотѣлось вспомнить хоть одно мѣсто въ природѣ, котораго еще не коснулась всеохватывающая гибель. По туману и косымъ дождевымъ полосамъ, какъ по матовымъ стекламъ, заскользили свѣтлыя пятна,

но тотчасъ же угасли,—это восходившее солнце старалось пробиться сквозь облака и взглянуть на землю.

— Да и лѣса тоже...—пробормоталъ Мелитонъ.

— И лѣса тоже...—повторилъ пастухъ.—И рубятъ ихъ, и горятъ они, и сохнутъ, а новое не растетъ. Что и вырастетъ, то сейчасъ его рубятъ; сегодня взошло, а завтра, гляди, и срубили люди—такъ безъ конца краю, покеда ничего не останется. Я, добрый человѣкъ, съ самой воли хожу съ обчественнымъ стадомъ, до воли тоже былъ у господъ въ пастухахъ, пасъ на этомъ самомъ мѣстѣ и, покеда живу, не помню того лѣтняго дня, чтобы меня тутъ не было. И все время я Божьи дѣла примѣчаю. Приглядѣлся я, братъ, за свой вѣкъ и такъ теперь понимаю, что всякая растенія на убыль пошла. Рожь ли взять, овощь ли, цвѣтикъ ли какой, все къ одному клонится.

— Зато народъ лучше сталъ,—замѣтилъ приказникъ.

— Чѣмъ это лучше?

— Умнѣй.

— Умнѣй-то умнѣй, это вѣрно, паря, да что съ того толку? На кой прахъ людямъ умъ передъ погибелью-то? Пропадать и безъ всякаго ума можно. Къ чему охотнику умъ, коли дичи нѣтъ? Я такъ разсуждаю, что Богъ человѣку умъ далъ, а силу взялъ. Слабъ народъ сталъ, до чрезвычайности слабъ. Къ примѣру меня взять... Грошъ мнѣ цѣна, во всей деревнѣ я самый послѣдній мужикъ, а все-таки, паря, сила есть. Ты вотъ гляди, мнѣ седьмой десятокъ, а я день-денской пасу, да еще ночное стерегу за другривенный и спать не сплю, и не зябну; сынъ мой умнѣй меня, а поставь его замѣсто меня, такъ онъ завтра же прибавки запроситъ, или лѣчиться пойдетъ. Такъ-тось. Я, акромѣ хлѣбушка, ничего не потребляю, потому «хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь», и отецъ мой, акромѣ хлѣба, ничего не ѣлъ, и дѣдъ, а нынѣшнему мужику и чаю давай, и водки, и булки, и чтобы спать ему отъ зари до зари, и лѣчиться, и всякое баловство. А почему? Слабъ сталъ, силы въ немъ нѣтъ вытерпѣть. Онъ и радъ бы не спать, да глаза липнутъ—ничего не подѣлаешь.

— Это вѣрно,—согласился Мелитонъ.—Нестоющій нынче мужикъ.

— Нечего грѣха таить, плошаемъ изъ года въ годъ. Ежели теперича въ разсужденіи господъ, то тѣ пуще му-

жика ослабли. Нынѣшній баринъ все превзошелъ, такое знаетъ, чего бы и знать не надо, а что толку? Поглядѣть на него, такъ жалость беретъ... Худенькій, мозглявенькій, словно венгерецъ какой или французъ, ни важности въ немъ, ни вида — одно только званіе, что баринъ. Нѣтъ у него сердешнаго ни мѣста, ни дѣла, и не разберешь, что ему надо. Али оно съ удочкой сидитъ и рыбку ловитъ, али оно лежитъ вверхъ пузомъ и книжку читаетъ, али промежъ мужиковъ топчется и разныя слова говоритъ, а которое голодное, то въ писаря нанимается. Такъ и живетъ пустякомъ, и нѣтъ того въ умѣ, чтобы себя къ настоящему дѣлу приспособить. Прежніе баре наполовину генералы были, а нынѣшніе—сплошной мездрюшка!

— Обѣдняли сильно,—сказалъ Мелитонъ.

— Потому и обѣдняли, что Богъ силу отнялъ. Супротивъ Бога-то не пойдешь.

Мелитонъ опять уставился въ одну точку. Подумавъ немного, онъ вздохнулъ, какъ вздыхаютъ степенные, разсудительные люди, покачалъ головой и сказалъ:

— А все отчего? Грѣшимъ много, Бога забыли... и такое, значитъ, время подошло, чтобы всему конецъ. И то сказать, не вѣкъ же міру вѣковать—пора и честь знать.

Пастухъ вздохнулъ и, какъ бы желая прекратить непріятный разговоръ, отошелъ отъ березы и сталъ считать глазами коровъ.

— Ге-ге-гей!—крикнулъ онъ.—Ге-ге-гей! А чтобъ васъ, нѣтъ на васъ переводу! Занесла въ чепыгу нечистая сила! Тю-лю-лю!

Онъ сдѣлалъ сердитое лицо и пошелъ къ кустамъ собирать стадо. Мелитонъ поднялся и тихо побрелъ по опушкѣ. Онъ глядѣлъ себѣ подъ ноги и думалъ; ему все еще хотѣлось вспомнить хоть что-нибудь, чего еще не коснулась бы смерть. По косымъ дождевымъ полосамъ опять поползли свѣтлыя пятна; они прыгнули на верхушки лѣса и угасли въ мокрой листвѣ. Дамка нашла подъ кустомъ ежа и, желая обратить на него вниманіе хозяина, подняла воющій лай.

— Было у васъ затменіе, аль нѣтъ? — крикнулъ изъ-за кустовъ пастухъ.

— Было!—отвѣтилъ Мелитонъ.

— Такъ. Вездѣ народъ жалуется, что было. Значитъ,

братушка, и въ небѣ непорядокъ-то! Недаромъ оно... Ге-ге-гей! гей!

Согнавъ стадо на опушку, пастухъ прислонился къ березѣ, поглядѣлъ на небо, не спѣша вытащилъ изъ-за пазухи свирѣль и заигралъ. Попрежнему игралъ онъ машинально и бралъ не больше пяти-шести нотъ; какъ будто свирѣль попала ему въ руки только первый разъ, звуки вылетали изъ нея нерѣшительно, въ безпорядкѣ, не сливаясь въ мотивъ, но Мелитону, думавшему о погибели міра, слышалось въ игрѣ что-то очень тоскливое и противное, чего бы онъ охотно не слушалъ. Самыя высокія пискливыя ноты, которыя дрожали и обрывались, казалось, неутѣшно плакали, точно свирѣль была больна и испугана, а самыя нижнія ноты почему-то напоминали туманъ, унылыя деревья, сѣрое небо. Такая музыка казалась къ лицу и погодѣ, и старику, и его рѣчамъ.

Мелитону захотѣлось жаловаться. Онъ подошелъ къ старику и, глядя на его грустное, насмѣшливое лицо и на свирѣль, забормоталъ:

— И жить хуже стало, дѣдъ. Совсѣмъ не въ моготу жить. Неурожаи, бѣдность... падежи то и дѣло, болѣзни... Одолѣла нужда.

Пухлое лицо приказчика побагровѣло и приняло тоскующее, бабье выраженіе. Онъ пошевелилъ пальцами, какъ бы ища словъ, чтобы передать свое неопредѣленное чувство, и продолжалъ:

— Восемь человѣкъ дѣтей, жена... и мать еще живая, а жалованья всего-на-всего десять рублей въ мѣсяцъ на своихъ харчахъ. Отъ бѣдности жена осатанѣла... самъ я запоемъ. Человѣкъ я разсудительный, степенный, образованіе имѣю. Мнѣ бы дома сидѣть, въ спокойствіи, а я цѣлый день, какъ собака, съ ружьемъ, потому нѣтъ никакой моей возможности: опротивѣлъ домъ!

Чувствуя, что языкъ бормочетъ вовсе не то, что хотѣлось бы высказать, приказчикъ махнулъ рукой и сказалъ съ горечью:

— Коли погибать міру, такъ ужъ скорѣй бы! Нечего канителить и людей попусту мучить...

Старикъ отнялъ отъ губъ свирѣль и, прищуривъ одинъ глазъ, поглядѣлъ въ ея малое отверстіе. Лицо его было

грустное и, какъ слезами, покрыто крупными брызгами. Онъ улыбнулся и сказалъ:

— Жалко, братушка! И, Боже, какъ жалко! Земля, лѣсъ, небо... тварь всякая — все вѣдь это сотворено, приспособлено, во всемъ умственность есть. Пропадаетъ все ни за грошъ. А пуще всего людей жалко.

Въ лѣсу, приближаясь къ опушкѣ, зашумѣлъ крупный дождь. Мелитонъ поглядѣлъ въ сторону шума, застегнулся на всѣ пуговицы и сказалъ:

— Пойду на деревню. Прощай, дѣдъ. Тебя какъ звать?

— Лука Вѣдный!

— Ну, прощай, Лука! Спасибо на добромъ словѣ. Дамка, иси!

Простившись съ пастухомъ, Мелитонъ поплелся по опушкѣ, а потомъ внизъ по лугу, который постепенно переходилъ въ болото. Подъ ногами всхлипывала вода, и ржавая осока, все еще зеленая и сочная, склонялась къ землѣ, какъ бы боясь, что ее затопчутъ ногами. За болотомъ на берегу Песчанки, о которой говорилъ дѣдъ, стояли ивы, а за ивами въ туманѣ синѣла господская рига. Чувствовалась близость того несчастнаго, ничѣмъ не предотвратимаго времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнѣе, и по стволу ея ползутъ слезы, и лишь одни журавли уходятъ отъ общей бѣды, да и тѣ, точно боясь оскорбить унылую природу выраженіемъ своего счастья, оглашаютъ поднебесье грустной, тоскливой пѣсней.

Мелитонъ плелся къ рѣкѣ и слушалъ, какъ позади него мало-по-малу замирали звуки свирѣли. Ему все еще хотѣлось жаловаться. Печально поглядывалъ онъ по сторонамъ, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лѣсъ, и свою Дамку, а когда самая высокая нотка свирѣли пронеслась протяжно въ воздухѣ и задрожала, какъ голосъ плачущаго человѣка, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядокъ, который замѣчался въ природѣ.

Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирѣль смолкла.

# ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ.

(Путевой набросокъ.)

Я возвращался со всенощной. Часы на святогорской колокольнѣ, въ видѣ предисловія, проиграли свою тихую, мелодичную музыку и вслѣдъ за этимъ пробили двѣнадцать. Большой монастырскій дворъ, расположенный на берегу Донца, у подножія Святой Горы, и огороженный, какъ стѣною, высокими гостиными корпусами, теперь, въ ночное время, когда его освѣщали только тусклые фонари, огоньки въ окнахъ да звѣзды, представлялъ изъ себя живую кашу, полную движенія, звуковъ и оригинальнѣйшаго безпорядка. Весь онъ, отъ края до края, куда только хватало зрѣніе, былъ густо запруженъ всякаго рода телѣгами, кибитками, фургонами, арбами, колымагами, около которыхъ толпились темныя и бѣлыя лошади, рогатые волы, суетились люди, сновали во всѣ стороны черные, длиннополые послушники; по возамъ, по головамъ людей и лошадей двигались тѣни и полосы свѣта, бросаемыя изъ оконъ—и все это въ густыхъ сумеркахъ принимало самыя причудливыя, капризныя формы: то поднятыя оглобли вытягивались до неба, то на мордѣ лошади показывались огненные глаза, то у послушника вырастали черныя крылья... Слышались говоръ, фырканье и жеванье лошадей, дѣтскій пискъ, скрипъ. Въ ворота входили новыя толпы и въѣзжали запоздавшія телѣги.

Сосны, которыя громоздились на отвѣсной горѣ одна надъ другой и склонялись къ крышѣ гостинаго корпуса, глядѣли во дворъ, какъ въ глубокую яму, и удивленно прислушивались; въ ихъ темной чащѣ, не умолкая, кричали ку-

кушки и соловьи... Глядя на суматицу, прислушиваясь къ шуму, казалось, что въ этой живой кашѣ никто никого не понимаетъ, всѣ чего-то ищутъ и не находятъ, и что этой массѣ телѣгъ, кибитокъ и людей едва ли удастся когда-нибудь разъѣхаться.

Къ днямъ Іоанна Богослова и Николая Чудотворца въ Святыя Горы стеклось болѣе десяти тысячъ. Были биткомъ набиты не только гостиные корпуса, но даже пекарня, швальня, столярная, каретная... Тѣ, которые явились къ ночи, въ ожиданіи, пока имъ укажутъ мѣсто для ночлега, какъ осеннія мухи, жались у стѣнъ, у колодцевъ, или же въ узкихъ коридорчикахъ гостиницы. Послушники, молодые и старые, находились въ непрерывномъ движеніи безъ отдыха и безъ надежды на смѣну. Днемъ и позднею ночью они одинаково производили впечатлѣніе людей, куда-то спѣшащихъ и чѣмъ-то встревоженныхъ, лица ихъ, несмотря на крайнее изнеможеніе, одинаково были бодры и привѣтливы, голосъ ласковъ, движенія быстры... Каждому пріѣхавшему и пришедшему они должны были найти и указать мѣсто для ночлега, дать ему поѣсть и напиться; кто былъ глухъ, безтолковъ, или щедръ на вопросы, тому нужно было долго и мучительно объяснять, почему нѣтъ пустыхъ номеровъ, въ какіе часы бываетъ служба, гдѣ продаются просфоры и т. д. Нужно было бѣгать, носить, неумолкаемо говорить, но мало того, нужно еще быть любезнымъ, тактичнымъ, стараться, чтобы маріупольскіе греки, живущіе комфортабельнѣе, чѣмъ хохлы, помѣщались не иначе, какъ съ греками, чтобы какая-нибудь бахмутская или лисичанская мѣщанка, одѣтая «благородно», не попала въ одно помѣщеніе съ мужиками и не обидѣлась. То и дѣло слышались возгласы: — «Батюшка, благословите кваску! Благословите сѣнца!» Или же:—«Батюшка, можно мнѣ послѣ исповѣди воды напиться?» И послушникъ долженъ былъ выдавать квасъ, сѣна, или же отвѣчать:—«Обратитесь, матушка, къ духовнику. Мы не имѣемъ власти разрѣшать». Слѣдовалъ новый вопросъ:—«А гдѣ духовникъ?» И нужно было объяснять, гдѣ келія духовника... При такой хлопотливой дѣятельности хватало еще времени ходить въ церковь на службу, служить на дворянской половинѣ и пространно отвѣчать на массу праздныхъ и непраздныхъ вопросовъ, какими любятъ сыпать интеллигентные бого-

мольцы. Приглядываясь къ нимъ въ теченіе сутокъ, трудно было понять, когда сидятъ и когда спятъ эти черныя, движущіяся фигуры.

Когда я, возвращаясь со всенощной, подошелъ къ корпусу, въ которомъ мнѣ было отведено помѣщеніе, на порогѣ стоялъ монахъ-гостиникъ, а возлѣ него толпилось на ступеняхъ нѣсколько мужчинъ и женщинъ въ городскомъ платьѣ.

— Господинъ, — остановилъ меня гостиникъ: — будьте добры, позвольте вотъ этому молодому человѣку переночевать въ вашемъ номерѣ! Сдѣлайте милость! Народу много, а мѣстъ нѣтъ—просто бѣда!

И онъ указалъ на невысокую фигуру въ легкомъ пальто и въ соломенной шляпѣ. Я согласился, и мой случайный сожитель отправился за мной. Отпирая у своей двери висячій замочекъ, я всякій разъ, хочешь не хочешь, долженъ былъ смотрѣть на картину, висѣвшую у самаго косяка на уровнѣ моего лица. Эта картина, съ заглавіемъ «Размышленіе о смерти», изображала колѣнопреклоненнаго монаха, который глядѣлъ въ гробъ и на лежавшій въ немъ скелетъ, за спиной монаха стоялъ другой скелетъ покрупнѣе и съ косою.

— Кости такія не бываютъ, — сказалъ мой сожитель, указывая на то мѣсто скелета, гдѣ долженъ быть тазъ.— Вообще, знаете ли, духовная пища, которую подаютъ народу, не перваго сорта,—добавилъ онъ и испустилъ носомъ протяжный, очень печальный вздохъ, который долженъ былъ показать мнѣ, что я имѣю дѣло съ человѣкомъ, знающимъ толкъ въ духовной пищѣ.

Пока я искалъ спички и зажигалъ свѣчу, онъ еще разъ вздохнулъ и сказалъ:

— Въ Харьковѣ я нѣсколько разъ бывалъ въ анатомическомъ театрѣ и видѣлъ кости. Былъ даже въ мертвецкой. Я не стѣсняю васъ?

Мой номеръ былъ малъ и тѣсенъ, безъ стола и стульевъ, весь занятый комодомъ у окна, печью и двумя деревянными диванчиками, стоявшими у стѣнъ другъ противъ друга и отдѣленными узкимъ проходомъ. На диванчикахъ лежали тощіе, порыжѣвшіе матрасики и мои вещи. Дивановъ было два,—значитъ, номеръ предназначался для двоихъ, на что я и указалъ сожителю.

— Впрочемъ, скоро зазвонятъ къ обѣднѣ, — сказалъ онъ:—и мнѣ недолго придется стѣснять васъ.

Все еще думая, что онъ меня стѣсняетъ, и чувствуя неловкость, онъ виноватою походкою пробрался къ своему диванчику, виновато вздохнулъ и сѣлъ. Когда сальная свѣчка, кивая своимъ лѣнивымъ и тусклымъ огнемъ, достаточно разгорѣлась и освѣтила насъ обоихъ, я могъ уже разглядѣть его. Это былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцатидвухъ, круглолицый, миловидный, съ темными дѣтскими глазами, одѣтый по-городски во все сѣренькое и дешевое и, какъ можно было судить по цвѣту лица и по узкимъ плечамъ, не знавшій физическаго труда. Типа онъ казался самаго неопредѣленнаго. Его нельзя было принять ни за студента, ни за торговаго человѣка, ни тѣмъ паче за рабочаго, а глядя на миловидное лицо и дѣтскіе, ласковые глаза, не хотѣлось думать, что это одинъ изъ тѣхъ праздношатаевъ-пройдохъ, которыми во всѣхъ общежительныхъ пустыняхъ, гдѣ кормятъ и даютъ ночлегъ, хоть прудъ пруди, и которые выдаютъ себя за семинаристовъ, исключенныхъ за правду, или за бывшихъ пѣвчихъ, потерявшихъ голосъ... Было въ его лицѣ что-то характерное, типичное, очень знакомое, но что именно,—я никакъ не могъ понять, ни вспомнить.

Онъ долго молчалъ и о чемъ-то думалъ. Вѣроятно, послѣ того, какъ я не оцѣнилъ его замѣчанія насчетъ костей и мертвецкой, ему казалось, что я сердитъ и не радъ его присутствію. Вытащивъ изъ кармана колбасу, онъ повертѣлъ ее передъ глазами и сказалъ нерѣшительно:

— Извините, я васъ побезпокою... У васъ нѣтъ ножика?

Я далъ ему ножъ.

— Колбаса отвратительная, — поморщился онъ, отрѣзывая себѣ кусочекъ.—Въ здѣшней лавочкѣ продаютъ дрянь, но дерутъ ужасно... Я бы вамъ одолжилъ кусочекъ, но вы едва ли согласитесь кушать. Хотите?

Въ его «одолжилъ» и «кушать» слышалось тоже что-то типичное, имѣвшее очень много общаго съ характернымъ въ лицѣ, но что именно, я все еще не могъ никакъ понять. Чтобы внушить къ себѣ довѣріе и показать, что я вовсе не сержусь, я взялъ предложенный имъ кусочекъ. Колбаса, дѣйствительно, была ужасная; чтобы сладить съ ней, нужно было имѣть зубы хорошей цѣпной собаки. Ра-

ботая челюстями, мы разговорились. Начали съ того, что пожаловались другъ другу на продолжительность службы.

— Здѣшній уставъ приближается къ аѳонскому, — сказалъ я: — но на Аѳонѣ обыкновенная всенощная продолжается 10 часовъ, а подъ большіе праздники — 14. Вотъ тамъ бы вамъ помолиться!

— Да!—сказалъ мой сожитель и покрутилъ головой.—Я здѣсь три недѣли живу. И знаете ли, каждый день служба, каждый день служба... Въ будни въ 12 часовъ звонятъ къ заутренѣ, въ 5 часовъ къ ранней обѣднѣ, въ 9—къ поздней. Спать совсѣмъ невозможно. Днемъ же акаѳисты, правила, вечерни... А когда я говѣлъ, такъ просто надалъ отъ утомленія.—Онъ вздохнулъ и продолжалъ:—А не ходить въ церковь неловко... Даютъ монахи номеръ, кормятъ, и какъ-то, знаете ли, совѣстно не ходить. Оно ничего, день, два, пожалуй, можно постоять, но три недѣли тяжело! Очень тяжело! Вы надолго сюда?

— Завтра вечеромъ уѣзжаю.

— А я еще двѣ недѣли проживу.

— Но здѣсь, кажется, не принято такъ долго жить?— сказалъ я.

— Да, это вѣрно, кто здѣсь долго живетъ и объѣдаетъ монаховъ, того просятъ уѣхать. Судите сами, если позволить пролетаріямъ жить здѣсь сколько имъ угодно, то не останется ни одного свободнаго номера, и они весь монастырь съѣдятъ. Это вѣрно. Но для меня монахи дѣлаютъ исключеніе и, надѣюсь, еще не скоро меня отсюда прогонятъ. Я, знаете ли, новообращенный.

— То-есть?

— Я еврей, выкрестъ... Недавно принялъ православіе. Теперь я уже понялъ то, чего раньше никакъ не могъ понять на его лицѣ: и толстыя губы, и манеру во время разговора приподнимать правый уголъ рта и правую бровь, и тотъ особенный маслянистый блескъ глазъ, который присущъ однимъ только семитамъ, понялъ я и «одолжилъ», и «кушать»... Изъ дальнѣйшаго разговора я узналъ, что его зовутъ Александромъ Иванычемъ, а раньше звали Исаакомъ, что онъ уроженецъ Могилевской губерніи и въ Святыя Горы попалъ изъ Новочеркасска, гдѣ принималъ православіе.

Одолѣвъ колбасу, Александръ Иванычъ всталъ и, при-

поднявъ правую бровь, помолился на образъ. Бровь такъ и осталась приподнятой, когда онъ затѣмъ опять сѣлъ на диванчикъ и сталъ разсказывать мнѣ вкратцѣ свою длинную біографію.

— Съ самаго ранняго дѣтства я питалъ любовь къ ученію,—началъ онъ такимъ тономъ, какъ будто говорилъ не о себѣ, а о какомъ-то умершемъ великомъ человѣкѣ.—Мои родители—бѣдные евреи, занимаются грошевой торговлей, живутъ, знаете ли, по-нищенски, грязно. Вообще, весь народъ тамъ бѣдный и суевѣрный, ученія не любятъ, потому что образованіе, понятно, отдаляетъ человѣка отъ религіи... Фанатики страшные... Мои родители ни за что не хотѣли учить меня, а хотѣли, чтобы я тоже занялся торговлей и не зналъ ничего, кромѣ талмуда... Но всю жизнь биться изъ-за куска хлѣба, болтаясь въ грязи, жевать этотъ талмудъ, согласитесь, не всякій можетъ. Бывало, въ корчму къ папашѣ заѣзжали офицеры и помѣщики, которые разсказывали много такого, чего я тогда и во снѣ не видалъ, ну, конечно, было соблазнительно и разбирала зависть. Я плакалъ и просилъ, чтобы меня отдали въ школу, а меня выучили читать по-еврейски и больше ничего. Разъ я нашелъ русскую газету, принесъ ее домой, чтобы изъ нея сдѣлать змѣй, такъ меня побили за это, хотя я и не умѣлъ читать по-русски. Конечно, безъ фанатизма нельзя, потому что каждый народъ инстинктивно бережетъ свою народность, но я тогда этого не зналъ и очень возмущался...

Сказавъ такую умную фразу, бывшій Исаакъ отъ удовольствія поднялъ правую бровь еще выше и поглядѣлъ на меня какъ-то бокомъ, какъ пѣтухъ на зерно, и съ такимъ видомъ, точно хотѣлъ сказать: «Теперь, наконецъ, вы убѣдились, что я умный человѣкъ?» Поговоривъ еще о фанатизмѣ и о своемъ непреодолимомъ стремленіи къ просвѣщенію, онъ продолжалъ:

— Что было дѣлать! Я взялъ и бѣжалъ въ Смоленскъ. А тамъ у меня былъ двоюродный братъ, который лудилъ посуду и дѣлалъ жестянки. Понятно, я нанялся къ нему въ подмастерья, такъ какъ жить мнѣ было нечѣмъ, ходилъ я босикомъ и оборванный... Думалъ такъ, что днемъ буду работать, а ночью и по субботамъ учиться. Я такъ и дѣлалъ, но узнала полиція, что я безъ паспорта, и отправила меня по этапу назадъ къ отцу...

Александръ Иванычъ пожалъ однимъ плечомъ и вздохнулъ.

— Что будешь дѣлать! — продолжалъ онъ, и чѣмъ ярче воскресало въ немъ прошлое, тѣмъ сильнѣе чувствовался въ его рѣчи еврейскій акцентъ.— Родители наказали меня и отдали дѣдушкѣ, старому еврею-фанатику, на исправленіе. Но я ночью ушелъ въ Шкловъ. А когда въ Шкловѣ ловилъ меня мой дядя, я пошелъ въ Могилевъ; тамъ пробылъ два дня и съ товарищемъ пошелъ въ Стародубъ.

Далѣе разсказчикъ перебралъ въ своихъ воспоминаніяхъ Гомель, Кіевъ, Бѣлую Церковь, Умань, Балту, Бендеры и, наконецъ, добрался до Одессы.

— Въ Одессѣ я цѣлую недѣлю ходилъ безъ дѣла и голодный, пока меня не приняли евреи, которые ходятъ по городу и покупаютъ старое платье. Я ужъ умѣлъ тогда читать и писать, зналъ ариѳметику до дробей и хотѣлъ поступить куда-нибудь учиться, но не было средствъ. Что дѣлать! Полгода ходилъ я по Одессѣ и покупалъ старое платье, но евреи, мошенники, не дали мнѣ жалованья, я обидѣлся и ушелъ. Потомъ на пароходѣ я уѣхалъ въ Перекопъ.

— Зачѣмъ?

— Такъ. Одинъ грекъ обѣщалъ мнѣ дать тамъ мѣсто. Однимъ словомъ, до 16-ти лѣтъ ходилъ я такъ, безъ опредѣленнаго дѣла и безъ почвы, пока не попалъ въ Полтаву. Тутъ одинъ студентъ-еврей узналъ, что я желаю учиться, и далъ мнѣ письмо къ харьковскимъ студентамъ. Конечно, я пошелъ въ Харьковъ. Студенты посовѣтовались и начали готовить меня въ техническое училище. И знаете, я вамъ скажу, студенты мнѣ попались такіе, что я не забуду ихъ до самой смерти. Не говорю ужъ про то, что они дали мнѣ квартиру и кусокъ хлѣба, они поставили меня на настоящую дорогу, заставили меня мыслить, указали цѣль жизни. Между ними были умные, замѣчательные люди, которые ужъ и теперь извѣстны. Напримѣръ, вы слыхали про Грумахера?

— Нѣтъ, не слыхалъ.

— Не слыхали... Писалъ очень умныя статьи въ харьковскихъ газетахъ и готовился въ профессора. Ну, я много читалъ, участвовалъ въ студенческихъ кружкахъ, гдѣ не услышишь пошлостей. Приготовлялся я полгода, но такъ

какъ для техническаго училища нужно знать весь гимназическій курсъ математики, то Грумахеръ посовѣтовалъ мнѣ готовиться въ ветеринарный институтъ, куда принимаютъ изъ шестого класса гимназіи. Конечно, я сталъ готовиться. Я не желалъ быть ветеринаромъ, но мнѣ говорили, что кончившихъ курсъ въ институтѣ принимаютъ безъ экзамена на третій курсъ медицинскаго факультета. Я выучилъ всего Кюнера, ужъ читалъ аливруверъ Корнелія Непота и по греческому языку прошелъ почти всего Курціуса, но, знаете ли, то да се... студенты разъѣхались, неопредѣленность положенія, а тутъ еще я услыхалъ, что пріѣхала моя мамаша и ищетъ меня по всему Харькову. Тогда я взялъ и уѣхалъ. Что будешь дѣлать! Но къ счастью, я узналъ, что здѣсь на донецкой дорогѣ есть горное училище. Отчего не поступить? Вѣдь вы знаете, горное училище даетъ права штегера — должность великолѣпная, а я знаю шахты, гдѣ штегера получаютъ полторы тысячи въ годъ. Отлично... Я поступилъ.

Александръ Иванычъ съ выраженіемъ благоговѣйнаго страха на лицѣ перечислилъ дюжины двѣ замысловатыхъ наукъ, преподаваемыхъ въ горномъ училищѣ, и описалъ самое училище, устройство шахтъ, положеніе рабочихъ... Затѣмъ онъ разсказалъ страшную исторію, похожую на вымыселъ, но которой я не могъ не повѣрить, потому что ужъ слишкомъ искрененъ былъ тонъ разсказчика и слишкомъ откровенно выраженіе ужаса на его семитическомъ лицѣ.

— А во время практическихъ занятій, какой однажды былъ со мной случай! — разсказывалъ онъ, поднявъ обѣ брови. — Былъ я на однѣхъ шахтахъ тутъ, въ Донецкомъ округѣ. А вы вѣдь видѣли, какъ люди спускаются въ самый рудникъ. Помните, когда гонятъ лошадь и приводятъ въ движеніе воротъ, то по блоку одна бадья спускается въ рудникъ, а другая поднимается, когда же начнутъ поднимать первую, тогда опускается вторая—все равно, какъ въ колодцѣ съ двумя ушатами. Ну, сѣлъ я однажды въ бадью, начинаю спускаться внизъ, и можете себѣ представить, вдругъ слышу — тррр! Цѣпь разорвалась и я полетѣлъ къ чорту вмѣстѣ съ бадьей и обрывкомъ цѣпи... Упалъ съ трехсажепной вышины прямо грудью и животомъ, а бадья, какъ болѣе тяжелая вещь, упала раньше меня и я ударился вотъ этимъ плечомъ объ ея ребро. Лежу, знаете,

огорошенный, думаю, что убился на смерть, и вдругъ вижу—новая бѣда: другая бадья, что поднималась вверхъ, потеряла противовѣсъ и съ грохотомъ опускается внизъ прямо на меня... Что будете дѣлать? Видя такой фактъ, я прижался къ стѣнѣ, съежился, жду что вотъ вотъ сейчасъ эта бадья со всего размаха трахнетъ меня по головѣ, вспоминаю папашу и мамашу, и Могилевъ, и Грумахера... молюсь Богу, но къ счастью... Даже вспомнить страшно.

Александръ Иванычъ насильно улыбнулся и вытеръ ладонью лобъ.

— Но къ счастью, она упала возлѣ и только слегка зацѣпила этотъ бокъ... Содрала, знаете, съ этого бока сюртукъ, сорочку и кожу... Сила страшная. Потомъ я былъ безъ чувствъ. Меня вытащили и отправили въ больницу. Лѣчился я четыре мѣсяца, и доктора сказали, что у меня будетъ чахотка. Я теперь всегда кашляю, грудь болитъ и страшное психологическое разстройство... Когда я остаюсь одинъ въ комнатѣ, мнѣ бываетъ очень страшно. Конечно, при такомъ здоровьѣ уже нельзя быть штегеромъ. Пришлось бросить горное училище...

— А теперь чѣмъ вы занимаетесь?—спросилъ я.

— Я держалъ экзаменъ на сельскаго учителя. Теперь вѣдь я православный и имѣю право быть учителемъ. Въ Новочеркасскѣ, гдѣ я крестился, во мнѣ приняли большое участіе и обѣщали мѣсто въ церковно-приходской школѣ. Черезъ двѣ недѣли поѣду туда и опять буду просить.

Александръ Иванычъ снялъ пальто и остался въ одной сорочкѣ съ вышитымъ русскимъ воротомъ и съ шерстянымъ поясомъ.

— Спать пора,— сказалъ онъ, кладя въ изголовье свое пальто и зѣвая.—Я, знаете ли, до послѣдняго времени совсѣмъ не зналъ Бога. Я былъ атеистъ. Когда лежалъ въ больницѣ, я вспомнилъ о религіи и началъ думать на эту тему. По моему мнѣнію, для мыслящаго человѣка возможна только одна религія, а именно христіанская. Если не вѣришь въ Христа, то ужъ больше не во что вѣрить... Не правда ли? Іудаизмъ отжилъ свой вѣкъ и держится еще только благодаря особенностямъ еврейскаго племени. Когда цивилизація коснется евреевъ, то изъ іудаизма не останется и слѣда. Вы замѣтьте, всѣ молодые евреи уже ате-

исты. Новый Завѣтъ есть естественное продолженіе Ветхаго. Не правда ли?

Я сталъ вывѣдывать у него причины, побудившія его на такой серьезный и смѣлый шагъ, какъ перемѣна религіи, но онъ твердилъ мнѣ только одно, что «Новый Завѣтъ есть естественное продолженіе Ветхаго» — фразу, очевидно, чужую и заученную, и которая совсѣмъ не разъясняла вопроса. Какъ я ни бился и ни хитрилъ, причины остались для меня темными. Если можно было вѣрить, что онъ, какъ утверждалъ, принялъ православіе по убѣжденію, то въ чемъ состояло и на чемъ зиждилось это убѣжденіе — изъ его словъ понять было невозможно; предположить же, что онъ перемѣнилъ вѣру ради выгоды, было тоже нельзя: дешевая, поношенная одежонка, проживаніе на монастырскихъ хлѣбахъ и неопредѣленное будущее мало походили на выгоды. Оставалось только помириться на мысли, что перемѣнить религію побудилъ моего сожителя тотъ же самый безпокойный духъ, который бросалъ его, какъ щепку, изъ города въ городъ, и который онъ, по общепринятому шаблону, называлъ стремленіемъ къ просвѣщенію.

Передъ тѣмъ какъ ложиться спать, я вышелъ въ коридоръ, чтобы напиться воды. Когда я вернулся, мой сожитель стоялъ среди номера и испуганно глядѣлъ на меня. Лицо его было блѣдно-сѣро и на лбу блестѣлъ потъ.

— У меня ужасно нервы разстроены, — пробормоталъ онъ, болѣзненно улыбаясь: — ужасно! Сильное психологическое разстройство. Впрочемъ, все это пустяки.

И онъ опять сталъ толковать о томъ, что Новый Завѣтъ есть естественное продолженіе Ветхаго, что іудаизмъ отжилъ свой вѣкъ. Подбирая фразы, онъ какъ будто старался собрать всѣ силы своего убѣжденія и заглушить ими безпокойство души, доказать себѣ, что, перемѣнивъ религію отцовъ, онъ не сдѣлалъ ничего страшнаго и особеннаго, а поступилъ, какъ человѣкъ мыслящій и свободный отъ предразсудковъ, и что поэтому онъ смѣло можетъ оставаться въ комнатѣ одинъ-на-одинъ со своею совѣстью. Онъ убѣждалъ себя и глазами просилъ у меня помощи...

Между тѣмъ на сальной свѣчкѣ нагорѣлъ большой, неуклюжій фитиль. Уже свѣтало. Въ хмурое, посинѣвшее окошко видны были уже ясно оба берега Донца и дубовая роща за рѣкой. Нужно было спать.

— Завтра здѣсь будетъ очень интересно,—сказалъ мой сожитель, когда я потушилъ свѣчку и легъ. — Послѣ ранней обѣдни крестный ходъ поѣдетъ па лодкахъ изъ монастыря въ скитъ.

Поднявъ правую бровь и склонивъ голову на бокъ, онъ помолился образу и, не раздѣваясь, легъ на свой диванчикъ.

— Да,—сказалъ онъ, повернувшись на другой бокъ.

— Что—да?—спросилъ я.

— Когда я въ Новочеркасскѣ принялъ православіе, моя мамаша искала меня въ Ростовѣ. Она чувствовала, что я хочу перемѣнить вѣру.—Онъ вздохнулъ и продолжалъ:—Уже шесть лѣтъ какъ я не былъ тамъ, въ Могилевской губерніи. Сестра, должно-быть, уже замужъ вышла.

Помолчавъ немного и видя, что я еще не уснулъ, онъ сталъ тихо говорить о томъ, что скоро, слава Богу, ему дадутъ мѣсто, и онъ, наконецъ, будетъ имѣть свой уголъ, опредѣленное положеніе, опредѣленную пищу на каждый день... Я же, засыпая, думалъ, что этотъ человѣкъ никогда не будетъ имѣть ни своего угла, ни опредѣленнаго положенія, ни опредѣленной пищи. Объ учительскомъ мѣстѣ онъ мечталъ вслухъ, какъ объ обѣтованной землѣ; подобно большинству людей, онъ питалъ предубѣжденіе къ скитальчеству и считалъ его чѣмъ-то необыкновеннымъ, чуждымъ и случайнымъ, какъ болѣзнь, и искалъ спасенія въ обыкновенной будничной жизни. Въ тонѣ его голоса слышались сознаніе своей ненормальности и сожалѣніе. Онъ какъ будто оправдывался и извинялся.

Не далѣе какъ на аршинъ отъ меня лежалъ скиталецъ; за стѣнами въ номерахъ и во дворѣ, около телѣгъ, среди богомольцевъ не одна сотня такихъ же скитальцевъ ожидала утра, а еще дальше, если сумѣть представить себѣ всю русскую землю, какое множество такихъ же перекати-поле, ища гдѣ лучше, шагало теперь по большимъ и проселочнымъ дорогамъ или, въ ожиданіи разсвѣта, дремало въ постоялыхъ дворахъ, корчмахъ, гостиницахъ, на травѣ подъ небомъ... Засыпая, я воображалъ себѣ, какъ бы удивились и, быть-можетъ, даже обрадовались всѣ эти люди, если бы нашлись разумъ и языкъ, которые сумѣли бы доказать имъ, что ихъ жизнь такъ же мало нуждается въ оправданіи, какъ и всякая другая.

Во снѣ я слышалъ, какъ за дверями жалобно, точно за-

ливаясь горючими слезами, прозвонилъ колокольчикъ, и послушникъ прокричалъ нѣсколько разъ:

— Господи Іисусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ! Пожалуйте къ обѣднѣ!

Когда я проснулся, моего сожителя уже не было въ номерѣ. Было солнечно и за окномъ шумѣлъ народъ. Выйдя, я узналъ, что обѣдня уже кончилась и крестный ходъ давно уже отправился въ скитъ. Народъ толпами бродилъ по берегу и, чувствуя себя празднымъ, не зналъ, чѣмъ занять себя; ѣсть и пить было нельзя, такъ какъ въ скиту еще не кончилась поздняя обѣдня; монастырскія лавки, гдѣ богомольцы такъ любятъ толкаться и прицѣниваться, были еще заперты. Многіе, несмотря на утомленіе, отъ скуки брели въ скитъ. Тропинка отъ монастыря до скита, куда я отправился, змѣей вилась по высокому крутому берегу то вверхъ, то внизъ, огибая дубы и сосны. Внизу блестѣлъ Донецъ и отражалъ въ себѣ солнце, вверху бѣлѣлъ мѣловой скалистый берегъ и ярко зеленѣла на немъ молодая зелень дубовъ и сосенъ, которые, нависая другъ надъ другомъ, какъ-то ухитряются расти почти на отвѣсной скалѣ и не падать. По тропинкѣ гуськомъ тянулись богомольцы. Всего больше было хохловъ изъ сосѣднихъ уѣздовъ, но было много и дальнихъ, пришедшихъ пѣшкомъ изъ Курской и Орловской губерній; въ пестрой вереницѣ попадались и маріупольскіе греки-хуторяне, сильные, степенные и ласковые люди, далеко непохожіе на тѣхъ своихъ хилыхъ и вырождающихся единоплеменниковъ, которые наполняютъ наши южные приморскіе города; были тутъ и донцы съ красными лампасами, и тавричане, выселенцы изъ Таврической губерніи. Было здѣсь много богомольцевъ и неопредѣленнаго типа, въ родѣ моего Александра Иваныча: что они за люди и откуда, нельзя было понять ни по лицамъ, ни по одеждѣ, ни по рѣчамъ.

Тропинка оканчивалась у маленькаго плота, отъ котораго, прорѣзывая гору, шло влѣво къ скиту неширокое шоссе. У плота стояли двѣ большія, тяжелыя лодки, угрюмаго вида, въ родѣ тѣхъ новозеландскихъ пирогъ, которыя можно видѣть въ книгахъ Жюля Верна. Одна лодка, съ коврами на скамьяхъ, предназначалась для духовенства и пѣвчихъ, другая безъ ковровъ—для публики. Когда крестный ходъ плылъ обратно въ монастырь, я находился въ

числѣ избранныхъ, сумѣвшихъ протискаться во вторую. Избранныхъ набралось такъ много, что лодка еле двигалась, и всю дорогу приходилось стоять, не шевелиться и спасать свою шляпу отъ ломки. Путь казался прекраснымъ. Оба берега — одинъ высокій, крутой, бѣлый съ нависшими соснами и дубами, съ народомъ, спѣщившимъ обратно по тропинкѣ, и другой—отлогій, съ зелеными лугами и дубовой рощей, — залитые свѣтомъ, имѣли такой счастливый и восторженный видъ, какъ будто только имъ однимъ было обязано майское утро своею прелестью. Отраженіе солнца въ быстро текущемъ Донцѣ дрожало, расползалось во всѣ стороны, и его длинные лучи играли на ризахъ духовенства, на хоругвяхъ, въ брызгахъ, бросаемыхъ веслами. Пѣніе пасхальнаго канона, колокольный звонъ, удары веселъ по водѣ, крикъ птицъ—все это мѣшалось въ воздухѣ въ нѣчто гармоническое и нѣжное. Лодка съ духовенствомъ и хоругвями плыла впереди. На ея кормѣ неподвижно, какъ статуя, стоялъ черный послушникъ.

Когда крестный ходъ приближался къ монастырю, я замѣтилъ среди избранныхъ Александра Иваныча. Онъ стоялъ впереди всѣхъ и, раскрывъ ротъ отъ удовольствія, поднявъ вверхъ правую бровь, глядѣлъ на процессію. Лицо его сіяло; вѣроятно, въ эти минуты, когда кругомъ было столько народу и такъ свѣтло, онъ былъ доволенъ и собой, и новой вѣрой, и своею совѣстью.

Когда, немного погодя, мы сидѣли въ номерѣ и пили чай, онъ все еще сіялъ довольствомъ; лицо его говорило, что онъ доволенъ и чаемъ, и мной, вполнѣ цѣнитъ мою интеллигентность, но что и самъ не ударитъ лицомъ въ грязь, если рѣчь зайдетъ о чемъ-нибудь этакомъ...

— Скажите, какую бы мнѣ почитать психологію?—началъ онъ умный разговоръ, сильно морща носъ.

— А для чего вамъ?

— Безъ знанія психологіи нельзя быть учителемъ. Прежде чѣмъ учить мальчика, я долженъ узнать его душу.

Я сказалъ ему, что одной психологіи мало для того, чтобы узнать душу мальчика, и къ тому же психологія для такого педагога, который еще не усвоилъ себѣ техническихъ пріемовъ обученія грамотѣ и ариѳметикѣ, является такою же роскошью, какъ высшая математика. Онъ охотно согласился со мной и сталъ описывать, какъ тяжела и

отвѣтственна должность учителя, какъ трудно искоренить въ мальчикѣ наклонность къ злу и суевѣрію, заставить его мыслить самостоятельно и честно, внушить ему истинную религію, идею личности, свободы и проч. Въ отвѣтъ на это я сказалъ ему что-то. Онъ опять согласился. Вообще онъ очень охотно соглашался. Очевидно, все «умное» непрочно сидѣло въ его головѣ.

До самаго моего отъѣзда мы вмѣстѣ слонялись около монастыря и коротали длинный, жаркій день. Онъ не отставалъ отъ меня ни на шагъ; привязался ли онъ ко мнѣ, или же боялся одиночества, Богъ его знаетъ! Помню, мы сидѣли вмѣстѣ подъ кустами желтой акаціи въ одномъ изъ садиковъ, разбросанныхъ по горѣ.

— Черезъ двѣ недѣли я уйду отсюда,—сказалъ онъ.—Пора!

— Вы пѣшкомъ?

— Отсюда до Славянска пѣшкомъ, потомъ по желѣзной дорогѣ до Никитовки. Отъ Никитовки начинается вѣтвь донецкой дороги. По этой вѣтви я до Хацепетовки дойду пѣшкомъ, а тамъ дальше провезетъ меня знакомый кондукторъ.

Я вспомнилъ голую, пустынную степь между Никитовкой и Хацепетовкой и вообразилъ себѣ шагающаго по ней Александра Иваныча съ его сомнѣніями, тоской по родинѣ и страхомъ одиночества... Онъ прочелъ на моемъ лицѣ скуку и вздохнулъ.

«А сестра, должно-быть, уже замужъ вышла!»—подумалъ онъ вслухъ и тотчасъ же, желая отвязаться отъ грустныхъ мыслей, указалъ на верхушку скалы и сказалъ:

— Съ этой горы Изюмъ видно.

Во время прогулки по горѣ съ нимъ случилось маленькое несчастье: вѣроятно спотыкнувшись, онъ порвалъ свои сарпинковыя брюки и сбилъ съ башмака подошву.

— Тс...—поморщился онъ, снимая башмакъ и показывая босую ногу безъ чулка.—Непріятно... Это, знаете ли, такое осложненіе, которое... Да!

Вертя передъ глазами башмакъ и какъ бы не вѣря, что подошва погибла навѣки, онъ долго морщился, вздыхалъ и причмокивалъ. У меня въ чемоданѣ были полуштиблеты старые, но модные, съ острыми носами и тесемками; я бралъ ихъ съ собою на всякій случай и носилъ только въ сырую погоду. Вернувшись въ номеръ, я придумалъ фразу

подипломатичнѣе и предложилъ ему эти полуштиблеты. Онъ принялъ и сказалъ важно:

— Я бы поблагодарилъ васъ, но знаю, что вы благодарность считаете предразсудкомъ.

Острые носы и тесемки полуштиблетовъ растрогали его, какъ ребенка, и даже измѣнили его планы.

— Теперь я пойду въ Новочеркасскъ не черезъ двѣ недѣли, а черезъ недѣлю,—размышлялъ онъ вслухъ.—Въ такихъ башмакахъ не совѣстно будетъ явиться къ крестному папашѣ. Я собственно не уѣзжалъ отсюду потому, что у меня приличной одежи нѣтъ...

Когда ямщикъ выносилъ мой чемоданъ, вошелъ послушникъ съ хорошимъ насмѣшливымъ лицомъ, чтобы подмести въ номерѣ. Александръ Иванычъ какъ-то заторопился, сконфузился и робко спросилъ у него:

— Мнѣ здѣсь оставаться, или въ другое мѣсто идти?

Онъ не рѣшался занять своею особою цѣлый номеръ и, повидимому, уже стыдился того, что жилъ на монастырскихъ хлѣбахъ. Ему очень не хотѣлось разставаться со мной; чтобы по возможности отдалить одиночество, онъ попросилъ позволенія проводить меня.

Дорога изъ монастыря, прорытая къ мѣловой горѣ и стоившая не малыхъ трудовъ, шла вверхъ, въ объѣздъ горы, почти спирально, по корнямъ, подъ нависшими суровыми соснами... Сначала скрылся съ глазъ Донецъ, за нимъ монастырскій дворъ съ тысячами людей, потомъ зеленыя крыши... Оттого, что я поднимался, все казалось мнѣ исчезавшимъ въ ямѣ. Соборный крестъ, раскаленный отъ лучей заходящаго солнца, ярко сверкнулъ въ пропасти и исчезъ. Остались одни только сосны, дубы и бѣлая дорога. Но вотъ коляска въѣхала на ровное поле, и все это осталось внизу и позади; Александръ Иванычъ спрыгнулъ и, грустно улыбнувшись, взглянулъ на меня въ послѣдній разъ своими дѣтскими глазами, сталъ спускаться внизъ и исчезъ для меня навсегда...

Святогорскія впечатлѣнія стали уже воспоминаніями, и я видѣлъ новое: ровное поле, бѣловато-бурую даль, рощицу у дороги, а за нею вѣтряную мельницу, которая стояла не шевелясь и, казалось, скучала оттого, что по случаю праздника ей не позволяютъ махать крыльями.

# ЗАДАЧА.

Чтобы фамильная тайна Усковыхъ не проскользнула какъ-нибудь изъ дома на улицу, приняты строжайшія мѣры. Одна половина прислуги отпущена въ театръ и въ циркъ, другая—безвыходно сидитъ въ кухнѣ. Отданъ приказъ никого не принимать. Жена дяди-полковника, ея сестра и гувернантка, хотя и посвящены въ тайну, но дѣлаютъ видъ, что ничего не знаютъ; онѣ сидятъ въ столовой и не показываются ни въ гостиную, ни въ залу.

Саша Усковъ, молодой человѣкъ, 25-ти лѣтъ, изъ-за котораго весь сыръ-боръ загорѣлся, давно уже пришелъ и, какъ совѣтовалъ ему его заступникъ, дядя по матери, добрѣйшій Иванъ Марковичъ, смиренно сидитъ въ залѣ около двери, идущей въ кабинетъ, и готовитъ себя къ откровенному, искреннему объясненію.

За дверью въ кабинетѣ происходитъ семейный совѣтъ. Разговоръ идетъ на очень непріятную и щекотливую тему. Дѣло въ томъ, что Саша Усковъ учелъ въ одной изъ банкирскихъ конторъ фальшивый вексель, которому три дня тому назадъ минулъ срокъ, и теперь двое дядей по отцу и Иванъ Марковичъ—дядя по матери—рѣшаютъ задачу: заплатить ли имъ по векселю и спасти фамильную честь, или же умыть руки и предоставить дѣло судебной власти?

Для людей постороннихъ и не заинтересованныхъ подобные вопросы представляются легкими, для тѣхъ же, на долю которыхъ выпадаетъ несчастье рѣшать ихъ серьезно, они чрезвычайно трудны. Дяди говорятъ уже давно, но рѣшеніе задачи не подвинулось впередъ ни на шагъ.

— Господа!—говоритъ дядя-полковникъ, и въ голосѣ его слышатся утомленіе и горечь.—Господа, кто говоритъ, что фамильная честь предразсудокъ? Я этого вовсе не говорю. Я только предостерегаю васъ отъ ложнаго взгляда, указываю на возможность непростительной ошибки. Какъ вы этого не поймете? Вѣдь я не по-китайски говорю, а по-русски!

— Голубчикъ, мы понимаемъ,—кротко заявляетъ Иванъ Марковичъ.

— Какъ же вы понимаете, если говорите, что я отрицаю фамильную честь? Повторяю еще разъ: фа-миль-ная честь, лож-но по-ни-ма-е-мая, есть предразсудокъ. Ложно понимаемая! Вотъ что я говорю! Изъ какихъ бы то ни было побужденій укрывать и оставлять безнаказаннымъ мошенника, кто бы онъ ни былъ, это противозаконно и недостойно порядочнаго человѣка, это—не спасеніе фамильной чести, а гражданская трусость! Возьмите вы въ примѣръ армію... Честь арміи для насъ дороже всякихъ другихъ честей, однако же мы не укрываемъ своихъ преступныхъ членовъ, а судимъ ихъ. И что же? Развѣ отъ этого страдаетъ честь арміи? Напротивъ!

Другой дядя по отцу, чиновникъ казенной палаты, человѣкъ молчаливый, недалекій и ревматическій, молчитъ, или же говоритъ только о томъ, что въ случаѣ возникновенія процесса фамилія Усковыхъ попадетъ въ газеты; по его мнѣнію, дѣло слѣдуетъ потушить въ самомъ началѣ и не предавать его огласкѣ, но, кромѣ ссылокъ на газеты, онъ ничѣмъ другимъ не поясняетъ этого своего мнѣнія.

Дядя по матери, добрѣйшій Иванъ Марковичъ, говоритъ плавно, мягко и съ дрожью въ голосѣ. Начинаетъ онъ съ того, что молодость имѣетъ свои права и что ей свойственны увлеченія. Кто изъ насъ не былъ молодъ и кто не увлекался? Не говоря ужъ объ обыкновенныхъ смертныхъ, даже великіе умы въ молодости не избѣгали увлеченій и ошибокъ. Возьмите, напримѣръ, біографіи великихъ писателей. Кто изъ нихъ, будучи молодымъ, не проигрывалъ, не пропивалъ, не навлекалъ на себя гнѣва людей здравомыслящихъ? Если же увлеченіе Саши граничитъ съ преступленіемъ, то нужно принять во вниманіе, что онъ, Саша, не получилъ почти никакого образованія: его исключили изъ пятаго класса гимназіи. Родителей лишился онъ въ раннемъ дѣтствѣ и такимъ образомъ въ самомъ нѣж-

номъ возрастѣ былъ лишенъ надзора и хорошихъ, благотворныхъ вліяній. Человѣкъ онъ нервный, легко возбуждающійся, не имѣющій подъ собою почвы, а главное—обойденный счастьемъ. Если и виновенъ онъ, то во всякомъ случаѣ заслуживаетъ снисхожденія и участія всѣхъ сострадательныхъ душъ. Наказать его, конечно, слѣдуетъ, но онъ и такъ уже наказанъ своею совѣстью и мученіями, которыя онъ переживаетъ теперь, ожидая приговора своихъ родственниковъ. Сравненіе съ арміей, которое сдѣлалъ полковникъ, прелестно и дѣлаетъ честь его высокому уму; призывъ къ гражданскому чувству говоритъ о благородствѣ его души, но не надо забывать, что гражданинъ въ каждомъ отдѣльномъ индивидуумѣ тѣсно связанъ съ христіаниномъ...

— Нарушимъ ли мы гражданскій долгъ,—вдохновенно восклицаетъ Иванъ Марковичъ:—если вмѣсто того, чтобы казнить преступника-мальчика, мы протянемъ ему руку помощи?

Далѣе Иванъ Марковичъ говоритъ о фамильной чести. Самъ онъ не имѣетъ чести принадлежать къ роду Усковыхъ, но отлично знаетъ, что этотъ знаменитый родъ ведетъ свое начало съ XIII вѣка; онъ также ни на минуту не забываетъ, что его незабвенная, горячо любимая сестра была женою одного изъ представителей этого рода. Однимъ словомъ, этотъ родъ для него дорогъ по многимъ причинамъ, и онъ не допускаетъ мысли, чтобы изъ-за какихъ-нибудь тысячи пятисотъ рублей упала тѣнь на стоящее внѣ всякой цѣны геральдическое дерево. Если всѣ изложенные мотивы недостаточно убѣдительны, то въ заключеніе онъ, Иванъ Марковичъ, предлагаетъ слушателямъ уяснить себѣ: что такое собственно преступленіе? Преступленіе есть безнравственное дѣйствіе, имѣющее въ своемъ основаніи злую волю. Но свободна ли человѣческая воля? На этотъ вопросъ наука еще не дала положительнаго отвѣта. Ученые держатся различныхъ взглядовъ. Напримѣръ: новѣйшая школа Ломброзо не признаетъ свободной воли и каждое преступленіе считаетъ продуктомъ чисто анатомическихъ особенностей индивидуума.

—Иванъ Марковичъ!—говоритъ умоляюще полковникъ.—Мы говоримъ серьезно, о важномъ дѣлѣ, а вы—Ломброзо! Умный человѣкъ, подумайте: для чего вы все это говорите?

Неужели вы думаете, что всѣ эти погремушки и ваша риторика дадутъ намъ отвѣтъ на вопросъ?

Саша Усковъ сидитъ у двери и слушаетъ. Онъ не чувствуетъ ни страха, ни стыда, ни скуки, а одну только усталость и душевную пустоту. Ему кажется, что для него рѣшительно все равно: простятъ его, или не простятъ; пришелъ же онъ сюда ждать приговора и объясняться только потому, что его упросилъ придти добрѣйшій Иванъ Марковичъ. Будущаго онъ не боится. Для него все равно, гдѣ ни быть: здѣсь ли въ залѣ, въ тюрьмѣ ли, въ Сибири ли.

— Сибирь такъ Сибирь—чортъ съ ней!

Жизнь надоѣла и стала невыносимо тяжелой. Онъ невылазно запутался въ долгахъ, въ карманахъ у него ни гроша, родня опротивѣла, съ пріятелями и съ женщинами рано или поздно придется разстаться, такъ какъ они ужъ слишкомъ презрительно стали относиться къ его прихлебательской роли. Будущее пасмурно.

Саша равнодушенъ, и волнуетъ его только одно обстоятельство, а именно: за дверью величаютъ его негодяемъ и преступникомъ. Каждую минуту онъ готовъ вскочить, ворваться въ кабинетъ и въ отвѣтъ на противный, металлическій голосъ полковника крикнуть:

— Вы лжете!

Преступникъ—слово страшное. Такъ называются убійцы, воры, грабители, вообще люди злые и нравственно отпѣтые. А Саша слишкомъ далекъ отъ всего этого... Правда, онъ много долженъ и не платитъ долговъ. Но вѣдь долгъ—не преступленіе, и рѣдкій человѣкъ не долженъ. Полковникъ и Иванъ Марковичъ—оба въ долгахъ...

«Въ чемъ же я еще грѣшенъ?»—думаетъ Саша.

Онъ учелъ фальшивый вексель. Но вѣдь это дѣлаютъ всѣ знакомые ему молодые люди. Напримѣръ, Хандриковъ и фонъ-Бурстъ всякій разъ, когда у нихъ не бываетъ денегъ, учитываютъ фальшивые векселя родителей или знакомыхъ и потомъ, получивъ деньги изъ дому, выкупаютъ ихъ до срока. Саша сдѣлалъ то же самое, но не выкупилъ векселя, потому что не получилъ денегъ, которыя обѣщалъ дать ему взаймы Хандриковъ. Виноватъ не онъ, а обстоятельства. Правда, пользованіе чужой подписью считается предосудительнымъ; но все-таки это не преступленіе, а общепринятый маневръ, некрасивая формальность, ни для кого

не обидная и безвредная, такъ какъ Саша, поддѣлывая подпись полковника, не имѣлъ въ виду причинить кому-либо зло или убытокъ.

«Нѣтъ, это не значитъ, что я преступникъ... — думаетъ Саша.—И не такой у меня характеръ, чтобы рѣшиться на преступленіе. Я мягокъ, чувствителенъ... когда бываютъ деньги, помогаю бѣднымъ...»

Саша думаетъ въ этомъ родѣ, а за дверью все еще говорятъ.

— Господа, но вѣдь это безконечно!—горячится полковникъ.—Представьте, что мы простили его и уплатили по векселю. Но вѣдь послѣ этого онъ не перестанетъ вести безпутную жизнь, мотать, дѣлать долги, ходить къ нашимъ портнымъ и отъ нашего имени заказывать себѣ платье! Можете ли вы поручиться, что эта продѣлка его послѣдняя? Что касается меня, то я глубоко не вѣрю въ его исправленіе!

Въ отвѣтъ ему что-то бормочетъ чиновникъ казенной палаты, послѣ него плавно и мягко начинаетъ говорить Иванъ Марковичъ. Полковникъ нетерпѣливо двигаетъ стуломъ и заглушаетъ его слова своимъ противнымъ, металлическимъ голосомъ. Наконецъ дверь отворяется, и изъ кабинета выходитъ Иванъ Марковичъ; на его тощемъ, бритомъ лицѣ выступили красныя пятна.

— Пойдемъ!—говоритъ онъ, беря Сашу за руку.—Поди и чистосердечно объяснись. Безъ гордости, голубчикъ, а покорно и отъ души.

Саша идетъ въ кабинетъ. Чиновникъ казенной палаты сидитъ; полковникъ, заложивъ руки въ карманы и держа одно колѣно на стулѣ, стоитъ передъ столомъ. Въ кабинетѣ накурено и душно. Саша не глядитъ ни на чиновника, ни на полковника; ему вдругъ становится совѣстно и жутко. Онъ безпокойно оглядываетъ Ивана Марковича и бормочетъ:

— Я заплачу... Я отдамъ...

— На что ты надѣялся, когда учитывалъ вексель?—слышитъ онъ металлическій голосъ.

— Я... мнѣ обѣщалъ къ этому времени дать взаймы Хандриковъ.

Больше ничего не можетъ сказать Саша. Онъ выходитъ изъ кабинета и опять садится на стулъ у двери. Сейчасъ онъ охотно бы ушелъ совсѣмъ, но его душитъ ненависть и ему ужасно хочется остаться, чтобы оборвать полковника, сказать ему какую-нибудь дерзость. Онъ сидитъ и приду-

мываетъ, что бы такое сильное и вѣское сказать ненавистному дядѣ, а въ это время въ дверяхъ гостиной, окутанная сумерками, показывается женская фигура. Это жена полковника. Она манитъ къ себѣ Сашу и, ломая руки, плача, говоритъ:

— Alexandre, я знаю, вы меня не любите, но... выслушайте меня, выслушайте, прошу васъ... Мой другъ, какъ это могло случиться? Вѣдь это ужасно, ужасно! Ради Бога просите ихъ, оправдывайтесь, умоляйте.

Саша глядитъ на ея вздрагивающія плечи, на крупныя слезы, которыя текутъ по ея щекамъ, слышитъ сзади себя глухіе, нервные голоса утомленныхъ, измученныхъ людей, и пожимаетъ плечами. Онъ никакъ не ожидалъ, чтобы его аристократическая родня подняла бурю изъ-за какихъ-нибудь тысячи пятисотъ рублей! Непонятны ему ни слезы, ни дрожь голосовъ.

Черезъ часъ слышитъ онъ, что полковникъ беретъ верхъ: дяди, наконецъ, склоняются къ тому, чтобы передать дѣло судебной власти.

— Рѣшено!—говоритъ полковникъ, вздыхая.—Баста!

Послѣ такого рѣшенія всѣ дяди, даже настойчивый полковникъ, замѣтно падаютъ духомъ. Наступаетъ тишина.

— Господи, Господи!—вздыхаетъ Иванъ Марковичъ.—Бѣдная моя!

И онъ начинаетъ тихо говорить о томъ, что вѣроятно теперь въ кабинетѣ невидимо присутствуетъ его сестра, Сашина мать. Онъ чувствуетъ душою, какъ эта несчастная, святая женщина плачетъ, тоскуетъ и проситъ за своего мальчика. Ради ея загробнаго покоя слѣдовало бы пощадить Сашу.

Слышатся всхлипыванья, Иванъ Марковичъ плачетъ и бормочетъ что-то, чего нельзя разобрать сквозь дверь. Полковникъ встаетъ и шагаетъ изъ угла въ уголъ. Длинный разговоръ начинается снова.

Но вотъ въ гостиной часы бьютъ два. Семейный совѣтъ конченъ. Полковникъ, чтобы не видѣть человѣка, испортившаго ему столько крови, идетъ изъ кабинета не въ залу, а черезъ переднюю... Иванъ Марковичъ входитъ въ залу... Онъ взволнованъ и радостно потираетъ руки. Его заплаканные глаза глядятъ весело и ротъ кривится въ улыбку.

— Отлично!—говоритъ онъ Сашѣ.—Слава Богу! Ты, мой другъ, можешь идти домой и спать покойно. Рѣшили мы

заплатить по векселю, но съ условіемъ, что ты раскаешься и завтра же поѣдешь ко мнѣ въ деревню заниматься дѣломъ.

Черезъ минуту Иванъ Марковичъ и Саша, въ пальто и въ шапкахъ, спускаются внизъ по лѣстницѣ. Дядя бормочетъ что-то назидательное. Саша не слушаетъ и чувствуетъ, какъ постепенно съ его плечъ сваливается что-то тяжелое и жуткое. Его простили, онъ свободенъ! Радость, какъ вѣтеръ, врывается въ его грудь и обдаетъ сладкимъ холодкомъ его сердце. Ему хочется дышать, быстро двигаться, жить! Взглянувъ на уличные фонари и на черное небо, онъ вспоминаетъ, что сегодня у «Медвѣдя» фонъ-Бурстъ справляетъ свои именины, и снова радость охватываетъ его душу...

«Ѣду!»—рѣшаетъ онъ.

Но тутъ вспоминаетъ онъ, что у него нѣтъ ни копейки, что товарищи, къ которымъ онъ поѣдетъ сейчасъ, презираютъ его за безденежье. Надо достать денегъ во что бы то ни стало!

— Дядя, дай мнѣ взаймы сто рублей!—говоритъ онъ Ивану Марковичу.

Дядя удивленно глядитъ ему въ лицо и пятится къ фонарному столбу.

— Дай!—говоритъ Саша, нетерпѣливо переминаясь съ ноги на ногу и начиная задыхаться.—Дядя, я прошу! Дай сто рублей!

Лицо его перекосило; онъ дрожитъ и ужъ наступаетъ на дядю...

— Не дашь?—спрашиваетъ онъ, видя, что тотъ все еще удивленъ и не понимаетъ.—Послушай, если не дашь, то завтра же я донесу на себя! Я не дамъ вамъ заплатить по векселю! Завтра же я учту новый фальшивый вексель!

Ошеломленный Иванъ Марковичъ въ ужасѣ, бормоча что-то несвязное, достаетъ изъ бумажника сторублевую бумажку и подаетъ ее Сашѣ. Тотъ беретъ и быстро отходитъ отъ него...

Нанявъ извозчика, Саша успокаивается и чувствуетъ, какъ въ его грудь опять врывается радость. Права молодости, о которыхъ говорилъ на семейномъ совѣтѣ добрѣйшій Иванъ Марковичъ, проснулись и заговорили. Саша рисуетъ себѣ предстоящую попойку, и въ его головѣ межъ бутылокъ, женщинъ и пріятелей мелькаетъ мыслишка:

«Теперь вижу, что я преступенъ. Да, я преступенъ».

# СТЕПЬ.

(Исторія одной поѣздки.)

## I.

Изъ N., уѣзднаго города Z—ой губерніи, раннимъ іюльскимъ утромъ выѣхала и съ громомъ покатила по почтовому тракту безрессорная ошарпанная бричка, одна изъ тѣхъ допотопныхъ бричекъ, на которыхъ ѣздятъ теперь на Руси только купеческіе приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтѣла и взвизгивала при малѣйшемъ движеніи; ей угрюмо вторило ведро, привязанное къ ея задку,—и по однимъ этимъ звукамъ, да по жалкимъ, кожанымъ тряпочкамъ, болтавшимся на ея облѣзломъ тѣлѣ, можно было судить о ея ветхости и готовности идти въ сломъ.

Въ бричкѣ сидѣло двое N—скихъ обывателей: N—скій купецъ Иванъ Иванычъ Кузьмичовъ, бритый, въ очкахъ и въ соломенной шляпѣ, больше похожій на чиновника, чѣмъ на купца, и другой—отецъ Христофоръ Сирійскій, настоятель N—ской Николаевской церкви, маленькій, длинноволосый старичокъ, въ сѣромъ парусиновомъ кафтанѣ, въ широкополомъ цилиндрѣ и въ шитомъ, цвѣтномъ поясѣ. Первый о чемъ-то сосредоточенно думалъ и встряхивалъ головою, чтобы прогнать дремоту; на лицѣ его привычная дѣловая сухость боролась съ благодушіемъ человѣка, только-что простившагося съ родней и хорошо выпившаго; второй же влажными глазками удивленно глядѣлъ на міръ Божій и улыбался такъ широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра; лицо его было красно и имѣло озябшій видъ. Оба они, какъ Кузьмичовъ, такъ и о. Христо-

форъ, ѣхали теперь продавать шерсть. Прощаясь съ домочадцами, они только-что сытно закусили пышками со сметаной и, несмотря на раннее утро, выпили... Настроеніе духа у обоихъ было прекрасное.

Кромѣ только-что описанныхъ двухъ и кучера Дениски, неутомимо стегавшаго по парѣ шустрыхъ гнѣдыхъ лошадокъ, въ бричкѣ находился еще одинъ пассажиръ—мальчикъ лѣтъ девяти, съ темнымъ отъ загара и мокрымъ отъ слезъ лицомъ. Это былъ Егорушка, племянникъ Кузьмичова. Съ разрѣшенія дяди и съ благословенія о. Христофора, онъ ѣхалъ куда-то поступать въ гимназію. Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежскаго секретаря и родная сестра Кузьмичова, любившая образованныхъ людей и благородное общество, умолила своего брата, ѣхавшаго продавать шерсть, взять съ собою Егорушку и отдать его въ гимназію; и теперь мальчикъ, не понимая, куда и зачѣмъ онъ ѣдетъ, сидѣлъ на облучкѣ рядомъ съ Дениской, держался за его локоть, чтобъ не свалиться, и подпрыгивалъ, какъ чайникъ на конфоркѣ. Отъ быстрой ѣзды его красная рубаха пузыремъ вздувалась на спинѣ, и новая, ямщицкая шляпа съ павлиньимъ перомъ то и дѣло сползала на затылокъ. Онъ чувствовалъ себя въ высшей степени несчастнымъ человѣкомъ и хотѣлъ плакать.

Когда бричка проѣзжала мимо острога, Егорушка взглянулъ на часовыхъ, тихо ходившихъ около высокой, бѣлой стѣны, на маленькія, рѣшетчатыя окна, на крестъ, блестѣвшій на крышѣ, и вспомнилъ, какъ недѣлю тому назадъ, въ день Казанской Божіей Матери, онъ ходилъ съ мамашей въ острожную церковь на престольный праздникъ; а еще ранѣе, на Пасху, онъ приходилъ въ острогъ съ кухаркой Людмилой и съ Дениской и приносилъ сюда куличи, яйца, пироги и жареную говядину; арестанты благодарили и крестились, а одинъ изъ нихъ подарилъ Егорушкѣ оловянныя запонки собственнаго издѣлія.

Мальчикъ всматривался въ знакомыя мѣста, а ненавистная бричка бѣжала мимо и оставляла все позади. За острогомъ промелькнули черныя, закопченыя кузницы, за ними уютное, зеленое кладбище, обнесенное оградой изъ булыжника; изъ-за ограды весело выглядывали бѣлые кресты и памятники, которые прячутся въ зелени вишневыхъ деревьевъ и издали кажутся бѣлыми пятнами. Егорушка вспо-

мнилъ, что когда цвѣтетъ вишня, эти бѣлыя пятна мѣшаются съ вишневыми цвѣтами въ бѣлое море; а когда она спѣетъ, бѣлые памятники и кресты бываютъ усыпаны багряными, какъ кровь, точками. За оградой подъ вишнями день и ночь спали Егорушкинъ отецъ и бабушка Зинаида Даниловна. Когда бабушка умерла, ее положили въ длинный, узкій гробъ и прикрыли двумя пятаками ея глаза, которые не хотѣли закрываться. До своей смерти она была жива и носила съ базара мягкіе бублики, посыпанные макомъ, теперь же она спитъ, спитъ...

А за кладбищемъ дымились кирпичные заводы. Густой, черный дымъ большими клубами шелъ изъ-подъ длинныхъ камышевыхъ крышъ, приплюснутыхъ къ землѣ, и лѣниво поднимался вверхъ. Небо надъ заводами и кладбищемъ было смугло, и большія тѣни отъ клубовъ дыма ползли по полю и черезъ дорогу. Въ дыму около крышъ двигались люди и лошади, покрытые красной пылью...

За заводами кончался городъ и начиналось поле. Егорушка въ послѣдній разъ оглянулся на городъ, припалъ лицомъ къ локтю Дениски и горько заплакалъ...

— Ну, не отревѣлся еще, рёва!—сказалъ Кузьмичовъ.— Опять, баловникъ, слюни распустилъ! Не хочешь ѣхать, такъ оставайся. Никто силой не тянетъ!

— Ничего, ничего, братъ Егоръ, ничего...—забормоталъ скороговоркой о. Христофоръ.—Ничего, братъ... Призывай Бога... Не за худомъ ѣдешь, а за добромъ. Ученье, какъ говорится, свѣтъ, а неученье—тьма... Истинно такъ.

— Хочешь вернуться?—спросилъ Кузьмичовъ.

— Хо... хочу...—отвѣтилъ Егорушка, всхлипывая.

— И вернулся бы. Все равно попусту ѣдешь, за семь верстъ киселя хлебать.

— Ничего, ничего, братъ... — продолжалъ о. Христофоръ. — Бога призывай... Ломоносовъ такъ же вотъ съ рыбарями ѣхалъ, однако изъ него вышелъ человѣкъ на всю Европу. Умственность, воспринимаемая съ вѣрой, даетъ плоды, Богу угодные. Какъ сказано въ молитвѣ? Создателю во славу, родителямъ же нашимъ на утѣшеніе, церкви и отечеству на пользу... Такъ-то.

— Польза разная бываетъ...—сказалъ Кузьмичовъ, закуривая дешевую сигару.—Иной двадцать лѣтъ обучается, а никакого толку.

— Это бываетъ.

— Кому наука въ пользу, а у кого только умъ путается. Сестра—женщина не понимающая, норовитъ все по благородному и хочетъ, чтобъ изъ Егорки ученый вышелъ, а того не понимаетъ, что я и при своихъ занятіяхъ могъ бы Егорку на вѣкъ осчастливить. Я это къ тому вамъ объясняю, что ежели всѣ пойдутъ въ ученые да въ благородные, тогда некому будетъ торговать и хлѣбъ сѣять. Всѣ съ голоду поумираютъ.

— А ежели всѣ будутъ торговать и хлѣбъ сѣять, тогда некому будетъ ученія постигать.

И думая, что оба они сказали нѣчто убѣдительное и вѣское, Кузьмичовъ и о. Христофоръ сдѣлали серьезныя лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушивавшійся къ ихъ разговору и ничего не понявшій, встряхнулъ головой и, приподнявшись, стегнулъ по обѣимъ гнѣдымъ. Наступило молчаніе.

Между тѣмъ передъ глазами ѣхавшихъ разстилалась уже широкая, безконечная равнина, перехваченная цѣпью холмовъ. Тѣснясь и выглядывая другъ изъ-за друга, эти холмы сливаются въ возвышенность, которая тянется вправо отъ дороги до самаго горизонта и исчезаетъ въ лиловой дали; ѣдешь-ѣдешь и никакъ не разберешь, гдѣ она ничинается и гдѣ кончается... Солнце уже выглянуло сзади изъ-за города и тихо, безъ хлопотъ принялось за свою работу. Сначала далеко впереди, гдѣ небо сходится съ землею, около курганчиковъ и вѣтряной мельницы, которая издали похожа на маленькаго человѣчка, размахивающаго руками, поползла по землѣ широкая ярко-желтая полоса; черезъ минуту такая же полоса засвѣтилась нѣсколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось Егорушкиной спины, полоса свѣта, подкравшись сзади, шмыгнула черезъ бричку и лошадей, понеслась навстрѣчу другимъ полосамъ, и вдругъ вся широкая степь сбросила съ себя утреннюю полутѣнь, улыбнулась и засверкала росой.

Сжатая рожь, бурьянъ, молочай, дикая конопля—все, побурѣвшее отъ зноя, рыжее и полумертвое, теперь омытое росою и обласканное солнцемъ, оживало, чтобъ вновь зацвѣсти. Надъ дорогой съ веселымъ крикомъ носились старички, въ травѣ перекликались суслики, гдѣ-то далеко влѣво плакали чибисы. Стадо куропатокъ, испуганное брич-

кой, вспорхнуло и со своимъ мягкимъ «тррр» полетѣло къ холмамъ. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медвѣдки затянули въ травѣ свою скрипучую, монотонную музыку.

Но прошло немного времени, роса испарилась, воздухъ застылъ, и обманутая степь приняла свой унылый іюльскій видъ. Трава поникла, жизнь замерла. Загорѣлые холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, какъ тѣнь, тонами, равнина съ туманной далью и опрокинутое надъ ними небо, которое въ степи, гдѣ нѣтъ лѣсовъ и высокихъ горъ, кажется страшно глубокимъ и прозрачнымъ, представлялись теперь безконечными, оцѣпенѣвшими отъ тоски...

Какъ душно и уныло! Бричка бѣжитъ, а Егорушка видитъ все одно и то же—небо, равнину, холмы... Музыка въ травѣ пріутихла. Старички улетѣли, куропатокъ не видно. Надъ поблекшей травой, отъ нечего дѣлать, носятся грачи; всѣ они похожи другъ на друга и дѣлаютъ степь еще болѣе однообразной.

Летитъ коршунъ надъ самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдругъ останавливается въ воздухѣ, точно задумавшись о скукѣ жизни, потомъ встряхиваетъ крыльями и стрѣлою несется надъ степью, и непонятно, зачѣмъ онъ летаетъ и что̀ ему нужно. А вдали машетъ крыльями мельница...

Для разнообразія мелькнетъ въ бурьянѣ бѣлый черепъ или булыжникъ; вырастетъ на мгновеніе сѣрая каменная баба или высохшая ветла съ синей ракшей на верхней вѣткѣ, перебѣжитъ дорогу сусликъ — и опять бѣгутъ мимо глазъ бурьянъ, холмы, грачи...

Но вотъ, славу Богу, навстрѣчу ѣдетъ возъ со снопами. На самомъ верху лежитъ дѣвка. Сонная, изможенная зноемъ, поднимаетъ она голову и глядитъ на встрѣчныхъ. Дениска зазѣвался на нее, гнѣдыя протягиваютъ морды къ снопамъ, бричка, взвизгнувъ, цѣлуется съ возомъ, и колючіе колосья, какъ вѣникомъ, проѣзжаютъ по цилиндру о. Христофора.

— На людей ѣдешь, пухлая!—кричитъ Дениска.—Ишь, рожу-то раскорячило, словно шмель укусилъ!

Дѣвка сонно улыбается и, пошевеливъ губами, опять ложится... А вотъ на холмѣ показывается одинокій тополь; кто его посадилъ и зачѣмъ онъ здѣсь — Богъ его знаетъ.

Отъ его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать глаза. Счастливъ ли этотъ красавецъ? Лѣтомъ зной, зимой стужа и метели, осенью страшныя ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кромѣ безпутнаго, сердито воющаго вѣтра, а главное—всю жизнь одинъ, одинъ... За тополемъ ярко-желтымъ ковромъ, отъ верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. На холмѣ хлѣбъ уже скошенъ и убранъ въ копны, а внизу еще только косятъ... Шесть косарей стоятъ рядомъ и взмахиваютъ косами, а косы весело сверкаютъ и въ тактъ, всѣ вмѣстѣ, издаютъ звукъ: «вжжи, вжжи!» По движеніямъ бабъ, вяжущихъ снопы, по лицамъ косарей, по блеску косъ видно, что зной жжетъ и душитъ. Черная собака съ высунутымъ языкомъ бѣжитъ отъ косарей навстрѣчу къ бричкѣ, вѣроятно съ намѣреніемъ залаять, но останавливается на полдорогѣ и равнодушно глядитъ на Дениску, грозящаго ей кнутомъ: жарко лаять! Одна баба поднимается и, взявшись обѣими руками за измученную спину, провожаетъ глазами кумачовую рубаху Егорушки. Красный ли цвѣтъ ей понравился, или вспомнила она про своихъ дѣтей, только долго стоитъ она неподвижно и смотритъ вслѣдъ...

Но вотъ промелькнула и пшеница. Опять тянется выжженная равнина, загорѣлые холмы, знойное небо, опять носится надъ землею коршунъ. Вдали попрежнему машетъ крыльями мельница и все еще она похожа на маленькаго человѣчка, размахивающаго руками. Надоѣло глядѣть на нее, и кажется, что до нея никогда не доѣдешь, что она бѣжитъ отъ брички.

О. Христофоръ и Кузьмичовъ молчали. Дениска стегалъ по гнѣдымъ и покрикивалъ, а Егорушка ужъ не плакалъ, а равнодушно глядѣлъ по сторонамъ. Зной и степная скука утомили его. Ему казалось, что онъ давно уже ѣдетъ и подпрыгиваетъ, что солнце давно уже печетъ ему въ спину. Не проѣхали еще и десяти верстъ, а онъ уже думалъ: «Пора бы отдохнуть!» Съ лица дяди мало-по-малу сошло благодушіе и осталась одна только дѣловая сухость, а бритому, тощему лицу, въ особенности когда оно въ очкахъ, когда носъ и виски покрыты пылью, эта сухость придаетъ неумолимое инквизиторское выраженіе. Отецъ же Христофоръ не переставалъ удивленно глядѣть на міръ Божій и улыбаться. Молча, онъ думалъ о чемъ-то хорошемъ и веселомъ,

и добрая, благодушная улыбка застыла на его лицѣ. Казалось, что и хорошая, веселая мысль застыла въ его мозгу отъ жары...

— А что, Дениска, догонимъ нынче обозы? — спросилъ Кузьмичовъ.

Дениска поглядѣлъ на небо, приподнялся, стегнулъ по лошадямъ и потомъ уже отвѣтилъ:

— Къ ночи, Богъ дастъ, догонимъ...

Послышался собачій лай. Штукъ шесть громадныхъ степныхъ овчарокъ вдругъ, выскочивъ точно изъ засады, съ свирѣпымъ воющимъ лаемъ бросились навстрѣчу бричкѣ. Всѣ онѣ, необыкновенно злыя, съ мохнатыми паучьими мордами и съ красными отъ злобы глазами, окружили бричку и, ревниво толкая другъ друга, подняли хриплый ревъ. Онѣ ненавидѣли страстно и, кажется, готовы были изорвать въ клочья и лошадей, и бричку, и людей... Дениска, любившій дразнить и стегать, обрадовался случаю и, придавъ своему лицу злорадное выраженіе, перегнулся и хлестнулъ кнутомъ по овчаркѣ. Псы пуще захрипѣли, лошади понесли; и Егорушка, еле державшійся на передкѣ, глядя на глаза и зубы собакъ, понималъ, что свались онъ, его моментально разнесутъ въ клочья, но страха не чувствовалъ, а глядѣлъ такъ же злорадно, какъ Дениска, и жалѣлъ, что у него въ рукахъ нѣтъ кнута.

Бричка поровнялась съ отарой овецъ.

— Стой!—закричалъ Кузьмичовъ.—Держи! Тпрр...

Дениска подался всѣмъ туловищемъ назадъ и осадилъ гнѣдыхъ. Бричка остановилась.

— Поди сюда!—крикнулъ Кузьмичовъ чебану.—Уйми собакъ, будь онѣ прокляты!

Старикъ-чебанъ, оборванный и босой, въ теплой шапкѣ, съ грязнымъ мѣшкомъ у бедра и съ крючкомъ на длинной палкѣ — совсѣмъ ветхозавѣтная фигура — унялъ собакъ и, снявши шапку, подошелъ къ бричкѣ. Точно такая же ветхозавѣтная фигура стояла, не шевелясь, на другомъ краю отары и равнодушно глядѣла на проѣзжихъ.

— Чья это отара?—спросилъ Кузьмичовъ.

— Варламовская!—громко отвѣтилъ старикъ.

— Варламовская!—повторилъ чебанъ, стоявшій на другомъ краю отары.

— Что, проѣзжалъ тутъ вчерась Варламовъ, или нѣтъ?

— Никакъ нѣтъ... Приказчикъ ихній проѣзжали, это точно...

— Трогай!

Бричка покатила дальше, и чебаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядѣлъ впередъ на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсѣмъ выросла, и ужъ можно было отчетливо разглядѣть ея два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сдѣлано изъ новаго дерева и лоснилось на солнцѣ.

Бричка ѣхала прямо, а мельница почему-то стала уходить влѣво. Ѣхали, ѣхали, а она все уходила влѣво и не исчезала изъ глазъ.

— Славный вѣтрякъ поставилъ сыну Болтва!—замѣтилъ Дениска.

— А что-то хутора его не видать.

— Онъ туда, за балочкой.

Скоро показался и хуторъ Болтвы, а вѣтрякъ все еще не уходилъ назадъ, не отставалъ, глядѣлъ на Егорушку своимъ лоснящимся крыломъ и махалъ. Какой колдунъ!

## II.

Около полудня бричка свернула съ дороги вправо, проѣхала немного шагомъ и остановилась. Егорушка услышалъ тихое, очень ласковое журчанье и почувствовалъ, что къ его лицу прохладнымъ бархатомъ прикоснулся какой-то другой воздухъ. Изъ холма, склееннаго природой изъ громадныхъ, уродливыхъ камней, сквозь трубочку изъ болиголова, вставленную какимъ-то невѣдомымъ благодѣтелемъ, тонкой струйкой бѣжала вода. Она падала на землю и, прозрачная, веселая, сверкающая на солнцѣ и тихо ворча, точно воображая себя сильнымъ и бурнымъ потокомъ, быстро бѣжала куда-то влѣво. Недалеко отъ холма маленькая рѣчка расползалась въ лужицу; горячіе лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нея силу; но немножко далѣе она, вѣроятно, сливалась съ другой такою же рѣчонкой, потому что шагахъ въ ста отъ холма по ея теченію зеленѣла густая, пышная осока, изъ которой, когда подъѣзжала бричка, съ крикомъ вылетѣло три бекаса.

Путники расположились у ручья отдыхать и кормить ло-

шадей. Кузьмичовъ, о. Христофоръ и Егорушка сѣли въ жидкой тѣни, бросаемой бричкою и распряженными лошадьми, на разостланномъ войлокѣ и стали закусывать. Хорошая, веселая мысль, застывшая отъ жары въ мозгу о. Христофора, послѣ того, какъ онъ напился воды и съѣлъ одно печеное яйцо, запросилась наружу. Онъ ласково взглянулъ на Егорушку, пожевалъ и началъ:

— Я самъ, братъ, учился. Съ самаго ранняго возраста Богъ вложилъ въ меня смыслъ и понятіе, такъ что я не въ примѣръ прочимъ, будучи еще такимъ, какъ ты, утѣшалъ родителей и наставниковъ своимъ разумѣніемъ. Пятнадцати лѣтъ мнѣ еще не было, а я ужъ говорилъ и стихи сочинялъ по-латынски все равно, какъ по-русски. Помню, былъ я жезлоносцемъ у преосвященнаго Христофора. Разъ послѣ обѣдни, какъ теперь помню, въ день тезоименитства благочестивѣйшаго Государя Александра Павловича Благословеннаго онъ разоблачался въ алтарѣ, поглядѣлъ на меня ласково и спрашиваетъ: «Puer bone, quam appellaris?» А я отвѣчаю: «Christophorus sum». А онъ: «Ergo connominati sumus», то-есть мы, значитъ, тезки... Потомъ спрашиваетъ по-латынски: «Чей ты?» Я и отвѣчаю тоже по-латынски, что я сынъ діакона Сирійскаго въ селѣ Лебединскомъ. Видя такую мою скороспѣшность и ясность отвѣтовъ, преосвященный благословилъ меня и сказалъ: «Напиши отцу, что я его не оставлю, а тебя буду имѣть въ виду». Протоіереи и священники, которые въ алтарѣ были, слушая латинскій диспутъ, тоже не мало удивлялись и каждый въ похвалу мнѣ изъявилъ свое удовольствіе. Еще у меня усовъ не было, а я ужъ, братъ, читалъ и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, зналъ философію, математику, гражданскую исторію и всѣ науки. Память мнѣ Богъ далъ на удивленіе. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодѣтели мои удивлялись и такъ предполагали, что изъ меня выйдетъ ученѣйшій мужъ, свѣтильникъ церкви. Я и самъ думалъ въ Кіевъ ѣхать, науки продолжать, да родители не благословили. «Ты, говорилъ отецъ, весь вѣкъ учиться будешь, когда же мы тебя дождемся?» Слыша такія слова, я бросилъ науки и поступилъ на мѣсто. Оно, конечно, ученый изъ меня не вышелъ, да зато я родителей не ослушался, старость ихъ успокоилъ, похоронилъ съ честью. Послушаніе паче поста и молитвы!

— Должно-быть, вы ужъ всѣ науки забыли! — замѣтилъ Кузьмичовъ.

— Какъ не забыть? Славу Богу, ужъ восьмой десятокъ пошелъ! Изъ философіи и риторики кое-что еще помню, а языки и математику совсѣмъ забылъ.

О. Христофоръ зажмурилъ глаза, подумалъ и сказалъ вполголоса:

— Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного ко своему исполненію.

Онъ покрутилъ головой и засмѣялся отъ умиленія.

— Духовная пища! — сказалъ онъ. — Истинно, матерія питаетъ плоть, а духовная пища душу!

— Науки науками, — вздохнулъ Кузьмичовъ: — а вотъ какъ не догонимъ Варламова, такъ и будетъ намъ наука.

— Человѣкъ—не иголка, найдемъ. Онъ теперь въ этихъ мѣстахъ кружится.

Надъ осокой пролетѣли знакомые три бекаса, и въ ихъ пискѣ слышались тревога и досада, что ихъ согнали съ ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали; Дениска ходилъ около нихъ и, стараясь показать, что онъ совершенно равнодушенъ къ огурцамъ, пирогамъ и яйцамъ, которые ѣли хозяева, весь погрузился въ избіеніе слѣпней и мухъ, облѣплявшихъ лошадиные животы и спины. Онъ апатично, издавая горломъ какой-то особенный, ехидно-побѣдный звукъ, хлопалъ по своимъ жертвамъ, а въ случаѣ неудачи досадливо крякалъ и провожалъ глазами всякаго счастливца, избѣжавшаго смерти.

— Дениска, гдѣ ты тамъ! Поди ѣшь!—сказалъ Кузьмичовъ, глубоко вздыхая и тѣмъ давая знать, что онъ уже наѣлся.

Дениска несмѣло подошелъ къ войлоку и выбралъ себѣ пять крупныхъ и желтыхъ огурцовъ, такъ-называемыхъ «желтяковъ» (выбрать помельче и посвѣжѣе онъ посовѣстился), взялъ два печеныхъ яйца, черныхъ и съ трещинами, потомъ нерѣшительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой рукѣ, коснулся пальцемъ пирожка.

— Бери, бери!—поторопилъ его Кузьмичовъ.

Дениска рѣшительно взялъ пирогъ и, отойдя далеко въ сторону, сѣлъ на землѣ, спиной къ бричкѣ. Тотчасъ же послышалось такое громкое жеванье, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядѣли на Дениску.

Закусивши, Кузьмичовъ досталъ изъ брички мѣшокъ съ чѣмъ-то и сказалъ Егорушкѣ:

— Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня изъ-подъ головы этого мѣшка не вытащили.

О. Христофоръ снялъ рясу, поясъ и кафтанъ, и Егорушка, взглянувъ на него, замеръ отъ удивленія. Онъ никакъ не предполагалъ, что священники носятъ брюки, а на о. Христофорѣ были настоящія, парусинковыя брюки, засунутыя въ высокіе сапоги, и кургузая пестрядинная курточка. Глядя на него, Егорушка нашелъ, что въ этомъ неподобающемъ его сану костюмѣ онъ, со своими длинными волосами и бородой, очень похожъ на Робинзона Крузе. Разоблачившись, о. Христофоръ и Кузьмичовъ легли въ тѣнь подъ бричкой, лицомъ другъ къ другу, и закрыли глаза. Дениска, кончивъ жевать, растянулся на припекѣ животомъ вверхъ и тоже закрылъ глаза.

— Поглядывай, чтобъ кто коней не увелъ! — сказалъ онъ Егорушкѣ и тотчасъ же заснулъ.

Наступила тишина. Слышно было только, какъ фыркали и жевали лошади, да похрапывали спящіе; гдѣ-то не близко плакалъ одинъ чибисъ и изрѣдка раздавался пискъ трехъ бекасовъ, прилетавшихъ поглядѣть, не уѣхали ли непрошенные гости; мягко картавя, журчалъ ручеекъ, но всѣ эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшаго воздуха, а напротивъ, вгоняли природу въ дремоту.

Егорушка, задыхаясь отъ зноя, который особенно чувствовался теперь послѣ ѣды, побѣжалъ къ осокѣ и отсюда оглядѣлъ мѣстность. Увидѣлъ онъ тоже самое, что видѣлъ и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль; только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Изъ-за скалистаго холма, гдѣ текъ ручей, возвышался другой поглаже и пошире; на немъ лѣпился небольшой поселокъ изъ пяти-шести дворовъ. Около избъ не было видно ни людей, ни деревьевъ, ни тѣней, точно поселокъ задохнулся въ горячемъ воздухѣ и высохъ. Отъ нечего дѣлать Егорушка поймалъ въ травѣ скрипача, поднесъ его въ кулакѣ къ уху и долго слушалъ, пака тотъ игралъ на своей скрипкѣ. Когда надоѣла музыка, онъ погнался за толпой желтыхъ бабочекъ, прилетавшихъ къ осокѣ на водопой, и самъ не замѣтилъ, какъ очутился опять возлѣ брички. Дядя и о. Христофоръ крѣпко спали; сонъ

ихъ долженъ былъ продолжаться часа два-три, пока не отдохнутъ лошади... Какъ же убить это длинное время и куда дѣваться отъ зноя? Задача мудреная... Машинально Егорушка подставилъ ротъ подъ струйку, бѣжавшую изъ трубочки; во рту его стало холодно и запахло болиголовомъ; пилъ онъ сначала съ охотой, потомъ черезъ силу и до тѣхъ поръ, пока острый холодъ изо рта не побѣжалъ по всему тѣлу и пока вода не полилась по сорочкѣ. Затѣмъ онъ подошелъ къ бричкѣ и сталъ глядѣть на спящихъ. Лицо дяди попрежнему выражало дѣловую сухость. Фанатикъ своего дѣла, Кузьмичовъ всегда, даже во снѣ и за молитвой въ церкви, когда пѣли «Иже херувимы», думалъ о своихъ дѣлахъ, ни на минуту не могъ забыть о нихъ, и теперь, вѣроятно, ему снились тюки съ шерстью, подводы, цѣны, Варламовъ... Отецъ же Христофоръ, человѣкъ мягкій, легкомысленный и смѣшливый, во всю свою жизнь не зналъ ни одного такого дѣла, которое, какъ удавъ, могло бы сковать его душу. Во всѣхъ многочисленныхъ дѣлахъ, за которыя онъ брался на своемъ вѣку, его прельщало не столько само дѣло, сколько суета и общеніе съ людьми, присущія всякому предпріятію. Такъ, въ настоящей поѣздкѣ его интересовали не столько шерсть, Варламовъ и цѣны, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье подъ бричкой, ѣда не во-время... И теперь, судя по его лицу, ему снились, должно-быть, преосвященный Христофоръ, латинскій диспутъ, его попадья, пышки со сметаной и все такое, что не могло сниться Кузьмичову.

Въ то время, какъ Егорушка смотрѣлъ на сонныя лица, неожиданно послышалось тихое пѣніе. Гдѣ-то не близко пѣла женщина, а гдѣ именно и въ какой сторонѣ, трудно было понять. Пѣсня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плачъ и едва уловимая слухомъ, слышалась то справа, то слѣва, то сверху, то изъ-подъ земли, точно надъ степью носился невидимый духъ и пѣлъ. Егорушка оглядывался и не понималъ, откуда эта странная пѣсня; потомъ же, когда онъ прислушался, ему стало казаться, что это пѣла трава; въ своей пѣснѣ она, полумертвая, уже погибшая, безъ словъ, но жалобно и искренно убѣждала кого-то, что она ни въ чемъ не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она увѣряла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины

не было, но она все-таки просила у кого-то прощенія и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...

Егорушка послушалъ немного, и ему стало казаться, что отъ заунывной, тягучей пѣсни воздухъ сдѣлался душнѣе, жарче и неподвижнѣе... Чтобы заглушить пѣсню, онъ, напѣвая и стараясь стучать ногами, побѣжалъ къ осокѣ. Отсюда онъ поглядѣлъ во всѣ стороны и нашелъ того, кто пѣлъ. Около крайней избы поселка стояла баба въ короткой исподницѣ, длинноногая и голенастая, какъ цапля, и что-то просѣивала; изъ-подъ ея рѣшета внизъ по бугру лѣниво шла бѣлая пыль. Теперь было очевидно, что пѣла она. На сажень отъ нея неподвижно стоялъ маленькій мальчикъ въ одной сорочкѣ и безъ шапки. Точно очарованный пѣснею, онъ не шевелился и глядѣлъ куда-то внизъ, вѣроятно на кумачовую рубаху Егорушки.

Пѣсня стихла. Егорушка поплелся къ бричкѣ и опять, отъ нечего дѣлать, занялся струйкой воды.

И опять послышалась тягучая пѣсня. Пѣла все та же голенастая баба за бугромъ въ поселкѣ. Къ Егорушкѣ вдругъ вернулась его скука. Онъ оставилъ трубочку и поднялъ глаза вверхъ. То, что увидѣлъ онъ, было такъ неожиданно, что онъ немножко испугался. Надъ его головой на одномъ изъ большихъ неуклюжихъ камней стоялъ маленькій мальчикъ въ одной рубахѣ, пухлый, съ большимъ, оттопыреннымъ животомъ и на тоненькихъ ножкахъ, тотъ самый, который раньше стоялъ около бабы. Съ тупымъ удивленіемъ и не безъ страха, точно видя передъ собой выходцевъ съ того свѣта, онъ, не мигая и разинувъ ротъ, оглядывалъ кумачовую рубаху Егорушки и бричку. Красный цвѣтъ рубахи манилъ и ласкалъ его, а бричка и спавшіе подъ ней люди возбуждали его любопытство; быть-можетъ, онъ и самъ не замѣтилъ, какъ пріятный красный цвѣтъ и любопытство притянули его изъ поселка внизъ, и, вѣроятно, теперь удивлялся своей смѣлости. Егорушка долго оглядывалъ его, а онъ Егорушку. Оба молчали и чувствовали нѣкоторую неловкость. Послѣ долгаго молчанія Егорушка спросилъ:

— Тебя какъ звать?

Щеки незнакомца еще больше распухли; онъ прижался спиной къ камню, выпучилъ глаза, пошевелилъ губами и отвѣтилъ сиплымъ басомъ:

— Титъ.

Больше мальчишки не сказали другъ другу ни слова. Помолчавъ еще немного и не отрывая глазъ отъ Егорушки, таинственный Титъ задралъ вверхъ одну ногу, нащупалъ пяткой точку опоры и взобрался на камень; отсюда онъ, пятясь назадъ и глядя въ упоръ на Егорушку, точно боясь, чтобы тотъ не ударилъ его сзади, поднялся на слѣдующій камень и такъ поднимался до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ не исчезъ за верхушкой бугра.

Проводивъ его глазами, Егорушка обнялъ колѣни руками и склонилъ голову... Горячіе лучи жгли ему затылокъ, шею и спину. Заунывная пѣсня то замирала, то опять проносилась въ стоячемъ, душномъ воздухѣ, ручей монотонно журчалъ, лошади жевали, а время тянулось безконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что съ утра прошло уже сто лѣтъ... Не хотѣлъ ли Богъ, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли въ этомъ воздухѣ и, какъ холмы, окаменѣли бы и остались навѣки на одномъ мѣстѣ?

Егорушка поднялъ голову и посоловѣвшими глазами поглядѣлъ впередъ себя; лиловая даль, бывшая до сихъ поръ неподвижною, закачалась и вмѣстѣ съ небомъ понеслась куда-то еще дальше... Она потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка понесся съ необычайною быстротою за убѣгавшею далью. Какая-то сила безшумно влекла его куда-то, а за нимъ вдогонку неслись зной и томительная пѣсня. Егорушка склонилъ голову и закрылъ глаза...

Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что онъ вскочилъ, быстро почесалъ плечо и проговорилъ:

— Анаѳема идолова, нѣтъ на тебя погибели!

Затѣмъ онъ подошелъ къ ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плескъ воды вывели Егорушку изъ забытья. Мальчикъ поглядѣлъ на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которыя дѣлали лицо похожимъ на мраморъ, и спросилъ:

— Скоро поѣдемъ?

Дениска поглядѣлъ, какъ высоко стоитъ солнце, и отвѣтилъ:

— Должно, скоро.

Онъ вытерся подоломъ рубахи и, сдѣлавъ очень серьезное лицо, запрыгалъ на одной ногѣ:

— А ну-ка, кто скорѣй доскачетъ до осоки!—сказалъ онъ.

Егорушка былъ изнеможенъ зноемъ и полусномъ, но все-таки поскакалъ за нимъ. Дениске было уже около 20-ти лѣтъ, служилъ онъ въ кучерахъ и собирался жениться, но не пересталъ еще быть маленькимъ. Онъ очень любилъ пускать змѣи, гонять голубей, играть въ бабки, бѣгать въ догонки и всегда вмѣшивался въ дѣтскія игры и ссоры. Нужно было только хозяевамъ уйти или уснуть, чтобы онъ занялся чѣмъ-нибудь въ родѣ прыганья на одной ножкѣ или подбрасыванья камешковъ. Всякому взрослому, при видѣ того искренняго увлеченія, съ какимъ онъ рѣзвился въ обществѣ малолѣтковъ, трудно было удержаться, чтобы не проговорить: «Этакая дубина!» Дѣти же во вторженіи большого кучера въ ихъ область не видѣли ничего страннаго: пусть играетъ, лишь бы не дрался! Точно такъ маленькія собаки не видятъ ничего страннаго, когда въ ихъ компанію затесывается какой-нибудь большой, искренній песъ и начинаетъ играть съ ними.

Дениска перегналъ Егорушку и, повидимому, остался этимъ очень доволенъ. Онъ подмигнулъ глазомъ и, чтобы показать, что онъ можетъ проскакать на одной ножкѣ какое угодно пространство, предложилъ Егорушкѣ, не хочетъ ли тотъ проскакать съ нимъ по дорогѣ и оттуда, не отдыхая, назадъ къ бричкѣ? Егорушка отклонилъ это предложеніе, потому что очень запыхался и ослабѣлъ.

Вдругъ Дениска сдѣлалъ очень серьезное лицо, какого онъ не дѣлалъ, даже когда Кузьмичовъ распекалъ его или замахивался на него палкой; прислушиваясь, онъ тихо опустился на одно колѣно, и на лицѣ его показалось выраженіе строгости и страха, какое бываетъ у людей, слышащихъ ересь. Онъ нацѣлился на одну точку глазами, медленно поднялъ вверхъ кисть руки, сложенную лодочкой, и вдругъ упалъ животомъ на землю и хлопнулъ лодочкой по травѣ.

— Есть! — прохрипѣлъ онъ торжествующе и, вставши, поднесъ къ глазамъ Егорушки большого кузнечика.

Думая, что это пріятно кузнечику, Егорушка и Дениска погладили его пальцами по широкой, зеленой спинѣ и потрогали его усики. Потомъ Дениска поймалъ жирную муху, насосавшуюся крови, и предложилъ ее кузнечику. Тотъ очень равнодушно, точно давно уже былъ знакомъ съ Дениской, задвигалъ своими большими, похожими на забрало

челюстями и отъѣлъ мухѣ животъ. Его выпустили, онъ сверкнулъ розовой подкладкой своихъ крыльевъ и, опустившись въ траву, тотчасъ же затрещалъ свою пѣсню. Выпустили и муху; она расправила крылья и безъ живота полетѣла къ лошадямъ.

Изъ-подъ брички послышался глубокій вздохъ. Это проснулся Кузьмичовъ. Онъ быстро поднялъ голову, безпокойно поглядѣлъ вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользнувшему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, онъ думалъ о шерсти и Варламовѣ.

— О. Христофоръ, вставайте, пора! — заговорилъ онъ встревоженно.—Будетъ спать, и такъ ужъ дѣло проспали! Дениска, запрягай!

О. Христофоръ проснулся съ такою же улыбкою, съ какою уснулъ. Лицо его отъ сна помялось, поморщилось и, казалось, стало вдвое меньше. Умывшись и одѣвшись, онъ неспѣша вытащилъ изъ кармана маленькій засаленный псалтирь и, ставъ лицомъ къ востоку, началъ шопотомъ читать и креститься.

— О. Христофоръ!—сказалъ укоризненно Кузьмичовъ.— Пора ѣхать, ужъ лошади готовы, а вы ей-Богу...

— Сейчасъ, сейчасъ... — забормоталъ о. Христофоръ.— Каѳизмы почитать надо... Не читалъ еще нынче.

— Можно и послѣ съ каѳизмами.

— Иванъ Иванычъ, на каждый день у меня положеніе... Нельзя.

— Богъ не взыскалъ бы.

Цѣлую четверть часа о. Христофоръ стоялъ неподвижно лицомъ къ востоку и шевелилъ губами, а Кузьмичовъ почти съ ненавистью глядѣлъ на него и нетерпѣливо пожималъ плечами. Особенно его сердило, когда о. Христофоръ послѣ каждой «славы» втягивалъ въ себя воздухъ, быстро крестился и намѣренно громко, чтобъ другіе крестились, говорилъ трижды:

— Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава Тебѣ Боже!

Наконецъ онъ улыбнулся, поглядѣлъ вверхъ на небо и, кладя псалтирь въ карманъ, сказалъ:

— Fini!

Черезъ минуту бричка тронулась въ путь. Точно она ѣхала назадъ, а не дальше, путники видѣли то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули въ лиловой дали

и не было видно ихъ конца; мелькалъ бурьянъ, булыжникъ, проносились сжатыя полосы, и все тѣ же грачи да коршунъ, солидно взмахивающій крыльями, летали надъ степью. Воздухъ все больше застывалъ отъ зноя и тишины, покорная природа цѣпенѣла въ молчаніи... Ни вѣтра, ни бодраго, свѣжаго звука, ни облачка.

Но вотъ, наконецъ, когда солнце стало спускаться къ западу, степь, холмы и воздухъ не выдержали гнета и, истощивши терпѣніе, измучившись, попытались сбросить съ себя иго. Изъ-за холмовъ неожиданно показалось пепельно-сѣдое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью — я, молъ, готово — и нахмурилось. Вдругъ въ стоячемъ воздухѣ что-то порвалось, сильно рванулъ вѣтеръ и съ шумомъ, со свистомъ закружился по степи. Тотчасъ же трава и прошлогодній бурьянъ подняли ропотъ, на дорогѣ спирально закружилась пыль, побѣжала по степи и, увлекая за собой солому, стрекозъ и перья, чернымъ, вертящимся столбомъ поднялась къ небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперекъ, спотыкаясь и прыгая, побѣжали перекати-поле, а одно изъ нихъ попало въ вихрь, завертѣлось, какъ птица, полетѣло къ небу и, обратившись тамъ въ черную точку, исчезло изъ виду. За нимъ понеслось другое, потомъ третье, и Егорушка видѣлъ, какъ два перекати-поле столкнулись въ голубой вышинѣ и вцѣпились другъ въ друга, какъ на поединкѣ.

У самой дороги вспорхнулъ стрепетъ. Мелькая крыльями и хвостомъ, онъ, залитый солнцемъ, походилъ на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у котораго, когда онъ мелькаетъ надъ водой, крылья сливаются съ усиками и кажется, что усики растутъ у него и спереди, и сзади, и съ боковъ... Дрожа въ воздухѣ, какъ насѣкомое, играя своей пестротой, стрепетъ поднялся высоко вверхъ по прямой линіи, потомъ, вѣроятно испуганный облакомъ пыли, понесся въ сторону, и долго еще было видно его мельканіе...

А вотъ, встревоженный вихремъ и не понимая, въ чемъ дѣло, изъ травы вылетѣлъ коростель. Онъ летѣлъ за вѣтромъ, а не противъ, какъ всѣ птицы; отъ этого его перья взъерошились, весь онъ раздулся до величины курицы и имѣлъ очень сердитый, внушительный видъ. Одни только грачи, состарившіеся въ степи и привыкшіе къ степнымъ переполохамъ, покойно носились надъ травой, или же рав-

нодушно, ни на что не обращая вниманія, долбили своими толстыми клювами черствую землю.

За холмами глухо протремѣлъ громъ; подуло свѣжестью. Дениска весело свистнулъ и стегнулъ по лошадямъ. О. Христофоръ и Кузьмичовъ, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы... Хорошо, если бы брызнулъ дождь!

Еще бы, кажется, небольшое усиліе, одна потуга, и степь взяла бы верхъ. Но невидимая гнетущая сила мало-по-малу сковала вѣтеръ и воздухъ, уложила пыль и опять, какъ будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорѣлые холмы нахмурились, воздухъ покорно застылъ, и одни только встревоженные чибисы гдѣ-то плакали и жаловались на судьбу...

Затѣмъ скоро наступилъ вечеръ.

## III.

Въ вечернихъ сумеркахъ показался большой одноэтажный домъ съ ржавой желѣзной крышей и съ темными окнами. Этотъ домъ назывался постоялымъ дворомъ, хотя возлѣ него никакого двора не было и стоялъ онъ посреди степи, ничѣмъ не огороженный. Нѣсколько въ сторонѣ отъ него темнѣлъ жалкій вишневый садикъ съ плетнемъ, да подъ окнами, склонивъ свои тяжелыя головы, стояли спавшіе подсолнечники. Въ садикѣ трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стукомъ зайцевъ. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кромѣ степи.

Едва бричка остановилась около крылечка съ навѣсомъ, какъ въ домѣ послышались радостные голоса — одинъ мужской, другой женскій — завизжала дверь на блокѣ, и около брички въ одно мгновеніе выросла высокая тощая фигура, размахивавшая руками и фалдами. Это былъ хозяинъ постоялаго двора Мойсей Мойсеичъ, немолодой человѣкъ съ очень блѣднымъ лицомъ и съ черной, какъ тушь, красивой бородой. Одѣтъ онъ былъ въ поношенный черный сюртукъ, который болтался на его узкихъ плечахъ, какъ на вѣшалкѣ, и взмахивалъ фалдами, точно крыльями, всякій разъ, какъ Мойсей Мойсеичъ отъ радости или въ ужасѣ всплескивалъ руками. Кромѣ сюртука, на хозяинѣ были еще широкія, бѣлыя панталоны на выпускъ и бархатная жилетка съ рыжими цвѣтами, похожими на гигантскихъ клоповъ.

Мойсей Мойсеичъ, узнавъ пріѣхавшихъ, сначала замеръ отъ наплыва чувствъ, потомъ всплеснулъ руками и простоналъ. Сюртукъ его взмахнулъ фалдами, спина согнулась въ дугу и блѣдное лицо покривилось такой улыбкой, какъ будто видѣть бричку для него было не только пріятно, но и мучительно сладко.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой! — заговорилъ онъ тонкимъ, пѣвучимъ голосомъ, задыхаясь, суетясь и своими тѣлодвиженіями мѣшая пассажирамъ вылѣзти изъ брички. — И такой сегодня для меня счастливый день! Ахъ, да что же я таперичка долженъ дѣлать! Иванъ Иванычъ! Отецъ Христофоръ! Какой же хорошенькій паничокъ сидитъ на козлахъ, накажи меня Богъ! Ахъ, Боже жъ мой, да что же я стою на одномъ мѣстѣ и не зову гостей въ горницу? Пожалуйте, покорнѣйше прошу... милости просимъ! Давайте мнѣ всѣ ваши вещи... Ахъ, Боже мой!

Мойсей Мойсеичъ, шаря въ бричкѣ и помогая пріѣзжимъ вылѣзать, вдругъ обернулся назадъ и закричалъ такимъ дикимъ, придушеннымъ голосомъ, какъ будто тонулъ и звалъ на помощь:

— Соломонъ! Соломонъ!

— Соломонъ! Соломонъ! — повторилъ въ домѣ женскій голосъ.

Дверь на блокѣ завизжала, и на порогѣ показался невысокій молодой еврей, рыжій, съ большимъ птичьимъ носомъ и съ плѣшью среди жесткихъ, кудрявыхъ волосъ; одѣтъ онъ былъ въ короткій, очень поношенный пиджакъ, съ закругленными фалдами и съ короткими рукавами, и въ короткія, триковыя брючки, отчего самъ казался короткимъ и кургузымъ, какъ ощипанная птица. Это былъ Соломонъ, братъ Мойсея Мойсеича. Онъ, молча, не здороваясь, а только какъ-то странно улыбаясь, подошелъ къ бричкѣ.

— Иванъ Иванычъ и отецъ Христофоръ пріѣхали! — сказалъ ему Мойсей Мойсеичъ такимъ тономъ, какъ будто боялся, что тотъ ему не повѣритъ. — Ай, вай, удивительное дѣло, такіе хорошіе люди взяли да пріѣхали! Ну, бери, Соломонъ, вещи! Пожалуйте, дорогіе гости!

Немного погодя, Кузьмичовъ, о. Христофоръ и Егорушка сидѣли уже въ большой, мрачной и пустой комнатѣ за старымъ дубовымъ столомъ. Этотъ столъ былъ почти оди-

нокъ, такъ какъ въ большой комнатѣ, кромѣ него, широкаго дивана съ дырявой клеенкой да трехъ стульевъ, не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякій рѣшился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобіе мебели съ отжившей свой вѣкъ клеенкой и съ неестественно сильно загнутыми назадъ спинками, придававшими стульямъ большое сходство съ дѣтскими санями. Трудно было понять, какое удобство имѣлъ въ виду невѣдомый столяръ, загибая такъ немилосердно спинки, и хотѣлось думать, что тутъ виноватъ не столяръ, а какой-нибудь проѣзжій силачъ, который, желая похвастать своей силой, согнулъ стульямъ спины, потомъ взялся поправлять и еще больше согнулъ. Комната казалась мрачной. Стѣны были сѣры, потолокъ и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зіяли дыры непонятнаго происхожденія (думалось, что ихъ пробилъ каблукомъ все тотъ же силачъ), и, казалось, если бы въ комнатѣ повѣсили десятокъ лампъ, то она не перестала бы быть темной. Ни на стѣнахъ, ни на окнахъ не было ничего похожаго на украшенія. Впрочемъ, на одной стѣнѣ въ сѣрой деревянной рамѣ висѣли какія-то правила съ двуглавымъ орломъ, а на другой, въ такой же рамѣ, какая-то гравюра съ надписью: «Равнодушіе человѣковъ». Къ чему человѣки были равнодушны, — понять было невозможно, такъ какъ гравюра сильно потускнѣла отъ времени и была щедро засижена мухами. Пахло въ комнатѣ чѣмъ-то затхлымъ и кислымъ.

Введя гостей въ комнату, Мойсей Мойсеичъ продолжалъ изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать—все это считалъ онъ нужнымъ продѣлывать для того, чтобы казаться необыкновенно вѣжливымъ и любезнымъ.

— Когда проѣхали тутъ наши подводы? — спросилъ его Кузьмичовъ.

— Одна партія проѣхала нынче утречкомъ, а другая, Иванъ Иванычъ, отдыхала тутъ въ обѣдъ и передъ вечеромъ уѣхала.

— А... Проѣзжалъ тутъ Варламовъ, или нѣтъ?

— Нѣтъ, Иванъ Иванычъ. Вчера утречкомъ проѣзжалъ его приказчикъ Григорій Егорычъ и говорилъ, что онъ, надо-быть, таперичка на хуторѣ у молокана.

— Отлично. Значитъ, мы сейчасъ догонимъ обозы, а потомъ и къ молокану.

— Да Богъ съ вами, Иванъ Иванычъ! — ужаснулся Мойсей Мойсеичъ, всплескивая руками. — Куда вы на ночь поѣдете? Вы поужинайте на здоровьечко и переночуйте, а завтра, Богъ дастъ, утречкомъ поѣдете и догоните кого надо!

— Некогда, некогда... Извините, Мойсей Мойсеичъ, въ другой разъ какъ-нибудь, а теперь не время. Посидимъ четверть часика и поѣдемъ, а переночевать и у молокана можно.

— Четверть часика! — взвизгнулъ Мойсей Мойсеичъ. — Да побойтесь вы Бога, Иванъ Иванычъ! Вы меня заставите, чтобъ я ваши шапке спряталъ и заперъ на замокъ двери! Вы хоть закусите и чаю покушайте!

— Некогда намъ съ чаями да съ сахарами, — сказалъ Кузьмичовъ.

Мойсей Мойсеичъ склонилъ голову на бокъ, согнулъ колѣни и выставилъ впередъ ладони, точно обороняясь отъ ударовъ, и съ мучительно-сладкой улыбкой сталъ умолять:

— Иванъ Иванычъ! Отецъ Христофоръ! Будьте же такіе добрые, покушайте у меня чайку! Неужели я ужъ такой нехорошій человѣкъ, что у меня нельзя даже чай пить? Иванъ Иванычъ!

— Что жъ, чайку можно попить, — сочувственно вздохнулъ отецъ Христофоръ. — Это не задержитъ.

— Ну, ладно! — согласился Кузьмичовъ.

Мойсей Мойсеичъ встрепенулся, радостно ахнулъ и, пожимаясь такъ, какъ будто онъ только-что выскочилъ изъ холодной воды въ тепло, побѣжалъ къ двери и закричалъ дикимъ придушеннымъ голосомъ, какимъ раньше звалъ Соломона:

— Роза! Роза! Давай самоваръ!

Черезъ минуту отворилась дверь, и въ комнату съ большимъ подносомъ въ рукахъ вошелъ Соломонъ. Ставя на столъ подносъ, онъ насмѣшливо глядѣлъ куда-то въ сторону и попрежнему странно улыбался. Теперь при свѣтѣ лампочки можно было разглядѣть его улыбку; она была очень сложной и выражала много чувствъ, но преобладающимъ въ ней было одно — явное презрѣніе. Онъ какъ будто думалъ о чемъ-то смѣшномъ и глупомъ, кого-то терпѣть не могъ и презиралъ, чему-то радовался и ждалъ подходящей минуты, чтобы уязвить насмѣшкой и пока-

титься со смѣху. Его длинный носъ, жирныя губы и хитрые, выпученные глаза, казалось, были напряжены отъ желанія расхохотаться. Взглянувъ на его лицо, Кузьмичовъ насмѣшливо улыбнулся и спросилъ:

— Соломонъ, отчего же ты этимъ лѣтомъ не пріѣзжалъ къ намъ въ N. на ярмарку жидовъ представлять?

Года два назадъ, что отлично помнилъ и Егорушка, Соломонъ въ N. на ярмаркѣ, въ одномъ изъ балагановъ, разсказывалъ сцены изъ еврейскаго быта и пользовался большимъ успѣхомъ. Напоминаніе объ этомъ не произвело на Соломона никакого впечатлѣнія. Ничего не отвѣтивъ, онъ вышелъ и, немного погодя, вернулся съ самоваромъ.

Сдѣлавъ около стола свое дѣло, онъ пошелъ въ сторону и, скрестивъ на груди руки, выставивъ впередъ одну ногу, уставился своими насмѣшливыми глазами на о. Христофора. Въ его позѣ было что-то вызывающее, надменное и презрительное, и въ то же время въ высшей степени жалкое и комическое, потому что чѣмъ внушительнѣе становилась его поза, тѣмъ ярче выступали на первый планъ его короткія брючки, куцый пиджакъ, карикатурный носъ и вся его птичья, ощипанная фигурка.

Мойсей Мойсеичъ принесъ изъ другой комнаты табуретъ и сѣлъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ стола.

— Пріятнаго аппетиту! Чай да сахаръ! — началъ онъ занимать гостей. — Кушайте на здоровьечко. Такіе рѣдкіе гости, такіе рѣдкіе, а отца Христофора я ужъ пять годовъ не видалъ. И никто не хочетъ мнѣ сказать, чей это такой паничокъ хорошій? — спросилъ онъ, нѣжно поглядывая на Егорушку.

— Это сынокъ сестры Ольги Ивановны,—отвѣтилъ Кузьмичовъ.

— А куда же онъ ѣдетъ?

— Учиться. Въ гимназію его веземъ.

Мойсей Мойсеичъ изъ вѣжливости изобразилъ на лицѣ своемъ удивленіе и значительно покрутилъ головой.

— О, это хорошо! — сказалъ онъ, грозя самовару пальцемъ. — Это хорошо! Изъ гимназіи выйдешь такой господинъ, что всѣ мы будемъ шапке снимать. Ты будешь умный, богатый, съ амбиціей, а маменька будетъ радоваться. О, это хорошо!

Онъ помолчалъ немного, погладилъ себѣ колѣни и заговорилъ въ почтительно-шутливомъ тонѣ:

— Ужъ вы меня извините, отецъ Христофоръ, а я собираюсь написать бумагу архіерею, что вы у купцовъ хлѣбъ отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значитъ, своихъ грошей мало, что онъ занялся коммерціей и сталъ шерсть продавать.

— Да, вздумалъ вотъ на старости лѣтъ... — сказалъ о. Христофоръ и засмѣялся. — Записался, братъ, изъ поповъ въ купцы. Теперь бы дома сидѣть да Богу молиться, а я скачу, аки фараонъ на колесницѣ... Суета!

— Зато грошей будетъ много!

— Ну да! Дулю мнѣ подъ носъ, а не гроши. Товаръ-то вѣдь не мой, а зятя Михайлы!

— Отчего же онъ самъ не поѣхалъ?

— А оттого... Матернее молоко на губахъ еще не обсохло. Купить-то купилъ шерсть, а чтобъ продать — ума нѣтъ, молодъ еще. Всѣ деньги свои потратилъ, хотѣлъ нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда, ему и своей цѣны никто не даетъ. Этакъ помыкался парень съ годъ, потомъ приходитъ ко мнѣ и — «Папаша, продайте шерсть сдѣлайте милость! Ничего я въ этихъ дѣлахъ не понимаю!» То-то вотъ и есть. Какъ что, такъ сейчасъ и папаша, а прежде и безъ папаши можно было. Когда покупалъ, не спрашивался, а теперь, какъ приспичило, такъ и папаша. А что папаша? Коли бъ не Иванъ Иванычъ, такъ и папаша ничего бъ не сдѣлалъ. Хлопоты съ ними!

— Да, хлопотно съ дѣтьми, я вамъ скажу! — вздохнулъ Мойсей Мойсеичъ. — У меня у самого шесть человѣкъ. Одного учи, другого лѣчи, третьяго на рукахъ носи, а когда выростутъ, такъ еще больше хлопотъ. Не только таперичка, даже въ священномъ писаніи такъ было. Когда у Іакова были маленькія дѣти, онъ плакалъ, а когда они выросли, еще хуже сталъ плакать!

— М-да...—согласился о. Христофоръ, задумчиво глядя на стаканъ. — Мнѣ-то собственно нечего Бога гнѣвить, я достигъ предѣла своей жизни, какъ дай Богъ всякому... Дочекъ за хорошихъ людей опредѣлилъ, сыновъ въ люди вывелъ и теперь свободенъ, свое дѣло сдѣлалъ, хоть на всѣ четыре стороны иди. Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью да сплю, на внучатъ радуюсь да Богу мо-

люсь, а больше мнѣ ничего и не надо. Какъ сыръ въ маслѣ катаюсь и знать никого не хочу. Отродясь у меня никакого горя не было и теперь ежели бъ, скажемъ, царь спросилъ: «Что тебѣ надобно? Чего хочешь?» Да ничего мнѣ не надобно! Все у меня есть и все слава Богу. Счастливѣй меня во всемъ городѣ человѣка нѣтъ. Только вотъ грѣховъ много, да вѣдь и то сказать, одинъ Богъ безъ грѣха. Вѣдь вѣрно?

— Стало-быть, вѣрно.

— Ну, конечно, зубовъ нѣтъ, спину отъ старости ломитъ, то да се... одышка и всякое тамъ... Болѣю, плоть немощна, ну, да вѣдь, самъ посуди, пожилъ! Восьмой десятокъ! Не вѣкъ же вѣковать, надо и честь знать.

О. Христофоръ вдругъ что-то вспомнилъ, прыснулъ въ стаканъ и закашлялся отъ смѣха. Мойсей Мойсеичъ изъ приличія тоже засмѣялся и закашлялся.

— Потѣха!—сказалъ о. Христофоръ и махнулъ рукой.— Пріѣзжаетъ ко мнѣ въ гости старшій сынъ мой Гаврила. Онъ по медицинской части и служитъ въ Черниговской губерніи въ земскихъ докторахъ... Хорошо-съ... Я ему и говорю: «Вотъ, говорю, одышка, то да се... Ты докторъ, лѣчи отца!» Онъ сейчасъ меня раздѣлъ, постукалъ, послушалъ, разныя тамъ штуки... животъ помялъ, потомъ и говоритъ: — «Вамъ, папаша, надо, говоритъ, лѣчиться сжатымъ воздухомъ».

О. Христофоръ захохоталъ судорожно, до слезъ и поднялся.

— А я ему и говорю: «Богъ съ нимъ, съ этимъ сжатымъ воздухомъ!» — выговорилъ онъ сквозь смѣхъ и махнулъ обѣими руками.—Богъ съ нимъ, съ этимъ сжатымъ воздухомъ!

Мойсей Мойсеичъ тоже поднялся и, взявшись за животъ, залился тонкимъ смѣхомъ, похожимъ на лай болонки.

— Богъ съ нимъ, съ этимъ сжатымъ воздухомъ! — повторилъ о. Христофоръ, хохоча.

Мойсей Мойсеичъ взялъ двумя нотами выше и закатился такимъ судорожнымъ смѣхомъ, что едва устоялъ на ногахъ.

— О, Боже мой... — стоналъ онъ среди смѣха. — Дайте вздохнуть... Такъ насмѣшили, что... охъ!..—смерть моя.

Онъ смѣялся и говорилъ, а самъ между тѣмъ пугливо и подозрительно посматривалъ на Соломона. Тотъ стоялъ въ

прежней позѣ и улыбался. Судя по его глазамъ и улыбкѣ, онъ презиралъ и ненавидѣлъ серьезно, но это такъ не шло къ его ощипанной фигуркѣ, что, казалось Егорушкѣ, вызывающую позу и ѣдкое, презрительное выраженіе придалъ онъ себѣ нарочно, чтобы разыграть шута и насмѣшить дорогихъ гостей.

Выпивъ молча стакановъ шесть, Кузьмичовъ расчистилъ передъ собой на столѣ мѣсто, взялъ мѣшокъ, тотъ самый, который, когда онъ спалъ подъ бричкой, лежалъ у него подъ головой, развязалъ на немъ веревечку и потрясъ имъ. Изъ мѣшка посыпались на столъ пачки кредитныхъ бумажекъ.

— Пока время есть, давайте, о. Христофоръ, посчитаемъ,—сказалъ Кузьмичовъ.

Увидѣвъ деньги, Мойсей Мойсеичъ сконфузился, всталъ и, какъ деликатный человѣкъ, не желающій знать чужихъ секретовъ, на цыпочкахъ и балансируя руками, вышелъ изъ комнаты. Соломонъ остался на своемъ мѣстѣ.

— Въ рублевыхъ пачкахъ по скольку?—началъ о. Христофоръ.

— По пятьдесятъ... Въ трехрублевыхъ по девяносто... Четвертныя и сторублевыя по тысячамъ сложены. Вы отсчитайте семь тысячъ восемьсотъ для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Да глядите, не просчитайте...

Егорушка отродясь не видалъ такой кучи денегъ, какая лежала теперь на столѣ. Денегъ, вѣроятно, было очень много, такъ какъ пачка въ семь тысячъ восемьсотъ, которую о. Христофоръ отложилъ для Варламова, въ сравненіи со всей кучей казалась очень маленькой. Въ другое время такая масса денегъ, быть-можетъ, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышленія о томъ, сколько на эту кучу можно купить бубликовъ, бабокъ, маковниковъ; теперь же онъ глядѣлъ на нее безучастно и чувствовалъ только противный запахъ гнилыхъ яблокъ и керосина, шедшій отъ кучи. Онъ былъ измученъ тряской ѣздой на бричкѣ, утомился и хотѣлъ спать. Его голову тянуло внизъ, глаза слипались и мысли путались, какъ нитки. Если бъ можно было, онъ съ наслажденіемъ склонилъ бы голову на столъ, закрылъ бы глаза, чтобъ не видѣть лампы и пальцевъ, двигавшихся надъ кучей, и позволилъ бы своимъ вялымъ, соннымъ мыслямъ еще больше запутаться. Когда онъ си-

лился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самоваръ качался, а запахъ гнилыхъ яблокъ казался еще острѣе и противнѣе.

— Ахъ, деньги, деньги!—вздыхалъ о. Христофоръ, улыбаясь.—Горе съ вами! Теперь мой Михайло, небось, спитъ и видитъ, что я ему такую кучу привезу.

— Вашъ Михайло Тимофеичъ человѣкъ не понимающій,—говорилъ вполголоса Кузьмичовъ:—не за свое дѣло берется, а вы понимаете и можете разсудить. Отдали бы вы мнѣ, какъ я говорилъ, вашу шерсть и ѣхали бы себѣ назадъ, а я бъ вамъ, такъ и быть ужъ, далъ бы по полтиннику поверхъ своей цѣны, да и то только изъ уваженія...

— Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ,—вздыхалъ о. Христофоръ.—Благодаримъ васъ за вниманіе... Конечно, ежели бъ моя воля, я бъ и разговаривать не сталъ, а то вѣдь, сами знаете, товаръ не мой...

Вошелъ на цыпочкахъ Мойсей Мойсеичъ. Стараясь изъ деликатности не глядѣть на кучу денегъ, онъ подкрался къ Егорушкѣ и дернулъ его сзади за рубаху.

— А пойдемъ-ка, паничокъ,—сказалъ онъ вполголоса:—какого я тебѣ медвѣдика покажу! Такой страшный, сердитый! У-у!

Сонный Егорушка всталъ и лѣниво поплелся за Мойсеемъ Мойсеичемъ смотрѣть медвѣдя. Онъ вошелъ въ небольшую комнатку, гдѣ, прежде чѣмъ онъ увидѣлъ что-нибудь, у него захватило дыханіе отъ запаха чего-то кислаго и затхлаго, который здѣсь былъ гораздо гуще, чѣмъ въ большой комнатѣ, и, вѣроятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большою постелью, покрытой сальнымъ стеганымъ одѣяломъ, а другая комодомъ и горами всевозможнаго тряпья, начиная съ жестко накрахмаленныхъ юбокъ и кончая дѣтскими пганишками и помочами. На комодѣ горѣла сальная свѣчка.

Вмѣсто обѣщаннаго медвѣдя, Егорушка увидѣлъ большую, очень толстую еврейку, съ распущенными волосами и въ красномъ фланелевомъ платьѣ съ черными крапинками; она тяжело поворачивалась въ узкомъ проходѣ между постелью и комодомъ и издавала протяжные, стонущіе вздохи, точно у нея болѣли зубы. Увидѣвъ Егорушку, она сдѣлала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чѣмъ онъ

успѣлъ оглядѣться, поднесла къ его рту ломоть хлѣба, вымазанный медомъ.

— Кушай, дѣтка, кушай!—сказала она.—Ты здѣсь безъ маменьке и тебя некому покормить. Кушай.

Егорушка сталъ ѣсть, хотя послѣ леденцовъ и маковниковъ, которые онъ каждый день ѣлъ у себя дома, не находилъ ничего хорошаго въ меду, на половину смѣшанномъ съ воскомъ и съ пчелиными крыльями. Онъ ѣлъ, а Мойсей Мойсеичъ и еврейка глядѣли и вздыхали.

— Ты куда ѣдешь, дѣтка?—спросила еврейка.

— Учиться,—отвѣтилъ Егорушка.

— А сколько васъ у маменьке?

— Я одинъ. Больше нѣту никого.

— А-охъ!—вздохнула еврейка и подняла вверхъ глаза.—Бѣдная маменьке, бѣдная маменьке! Какъ же она будетъ скучать и плакать! Черезъ годъ мы тоже повеземъ въ ученье своего Наума! Охъ!

— Ахъ, Наумъ, Наумъ!—вздохнулъ Мойсей Мойсеичъ, и на его блѣдномъ лицѣ нервно задрожала кожа.—А онъ такой больной.

Сальное одѣяло зашевелилось, и изъ-подъ него показалась кудрявая дѣтская голова на очень тонкой шеѣ; два черныхъ глаза блеснули и съ любопытствомъ уставились на Егорушку. Мойсей Мойсеичъ и еврейка, не переставая вздыхать, подошли къ комоду и стали говорить о чемъ-то по-еврейски. Мойсей Мойсеичъ говорилъ вполголоса, низкимъ баскомъ, и въ общемъ его еврейская рѣчь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал...», а жена отвѣчала ему тонкимъ индюшечьимъ голоскомъ, и у нея выходило что-то въ родѣ «ту-ту-ту-ту...» Пока они совѣщались, изъ-подъ сальнаго одѣяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шеѣ, за ней третья, потомъ четвертая... Если бы Егорушка обладалъ богатой фантазіей, то могъ бы подумать, что подъ одѣяломъ лежала стоглавая гидра.

— Гал-гал-гал-гал...—говорилъ Мойсей Мойсеичъ.

— Ту-ту-ту-ту...—отвѣчала ему еврейка.

Совѣщаніе кончилось тѣмъ, что еврейка съ глубокимъ вздохомъ полѣзла въ комодъ, развернула тамъ какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряникъ, въ видѣ сердца.

— Возьми, дѣтка,—сказала она, подавая Егорушкѣ

пряникъ.—У тебя теперь нѣту маменьке, некому тебѣ гостинца дать.

Егорушка сунулъ въ карманъ пряникъ и попятился къ двери, такъ какъ былъ уже не въ силахъ дышать затхлымъ и кислымъ воздухомъ, въ которомъ жили хозяева. Вернувшись въ большую комнату, онъ поудобнѣй примостился на диванѣ и ужъ не мѣшалъ себѣ думать.

Кузьмичовъ только-что кончилъ считать деньги и клалъ ихъ обратно въ мѣшокъ. Обращался онъ съ ними не особенно почтительно и валилъ ихъ въ грязный мѣшокъ безъ всякой церемоніи съ такимъ равнодушіемъ, какъ будто это были не деньги, а бумажный хламъ.

О. Христофоръ бесѣдовалъ съ Соломономъ.

— Ну, что, Соломонъ премудрый? — спрашивалъ онъ, зѣвая и крестя ротъ.—Какъ дѣла?

— Это вы про какія дѣла говорите?—спросилъ Соломонъ и поглядѣлъ такъ ехидно, какъ будто ему намекали на какое-нибудь преступленіе.

— Вообще... Что подѣлываешь?

— Что я подѣлываю?—переспросилъ Соломонъ и пожалъ плечами.—То же, что и всѣ... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, братъ лакей у проѣзжающихъ, проѣзжающіе лакеи у Варламова, а если бы я имѣлъ денегъ десять милліоновъ, то Варламовъ былъ бы у меня лакеемъ.

— То-есть почему же это онъ былъ бы у тебя лакеемъ?

— Почему? А потому, что нѣтъ такого барина или милліонера, который изъ-за лишней копейки не сталъ бы лизать рукъ у жида пархатаго. Я теперь жидъ пархатый и нищій, всѣ на меня смотрятъ, какъ на собаке, а если бъ у меня были деньги, то Варламовъ передо мной ломалъ бы такого дурака, какъ Моисей передъ вами.

О. Христофоръ и Кузьмичовъ переглянулись. Ни тотъ, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичовъ строго и сухо поглядѣлъ на него и спросилъ:

— Какъ же ты, дуракъ этакой, равняешь себя съ Варламовымъ?

— Я еще не настолько дуракъ, чтобы равнять себя съ Варламовымъ,—отвѣтилъ Соломонъ, насмѣшливо оглядывая своихъ собесѣдниковъ.—Варламовъ хоть и русскій, но въ душѣ онъ жидъ пархатый; вся жизнь у него въ деньгахъ и въ наживѣ, а я свои деньги спалилъ въ печкѣ. Мнѣ не

нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтобъ меня боялись и снимали шапки, когда я ѣду. Значитъ, я умнѣй вашего Варламова и больше похожъ на человѣка!

Немного погодя, Егорушка сквозь полусонъ слышалъ, какъ Соломонъ голосомъ глухимъ и сиплымъ отъ душившей его ненависти, картавя и спѣша, заговорилъ объ евреяхъ; сначала говорилъ онъ правильно, по-русски, потомъ же впалъ въ тонъ разсказчиковъ изъ еврейскаго быта и сталъ говорить какъ когда-то въ балаганѣ, съ утрированнымъ еврейскимъ акцентомъ.

— Постой...—перебилъ его о. Христофоръ.—Если тебѣ твоя вѣра не нравится, такъ ты ее перемѣни, а смѣяться грѣхъ; тотъ послѣдній человѣкъ, кто надъ своей вѣрой глумится.

— Вы ничего не понимаете!—грубо оборвалъ его Соломонъ.—Я вамъ говорю одно, а вы другое...

— Вотъ и видно сейчасъ, что ты глупый человѣкъ,—вздохнулъ о. Христофоръ.—Я тебя наставляю, какъ умѣю, а ты сердишься. Я тебѣ по-стариковски, потихоньку, а ты, какъ индюкъ: бла-бла-бла! Чудакъ, право...

Вошелъ Мойсей Мойсеичъ. Онъ встревоженно поглядѣлъ на Соломона и на своихъ гостей, и опять на его лицѣ нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнулъ головой и поглядѣлъ вокругъ себя; мелькомъ онъ увидѣлъ лицо Соломона и какъ разъ въ тотъ моментъ, когда оно было обращено къ нему въ три четверти и когда тѣнь отъ его длиннаго носа пересѣкла всю лѣвую щеку; презрительная улыбка, смѣшанная съ этою тѣнью, блестящіе, насмѣшливые глаза, надменное выраженіе и вся его ощипанная фигурка, двоясь и мелькая въ глазахъ Егорушки, дѣлали его теперь похожимъ не на шута, а на что-то такое, что иногда снится, вѣроятно, на нечистаго духа.

— Какой-то онъ у васъ бѣсноватый, Мойсей Мойсеичъ, Богъ съ нимъ!—сказалъ съ улыбкой о. Христофоръ.—Вы бы его пристроили куда-нибудь, или женили, что ли... На человѣка не похожъ...

Кузьмичовъ сердито нахмурился. Мойсей Мойсеичъ опять встревоженно и пытливо поглядѣлъ на брата и на гостей.

— Соломонъ, выйди отсюда!—строго сказалъ онъ.—Выйди!

И онъ прибавилъ еще что-то по-еврейски. Соломонъ отрывисто засмѣялся и вышелъ.

— А что такое?—испуганно спросилъ Мойсей Мойсеичъ о. Христофора.

— Забывается, — отвѣтилъ Кузьмичовъ. — Грубитель и много о себѣ понимаетъ.

— Такъ и зналъ!—ужаснулся Мойсей Мойсеичъ, всплескивая руками.—Ахъ, Боже мой! Боже мой! — забормоталъ онъ вполголоса. — Ужъ вы будьте добрые, извините и не серчайте. Это такой человѣкъ, такой человѣкъ! Ахъ, Боже мой! Боже мой! Онъ мнѣ родной братъ, но, кромѣ горя, я отъ него ничего не видѣлъ. Вѣдь онъ, знаете...

Мойсей Мойсеичъ покрутилъ пальцемъ около лба и продолжалъ:

— Не въ своемъ умѣ... пропащій человѣкъ. И что мнѣ съ нимъ дѣлать, не знаю! Никого онъ не любитъ, никого не почитаетъ, никого не боится... Знаете, надъ всѣми смѣется, говоритъ глупости, всякому въ глаза тычетъ. Вы не можете повѣрить, разъ пріѣхалъ сюда Варламовъ, а Соломонъ такое ему сказалъ, что тотъ ударилъ кнутомъ и его, и мене... А мене за что? Развѣ я виноватъ? Богъ отнялъ у него умъ, значитъ, это Божья воля, а я развѣ виноватъ?

Прошло минутъ десять, а Мойсей Мойсеичъ все еще бормоталъ вполголоса и вздыхалъ:

— Ночью онъ не спитъ и все думаетъ, думаетъ, думаетъ, а о чемъ онъ думаетъ, Богъ его знаетъ. Подойдешь къ нему ночью, а онъ сердится и смѣется. Онъ и меня не любитъ... И ничего онъ не хочетъ! Папаша, когда помиралъ, оставилъ ему и мнѣ по шести тысячъ рублей. Я купилъ себѣ постоялый дворъ, женился и таперичка дѣточекъ имѣю, а онъ спалилъ свои деньги въ печкѣ. Такъ жалко, такъ жалко! Зачѣмъ палить? Тебѣ не надо, такъ отдай мнѣ, а зачѣмъ же палить?

Вдругъ завизжала дверь на блокѣ и задрожалъ полъ отъ чьихъ-то шаговъ. На Егорушку пахнуло легкимъ вѣтеркомъ, и показалось ему, что какая-то большая, черная птица пронеслась мимо и у самаго лица его взмахнула крыльями. Онъ открылъ глаза... Дядя съ мѣшкомъ въ рукахъ, готовый въ путь, стоялъ возлѣ дивана. О. Христофоръ, держа широкополый цилиндръ, кому-то кланялся и улыбался не мягко и не умиленно, какъ всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло къ его лицу. А Мойсей Мойсеичъ, точно его

тѣло разломалось на три части, балансировалъ и всячески старался не разсыпаться. Одинъ только Соломонъ, какъ ни въ чемъ не бывало, стоялъ въ углу, скрестивъ руки, и попрежнему презрительно улыбался.

— Ваше сіятельство, извините, у насъ не чисто!—стоналъ Мойсей Мойсеичъ съ мучительно-сладкой улыбкой, уже не замѣчая ни Кузьмичова, ни о. Христофора, а только балансируя всѣмъ тѣломъ, чтобы не разсыпаться.—Мы люди простые, ваше сіятельство!

Егорушка протеръ глаза. Посреди комнаты стояло, дѣйствительно, сіятельство въ образѣ молодой, очень красивой и полной женщины въ черномъ платьѣ и въ соломенной шляпѣ. Прежде чѣмъ Егорушка успѣлъ разглядѣть ея черты, ему почему-то пришелъ на память тотъ одинокій, стройный тополь, который онъ видѣлъ днемъ на холмѣ.

— Проѣзжалъ здѣсь сегодня Варламовъ? — спросилъ женскій голосъ.

— Нѣтъ, ваше сіятельство! — отвѣтилъ Мойсей Мойсеичъ.

— Если завтра увидите его, то попросите, чтобы онъ ко мнѣ заѣхалъ на минутку.

Вдругъ, совсѣмъ неожиданно, на полвершка отъ своихъ глазъ Егорушка увидѣлъ черныя, бархатныя брови, большіе каріе глаза и выхоленныя женскія щеки съ ямочками, отъ которыхъ, какъ лучи отъ солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чѣмъ-то великолѣпно запахло.

— Какой хорошенькій мальчикъ!—сказала дама. — Чей это? Казимиръ Михайловичъ, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, онъ спитъ! Бутузъ ты мой милый...

И дама крѣпко поцѣловала Егорушку въ обѣ щеки, и онъ улыбнулся и, думая, что спитъ, закрылъ глаза. Дверной блокъ завизжалъ и послышались торопливые шаги: кто-то входилъ и выходилъ.

— Егорушка! Егорушка!—раздался густой шопотъ двухъ голосовъ.—Вставай, ѣхать!

Кто-то, кажется, Дениска, поставилъ Егорушку на ноги и повелъ его за руку; на пути онъ открылъ на половину глаза и еще разъ увидѣлъ красивую женщину въ черномъ платьѣ, которая цѣловала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, какъ онъ уходилъ, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя къ двери, онъ увидѣлъ какого-

то красиваго и плотнаго брюнета въ шляпѣ котелкомъ и въ крагахъ. Должно-быть, это былъ провожатый дамы.

— Тпрр!—донеслось со двора.

У порога дома Егорушка увидѣлъ новую, роскошную коляску и пару черныхъ лошадей. На козлахъ сидѣлъ лакей въ ливреѣ и съ длиннымъ хлыстомъ въ рукахъ. Провожать уѣзжающихъ вышелъ одинъ только Соломонъ. Лицо его было напряжено отъ желанія расхохотаться; онъ глядѣлъ такъ, какъ будто съ большимъ нетерпѣніемъ ждалъ отъѣзда гостей, чтобы вволю посмѣяться надъ ними.

— Графиня Драницкая, — прошепталъ о. Христофоръ, полѣзая въ бричку.

— Да, графиня Драницкая, — повторилъ Кузьмичовъ тоже шопотомъ.

Впечатлѣніе, произведенное пріѣздомъ графини, было, вѣроятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорилъ шопотомъ и только тогда рѣшился стегнуть по гнѣдымъ и крикнуть, когда бричка проѣхала съ четверть версты и когда далеко назади вмѣсто постоялаго двора виденъ ужъ былъ одинъ только тусклый огонекъ.

## IV.

Кто же, наконецъ, этотъ неуловимый, таинственный Варламовъ, о которомъ такъ много говорятъ, котораго презираетъ Соломонъ и который нуженъ даже красивой графинѣ? Сѣвши на передокъ рядомъ съ Дениской, полусонный Егорушка думалъ именно объ этомъ человѣкѣ. Онъ никогда не видѣлъ его, но очень часто слышалъ о немъ и нерѣдко рисовалъ его въ своемъ воображеніи. Ему извѣстно было, что Варламовъ имѣетъ нѣсколько десятковъ тысячъ десятинъ земли, около сотни тысячъ овецъ и очень много денегъ; объ его образѣ жизни и занятіяхъ Егорушкѣ было извѣстно только то, что онъ всегда «кружился въ этихъ мѣстахъ» и что его всегда ищутъ.

Много слышалъ у себя дома Егорушка и о графинѣ Драницкой. Она тоже имѣла нѣсколько десятковъ тысячъ десятинъ, много овецъ, конскій заводъ и много денегъ, но не «кружилась», а жила у себя въ богатой усадьбѣ, про которую знакомые и Иванъ Иванычъ, не разъ бывавшій у графини по дѣламъ, разсказывали много чудеснаго; такъ, говорили, что въ графининой гостиной, гдѣ висятъ портреты

всѣхъ польскихъ королей, находились большіе столовые часы, имѣвшіе форму утеса, на утесѣ стоялъ дыбомъ золотой конь съ бриллiантовыми глазами, а на конѣ сидѣлъ золотой всадникъ, который всякій разъ, когда часы били, взмахивалъ шашкой направо и налѣво. Разсказывали также, что раза два въ годъ графиня давала балъ, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губерніи и пріѣзжалъ даже Варламовъ; всѣ гости пили чай изъ серебряныхъ самоваровъ, ѣли все необыкновенное (напримѣръ, зимою, на Рождество, подавались малина и клубника) и плясали подъ музыку, которая играла день и ночь...

«А какая она красивая!»—думалъ Егорушка, вспоминая ея лицо и улыбку.

Кузьмичовъ, вѣроятно, тоже думалъ о графинѣ, потому что, когда бричка проѣхала версты двѣ, онъ сказалъ:

— Да и здорово же обираетъ ее этотъ Казимиръ Михайлычъ! Въ третьемъ годѣ, когда я у нея, помните, шерсть покупалъ, онъ на одной моей покупкѣ тысячи три нажилъ.

— Отъ ляха иного и ждать нельзя,—сказалъ о. Христофоръ.

— А ей и горюшка мало. Сказано, молодая да глупая. Въ головѣ вѣтеръ такъ и ходитъ!

Егорушкѣ почему-то хотѣлось думать только о Варламовѣ и графинѣ, въ особенности о послѣдней. Его сонный мозгъ совсѣмъ отказался отъ обыкновенныхъ мыслей, туманился и удерживалъ одни только сказочные, фантастическіе образы, которые имѣютъ то удобство, что какъ-то сами собой, безъ всякихъ хлопотъ со стороны думающаго, зарождаются въ мозгу и сами—стоитъ только хорошенько встряхнуть головой—исчезаютъ безслѣдно; да и все, что было кругомъ, не располагало къ обыкновеннымъ мыслямъ. Направо темнѣли холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то невѣдомое и страшное, налѣво все небо надъ горизонтомъ было залито багровымъ заревомъ, и трудно было понять, былъ ли то гдѣ-нибудь пожаръ, или же собиралась восходить луна. Даль была видна, какъ и днемъ, но ужъ ея нѣжная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мглѣ, какъ дѣти Мойсея Мойсеича подъ одѣяломъ.

Въ іюльскіе вечера и ночи уже не кричатъ перепела и коростели, не поютъ въ лѣсныхъ балочкахъ соловьи, не

пахнетъ цвѣтами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдетъ солнце и землю окутаетъ мгла, какъ дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхаетъ широкою грудью. Какъ будто отъ того, что травѣ не видно въ потемкахъ своей старости, въ ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бываетъ днемъ; трескъ, подсвистыванье, царапанье, степные басы, тенора и дисканты—все мѣшается въ непрерывный, монотонный гулъ, подъ который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкиваетъ, какъ колыбельная пѣсня; ѣдешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вотъ откуда-то доносится отрывистый, тревожный крикъ не уснувшей птицы, или раздается неопредѣленный звукъ, похожій на чей-то голосъ, въ родѣ удивленнаго «а-а!»—и дремота опускаетъ вѣки. А то, бывало, ѣдешь мимо балочки, гдѣ есть кусты, и слышишь, какъ птица, которую степняки зовутъ сплюкомъ, кому-то кричитъ: «сплю! сплю! сплю!», а другая хохочетъ или заливается истерическимъ плачемъ — это сова. Для кого онѣ кричатъ и кто ихъ слушаетъ на этой равнинѣ, Богъ ихъ знаетъ, но въ крикѣ ихъ много грусти и жалобы... Пахнетъ сѣномъ, высушенной травой и запоздалыми цвѣтами, но запахъ густъ, сладко-приторенъ и нѣженъ.

Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвѣтъ и очертанія предметовъ. Все представляется не тѣмъ, что оно есть. Ѣдешь и вдругъ видишь, впереди у самой дороги стоитъ силуэтъ, похожій на монаха; онъ не шевелится, ждетъ и что-то держитъ въ рукахъ... Не разбойникъ ли это? Фигура приближается, растетъ, вотъ она поровнялась съ бричкой, и вы видите, что это не человѣкъ, а одинокій кустъ или большой камень. Такія неподвижныя, кого-то поджидающія фигуры стоятъ на холмахъ, прячутся за курганами, выглядываютъ изъ бурьяна, и всѣ онѣ походятъ на людей и внушаютъ подозрѣніе.

А когда восходитъ луна, ночь становится блѣдной и темной. Мглы какъ не бывало. Воздухъ прозраченъ, свѣжъ и тепелъ, всюду хорошо видно и даже можно различить у дороги отдѣльные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительныя фигуры, похожія на монаховъ, на свѣтломъ фонѣ ночи кажутся чернѣе и смотрятъ угрюмѣе. Чаще и чаще среди монотонной трес-

котни, тревожа неподвижный воздухъ, раздается чье-то удивленное «а-а!» и слышится крикъ не уснувшей или бредящей птицы. Широкія тѣни ходятъ по равнинѣ, какъ облака по небу, а въ непонятной дали, если долго всматриваться въ нее, высятся и громоздятся другъ на друга туманные, причудливые образы... Немножко жутко. А взглянешь на блѣдно-зеленое, усыпанное звѣздами небо, на которомъ ни облачка, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздухъ недвижимъ, почему природа на-сторожѣ и боится шевельнуться: ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновеніе жизни. О необъятной глубинѣ и безграничности неба можно судить только на морѣ, да въ степи ночью, когда свѣтитъ луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядитъ томно и манитъ къ себѣ, а отъ ласки его кружится голова.

Ѣдешь часъ-другой... Попадается на пути молчаливый старикъ-курганъ, или каменная баба, поставленная Богъ вѣдаетъ кѣмъ и когда, безшумно пролетитъ надъ землею ночная птица, и мало-по-малу на память приходятъ степныя легенды, разсказы встрѣчныхъ, сказки няньки-степнячки и все то, что самъ сумѣлъ увидѣть и постичъ душою. И тогда въ трескотнѣ насѣкомыхъ, въ подозрительныхъ фигурахъ и курганахъ, въ голубомъ небѣ, въ лунномъ свѣтѣ, въ полетѣ ночной птицы, во всемъ, что видишь и слышишь, начинаютъ чудиться торжество красоты, молодость, расцвѣтъ силъ и страстная жажда жизни; душа даетъ откликъ прекрасной, суровой родинѣ, и хочется летѣть надъ степью вмѣстѣ съ ночной птицей. И въ торжествѣ красоты, въ излишкѣ счастья чувствуешь напряженіе и тоску, какъ будто степь сознаетъ, что она одинока, что богатство ея и вдохновеніе гибнутъ даромъ для міра, никѣмъ не воспѣтыя и никому ненужныя, и сквозь радостный гулъ слышишь ея тоскливый, безнадежный призывъ: пѣвца! пѣвца!

— Тпрр! Здорово, Пантелей! Все благополучно?

— Слава Богу, Иванъ Иванычъ!

— Не видали, ребята, Варламова?

— Нѣтъ, не видали.

Егорушка проснулся и открылъ глаза. Бричка стояла. Направо, по дорогѣ далеко впередъ тянулся обозъ, около котораго сновали какіе-то люди. Всѣ возы, потому что на нихъ лежали большіе тюки съ шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади—маленькими и коротконогими.

— Такъ мы, значитъ, теперь къ молокану поѣдемъ! — громко говорилъ Кузьмичовъ.—Жидъ сказывалъ, что Варламовъ у молокана ночуетъ. Въ такомъ случаѣ прощайте, братцы! Съ Богомъ!

— Прощайте, Иванъ Иванычъ!—отвѣтило нѣсколько голосовъ.

— Вотъ что, ребята,—живо сказалъ Кузьмичовъ:—вы бы взяли съ собой моего парнишку! Что ему съ нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, къ себѣ на тюкъ и пусть себѣ ѣдетъ по-маленьку, а мы догонимъ. Ступай, Егоръ! Иди, ничего!..

Егорушка слѣзъ съ передка. Нѣсколько рукъ подхватило его, подняло высоко вверхъ, и онъ очутился на чемъ-то большомъ, мягкомъ и слегка влажномъ отъ росы. Теперь ему казалось, что небо было близко къ нему, а земля далеко.

— Эй, возьми свою пальтишку!—крикнулъ гдѣ-то далеко внизу Дениска.

Пальто и узелокъ, подброшенные снизу, упали возлѣ Егорушки. Онъ быстро, не желая ни о чемъ думать, положилъ подъ голову узелокъ, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь отъ росы, засмѣялся отъ удовольствія.

«Спать, спать, спать...»—думалъ онъ.

— Вы же, черти, его не забижайте!—послышался снизу голосъ Дениски.

— Прощайте, братцы! Съ Богомъ! — крикнулъ Кузьмичовъ.—Я на васъ надѣюсь!

— Будьте покойны, Иванъ Иванычъ!

Дениска ахнулъ на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но ужъ не по дорогѣ, а куда-то въ сторону. Минуты двѣ было тихо, точно обозъ уснулъ, и только слышалось, какъ вдали мало-по-малу замирало лязганье ведра, привязаннаго къ задку брички. Но вотъ впереди обоза кто-то крикнулъ:

— Кирюха, тро-о-гай!

Заскрипѣлъ самый передній возъ, за нимъ другой, третій... Егорушка почувствовалъ, какъ возъ, на которомъ онъ лежалъ, покачнулся и тоже заскрипѣлъ. Обозъ тронулся. Егорушка покрѣпче взялся рукой за веревку, которою былъ перевязанъ тюкъ, еще засмѣялся отъ удовольствія, попра-

вилъ въ карманѣ пряникъ и сталъ засыпать такъ, какъ онъ обыкновенно засыпалъ у себя дома въ постели...

Когда онъ проснулся, уже восходило солнце; курганъ заслонялъ его собою, а оно, стараясь брызнуть свѣтомъ на міръ, напряженно пялило свои лучи во всѣ стороны и заливало горизонтъ золотомъ. Егорушкѣ показалось, что оно было не на своемъ мѣстѣ, такъ какъ вчера оно восходило сзади за его спиной, а сегодня много лѣвѣе... Да и вся мѣстность не походила на вчерашнюю. Холмовъ уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась безъ конца бурая, невеселая равнина; кое-гдѣ на ней высились небольшіе курганы, и летали вчерашніе грачи. Далеко впереди бѣлѣли колокольни и избы какой-то деревни; по случаю воскреснаго дня хохлы сидѣли дома, пекли и варили—это видно было по дыму, который шелъ изо всѣхъ трубъ и сизой, прозрачной пеленой висѣлъ надъ деревней. Въ промежуткахъ между избъ и за церковью синѣла рѣка, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило такъ мало на вчерашнее, какъ дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вмѣсто дороги; то была сѣрая полоса, хорошо выѣзженная и покрытая пылью, какъ всѣ дороги, но шириною въ нѣсколько десятковъ саженъ. Своимъ просторомъ она возбудила въ Егорушкѣ недоумѣніе и навела его на сказочныя мысли. Кто по ней ѣздитъ? Кому нуженъ такой просторъ? Непонятно и странно. Можно, въ самомъ дѣлѣ, подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко-шагающіе люди, въ родѣ Ильи Муромца и Соловья Разбойника, и что еще не вымерли богатырскіе кони. Егорушка, взглянувъ на дорогу, вообразилъ штукъ шесть высокихъ, рядомъ скачущихъ колесницъ, въ родѣ тѣхъ, какія онъ видывалъ на рисункахъ въ Священной исторіи; заложены эти колесницы въ шестерки дикихъ бѣшеныхъ лошадей и своими высокими колесами поднимаютъ до неба облака пыли, а лошадьми правятъ люди, какіе могутъ сниться или вырастать въ сказочныхъ мысляхъ. И какъ бы эти фигуры были къ лицу степи и дорогѣ, если бы онѣ существовали!

По правой сторонѣ дороги на всемъ ея протяженіи стояли телеграфные столбы съ двумя проволоками. Становясь все меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потомъ опять показывались въ лиловой дали

въ видѣ очень маленькихъ, тоненькихъ палочекъ, похожихъ на карандаши, воткнутые въ землю. На проволокахъ сидѣли ястребы, кобчики и вороны и равнодушно глядѣли на двигавшійся обозъ.

Егорушка лежалъ на самомъ заднемъ возу и могъ поэтому видѣть весь обозъ. Всѣхъ подводъ въ обозѣ было около двадцати и на каждыя три подводы приходилось по одному возчику. Около задняго воза, гдѣ былъ Егорушка, шелъ старикъ съ сѣдой бородой, такой же тощій и малорослый, какъ о. Христофоръ, но съ лицомъ бурымъ отъ загара, строгимъ и задумчивымъ. Очень можетъ быть, что этотъ старикъ не былъ ни строгъ, ни задумчивъ, но его красныя вѣки и длинный, острый носъ придавали его лицу строгое, сухое выраженіе, какое бываетъ у людей, привыкшихъ думать всегда о серьезномъ и въ одиночку. Какъ и на о. Христофорѣ, на немъ былъ широкополый цилиндръ, но не барскій, а войлочный и бурый, похожій скорѣе на усѣченный конусъ, чѣмъ на цилиндръ. Ноги его были босы. Вѣроятно, по привычкѣ, пріобрѣтенной въ холодныя зимы, когда не разъ, небось, приходилось ему мерзнуть около обоза, онъ на ходу похлопывалъ себя по бедрамъ и притопывалъ ногами. Замѣтивъ, что Егорушка проснулся, онъ поглядѣлъ на него и сказалъ, пожимаясь какъ отъ мороза:

— А, проснулся, молодчикъ! Сынкомъ Ивану Ивановичу-то доводишься?

— Нѣтъ, племянникъ...

— Ивану Иванычу-то? А я вотъ сапожки снялъ и босикомъ прыгаю. Ножки у меня больныя, стуженыя, а безъ сапоговъ оно выходитъ слободнѣе... Слободнѣе, молодчикъ... То-есть безъ сапоговъ-то... Значитъ, племянникъ? А онъ хорошій человѣкъ, ничего... Дай Богъ здоровья... Ничего... Я про Ивана Иваныча-то... Къ молокану поѣхалъ... О, Господи помилуй!

Старикъ и говорилъ такъ, какъ будто было очень холодно, съ разстановками и не раскрывая какъ слѣдуетъ рта; и губныя согласныя выговаривалъ онъ плохо, заикаясь на нихъ, точно у него замерзли губы. Обращаясь къ Егорушкѣ, онъ ни разу не улыбнулся и казался строгимъ.

Дальше черезъ двѣ подводы шелъ съ кнутомъ въ рукѣ человѣкъ въ длинномъ рыжемъ пальто, въ картузѣ и сапо-

гахъ съ опустившимися голенищами. Этотъ былъ не старъ, лѣтъ сорока. Когда онъ оглянулся, Егорушка увидѣлъ длинное, красное лицо съ жидкой козлиной бородкой и съ губчатой шишкой подъ правымъ глазомъ. Кромѣ этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примѣта, рѣзко бросавшаяся въ глаза: въ лѣвой рукѣ держалъ онъ кнутъ, а правою помахивалъ такимъ образомъ, какъ будто дирижировалъ невидимымъ хоромъ; изрѣдка онъ бралъ кнутъ подъ мышку и тогда ужъ дирижировалъ обѣими руками и что-то гудѣлъ себѣ подъ носъ.

Слѣдующій за нимъ подводчикъ представлялъ изъ себя длинную, прямолинейную фигуру съ сильно покатыми плечами и съ плоской, какъ доска, спиной. Онъ держался прямо, какъ будто маршировалъ или проглотилъ аршинъ, руки у него не болтались, а отвисали, какъ прямыя палки, и шагалъ онъ какъ-то деревянно, на манеръ игрушечныхъ солдатиковъ, почти не сгибая колѣнъ и стараясь сдѣлать шагъ возможно пошире; когда старикъ или обладатель губчатой шишки дѣлали по два шага, онъ успѣвалъ дѣлать только одинъ, и потому казалось, что онъ идетъ медленнѣе всѣхъ и отстаетъ. Лицо у него было подвязано тряпкой и на головѣ торчало что-то въ родѣ монашеской скуфейки; одѣтъ онъ былъ въ короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками, и въ синіе шаровары на-выпускъ, а обутъ въ лапти.

Тѣхъ, кто былъ дальше, Егорушка уже не разглядывалъ. Онъ легъ животомъ внизъ, расковырялъ въ тюкѣ дырочку и отъ нечего дѣлать сталъ вить изъ шерсти ниточки. Старикъ, шагавшій внизу, оказался не такимъ строгимъ и серьезнымъ, какъ можно было судить по его лицу. Разъ начавши разговоръ, онъ ужъ не прекращалъ его.

— Ты куда же ѣдешь?—спросилъ онъ, притопывая ногами.

— Учиться,—отвѣтилъ Егорушка.

— Учиться? Ага... Ну, помогай Царица Небесная. Такъ. Умъ хорошо, а два лучше. Одному человѣку Богъ одинъ умъ даетъ, а другому два ума, а иному и три... Иному три, это вѣрно... Одинъ умъ, съ какимъ мать родила, другой отъ ученія, а третій отъ хорошей жизни. Такъ вотъ, братуша, хорошо, ежели у котораго человѣка три ума. Тому, не то что жить, и помирать легче. Помирать-то... А помремъ всѣ какъ есть.

Старикъ почесалъ себѣ лобъ, взглянулъ красными глазами вверхъ на Егорушку и продолжалъ:

— Максимъ Николаичъ, баринъ изъ-подъ Славяносербска, въ прошломъ годѣ тоже повезъ своего парнишку въ ученіе. Не знаю, какъ онъ тамъ въ разсужденіи наукъ, а парнишка ничего, хорошій... Дай Богъ здоровья, славные господа. Да, тоже вотъ повезъ въ ученье... Въ Славяносербскомъ нѣту такого заведенія, чтобъ, стало-быть, до науки доводить. Нѣту... А городъ ничего, хорошій... Школа обыкновенная, для простого званія есть, а чтобъ насчетъ большого ученья, такихъ нѣту... Нѣту, это вѣрно. Тебя какъ звать?

— Егорушка.

— Стало-быть, Егорій... Святаго великомученика Егоргія Побѣдоносца числа двадцать третьяго апрѣля. А мое святое имя Пантелей... Пантелей Захаровъ Холодовъ... Мы Холодовы будемъ... Самъ я уроженный, можетъ, слыхалъ, изъ Тима, Курской губерніи. Браты мои въ мѣщане отписались и въ городѣ мастерствомъ занимаются, а я мужикъ... Мужикомъ остался. Годовъ семь назадъ ѣздилъ я туда... домой то-есть. И въ деревнѣ былъ, и въ городѣ... Въ Тимѣ, говорю, былъ. Тогда, благодарить Бога, всѣ живы и здоровы были, а теперь не знаю... Можетъ, кто и померъ... А помирать ужъ время, потому всѣ старые, есть которые постаршѣе меня. Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, безъ покаянія не помереть. Нѣтъ пуще лиха, какъ наглая смерть. Наглая-то смерть бѣсу радость. А коли хочешь съ покаяніемъ помереть, чтобы, стало-быть, въ чертоги Божіи запрету тебѣ не было, Варварѣ великомученицѣ молись. Она ходатайница. Она, это вѣрно... Потому ей Богъ въ небесѣхъ такое положеніе опредѣлилъ, чтобъ, значитъ, каждый имѣлъ полную праву ее насчетъ покаянія молить.

Пантелей бормоталъ и, повидимому, не заботился о томъ, слышитъ его Егорушка, или нѣтъ. Говорилъ онъ вяло, себѣ подъ носъ, не повышая и не понижая голоса, но въ короткое время успѣлъ разсказать о многомъ. Все разсказанное имъ состояло изъ обрывковъ, имѣвшихъ очень мало связи между собой и совсѣмъ неинтересныхъ для Егорушки. Быть-можетъ, онъ говорилъ только для того, чтобы теперь утромъ послѣ ночи, проведенной въ молчаніи, произ-

вести вслухъ провѣрку своимъ мыслямъ: всѣ ли онѣ дома? Кончивъ о покаяніи, онъ опять заговорилъ о какомъ-то Максимѣ Николаевичѣ изъ-подъ Славяносербска:

— Да, повезъ парнишку... Повезъ, это вѣрно...

Одинъ изъ подводчиковъ, шедшихъ далеко впереди, рванулся съ мѣста, побѣжалъ въ сторону и сталъ хлестать кнутомъ по землѣ. Это былъ рослый, широкоплечій мужчина лѣтъ тридцати, русый, кудрявый и, повидимому, очень сильный и здоровый. Судя по движеніямъ его плечъ и кнута, по жадности, которую выражала его поза, онъ билъ что-то живое. Къ нему подбѣжалъ другой подводчикъ, низенькій и коренастый, съ черной окладистой бородой, одѣтый въ жилетку и рубаху на-выпускъ. Этотъ разразился басистымъ кашляющимъ смѣхомъ и закричалъ:

— Братцы, Дымовъ змѣя убилъ! Ей-Богу!

Есть люди, объ умѣ которыхъ можно вѣрно судить по ихъ голосу и смѣху. Чернобородый принадлежалъ именно къ такимъ счастливцамъ: въ его голосѣ и смѣхѣ чувствовалась непроходимая глупость. Кончивъ хлестать, русый Дымовъ поднялъ кнутомъ съ земли и со смѣхомъ швырнулъ къ подводамъ что-то похожее на веревку.

— Это не змѣя, а ужъ,—крикнулъ кто-то.

Деревянно шагавшій человѣкъ съ подвязаннымъ лицомъ быстро зашагалъ къ убитой змѣѣ, взглянулъ на нее и всплеснулъ своими палкообразными руками.

— Каторжный!—закричалъ онъ глухимъ, плачущимъ голосомъ.—За что ты ужика убилъ? Что онъ тебѣ сдѣлалъ, проклятый ты? Ишь, ужика убилъ! А ежели бы тебя такъ?

— Ужа нельзя убивать, это вѣрно...—покойно забормоталъ Пантелей. — Нельзя... Это не гадюка. Онъ хоть по виду змѣя, а тварь тихая, безвинная... Человѣка любитъ... Ужъ-то...

Дымову и чернобородому, вѣроятно, стало совѣстно, потому что они громко засмѣялись и, не отвѣчая на ропотъ, лѣниво поплелись къ своимъ возамъ. Когда задняя подвода поровнялась съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ лежалъ убитый ужъ, человѣкъ съ подвязаннымъ лицомъ, стоящій надъ ужомъ, обернулся къ Пантелею и спросилъ плачущимъ голосомъ:

— Дѣдъ, ну за что онъ убилъ ужика?

Глаза у него, какъ теперь разглядѣлъ Егорушка, были маленькіе, тусклые, лицо сѣрое, больное и тоже какъ будто

тусклое, а подбородокъ былъ красенъ и представлялся сильно опухшимъ.

— Дѣдъ, ну за что убилъ?—повторилъ онъ, шагая рядомъ съ Пантелеемъ.

— Глупый человѣкъ, руки чешутся, оттого и убилъ,—отвѣтилъ старикъ.—А ужа бить нельзя... Это вѣрно... Дымовъ, извѣстно, озорникъ, все убьетъ, что подъ руку попадется, а Кирюха не вступился. Вступиться бы надо, а онъ—ха-ха-ха, да хо-хо-хо... А ты, Вася, не серчай... Зачѣмъ серчать? Убили, ну и Богъ съ ними... Дымовъ озорникъ, а Кирюха отъ глупаго ума... Ничего... Люди глупые, не понимающіе, ну и Богъ съ ними. Вотъ Емельянъ никогда не тронетъ, что не надо... Никогда, это вѣрно... Потому человѣкъ образованный, а они глупые... Емельянъ-то... Онъ не тронетъ.

Подводчикъ въ рыжемъ пальто и съ губчатой шишкой, дирижировавшій невидимымъ хоромъ, услышавъ свое имя, остановился и, выждавъ, когда Пантелей и Вася поровнялись съ нимъ, пошелъ рядомъ.

— О чемъ разговоръ?—спросилъ онъ сиплымъ придушеннымъ голосомъ.

— Да вотъ Вася серчаетъ,—сказалъ Пантелей.—Я ему разныя слова, чтобы онъ не серчалъ, значитъ... Эхъ, ножки мои больныя, стуженыя! Э-эхъ! Раззудѣлись ради воскресенья, праздничка Господня!

— Это отъ ходьбы,—замѣтилъ Вася.

— Нѣ, паря, нѣ... Не отъ ходьбы. Когда хожу, словно легче, когда ложусь да согрѣюсь—смерть моя. Ходить мнѣ вольготнѣй.

Емельянъ въ рыжемъ пальто сталъ между Пантелеемъ и Васей и замахалъ рукой, какъ будто тѣ собирались пѣть. Помахавъ немножко, онъ опустилъ руку и безнадежно крякнулъ.

— Нѣту у меня голосу!—сказалъ онъ.—Чистая напасть! Всю ночь и утро мерещится мнѣ тройное «Господи помилуй», что мы на вѣнчаніи у Мариновскаго пѣли; сидитъ оно въ головѣ и въ глоткѣ... такъ бы, кажется, и спѣлъ, а не могу! Нѣту голосу!

Онъ помолчалъ минуту, о чемъ-то думая, и продолжалъ:

— Пятнадцать лѣтъ былъ въ пѣвчихъ, во всемъ Луганскомъ заводѣ, можетъ, ни у кого такого голоса не было,

а какъ, чтобъ его шутъ, выкупался въ третьемъ году въ Донцѣ, такъ съ той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудилъ. А мнѣ безъ голосу все равно, что работнику безъ руки.

— Это вѣрно,—согласился Пантелей.

— Объ себѣ я такъ понимаю, что я пропащій человѣкъ и больше ничего.

Въ это время Вася нечаянно увидѣлъ Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше.

— И паничокъ съ нами ѣдетъ!—сказалъ онъ и прикрылъ носъ рукавомъ, точно застыдившись.—Какой извозчикъ важный! Оставайся съ нами, будешь съ обозомъ ѣздить, шерсть возить.

Мысль о совмѣстимости въ одномъ тѣлѣ паничка съ извозчикомъ показалось ему, вѣроятно, очень курьезной и остроумной, потому что онъ громко захихикалъ и продолжалъ развивать эту мысль. Емельянъ тоже взглянулъ вверхъ на Егорушку, но мелькомъ и холодно. Онъ былъ занятъ своими мыслями и, если бы не Вася, то не замѣтилъ бы присутствія Егорушки. Не прошло и пяти минутъ, какъ онъ опять замахалъ рукой, потомъ, расписывая своимъ спутникамъ красоты вѣнчальнаго «Господи помилуй», которое ночью пришло ему на память, взялъ кнутъ подъ мышку и замахалъ обѣими руками.

За версту отъ деревни обозъ остановился около колодца съ журавлемъ. Опуская въ колодецъ свое ведро, чернобородый Кирюха легъ животомъ на срубъ и сунулъ въ темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, такъ что Егорушкѣ были видны однѣ только его короткія ноги, едва касавшіяся земли; увидѣвъ далеко на днѣ колодца отраженіе своей головы, онъ обрадовался и залился глупымъ, басовымъ смѣхомъ, а колодезное эхо отвѣтило ему тѣмъ же; когда онъ поднялся, его лицо и шея были красны, какъ кумачъ. Первый подбѣжалъ пить Дымовъ. Онъ пилъ со смѣхомъ, часто отрываясь отъ ведра и разсказывая Кирюхѣ о чемъ-то смѣшномъ, потомъ повернулся и громко, на всю степь, произнесъ штукъ пять нехорошихъ словъ. Егорушка не понималъ значенія подобныхъ словъ, но что они были дурныя, ему было хорошо извѣстно. Онъ зналъ объ отвращеніи, которое молчаливо питали къ нимъ его родные и знакомые, самъ, не зная почему, раздѣлялъ это чувство и привыкъ

думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегіей произносить громко эти слова. Онъ вспомнилъ убійство ужа, прислушался къ смѣху Дымова и почувствовалъ къ этому человѣку что-то въ родѣ ненависти. И какъ нарочно, Дымовъ въ это время увидѣлъ Егорушку, который слѣзъ съ воза и шелъ къ колодцу; онъ громко засмѣялся и крикнулъ:

— Братцы, старикъ ночью мальчишку родилъ!

Кирюха закашлялся отъ басоваго смѣха. Засмѣялся и еще кто-то, а Егорушка покраснѣлъ и окончательно рѣшилъ, что Дымовъ очень злой человѣкъ.

Русый, съ кудрявой головой, безъ шапки и съ разстегнутой на груди рубахой, Дымовъ казался красивымъ и необыкновенно сильнымъ; въ каждомъ его движеніи виденъ былъ озорникъ и силачъ, знающій себѣ цѣну. Онъ поводилъ плечами, подбоченивался, говорилъ и смѣялся громче всѣхъ, и имѣлъ такой видъ, какъ будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этимъ весь міръ. Его шальной насмѣшливый взглядъ скользилъ по дорогѣ, по обозу и по небу, ни на чемъ не останавливался и, казалось, искалъ, кого бы убить отъ нечего дѣлать и надъ чѣмъ бы посмѣяться. Повидимому, онъ никого не боялся, ничѣмъ не стѣснялъ себя и, вѣроятно, совсѣмъ не интересовался мнѣніемъ Егорушки... А Егорушка ужъ всей душой ненавидѣлъ его русую голову, чистое лицо и силу, съ отвращеніемъ и страхомъ слушалъ его смѣхъ и придумывалъ, какое бы бранное слово сказать ему въ отместку.

Пантелей тоже подошелъ къ ведру. Онъ вынулъ изъ кармана зеленый лампадный стаканчикъ, вытеръ его тряпочкой, зачерпнулъ имъ изъ ведра и выпилъ, потомъ еще разъ зачерпнулъ, завернулъ стаканчикъ въ тряпочку и положилъ его обратно въ карманъ.

— Дѣдъ, зачѣмъ ты пьешь изъ лампадки? — удивился Егорушка.

— Кто пьетъ изъ ведра, а кто изъ лампадки,—отвѣтилъ уклончиво старикъ.—Каждый по-своему... Ты изъ ведра пьешь, ну и пей на здоровье...

— Голубушка моя, матушка - красавица, — заговорилъ вдругъ Вася ласковымъ, плачущимъ голосомъ. — Голубушка моя!

Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улы-

бались и лицо приняло такое же выраженіе, какое у него было ранѣе, когда онъ глядѣлъ на Егорушку.

— Кому это ты?—спросилъ Кирюха.

— Лисичка-матушка... легла на спину и играетъ, словно собачка...

Всѣ стали смотрѣть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Одинъ только Вася видѣлъ что-то своими мутными, сѣрыми глазками и восхищался. Зрѣніе у него, какъ потомъ убѣдился Егорушка, было поразительно острое. Онъ видѣлъ такъ хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержанія. Стоило ему только вглядѣться вдаль, чтобы увидѣть лисицу, зайца, дрохву, или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше отъ людей. Немудрено увидѣть убѣгающаго зайца или летящую дрохву—это видѣлъ всякій, проѣзжавшій степью,—но не всякому доступно видѣть дикихъ животныхъ въ ихъ домашней жизни, когда они не бѣгутъ, не прячутся и не глядятъ встревоженно по сторонамъ. А Вася видѣлъ играющихъ лисицъ, зайцевъ, умывающихся лапками, дрохвъ, расправляющихъ крылья, стрепетовъ, выбивающихъ свои «точки». Благодаря такой остротѣ зрѣнія, кромѣ міра, который видѣли всѣ, у Васи былъ еще другой міръ, свой собственный, никому недоступный и, вѣроятно, очень хорошій, потому что, когда онъ глядѣлъ и восхищался, трудно было не завидовать ему.

Когда обозъ тронулся дальше, въ церкви зазвонили къ обѣднѣ.

## V.

Обозъ расположился въ сторонѣ отъ деревни на берегу рѣки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздухъ былъ неподвиженъ и унылъ. На берегу стояло нѣсколько вербъ, но тѣнь отъ нихъ падала не на землю, а на воду, гдѣ пропадала даромъ, въ тѣни же подъ возами было душно и скучно. Вода, голубая оттого, что въ ней отражалось небо, страстно манила къ себѣ.

Подводчикъ Степка, на котораго только теперь обратилъ вниманіе Егорушка, восемнадцатилѣтній мальчикъ-хохолъ, въ длинной рубахѣ, безъ пояса и въ широкихъ шароварахъ на-выпускъ, болтавшихся при ходьбѣ, какъ флаги, быстро раздѣлся, сбѣжалъ внизъ по крутому бережку и бултых-

нулся въ воду. Онъ раза три нырнулъ, потомъ поплылъ на спинѣ и закрылъ отъ удовольствія глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, какъ будто ему было щекотно, больно и смѣшно.

Въ жаркій день, когда некуда дѣваться отъ зноя и духоты, плескъ воды и громкое дыханіе купающагося человѣка дѣйствуютъ на слухъ, какъ хорошая музыка. Дымовъ и Кирюха, глядя на Степку, быстро раздѣлись и одинъ за другимъ, съ громкимъ смѣхомъ и предвкушая наслажденіе, попадали въ воду. И тихая, скромная рѣчка огласилась фырканьемъ, плескомъ и крикомъ. Кирюха кашлялъ, смѣялся и кричалъ такъ, какъ будто его хотѣли утопить, а Дымовъ гонялся за нимъ и старался схватить его за ногу.

— Ге-ге-ге!—кричалъ онъ.—Лови, держи его!

Кирюха хохоталъ и наслаждался, но выраженіе лица у него было такое же, какъ и на сушѣ: глупое, ошеломленное, какъ будто кто незамѣтно подкрался къ нему сзади и хватилъ его обухомъ по головѣ. Егорушка тоже раздѣлся, но не спускался внизъ по бережку, а разбѣжался и полетѣлъ съ полутора-саженной вышины. Описавъ въ воздухѣ дугу, онъ упалъ въ воду, глубоко погрузился, но дна не досталъ; какая-то сила, холодная и пріятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно наверхъ. Онъ вынырнулъ и, фыркая, пуская пузыри, открылъ глаза; но на рѣкѣ какъ разъ возлѣ его лица отражалось солнце. Сначала ослѣпительныя искры, потомъ радуги и темныя пятна заходили въ его глазахъ; онъ поспѣшилъ опять нырнуть, открылъ въ водѣ глаза и увидѣлъ что-то мутно-зеленое, похожее на небо въ лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть въ прохладѣ, понесла его наверхъ, онъ вынырнулъ и вздохнулъ такъ глубоко, что стало просторно и свѣжо не только въ груди, но даже въ животѣ. Потомъ, чтобы взять отъ воды все, что только можно взять, онъ позволялъ себѣ всякую роскошь: лежалъ на спинѣ и нѣжился, брызгался, кувыркался, плавалъ и на животѣ, и бокомъ, и на спинѣ, и въ стоячую — какъ хотѣлъ, пока не утомился. Другой берегъ густо поросъ камышомъ, золотился на солнцѣ, и камышевые цвѣты красивыми кистями наклонились къ водѣ. На одномъ мѣстѣ камышъ вздрагивалъ, кланялся своими цвѣтами и издавалъ трескъ—то Степка и Кирюха «драли» раковъ.

— Ракъ! Гляди, братцы: ракъ!—закричалъ торжествующе Кирюха и показалъ дѣйствительно рака.

Егорушка поплылъ къ камышу, нырнулъ и сталъ шарить около камышевыхъ кореньевъ. Копаясь въ жидкомъ, осклизломъ илѣ, онъ нащупалъ что-то острое и противное, можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ рака, но въ это время кто-то схватилъ его за ногу и потащилъ наверхъ. Захлебываясь и кашляя, Егорушка открылъ глаза и увидѣлъ передъ собой мокрое, смѣющееся лицо озорника Дымова. Озорникъ тяжело дышалъ и, судя по глазамъ, хотѣлъ продолжать шалить. Онъ крѣпко держалъ Егорушку за ногу и ужъ поднялъ другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка съ отвращеніемъ и со страхомъ, точно брезгуя и боясь, что силачъ его утопитъ, рванулся отъ него и проговорилъ:

— Дуракъ! Я тебѣ въ морду дамъ!

Чувствуя, что этого недостаточно для выраженія ненависти, онъ подумалъ и прибавилъ:

— Мерзавецъ! Сукинъ сынъ!

А Дымовъ, какъ ни въ чемъ не бывало, уже не замѣчалъ Егорушки, а плылъ къ Кирюхѣ и кричалъ:

— Ге-ге-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!

— А что жъ?—согласился Кирюха.—Должно, тутъ много рыбы...

— Степка, побѣги на деревню, попроси у мужиковъ бредня!

— Не дадутъ!

— Дадутъ! Ты попроси! Скажи, чтобъ они замѣсто Христа ради, потому мы все равно—странники.

— Это вѣрно!

Степка вылѣзъ изъ воды, быстро одѣлся и безъ шапки, болтая своими широкими шароварами, побѣжалъ къ деревнѣ. Послѣ столкновенія съ Дымовымъ вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Онъ вылѣзъ и сталъ одѣваться. Пантелей и Вася сидѣли на крутомъ берегу, свѣсивъ внизъ ноги, и глядѣли на купающихся. Емельянъ голый стоялъ по-колѣна въ водѣ у самаго берега, держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другою гладилъ себя по тѣлу. Съ костистыми лопатками, съ шишкой подъ глазомъ, согнувшійся и явно трусившій воды,

онъ представлялъ изъ себя смѣшную фигуру. Лицо у него было серьезное, строгое, глядѣлъ онъ на воду сердито, какъ будто собирался выбранить ее за то, что она когда-то простудила его въ Донцѣ и отняла у него голосъ.

— А ты отчего не купаешься? — спросилъ Егорушка у Васи.

— А такъ... Не люблю...—отвѣтилъ Вася.

— Отчего это у тебя подбородокъ распухъ?

— Болитъ... Я, паничокъ, на спичечной фабрикѣ работалъ... Докторъ сказывалъ, что отъ этого самаго у меня и черлюсть пухнетъ. Тамъ воздухъ нездоровый. А кромѣ меня, еще у троихъ ребятъ черлюсть раздуло, а у одного такъ совсѣмъ сгнила.

Скоро вернулся Степка съ бреднемъ. Дымовъ и Кирюха отъ долгаго пребыванія въ водѣ стали лиловыми и охрипли, но за рыбную ловлю принялись съ охотой. Сначала они пошли по глубокому мѣсту вдоль камыша; тутъ Дымову было по шею, а малорослому Кирюхѣ съ головой; послѣдній захлебывался и пускалъ пузыри, а Дымовъ, натыкаясь на колючіе корни, падалъ и путался въ бреднѣ, оба барахтались и шумѣли, и изъ ихъ рыбной ловли выходила одна шалость.

— Глыбоко,—хрипѣлъ Кирюха. — Ничего не поймаешь!

— Не дергай, чортъ! — кричалъ Дымовъ, стараясь придать бредню надлежащее положеніе.—Держи руками!

— Тутъ вы не поймаете!—кричалъ имъ съ берега Пантелей.—Только рыбу пужаете, дурни! Забирайте влѣво! Тамъ мельчѣе!

Разъ надъ бреднемъ блеснула крупная рыбешка; всѣ ахнули, а Дымовъ ударилъ кулакомъ по тому мѣсту, гдѣ она исчезла, и на лицѣ его выразилась досада.

— Эхъ! — крякнулъ Пантелей и притопнулъ ногами. — Прозѣвали чикамаса! Ушелъ!

Забирая влѣво, Дымовъ и Кирюха мало-по-малу выбрались на мелкое и тутъ ловля пошла настоящая. Они забрели отъ подводъ шаговъ на триста; видно было, какъ они, молча и еле двигая ногами, стараясь забирать возможно глубже и поближе къ камышу, волокли бредень, какъ они, чтобы испугать рыбу и загнать ее къ себѣ въ бредень, били кулаками по водѣ и шуршали въ камышѣ. Отъ камыша они шли къ другому берегу, тащили тамъ

бредень, потомъ съ разочарованнымъ видомъ, высоко поднимая колѣна, шли обратно къ камышу. О чемъ-то они говорили, но о чемъ—не было слышно. А солнце жгло имъ въ спины, кусались мухи, и тѣла ихъ изъ лиловыхъ стали багровыми. За ними съ ведромъ въ рукахъ, засучивъ рубаху подъ самыя подмышки и держа ее зубами за подолъ, ходилъ Степка. Послѣ каждой удачной ловли онъ поднималъ вверхъ какую-нибудь рыбу и, блестя ею на солнцѣ, кричалъ:

— Поглядите, какой чикамасъ! Такихъ ужъ штукъ пять есть!

Видно было, какъ, вытащивъ бредень, Дымовъ, Кирюха и Степка всякій разъ долго копались въ илѣ, что-то клали въ ведро, что-то выбрасывали; изрѣдка что-нибудь попавшее въ бредень они брали съ рукъ на руки, разсматривали съ любопытствомъ, потомъ тоже бросали...

— Что тамъ?—кричали имъ съ берега.

Степка что-то отвѣчалъ, но трудно было разобрать его слова. Вотъ онъ вылѣзъ изъ воды и, держа ведро обѣими руками, забывая опустить рубаху, побѣжалъ къ подводамъ.

— Уже полное!—кричалъ онъ, тяжело дыша.—Давайте другое!

Егорушка заглянулъ въ ведро: оно было полно; изъ воды высовывала свою некрасивую морду молодая щука, а возлѣ нея копошились раки и мелкія рыбешки. Егорушка запустилъ руку на дно и взболталъ воду; щука исчезла подъ раками, а вмѣсто нея всплыли наверхъ окунь и линь. Вася тоже заглянулъ въ ведро. Глаза его замаслились и лицо стало ласковымъ, какъ раньше, когда онъ видѣлъ лисицу. Онъ вынулъ что-то изъ ведра, поднесъ ко рту и сталъ жевать. Послышалось хрустѣнье.

— Братцы,—удивился Степка:—Васька пискаря живьемъ ѣстъ! Тьфу!

— Это не пискарь, а бобырикъ,—покойно отвѣтилъ Вася, продолжая жевать.

Онъ вынулъ изо рта рыбій хвостикъ, ласково поглядѣлъ на него и опять сунулъ въ ротъ. Пока онъ жевалъ и хрустѣлъ зубами, Егорушкѣ казалось, что онъ видитъ передъ собой не человѣка. Пухлый подбородокъ Васи, его тусклые глаза, необыкновенно острое зрѣніе, рыбій хвостикъ во рту

и ласковость, съ какою онъ жевалъ пискаря, дѣлали его похожимъ на животное.

Егорушкѣ стало скучно возлѣ него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Онъ прошелся около возовъ, подумалъ и отъ скуки поплелся къ деревнѣ.

Немного погодя, онъ уже стоялъ въ церкви и, положивъ лобъ на чью-то спину, пахнувшую коноплей, слушалъ, какъ пѣли на клиросѣ. Обѣдня уже близилась къ концу. Егорушка ничего не понималъ въ церковномъ пѣніи и былъ равнодушенъ къ нему. Онъ послушалъ немного, зѣвнулъ и сталъ разсматривать затылки и спины. Въ одномъ затылкѣ, рыжемъ и мокромъ отъ недавняго купанья, онъ узналъ Емельяна. Затылокъ былъ выстриженъ подъ скобку и выше, чѣмъ принято; виски были тоже выстрижены выше, чѣмъ слѣдуетъ, и красныя уши Емельяна торчали, какъ два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своемъ мѣстѣ. Глядя на затылокъ и на уши, Егорушка почему-то подумалъ, что Емельянъ, вѣроятно, очень несчастливъ. Онъ вспомнилъ его дирижированіе, сиплый голосъ, робкій видъ во время купанья и почувствовалъ къ нему сильную жалость. Ему захотѣлось сказать что-нибудь ласковое.

— А я здѣсь!—сказалъ онъ, дернувъ его за рукавъ.

Люди, поющіе въ хорѣ теноромъ или басомъ, особенно тѣ, которымъ хоть разъ въ жизни приходилось дирижировать, привыкаютъ смотрѣть на мальчиковъ строго и нелюдимо. Эту привычку не оставляютъ они и потомъ, переставая быть пѣвчими. Обернувшись къ Егорушкѣ, Емельянъ поглядѣлъ не него исподлобья и сказалъ:

— Не балуйся въ церкви!

Затѣмъ Егорушка пробрался впередъ поближе къ иконостасу. Тутъ онъ увидѣлъ интересныхъ людей. Впереди всѣхъ по правую сторону на коврѣ стояли какіе-то господинъ и дама. Позади нихъ стояло по стулу. Господинъ былъ одѣтъ въ свѣже-выглаженную чечунчовую пару, стоялъ неподвижно, какъ солдатъ, отдающій честь, и высоко держалъ свой синій, бритый подбородокъ. Въ его стоячихъ воротничкахъ, въ синевѣ подбородка, въ небольшой лысинѣ и въ трости чувствовалось очень много достоинства. Отъ избытка достоинства шея его была напряжена и подбородокъ тянуло вверхъ съ такой силой, что голова, казалось, каждую минуту готова была оторваться и полетѣть

вверхъ. А дама, полная и пожилая, въ бѣлой шелковой шали, склонила голову на бокъ и глядѣла такъ, какъ будто только-что сдѣлала кому-то одолженіе и хотѣла сказать:—«Ахъ, не безпокойтесь благодарить! Я этого не люблю...» Вокругъ ковра густой стѣной стояли хохлы.

Егорушка подошелъ къ иконостасу и сталъ прикладываться къ мѣстнымъ иконамъ. Передъ каждымъ образомъ онъ не спѣша клалъ земной поклонъ, не вставая съ земли, оглядывался назадъ на народъ, потомъ вставалъ и прикладывался. Прикосновеніе лбомъ къ холодному полу доставляло ему большое удовольствіе. Когда изъ алтаря вышелъ сторожъ съ длинными щипцами, чтобы тушить свѣчи, Егорушка быстро вскочилъ съ земли и побѣжалъ къ нему.

— Раздавали ужъ просфору?—спросилъ онъ.

— Нѣту, нѣту...—угрюмо забормоталъ сторожъ.—Нечего тутъ...

Обѣдня кончилась. Егорушка не спѣша вышелъ изъ церкви и пошелъ бродить по площади. На своемъ вѣку перевидалъ онъ не мало деревень, площадей и мужиковъ, и все, что теперь попадалось ему на глаза, совсѣмъ не интересовало его. Отъ нечего дѣлать, чтобы хоть чѣмъ-нибудь убить время, онъ зашелъ въ лавку, надъ дверями которой висѣла широкая, кумачевая полоса. Лавка состояла изъ двухъ просторныхъ, плохо освѣщенныхъ половинъ: въ одной продавались красный товаръ и бакалея, а въ другой стояли бочки съ дегтемъ и висѣли на потолкѣ хомуты; изъ той, другой, шелъ вкусный запахъ кожи и дегтя. Полъ въ лавкѣ былъ политъ; поливалъ его, вѣроятно, большой фантазеръ и вольнодумецъ, потому что весь онъ былъ покрытъ узорами и кабалистическими знаками. За прилавкомъ, опершись животомъ о конторку, стоялъ откормленный лавочникъ съ широкимъ лицомъ и съ круглой бородой, повидимому, великороссъ. Онъ пилъ чай въ прикуску и послѣ каждаго глотка испускалъ глубокій вздохъ. Лицо его выражало совершенное равнодушіе, но въ каждомъ вздохѣ слышалось: «Ужо погоди, задамъ я тебѣ!»

— Дай мнѣ на копейку подсолнуховъ!—обратился къ нему Егорушка.

Лавочникъ поднялъ брови, вышелъ изъ-за прилавка и всыпалъ въ карманъ Егорушки на копейку подсолнуховъ, причемъ мѣрой служила пустая помадная баночка. Его-

рушкѣ не хотѣлось уходить. Онъ долго разсматривалъ ящики съ пряниками, подумалъ и спросилъ, указывая на мелкіе вяземскіе пряники, на которыхъ отъ давности лѣтъ выступила ржавчина:

— Почемъ эти пряники?

— Копейка пара.

Егорушка досталъ изъ кармана пряникъ, подаренный ему вчера еврейкой, и спросилъ:

— А такіе пряники у тебя почемъ?

Лавочникъ взялъ въ руки пряникъ, оглядѣлъ его со всѣхъ сторонъ и поднялъ одну бровь.

— Такіе?—спросилъ онъ.

Потомъ поднялъ другую бровь, подумалъ и отвѣтилъ:

— Три копейки пара...

Наступило молчаніе.

— Вы чьи?—спросилъ лавочникъ, наливая себѣ чаю изъ краснаго мѣднаго чайника.

— Племянникъ Ивана Иваныча.

— Иваны Иванычи разные бываютъ,—вздохнулъ лавочникъ; онъ поглядѣлъ черезъ Егорушкину голову на дверь, помолчалъ и спросилъ:—Чайку не желаете ли?

— Пожалуй...—согласился Егорушка съ нѣкоторой неохотой, хотя чувствовалъ сильную тоску по утреннемъ чаѣ.

Лавочникъ налилъ ему стаканъ и подалъ вмѣстѣ съ огрызеннымъ кусочкомъ сахару. Егорушка сѣлъ на складной стулъ и сталъ пить. Онъ хотѣлъ еще спросить, сколько стоитъ фунтъ миндаля въ сахарѣ и только-что завелъ объ этомъ рѣчь, какъ вошелъ покупатель, и хозяинъ, отставивъ въ сторону свой стаканъ, занялся дѣломъ. Онъ повелъ покупателя въ ту половину, гдѣ пахло дегтемъ, и долго о чемъ-то разговаривалъ съ нимъ. Покупатель, человѣкъ, повидимому, очень упрямый и себѣ на умѣ, все время въ знакъ несогласія моталъ головой и пятился къ двери. Лавочникъ убѣдилъ его въ чемъ-то и началъ сыпать ему овесъ въ большой мѣшокъ.

— Хиба це овесъ?—сказалъ печально покупатель.—Це не овесъ, а полова, курамъ на смихъ... Ни, пиду къ Бондаренку!

Когда Егорушка вернулся къ рѣкѣ, на берегу дымилъ небольшой костеръ. Это подводчики варили себѣ обѣдъ. Въ дыму стоялъ Степка и большой зазубренной ложкой мѣшалъ

въ котлѣ. Нѣсколько въ сторонѣ, съ красными отъ дыма глазами, сидѣли Кирюха и Вася и чистили рыбу. Передъ ними лежалъ покрытый иломъ и водорослями бредень, на которомъ блестѣла рыба и ползали раки.

Недавно вернувшійся изъ церкви Емельянъ сидѣлъ рядомъ съ Пантелеемъ, помахивалъ рукой и едва слышно напѣвалъ сиплымъ голоскомъ: «Тебѣ поемъ...» Дымовъ бродилъ около лошадей.

Кончивъ чистить, Кирюха и Вася собрали рыбу и живыхъ раковъ въ ведро, всполоснули и изъ ведра вывалили все въ кипѣвшую воду.

— Класть сала?—спросилъ Степка, снимая ложкой пѣну.

— Зачѣмъ? Рыба свой сокъ пуститъ,—отвѣтилъ Кирюха.

Передъ тѣмъ, какъ снимать съ огня котелъ, Степка всыпалъ въ воду три пригоршни пшена и ложку соли; въ заключеніе онъ попробовалъ, почмокалъ губами, облизалъ ложку и самодовольно крякнулъ—это значило, что каша уже готова.

Всѣ, кромѣ Пантелея, сѣли вокругъ котла и принялись работать ложками.

— Вы! Дайте парнишкѣ ложку!—строго замѣтилъ Пантелей.—Чай, небось, тоже ѣсть хочетъ!

— Наша ѣда мужицкая!..—вздохнулъ Кирюха.

— И мужицкая пойдетъ во здравіе, была бы охота.

Егорушкѣ дали ложку. Онъ сталъ ѣсть, но не садясь, а стоя у самаго котла и глядя въ него, какъ въ яму. Отъ каши пахло рыбной сыростью, то и дѣло среди пшена попадалась рыбья чешуя; раковъ нельзя было зацѣпить ложкой, и обѣдавшіе доставали ихъ изъ котла прямо руками; особенно не стѣснялся въ этомъ отношеніи Вася, который мочилъ въ кашѣ не только руки, но и рукава. Но каша все-таки показалась Егорушкѣ очень вкусной и напоминала ему раковый супъ, который дома въ постные дни варила его мамаша. Пантелей сидѣлъ въ сторонѣ и жевалъ хлѣбъ.

— Дѣдъ, а ты чего не ѣшь?—спросилъ его Емельянъ.

— Не ѣмъ я раковъ... Ну ихъ!—сказалъ старикъ и брезгливо отвернулся.

Пока ѣли, шелъ общій разговоръ. Изъ этого разговора Егорушка понялъ, что у всѣхъ его новыхъ знакомыхъ, несмотря на разницу лѣтъ и характеровъ, было одно общее,

дѣлавшее ихъ похожими другъ на друга: всѣ они были люди съ прекраснымъ прошлымъ и съ очень нехорошимъ настоящимъ; о своемъ прошломъ они, всѣ до одного, говорили съ восторгомъ, къ настоящему же относились почти съ презрѣніемъ. Русскій человѣкъ любитъ вспоминать, но не любитъ жить; Егорушка еще не зналъ этого, и прежде, чѣмъ каша была съѣдена, онъ ужъ глубоко вѣрилъ, что вокругъ котла сидятъ люди оскорбленные и обиженные судьбой. Пантелей разсказывалъ, что въ былое время, когда еще не было желѣзныхъ дорогъ, онъ ходилъ съ обозами въ Москву и въ Нижній, зарабатывалъ такъ много, что некуда было дѣвать денегъ. А какіе въ то время были купцы, какая рыба; какъ все было дешево! Теперь же дороги стали короче, купцы скупѣе, народъ бѣднѣе, хлѣбъ дороже, все измельчало и сузилось до крайности. Емельянъ говорилъ, что прежде онъ служилъ въ Луганскомъ заводѣ въ пѣвчихъ, имѣлъ замѣчательный голосъ и отлично читалъ ноты, теперь же онъ обратился въ мужика и кормится милостями брата, который посылаетъ его со своими лошадями и беретъ себѣ за это половину заработка. Вася когда-то служилъ на спичечной фабрикѣ; Кирюха жилъ въ кучерахъ у хорошихъ людей и на весь округъ считался лучшимъ троечникомъ. Дымовъ, сынъ зажиточнаго мужика, жилъ въ свое удовольствіе, гулялъ и не зналъ горя, но едва минуло двадцать лѣтъ, какъ строгій, крутой отецъ, желая пріучить его къ дѣлу и боясь, чтобы онъ дома не избаловался, сталъ посылать его въ извозъ, какъ бобыля, работника. Одинъ Степка молчалъ, но и по его безусому лицу видно было, что прежде жилось ему гораздо лучше, чѣмъ теперь.

Вспомнивъ объ отцѣ, Дымовъ пересталъ ѣсть и нахмурился. Онъ исподлобья оглядѣлъ товарищей и остановилъ свой взглядъ на Егорушкѣ.

— Ты, нехристь, сними шапку!—сказалъ онъ грубо.— Нешто можно въ шапкѣ ѣсть? А еще тоже баринъ!

Егорушка снялъ шляпу и не сказалъ ни слова, но ужъ не понималъ вкуса каши и не слышалъ, какъ вступились за него Пантелей и Вася. Въ его груди тяжело заворочалась злоба противъ озорника, и онъ порѣшилъ во что бы то ни стало сдѣлать ему какое-нибудь зло.

Послѣ обѣда всѣ поплелись къ возамъ и повалились въ тѣнь.

— Дѣдъ, скоро мы поѣдемъ?—спросилъ Егорушка у Пантелея.

— Когда Богъ дастъ, тогда и поѣдемъ... Сейчасъ не поѣдешь, жарко... Охъ, Господи Твоя воля, Владычица... Ложись, нарнишка!

Скоро изъ-подъ возовъ послышался храпъ. Егорушка хотѣлъ-было опять пойти въ деревню, но подумалъ, позѣвалъ и легъ рядомъ со старикомъ.

## VI.

Обозъ весь день простоялъ у рѣки и тронулся съ мѣста, когда садилось солнце.

Опять Егорушка лежалъ на тюкѣ, возъ тихо скрипѣлъ и покачивался, внизу шелъ Пантелей, притопывалъ ногами, хлопалъ себя по бедрамъ и бормоталъ; въ воздухѣ по-вчерашнему стрекотала степная музыка.

Егорушка лежалъ на спинѣ и, заложивъ руки подъ голову, глядѣлъ вверхъ на небо. Онъ видѣлъ, какъ зажглась вечерняя заря, какъ потомъ она угасала; ангелы-хранители, застилая горизонтъ своими золотыми крыльями, располагались на ночлегъ; день прошелъ благополучно; наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидѣть у себя дома на небѣ... Видѣлъ Егорушка, какъ мало-по-малу темнѣло небо и опускалась на землю мгла, какъ засвѣтились одна за другой звѣзды.

Когда долго, не отрывая глазъ, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются въ сознаніе одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одинокимъ и все то, что считалъ раньше близкимъ и роднымъ, становится безконечно далекимъ и не имѣющимъ цѣны. Звѣзды, глядящія съ неба уже тысячи лѣтъ, само непонятное небо и мгла, равнодушныя къ короткой жизни человѣка, когда остаешься съ ними съ глазу на глазъ и стараешься постигнуть ихъ смыслъ, гнетутъ душу своимъ молчаніемъ; приходитъ на мысль то одиночество, которое ждетъ каждаго изъ насъ въ могилѣ, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной...

Егорушка думалъ о бабушкѣ, которая спитъ теперь на кладбищѣ подъ вишневыми деревьями; онъ вспомнилъ, какъ она лежала въ гробу съ мѣдными пятаками на глазахъ, какъ потомъ ее прикрыли крышкой и опустили въ могилу; припомнился ему и глухой стукъ комковъ земли о крышку...

Онъ представилъ себѣ бабушку въ тѣсномъ и темномъ гробу, всѣми оставленную и безпомощную. Его воображеніе рисовало, какъ бабушка вдругъ просыпается и, не понимая, гдѣ она, стучитъ въ крышку, зоветъ на помощь и, въ концѣ концовъ, изнемогши отъ ужаса, опять умираетъ. Вообразилъ онъ мертвыми мамашу, о. Христофора, графиню Драницкую, Соломона. Но какъ онъ ни старался вообразить себя самого въ темной могилѣ, вдали отъ дома, брошеннымъ, безпомощнымъ и мертвымъ, это не удавалось ему; лично для себя онъ не допускалъ возможности умереть и чувствовалъ, что никогда не умретъ...

А Пантелей, которому пора уже было умирать, шелъ внизу и дѣлалъ перекличку своимъ мыслямъ.

— Ничего... хорошіе господа...—бормоталъ онъ.—Повезли парнишку въ ученье, а какъ онъ тамъ, не слыхать про то... Въ Славяносербскомъ, говорю, нѣту такого заведенія, чтобъ до большого ума доводить... Нѣту, это вѣрно... А парнишка хорошій, ничего... Вырастетъ, отцу будетъ помогать. Ты, Егорій, теперь махонькій, а станешь большой, отца-мать кормить будешь. Такъ отъ Бога положено... Чти отца твоего и матерь твою... У меня у самого были дѣтки, да погорѣли... И жена сгорѣла, и дѣтки... Это вѣрно, подъ Крещенье ночью загорѣлась изба... Меня-то дома не было, я въ Орелъ ѣздилъ. Въ Орелъ... Марья-то выскочила на улицу, да вспомнила, что дѣти въ избѣ спятъ, побѣжала назадъ и сгорѣла съ дѣтками... Да... На другой день однѣ только косточки нашли.

Около полуночи подводчики и Егорушка опять сидѣли вокругъ небольшого костра. Пока разгорался бурьянъ, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то въ балочку; они исчезли въ потемкахъ, но все время слышно было, какъ они звякали ведрами и разговаривали; значитъ, балочка была недалеко. Свѣтъ отъ костра лежалъ на землѣ большимъ, мигающимъ пятномъ; хотя и свѣтила луна, но за краснымъ пятномъ все казалось непроницаемо-чернымъ. Подводчикамъ свѣтъ билъ въ глаза, и они видѣли только часть большой дороги; въ темнотѣ едва замѣтно въ видѣ горъ неопредѣленной формы обозначались возы съ тюками и лошади. Въ двадцати шагахъ отъ костра, на границѣ дороги съ полемъ стоялъ деревянный могильный крестъ, покосившійся въ сторону. Егорушка, когда еще не горѣлъ костеръ и можно

было видѣть далеко, замѣтилъ, что точно такой же старый, покосившійся крестъ стоялъ на другой сторонѣ большой дороги.

Вернувшись съ водой, Кирюха и Вася налили полный котелъ и укрѣпили его на огнѣ. Степка съ зазубренной ложкой въ рукахъ занялъ свое мѣсто въ дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, сталъ дожидаться, пока покажется пѣна. Пантелей и Емельянъ сидѣли рядомъ, молчали и о чемъ-то думали. Дымовъ лежалъ на животѣ, подперевъ кулаками голову, и глядѣлъ на огонь; тѣнь отъ Степки прыгала по немъ, отчего красивое лицо его то покрывалось потемками, то вдругъ вспыхивало... Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурьянъ и берестъ. Егорушка, заложивъ руки въ карманы, стоялъ около Пантелея и смотрѣлъ, какъ огонь ѣлъ траву.

Всѣ отдыхали, о чемъ-то думали, мелькомъ поглядывали на крестъ, по которому прыгали красныя пятна. Въ одинокой могилѣ есть что-то грустное, мечтательное и въ высокой степени поэтическое... Слышно, какъ она молчитъ, и въ этомъ молчаніи чувствуется присутствіе души неизвѣстнаго человѣка, лежащаго подъ крестомъ. Хорошо ли этой душѣ въ степи? Не тоскуетъ ли она въ лунную ночь? А степь возлѣ могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальнѣй и, кажется, что кузнецы кричатъ сдержаннѣй... И нѣтъ того прохожаго, который не помянулъ бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тѣхъ поръ, пока она не останется далеко позади и не покроется мглою...

— Дѣдъ, зачѣмъ это крестъ стоитъ? — спросилъ Егорушка.

Пантелей поглядѣлъ на крестъ, потомъ на Дымова и спросилъ:

— Микола, это, бываетъ, не то мѣсто, гдѣ косари купцовъ убили?

Дымовъ нехотя приподнялся на локтѣ, посмотрѣлъ на дорогу и отвѣтилъ:

— Оно самое...

Наступило молчаніе. Кирюха затрещалъ сухой травой, смялъ ее въ комъ и сунулъ подъ котелъ. Огонь ярко вспыхнулъ, Степку обдало чернымъ дымомъ, и въ потемкахъ по дорогѣ около возовъ пробѣжала тѣнь отъ креста.

— Да, убили...—сказалъ нехотя Дымовъ.—Купцы, отецъ

съ сыномъ, ѣхали образа продавать. Остановились тутъ подалече въ постояломъ дворѣ, что теперь Игнатъ Ѳоминъ держитъ. Старикъ выпилъ лишнее и сталъ хвалиться, что у него съ собой денегъ много. Купцы, извѣстно, народъ хвастливый, не дай Богъ... Не утерпитъ, чтобъ не показать себя передъ нашимъ братомъ въ лучшемъ видѣ. А въ ту пору на постояломъ дворѣ косари ночевали. Ну, услыхали это они, какъ купецъ хвастаетъ, и взяли себѣ во вниманіе.

— О, Господи... Владычица!—вздохнулъ Пантелей.

— На другой день чуть - свѣтъ, — продолжалъ Дымовъ: — купцы собрались въ дорогу, а косари съ ними ввязались. «Пойдемъ, ваше степенство, вмѣстѣ. Веселѣй да и опаски меньше, потому здѣсь мѣсто глухое...» Купцы, чтобъ образовъ не побить, шагомъ ѣхали, а косарямъ это на руку...

Дымовъ сталъ на колѣни и потянулся.

— Да, — продолжалъ онъ, зѣвая. — Все ничего было, а какъ только купцы доѣхали до этого мѣста, косари и давай чистить ихъ косами. Сынъ, молодецъ былъ, выхватилъ у одного косу и тоже давай чистить... Ну, конечно, тѣ одолѣли, потому ихъ человѣкъ восемь было. Изрѣзали купцовъ такъ, что живого мѣста на тѣлѣ не осталось; кончили свое дѣло и стащили съ дороги обоихъ, отца на одну сторону, а сына на другую. Супротивъ этого креста на той сторонѣ еще другой крестъ есть... Цѣлъ ли—не знаю... Отсюда не видать.

— Цѣлъ,—сказалъ Кирюха.

— Сказываютъ, денегъ потомъ нашли мало.

— Мало,—подтвердилъ Пантелей.—Рублей сто нашли.

— Да, а трое изъ нихъ потомъ померли, потому купецъ ихъ тоже больно косой порѣзалъ... Кровью сошли. Одному купецъ руку отхватилъ, такъ тотъ, сказываютъ, версты четыре безъ руки бѣжалъ, и подъ самымъ Куриковымъ его на бугорочкѣ нашли. Сидитъ на корточкахъ, голову на колѣни положилъ, словно задумавшись, а поглядѣли—въ немъ души нѣтъ, померъ...

— По кровяному слѣду его нашли... — сказалъ Пантелей.

Всѣ посмотрѣли на крестъ, и опять наступила тишина. Откуда-то, вѣроятно изъ балочки, донесся грустный крикъ птицы: «сплю! сплю! сплю!..»

— Злыхъ людей много на свѣтѣ,—сказалъ Емельянъ.

— Много, много!—подтвердилъ Пантелей и придвинулся поближе къ огню съ такимъ выраженіемъ, какъ будто ему становилось жутко.—Много,—продолжалъ онъ вполголоса.—Перевидалъ я ихъ на своемъ вѣку видимо-невидимо... Злыхъ-то людей... Святыхъ и праведныхъ видѣлъ много, а грѣшныхъ и не перечесть... Спаси и помилуй, Царица Небесная... Помню разъ, годовъ тридцать назадъ, а можетъ и больше, везъ я купца изъ Моршанска. Купецъ былъ славный, видный изъ себя и при деньгахъ... купецъ-то... Хорошій человѣкъ, ничего... Вотъ, стало-быть, ѣхали мы и остановились ночевать въ постояломъ дворѣ. А въ Россіи постоялые дворы не то, что въ здѣшнемъ краю. Тамъ дворы крытые на манеръ базовъ, или, скажемъ, какъ клуни въ хорошихъ экономіяхъ. Только клуни повыше будутъ. Ну, остановились мы и ничего себѣ. Купецъ мой въ комнаткѣ, я при лошадяхъ, и все какъ слѣдуетъ быть. Такъ вотъ, братцы, помолился я Богу, чтобъ, значитъ, спать, и пошелъ походить по двору. А ночь была темная, зги не видать, хоть не гляди вовсе. Прошелся я этакъ немножко, вотъ какъ до возовъ, примѣрно, и вижу—огонь брезжится. Что за притча? Кажись, и хозяева давно спать положились, и акромя меня съ купцомъ другихъ постояльцевъ не было... Откуда огню быть? Взяло меня сумнѣніе... Подошелъ я поближе... къ огню-то... Господи, помилуй и спаси, Царица Небесная! Смотрю, а у самой земли окошечко съ рѣшеткой... въ домѣ-то... Легъ я на землю и поглядѣлъ; какъ поглядѣлъ, такъ по всему моему тѣлу и пошелъ морозъ...

Кирюха, стараясь не шумѣть, сунулъ въ костеръ пукъ бурьяна. Дождавшись, когда бурьянъ пересталъ трещать и шипѣть, старикъ продолжалъ:

— Поглядѣлъ я туда, а тамъ подвалъ, большой такой, темный да сумный... На бочкѣ фонарикъ горитъ. Посреди подвала стоятъ человѣкъ десять народу въ красныхъ рубахахъ, засучили рукава и длинные ножики точатъ... Эгэ! Ну, значитъ, мы въ шайку попали, къ разбойникамъ... Что тутъ дѣлать? Побѣгъ я къ купцу, разбудилъ его потихоньку и говорю: «Ты, говорю, купецъ, не пужайся, а дѣло наше плохо... Мы, говорю, въ разбойничье гнѣздо попали». Онъ смѣнился съ лица и спрашиваетъ:—«Что жъ мы теперь, Пантелей, дѣлать станемъ? При мнѣ денегъ сиротскихъ

много... Насчетъ души, говоритъ, моей воленъ Господь Богъ, не боюсь помереть, а, говоритъ, страшно сиротскія деньги загубить»... Что тутъ прикажешь дѣлать? Ворота запертыя, некуда ни выѣхать, ни выйти... Будь заборъ, черезъ заборъ перелѣзть можно, а то дворъ крытый!..—«Ну, говорю, купецъ, ты не пужайся, а молись Богу. Можетъ, Господь не захочетъ сиротъ обижать. Оставайся, говорю, и виду не подавай, а я тѣмъ временемъ, можетъ, и придумаю что...» Ладно... Помолился я Богу, и наставилъ меня Богъ на умъ... Влѣзъ я на свой тарантасъ и тихонько... тихонько, чтобъ никто не слыхалъ, сталъ обдирать солому въ стрехѣ, продѣлалъ дырку и вылѣзъ наружу. Наружу-то... Потомъ прыгнулъ я съ крыши и побѣгъ по дорогѣ, что есть духу. Бѣжалъ я, бѣжалъ, замучился до смерти... Можетъ, верстъ пять пробѣжалъ однимъ духомъ, а то и больше... Благодарить Бога, вижу—стоитъ деревня. Подбѣжалъ я къ избѣ, сталъ стучать въ окно.—«Православные, говорю, такъ и такъ, молъ, не дайте христіанскую душу загубить...» Побудилъ всѣхъ... Собрались мужики и пошли со мной... Кто съ веревкой, кто съ дубьемъ, кто съ вилами... Сломали мы это въ постояломъ дворѣ ворота и сейчасъ въ подвалъ... А разбойники ножики-то ужъ поточили и собрались купца рѣзать. Забрали ихъ мужики всѣхъ какъ есть, перевязали и повели къ начальству. Купецъ имъ на радостяхъ три сотенныхъ пожертвовалъ, а мнѣ пять лобанчиковъ далъ и имя мое въ поминанье къ себѣ записалъ. Сказываютъ, потомъ въ подвалѣ костей человѣчьихъ нашли видимо-невидимо. Костей-то... Они, значитъ, грабили народъ, а потомъ зарывали, чтобъ слѣдовъ не было... Ну, потомъ ихъ въ Моршанскѣ черезъ палачей наказывали.

Пантелей кончилъ разсказъ и оглядѣлъ своихъ слушателей. Тѣ молчали и смотрѣли на него. Вода уже кипѣла, и Степка снималъ пѣну.

— Сало-то готово?—спросилъ его шопотомъ Кирюха.

— Погоди маленько... Сейчасъ.

Степка, не отрывая глазъ отъ Пантелея и какъ бы боясь, чтобы тотъ не началъ безъ него разсказывать, побѣжалъ къ возамъ; скоро онъ вернулся съ небольшой деревянной чашкой и сталъ растирать въ ней свиное сало.

— Ѣхалъ я въ другой разъ тоже съ купцомъ...—продолжалъ Пантелей попрежнему вполголоса и не мигая гла-

зами.—Звали его, какъ теперь помню, Петръ Григорьичъ. Хорошій былъ человѣкъ... купецъ-то... Остановились мы такимъ же манеромъ на постояломъ дворѣ... Онъ въ комнаткѣ, я при лошадяхъ... Хозяева, мужъ и жена, народъ какъ будто хорошій, ласковый, работники тоже словно бы ничего, а только, братцы, не могу спать, чуетъ мое сердце! Чуетъ, да и шабашъ. И ворота отпертыя, и народу кругомъ много, а все какъ будто страшно, не по себѣ. Всѣ давно позаснули, ужъ совсѣмъ ночь, скоро вставать надо, а я одинъ только лежу у себя въ кибиткѣ и глазъ не смыкаю, словно сычъ какой. Только, братцы, это самое, слышу: тупъ! тупъ! тупъ! Кто-то къ кибиткѣ крадется. Высовываю голову, гляжу—стоитъ баба въ одной рубахѣ, босая... «Что тебѣ, говорю, бабочка?» А она вся трясется, это самое, лица на ей нѣтъ... «Вставай, говоритъ, добрый человѣкъ! Бѣда... Хозяева лихо задумали... Хотятъ твоего купца порѣшить. Сама, говоритъ, слыхала, какъ хозяинъ съ хозяйкой шептались...» Ну, недаромъ сердце болѣло! «Кто же ты сама?»—спрашиваю. «А я, говоритъ, ихняя стряпуха...» Ладно... Вылѣзъ я изъ кибитки и пошелъ къ купцу. Разбудилъ его и говорю: «Такъ и такъ, говорю, Петръ Григорьичъ, дѣло не совсѣмъ чисто... Успѣешь, ваше степенство, выспаться, а теперь, пока есть время, одѣвайся, говорю, да по добру-здорову подальше отъ грѣха..» Только-что онъ сталъ одѣваться, какъ дверь отворилась и здравствуйте... гляжу—Мать-Царица!—входятъ къ намъ въ комнатку хозяинъ съ хозяйкой и три работника... Значитъ, и работниковъ подговорили... Денегъ у купца много, такъ вотъ, молъ, подѣлимъ... У всѣхъ у пятерыхъ въ рукахъ по ножику длинному... По ножику-то... Заперъ хозяинъ на замокъ двери и говоритъ: — «Молитесь, проѣзжіе, Богу... А ежели, говоритъ, кричать станете, то и помолиться не дадимъ передъ смертью...» Гдѣ ужъ тутъ кричать? У насъ отъ страху и глотку завалило, не до крику тутъ... Купецъ заплакалъ и говоритъ: «Православные! Вы, говоритъ, порѣшили меня убить, потому на мои деньги польстились. Такъ тому и быть, не я первый, не я послѣдній; много ужъ нашего брата-купца на постоялыхъ дворахъ перерѣзано. Но за что же, говоритъ, братцы православные, моего извозчика убивать? Какая ему надобность за мои деньги муки принимать?» И такъ это жалостно говоритъ! А хо-

зяинъ ему:—«Ежели, говоритъ, мы его въ живыхъ оставимъ, такъ онъ первый на насъ доказчикъ. Все равно, говоритъ, что одного убить, что двухъ. Семь бѣдъ, одинъ отвѣтъ... Молитесь Богу, вотъ и все тутъ, а разговаривать нечего!» Стали мы съ купцомъ рядышкомъ на колѣнки, заплакали и давай Бога молить. Онъ дѣтокъ своихъ вспоминаетъ, я въ ту пору еще молодой былъ, жить хотѣлъ... Глядимъ на образа, молимся, да такъ жалостно, что и теперь слеза бьетъ... А хозяйка, баба-то, глядитъ на насъ и говоритъ: «Вы же, говоритъ, добрые люди, не поминайте насъ на томъ свѣтѣ лихомъ и не молите Бога на нашу голову, потому мы это отъ нужды». Молились мы, молились, плакали, плакали, а Богъ-то насъ и услышалъ. Сжалился, значитъ... Въ самый разъ, когда хозяинъ купца за бороду взялъ, чтобъ, значитъ, ножикомъ его по шеѣ полоснуть, вдругъ кто-то ка-акъ стукнетъ со двора по окошку! Всѣ мы такъ и присѣли, а у хозяина руки опустились... Постучалъ кто-то по окошку, да какъ закричитъ: «Петръ Григорьичъ, кричитъ, ты здѣсь? Собирайся, поѣдемъ!» Видятъ хозяева, что за купцомъ пріѣхали, испужались и давай Богъ ноги... А мы скорѣй на дворъ, запрягли и—только насъ и видѣли...

— Кто же это въ окошко стучалъ?—спросилъ Дымовъ.

— Въ окошко-то? Должно, угодникъ Божій или ангелъ. Потому акромя некому... Когда мы выѣхали со двора, на улицѣ ни одного человѣка не было... Божье дѣло!

Пантелей разсказалъ еще кое-что и во всѣхъ его разсказахъ одинаково играли роль «длинные ножики», и одинаково чувствовался вымыселъ. Слышалъ ли онъ эти разсказы отъ кого-нибудь другого, или самъ сочинилъ ихъ въ далекомъ прошломъ и потомъ, когда память ослабѣла, перемѣшалъ пережитое съ вымысломъ и пересталъ умѣть отличать одно отъ другого? Все можетъ быть, но странно одно, что теперь и во всю дорогу онъ, когда приходилось разсказывать, отдавалъ явное предпочтеніе вымысламъ и никогда не говорилъ о томъ, что было пережито. Теперь Егорушка все принималъ за чистую монету и вѣрилъ каждому слову, впослѣдствіи же ему казалось страннымъ, что человѣкъ, изъѣздившій на своемъ вѣку всю Россію, видѣвшій и знавшій многое, человѣкъ, у котораго сгорѣли жена и дѣти, обезцѣнивалъ свою богатую жизнь до того,

что всякій разъ, сидя у костра, или молчалъ, или же говорилъ о томъ, чего не было.

За кашей всѣ молчали и думали о только-что слышанномъ. Жизнь страшна и чудесна, а потому какой страшный разсказъ ни разскажи на Руси, какъ ни украшай его разбойничьими гнѣздами, длинными ножиками и чудесами, онъ всегда отзовется въ душѣ слушателя былью, и развѣ только человѣкъ, сильно искусившійся на грамотѣ, недовѣрчиво покосится, да и то смолчитъ. Крестъ у дороги, темные тюки, просторъ и судьба людей, собравшихся у костра—все это само по себѣ было такъ чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки блѣднѣла и сливалась съ жизнью.

Всѣ ѣли изъ котла, Пантелей же сидѣлъ въ сторонѣ особнякомъ и ѣлъ кашу изъ деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, какъ у всѣхъ, а кипарисовая и съ крестикомъ. Егорушка, глядя на него, вспомнилъ о лампадномъ стаканчикѣ и спросилъ тихо у Степки:

— Зачѣмъ это дѣдъ особо сидитъ?

— Онъ старой вѣры, — отвѣтили шопотомъ Степка и Вася, и при этомъ они такъ глядѣли, какъ будто говорили о слабости или тайномъ порокѣ.

Всѣ молчали и думали. Послѣ страшныхъ разсказовъ не хотѣлось ужъ говорить о томъ, что обыкновенно. Вдругъ среди тишины Вася выпрямился и, устремивъ свои тусклые глаза въ одну точку, навострилъ уши.

— Что такое?—спросилъ его Дымовъ.

— Человѣкъ какой-то идетъ,—отвѣтилъ Вася.

— Гдѣ ты его видишь?

— Во-онъ онъ! Чуть-чуть бѣлѣется...

Тамъ, куда смотрѣлъ Вася, не было видно ничего, кромѣ потемокъ; всѣ прислушались, но шаговъ не было слышно.

— По шляху онъ идетъ?—спросилъ Дымовъ.

— Нѣ, полемъ... Сюда идетъ.

Прошла минута въ молчаніи.

— А можетъ, это по степи гуляетъ купецъ, что тутъ похороненъ,—сказалъ Дымовъ.

Всѣ покосились на крестъ, переглянулись и вдругъ засмѣялись; стало стыдно за свой страхъ.

— Зачѣмъ ему гулять?—сказалъ Пантелей.—Это только

тѣ по ночамъ ходятъ, кого земля не принимаетъ. А купцы ничего... Купцы мученическій вѣнецъ приняли...

Но вотъ послышались шаги. Кто-то торопливо шелъ.

— Что-то несетъ,—сказалъ Вася.

Стало слышно, какъ подъ ногами шедшаго шуршала трава и потрескивалъ бурьянъ, но за свѣтомъ костра никого не было видно. Наконецъ, раздались шаги вблизи, кто-то кашлянулъ; мигавшій свѣтъ точно разступился, съ глазъ спала завѣса, и подводчики вдругъ увидѣли передъ собой человѣка.

Огонь ли такъ мелькнулъ, или оттого, что всѣмъ хотѣлось разглядѣть прежде всего лицо этого человѣка, но только странно такъ вышло, что всѣ при первомъ взглядѣ на него увидѣли прежде всего не лицо, не одежду, а улыбку. Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, какъ у разбуженнаго ребенка, одна изъ тѣхъ заразительныхъ улыбокъ, на которыя трудно не отвѣтить тоже улыбкой. Незнакомецъ, когда его разглядѣли, оказался человѣкомъ лѣтъ тридцати, некрасивымъ собой и ничѣмъ не замѣчательнымъ. Это былъ высокій хохолъ, длинноносый, длиннорукій и длинноногій; вообще все у него казалось длиннымъ и только одна шея была такъ коротка, что дѣлала его сутуловатымъ. Одѣтъ онъ былъ въ чистую бѣлую рубаху съ шитымъ воротомъ, въ бѣлыя шаровары и новые сапоги и въ сравненіи съ подводчиками казался щеголемъ. Въ рукахъ онъ держалъ что-то большое, бѣлое и на первый взглядъ странное, а изъ-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное.

Попавъ изъ потемокъ въ свѣтовой кругъ, онъ остановился, какъ вкопанный, и съ полминуты глядѣлъ на подводчиковъ такъ, какъ будто хотѣлъ сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потомъ онъ шагнулъ къ костру, улыбнулся еще свѣтлѣе и сказалъ:

— Хлѣбъ да соль, братцы!

— Милости просимъ!—отвѣчалъ за всѣхъ Пантелей.

Незнакомецъ положилъ около костра то, что держалъ въ рукахъ — это была убитая дрохва, — и еще разъ поздоровался.

Всѣ подошли къ дрохвѣ и стали осматривать ее.

— Важная птица! Чѣмъ это ты ее? — спросилъ Дымовъ.

— Картечью... Дробью не достанешь, не подпуститъ... Купите, братцы! Я бъ вамъ за двугривенный отдалъ.

— А на что она намъ? Она жареная годится, а вареная небось жесткая—не укусишь...

— Эхъ, досада! Ее бы къ господамъ въ экономію снесть, тѣ бы полтинникъ дали, да далече — пятнадцать верстъ!

Неизвѣстный сѣлъ, снялъ ружье и положилъ его возлѣ себя. Онъ казался соннымъ, томнымъ, улыбался, щурился отъ огня и, повидимому, думалъ о чемъ-то очень пріятномъ. Ему дали ложку. Онъ сталъ ѣсть.

— Ты кто самъ?—спросилъ его Дымовъ.

Незнакомецъ не слышалъ вопроса; онъ не отвѣтилъ и даже не взглянулъ на Дымова. Вѣроятно, этотъ улыбающійся человѣкъ не чувствовалъ и вкуса каши, потому что жевалъ какъ-то машинально, лѣниво, поднося ко рту ложку то очень полную, то совсѣмъ пустую. Пьянъ онъ не былъ, но въ головѣ его бродило что-то шальное.

— Я тебя спрашиваю: ты кто?—повторилъ Дымовъ.

— Я-то?—встрепенулся неизвѣстный.—Константинъ Звонькъ, изъ Ровнаго. Отсюда версты четыре.

И, желая на первыхъ же порахъ показать, что онъ не такой мужикъ, какъ всѣ, а получше, Константинъ поспѣшилъ добавить:

— Мы пасѣку держимъ и свиней кормимъ.

— При отцѣ живешь, али самъ?

— Нѣтъ, теперь самъ живу. Отдѣлился. Въ этомъ мѣсяцѣ послѣ Петрова дня оженился. Женатый теперь!.. Нынче восемнадцатый день, какъ обзаконился.

— Хорошее дѣло!—сказалъ Пантелей.—Жена ничего... Это Богъ благословилъ...

— Молодая баба дома спитъ, а онъ по степу шатается,—засмѣялся Кирюха.—Чудакъ!

Константинъ, точно его ущипнули за самое живое мѣсто, встрепенулся, засмѣялся, вспыхнулъ...

— Да Господи, нѣту ея дома!—сказалъ онъ, быстро вынимая изо рта ложку и оглядывая всѣхъ радостно и удивленно.—Нѣту! Поѣхала къ матери на два дня! Ей-Богу, она поѣхала, а я какъ не женатый...

Константинъ махнулъ рукой и покрутилъ головою; онъ хотѣлъ продолжать думать, но радость, которою свѣтилось

лицо его, мѣшала ему. Онъ, точно ему неудобно было сидѣть, принялъ другую позу, засмѣялся и опять махнулъ рукой. Совѣстно было выдавать чужимъ людямъ свои пріятныя мысли, но въ то же время неудержимо хотѣлось подѣлиться радостью.

— Поѣхала въ Демидово къ матери!—сказалъ онъ, краснѣя и перекладывая на другое мѣсто ружье.—Завтра вернется... Сказала, что къ обѣду назадъ будетъ.

— А тебѣ скучно?—спросилъ Дымовъ.

— Да Господи, а то какъ же? Безъ году недѣля, какъ оженился, а она уѣхала... А? У, да бѣдовая, накажи меня Богъ! Тамъ такая хорошая, да славная, такая хохотунья да пѣвунья, что просто чистый порохъ! При ней голова ходоромъ ходитъ, а безъ нея вотъ словно потерялъ что, какъ дуракъ по степу хожу. Съ самаго обѣда хожу, хоть караулъ кричи.

Константинъ протеръ глаза, посмотрѣлъ на огонь и засмѣялся.

— Любишь, значитъ...—сказалъ Пантелей.

— Тамъ такая хорошая, да славная, — повторилъ Константинъ, не слушая:—такая хозяйка, умная, да разумная, что другой такой изъ простого званія во всей губерніи не сыскать. Уѣхала... А вѣдь скучаетъ, я зна-аю! Знаю, сороку! Сказала, что завтра къ обѣду вернется... А вѣдь какая исторія!—почти крикнулъ Константинъ, вдругъ беря тономъ выше и мѣняя позу: — теперь любитъ и скучаетъ, а вѣдь не хотѣла за меня выходить!

— Да ты ѣшь!—сказалъ Кирюха.

— Не хотѣла за меня выходить!—продолжалъ Константинъ, не слушая.—Три года съ ней бился! Увидалъ я ее на ярмаркѣ въ Калачикѣ, полюбилъ до смерти, хоть на шибеницу полѣзай... Я въ Ровномъ, она въ Демидовомъ, другъ отъ дружки за двадцать пять верстъ, и нѣтъ никакой моей возможности. Засылаю къ ней сватовъ, а она: не хочу! Ахъ ты, сорока! Ужъ я ее и такъ, и этакъ, и сережки, и пряниковъ, и меду полпуда — не хочу! Вотъ тутъ и поди. Оно, ежели разсудить, то какая я ей пара? Она молодая, красивая, съ порохомъ, а я старый, скоро тридцать годовъ будетъ, да и красивъ очень, борода окладистая—гвоздемъ, лицо чистое — все въ шишкахъ. Гдѣ жъ мнѣ съ ней равняться! Развѣ вотъ только, что богато жи-

вемъ, да вѣдь и они, Вахраменки, хорошо живутъ. Три пары воловъ и двухъ работниковъ держатъ. Полюбилъ, братцы, и очумѣлъ... Не силю, не ѣмъ, въ головѣ мысли и такой дурманъ, что не приведи Господи! Хочется ее повидать, а она въ Демидовѣ... И что жъ вы думаете? Накажи меня Богъ, не брешу, раза три на недѣлѣ туда пѣшкомъ ходилъ, чтобъ на нее поглядѣть. Дѣло бросилъ! Такое затменіе нашло, что даже въ работники въ Демидовѣ хотѣлъ наниматься, чтобъ, значитъ, къ ней поближе. Замучился! Мать знахарку звала, отецъ разъ десять бить принимался. Ну, три года промаялся и ужъ такъ порѣшилъ: будь ты трижды анаѳема, пойду въ городъ и въ извозчики... Значитъ, не судьба! На Святой пошелъ я въ Демидово въ послѣдній разочекъ на нее поглядѣть...

Константинъ откинулъ назадъ голову и закатился такимъ мелкимъ, веселымъ смѣхомъ, какъ будто только-что очень хитро надулъ кого-то.

— Гляжу, она съ парубками около рѣчки,—продолжалъ онъ.—Взяло меня зло... Отозвалъ я ее въ сторонку и, можетъ, съ цѣлый часъ ей разныя слова... Полюбила! Три года не любила, а за слова полюбила!...

— А какія слова?—спросилъ Дымовъ.

— Слова? И не помню... Нешто вспомнишь? Тогда, какъ вода изъ жолоба, безъ передышки: та-та-та-та! А теперь ни одного слова не выговорю... Ну, и пошла за меня... Поѣхала теперь сорока къ матери, а я вотъ безъ нея по степу. Не могу дома сидѣть. Нѣтъ моей мочи!

Константинъ неуклюже высвободилъ изъ-подъ себя ноги, растянулся на землѣ и подперъ голову кулаками, потомъ поднялся и опять сѣлъ. Всѣ теперь отлично понимали, что это былъ влюбленный и счастливый человѣкъ, счастливый до тоски; его улыбка, глаза и каждое движеніе выражали томительное счастье. Онъ не находилъ себѣ мѣста и не зналъ, какую принять позу и что дѣлать, чтобы не изнемогать отъ изобилія пріятныхъ мыслей. Изливъ передъ чужими людьми свою душу, онъ, наконецъ, усѣлся покойно и, глядя на огонь, задумался.

При видѣ счастливаго человѣка всѣмъ стало скучно и захотѣлось тоже счастья. Всѣ задумались. Дымовъ поднялся, тихо прошелся около костра, и по походкѣ, по движенію

его лопатокъ видно было, что онъ томился и скучалъ. Онъ постоялъ, поглядѣлъ на Константина и сѣлъ.

А костеръ уже потухалъ. Свѣтъ уже не мелькалъ, и красное пятно сузилось, потускнѣло... И чѣмъ скорѣе догоралъ огонь, тѣмъ виднѣе становилась лунная ночь. Теперь ужъ видно было дорогу во всю ея ширь, тюки, оглобли, жевавшихъ лошадей; на той сторонѣ неясно вырисовывался другой крестъ...

Дымовъ подперъ щеку рукой и тихо запѣлъ какую-то жалостную пѣсню. Константинъ сонно улыбнулся и подтянулъ ему тонкимъ голоскомъ. Попѣли они съ полминуты и затихли... Емельянъ встрепенулся, задвигалъ локтями и зашевелилъ пальцами.

— Братцы,—сказалъ онъ умоляюще.—Давайте, споемъ что-нибудь божественное!

Слезы выступили у него на глазахъ.

— Братцы!—повторилъ онъ, прижимая руку къ сердцу.—Давайте споемъ что-нибудь божественное!

— Я не умѣю,—сказалъ Константинъ.

Всѣ отказались; тогда Емельянъ запѣлъ самъ. Онъ замахалъ обѣими руками, закивалъ головой, открылъ ротъ, но изъ горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыханіе. Онъ пѣлъ руками, головой, глазами и даже шишкой, пѣлъ страстно и съ болью, и чѣмъ сильнѣе напрягалъ грудь, чтобы вырвать изъ нея хоть одну ноту, тѣмъ беззвучнѣе становилось его дыханіе...

Егорушкой тоже, какъ и всѣми, овладѣла скука. Онъ пошелъ къ своему возу, взобрался на тюкъ и легъ. Глядѣлъ онъ на небо и думалъ о счастливомъ Константинѣ и его женѣ. Зачѣмъ люди женятся? Къ чему на этомъ свѣтѣ женщины? Егорушка задавалъ себѣ неясные вопросы и думалъ, что мужчинѣ, навѣрное, хорошо, если возлѣ него постоянно живетъ ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и онъ подумалъ, что съ такой женщиной, вѣроятно, очень пріятно жить; онъ, пожалуй, съ удовольствіемъ женился бы на ней, если бы это не было такъ совѣстно. Онъ вспомнилъ ея брови, зрачки, коляску, часы со всадникомъ... Тихая, теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая жен-

щина склоняется къ нему, съ улыбкой глядитъ на него и хочетъ поцѣловать...

Отъ костра осталось только два маленькихъ красныхъ глаза, становившихся все меньше и меньше. Подводчики и Константинъ сидѣли около нихъ, темные, неподвижные, и казалось, что ихъ теперь было гораздо больше, чѣмъ раньше. Оба креста одинаково были видны и далеко-далеко, гдѣ-то на большой дорогѣ, свѣтился красный огонекъ—тоже, вѣроятно, кто-нибудь варилъ кашу.

«Наша матушка Расія всему свѣту га-ла-ва!» — запѣлъ вдругъ дикимъ голосомъ Кирюха, поперхнулся и умолкъ. Степное эхо подхватило его голосъ, понесло, и казалось, по степи на тяжелыхъ колесахъ покатила сама глупость.

— Время ѣхать!—сказалъ Пантелей.—Вставай, ребята.

Пока запрягали, Константинъ ходилъ около подводъ и восхищался своей женой.

— Прощайте, братцы!—крикнулъ онъ, когда обозъ тронулся.—Спасибо вамъ за хлѣбъ за соль! А я опять пойду на огонь. Нѣтъ моей мочи!

И онъ скоро исчезъ во мглѣ, и долго было слышно, какъ онъ шагалъ туда, гдѣ свѣтился огонекъ, чтобы повѣдать чужимъ людямъ о своемъ счастьѣ.

Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро; солнце еще не всходило. Обозъ стоялъ. Какой-то человѣкъ въ бѣлой фуражкѣ и въ костюмѣ изъ дешевой сѣрой матеріи, сидя на казачьемъ жеребчикѣ, у самаго передняго воза, разговаривалъ о чемъ-то съ Дымовымъ и Кирюхой. Впереди, версты за двѣ отъ обоза, бѣлѣли длинные, невысокіе амбары и домики съ черепичными крышами; около домиковъ не было видно ни дворовъ, ни деревьевъ.

— Дѣдъ, какая это деревня?—спросилъ Егорушка.

— Это, молодчикъ, армянскіе хутора,—отвѣчалъ Пантелей.—Тутъ армяшки живутъ. Народъ ничего... армяшки-то.

Человѣкъ въ сѣромъ кончилъ разговаривать съ Дымовымъ и Кирюхой, осадилъ своего жеребчика и поглядѣлъ на хутора.

— Экія дѣла, подумаешь!—вздохнулъ Пантелей, тоже глядя на хутора и пожимаясь отъ утренней свѣжести.—Послалъ онъ человѣка на хуторъ за какой-то бумагой, а тотъ не ѣдетъ... Степку послать бы!

— Дѣдъ, а кто это?—спросилъ Егорушка.

— Варламовъ.

Боже мой! Егорушка быстро вскочилъ, сталъ на колѣни и поглядѣлъ на бѣлую фуражку. Въ малоросломъ сѣромъ человѣчкѣ, обутомъ въ большіе сапоги, сидящемъ на некрасивой лошаденкѣ и разговаривающемъ съ мужиками въ такое время, когда всѣ порядочные люди спятъ, трудно было узнать таинственнаго, неуловимаго Варламова, котораго всѣ ищутъ, который всегда «кружится» и имѣетъ денегъ гораздо больше, чѣмъ графиня Драницкая.

— Ничего, хорошій человѣкъ... — говорилъ Пантелей, глядя на хутора.—Дай Богъ здоровья, славный господинъ... Варламовъ-то, Семенъ Александрычъ... На такихъ людяхъ, братъ, земля держится. Это вѣрно... Пѣтухи еще не поютъ, а онъ ужъ на ногахъ... Другой бы спалъ, или дома съ гостями тары-бары-растабары, а онъ цѣлый день по степу... Кружится... Этотъ ужъ не упуститъ дѣла... Нѣ-ѣтъ! Это молодчина...

Варламовъ не отрывалъ глазъ отъ хутора и о чемъ-то говорилъ; жеребчикъ нетерпѣливо переминался съ ноги на ногу.

— Семенъ Александрычъ,—крикнулъ Пантелей, снимая шляпу:—дозвольте Степку послать! Емельянъ, крикни, чтобъ Степку послать!

Но вотъ, наконецъ, отъ хутора отдѣлился верховой. Сильно накренившись на бокъ и помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всѣхъ своей смѣлой ѣздой, онъ съ быстротою птицы полетѣлъ къ обозу.

— Это, должно, его объѣздчикъ,—сказалъ Пантелей.—У него ихъ, объѣздчиковъ-то, человѣкъ, можетъ, сто, а то и больше.

Поровнявшись съ переднимъ возомъ, верховой осадилъ лошадь и, снявши шапку, подалъ Варламову какую-то книжку. Варламовъ вынулъ изъ книжки нѣсколько бумажекъ, прочелъ ихъ и крикнулъ:

— А гдѣ же записка Иванчука?

Верховой взялъ назадъ книжку, оглядѣлъ бумажки и пожалъ плечами; онъ сталъ говорить о чемъ-то, вѣроятно, оправдывался и просилъ позволенія съѣздить еще разъ на хутора. Жеребчикъ вдругъ задвигался такъ, какъ будто Варламовъ сталъ тяжелѣе. Варламовъ тоже задвигался.

— Пошелъ вонъ!—крикнулъ онъ сердито и замахнулся на верхового нагайкой.

Потомъ онъ повернулъ лошадь назадъ и, разсматривая въ книжкѣ бумаги, поѣхалъ шагомъ вдоль обоза. Когда онъ подъѣзжалъ къ заднему возу, Егорушка напрягъ свое зрѣніе, чтобы получше разсмотрѣть его. Варламовъ былъ уже старъ. Лицо его съ небольшой сѣдой бородкой, простое, русское, загорѣлое лицо, было красно, мокро отъ росы и покрыто синими жилочками; оно выражало такую же дѣловую сухость, какъ лицо Ивана Иваныча, тотъ же дѣловой фанатизмъ. Но все-таки какая разница чувствовалась между нимъ и Иваномъ Иванычемъ! У дяди Кузьмичова рядомъ съ дѣловою сухостью всегда были на лицѣ забота и страхъ, что онъ не найдетъ Варламова, опоздаетъ, пропуститъ хорошую цѣну; ничего подобнаго, свойственнаго людямъ маленькимъ и зависимымъ, не было замѣтно ни на лицѣ, ни въ фигурѣ Варламова. Этотъ человѣкъ самъ создавалъ цѣны, никого не искалъ и ни отъ кого не зависѣлъ; какъ ни заурядна была его наружность, но во всемъ, даже въ манерѣ держать нагайку, чувствовалось сознаніе силы и привычной власти надъ степью.

Проѣзжая мимо Егорушки, онъ не взглянулъ на него; одинъ только жеребчикъ удостоилъ Егорушку своимъ вниманіемъ и поглядѣлъ на него большими, глупыми глазами, да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову; тотъ замѣтилъ это и, не отрывая глазъ отъ бумажекъ, сказалъ картавя:

— Здгаствуй, стагикъ!

Бесѣда Варламова съ верховымъ и взмахъ нагайкой, повидимому, произвели на весь обозъ удручающее впечатлѣніе. У всѣхъ были серьезныя лица. Верховой, обезкураженный гнѣвомъ сильнаго человѣка, безъ шапки, опустивъ поводья, стоялъ у передняго воза, молчалъ и какъ будто не вѣрилъ, что для него такъ худо начался день.

— Крутой старикъ...—бормоталъ Пантелей.—Вѣда, какой крутой! А ничего, хорошій человѣкъ... Не обидитъ задаромъ... Ничего...

Осмотрѣвъ бумаги, Варламовъ сунулъ книжку въ карманъ; жеребчикъ, точно понявъ его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнулъ и понесся по большой дорогѣ.

## VII.

И въ слѣдующую затѣмъ ночь подводчики дѣлали привалъ и варили кашу. На этотъ разъ съ самаго начала во всемъ чувствовалась какая-то неопредѣленная тоска. Было душно; всѣ много пили и никакъ не могли утолить жажду. Луна взошла сильно-багровая и хмурая, точно больная; звѣзды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнѣе. Природа какъ будто что-то предчувствовала и томилась.

У костра ужъ не было вчерашняго оживленія и разговоровъ. Всѣ скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхалъ, жаловался на ноги и то и дѣло заводилъ рѣчь о наглой смерти.

Дымовъ лежалъ на животѣ, молчалъ и жевалъ соломенку; выраженіе лица у него было брезгливое, точно отъ соломенки дурно пахло, злое и утомленное... Вася жаловался, что у него ломитъ челюсть, и пророчилъ непогоду; Емельянъ не махалъ руками, а сидѣлъ неподвижно и угрюмо глядѣлъ на огонь. Томился и Егорушка. Ѣзда шагомъ утомила его, а отъ дневного зноя у него болѣла голова.

Когда сварилась каша, Дымовъ отъ скуки сталъ придираться къ товарищамъ.

— Разсѣлся, шишка, и первый лѣзетъ съ ложкой!—сказалъ онъ, глядя со злобой на Емельяна.—Жадность! Такъ и норовитъ первый за котелъ сѣсть. Пѣвчимъ былъ, такъ ужъ онъ думаетъ—баринъ! Много васъ такихъ пѣвчихъ по большому шляху милостыню проситъ!

— Да ты что присталъ?—спросилъ Емельянъ, глядя на него тоже со злобой.

— А то, что не суйся первый къ котлу. Не понимай о себѣ много.

— Дуракъ, вотъ и все,—просипѣлъ Емельянъ.

Зная по опыту, чѣмъ чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмѣшались и стали убѣждать Дымова не браниться попусту.

— Пѣвчій...—не унимался озорникъ, презрительно усмѣхаясь.—Этакъ всякій можетъ пѣть. Сиди себѣ въ церкви на паперти, да и пой: «Подайте милостыньки Христа-ради!» Эхъ, вы!

Емельянъ промолчалъ. На Дымова его молчаніе подѣй-

ствовало раздражающимъ образомъ. Онъ еще съ бо̀льшей ненавистью поглядѣлъ на бывшаго пѣвчаго и сказалъ:

— Не хочется только связываться, а то бъ я бъ тебѣ показалъ, какъ объ себѣ понимать!

— Да что ты ко мнѣ присталъ, мазепа?—вспыхнулъ Емельянъ.—Я тебя трогаю?

— Какъ ты меня обозвалъ?—спросилъ Дымовъ, выпрямляясь, и глаза его налились кровью.—Какъ? Я мазепа? Да? Такъ вотъ же тебѣ! Ступай ищи!

Дымовъ выхватилъ изъ рукъ Емельяна ложку и швырнулъ ее далеко въ сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побѣжали искать ее, а Емельянъ умоляюще и вопросительно уставился на Пантелея. Лицо его вдругъ стало маленькимъ, поморщилось, заморгало, и бывшій пѣвчій заплакалъ, какъ ребенокъ.

Егорушка, давно уже ненавидѣвшій Дымова, почувствовалъ, какъ въ воздухѣ вдругъ стало невыносимо душно, какъ огонь отъ костра горячо жегъ лицо; ему захотѣлось скорѣе бѣжать къ обозу въ потемки, но злые, скучающіе глаза озорника тянули его къ себѣ. Страстно желая сказать что-нибудь въ высшей степени обидное, онъ шагнулъ къ Дымову и проговорилъ, задыхаясь:

— Ты хуже всѣхъ! Я тебя терпѣть не могу!

Послѣ этого надо было бы бѣжать къ обозу, а онъ никакъ не могъ сдвинуться съ мѣста и продолжалъ:

— На томъ свѣтѣ ты будешь горѣть въ аду! Я Ивану Иванычу пожалуюсь! Ты не смѣешь обижать Емельяна!

— Тоже, скажи пожалуйста!—усмѣхнулся Дымовъ.—Свиненокъ всякій, еще на губахъ молоко не обсохло, въ указчики лѣзетъ. А ежели за ухо?

Егорушка почувствовалъ, что дышать уже нечѣмъ; онъ—никогда съ нимъ этого не было раньше—вдругъ затрясся всѣмъ тѣломъ, затопалъ ногами и закричалъ пронзительно:

— Бейте его! Бейте его!

Слезы брызнули у него изъ глазъ; ему стало стыдно, и онъ, пошатываясь, побѣжалъ къ обозу. Какое впечатлѣніе произвелъ его крикъ, онъ не видѣлъ. Лежа на тюкѣ и плача, онъ дергалъ руками и ногами и шепталъ:

— Мама! Мама!

И эти люди, и тѣни вокругъ костра, и темные тюки, и далекая молнія, каждую минуту сверкавшая вдали,—все те-

перь представлялось ему нелюдимымъ и страшнымъ. Онъ ужасался и въ отчаяніи спрашивалъ себя, какъ это и зачѣмъ попалъ онъ въ неизвѣстную землю, въ компанію страшныхъ мужиковъ? Гдѣ теперь дядя, о. Христофоръ и Дениска? Отчего они такъ долго не ѣдутъ? Не забыли ли они о немъ? Отъ мысли, что онъ забытъ и брошенъ на произволъ судьбы, ему становилось холодно и такъ жутко, что онъ нѣсколько разъ порывался спрыгнуть съ тюка и опрометью, безъ оглядки побѣжать назадъ по дорогѣ, но воспоминаніе о темныхъ, угрюмыхъ крестахъ, которые непремѣнно встрѣтятся ему на пути и сверкавшая вдали молнія останавливали его... И только когда онъ шепталъ: «мама! мама!»—ему становилось какъ будто легче...

Должно-быть, и подводчикамъ было жутко. Послѣ того, какъ Егорушка убѣжалъ отъ костра, они сначала долго молчали, потомъ вполголоса и глухо заговорили о чемъ-то, что оно идетъ, и что поскорѣе нужно собираться и уходить отъ него... Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По ихъ суетѣ и отрывистымъ фразамъ было замѣтно, что они предвидѣли какое-то несчастье.

Передъ тѣмъ, какъ трогаться въ путь, Дымовъ подошелъ къ Пантелею и спросилъ тихо:

— Какъ его звать?

— Егорій...—отвѣтилъ Пантелей.

Дымовъ сталъ одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой былъ перевязанъ тюкъ, и поднялся. Егорушка увидѣлъ его лицо и кудрявую голову. Лицо было блѣдно, утомленно и серьезно, но уже не выражало злобы.

— Ера!—сказалъ онъ тихо.—На, бей!

Егорушка съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него; въ это время сверкнула молнія.

— Ничего, бей!—повторилъ Дымовъ.

И, не дожидаясь, когда Егорушка будетъ бить его, или говорить съ нимъ, онъ спрыгнулъ внизъ и сказалъ:

— Скушно мнѣ!

Потомъ, переваливаясь съ ноги на ногу, двигая лопатками, онъ лѣниво поплелся вдоль обоза и не то плачущимъ, не то досадующимъ голосомъ повторилъ:

— Скушно мнѣ! Господи! А ты не обижайся, Емеля,—сказалъ онъ, проходя мимо Емельяна.—Жизнь наша пропащая, лютая!

Направо сверкнула молнія и, точно отразившись въ зеркалѣ, она тотчасъ же сверкнула вдали.

— Егорій, возьми!—крикнулъ Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное.

— Что это?—спросилъ Егорушка.

— Рогожка! Будетъ дождикъ, такъ вотъ покроешься.

Егорушка приподнялся и посмотрѣлъ вокругъ себя. Даль замѣтно почернѣла и ужъ чаще, чѣмъ каждую минуту, мигала блѣднымъ свѣтомъ, какъ вѣками. Чернота ея, точно отъ тяжести, склонялась вправо.

— Дѣдъ, гроза будетъ?—спросилъ Егорушка.

— Ахъ, ножки мои больныя, стуженыя! — говорилъ нараспѣвъ Пантелей, не слыша его и притопывая ногами.

Налѣво, какъ будто кто чиркнулъ по небу спичкой, мелькнула блѣдная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, какъ гдѣ-то очень далеко кто-то прошелся по желѣзной крышѣ. Вѣроятно, по крышѣ шли босикомъ, потому что желѣзо проворчало глухо.

— А онъ обложной!—крикнулъ Кирюха.

Между далью и правымъ горизонтомъ мигнула молнія и такъ ярко, что освѣтила часть степи и мѣсто, гдѣ ясное небо граничило съ чернотой. Страшная туча надвигалась не спѣша, сплошной массой; на ея краю висѣли большія, черныя лохмотья; точно такія же лохмотья, давя другъ друга, громоздились на правомъ и на лѣвомъ горизонтѣ. Этотъ оборванный, разлохмаченный видъ тучи придавалъ ей какое-то пьяное, озорническое выраженіе. Явственно и не глухо проворчалъ громъ. Егорушка перекрестился и сталъ быстро надѣвать пальто.

— Скушно мнѣ! — донесся съ переднихъ возовъ крикъ Дымова, и по голосу его можно было судить, что онъ ужъ опять начиналъ злиться.—Скушно!

Вдругъ рванулъ вѣтеръ и съ такой силой, что едва не выхватилъ у Егорушки узелокъ и рогожу; встрепенувшись, рогожа рванулась во всѣ стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Вѣтеръ со свистомъ понесся по степи, безпорядочно закружился и поднялъ съ травою такой шумъ, что изъ-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колесъ. Онъ дулъ съ черной тучи, неся съ собой облака пыли и запахъ дождя и мокрой земли. Лунный свѣтъ затуманился, сталъ какъ будто грязнѣе, звѣзды еще больше

пахмурились, и видно было, какъ по краю дороги спѣшили куда-то назадъ облака пыли и ихъ тѣни. Теперь, по всей вѣроятности, вихри, кружась и увлекая съ земли пыль, сухую траву и перья, поднимались подъ самое небо; вѣроятно, около самой черной тучи летали перекати-поле, и какъ, должно-быть, имъ было страшно! Но сквозь пыль, залѣплявшую глаза, не было видно ничего, кромѣ блеска молній.

Егорушка, думая, что сію минуту польетъ дождь, сталъ на колѣни и укрылся рогожей.

— Пантелле-ей!—крикнулъ кто-то впереди.—А... а...ва!

— Не слыхать! — отвѣтилъ громко и нараспѣвъ Пантелей.

— А...а...ва! Аря...а!

Загремѣлъ сердито громъ, покатился по небу справа налѣво, потомъ назадъ и замеръ около переднихъ подводъ.

— Святъ, Святъ, Святъ, Господь Саваоѳъ, — прошепталъ Егорушка, крестясь:—исполнь небо и земля славы Твоея...

Чернота на небѣ раскрыла ротъ и дыхнула бѣлымъ огнемъ; тотчасъ же опять загремѣлъ громъ; едва онъ умолкъ, какъ молнія блеснула такъ широко, что Егорушка сквозь щели рогожи увидѣлъ вдругъ всю большую дорогу до самой дали, всѣхъ подводчиковъ и даже Кирюхину жилетку. Черныя лохмотья слѣва уже поднимались кверху, и одно изъ нихъ, грубое, неуклюжее, похожее на лапу съ пальцами, тянулось къ лунѣ. Егорушка рѣшилъ закрыть крѣпко глаза, не обращать вниманія и ждать, когда все кончится.

Дождь почему-то долго не начинался. Егорушка, въ надеждѣ, что туча, быть-можетъ, уходитъ мимо, выглянулъ изъ рогожи. Было страшно темно. Егорушка не увидѣлъ ни Пантелея, ни тюка, ни себя; покосился онъ туда, гдѣ была недавно луна, но тамъ чернѣла такая же тьма, какъ и на возу. А молніи въ потемкахъ казались болѣе и ослѣпительнѣе, такъ что глазамъ было больно.

— Пантелей!—позвалъ Егорушка.

Отвѣта не послѣдовало. Но вотъ, наконецъ, вѣтеръ въ послѣдній разъ рванулъ рогожу и убѣжалъ куда-то. Послышался ровный, спокойный шумъ. Большая, холодная капля упала на колѣно Егорушки, другая поползла по рукѣ. Онъ

замѣтилъ, что колѣни его не прикрыты и хотѣлъ-было поправить рогожу, но въ это время что-то посыпалось и застучало по дорогѣ, потомъ по оглоблямъ, по тюку. Это былъ дождь. Онъ и рогожа, какъ будто поняли другъ друга, заговорили о чемъ-то быстро, весело и препротивно, какъ двѣ сороки.

Егорушка стоялъ на колѣняхъ или, вѣрнѣе, сидѣлъ на сапогахъ. Когда дождь застучалъ по рогожѣ, онъ подался туловищемъ впередъ, чтобы заслонить собою колѣни, которыя вдругъ стали мокры; колѣни удалось прикрыть, но зато меньше чѣмъ черезъ минуту рѣзкая, непріятная сырость почувствовалась сзади, ниже спины и на икрахъ. Онъ принялъ прежнюю позу, выставилъ колѣни подъ дождь и сталъ думать, что дѣлать, какъ поправить въ потемкахъ невидимую рогожу. Но руки его были уже мокры, въ рукава и за воротникъ текла вода, лопатки зябли. И онъ рѣшилъ ничего не дѣлать, а сидѣть неподвижно и ждать, когда все кончится.

— Святъ, Святъ, Святъ...—шепталъ онъ.

Вдругъ надъ самой головой его съ страшнымъ, оглушительнымъ трескомъ разломилось небо; онъ нагнулся и притаилъ дыханіе, ожидая, когда на его затылокъ и спину посыпятся обломки. Глаза его нечаянно открылись, и онъ увидѣлъ, какъ на его пальцахъ, мокрыхъ рукавахъ и струйкахъ, бѣжавшихъ съ рогожи, на тюкѣ и внизу на землѣ вспыхнулъ и разъ пять мигнулъ ослѣпительно-ѣдкій свѣтъ. Раздался новый ударъ, такой же сильный и ужасный. Небо уже не гремѣло, не грохотало, а издавало сухіе, трескучіе, похожіе на трескъ сухого дерева звуки.

«Траахъ! тахъ! тахъ! тахъ!» — явственно отчеканивалъ громъ, катился по небу, спотыкался и гдѣ-нибудь у переднихъ возовъ, или далеко сзади, сваливался со злобнымъ, отрывистымъ—«трра!..»

Раньше молніи были только страшны, при такомъ же громѣ онѣ представлялись зловѣщими. Ихъ колдовской свѣтъ проникалъ сквозь закрытыя вѣки и холодомъ разливался по всему тѣлу. Что сдѣлать, чтобы не видѣть ихъ? Егорушка рѣшилъ обернуться лицомъ назадъ. Осторожно, какъ будто бы боясь, что за нимъ наблюдаютъ, онъ сталъ на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назадъ.

«Трахъ! тахъ! тахъ!»—понеслось надъ его головой, упало подъ возъ и разорвалось—«ррра!»

Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидѣлъ новую опасность: за возомъ шли три громадныхъ великана съ длинными пиками. Молнія блеснула на остріяхъ ихъ пикъ и очень явственно освѣтила ихъ фигуры. То были люди громадныхъ размѣровъ, съ закрытыми лицами, поникшими головами и съ тяжелою поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными въ раздумье. Быть-можетъ, шли они за обозомъ не для того, чтобы причинить вредъ, но все-таки въ ихъ близости было что-то ужасное.

Егорушка быстро обернулся впередъ и, дрожа всѣмъ тѣломъ, закричалъ:

— Пантелей! Дѣдъ!

«Трахъ! тахъ! тахъ!»—отвѣтило ему небо.

Онъ открылъ глаза, чтобы поглядѣть, тутъ ли подводчики. Молнія сверкнула въ двухъ мѣстахъ и освѣтила дорогу до самой дали, весь обозъ и всѣхъ подводчиковъ. По дорогѣ текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагалъ около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей; фигура не выражала ни страха, ни безпокойства, какъ будто онъ оглохъ отъ грома и ослѣпъ отъ молніи.

— Дѣдъ, великаны!—крикнулъ ему Егорушка, плача.

Но дѣдъ не слышалъ. Далѣе шелъ Емельянъ. Этотъ былъ покрытъ большой рогожей съ головы до ногъ и имѣлъ теперь форму треугольника. Вася, ничѣмъ не покрытый, шагалъ такъ же деревянно, какъ всегда, высоко поднимая ноги и не сгибая колѣнъ. При блескѣ молніи казалось, что обозъ не двигался и подводчики застыли, что у Васи онѣмѣла поднятая нога...

Егорушка еще позвалъ дѣда. Не добившись отвѣта, онъ сѣлъ неподвижно и ужъ не ждалъ, когда все кончится. Онъ былъ увѣренъ, что сію минуту его убьетъ громъ, что глаза нечаянно откроются и онъ увидитъ страшныхъ великановъ. И онъ ужъ не крестился, не звалъ дѣда, не думалъ о матери и только коченѣлъ отъ холода и увѣренности, что гроза никогда не кончится.

Но вдругъ послышались голоса.

— Егорій, да ты спишь, что ли?—крикнулъ внизу Пантелей.—Слѣзай! Оглохъ, дурачокъ!..

— Вотъ такъ гроза!—сказалъ какой-то незнакомый басъ и крякнулъ такъ, какъ будто выпилъ хорошій стаканъ водки.

Егорушка открылъ глаза. Внизу около воза стояли Пантелей, треугольникъ-Емельянъ и великаны. Послѣдніе были теперь много ниже ростомъ и, когда вглядѣлся въ нихъ Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечахъ не пики, а желѣзныя вилы. Въ промежуткѣ между Пантелеемъ и треугольникомъ свѣтилось окно невысокой избы. Значитъ, обозъ стоялъ въ деревнѣ. Егорушка сбросилъ съ себя рогожу, взялъ узелокъ и поспѣшилъ съ воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и свѣтилось окно, ему ужъ не было страшно, хотя громъ трещалъ попрежнему и молнія полосовала все небо.

— Гроза хорошая, ничего... — бормоталъ Пантелей. — Слава Богу... Ножки маленько промякли отъ дождичка, оно и ничего... Слѣзъ, Егорій? Ну, иди въ избу... Ничего...

— Святъ, Святъ, Святъ...—просипѣлъ Емельянъ.—Безпремѣнно гдѣ-нибудь ударило... Вы тутошніе?—спросилъ онъ великановъ.

— Нѣ, изъ Глинова... Мы глиновскіе. У господъ Платоровъ работаемъ.

— Молотите, что ли?

— Разное. Покеда еще пшеницу убираемъ. А молонья-то, молонья! Давно такой грозы не было...

Егорушка вошелъ въ избу. Его встрѣтила тощая, горбатая старуха съ острымъ подбородкомъ. Она держала въ рукахъ сальную свѣчку, щурилась и протяжно вздыхала.

— Грозу-то какую Богъ послалъ!—говорила она.—А наши въ степу ночуютъ, то-то натернятся сердешные! Раздѣвайся, батюшка, раздѣвайся...

Дрожа отъ холода и брезгливо пожимаясь, Егорушка стащилъ съ себя промокшее пальто, потомъ широко разставилъ руки и ноги и долго не двигался. Каждое малѣйшее движеніе вызывало въ немъ непріятное ощущеніе мокроты и холода. Рукава и спина на рубахѣ были мокры, брюки прилипли къ ногамъ, съ головы текло...

— Что жъ, хлопчикъ, раскорякой-то стоять? — сказала старуха.—Иди, садись!

Разставя широко ноги, Егорушка подошелъ къ столу и сѣлъ на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась,

пустила носомъ струю воздуха, пожевала и успокоилась. Отъ головы вдоль скамьи тянулся бугоръ, покрытый овчиннымъ тулупомъ. Это спала какая-то баба.

Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась съ арбузомъ и дыней.

— Кушай, батюшка! Больше угощать нечѣмъ...—сказала она, зѣвая, затѣмъ порылась въ столѣ и достала оттуда длинный, острый ножикъ, очень похожій на тѣ ножи, какими на постоялыхъ дворахъ разбойники рѣжутъ купцовъ.— Кушай, батюшка!

Егорушка, дрожа какъ въ лихорадкѣ, съѣлъ ломоть дыни съ чернымъ хлѣбомъ, потомъ ломоть арбуза, и отъ этого ему стало еще холоднѣй.

— Наши въ степу ночуютъ...—вздыхала старуха, пока онъ ѣлъ.—Страсти Господни... Свѣчечку бы передъ образомъ засвѣтить, да не знаю, куда Степанида дѣвала. Кушай, батюшка, кушай...

Старуха зѣвнула и, закинувъ назадъ правую руку, почесала ею лѣвое плечо.

— Должно, часа два теперь, — сказала она. — Скоро и вставать пора. Наши-то въ степу ночуютъ... Небось, вымокли всѣ...

— Бабушка,—сказалъ Егорушка:—я спать хочу.

— Ложись, батюшка, ложись...—вздохнула старуха, зѣвая.—Господи Іисусе Христе! Сама и сплю, и слышу, какъ будто кто стучитъ. Проснулась, гляжу, а это грозу Богъ послалъ... Свѣчечку бы засвѣтить, да не нашла.

Разговаривая съ собой, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вѣроятно, свою постель, сняла съ гвоздя около печи два тулупа и стала постилать для Егорушки.

— Гроза-то не унимается,—бормотала она.—Какъ бы, неровенъ часъ, чего не спалило. Наши-то въ степи ночуютъ... Ложись, батюшка, спи... Христосъ съ тобой, внучекъ... Дыню-то я убирать не стану, можетъ, вставши, покушаешь.

Вздохи и зѣванье старухи, мѣрное дыханіе спавшей бабы, сумерки избы и шумъ дождя за окномъ располагали ко сну. Егорушкѣ было совѣстно раздѣваться при старухѣ. Онъ снялъ только сапоги, легъ и укрылся овчиннымъ тулупомъ.

— Парнишка легъ?—послышался черезъ минуту шопотъ Пантелея.

— Легъ! — отвѣтила шопотомъ старуха. — Страсти-то, страсти Господни! Гремитъ, гремитъ, и конца не слыхать...

— Сейчасъ пройдетъ...—прошипѣлъ Пантелей, садясь.— Потише стало... Ребята пошли по избамъ, а двое при лошадяхъ остались... Ребята-то... Нельзя... Уведутъ лошадей... Вотъ посижу маленько и пойду на смѣну... Нельзя, уведутъ...

Пантелей и старуха сидѣли рядомъ у ногъ Егорушки и говорили шипящимъ шопотомъ, прерывая свою рѣчь вздохами и зѣвками. А Егорушка никакъ не могъ согрѣться. На немъ лежалъ теплый, тяжелый тулупъ, но все тѣло тряслось, руки и ноги сводило судорогами, внутренности дрожали... Онъ раздѣлся подъ тулупомъ, но и это не помогло. Ознобъ становился все сильнѣй и сильнѣй.

Пантелей ушелъ на смѣну и потомъ опять вернулся, а Егорушка все еще не спалъ и дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и онъ не зналъ, что это: шопотъ ли стариковъ, или тяжелый запахъ овчины? Отъ съѣденныхъ арбуза и дыни во рту былъ непріятный, металлическій вкусъ. Къ тому же еще кусались блохи.

— Дѣдъ, мнѣ холодно!—сказалъ онъ и не узналъ своего голоса.

— Спи, внучекъ, спи...—вздохнула старуха.

Титъ на тонкихъ ножкахъ подошелъ къ постели и замахалъ руками, потомъ выросъ до потолка и обратился въ мельницу. О. Христофоръ, не такой, какимъ онъ сидѣлъ въ бричкѣ, а въ полномъ облаченіи и съ кропиломъ въ рукѣ, прошелся вокругъ мельницы, покропилъ ее святой водой и она перестала махать. Егорушка, зная, что это бредъ, открылъ глаза.

— Дѣдъ!—позвалъ онъ.—Дай воды!

Никто не отозвался. Егорушкѣ стало невыносимо душно и неудобно лежать. Онъ всталъ, одѣлся и вышелъ изъ избы. Уже наступило утро! Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь въ мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору, прислушался къ тишинѣ; на глаза ему попался маленькій хлѣвокъ съ камы-

шевой, на половину открытой дверкой. Онъ заглянулъ въ этотъ хлѣвокъ, вошелъ въ него и сѣлъ въ темномъ углу на кизякъ.

Въ его тяжелой головѣ путались мысли, во рту было сухо и противно отъ металлическаго вкуса. Онъ оглядѣлъ свою шляпу, поправилъ на ней павлинье перо и вспомнилъ, какъ ходилъ съ мамашей покупать эту шляпу. Сунулъ онъ руку въ карманъ и досталъ оттуда комокъ бурой, липкой замазки. Какъ эта замазка попала ему въ карманъ? Онъ подумалъ, понюхалъ: пахнетъ медомъ. Ага, это еврейскій пряникъ! Какъ онъ, бѣдный, размокъ!

Егорушка оглядѣлъ свое пальто. А пальто у него было сѣренькое, съ большими костяными пуговицами, сшитое на манеръ сюртука. Какъ новая и дорогая вещь, дома висѣло оно не въ передней, а въ спальной, рядомъ съ мамашиными платьями; надѣвать его позволялось только по праздникамъ. Поглядѣвъ на него, Егорушка почувствовалъ къ нему жалость, вспомнилъ, что онъ и пальто—оба брошены на произволъ судьбы, что имъ ужъ больше не вернуться домой, и зарыдалъ такъ, что едва не свалился съ кизяка.

Большая бѣлая собака, смоченная дождемъ, съ клочьями шерсти на мордѣ, похожими на папильотки, вошла въ хлѣвъ и съ любопытствомъ уставилась на Егорушку. Она, повидимому, думала: залаять, или нѣтъ? Рѣшивъ, что лаять не нужно, она осторожно подошла къ Егорушкѣ, съѣла замазку и вышла.

— Это варламовскіе!—крикнулъ кто-то на улицѣ.

Наплакавшись, Егорушка вышелъ изъ хлѣва и, обходя лужу, поплелся на улицу. Какъ разъ передъ воротами на дорогѣ стояли возы. Мокрые подводчики съ грязными ногами, вялые и сонные, какъ осеннія мухи, бродили возлѣ, или сидѣли на оглобляхъ. Егорушка поглядѣлъ на нихъ и подумалъ: «Какъ скучно и неудобно быть мужикомъ!» Онъ подошелъ къ Пантелею и сѣлъ съ нимъ рядомъ на оглоблю.

— Дѣдъ, мнѣ холодно!—сказалъ онъ, дрожа и засовывая руки въ рукава.

— Ничего, скоро до мѣста доѣдемъ, — зѣвнулъ Пантелей. — Оно ничего, согрѣешься.

Обозъ тронулся съ мѣста рано, потому что было не жарко. Егорушка лежалъ на тюкѣ и дрожалъ отъ холода,

хотя солнце скоро показалось на небѣ и высушило его одежду, тюкъ и землю. Едва онъ закрылъ глаза, какъ опять увидѣлъ Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всемъ тѣлѣ, онъ напрягалъ силы, чтобы отогнать отъ себя эти образы, но едва они исчезали, какъ на Егорушку съ ревомъ бросался озорникъ Дымовъ съ красными глазами и съ поднятыми кулаками, или же слышалось, какъ онъ тосковалъ: «Скушно мнѣ!». Проѣзжалъ на казачьемъ жеребчикѣ Варламовъ, проходилъ со своей улыбкой и съ дрохвой счастливый Константинъ. И какъ всѣ эти люди были тяжелы, несносны и надоѣдливы!

Разъ — это было уже передъ вечеромъ — онъ поднялъ голову, чтобы попросить пить. Обозъ стоялъ на большомъ мосту, тянувшемся черезъ широкую рѣку. Внизу надъ рѣкой темнѣлъ дымъ, а сквозь него виденъ былъ пароходъ, тащившій на буксирѣ баржу. Впереди за рѣкой пестрѣла громадная гора, усѣянная домами и церквами; у подножія горы около товарныхъ вагоновъ бѣгалъ локомотивъ...

Раньше Егорушка не видѣлъ никогда ни пароходовъ, ни локомотивовъ, ни широкихъ рѣкъ. Взглянувъ теперь на нихъ, онъ не испугался, не удивился; на лицѣ его не выразилось даже ничего похожаго на любопытство. Онъ только почувствовалъ дурноту и поспѣшилъ лечь грудью на край тюка. Его стошнило. Пантелей, видѣвшій это, крякнулъ и покрутилъ головой.

— Захворалъ нашъ парнишка! — сказалъ онъ. — Должно, животъ застудилъ... парнишка-то... На чужой сторонѣ... Плохо дѣло!

## VIII.

Обозъ остановился недалеко отъ пристани въ большомъ торговомъ подворьѣ. Слѣзая съ воза, Егорушка услышалъ чей-то очень знакомый голосъ. Кто-то помогалъ ему слѣзать и говорилъ:

— А мы еще вчера вечеромъ пріѣхали... Цѣлый день нынче васъ ждали. Хотѣли вчерась нагнать васъ, да не рука была, другой дорогой поѣхали. Эка, какъ ты свою пальтишку измялъ! Достанется тебѣ отъ дяденьки!

Егорушка вглядѣлся въ мраморное лицо говорившаго и вспомнилъ, что это Дениска.

— Дяденька и о. Христофоръ теперь въ номерѣ, — продолжалъ Дениска: — чай пьютъ. Пойдемъ!

И онъ повелъ Егорушку къ большому двухъэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на N-ское богоугодное заведеніе. Пройдя сѣни, темную лѣстницу и длинный, узкій коридоръ, Егорушка и Дениска вошли въ маленькій номерокъ, въ которомъ, дѣйствительно, за чайнымъ столомъ сидѣли Иванъ Иванычъ и о. Христофоръ. Увидѣвъ мальчика, оба старика изобразили на лицахъ удивленіе и радость.

— А-а, Егоръ Никола-аичъ! — пропѣлъ о. Христофоръ. — Господинъ Ломоносовъ!

— А, господа дворяне! — сказалъ Кузьмичовъ. — Милости просимъ.

Егорушка снялъ пальто, поцѣловалъ руку дядѣ и о. Христофору и сѣлъ за столъ.

— Ну, какъ доѣхалъ, puer bone? — засыпалъ его о. Христофоръ вопросами, наливая ему чаю и, по обыкновенію, лучезарно улыбаясь. — Небось, надоѣло? И не дай Богъ на обозѣ или на волахъ ѣхать! Ѣдешь, ѣдешь, прости Господи, взглянешь впередъ, а степь все такая жъ протяженно-сложенная, какъ и была: конца краю не видать! Не ѣзда, а чистое поношеніе. Что жъ ты чаю не пьешь? Пей! А мы безъ тебя тутъ, пока ты съ обозомъ тащился, всѣ дѣла подъ орѣхъ раздѣлали. Слава Богу! Продали шерсть Черепахину и такъ, какъ дай Богъ всякому... Хорошо попользовались.

При первомъ взглядѣ на своихъ, Егорушка почувствовалъ непреодолимую потребность жаловаться. Онъ не слушалъ о. Христофора и придумывалъ, съ чего бы начать и на что собственно пожаловаться. Но голосъ о. Христофора, казавшійся непріятнымъ и рѣзкимъ, мѣшалъ ему сосредоточиться и путалъ его мысли. Не посидѣвъ и пяти минутъ, онъ всталъ изъ-за стола, пошелъ къ дивану и легъ.

— Вотъ-те на! — удивился о. Христофоръ. — А какъ же чай?

Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припалъ лбомъ къ стѣнѣ дивана и вдругъ зарыдалъ.

— Вотъ-те на! — повторилъ о. Христофоръ, поднимаясь и идя къ дивану. — Георгій, что съ тобой? Что ты плачешь?

— Я... я боленъ! — проговорилъ Егорушка.

— Боленъ? — смутился о. Христофоръ. — Вотъ это ужъ и не хорошо, братъ... Развѣ можно въ дорогѣ болѣть? Ай, ай, какой ты, братъ... а?

Онъ приложилъ руку къ Егорушкиной головѣ, потрогалъ щеку и сказалъ:

— Да, голова горячая... Это ты, должно-быть, простудился, или чего-нибудь покушалъ... Ты Бога призывай.

— Хинины ему дать... — сказалъ смущенно Иванъ Иванычъ.

— Нѣтъ, ему бы чего-нибудь горяченькаго покушать... Георгій, хочешь супчику? А?

— Не... не хочу... — отвѣтилъ Егорушка.

— Тебя знобитъ, что ли?

— Прежде знобило, а теперь... теперь жаръ. У меня все тѣло болитъ...

Иванъ Иванычъ подошелъ къ дивану, потрогалъ Егорушку за голову, смущенно крякнулъ и вернулся къ столу.

— Вотъ что, ты раздѣвайся и ложись спать, — сказалъ о. Христофоръ: — тебѣ выспаться надо.

Онъ помогъ Егорушкѣ раздѣться, далъ ему подушку и укрылъ его одѣяломъ, а поверхъ одѣяла пальтомъ Ивана Иваныча, затѣмъ отошелъ на цыпочкахъ и сѣлъ за столъ. Егорушка закрылъ глаза, и ему тотчасъ же стало казаться, что онъ не въ номерѣ, а на большой дорогѣ около костра; Емельянъ махнулъ рукой, а Дымовъ съ красными глазами лежалъ на животѣ и насмѣшливо глядѣлъ на Егорушку.

— Бейте его! Бейте его! — крикнулъ Егорушка.

— Бредитъ... — проговорилъ вполголоса о. Христофоръ.

— Хлопоты! — вздохнулъ Иванъ Иванычъ.

— Надо будетъ его масломъ съ уксусомъ смазать. Богъ дастъ, къ завтраму выздоровѣетъ.

Чтобы отвязаться отъ тяжелыхъ грезъ, Егорушка открылъ глаза и сталъ смотрѣть на огонь. О. Христофоръ и Иванъ Иванычъ уже напились чаю и о чемъ-то говорили шопотомъ. Первый счастливо улыбался и, повидимому, никакъ не могъ забыть о томъ, что взялъ хорошую пользу на шерсти; веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, пріѣхавъ домой, онъ соберетъ всю свою большую семью, лукаво подмигнетъ и расхохочется; сначала онъ всѣхъ обманетъ и скажетъ, что продалъ шерсть дешевле

своей цѣны, потомъ же подастъ зятю Михайлѣ толстый бумажникъ и скажетъ: «На, получай! Вотъ какъ надо дѣла дѣлать!» Кузьмичовъ же не казался довольнымъ. Лицо его попрежнему выражало дѣловую сухость и заботу.

— Эхъ, кабы знатье, что Черепахинъ дастъ такую цѣну, — говорилъ онъ вполголоса: — то я бъ дома не продавалъ Макарову тѣхъ трехсотъ пудовъ! Такая досада! Но кто жъ его зналъ, что тутъ цѣну подняли?

Человѣкъ въ бѣлой рубахѣ убралъ самоваръ и зажегъ въ углу передъ образомъ лампадку. О. Христофоръ шепнулъ ему что-то на ухо; тотъ сдѣлалъ таинственное лицо, какъ заговорщикъ — понимаю молъ — вышелъ и, вернувшись немного погодя, поставилъ подъ диванъ посудину. Иванъ Иванычъ постлалъ себѣ на полу, нѣсколько разъ зѣвнулъ, лѣниво помолился и легъ.

— А завтра я въ соборъ думаю... — сказалъ о. Христофоръ. — Тамъ у меня ключарь знакомый. Къ преосвященному бы надо послѣ обѣдни, да говорятъ, боленъ.

Онъ зѣвнулъ и потушилъ лампу. Теперь ужъ свѣтила одна только лампадка.

— Говорятъ, не принимаетъ, — продолжалъ о. Христофоръ, разоблачаясь. — Такъ и уѣду, не повидавшись.

Онъ снялъ кафтанъ, и Егорушка увидѣлъ передъ собой Робинзона Крузе. Робинзонъ что-то размѣшалъ въ блюдечкѣ, подошелъ къ Егорушкѣ и зашепталъ:

— Ломоносовъ, ты спишь? Встань-ка! Я тебя масломъ съ уксусомъ смажу. Оно хорошо, ты только Бога призывай.

Егорушка быстро поднялся и сѣлъ. О. Христофоръ снялъ съ него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, какъ-будто ему самому было щекотно, сталъ растирать Егорушкѣ грудь.

— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа... — шепталъ онъ. — Ложись спиной кверху!.. Вотъ такъ. Завтра здоровъ будешь, только впередъ не согрѣшай... Какъ огонь, горячій! Небось въ грозу въ дорогѣ были?

— Въ дорогѣ.

— Еще бы не захворать! Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа... Еще бы не захворать!

Смазавши Егорушку, о. Христофоръ надѣлъ на него сорочку, укрылъ, перекрестилъ и отошелъ. Потомъ Егорушка

видѣлъ, какъ онъ молился Богу. Вѣроятно, старикъ зналъ наизусть очень много молитвъ, потому что долго стоялъ передъ образомъ и шепталъ. Помолившись, онъ перекрестилъ окна, дверь, Егорушку, Ивана Иваныча, легъ безъ подушки на диванчикъ и укрылся своимъ кафтаномъ. Въ коридорѣ часы пробили десять. Егорушка вспомнилъ, какъ еще много времени осталось до утра, въ тоскѣ припалъ лбомъ къ спинкѣ дивана и ужъ не старался отдѣлаться отъ туманныхъ угнетающихъ грезъ. Но утро наступило гораздо раньше, чѣмъ онъ думалъ.

Ему казалось, что онъ недолго лежалъ, припавши лбомъ къ спинкѣ дивана, но когда онъ открылъ глаза, изъ обоихъ оконъ номерка уже тянулись къ полу косые солнечные лучи. О. Христофора и Ивана Иваныча не было. Въ номеркѣ было прибрано, свѣтло, уютно и пахло о. Христофоромъ, который всегда издавалъ запахъ кипариса и сухихъ васильковъ (дома онъ дѣлалъ изъ васильковъ кропила и украшенія для кіотовъ, отчего и пропахъ ими насквозь). Егорушка поглядѣлъ на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышкомъ около дивана, и засмѣялся. Ему казалось страннымъ, что онъ не на тюкѣ, что кругомъ все сухо и на потолкѣ нѣтъ молній и грома.

Онъ прыгнулъ съ дивана и сталъ одѣваться. Самочувствіе у него было прекрасное; отъ вчерашней болѣзни осталась одна только небольшая слабость въ ногахъ и въ шеѣ. Значитъ, масло и уксусъ помогли. Онъ вспомнилъ пароходъ, локомотивъ и широкую рѣку, которые смутно видѣлъ вчера, и теперь спѣшилъ поскорѣе одѣться, чтобы побѣжать на пристань и поглядѣть на нихъ. Когда онъ, умывшись, надѣвалъ кумачовую рубаху, вдругъ щелкнулъ въ дверяхъ замокъ, и на порогѣ показался о. Христофоръ въ своемъ цилиндрѣ, съ посохомъ и въ шелковой коричневой рясѣ поверхъ парусинковаго кафтана. Улыбаясь и сіяя (старики, только-что вернувшіеся изъ церкви, всегда испускаютъ сіяніе), онъ положилъ на столъ просфору и какой-то свертокъ, помолился и сказалъ:

— Богъ милости прислалъ! Ну, какъ здоровье?

— Теперь хорошо, — отвѣтилъ Егорушка, цѣлуя ему руку.

— Слава Богу... А я изъ обѣдни... Ходилъ съ знако-

мымъ ключаремъ повидаться. Звалъ онъ меня къ себѣ чай пить, да я не пошелъ. Не люблю по гостямъ ходить спозаранку. Богъ съ ними!

Онъ снялъ рясу, погладилъ себя по груди и, не спѣша, развернулъ свертокъ. Егорушка увидѣлъ жестяночку съ зернистой икрой, кусочекъ балыка и французскій хлѣбъ.

— Вотъ, шелъ мимо живорыбной лавки и купилъ, — сказалъ о. Христофоръ. — Въ будень не изъ чего бы роскошествовать, да подумалъ, дома болящій, такъ оно какъ будто и простительно. А икра хорошая, осетровая...

Человѣкъ въ бѣлой рубахѣ принесъ самоваръ и подносъ съ посудой.

— Кушай, — сказалъ о. Христофоръ, намазывая икру на ломтикъ хлѣба и подавая Егорушкѣ. — Теперь кушай и гуляй, а настанетъ время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманіемъ и прилежаніемъ, чтобы толкъ былъ. Что наизусть надо, то учи наизусть, а гдѣ нужно разсказать своими словами внутренній смыслъ, не касаясь наружнаго, тамъ своими словами. И старайся такъ, чтобъ всѣ науки выучить. Иной математику знаетъ отлично, а про Петра Могилу не слыхалъ, а иной про Петра Могилу знаетъ, а не можетъ про луну объяснить. Нѣтъ, ты такъ учись, чтобы все понимать! Выучись по-латински, по-французски, по-нѣмецки... географію, конечно, исторію, богословіе, философію, математику... А когда всему выучишься, не спѣша, да съ молитвою, да съ усердіемъ, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебѣ на всякой стезѣ легко будетъ. Ты только учись да благодати набирайся, а ужъ Богъ укажетъ, кѣмъ тебѣ быть. Докторомъ ли, судьей ли, инженеромъ ли...

О. Христофоръ намазалъ на маленькій кусочекъ хлѣба немножко икры, положилъ его въ ротъ и сказалъ:

— Апостолъ Павелъ говоритъ: «На ученія странна и различна не прилагайтеся». Конечно, если чернокнижіе, буесловіе, или духовъ съ того свѣта вызывать, какъ Саулъ, или такія науки учить, что отъ нихъ пользы ни себѣ, ни людямъ, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что Богъ благословилъ. Ты соображайся... Святые апостолы говорили на всѣхъ языкахъ — и ты учи языки; Василій Великій училъ математику и философію — и ты учи, святый

Несторъ писалъ исторію — и ты учи и пиши исторію. Со святыми соображайся...

О. Христофоръ отхлебнулъ изъ блюдечка, вытеръ усы и покрутилъ головой.

— Хорошо! — сказалъ онъ. — Я по-старинному обученъ, многое ужъ забылъ, да и то живу иначе, чѣмъ прочіе. И сравнивать даже нельзя. Напримѣръ, гдѣ-нибудь въ большомъ обществѣ, за обѣдомъ ли, или въ собраніи скажешь что-нибудь по-латынски, или изъ исторіи, или философіи, а людямъ и пріятно, да и мнѣ самому пріятно... Или вотъ тоже, когда пріѣзжаетъ окружный судъ и нужно приводить къ присягѣ; всѣ прочіе священники стѣсняются, а я съ судьями, съ прокурорами, да съ адвокатами за панибрата: по-ученому поговорю, чайку съ ними попью, посмѣюсь, разспрошу, чего не знаю... И имъ пріятно. Такъ-то вотъ, братъ... Ученье свѣтъ, а неученье тьма. Учись! Оно, конечно, тяжело: въ теперешнее время ученье дорого обходится... Маменька твоя вдовица, пенсіей живетъ, ну да вѣдь...

О. Христофоръ испуганно поглядѣлъ на дверь и продолжалъ шопотомъ:

— Иванъ Иванычъ будетъ помогать. Онъ тебя не оставитъ. Дѣтей у него своихъ нѣту, и онъ тебѣ поможетъ. Не безпокойся.

Онъ сдѣлалъ серьезное лицо и зашепталъ еще тише:

— Только ты смотри, Георгій, Боже тебя сохрани, не забывай матери и Ивана Иваныча. Почитать мать велитъ заповѣдь, а Иванъ Иванычъ тебѣ благодѣтель и вмѣсто отца. Ежели ты выйдешь въ ученые и, не дай Богъ, станешь тяготиться и принебрегать людями по той причинѣ, что они глупѣе тебя, то горе, горе тебѣ!

О. Христофоръ поднялъ вверхъ руку и повторилъ тонкимъ голоскомъ:

— Горе! Горе!

О. Христофоръ разговорился и, что называется, вошелъ во вкусъ; онъ не окончилъ бы до обѣда, но отворилась дверь, и вошелъ Иванъ Иванычъ. Дядя торопливо поздоровался, сѣлъ за столъ и сталъ быстро глотать чай.

— Ну, со всѣми дѣлами справился,—сказалъ онъ.—Сегодня бы и домой ѣхать, да вотъ съ Егоромъ еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тутъ гдѣ-то ея

подружка живетъ, Настасья Петровна, такъ вотъ, можетъ, она его къ себѣ на квартиру возьметъ.

Онъ порылся въ своемъ бумажникѣ, досталъ оттуда измятое письмо и прочелъ:

— «Малая Нижняя улица, Настасьѣ Петровнѣ Тоскуновой, въ собственномъ домѣ». Надо будетъ сейчасъ пойти поискать ее. Хлопоты!

Вскорѣ послѣ чаю Иванъ Иванычъ и Егорушка ужъ выходили изъ подворья.

— Хлопоты!—бормоталъ дядя.—Привязался ты ко мнѣ, какъ репейникъ, и ну тебя совсѣмъ къ Богу! Вамъ ученье да благородство, а мнѣ одна мука съ вами...

Когда они проходили дворомъ, то возовъ и подводчиковъ уже не было, всѣ они еще рано утромъ уѣхали на пристань. Въ дальнемъ углу двора темнѣла знакомая бричка; возлѣ нея стояли гнѣдыя и ѣли овесъ.

«Прощай, бричка!»—подумалъ Егорушка.

Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потомъ идти черезъ большую базарную площадь; тутъ Иванъ Иванычъ справился у городового, гдѣ Малая Нижняя улица.

— Эва! — усмѣхнулся городовой. — Она далече, туда къ выгону!

На пути попадались навстрѣчу извозчичьи пролетки, но такую слабость, какъ ѣзда на извозчикахъ, дядя позволялъ себѣ только въ исключительныхъ случаяхъ и по большимъ праздникамъ. Онъ и Егорушка долго шли по мощенымъ улицамъ, потомъ шли по улицамъ, гдѣ были одни только тротуары, а мостовыхъ не было, и въ концѣ-концовъ попали на такія улицы, гдѣ не было ни мостовыхъ, ни тротуаровъ. Когда ноги и языкъ довели ихъ до Малой Нижней улицы, оба они были красны и, снявъ шляпы, вытирали потъ.

— Скажите, пожалуйста,—обратился Иванъ Иванычъ къ одному старичку, сидѣвшему у воротъ на лавочкѣ: — гдѣ тутъ домъ Настасьи Петровны Тоскуновой?

— Никакой тутъ Тоскуновой нѣтъ,—отвѣтилъ старикъ, подумавъ.—Можетъ, Тимошенко?

— Нѣтъ, Тоскунова...

— Извините, Тоскуновой нѣту...

Иванъ Иванычъ пожалъ плечами и поплелся дальше.

— Да не ищите!—крикнулъ ему сзади старикъ.—Говорю—нѣту, значитъ — нѣту!

— Послушай, тетенька,—обратился Иванъ Иванычъ къ старухѣ, продававшей на углу въ лоткѣ подсолнухи и груши:—гдѣ тутъ домъ Настасьи Петровны Тоскуновой?

Старуха поглядѣла на него съ удивленіемъ и засмѣялась.

— Да нешто Настасья Петровна теперь въ своемъ домѣ живетъ?—спросила она.—Господи, ужъ годовъ восемь, какъ она дочку выдала и домъ свой зятю отказала! Тамъ теперь зять живетъ.

А глаза ее говорили:—«Какъ же вы, дураки, такого пустяка не знаете?»

— А гдѣ она теперь живетъ?—спросилъ Иванъ Иванычъ.

— Господи!—удивилась старуха, всплескивая руками.—Она ужъ давно на квартирѣ живетъ! Ужъ годовъ восемь, какъ свой домъ зятю отказала. Что вы!

Она, вѣроятно, ожидала, что Иванъ Иванычъ тоже удивится и воскликнетъ: «Да не можетъ быть!!», но тотъ очень покойно спросилъ:

— Гдѣ жъ ея квартира?

Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительнымъ тонкимъ голосомъ:

— Идите все прямо, прямо, прямо... Вотъ какъ пройдете красненькій домичекъ, такъ на лѣвой рукѣ будетъ переулочекъ. Такъ вы идите въ этотъ переулочекъ и глядите третьи ворота справа...

Иванъ Иванычъ и Егорушка дошли до краснаго домика, повернули налѣво въ переулокъ и направились къ третьимъ воротамъ справа. По обѣ стороны этихъ сѣрыхъ, очень старыхъ воротъ тянулся сѣрый заборъ съ широкими щелями; правая часть забора сильно накренилась впередъ и грозила паденіемъ, лѣвая покосилась назадъ во дворъ, ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда имъ удобнѣе свалиться впередъ, или назадъ. Иванъ Иванычъ отворилъ калитку и вмѣстѣ съ Егорушкой увидѣлъ большой дворъ, поросшій бурьяномъ и репейникомъ. Въ ста шагахъ отъ воротъ стоялъ небольшой домикъ съ красной крышей и съ зелеными ставнями. Какая-то полная женщина, съ засученными рукавами и съ поднятымъ фартукомъ, стояла

среди двора, сыпала что-то на землю и кричала такъ же пронзительно-тонко, какъ и торговка:

— Цыпъ!.. цыпъ! цыпъ!

Сзади нея сидѣла рыжая собака съ острыми ушами. Увидѣвъ гостей, она побѣжала къ калиткѣ и залаяла теноромъ (всѣ рыжія собаки лаютъ теноромъ).

— Кого вамъ?—крикнула женщина, заслоняя рукой глаза отъ солнца.

— Здравствуйте!—тоже крикнулъ ей Иванъ Иванычъ, отмахиваясь палкой отъ рыжей собаки.—Скажите, пожалуйста, здѣсь живетъ Настасья Петровна Тоскунова?

— Здѣсь! А на что вамъ?

Иванъ Иванычъ и Егорушка подошли къ ней. Она подозрительно оглядѣла ихъ и проговорила:

— На что она вамъ?

— Да можетъ, вы сами Настасья Петровна?

— Ну, я!

— Очень пріятно... Видите ли, кланялась вамъ ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева. Вотъ это ея сынокъ. А я, можетъ, помните, ея родной братъ, Иванъ Иванычъ... Вы вѣдь наша N—ская... Вы у насъ и родились, и замужъ выходили...

Наступило молчаніе. Полная женщина уставилась безсмысленно на Ивана Иваныча, какъ бы не вѣря или не понимая, потомъ вся вспыхнула и всплеснула руками; изъ фартука ея посыпался овесъ, изъ глазъ брызнули слезы.

— Ольга Ивановна!—взвизгнула она, тяжело дыша отъ волненія.—Голубушка моя родная! Ахъ, батюшки, такъ что же я, какъ дура, стою? Ангельчикъ ты мой хорошенькій...

Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсѣмъ заплакала.

— Господи!—сказала она, ломая руки.—Олечкинъ сыночекъ! Вотъ радость-то! Совсѣмъ мать! Чистая мать! Да что жъ вы на дворѣ стоите? Пожалуйте въ комнаты!

Плача, задыхаясь и говоря на ходу, она поспѣшила къ дому; гости поплелись за ней.

— У меня не прибрано!—говорила она, вводя гостей въ маленькій душный залъ, весь уставленный образами и цвѣточными горшками.—Ахъ, Матерь Божія! Василиса, поди, хоть ставни отвори! Ангельчикъ мой! Красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночекъ!

Когда она успокоилась и привыкла къ гостямъ, Иванъ Иванычъ пригласилъ ее поговорить наединѣ. Егорушка вышелъ въ другую комнатку; тутъ стояла швейная машина, на окнѣ висѣла клѣтка со скворцомъ и было такъ же много образовъ и цвѣтовъ, какъ и въ залѣ. Около машины неподвижно стояла какая-то дѣвочка, загорѣлая, со щеками пухлыми, какъ у Тита, и въ чистенькомъ ситцевомъ платьицѣ. Она, не мигая, глядѣла на Егорушку и, повидимому, чувствовала себя очень неловко. Егорушка поглядѣлъ на нее, помолчалъ и спросилъ:

— Какъ тебя звать?

Дѣвочка пошевелила губами, сдѣлала плачущее лицо и тихо отвѣтила:

— Атька...

Это значило: Катька.

— Онъ у васъ будетъ жить,—шепталъ въ залѣ Иванъ Иванычъ:—ежели вы будете такія добрыя, а мы вамъ будемъ по десяти рублей въ мѣсяцъ платить. Онъ у насъ мальчикъ не балованный, тихій...

— Ужъ не знаю, какъ вамъ и сказать, Иванъ Иванычъ!—плаксиво вздыхала Настасья Петровна. — Десять рублей деньги хорошія, да вѣдь чужого-то ребенка брать страшно! Вдругъ заболѣетъ, или что...

Когда Егорушку опять позвали въ залъ, Иванъ Иванычъ уже стоялъ со шляпой въ рукахъ и прощался.

— Что жъ? Значитъ, пускай теперь и остается у васъ,—говорилъ онъ. — Прощайте! Оставайся, Егоръ! — сказалъ онъ, обращаясь къ племяннику.—Не балуй тутъ, слушайся Настасью Петровну... Прощай! Я приду еще завтра.

И онъ ушелъ. Настасья Петровна еще разъ обняла Егорушку, обозвала его ангельчикомъ и, заплаканная, стала собирать на столъ. Черезъ три минуты Егорушка ужъ сидѣлъ рядомъ съ ней, отвѣчалъ на ея безконечные разспросы и ѣлъ жирныя, горячія щи.

А вечеромъ онъ сидѣлъ опять за тѣмъ же столомъ и, положивъ голову на руку, слушалъ Настасью Петровну. Она, то смѣясь, то плача, разсказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своихъ дѣтей... Въ печкѣ кричалъ сверчокъ и едва слышно гудѣла горѣлка въ лампѣ. Хозяйка говорила вполголоса и то и дѣло отъ волненія роняла наперстокъ, а Катя, ея внучка, лазала за

нимъ подъ столъ и каждый разъ долго сидѣла подъ столомъ, вѣроятно разсматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушалъ, дремалъ и разсматривалъ лицо старухи, ея бородавку съ волосками, полоски отъ слезъ... И ему было грустно, очень грустно! Спать его положили на сундукѣ и предупредили, что если онъ ночью захочетъ покушать, то чтобы самъ вышелъ въ коридорчикъ и взялъ тамъ на окнѣ цыпленка, накрытаго тарелкой.

На другой день утромъ приходили прощаться Иванъ Иванычъ и о. Христофоръ. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самоваръ, но Иванъ Иванычъ, очень спѣшившій, махнулъ рукой и сказалъ:

— Некогда намъ съ чаями да съ сахарами! Мы сейчасъ уйдемъ.

Передъ прощаньемъ всѣ сѣли и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядѣла на образа.

— Ну,—началъ Иванъ Иванычъ, поднимаясь:—значитъ, ты остаешься...

Съ лица его вдругъ исчезла дѣловая сухость, онъ немножко покраснѣлъ, грустно улыбнулся и сказалъ:

— Смотри же, учись... Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну... Если будешь, Егоръ, хорошо учиться, то я тебя не оставлю.

Онъ вынулъ изъ кармана кошелекъ, повернулся къ Егорушкѣ спиной, долго рылся въ мелкой монетѣ и, найдя гривенникъ, далъ его Егорушкѣ. О. Христофоръ вздохнулъ и, не спѣша, благословилъ Егорушку.

— Во имя Отца, и Сына, и Святаго духа... Учись,—сказалъ онъ.—Трудись, братъ... Ежели помру, поминай. Вотъ прими и отъ меня гривенничекъ...

Егорушка поцѣловалъ ему руку и заплакалъ. Что-то въ душѣ шепнуло ему, что ужъ онъ больше никогда не увидится съ этимъ старикомъ.

— Я, Настасья Петровна, ужъ подалъ въ гимназію прошеніе,—сказалъ Иванъ Иванычъ такимъ голосомъ, какъ будто въ залѣ былъ покойникъ.—Седьмого августа вы его на экзаменъ сведете... Ну, прощайте! Оставайтесь съ Богомъ. Прощай, Егоръ!

— Да вы бы хоть чайку покушали!—простонала Настасья Петровна.

Сквозь слезы, застилавшія глаза, Егорушка не видѣлъ, какъ вышли дядя и о. Христофоръ. Онъ бросился къ окну, но во дворѣ ихъ уже не было, и отъ воротъ съ выраженіемъ исполненнаго долга бѣжала назадъ только-что лаявшая рыжая собака. Егорушка, самъ не зная зачѣмъ, рванулся съ мѣста и полетѣлъ изъ комнатъ. Когда онъ выбѣжалъ за ворота, Иванъ Иванычъ и о. Христофоръ, помахивая — первый палкой съ крючкомъ, второй посохомъ, поворачивали уже за уголъ. Егорушка почувствовалъ, что съ этими людьми для него исчезло навсегда, какъ дымъ, все то, что до сихъ поръ было пережито; онъ опустился въ изнеможеніи на лавочку и горькими слезами привѣтствовалъ новую, невѣдомую жизнь, которая теперь начиналась для него...

Какова-то будетъ эта жизнь?

# Оглавленіе

## V ТОМА.


| | стр. | | стр. |
|---|---|---|---|
| Враги | 3 | Ванька | 59 |
| Кошмаръ | 17 | Свирѣль | 63 |
| Святою ночью | 31 | Перекати-поле | 71 |
| Счастье | 42 | Задача | 86 |
| Тифъ | 52 | Степь | 93 |

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

# Ант. П. ЧЕХОВА.

**ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ**

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

## ТОМЪ ШЕСТОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Тина.—Тайный совѣтникъ.—Письмо.—Поцѣлуй.—Пассажиръ 1-го класса.—Боры.—Парн.—Именины.—Безъ заглавія.—Каштанка.—Почта.—Непріятность.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
**Изданіе А. Ф. МАРКСА.**
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

# ТИНА.

## I.

Въ большой дворъ водочнаго завода «наслѣдниковъ М. Е. Ротштейнъ», граціозно покачиваясь на сѣдлѣ, въѣхалъ молодой человѣкъ въ бѣлоснѣжномъ офицерскомъ кителѣ. Солнце беззаботно улыбалось на звѣздочкахъ поручика, на бѣлыхъ стволахъ березъ, на кучахъ битаго стекла, разбросанныхъ тамъ и сямъ по двору. На всемъ лежала свѣтлая здоровая красота лѣтняго дня и ничто не мѣшало сочной молодой зелени весело трепетать и перемигиваться съ яснымъ, голубымъ небомъ. Даже грязный, закопченый видъ кирпичныхъ сараевъ и душный запахъ сивушнаго масла не портили общаго хорошаго настроенія. Поручикъ весело спрыгнулъ съ сѣдла, передалъ лошадь подбѣжавшему человѣку и, поглаживая пальцемъ свои тонкіе, черные усики, вошелъ въ парадную дверь. На самой верхней ступени ветхой, но свѣтлой и мягкой лѣстницы его встрѣтила горничная съ немолодымъ, нѣсколько надменнымъ лицомъ. Поручикъ молча подалъ ей карточку.

Идя въ покои съ карточкой, горничная могла прочесть: «Александръ Григорьевичъ Сокольскій». Черезъ минуту она вернулась и сказала поручику, что барышня принять его не можетъ, такъ какъ чувствуетъ себя не совсѣмъ здоровой. Сокольскій поглядѣлъ на потолокъ и вытянулъ нижнюю губу.

— Досадно! — сказалъ онъ.—Послушайте, моя милая,— живо заговорилъ онъ:—подите и скажите Сусаннѣ Моисеевнѣ, что мнѣ очень нужно поговорить съ ней. Очень! Я задержу ее только на одну минуту. Пусть она извинитъ меня.

Горничная пожала однимъ плечомъ и лѣниво пошла къ барышнѣ.

— Хорошо! — вздохнула она, вернувшись немного погодя.—Пожалуйте!

Поручикъ прошелъ за ней пять-шесть большихъ, роскошно-убранныхъ комнатъ, коридоръ и въ концѣ-концовъ очутился въ просторной квадратной комнатѣ, гдѣ съ перваго же шага его поразило изобиліе цвѣтущихъ растеній и сладковатый, густой до отвращенія запахъ жасмина. Цвѣты шпалерами тянулись вдоль стѣнъ, заслоняя окна, свѣшивались съ потолка, вились по угламъ, такъ что комната походила больше на оранжерею, чѣмъ на жилое помѣщеніе. Синицы, канарейки и щеглята съ пискомъ возились въ зелени и бились объ оконныя стекла.

— Простите, пожалуйста, что я васъ здѣсь принимаю!— услышалъ поручикъ сочный женскій голосъ, не безъ пріятности картавящій звукъ *р*.—Вчера у меня была мигрень и, чтобы она сегодня не повторилась, я стараюсь не шевелиться. Что вы хотите?

Какъ разъ противъ входа, въ большомъ стариковскомъ креслѣ, откинувши голову назадъ на подушку, сидѣла женщина въ дорогомъ китайскомъ шлафрокѣ и съ укутанной головой. Изъ-за вязаннаго шерстяного платка виденъ былъ только блѣдный, длинный носъ съ острымъ кончикомъ и маленькой горбинкой, да одинъ большой, черный глазъ. Просторный шлафрокъ скрывалъ ея ростъ и формы, но по бѣлой красивой рукѣ, по голосу, по носу и глазу ей можно было дать не больше 26—28 лѣтъ.

— Простите, что я такъ настойчивъ...—началъ поручикъ, звякая шпорами.—Честь имѣю представиться: Сокольскій! Пріѣхалъ я по порученію моего кузена, а вашего сосѣда, Алексѣя Ивановича Крюкова, который...

— Ахъ, знаю!—перебила Сусанна Моисеевна.—Я знаю Крюкова. Садитесь, я не люблю, если передо мной стоитъ что нибудь большое.

— Мой двоюродный братъ поручилъ мнѣ просить васъ объ одномъ одолженіи, — продолжалъ поручикъ, еще разъ звякнувъ шпорами и садясь. — Дѣло въ томъ, что вашъ покойный батюшка покупалъ зимою у брата овесъ и остался ему долженъ небольшую сумму. Срокъ векселямъ будетъ только черезъ недѣлю, но братъ убѣдительно просилъ васъ, не можете ли вы уплатить этотъ долгъ сегодня?

Поручикъ говорилъ, а самъ искоса поглядывалъ въ стороны. «Да никакъ я въ спальнѣ?»—думалъ онъ.

Въ одномъ изъ угловъ комнаты, гдѣ зелень была гуще и выше, подъ розовымъ, точно погребальнымъ балдахиномъ, стояла кровать съ измятой, еще не прибранной постелью. Тутъ же на двухъ креслахъ лежали кучи скомканнаго женскаго платья. Подолы и рукава, съ помятыми кружевами и оборками, свѣшивались на коверъ, по которому тамъ и сямъ бѣлѣли тесемки, два-три окурка, бумажки отъ карамели... Изъ-подъ кровати глядѣли тупые и острые носы длиннаго ряда всевозможныхъ туфель. И поручику казалось, что приторный жасминный запахъ идетъ не отъ цвѣтовъ, а отъ постели и ряда туфель.

— А на какую сумму векселя? — спросила Сусанна Моисеевна.

— На двѣ тысячи триста.

— Ого!—сказала еврейка, показывая и другой большой черный глазъ. — А вы говорите — немного! Впрочемъ, все равно, что сегодня платить, что черезъ недѣлю, но у меня въ эти два мѣсяца послѣ смерти отца было такъ много платежей... столько глупыхъ хлопотъ, что голова кружится! Прошу покорнѣйше, мнѣ за границу нужно ѣхать, а меня заставляютъ заниматься глупостями. Водка, овесъ... — забормотала она, наполовину закрывая глаза:—овесъ, векселя, проценты или, какъ говоритъ мой главный приказчикъ, «пруценты»... Это ужасно. Вчера я просто прогнала акцизнаго. Пристаетъ ко мнѣ со своимъ Траллесомъ. Я ему и говорю: убирайтесь вы къ чорту съ вашимъ Траллесомъ, я никого не принимаю! Поцѣловалъ руку и ушелъ. Послушайте, не можетъ ли вашъ братъ подождать мѣсяца два-три?

— Жестокій вопросъ!—засмѣялся поручикъ.—Братъ можетъ и годъ ждать, но я-то не могу ждать! Вѣдь это я, надо вамъ сказать, ради себя хлопочу. Мнѣ нужны во что бы то ни стало деньги, а у брата, какъ нарочно, ни одного свободнаго рубля. Приходится поневолѣ ѣздить и собирать долги. Сейчасъ былъ у арендатора-мужика, теперь вотъ у васъ сижу, отъ васъ еще куда-нибудь поѣду и такъ, пока не соберу пяти тысячъ. Ужасно нужны деньги!

— Полноте, на что молодому человѣку деньги? Прихоть, шалости. Что, вы прокутились, проигрались, женитесь?

— Вы угадали! — засмѣялся поручикъ и, слегка приподнявшись, звякнулъ шпорами. — Дѣйствительно, я женюсь...

Сусанна Моисеѣвна пристально поглядѣла на гостя, сдѣлала кислое лицо и вздохнула.

— Не понимаю, что за охота у людей жениться! — сказала она, ища вокругъ себя носовой платокъ. — Жизнь такъ коротка, такъ мало свободы, а они еще связываютъ себя.

— У всякаго свой взглядъ...

— Да, да, конечно, у всякаго свой взглядъ... Но, послушайте, развѣ вы женитесь на бѣдной? По страстной любви? И почему вамъ нужно непремѣнно пять тысячъ, а не четыре, не три?

«Какой, однако, у нея длинный языкъ!»—подумалъ поручикъ и отвѣтилъ:

— Исторія въ томъ, что по закону офицеръ не можетъ жениться раньше 28 лѣтъ. Если угодно жениться, то или со службы уходи, или же взноси пять тысячъ залога.

— Ага, теперь понимаю. Послушайте, вотъ вы сейчасъ сказали, что у каждаго свой взглядъ... Можетъ-быть, ваша невѣста какая-нибудь особенная, замѣчательная, но... я рѣшительно не понимаю, какъ это порядочный человѣкъ можетъ жить съ женщиной? Не понимаю, хоть убейте. Живу я уже, слава тебѣ Господи, 27 лѣтъ, но ни разу въ жизни не видѣла ни одной сносной женщины. Всѣ ломаки, безнравственныя, лгуньи... Я терплю только горничныхъ и кухарокъ, а такъ-называемыхъ порядочныхъ я къ себѣ и на пушечный выстрѣлъ не подпускаю. Да слава Богу, онѣ сами меня ненавидятъ и не лѣзутъ ко мнѣ. Коли ей нужны деньги, такъ она мужа пришлетъ, а сама ни за что не поѣдетъ, не изъ гордости, нѣтъ, а просто изъ трусости, боится, чтобъ я ей сцены не сдѣлала. Ахъ, я отлично понимаю ихъ ненависть! Еще бы! Я откровенно выставляю на видъ то, что онѣ всѣми силами стараются спрятать отъ Бога и людей. Какъ же послѣ этого не ненавидѣть? Навѣрное, вамъ про меня ужъ съ три короба наговорили...

— Я такъ недавно сюда пріѣхалъ, что...

— Но, но, но... по глазамъ вижу! А развѣ жена вашего брата не снабдила васъ напутствіемъ? Отпускать молодого человѣка къ такой ужасной женщинѣ и не предостеречь—

какъ можно? Ха-ха... Но что, какъ вашъ братъ? Онъ у васъ молодецъ, такой красивый мужчина... Я его нѣсколько разъ въ обѣднѣ видѣла. Что вы на меня такъ глядите? Я очень часто бываю въ церкви! У всѣхъ одинъ Богъ. Для образованнаго человѣка не такъ важна внѣшность, какъ идея... Не правда ли?

— Да, конечно...—улыбнулся поручикъ.

— Да, идея... А вы совсѣмъ не похожи на вашего брата. Вы тоже красивы, но вашъ братъ гораздо красивѣе. Удивительно, какъ мало сходства!

— Немудрено: вѣдь мы не родные, а двоюродные.

— Да, правда. Такъ вамъ непремѣнно сегодня нужны деньги? Почему сегодня?

— На-дняхъ кончается срокъ моего отпуска.

— Ну, что жъ съ вами дѣлать! — вздохнула Сусанна Моисеевна. — Такъ и быть ужъ, дамъ вамъ денегъ, хотя и знаю, что будете бранить меня. Поссоритесь послѣ свадьбы съ женой и скажете: «Если бъ та пархатая жидовка не дала мнѣ денегъ, такъ я, можетъ-быть, былъ бы теперь свободенъ, какъ птица!» Ваша невѣста хороша собой?

— Да, ничего...

— Гм!.. Все-таки лучше хоть что-нибудь, хоть красота, чѣмъ ничего. Впрочемъ, никакой красотой женщина не можетъ заплатить мужу за свою пустоту.

— Это оригинально!—засмѣялся поручикъ. — Вы сами женщина, а такая женофобка!

— Женщина... — усмѣхнулась Сусанна. — Развѣ я виновата, что Богъ послалъ мнѣ такую оболочку? Въ этомъ я такъ же виновата, какъ вы въ томъ, что у васъ есть усы. Не отъ скрипки зависитъ выборъ футляра. Я себя очень люблю, но когда мнѣ напоминаютъ, что я женщина, то я начинаю ненавидѣть себя. Ну, вы уйдите отсюда, я одѣнусь. Подождите меня въ гостиной.

Поручикъ вышелъ и первымъ дѣломъ глубоко вздохнулъ, чтобы отдѣлаться отъ тяжелаго жасминнаго запаха, отъ котораго у него уже начинало кружить голову и першить въ горлѣ. Онъ былъ удивленъ.

«Какая странная!—думалъ онъ, осматриваясь.—Говоритъ складно, но... ужъ черезчуръ много и откровенно. Психопатка какая-то».

Гостиная, въ которой онъ стоялъ теперь, была убрана

богато, съ претензіей на роскошь и моду. Тутъ были тяжелыя бронзовыя блюда съ рельефами, виды Ниццы и Рейна на столахъ, старинныя бра, японскія статуетки, но всѣ эти поползновенія на роскошь и моду только оттѣняли ту безвкусицу, о которой неумолимо кричали золоченые карнизы, цвѣтистые обои, яркія бархатныя скатерти, плохія олеографіи въ тяжелыхъ рамахъ. Безвкусицу дополняли незаконченность и лишняя тѣснота, когда кажется, что чего-то недостаетъ и что многое слѣдовало бы выбросить. Замѣтно было, что вся обстановка заводилась не сразу, а частями, путемъ выгодныхъ случаевъ, распродажъ.

Поручикъ самъ обладалъ не Богъ вѣсть какимъ вкусомъ, но и онъ замѣтилъ, что вся обстановка носитъ на себѣ одну характерную особенность, какую нельзя стереть ни роскошью, ни модой, а именно—полное отсутствіе слѣдовъ женскихъ, хозяйскихъ рукъ, придающихъ, какъ извѣстно, убранству комнатъ оттѣнокъ теплоты, поэзіи и уютности. Здѣсь вѣяло холодомъ, какъ въ вокзальныхъ комнатахъ, клубахъ и театральныхъ фойэ.

Собственно еврейскаго въ комнатѣ не было почти ничего, кромѣ развѣ одной только большой картины, изображавшей встрѣчу Іакова съ Исавомъ. Поручикъ оглядывался кругомъ и, пожимая плечами, думалъ о своей новой, странной знакомкѣ, о ея развязности и манерѣ говорить. Но вотъ раскрылась дверь и на порогѣ появилась она сама, стройная, въ длинномъ черномъ платьѣ, съ сильно затянутой, точно выточенной таліей. Теперь ужъ поручикъ видѣлъ не только носъ и глаза, но и бѣлое, худощавое лицо, черную кудрявую, какъ барашекъ, голову. Она не понравилась ему, хотя и не показалась некрасивой. Вообще къ нерусскимъ лицамъ онъ питалъ предубѣжденіе, а тутъ къ тому же нашелъ, что къ чернымъ кудряшкамъ и густымъ бровямъ хозяйки очень не шло бѣлое лицо, своею бѣлизною напоминавшее ему почему-то приторный жасминный запахъ, что уши и носъ были поразительно блѣдны, какъ мертвые или вылитые изъ прозрачнаго воска. Улыбнувшись, она вмѣстѣ съ зубами показала блѣдныя десны, что тоже ему не понравилось.

«Блѣдная немочь... — подумалъ онъ.—Вѣроятно, нервна, какъ индюшка».

— А вотъ и я! Пойдемте!—сказала она, идя быстро впе-

реди его и обрывая на пути съ цвѣтовъ желтые листки.— Сейчасъ я дамъ вамъ деньги и, если хотите, покормлю завтракомъ. Двѣ тысячи триста рублей! Послѣ такого хорошаго гешефта вы съ аппетитомъ покушаете. Нравятся вамъ мои комнаты? Здѣшнія барыни говорятъ, что у меня пахнетъ чеснокомъ. Этой кухонной остротой исчерпывается все ихъ остроуміе. Спѣшу васъ увѣрить, что чесноку я даже въ погребѣ не держу, и когда однажды ко мнѣ пріѣхалъ съ визитомъ докторъ, отъ котораго пахло чеснокомъ, то я попросила его взять свою шляпу и ѣхать благоухать куда-нибудь въ другое мѣсто. Пахнетъ у меня не чеснокомъ, а лѣкарствами. Отецъ лежалъ въ параличѣ полтора года и весь домъ продушилъ лѣкарствами. Полтора года! Мнѣ жаль его, но я рада, что онъ умеръ: такъ онъ страдалъ!

Она провела офицера черезъ двѣ комнаты, похожія на гостиную, черезъ залу и остановилась въ своемъ кабинетѣ, гдѣ стоялъ женскій письменный столикъ, весь уставленный бездѣлушками. Около него, на коврѣ, валялось нѣсколько раскрытыхъ загнутыхъ книгъ. Изъ кабинета вела небольшая дверь, въ которую виденъ былъ столъ, накрытый для завтрака.

Не переставая болтать, Сусанна достала изъ кармана связку мелкихъ ключей и отперла какой-то мудреный шкапъ съ гнутой, покатой крышкой. Когда крышка поднялась, шкапъ прогудѣлъ жалобную мелодію, напоминавшую поручику Эолову арфу. Сусанна выбрала еще одинъ ключъ и вторично щелкнула.

— У меня здѣсь подземные ходы и потайныя двери,— сказала она, доставая небольшой сафьяновый портфель.— Смѣшной шкапъ, не правда ли? А въ этомъ портфелѣ четверть моего состоянія. Посмотрите какой онъ пузатенькій! Вѣдь вы меня не придушите?

Сусанна подняла на поручика глаза и добродушно засмѣялась. Поручикъ тоже засмѣялся.

«А она славная!»—подумалъ онъ, глядя, какъ ключи бѣгаютъ между ея пальцами.

— Вотъ онъ! — сказала она, выбравъ ключикъ отъ портфеля.—Ну-съ, г. кредиторъ, пожалуйте на сцену векселя. Въ сущности, какая глупость вообще деньги! Какое ничтожество, а вѣдь какъ любятъ ихъ женщины! Знаете,

я еврейка до мозга костей, безъ памяти люблю Шмулей и Янкелей, но что мнѣ противно въ нашей семитической крови, такъ это страсть къ наживѣ. Копятъ и сами не знаютъ, для чего копятъ. Нужно жить и наслаждаться, а они боятся потратить лишнюю копейку. Въ этомъ отношеніи я больше похожа на гусара, чѣмъ на Шмуля. Не люблю, когда деньги долго лежатъ на одномъ мѣстѣ. Да и вообще, кажется, я мало похожа на еврейку. Сильно выдаетъ меня мой акцентъ, а?

— Какъ вамъ сказать?—замялся поручикъ. — Вы говорите чисто, но картавите.

Сусанна засмѣялась и сунула ключикъ въ замочекъ портфеля. Поручикъ досталъ изъ кармана пачечку векселей и положилъ ее вмѣстѣ съ записной книжкой на столъ.

— Ничто такъ не выдаетъ еврея, какъ акцентъ,—продолжала Сусанна, весело глядя на поручика. — Какъ бы онъ ни корчилъ изъ себя русскаго или француза, но попросите его сказать слово пухъ, и онъ скажетъ вамъ: пэхxx... А я выговариваю правильно: пухъ! пухъ! пухъ!

Оба засмѣялись.

«Ей-Богу, она славная!»—подумалъ Сокольскій.

Сусанна положила портфель на стулъ, сдѣлала шагъ къ поручику и, приблизивъ свое лицо къ его лицу, весело продолжала:

— Послѣ евреевъ никого я такъ не люблю, какъ русскихъ и французовъ. Я плохо училась въ гимназіи и исторіи не знаю, но мнѣ кажется, что судьба земли находится въ рукахъ у этихъ двухъ народовъ. Я долго жила за границей... даже въ Мадридѣ прожила полгода... наглядѣлась на публику и вынесла такое убѣжденіе, что, кромѣ русскихъ и французовъ, нѣтъ ни одного порядочнаго народа. Возьмите вы языки... Нѣмецкій языкъ лошадиный, англійскій—глупѣе ничего нельзя себѣ представить: файть-фійть-фюйть! Итальянскій пріятенъ только, когда говоришь на немъ медленно, если же послушать итальянскихъ чечотокъ, то получается тотъ же еврейскій жаргонъ. А поляки? Боже мой, Господи! Нѣтъ противнѣе языка! «Не пепши, Петше, пепшемъ вепша, бо можешь пшепепшитсь вепша пепшемъ». Это значитъ: не перчи, Петръ, перцемъ поросенка, а то можешь переперчить поросенка перцемъ. Ха-ха-ха!

Сусанна Моисеевна закатила глаза и засмѣялась такимъ

хорошимъ, заразительнымъ смѣхомъ, что поручикъ, глядя на нее, весело и громко расхохотался. Она взяла гостя за пуговицу и продолжала:

— Вы, конечно, не любите евреевъ... Я не спорю, недостатковъ много, какъ и у всякой націи. Но развѣ евреи виноваты? Нѣтъ, не евреи виноваты, а еврейскія женщины! Онѣ недалеки, жадны, безъ всякой поэзіи, скучны... Вы никогда не жили съ еврейкой и не знаете, что это за прелесть!

Послѣднія слова проговорила Сусанна Моисеевна протяжно, уже безъ воодушевленія и смѣха. Она умолкла, точно испугалась своей откровенности, и лицо ея вдругъ исказилось страннымъ и непонятнымъ образомъ. Глаза, не мигая, уставились на поручика, губы открылись и обнаружили стиснутые зубы. На всемъ лицѣ, на шеѣ и даже на груди задрожало злое, кошачье выраженіе. Не отрывая глазъ отъ гостя, она быстро перегнула свой станъ въ сторону и порывисто, какъ кошка, схватила что-то со стола. Все это было дѣломъ нѣсколькихъ секундъ. Слѣдя за ея движеніями, поручикъ видѣлъ, какъ пять пальцевъ скомкали его векселя, какъ бѣлая шелестящая бумага мелькнула передъ его глазами и исчезла въ ея кулакѣ. Такой рѣзкій, необычайный поворотъ отъ добродушнаго смѣха къ преступленію такъ поразилъ его, что онъ поблѣднѣлъ и сдѣлалъ шагъ назадъ...

А она, не сводя съ него испуганныхъ, пытливыхъ глазъ, водила сжатымъ кулакомъ себя по бедру и искала кармана. Кулакъ судорожно, какъ пойманная рыба, бился около кармана и никакъ не попадалъ въ щель. Еще мгновеніе, и векселя исчезли бы въ тайникахъ женскаго платья, но тутъ поручикъ слегка вскрикнулъ и, побуждаемый больше инстинктомъ, чѣмъ разумомъ, схватилъ еврейку за руку около сжатаго кулака. Та, еще больше оскаливъ зубы, рванулась изо-всѣхъ силъ и вырвала руку. Тогда Сокольскій одной рукой плотно обхватилъ ея талію, другой—грудь, и у нихъ началась борьба. Боясь оскорбить женственность и причинить боль, онъ старался только не давать ей двигаться и уловить кулакъ съ векселями, а она, какъ угорь, извивалась въ его рукахъ своимъ гибкимъ, упругимъ тѣломъ, рвалась, била его въ грудь локтями, царапалась, такъ что руки его ходили по всему ея тѣлу и онъ поневолѣ причинялъ ей боль и оскорблялъ ея стыдливость.

«Какъ это необыкновенно! Какъ странно!»—думалъ онъ, не помня себя отъ удивленія, не вѣря себѣ и чувствуя всѣмъ своимъ существомъ, какъ его мутитъ отъ запаха жасмина.

Молча, тяжело дыша, натыкаясь на мебель, они переходили съ мѣста на мѣсто. Сусанну увлекла борьба. Она раскраснѣлась, закрыла глаза и разъ даже, не помня себя, крѣпко прижалась своимъ лицомъ къ лицу поручика, такъ что на губахъ его остался сладковатый вкусъ. Наконецъ, онъ поймалъ кулакъ... Разжавъ его, и не найдя въ немъ векселей, онъ оставилъ еврейку. Красные, со встрепанными прическами, тяжело дыша, глядѣли они другъ на друга. Злое, кошачье выраженіе на лицѣ еврейки мало-по-малу смѣнилось добродушной улыбкой. Она расхохоталась и, повернувшись на одной ногѣ, направилась въ комнату, гдѣ былъ приготовленъ завтракъ. Поручикъ поплелся за ней. Она сѣла за столъ и, все еще красная, тяжело дыша, выпила полрюмки портвейна.

— Послушайте,—прервалъ молчаніе поручикъ:—вы, надѣюсь, шутите?

— Нисколько,—отвѣтила она, запихивая въ ротъ кусочекъ хлѣба.

— Гм!.. Какъ же прикажете понять все это?

— Какъ угодно. Садитесь завтракать!

— Но... вѣдь это нечестно!

— Можетъ быть. Впрочемъ, не трудитесь читать мнѣ проповѣдь. У меня свой собственный взглядъ на вещи.

— Вы не отдадите?

— Конечно, нѣтъ! Будь вы бѣдный, несчастный человѣкъ, которому ѣсть нечего, ну, тогда другое дѣло, а то—жениться захотѣлъ!

— Но вѣдь это не мои деньги, а брата!

— А брату вашему на что деньги? Женѣ на моды? А мнѣ рѣшительно все равно, есть ли у вашей belle-soeur платья, или нѣтъ.

Поручикъ уже не помнилъ, что онъ въ чужомъ домѣ, у незнакомой дамы, и не стѣснялъ себя приличіемъ. Онъ шагалъ по комнатѣ, хмурился и нервно теребилъ жилетку. Оттого, что еврейка своимъ безчестнымъ поступкомъ уронила себя въ его глазахъ, онъ чувствовалъ себя смѣлѣе и развязнѣе.

— Чортъ знаетъ что!—бормоталъ онъ.—Послушайте, я не уйду отсюда, пока не получу отъ васъ векселей!

— Ахъ, тѣмъ лучше! — смѣялась Сусанна. — Хоть жить здѣсь оставайтесь, мнѣ же будетъ веселѣе.

Возбужденный борьбою, поручикъ глядѣлъ на смѣющееся, наглое лицо Сусанны, на жующій ротъ, тяжело дышащую грудь и становился смѣлѣе и дерзче. Вмѣсто того, чтобы думать о векселяхъ, онъ почему-то съ какою-то жадностью сталъ припоминать разсказы своего брата о романическихъ похожденіяхъ еврейки, о ея свободномъ образѣ жизни, и эти воспоминанія только подзадорили его дерзость. Онъ порывисто сѣлъ рядомъ съ еврейкой и, не думая о векселяхъ, сталъ ѣсть...

— Вамъ водки, или вина?—спрашивала со смѣхомъ Сусанна. — Такъ вы останетесь ждать векселя? Бѣдняжка, столько дней и ночей придется вамъ провести у меня въ ожиданіи векселей! Ваша невѣста не будетъ въ претензіи?

## II.

Прошло пять часовъ. Братъ поручика, Алексѣй Ивановичъ Крюковъ, облеченный въ халатъ и туфли, ходилъ у себя въ усадьбѣ по комнатамъ и нетерпѣливо посматривалъ въ окна. Это былъ высокій, плотный мужчина съ большой черной бородой, съ мужественнымъ лицомъ и, какъ сказала правду еврейка, красивый собой, хотя уже и перевалилъ въ тотъ возрастъ, когда мужчины излишне толстѣютъ, брюзгнутъ и плѣшивѣютъ. По духу и разуму принадлежалъ онъ къ числу натуръ, которыми такъ богата наша интеллигенція: сердечный и добродушный, воспитанный, не чуждый наукъ, искусствъ, вѣры, самыхъ рыцарскихъ понятій о чести, но не глубокій и лѣнивый. Онъ любилъ хорошо поѣсть и выпить, идеально игралъ въ винтъ, зналъ вкусъ въ женщинахъ и лошадяхъ, въ остальномъ же прочемъ былъ тугъ и неподвиженъ, какъ тюлень, и чтобы вызвать его изъ состоянія покоя, требовалось что-нибудь необыкновенное, слишкомъ возмутительное, и тогда ужъ онъ забывалъ все на свѣтѣ и проявлялъ крайнюю подвижность: вопилъ о дуэли, писалъ на семи листахъ прошеніе министру, сломя голову скакалъ по уѣзду, пускалъ публично «подлеца», судился и т. п.

— Что же это нашего Саши до сихъ поръ нѣтъ?— спрашивалъ онъ жену, заглядывая въ окна.—Вѣдь обѣдать пора!

Подождавъ поручика до шести часовъ, Крюковы сѣли обѣдать. Вечеромъ, когда уже была пора ужинать, Алексѣй Ивановичъ прислушивался къ шагамъ, къ стуку дверей и пожималъ плечами.

— Странно! — говорилъ онъ. — Должно-быть, канальскій фендрикъ у арендатора застрялъ.

Ложась послѣ ужина спать, Крюковъ такъ и рѣшилъ, что поручикъ загостился у арендатора, гдѣ послѣ хорошей попойки остался ночевать.

Александръ Григорьевичъ вернулся домой только на другой день утромъ. Видъ у него былъ крайне сконфуженный и помятый.

— Мнѣ нужно поговорить съ тобой наединѣ...—сказалъ онъ таинственно брату.

Пошли въ кабинетъ. Поручикъ заперъ дверь и, прежде чѣмъ начать говорить, долго шагалъ изъ угла въ уголъ.

— Такое, братецъ, случилось, — началъ онъ:—что я не знаю, какъ и сказать тебѣ. Не повѣришь ты...

И онъ, заикаясь, краснѣя и не глядя на брата, разсказалъ исторію съ векселями. Крюковъ, разставя ноги и опустивъ голову, слушалъ и хмурился.

— Ты это шутишь?—спросилъ онъ.

— Кой чортъ шучу? Какія тутъ шутки!

— Не понимаю! — пробормоталъ Крюковъ, багровѣя и разводя руками.—Это даже... безнравственно съ твоей стороны. Бабенка на твоихъ глазахъ творитъ чортъ знаетъ что, уголовщину, дѣлаетъ подлость, а ты лѣзешь цѣловаться!

— Но я самъ не понимаю, какъ это случилось!—зашепталъ поручикъ, виновато мигая глазами.—Честное слово, не понимаю! Первый разъ въ жизни наскочилъ на такое чудовище! Не красотой беретъ, не умомъ, а этой, понимаешь, наглостью, цинизмомъ...

— Наглостью, цинизмомъ... Какъ это чистоплотно! Ужъ если такъ тебѣ захотѣлось наглости и цинизма, то взялъ бы свинью изъ грязи и съѣлъ бы ее живьемъ! По крайней мѣрѣ дешевле, а то—двѣ тысячи триста!

— Какъ ты изящно выражаешься! — поморщился поручикъ.—Я тебѣ отдамъ эти двѣ тысячи триста!

— Знаю, что отдашь, но развѣ въ деньгахъ дѣло? Ну ихъ къ чорту, эти деньги! Меня возмущаетъ твоя тряпичность, дряблость... малодушество поганое! Женихъ! Имѣетъ невѣсту!

— Но не напоминай...—покраснѣлъ поручикъ.—Мнѣ теперь самому противно. Сквозь землю готовъ провалиться... Противно и досадно, что за пятью тысячами придется теперь къ теткѣ лѣзть...

Крюковъ долго еще возмущался и ворчалъ, потомъ, успокоившись, сѣлъ на софу и сталъ посмѣиваться надъ братомъ.

— Поручики! — говорилъ онъ съ презрительной ироніей въ голосѣ.—Женихи!

Вдругъ онъ вскочилъ, какъ ужаленный, топнулъ ногой и забѣгалъ по кабинету.

— Нѣтъ, я этого такъ не оставлю! — заговорилъ онъ, потрясая кулакомъ. — Векселя будутъ у меня! Будутъ! Я упеку ее! Женщинъ не бьютъ, но ее я изувѣчу... мокраго мѣста не останется! Я не поручикъ! Меня не тронешь наглостью и цинизмомъ! Нѣ-ѣтъ, чортъ ее подери! Мишка,— закричалъ онъ: — бѣги, скажи, чтобъ мнѣ бѣговыя дрожки заложили!

Крюковъ быстро одѣлся и, не слушая встревоженнаго поручика, сѣлъ на бѣговыя дрожки, рѣшительно махнулъ рукой и покатилъ къ Сусаннѣ Моисеевнѣ. Поручикъ долго глядѣлъ въ окно на облако пыли, бѣжавшее за его дрожками, потянулся, зѣвнулъ и пошелъ къ себѣ въ комнату. Черезъ четверть часа онъ спалъ крѣпкимъ сномъ.

Въ шестомъ часу его разбудили и позвали къ обѣду.

— Какъ это мило со стороны Алексѣя! — встрѣтила его въ столовой невѣстка.—Заставляетъ ждать себя обѣдать!

— А развѣ онъ еще не пріѣхалъ?—зѣвнулъ поручикъ.— Гм... вѣроятно къ арендатору заѣхалъ.

Но и къ ужину не вернулся Алексѣй Ивановичъ. Его жена и Сокольскій порѣшили, что онъ заигрался въ карты у арендатора и, по всей вѣроятности, останется у него ночевать. Случилось же совсѣмъ не то, что они предполагали.

Крюковъ вернулся на другой день утромъ и, ни съ кѣмъ не здороваясь, молча юркнулъ къ себѣ въ кабинетъ.

— Ну, что?—зашепталъ поручикъ, глядя на него большими глазами.

Крюковъ махнулъ рукой и фыркнулъ.

— Да что такое? Что ты смѣешься?

Крюковъ повалился на диванъ, уткнулъ голову въ подушку и затрясся отъ сдерживаемаго хохота. Черезъ минуту онъ поднялся и, глядя на удивленнаго поручика плачущими отъ смѣха глазами, заговорилъ:

— Прикрой-ка дверь. Ну, да и ба-а-ба же, я тебѣ доложу!

— Получилъ векселя?

Крюковъ махнулъ рукой и опять захохоталъ.

— Ну, да и баба!—продолжалъ онъ.—Мерси, братецъ, за знакомство! Это чортъ въ юбкѣ. Пріѣзжаю я къ ней, вхожу, знаешь, такимъ Юпитеромъ, что самому себя страшно... нахмурился, насупился, даже кулаки сжалъ для пущей важности... «Сударыня, говорю, со мной шутки плохи!» — и прочее въ такомъ родѣ. И судомъ грозилъ, и губернаторомъ... Она сначала заплакала, сказала, что пошутила съ тобой, и даже повела меня къ шкапу, чтобы отдать деньги, потомъ стала доказывать, что будущность Европы въ рукахъ русскихъ и французовъ, обругала женщинъ... Я по-твоему развѣсилъ уши, оселъ я этакій... Спѣла она панегирикъ моей красотѣ, потрепала меня за руку около плеча, чтобы посмотрѣть, какой я сильный и... какъ видишь, сейчасъ только отъ нея убрался... Ха-ха... Отъ тебя она въ восторгѣ!

— Хорошъ мальчикъ!—засмѣялся поручикъ.—Женатый, почтенный... Что, стыдно? Противно? Однако, братъ, не шутя говоря, у васъ въ уѣздѣ своя царица Тамара завелась...

— Кой чортъ въ уѣздѣ? Другого такого хамелеона во всей Россіи не сыщешь! Отродясь ничего подобнаго не видывалъ, а ужъ я ли не знатокъ по этой части? Кажется, съ вѣдьмами жилъ, а ничего подобнаго не видывалъ. Именно наглостью и цинизмомъ беретъ. Что въ ней завлекательно, такъ это рѣзкіе переходы, переливы красокъ, эта порывистость анаѳемская... Бррр! А векселя—фюйть! Пиши—пропало. Оба мы съ тобой великіе грѣшники, грѣхъ пополамъ. Считаю за тобою не 2.300, а половину. Чуръ, женѣ говорить, что у арендатора былъ.

Крюковъ и поручикъ уткнули головы въ подушки и принялись хохотать. Поднимутъ головы, взглянутъ другъ на друга и опять упадутъ на подушки.

— Женихи! — дразнилъ Крюковъ. — Поручики!

— Женатые! — отвѣчалъ Сокольскій. — Почтенные! Отцы семействъ.

За обѣдомъ они говорили намеками, перемигивались и то и дѣло, къ удивленію домочадцевъ, прыскали въ салфетки. Послѣ обѣда, все еще находясь въ отмѣнномъ настроеніи, они нарядились турками и, гоняясь съ ружьями другъ за другомъ, представляли дѣтямъ войну. Вечеромъ они долго спорили. Поручикъ доказывалъ, что низко и подло брать за женой приданое, даже въ случаѣ страстной любви съ обѣихъ сторонъ; Крюковъ же стучалъ кулаками по столу и говорилъ, что это абсурдъ, что мужъ, не желающій, чтобы жена имѣла собственность, эгоистъ и деспотъ. Оба кричали, кипятились, не понимали другъ друга, порядкомъ выпили и въ концѣ концовъ, подобравъ полы своихъ халатовъ, разошлись по спальнямъ. Уснули они скоро и спали крѣпко.

Жизнь потекла попрежнему—ровная, лѣнивая и безпечальная. Тѣни ложились на землю, въ облакахъ гремѣлъ громъ, изрѣдка жалобно стоналъ вѣтеръ, какъ бы желая показать, что и природа можетъ плакать, но ничто не тревожило привычнаго покоя этихъ людей. О Сусаннѣ Моисеевнѣ и о векселяхъ они не говорили. Обоимъ было какъ-то совѣстно говорить вслухъ объ этой исторіи. Зато вспоминали они и думали о ней съ удовольствіемъ, какъ о курьезномъ фарсѣ, который неожиданно и случайно разыграла съ ними жизнь и о которомъ пріятно будетъ вспомнить подъ старость...

На шестой или седьмой день послѣ свиданія съ еврейкой, утромъ Крюковъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и писалъ поздравительное письмо къ теткѣ. Около стола молча прохаживался Александръ Григорьевичъ. Поручикъ плохо спалъ ночь, проснулся не въ духѣ и теперь скучалъ. Онъ ходилъ и думалъ о срокѣ своего отпуска, объ ожидавшей его невѣстѣ, о томъ, какъ это не скучно людямъ весь вѣкъ жить въ деревнѣ. Остановившись у окна, онъ долго глядѣлъ на деревья, выкурилъ подъ рядъ три папиросы и вдругъ повернулся къ брату.

— У меня, Алеша, къ тебѣ просьба, — сказалъ онъ. — Одолжи мнѣ на сегодня верховую лошадь...

Крюковъ пытливо поглядѣлъ на него и, нахмурившись, продолжалъ писать.

— Такъ дашь? — спросилъ поручикъ.

Крюковъ опять поглядѣлъ на него, потомъ медленно выдвинулъ изъ стола ящикъ и, доставъ оттуда толстую пачку, подалъ ее брату.

— Вотъ тебѣ пять тысячъ... — сказалъ онъ. — Хоть и не мои онѣ, но Богъ съ тобой, все равно. Совѣтую тебѣ, посылай сейчасъ за почтовыми и уѣзжай. Право!

Поручикъ въ свою очередь пытливо поглядѣлъ на Крюкова и вдругъ засмѣялся.

— А вѣдь ты угадалъ, Алеша, — сказалъ онъ, краснѣя. — Я вѣдь именно къ ней хотѣлъ ѣхать. Какъ подала мнѣ вчера вечеромъ прачка этотъ проклятый китель, въ которомъ я былъ тогда, и какъ запахло жасминомъ, то... такъ меня и потянуло!

— Уѣхать надо.

— Да, дѣйствительно. Кстати ужъ и отпускъ кончился. Правда, поѣду сегодня! Ей-Богу! Сколько ни живи, а все уѣхать придется... Ѣду!

Въ тотъ же день передъ обѣдомъ были поданы почтовыя; поручикъ простился съ Крюковымъ и, сопровождаемый благими пожеланіями, уѣхалъ.

Прошла еще недѣля. Былъ пасмурный, но жаркій и душный день. Съ самаго ранняго утра Крюковъ безцѣльно бродилъ по комнатамъ, засматривалъ въ окна, или же перелистывалъ давно уже надоѣвшіе альбомы. Когда ему попадались на глаза жена или дѣти, онъ начиналъ сердито ворчать. Въ этотъ день ему почему-то казалось, что дѣти ведутъ себя отвратительно, жена плохо глядитъ за прислугой, что расходы ведутся несообразно съ доходами. Все это значило, что «господа» не въ духѣ.

Послѣ обѣда Крюковъ, недовольный супомъ и жаркимъ, велѣлъ заложить бѣговыя дрожки. Медленно выѣхалъ онъ со двора, проѣхалъ шагомъ четверть версты и остановился.

«Нешто къ той... къ тому чорту съѣздить?» — подумалъ онъ, глядя на пасмурное небо.

И Крюковъ даже засмѣялся, точно впервые за весь день задалъ себѣ этотъ вопросъ. Тотчасъ же отъ сердца его отлегла скука и въ лѣнивыхъ глазахъ заблестѣло удовольствіе. Онъ ударилъ по лошади...

Всю дорогу воображеніе его рисовало, какъ еврейка уди-

вится его пріѣзду, какъ онъ посмѣется, поболтаетъ и вернется домой освѣженный...

«Разъ въ мѣсяцъ надо освѣжать себя чѣмъ-нибудь... необыденнымъ, — думалъ онъ: — чѣмъ-нибудь такимъ, что производило бы въ застоявшемся организмѣ хорошую встрепку... реакцію... Будь то хоть выпивка, хоть... Сусанна. Нельзя безъ этого».

Уже темнѣло, когда онъ въѣхалъ во дворъ водочнаго завода. Изъ открытыхъ оконъ хозяйскаго дома слышались смѣхъ и пѣніе:

Ярррче молніи, жарррче пламени...

пѣлъ чей-то сильный, густой басъ.

«Эге, у нея гости!» — подумалъ Крюковъ.

И ему стало непріятно, что у нея гости. «Не вернуться ли?»—думалъ онъ, берясь за звонокъ, но все-таки позвонилъ и пошелъ вверхъ по знакомой лѣстницѣ. Изъ передней онъ заглянулъ въ залу. Тамъ было человѣкъ пять мужчинъ — все знакомые помѣщики и чиновники. Одинъ, высокій и тощій, сидѣлъ за роялью, стучалъ длинными пальцами по клавишамъ и пѣлъ. Остальные слушали и скалили отъ удовольствія зубы. Крюковъ оглядѣлся передъ зеркаломъ и хотѣлъ уже войти въ залу, какъ въ переднюю впорхнула сама Сусанна Моисеевна, веселая, въ томъ же черномъ платьѣ... Увидѣвъ Крюкова, она на мгновеніе окаменѣла, потомъ вскрикнула и просіяла отъ радости.

— Это вы? — сказала она, хватая его за руку. — Какой сюрпризъ!

— А, вотъ она! — улыбнулся Крюковъ, беря ее за талію. — Такъ какъ? Судьба Европы находится въ рукахъ русскихъ и французовъ?

— Я такъ рада! — засмѣялась еврейка, осторожно отводя его руку. — Ну, идите въ залу. Тамъ все знакомые... Я пойду скажу, чтобы вамъ чаю подали. Васъ Алексѣемъ зовутъ? Ну, ступайте, я сейчасъ...

Она сдѣлала ручкой и выбѣжала изъ передней, оставивъ послѣ себя запахъ того же приторнаго, сладковатаго жасмина. Крюковъ поднялъ голову и вошелъ въ залу. Онъ былъ пріятельски знакомъ со всѣми, кто былъ въ залѣ, но едва кивнулъ имъ головой; тѣ ему тоже едва отвѣтили, точно мѣсто, гдѣ они встрѣтились, было непристойно, или

они мысленно сговорились, что для нихъ удобнѣе не узнавать другъ друга.

Изъ залы Крюковъ прошелъ въ гостиную, отсюда въ другую гостиную. На пути попалось ему три-четыре гостя, тоже знакомыхъ, но едва узнавшихъ его. Лица ихъ были пьяны и веселы. Алексѣй Ивановичъ косился на нихъ и недоумѣвалъ, какъ это они, люди семейные, почтенные, испытанные горемъ и нуждою, могутъ унижать себя до такой жалкой, грошевой веселости! Онъ пожималъ плечами, улыбался и шелъ дальше.

«Есть мѣста, — думалъ онъ: — гдѣ трезваго тошнитъ, а у пьянаго духъ радуется. Помню, въ оперетку и къ цыганамъ я ни разу трезвымъ не ѣздилъ. Вино дѣлаетъ человѣка добрѣе и миритъ его съ порокомъ...»

Вдругъ онъ остановился, какъ вкопанный, и обѣими руками ухватился за косякъ двери. Въ кабинетѣ Сусанны, за письменнымъ столомъ, сидѣлъ поручикъ Александръ Григорьевичъ. Онъ о чемъ-то тихо разговаривалъ съ толстымъ, обрюзглымъ евреемъ, а увидѣвъ брата, вспыхнулъ и опустилъ глаза въ альбомъ.

Чувство порядочности встрепенулось въ Крюковѣ, и кровь ударила ему въ голову. Не помня себя отъ удивленія, стыда и гнѣва, онъ молча прошелся около стола. Сокольскій еще ниже опустилъ голову. Лицо его перекосило выраженіемъ мучительнаго стыда.

— Ахъ, это ты, Алеша! — проговорилъ онъ, силясь поднять глаза и улыбнуться. — Я заѣхалъ сюда проститься и, какъ видишь... Но завтра я обязательно уѣзжаю!

«Ну, что я могу сказать ему? Что? — думалъ Алексѣй Ивановичъ. — Какой я для него судья, если я и самъ здѣсь?»

И ни слова не сказавъ, а только покрякавъ, онъ медленно вышелъ.

Не называй ее небесной и у земли не отнимай...

пѣлъ въ залѣ басъ. Немного погодя, бѣговыя дрожки Крюкова уже стучали по пыльной дорогѣ.

# ТАЙНЫЙ СОВѢТНИКЪ.

Въ началѣ апрѣля 1870 года моя матушка Клавдія Архиповна, вдова поручика, получила изъ Петербурга, отъ своего брата Ивана, тайнаго совѣтника, письмо, въ которомъ между прочимъ, было написано: «Болѣзнь печени вынуждаетъ меня каждое лѣто жить за границей, а такъ какъ въ настоящее время у меня нѣтъ свободныхъ денегъ для поѣздки въ Маріенбадъ, то весьма возможно, что этимъ лѣтомъ я буду жить у тебя въ твоей Кочуевкѣ, дорогая сестра...»

Прочитавъ письмо, моя матушка поблѣднѣла и затряслась всѣмъ тѣломъ, потомъ на лицѣ ея появилось выраженіе смѣха и плача. Она заплакала и засмѣялась. Эта борьба плача со смѣхомъ всегда напоминаетъ мнѣ мельканье и трескъ ярко-горящей свѣчи, когда на нее брызжутъ водой. Прочитавъ письмо еще разъ, матушка созвала всѣхъ домочадцевъ и прерывающимся отъ волненія голосомъ стала объяснять намъ, что всѣхъ братьевъ Гундасовыхъ было четверо: одинъ Гундасовъ померъ еще младенцемъ, другой пошелъ по военной и тоже померъ, третій, не въ обиду будь ему сказано, актеръ, четвертый же...

— До четвертаго рукой не достанешь, — всхлипывала матушка. — Родной мнѣ братъ, вмѣстѣ росли, а я вся дрожу и дрожу... Вѣдь тайный совѣтникъ, генералъ! Какъ я его, ангела моего, встрѣчу? О чемъ я, дура необразованная, разговаривать съ нимъ стану? Пятнадцать лѣтъ его не видала! Андрюшенька, — обратилась ко мнѣ матушка: — радуйся, дурачокъ! Это на твое счастье Богъ его посылаетъ!

Послѣ того, какъ мы узнали самую подробную исторію Гундасовыхъ, въ усадьбѣ поднялась суматоха, какую я привыкъ видѣть только передъ святками. Были пощажены только небесный сводъ и вода въ рѣкѣ, все же остальное подверглось чисткѣ, мытью и окраскѣ. Если бы небо было ниже и меньше, а рѣка не бѣжала такъ быстро, то и ихъ бы поскребли кирпичомъ и потерли мочалкой. Стѣны были бѣлы, какъ снѣгъ, но ихъ побѣлили; полы сіяли и лоснились, но ихъ мыли каждый день. Кота Куцаго (въ бытность мою младенцемъ я ножомъ, которымъ колютъ сахаръ, отхватилъ ему добрую четверть хвоста, отчего онъ и получилъ прозвище Куцаго) отнесли изъ хоромъ въ кухню и отдали подъ начало Анисьи; Ѳедькѣ сказано было, что если собаки будутъ подходить близко къ крыльцу, то его «Богъ накажетъ». Но никому такъ не доставалось, какъ бѣднымъ диванамъ, кресламъ и коврамъ! Никогда въ другое время ихъ не били такъ сильно палками, какъ теперь, въ ожиданіи гостя. Мои голуби, слыша палочные удары, тревожились и то и дѣло взлетали къ самому небу.

Приходилъ изъ Новостроевки портной Спиридонъ, единственный во всемъ уѣздѣ портной, дерзавшій шить на господъ. Это былъ человѣкъ не пьющій, работящій и способный, не лишенный нѣкоторой фантазіи и чувства пластики, но тѣмъ не менѣе шившій отвратительно. Все дѣло портили сомнѣнія... Мысль, что онъ шьетъ недостаточно модно, заставляла его передѣлывать каждую вещь по пяти разъ, ходить пѣшкомъ въ городъ спеціально за тѣмъ только, чтобы изучать франтовъ, и въ концѣ концовъ одѣвать насъ въ костюмы, которые даже карикатуристъ назвалъ бы утрировкой и шаржемъ. Мы щеголяли въ невозможно узкихъ брюкахъ и въ такихъ короткихъ пиджакахъ, что въ присутствіи барышенъ намъ всегда становилось совѣстно.

Этотъ Спиридонъ долго снималъ съ меня мѣрку. Онъ вымѣрилъ всего меня вдоль и поперекъ, точно собирался обить меня обручами, что-то долго записывалъ на бумажкѣ толстымъ карандашомъ и всю свою мѣрку иззубрилъ треугольными значками. Покончивъ со мной, онъ принялся за моего учителя Егора Алексѣевича Побѣдимскаго. Мой незабвенный учитель находился тогда въ порѣ, когда люди слѣдятъ за ростомъ своихъ усовъ и относятся критически къ платью, а потому можете себѣ представить священный

ужасъ, съ какимъ Спиридонъ приступилъ къ моему учителю! Егоръ Алексѣевичъ долженъ былъ откинуть назадъ голову и разставить ноги въ видѣ опрокинутой ижицы, то поднимать руки, то опускать. Спиридонъ вымѣрялъ его нѣсколько разъ, для чего ходилъ вокругъ него, какъ влюбленный голубь около голубки, становился на одно колѣно, изгибался крючкомъ... Моя матушка, томная, замученная хлопотами и угорѣвшая отъ утюговъ, глядѣла на всю эту длинную процедуру и говорила:

— Смотри же, Спиридонъ, Богъ съ тебя взыщетъ, если сукно испортишь! И счастья тебѣ не будетъ, коли не потрафишь!

Отъ словъ матушки Спиридона бросало то въ жаръ, то въ потъ, потому что онъ былъ увѣренъ, что не потрафитъ. За шитье моего костюма онъ взялъ 1 руб. 20 коп., а за костюмъ Побѣдимскаго 2 руб., причемъ сукно, подкладка и пуговицы были наши. Это не можетъ показаться дорого, тѣмъ болѣе, что отъ Новостроевки до насъ было девять верстъ, а портной приходилъ для примѣрки раза четыре. Когда мы, примѣряя, натягивали на себя узкія брюки и пиджаки, испещренные живыми нитками, матушка всякій разъ брезгливо морщилась и удивлялась:

— Богъ знаетъ, какая нынче мода пошла! Даже глядѣть совѣстно. Не будь братецъ столичнымъ, право, не стала бы я шить вамъ по-модному!

Спиридонъ, радуясь, что бранятъ не его, а моду, пожималъ плечами и вздыхалъ, какъ бы желая сказать: «Ничего не подѣлаешь: духъ времени!»

Волненіе, съ которымъ мы ожидали пріѣзда гостя, можно сравнить только съ тѣмъ напряженіемъ, съ какимъ спириты съ минуты на минуту ожидаютъ появленія духа. Матушка носилась съ мигренью и ежеминутно плакала. Я потерялъ аппетитъ, плохо спалъ и не училъ уроковъ. Даже во снѣ меня не оставляло желаніе поскорѣе увидѣть генерала, то-есть человѣка съ эполетами, съ шитымъ воротникомъ, который претъ подъ самыя уши, и съ обнаженной саблей въ рукѣ—точь въ точь такого, какой висѣлъ у насъ въ залѣ надъ диваномъ и таращилъ страшные, черные глаза на всякаго, кто осмѣливался глядѣть на него. Одинъ только Побѣдимскій чувствовалъ себя въ своей тарелкѣ. Онъ не ужасался, не радовался, а только изрѣдка, выслу-

шивая отъ матушки исторію рода Гундасовыхъ, говорилъ:

— Да, пріятно будетъ поговорить со свѣжимъ человѣкомъ.

На моего учителя у насъ въ усадьбѣ глядѣли, какъ на натуру исключительную. Это былъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати, угреватый, лохматый, съ маленькимъ лбомъ и съ необычайно длиннымъ носомъ. Носъ былъ такъ великъ, что мой учитель, разглядывая что-нибудь, долженъ былъ наклонять голову на бокъ по-птичьи. По нашимъ понятіямъ, во всей губерніи не было человѣка умнѣе, образованнѣе и галантнѣе. Кончилъ онъ шесть классовъ гимназіи, потомъ поступилъ въ ветеринарный институтъ, откуда былъ исключенъ, не проучившись и полугода. Причину исключенія онъ тщательно скрывалъ, что давало возможность всякому желающему видѣть въ моемъ воспитателѣ человѣка пострадавшаго и до нѣкоторой степени таинственнаго. Говорилъ онъ мало и только объ умномъ, ѣлъ въ постъ скоромное и на окружающую жизнь иначе не глядѣлъ, какъ только свысока и презрительно, что, впрочемъ, не мѣшало ему принимать отъ моей матушки подарки, въ видѣ костюмовъ, и рисовать на моихъ змѣяхъ глупыя рожи съ красными зубами. Матушка не любила его за «гордость», но преклонялась предъ его умомъ.

Гостя недолго ждали. Въ началѣ мая на двухъ возахъ прибыли со станціи большіе чемоданы. Эти чемоданы глядѣли такъ величественно, что, снимая ихъ съ возовъ, кучера машинально поснимали шапки.

«Должно-быть,—подумалъ я:—въ этихъ сундукахъ мундиры и порохъ...»

Почему порохъ? Вѣроятно, понятіе о генеральствѣ въ моей головѣ было тѣсно связано съ пушками и порохомъ.

Утромъ, десятаго мая, когда я проснулся, нянька шопотомъ объявила мнѣ, что «пріѣхали дяденька». Я быстро одѣлся и, кое-какъ умывшись, не молясь Богу, полетѣлъ изъ спальной. Въ сѣняхъ я наткнулся на высокаго, плотнаго господина, съ фешенебельными бакенами и въ франтовскомъ пальто. Помертвѣвъ отъ священнаго ужаса, я подошелъ къ нему и, припоминая составленный матушкою церемоніалъ, шаркнулъ передъ нимъ ножкой, низко поклонился и потянулся къ ручкѣ, но господинъ не далъ мнѣ поцѣловать руку и объявилъ, что онъ не дядя, а только

дядинъ камердинеръ Петръ. Видъ этого Петра, одѣтаго гораздо богаче, чѣмъ я и Побѣдимскій, повергъ меня въ крайнее изумленіе, не оставляющее меня, говоря по правдѣ, и до сегодня: неужели такіе солидные, почтенные люди, съ умными и строгими лицами, могутъ быть лакеями? И ради чего?

Петръ сказалъ мнѣ, что дядя съ матушкой въ саду. Я бросился въ садъ.

Природа, не знавшая исторіи рода Гундасовыхъ и чина моего дядюшки, чувствовала себя гораздо свободнѣе и развязнѣе, чѣмъ я. Въ саду происходила возня, какая бываетъ только на ярмаркахъ. Безчисленные скворцы, разсѣкая воздухъ и прыгая по аллеямъ, съ крикомъ и шумомъ гонялись за майскими жуками. Въ сиреневыхъ кустахъ, которые своими нѣжными пахучими цвѣтами лѣзли прямо въ лицо, копошились воробьи. Куда ни повернешься, отовсюду неслись пѣніе иволги, писканье удода и кобчика. Въ другое время я началъ бы гоняться за стрекозами или бросать камнями въ ворона, который сидѣлъ на невысокой копнѣ подъ осиной и поворачивалъ въ стороны свой тупой носъ, теперь же было не до шалостей. У меня билось сердце и холодѣло въ животѣ: я готовился увидѣть человѣка съ эполетами, обнаженной саблей и со страшными глазами!

Но представьте мое разочарованіе! Рядомъ съ матушкой гулялъ по саду тоненькій, маленькій франтъ въ бѣлой, шелковой парѣ и въ бѣлой фуражкѣ. Заложивъ руки въ карманы, откинувъ назадъ голову, то и дѣло забѣгая впередъ матушки, онъ казался совсѣмъ молодымъ человѣкомъ. Во всей фигурѣ его было столько движенія и жизни, что предательскую старость я могъ увидѣть только подойдя поближе сзади и взглянувъ на края фуражки, гдѣ серебрились коротко остриженные волосы. Вмѣсто солидности и генеральской тугоподвижности, я увидѣлъ почти мальчишескую вертлявость; вмѣсто воротника, прущаго подъ уши—обыкновенный, голубой галстукъ. Матушка и дядя гуляли по аллеѣ и бесѣдовали. Я тихо подошелъ къ нимъ сзади и сталъ ждать, когда кто-нибудь изъ нихъ оглянется.

— Какой у тебя здѣсь восторгъ, Кладя!—говорилъ дядя.— Какъ мило и хорошо! Знай я раньше, что у тебя здѣсь такая прелесть, ни за что бы въ тѣ годы не ѣздилъ за границу.

Дядя быстро нагнулся и понюхалъ тюльпанъ. Что только ни попадалось ему на глаза, все возбуждало въ немъ вос-

торгъ и любопытство, словно отродясь онъ не видѣлъ сада и солнечнаго дня. Странный человѣкъ двигался какъ на пружинахъ и болталъ безъ умолку, не давая матушкѣ сказать ни одного слова. Вдругъ на поворотѣ аллеи изъ-за бузины показался Побѣдимскій. Появленіе его было такъ неожиданно, что дядя вздрогнулъ и отступилъ шагъ назадъ. Въ этотъ разъ мой учитель былъ въ своей парадной крылаткѣ съ рукавами, въ которой онъ, въ особенности сзади, очень походилъ на вѣтряную мельницу. Видъ у него былъ величественный и торжественный. Прижавъ по-испански шляпу къ груди, онъ сдѣлалъ шагъ къ дядѣ и поклонился, какъ кланяются маркизы въ мелодрамахъ: впередъ и нѣсколько на бокъ.

— Честь имѣю представиться вашему высокопревосходительству,—сказалъ онъ громко:—педагогъ и преподаватель вашего племянника, бывшій слушатель ветеринарнаго института, дворянинъ Побѣдимскій!

Такая учтивость учителя очень понравилась моей матушкѣ. Она улыбнулась и замерла отъ сладкаго ожиданія, что онъ скажетъ еще что-нибудь умное, но мой учитель, ожидавшій, что на его величественное обращеніе ему и отвѣтятъ величественно, т. е. скажутъ по-генеральски «гм» и протянутъ два пальца, сильно сконфузился и оробѣлъ, когда дядя привѣтливо засмѣялся и крѣпко пожалъ ему руку. Онъ пробормоталъ еще что-то несвязное, закашлялся и отошелъ въ сторону.

— Ну, не прелесть ли?—засмѣялся дядя.—Ты погляди: надѣлъ размахайку и думаетъ, что онъ очень умный человѣкъ! Нравится мнѣ это, клянусь Богомъ!.. Сколько вѣдь въ ней, въ этой глупой размахайкѣ, юнаго апломба, жизни! А это что за мальчикъ?—спросилъ онъ, вдругъ обернувшись и увидѣвъ меня.

— Это мой Андрюшенька, — отрекомендовала меня матушка, зардѣвшись.—Утѣшеніе мое...

Я шаркнулъ по песку ножкой и низко поклонился.

— Молодецъ мальчикъ... молодецъ мальчикъ...—забормоталъ дядя, отнимая отъ моихъ губъ руку и гладя меня по головѣ.—Тебя Андрюшей зовутъ? Такъ, такъ... Мда... клянусь Богомъ... Учишься?

Матушка, привирая и преувеличивая, какъ всѣ матери, начала описывать мои успѣхи по наукамъ и благонравіе,

а я шелъ около дяди и, согласно церемоніалу, не переставалъ отвѣшивать низкіе поклоны. Когда моя матушка начала уже забрасывать удочку на тотъ счетъ, что съ моими замѣчательными способностями мнѣ не мѣшало бы поступить въ кадетскій корпусъ на казенный счетъ, и когда я, согласно церемоніалу, долженъ былъ заплакать и попросить у дядюшки протекціи, дядя вдругъ остановился и въ изумленіи разставилъ руки.

— Б-батюшки! Это же что?—спросилъ онъ.

Прямо на насъ по аллеѣ шла Татьяна Ивановна, жена Ѳедора Петровича, нашего управляющаго. Она несла бѣлую накрахмаленную юбку и длинную гладильную доску. Проходя мимо насъ, она робко, сквозь рѣсницы взглянула на гостя и зардѣлась.

— Часъ отъ часу не легче... — процѣдилъ дядя сквозь зубы, ласково глядя ей вслѣдъ. — У тебя, сестра, что ни шагъ, то сюрпризъ... клянусь Богомъ.

— Она у насъ красавица...—сказала матушка.—Ѳедору ее изъ посада высватали... за сто верстъ отсюда...

Татьяну Ивановну не всякій назвалъ бы красавицей. Это была маленькая, полненькая женщина, лѣтъ двадцати, стройная, чернобровая, всегда розовая и миловидная, но на лицѣ и во всей фигурѣ ея не было ни одной крупной черты, ни одного смѣлаго штриха, на которомъ могъ бы остановиться глазъ, точно у природы, когда она творила ее, не хватало вдохновенія и увѣренности. Татьяна Ивановна была робка, конфузлива и благонравна, ходила тихо и плавно, мало говорила, рѣдко смѣялась, и вся жизнь ея была такъ же ровна и плоска, какъ лицо и гладко прилизанные волосы. Дядя щурилъ ей вслѣдъ глаза и улыбался. Матушка пристально посмотрѣла на его улыбающееся лицо и сдѣлалась серьезной.

— А вы, братецъ, такъ-таки и не женились! — вздохнула она.

— Не женился...

— Почему?—тихо спросила матушка.

— Какъ тебѣ сказать, жизнь такъ сложилась. Смолоду слишкомъ заработался, не до жизни было, а когда жить захотѣлось — оглянулся, но за моей спиной ужъ 50 лѣтъ стояло. Не успѣлъ! Впрочемъ, говорить объ этомъ... скучно.

Матушка и дядя, оба разомъ, вздохнули и пошли дальше,

а я отсталъ отъ нихъ и побѣжалъ искать учителя, чтобы подѣлиться съ нимъ своими впечатлѣніями. Побѣдимскій стоялъ посреди двора и величественно глядѣлъ на небо.

— Замѣтно, что развитой человѣкъ! — сказалъ онъ, покрутивъ головой.—Надѣюсь, что мы съ нимъ сойдемся.

Черезъ часъ подошла къ намъ матушка.

— А у меня, голубчики, горе!—начала она, задыхаясь.— Вѣдь братецъ съ лакеемъ пріѣхалъ, а лакей такой, Богъ съ нимъ, что ни въ кухню его не сунешь, ни въ сѣни, а непремѣнно особую комнату ему подавай. Ума не приложу, что мнѣ дѣлать! Вотъ что развѣ, дѣточки, не перебраться ли вамъ покуда во флигель къ Ѳедору? А вашу комнату лакею бы отдали, а?

Мы отвѣтили полнымъ согласіемъ, потому что жить во флигелѣ гораздо свободнѣе, чѣмъ въ домѣ, на глазахъ у матушки.

— Горе, да и только! — продолжала матушка. — Братецъ сказалъ, что онъ будетъ обѣдать не въ полдень, а въ седьмомъ часу, по-столичному. Просто у меня съ горя умъ за разумъ зашелъ! Вѣдь къ 7 часамъ весь обѣдъ перепарится въ печкѣ. Право, мужчины совсѣмъ ничего не понимаютъ въ хозяйствѣ, хотя они и большого ума. Придется, горе мое, два обѣда стряпать! Вы, дѣточки, обѣдайте попрежнему въ полдень, а я, старуха, потерплю для родного брата, до семи часовъ.

Затѣмъ матушка глубоко вздохнула, приказала мнѣ понравиться дядюшкѣ, котораго Богъ прислалъ на мое счастье, и побѣжала въ кухню. Въ тотъ же день я и Побѣдимскій переселились во флигель. Насъ помѣстили въ проходной комнатѣ, между сѣнями и спальней управляющаго.

Несмотря на пріѣздъ дяди и новоселье, жизнь, сверхъ ожиданія, потекла прежнимъ порядкомъ, вялая и однообразная. Отъ занятій, «по случаю гостя», мы были освобождены. Побѣдимскій, который никогда ничего не читалъ и ничѣмъ не занимался, сидѣлъ обыкновенно у себя на кровати, водилъ по воздуху своимъ длиннымъ носомъ и о чемъ-то думалъ. Изрѣдка онъ поднимался, примѣривалъ свой новый костюмъ и опять садился, чтобы молчать и думать. Одно только озабочивало его — это мухи, по которымъ онъ нещадно хлопалъ ладонями. Послѣ обѣда онъ обыкновенно «отдыхалъ», причемъ храпомъ наводилъ тоску на всю

усадьбу. Я отъ утра до вечера бѣгалъ по саду или сидѣлъ у себя во флигелѣ и клеилъ змѣевъ. Дядю въ первыя двѣ-три недѣли мы видѣли рѣдко. По цѣлымъ днямъ онъ сидѣлъ у себя въ комнатѣ и работалъ, несмотря ни на мухъ, ни на жару. Его необыкновенная способность сидѣть и приростать къ столу производила на насъ впечатлѣніе необъяснимаго фокуса. Для насъ, лѣнтяевъ, не знавшихъ систематическаго труда, его трудолюбіе было просто чудомъ. Проснувшись часовъ въ 9, онъ садился за столъ и не вставалъ до самаго обѣда; пообѣдавъ, опять принимался за работу и такъ до поздней ночи. Когда я заглядывалъ къ нему въ замочную скважину, то всегда видѣлъ неизмѣнно одно и то же: дядя сидѣлъ за столомъ и работалъ. Работа заключалась въ томъ, что онъ одной рукой писалъ, другой перелистывалъ книгу и, какъ это ни странно, весь двигался: качалъ ногой, какъ маятникомъ, насвистывалъ и кивалъ въ тактъ головой. Видъ у него при этомъ былъ крайне разсѣянный и легкомысленный, точно онъ не работалъ, а игралъ въ нули и крестики. Каждый разъ я видѣлъ на немъ короткій, щегольской пиджакъ и ухарски завязанный галстукъ, и каждый разъ, даже сквозь замочную скважину, отъ него пахло тонкими женскими духами. Выходилъ онъ изъ своей комнаты только обѣдать, но обѣдалъ плохо.

— Не пойму я братца!—жаловалась на него матушка.— Каждый день нарочно для него рѣжемъ индѣйку и голубей, сама своими руками дѣлаю компотъ, а онъ скушаетъ тарелочку бульону да кусочекъ мясца съ палецъ и идетъ изъ-за стола. Стану умолять его, чтобъ ѣлъ, онъ воротится къ столу и выпьетъ молочка. А что въ немъ, въ молокѣ-то? Тѣ же помои! Умрешь отъ такой ѣды... Начнешь его уговаривать, а онъ только смѣется, да шутитъ... Нѣтъ, не нравятся ему, голубчику, наши кушанья!

Вечера проходили у насъ гораздо веселѣе, чѣмъ дни. Обыкновенно, когда садилось солнце и по двору ложились длинныя тѣни, мы, то-есть Татьяна Ивановна, Побѣдимскій и я, уже сидѣли на крылечкѣ флигеля. До самыхъ потемокъ мы молчали. Да и о чемъ прикажете говорить, когда уже все переговорено? Была одна новость — пріѣздъ дяди, но и эта тема скоро истрепалась. Учитель все время не отрывалъ глазъ отъ лица Татьяны Ивановны и глубоко

вздыхалъ... Тогда я не понималъ этихъ вздоховъ и не доискивался ихъ смысла, теперь же они объясняютъ мнѣ очень многое.

Когда тѣни на землѣ сливались въ одну сплошную тѣнь, съ охоты или съ поля возвращался управляющій Ѳедоръ. Этотъ Ѳедоръ производилъ на меня впечатлѣніе человѣка дикаго и даже страшнаго. Сынъ обрусѣвшаго изюмскаго цыгана, черномазый, съ большими черными глазами, кудрявый, со всклоченной бородой, онъ иначе и не назывался у нашихъ кучуевскихъ мужиковъ, какъ «чертякой». Да и кромѣ наружности, въ немъ было много цыганскаго. Такъ, онъ не могъ сидѣть дома и по цѣлымъ днямъ пропадалъ въ полѣ или на охотѣ. Онъ былъ мрачепъ, желченъ, молчаливъ и никого не боялся и не признавалъ надъ собой ничьей власти. Матушкѣ онъ грубилъ, мнѣ говорилъ «ты», а къ учености Побѣдимскаго относился презрительно. Все это мы прощали ему, считая его человѣкомъ вспыльчивымъ и болѣзненнымъ. Матушка же любила его, потому что онъ, несмотря на свою цыганскую натуру, былъ идеально честенъ и трудолюбивъ. Свою Татьяну Ивановну онъ любилъ страстно, какъ цыганъ, но любовь эта выходила у него какой-то мрачной, словно выстраданной. При насъ онъ никогда не ласкалъ своей жены, а только злобно таращилъ на нее глаза и кривилъ ротъ.

Возвратившись съ поля, онъ со стукомъ и со злобой ставилъ во флигелѣ ружье, выходилъ къ намъ на крылечко и садился рядомъ съ женой. Отдышавшись, онъ задавалъ женѣ нѣсколько вопросовъ по части хозяйства и погружался въ молчаніе.

— Давайте пѣть,—предлагалъ я.

Учитель настраивалъ гитару и густымъ, дьячковскимъ басомъ затягивалъ «Среди долины ровныя». Начиналось пѣніе. Учитель пѣлъ басомъ, Ѳедоръ едва слышнымъ теноркомъ, а я дискантомъ въ одинъ голосъ съ Татьяной Ивановной.

Когда все небо покрывалось звѣздами и умолкали лягушки, изъ кухни приносили намъ ужинъ. Мы шли во флигель и принимались за ѣду. Учитель и цыганъ ѣли съ жадностью, съ трескомъ, такъ что трудно было понять, хрустѣли то кости, или ихъ скулы, и мы съ Татьяной Ива-

новной едва успѣвали съѣсть свои доли. Послѣ ужина флигель погружался въ глубокій сонъ.

Однажды, было это въ концѣ мая, мы сидѣли на крыльцѣ и ожидали ужина. Вдругъ мелькнула тѣнь и передъ нами, словно изъ земли выросши, предсталъ Гундасовъ. Онъ долго глядѣлъ на насъ, потомъ всплеснулъ руками и весело засмѣялся.

— Идиллія!—сказалъ онъ.—Поютъ и мечтаютъ на луну! Прелестно, клянусь Богомъ! Можно мнѣ сѣсть съ вами и помечтать?

Мы молчали и переглядывались. Дядя сѣлъ на нижнюю ступеньку, зѣвнулъ и поглядѣлъ на небо. Наступило молчаніе. Побѣдимскій, который давно уже собирался потолковать со свѣжимъ человѣкомъ, обрадовался случаю и первый нарушилъ молчаніе. Для умныхъ разговоровъ у него была одна только тема—эпизоотіи. Случается, что когда вы попадете въ тысячную толпу, вамъ почему-то изъ тысячи физіономій врѣзывается надолго въ память только одна какая-нибудь, такъ и Побѣдимскій изъ всего того, что онъ успѣлъ услышать въ ветеринарномъ институтѣ за полгода, помнилъ только одно мѣсто:

«Эпизоотіи приносятъ громадный ущербъ народному хозяйству. Въ борьбѣ съ ними общество должно идти рука объ руку съ правительствомъ».

Прежде чѣмъ сказать это Гундасову, мой учитель раза три крякнулъ и нѣсколько разъ въ волненіи запахивался въ крылатку. Услышавъ про эпизоотіи, дядя пристально поглядѣлъ на учителя и издалъ носомъ смѣющійся звукъ.

— Ей-Богу, это мило...—пробормоталъ онъ, разглядывая насъ, какъ манекеновъ.—Это именно и есть жизнь... Такою въ сущности и должна быть дѣйствительность. А вы что же молчите, Пелагея Ивановна? — обратился онъ къ Татьянѣ Ивановнѣ.

Та сконфузилась и кашлянула.

— Говорите, господа, пойте... играйте! Не теряйте времени. Вѣдь канальское время бѣжитъ, не ждетъ! Клянусь Богомъ, не успѣете оглянуться, какъ наступитъ старость... Тогда ужъ поздно будетъ жить! Такъ-то, Пелагея Ивановна... Не нужно сидѣть неподвижно и молчать...

Тутъ изъ кухни принесли ужинъ. Дядя пошелъ за нами во флигель и за компанію съѣлъ пять творожниковъ и

утиное крылышко. Онъ ѣлъ и глядѣлъ на насъ. Всѣ мы возбуждали въ немъ восторгъ и умиленіе. Какую бы глупость ни сморозилъ мой незабвенный учитель и что бы ни сдѣлала Татьяна Ивановна, все находилъ онъ милымъ и восхитительнымъ. Когда послѣ ужина Татьяна Ивановна смиренно сѣла въ уголокъ и принялась за вязанье, онъ не отрывалъ глазъ отъ ея пальчиковъ и болталъ безъ умолку.

— Вы, друзья, какъ можно скорѣе спѣшите жить...— говорилъ онъ.—Храни васъ Богъ жертвовать настоящимъ для будущаго! Въ настоящемъ молодость, здоровье, пылъ, а будущее—это обманъ, дымъ! Какъ только стукнетъ двадцать лѣтъ, такъ и начинайте жить.

Татьяна Ивановна уронила иглу. Дядя вскочилъ, поднялъ иглу и съ поклономъ подалъ ее Татьянѣ Ивановнѣ и тутъ я впервые узналъ, что на свѣтѣ есть люди потоньше Побѣдимскаго.

— Да... — продолжалъ дядя. — Любите, женитесь... дѣлайте глупости. Глупость гораздо жизненнѣе и здоровѣе, чѣмъ наши потуги и погоня за осмысленной жизнью.

Дядя говорилъ много и долго, до того долго, что надоѣлъ намъ, а я сидѣлъ въ сторонѣ на сундукѣ, слушалъ его и дремалъ. Мучило меня, что за все время онъ ни разу не обратилъ на меня вниманія. Ушелъ онъ изъ флигеля въ два часа ночи, когда я, не справившись съ дремотою, уже крѣпко спалъ.

Съ этого времени дядя сталъ ходить къ намъ во флигель каждый вечеръ. Онъ пѣлъ съ нами, ужиналъ и всякій разъ просиживалъ до двухъ часовъ, безъ умолку болталъ все объ одномъ и томъ же. Вечернія и ночныя работы были имъ оставлены, а къ концу іюня, когда тайный совѣтникъ научился ѣсть матушкины индѣйки и компоты, были брошены и дневныя занятія. Дядя оторвался отъ стола и втянулся въ «жизнь». Днемъ онъ шагалъ по саду, насвистывалъ и мѣшалъ рабочимъ, заставляя ихъ разсказывать ему разныя исторіи. Когда на глаза попадалась Татьяна Ивановна, онъ подбѣгалъ къ ней и, если она несла что-нибудь, предлагалъ ей свою помощь, что страшно ее конфузило.

Чѣмъ дальше вглубь уходило лѣто, тѣмъ легкомысленнѣе,

вертлявѣе и разсѣяннѣе становился мой дядюшка. Побѣдимскій въ немъ совсѣмъ разочаровался.

— Слишкомъ односторонній человѣкъ...—говорилъ онъ.— Ни капли незамѣтно, чтобъ онъ стоялъ на высшихъ ступеняхъ іерархіи. И говорить даже не умѣетъ. Послѣ каждаго слова: «клянусь Богомъ». Нѣтъ, не нравится мнѣ онъ!

Съ тѣхъ поръ, какъ дядя началъ посѣщать нашъ флигель, въ Ѳедорѣ и въ моемъ учителѣ произошла замѣтная перемѣна. Ѳедоръ пересталъ ходить на охоту, рано возвращался домой, сдѣлался еще молчаливѣе и какъ-то особенно злобно пялилъ глаза на жену. Учитель же пересталъ въ присутствіи дяди говорить объ эпизоотіяхъ, хмурился и даже насмѣшливо улыбался.

— Идетъ нашъ мышиный жеребчикъ!—проворчалъ онъ однажды, когда дядя подходилъ къ флигелю.

Такую перемѣну въ обоихъ я объяснялъ себѣ тѣмъ, что они обидѣлись на дядю. Разсѣянный дядя путалъ ихъ имена, до самаго отъѣзда не научился различать, кто изъ нихъ учитель, а кто мужъ Татьяны Ивановны, самое Татьяну Ивановну величалъ то Настасьей, то Пелагеей, то Евдокіей. Умиляясь и восторгаясь нами, онъ смѣялся и держалъ себя словно съ малыми ребятами... Все это, конечно, могло оскорблять молодыхъ людей. Но дѣло было не въ обидѣ, а, какъ теперь я понимаю, въ болѣе тонкихъ чувствахъ.

Помню, въ одинъ изъ вечеровъ я сидѣлъ на сундукѣ и боролся съ дремотой. На глаза мои ложился вязкій клей, и тѣло, утомленное цѣлодневной бѣготней, клонило въ сторону. Но я боролся со сномъ и старался глядѣть. Было около полуночи. Татьяна Ивановна, розовая и смиренная, какъ всегда, сидѣла у маленькаго столика и шила мужу рубаху. Изъ одного угла пялилъ на нее глаза Ѳедоръ, мрачный и угрюмый, а въ другомъ сидѣлъ Побѣдимскій, уходившій въ высокіе воротнички своей сорочки и сердито сопѣвшій. Дядя ходилъ изъ угла въ уголъ и о чемъ-то думалъ. Царило молчаніе, только слышно было, какъ въ рукахъ Татьяны Ивановны шуршало полотно. Вдругъ дядя остановился передъ Татьяной Ивановной и сказалъ:

— Такіе вы всѣ молодые, свѣжіе, хорошіе, такъ безмятежно живется вамъ въ этой тишинѣ, что я завидую вамъ.

Я привязался къ этой вашей жизни, у меня сердце сжимается, когда вспоминаю, что нужно уѣхать отсюда... Вѣрьте моей искренности!

Дремота замкнула мои глаза, и я забылся. Когда какой-то стукъ разбудилъ меня, дядя стоялъ передъ Татьяной Ивановной и глядѣлъ на нее съ умиленіемъ. Щеки у него разгорѣлись.

— Моя жизнь пропала, — говорилъ онъ. — Я не жилъ! Ваше молодое лицо напоминаетъ мнѣ мою погибшую юность, и я бы согласился до самой смерти сидѣть здѣсь и глядѣть на васъ. Съ удовольствіемъ я взялъ бы васъ съ собой въ Петербургъ.

— Зачѣмъ это?—спросилъ хриплымъ голосомъ Ѳедоръ.

— Поставилъ бы у себя на рабочемъ столѣ подъ стекломъ, любовался бы и другимъ показывалъ. Вы знаете, Пелагея Ивановна, такихъ, какъ вы, тамъ у насъ нѣтъ. У насъ есть богатство, знатность, иногда красота, но нѣтъ этой жизненной правды... этого здороваго покоя...

Дядя сѣлъ передъ Татьяной Ивановной и взялъ ее за руку.

— Такъ не хотите со мной въ Петербургъ?—засмѣялся онъ.—Въ такомъ случаѣ дайте мнѣ туда хоть вашу ручку... Прелестная ручка! Не дадите? Ну, скупая, позвольте хоть поцѣловать ее...

Въ это время послышался трескъ стула. Ѳедоръ вскочилъ и мѣрными, тяжелыми шагами подошелъ къ женѣ. Лицо его было блѣдно-сѣро и дрожало. Онъ со всего размаха ударилъ кулакомъ по столику и сказалъ глухимъ голосомъ:

— Я не позволю!

Одновременно съ нимъ вскочилъ со стула и Побѣдимскій. Этотъ, тоже блѣдный и злой, подошелъ къ Татьянѣ Ивановнѣ и тоже ударилъ кулакомъ по столику...

— Я... я не позволю!—сказалъ онъ.

— Что? Что такое?—удивился дядя.

— Я не позволю!—повторилъ Ѳедоръ, стукнувъ по столу.

Дядя вскочилъ и трусливо замигалъ глазами. Онъ хотѣлъ говорить, но отъ изумленія и перепуга не сказалъ ни слова, конфузливо улыбнулся и старчески засѣменилъ изъ флигеля, оставивъ у насъ свою шляпу. Когда, немного погодя, во флигель прибѣжала встревоженная матушка, Ѳедоръ и

Побѣдимскій все еще, словно кузнецы молотками, стучали кулаками по столу и говорили: «Я не позволю!»

— Что у васъ тутъ случилось? — спросила матушка.— Отчего съ братцемъ сдѣлалось дурно? Что такое?

Поглядѣвъ на блѣдную, испуганную Татьяну Ивановну и на ея разсвирѣпѣвшаго мужа, матушка, вѣроятно, догадалась, въ чемъ дѣло. Она вздохнула и покачала головой.

— Ну, будетъ, будетъ бухотѣть по столу! — сказала она. — Перестань, Ѳедоръ! А вы-то чего стучите, Егоръ Алексѣевичъ? Вы-то тутъ при чемъ?

Побѣдимскій спохватился и сконфузился. Ѳедоръ пристально поглядѣлъ на него, потомъ на жену и зашагалъ по комнатѣ. Когда матушка вышла изъ флигеля, я видѣлъ то, что долго потомъ считалъ за сонъ. Я видѣлъ, какъ Ѳедоръ схватилъ моего учителя, поднялъ его на воздухъ и вышвырнулъ въ дверь...

Когда я проснулся утромъ, постель учителя была пуста. На мой вопросъ, гдѣ учитель, нянька шопотомъ сказала мнѣ, что его рано утромъ отвезли въ больницу лѣчить сломанную руку. Опечаленный этимъ извѣстіемъ и припоминая вчерашній скандалъ, я вышелъ на дворъ. Погода стояла пасмурная. Небо заволокло тучами и по землѣ гулялъ вѣтеръ, поднимая съ земли пыль, бумажки и перья... Чувствовалась близость дождя. На людяхъ и на животныхъ была написана скука. Когда я пошелъ въ домъ, меня попросили не стучать ногами, сказавъ, что матушка больна мигренью и лежитъ въ постели. Что дѣлать? Я пошелъ за ворота, сѣлъ тамъ на лавочку и сталъ искать смысла въ томъ, что я вчера видѣлъ и слышалъ. Отъ нашихъ воротъ шла дорога, которая, обойдя кузницу и никогда не высыхающую лужу, впадала въ большую, почтовую дорогу... Я глядѣлъ на телеграфные столбы, около которыхъ кружились облака пыли, на сонныхъ птицъ, сидѣвшихъ на проволокахъ, и мнѣ вдругъ стало такъ скучно, что я заплакалъ.

По почтовой дорогѣ проѣхала пыльная линейка, биткомъ набитая горожанами, ѣхавшими, вѣроятно, на богомолье. Не успѣла линейка исчезнуть изъ вида, какъ показалась легкая пролетка, запряженная въ пару. Въ ней, стоя и держась за поясъ кучера, ѣхалъ становой Акимъ Никитичъ. Къ великому моему удивленію, пролетка свернула

на нашу дорогу и пролетѣла мимо меня въ ворота. Пока я недоумѣвалъ, зачѣмъ это прикатилъ къ намъ становой, послышался шумъ, и на дорогѣ показалась тройка. Въ коляскѣ стоялъ исправникъ и показывалъ кучеру на наши ворота.

«А этотъ зачѣмъ? — думалъ я, разглядывая покрытаго пылью исправника. — Это, вѣроятно, Побѣдимскій имъ на Ѳедора пожаловался, и они пріѣхали взять его въ острогъ».

Но загадку не такъ легко было рѣшить. Становой и исправникъ были только предтечи, потому что не прошло и пяти минутъ, какъ къ намъ въ ворота въѣхала карета. Она такъ быстро мелькнула мимо меня, что, заглянувъ въ каретное окно, я увидѣлъ одну только рыжую бороду.

Теряясь въ догадкахъ и предчувствуя что-то недоброе, я побѣжалъ къ дому. Въ передней прежде всего я увидѣлъ матушку. Она была блѣдна и съ ужасомъ глядѣла на дверь, изъ-за которой слышались мужскіе голоса. Гости застали ее врасплохъ, въ самый разгаръ мигрени.

— Кто пріѣхалъ, мама?—спросилъ я.

— Сестра!—послышался голосъ дяди.—Дай-ка намъ съ губернаторомъ закусить чего-нибудь!

— Легко сказать: закусить!—прошептала матушка, млѣя отъ ужаса.—Что я теперь успѣю приготовить? Осрамилась на старости лѣтъ!

Матушка схватила себя за голову и побѣжала въ кухню. Внезапный пріѣздъ губернатора поднялъ на ноги и ошеломилъ всю усадьбу. Поднялась ожесточенная рѣзня. Зарѣзали штукъ десять куръ, пять индѣекъ, восемь утокъ и впопыхахъ обезглавили стараго гусака, родоначальника нашего гусинаго стада и любимца матери. Кучера и поваръ словно обезумѣли и рѣзали птицъ зря, не разбирая ни возраста, ни породы. Ради какого-то соуса у меня погибла пара дорогихъ турмановъ, которые мнѣ были такъ же дороги, какъ матушкѣ гусакъ. Смерти ихъ я долго не прощалъ губернатору.

Вечеромъ, когда губернаторъ и его свита, сытно пообѣдавъ, сѣли въ свои экипажи и уѣхали, я пошелъ въ домъ поглядѣть на остатки пиршества. Заглянувъ изъ передней въ залу, я увидѣлъ и дядю, и матушку. Дядя, заложивъ руки назадъ, нервно шагалъ вдоль стѣнъ и пожималъ плечами. Матушка, изнеможенная и сильно похудѣвшая, си-

дѣла на диванѣ и больными глазами слѣдила за движеніями брата.

— Извини, сестра, но такъ нельзя... — брюзжалъ дядя, морща лицо.—Я представляю тебѣ губернатора, а ты ему руки не подаешь! Ты его сконфузила, несчастнаго! Нѣтъ, это не годится... Простота хорошая вещь, но вѣдь и она должна имѣть предѣлы... клянусь Богомъ... И потомъ этотъ обѣдъ! Развѣ можно такими обѣдами кормить? Напримѣръ, что это за мочалку подавали на четвертое блюдо?

— Это утка подъ сладкимъ соусомъ...—тихо отвѣтила матушка.

— Утка... Прости, сестра, но... но у меня вотъ изжога! Я боленъ!

Дядя сдѣлалъ кислое, плачущее лицо и продолжалъ:

— И чортъ принесъ этого губернатора! Очень мнѣ нуженъ его визитъ! Пф... изжога! Я не могу ни спать, ни работать... Совсѣмъ развинтился... И какъ это, не понимаю, вы можете жить тутъ безъ работы... въ этой скучищѣ! Вотъ ужъ у меня и боль начинается подъ ложечкой!..

Дядя нахмурился и быстрѣе зашагалъ.

— Братецъ,—тихо спросила матушка:—а сколько стоитъ поѣхать за границу?

— По меньшей мѣрѣ три тысячи...—отвѣтилъ плачущимъ голосомъ дядя.—Я бы поѣхалъ, а гдѣ ихъ взять? У меня ни копейки! Пф... изжога!

Дядя остановился, поглядѣлъ съ тоской на сѣрое, пасмурное окно и опять зашагалъ.

Наступило молчаніе... Матушка долго глядѣла на икону, что-то раздумывая, потомъ заплакала и сказала:

— Я, братецъ, дамъ вамъ три тысячи...

Дня черезъ три величественные чемоданы были отправлены на станцію, а вслѣдъ за ними укатилъ и тайный совѣтникъ. Прощаясь съ матушкой, онъ заплакалъ и долго не могъ оторвать губъ отъ ея руки, когда же онъ сѣлъ въ экипажъ, лицо его освѣтилось дѣтскою радостью... Сіяющій, счастливый, онъ усѣлся поудобнѣй, сдѣлалъ на прощанье плачущей матушкѣ ручкой и вдругъ неожиданно остановилъ свой взглядъ на мнѣ. На лицѣ его появилось выраженіе крайняго удивленія.

— А это что за мальчикъ?—спросилъ онъ.

Матушку, увѣрявшую меня, что дядюшку Богъ послалъ

къ намъ на мое счастье, этотъ вопросъ сильно покоробилъ. Мнѣ же было не до вопросовъ. Я глядѣлъ на счастливое лицо дяди и мнѣ почему-то было страшно жаль его. Я не выдержалъ, вскочилъ въ экипажъ и горячо обнялъ этого легкомысленнаго и слабаго, какъ всѣ люди, человѣка. Глядя ему въ глаза и желая сказать что-нибудь пріятное, я спросилъ:

— Дядя, вы были хоть разъ на войнѣ?

— Ахъ, милый мальчикъ...—засмѣялся дядя, цѣлуя меня:— милый мальчикъ, клянусь Богомъ. Такъ все это естественно, жизненно... клянусь Богомъ...

Коляска тронулась... Я глядѣлъ ей вслѣдъ и долго слышалъ это прощальное «клянусь Богомъ».

# ПИСЬМО.

Благочинный о. Ѳедоръ Орловъ, благообразный, хорошо упитанный мужчина, лѣтъ пятидесяти, какъ всегда важный и строгій, съ привычнымъ, никогда не сходящимъ съ лица выраженіемъ достоинства, но до крайности утомленный, ходилъ изъ угла въ уголъ по своей маленькой залѣ и напряженно думалъ объ одномъ: когда, наконецъ, уйдетъ его гость? Эта мысль томила и не оставляла его ни на минуту. Гость отецъ Анастасій, священникъ одного изъ подгороднихъ селъ, часа три тому назадъ пришелъ къ нему по своему дѣлу, очень непріятному и скучному, засидѣлся и теперь, положивъ локоть на толстую счетную книгу, сидѣлъ въ углу за круглымъ столикомъ и, повидимому, не думалъ уходить, хотя уже былъ девятый часъ вечера.

Не всякій умѣетъ во-время замолчать и во-время уйти. Нерѣдко случается, что даже свѣтски воспитанные, политичные люди не замѣчаютъ, какъ ихъ присутствіе возбуждаетъ въ утомленномъ или занятомъ хозяинѣ чувство, похожее на ненависть, и какъ это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. Отецъ же Анастасій отлично видѣлъ и понималъ, что его присутствіе тягостно и неумѣстно, что благочинный, служившій ночью утреню, а въ полдень длинную обѣдню, утомленъ и хочетъ покоя: каждую минуту онъ собирался подняться и уйти, но не поднимался, сидѣлъ и какъ будто ждалъ чего-то. Это былъ старикъ 65-ти лѣтъ, дряхлый не по лѣтамъ, костлявый и сутуловатый, съ старчески-темнымъ, исхудалымъ лицомъ, съ красными вѣками и длинной, узкой, какъ у рыбы, спи

ной; одѣтъ онъ былъ въ щегольскую свѣтло-лиловую, но слишкомъ просторную для него рясу (подаренную ему вдовою одного недавно умершаго молодого священника), въ суконный кафтанъ съ широкимъ кожанымъ поясомъ и въ неуклюжіе сапоги, размѣръ и цвѣтъ которыхъ ясно показывалъ, что о. Анастасій обходился безъ калошъ. Несмотря на санъ и почтенные годы, что-то жалкенькое, забитое и униженное выражали его красные, мутноватые глаза, сѣдыя съ зеленымъ отливомъ косички на затылкѣ, большія лопатки на тощей спинѣ... Онъ молчалъ, не двигался и кашлялъ съ такою осторожностью, какъ будто боялся, чтобы отъ звуковъ кашля его присутствіе не стало замѣтнѣе.

У благочиннаго старикъ бывалъ по дѣлу. Мѣсяца два назадъ ему запретили служить впредь до разрѣшенія и назначили надъ нимъ слѣдствіе. Грѣховъ за нимъ числилось много. Онъ велъ нетрезвую жизнь, не ладилъ съ причтомъ и съ міромъ, небрежно велъ метрическія записи и отчетность—въ этомъ его обвиняли формально, но кромѣ того, еще съ давнихъ поръ носились слухи, что онъ вѣнчалъ за деньги недозволенные браки и продавалъ пріѣзжавшимъ къ нему изъ города чиновникамъ и офицерамъ свидѣтельства о говѣніи. Эти слухи держались тѣмъ упорнѣе, что онъ былъ бѣденъ и имѣлъ девять человѣкъ дѣтей, жившихъ на его шеѣ и такихъ же неудачниковъ, какъ и онъ самъ. Сыновья были необразованы, избалованы и сидѣли безъ дѣла, а некрасивыя дочери не выходили замужъ.

Не имѣя силы быть откровеннымъ, благочинный ходилъ изъ угла въ уголъ, молчалъ, или же говорилъ намеками.

— Значитъ, вы нынче не поѣдете къ себѣ домой? — спросилъ онъ, останавливаясь около темнаго окна и просовывая мизинецъ къ спящей, надувшейся канарейкѣ.

О. Анастасій встрепенулся, осторожно кашлянулъ и сказалъ скороговоркой:

— Домой? Богъ съ нимъ, не поѣду, Ѳедоръ Ильичъ. Сами знаете, служить мнѣ нельзя, такъ что же я тамъ буду дѣлать? Нарочито я уѣхалъ, чтобъ людямъ въ глаза не глядѣть. Сами знаете, совѣстно не служить. Да и дѣло тутъ мнѣ есть, Ѳедоръ Ильичъ. Хочу завтра послѣ розговѣнья съ отцомъ-слѣдователемъ обстоятельно поговорить.

— Такъ... — зѣвнулъ благочинный. — А вы гдѣ остановились?

— У Зявкина.

О. Анастасій вдругъ вспомнилъ, что часа черезъ два благочинному предстоитъ служить пасхальную утреню, и ему стало такъ стыдно своего непріятнаго, стѣсняющаго присутствія, что онъ рѣшилъ немедленно уйти и дать утомленному человѣку покой. И старикъ поднялся, чтобы уйти, но прежде чѣмъ начать прощаться, онъ минуту откашливался и пытливо, все съ тѣмъ же выраженіемъ неопредѣленнаго ожиданія во всей фигурѣ, глядѣлъ на спину благочиннаго; на лицѣ его заиграли стыдъ, робость и жалкій, принужденный смѣхъ, какимъ смѣются люди, не уважающіе себя. Какъ-то рѣшительно махнувъ рукой, онъ сказалъ съ сиплымъ дребезжащимъ смѣхомъ:

— Отецъ Ѳедоръ, продлите вашу милость до конца, велите на прощанье дать мнѣ... рюмочку водочки!

— Не время теперь пить водку,—строго сказалъ благочинный.—Стыдъ надо имѣть.

Отецъ Анастасій еще больше сконфузился, засмѣялся и, забывъ про свое рѣшеніе уходить домой, опустился на стулъ. Благочинный взглянулъ на его растерянное, сконфуженное лицо, на согнутое тѣло, и ему стало жаль старика.

— Богъ дастъ завтра выпьемъ, — сказалъ онъ, желая смягчить свой строгій отказъ.—Все хорошо во-время.

Благочинный вѣрилъ въ исправленіе людей, но теперь, когда въ немъ разгорелось чувство жалости, ему стало казаться, что этотъ подслѣдственный, испитой, опутанный грѣхами и немощами старикъ погибъ для жизни безвозвратно, что на землѣ нѣтъ уже силы, которая могла бы разогнуть его спину, дать взгляду ясность, задержать непріятный, робкій смѣхъ, какимъ онъ нарочно смѣялся, чтобы сгладить хотя немного производимое имъ на людей отталкивающее впечатлѣніе.

Старикъ казался уже о. Ѳедору не виновнымъ и не порочнымъ, а униженнымъ, оскорбленнымъ, несчастнымъ; вспомнилъ благочинный его попадью, девять человѣкъ дѣтей, грязныя нищенскія полати у Зявкина, вспомнилъ почему-то тѣхъ людей, которые рады видѣть пьяныхъ священниковъ и уличаемыхъ начальниковъ, и подумалъ, что самое лучшее, что могъ бы сдѣлать теперь о. Анастасій,

это—какъ можно скорѣе умереть, навсегда уйти съ этого свѣта.

Послышались шаги.

— О. Ѳедоръ, вы не отдыхаете?—спросилъ изъ передней басъ.

— Нѣтъ, дьяконъ, войди.

Въ залу вошелъ сослуживецъ Орлова, дьяконъ Любимовъ, человѣкъ старый, съ плѣшью во все темя, но еще крѣпкій, черноволосый и съ густыми черными, какъ у грузина бровями. Онъ поклонился Анастасію и сѣлъ.

— Что скажешь хорошаго?—спросилъ благочинный.

— Да что хорошаго? — отвѣтилъ дьяконъ и, помолчавъ немного, продолжалъ съ улыбкой:—Малыя дѣти—малое горе, большія дѣти—большое горе. Тутъ такая исторія, о. Ѳедоръ, что никакъ не опомнюсь. Комедія, да и только.

Онъ еще немного помолчалъ, улыбнулся шире и сказалъ:

— Нынче Николай Матвѣичъ изъ Харькова вернулся. Про моего Петра мнѣ разсказывалъ. Былъ, говоритъ, у него раза два.

— Что же онъ тебѣ разсказывалъ?

— Встревожилъ, Богъ съ нимъ. Хотѣлъ меня порадовать, а какъ я раздумался, то выходитъ, что мало тутъ радости. Скорбѣть надо, а не радоваться... «Твой, говоритъ, Петрушка шибко живетъ, рукой, говоритъ, до него теперь не достанешь». Ну, и слава Богу, говорю. «Я, говоритъ, у него обѣдалъ и весь образъ его жизни видѣлъ. Живетъ, говоритъ, благородно, лучше и не надо». Мнѣ, извѣстно, любопытно, я и спрашиваю: а что за обѣдомъ у него подавали? «Сначала, говоритъ, рыбное, словно какъ бы на манеръ ухи, потомъ языкъ съ горошкомъ, а потомъ, говоритъ, индѣйку жареную». Это въ постъ-то индѣйку? Хороша, говорю, радость. Въ Великій постъ-то индѣйку? А?

— Удивительнаго мало,—сказалъ благочинный, насмѣшливо щуря глаза.

И заложивъ большіе пальцы обѣихъ рукъ за поясъ, онъ выпрямился и сказалъ тономъ, какимъ говорилъ обыкновенно проповѣди или объяснялъ ученикамъ въ уѣздномъ училищѣ Законъ Божій:

— Люди, не соблюдающіе постовъ, дѣлятся на двѣ различныя категоріи: одни не исполняютъ по легкомыслію,

другіе же по невѣрію. Твой Петръ не исполняетъ по невѣрію. Да.

Дьяконъ робко поглядѣлъ на строгое лицо о. Ѳедора и сказалъ:

— Дальше—больше... Поговорили, потолковали, то да се, и оказывается еще, что мой невѣряка-сынокъ съ какой-то мадамой живетъ, съ чужой женой. Она у него на квартирѣ замѣсто жены и хозяйки, чай разливаетъ, гостей принимаетъ и остальное прочее, какъ вѣнчаная. Уже третій годъ, какъ съ этой гадюкой хороводится. Комедія, да и только. Три года живутъ, а дѣтей нѣту.

— Стало-быть, въ цѣломудріи живутъ! — захихикалъ о. Анастасій, сипло кашляя. — Есть дѣти, отецъ дьяконъ, есть, да дома не держатъ! Въ воспитательные пріюты отсылаютъ! Хе-хе-хе... (Анастасій закашлялся).

— Не суйтесь, о. Анастасій, — строго сказалъ благочинный.

— Николай Матвѣичъ и спрашиваетъ его: «Какая это такая у васъ мадама за столомъ супъ разливаетъ?»—продолжалъ дьяконъ, мрачно оглядывая согнутое тѣло Анастасія. — А онъ ему: это, говоритъ, моя жена. А тотъ и спроси: «Давно ли изволили вѣнчаться?» Петръ и отвѣчаетъ: «Мы вѣнчались въ кондитерской Куликова».

Глаза благочиннаго гнѣвно вспыхнули и на вискахъ выступила краска. Помимо своей грѣховности, Петръ былъ ему несимпатиченъ, какъ человѣкъ вообще. О. Ѳедоръ имѣлъ противъ него, что называется, зубъ. Онъ помнилъ его еще мальчикомъ-гимназистомъ, помнилъ отчетливо, потому что и тогда еще онъ казался ему ненормальнымъ. Петруша-гимназистъ стыдился помогать въ алтарѣ, обижался, когда говорили ему «ты», входя въ комнаты, не крестился и, что памятнѣе всего, любилъ много и горячо говорить, а, по мнѣнію о. Ѳедора, многословіе дѣтямъ неприлично и вредно; кромѣ того, Петруша презрительно и критически относился къ рыбной ловлѣ, до которой благочинный и дьяконъ были большіе охотники. Студентъ же Петръ вовсе не ходилъ въ церковь, спалъ до полудня, смотрѣлъ свысока на людей и съ какимъ-то особеннымъ задоромъ любилъ поднимать щекотливые, неразрѣшимые вопросы.

— Что же ты хочешь?—спросилъ благочинный, подходя къ дьякону и сердито глядя на него.—Что же ты хочешь?

Этого слѣдовало ожидать! Я всегда зналъ и былъ увѣренъ, что изъ твоего Петра ничего путнаго не выйдетъ! Говорилъ я тебѣ и говорю. Что посѣялъ, то и пожинай теперь! Пожинай!

— Да что же я посѣялъ, о. Ѳедоръ? — тихо спросилъ дьяконъ, глядя снизу вверхъ на благочиннаго.

— А кто же виноватъ, какъ не ты? Ты родитель, твое чадо! Ты долженъ былъ наставлять, внушать страхъ Божій. Учить надо! Родить-то вы родите, а наставлять не наставляете. Это грѣхъ! Нехорошо! Стыдно!

Благочинный забылъ про свое утомленіе, шагалъ и продолжалъ говорить. На голомъ темени и на лбу дьякона выступили мелкія капли. Онъ поднялъ виноватые глаза на благочиннаго и сказалъ:

— Да развѣ я не наставлялъ, о. Ѳедоръ? Господи помилуй, развѣ я не отецъ своему дитю? Сами вы знаете, я для него ничего не жалѣлъ, всю жизнь старался и Бога молилъ, чтобъ ему настоящее образованіе дать. Онъ у меня и въ гимназіи былъ, и репетиторовъ я ему нанималъ, и въ университетѣ онъ кончилъ. А что ежели я его умъ направить не могъ, о. Ѳедоръ, такъ вѣдь, судите сами, на это у меня способности нѣтъ! Бывало, когда онъ студентомъ сюда пріѣзжалъ, я начну ему по-своему внушать, а онъ не слушаетъ. Скажешь ему: ходи въ церковь, а онъ: «зачѣмъ ходить?» Станешь ему объяснять, а онъ: «почему? зачѣмъ?» Или похлопаетъ меня по плечу и скажетъ: «Все на этомъ свѣтѣ относительно, приблизительно и условно. Ни я ничего не знаю, ни вы ничесоже не знаете, папаша».

О. Анастасій сипло разсмѣялся, закашлялся и шевельнулъ въ воздухѣ пальцами, какъ бы собираясь что-то сказать. Благочинный взглянулъ на него и сказалъ строго:

— Не суйтесь, о. Анастасій.

Старикъ смѣялся, сіялъ и видимо съ удовольствіемъ слушалъ дьякона, точно радъ былъ, что на этомъ свѣтѣ и кромѣ него есть еще грѣшные люди. Дьяконъ говорилъ искренно, съ сокрушеннымъ сердцемъ и даже слезы выступили у него на глазахъ. О. Ѳедору стало жаль его.

— Виноватъ ты, дьяконъ, виноватъ, — сказалъ онъ, но уже не такъ строго и горячо.—Умѣлъ родить, умѣй и на-

ставить. Надо было еще въ дѣтствѣ его наставлять, а студента поди-ка, исправь!

Наступило молчаніе. Дьяконъ всплеснулъ руками и сказалъ со вздохомъ:

— А вѣдь мнѣ же за него отвѣчать придется!

— То-то вотъ оно и есть!

Помолчавъ немного, благочинный и зѣвнулъ, и вздохнулъ въ одно и то же время, и спросилъ:

— Кто «Дѣянія» читаетъ?

— Евстратъ. Всегда Евстратъ читаетъ.

Дьяконъ поднялся и, умоляюще глядя на благочиннаго, спросилъ:

— О. Ѳедоръ, что же мнѣ теперь дѣлать?

— Что хочешь, то и дѣлай. Не я отецъ, а ты. Тебѣ лучше знать.

— Ничего я не знаю, о. Ѳедоръ! Научите меня, сдѣлайте милость! Вѣрите ли, душа истомилась! Теперь я ни спать не могу, ни сидѣть спокойно, и праздникъ мнѣ не въ праздникъ. Научите, о. Ѳедоръ!

— Напиши ему письмо.

— Что же я ему писать буду?

— А напиши, что такъ нельзя. Кратко напиши, но строго и обстоятельно, не смягчая и не умаляя его вины. Это твоя родительская обязанность. Напишешь, исполнишь свой долгъ и успокоишься.

— Это вѣрно, но что же я ему напишу? Въ какихъ смыслахъ? Я ему напишу, а онъ мнѣ въ отвѣтъ: «почему? зачѣмъ? почему это грѣхъ?»

О. Анастасій опять сипло засмѣялся и шевельнулъ пальцами.

— Почему? Зачѣмъ? Почему это грѣхъ? — визгливо заговорилъ онъ.— Исповѣдую я разъ одного господина и говорю ему, что излишнее упованіе на милосердіе Божіе есть грѣхъ, а онъ спрашиваетъ: почему? Хочу ему отвѣтить, а тутъ,—Анастасій хлопнулъ себя по лбу:—а тутъ-то у меня и нѣту! Хи-и-хе-хе-хе...

Слова Анастасія, его сиплый, дребезжащій смѣхъ надъ тѣмъ, что не смѣшно, подѣйствовали на благочиннаго и дьякона непріятно. Благочинный хотѣлъ было сказать старику «не суйтесь», но не сказалъ, а только поморщился.

— Не могу я ему писать!—вздохнулъ дьяконъ.

— Ты не можешь, такъ кто же можетъ?

— О. Ѳедоръ!—сказалъ дьяконъ, склоняя голову на бокъ и прижимая руку къ сердцу.—Я человѣкъ необразованный, слабоумный, васъ же Господь надѣлилъ разумомъ и мудростью. Вы все знаете и понимаете, до всего умомъ доходите, я же путемъ слова сказать не умѣю. Будьте великодушны, наставьте меня въ разсужденіи письма! Научите, какъ его и что...

— Что жъ тутъ учить? Учить нечему. Сѣлъ да написалъ.

— Нѣтъ, ужъ сдѣлайте милость, отецъ-настоятель! Молю васъ. Я знаю, вашего письма онъ убоится и послушается, потому вѣдь вы тоже образованный. Будьте такіе добрые! Я сяду, а вы мнѣ подиктуйте. Завтра писать грѣхъ, а нынче бы самое въ пору, я бы успокоился.

Благочинный поглядѣлъ на умоляющее лицо дьякона, вспомнилъ несимпатичнаго Петра и согласился диктовать. Онъ усадилъ дьякона за свой столъ и началъ:

— Ну, пиши... Христосъ воскресъ, любезный сынъ... знакъ восклицанія. Дошли до меня, твоего отца, слухи... далѣе въ скобкахъ... а изъ какого источника, тебя это не касается... скобка... Написалъ?.. что ты ведешь жизнь несообразную ни съ божескими, ни съ человѣческими законами. Ни комфортабельность, ни свѣтское великолѣпіе, ни образованность, коими ты наружно прикрываешься, не могутъ скрыть твоего языческаго вида. Именемъ ты христіанинъ, но по сущности своей язычникъ, столь же жалкій и несчастный, какъ и всѣ прочіе язычники, даже еще жалчѣе, ибо: тѣ язычники, не зная Христа, погибаютъ отъ невѣдѣнія, ты же погибаешь отъ того, что обладаешь сокровищемъ, но небрежешь имъ. Не стану перечислять здѣсь твоихъ пороковъ, кои тебѣ достаточно извѣстны, скажу только, что причину твоей погибели вижу я въ твоемъ невѣріи. Ты мнишь себя мудрымъ быти, похваляешься знаніемъ наукъ, а того не хочешь понять, что наука безъ вѣры не только не возвышаетъ человѣка, но даже низводитъ его на степень низменнаго животнаго, ибо...

Все письмо было въ такомъ родѣ. Кончивъ писать, дьяконъ прочелъ его вслухъ, просіялъ и вскочилъ.

— Даръ, истинно даръ!—сказалъ онъ, восторженно глядя на благочиннаго и всплескивая руками. — Пошлетъ же

Господь такое дарованіе! А? Мать Царица! Во сто лѣтъ бы, кажется, такого письма не сочинилъ! Спаси васъ Господи!

О. Анастасій тоже пришелъ въ восторгъ.

— Безъ дара такъ не напишешь! — сказалъ онъ, вставая и шевеля пальцами. — Не напишешь! Тутъ такая риторика, что любому философу можно запятую поставить и въ носъ ткнуть. Умъ! Свѣтлый умъ! Не женились бы, о. Ѳедоръ, давно бы вы въ архіереяхъ были, истинно, были бы!

Изливъ свой гнѣвъ въ письмѣ, благочинный почувствовалъ облегченіе. Къ нему вернулись и утомленіе, и разбитость. Дьяконъ былъ свой человѣкъ, и благочинный не постѣснился сказать ему:

— Ну, дьяконъ, ступай съ Богомъ. Я съ полчасика на диванѣ подремлю, отдохнуть надо.

Дьяконъ ушелъ и увелъ съ собою Анастасія. Какъ всегда бываетъ наканунѣ Свѣтлаго дня, на улицѣ было темно, но все небо сверкало яркими, лучистыми звѣздами. Въ тихомъ неподвижномъ воздухѣ пахло весной и праздникомъ.

— Сколько времени онъ диктовалъ? — изумлялся дьяконъ. — Минутъ десять, не больше! Другой бы и въ мѣсяцъ такого письма не сочинилъ. А? Вотъ умъ! Такой умъ, что я и сказать не умѣю! Удивленіе! Истинно, удивленіе!

— Образованіе!—вздохнулъ Анастасій, при переходѣ черезъ грязную улицу поднимая до пояса полы своей рясы.— Не намъ съ нимъ равняться. Мы изъ дьячковъ, а вѣдь онъ науки проходилъ. Да. Настоящій человѣкъ, что и говорить.

— А вы послушайте, какъ онъ нынче въ обѣднѣ Евангеліе будетъ читать по-латынски! И по-латынски онъ знаетъ, и по-гречески знаетъ... А Петруха, Петруха!—вдругъ вспомнилъ дьяконъ. — Ну, теперь онъ поче-ешется! Закуситъ языкъ! Будетъ помнить Кузькину мать! Теперь уже не спроситъ: «почему?» Вотъ ужъ именно дока на доку наскочилъ! Ха-ха-ха!

Дьяконъ весело и громко разсмѣялся. Послѣ того, какъ письмо къ Петру было написано, онъ повеселѣлъ и успокоился. Сознаніе исполненнаго родительскаго долга и вѣра въ силу письма вернули къ нему и его смѣшливость, и добродушіе.

— Петръ въ переводѣ значитъ камень,—говорилъ онъ, подходя къ своему дому. — Мой же Петръ не камень, а тряпка. Гадюка на него насѣла, а онъ съ ней няньчится, спихнуть ее не можетъ. Тьфу! Есть же, прости Господи, такія женщины! А? Гдѣ жъ въ ней стыдъ? Насѣла на парня, прилипла и около юбки держитъ... къ шутамъ ее на пасѣку!

— А можетъ, не она его держитъ, а онъ ее?

— Все-таки, значитъ, въ ней стыда нѣтъ! А Петра я не защищаю... Ему достанется... Прочтетъ письмо и почешетъ затылокъ! Сгоритъ со стыда!

— Письмо славное, но только того... не посылать бы его, отецъ дьяконъ. Богъ съ нимъ!

— А что?—испугался дьяконъ.

— Да такъ! Не посылай, дьяконъ! Что толку? Ну, ты пошлешь, онъ прочтетъ, а... а дальше что? Встревожишь только. Прости, Богъ съ нимъ!

Дьяконъ удивленно поглядѣлъ на темное лицо Анастасія, на его распахнувшуюся рясу, похожую въ потемкахъ на крылья, и пожалъ плечами.

— Какъ же такъ прощать?—спросилъ онъ.—Вѣдь я же за него Богу отвѣчать буду.

— Хоть и такъ, а все же прости. Право! А Богъ за твою доброту и тебя проститъ.

— Да вѣдь онъ мнѣ сынъ? Долженъ я его учить, или нѣтъ?

— Учить? Отчего не учить? Учить можно, а только зачѣмъ язычникомъ обзывать? Вѣдь ему, дьяконъ, обидно...

Дьяконъ былъ вдовъ и жилъ въ маленькомъ, трехъоконномъ домикѣ. Хозяйствомъ у него завѣдывала его старшая сестра, дѣвушка, года три тому назадъ лишившаяся ногъ и потому не сходившая съ постели; онъ ея боялся, слушался и ничего не дѣлалъ безъ ея совѣтовъ. О. Анастасій зашелъ къ нему. Увидѣвъ у него столъ, уже покрытый куличами и красными яйцами, онъ почему-то, вѣроятно вспомнивъ про свой домъ, заплакалъ и, чтобы обратить эти слезы въ шутку, тотчасъ же сипло засмѣялся.

— Да, скоро разговляться,—сказалъ онъ.—Да... Оно бы, дьяконъ, и сейчасъ не мѣшало... рюмочку выпить. Можно? Я такъ выпью, — зашепталъ онъ, косясь на дверь: — что старушка... не услышитъ... ни-ни...

Дьяконъ молча пододвинулъ къ нему графинъ и рюмку, развернулъ письмо и сталъ читать вслухъ. И теперь письмо ему такъ же понравилось, какъ и въ то время, когда благочинный диктовалъ его. Онъ просіялъ отъ удовольствія и, точно попробовавъ что-то очень сладкое, покрутилъ головой.

— Ну, письмо-о!—сказалъ онъ.—И не снилось Петрухѣ такое письмо. Такое вотъ и надо ему, чтобъ въ жаръ его бросило... во!

— Знаешь, дьяконъ? Не посылай! — сказалъ Анастасій, наливая какъ бы въ забывчивости вторую рюмку.—Прости, Богъ съ нимъ! Я тебѣ... вамъ по совѣсти. Ежели отецъ родной его не проститъ, то кто жъ его проститъ? Такъ и будетъ, значитъ, безъ прощенія жить? А ты, дьяконъ, разсуди: наказующіе и безъ тебя найдутся, а ты бы для родного сына милующихъ поискалъ! Я... я, братушка, выпью... Послѣдняя... Прямо такъ возьми и напиши ему: прощаю тебя, Петръ! Онъ пойме-етъ! Почу-увствуетъ! Я, братъ... я, дьяконъ, по себѣ это понимаю. Когда жилъ какъ люди, и горя мнѣ было мало, а теперь, когда образъ и подобіе потерялъ, только одного и хочу, чтобъ меня добрые люди простили. Да и то разсуди, не праведниковъ прощать надо, а грѣшниковъ. Для чего тебѣ старушку твою прощать, ежели она не грѣшная? Нѣтъ, ты такого прости, на котораго глядѣть жалко... да!

Анастасій подперъ голову кулакомъ и задумался.

— Бѣда, дьяконъ,—вздохнулъ онъ, видимо борясь съ желаніемъ выпить.—Бѣда! Во грѣсѣхъ роди мя мати моя, во грѣсѣхъ жилъ, во грѣсѣхъ и помру... Господи, прости меня грѣшнаго! Запутался я, дьяконъ! Нѣтъ мнѣ спасенія! И не то чтобы въ жизни запутался, а въ самой старости передъ смертью... Я...

Старикъ махнулъ рукой и еще выпилъ, потомъ всталъ и пересѣлъ на другое мѣсто. Дьяконъ, не выпуская изъ рукъ письма, заходилъ изъ угла въ уголъ. Онъ думалъ о своемъ сынѣ. Недовольство, скорбь и страхъ уже не безпокоили его: все это ушло въ письмо. Теперь онъ только воображалъ себѣ Петра, рисовалъ его лицо, вспоминалъ прошлые годы, когда сынъ пріѣзжалъ гостить на праздники. Думалось одно лишь хорошее, теплое, грустное, о чемъ можно думать, не утомляясь, хоть всю жизнь. Скучая по сынѣ,

онъ еще разъ прочелъ письмо и вопросительно поглядѣлъ на Анастасія.

— Не посылай!—сказалъ тотъ, махнувъ кистью руки.

— Нѣтъ, все-таки... надо. Все-таки оно его того... немножко на умъ наставитъ. Не лишнее...

Дьяконъ досталъ изъ стола конвертъ, но прежде чѣмъ вложить въ него письмо, сѣлъ за столъ, улыбнулся и прибавилъ отъ себя внизу письма: «А къ намъ новаго штатнаго смотрителя прислали. Этотъ пошустрѣй прежняго. И плясунъ, и говорунъ, и на всѣ руки, такъ что говоровскія дочки отъ него безъ ума. Воинскому начальнику Костыреву тоже, говорятъ, скоро отставка. Пора!» И очень довольный, не понимая, что этой припиской онъ въ конецъ испортилъ строгое письмо, дьяконъ написалъ адресъ и положилъ письмо на самое видное мѣсто стола.

# ПОЦѢЛУЙ.

20-го мая, въ 8 часовъ вечера, всѣ шесть батарей N-ой резервной артиллерійской бригады, направлявшейся въ лагерь, остановились на ночевку въ селѣ Мѣстечкахъ. Въ самый разгаръ суматохи, когда одни офицеры хлопотали около пушекъ, а другіе, съѣхавшись на площади около церковной ограды, выслушивали квартирьеровъ, изъ-за церкви показался верховой въ штатскомъ платьѣ и на странной лошади. Лошадь буланая и маленькая, съ красивой шеей и съ короткимъ хвостомъ, шла не прямо, а какъ-то бокомъ и выдѣлывала ногами маленькія, плясовыя движенія, какъ будто ее били хлыстомъ по ногамъ. Подъѣхавъ къ офицерамъ, верховой приподнялъ шляпу и сказалъ:

— Его превосходительство генералъ-лейтенантъ фонъ-Раббекъ, здѣшній помѣщикъ, приглашаетъ господъ офицеровъ пожаловать къ нему сію минуту на чай...

Лошадь поклонилась, затанцовала и попятилась бокомъ назадъ; верховой еще разъ приподнялъ шляпу и черезъ мгновеніе вмѣстѣ со своею странною лошадью исчезъ за церковью.

— Чортъ знаетъ что такое! — ворчали нѣкоторые офицеры, расходясь по квартирамъ. — Спать хочется, а тутъ этотъ фонъ-Раббекъ со своимъ чаемъ! Знаемъ, какой тутъ чай!

Офицерамъ всѣхъ шести батарей живо припомнился прошлогодній случай, когда во время маневровъ они, и съ ними офицеры одного казачьяго полка, такимъ же вотъ образомъ были приглашены на чай однимъ помѣщикомъ-графомъ, отставнымъ военнымъ; гостепріимный и радушный графъ обласкалъ ихъ, накормилъ, напоилъ и не пустилъ въ деревню на квартиры, а оставилъ ночевать у

себя. Все это, конечно, хорошо, лучшаго и не нужно, но бѣда въ томъ, что отставной военный обрадовался молодежи не въ мѣру. Онъ до самой зари разсказывалъ офицерамъ эпизоды изъ своего хорошаго прошлаго, водилъ ихъ по комнатамъ, показывалъ дорогія картины, старыя гравюры, рѣдкое оружіе, читалъ подлинныя письма высокопоставленныхъ людей, а измученные, утомленные офицеры слушали, глядѣли и, тоскуя по постелямъ, осторожно зѣвали въ рукава; когда, наконецъ, хозяинъ отпустилъ ихъ, спать было уже поздно.

Не таковъ ли и этотъ фонъ-Раббекъ? Таковъ или не таковъ, но дѣлать было нечего. Офицеры пріодѣлись, почистились и гурьбою пошли искать помѣщичій домъ. На площади, около церкви, имъ сказали, что къ господамъ можно пройти низомъ—за церковью спуститься къ рѣкѣ и идти берегомъ до самаго сада, а тамъ аллеи доведутъ куда нужно, или же вѐрхомъ—прямо отъ церкви по дорогѣ, которая въ полуверстѣ отъ деревни упирается въ господскіе амбары. Офицеры рѣшили идти верхомъ.

— Какой же это фонъ-Раббекъ?—разсуждали они дорогой. — Не тотъ ли, что подъ Плевной командовалъ N-й кавалерійской дивизіей?

— Нѣтъ, тотъ не фонъ-Раббекъ, а просто Раббе, и безъ фонъ.

— А какая хорошая погода!

У перваго господскаго амбара дорога раздваивалась: одна вѣтвь шла прямо и исчезала въ вечерней мглѣ, другая — вела вправо къ господскому дому. Офицеры повернули вправо и стали говорить тише... По обѣ стороны дороги тянулись каменные амбары съ красными крышами, тяжелые и суровые, очень похожіе на казармы уѣзднаго города. Впереди свѣтились окна господскаго дома.

— Господа, хорошая примѣта!—сказалъ кто-то изъ офицеровъ.—Нашъ сетеръ идетъ впереди всѣхъ; значитъ, чуетъ, что будетъ добыча!..

Шедшій впереди всѣхъ поручикъ Лобытко, высокій и плотный, но совсѣмъ безусый (ему было болѣе 25 лѣтъ, но на его кругломъ, сытомъ лицѣ почему-то еще не показывалась растительность), славившійся въ бригадѣ своимъ чутьемъ и умѣньемъ угадывать на разстояніи присутствіе женщинъ, обернулся и сказалъ:

— Да, здѣсь женщины должны быть. Это я инстинктомъ чувствую.

У порога дома офицеровъ встрѣтилъ самъ фонъ-Раббекъ, благообразный старикъ лѣтъ шестидесяти, одѣтый въ штатское платье. Пожимая гостямъ руки, онъ сказалъ, что онъ очень радъ и счастливъ, но убѣдительно, ради Бога, проситъ господъ офицеровъ извинить его за то, что онъ не пригласилъ ихъ къ себѣ ночевать; къ нему пріѣхали двѣ сестры съ дѣтьми, братья и сосѣди, такъ что у него не осталось ни одной свободной комнаты.

Генералъ пожималъ всѣмъ руки, просилъ извиненія и улыбался, но по лицу его видно было, что онъ былъ далеко не такъ радъ гостямъ, какъ прошлогодній графъ, и что пригласилъ онъ офицеровъ только потому, что этого, по его мнѣнію, требовало приличіе. И сами офицеры, идя вверхъ по мягкой лѣстницѣ и слушая его, чувствовали, что они приглашены въ этотъ домъ только потому, что было бы неловко не пригласить ихъ, и при видѣ лакеевъ, которые спѣшили зажигать огни внизу у входа и наверху въ передней, имъ стало казаться, что они внесли съ собою въ этотъ домъ безпокойство и тревогу. Тамъ, гдѣ, вѣроятно ради какого-нибудь семейнаго торжества или событія, съѣхались двѣ сестры съ дѣтьми, братья и сосѣди, можетъ ли понравиться присутствіе девятнадцати незнакомыхъ офицеровъ?

Наверху, у входа въ залу, гости были встрѣчены высокой и стройной старухой съ длиннымъ чернобровымъ лицомъ, очень похожей на императрицу Евгенію. Привѣтливо и величественно улыбаясь, она говорила, что рада и счастлива видѣть у себя гостей, и извинялась, что она и мужъ лишены на этотъ разъ возможности пригласить гг. офицеровъ къ себѣ ночевать. По ея красивой, величественной улыбкѣ, которая мгновенно исчезала съ лица всякій разъ, когда она отворачивалась зачѣмъ-нибудь отъ гостей, видно было, что на своемъ вѣку она видѣла много гг. офицеровъ, что ей теперь не до нихъ, а если она пригласила ихъ къ себѣ въ домъ и извиняется, то только потому, что этого требуютъ ея воспитаніе и положеніе въ свѣтѣ.

Въ большой столовой, куда вошли офицеры, на одномъ краю длиннаго стола сидѣло за чаемъ съ десятокъ мужчинъ и дамъ, пожилыхъ и молодыхъ. За ихъ стульями,

окутанная легкимъ сигарнымъ дымомъ, темнѣла группа мужчинъ; среди нея стоялъ какой-то худощавый молодой человѣкъ съ рыжими бачками и, картавя, о чемъ-то громко говорилъ по-англійски. Изъ-за группы, сквозь дверь, видна была свѣтлая комната съ голубою мебелью.

— Господа, васъ такъ много, что представлять нѣтъ никакой возможности! — сказалъ громко генералъ, стараясь казаться очень веселымъ.—Знакомьтесь, господа, сами попросту!

Офицеры—одни съ очень серьезными и даже строгими лицами, другіе, натянуто улыбаясь, и всѣ вмѣстѣ чувствуя себя очень неловко, кое-какъ раскланялись и сѣли за чай.

Больше всѣхъ чувствовалъ себя неловко штабсъ-капитанъ Рябовичъ, маленькій, сутуловатый офицеръ, въ очкахъ и съ бакенами, какъ у рыси. Въ то время, какъ одни изъ его товарищей дѣлали серьезныя лица, а другіе натянуто улыбались, его лицо, рысьи бакены и очки какъ бы говорили: «Я самый робкій, самый скромный и самый безцвѣтный офицеръ во всей бригадѣ!» На первыхъ порахъ, входя въ столовую и потомъ сидя за чаемъ, онъ никакъ не могъ остановить своего вниманія на какомъ-нибудь одномъ лицѣ или предметѣ. Лица, платья, граненые графинчики съ коньякомъ, паръ отъ стакановъ, лѣпные карнизы—все это сливалось въ одно общее, громадное впечатлѣніе, вселявшее въ Рябовича тревогу и желаніе спрятать свою голову. Подобно чтецу, впервые выступающему передъ публикой, онъ видѣлъ все, что было у него передъ глазами, но видимое какъ-то плохо понималось (у физіологовъ такое состояніе, когда субъектъ видитъ, но не понимаетъ, называется «психической слѣпотой»). Немного же погодя, освоившись, Рябовичъ прозрѣлъ и сталъ наблюдать. Ему, какъ человѣку робкому и необщественному, прежде всего бросилось въ глаза то, чего у него никогда не было, а именно—необыкновенная храбрость новыхъ знакомыхъ. Фонъ-Раббекъ, его жена, двѣ пожилыя дамы, какая-то барышня въ сиреневомъ платьѣ и молодой человѣкъ съ рыжими бачками, оказавшійся младшимъ сыномъ Раббека, очень хитро, точно у нихъ ранѣе была репетиція, размѣстились среди офицеровъ и тотчасъ же подняли горячій споръ, въ который не могли не вмѣшаться гости. Сиреневая барышня стала горячо доказывать, что артиллеристамъ живется гораздо легче, чѣмъ

кавалеріи и пѣхотѣ, а Раббекъ и пожилыя дамы утверждали противное. Начался перекрестный разговоръ. Рябовичъ глядѣлъ на сиреневую барышню, которая очень горячо спорила о томъ, что было для нея чуждо и вовсе не интересно, и слѣдилъ, какъ на ея лицѣ появлялись и исчезали неискреннія улыбки.

Фонъ-Раббекъ и его семья искусно втягивали офицеровъ въ споръ, а сами между тѣмъ зорко слѣдили за ихъ стаканами и ртами, всѣ ли они пьютъ, у всѣхъ ли сладко, и отчего такой-то не ѣстъ бисквитовъ или не пьетъ коньяку. И чѣмъ больше Рябовичъ глядѣлъ и слушалъ, тѣмъ больше нравилась ему эта неискренняя, но прекрасно дисциплинированная семья.

Послѣ чая офицеры пошли въ залъ. Чутье не обмануло поручика Лобытко: въ залѣ было много барышенъ и молодыхъ дамъ. Сетеръ-поручикъ уже стоялъ около одной очень молоденькой блондинки въ черномъ платьѣ и, ухарски изогнувшись, точно опираясь на невидимую саблю, улыбался и кокетливо игралъ плечами. Онъ говорилъ, вѣроятно, какой-нибудь очень интересный вздоръ, потому что блондинка снисходительно глядѣла на его сытое лицо и равнодушно спрашивала: «Неужели?» И по этому безстрастному «неужели» сетеръ, если бы былъ уменъ, могъ бы заключить, что ему едва ли крикнутъ «пиль!»

Загремѣлъ рояль; грустный вальсъ изъ залы полетѣлъ въ настежь открытыя окна, и всѣ почему-то вспомнили, что за окнами теперь весна, майскій вечеръ. Всѣ почувствовали, что въ воздухѣ пахнетъ молодой листвой тополя, розами и сиренью. Рябовичъ, въ которомъ, подъ вліяніемъ музыки, заговорилъ выпитый коньякъ, покосился на окно, улыбнулся и сталъ слѣдить за движеніями женщинъ, и ему уже казалось, что запахъ розъ, тополя и сирени идетъ не изъ сада, а отъ женскихъ лицъ и платьевъ.

Сынъ Раббека пригласилъ какую-то тощую дѣвицу и сдѣлалъ съ нею два тура. Лобытко, скользя по паркету, подлетѣлъ къ сиреневой барышнѣ и понесся съ нею по залѣ. Танцы начались... Рябовичъ стоялъ около двери среди нетанцующихъ и наблюдалъ. Во всю свою жизнь онъ ни разу не танцовалъ и ни разу въ жизни ему не приходилось обнимать талію порядочной женщины. Ему ужасно нравилось, когда человѣкъ у всѣхъ на глазахъ бралъ незнако-

мую дѣвушку за талію и подставлялъ ей для руки свое плечо, но вообразить себя въ положеніи этого человѣка онъ никакъ не могъ. Было время, когда онъ завидовалъ храбрости и прыти своихъ товарищей и болѣлъ душою; сознаніе, что онъ робокъ, сутуловатъ и безцвѣтенъ, что у него длинная талія и рысьи бакены, глубоко оскорбляло его, но съ лѣтами это сознаніе стало привычнымъ, и теперь онъ, глядя на танцующихъ или громко говорящихъ, уже не завидовалъ, а только грустно умилялся.

Когда началась кадриль, молодой фонъ-Раббекъ подошелъ къ нетанцующимъ и пригласилъ двухъ офицеровъ сыграть на билліардѣ. Офицеры согласились и пошли съ нимъ изъ залы. Рябовичъ отъ нечего дѣлать, желая принять хоть какое-нибудь участіе въ общемъ движеніи, поплелся за ними. Изъ залы они прошли въ гостиную, потомъ въ узкій стеклянный коридоръ, отсюда въ комнату, гдѣ, при появленіи ихъ, быстро вскочили съ дивановъ три сонныя лакейскія фигуры. Наконецъ, пройдя цѣлый рядъ комнатъ, молодой Раббекъ и офицеры вошли въ небольшую комнату, гдѣ стоялъ билліардъ. Началась игра.

Рябовичъ, никогда не игравшій ни во что, кромѣ картъ, стоялъ возлѣ билліарда и равнодушно глядѣлъ на игроковъ, а они, въ разстегнутыхъ сюртукахъ, съ кіями въ рукахъ, шагали, каламбурили и выкрикивали непонятныя слова. Игроки не замѣчали его, и только изрѣдка кто-нибудь изъ нихъ, толкнувъ его локтемъ, или зацѣпивъ нечаянно кіемъ, оборачивался и говорилъ: «pardon!» Первая партія еще не кончилась, а ужъ онъ соскучился и ему стало казаться, что онъ лишній и мѣшаетъ... Его потянуло обратно въ залу, и онъ вышелъ.

На обратномъ пути ему пришлось пережить маленькое приключеніе. На полдорогѣ онъ замѣтилъ, что идетъ не туда, куда нужно. Онъ отлично помнилъ, что на пути ему должны встрѣтиться три сонныя лакейскія фигуры, но прошелъ онъ пять-шесть комнатъ, эти фигуры точно сквозь землю провалились. Замѣтивъ свою ошибку, онъ прошелъ немного назадъ взялъ вправо и очутился въ полутемномъ кабинетѣ, какого не видалъ, когда шелъ въ билліардную; постоявъ здѣсь полминуты, онъ рѣшительно отворилъ первую попавшуюся ему на глаза дверь и вошелъ въ совершенно темную комнату. Прямо видна была дверная щель, въ ко-

торую билъ яркій свѣтъ; изъ-за двери доносились глухіе звуки грустной мазурки. Тутъ такъ же, какъ и въ залѣ, окна были открыты настежъ и пахло тополемъ, сиренью и розами...

Рябовичъ остановился въ раздумьи... Въ это время неожиданно для него послышались торопливые шаги и шуршанье платья, женскій задыхающійся голосъ прошепталъ: «наконецъ-то!» и двѣ мягкія, пахучія, несомнѣнно женскія руки охватили его шею; къ его щекѣ прижалась теплая щека и одновременно раздался звукъ поцѣлуя. Но тотчасъ же цѣловавшая слегка вскрикнула и, какъ показалось Рябовичу, съ отвращеніемъ отскочила отъ него. Онъ тоже едва не вскрикнулъ и бросился къ яркой дверной щели...

Когда онъ вернулся въ залу, сердце его билось. и руки дрожали такъ замѣтно, что онъ поторопился спрятать ихъ за спину. На первыхъ порахъ его мучили стыдъ и страхъ, что весь залъ знаетъ о томъ, что его сейчасъ обнимала и цѣловала женщина, онъ ежился и безпокойно оглядывался по сторонамъ, но, убѣдившись, что въ залѣ попрежнему преспокойно пляшутъ и болтаютъ, онъ весь предался новому, до сихъ поръ ни разу въ жизни неиспытанному ощущенію. Съ нимъ дѣлалось что-то странное... Его шея, которую только-что обхватывали мягкія пахучія руки, казалось ему, была вымазана масломъ; на щекѣ около лѣваго уса, куда поцѣловала незнакомка, дрожалъ легкій, пріятный холодокъ, какъ отъ мятныхъ капель, и чѣмъ больше онъ теръ это мѣсто, тѣмъ сильнѣе чувствовался этотъ холодокъ, весь же онъ отъ головы до пятъ былъ полонъ новаго страннаго чувства, которое все росло и росло... Ему захотѣлось плясать, говорить, бѣжать въ садъ, громко смѣяться... Онъ совсѣмъ забылъ, что онъ сутуловатъ и безцвѣтенъ, что у него рысьи бакены и «неопредѣленная наружность» (такъ однажды была названа его наружность въ дамскомъ разговорѣ, который онъ нечаянно подслушалъ). Когда мимо него проходила жена Раббека, онъ улыбнулся ей такъ широко и ласково, что она остановилась и вопросительно поглядѣла на него.

— Вашъ домъ мнѣ ужасно нравится!..—сказалъ онъ, поправляя очки.

Генеральша улыбнулась и разсказала, что этотъ домъ принадлежалъ еще ея отцу, потомъ она спросила, живы ли

его родители, давно ли онъ на службѣ, отчего такъ тощъ и проч. Получивъ отвѣты на свои вопросы, она пошла дальше, а онъ послѣ разговора съ нею сталъ улыбаться еще ласковѣе и думать, что его окружаютъ великолѣпнѣйшіе люди...

За ужиномъ Рябовичъ машинально ѣлъ все, что ему предлагали, пилъ и, не слыша ничего, старался объяснить себѣ недавнее приключеніе... Это приключеніе носило характеръ таинственный и романическій, но объяснить его было не трудно. Навѣрное, какая-нибудь барышня или дама назначила кому-нибудь свиданіе въ темной комнатѣ, долго ждала и, будучи нервно возбуждена, приняла Рябовича за своего героя; это тѣмъ болѣе вѣроятно, что Рябовичъ, проходя черезъ темную комнату, остановился въ раздумьи, то-есть имѣлъ видъ человѣка, который тоже чего-то ждетъ... Такъ и объяснилъ себѣ Рябовичъ полученный поцѣлуй.

«А кто же она?—думалъ онъ, оглядывая женскія лица.—Она должна быть молода, потому что старыя не ходятъ на свиданія. Затѣмъ, что она интеллигентна, чувствовалось по шороху платья, по запаху, по голосу...»

Онъ остановилъ взглядъ на сиреневой барышнѣ, и она ему очень понравилась; у нея были красивыя плечи и руки, умное лицо и прекрасный голосъ. Рябовичу, глядя на нее, захотѣлось, чтобы именно она, а не кто другая, была тою незнакомкой... Но она какъ-то неискренно засмѣялась и поморщила свой длинный носъ, который показался ему старообразнымъ; тогда онъ перевелъ взглядъ на блондинку въ черномъ платьѣ. Эта была моложе, попроще и искреннѣе, имѣла прелестные виски и очень красиво пила изъ рюмки. Рябовичу теперь захотѣлось, чтобы она была тою. Но скоро онъ нашелъ, что ея лицо плоско, и перевелъ глаза на ея сосѣдку...

«Трудно угадать,—думалъ онъ, мечтая.—Если отъ сиреневой взять только плечи и руки, прибавить виски блондинки, а глаза взять у этой, что сидитъ налѣво отъ Лобытко, то...»

Онъ сдѣлалъ въ умѣ сложеніе и у него получился образъ дѣвушки, цѣловавшей его, тотъ образъ, котораго онъ хотѣлъ, но никакъ не могъ найти за столомъ...

Послѣ ужина гости, сытые и охмелѣвшіе, стали прощаться и благодарить. Хозяева опять начали извиняться, что не могутъ оставить ихъ у себя ночевать.

— Очень, очень радъ, господа!—говорилъ генералъ, и на этотъ разъ искренно (вѣроятно оттого, что, провожая гостей, люди бываютъ гораздо искреннѣе и добрѣе, чѣмъ встрѣчая).—Очень радъ! Милости просимъ на обратномъ пути! Безъ церемоніи! Куда же вы? Хотите вѣрхомъ идти? Нѣтъ, идите черезъ садъ, низомъ—здѣсь ближе.

Офицеры вышли въ садъ. Послѣ яркаго свѣта и шума въ саду показалось имъ очень темно и тихо. До самой калитки шли они молча. Были они полупьяны, веселы, довольны, но потемки и тишина заставили ихъ на минуту призадуматься. Каждому изъ нихъ, какъ Рябовичу, вѣроятно, пришла одна и та же мысль: настанетъ ли и для нихъ когда-нибудь время, когда они, подобно Раббеку, будутъ имѣть большой домъ, семью, садъ, когда и они будутъ имѣть также возможность, хотя бы неискренно, ласкать людей, дѣлать ихъ сытыми, пьяными, довольными?

Выйдя изъ калитки, они всѣ сразу заговорили и безъ причины стали громко смѣяться. Теперь ужъ они шли по тропинкѣ, которая спускалась внизъ къ рѣкѣ и потомъ бѣжала у самой воды, огибая прибрежные кусты, промоины и вербы, нависшія надъ водой. Берегъ и тропинка были еле видны, а другой берегъ весь тонулъ въ потемкахъ. Кое-гдѣ на темной водѣ отражались звѣзды; онѣ дрожали и расплывались—и только по этому можно было догадаться, что рѣка текла быстро. Было тихо. На томъ берегу стонали сонные кулики, а на этомъ, въ одномъ изъ кустовъ, не обращая никакого вниманія на толпу офицеровъ, громко заливался соловей. Офицеры постояли около куста, потрогали его, а соловей все пѣлъ.

— Каковъ?—послышались одобрительные возгласы.—Мы стоимъ возлѣ, а онъ ноль вниманія! Этакая шельма!

Въ концѣ пути тропинка шла вверхъ и около церковной ограды впадала въ дорогу. Здѣсь офицеры, утомленные ходьбой на гору, посидѣли, покурили. На другомъ берегу показался красный, тусклый огонекъ, и они отъ нечего дѣлать долго рѣшали, костеръ ли это, огонь ли въ окнѣ, или что-нибудь другое... Рябовичъ тоже глядѣлъ на огонь, и ему казалось, что этотъ огонь улыбался и подмигивалъ ему съ такимъ видомъ, какъ будто зналъ о поцѣлуѣ.

Придя на квартиру, Рябовичъ поскорѣе раздѣлся и легъ. Въ одной избѣ съ нимъ остановились Лобытко и поручикъ

бовичъ поглядѣлъ вправо на домъ. Окна были закрыты жалюзи. Очевидно, въ домѣ всѣ еще спали. Спала и та, которая вчера цѣловала Рябовича. Онъ захотѣлъ вообразить ее спящею. Открытое настежь окно спальни, зеленыя вѣтки, заглядывающія въ это окно, утреннюю свѣжесть, запахъ тополя, сирени и розъ, кровать, стулъ и на немъ платье, которое вчера шуршало, туфельки, часики на столѣ—все это нарисовалъ онъ себѣ ясно и отчетливо, но черты лица, милая сонная улыбка, именно то, что важно и характерно, ускользало отъ его воображенія, какъ ртуть изъ-подъ пальца. Проѣхавъ полверсты, онъ оглянулся назадъ: желтая церковь, домъ, рѣка и садъ были залиты свѣтомъ; рѣка со своими ярко-зелеными берегами, отражая въ себѣ голубое небо и кое-гдѣ серебрясь на солнцѣ, была очень красива. Рябовичъ взглянулъ въ послѣдній разъ на Мѣстечки, и ему стало такъ грустно, какъ будто онъ разставался съ чѣмъ-то очень близкимъ и роднымъ.

А на пути передъ глазами лежали однѣ только давно знакомыя, неинтересныя картины... Направо и налѣво поля молодой ржи и гречихи съ прыгающими грачами; взглянешь впередъ—видишь пыль и затылки, оглянешься назадъ—видишь ту же пыль и лица... Впереди всѣхъ шагаютъ четыре человѣка съ шашками—это авангардъ. За ними толпа пѣсельниковъ, а за пѣсельниками трубачи верхами. Авангардъ и пѣсельники, какъ факельщики въ похоронной процессіи, то и дѣло забываютъ объ уставномъ разстояніи и заходятъ далеко впередъ... Рябовичъ находится у перваго орудія пятой батареи. Ему видны всѣ четыре батареи, идущія впереди его. Для человѣка невоеннаго эта длинная, тяжелая вереница, какою представляется движущаяся бригада, кажется мудреной и мало понятной кашей; непонятно, почему около одного орудія столько людей и почему его везутъ столько лошадей, опутанныхъ странной сбруей, точно оно и въ самомъ дѣлѣ такъ страшно и тяжело. Для Рябовича же все понятно, а потому крайне неинтересно. Онъ давно уже знаетъ, для чего впереди каждой батареи рядомъ съ офицеромъ ѣдетъ солидный фейерверкеръ и почему онъ называется уноснымъ; вслѣдъ за спиной этого фейерверкера видны ѣздовые перваго, потомъ средняго выноса; Рябовичъ знаетъ, что лѣвыя лошади, на которыхъ они сидятъ, называются подсѣдельными, а правыя подручными—это

очень неинтересно. За ѣздовымъ слѣдуютъ двѣ коренныя лошади. На одной изъ нихъ сидитъ ѣздовой со вчерашней пылью на спинѣ и съ неуклюжей, очень смѣшной деревяшкой на правой ногѣ; Рябовичъ знаетъ назначеніе этой деревяшки, и она не кажется ему смѣшною. Ѣздовые, всѣ, сколько ихъ есть, машинально взмахиваютъ нагайками и изрѣдка покрикиваютъ. Само орудіе некрасиво. На передкѣ лежали мѣшки съ овсомъ, прикрытые брезентомъ, а орудіе все завѣшано чайниками, солдатскими сумками, мѣшочками и имѣетъ видъ маленькаго безвреднаго животнаго, которое неизвѣстно для чего окружили люди и лошади. По бокамъ его, съ подвѣтреной стороны, размахивая руками, шагаютъ шесть человѣкъ прислуги. За орудіемъ опять начинаются новые уносные, ѣздовые, коренные, а за ними тянется новое орудіе, такое же некрасивое и невнушительное, какъ и первое. За вторымъ слѣдуетъ третье, четвертое; около четвертаго офицеръ и т. д. Всѣхъ батарей въ бригадѣ шесть, а въ каждой батареѣ по четыре орудія. Вереница тянется на полверсты. Заканчивается она обозомъ, около котораго задумчиво, понуривъ свою длинноухую голову, шагаетъ въ высшей степени симпатичная рожа—оселъ Магаръ, вывезенный однимъ батарейнымъ командиромъ изъ Турціи.

Рябовичъ равнодушно глядѣлъ впередъ и назадъ, на затылки и на лица; въ другое время онъ задремалъ бы, но теперь онъ весь погрузился въ свои новыя, пріятныя мысли. Сначала, когда бригада только-что двинулась въ путь, онъ хотѣлъ убѣдить себя, что исторія съ поцѣлуемъ можетъ быть интересна только какъ маленькое, таинственное приключеніе, что по существу она ничтожна и думать о ней серьезно, по меньшей мѣрѣ, глупо; но скоро онъ махнулъ на логику рукой и отдался мечтамъ... То онъ воображалъ себя въ гостиной у Раббека, рядомъ съ дѣвушкой, похожей на сиреневую барышню и на блондинку въ черномъ; то закрывалъ глаза и видѣлъ себя съ другою, совсѣмъ незнакомою дѣвушкою съ очень неопредѣленными чертами лица; мысленно онъ говорилъ, ласкалъ, склонялся къ плечу, представлялъ себѣ войну и разлуку, потомъ встрѣчу, ужинъ съ женой, дѣтей...

— Къ валькамъ!—раздавалась команда всякій разъ при спускѣ съ горы.

Онъ тоже кричалъ «къ валькамъ!» и боялся, чтобы этотъ

крикъ не порвалъ его мечты и не вызвалъ бы его къ дѣйствительности...

Проѣзжая мимо какого-то помѣщичьяго имѣнія, Рябовичъ поглядѣлъ черезъ палисадникъ въ садъ. На глаза ему попалась длинная, прямая, какъ линейка, аллея, посыпанная желтымъ пескомъ и обсаженная молодыми березками... Съ жадностью размечтавшагося человѣка онъ представилъ себѣ маленькія женскія ноги, идущія по желтому песку, и совсѣмъ неожиданно въ его воображеніи ясно вырисовалась та, которая цѣловала его и которую онъ сумѣлъ представить себѣ вчера за ужиномъ. Этотъ образъ остановился въ его мозгу и ужъ не оставлялъ его.

Въ полдень, сзади, около обоза, раздался крикъ:

— Смирно! Глаза налѣво! Гг. офицеры!

Въ коляскѣ, на парѣ бѣлыхъ лошадей, прокатилъ бригадный генералъ. Онъ остановился около второй батареи и закричалъ что-то такое, чего никто не понялъ. Къ нему поскакали нѣсколько офицеровъ, въ томъ числѣ и Рябовичъ.

— Ну, какъ? Что?—спросилъ генералъ, моргая красными глазами.—Есть больные?

Получивъ отвѣты, генералъ, маленькій и тощій, пожевалъ, подумалъ и сказалъ, обращаясь къ одному изъ офицеровъ:

— У васъ коренной ѣздовой третьяго орудія снялъ наколѣнникъ и повѣсилъ его, каналья, на передокъ. Взыщите съ него.

Онъ поднялъ глаза на Рябовича и продолжалъ:

— А у васъ, кажется, нашильники слишкомъ длинны...

Сдѣлавъ еще нѣсколько скучныхъ замѣчаній, генералъ поглядѣлъ на Лобытко и усмѣхнулся.

— А у васъ, поручикъ Лобытко, сегодня очень грустный видъ,—сказалъ онъ.—По Лопуховой скучаете? А? Господа, онъ по Лопуховой соскучился!

Лопухова была очень полная и очень высокая дама, давно уже перевалившая за сорокъ. Генералъ, питавшій пристрастіе къ крупнымъ особамъ, какого бы возраста онѣ ни были, подозрѣвалъ въ этомъ пристрастіи и своихъ офицеровъ. Офицеры почтительно улыбнулись. Бригадный, довольный тѣмъ, что сказалъ что-то очень смѣшное и ядовитое, громко захохоталъ, коснулся кучерской спины и сдѣлалъ подъ козырекъ. Коляска покатила дальше...

«Все, о чемъ я теперь мечтаю и что мнѣ теперь кажется невозможнымъ и неземнымъ, въ сущности очень обыкно-

венно,—думалъ Рябовичъ, глядя на облака пыли, бѣжавшія за генеральской коляской. — Все это очень обыкновенно и переживается всѣми... Напримѣръ, этотъ генералъ въ свое время любилъ, теперь женатъ, имѣетъ дѣтей. Капитанъ Вахтеръ тоже женатъ и любимъ, хотя у него очень некрасивый красный затылокъ и нѣтъ таліи... Сальмановъ грубъ и слишкомъ татаринъ, но у него былъ романъ, кончившійся женитьбой... Я такой же, какъ и всѣ, и переживу рано или поздно то же самое, что и всѣ...»

И мысль, что онъ обыкновенный человѣкъ и что жизнь его обыкновенна, обрадовала и подбодрила его. Онъ уже смѣло, какъ хотѣлъ, рисовалъ *ее* и свое счастье и ничѣмъ не стѣснялъ своего воображенія...

Когда вечеромъ бригада прибыла къ мѣсту и офицеры отдыхали въ палаткахъ, Рябовичъ, Мераляковъ и Лобытко сидѣли вокругъ сундука и ужинали. Мерзляковъ не спѣшалъ и, медленно жуя, читалъ «Вѣстникъ Европы», который держалъ на колѣняхъ. Лобытко безъ умолку говорилъ и подливалъ въ стаканъ пиво, а Рябовичъ, у котораго отъ цѣлодневныхъ мечтаній стоялъ туманъ въ головѣ, молчалъ и пилъ. Послѣ трехъ стакановъ онъ охмелѣлъ, ослабѣлъ и ему неудержимо захотѣлось подѣлиться съ товарищами своимъ новымъ ощущеніемъ.

— Странный случился со мной случай у этихъ Раббековъ...—началъ онъ, стараясь придать своему голосу равнодушный и насмѣшливый тонъ. — Пошелъ я, знаете ли, въ билліардную...

Онъ сталъ разсказывать очень подробно исторію съ поцѣлуемъ и черезъ минуту умолкъ... Въ эту минуту онъ разсказалъ все, и его страшно удивило, что для разсказа понадобилось такъ мало времени. Ему казалось, что о поцѣлуѣ можно разсказывать до самаго утра. Выслушавъ его, Лобытко, много лгавшій, а потому никому не вѣрившій, недовѣрчиво посмотрѣлъ на него и усмѣхнулся. Мерзляковъ пошевелилъ бровями и покойно, не отрывая глазъ отъ «Вѣстника Европы», сказалъ:

— Богъ знаетъ что!... Бросается на шею, не окликнувъ... Должно-быть, психопатка какая-нибудь.

— Да, должно-быть, психопатка...—согласился Рябовичъ.

— Подобный же случай былъ однажды со мной...—сказалъ Лобытко, дѣлая испуганные глаза.—Ѣду я въ прош-

ломъ году въ Ковно... Беру билетъ II класса... Вагонъ биткомъ набитъ и спать невозможно. Даю кондуктору полтину... Тотъ беретъ мой багажъ и ведетъ меня въ купэ... Ложусь и укрываюсь одѣяломъ... Темно, понимаете ли. Вдругъ слышу, кто-то трогаетъ меня за плечо и дышитъ мнѣ на лицо. Я этакъ сдѣлалъ движеніе рукой и чувствую чей-то локоть... Открываю глаза и, можете себѣ представить,— женщина! Черные глаза, губы красныя, какъ хорошая семга, ноздри дышатъ страстью, грудь—буфера.

— Позвольте,—перебилъ покойно Мерзляковъ:—насчетъ груди я понимаю, но какъ вы могли увидѣть губы, если было темно?

Лобытко сталъ изворачиваться и смѣяться надъ несообразительностью Мерзлякова. Это покоробило Рябовича. Онъ отошелъ отъ сундука, легъ и далъ себѣ слово никогда не откровенничать.

Наступила лагерная жизнь... Потекли дни, очень похожіе другъ на друга. Во всѣ эти дни Рябовичъ чувствовалъ, мыслилъ и держалъ себя, какъ влюбленный. Каждое утро, когда денщикъ подавалъ ему умываться, онъ, обливая голову холодной водой, всякій разъ вспоминалъ, что въ его жизни есть что-то хорошее и теплое.

Вечерами, когда товарищи начинали разговоръ о любви и о женщинахъ, онъ прислушивался, подходилъ ближе и принималъ такое выраженіе, какое бываетъ на лицахъ солдатъ, когда они слушаютъ разсказъ о сраженіи, въ которомъ сами участвовали. А въ тѣ вечера, когда подгулявшее оберъ-офицерство, съ сетеромъ-Лобытко во главѣ, дѣлало донъ-жуанскіе набѣги на «слободку», Рябовичъ, принимавшій участіе въ набѣгахъ, всякій разъ бывалъ грустенъ, чувствовалъ себя глубоко виноватымъ и мысленно просилъ у *нея* прощенія... Въ часы бездѣлья или въ безсонныя ночи, когда ему приходила охота вспоминать дѣтство, отца, мать, вообще родное и близкое, онъ непремѣнно вспоминалъ и Мѣстечки, странную лошадь, Раббека, его жену, похожую на императрицу Евгенію, темную комнату, яркую щель въ двери...

31-го августа онъ возвращался изъ лагеря, но уже не со всей бригадой, а съ двумя батареями. Всю дорогу онъ мечталъ и волновался, точно ѣхалъ на родину. Ему страстно хотѣлось опять увидѣть странную лошадь, церковь, не-

искреннюю семью Раббековъ, темную комнату; «внутренній голосъ», такъ часто обманывающій влюбленныхъ, шепталъ ему почему-то, что онъ непремѣнно увидитъ ее... И его мучили вопросы: какъ онъ встрѣтится съ ней? о чемъ будетъ съ ней говорить? не забыла ли она о поцѣлуѣ? На худой конецъ, думалъ онъ, если бы даже она не встрѣтилась ему, то для него было бы пріятно уже одно то, что онъ пройдется по темной комнатѣ и вспомнитъ...

Къ вечеру на горизонтѣ показались знакомая церковь и бѣлые амбары. У Рябовича забилось сердце... Онъ не слушалъ офицера, ѣхавшаго рядомъ и что-то говорившаго ему, про все забылъ и съ жадностью всматривался въ блестѣвшую вдали рѣку, въ крышу дома, въ голубятню, надъ которой кружились голуби, освѣщенные заходившимъ солнцемъ.

Подъѣзжая къ церкви и потомъ выслушивая квартирьера, онъ ждалъ каждую секунду, что изъ-за ограды покажется верховой и пригласитъ офицеровъ къ чаю, но... докладъ квартирьеровъ кончился, офицеры спѣшились и побрели въ деревню, а верховой не показывался...

«Сейчасъ Раббекъ узнаетъ отъ мужиковъ, что мы пріѣхали, и пришлетъ за нами»,—думалъ Рябовичъ, входя въ избу и не понимая, зачѣмъ это товарищъ зажигаетъ свѣчу и зачѣмъ денщики спѣшатъ ставить самовары...

Тяжелое безпокойство овладѣло имъ. Онъ легъ, потомъ всталъ и поглядѣлъ въ окно, не ѣдетъ ли верховой? Но верхового не было. Онъ опять легъ, черезъ полчаса всталъ и, не выдержавъ безпокойства, вышелъ на улицу и зашагалъ къ церкви. На площади, около ограды, было темно и пустынно... Какіе-то три солдата стояли рядомъ у самаго спуска и молчали. Увидѣвъ Рябовича, они встрепенулись и отдали честь. Онъ откозырялъ имъ въ отвѣтъ и сталъ спускаться внизъ по знакомой тропинкѣ.

На томъ берегу все небо было залито багровой краской: восходила луна; какія-то двѣ бабы, громко разговаривая, ходили по огороду и рвали капустные листья; за огородами темнѣло нѣсколько избъ... А на этомъ берегу было все то же, что и въ маѣ: тропинка, кусты, вербы, нависшія надъ водой... только не слышно было храбраго соловья, да не пахло тополемъ и молодой травой.

Дойдя до сада. Рябовичъ заглянулъ въ калитку. Въ саду было темно и тихо... Видны были только бѣлые стволы

ближайшихъ березъ, да кусочекъ аллеи, все же остальное мѣшалось въ черную массу. Рябовичъ жадно вслушивался и всматривался, но, простоявъ съ четверть часа и не дождавшись ни звука, ни огонька, поплелся назадъ...

Онъ подошелъ къ рѣкѣ. Передъ нимъ бѣлѣли генеральская купальня и простыни, висѣвшія на перилахъ мостика... Онъ взошелъ на мостикъ, постоялъ и безъ всякой надобности потрогалъ простыню. Простыня оказалась шаршавой и холодной. Онъ поглядѣлъ внизъ на воду... Рѣка бѣжала быстро и едва слышно журчала около сваенъ купальни. Красная луна отражалась у лѣваго берега; маленькія волны бѣжали по ея отраженію, растягивали его, разрывали на части и, казалось, хотѣли унести...

«Какъ глупо! Какъ глупо!—думалъ Рябовичъ, глядя на бѣгущую воду.—Какъ все это не умно!»

Теперь, когда онъ ничего не ждалъ, исторія съ поцѣлуемъ, его нетерпѣніе, неясныя надежды и разочарованіе представлялись ему въ ясномъ свѣтѣ. Ему ужъ не казалось страннымъ, что онъ не дождался генеральскаго верхового и что никогда не увидитъ той, которая случайно поцѣловала его вмѣсто другого; напротивъ, было бы странно, если бы онъ увидѣлъ ее...

Вода бѣжала неизвѣстно куда и зачѣмъ. Бѣжала она такимъ же образомъ и въ маѣ; изъ рѣчки въ маѣ мѣсяцѣ она влилась въ большую рѣку, изъ рѣки въ море, потомъ испарилась, обратилась въ дождь и, быть-можетъ, она, та же самая вода, опять бѣжитъ теперь передъ глазами Рябовича... Къ чему? Зачѣмъ?

И весь міръ, вся жизнь показались Рябовичу непонятной, безцѣльной шуткой... А отведя глаза отъ воды и взглянувъ на небо, онъ опять вспомнилъ, какъ судьба въ лицѣ незнакомой женщины нечаянно обласкала его, вспомнилъ свои лѣтніе мечты и образы, и его жизнь показалась ему необыкновенно скудной, убогой и безцвѣтной...

Когда онъ вернулся къ себѣ въ избу, то не засталъ ни одного товарища. Денщикъ доложилъ ему, что всѣ они ушли къ «генералу Фонтрябкину», приславшему за ними верхового!.. На мгновеніе въ груди Рябовича вспыхнула радость, но онъ тотчасъ же потушилъ ее, легъ въ постель и на зло своей судьбѣ, точно желая досадить ей, не пошелъ къ генералу.

# ПАССАЖИРЪ I-го КЛАССА.

Пассажиръ перваго класса, только-что пообѣдавшій на вокзалѣ и слегка охмелѣвшій, разлегся на бархатномъ диванѣ, сладко потянулся и задремалъ. Подремавъ не больше пяти минутъ, онъ поглядѣлъ масляными глазами на своего vis-à-vis, ухмыльнулся и сказалъ:

— Блаженныя памяти родитель мой любилъ, чтобы ему послѣ обѣда бабы пятки чесали. Я весь въ него, съ тою, однако, разницею, что всякій разъ послѣ обѣда чешу себѣ не пятки, а языкъ и мозги. Люблю, грѣшный человѣкъ, пустословить на сытый желудокъ. Разрѣшаете поболтать съ вами?

— Сдѣлайте одолженіе,—согласился vis-à-vis.

— Послѣ хорошаго обѣда для меня достаточно самаго ничтожнаго повода, чтобы въ голову полѣзли чертовски крупныя мысли. Напримѣръ-съ, сейчасъ мы съ вами видѣли около буфета двухъ молодыхъ людей, и вы слышали, какъ одинъ изъ нихъ поздравлялъ другого съ извѣстностью. «Поздравляю, вы, говоритъ, уже извѣстность и начинаете завоевывать славу». Очевидно, актеры или микроскопическіе газетчики. Но не въ нихъ дѣло. Меня, сударь, занимаетъ теперь вопросъ, что̀ собственно нужно разумѣть подъ словомъ *слава* или *извѣстность*? Какъ по-вашему-съ? Пушкинъ называлъ славу яркой заплатой на рубищѣ, всѣ мы понимаемъ ее по-пушкински, то-есть болѣе или менѣе субъективно, но никто еще не далъ яснаго, логическаго опредѣленія этому слову. Дорого бы я далъ за такое опредѣленіе!

— На что оно вамъ такъ понадобилось?

— Видите ли, знай мы, что̀ такое слава, намъ, быть-можетъ, были бы извѣстны и способы ея достиженія, — сказалъ пассажиръ перваго класса, подумавъ.—Надо вамъ замѣтить, сударь, что когда я былъ помоложе, я всѣми фибрами души моей стремился къ извѣстности. Популярность была моимъ, такъ сказать, сумасшествіемъ. Для нея я учился, работалъ, ночей не спалъ, куска не доѣдалъ и здоровье потерялъ. И кажется, насколько я могу судить безпристрастно, у меня были всѣ данныя къ ея достиженію. Во-первыхъ-съ, по профессіи я инженеръ. Пока живу, я построилъ на Руси десятка два великолѣпныхъ мостовъ, соорудилъ въ трехъ городахъ водопроводы, работалъ въ Россіи, въ Англіи, въ Бельгіи... Во-вторыхъ, я написалъ много спеціальныхъ статей по своей части. Въ-третьихъ, сударь мой, я съ самаго дѣтства былъ подверженъ слабости къ химіи; занимаясь на досугѣ этой наукой, я нашелъ способы добыванія нѣкоторыхъ органическихъ кислотъ, такъ что имя мое вы найдете во всѣхъ заграничныхъ учебникахъ химіи. Все время я находился на службѣ, дослужился до чина дѣйствительнаго статскаго совѣтника и формуляръ имѣю не замаранный. Не стану утруждать вашего вниманія перечисленіемъ своихъ заслугъ и работъ, скажу только, что я сдѣлалъ гораздо больше, чѣмъ иной извѣстный. И что же? Вотъ я уже старъ, околѣвать собираюсь, можно сказать, а извѣстенъ я столь же, какъ вонъ та черная собака, что бѣжитъ по насыпи.

— Почемъ знать? Можетъ-быть, вы и извѣстны.

— Гм!.. А вотъ мы сейчасъ попробуемъ... Скажите, вы слыхали когда-нибудь фамилію Крикунова?

Vis-à-vis поднялъ глаза къ потолку, подумалъ и засмѣялся.

— Нѣтъ, не слыхалъ...—сказалъ онъ.

— Это моя фамилія. Вы человѣкъ интеллигентный и пожилой, ни разу не слыхали про меня—доказательство убѣдительное! Очевидно, добиваясь извѣстности, я дѣлалъ совсѣмъ не то, что̀ слѣдовало. Я не зналъ настоящихъ способовъ и, желая схватить славу за хвостъ, зашелъ не съ той стороны.

— Какіе же это настоящіе способы?

— А чортъ ихъ знаетъ! Вы скажете: талантъ? геніальность? недюжинность? Вовсе нѣтъ, сударь мой... Параллельно

со мной жили и дѣлали свою карьеру люди сравнительно со мной пустые, ничтожные и даже дрянные. Работали они въ тысячу разъ меньше меня, изъ кожи не лѣзли, талантами не блистали и извѣстности не добивались, а поглядите на нихъ! Ихъ фамиліи то и дѣло попадаются въ газетахъ и въ разговорахъ! Если вамъ не надоѣло слушать, то я поясню примѣромъ-съ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, я дѣлалъ въ городѣ К. мостъ. Надо вамъ сказать, скучища въ этомъ паршивомъ К. была страшная. Если бы не женщины и не карты, то я съ ума бы, кажется, сошелъ. Ну-съ, дѣло прошлое, сошелся я тамъ, скуки ради, съ одной пѣвичкой. Чортъ ее знаетъ, всѣ приходили въ восторгъ отъ этой пѣвички, по-моему же,—какъ вамъ сказать?—это была обыкновенная, дюжинная натуришка, какихъ много. Дѣвчонка пустая, капризная, жадная, притомъ еще и дура. Она много ѣла, много пила, спала до пяти часовъ вечера—и больше, кажется, ничего. Ее считали кокоткой,—это была ея профессія, — когда же хотѣли выражаться о ней литературно, то называли ее актрисой и пѣвицей. Прежде я былъ завзятымъ театраломъ, а потому эта мошенническая игра званіемъ актрисы чортъ знаетъ какъ возмущала меня! Называться актрисой или даже пѣвицей моя пѣвичка не имѣла ни малѣйшаго права. Это было существо, совершенно безталанное, безчувственное, можно даже сказать, жалкое. Насколько я понимаю, пѣла она отвратительно, вся же прелесть ея «искусства» заключалась въ томъ, что она дрыгала, когда нужно было, ногой и не конфузилась, когда къ ней входили въ уборную. Водевили выбирала она обыкновенно переводные, съ пѣніемъ, и такіе, гдѣ можно было щегольнуть въ мужскомъ костюмѣ въ обтяжку. Однимъ словомъ—тьфу! Ну-съ, прошу вниманія. Какъ теперь помню, происходило у насъ торжественное открытіе движенія по вновь устроенному мосту. Былъ молебенъ, рѣчи, телеграммы и прочее. Я, знаете ли, мыкался около своего дѣтища и все боялся, какъ бы сердце у меня не лопнуло отъ авторскаго волненія. Дѣло прошлое и скромничать нечего, а потому скажу вамъ, что мостъ получился у меня великолѣпный! Не мостъ, а картина, одинъ восторгъ! И извольте-ка не волноваться, когда на открытіи весь городъ. «Ну, думалъ, теперь публика на меня всѣ глаза проглядитъ. Куда бы спрятаться?» Но напрасно я, сударь мой, безпокоился—увы! На

меня, кромѣ офиціальныхъ лицъ, никто не обратилъ ни малѣйшаго вниманія. Стоятъ толпой на берегу, глядятъ, какъ бараны, на мостъ, а до того, кто строилъ этотъ мостъ, имъ и дѣла нѣтъ. И, чортъ бы ихъ дралъ, съ той поры, кстати сказать, возненавидѣлъ я эту нашу почтеннѣйшую публику. Но будемъ продолжать. Вдругъ публика заволновалась: шу-шу-шу... Лица заулыбались, плечи задвигались. «Меня, должно-быть, увидѣли»,—подумалъ я. Какъ же, держи карманъ! Смотрю, сквозь толпу пробирается моя пѣвичка, вслѣдъ за нею ватага шалопаевъ; въ тылъ всему этому шествію торопливо бѣгутъ взгляды толпы. Начался тысячеголосый шопотъ: «Это такая-то... Прелестна! Обворожительна!» Тутъ и меня замѣтили... Двое какихъ-то молокососовъ,—должно-быть, мѣстные любители сценическаго искусства,—поглядѣли на меня, переглянулись и зашептали: «Это ея любовникъ!» Какъ это вамъ понравится? А какая-то плюгавая фигура въ цилиндрѣ, съ давно небритой рожей, долго переминалась около меня съ ноги на ногу, потомъ повернулась ко мнѣ со словами:

— Знаете, кто эта дама, что идетъ по тому берегу? Это такая-то... Голосъ у нея ниже всякой критики-съ, но владѣетъ она имъ въ совершенствѣ!..

— Не можете ли вы сказать мнѣ,—спросилъ я плюгавую фигуру:—кто строилъ этотъ мостъ?

— Право, не знаю!—отвѣчала фигура. — Инженеръ какой-то!

— А кто,—спрашиваю,—въ вашемъ К. соборъ строилъ?

— И этого не могу вамъ сказать.

Далѣе я спросилъ, кто въ К. считается самымъ лучшимъ педагогомъ, кто лучшій архитекторъ, и на всѣ мои вопросы плюгавая фигура отвѣтила незнаніемъ.

— А скажите, пожалуйста,—спросилъ я въ заключеніе:—съ кѣмъ живетъ эта пѣвица?

— Съ какимъ-то инженеромъ Крикуновымъ.

Ну, сударь мой, какъ вамъ это понравится? Но далѣе... Миннезенгеровъ и баяновъ теперь на бѣломъ свѣтѣ нѣтъ, и извѣстность дѣлается почти исключительно только газетами. На другой же день послѣ освященія моста, съ жадностью хватаю мѣстный «Вѣстникъ» и ищу въ немъ про свою особу. Долго бѣгаю глазами по всѣмъ четыремъ страницамъ и наконецъ—вотъ оно! ура! Начинаю читать: «Вчера, при

отличной погодѣ и при громадномъ стеченіи народа, въ присутствіи его превосходительства господина начальника губерніи такого-то и прочихъ властей, происходило освященіе вновь построеннаго моста и т. д.». Въ концѣ же: «На освященіи, блистая красотой, присутствовала, между прочимъ, либимица к—ой публики, наша талантливая артистка такая-то. Само собою разумѣется, что появленіе ея произвело сенсацію. Звѣзда была одѣта, и т. д.» Обо мнѣ же хоть бы одно слово! Хоть полсловечка! Какъ это ни мелко, но вѣрите ли, я даже заплакалъ тогда отъ злости!

Успокоилъ я себя на томъ, что провинція-де глупа, съ нея и требовать нечего, а что за извѣстностью нужно ѣхать въ умственные центры, въ столицы. Кстати въ тѣ поры въ Питерѣ лежала одна моя работка, поданная на конкурсъ. Приближался срокъ конкурса.

Простился я съ К. и поѣхалъ въ Питеръ. Отъ К. до Питера дорога длинная, и вотъ, чтобъ скучно не было, я взялъ отдѣльное купэ, ну... конечно, и пѣвичку. Ѣхали мы и всю дорогу ѣли, шампанское пили и—тру-ла-ла! Но вотъ мы пріѣзжаемъ въ умственный центръ. Пріѣхалъ я туда въ самый день конкурса и имѣлъ, сударь мой, удовольствіе праздновать побѣду: моя работа была удостоена первой преміи. Ура! На другой же день иду на Невскій и покупаю на семь гривенъ разныхъ газетъ. Спѣшу къ себѣ въ номеръ, ложусь на диванъ и, пересиливая дрожь, спѣшу читать. Пробѣгаю одну газетину—ничего! Пробѣгаю другую—ни Боже мой! Наконецъ, въ четвертой наскакиваю на такое извѣстіе: «Вчера съ курьерскимъ поѣздомъ прибыла въ Петербургъ извѣстная провинціальная артистка такая-то. Съ удовольствіемъ отмѣчаемъ, что южный климатъ благотворно подѣйствовалъ на нашу знакомку; ея прекрасная сценическая наружность...»—и не помню что дальше! Много ниже подъ этимъ извѣстіемъ самымъ мельчайшимъ петитомъ напечатано: «Вчера на такомъ-то конкурсѣ первой преміи удостоенъ инженеръ такой-то». Только! И вдобавокъ, еще мою фамилію переврали: вмѣсто Крикунова написали Киркуновъ. Вотъ вамъ и умственный центръ. Но это не все... Когда я черезъ мѣсяцъ уѣзжалъ изъ Питера, то всѣ газеты наперерывъ толковали о «нашей несравненной, божественной, высокоталантливой» и ужъ мою любовницу величали не по фамиліи, а по имени и отчеству...

Нѣсколько лѣтъ спустя, я былъ въ Москвѣ. Вызванъ былъ я туда собственноручнымъ письмомъ городского головы по дѣлу, о которомъ Москва со своими газетами кричитъ уже болѣе ста лѣтъ. Между дѣломъ я прочелъ тамъ въ одномъ изъ музеевъ пять публичныхъ лекцій съ благотворительною цѣлью. Кажется, достаточно, чтобы стать извѣстнымъ городу хотя на три дня, не правда ли? Но, увы! Обо мнѣ не обмолвилась словечкомъ ни одна московская газета. Про пожары, про оперетку, про спящихъ гласныхъ, про пьяныхъ купцовъ — про все есть, а о моемъ дѣлѣ, проектѣ, о лекціяхъ—ни гу-гу. А милая московская публика! Ѣду я на конкѣ... Вагонъ биткомъ набитъ: тутъ и дамы, и военные, и студенты, и курсистки—всякой твари по парѣ.

— Говорятъ, что дума вызвала инженера по такому-то дѣлу!—говорю я сосѣду такъ громко, чтобы весь вагонъ слышалъ.—Вы не знаете, какъ фамилія этого инженера?

Сосѣдъ отрицательно мотнулъ головой. Остальная публика поглядѣла на меня мелькомъ и во всѣхъ взглядахъ я прочелъ «не знаю».

— Говорятъ, кто-то читаетъ лекціи въ такомъ-то музеѣ!—пристаю я къ публикѣ, желая завязать разговоръ. — Говорятъ, интересно!

Никто даже головой не кивнулъ. Очевидно, не всѣ слышали про лекціи, а госпожи дамы не знали даже о существованіи музея. Это бы все еще ничего, но представьте вы, сударь мой, публика вдругъ вскакиваетъ и ломитъ къ окнамъ. Что такое? Въ чемъ дѣло?

— Глядите, глядите!—затолкалъ меня сосѣдъ. — Видите того брюнета, что садится на извозчика? Это извѣстный скороходъ Кингъ!

И весь вагонъ, захлебываясь, заговорилъ о скороходахъ, занимавшихъ тогда московскіе умы.

Много и другихъ примѣровъ я могъ бы привести вамъ, но, полагаю, и этихъ довольно. Теперь допустимъ, что я относительно себя заблуждаюсь, что я хвастунишка и бездарность, но, кромѣ себя, я могъ бы указать вамъ на множество своихъ современниковъ, людей замѣчательныхъ по талантамъ и трудолюбію, но умершихъ въ неизвѣстности. Всѣ эти русскіе мореплаватели, химики, физики, механики, сельскіе хозяева—популярны ли они? Извѣстны ли нашей образованной массѣ русскіе художники, скульпторы, литера-

турные люди? Иная старая литературная собака, рабочая и талантливая, тридцать три года обиваетъ редакціонные пороги, исписываетъ чортъ знаетъ сколько бумаги, разъ двадцать судится за диффамацію, а все-таки не шагаетъ дальше своего муравейника! Назовите мнѣ хоть одного корифея нашей литературы, который сталъ бы извѣстенъ раньше, чѣмъ не прошла по землѣ слава, что онъ убитъ на дуэли, сошелъ съ ума, пошелъ въ ссылку, не чисто играетъ въ карты!

Пассажиръ 1-го класса такъ увлекся, что выронилъ изо рта сигару и приподнялся.

— Да-съ, — продолжалъ онъ свирѣпо: — и въ параллель этимъ людямъ я приведу вамъ сотни всякаго рода пѣвичекъ, акробатовъ и шутовъ, извѣстныхъ даже груднымъ младенцамъ. Да-съ!

Скрипнула дверь, пахнулъ сквознякъ и въ вагонъ вошла личность угрюмаго вида, въ крылаткѣ, въ цилиндрѣ и синихъ очкахъ. Личность оглядѣла мѣста, нахмурилась и прошла дальше.

— Знаете, кто это?—послышался робкій шопотъ изъ далекаго угла вагона.—Это N. N., извѣстный тульскій шулеръ, привлеченный къ суду по дѣлу Y—го банка.

— Вотъ вамъ! — засмѣялся пассажиръ 1-го класса. — Тульскаго шулера знаетъ, а спросите его, знаетъ ли онъ Семирадскаго, Чайковскаго, или философа Соловьева, такъ онъ вамъ башкой замотаетъ... Свинство!

Прошло минуты три въ молчаніи.

— Позвольте васъ спросить, въ свою очередь, — робко закашлялъ vis-à-vis:—вамъ извѣстна фамилія Пушкова?

— Пушкова? Гм!.. Пушкова... Нѣтъ, не знаю!

— Это моя фамилія... — проговорилъ vis-à-vis, конфузясь. — Стало-быть, не знаете? А я уже 35 лѣтъ состою профессоромъ одного изъ русскихъ университетовъ... членъ академіи наукъ-съ... неоднократно печатался...

Пассажиръ 1-го класса и vis-à-vis переглянулись и принялись хохотать.

# ВОРЫ.

Фельдшеръ Ергуновъ, человѣкъ пустой, извѣстный въ уѣздѣ за большого хвастуна и пьяницу, какъ-то въ одинъ изъ святыхъ вечеровъ возвращался изъ мѣстечка Рѣпина, куда ѣздилъ за покупками для больницы. Чтобы онъ не опоздалъ и пораньше вернулся домой, докторъ далъ ему самую лучшую свою лошадь.

Сначала погода стояла ничего себѣ, тихая, но часамъ къ восьми поднялась сильная метель, и когда до дому оставалось всего верстъ семь, фельдшеръ совершенно сбился съ пути...

Править лошадью онъ не умѣлъ, дороги не зналъ и ѣхалъ на авось, куда глаза глядятъ, надѣясь, что сама лошадь вывезетъ. Прошло такъ часа два, лошадь замучилась, самъ онъ озябъ, и ужъ ему казалось, что онъ ѣдетъ не домой, а назадъ въ Рѣпино; но вотъ сквозь шумъ метели послышался глухой собачій лай, и впереди показалось красное, мутное пятно, мало-по-малу обозначились высокія ворота и длинный заборъ, на которомъ остріями вверхъ торчали гвозди, потомъ изъ-за забора вытянулся кривой колодезный журавль. Вѣтеръ прогналъ передъ глазами снѣговую мглу, и тамъ, гдѣ было красное пятно, выросъ небольшой, приземистый домикъ съ высокой камышевой крышей. Изъ трехъ окошекъ одно, завѣшанное изнутри чѣмъ-то краснымъ, было освѣщено.

Что это былъ за дворъ? Фельдшеръ вспомнилъ, что вправо отъ дороги, на седьмой или шестой верстѣ отъ больницы долженъ былъ находиться постоялый дворъ Андрея Чирикова. Вспомнилъ онъ также, что послѣ этого Чирикова, убитаго недавно ямщиками, осталась старуха и дочка Любка, которая года два назадъ пріѣзжала въ больницу лѣчиться.

Дворъ пользовался дурной славой, и заѣхать въ него поздно вечеромъ, да еще съ чужою лошадью, было не безопасно. Но дѣлать было нечего. Фельдшеръ нащупалъ у себя въ сумкѣ револьверъ и, строго кашлянувъ, постучалъ кнутовищемъ по оконной рамѣ.

— Эй, кто здѣсь есть?—крикнулъ онъ.—Старушка Божья, пусти-ка погрѣться!

Черная собака съ хриплымъ лаемъ, кубаремъ покатилась подъ ноги лошади, потомъ другая бѣлая, потомъ еще черная—этакъ штукъ десять! Фельдшеръ высмотрѣлъ самую крупную, размахнулся и изо-всей силы хлестнулъ по ней кнутомъ. Небольшой песикъ на высокихъ ногахъ поднялъ вверхъ острую морду и завылъ тонкимъ, пронзительнымъ голоскомъ.

Долго стоялъ фельдшеръ у окна и стучалъ. Но вотъ за заборомъ, около дома, на деревьяхъ зардѣлся иней, ворота заскрипѣли и показалась закутанная женская фигура съ фонаремъ въ рукахъ.

— Пусти, бабушка, погрѣться, — сказалъ фельдшеръ.— Ѣхалъ въ больницу и съ дороги сбился. Погода, не приведи Богъ. Ты не бойся, мы люди свои, бабушка.

— Свои всѣ дома, а чужихъ мы не звали,—сурово проговорила фигура.—И что стучать зря? Ворота не заперты.

Фельдшеръ въѣхалъ во дворъ и остановился у крыльца.

— Вели-ка, бабка, работнику, чтобъ лошадь мою убралъ,— сказалъ онъ.

— Я не бабка.

И въ самомъ дѣлѣ, это была не бабка. Когда она тушила фонарь, лицо ея освѣтилось, и фельдшеръ увидѣлъ черныя брови и узналъ Любку.

— Какіе теперь работники? — проговорила она, идя въ домъ.—Которые пьяные спятъ, а которые еще съ утра въ Рѣпино поуходили. Дѣло праздничное...

Привязывая подъ навѣсомъ свою лошадь, Ергуновъ услышалъ ржанье и разглядѣлъ въ потемкахъ еще чью-то лошадь и нащупалъ на ней казацкое сѣдло. Значитъ, въ домѣ кромѣ хозяекъ былъ и еще кто-то. На всякій случай фельдшеръ разсѣдлалъ свою лошадь и, идя въ домъ, захватилъ съ собой и покупки и сѣдло.

Въ первой комнатѣ, куда онъ вошелъ, было просторно, жарко натоплено и пахло недавно вымытыми полами. За

столомъ подъ образами сидѣлъ невысокій, худощавый мужикъ лѣтъ сорока, съ небольшой русой бородкой и въ синей рубахѣ. Это былъ Калашниковъ, отъявленный мошенникъ и конокрадъ, отецъ и дядя котораго держали въ Богалёвкѣ трактиръ и торговали, гдѣ придется, крадеными лошадями. Въ больницѣ и онъ бывалъ не разъ, но пріѣзжалъ не лѣчиться, а потолковать съ докторомъ насчетъ лошадей: нѣтъ ли продажной и не пожелаетъ ли его высокоблагородіе господинъ докторъ промѣнять гнѣдую кобылку на буланаго меринка. Теперь голова у него была напомажена и въ ухѣ блестѣла серебряная серьга, и вообще видъ былъ праздничный. Нахмурясь и опустивъ нижнюю губу, онъ внимательно глядѣлъ въ большую, истрепанную книгу съ картинками. Растянувшись на полу около печки, лежалъ другой мужикъ; лицо его, плечи и грудь были покрыты полушубкомъ—должно-быть спалъ; около его новыхъ сапоговъ съ блестящими подковами темнѣли двѣ лужи отъ растаявшаго снѣга.

Увидѣвъ фельдшера, Калашниковъ поздоровался.

— Да, погода...—сказалъ Ергуновъ, потирая ладонями озябшія колѣна. — За шею снѣгу понабилось, весь я промокъ, это самое, какъ хлющъ. И револьверъ мой, кажется, того...

Онъ вынулъ револьверъ, оглядѣлъ его со всѣхъ сторонъ и положилъ опять въ сумку. Но револьверъ не произвелъ никакого впечатлѣнія: мужикъ продолжалъ глядѣть въ книгу.

— Да, погода... Съ дороги сбился и, если бъ не здѣшнія собаки, то, кажется, смерть. Была бы исторія. А гдѣ же хозяйки?

— Старуха въ Рѣпино поѣхала, а дѣвка вечерять готовитъ...—отвѣтилъ Калашниковъ.

Наступило молчаніе. Фельдшеръ, дрожа и всхлипывая, дулъ на ладони и весь ежился, и дѣлалъ видъ, что онъ очень озябъ и замучился. Слышно было, какъ завывали на дворѣ не унимавшіяся собаки. Стало скучно.

— Ты самъ изъ Богалёвки, что ли? — спросилъ фельдшеръ строго у мужика.

— Да, изъ Богалёвки.

И отъ нечего дѣлать фельдшеръ сталъ думать объ этой Богалёвкѣ. Деревня большая и лежитъ она въ глубокомъ оврагѣ, такъ что, когда ѣдешь въ лунную ночь по большой

дорогѣ и взглянешь внизъ, въ темный оврагъ, а потомъ вверхъ на небо, то кажется, что луна виситъ надъ бездонной пропастью и что тутъ конецъ свѣта. Дорога ведетъ внизъ крутая, извилистая и такая узкая, что когда ѣдешь въ Богалёвку на эпидемію или прививать оспу, то все время нужно кричать во все горло или свистать, а то иначе, если встрѣтишься съ телѣгой, то потомъ ужъ не разъѣдешься. Мужики богалёвскіе слывутъ за хорошихъ садоводовъ и конокрадовъ; сады у нихъ богатые: весною вся деревня тонетъ въ бѣлыхъ вишневыхъ цвѣтахъ, а лѣтомъ вишни продаются по три копейки за ведро. Заплати три копейки и рви. Бабы у мужиковъ красивыя и сытыя и любятъ наряжаться, и даже въ будни ничего не дѣлаютъ, а все сидятъ на заваленкахъ и ищутъ въ головахъ другъ у друга.

Но вотъ послышались шаги. Въ комнату вошла Любка, дѣвушка лѣтъ двадцати, въ красномъ платьѣ и босая... Она искоса поглядѣла на фельдшера и раза два прошлась изъ угла въ уголъ. Ходила она не просто, а мелкими шажками, выпятивъ впередъ грудь; видимо, ей нравилось шлепать босыми ногами по недавно вымытому полу и разулась она нарочно для этого.

Калашниковъ чему-то усмѣхнулся и поманилъ ее къ себѣ пальцемъ. Она подошла къ столу, и онъ показалъ ей въ книгѣ на пророка Илію, который правилъ тройкою лошадей, несущихся къ небу. Любка облокотилась на столъ; коса ея перекинулась черезъ плечо,—длинная коса, рыжая, перевязанная на концѣ красной ленточкой,—и едва не коснулась пола. И она тоже усмѣхнулась.

— Отличная, замѣчательная картина!—сказалъ Калашниковъ. — Замѣчательная! — повторилъ онъ и сдѣлалъ руками такъ, какъ будто хотѣлъ вмѣсто Иліи забрать въ руки вожжи.

Въ печкѣ гудѣлъ вѣтеръ; что-то зарычало и пискнуло, точно большая собака задушила крысу.

— Ишь, нечистые расходились!—проговорила Любка.

— Это вѣтеръ,—сказалъ Калашниковъ; онъ помолчалъ, поднялъ глаза на фельдшера и спросилъ: — Какъ, по-вашему, по-ученому, Осипъ Васильичъ, есть на этомъ свѣтѣ черти, или нѣтъ?

— Какъ тебѣ, братецъ, сказать? — отвѣтилъ фельдшеръ

и пожалъ однимъ плечомъ.—Ежели разсуждать по наукѣ, то, конечно, чертей нѣту, потому что это предразсудокъ; а ежели разсуждать попросту, какъ вотъ мы сейчасъ съ тобой, то черти есть, короче говоря... Я въ своей жизни много испыталъ... Послѣ ученія я опредѣлился въ военные фельдшера въ драгунскій полкъ и былъ, конечно, на войнѣ, имѣю медаль и знакъ отличія «Краснаго Креста», а послѣ санъ-стефанскаго договора вернулся въ Россію и поступилъ въ земство. И по причинѣ такой громадной циркуляціи моей жизни, я, могу сказать, видѣлъ столько, что другому и во снѣ не снилось. Случалось и чертей видѣть, то-есть не то чтобы чертей съ рогами или хвостомъ — это однѣ глупости, а такъ, собственно говоря, какъ будто въ родѣ.

— Гдѣ?—спросилъ Калашниковъ.

— Въ разныхъ мѣстахъ. Нечего далеко ходить, лѣтошній годъ, не къ ночи онъ будь помянутъ, встрѣтилъ я его вотъ тутъ, почитай, у самаго двора. Ѣхалъ я, это самое, помню, въ Голышино, ѣхалъ оспу прививать. Извѣстно, какъ всегда, бѣговыя дрожки, ну, лошадь и необходимые причиндалы, да кромѣ того, часы при мнѣ и все прочее, такъ что ѣду и остерегаюсь, какъ бы неровенъ часъ не того... Мало ли всякихъ бродягъ. Подъѣзжаю я къ Змѣиной балочкѣ, будь она проклята, начинаю спускаться и вдругъ, это самое, идетъ кто-то такой. Волосы черные, глаза черные и все лицо словно отъ дыму закоптѣло... Подходитъ къ лошади и прямо беретъ за лѣвую вожжу: стой! Оглядѣлъ лошадь, потомъ, значитъ, меня, потомъ бросилъ вожжу и не говоря худого слова: «Ты куда ѣдешь?» А у самого зубы оскалены, глаза злобные... Ахъ ты, думаю, шутъ этакій! «Ѣду, говорю, оспу прививать. А тебѣ какое дѣло?» Онъ и говоритъ: «Коли такъ, говоритъ, то привей и мнѣ оспу». Оголилъ руку и суетъ мнѣ ее подъ носъ. Конечно, не сталъ я съ нимъ разговаривать, взялъ и привилъ оспу, чтобъ отвязаться. Послѣ того гляжу на свой ланцетъ, а онъ весь заржавѣлъ.

Мужикъ, спавшій около печки, вдругъ заворочался и сбросилъ съ себя полушубокъ, и фельдшеръ, къ великому своему удивленію, увидѣлъ того самаго незнакомца, котораго встрѣтилъ когда-то на Змѣиной балочкѣ. Волосы, борода и глаза у этого мужика были черные, какъ сажа, лицо смуглое и вдобавокъ еще на правой щекѣ сидѣло

черное пятнышко величиной съ чечевицу. Онъ насмѣшливо поглядѣлъ на фельдшера и сказалъ:

— За лѣвую вожжу бралъ — это было, а насчетъ оспы сбрехалъ, сударь. И разговору даже насчетъ оспы у насъ съ тобой не было.

Фельдшеръ смутился.

— Я не про тебя говорю,—сказалъ онъ.—Лежи, когда лежишь.

Смуглый мужикъ ни разу не былъ въ больницѣ и фельдшеръ не зналъ, кто онъ и откуда, и теперь, глядя на него, рѣшилъ, что это, должно-быть, цыганъ. Мужикъ всталъ и, потягиваясь, громко зѣвая, подошелъ къ Любкѣ и Калашникову, сѣлъ рядомъ и тоже сталъ глядѣть въ книгу. На его заспанномъ лицѣ показались умиленіе и зависть.

— Вотъ, Мерикъ,—сказала ему Любка: — приведи мнѣ такихъ коней, я на небо поѣду.

— На небо грѣшнымъ нельзя... — сказалъ Калашниковъ.—Это за святость.

Потомъ Любка собрала на столъ и принесла большой кусокъ свиного сала, соленыхъ огурцовъ, деревянную тарелку съ вареным мясомъ, порѣзаннымъ на мелкіе кусочки, потомъ сковороду, на которой шипѣла колбаса съ капустой. Появился на столѣ и граненый графинъ съ водкой, отъ которой, когда налили по рюмкѣ, по всей комнатѣ пошелъ духъ апельсинной корки.

Фельдшеру было досадно, что Калашниковъ и смуглый Мерикъ говорили между собой и не обращали на него никакого вниманія, точно его и въ комнатѣ не было. А ему хотѣлось поговорить съ ними, похвастать, выпить, наѣсться и, если можно, то и пошалить съ Любкой, которая, пока ужинали, разъ пять садилась около него и, словно нечаянно, трогала его своими красивыми плечами и поглаживала руками свои широкія бедра. Это была дѣвка здоровая, смѣшливая, вертлявая, непосѣда: то сядетъ, то встанетъ, а сидя поворачивается къ сосѣду то грудью, то спиной, какъ егоза, и непремѣнно зацѣпитъ локтемъ или колѣномъ.

И не нравилось также фельдшеру, что мужики выпили только по одной рюмкѣ и больше ужъ не пили, а одному ему пить было какъ-то неловко. Но онъ не выдержалъ и выпилъ другую рюмку, потомъ третью и съѣлъ всю кол-

басу. Чтобы мужики не сторонились его, а приняли его въ свою компанію, онъ рѣшилъ польстить имъ.

— Молодцы у васъ въ Богалёвкѣ!—сказалъ онъ и покрутилъ головой.

— Насчетъ чего молодцы?—спросилъ Калашниковъ.

— Да вотъ, это самое, хоть насчетъ лошадей. Молодцы красть!

— Ну, нашелъ молодцовъ! Пьяницы только да воры.

— Было время, да прошло,—сказалъ Мерикъ послѣ нѣкотораго молчанія.—Только вотъ развѣ одинъ старый Филя у нихъ остался, да и тотъ слѣпой.

— Да, одинъ только Филя,—вздохнулъ Калашниковъ.— Ему, почитай, теперь годовъ семьдесятъ; одинъ глазъ нѣмцы-колонисты выкололи, а другимъ плохо видитъ. Бѣльмо. Прежде, бывало, завидитъ его становой и кричитъ: «Эй, ты, Шамиль!» и всѣ мужики такъ—Шамиль, да Шамиль, а теперь другого и званія ему нѣтъ, какъ кривой Филя. А молодчина былъ человѣкъ! Съ покойнымъ Андроемъ Григорьичемъ, съ Любашинымъ отцомъ, забрались разъ ночью подъ Рожново, — а тамъ конные полки въ ту пору стояли, — и угнали девять солдатскихъ лошадей, самыхъ какихъ получше, и часовыхъ не испугались, и утромъ же цыгану Афонькѣ всѣхъ лошадей за двадцать цѣлковыхъ продали. Да! А нынѣшній норовитъ угнать коня у пьянаго или соннаго, да Бога не побоится и съ пьянаго еще сапоги стащитъ, а потомъ жмется, ѣдетъ съ той лошадью верстъ за двѣсти и потомъ торгуется на базарѣ, торгуется, какъ жидъ, пока его урядникъ не заберетъ, дурака. Не гулянье, а одна срамота! Плевый народишко, что говоритъ.

— А Мерикъ?—спросила Любка.

— Мерикъ не нашъ, — сказалъ Калашниковъ. — Онъ харьковскій, изъ Мижирича. А что молодчина, это вѣрно, грѣхъ пожалиться, хорошій человѣкъ.

Любка лукаво и радостно поглядѣла на Мерика и сказала:

— Да, не даромъ его добрые люди въ проруби купали.

— Какъ такъ?—спросилъ фельдшеръ.

— А такъ...—сказалъ Мерикъ и усмѣхнулся. — Угналъ Филя у самойловскихъ арендателей трехъ лошадей, а они на меня подумали. Ихъ всѣхъ арендателей въ Самойловкѣ человѣкъ десять, а съ работниками и тридцать наберется, и все молоканы... Вотъ одинъ и говоритъ мнѣ на базарѣ:

«Приходи, Мерикъ, поглядѣть, мы съ ярмарки новыхъ лошадей пригнали». Мнѣ, извѣстно, любопытно, прихожу до нихъ, а они, сколько ихъ было, человѣкъ тридцать, скрутили мнѣ назадъ руки и повели на рѣку. Мы, говорятъ, тебѣ покажемъ лошадей. Прорубь одна была уже готовая, они рядомъ, этакъ на сажень, другую прорубили. Потомъ, значитъ, взяли веревку и надѣли мнѣ подъ мышки петлю, а къ другому концу привязали кривую палку, чтобъ, значитъ, сквозь обѣ проруби доставала. Ну, просунули палку и потянули. Я, какъ былъ, въ шубѣ и въ сапогахъ—бултыхъ въ прорубь! а они стоятъ и меня попихиваютъ, кто ногой, а кто колуномъ, потомъ потащили подъ лодъ и вытащили въ другую прорубь.

Любка вздрогнула и вся сжалась.

— Сначала меня отъ холода въ жаръ бросило,—продолжалъ Мерикъ:—а когда вытащили наружу, не было никакой возможности, легъ я на снѣгъ, а молоканы стоятъ около и бьютъ палками по колѣнкамъ и локтямъ. Больно, страсть! Побили и ушли... А на мнѣ все мерзнетъ, одежа обледенѣла, всталъ я и нѣтъ мочи. Спасибо, ѣхала баба, подвезла.

Между тѣмъ фельдшеръ выпилъ рюмокъ пять или шесть; на душѣ у него посвѣтлѣло и захотѣлось тоже разсказать что-нибудь необыкновенное, чудесное, и показать, что онъ тоже молодецъ и ничего не боится.

— А вотъ какъ у насъ въ Пензенской губерніи...—началъ-было онъ.

Оттого, что онъ много пилъ и посоловѣлъ, и, быть-можетъ, оттого, что онъ раза два былъ уличенъ во лжи, мужики не обращали на него никакого вниманія и даже перестали отвѣчать на его вопросы. Мало того, въ его присутствіи они пустились въ такія откровенности, что ему становилось жутко и холодно, а это значило, что они его не замѣчали.

Манеры у Калашникова были солидныя, какъ у человѣка степеннаго и разсудительнаго, говорилъ онъ обстоятельно, а зѣвая, всякій разъ крестилъ себѣ ротъ, и никто бы не могъ подумать, что это воръ, безсердечный воръ, обирающій бѣдняковъ, который уже раза два сидѣлъ въ острогѣ, и общество уже составило приговоръ о томъ, чтобы сослать его въ Сибирь, да откупились отецъ и дядя, такіе же воры и негодяи, какъ онъ самъ. Мерикъ же держалъ

себя хватомъ. Онъ видѣлъ, что Любка и Калашниковъ любуются имъ, и самъ считалъ себя молодцомъ, и то подбоченивался, то выпячивалъ впередъ грудь, то вытягивался такъ, что трещала скамья...

Послѣ ужина Калашниковъ, не вставая, помолился на образъ и пожалъ руку Мерику; тотъ тоже помолился и пожалъ руку Калашникову. Любка убрала ужинъ и насыпала на столъ мятныхъ пряниковъ, каленыхъ орѣховъ, тыквенныхъ сѣмячекъ и поставила двѣ бутылки со сладкимъ виномъ.

— Царство небесное, вѣчный покой Андрею Григорьичу,— говорилъ Калашниковъ, чокаясь съ Мерикомъ.—Когда онъ былъ живъ, соберемся мы здѣсь, бывало, или у брата Мартына и — Боже мой, Боже мой!—какіе люди, какіе разговоры! Замѣчательные разговоры! Тутъ и Мартынъ, и Филя, и Стукотей Ѳедоръ... Все благородно, сообразно... А какъ гуляли! Такъ гуляли, такъ гуляли!

Любка вышла и немного погодя вернулась въ зеленомъ платочкѣ и въ бусахъ.

— Мерикъ, погляди, что мнѣ сегодня Калашниковъ привезъ!—сказала она.

Она поглядѣлась въ зеркало и нѣсколько разъ мотнула головой, чтобы зазвучали бусы. А потомъ открыла сундукъ и стала вынимать оттуда то ситцевое платье съ красными и голубыми глазочками, то другое—красное, съ оборками, которое шуршало и шелестѣло, какъ бумага, то новый платокъ, синій, съ радужнымъ отливомъ — и все это она показывала и, смѣясь, всплескивала руками, какъ будто изумлялась, что у нея такія сокровища.

Калашниковъ настроилъ балалайку и заигралъ, и фельдшеръ никакъ не могъ понять, какую онъ пѣсню играетъ, веселую или грустную, потому что было то очень грустно, даже плакать хотѣлось, то становилось весело. Мерикъ вдругъ вскочилъ и затопалъ на одномъ мѣстѣ каблуками, а затѣмъ, растопыривъ руки, прошелся на однихъ каблукахъ отъ стола къ печкѣ, отъ печки къ сундуку, потомъ привскочилъ, какъ ужаленный, щелкнулъ въ воздухѣ подковками и пошелъ валять въ присядку. Любка взмахнула обѣими руками, отчаянно взвизгнула и пошла за нимъ; сначала она прошлась бокомъ-бокомъ, ехидно, точно желая подкрасться къ кому-то и ударить сзади, застучала дробно

пятками, какъ Мерикъ каблуками, потомъ закружилась волчкомъ и присѣла, и ея красное платье раздулось въ колоколъ; злобно глядя на нее и оскаливъ зубы, понесся къ ней въ присядку Мерикъ, желая уничтожить ее своими страшными ногами, а она вскочила, закинула назадъ голову и, взмахивая руками, какъ большая птица крыльями, едва касаясь пола, поплыла по комнатѣ...

«Ахъ, что за огонь-дѣвка! — думалъ фельдшеръ, садясь на сундукъ и отсюда глядя на танцы.—Что за жаръ! Отдай все да и мало...»

И онъ жалѣлъ: зачѣмъ онъ фельдшеръ, а не простой мужикъ? Зачѣмъ на немъ пиджакъ и цѣпочка съ позолоченнымъ ключикомъ, а не синяя рубаха съ веревочнымъ пояскомъ? Тогда бы онъ могъ смѣло пѣть, плясать, пить, обхватывать обѣими руками Любку, какъ это дѣлалъ Мерикъ...

Отъ рѣзкаго стука, крика и гиканья въ шкапу звенѣла посуда, на свѣчкѣ прыгалъ огонь.

Порвалась нитка и бусы разсыпались по всему полу, свалился съ головы зеленый платокъ и вмѣсто Любки мелькало только одно красное облако, да сверкали темные глаза, а у Мерика, того и гляди, сейчасъ оторвутся руки и ноги.

Но вотъ Мерикъ стукнулъ въ послѣдній разъ ногами и сталъ, какъ вкопанный... Замучившись, еле дыша, Любка склонилась къ нему на грудь и прижалась, какъ къ столбу, а онъ обнялъ ее и, глядя ей въ глаза, сказалъ нѣжно и ласково, какъ бы шутя:

— Ужо узнаю, гдѣ у твоей старухи деньги спрятаны, убью ее, а тебѣ горлышко ножичкомъ перерѣжу, а послѣ того зажгу постоялый дворъ... Люди будутъ думать, что вы отъ пожара пропали, а я съ вашими деньгами пойду въ Кубань, буду тамъ табуны гонять, овецъ заведу...

Любка ничего не отвѣтила, а только виновато поглядѣла на него и спросила:

— Мерикъ, а хорошо въ Кубани?

Онъ ничего не сказалъ, а пошелъ къ сундуку, сѣлъ и задумался; вѣроятно, сталъ мечтать о Кубани.

— Время мнѣ ѣхать одначе, — сказалъ Калашниковъ, поднимаясь. — Должно, Филя ужъ дожидается. Прощай, Люба!

Фельдшеръ вышелъ на дворъ поглядѣть: какъ бы не уѣхалъ Калашниковъ на его лошади. Метель все еще продолжалась. Бѣлыя облака, цѣпляясь своими длинными хвостами за бурьянъ и кусты, носились по двору, а по ту сторону забора, въ полѣ великаны въ бѣлыхъ саванахъ съ широкими рукавами кружились и падали, и опять подпимались, чтобы махать руками и драться. А вѣтеръ-то, вѣтеръ! Голыя березки и вишни, не вынося его грубыхъ ласкъ, низко гнулись къ землѣ и плакали: — Боже, за какой грѣхъ ты прикрѣпилъ насъ къ землѣ и не пускаешь на волю?

— Тирр!—строго сказалъ Калашниковъ и сѣлъ на свою лошадь; одна половинка воротъ была отворена и около нея навалило высокій сугробъ. — Ну, поѣхала, что ли! — прикрикнулъ Калашниковъ. Малорослая, коротконогая лошаденка его пошла, завязла по самый животъ въ сугробѣ. Калашниковъ побѣлѣлъ отъ снѣга и скоро вмѣстѣ со своею лошадью исчезъ за воротами.

Когда фельдшеръ вернулся въ комнату, Любка ползала по полу и собирала бусы. Мерика не было.

«Славная дѣвка!—думалъ фельдшеръ, ложась на скамью и кладя подъ голову полушубокъ.—Ахъ, если бъ Мерика тутъ не было!»

Любка раздражала его, ползая по полу около скамьи, и онъ подумалъ, что если бы здѣсь не было Мерика, то онъ непремѣнно вотъ всталъ бы и обнялъ ее, а что дальше, тамъ было бы видно. Правда, она еще дѣвушка, но едва ли честная; да хотя бы и честная — стоитъ ли церемониться въ разбойничьемъ вертепѣ? Любка собрала бусы и вышла. Свѣчка догорала, и огонь ужъ захватилъ бумажку въ подсвѣчникѣ. Фельдшеръ положилъ возлѣ себя револьверъ и спички и потушилъ свѣчу. Лампадка сильно мигала, такъ что было больно глазамъ, и пятна прыгали по потолку, по полу, по шкапу, и среди нихъ мерещилась Любка, крѣпкая, полногрудая: то вертится волчкомъ, то замучилась пляской и тяжело дышитъ...

«Ахъ, если бъ Мерика унесли нечистые!»—думалъ онъ.

Лампадка въ послѣдній разъ мигнула, затрещала и потухла. Кто-то, должно-быть, Мерикъ вошелъ въ комнату и сѣлъ на скамью. Онъ потянулъ изъ трубки, и на мгновеніе освѣтилась смуглая щека съ чернымъ пятнышкомъ.

Отъ противнаго табачнаго дыма у фельдшера зачесалось въ горлѣ.

— Да и поганый же у тебя табакъ, — будь онъ проклятъ!—сказалъ фельдшеръ.—Даже тошно.

— Я табакъ съ овсянымъ цвѣтомъ мѣшаю, — отвѣтилъ Мерикъ, помолчавъ.—Грудямъ легче.

Онъ покурилъ, поплевалъ и опять ушелъ. Прошло съ полчаса и въ сѣняхъ вдругъ блеснулъ свѣтъ; показался Мерикъ въ полушубкѣ и въ шапкѣ, потомъ Любка со свѣчой въ рукахъ.

— Останься, Мерикъ!—сказала Любка умоляющимъ голосомъ.

— Нѣтъ, Люба. Не держи.

— Послушай меня, Мерикъ,—сказала Любка и голосъ ея сталъ нѣженъ и мягокъ. — Я знаю, ты разыщешь у камки деньги, загубишь и ее, и меня, и пойдешь на Кубань любить другихъ дѣвушекъ, но Богъ съ тобой. Я тебя объ одномъ прошу, сердце: останься!

— Нѣтъ, гулять желаю... — сказалъ Мерикъ, подпоясываясь.

— И гулять тебѣ не на чемъ... Вѣдь ты пѣшкомъ пришелъ, на чемъ ты поѣдешь?

Мерикъ нагнулся къ Любкѣ и шепнулъ ей что-то на ухо; она поглядѣла на дверь и засмѣялась сквозь слезы.

— А онъ спитъ, сатана надутая...—сказала она.

Мерикъ обнялъ ее, крѣпко поцѣловалъ и вышелъ наружу. Фельдшеръ сунулъ револьверъ въ карманъ, быстро вскочилъ и побѣжалъ за нимъ.

— Пусти съ дороги! — сказалъ онъ Любкѣ, которая въ сѣняхъ быстро заперла дверь на засовъ и остановилась на порогѣ.—Пусти! Что стала?

— Зачѣмъ тебѣ туда?

— На лошадь поглядѣть.

Любка посмотрѣла на него снизу вверхъ лукаво и ласково.

— Что на нее глядѣть? Ты на меня погляди...—сказала она, потомъ нагнулась и дотронулась пальцемъ до золоченаго ключика, висѣвшаго на его цѣпочкѣ.

— Пусти, а то онъ уѣдетъ на моей лошади! — сказалъ фельдшеръ. — Пусти, чортъ! — крикнулъ онъ и, ударивъ ее со злобой по плечу, изо всей силы навалился грудью, чтобы

оттолкнуть ее отъ двери, но она крѣпко уцѣпилась за засовъ и была точно желѣзная.—Пусти!—крикнулъ онъ, замучившись.—Уѣдетъ, говорю!

— Гдѣ ему? Не уѣдетъ.

Она, тяжело дыша и поглаживая плечо, которое болѣло, опять поглядѣла на него снизу вверхъ, покраснѣла и засмѣялась.

— Не уходи, сердце...—сказала она.—Мнѣ одной скучно.

Фельдшеръ поглядѣлъ ей въ глаза, подумалъ и обнялъ ее, она не противилась.

— Ну, не балуй, пусти!—попросилъ онъ.

Она молчала.

— А я слышалъ,—сказалъ онъ, какъ ты сейчасъ говорила Мерику, что его любишь.

— Мало ли... Кого я люблю, про то моя думка знаетъ.

Она опять дотронулась пальцемъ до ключика и сказала тихо:

— Дай мнѣ это...

Фельдшеръ отцѣпилъ ключикъ и отдалъ ей. Она вдругъ вытянула шею, прислушалась и сдѣлала серьезное лицо, и взглядъ ея показался фельдшеру холоднымъ и лукавымъ; онъ вспомнилъ про коня, и уже легко отстранилъ ее и выбѣжалъ на дворъ. Подъ навѣсомъ мѣрно и лѣниво хрюкала засыпавшая свинья и стучала рогомъ корова... Фельдшеръ зажегъ спичку и увидѣлъ и свинью, и корову, и собакъ, которыя со всѣхъ сторонъ бросились къ нему на огонь, но лошади и слѣдъ простылъ. Крича и махая руками на собакъ, спотыкаясь о сугробы и увязая въ снѣгу, онъ выбѣжалъ за ворота и сталъ вглядываться въ потемки. Онъ напрягалъ зрѣніе и видѣлъ только, какъ леталъ снѣгъ и какъ снѣжинки явственно складывались въ разныя фигуры: то выглянетъ изъ потемокъ бѣлая смѣющаяся рожа мертвеца, то проскачетъ бѣлый конь, а на немъ амазонка въ кисейномъ платьѣ, то пролетитъ надъ головою вереница бѣлыхъ лебедей... Дрожа отъ гнѣва и холода, не зная, что дѣлать, фельдшеръ выстрѣлилъ изъ револьвера въ собакъ и не попалъ ни въ одну, потомъ бросился назадъ въ домъ.

Когда онъ входилъ въ сѣни, то ему ясно послышалось, какъ кто-то шмыгнулъ изъ комнаты и стукнулъ дверью. Въ комнатѣ было темно; фельдшеръ толкнулся въ дверь:

заперта; тогда зажигая спичку за спичкой, онъ бросился назадъ въ сѣни оттуда въ кухню, изъ кухни въ маленькую комнату, гдѣ всѣ стѣны были увѣшаны юбками и платьями, и пахло васильками и укропомъ, и въ углу около печи стояла чья-то кровать съ цѣлой горою подушекъ; тутъ, должно-быть, жила старуха, Любкина мать; отсюда прошелъ онъ въ другую комнату, тоже маленькую, и здѣсь увидѣлъ Любку. Она лежала на сундукѣ, укрытая пестрымъ, стеганымъ одѣяломъ, сшитымъ изъ ситцевыхъ лоскутиковъ, и представлялась спящею. Надъ ея изголовьемъ горѣла лампадка.

— Гдѣ моя лошадь?—строго спросилъ фельдшеръ.

Любка не шевелилась.

— Гдѣ моя лошадь, я тебя спрашиваю? — повторилъ фельдшеръ еще строже и сорвалъ съ нея одѣяло.—Я тебя спрашиваю, чертовка!—крикнулъ онъ.

Она вскочила, стала на колѣни и, одной рукой придерживая сорочку, а другой стараясь ухватить одѣяло, прижалась къ стѣнѣ... Глядѣла она на фельдшера съ отвращеніемъ, со страхомъ, и глаза у нея, какъ у пойманнаго звѣря, лукаво слѣдили за малѣйшимъ его движеніемъ.

— Говори, гдѣ лошадь, а то я изъ тебя душу вышибу!— крикнулъ фельдшеръ.

— Отойди, поганый! —сказала она хриплымъ голосомъ.

Фельдшеръ схватилъ ее за сорочку около шеи и рванулъ; и тутъ же не выдержалъ и изо-всѣхъ силъ обнялъ дѣвку. А она, шипя отъ злости, заскользила въ его объятіяхъ и, высвободивъ одну руку — другая запуталась въ порванной сорочкѣ, — ударила его кулакомъ по темени.

Въ головѣ у него помутилось отъ боли, въ ушахъ зазвенѣло и застучало, онъ попятился назадъ и въ это время получилъ другой ударъ, но уже по виску. Пошатываясь и хватаясь за косяки, чтобы не упасть, онъ пробрался въ комнату, гдѣ лежали его вещи, и легъ на скамью, потомъ, полежавъ немного, вынулъ изъ кармана коробку со спичками и сталъ жечь спичку за спичкой, безъ всякой надобности: зажжетъ, дунетъ и броситъ подъ столъ— и такъ, пока не вышли всѣ спички.

Между тѣмъ за окномъ сталъ синѣть воздухъ, заголосили пѣтухи, а голова все болѣла и въ ушахъ былъ такой шумъ, какъ будто Ергуновъ сидѣлъ подъ желѣзнодорожнымъ мо-

стомъ и слушалъ, какъ надъ головой его проходитъ поѣздъ. Кое-какъ онъ надѣлъ полушубокъ и шапку; сѣдла и узла съ покупками онъ не нашелъ, сумка была пуста: не даромъ кто-то шмыгнулъ изъ комнаты, когда онъ давеча входилъ со двора.

Онъ взялъ въ кухнѣ кочергу, чтобы оборониться отъ собакъ, и вышелъ на дворъ, оставивъ дверь настежь. Метель уже улеглась и на дворѣ было тихо... Когда онъ вышелъ за ворота, бѣлое поле представлялось мертвымъ, и ни одной птицы не было на утреннемъ небѣ. По обѣ стороны дороги и далеко вдали синѣлъ мелкій лѣсъ.

Фельдшеръ сталъ-было думать о томъ, какъ встрѣтятъ его въ больницѣ и что скажетъ ему докторъ; нужно было непремѣнно думать объ этомъ и приготовить заранѣе отвѣты на вопросы, но мысли эти расплывались и уходили прочь. Онъ шелъ и думалъ только о Любкѣ, о мужикахъ, съ которыми провелъ ночь; вспоминалъ онъ о томъ, какъ Любка, ударивъ его во второй разъ, нагнулась къ полу за одѣяломъ и какъ упала ея распустившаяся коса на полъ. У него путалось въ головѣ и онъ думалъ: къ чему на этомъ свѣтѣ доктора, фельдшера, купцы, писаря, мужики, а не просто вольные люди? Есть же вѣдь вольныя птицы, вольные звѣри, вольный Мерикъ, и никого они не боятся, и никто имъ не нуженъ! И кто это выдумалъ, кто сказалъ, что вставать нужно утромъ, обѣдать въ полдень, ложиться вечеромъ, что докторъ старше фельдшера, что надо жить въ комнатѣ и можно любить только жену свою? А почему бы не наоборотъ: обѣдать бы ночью, а спать днемъ? Ахъ, вскочить бы на лошадь, не спрашивая, чья она, носиться бы чортомъ въ перегонку съ вѣтромъ, по полямъ, лѣсамъ и оврагамъ, любить бы дѣвушекъ, смѣяться бы надъ всѣми людьми...

Фельдшеръ бросилъ кочергу въ снѣгъ, припалъ лбомъ къ бѣлому холодному стволу березы и задумался, и его сѣрая, однообразная жизнь, его жалованье, подчиненность, аптека, вѣчная возня съ банками и мушками казались ему презрѣнными, тошными.

— Кто говоритъ, что гулять грѣхъ? — спрашивалъ онъ себя съ досадой. — А вотъ которые говорятъ это, тѣ никогда не жили на волѣ, какъ Мерикъ или Калашниковъ, и не любили Любки; они всю свою жизнь побирались, жили

безъ всякаго удовольствія и любили только своихъ женъ, похожихъ на лягушекъ.

И про себя онъ теперь думалъ такъ, что если самъ онъ до сихъ поръ не сталъ воромъ, мошенникомъ, или даже разбойникомъ, то потому только, что не умѣетъ, или не встрѣчаетъ еще подходящаго случая.

---

Прошло года полтора. Какъ-то весною, послѣ Святой, фельдшеръ, давно уже уволенный изъ больницы и ходившій безъ мѣста, поздно вечеромъ вышелъ въ Рѣпинѣ изъ трактира и побрелъ по улицѣ безъ всякой цѣли.

Вышелъ онъ въ поле. Тамъ пахло весною и дулъ теплый, ласковый вѣтерокъ. Тихая, звѣздная ночь глядѣла съ неба на землю. Боже мой, какъ глубоко небо и какъ неизмѣримо широко раскинулось оно надъ міромъ! Хорошо созданъ міръ, только зачѣмъ и съ какой стати, думалъ фельдшеръ, люди дѣлятъ другъ друга на трезвыхъ и пьяныхъ, служащихъ и уволенныхъ и пр.? Почему трезвый и сытый покойно спитъ у себя дома, а пьяный и голодный долженъ бродить по полю, не зная пріюта? Почему кто не служитъ и не получаетъ жалованья, тотъ непремѣнно долженъ быть голоденъ, раздѣтъ, не обутъ? Кто это выдумалъ? Почему же птицы и лѣсные звѣри не служатъ и не получаютъ жалованья, а живутъ въ свое удовольствіе?

Вдали на небѣ, распахнувшись надъ горизонтомъ, дрожало красивое багровое зарево. Фельдшеръ стоялъ и долго глядѣлъ на него и все думалъ: почему, если онъ вчера унесъ чужой самоваръ и прогулялъ его въ кабакѣ, то это грѣхъ? Почему?

Мимо по дорогѣ проѣхали двѣ телѣги: въ одной спала Саба, въ другой сидѣлъ старикъ безъ шапки...

— Дѣдъ, гдѣ это горитъ?—спросилъ фельдшеръ.

— Дворъ Андрея Чирикова...—отвѣтилъ старикъ.

И вспомнилъ фельдшеръ, что случилось съ нимъ года полтора назадъ, зимою, въ этомъ самомъ дворѣ, и какъ хвасталъ Мерикъ; и вообразилъ онъ, какъ горятъ зарѣзанныя старуха и Любка, и позавидовалъ Мерику. И когда шелъ опять въ трактиръ, то, глядя на дома богатыхъ кабатчиковъ, прасоловъ и кузнецовъ, соображалъ: хорошо бы ночью забраться къ кому побогаче!

# ПАРИ.

## I.

Была темная, осенняя ночь. Старый банкиръ ходилъ у себя въ кабинетѣ изъ угла въ уголъ и вспоминалъ, какъ пятнадцать лѣтъ тому назадъ, осенью онъ давалъ вечеръ. На этомъ вечерѣ было много умныхъ людей и велись интересные разговоры. Между прочимъ говорили о смертной казни. Гости, среди которыхъ было не мало ученыхъ и журналистовъ, въ большинствѣ относились къ смертной казни отрицательно. Они находили этотъ способъ наказанія устарѣвшимъ, непригоднымъ для христіанскихъ государствъ и безнравственнымъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ изъ нихъ, смертную казнь повсемѣстно слѣдовало бы замѣнить пожизненнымъ заключеніемъ.

— Я съ вами несогласенъ,—сказалъ хозяинъ-банкиръ.— Я не пробовалъ ни смертной казни, ни пожизненнаго заключенія, но если можно судить à priori, то, по-моему, смертная казнь нравственнѣе и гуманнѣе заключенія. Казнь убиваетъ сразу, а пожизненное заключеніе медленно. Какой же палачъ человѣчнѣе? Тотъ ли, который убиваетъ васъ въ нѣсколько минутъ, или тотъ, который вытягиваетъ изъ васъ жизнь въ продолженіе многихъ лѣтъ?

— То и другое одинаково безнравственно, — замѣтилъ кто-то изъ гостей: — потому что имѣетъ одну и ту же цѣль — отнятіе жизни. Государство — не Богъ. Оно не имѣетъ права отнимать то, чего не можетъ вернуть, если захочетъ.

Среди гостей находился одинъ юристъ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати пяти. Когда спросили его мнѣнія, онъ сказалъ:

— И смертная казнь, и пожизненное заключеніе одинаково безнравственны, но если бы мнѣ предложили выбирать между казнью и пожизненнымъ заключеніемъ, то, конечно, я выбралъ бы второе. Жить какъ-нибудь лучше, чѣмъ никакъ.

Поднялся оживленный споръ. Банкиръ, бывшій тогда помоложе и нервнѣе, вдругъ вышелъ изъ себя, ударилъ кулакомъ по столу и крикнулъ, обращаясь къ молодому юристу:

— Неправда! Держу пари на два милліона, что вы не высидите въ казематѣ и пяти лѣтъ.

— Если это серьезно,—отвѣтилъ ему юристъ:—то держу пари, что высижу не пять, а пятнадцать.

— Пятнадцать? Идетъ! — крикнулъ банкиръ:—Господа, я ставлю два милліона!

— Согласенъ! Вы ставите милліоны, а я свою свободу!— сказалъ юристъ.

И это дикое, безсмысленное пари состоялось! Банкиръ, не знавшій тогда счета своимъ милліонамъ, избалованный и легкомысленный, былъ въ восторгѣ отъ пари. За ужиномъ онъ шутилъ надъ юристомъ и говорилъ:

— Образумьтесь, молодой человѣкъ, пока еще не поздно. Для меня два милліона составляютъ пустяки, а вы рискуете потерять три-четыре лучшихъ года вашей жизни. Говорю— три-четыре, потому что вы не высидите дольше. Не забывайте также, несчастный, что добровольное заточеніе гораздо тяжелѣе обязательнаго. Мысль, что каждую минуту вы имѣете право выйти на свободу, отравитъ вамъ въ казематѣ все ваше существованіе. Мнѣ жаль васъ!

И теперь банкиръ, шагая изъ угла въ уголъ, вспоминалъ все это и спрашивалъ себя:

— Къ чему это пари? Какая польза отъ того, что юристъ потерялъ пятнадцать лѣтъ жизни, а я брошу два милліона? Можетъ ли это доказать людямъ, что смертная казнь хуже или лучше пожизненнаго заключенія? Нѣтъ и нѣтъ. Вздоръ и безсмыслица. Съ моей стороны то была прихоть сытаго человѣка, а со стороны юриста — простая алчность къ деньгамъ...

Далѣе вспоминалъ онъ о томъ, что произошло послѣ описаннаго вечера. Рѣшено было, что юристъ будетъ отбывать свое заключеніе подъ строжайшимъ надзоромъ въ одномъ изъ флигелей, построенныхъ въ саду банкира. Условились, что въ продолженіе пятнадцати лѣтъ онъ будетъ лишенъ права переступать порогъ флигеля, видѣть живыхъ людей, слышать человѣческіе голоса и получать письма и газеты. Ему разрѣшалось имѣть музыкальный инструментъ, читать книги, писать письма, пить вино и курить табакъ. Съ внѣшнимъ міромъ, по условію, онъ могъ сноситься не иначе, какъ молча, черезъ маленькое окно, нарочно устроенное для этого. Все, что нужно, книги, ноты, вино и прочее, онъ могъ получать по запискѣ въ какомъ угодно количествѣ, но только черезъ окно. Договоръ предусматривалъ всѣ подробности и мелочи, дѣлавшія заключеніе строго одиночнымъ, и обязывалъ юриста высидѣть *ровно* пятнадцать лѣтъ съ 12-ти часовъ 14 ноября 1870 г. и кончая 12-ю часами 14 ноября 1885 г. Малѣйшая попытка со стороны юриста нарушить условія, хотя бы за двѣ минуты до срока, освобождала банкира отъ обязанности платить ему два милліона.

Въ первый годъ заключенія юристъ, насколько можно было судить по его короткимъ запискамъ, сильно страдалъ отъ одиночества и скуки. Изъ его флигеля постоянно днемъ и ночью слышались звуки рояля! Онъ отказался отъ вина и табаку. Вино, писалъ онъ, возбуждаетъ желанія, а желанія—первые враги узника; къ тому же нѣтъ ничего скучнѣе, какъ пить хорошее вино и никого не видѣть. А табакъ портитъ въ его комнатѣ воздухъ. Въ первый годъ юристу посылались книги преимущественно легкаго содержанія: романы съ сложной любовной интригой, уголовныя и фантастическіе разсказы, комедіи и т. п.

Во второй годъ музыка уже смолкла во флигелѣ, и юристъ требовалъ въ своихъ запискахъ только классиковъ. Въ пятый годъ снова послышалась музыка, и узникъ попросилъ вина. Тѣ, которые наблюдали за нимъ въ окошко, говорили, что весь этотъ годъ онъ только ѣлъ, пилъ и лежалъ на постели, часто зѣвалъ, сердито разговаривалъ самъ съ собою. Книгъ онъ не читалъ. Иногда по ночамъ онъ садился писать, писалъ долго и подъ утро разрывалъ на клочки все написанное. Слышали не разъ, какъ онъ плакалъ.

Во второй половинѣ шестого года узникъ усердно занялся изученіемъ языковъ, философіей и исторіей. Онъ жадно принялся за эти науки, такъ что банкиръ едва успѣвалъ выписывать для него книги. Въ продолженіе четырехъ лѣтъ по его требованію было выписано около шестисотъ томовъ. Въ періодъ этого увлеченія банкиръ между прочимъ получилъ отъ своего узника такое письмо: «Дорогой мой тюремщикъ! Пишу вамъ эти строки на шести языкахъ. Покажите ихъ свѣдущимъ людямъ. Пусть прочтутъ. Если они не найдутъ ни одной ошибки, то умоляю васъ, прикажите выстрѣлить въ саду изъ ружья. Выстрѣлъ этотъ скажетъ мнѣ, что мои усилія не пропали даромъ. Геніи всѣхъ вѣковъ и странъ говорятъ на различныхъ языкахъ, но горитъ во всѣхъ ихъ одно и то же пламя. О, если бы вы знали, какое неземное счастье испытываетъ теперь моя душа оттого, что я умѣю понимать ихъ!» Желаніе узника было исполнено. Банкиръ приказалъ выстрѣлить въ саду два раза.

Затѣмъ послѣ десятаго года юристъ неподвижно сидѣлъ за столомъ и читалъ одно только Евангеліе. Банкиру казалось страннымъ, что человѣкъ, одолѣвшій въ четыре года шестьсотъ мудреныхъ томовъ, потратилъ около года на чтеніе одной удобопонятной и не толстой книги. На смѣну Евангелію пошли исторія религій и богословіе.

Въ послѣдніе два года заточенія узникъ читалъ чрезвычайно много, безъ всякаго разбора. То онъ занимался естественными науками, то требовалъ Байрона или Шекспира. Бывали отъ него такія записки, гдѣ онъ просилъ прислать ему въ одно и то же время и химію, и медицинскій учебникъ, и романъ, и какой-нибудь философскій или богословскій трактатъ. Его чтеніе было похоже на то, какъ будто онъ плавалъ въ морѣ среди обломковъ корабля и, желая спасти себѣ жизнь, жадно хватался то за одинъ обломокъ, то за другой!

## II.

Старикъ банкиръ вспоминалъ все это и думалъ:

«Завтра въ 12 часовъ онъ получаетъ свободу. По условію, я долженъ буду уплатить ему два милліона. Если я уплачу, то все погибло: я окончательно разоренъ...»

Пятнадцать лѣтъ тому назадъ онъ не зналъ счета своимъ

милліонамъ, теперь же онъ боялся спросить себя, чего у него больше—денегъ или долговъ? Азартная биржевая игра, рискованныя спекуляціи и горячность, отъ которой онъ не могъ отрѣшиться даже въ старости, мало-по-малу привели въ упадокъ его дѣла, и безстрашный, самонадѣянный, гордый богачъ превратился въ банкира средней руки, трепещущаго при всякомъ повышеніи и пониженіи бумагъ.

— Проклятое пари! — бормоталъ старикъ, въ отчаяніи хватая себя за голову...—Зачѣмъ этотъ человѣкъ не умеръ? Ему еще сорокъ лѣтъ. Онъ возьметъ съ меня послѣднее, женится, будетъ наслаждаться жизнью, играть на биржѣ, а я, какъ нищій, буду глядѣть съ завистью и каждый день слышать отъ него одну и ту же фразу: «Я обязанъ вамъ счастьемъ моей жизни, позвольте мнѣ помочь вамъ!» Нѣтъ, это слишкомъ! Единственное спасеніе отъ банкротства и позора—смерть этого человѣка!

Пробило три часа. Банкиръ прислушался: въ домѣ всѣ спали и только слышно было, какъ за окнами шумѣли озябшія деревья. Стараясь не издавать ни звука, онъ досталъ изъ несгораемаго шкапа ключъ отъ двери, которая не отворялась въ продолженіе пятнадцати лѣтъ, надѣлъ пальто и вышелъ изъ дому.

Въ саду было темно и холодно. Шелъ дождь. Рѣзкій сырой вѣтеръ съ воемъ носился по всему саду и не давалъ покоя деревьямъ. Банкиръ напрягалъ зрѣніе, но не видѣлъ ни земли, ни бѣлыхъ статуй, ни флигеля, ни деревьевъ. Подойдя къ тому мѣсту, гдѣ находился флигель, онъ два раза окликнулъ сторожа. Отвѣта не послѣдовало. Очевидно, сторожъ укрылся отъ непогоды и теперь спалъ гдѣ-нибудь на кухнѣ или въ оранжереѣ.

«Если у меня хватитъ духа исполнить свое намѣреніе,—подумалъ старикъ:—то подозрѣніе прежде всего падетъ на сторожа».

Онъ нащупалъ въ потемкахъ ступени и дверь и вошелъ въ переднюю флигеля, затѣмъ ощупью пробрался въ небольшой коридоръ и зажегъ спичку. Тутъ не было ни души. Стояла чья-то кровать безъ постели да темнѣла въ углу чугунная печка. Печати на двери, ведущей въ комнату узника, были цѣлы.

Когда потухла спичка, старикъ, дрожа отъ волненія, заглянулъ въ маленькое окно.

Въ комнатѣ узника тускло горѣла свѣча. Самъ онъ сидѣлъ у стола. Видны были только его спина, волосы на головѣ да руки. На столѣ, на двухъ креслахъ и на коврѣ, возлѣ стола, лежали раскрытыя книги.

Прошло пять минутъ, и узникъ ни разу не шевельнулся. Пятнадцатилѣтнее заточеніе научило его сидѣть неподвижно. Банкиръ постучалъ пальцемъ въ окно, и узникъ не отвѣтилъ на этотъ стукъ ни однимъ движеніемъ. Тогда банкиръ осторожно сорвалъ съ двери печати и вложилъ ключъ въ замочную скважину. Заржавленный замокъ издалъ хриплый звукъ и дверь скрипнула. Банкиръ ожидалъ, что тотчасъ же послышится крикъ удивленія и шаги, но прошло минуты три, и за дверью было тихо попрежнему. Онъ рѣшился войти въ комнату.

За столомъ неподвижно сидѣлъ человѣкъ, непохожій на обыкновенныхъ людей. Это былъ скелетъ, обтянутый кожею, съ длинными женскими кудрями и съ косматой бородой. Цвѣтъ лица у него былъ желтый, съ землистымъ оттѣнкомъ, щеки впалыя, спина длинная и узкая, а рука, которою онъ поддерживалъ свою волосатую голову, была такъ тонка и худа, что на нее было жутко смотрѣть. Въ волосахъ его уже серебрилась сѣдина и, глядя на старчески изможденное лицо, никто не повѣрилъ бы, что ему только сорокъ лѣтъ. Онъ спалъ... Передъ его склоненною головой на столѣ лежалъ листъ бумаги, на которомъ было что-то написано мелкимъ почеркомъ.

«Жалкій человѣкъ!—подумалъ банкиръ.—Спитъ и, вѣроятно, видитъ во снѣ милліоны! А стоитъ мнѣ только взять этого полумертвеца, бросить его на постель, слегка придушить подушкой и самая добросовѣстная экспертиза не найдетъ знаковъ насильственной смерти. Однако, прочтемъ сначала, что онъ тутъ написалъ...

Банкиръ взялъ со стола листъ и прочелъ слѣдующее:

«Завтра въ 12 часовъ дня я получаю свободу и право общенія съ людьми. Но прежде, чѣмъ оставить эту комнату и увидѣть солнце, я считаю нужнымъ сказать вамъ нѣсколько словъ. По чистой совѣсти и передъ Богомъ, который видитъ меня, заявляю вамъ, что я презираю и свободу, и жизнь, и здоровье и все то, что въ вашихъ книгахъ называется благами міра.

«Пятнадцать лѣтъ я внимательно изучалъ земную жизнь.

Правда, я не видѣлъ земли и людей, но въ вашихъ книгахъ я пилъ ароматное вино, пѣлъ пѣсни, гонялся въ лѣсахъ за оленями и дикими кабанами, любилъ женщинъ... Красавицы воздушныя, какъ облако, созданныя волшебствомъ вашихъ геніальныхъ поэтовъ посѣщали меня ночью и шептали мнѣ чудныя сказки, отъ которыхъ пьянѣла моя голова. Въ вашихъ книгахъ я взбирался на вершины Эльборуса и Монбляна и видѣлъ оттуда, какъ по утрамъ восходило солнце и какъ по вечерамъ заливало оно небо, океанъ и горныя вершины багрянымъ золотомъ; я видѣлъ оттуда, какъ надо мной, разсѣкая тучи, сверкали молніи; я видѣлъ зеленые лѣса, поля, рѣки, озера, города, слышалъ пѣніе сиренъ и игру пастушескихъ свирѣлей, осязалъ крылья прекрасныхъ дьяволовъ, прилетавшихъ ко мнѣ бесѣдовать о Богѣ... Въ вашихъ книгахъ я бросался въ бездонныя пропасти, творилъ чудеса, убивалъ, сжигалъ города, проповѣдывалъ новыя религіи, завоевывалъ цѣлыя царства...

«Ваши книги дали мнѣ мудрость. Все то, что вѣками создавала неутомимая человѣческая мысль, сдавлено въ моемъ черепѣ въ небольшой комъ. Я знаю, что я умнѣе всѣхъ васъ.

«И я презираю ваши книги, презираю всѣ блага міра и мудрость. Все ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво, какъ миражъ. Пусть вы горды, мудры и прекрасны, но смерть сотретъ васъ съ лица земли наравнѣ съ подпольными мышами, а потомство ваше, исторія, безсмертіе вашихъ геніевъ замерзнутъ или сгорятъ вмѣстѣ съ земнымъ шаромъ.

«Вы обезумѣли и идете не по той дорогѣ. Ложь принимаете вы за правду и безобразіе за красоту. Вы удивились бы, если бы вслѣдствіе какихъ-нибудь обстоятельствъ на яблоняхъ и апельсинныхъ деревьяхъ вмѣсто плодовъ вдругъ выросли лягушки и ящерицы, или розы стали издавать запахъ вспотѣвшей лошади; такъ я удивляюсь вамъ, промѣнявшимъ небо на землю. Я не хочу понимать васъ.

«Чтобъ показать вамъ на дѣлѣ презрѣніе къ тому, чѣмъ живете вы, я отказываюсь отъ двухъ милліоновъ, о которыхъ я когда-то мечталъ, какъ о раѣ, и которые теперь презираю. Чтобы лишить себя права на нихъ, я выйду от-

сюда за пять часовъ до условленнаго срока и такимъ образомъ нарушу договоръ...»

Прочитавъ это, банкиръ положилъ листъ на столъ, поцѣловалъ страннаго человѣка въ голову, заплакалъ и вышелъ изъ флигеля. Никогда въ другое время, даже послѣ сильныхъ проигрышей на биржѣ, онъ не чувствовалъ такого презрѣнія къ самому себѣ, какъ теперь. Придя домой, онъ легъ въ постель, но волненіе и слезы долго не давали ему уснуть...

На другой день утромъ прибѣжали блѣдные сторожа и сообщили ему, что они видѣли, какъ человѣкъ, живущій во флигелѣ, пролѣзъ черезъ окно въ садъ, пошелъ къ воротамъ, затѣмъ куда-то скрылся. Вмѣстѣ со слугами банкиръ тотчасъ же отправился во флигель и удостовѣрилъ бѣгство своего узника. Чтобы не возбуждать лишнихъ толковъ, онъ взялъ со стола листъ съ отреченіемъ и, вернувшись къ себѣ, заперъ его въ несгораемый шкапъ.

# ИМЕНИНЫ.

## I.

Послѣ имениннаго обѣда, съ его восемью блюдами и безконечными разговорами, жена именинника Ольга Михайловна пошла въ садъ. Обязанность непрерывно улыбаться и говорить, звонъ посуды, безтолковость прислуги, длинные обѣденные антракты и корсетъ, который она надѣла, чтобы скрыть отъ гостей свою беременность, утомили ее до изнеможенія. Ей хотѣлось уйти подальше отъ дома, посидѣть въ тѣни и отдохнуть на мысляхъ о ребенкѣ, который долженъ былъ родиться у нея мѣсяца черезъ два. Она привыкла къ тому, что эти мысли приходили къ ней, когда она съ большой аллеи сворачивала влѣво на узкую тропинку; тутъ въ густой тѣни сливъ и вишенъ сухія вѣтки царапали ей плечи и шею, паутина садилась на лицо, а въ мысляхъ выросталъ образъ маленькаго человѣчка неопредѣленнаго пола, съ неясными чертами, и начинало казаться, что не паутина ласково щекочетъ лицо и шею, а этотъ человѣчекъ; когда же въ концѣ тропинки показывался жидкій плетень, а за нимъ пузатые ульи съ черепяными крышками, когда въ неподвижномъ, застоявшемся воздухѣ начинало пахнуть и сѣномъ, и медомъ, и слышалось кроткое жужжанье пчелъ, маленькій человѣчекъ совсѣмъ овладѣвалъ Ольгой Михайловной. Она садилась на скамеечкѣ около шалаша, сплетеннаго изъ лозы, и принималась думать.

И на этотъ разъ она дошла до скамеечки, сѣла и стала думать; но въ ея воображеніи вмѣсто маленькаго человѣчка

вставали большіе люди, отъ которыхъ она только-что ушла. Ее сильно безпокоило, что она, хозяйка, оставила гостей; и вспомнила она, какъ за обѣдомъ ея мужъ Петръ Дмитричъ и ея дядя Николай Николаичъ спорили о судѣ присяжныхъ, о печати и о женскомъ образованіи; мужъ по обыкновенію спорилъ для того, чтобы щегольнуть передъ гостями своимъ консерватизмомъ, а главное — чтобы не соглашаться съ дядей, котораго онъ не любилъ; дядя же противорѣчилъ ему и придирался къ каждому его слову для того, чтобы показать обѣдающимъ, что онъ, дядя, несмотря на свои 59 лѣтъ, сохранилъ еще въ себѣ юношескую свѣжесть духа и свободу мысли. И сама Ольга Михайловна подъ конецъ обѣда не выдержала и стала неумѣло защищать женскіе курсы,—не потому, что эти курсы нуждались въ защитѣ, а просто потому, что ей хотѣлось досадить мужу, который, по ея мнѣнію, былъ несправедливъ. Гостей утомилъ этотъ споръ, но всѣ они нашли нужнымъ вмѣшаться и говорили много, хотя всѣмъ имъ не было никакого дѣла ни до суда присяжныхъ, ни до женскаго образованія...

Ольга Михайловна сидѣла по сю сторону плетня, около шалаша. Солнце пряталось за облаками, деревья и воздухъ хмурились, какъ передъ дождемъ, но, несмотря на это, было жарко и душно. Сѣно, скошенное подъ деревьями наканунѣ Петрова дня, лежало неубранное, печальное, пестрѣя своими поблекшими цвѣтами и испуская тяжелый приторный запахъ. Было тихо. За плетнемъ монотонно жужжали пчелы...

Неожиданно послышались шаги и голоса. Кто-то шелъ по тропинкѣ къ пасѣкѣ.

— Душно!—сказалъ женскій голосъ.—Какъ по-вашему, будетъ дождь, или нѣтъ?

— Будетъ, моя прелесть, но не раньше ночи,—отвѣтилъ томно очень знакомый мужской голосъ. — Хорошій дождь будетъ.

Ольга Михайловна разсудила, что если она поспѣшитъ спрятаться въ шалашъ, то ея не замѣтятъ и пройдутъ мимо, и ей не нужно будетъ говорить и напряженно улыбаться. Она подобрала платье, нагнулась и вошла въ шалашъ. Тотчасъ же лицо, шею и руки ея обдало горячимъ и душнымъ, какъ паръ, воздухомъ. Если бы не духота и

не спертый запахъ ржаного хлѣба, укропа и лозы, отъ котораго захватывало дыханіе, то тутъ, подъ соломенною крышей и въ сумеркахъ, отлично можно было бы прятаться отъ гостей и думать о маленькомъ человѣчкѣ. Уютно и тихо.

— Какое здѣсь хорошенькое мѣстечко!—сказалъ женскій голосъ.—Посидимте здѣсь, Петръ Дмитричъ.

Ольга Михайловна стала глядѣть въ щель между двумя хворостинами. Она увидала своего мужа Петра Дмитрича и гостью Любочку Шеллеръ, семнадцатилѣтнюю дѣвочку, недавно кончившую въ институтѣ. Петръ Дмитричъ, со шляпой на затылкѣ, томный и лѣнивый оттого, что много пилъ за обѣдомъ, въ развалку ходилъ около плетня и ногой сгребалъ въ кучу сѣно; Любочка, розовая отъ жары и, какъ всегда, хорошенькая, стояла, заложивъ руки назадъ, и слѣдила за лѣнивыми движеніями его большого красиваго тѣла.

Ольга Михайловна знала, что ея мужъ нравится женщинамъ, и не любила видѣть его съ ними. Ничего особеннаго не было въ томъ, что Петръ Дмитричъ лѣниво сгребалъ сѣно, чтобы посидѣть на немъ съ Любочкой и поболтать о пустякахъ; ничего не было особеннаго и въ томъ, что хорошенькая Любочка кротко глядѣла на него, но все же Ольга Михайловна почувствовала досаду на мужа, страхъ и удовольствіе оттого, что ей можно сейчасъ подслушать.

— Садитесь, очаровательница,—сказалъ Петръ Дмитричъ, опускаясь на сѣно и потягиваясь.—Вотъ такъ. Ну, разскажите мнѣ что-нибудь.

— Вотъ еще! Я стану разсказывать, а вы уснете.

— Я усну? Аллахъ керимъ! Могу ли я уснуть, когда на меня глядятъ такіе глазки?

Въ словахъ мужа и въ томъ, что онъ въ присутствіи гостьи сидѣлъ развалясь и со шляпой на затылкѣ, не было тоже ничего особеннаго. Онъ былъ избалованъ женщинами, зналъ, что нравится имъ, и въ обращеніи съ ними усвоилъ себѣ особый тонъ, который, какъ всѣ говорили, былъ ему къ лицу. Съ Любочкой онъ держалъ себя такъ же, какъ со всѣми женщинами. Но Ольга Михайловна все-таки ревновала.

— Скажите, пожалуйста,—начала Любочка послѣ нѣкотораго молчанія:—правду ли говорятъ, что вы попали подъ судъ?

— Я? Да, попалъ... Къ злодѣямъ сопричтенъ, моя прелесть.

— Но за что?

— Ни за что, а такъ... все больше изъ-за политики,— зѣвнулъ Петръ Дмитричъ. — Борьба лѣвой и правой. Я, обскурантъ и рутинеръ, осмѣлился употребить въ офиціальной бумагѣ выраженія, оскорбительныя для такихъ непогрѣшимыхъ Гладстоновъ, какъ нашъ участковый мировой судья Кузьма Григорьевичъ Востряковъ и Владиміръ Павловичъ Владиміровъ.

Петръ Дмитричъ еще разъ зѣвнулъ и продолжалъ:

— А у насъ такой порядокъ, что вы можете неодобрительно отзываться о солнцѣ, о лунѣ, о чемъ угодно, но храни васъ Богъ трогать либераловъ! Боже васъ сохрани! Либералъ, это—тотъ самый поганый сухой грибъ, который, если вы нечаянно дотронетесь до него пальцемъ, обдастъ васъ облакомъ пыли.

— Что у васъ произошло?

— Ничего особеннаго. Весь сыръ-боръ загорѣлся изъ-за чистѣйшаго пустяка. Какой-то учитель, плюгавенькая личность колокольнаго происхожденія, подаетъ Вострякову прошеніе на трактирщика, обвиняя его въ оскорбленіи словами и дѣйствіемъ въ публичномъ мѣстѣ. Изъ всего видно, что и учитель, и трактирщикъ оба были пьяны, какъ сапожники, и оба вели себя одинаково скверно. Если и было оскорбленіе, то во всякомъ случаѣ взаимное. Вострякову слѣдовало бы оштрафовать обоихъ за нарушеніе тишины и прогнать ихъ изъ камеры, — вотъ и все. Но у насъ какъ? У насъ на первомъ планѣ стоитъ всегда не лицо, не фактъ, а фирма и ярлыкъ. Учитель, какой бы онъ негодяй ни былъ, всегда правъ, потому что онъ учитель; трактирщикъ же всегда виноватъ, потому что онъ трактирщикъ и кулакъ. Востряковъ приговорилъ трактирщика къ аресту, тотъ перенесъ дѣло въ съѣздъ. Съѣздъ торжественно утвердилъ приговоръ Вострякова. Ну, я остался при особомъ мнѣніи... Немножко погорячился... Вотъ и все.

Петръ Дмитричъ говорилъ покойно, съ небрежною ироніей. На самомъ же дѣлѣ предстоящій судъ сильно безпокоилъ его. Ольга Михайловна помнила, какъ онъ, вернувшись съ злополучнаго съѣзда, всѣми силами старался скрыть отъ домашнихъ, что ему тяжело и что онъ недоволенъ со-

бой. Какъ умный человѣкъ, онъ не могъ не чувствовать, что въ своемъ особомъ мнѣніи онъ зашелъ слишкомъ далеко, и сколько лжи понадобилось ему, чтобы скрывать отъ себя и отъ людей это чувство! Сколько было ненужныхъ разговоровъ, сколько брюзжанья и неискренняго смѣха надъ тѣмъ, что не смѣшно! Узнавъ же, что его привлекаютъ къ суду, онъ вдругъ утомился и палъ духомъ, сталъ плохо спать, чаще, чѣмъ обыкновенно, стоялъ у окна и барабанилъ пальцами по стекламъ. И онъ стыдился сознаться передъ женою, что ему тяжело, а ей было досадно...

— Говорятъ, вы были въ Полтавской губерніи?—спросила Любочка.

— Да, былъ,—отвѣтилъ Петръ Дмитричъ.—Третьяго дня вернулся оттуда.

— Небось, хорошо тамъ?

— Хорошо. Даже очень хорошо. Я, надо вамъ сказать, попалъ туда какъ разъ на сѣнокосъ, а на Украйнѣ сѣнокосъ самое поэтическое время. Тутъ у насъ большой домъ, большой садъ, много людей и суеты, такъ что вы не видите, какъ косятъ; тутъ все проходитъ незамѣтно. Тамъ же у меня на хуторѣ пятнадцать десятинъ луга какъ на ладони: у какого окна ни станьте, отовсюду увидите косарей. На лугу косятъ, въ саду косятъ, гостей нѣтъ, суеты тоже, такъ что вы поневолѣ видите, слышите и чувствуете одинъ только сѣнокосъ. На дворѣ и въ комнатахъ пахнетъ сѣномъ, отъ зари до зари звенятъ косы. Вообще Хохландія милая страна. Вѣрите ли, когда я пилъ у колодцевъ съ журавлями воду, а въ жидовскихъ корчмахъ—поганую водку, когда въ тихіе вечера доносились до меня звуки хохлацкой скрипки и бубна, то меня манила обворожительная мысль—засѣсть у себя на хуторѣ и жить въ немъ, пока живется, подальше отъ этихъ съѣздовъ, умныхъ разговоровъ, философствующихъ женщинъ, длинныхъ обѣдовъ...

Петръ Дмитричъ не лгалъ. Ему было тяжело и въ самомъ дѣлѣ хотѣлось отдохнуть. И въ Полтавскую губернію ѣздилъ онъ только затѣмъ, чтобы не видѣть своего кабинета, прислуги, знакомыхъ и всего, что могло бы напоминать ему объ его раненомъ самолюбіи и ошибкахъ.

Любочка вдругъ вскочила и въ ужасѣ замахала руками.

— Ахъ, пчела, пчела!—взвизгнула она.—Укуситъ!

— Полноте, не укуситъ! — сказалъ Петръ Дмитричъ. — Какая вы трусиха!

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!—крикнула Любочка и, оглядываясь на пчелу, быстро пошла назадъ.

Петръ Дмитричъ уходилъ за нею и смотрѣлъ ей вслѣдъ съ умиленіемъ и грустью. Должно-быть, глядя на нее, онъ думалъ о своемъ хуторѣ, объ одиночествѣ и—кто знаетъ?—быть-можетъ, даже думалъ о томъ, какъ бы тепло и уютно жилось ему на хуторѣ, если бы женой его была эта дѣвочка—молодая, чистая, свѣжая, не испорченная курсами, не беременная...

Когда голоса и шаги затихли, Ольга Михайловна вышла изъ шалаша и направилась къ дому. Ей хотѣлось плакать. Она уже сильно ревновала мужа. Ей было понятно, что Петръ Дмитричъ утомился, былъ недоволенъ собой и стыдился, а когда стыдятся, то прячутся прежде всего отъ близкихъ и откровенничаютъ съ чужими; ей было также понятно, что Любочка не опасна, какъ и всѣ тѣ женщины, которыя пили теперь въ домѣ кофе. Но въ общемъ все было непонятно, страшно, и Ольгѣ Михайловнѣ уже казалось, что Петръ Дмитричъ не принадлежитъ ей наполовину...

— Онъ не имѣетъ права! — бормотала она, стараясь осмыслить свою ревность и свою досаду на мужа.—Онъ не имѣетъ никакого права. Я ему сейчасъ все выскажу!

Она рѣшила сейчасъ же найти мужа и высказать ему все: гадко, безъ конца гадко, что онъ нравится чужимъ женщинамъ и добивается этого, какъ манны небесной; несправедливо и нечестно, что онъ отдаетъ чужимъ то, что по праву принадлежитъ его женѣ, прячетъ отъ жены свою душу и совѣсть, чтобы открывать ихъ первому встрѣчному хорошенькому личику. Что худого сдѣлала ему жена? Въ чемъ она провинилась? Наконецъ, давно уже надоѣло его лганье: онъ постоянно рисуется, кокетничаетъ, говоритъ не то, что думаетъ, и старается казаться не тѣмъ, что онъ есть и кѣмъ ему быть должно. Къ чему эта ложь? Пристала ли она порядочному человѣку? Если онъ лжетъ, то оскорбляетъ и себя, и тѣхъ, кому лжетъ, и не уважаетъ того, о чемъ лжетъ. Неужели ему не понятно, что если онъ кокетничаетъ и ломается за судейскимъ столомъ или, сидя за обѣдомъ, трактуетъ о прерогативахъ власти только

для того, чтобы насолить дядѣ, неужели ему не понятно, что этимъ самымъ онъ ставитъ ни въ грошъ и судъ, и себя, и всѣхъ, кто его слушаетъ и видитъ?

Выйдя на большую аллею, Ольга Михайловна придала себѣ такое выраженіе, какъ будто уходила сейчасъ по хозяйственнымъ надобностямъ. На террасѣ мужчины пили ликеръ и закусывали ягодами; одинъ изъ нихъ, судебный слѣдователь, толстый пожилой человѣкъ, балагуръ и острякъ, должно-быть, разсказывалъ какой-нибудь нецензурный анекдотъ, потому что, увидѣвъ хозяйку, онъ вдругъ схватилъ себя за жирныя губы, выпучилъ глаза и присѣлъ. Ольга Михайловна не любила уѣздныхъ чиновниковъ. Ей не нравились ихъ неуклюжія церемонныя жены, сплетни, частыя поѣздки въ гости, лесть передъ ея мужемъ, котораго всѣ они ненавидѣли. Теперь же, когда они пили, были сыты и не собирались уѣзжать, она чувствовала, что ихъ присутствіе утомительно до тоски, но, чтобы не показаться нелюбезной, она привѣтливо улыбнулась судебному слѣдователю и погрозила ему пальцемъ. Черезъ залу и гостиную она прошла улыбаясь и съ такимъ видомъ, какъ будто шла приказать что-то и распорядиться. «Не дай Богъ, если кто остановитъ!»—думала она, но сама заставила себя остановиться въ гостиной, чтобы изъ приличія послушать молодого человѣка, который сидѣлъ за піанино и игралъ; постоявъ минутку, она крикнула: «Браво, браво, m-r Жоржъ!» и, хлопнувъ два раза въ ладоши, пошла дальше.

Мужа нашла она въ кабинетѣ. Онъ сидѣлъ у стола и о чемъ-то думалъ. Лицо его было строго, задумчиво и виновато. Это ужъ былъ не тотъ Петръ Дмитричъ, который спорилъ за обѣдомъ и котораго знаютъ гости, а другой— утомленный, виноватый и недовольный собой, котораго знаетъ одна только жена. Въ кабинетъ пришелъ онъ, должно-быть, для того, чтобы взять папиросъ. Передъ нимъ лежалъ открытый портсигаръ, набитый папиросами, и одна рука была опущена въ ящикъ стола. Какъ бралъ папиросы, такъ и застылъ.

Ольгѣ Михайловнѣ стало жаль его. Было ясно, какъ день, что человѣкъ томился и не находилъ мѣста, быть-можетъ, боролся съ собой. Ольга Михайловна молча подошла къ столу; желая показать, что она не помнитъ обѣденнаго спора и уже не сердится, она закрыла портсигаръ и положила его мужу въ боковой карманъ.

«Что сказать ему?—думала она.—Я скажу, что ложь тотъ же лѣсъ: чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ труднѣе выбраться изъ него. Я скажу: ты увлекся своею фальшивою ролью и зашелъ слишкомъ далеко; ты оскорбилъ людей, которые были къ тебѣ привязаны и не сдѣлали тебѣ никакого зла. Поди же, извинись передъ ними, посмѣйся надъ самимъ собой, и тебѣ станетъ легко. А если хочешь тишины и одиночества, то уѣдемъ отсюда вмѣстѣ».

Встрѣтясь глазами съ женой, Петръ Дмитричъ вдругъ придалъ своему лицу выраженіе, какое у него было за обѣдомъ и въ саду,—равнодушное и слегка насмѣшливое, зѣвнулъ и поднялся съ мѣста.

— Теперь шестой часъ,—сказалъ онъ, взглянувъ на часы.—Если гости смилостивятся и уѣдутъ въ одиннадцать, то и тогда намъ остается ждать еще шесть часовъ. Весело, нечего сказать.

И, что-то насвистывая, онъ медленно, своею обычною солидною походкой, вышелъ изъ кабинета. Слышно было, какъ онъ, солидно ступая, прошелъ черезъ залу, потомъ черезъ гостиную, чему-то солидно засмѣялся и сказалъ игравшему молодому человѣку: «бра-о! бра-о!» Скоро шаги его затихли; должно-быть, вышелъ въ садъ. И ужъ не ревность и не досада, а настоящая ненависть къ его шагамъ, неискреннему смѣху и голосу овладѣла Ольгой Михайловной. Она подошла къ окну и поглядѣла въ садъ. Петръ Дмитричъ шелъ уже по аллеѣ. Заложивъ одну руку въ карманъ и щелкая пальцами другой, слегка откинувъ назадъ голову, онъ шелъ солидно, въ развалку и съ такимъ видомъ, какъ будто былъ очень доволенъ и собой, и обѣдомъ, и пищевареніемъ, и природой...

На аллеѣ показались два маленькихъ гимназиста, дѣти помѣщицы Чижевской, только-что пріѣхавшіе, а съ ними студентъ-гувернеръ въ бѣломъ кителѣ и въ очень узкихъ брюкахъ. Поровнявшись съ Петромъ Дмитричемъ, дѣти и студентъ остановились и, вѣроятно, поздравили его съ ангеломъ. Красиво поводя плечами, онъ потрепалъ дѣтей за щеки и подалъ студенту руку небрежно, не глядя на него. Должно-быть, студентъ похвалилъ погоду и сравнилъ ее съ петербургской, потому что Петръ Дмитричъ сказалъ громко и такимъ тономъ, какъ будто говорилъ не съ гостемъ, а съ судебнымъ приставомъ или со свидѣтелемъ:

— Что-съ? У васъ въ Петербургѣ холодно? А у насъ тутъ, батенька мой, благорастворенiе воздуховъ и изобилiе плодовъ земныхъ. А? Что?

И, заложивъ въ карманъ одну руку и щелкнувъ пальцами другой, онъ зашагалъ дальше. Пока онъ не скрылся за кустами орѣшника, Ольга Михайловна все время смотрѣла ему въ затылокъ и недоумѣвала. Откуда у тридцатичетырехлѣтняго человѣка эта солидная, генеральская походка? Откуда тяжелая, красивая поступь? Откуда эта начальническая вибрацiя въ голосѣ, откуда всѣ эти «что-съ», «н-да-съ» и «батенька»?

Ольга Михайловна вспомнила, какъ она, чтобы не скучать одной дома, въ первые мѣсяцы замужества ѣздила въ городъ на съѣздъ, гдѣ иногда вмѣсто ея крестнаго отца, графа Алексѣя Петровича, предсѣдательствовалъ Петръ Дмитричъ. На предсѣдательскомъ креслѣ, въ мундирѣ и съ цѣпью на груди, онъ совершенно мѣнялся. Величественные жесты, громовый голосъ, «что-съ», «н-да-съ», небрежный тонъ... Все обыкновенное человѣческое, свое собственное, что привыкла видѣть въ немъ Ольга Михайловна дома, исчезало въ величiи, и на креслѣ сидѣлъ не Петръ Дмитричъ, а какой-то другой человѣкъ, котораго всѣ звали господиномъ предсѣдателемъ. Сознанiе, что онъ — власть, мѣшало ему покойно сидѣть на мѣстѣ, и онъ искалъ случая, чтобы позвонить, строго взглянуть на публику, крикнуть... Откуда брались близорукость и глухота, когда онъ вдругъ начиналъ плохо видѣть и слышать и, величественно морщась, требовалъ, чтобы говорили громче и поближе подходили къ столу. Съ высоты величiя онъ плохо различалъ лица и звуки, такъ что если бы, кажется, въ эти минуты подошла къ нему сама Ольга Михайловна, то онъ и ей бы крикнулъ: «Какъ ваша фамилiя?» Свидѣтелямъ-крестьянамъ онъ говорилъ «ты», на публику кричалъ такъ, что его голосъ былъ слышенъ даже на улицѣ, а съ адвокатами держалъ себя невозможно. Если приходилось говорить присяжному повѣренному, то Петръ Дмитричъ сидѣлъ къ нему нѣсколько бокомъ и щурилъ глаза въ потолокъ, желая этимъ показать, что присяжный повѣренный тутъ вовсе не нуженъ, и что онъ его не признаетъ и не слушаетъ; если же говорилъ сѣро-одѣтый частный повѣренный, то Петръ Дмитричъ весь превращался въ слухъ и

измѣрялъ повѣреннаго насмѣшливымъ, уничтожающимъ взглядомъ: вотъ, молъ, какіе теперь адвокаты! — «Что же вы хотите этимъ сказать?»—перебивалъ онъ. Если витіеватый повѣренный употреблялъ какое-нибудь иностранное слово и, напримѣръ, вмѣсто «фиктивный» произносилъ фактивный, то Петръ Дмитричъ вдругъ оживлялся и спрашивалъ: «Что-съ? Какъ? Фактивный? А что это значитъ?» и потомъ наставительно замѣчалъ: «Не употребляйте тѣхъ словъ, которыхъ вы не понимаете». И повѣренный, кончивъ свою рѣчь, отходилъ отъ стола красный и весь въ поту, а Петръ Дмитричъ, самодовольно улыбаясь, торжествуя побѣду, откидывался на спинку кресла. Въ своемъ обращеніи съ адвокатами онъ нѣсколько подражалъ графу Алексѣю Петровичу, но у графа, когда тотъ, напримѣръ, говорилъ: «Защита, помолчите немножко!» — это выходило старчески-добродушно и естественно, у Петра же Дмитрича грубовато и натянуто.

## II.

Послышались аплодисменты. Это молодой человѣкъ кончилъ играть. Ольга Михайловна вспомнила про гостей и поторопилась въ гостиную.

— Я васъ заслушалась, — сказала она, подходя къ піанино.—Я васъ заслушалась. У васъ удивительныя способности! Но не находите ли вы, что нашъ піанино разстроенъ?

Въ это время въ гостиную входили два гимназиста и съ ними студентъ.

— Боже мой, Митя и Коля! — сказала протяжно и радостно Ольга Михайловна, идя къ нимъ навстрѣчу. — Какіе большіе стали! Даже не узнаешь васъ! А гдѣ же ваша мама?

— Поздравляю васъ съ именинникомъ, — началъ развязно студентъ: — и желаю всего лучшаго. Екатерина Андреевна поздравляетъ и проситъ извиненія. Она не совсѣмъ здорова.

— Какая же она не добрая! Я ее весь день ждала. А вы давно изъ Петербурга? — спросила Ольга Михайловна студента. — Какая теперь тамъ погода? — и, не дожидаясь отвѣта, она ласково взглянула на гимназистовъ и повторила: — Какіе большіе выросли! Давно ли они пріѣзжали

сюда съ нянею, а теперь уже гимназисты! Старое старится, а молодое растетъ... Вы обѣдали?

— Ахъ, не безпокойтесь, пожалуйста!—сказалъ студентъ.

— Вѣдь вы не обѣдали?

— Ради Бога, не безпокойтесь!

— Но вѣдь вы хотите ѣсть? — спросила Ольга Михайловна грубымъ и жесткимъ голосомъ, нетерпѣливо и съ досадой — это вышло у нея нечаянно, но тотчасъ же она закашлялась, улыбнулась, покраснѣла. — Какіе большіе выросли!—сказала она мягко.

— Не безпокойтесь, пожалуйста! — сказалъ еще разъ студентъ.

Студентъ просилъ не безпокоиться, дѣти молчали; очевидно, всѣ трое хотѣли ѣсть. Ольга Михайловна повела ихъ въ столовую и приказала Василію накрыть на столъ.

— Не добрая ваша мама!—говорила она, усаживая ихъ.— Совсѣмъ меня забыла. Не добрая, не добрая, не добрая... Такъ и скажите ей. А вы на какомъ факультетѣ? — спросила она у студента.

— На медицинскомъ.

— Ну, а у меня слабость къ докторамъ, представьте. Я очень жалѣю, что мой мужъ не докторъ. Какое надо имѣть мужество, чтобы, напримѣръ, дѣлать операціи или рѣзать трупы! Ужасно! Вы не боитесь? Я бы, кажется, умерла отъ страха. Вы, конечно, выпьете водки?

— Не безпокойтесь, пожалуйста.

— Съ дороги нужно, нужно выпить. Я женщина, да и то пью иногда. А Митя и Коля выпьютъ малаги. Вино слабенькое, не бойтесь. Какіе они, право, молодцы! Женить даже можно.

Ольга Михайловна говорила безъ умолку. Она по опыту знала, что, занимая гостей, гораздо легче и удобнѣе говорить, чѣмъ слушать. Когда говоришь, нѣтъ надобности напрягать вниманіе, придумывать отвѣты на вопросы и мѣнять выраженіе лица. Но она нечаянно задала какой-то серьезный вопросъ, студентъ сталъ говорить длинно, и ей поневолѣ пришлось слушать. Студентъ зналъ, что она когда-то была на курсахъ, а потому, обращаясь къ ней, старался казаться серьезнымъ.

— Вы на какомъ факультетѣ? — спросила она, забывъ, что однажды уже задавала этотъ вопросъ.

— На медицинскомъ.

Ольга Михайловна вспомнила, что давно уже не была съ дамами.

— Да? Значитъ, вы докторомъ будете? — сказала она, поднимаясь. — Это хорошо. Я жалѣю, что сама не пошла на медицинскіе курсы. Такъ вы тутъ обѣдайте, господа, и выходите въ садъ. Я васъ познакомлю съ барышнями.

Она вышла и взглянула на часы: было безъ пяти минутъ шесть. И она удивилась, что время идетъ такъ медленно, и ужаснулась, что до полуночи, когда разъѣдутся гости, осталось еще шесть часовъ. Куда убить эти шесть часовъ? Какія фразы говорить? Какъ держать себя съ мужемъ?

Въ гостиной и на террасѣ не было ни души. Всѣ гости разбрелись по саду.

«Нужно будетъ предложить имъ до чая прогулку въ березнякъ или катанье на лодкахъ, — думала Ольга Михайловна, торопясь къ крокету, откуда слышались голоса и смѣхъ.—А стариковъ усадить играть въ винтъ...»

Отъ крокета навстрѣчу ей шелъ лакей Григорій съ пустыми бутылками.

— Гдѣ же барыни?—спросила она.

— Въ малинникѣ. Тамъ и баринъ.

— А, Господи Боже мой! — съ ожесточеніемъ крикнулъ кто-то на крокетѣ.—Да я же тысячу разъ же говорилъ вамъ то же самое! Чтобы знать болгаръ, надо ихъ видѣть! Нельзя судить по газетамъ!

Отъ этого ли крика или отъ чего другого, Ольга Михайловна вдругъ почувствовала сильную слабость во всемъ тѣлѣ, особенно въ ногахъ и въ плечахъ. Ей вдругъ захотѣлось не говорить, не слышать, не двигаться.

— Григорій,—сказала она томно и съ усиліемъ:—когда вы будете подавать чай или что-нибудь, то, пожалуйста, не обращайтесь ко мнѣ, не спрашивайте, не говорите ни о чемъ... Дѣлайте все сами и... и не стучите ногами. Умоляю... Я не могу, потому что...

Она не договорила и пошла дальше къ крокету, но по дорогѣ вспомнила о барыняхъ и повернула къ малиннику. Небо, воздухъ и деревья попрежнему хмурились и обѣщали дождь; было жарко и душно; громадныя стаи воронъ, предчувствуя непогоду, съ крикомъ носились надъ садомъ. Чѣмъ

ближе къ огороду, тѣмъ аллеи становились запущеннѣе, темнѣе и уже; на одной изъ нихъ, прятавшейся въ густой заросли дикихъ грушъ, кислицъ, молодыхъ дубковъ, хмеля, цѣлыя облака мелкихъ черныхъ мошекъ окружили Ольгу Михайловну; она закрыла руками лицо и стала насильно воображать маленькаго человѣчка... Въ воображеніи пронеслись Григорій, Митя, Коля, лица мужиковъ, приходившихъ утромъ поздравлять...

Послышались чьи-то шаги, и она открыла глаза. Къ ней навстрѣчу быстро шелъ дядя Николай Николаичъ.

— Это ты, милая? Очень радъ... — началъ онъ задыхаясь.—На два слова...—Онъ вытеръ платкомъ свой бритый красный подбородокъ, потомъ вдругъ отступилъ шагъ назадъ, всплеснулъ руками и выпучилъ глаза.—Матушка, до какихъ же поръ это будетъ продолжаться?—заговорилъ онъ быстро, захлебываясь. — Я тебя спрашиваю: гдѣ границы? Не говорю уже о томъ, что его держимордовскіе взгляды деморализуютъ среду, что онъ оскорбляетъ во мнѣ и въ каждомъ честномъ, мыслящемъ человѣкѣ все святое и лучшее — не говорю, но пусть онъ будетъ хоть приличенъ! Что такое? Кричитъ, рычитъ, ломается, корчитъ изъ себя какого-то Бонапарта, не даетъ слова сказать... чортъ его знаетъ! Какіе-то величественные жесты, генеральскій смѣхъ, снисходительный тонъ! Да позвольте васъ спросить: кто онъ такой? Я тебя спрашиваю: кто онъ такой? Мужъ своей жены, мелкопомѣстный титуляръ, которому посчастливилось жениться на богатой! Выскочка и юнкеръ, какихъ много! Щедринскій типъ! Клянусь Богомъ, что-нибудь изъ двухъ: или онъ страдаетъ маніей величія, или въ самомъ дѣлѣ права эта старая, выжившая изъ ума, крыса, графъ Алексѣй Петровичъ, когда говоритъ, что теперешнія дѣти и молодые люди поздно становятся взрослыми и до сорока лѣтъ играютъ въ извозчики и въ генералы!

— Это вѣрно, вѣрно...—согласилась Ольга Михайловна.— Позволь мнѣ пройти.

— Теперь ты разсуди, къ чему это поведетъ?—продолжалъ дядя, загораживая ей дорогу. — Чѣмъ кончится эта игра въ консерватизмъ и въ генералы? Уже подъ судъ попалъ! Попалъ! Я очень радъ! Докричался и достукался до того, что угодилъ на скамью подсудимыхъ. И не то чтобы окружный судъ или что, а судебная палата! Хуже этого,

кажется, и придумать нельзя! Во-вторыхъ, со всѣми разссорился! Сегодня именины, а погляди: не пріѣхали ни Востряковъ, ни Яхонтовъ, ни Владиміровъ, ни Шевудъ, ни графъ... На что, кажется, консервативнѣе графа Алексѣя Петровича, да и тотъ не пріѣхалъ. И никогда больше не пріѣдетъ! Увидишь, что не пріѣдетъ!

— Ахъ, Боже мой, да я-то тутъ при чемъ? — спросила Ольга Михайловна.

— Какъ при чемъ? Ты его жена! Ты умна, была на курсахъ, и въ твоей власти сдѣлать изъ него честнаго работника!

— На курсахъ не учатъ, какъ вліять на тяжелыхъ людей. Я должна буду, кажется, просить у всѣхъ васъ извиненія, что была на курсахъ! — сказала Ольга Михайловна рѣзко. — Послушай, дядя, если у тебя цѣлый день надъ ухомъ будутъ играть однѣ и тѣ же гаммы, то ты не усидишь на мѣстѣ и сбѣжишь. Я ужъ круглый годъ по цѣлымъ днямъ слышу одно и то же, одно и то же. Господа, надо же, наконецъ, имѣть сожалѣніе!

Дядя сдѣлалъ очень серьезное лицо, потомъ пытливо поглядѣлъ на нее и покривилъ ротъ насмѣшливою улыбкой.

— Вотъ оно что! — пропѣлъ онъ старушечьимъ голосомъ. — Виноватъ-съ! — сказалъ онъ и церемонно раскланялся. — Если ты сама подпала подъ его вліяніе и измѣнила убѣжденія, то такъ бы и сказала раньше. Виноватъ-съ!

— Да, я измѣнила убѣжденія! — крикнула она. — Радуйся!

— Виноватъ-съ!

Дядя въ послѣдній разъ церемонно поклонился какъ-то въ бокъ и, весь съежившись, шаркнулъ ногой и пошелъ назадъ.

«Дуракъ,—подумала Ольга Михайловна. — И ѣхалъ бы себѣ домой».

Дамъ и молодежь нашла она на огородѣ въ малинникѣ. Одни ѣли малину, другіе, кому уже надоѣла малина, бродили по грядамъ клубники или рылись въ сахарномъ горошкѣ. Нѣсколько въ сторонѣ отъ малинника, около вѣтвистой яблони, кругомъ подпертой палками, повыдерганными изъ стараго палисадника, Петръ Дмитричъ косилъ траву. Волосы его падали на лобъ, галстукъ развязался, часовая

цѣпочка выпала изъ петли. Въ каждомъ его шагѣ и взмахѣ косой чувствовались умѣнье и присутствіе громадной физической силы. Возлѣ него стояли Любочка и дочери сосѣда, полковника Букрѣева, Наталья и Валентина, или, какъ ихъ всѣ звали, Ната и Вата, анемичныя и болѣзненно-полныя блондинки лѣтъ 16—17, въ бѣлыхъ платьяхъ, поразительно похожія другъ на друга. Петръ Дмитричъ училъ ихъ косить.

— Это очень просто... — говорилъ онъ. — Нужно только умѣть держать косу и не горячиться, то-есть не употреблять силы больше, чѣмъ нужно. Вотъ такъ... Не угодно ли теперь вамъ?—предложилъ онъ косу Любочкѣ.— Ну-ка!

Любочка неумѣло взяла въ руки косу, вдругъ покраснѣла и засмѣялась.

— Не робѣйте, Любовь Александровна!—крикнула Ольга Михайловна такъ громко, чтобы ее могли слышать всѣ дамы и знать, что она съ ними. — Не робѣйте! Надо учиться! Выйдете за толстовца, косить заставитъ.

Любочка подняла косу, но опять засмѣялась и, обезсилѣвъ отъ смѣха, тотчасъ же опустила ее. Ей было стыдно и пріятно. что съ нею говорятъ, какъ съ большой. Ната, не улыбаясь и не робѣя, съ серьезнымъ, холоднымъ лицомъ, взяла косу, взмахнула и запутала ее въ травѣ; Вата, тоже не улыбаясь, серьезная и холодная, какъ сестра, молча взяла косу и вонзила ее въ землю. Продѣлавъ это, обѣ сестры взялись подъ руки и молча пошли къ малинѣ.

Петръ Дмитричъ смѣялся и шалилъ, какъ мальчикъ, и это дѣтски-шаловливое настроеніе, когда онъ становился чрезмѣрно добродушенъ, шло къ нему гораздо болѣе, чѣмъ что-либо другое. Ольга Михайловна любила его такимъ. Но мальчишество его продолжалось обыкновенно недолго. Такъ и на этотъ разъ, пошаливъ съ косой, онъ почему-то нашелъ нужнымъ придать своей шалости серьезный оттѣнокъ.

— Когда я кошу, то чувствую себя, знаете ли, здоровѣе и нормальнѣе,—сказалъ онъ.—Если бы меня заставили довольствоваться одною только умственной жизнью, то я бы, кажется, съ ума сошелъ. Чувствую, что я не родился культурнымъ человѣкомъ! Мнѣ бы косить, пахать, сѣять, лошадей выѣзжать...

И у Петра Дмитрича съ дамами начался разговоръ о преимуществахъ физическаго труда, о культурѣ, потомъ о вредѣ денегъ, о собственности. Слушая мужа, Ольга Михайловна почему-то вспомнила о своемъ приданомъ.

«А вѣдь будетъ время, — подумала она: — когда онъ не проститъ мнѣ, что я богаче его. Онъ гордъ и самолюбивъ. Пожалуй, возненавидитъ меня за то, что многимъ обязанъ мнѣ».

Она остановилась около полковника Букрѣева, который ѣлъ малину и тоже принималъ участіе въ разговорѣ.

— Пожалуйте, — сказалъ онъ, давая дорогу Ольгѣ Михайловнѣ и Петру Дмитричу.—Тутъ самая спѣлая... Итакъ-съ, по мнѣнію Прудона, — продолжалъ онъ, возвысивъ голосъ: — собственность есть воровство. Но я, признаться, Прудона не признаю и философомъ его не считаю. Для меня французы не авторитетъ, Богъ съ ними!

— Ну, что касается Прудоновъ и всякихъ тамъ Боклей, то я тутъ швахъ, — сказалъ Петръ Дмитричъ. — Насчетъ философіи обращайтесь вотъ къ ней, къ моей супругѣ. Она была на курсахъ и всѣхъ этихъ Шопенгауэровъ и Прудоновъ насквозь...

Ольгѣ Михайловнѣ опять стало скучно. Она опять пошла по саду, по узкой тропиночкѣ, мимо яблонь и грушъ, и опять у нея былъ такой видъ, какъ будто шла она по очень важному дѣлу. А вотъ изба садовника... На порогѣ сидѣла жена садовника Варвара и ея четверо маленькихъ ребятишекъ съ большими стрижеными головами. Варвара тоже была беременна и собиралась родить, по ея вычисленіямъ, къ Ильѣ пророку. Поздоровавшись, Ольга Михайловна молча оглядѣла ее и дѣтей и спросила:

— Ну, какъ ты себя чувствуешь?

— А ничего...

Наступило молчаніе. Обѣ женщины молча какъ будто понимали другъ друга.

— Страшно родить въ первый разъ,—сказала Ольга Михайловна, подумавъ:—мнѣ все кажется, что я не перенесу, умру.

— И мнѣ представлялось, да вотъ жива же... Мало ли чего!

Варвара, беременная уже въ пятый разъ и опытная, глядѣла на свою барыню нѣсколько свысока и говорила съ

нею наставительнымъ тономъ, а Ольга Михайловна невольно чувствовала ея авторитетъ; ей хотѣлось говорить о своемъ страхѣ, о ребенкѣ, объ ощущеніяхъ, но она боялась, чтобы это не показалось Варварѣ мелочнымъ и наивнымъ. И она молчала и ждала, когда сама Варвара скажетъ что-нибудь.

— Оля, домой идемъ!—крикнулъ изъ малинника Петръ Дмитричъ.

Ольгѣ Михайловнѣ нравилось молчать, ждать и глядѣть на Варвару. Она согласилась бы простоять такъ, молча и безъ всякой надобности, до самой ночи. Но нужно было идти. Едва она отошла отъ избы, какъ ужъ къ ней навстрѣчу бѣжали Любочка, Вата и Ната. Двѣ послѣднія не добѣжали до нея на цѣлую сажень и обѣ разомъ остановились, какъ вкопанныя; Любочка же добѣжала и повисла къ ней на шею.

— Милая! Хорошая! Безцѣнная!—заговорила она, цѣлуя ее въ лицо и въ шею.—Поѣдемте чай пить на островъ!

— На островъ! На островъ!—сказали обѣ разомъ одинаковыя Вата и Ната, не улыбаясь.

— Но вѣдь дождь будетъ, мои милыя.

— Не будетъ, не будетъ! — крикнула Любочка, дѣлая плачущее лицо.—Всѣ согласны ѣхать! Милая, хорошая!

— Тамъ всѣ собираются ѣхать чай пить на островъ, — сказалъ Петръ Дмитричъ, подходя. — Распорядись... Мы всѣ поѣдемъ на лодкахъ, а самовары и все прочее надо отправить съ прислугой въ экипажѣ.

Онъ пошелъ рядомъ съ женой и взялъ ее подъ руку. Ольгѣ Михайловнѣ захотѣлось сказать мужу что-нибудь непріятное, колкое, хотя бы даже упомянуть о приданомъ, чѣмъ жестче, тѣмъ, казалось, лучше. Она подумала и сказала:

— Отчего это графъ Алексѣй Петровичъ не пріѣхалъ? Какъ жаль!

— Я очень радъ, что онъ не пріѣхалъ, — солгалъ Петръ Дмитричъ. — Мнѣ этотъ юродивый надоѣлъ пуще горькой рѣдьки.

— Но вѣдь ты до обѣда ждалъ его съ такимъ нетерпѣніемъ!

## III.

Черезъ полчаса всѣ гости уже толпились на берегу около свай, гдѣ были привязаны лодки. Всѣ много говорили,

смѣялись и отъ излишней суеты никакъ не могли усѣсться въ лодки. Три лодки были уже биткомъ набиты пассажирами, а двѣ стояли пустыя. Отъ этихъ двухъ пропали куда-то ключи, и отъ рѣки то и дѣло бѣгали во дворъ посланные поискать ключей. Одни говорили, что ключи у Григорія, другіе — что они у приказчика, третьи совѣтовали призвать кузнеца и отбить замки. И всѣ говорили разомъ, перебивая и заглушая другъ друга. Петръ Дмитричъ нетерпѣливо шагалъ по берегу и кричалъ:

— Это чортъ знаетъ что такое! Ключи должны всегда лежать въ передней на окнѣ! Кто смѣлъ взять ихъ оттуда? Приказчикъ можетъ, если ему угодно, завести себѣ свою лодку!

Наконецъ, ключи нашлись. Тогда оказалось, что не хватаетъ двухъ веселъ. Снова поднялась суматоха. Петръ Дмитричъ, которому наскучило шагать, прыгнулъ въ узкій и длинный челнъ, выдолбленный изъ тополя, и, покачнувшись, едва не упавъ въ воду, отчалилъ отъ берега. За нимъ одна за другою, при громкомъ смѣхѣ и визгѣ барышенъ, поплыли и другія лодки.

Бѣлое облачное небо, прибрежныя деревья, камышъ и лодки съ людьми и съ веслами отражались въ водѣ, какъ въ зеркалѣ; подъ лодками, далеко въ глубинѣ, въ бездонной пропасти тоже было небо и летали птицы. Одинъ берегъ, на которомъ стояла усадьба, былъ высокъ, крутъ и весь покрытъ деревьями; на другомъ, отлогомъ, зеленѣли широкіе заливные луга и блестѣли заливы. Проплыли лодки саженей пятьдесятъ, и изъ-за печально склонившихся вербъ на отлогомъ берегу показались избы, стадо коровъ; стали слышаться пѣсни, пьяные крики и звуки гармоники.

Тамъ и сямъ по рѣкѣ шныряли челны рыболововъ, плывшихъ ставить на ночь свои переметы. Въ одномъ челнокѣ сидѣли подгулявшіе музыканты-любители и играли на самодѣлковыхъ скрипкахъ и віолончели.

Ольга Михайловна сидѣла у руля. Она привѣтливо улыбалась и много говорила, чтобы занять гостей, а сама искоса поглядывала на мужа. Онъ плылъ на своемъ челнѣ впереди всѣхъ, стоя и работая однимъ весломъ. Легкій остроносый челнокъ, который всѣ гости звали душегубкой, а самъ Петръ Дмитричъ почему-то Пендеракліей, бѣжалъ быстро; онъ имѣлъ живое, хитрое выраженіе и, казалось,

ненавидѣлъ тяжелаго Петра Дмитрича и ждалъ удобной минуты, чтобы выскользнуть изъ-подъ его ногъ. Ольга Михайловна посматривала на мужа, и ей были противны его красота, которая нравилась всѣмъ, затылокъ, его поза, фамильярное обращеніе съ женщинами; она ненавидѣла всѣхъ женщинъ, сидѣвшихъ въ лодкѣ, ревновала и въ то же время каждую минуту вздрагивала и боялась, чтобы валкій челнокъ не опрокинулся и не надѣлалъ бѣдъ.

— Тише, Петръ! — кричала она, и сердце ея замирало отъ страха. — Садись въ лодку! Мы и такъ вѣримъ, что ты смѣлъ!

Безпокоили ее и тѣ люди, которые сидѣли съ нею въ лодкѣ. Все это были обыкновенные, недурные люди, какихъ много, но теперь каждый изъ нихъ представлялся ей необыкновеннымъ и дурнымъ. Въ каждомъ она видѣла одну только неправду. «Вотъ, — думала она: — работаетъ весломъ молодой шатэнъ въ золотыхъ очкахъ и съ красивою бородкой, это богатый, сытый и всегда счастливый маменькинъ сынокъ, котораго всѣ считаютъ честнымъ, свободомыслящимъ, передовымъ человѣкомъ. Еще года нѣтъ, какъ онъ кончилъ въ университетѣ и пріѣхалъ на житье въ уѣздъ, но ужъ говоритъ про себя: «Мы земскіе дѣятели». Но пройдетъ годъ, и онъ, какъ многіе другіе, соскучится, уѣдетъ въ Петербургъ и, чтобы оправдать свое бѣгство, будетъ всюду говорить, что земство никуда не годится и что онъ обманутъ. А съ другой лодки, не отрывая глазъ, глядитъ на него молодая жена и вѣритъ, что онъ «земскій дѣятель», какъ черезъ годъ повѣритъ тому, что земство никуда не годится. А вотъ полный, тщательно выбритый господинъ въ соломенной шляпѣ съ широкою лентой и съ дорогою сигарой въ зубахъ. Этотъ любитъ говорить: «Пора намъ бросить фантазіи и приняться за дѣло!» У него іоркширскія свиньи, бутлеровскіе ульи, рапсъ, ананасы, маслобойня, сыроварня, итальянская двойная бухгалтерія. Но каждое лѣто, чтобы осенью жить съ любовницей въ Крыму, онъ продаетъ на срубъ свой лѣсъ и закладываетъ по частямъ землю. А вотъ дядюшка Николай Николаичъ, который сердитъ на Петра Дмитрича и все-таки почему-то не уѣзжаетъ домой!

Ольга Михайловна поглядывала на другія лодки и тамъ она видѣла однихъ только неинтересныхъ чудаковъ, акте-

ровъ или недалекихъ людей. Вспомнила она всѣхъ, кого только знала въ уѣздѣ, и никакъ не могла вспомнить ни одного такого человѣка, о которомъ могла бы сказать или подумать хоть что-нибудь хорошее. Всѣ, казалось ей, бездарны, блѣдны, недалеки, узки, фальшивы, безсердечны, всѣ говорили не то, что думали, и дѣлали не то, что хотѣли. Скука и отчаяніе душили ее; ей хотѣлось вдругъ перестать улыбаться, вскочить и крикнуть: «Вы мнѣ надоѣли!» и потомъ прыгнуть изъ лодки и поплыть къ берегу.

— Господа, возьмемъ Петра Дмитрича на буксиръ! — крикнулъ кто-то.

— На буксиръ! На буксиръ! — подхватили остальные. — Ольга Михайловна, берите на буксиръ вашего мужа!

Чтобы взять на буксиръ, Ольга Михайловна, сидѣвшая у руля, должна была не пропустить момента и ловко схватить Пендераклію у носа за цѣпь. Когда она нагибалась за цѣпью, Петръ Дмитричъ поморщился и испуганно посмотрѣлъ на нее.

— Какъ бы ты не простудилась тутъ! — сказалъ онъ.

«Если ты боишься за меня и за ребенка, то зачѣмъ же ты меня мучишь?»—подумала Ольга Михайловна.

Петръ Дмитричъ призналъ себя побѣжденнымъ и, не желая плыть на буксирѣ, прыгнулъ съ Пендеракліи въ лодку, и безъ того ужъ набитую пассажирами, прыгнулъ такъ неаккуратно, что лодка сильно накренилась, и всѣ вскрикнули отъ ужаса.

«Это онъ прыгнулъ, чтобы нравиться женщинамъ, — подумала Ольга Михайловна. — Онъ знаетъ, что это красиво...»

У нея, какъ думала она, отъ скуки, досады, отъ напряженной улыбки и отъ неудобства, какое чувствовалось во всемъ тѣлѣ, началась дрожь въ рукахъ и ногахъ. И чтобы скрыть отъ гостей эту дрожь, она старалась громче говорить, смѣяться, двигаться...

«Въ случаѣ, если я вдругъ заплачу, — думала она: — то скажу, что у меня болятъ зубы...»

Но вотъ, наконецъ, лодки пристали къ острову «Доброй Надежды». Такъ назывался полуостровъ, образовавшійся вслѣдствіе загиба рѣки подъ острымъ угломъ, покрытый старою рощей изъ березы, дуба, вербы и тополя. Подъ деревьями уже стояли столы, дымили самовары, и около по-

суды уже хлопотали Василій и Григорій, въ своихъ фракахъ и въ бѣлыхъ вязаныхъ перчаткахъ. На другомъ берегу, противъ «Доброй Надежды», стояли экипажи, пріѣхавшіе съ провизіей. Съ экипажей корзины и узлы съ провизіей переправлялись на островъ въ челнокѣ, очень похожемъ на Пендераклію. У лакеевъ, кучеровъ и даже у мужика, который сидѣлъ въ челнокѣ, выраженіе лицъ было торжественное, именинное, какое бываетъ только у дѣтей и прислуги.

Пока Ольга Михайловна заваривала чай и наливала первые стаканы, гости занимались наливкой и сладостями. Потомъ же началась суматоха, обычная на пикникахъ во время чаепитія, очень скучная и утомительная для хозяекъ. Едва Григорій и Василій успѣли разнести, какъ къ Ольгѣ Михайловнѣ уже потянулись руки съ пустыми стаканами. Одинъ просилъ безъ сахару, другой—покрѣпче, третій—пожиже, четвертый благодарилъ. И все это Ольга Михайловна должна была помнить и потомъ кричать: «Иванъ Петровичъ, это вамъ безъ сахару?» или: «Господа, кто просилъ пожиже?» Но тотъ, кто просилъ пожиже или безъ сахару, ужъ не помнилъ этого и, увлекшись пріятными разговорами, бралъ первый попавшійся стаканъ. Въ сторонѣ отъ стола бродили, какъ тѣни, унылыя фигуры и дѣлали видъ, что ищутъ въ травѣ грибовъ или читаютъ этикеты на коробкахъ, — это тѣ, которымъ не хватило стакановъ. «Вы пили чай?» — спрашивала Ольга Михайловна, и тотъ, къ кому относился этотъ вопросъ, просилъ не безпокоиться и говорилъ: «Я подожду», хотя для хозяйки было удобнѣе, чтобы гости не ждали, а торопились.

Одни, занятые разговорами, пили чай медленно, задерживая у себя стаканы по получасу, другіе же, въ особенности кто много пилъ за обѣдомъ, не отходили отъ стола и выпивали стаканъ за стаканомъ, такъ что Ольга Михайловна едва успѣвала наливать. Одинъ молодой шутникъ пилъ чай въ прикуску и все приговаривалъ: «Люблю, грѣшный человѣкъ, побаловать себя китайскою травкой». То и дѣло просилъ онъ съ глубокимъ вздохомъ: «Позвольте еще одну черепушечку!» Пилъ онъ много, сахаръ кусалъ громко и думалъ, что все это смѣшно и оригинально и что онъ отлично подражаетъ купцамъ. Никто не понималъ, что всѣ эти мелочи были мучительны для хозяйки, да и трудно

было понять, такъ какъ Ольга Михайловна все время привѣтливо улыбалась и болтала вздоръ.

А она чувствовала себя нехорошо... Ее раздражали многолюдство, смѣхъ, вопросы, шутникъ, ошеломленные и сбившіеся съ ногъ лакеи, дѣти, вертѣвшіяся около стола; ее раздражало, что Вата похожа на Нату, Коля на Митю, и что не разберешь, кто изъ нихъ пилъ уже чай, а кто еще нѣтъ. Она чувствовала, что ея напряженная привѣтливая улыбка переходитъ въ злое выраженіе, и ей каждую минуту казалось, что она сейчасъ заплачетъ.

— Господа, дождь! — крикнулъ кто-то.

Всѣ посмотрѣли на небо.

— Да, въ самомъ дѣлѣ дождь... — подтвердилъ Петръ Дмитричъ и вытеръ щеку.

Небо уронило только нѣсколько капель, настоящаго дождя еще не было, но гости побросали чай и заторопились. Сначала всѣ хотѣли ѣхать въ экипажахъ, но раздумали и направились къ лодкамъ. Ольга Михайловна, подъ предлогомъ, что ей нужно поскорѣе распорядиться насчетъ ужина, попросила позволенія отстать отъ общества и ѣхать домой въ экипажѣ.

Сидя въ коляскѣ, она прежде всего дала отдохнуть своему лицу отъ улыбки. Съ злымъ лицомъ она ѣхала черезъ деревню и съ злымъ лицомъ отвѣчала на поклоны встрѣчныхъ мужиковъ. Пріѣхавъ домой, она прошла чернымъ ходомъ къ себѣ въ спальню и прилегла на постель мужа.

— Господи, Боже мой, — шептала она: — къ чему эта каторжная работа? Къ чему эти люди толкутся здѣсь и дѣлаютъ видъ, что имъ весело? Къ чему я улыбаюсь и лгу? Не понимаю, не понимаю!

Послышались шаги и голоса. Это вернулись гости.

«Пусть,—подумала Ольга Михайловна. — Я еще полежу».

Но въ спальню вошла горничная и сказала:

— Барыня, Марья Григорьевна уѣзжаетъ!

Ольга Михайловна вскочила, поправила прическу и поспѣшила изъ спальни.

— Марья Григорьевна, что же это такое? — начала она обиженнымъ голосомъ, идя навстрѣчу Марьѣ Григорьевнѣ.— Куда вы это торопитесь?

— Нельзя, голубчикъ, нельзя! Я и такъ уже засидѣлась. Меня дома дѣти ждутъ.

— Не добрая вы! Отчего же вы дѣтей съ собой не взяли?

— Милая, если позволите, я привезу ихъ къ вамъ какъ-нибудь въ будень, но сегодня...

— Ахъ, пожалуйста, — перебила Ольга Михайловна: — я буду очень рада! Дѣти у васъ такія милыя! Поцѣлуйте ихъ всѣхъ... Но, право, вы меня обижаете! Зачѣмъ торопиться, не понимаю!

— Нельзя, нельзя... Прощайте, милая. Берегите себя. Вы вѣдь въ такомъ теперь положеніи...

И обѣ поцѣловались. Проводивъ гостью до экипажа, Ольга Михайловна пошла въ гостиную къ дамамъ. Тамъ ужъ огни были зажжены, и мужчины усаживались играть въ карты.

## IV.

Гости стали разъѣзжаться послѣ ужина, въ четверть перваго. Провожая гостей, Ольга Михайловна стояла на крыльцѣ и говорила:

— Право, вы бы взяли шаль! Становится немножко свѣжо. Не дай Богъ, простудитесь!

— Не безпокойтесь, Ольга Михайловна! — отвѣчали гости, усаживаясь. — Ну, прощайте! Смотрите же, мы ждемъ васъ! Не обманите!

— Тпррр! — сдерживалъ кучеръ лошадей.

— Трогай, Денисъ! Прощайте, Ольга Михайловна!

— Дѣтей поцѣлуйте!

Коляска трогалась съ мѣста и тотчасъ же исчезала въ потемкахъ. Въ красномъ кругѣ, бросаемомъ лампою на дорогу, показывалась новая пара или тройка нетерпѣливыхъ лошадей и силуэтъ кучера съ протянутыми впередъ руками. Опять начинались поцѣлуи, упреки и просьбы пріѣхать еще разъ или взять шаль. Петръ Дмитричъ выбѣгалъ изъ передней и помогалъ дамамъ сѣсть въ коляску.

— Ты поѣзжай теперь на Ефремовщину, — училъ онъ кучера. — Черезъ Манькино ближе, да тамъ дорога хуже. Чего добраго, опрокинешь... Прощайте, моя прелесть! Mille compliments вашему художнику!

— Прощайте, душечка, Ольга Михайловна! Уходите въ комнаты, а то простудитесь! Сыро!

— Тпррр! Балуешься!

— Это какія же у васъ лошади? — спрашивалъ Петръ Дмитричъ.

— Въ Великомъ посту у Хайдарова купили, — отвѣчалъ кучеръ.

— Славные конячки...

И Петръ Дмитричъ хлопалъ пристяжную по крупу.

— Ну, трогай! Дай Богъ часъ добрый!

Наконецъ, уѣхалъ послѣдній гость. Красный кругъ на дорогѣ закачался, поплылъ въ сторону, сузился и погасъ— это Василій унесъ съ крыльца лампу. Въ прошлые разы обыкновенно, проводивъ гостей, Петръ Дмитричъ и Ольга Михайловна начинали прыгать въ залѣ другъ передъ другомъ, хлопать въ ладоши и пѣть: «Уѣхали! уѣхали! уѣхали!» Теперь же Ольгѣ Михайловнѣ было не до того. Она пошла въ спальню, раздѣлась и легла въ постель.

Ей казалось, что она уснетъ тотчасъ же и будетъ спать крѣпко. Ноги и плечи ея болѣзненно ныли, голова отяжелѣла отъ разговоровъ, и во всемъ тѣлѣ попрежнему чувствовалось какое-то неудобство. Укрывшись съ головой, она полежала минуты три, потомъ взглянула изъ-подъ одѣяла на лампадку, прислушалась къ тишинѣ и улыбнулась.

— Хорошо, хорошо... — зашептала она, подгибая ноги, которыя, казалось ей, оттого, что она много ходила, стали длиннѣе.—Спать, спать...

Ноги не укладывались, всему тѣлу было неудобно, и она повернулась на другой бокъ. По спальнѣ съ жужжаньемъ летала большая муха и безпокойно билась о потолокъ. Слышно было также, какъ въ залѣ Григорій и Василій, осторожно ступая, убирали столы; Ольгѣ Михайловнѣ стало казаться, что она уснетъ и ей будетъ удобно только тогда, когда утихнутъ эти звуки. И она опять нетерпѣливо повернулась на другой бокъ.

Послышался изъ гостиной голосъ мужа. Должно-быть, кто-нибудь остался ночевать, потому что Петръ Дмитричъ къ кому-то обращался и громко говорилъ:

— Я не скажу, чтобы графъ Алексѣй Петровичъ былъ фальшивый человѣкъ. Но онъ поневолѣ кажется такимъ, потому что всѣ вы, господа, стараетесь видѣть въ немъ не то, что онъ есть на самомъ дѣлѣ. Въ его юродивости видятъ оригинальный умъ, въ фамильярномъ обращеніи — добродушіе, въ полномъ отсутствіи взглядовъ видятъ кон-

серватизмъ. Допустимъ даже, что онъ въ самомъ дѣлѣ консерваторъ восемьдесятъ четвертой пробы. Но что такое въ сущности консерватизмъ?

Петръ Дмитричъ, сердитый и на графа Алексѣя Петровича, и на гостей, и на самого себя, отводилъ теперь душу. Онъ бранилъ и графа, и гостей, и съ досады на самого себя готовъ былъ высказывать и проповѣдывать, что угодно. Проводивъ гостя, онъ походилъ изъ угла въ уголъ по гостиной, прошелся по столовой, по коридору, по кабинету, потомъ опять по гостиной, и вошелъ въ спальню. Ольга Михайловна лежала на спинѣ, укрытая одѣяломъ только по поясъ (ей уже казалось жарко) и со злымъ лицомъ слѣдила за мухой, которая стучала по потолку.

— Развѣ кто остался ночевать?—спросила она.

— Егоровъ.

Петръ Дмитричъ раздѣлся и легъ на свою постель. Онъ молча закурилъ папиросу и тоже сталъ слѣдить за мухой. Взглядъ его былъ суровъ и безпокоенъ. Молча, минутъ пять Ольга Михайловна глядѣла на его красивый профиль. Ей казалось почему-то, что если бы мужъ вдругъ повернулся къ ней лицомъ и сказалъ: «Оля, мнѣ тяжело!», то она заплакала бы или засмѣялась, и ей стало бы легко. Она думала, что ноги ноютъ и всему ея тѣлу неудобно оттого, что у нея напряжена душа.

— Петръ, о чемъ ты думаешь?—спросила она.

— Такъ, ни о чемъ...—отвѣтилъ мужъ.

— У тебя въ послѣднее время завелись отъ меня какія-то тайны. Это нехорошо.

— Почему же нехорошо? — отвѣтилъ Петръ Дмитричъ сухо и не сразу. — У каждаго изъ насъ есть своя личная жизнь, должны быть и свои тайны поэтому.

— Личная жизнь, свои тайны... все это слова! Пойми, что ты меня оскорбляешь!—сказала Ольга Михайловна, поднимаясь и садясь на постели. — Если у тебя тяжело на душѣ, то почему ты скрываешь это отъ меня? И почему ты находишь болѣе удобнымъ откровенничать съ чужими женщинами, а не съ женой? Я вѣдь слышала, какъ ты сегодня на пасѣкѣ изливался передъ Любочкой.

— Ну, и поздравляю. Очень радъ, что слышала.

Это значило: оставь меня въ покоѣ, не мѣшай мнѣ думать! Ольга Михайловна возмутилась. Досада, ненависть

и гнѣвъ, которые накоплялись у нея въ теченіе дня, вдругъ точно запѣнились; ей хотѣлось сейчасъ же, не откладывая до завтра, высказать мужу все, оскорбить его, отомстить... Дѣлая надъ собой усилія, чтобы не кричать, она сказала:

— Такъ знай же, что все это гадко, гадко и гадко! Сегодня я ненавидѣла тебя весь день, — вотъ что ты надѣлалъ!

Петръ Дмитричъ тоже поднялся и сѣлъ.

— Гадко, гадко, гадко!—продолжала Ольга Михайловна, начиная дрожать всѣмъ тѣломъ.—Меня нечего поздравлять! Поздравь ты лучше самого себя! Стыдъ, срамъ! Долгался до такой степени, что стыдишься оставаться съ женой въ одной комнатѣ! Фальшивый ты человѣкъ! Я вижу тебя насквозь и понимаю каждый твой шагъ!

— Оля, когда ты бываешь не въ духѣ, то, пожалуйста, предупреждай меня. Тогда я буду спать въ кабинетѣ.

Сказавши это, Петръ Дмитричъ взялъ подушку и вышелъ изъ спальни. Ольга Михайловна не предвидѣла этого. Нѣсколько минутъ она молча, съ открытымъ ртомъ и дрожа всѣмъ тѣломъ, глядѣла на дверь, за которою скрылся мужъ, и старалась понять, что значитъ это. Есть ли это одинъ изъ тѣхъ пріемовъ, которые употребляютъ въ спорахъ фальшивые люди, когда бываютъ неправы, или же это оскорбленіе, обдуманно нанесенное ея самолюбію? Какъ понять? Ольгѣ Михайловнѣ припомнился ея двоюродный братъ, офицеръ, веселый малый, который часто со смѣхомъ разсказывалъ ей, что когда ночью «супружница начинаетъ пилить» его, то онъ обыкновенно беретъ подушку и, посвистывая, уходитъ къ себѣ въ кабинетъ, а жена остается въ глупомъ и смѣшномъ положеніи. Этотъ офицеръ женатъ на богатой, капризной и глупой женщинѣ, которую онъ не уважаетъ и только терпитъ.

Ольга Михайловна вскочила съ постели. По ея мнѣнію, теперь ей оставалось только одно: поскорѣй одѣться и навсегда уѣхать изъ этого дома. Домъ былъ ея собственный, но тѣмъ хуже для Петра Дмитрича. Не разсуждая, нужно это или нѣтъ, она быстро пошла въ кабинетъ, чтобы сообщить мужу о своемъ рѣшеніи («Бабья логика!»—мелькнуло у нея въ мысляхъ) и сказать ему на прощанье еще что-нибудь оскорбительное, ѣдкое...

Петръ Дмитричъ лежалъ на диванѣ и дѣлалъ видъ, что читаетъ газету. Возлѣ него на стулѣ горѣла свѣча. Изъ-за газеты не было видно его лица.

— Потрудитесь мнѣ объяснить, что это значитъ? Я васъ спрашиваю!

— Васъ...—передразнилъ Петръ Дмитричъ, не показывая лица.—Надоѣло, Ольга! Честное слово, я утомленъ и мнѣ теперь не до этого... Завтра будемъ браниться.

— Нѣтъ, я тебя отлично понимаю!—продолжала Ольга Михайловна.—Ты меня ненавидишь! Да, да! Ты меня ненавидишь за то, что я богаче тебя! Ты никогда не простишь мнѣ этого и всегда будешь лгать мнѣ! («Бабья логика!»—опять мелькнуло въ ея мысляхъ). Сейчасъ, я знаю, ты смѣешься надо мной... Я даже увѣрена, что ты и женился на мнѣ только затѣмъ, чтобы имѣть цензъ и этихъ подлыхъ лошадей... О, я несчастная!

Петръ Дмитричъ уронилъ газету и приподнялся. Неожиданное оскорбленіе ошеломило его. Онъ дѣтски-безпомощно улыбнулся, растерянно поглядѣлъ на жену и, точно защищая себя отъ ударовъ, протянулъ къ ней руки и сказалъ умоляюще:

— Оля!

И ожидая, что она скажетъ еще что-нибудь ужасное, онъ прижался къ спинкѣ дивана, и вся его большая фигура стала казаться такою же безпомощно-дѣтскою, какъ и улыбка.

— Оля, какъ ты могла это сказать?—прошепталъ онъ.

Ольга Михайловна опомнилась. Она вдругъ почувствовала свою безумную любовь къ этому человѣку, вспомнила, что онъ ея мужъ, Петръ Дмитричъ, безъ котораго она не можетъ прожить ни одного дня, и который ее любитъ тоже безумно. Она зарыдала громко, не своимъ голосомъ, схватила себя за голову и побѣжала назадъ въ спальню.

Она упала въ постель, и мелкія, истеричныя рыданія, мѣшающія дышать, отъ которыхъ сводитъ руки и ноги, огласили спальню. Вспомнивъ, что черезъ три-четыре комнаты ночуетъ гость, она спрятала голову подъ подушку, чтобы заглушить рыданія, но подушка свалилась на полъ, и сама она едва не упала, когда нагнулась за ней; потянула она къ лицу одѣяло, но руки не слушались и судорожно рвали все, за что она хваталась.

Ей казалось, что все уже пропало, что неправда, которую она сказала для того, чтобы оскорбить мужа, разбила вдребезги всю ея жизнь. Мужъ не проститъ ея. Оскорбленіе, которое она нанесла ему, такого сорта, что его не сгладишь никакими ласками, ни клятвами... Какъ она убѣдитъ мужа, что сама не вѣрила тому, что говорила?

— Кончено, кончено!—кричала она, не замѣчая, что подушка опять свалилась на полъ.—Ради Бога, ради Бога!

Должно-быть, разбуженные ея криками, уже проснулись гость и прислуга; завтра весь уѣздъ будетъ знать, что съ нею была истерика, и всѣ обвинятъ въ этомъ Петра Дмитрича. Она дѣлала усилія, чтобы сдержать себя, но рыданія съ каждою минутой становились все громче и громче.

— Ради Бога! — кричала она не своимъ голосомъ и не понимала, для чего кричитъ это.—Ради Бога!

Ей показалось, что подъ нею провалилась кровать и ноги завязли въ одѣялѣ. Вошелъ въ спальню Петръ Дмитричъ въ халатѣ и со свѣчой въ рукахъ.

— Оля, полно!—сказалъ онъ.

Она поднялась и, стоя въ постели на колѣняхъ, жмурясь отъ свѣчи, выговорила сквозь рыданія:

— Пойми... пойми...

Ей хотѣлось сказать, что ее замучили гости, его ложь, ея ложь, что у нея накипѣло, но она могла только выговорить:

— Пойми... пойми!

— На, выпей!—сказалъ онъ, подавая ей воды.

Она послушно взяла стаканъ и стала пить, но вода расплескалась и полилась ей на руки, грудь, колѣни... «Должно-быть, я теперь ужасно безобразна!»—подумала она. Петръ Дмитричъ молча уложилъ ее въ постель и укрылъ одѣяломъ, потомъ взялъ свѣчу и вышелъ.

— Ради Бога! — крикнула опять Ольга Михайловна. — Петръ, пойми, пойми!

Вдругъ что-то сдавило ее внизу живота и спины съ такою силой, что плачъ ея оборвался, и она отъ боли укусила подушку. Но боль тотчасъ же отпустила ее, и она опять зарыдала.

Вошла горничная и, поправляя на ней одѣяло, спросила встревоженно:

— Барыня, голубушка, что съ вами?

— Убирайтесь отсюда!—строго сказалъ Петръ Дмитричъ, подходя къ постели.

— Пойми, пойми...—начала Ольга Михайловна.

— Оля, прошу тебя, успокойся! — сказалъ онъ. — Я не хотѣлъ тебя обидѣть. Я не ушелъ бы изъ спальни, если бы зналъ, что это на тебя такъ подѣйствуетъ. Мнѣ просто было тяжело. Говорю тебѣ, какъ честный человѣкъ...

— Пойми... Ты лгалъ, я лгала...

— Я понимаю... Ну, ну, будетъ! Я понимаю... — говорилъ Петръ Дмитричъ нѣжно, садясь на ея постель. — То сказала ты сгоряча, понятно... Клянусь Богомъ, я люблю тебя больше всего на свѣтѣ и, когда женился на тебѣ, ни разу не вспомнилъ, что ты богата. Я безконечно любилъ и только... Увѣряю тебя. Никогда я не нуждался и не зналъ цѣны деньгамъ, а потому не умѣю чувствовать разницу между твоимъ состояніемъ и моимъ. Мнѣ всегда казалось, что мы одинаково богаты. А что я въ мелочахъ фальшивилъ, то это... конечно, правда. Жизнь у меня до сихъ поръ была устроена такъ несерьезно, что какъ-то нельзя было обойтись безъ мелкой лжи. Мнѣ теперь самому тяжело. Оставимъ этотъ разговоръ, Бога ради!..

Ольга Михайловна опять почувствовала сильную боль и схватила мужа за рукавъ.

— Больно... больно, больно... — сказала она быстро. — Ахъ, больно!

— Чортъ бы взялъ этихъ гостей!—пробормоталъ Петръ Дмитричъ, поднимаясь. — Ты не должна была ѣздить сегодня на островъ! — крикнулъ онъ. — И какъ это я, дуракъ, не остановилъ тебя? Господи, Боже мой!

Онъ досадливо почесалъ себѣ голову, махнулъ рукой и вышелъ изъ спальни.

Потомъ онъ нѣсколько разъ входилъ, садился къ ней на кровать и говорилъ много, то очень нѣжно, то сердито, но она плохо слышала его. Рыданія чередовались у нея съ страшною болью, и каждая новая боль была сильнѣе и продолжительнѣе. Сначала во время боли она задерживала дыханіе и кусала подушку, но потомъ стала кричать неприличнымъ, раздирающимъ голосомъ. Разъ, увидѣвъ около себя мужа, она вспомнила, что оскорбила его и, не разсуждая, бредъ ли это, или настоящій Петръ Дмитричъ, схватила обѣими руками его руку и стала цѣловать ее.

— Ты лгалъ, я лгала... — начала она оправдываться. — Пойми, пойми... Меня замучили, вывели изъ терпѣнья...

— Оля, мы тутъ не одни! — сказалъ Петръ Дмитричъ.

Ольга Михайловна приподняла голову и увидѣла Варвару, которая стояла на колѣняхъ около комода и выдвигала нижній ящикъ. Верхніе ящики были уже выдвинуты. Кончивъ съ комодомъ, Варвара поднялась и, красная отъ напряженія, съ холоднымъ, торжественнымъ лицомъ, принялась отпирать шкатулку.

— Марья, не отопру! — сказала она шопотомъ. — Отопри, что ли.

Горничная Марья ковыряла ножницами въ подсвѣчникѣ, чтобы вставить новую свѣчу; она подошла къ Варварѣ и помогла ей отпереть шкатулку.

— Чтобъ ничего запертаго не было... — шептала Варвара. — Отопри, мать моя, и этотъ коробокъ. Баринъ, — обратилась она къ Петру Дмитричу: — вы бы послали къ отцу Михаилу, чтобъ царскія врата отперъ! Надо!

— Дѣлайте, что хотите, — сказалъ Петръ Дмитричъ, прерывисто дыша: — только ради Бога скорѣй доктора или акушерку! Поѣхалъ Василій? Пошли еще кого-нибудь. Пошли своего мужа!

«Я рожу», — сообразила Ольга Михайловна. — Варвара, — простонала она: — но вѣдь онъ родится неживой!

— Ничего, ничего, барыня... — зашептала Варвара. — Богъ дастъ, живой бундить (такъ она выговаривала слово «будетъ»)! Бундить живой.

Когда Ольга Михайловна въ другой разъ очнулась отъ боли, то ужъ не рыдала и не металась, а только стонала. Отъ стоновъ она не могла удержаться даже въ тѣ промежутки, когда не было боли. Свѣчи еще горѣли, но уже сквозь шторы пробивался утренній свѣтъ. Было, вѣроятно, около пяти часовъ утра. Въ спальнѣ за круглымъ столикомъ сидѣла какая-то незнакомая женщина въ бѣломъ фартукѣ и съ очень скромною физіономіей. По выраженію ея фигуры видно было, что она давно уже сидитъ. Ольга Михайловна догадалась, что это акушерка.

— Скоро кончится? — спросила она и въ своемъ голосѣ услышала какую-то особую, незнакомую ноту, какой раньше у нея никогда не было. «Должно-быть, я умираю отъ родовъ», — подумала она.

Въ спальню осторожно вошелъ Петръ Дмитричъ, одѣтый, какъ днемъ, и сталъ у окна, спиной къ женѣ. Онъ приподнялъ штору и поглядѣлъ въ окно.

— Какой дождь!—сказалъ онъ.

— А который часъ?—спросила Ольга Михайловна, чтобы еще разъ услышать въ своемъ голосѣ незнакомую нотку.

— Безъ четверти шесть,—отвѣчала акушерка.

«А что, если я въ самомъ дѣлѣ умираю?—подумала Ольга Михайловна, глядя на голову мужа и на оконныя стекла, по которымъ стучалъ дождь.—Какъ онъ безъ меня будетъ жить? Съ кѣмъ онъ будетъ чай пить, обѣдать, разговаривать по вечерамъ, спать?»

И онъ показался ей маленькимъ, осиротѣвшимъ; ей стало жаль его и захотѣлось сказать ему что-нибудь пріятное, ласковое, утѣшительное. Она вспомнила, какъ онъ весною собирался купить себѣ гончихъ, и какъ она, находя охоту забавой жестокой и опасной, помѣшала ему сдѣлать это.

— Петръ, купи себѣ гончихъ!—простонала она.

Онъ опустилъ штору и подошелъ къ постели, хотѣлъ что-то сказать, но въ это время Ольга Михайловна почувствовала боль и вскрикнула неприличнымъ, раздирающимъ голосомъ.

Отъ боли, частыхъ криковъ и стоновъ она отупѣла. Она слышала, видѣла, иногда говорила, но плохо понимала и сознавала только, что ей больно или сейчасъ будетъ больно. Ей казалось, что именины были уже давно-давно, не вчера, а какъ будто годъ назадъ, и что ея новая болевая жизнь продолжается дольше, чѣмъ ея дѣтство, ученье въ институтѣ, курсы, замужество, и будетъ продолжаться еще долго-долго, безъ конца. Она видѣла, какъ акушеркѣ принесли чай, какъ позвали ее въ полдень завтракать, а потомъ обѣдать; видѣла, какъ Петръ Дмитричъ привыкъ входить, стоять подолгу у окна и выходить, какъ привыкли входить какіе-то чужіе мужчины, горничная, Варвара... Варвара говорила только «бундить, бундить» и сердилась, когда кто-нибудь задвигалъ ящики въ комодѣ. Ольга Михайловна видѣла, какъ въ комнатѣ и въ окнахъ мѣнялся свѣтъ: то онъ былъ сумеречный, то мутный, какъ туманъ, то ясный, дневной, какой былъ вчера за обѣдомъ, то опять сумеречный... И каждая изъ этихъ перемѣнъ продолжалась такъ же долго, какъ дѣтство, ученье въ институтѣ, курсы...

Вечеромъ два доктора—одинъ костлявый, лысый, съ широкою рыжею бородою, другой съ еврейскимъ лицомъ, черномазый и въ дешевыхъ очкахъ—дѣлали Ольгѣ Михайловнѣ какую-то операцію. Къ тому, что чужіе мужчины касались ея тѣла, она относилась совершенно равнодушно. У нея уже не было ни стыда, ни воли, и каждый могъ дѣлать съ нею, что хотѣлъ. Если бы въ это время кто-нибудь бросился на нее съ ножомъ, или оскорбилъ Петра Дмитрича, или отнялъ бы у нея права на маленькаго человѣчка, то она не сказала бы ни одного слова.

Во время операціи ей дали хлороформу. Когда она потомъ проснулась, боли все еще продолжались и были невыносимы. Была ночь. И Ольга Михайловна вспомнила, что точно такая же ночь съ тишиною, съ лампадкой, съ акушеркой, неподвижно сидящей у постели, съ выдвинутыми ящиками комода, съ Петромъ Дмитричемъ, стоящимъ у окна, была уже, но когда-то очень, очень давно...

## V.

«Я не умерла»...—подумала Ольга Михайловна, когда опять стала понимать окружающее и когда болей уже не было.

Въ два настежь открытыя окна спальни глядѣлъ ясный лѣтній день; въ саду за окнами, не умолкая ни на одну секунду, кричали воробьи и сороки.

Ящики въ комодѣ были уже заперты, постель мужа прибрана. Не было въ спальнѣ ни акушерки, ни Варвары, ни горничной; одинъ только Петръ Дмитричъ попрежнему стоялъ неподвижно у окна и глядѣлъ въ садъ. Не слышно было дѣтскаго плача, никто не поздравлялъ и не радовался, очевидно, маленькій человѣчекъ родился неживой.

— Петръ!—окликнула Ольга Михайловна мужа.

Петръ Дмитричъ оглянулся. Должно-быть, съ того времени, какъ уѣхалъ послѣдній гость и Ольга Михайловна оскорбила своего мужа, прошло очень много времени, такъ какъ Петръ Дмитричъ замѣтно осунулся и похудѣлъ.

— Что тебѣ?—спросилъ онъ, подойдя къ постели.

Онъ глядѣлъ въ сторону, шевелилъ губами и улыбался дѣтски-безпомощно.

— Все уже кончилось?—спросила Ольга Михайловна.

Петръ Дмитричъ хотѣлъ что-то отвѣтить, но губы его

задрожали, и ротъ покривился старчески, какъ у беззубаго дяди Николая Николаича.

— Оля! — сказалъ онъ, ломая руки, и изъ глазъ его вдругъ брызнули крупныя слезы.—Оля! Не нужно мнѣ ни твоего ценза, ни съѣздовъ (онъ всхлипнулъ)... ни особыхъ мнѣній, ни этихъ гостей, ни твоего приданаго... ничего мнѣ не нужно! Зачѣмъ мы не берегли нашего ребенка? Ахъ, да что говорить!

Онъ махнулъ рукой и вышелъ изъ спальни.

А для Ольги Михайловны было уже рѣшительно все равно. Въ головѣ у нея стоялъ туманъ отъ хлороформа, на душѣ было пусто... То тупое равнодушіе къ жизни, какое было у нея, когда два доктора дѣлали ей операцію, все еще не покидало ея.

# БЕЗЪ ЗАГЛАВІЯ.

Въ V вѣкѣ, какъ и теперь, каждое утро вставало солнце и каждый вечеръ оно ложилось спать. Утромъ, когда съ росою цѣловались первые лучи, земля оживала, воздухъ наполнялся звуками радости, восторга и надежды, а вечеромъ та же земля затихала и тонула въ суровыхъ потемкахъ. День походилъ на день, ночь на ночь. Изрѣдка набѣгала туча и сердито гремѣлъ громъ, или падала съ неба зазѣвавшаяся звѣзда, или пробѣгалъ блѣдный монахъ и разсказывалъ братіи, что недалеко отъ монастыря онъ видѣлъ тигра—и только, а потомъ опять день походилъ на день, ночь на ночь.

Монахи работали и молились Богу, а ихъ настоятель старикъ игралъ на органѣ, сочинялъ латинскіе стихи и писалъ ноты. Этотъ чудный старикъ обладалъ необычайнымъ даромъ. Онъ игралъ на органѣ съ такимъ искусствомъ, что даже самые старые монахи, у которыхъ къ концу жизни притупился слухъ, не могли удержать слезъ, когда изъ его кельи доносились звуки органа. Когда онъ говорилъ о чемъ-нибудь, даже самомъ обыкновенномъ, напримѣръ, о деревьяхъ, звѣряхъ или о морѣ, его нельзя было слушать безъ улыбки или безъ слезъ, и казалось, что въ душѣ его звучали такія же струны, какъ и въ органѣ. Если же онъ гнѣвался, или предавался сильной радости, или начиналъ говорить о чемъ-нибудь ужасномъ и великомъ, то страстное вдохновеніе овладѣвало имъ, на сверкающихъ глазахъ выступали слезы, лицо румянилось, голосъ гремѣлъ, какъ громъ, и монахи, слушая его, чув-

ствовали, какъ его вдохновеніе сковывало ихъ души; въ такія великолѣпныя, чудныя минуты власть его бывала безгранична, и если бы онъ приказалъ своимъ старцамъ броситься въ море, то они всѣ до одного съ восторгомъ поспѣшили бы исполнить его волю.

Его музыка, голосъ и стихи, въ которыхъ онъ славилъ Бога, небо и землю, были для монаховъ источникомъ постоянной радости. Бывало такъ, что при однообразіи жизни имъ прискучивали деревья, цвѣты, весна, осень, шумъ моря утомлялъ ихъ слухъ, становилось непріятнымъ пѣніе птицъ, но таланты старика-настоятеля, подобно хлѣбу, нужны были каждый день.

Проходили десятки лѣтъ, и все день походилъ на день, ночь на ночь. Кромѣ дикихъ птицъ и звѣрей, около монастыря не показывалась ни одна душа. Ближайшее человѣческое жилье находилось далеко и, чтобы пробраться къ нему отъ монастыря или отъ него въ монастырь, нужно было пройти верстъ сто пустыней. Проходить пустыню рѣшались только люди, которые презирали жизнь, отрекались онъ нея и шли въ монастырь, какъ въ могилу.

Каково же поэтому было удивленіе монаховъ, когда однажды ночью въ ихъ ворота постучался человѣкъ, который оказался горожаниномъ и самымъ обыкновеннымъ грѣшникомъ, любящимъ жизнь! Прежде чѣмъ попросить у настоятеля благословенія и помолиться, этотъ человѣкъ потребовалъ вина и ѣсть. На вопросъ, какъ онъ попалъ изъ города въ пустыню, онъ отвѣчалъ длинной охотничьей исторіей: пошелъ на охоту, выпилъ лишнее и заблудился. На предложеніе поступить въ монахи и спасти свою душу, онъ отвѣтилъ улыбкой и словами: «Я вамъ не товарищъ».

Наѣвшись и напившись, онъ оглядѣлъ монаховъ, которые прислуживали ему, покачалъ укоризненно головой и сказалъ:

— Ничего вы не дѣлаете, монахи. Только и знаете, что ѣдите да пьете. Развѣ такъ спасаютъ душу? Подумайте: въ то время, какъ вы сидите тутъ въ покоѣ, ѣдите, пьете и мечтаете о блаженствѣ, ваши ближніе погибаютъ и идутъ въ адъ. Поглядите-ка, что дѣлается въ городѣ! Одни умираютъ съ голоду, другіе, не зная, куда дѣвать свое золото, топятъ себя въ развратѣ и гибнутъ, какъ мухи, вязнущія въ меду. Нѣтъ въ людяхъ ни вѣры, ни правды! Чье же

дѣло спасать ихъ? Чье дѣло проповѣдывать? Не мнѣ ли, который отъ утра до вечера пьянъ? Развѣ смиренный духъ, любящее сердце и вѣру Богъ далъ вамъ на то, чтобы вы сидѣли здѣсь въ четырехъ стѣнахъ и ничего не дѣлали?

Пьяныя слова горожанина были дерзки и неприличны, но страннымъ образомъ подѣйствовали на настоятеля. Старикъ переглянулся со своими монахами, поблѣднѣлъ и сказалъ:

— Братья, а вѣдь онъ правду говоритъ! Въ самомъ дѣлѣ, бѣдные люди по неразумію и слабости гибнутъ въ порокѣ и невѣріи, а мы не двигаемся съ мѣста, какъ будто насъ это не касается. Отчего бы мнѣ не пойти и не напомнить имъ о Христѣ, котораго они забыли?

Слова горожанина увлекли старика; на другой же день онъ взялъ свою трость, простился съ братіей и отправился въ городъ. И монахи остались безъ музыки, безъ его рѣчей и стиховъ.

Проскучали они мѣсяцъ, другой, а старикъ не возвращался. Наконецъ, послѣ третьяго мѣсяца послышался знакомый стукъ его трости. Монахи бросились къ нему навстрѣчу и осыпали его вопросами, но онъ вмѣсто того, чтобы обрадоваться имъ, горько заплакалъ и не сказалъ ни одного слова. Монахи замѣтили: онъ сильно состарился и похудѣлъ; лицо его было утомлено и выражало глубокую скорбь, а когда онъ заплакалъ, то имѣлъ видъ человѣка, котораго оскорбили.

Монахи тоже заплакали и съ участіемъ стали разспрашивать, зачѣмъ онъ плачетъ, отчего лицо его такъ угрюмо, но онъ не сказалъ ни слова и заперся въ своей кельѣ. Семь дней сидѣлъ онъ у себя, ничего не ѣлъ, не пилъ, не игралъ на органѣ и плакалъ. На стукъ въ его дверь и на просьбы монаховъ выйти и подѣлиться съ ними своею печалью онъ отвѣчалъ глубокимъ молчаніемъ.

Наконецъ, онъ вышелъ. Собравъ вокругъ себя всѣхъ монаховъ, онъ съ заплаканнымъ лицомъ и съ выраженіемъ скорби и негодованія началъ разсказывать о томъ, что было съ нимъ въ послѣдніе три мѣсяца. Голосъ его былъ спокоенъ, и глаза улыбались, когда онъ описывалъ свой путь отъ монастыря до города. На пути, говорилъ онъ, ему пѣли птицы, журчали ручьи, и сладкія, молодыя надежды волновали его душу; онъ шелъ и чувствовалъ себя солда-

томъ, который идетъ на бой и увѣренъ къ побѣдѣ; мечтая, онъ шелъ и слагалъ стихи и гимны и не замѣтилъ, какъ кончился путь.

Но голосъ его дрогнулъ, глаза засверкали, и весь онъ распалился гнѣвомъ, когда сталъ говорить о городѣ и людяхъ. Никогда въ жизни онъ не видѣлъ, даже не дерзалъ воображать себѣ то, что онъ встрѣтилъ, войдя въ городъ. Только тутъ, первый разъ въ жизни, на старости лѣтъ, онъ увидѣлъ и понялъ, какъ могучъ дьяволъ, какъ прекрасно зло и какъ слабы, малодушны и ничтожны люди. По несчастной случайности, первое жилище, въ которое онъ вошелъ, былъ домъ разврата. Съ полсотни человѣкъ, имѣющихъ много денегъ, ѣли и безъ мѣры пили вино. Опьяненные виномъ, они пѣли пѣсни и смѣло говорили страшныя, отвратительныя слова, которыхъ не рѣшится сказать человѣкъ, боящійся Бога; безгранично свободные, бодрые, счастливые, они не боялись ни Бога, ни дьявола, ни смерти, а говорили и дѣлали все, что хотѣли, и шли туда, куда гнала ихъ похоть. А вино, чистое, какъ янтарь, подернутое золотыми искрами, вѣроятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пившій блаженно улыбался и хотѣлъ еще пить. На улыбку человѣка оно отвѣчало тоже улыбкой и, когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таитъ оно въ своей сладости.

Старикъ, все больше распаляясь и плача отъ гнѣва, продолжалъ описывать то, что онъ видѣлъ. На столѣ, среди пировавшихъ, говорилъ онъ, стояла полунагая блудница. Трудно представить себѣ и найти въ природѣ что-нибудь болѣе прекрасное и плѣнительное. Эта гадина, молодая, длинноволосая, смуглая, съ черными глазами и съ жирными губами, безстыдная и наглая, оскалила свои бѣлые, какъ снѣгъ, зубы и улыбалась, какъ будто хотѣла сказать: «Поглядите, какая я наглая, какая красивая!» Шелкъ и парча красивыми складками спускались съ ея плечъ, но красота не хотѣла прятаться подъ одеждой, а какъ молодая зелень изъ весенней почвы жадно пробивалась сквозь складки. Наглая женщина пила вино, пѣла пѣсни и отдавалась всякому, кто только хотѣлъ.

Далѣе старикъ, гнѣвно потрясая руками, описалъ конскія ристалища, бой быковъ, театры, мастерскія художниковъ, гдѣ пишутъ и лѣпятъ изъ глины нагихъ женщинъ. Гово-

рилъ онъ вдохновенно, красиво и звучно, точно игралъ на невидимыхъ струнахъ, а монахи, оцѣпенѣвшіе, жадно внимали его рѣчамъ и задыхались отъ восторга... Описавъ всѣ прелести дьявола, красоту зла и плѣнительную грацію отвратительнаго женскаго тѣла, старикъ проклялъ дьявола, повернулъ назадъ и скрылся за своею дверью...

Когда онъ на другое утро вышелъ изъ кельи, въ монастырѣ не оставалось ни одного монаха. Всѣ они бѣжали въ городъ.

# КАШТАНКА.

РАЗСКАЗЪ.

## I.

### Дурное поведеніе.

Молодая, рыжая собака—помѣсь такса съ дворняжкой-очень похожая мордой на лисицу, бѣгала взадъ и впередъ по тротуару и безпокойно оглядывалась по сторонамъ. Изрѣдка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себѣ отчетъ: какъ это могло случиться, что она заблудилась?

Она отлично помнила, какъ она провела день и какъ, въ концѣ концовъ, попала на этотъ незнакомый тротуаръ.

День начался съ того, что ея хозяинъ, столяръ Лука Александрычъ, надѣлъ шапку, взялъ подъ мышку какую-то деревянную штуку, завернутую въ красный платокъ, и крикнулъ:

— Каштанка, пойдемъ!

Услыхавъ свое имя, помѣсь такса съ дворняжкой вышла изъ-подъ верстака, гдѣ она спала на стружкахъ, сладко потянулась и побѣжала за хозяиномъ. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, такъ что, прежде чѣмъ дойти до каждаго изъ нихъ, столяръ долженъ былъ по нѣсколько разъ заходить въ трактиръ и подкрѣпляться. Каштанка помнила, что по дорогѣ она вела себя крайне неприлично. Отъ радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась съ лаемъ на вагоны конно-желѣзки, забѣгала во дворы и гонялась за собаками. Столяръ то и дѣло терялъ ее изъ виду, останавливался и сердито кричалъ на нее.

Разъ даже онъ съ выраженіемъ алчности на лицѣ забралъ въ кулакъ ея лисье ухо, потрепалъ и проговорилъ съ разстановкой:

— Чтобъ... ты... из...дох...ла, холера!

Побывавъ у заказчиковъ, Лука Александрычъ зашелъ на минутку къ сестрѣ, у которой пилъ и закусывалъ; отъ сестры пошелъ онъ къ знакомому переплетчику, отъ переплетчика въ трактиръ, изъ трактира къ куму и т. д. Однимъ словомъ, когда Каштанка попала на незнакомый тротуаръ, то уже вечерѣло и столяръ былъ пьянъ, какъ сапожникъ. Онъ размахивалъ руками и, глубоко вздыхая, бормоталъ:

— Во грѣсѣхъ роди мя мати во утробѣ моей! Охъ, грѣхи, грѣхи! Теперь вотъ мы по улицѣ идемъ и на фонарики глядимъ, а какъ помремъ — въ гіенѣ огненной горѣть будемъ...

Или же онъ впадалъ въ добродушный тонъ, подзывалъ къ себѣ Каштанку и говорилъ ей:

— Ты, Каштанка, насѣкомое существо и больше ничего. Супротивъ человѣка ты все равно, что плотникъ супротивъ столяра...

Когда онъ разговаривалъ съ нею такимъ образомъ, вдругъ загремѣла музыка. Каштанка оглянулась и увидѣла, что по улицѣ прямо на нее шелъ полкъ солдатъ. Не вынося музыки, которая разстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. Къ великому ея удивленію, столяръ вмѣсто того, чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунтъ и всей пятерней сдѣлалъ подъ козырекъ. Видя, что хозяинъ не протестуетъ, Каштанка еще громче завыла и, не помня себя, бросилась черезъ дорогу на другой тротуаръ.

Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебѣжала дорогу къ тому мѣсту, гдѣ оставила хозяина, но, увы! столяра уже тамъ не было. Она бросилась впередъ, потомъ назадъ, еще разъ перебѣжала дорогу, но столяръ точно сквозь землю провалился... Каштанка стала обнюхивать тротуаръ, надѣясь найти хозяина по запаху его слѣдовъ, но раньше какой-то негодяй прошелъ въ новыхъ резиновыхъ калошахъ, и теперь всѣ тонкіе запахи мѣшались съ острою каучуковою вонью, такъ что ничего нельзя было разобрать.

Каштанка бѣгала взадъ и впередъ и не находила хо-

зяина, а между тѣмъ становилось темно. По обѣ стороны улицы зажглись фонари и въ окнахъ домовъ показались огни. Шелъ крупный, пушистый снѣгъ и красилъ въ бѣлое мостовую, лошадиныя спины, шапки извозчиковъ, и чѣмъ больше темнѣлъ воздухъ, тѣмъ бѣлѣе становились предметы. Мимо Каштанки, заслоняя ей поле зрѣнія и толкая ее ногами, безостановочно взадъ и впередъ проходили незнакомые заказчики. (Все человѣчество Каштанка дѣлила на двѣ очень неравныя части: на хозяевъ и на заказчиковъ; между тѣми и другими была существенная разница: первые имѣли право бить ее, а вторыхъ она сама имѣла право хватать за икры). Заказчики куда-то спѣшили и не обращали на нее никакого вниманія.

Когда стало совсѣмъ темно, Каштанкою овладѣли отчаяніе и ужасъ. Она прижалась къ какому-то подъѣзду и стала горько плакать. Цѣлодневное путешествіе съ Лукой Александрычемъ утомило ее, уши и лапы ея озябли, и къ тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да въ одномъ изъ трактировъ около прилавка нашла колбасную кожицу—вотъ и все. Если бы она была человѣкомъ, то навѣрное подумала бы:

«Нѣтъ, такъ жить невозможно! Нужно застрѣлиться!»

## II.

## Таинственный незнакомецъ.

Но она ни о чемъ не думала и только плакала. Когда мягкій, пушистый снѣгъ совсѣмъ облѣпилъ ея спину и голову, и она отъ изнеможенія погрузилась въ тяжелую дремоту, вдругъ подъѣздная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила. Изъ отворенной двери вышелъ какой-то человѣкъ, принадлежащій къ разряду заказчиковъ. Такъ какъ Каштанка взвизгнула и попала ему подъ ноги, то онъ не могъ не обратить на нее вниманія. Онъ нагнулся къ ней и спросилъ:

— Псина, ты откуда? Я тебя ушибъ? О, бѣдная, бѣдная... Ну, не сердись, не сердись... Виноватъ.

Каштанка поглядѣла на незнакомца сквозь снѣжинки, нависшія на рѣсницы, и увидѣла передъ собой коротенькаго и толстенькаго человѣчка съ бритымъ, пухлымъ лицомъ, въ цилиндрѣ и въ шубѣ нараспашку.

— Что же ты скулишь?—продолжалъ онъ, сбивая пальцемъ съ ея спины снѣгъ.—Гдѣ твой хозяинъ? Должно-быть, ты потерялась? Ахъ, бѣдный песикъ! Что же мы теперь будемъ дѣлать?

Уловивъ въ голосѣ незнакомца теплую, душевную ноту, Каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнѣе.

— А ты хорошая, смѣшная! — сказалъ незнакомецъ. — Совсѣмъ лисица! Ну, что жъ, дѣлать нечего, пойдемъ со мной! Можетъ-быть, ты и сгодишься на что-нибудь... Ну, фюйть!

Онъ чмокнулъ губами и сдѣлалъ Каштанкѣ знакъ рукой, который могъ означать только одно: «пойдемъ!» Каштанка пошла.

Не больше, какъ черезъ полчаса, она уже сидѣла на полу въ большой, свѣтлой комнатѣ и, склонивъ голову на бокъ, съ умиленіемъ и съ любопытствомъ глядѣла на незнакомца, который сидѣлъ за столомъ и обѣдалъ. Онъ ѣлъ и бросалъ ей кусочки... Сначала онъ далъ ей хлѣба и зеленую корочку сыра, потомъ кусочекъ мяса, полъ-пирожка, куриныхъ костей, а она съ голодухи все это съѣла такъ быстро, что не успѣла разобрать вкуса. И чѣмъ больше она ѣла, тѣмъ сильнѣе чувствовался голодъ.

— Однако, плохо же кормятъ тебя твои хозяева!—говорилъ незнакомецъ, глядя, съ какою свирѣпою жадностью она глотала неразжеванные куски. — И какая ты тощая! Кожа да кости...

Каштанка съѣла много, но не наѣлась, а только опьянѣла отъ ѣды. Послѣ обѣда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всемъ тѣлѣ пріятную истому, завиляла хвостомъ. Пока ея новый хозяинъ, развалившись въ креслѣ, курилъ сигару, она виляла хвостомъ и рѣшала вопросъ: гдѣ лучше—у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бѣдная и некрасивая; кромѣ креселъ, дивана, лампы и ковровъ, у него нѣтъ ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира биткомъ набита вещами: у него есть столъ, верстакъ, куча стружекъ, рубанки, стамезки, пилы, клѣтка съ чижикомъ, лохань... У незнакомца не пахнетъ ничѣмъ, у столяра же въ квартирѣ всегда стоитъ туманъ и великолѣпно пахнетъ клеемъ, лакомъ и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество—онъ даетъ много ѣсть и, надо отдать

ему полную справедливость, когда Каштанка сидѣла передъ столомъ и умильно глядѣла на него, онъ ни разу не ударилъ ее, не затопалъ ногами и ни разу не крикнулъ: «По-ошла вонъ, треклятая!»

Выкуривъ сигару, новый хозяинъ вышелъ и черезъ минуту вернулся, держа въ рукахъ маленькій матрасикъ.

— Эй, ты, песъ, поди сюда!—сказалъ онъ, кладя матрасикъ въ углу около дивана.—Ложись здѣсь. Спи!

Затѣмъ онъ потушилъ лампу и вышелъ. Каштанка разлеглась на матрасикѣ и закрыла глаза; съ улицы послышался лай, и она хотѣла отвѣтить на него, но вдругъ неожиданно ею овладѣла грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Ѳедюшку, уютное мѣстечко подъ верстакомъ... Вспомнила она, что въ длинные зимніе вечера, когда столяръ строгалъ или читалъ вслухъ газету, Ѳедюшка обыкновенно игралъ съ нею... Онъ вытаскивалъ ее за заднія лапы изъ-подъ верстака и выдѣлывалъ съ нею такіе фокусы, что у нея зеленѣло въ глазахъ и болѣло во всѣхъ суставахъ. Онъ заставлялъ ее ходить на заднихъ лапахъ, изображалъ изъ нея колоколъ, т. е. сильно дергалъ ее за хвостъ, отчего она визжала и лаяла, давалъ ей нюхать табаку... Особенно мучителенъ былъ слѣдующій фокусъ: Ѳедюшка привязывалъ на ниточку кусочекъ мяса и давалъ его Каштанкѣ, потомъ же, когда она проглатывала, онъ съ громкимъ смѣхомъ вытаскивалъ его обратно изъ ея желудка. И чѣмъ ярче были воспоминанія, тѣмъ громче и тоскливѣе скулила Каштанка.

Но скоро утомленіе и теплота взяли верхъ надъ грустью... Она стала засыпать. Въ ея воображеніи забѣгали собаки; пробѣжалъ, между прочимъ, и мохнатый, старый пудель, котораго она видѣла сегодня на улицѣ, съ бѣльмомъ на глазу и съ клочьями шерсти около носа. Ѳедюшка, съ долотомъ въ рукѣ, погнался за пуделемъ, потомъ вдругъ самъ покрылся мохнатой шерстью, весело залаялъ и очутился около Каштанки. Каштанка и онъ добродушно понюхали другъ другу носы и побѣжали на улицу...

## III.

### Новое, очень пріятное знакомство.

Когда Каштанка проснулась, было уже свѣтло, и съ улицы доносился шумъ, какой бываетъ только днемъ. Въ

комнатѣ не было ни души. Каштанка потянулась, зѣвнула и, сердитая, угрюмая, прошлась по комнатѣ. Она обнюхала углы и мебель, заглянула въ переднюю и не нашла ничего интереснаго. Кромѣ двери, которая вела въ переднюю, была еще одна дверь. Подумавъ, Каштанка поцарапала ее обѣими лапами, отворила и вошла въ слѣдующую комнату. Тутъ на кровати, укрывшись байковымъ одѣяломъ, спалъ заказчикъ, въ которомъ она узнала вчерашняго незнакомца.

— Рррр...—заворчала она, но, вспомнивъ про вчерашній обѣдъ, завиляла хвостомъ и стала нюхать.

Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнутъ лошадью. Изъ спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью, отворила и тотчасъ же почувствовала странный, очень подозрительный запахъ. Предчувствуя непріятную встрѣчу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла въ маленькую комнатку съ грязными обоями и въ страхѣ попятилась назадъ. Она увидѣла нѣчто неожиданное и страшное. Пригнувъ къ землѣ шею и голову, растопыривъ крылья и шипя, прямо на нее шелъ сѣрый гусь. Нѣсколько въ сторонѣ отъ него, на матрасикѣ, лежалъ бѣлый котъ; увидѣвъ Каштанку, онъ вскочилъ, выгнулъ спину въ дугу, задралъ хвостъ, взъерошилъ шерсть и тоже зашипѣлъ. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась къ коту... Котъ еще сильнѣе выгнулъ спину, зашипѣлъ и ударилъ Каштанку лапой по головѣ. Каштанка отскочила, присѣла на всѣ четыре лапы и, протягивая къ коту морду, залилась громкимъ, визгливымъ лаемъ; въ это время гусь подошелъ сзади и больно долбанулъ ее клювомъ въ спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся...

— Это что такое?—послышался громкій, сердитый голосъ, и въ комнату вошелъ незнакомецъ въ халатѣ и съ сигарой въ зубахъ.—Что это значитъ? На мѣсто!

Онъ подошелъ къ коту, щелкнулъ его по выгнутой спинѣ и сказалъ:

— Ѳедоръ Тимоѳеичъ, это что значитъ? Драку подняли? Ахъ, ты, старая каналья! Ложись!

И, обратившись къ гусю, онъ крикнулъ:

— Иванъ Иванычъ, на мѣсто!

Котъ покорно легъ на свой матрасикъ и закрылъ глаза.

Судя по выраженію его морды и усовъ, онъ самъ былъ недоволенъ, что погорячился и вступилъ въ драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянулъ шею и заговорилъ о чемъ-то быстро, горячо и отчетливо, но крайне непонятно.

— Ладно, ладно!—сказалъ хозяинъ, зѣвая.—Надо жить мирно и дружно.—Онъ погладилъ Каштанку и продолжалъ: — А ты, рыжикъ, не бойся... Это хорошая публика, не обидитъ. Постой, какъ же мы тебя звать будемъ? Безъ имени нельзя, братъ.

Незнакомецъ подумалъ и сказалъ:

— Вотъ что... Ты будешь—Тетка... Понимаешь? Тетка?

И, повторивъ нѣсколько разъ слово «Тетка», онъ вышелъ. Каштанка сѣла и стала наблюдать. Котъ неподвижно сидѣлъ на матрасикѣ и дѣлалъ видъ, что спитъ. Гусь, вытягивая шею и топчась на одномъ мѣстѣ, продолжалъ говорить о чемъ-то быстро и горячо. Повидимому, это былъ очень умный гусь; послѣ каждой длинной тирады, онъ всякій разъ удивленно пятился назадъ и дѣлалъ видъ, что восхищается своею рѣчью... Послушавъ его и отвѣтивъ ему: «рррр...», Каштанка принялась обнюхивать углы. Въ одномъ изъ угловъ стояло маленькое корытце, въ которомъ она увидѣла моченый горохъ и размокшія ржаныя корки. Она попробовала горохъ — не вкусно, попробовала корки — и стала ѣсть. Гусь нисколько не обидѣлся, что незнакомая собака поѣдаетъ его кормъ, а, напротивъ, заговорилъ еще горячѣе и, чтобы показать свое довѣріе, самъ подошелъ къ корытцу и съѣлъ нѣсколько горошинокъ.

## IV.

### Чудеса въ рѣшетѣ.

Немного погодя, опять вошелъ незнакомецъ и принесъ съ собою какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву П. На перекладинѣ этого деревяннаго, грубо сколоченнаго П висѣлъ колоколъ и былъ привязанъ пистолетъ; отъ языка колокола и отъ курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомецъ поставилъ П посреди комнаты, долго что-то развязывалъ и завязывалъ, потомъ посмотрѣлъ на гуся и сказалъ:

— Иванъ Иванычъ, пожалуйте!

Гусь подошелъ къ нему и остановился въ ожидательной позѣ.

— Ну-съ, — сказалъ незнакомецъ: — начнемъ съ самаго начала. Прежде всего поклонись и сдѣлай реверансъ! Живо!

Иванъ Иванычъ вытянулъ шею, закивалъ во всѣ стороны и шаркнулъ лапкой.

— Такъ, молодецъ... Теперь умри!

Гусь легъ на спину и задралъ вверхъ лапы. Продѣлавъ еще нѣсколько подобныхъ неважныхъ фокусовъ, незнакомецъ вдругъ схватилъ себя за голову, изобразилъ на своемъ лицѣ ужасъ и закричалъ:

— Караулъ! Пожаръ! Горимъ!

Иванъ Иванычъ подбѣжалъ къ П, взялъ въ клювъ веревку и зазвонилъ въ колоколъ.

Незнакомецъ остался очень доволенъ. Онъ погладилъ гуся по шеѣ и сказалъ:

— Молодецъ, Иванъ Иванычъ! Теперь представь, что ты ювелиръ и торгуешь золотомъ и брильянтами. Представь теперь, что ты приходишь къ себѣ въ магазинъ и застаешь въ немъ воровъ. Какъ бы ты поступилъ въ данномъ случаѣ?

Гусь взялъ въ клювъ другую веревочку и потянулъ, отчего тотчасъ же раздался оглушительный выстрѣлъ. Каштанкѣ очень понравился звонъ, а отъ выстрѣла она пришла въ такой восторгъ, что забѣгала вокругъ П и залаяла.

— Тетка, на мѣсто! — крикнулъ ей незнакомецъ. — Молчать!

Работа Ивана Иваныча не кончилась стрѣльбой. Цѣлый часъ потомъ незнакомецъ гонялъ его вокругъ себя на кордѣ и хлопалъ бичомъ, причемъ гусь долженъ былъ прыгать черезъ барьеръ и сквозь обручъ, становиться на дыбы, т. е. садиться на хвостъ и махать лапками. Каштанка не отрывала глазъ отъ Ивана Иваныча, завывала отъ восторга и нѣсколько разъ принималась бѣгать за нимъ со звонкимъ лаемъ. Утомивъ гуся и себя, незнакомецъ вытеръ со лба потъ и крикнулъ:

— Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!

Черезъ минуту послышалось хрюканье... Каштанка заворчала, приняла очень храбрый видъ и на всякій случай подошла поближе къ незнакомцу. Отворилась дверь, въ комнату поглядѣла какая-то старуха и, сказавъ что-то, впустила черную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого вниманія на ворчанье Каштанки, свинья подняла вверхъ свой пятачокъ и весело захрюкала. Повидимому, ей

было очень пріятно видѣть своего хозяина, кота и Ивана Иваныча. Когда она подошла къ коту и слегка толкнула его подъ животъ своимъ пятачкомъ и потомъ о чемъ-то заговорила съ гусемъ, въ ея движеніяхъ, въ голосѣ и въ дрожаніи хвостика чувствовалось много добродушія. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на такихъ субъектовъ—безполезно.

Хозяинъ убралъ П и крикнулъ:

— Ѳедоръ Тимоѳеичъ, пожалуйте!

Котъ поднялся, лѣниво потянулся и нехотя, точно дѣлая одолженіе, подошелъ къ свиньѣ.

— Ну-съ, начнемъ съ египетской пирамиды, — началъ хозяинъ.

Онъ долго объяснялъ что-то, потомъ скомандовалъ: «разъ... два... три!» Иванъ Иванычъ при словѣ «три» взмахнулъ крыльями и вскочилъ на спину свиньи... Когда онъ, балансируя крыльями и шеей, укрѣпился на щетинистой спинѣ, Ѳедоръ Тимоѳеичъ вяло и лѣниво, съ явнымъ пренебреженіемъ и съ такимъ видомъ, какъ будто онъ презираетъ и ставитъ ни въ грошъ свое искусство, полѣзъ на спину свиньи, потомъ нехотя взобрался на гуся и сталъ на заднія лапы. Получилось то, что незнакомецъ называлъ египетской пирамидой. Каштанка взвизгнула отъ восторга, но въ это время старикъ-котъ зѣвнулъ и, потерявъ равновѣсіе, свалился съ гуся. Иванъ Иванычъ пошатнулся и тоже свалился. Незнакомецъ закричалъ, замахалъ руками и сталъ опять что-то объяснять. Провозившись цѣлый часъ съ пирамидой, неутомимый хозяинъ принялся учить Ивана Иваныча ѣздить верхомъ на котѣ, потомъ сталъ учить кота курить и т. п.

Ученье кончилось тѣмъ, что незнакомецъ вытеръ со лба потъ и вышелъ, Ѳедоръ Тимоѳеичъ брезгливо фыркнулъ, легъ на матрасикъ и закрылъ глаза, Иванъ Иванычъ направился къ корытцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массѣ новыхъ впечатлѣній, день прошелъ для Каштанки незамѣтно, а вечеромъ она со своимъ матрасикомъ была уже водворена въ комнаткѣ съ грязными обоями и ночевала въ обществѣ Ѳедора Тимоѳеича и гуся.

## V.

### Талантъ! Талантъ!

Прошелъ мѣсяцъ.

Каштанка уже привыкла къ тому, что ее каждый вечеръ

кормили вкуснымъ обѣдомъ и звали Теткой. Привыкла она и къ незнакомцу, и къ своимъ новымъ сожителямъ. Жизнь потекла, какъ по маслу.

Всѣ дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всѣхъ просыпался Иванъ Иванычъ и тотчасъ же подходилъ къ Теткѣ или къ коту, выгибалъ шею и начиналъ говорить о чемъ-то горячо и убѣдительно, но попрежнему непонятно. Иной разъ онъ поднималъ вверхъ голову и произносилъ длинные монологи. Въ первые дни знакомства Каштанка думала, что онъ говоритъ много потому, что очень уменъ, но прошло немного времени, и она потеряла къ нему всякое уваженіе; когда онъ подходилъ къ ней со своими длинными рѣчами, она ужъ не виляла хвостомъ, а третировала его, какъ надоѣдливаго болтуна, который не даетъ никому спать, и безъ всякой церемоніи отвѣчала ему: «рррр»...

Ѳедоръ же Тимоѳеичъ былъ иного рода господинъ. Этотъ, проснувшись, не издавалъ никакого звука, не шевелился и даже не открывалъ глазъ. Онъ охотно бы не просыпался, потому что, какъ видно было, онъ не долюбливалъ жизни. Ничто его не интересовало, ко всему онъ относился вяло и небрежно, все презиралъ и даже, поѣдая свой вкусный обѣдъ, брезгливо фыркалъ.

Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатамъ и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартирѣ; гусь же не имѣлъ права переступать порогъ комнатки съ грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила гдѣ-то на дворѣ въ сарайчикѣ и появлялась только во время ученья. Хозяинъ просыпался поздно и, напившись чаю, тотчасъ же принимался за свои фокусы. Каждый день въ комнатку вносились П, бичъ, обручи и каждый день продѣлывалось почти одно и то же. Ученье продолжалось часа три-четыре, такъ что иной разъ Ѳедоръ Тимоѳеичъ отъ утомленія пошатывался, какъ пьяный, Иванъ Иванычъ раскрывалъ клювъ и тяжело дышалъ, а хозяинъ становился краснымъ и никакъ не могъ стереть со лба потъ.

Ученье и обѣдъ дѣлали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяинъ уѣзжалъ куда-то и увозилъ съ собою гуся и кота. Оставшись одна, Тетка ложилась на матрасикъ и начинала грустить... Грусть подкрадывалась къ ней какъ-то незамѣтно и

овладѣвала ею постепенно, какъ потемки комнатой. Начиналось съ того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, ѣсть, бѣгать по комнатамъ и даже глядѣть, затѣмъ въ воображеніи ея появлялись какія-то двѣ неясныя фигуры, не то сабаки, не то люди, съ физіономіями симпатичными, милыми, но непонятными; при появленіи ихъ, Тетка виляла хвостомъ и ей казалось, что она ихъ гдѣ-то когда-то видѣла и любила... А засыпая, она всякій разъ чувствовала, что отъ этихъ фигуръ пахнетъ клеемъ, стружками и лакомъ.

Когда она совсѣмъ уже свыклась съ новой жизнью и изъ тощей, костлявой дворняжки обратилась въ сытаго, выхоленнаго пса, однажды передъ ученьемъ хозяинъ погладилъ ее и сказалъ:

— Пора намъ, Тетка, дѣломъ заняться. Довольно тебѣ бить баклуши. Я хочу изъ тебя артистку сдѣлать... Ты хочешь быть артисткой?

И онъ сталъ учить ее разнымъ наукамъ. Въ первый урокъ она училась стоять и ходить на заднихъ лапахъ, что ей ужасно нравилось. Во второй урокъ она должна была прыгать на заднихъ лапахъ и хватать сахаръ, который высоко надъ ея головой держалъ учитель. Затѣмъ въ слѣдующіе уроки она плясала, бѣгала на кордѣ, выла подъ музыку, звонила и стрѣляла, а черезъ мѣсяцъ уже могла съ успѣхомъ замѣнять Ѳедора Тимоѳеича въ «египетской пирамидѣ». Училась она очень охотно и была довольна своими успѣхами; бѣганье съ высунутымъ языкомъ на кордѣ, прыганье въ обручъ и ѣзда верхомъ на старомъ Ѳедорѣ Тимоѳеичѣ доставляли ей величайшее наслажденіе. Всякій удавшійся фокусъ она сопровождала звонкимъ, восторженнымъ лаемъ, а учитель удивлялся, приходилъ тоже въ восторгъ и потиралъ руки.

— Талантъ! Талантъ!—говорилъ онъ.—Несомнѣнный талантъ! Ты положительно будешь имѣть успѣхъ!

И Тетка такъ привыкла къ слову «талантъ», что всякій разъ, когда хозяинъ произносилъ его, вскакивала и оглядывалась, какъ будто оно было ея кличкой.

## VI.

### Безпокойная ночь.

Теткѣ приснился собачій сонъ, будто за нею гонится дворникъ съ метлой, и она проснулась отъ страха.

Въ комнаткѣ было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тетка раньше никогда не боялась потемокъ, но теперь почему-то ей стало жутко и захотѣлось лаять. Въ сосѣдней комнатѣ громко вздохнулъ хозяинъ, потомъ, немного погодя, въ своемъ сарайчикѣ хрюкнула свинья, и опять все смолкло. Когда думаешь объ ѣдѣ, то на душѣ становится легче, и Тетка стала думать о томъ, какъ она сегодня украла у Ѳедора Тимоѳеича куриную лапку и спрятала ее въ гостиной между шкапомъ и стѣной, гдѣ очень много паутины и пыли. Не мѣшало бы теперь пойти и посмотрѣть: цѣла эта лапка, или нѣтъ? Очень можетъ быть, что хозяинъ нашелъ ее и скушалъ. Но раньше утра нельзя выходить изъ комнатки — такое правило. Тетка закрыла глаза, чтобы поскорѣе уснуть, такъ какъ она знала по опыту, что чѣмъ скорѣе уснешь, тѣмъ скорѣе наступитъ утро. Но вдругъ недалеко отъ нея раздался странный крикъ, который заставилъ ее вздрогнуть и вскочить на всѣ четыре лапы. Это крикнулъ Иванъ Иванычъ, и крикъ его былъ не болтливый и убѣдительный, какъ обыкновенно, а какой-то дикій, пронзительный и неестественный, похожій на скрипъ отворяемыхъ воротъ. Ничего не разглядѣвъ въ потемкахъ и не понявъ, Тетка почувствовала еще большій страхъ и проворчала:

— Рррр...

Прошло много времени, сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость; крикъ не повторялся. Тетка мало-по-малу успокоилась и задремала. Ей приснились двѣ большія черныя собаки съ клочьями прошлогодней шерсти на бедрахъ и на бокахъ; онѣ изъ большой лохани съ жадностью ѣли помои, отъ которыхъ шелъ бѣлый паръ и очень вкусный запахъ; изрѣдка онѣ оглядывались на Тетку, скалили зубы и ворчали: — «А тебѣ мы не дадимъ!» Но изъ дому выбѣжалъ мужикъ въ шубѣ и прогналъ ихъ кнутомъ; тогда Тетка подошла къ лохани и стала кушать, но какъ только мужикъ ушелъ за ворота, обѣ черныя собаки съ ревомъ бросились на нее, и вдругъ опять раздался пронзительный крикъ.

— К-ге! К-ге-ге!—крикнулъ Иванъ Иванычъ.

Тетка проснулась, вскочила и, не сходя съ матрасика, залилась воющимъ лаемъ. Ей уже казалось, что кричитъ

не Иванъ Иванычъ, а кто-то другой, посторонній. И почему-то въ сарайчикѣ опять хрюкнула свинья.

Но вотъ послышалось шарканье туфель, и въ комнатку вошелъ хозяинъ въ халатѣ и со свѣчой. Мелькающій свѣтъ запрыгалъ по грязнымъ обоямъ и по потолку и прогналъ потемки. Тетка увидѣла, что въ комнаткѣ нѣтъ никого посторонняго. Иванъ Иванычъ сидѣлъ на полу и не спалъ. Крылья у него были растопырены и клювъ раскрытъ, и вообще онъ имѣлъ такой видъ, какъ будто очень утомился и хотѣлъ пить. Старый Ѳедоръ Тимоѳеичъ тоже не спалъ. Должно-быть, и онъ былъ разбуженъ крикомъ.

— Иванъ Иванычъ, что съ тобой?—спросилъ хозяинъ у гуся.—Что ты кричишь? Ты боленъ?

Гусь молчалъ. Хозяинъ потрогалъ его за шею, погладилъ по спинѣ и сказалъ:

— Ты чудакъ. И самъ не спишь, и другимъ не даешь.

Когда хозяинъ вышелъ и унесъ съ собою свѣтъ, опять наступили потемки. Теткѣ было страшно. Гусь не кричалъ, но ей опять стало чудиться, что въ потемкахъ стоитъ кто-то чужой. Страшнѣе всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, такъ какъ онъ былъ невидимъ и не имѣлъ формы. И почему-то она думала, что въ эту ночь должно непремѣнно произойти что-то очень худое. Ѳедоръ Тимоѳеичъ тоже былъ не покоенъ. Тетка слышала, какъ онъ возился на своемъ матрасикѣ, зѣвалъ и встряхивалъ головой.

Гдѣ-то на улицѣ застучали въ ворота и въ сарайчикѣ хрюкнула свинья. Тетка заскулила, протянула переднія лапы и положила на нихъ голову. Въ стукѣ воротъ, въ хрюканьѣ не спавшей почему-то свиньи, въ потемкахъ и въ тишинѣ почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, какъ въ крикѣ Ивана Иваныча. Все было въ тревогѣ и въ безпокойствѣ, но отчего? Кто этотъ чужой, котораго не было видно? Вотъ около Тетки на мгновеніе вспыхнули двѣ тусклыя, зеленыя искорки. Это въ первый разъ за все время знакомства подошелъ къ ней Ѳедоръ Тимоѳеичъ. Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачѣмъ онъ пришелъ, завыла тихо и на разные голоса.

— К-ге!—крикнулъ Иванъ Иванычъ.—К-ге-ге!

Опять отворилась дверь, и вошелъ хозяинъ со свѣчой.

Гусь сидѣлъ въ прежней позѣ, съ разинутымъ клювомъ и растопыривъ крылья. Глаза у него были закрыты.

— Иванъ Иванычъ!—позвалъ хозяинъ.

Гусь не шевельнулся. Хозяинъ сѣлъ передъ нимъ на полу, минуту глядѣлъ на него молча и сказалъ:

— Иванъ Иванычъ! Что же это такое? Умираешь ты, что ли? Ахъ, я теперь вспомнилъ, вспомнилъ! — вскрикнулъ онъ и схватилъ себя за голову. — Я знаю, отчего это! Это оттого, что сегодня на тебя наступила лошадь! Боже мой, Боже мой!

Тетка не понимала, что говоритъ хозяинъ, но по его лицу видѣла, что и онъ ждетъ чего-то ужаснаго. Она протянула морду къ темному окну, въ которое, какъ казалось ей, глядѣлъ кто-то чужой, и завыла.

— Онъ умираетъ, Тетка!—сказалъ хозяинъ и всплеснулъ руками. — Да, да, умираетъ! Къ вамъ въ комнату пришла смерть. Что намъ дѣлать?

Блѣдный, встревоженный хозяинъ, вздыхая и покачивая головой, вернулся къ себѣ въ спальню. Теткѣ жутко было оставаться въ потемкахъ, и она пошла за нимъ. Онъ сѣлъ на кровать и нѣсколько разъ повторилъ:

— Боже мой, что же дѣлать?

Тетка ходила около его ногъ и, не понимая, отчего это у нея такая тоска и отчего всѣ такъ безпокоятся, и стараясь понять, слѣдила за каждымъ его движеніемъ. Ѳедоръ Тимоѳеичъ, рѣдко покидавшій свой матрасикъ, тоже вошелъ въ спальню хозяина и сталъ тереться около его ногъ. Онъ встряхивалъ головой, какъ будто хотѣлъ вытряхнуть изъ нея тяжелыя мысли, и подозрительно заглядывалъ подъ кровать.

Хозяинъ взялъ блюдечко, налилъ въ него изъ рукомойника воды и опять пошелъ къ гусю.

— Пей, Иванъ Иванычъ! — сказалъ онъ нѣжно, ставя передъ нимъ блюдечко. — Пей, голубчикъ.

Но Иванъ Иванычъ не шевелился и не открывалъ глазъ. Хозяинъ пригнулъ его голову къ блюдечку и окунулъ клювъ въ воду, но гусь не пилъ, еще шире растопырилъ крылья и голова его такъ и осталась лежать въ блюдечкѣ.

— Нѣтъ, ничего уже нельзя сдѣлать! — вздохнулъ хозяинъ. — Все кончено. Пропалъ Иванъ Иванычъ!

И по его щекамъ поползли внизъ блестящія капельки

какія бываютъ на окнахъ во время дождя. Не понимая, въ чемъ дѣло, Тетка и Ѳедоръ Тимоѳеичъ жались къ нему и съ ужасомъ смотрѣли на гуся.

— Бѣдный Иванъ Иванычъ! — говорилъ хозяинъ, печально вздыхая. — А я-то мечталъ, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять съ тобой по зеленой травкѣ. Милое животное, хорошій мой товарищъ, тебя уже нѣтъ! Какъ же я теперь буду обходиться безъ тебя?

Теткѣ казалось, что и съ нею случится то же самое, то-есть, что и она тоже вотъ такъ, неизвѣстно отчего, закроетъ глаза, протянетъ лапы, оскалитъ ротъ, и всѣ на нее будутъ смотрѣть съ ужасомъ. Повидимому, такія же мысли бродили и въ головѣ Ѳедора Тимоѳеича. Никогда раньше старый котъ не былъ такъ угрюмъ и мраченъ, какъ теперь.

Начинался разсвѣтъ, и въ комнаткѣ уже не было того невидимаго чужого, который пугалъ такъ Тетку. Когда совсѣмъ разсвѣло, пришелъ дворникъ, взялъ гуся за лапы и унесъ его куда-то. А немного погодя, явилась старуха и вынесла корытце.

Тетка пошла въ гостиную и посмотрѣла за шкапъ: хозяинъ не скушалъ куриной лапки, она лежала на своемъ мѣстѣ, въ пыли и паутинѣ. Но Теткѣ было скучно, грустно и хотѣлось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла подъ диванъ, сѣла тамъ и начала скулить тихо, тонкимъ голоскомъ:

— Ску-ску-ску...

## VII.

### Неудачный дебютъ.

Въ одинъ прекрасный вечеръ хозяинъ вошелъ въ комнатку съ грязными обоями и, потирая руки, сказалъ:

— Ну-съ...

Что-то онъ хотѣлъ еще сказать, но не сказалъ и вышелъ. Тетка, отлично изучившая во время уроковъ его лицо и интонацію, догадалась, что онъ былъ взволнованъ, озабоченъ и, кажется, сердитъ. Немного погодя, онъ вернулся и сказалъ:

— Сегодня я возьму съ собой Тетку и Ѳедора Тимоѳеича. Въ египетской пирамидѣ ты, Тетка, замѣнишь сегодня покойнаго Ивана Иваныча. Чортъ знаетъ что! Ни-

чего не готово, не выучено, репетицій было мало! Осрамимся, провалимся!

Затѣмъ онъ опять вышелъ и черезъ минуту вернулся въ шубѣ и въ цилиндрѣ. Подойдя къ коту, онъ взялъ его за переднія лапы, поднялъ и спряталъ его на груди подъ шубу, причемъ Ѳедоръ Тимоѳеичъ казался очень равнодушнымъ и даже не потрудился открыть глазъ. Для него, повидимому, было рѣшительно все равно: лежать ли, или быть поднятымъ за ноги, валяться ли на матрасикѣ, или покоиться на груди хозяина подъ шубой...

— Тетка пойдемъ, — сказалъ хозяинъ.

Ничего не понимая и виляя хвостомъ, Тетка пошла за нимъ. Черезъ минуту она уже сидѣла въ саняхъ около ногъ хозяина и слушала, какъ онъ, пожимаясь отъ холода и волненія, бормоталъ:

— Осрамимся! Провалимся!

Сани остановились около большого, страннаго дома, похожаго на опрокинутый супникъ. Длинный подъѣздъ этого дома съ тремя стеклянными дверями былъ освѣщенъ дюжиной яркихъ фонарей. Двери со звономъ отворялись и, какъ рты, глотали людей, которые сновали у подъѣзда. Людей было много, часто къ подъѣзду подбѣгали и лошади, но собакъ не было видно.

Хозяинъ взялъ на руки Тетку и сунулъ ее на грудь, подъ шубу, гдѣ находился Ѳедоръ Тимоѳеичъ. Тутъ было темно и душно, но тепло. На мгновеніе вспыхнули двѣ тусклыя, зеленыя искорки — это открылъ глаза котъ, обезпокоенный холодными, жесткими лапами сосѣдки. Тетка лизнула его ухо и, желая усѣсться возможно удобнѣе, безпокойно задвигалась, смяла его подъ себя холодными лапами и нечаянно высунула изъ-подъ шубы голову, но тотчасъ же сердито заворчала и нырнула подъ шубу. Ей показалось, что она увидѣла громадную, плохо освѣщенную комнату, полную чудовищъ; изъ-за перегородокъ и рѣшетокъ, которыя тянулись по обѣ стороны комнаты, выглядывали страшныя рожи: лошадиныя, рогатыя, длинноухія и какая-то одна толстая, громадная рожа съ хвостомъ вмѣсто носа и съ двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта.

Котъ сипло замяукалъ подъ лапами Тетки, но въ это время шуба распахнулась, хозяинъ сказалъ «гопъ!» и Ѳе-

доръ Тимоѳеичъ съ Теткою прыгнули на полъ. Они уже были въ маленькой комнатѣ съ сѣрыми, досчатыми стѣнами; тутъ, кромѣ небольшого столика съ зеркаломъ, табурета и тряпья, развѣшаннаго по угламъ, не было никакой другой мебели, и вмѣсто лампы или свѣчи, горѣлъ яркій вѣерообразный огонекъ, придѣланный къ трубочкѣ, вбитой въ стѣну. Ѳедоръ Тимоѳеичъ облизалъ свою шубу, помятую Теткой, пошелъ подъ табуретъ и легъ. Хозяинъ, все еще волнуясь и потирая руки, сталъ раздѣваться... Онъ раздѣлся такъ, какъ обыкновенно раздѣвался у себя дома, готовясь лечь подъ байковое одѣяло, т. е. снялъ все, кромѣ бѣлья, потомъ сѣлъ на табуретъ и, глядя въ зеркало, началъ выдѣлывать надъ собой удивительныя штуки. Прежде всего онъ надѣлъ на голову парикъ съ проборомъ и съ двумя вихрами, похожими на рога, потомъ густо намазалъ лицо чѣмъ-то бѣлымъ и сверхъ бѣлой краски нарисовалъ еще брови, усы и румяны. Затѣи его этимъ не кончились. Опачкавши лицо и шею, онъ сталъ облачаться въ какой-то необыкновенный, ни съ чѣмъ несообразный костюмъ, какого Тетка никогда не видала раньше ни въ домахъ, ни на улицѣ. Представьте вы себѣ широчайшія панталоны, сшитыя изъ ситца съ крупными цвѣтами, какой употребляется въ мѣщанскихъ домахъ для занавѣсокъ и обивки мебели, панталоны, которыя застегиваются у самыхъ подмышекъ; одна панталона сшита изъ коричневаго ситца, другая изъ свѣтло-желтаго. Утонувши въ нихъ, хозяинъ надѣлъ еще ситцевую курточку съ большимъ зубчатымъ воротникомъ и съ золотой звѣздой на спинѣ, разноцвѣтные чулки и зеленые башмаки...

У Тетки запестрило въ глазахъ и въ душѣ. Отъ бѣлолицей, мѣшковатой фигуры нахло хозяиномъ, голосъ у нея былъ тоже знакомый, хозяйскій, но бывали минуты, когда Тетку мучили сомнѣнія, и тогда она готова была бѣжать отъ пестрой фигуры и лаять. Новое мѣсто, вѣерообразный огонекъ, запахъ, метаморфоза, случившаяся съ хозяиномъ— все это вселяло въ нее неопредѣленный страхъ и предчувствіе, что она непремѣнно встрѣтится съ какимъ-нибудь ужасомъ въ родѣ толстой рожи съ хвостомъ вмѣсто носа. А тутъ еще гдѣ-то за стѣной далеко играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный ревъ. Одно только и успокаивало ее — это невозмутимость Ѳедора Тимоѳеича.

Онъ преспокойно дремалъ подъ табуретомъ и не открывалъ глазъ, даже когда двигался табуретъ.

Какой-то человѣкъ во фракѣ и въ бѣлой жилеткѣ заглянулъ въ комнатку и сказалъ:

— Сейчасъ выходъ миссъ Арабеллы. Послѣ нея — вы.

Хозяинъ ничего не отвѣтилъ. Онъ вытащилъ изъ-подъ стола небольшой чемоданъ, сѣлъ и сталъ ждать. По губамъ и по рукамъ его было замѣтно, что онъ волновался, и Тетка слышала, какъ дрожало его дыханіе.

— М-г Жоржъ, пожалуйте! — крикнулъ кто-то за дверью.

Хозяинъ всталъ и три раза перекрестился, потомъ досталъ изъ-подъ табурета кота и сунулъ его въ чемоданъ.

— Иди, Тетка! — сказалъ онъ тихо.

Тетка, ничего не понимая, подошла къ его рукамъ; онъ поцѣловалъ ее въ голову и положилъ рядомъ съ Ѳедоромъ Тимоѳеичемъ. За симъ наступили потемки... Тетка топталась по коту, царапала стѣнки чемодана и отъ ужаса не могла произнести ни звука, а чемоданъ покачивался, какъ на волнахъ, и дрожалъ...

— А вотъ и я! — громко крикнулъ хозяинъ. — А вотъ и я!

Тетка почувствовала, что послѣ этого крика чемоданъ ударился о что-то твердое и пересталъ качаться. Послышался громкій густой ревъ: по комъ-то хлопали и этотъ кто-то, вѣроятно рожа съ хвостомъ вмѣсто носа, ревѣлъ и хохоталъ такъ громко, что задрожали замочки у чемодана. Въ отвѣтъ на ревъ раздался пронзительный, визгливый смѣхъ хозяина, какимъ онъ никогда не смѣялся дома.

— Га! — крикнулъ онъ, стараясь перекричать ревъ. — Почтеннѣйшая публика! Я сейчасъ только съ вокзала! У меня издохла бабушка и оставила мнѣ наслѣдство! Въ чемоданѣ что-то очень тяжелое — очевидно, золото... Га-а! И вдругъ здѣсь милліонъ! Сейчасъ мы откроемъ и посмотримъ...

Въ чемоданѣ щелкнулъ замокъ. Яркій свѣтъ ударилъ Тетку по глазамъ; она прыгнула вонъ изъ чемодана и, оглушенная ревомъ, быстро, во всю прыть забѣгала вокругъ своего хозяина и залилась звонкимъ лаемъ.

— Га! — закричалъ хозяинъ. — Дядюшка Ѳедоръ Тимоѳеичъ! Дорогая Тетушка! Милые родственники, чортъ бы васъ взялъ!

Онъ упалъ животомъ на песокъ, схватилъ кота и Тетку и принялся обнимать ихъ. Тетка, пока онъ тискалъ ее въ

своихъ объятіяхъ, мелькомъ оглядѣла тотъ міръ, въ который занесла ее судьба, и, пораженная его грандіозностью, на минуту застыла отъ удивленія и восторга, потомъ вырвалась изъ объятій хозяина и отъ остроты впечатлѣнія, какъ волчокъ, закружилась на одномъ мѣстѣ. Новый міръ былъ великъ и полонъ яркаго свѣта; куда ни взглянешь, всюду, отъ пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего.

— Тетушка, прошу васъ сѣсть! — крикнулъ хозяинъ.

Помня, что это значитъ, Тетка вскочила на стулъ и сѣла. Она поглядѣла на хозяина. Глаза его, какъ всегда, глядѣли серьезно и ласково, но лицо, въ особенности ротъ и зубы, были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Самъ онъ хохоталъ, прыгалъ, подергивалъ плечами и дѣлалъ видъ, что ему очень весело въ присутствіи тысячей лицъ. Тетка повѣрила его веселости, вдругъ почувствовала всѣмъ своимъ тѣломъ, что на нее смотрятъ эти тысячи лицъ, подняла вверхъ свою лисью морду и радостно завыла.

— Вы, Тетушка, посидите, — сказалъ ей хозяинъ: — а мы съ дядюшкой попляшемъ камаринскаго.

Ѳедоръ Тимоѳеичъ въ ожиданіи, когда его заставятъ дѣлать глупости, стоялъ и равнодушно поглядывалъ по сторонамъ. Плясалъ онъ вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движеніямъ, по хвосту и по усамъ, что онъ глубоко презиралъ и толпу, и яркій свѣтъ, и хозяина, и себя... Протанцовавъ свою порцію, онъ зѣвнулъ и сѣлъ.

— Ну-съ, Тетушка,—сказалъ хозяинъ:—сначала мы съ вами споемъ, а потомъ попляшемъ. Хорошо?

Онъ вынулъ изъ кармана дудочку и заигралъ. Тетка, не вынося музыки, безпокойно задвигалась на стулѣ и завыла. Со всѣхъ сторонъ послышались ревъ и аплодисменты. Хозяинъ поклонился и, когда все стихло, продолжалъ играть... Во время исполненія одной очень высокой ноты, гдѣ-то наверху среди публики кто-то громко ахнулъ.

— Тятька! — крикнулъ дѣтскій голосъ. — А вѣдь это Каштанка!

— Каштанка и есть! — подтвердилъ пьяненькій дребезжащій тенорокъ.—Каштанка! Ѳедюшка, это, накажи Богъ, Каштанка! Фюйть!

Кто-то на галлереѣ свистнулъ, и два голоса, одинъ—дѣтскій, другой — мужской, громко позвали:

— Каштанка! Каштанка!

Тетка вздрогнула и посмотрѣла туда, гдѣ кричали. Два лица: одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое — пухлое, краснощекое и испуганное — ударили ее по глазамъ, какъ раньше ударилъ яркій свѣтъ... Она вспомнила, упала со стула и забилась на пескѣ, потомъ вскочила и съ радостнымъ визгомъ бросилась къ этимъ лицамъ. Раздался оглушительный ревъ, пронизанный насквозь свистками и пронзительнымъ дѣтскимъ крикомъ:

— Каштанка! Каштанка!

Тетка прыгнула черезъ барьеръ, потомъ черезъ чье-то плечо, очутилась въ ложѣ; чтобы попасть въ слѣдующій ярусъ, нужно было перескочить высокую стѣну; Тетка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назадъ по стѣнѣ. Затѣмъ она переходила съ рукъ на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше и, наконецъ, попала на галерку...

---

Спустя полчаса, Каштанка шла уже по улицѣ за людьми, отъ которыхъ пахло клеемъ и лакомъ. Лука Александрычъ покачивался и инстинктивно, наученный опытомъ, старался держаться подальше отъ канавы.

— Въ безднѣ грѣховней валяюся во утробѣ моей... — бормоталъ онъ. — А ты, Каштанка, — недоумѣніе. Супротивъ человѣка ты все равно, что плотникъ супротивъ столяра.

Рядомъ съ нимъ шагалъ Ѳедюшка въ отцовскомъ картузѣ. Каштанка глядѣла имъ обоимъ въ спины, и ей казалось, что она давно уже идетъ за ними и радуется, что жизнь ея не обрывалась ни на минуту.

Вспоминала она комнатку съ грязными обоями, гуся, Ѳедора Тимоѳеича, вкусные обѣды, ученье, циркъ, но все это представлялось ей теперь, какъ длинный, перепутанный, тяжелый сонъ...

# ПОЧТА.

Было три часа ночи. Почтальонъ, совсѣмъ уже готовый въ дорогу, въ фуражкѣ, въ пальто и съ заржавленной саблей въ рукахъ, стоялъ около двери и ждалъ, когда ямщики кончатъ укладывать почту на только-что поданную тройку. Заспанный пріемщикъ сидѣлъ за своимъ столомъ, похожимъ на прилавокъ, что-то писалъ на бланкѣ и говорилъ:

— Мой племянникъ студентъ просится сейчасъ ѣхать на станцію. Такъ ты того, Игнатьевъ, посади его съ собой на тройку и довези. Хоть это и не дозволено, чтобъ постороннихъ съ почтой возить, ну, да что жъ дѣлать! Чѣмъ лошадей для него нанимать, такъ пусть лучше даромъ проѣдетъ.

— Готово!—послышался крикъ со двора.

— Ну, поѣзжай съ Богомъ,—сказалъ пріемщикъ.—Который ямщикъ ѣдетъ?

— Семенъ Глазовъ.

— Поди распишись.

Почтальонъ расписался и вышелъ. У входа въ почтовое отдѣленіе темнѣла тройка. Лошади стояли неподвижно, только одна изъ пристяжныхъ безпокойно переминалась съ ноги на ногу и встряхивала головой, отчего изрѣдка позвякивалъ колокольчикъ. Тарантасъ съ тюками казался чернымъ пятномъ, возлѣ него лѣниво двигались два силуэта: студентъ съ чемоданомъ въ рукахъ и ямщикъ. Послѣдній курилъ носогрѣйку; огонекъ носогрѣйки двигался въ потемкахъ, потухалъ и вспыхивалъ; на мгновеніе освѣщалъ онъ

то кусокъ рукава, то мохнатые усы съ большимъ, мѣднокраснымъ носомъ, то нависшія, суровыя брови.

Почтальонъ помялъ руками тюки, положилъ на нихъ саблю и вскочилъ на тарантасъ. Студентъ нерѣшительно полѣзъ за нимъ и, толкнувъ его нечаянно локтемъ, сказалъ робко и вѣжливо: «Виноватъ!» Носогрѣйка потухла. Изъ почтоваго отдѣленія вышелъ пріемщикъ, какъ былъ, въ одной жилеткѣ и въ туфляхъ; пожимаясь отъ ночной сырости и покрякивая, онъ прошелся около тарантаса и сказалъ:

— Ну, съ Богомъ! Кланяйся, Михайло, матери! Всѣмъ кланяйся. А ты, Игнатьевъ, не забудь передать пакетъ Быстрецову... Трогай!

Ямщикъ забралъ вожжи въ одну руку, высморкался и, поправивъ подъ собою сидѣнье, чмокнулъ.

— Кланяйся же!—повторилъ пріемщикъ.

Колокольчикъ что-то прозвякалъ бубенчикамъ, бубенчики ласково отвѣтили ему. Тарантасъ взвизгнулъ, тронулся, колокольчикъ заплакалъ, бубенчики засмѣялись. Ямщикъ, приподнявшись, два раза хлестнулъ по безпокойной пристяжной, и тройка глухо застучала по пыльной дорогѣ. Городишка спалъ. По обѣ стороны широкой улицы чернѣли дома и деревья, и не было видно ни одного огонька. По небу, усѣянному звѣздами, кое-гдѣ тянулись узкія облака и тамъ, гдѣ скоро долженъ былъ начаться разсвѣтъ, стоялъ узкій лунный серпъ; но ни звѣзды, которыхъ было много, ни полумѣсяцъ, казавшійся бѣлымъ, не проясняли ночного воздуха. Было холодно, сыро и пахло осенью.

Студентъ, считавшій долгомъ вѣжливости ласково поговорить съ человѣкомъ, который не отказался взять его съ собой, началъ:

— Лѣтомъ въ это время уже свѣтло, а теперь еще даже зари не видно. Прошло лѣто!

Студентъ поглядѣлъ на небо и продолжалъ:

— Даже по небу видно, что уже осень. Посмотрите направо. Видите три звѣзды, которыя стоятъ рядомъ по одной линіи? Это созвѣздіе Оріона, которое появляется на нашемъ полушаріи только въ сентябрѣ.

Почтальонъ, засунувшій руки въ рукава и по уши ушедшій въ воротникъ своего пальто, не пошевельнулся и не взглянулъ на небо. Повидимому, созвѣздіе Оріона не инте-

ресовало его. Онъ привыкъ видѣть звѣзды и, вѣроятно, онѣ давно уже надоѣли ему. Студентъ помолчалъ немного и сказалъ:

— Холодно! Пора бы ужъ быть разсвѣту. Вамъ извѣстно, въ которомъ часу восходитъ теперь солнце?

— Что-съ?

— Въ которомъ часу восходитъ солнце?

— Въ шестомъ!—отвѣтилъ ямщикъ.

Тройка выѣхала изъ города. Теперь уже по обѣ стороны видны были только плетни огородовъ и одинокія ветлы, а впереди все застилала мгла. Здѣсь на просторѣ полумѣсяцъ казался болѣе и звѣзды сіяли ярче. Но вотъ пахнуло сыростью; почтальонъ глубже ушелъ въ воротникъ, и студентъ почувствовалъ, какъ непріятный холодъ пробѣжалъ сначала около ногъ, потомъ по тюкамъ, по рукамъ, по лицу. Тройка пошла тише; колокольчикъ замеръ, точно и онъ озябъ. Послышался плескъ воды, и подъ ногами лошадей, и около колесъ запрыгали звѣзды, отражавшіяся въ водѣ.

А минутъ черезъ десять стало такъ темно, что ужъ не было видно ни звѣздъ, ни полумѣсяца. Это тройка въѣхала въ лѣсъ. Колючія еловыя вѣтви то и дѣло били студента по фуражкѣ и паутина садилась ему на лицо. Колеса и копыта стучали по корневищамъ и тарантасъ покачивался, какъ пьяный.

— Вези по дорогѣ!—сказалъ сердито почтальонъ.—Что по краю везешь? Мнѣ всю рожу вѣтками расцарапало! Бери правѣй!

Но тутъ едва не произошло несчастье. Тарантасъ вдругъ подскочилъ, точно его передернула судорога, задрожалъ и съ визгомъ, сильно накренивaясь то вправо, то влѣво, съ страшной быстротой понесся по просѣкѣ. Лошади чего-то испугались и понесли.

— Тпррр! Тпррр! — испуганно закричалъ ямщикъ. — Тпррр... дьяволы!

Подскакивавшій студентъ, чтобы сохранить равновѣсіе и не вылетѣть изъ тарантаса, нагнулся впередъ и сталъ искать, за что бы ухватиться, но кожаные тюки были скользки, и ямщикъ, за поясъ котораго ухватился было студентъ, самъ подскакивалъ и каждое мгновеніе готовъ былъ свалиться. Сквозь шумъ колесъ и визгъ тарантаса послышалось, какъ слетѣвшая сабля звякнула о землю, потомъ,

немного погодя, что-то раза два глухо ударилось позади тарантаса.

— Тпррр! — раздирающимъ голосомъ кричалъ ямщикъ, перегибаясь назадъ.—Стой!

Студентъ упалъ лицомъ на его сидѣнье и ушибъ себѣ лобъ, но тотчасъ же его перегнуло назадъ, подбросило, и онъ сильно ударился спиной о задокъ тарантаса. «Падаю!»— мелькнуло въ его головѣ, но въ это время тройка вылетѣла изъ лѣса на просторъ, круто повернула направо и, застучавъ по бревенчатому мосту, остановилась, какъ вкопанная, и отъ такой внезапной остановки студента по инерціи опять перегнуло впередъ.

Ямщикъ и студентъ—оба задыхались. Почтальона въ тарантасѣ не было. Онъ вылетѣлъ вмѣстѣ съ саблей, чемоданомъ студента и однимъ тюкомъ.

— Стой, подлецъ! Сто-ой! — послышался изъ лѣса его крикъ. — Сволочь проклятая! — кричалъ онъ, подбѣгая къ тарантасу, и въ его плачущемъ голосѣ слышались боль и злоба.—Анаѳема, чтобъ ты издохъ!—крикнулъ онъ, подскакивая къ ямщику и замахиваясь на него кулакомъ.

— Экая исторія, Господи помилуй!—бормоталъ ямщикъ виноватымъ голосомъ, поправляя что-то около лошадиныхъ мордъ. — А все чортова пристяжная! Молодая проклятая, только недѣля, какъ въ упряжкѣ ходитъ. Ничего идетъ, а какъ только съ горы—бѣда! Ссадить бы ей морду раза три, такъ не стала бы баловать... Сто-ой! А, чортъ!

Пока ямщикъ приводилъ въ порядокъ лошадей и искалъ по дорогѣ чемоданъ, тюкъ и саблю, почтальонъ продолжалъ плачущимъ, визжащимъ отъ злобы голосомъ осыпать его ругательствами. Уложивъ кладь, ямщикъ безъ всякой надобности провелъ лошадей шаговъ сто, поворчалъ на безпокойную пристяжную и вскочилъ на козлы.

Когда страхъ прошелъ, студенту стало смѣшно и весело. Первый разъ въ жизни ѣхалъ онъ ночью на почтовой тройкѣ, и только-что пережитая встряска, полетъ почтальона и боль въ спинѣ ему казались интереснымъ приключеніемъ. Онъ закурилъ папиросу и сказалъ со смѣхомъ:

— А вѣдь этакъ можно себѣ шею свернуть! Я едва-едва не слетѣлъ и даже не замѣтилъ, какъ вы вылетѣли. Воображаю, какая ѣзда должна быть осенью!

Почтальонъ молчалъ.

— А вы давно ѣздите съ почтой?—спросилъ студентъ.

— Одиннадцать лѣтъ.

— Ого! Каждый день?

— Каждый. Отвезу эту почту и сейчасъ же назадъ ѣхать. А что?

За одиннадцать лѣтъ, при ежедневной ѣздѣ, навѣрное, было пережито не мало интересныхъ приключеній. Въ ясныя лѣтнія и въ суровыя осеннія ночи, или зимою, когда тройку съ воемъ кружитъ злая метель, трудно уберечься отъ страшнаго, жуткаго. Небось, не разъ носили лошади, увязалъ въ промоинѣ тарантасъ, нападали злые люди, сбивала съ пути вьюга...

— Воображаю, сколько приключеній было у васъ за одиннадцать лѣтъ!—сказалъ студентъ.—Что, должно-быть, страшно ѣздить?

Онъ говорилъ и ждалъ, что почтальонъ разскажетъ ему что-нибудь, но тотъ угрюмо молчалъ и уходилъ въ свой воротникъ. Начинало между тѣмъ свѣтать. Было не замѣтно, какъ небо мѣняло свой цвѣтъ; оно все еще казалось темнымъ, но уже видны были и лошади, и ямщикъ, и дорога. Лунный серпъ становился все бѣлѣе и бѣлѣе, а растянувшееся подъ нимъ облако, похожее на пушку съ лафетомъ, чуть-чуть желтѣло на своемъ нижнемъ краѣ. Скоро стало видно лицо почтальона. Оно было мокро отъ росы, сѣро и неподвижно, какъ у мертваго. На немъ застыло выраженіе тупой, угрюмой злобы; точно почтальонъ все еще чувствовалъ боль и продолжалъ сердиться на ямщика.

— Слава Богу, уже свѣтаетъ!—сказалъ студентъ, вглядываясь въ его злое, озябшее лицо.—Я совсѣмъ замерзъ. Ночи въ сентябрѣ холодныя, а стоитъ только взойти солнцу, и холода какъ не бывало. Мы скоро пріѣдемъ на станцію?

Почтальонъ поморщился и сдѣлалъ плачущее лицо.

— Какъ вы любите говорить, ей-Богу!—сказалъ онъ.—Развѣ не можете молча ѣхать?

Студентъ сконфузился и ужъ не трогалъ его всю дорогу. Утро наступало быстро. Мѣсяцъ поблѣднѣлъ и слился съ мутнымъ, сѣрымъ небомъ, облако все стало желто, звѣзды потухли, но востокъ все еще былъ холоденъ, такого же цвѣта, какъ и все небо, такъ что не вѣрилось, что за нимъ пряталось солнце...

Холодъ утра и угрюмость почтальона сообщились мало-

по-малу и озябшему студенту. Онъ апатично глядѣлъ на природу, ждалъ солнечнаго тепла и думалъ только о томъ, какъ, должно-быть, жутко и противно бѣднымъ деревьямъ и травѣ переживать холодныя ночи. Солнце взошло мутное, заспанное и холодное. Верхушки деревьевъ не золотились отъ восходящаго солнца, какъ пишутъ обыкновенно, лучи не ползли по землѣ и въ полетѣ сонныхъ птицъ не замѣтно было радости. Каковъ былъ холодъ ночью, такимъ онъ остался и при солнцѣ...

Студентъ сонно и хмуро поглядѣлъ на завѣшенныя окна усадьбы, мимо которой проѣзжала тройка. За окнами, подумалъ онъ, вѣроятно, спятъ люди самымъ крѣпкимъ, утреннимъ сномъ и не слышатъ почтовыхъ звонковъ, не ощущаютъ холода, не видятъ злого лица почтальона; а если и разбудитъ колокольчикъ какую-нибудь барышню, то она повернется на другой бокъ, улыбнется отъ избытка тепла и покоя и, поджавъ ноги, положивъ руку подъ щеку, заснетъ еще крѣпче.

Поглядѣлъ студентъ на прудъ, который блестѣлъ около усадьбы, и вспомнилъ о карасяхъ и щукахъ, которые находятъ возможнымъ жить въ холодной водѣ...

— Постороннихъ не велѣно возить...—заговорилъ неожиданно почтальонъ. — Не дозволено! А ежели не дозволено, то и не зачѣмъ садиться... Да. Мнѣ, положимъ, все равно, а только я этого не люблю и не желаю.

— Отчего же вы раньше молчали, если это вамъ не нравится?

Почтальонъ ничего не отвѣтилъ и продолжалъ глядѣть недружелюбно, со злобой. Когда, немного погодя, тройка остановилась у подъѣзда станціи, студентъ поблагодарилъ и вылѣзъ изъ тарантаса. Почтовый поѣздъ еще не приходилъ. На запасномъ пути стоялъ длинный товарный поѣздъ; на тендерѣ машинистъ и его помощникъ, съ лицами влажными отъ росы, пили изъ грязнаго жестяного чайника чай. Вагоны, платформа, скамьи — все было мокро и холодно. До прихода поѣзда студентъ стоялъ у буфета и пилъ чай, а почтальонъ, засунувъ руки въ рукава, все еще со злобой на лицѣ, одиноко шагалъ по платформѣ и глядѣлъ себѣ подъ ноги.

На кого онъ сердился? На людей, на нужду, на осеннія ночи?

# НЕПРІЯТНОСТЬ.

Земскій врачъ Григорій Ивановичъ Овчинниковъ, человѣкъ лѣтъ 35, худосочный и нервный, извѣстный своимъ товарищамъ небольшими работами по медицинской статистикѣ и горячею привязанностью къ такъ-называемымъ «бытовымъ вопросамъ», какъ-то утромъ дѣлалъ у себя въ больницѣ обходъ палатъ. За нимъ, по обыкновенію, слѣдовалъ его фельдшеръ Михаилъ Захаровичъ, пожилой человѣкъ, съ жирнымъ лицомъ, плоскими сальными волосами и съ серьгой въ ухѣ.

Едва докторъ началъ обходъ, какъ ему стало казаться очень подозрительнымъ одно пустое обстоятельство, а именно: жилетка фельдшера топорщилась въ складки и упрямо задиралась вверхъ, несмотря на то, что фельдшеръ то и дѣло обдергивалъ и поправлялъ ее. Сорочка у фельдшера была помята и тоже топорщилась; на черномъ, длинномъ сюртукѣ, на панталонахъ и даже на галстукѣ кое-гдѣ бѣлѣлъ пухъ... Очевидно, фельдшеръ спалъ всю ночь не раздѣваясь и, судя по выраженію, съ какимъ онъ теперь обдергивалъ жилетку и поправлялъ галстукъ, одежа стѣсняла его.

Докторъ пристально поглядѣлъ на него и понялъ, въ чемъ дѣло. Фельдшеръ не шатался, отвѣчалъ на вопросы складно, но угрюмо-тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробѣгавшая по шеѣ и рукамъ, безпорядокъ въ одеждѣ, а главное—напряженныя усилія надъ самимъ собой и желаніе замаскировать свое состояніе свидѣтельствовали, что онъ только-что всталъ съ постели, не выспался и былъ пьянъ, пьянъ тяжело, со вчерашняго... Онъ переживалъ мучительное со-

стояніе «перегара», страдалъ и, повидимому, былъ очень недоволенъ собой.

Докторъ, не любившій фельдшера и имѣвшій на то свои причины, почувствовалъ сильное желаніе сказать ему:—«Я вижу, вы пьяны!» Ему вдругъ стали противны жилетка, длиннополый сюртукъ, серьга въ мясистомъ ухѣ, но онъ сдержалъ свое злое чувство и сказалъ мягко и вѣжливо, какъ всегда.

— Давали Герасиму молока?

— Давали-съ... — отвѣтилъ Михаилъ Захарычъ тоже мягко.

Разговаривая съ больнымъ Герасимомъ, докторъ взглянулъ на листокъ, гдѣ записывалась температура, и, почувствовавъ новый приливъ ненависти, сдержалъ дыханіе, чтобы не говорить, но не выдержалъ и спросилъ грубо и задыхаясь!

— Отчего температура не записана?

— Нѣтъ, записана-съ!—сказалъ мягко Михаилъ Захарычъ, но, поглядѣвъ въ листокъ и убѣдившись, что температура въ самомъ дѣлѣ не записана, онъ растерянно пожалъ плечами и пробормоталъ:—Не знаю-съ, это, должно-быть, Надежда Осиповна...

— И вчерашняя вечерняя не записана! — продолжалъ докторъ.—Только пьянствуете, чортъ васъ возьми! И сейчасъ вы пьяны, какъ сапожникъ! Гдѣ Надежда Осиповна?

Акушерки Надежды Осиповны не было въ палатахъ, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязкахъ. Докторъ поглядѣлъ вокругъ себя, и ему стало казаться, что въ палатѣ не убрано, что все разбросано, ничего, что нужно, не сдѣлано и что все такъ же топорщится, мнется и покрыто пухомъ, какъ противная жилетка фельдшера, и ему захотѣлось сорвать съ себя бѣлый фартукъ, накричать, бросить все, плюнуть и уйти. Но онъ сдѣлалъ надъ собою усиліе и продолжалъ обходъ.

За Герасимомъ слѣдовалъ хирургическій больной съ воспаленіемъ клѣтчатки во всей правой рукѣ. Этому нужно было сдѣлать перевязку. Докторъ сѣлъ передъ нимъ на табуретъ и занялся рукой.

«Это вчера они гуляли на именинахъ...—думалъ онъ, медленно снимая повязку.—Погодите, я покажу вамъ именины! Впрочемъ, что я могу сдѣлать? Ничего я не могу».

Онъ нащупалъ на вспухшей, багровой рукѣ гнойникъ и сказалъ:

— Скальпель!

Михаилъ Захарычъ, старавшійся показать, что онъ крѣпко стоитъ на ногахъ и годенъ для дѣла, рванулся съ мѣста и быстро подалъ скальпель.

— Не этотъ! Дайте изъ новыхъ,—сказалъ докторъ.

Фельдшеръ засѣменилъ къ стулу, на которомъ стоялъ ящикъ съ перевязочнымъ матеріаломъ, и сталъ торопливо рыться въ немъ. Онъ долго шептался о чемъ-то съ сидѣлками, двигалъ ящикомъ по стулу, шуршалъ, что-то раза два уронилъ, а докторъ сидѣлъ, ждалъ и чувствовалъ въ своей спинѣ сильное раздраженіе отъ шопота и шороха.

— Скоро же?—спросилъ онъ.—Вы, должно-быть, ихъ внизу забыли...

Фельдшеръ подбѣжалъ къ нему и подалъ два скальпеля, причемъ не уберегся и дыхнулъ въ его сторону.

— Это не тѣ!—сказалъ раздраженно докторъ.—Я говорю вамъ русскимъ языкомъ, дайте изъ новыхъ. Впрочемъ, ступайте и проспитесь, отъ васъ несетъ, какъ изъ кабака! Вы невмѣняемы!

— Какихъ же вамъ еще ножей нужно?—спросилъ раздраженно фельдшеръ и медленно пожалъ плечами.

Ему было досадно на себя и стыдно, что на него въ упоръ глядятъ больные и сидѣлки, и чтобы показать, что ему не стыдно, онъ принужденно усмѣхнулся и повторилъ:

— Какихъ же вамъ еще ножей нужно?

Докторъ почувствовалъ на глазахъ слезы и дрожь въ пальцахъ. Онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе и проговорилъ дрожащимъ голосомъ:

— Ступайте проспитесь! Я не желаю говорить съ пьянымъ...

— Вы можете только за дѣло съ меня взыскивать,—продолжалъ фельдшеръ:—а ежели я, положимъ, выпивши, то никто не имѣетъ права мнѣ указывать. Вѣдь я служу? Что жъ вамъ еще! Вѣдь служу?

Докторъ вскочилъ и, не отдавая себѣ отчета въ своихъ движеніяхъ, размахнулся и изо всей силы ударилъ фельдшера по лицу. Онъ не понималъ, для чего онъ это дѣлаетъ, но почувствовалъ большое удовольствіе оттого, что ударъ кулака пришелся какъ разъ по лицу и что человѣкъ солид-

ный, положительный, семейный, набожный и знающій себѣ цѣну, покачнулся, подпрыгнулъ, какъ мячикъ, и сѣлъ на табуретъ. Ему страстно захотѣлось ударить еще разъ, но, увидѣвъ около ненавистнаго лица блѣдныя, встревоженныя лица сидѣлокъ, онъ пересталъ ощущать удовольствіе, махнулъ рукой и выбѣжалъ изъ палаты.

Во дворѣ встрѣтилась ему шедшая въ больницу Надежда Осиповна, дѣвица лѣтъ 27, съ блѣдно-желтымъ лицомъ и съ распущенными волосами. Ея розовое ситцевое платье было сильно стянуто въ подолѣ и отъ этого шаги ея были очень мелки и часты. Она шуршала платьемъ, подергивала плечами въ тактъ каждому своему шагу и покачивала головой такъ, какъ будто напѣвала мысленно что-то веселенькое.

«Ага, русалка!»—подумалъ докторъ, вспомнивъ, что въ больницѣ акушерку дразнятъ русалкой, и ему стало пріятно отъ мысли, что онъ сейчасъ оборветъ эту мелкошагающую, влюбленную въ себя франтиху.

— Гдѣ это вы пропадаете? — крикнулъ онъ, поровнявшись съ ней.—Отчего вы не въ больницѣ? Температура не записана, вездѣ безпорядокъ, фельдшеръ пьянъ, вы спите до двѣнадцати часовъ!.. Извольте искать себѣ другое мѣсто! Здѣсь вы больше не служите!

Придя на квартиру, докторъ сорвалъ съ себя бѣлый фартукъ и полотенце, которымъ былъ подпоясанъ, со злобой швырнулъ то и другое въ уголъ и заходилъ по кабинету.

— Боже, что за люди, что за люди!—проговорилъ онъ.— Это не помощники, а враги дѣла! Нѣтъ силъ служить больше! Не могу! Я уйду!

Сердце его сильно билось, онъ весь дрожалъ и хотѣлъ плакать и, чтобы избавиться отъ этихъ ощущеній, онъ началъ успокаивать себя мыслями о томъ, какъ онъ правъ и какъ хорошо сдѣлалъ, что ударилъ фельдшера. Прежде всего гадко то, думалъ докторъ, что фельдшеръ поступилъ въ больницу не просто, а по протекціи своей тетки, служащей въ нянюшкахъ у предсѣдателя земской управы (противно бываетъ глядѣть на эту вліятельную тетушку, когда она, пріѣзжая лѣчиться, держитъ себя въ больницѣ какъ дома и претендуетъ на то, чтобы ее принимали не въ очередь). Дисциплинированъ фельдшеръ плохо, знаетъ мало и совсѣмъ не понимаетъ того, что знаетъ. Онъ

нетрезвъ, дерзокъ, нечистоплотенъ, беретъ съ больныхъ взятки и тайкомъ продаетъ земскія лѣкарства. Всѣмъ также извѣстно, что онъ занимается практикой и лѣчитъ у молодыхъ мѣщанъ секретныя болѣзни, причемъ употребляетъ какія-то собственныя средства. Добро бы это былъ просто шарлатанъ, какихъ много, но это шарлатанъ убѣжденный и втайнѣ протестующій. Тайкомъ отъ доктора онъ ставитъ приходящимъ больнымъ банки и пускаетъ имъ кровь, на операціяхъ присутствуетъ съ неумытыми руками, ковыряетъ въ ранахъ всегда грязнымъ зондомъ — этого достаточно, чтобы понять, какъ глубоко и храбро презираетъ онъ докторскую медицину съ ея ученостью и педантизмомъ.

Дождавшись, когда пальцы перестали дрожать, докторъ сѣлъ за столъ и написалъ письмо къ предсѣдателю управы: «Уважаемый Левъ Трофимовичъ! Если, по полученіи этого письма, ваша управа не уволитъ фельдшера Смирновскаго и не предоставитъ мнѣ права самому выбирать себѣ помощниковъ, то я сочту себя вынужденнымъ (не безъ сожалѣнія, конечно) просить васъ не считать уже меня болѣе врачомъ N—ской больницы и озаботиться пріисканіемъ мнѣ преемника. Почтеніе Любовь Ѳедоровнѣ и Юсу. Уважающій Г. Овчинниковъ». Прочитавъ это письмо, докторъ нашелъ, что оно коротко и недостаточно холодно. Къ тому же почтеніе Любовь Ѳедоровнѣ и Юсу (такъ дразнили младшаго сына предсѣдателя) въ дѣловомъ, офиціальномъ письмѣ было болѣе чѣмъ неумѣстно.

«Какой тутъ къ чорту Юсъ?»—подумалъ докторъ, изорвалъ письмо и сталъ придумывать другое.—«Милостивый государь»...—думалъ онъ, садясь у открытаго окна и глядя на утокъ съ утятами, которыя, покачиваясь и спотыкаясь, спѣшили по дорогѣ, должно-быть, къ пруду; одинъ утенокъ подобралъ на дорогѣ какую-то кишку, подавился и поднялъ тревожный пискъ; другой подбѣжалъ къ нему, вытащилъ у него изо рта кишку и тоже подавился... Далеко около забора въ кружевной тѣни, какую бросали на траву молодыя липы, бродила кухарка Дарья и собирала щавель для зеленыхъ щей... Слышались голоса... Кучеръ Зотъ съ уздечкой въ рукѣ и больничный мужикъ Мануйло въ грязномъ фартукѣ стояли около сарая, о чемъ-то разговаривали и смѣялись.

«Это они о томъ, что я фельдшера ударилъ... — думалъ

докторъ.—Сегодня уже весь уѣздъ будетъ знать объ этомъ скандалѣ.. Итакъ: Милостивый государь! Если ваша управа не уволитъ»...

Докторъ отлично зналъ, что управа ни въ какомъ случаѣ не промѣняетъ его на фельдшера и скорѣе согласится не имѣть ни одного фельдшера во всемъ уѣздѣ, чѣмъ лишиться такого превосходнаго человѣка, какъ докторъ Овчинниковъ. Навѣрное, тотчасъ же по полученіи письма Левъ Трофимовичъ прикатитъ къ нему на тройкѣ и начнетъ:— «Да что вы это, батенька, вздумали? Голубушка, что же это такое, Христосъ съ вами? Зачѣмъ? Съ какой стати? Гдѣ онъ? Подать его сюда, каналью! Прогнать! Обязательно прогнать! Чтобъ завтра же его, подлеца, здѣсь не было!»— Потомъ онъ пообѣдаетъ съ докторомъ, а послѣ обѣда ляжетъ вотъ на этомъ малиновомъ диванѣ животомъ вверхъ, закроетъ лицо газетой и захрапитъ; выспавшись, напьется чаю и увезетъ къ себѣ доктора ночевать. И вся исторія кончится тѣмъ, что и фельдшеръ останется въ больницѣ, и докторъ не подастъ въ отставку.

Доктору же въ глубинѣ души хотѣлось не такой развязки. Ему хотѣлось, чтобы фельдшерская тетушка восторжествовала и чтобы управа, не взирая на его восьмилѣтнюю, добросовѣстную службу, безъ разговоровъ и даже съ удовольствіемъ приняла бы его отставку. Онъ мечталъ о томъ, какъ онъ будетъ уѣзжать изъ больницы, къ которой привыкъ, какъ напишетъ письмо въ газету «Врачъ», какъ товарищи поднесутъ ему сочувственный адресъ...

На дорогѣ показалась русалка. Мелко шагая и шурша платьемъ, она подошла къ окну и спросила:

— Григорій Иванычъ, сами будете принимать больныхъ, или безъ васъ прикажете?

А глаза ея говорили:—«Ты погорячился, но теперь успокоился и тебѣ стыдно, но я великодушна и не замѣчаю этого».

— Хорошо, я сейчасъ,—сказалъ докторъ.

Онъ опять надѣлъ фартукъ, подпоясался полотенцемъ и пошелъ въ больницу.

«Не хорошо, что я убѣжалъ, когда ударилъ его...—думалъ онъ дорогой.—Вышло, какъ будто я сконфузился или испугался... Гимназиста разыгралъ... Очень нехорошо!»

Ему казалось, что когда онъ войдетъ въ палату, то боль-

нымъ будетъ неловко глядѣть на него и ему самому станетъ совѣстно, но когда онъ вошелъ, больные покойно лежали на кроватяхъ и едва обратили на него вниманіе. Лицо чахоточнаго Герасима выражало совершенное равнодушіе и какъ бы говорило:—«Онъ тебѣ не потрафилъ, ты его маненько поучилъ... безъ этого, батюшка, нельзя».

Докторъ вскрылъ на багровой рукѣ два гнойника и наложилъ повязку, потомъ отправился въ женскую половину, гдѣ сдѣлалъ одной бабѣ операцію въ глазу, и все время за нимъ ходила русалка и помогала ему съ такимъ видомъ, какъ будто ничего не случилось и все обстояло благополучно. Послѣ обхода палатъ началась пріемка приходящихъ больныхъ. Въ маленькой пріемной доктора окно было открыто настежь. Стоило только сѣсть на подоконникъ и немножко нагнуться, чтобы увидѣть на аршинъ отъ себя молодую траву. Вчера вечеромъ былъ сильный ливень съ грозой, а потому трава немного помята и лоснится. Тропинка, которая бѣжитъ недалеко отъ окна и ведетъ къ оврагу, кажется умытой, и разбросанная по сторонамъ ея битая аптекарская посуда, тоже умытая, играетъ на солнцѣ и испускаетъ ослѣпительно-яркіе лучи. А дальше за тропинкой жмутся другъ къ другу молодыя елки, одѣтыя въ пышныя, зеленыя платья, за ними стоятъ березы съ бѣлыми, какъ бумага, стволами, а сквозь слегка трепещущую отъ вѣтра зелень березъ видно голубое, бездонное небо. Когда выглянешь въ окно, то скворцы, прыгающіе по тропинкѣ, поворачиваютъ въ сторону окна свои глупые носы и рѣшаютъ: испугаться, или нѣтъ? И, рѣшивъ испугаться, они одинъ за другимъ, съ веселымъ крикомъ, точно потѣшаясь надъ докторомъ, не умѣющимъ летать, несутся къ верхушкамъ березъ...

Сквозь тяжелый запахъ іодоформа чувствуется свѣжесть и ароматъ весенняго дня... Хорошо дышать!

— Анна Спиридонова!—вызвалъ докторъ.

Въ пріемную вошла молодая баба въ красномъ платьѣ и помолилась на образъ.

— Что болитъ?—спросилъ докторъ.

Баба недовѣрчиво покосилась на дверь, въ которую вошла, и на дверцу, ведущую въ аптеку, подошла поближе къ доктору и шепнула:

— Дѣтей нѣту!

— Кто еще не записывался?—крикнула въ аптекѣ русалка.—Подходите записываться!

«Онъ уже тѣмъ скотина,—думалъ докторъ, изслѣдуя бабу:—что заставилъ меня драться первый разъ въ жизни. Я отродясь не дрался».

Анна Спиридонова ушла. Послѣ нея пришелъ старикъ съ дурной болѣзнью, потомъ баба съ тремя ребятишками въ чесоткѣ, и работа закипѣла. Фельдшеръ не показывался. За дверцей въ аптекѣ, шурша платьемъ и звеня посудой, весело щебетала русалка; то и дѣло она входила въ пріемную, чтобы помочь на операціи или взять рецепты, и все съ такимъ видомъ, какъ будто все было благополучно.

«Она рада, что я ударилъ фельдшера,—думалъ докторъ, прислушиваясь къ голосу акушерки.—Вѣдь она жила съ фельдшеромъ, какъ кошка съ собакой, и для нея праздникъ, если его уволятъ. И сидѣлки, кажется, рады... Какъ это противно!»

Въ самый разгаръ пріемки ему стало казаться, что и акушерка, и сидѣлки, и даже больные нарочно стараются придать себѣ равнодушное и веселое выраженіе. Они какъ будто понимали, что ему стыдно и больно, но изъ деликатности дѣлали видъ, что не понимаютъ. И онъ, желая показать имъ, что ему вовсе не стыдно, кричалъ сердито:

— Эй, вы, тамъ! Затворяйте дверь, а то сквозитъ!

А ему ужъ было стыдно и тяжело. Принявши сорокъ пять больныхъ, онъ не спѣша вышелъ изъ больницы. Акушерка, уже успѣвшая побывать у себя на квартирѣ и надѣть на плечи ярко-пунцовый платокъ, съ папироской въ зубахъ и съ цвѣткомъ въ распущенныхъ волосахъ, спѣшила куда-то со двора, вѣроятно, на практику или въ гости. На порогѣ больницы сидѣли больные и молча грѣлись на солнышкѣ. Скворцы попрежнему шумѣли и гонялись за жуками. Докторъ глядѣлъ по сторонамъ и думалъ, что среди всѣхъ этихъ ровныхъ, безмятежныхъ жизней, какъ два испорченныхъ клавиша въ фортепіано, рѣзко выдѣлялись и никуда не годились только двѣ жизни: фельдшера и его. Фельдшеръ теперь, навѣрное, легъ, чтобы проспаться, но никакъ не можетъ уснуть отъ мысли, что онъ виноватъ, оскорбленъ и потерялъ мѣсто. Положеніе его мучительно. Докторъ же, ранѣе никогда никого не бившій, чувствовалъ себя такъ, какъ будто навсегда потерялъ невинность. Онъ

уже не обвинялъ фельдшера и не оправдывалъ себя, а только недоумѣвалъ: какъ это могло случиться, что онъ, порядочный человѣкъ, никогда не бившій даже собакъ, могъ ударить? Придя къ себѣ на квартиру, онъ легъ въ кабинетѣ на диванъ, лицомъ къ спинкѣ, и сталъ думать такимъ образомъ:

«Онъ человѣкъ нехорошій, вредный для дѣла; за три года, пока онъ служитъ, у меня накипѣло въ душѣ, но тѣмъ не менѣе мой поступокъ ничѣмъ не можетъ быть оправданъ. Я воспользовался правомъ сильнаго. Онъ мой подчиненный, виноватъ и къ тому же пьянъ, а я его начальникъ, правъ и трезвъ... Значитъ, я сильнѣе. Во-вторыхъ, я ударилъ его при людяхъ, которые считаютъ меня авторитетомъ, и такимъ образомъ я подалъ имъ отвратительный примѣръ»...

Доктора позвали обѣдать... Онъ съѣлъ нѣсколько ложекъ щей и, вставши изъ-за стола, опять легъ на диванъ.

«Что же теперь дѣлать?—продолжалъ онъ думать.—Надо возможно скорѣе дать ему удовлетвореніе... Но какимъ образомъ? Дуэли онъ, какъ практическій человѣкъ, считаетъ глупостью или не понимаетъ ихъ. Если въ той самой палатѣ, при сидѣлкахъ и больныхъ попросить у него извиненія, то это извиненіе удовлетворитъ только меня, а не его; онъ, человѣкъ дурной, пойметъ мое извиненіе какъ трусость и боязнь, что онъ пожалуется на меня начальству. Къ тому же, это мое извиненіе въ конецъ расшатаетъ больничную дисциплину. Предложить ему денегъ? Нѣтъ, это безнравственно и похоже на подкупъ. Если теперь, положимъ, обратиться за разрѣшеніемъ вопроса къ нашему прямому начальству, т. е. къ управѣ... Она могла бы объявить мнѣ выговоръ, или уволить меня... Но этого она не сдѣлаетъ. Да и не совсѣмъ удобно вмѣшивать въ интимныя дѣла больницы управу, которая кстати же не имѣетъ на это никакого права»...

Часа черезъ три послѣ обѣда докторъ шелъ къ пруду купаться и думалъ:

«А не поступить ли мнѣ такъ, какъ поступаютъ всѣ при подобныхъ обстоятельствахъ? То-есть, пусть онъ подастъ на меня въ судъ. Я безусловно виноватъ, оправдываться не стану, и мировой присудитъ меня къ аресту. Такимъ образомъ оскорбленный будетъ удовлетворенъ и тѣ, которые

считаютъ меня авторитетомъ, увидятъ, что я былъ не правъ».

Эта идея улыбнулась ему. Онъ обрадовался и сталъ думать, что вопросъ рѣшенъ благополучно и что болѣе справедливаго рѣшенія не можетъ быть.

«Что жъ, превосходно!—думалъ онъ, полѣзая въ воду и глядя, какъ отъ него убѣгали стаи мелкихъ, золотистыхъ карасиковъ.—Пусть подаетъ... Это для него тѣмъ болѣе удобно, что наши служебныя отношенія уже порваны и одному изъ насъ послѣ этого скандала все равно ужъ нельзя оставаться въ больницѣ»...

Вечеромъ докторъ приказалъ заложить шарабанъ, чтобы ѣхать къ воинскому начальнику играть въ винтъ. Когда онъ, въ шляпѣ и въ пальто, совсѣмъ уже готовый въ путь, стоялъ у себя посреди кабинета и надѣвалъ перчатки, наружная дверь со скрипомъ отворилась, и кто-то безшумно вошелъ въ переднюю.

— Кто тамъ?—спросилъ докторъ.

— Это я-съ...—глухо отвѣтилъ вошедшій.

У доктора вдругъ застучало сердце и весь онъ похолодѣлъ отъ стыда и какого-то непонятнаго страха. Фельдшеръ Михаилъ Захарычъ (это былъ онъ) тихо кашлянулъ и несмѣло вошелъ въ кабинетъ. Помолчавъ немного, онъ сказалъ глухимъ, виноватымъ голосомъ:

— Простите меня, Григорій Иванычъ!

Докторъ растерялся и не зналъ, что сказать. Онъ понялъ, что фельдшеръ пришелъ къ нему унижаться и просить прощенія не изъ христіанскаго смиренія и не ради того, чтобы своимъ смиреніемъ уничтожить оскорбителя, а просто изъ расчета: «сдѣлаю надъ собой усиліе, попрошу прощенія и, авось, меня не прогонятъ и не лишатъ куска хлѣба»... Что можетъ быть оскорбительнѣй для человѣческаго достоинства?

— Простите...—повторилъ фельдшеръ.

— Послушайте...—заговорилъ докторъ, стараясь не глядѣть на него и все еще не зная, что сказать.—Послушайте... Я васъ оскорбилъ и... и долженъ понести наказаніе, то-есть удовлетворить васъ... Дуэлей вы не признаете... Впрочемъ, я самъ не признаю дуэлей. Я васъ оскорбилъ и вы... вы можете подать на меня жалобу мировому судьѣ, и я понесу наказаніе... А оставаться намъ

тутъ вдвоемъ нельзя... Кто-нибудь изъ насъ, я или вы, долженъ выйти! (Боже мой! Я не то говорю!—ужаснулся докторъ.—Какъ глупо, какъ глупо!) Однимъ словомъ, подавайте прошеніе! А служить вмѣстѣ мы уже не можемъ!.. Я, или вы... Завтра же подавайте!

Фельдшеръ поглядѣлъ исподлобья на доктора, и въ его темныхъ, мутныхъ глазахъ вспыхнуло самое откровенное презрѣніе. Онъ всегда считалъ доктора не практическимъ, капризнымъ мальчишкой, а теперь презиралъ его за дрожь, за непонятную суету въ словахъ...

— И подамъ,—сказалъ онъ угрюмо и злобно.

— Да, и подавайте!

— А что жъ вы думаете? Не подамъ? И подамъ... Вы не имѣете права драться. Да и стыдились бы! Дерутся только пьяные мужики, а вы образованный...

Въ груди доктора неожиданно встрепенулась вся его ненависть, и онъ закричалъ не своимъ голосомъ:

— Убирайтесь вонъ!

Фельдшеръ нехотя тронулся съ мѣста (ему какъ будто хотѣлось еще что-то сказать), пошелъ въ переднюю и остановился тамъ въ раздумьѣ. И что-то надумавъ, онъ рѣшительно вышелъ...

— Какъ глупо, какъ глупо!—бормоталъ докторъ по уходѣ его.—Какъ все это глупо и пошло!

Онъ чувствовалъ, что велъ себя сейчасъ съ фельдшеромъ какъ мальчишка, и ужъ понималъ, что всѣ его мысли насчетъ суда не умны, не рѣшаютъ вопроса, а только осложняютъ его.

«Какъ глупо!—думалъ онъ, сидя въ шарабанѣ и потомъ играя у воинскаго начальника въ винтъ.—Неужели я такъ мало образованъ и такъ мало знаю жизнь, что не въ состояніи рѣшить этого простого вопроса? Ну, что дѣлать?»

На другой день утромъ докторъ видѣлъ, какъ жена фельдшера садилась въ повозку, чтобы куда-то ѣхать, и подумалъ: «Это она къ тетушкѣ. Пусть!»

Больница обходилась безъ фельдшера. Нужно было написать заявленіе въ управу, но докторъ все еще никакъ не могъ придумать формы письма. Теперь смыслъ письма долженъ былъ быть таковъ: «Прошу уволить фельдшера, хотя виноватъ не онъ, а я». Изложить же эту мысль такъ, чтобы

вышло не глупо и не стыдно—для порядочнаго человѣка почти невозможно.

Дня черезъ два или три доктору донесли, что фельдшеръ былъ съ жалобой у Льва Трофимовича. Предсѣдатель не далъ ему сказать ни одного слова, затопалъ ногами и проводилъ его крикомъ: «Знаю я тебя! Вонъ! Не желаю слушать!» Отъ Льва Трофимовича фельдшеръ поѣхалъ въ управу и подалъ тамъ ябеду, въ которой, не упоминая о пощечинѣ и ничего не прося для себя, доносилъ управѣ, что докторъ нѣсколько разъ въ его присутствіи неодобрительно отзывался объ управѣ и предсѣдателѣ, что лѣчитъ докторъ не такъ, какъ нужно, ѣздитъ на участки неисправно и проч. Узнавъ объ этомъ, докторъ засмѣялся и подумалъ: «Этакій дуракъ!» и ему стало стыдно и жаль, что фельдшеръ дѣлаетъ глупости; чѣмъ больше глупостей дѣлаетъ человѣкъ въ свою защиту, тѣмъ онъ, значитъ, беззащитнѣе и слабѣе.

Ровно черезъ недѣлю послѣ описаннаго утра докторъ получилъ повѣстку отъ мирового судьи.

«Это ужъ совсѣмъ глупо...—думалъ онъ, расписываясь въ полученіи.—Глупѣе и придумать ничего нельзя».

И когда онъ въ пасмурное, тихое утро ѣхалъ къ мировому, ему ужъ было не стыдно, а досадно и противно. Онъ злился и на себя, и на фельдшера, и на обстоятельства...

— Возьму и скажу на судѣ: убирайтесь вы всѣ къ чорту!—злился онъ.—Вы всѣ ослы и ничего вы не понимаете!

Подъѣхавъ къ камерѣ мирового, онъ увидѣлъ на порогѣ трехъ своихъ сидѣлокъ, вызванныхъ въ качествѣ свидѣтельницъ, и русалку. При видѣ сидѣлокъ и жизнерадостной акушерки, которая отъ нетерпѣнія переминалась съ ноги на ногу и даже вспыхнула отъ удовольствія, когда увидѣла главнаго героя предстоящаго процесса, сердитому доктору захотѣлось налетѣть на нихъ ястребомъ и ошеломить: «Кто вамъ позволилъ уходить изъ больницы? Извольте сію минуту убираться домой!» но онъ сдержалъ себя и, стараясь казаться покойнымъ, пробрался сквозь толпу мужиковъ въ камеру. Камера была пуста и цѣпь мирового висѣла на спинкѣ кресла. Докторъ пошелъ въ комнатку письмоводителя. Тутъ онъ увидѣлъ молодого человѣка съ тощимъ лицомъ и въ коломенковомъ пиджакѣ съ оттопыренными кар-

манами—это былъ письмоводитель, и фельдшера, который сидѣлъ за столомъ и отъ нечего дѣлать перелистывалъ справки о судимости. При входѣ доктора, письмоводитель поднялся; фельдшеръ сконфузился и тоже поднялся.

— Александръ Архиповичъ еще не приходилъ?—спросилъ докторъ, конфузясь.

— Нѣтъ еще. Они дома...—отвѣтилъ письмоводитель.

Камера помѣщалась въ усадьбѣ мирового судьи, въ одномъ изъ флигелей, а самъ судья жилъ въ большомъ домѣ. Докторъ вышелъ изъ камеры и не спѣша направился къ дому. Александра Архиповича засталъ онъ въ столовой за самоваромъ. Мировой безъ сюртука и безъ жилетки, съ разстегнутой на груди рубахой стоялъ около стола и, держа въ обѣихъ рукахъ чайникъ, наливалъ себѣ въ стаканъ темнаго, какъ кофе, чаю; увидѣвъ гостя, онъ быстро придвинулъ къ себѣ другой стаканъ, налилъ его и, не здороваясь, спросилъ:

— Вамъ съ сахаромъ или безъ сахару?

Когда-то, очень давно, мировой служилъ въ кавалеріи; теперь ужъ онъ за свою долголѣтнюю службу по выборамъ состоялъ въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго, но все еще не бросалъ ни своего военнаго мундира, ни военныхъ привычекъ. У него были длинные, полицмейстерскіе усы, брюки съ кантами, и всѣ его поступки и слова были проникнуты военной граціей. Говорилъ онъ, слегка откинувъ назадъ голову и уснащая рѣчь сочнымъ, генеральскимъ «мнэ-э-э...», поводилъ плечами и игралъ глазами; здороваясь или давая закурить, шаркалъ подошвами и при ходьбѣ такъ осторожно и нѣжно звякалъ шпорами, какъ будто каждый звукъ шпоръ причинялъ ему невыносимую боль. Усадивъ доктора за чай, онъ погладилъ себя по широкой груди и по животу, глубоко вздохнулъ и сказалъ:

— Н-да-съ... Можетъ-быть, желаете мнэ-э... водки выпить и закусить? Мнэ-э?

— Нѣтъ, спасибо, я сытъ.

Оба чувствовали, что имъ не миновать разговора о больничномъ скандалѣ, и обоимъ было неловко. Докторъ молчалъ. Мировой граціознымъ маніемъ руки поймалъ комара, укусившаго его въ грудь, внимательно оглядѣлъ его со всѣхъ сторонъ и выпустилъ, потомъ глубоко вздохнулъ, поднялъ глаза на доктора и спросилъ съ разстановкой:

— Послушайте, отчего вы его не прогоните?

Докторъ уловилъ въ его голосѣ сочувственную нотку; ему вдругъ стало жаль себя и онъ почувствовалъ утомленіе и разбитость отъ передрягъ, пережитыхъ въ послѣднюю недѣлю. Съ такимъ выраженіемъ, какъ будто терпѣніе его наконецъ лопнуло, онъ поднялся изъ-за стола и, раздраженно морщась, пожимая плечами, сказалъ:

— Прогнать! Какъ вы всѣ разсуждаете, ей-Богу... Удивительно, какъ вы всѣ разсуждаете! Да развѣ я могу его прогнать? Вы тутъ сидите и думаете, что въ больницѣ я у себя хозяинъ и дѣлаю все, что хочу! Удивительно, какъ вы всѣ разсуждаете! Развѣ я могу прогнать фельдшера, если его тетка служитъ въ нянькахъ у Льва Трофимыча и если Льву Трофимычу нужны такіе шептуны и лакеи, какъ этотъ Захарычъ? Что я могу сдѣлать, если земство ставитъ насъ, врачей, ни въ грошъ, если оно на каждомъ шагу бросаетъ намъ подъ ноги полѣнья? Чортъ ихъ подери, я не желаю служить, вотъ и все! Не желаю!

— Ну, ну, ну... Вы, душа моя, придаете ужъ слишкомъ много значенія, такъ сказать...

— Предводитель изо всѣхъ силъ старается доказать, что всѣ мы нигилисты, шпіонитъ и третируетъ насъ, какъ своихъ писарей. Какое онъ имѣетъ право пріѣзжать въ мое отсутствіе въ больницу и допрашивать тамъ сидѣлокъ и больныхъ? Развѣ это не оскорбительно? А этотъ вашъ юродивый Семенъ Алексѣичъ, который самъ пашетъ и не вѣруетъ въ медицину, потому что здоровъ и сытъ, какъ быкъ, громогласно и въ глаза обзываетъ насъ дармоѣдами и попрекаетъ кускомъ хлѣба! Да чортъ его возьми! Я работаю отъ утра до ночи, отдыха не знаю, я нужнѣе здѣсь, чѣмъ всѣ эти вмѣстѣ взятые юродивые, святоши, реформаторы и прочіе клоуны! Я потерялъ на работѣ здоровье, а меня вмѣсто благодарности попрекаютъ кускомъ хлѣба! Покорнѣйше васъ благодарю! И каждый считаетъ себя въ правѣ совать свой носъ не въ свое дѣло, учить, контролировать! Этотъ вашъ членъ управы Камчатскій въ земскомъ собраніи дѣлалъ врачамъ выговоръ за то, что у насъ выходитъ много іодистаго калія и рекомендовалъ намъ быть осторожными при употребленіи кокаина! Что онъ понимаетъ, я васъ спрашиваю? Какое ему дѣло? Отчего онъ не учитъ васъ судить?

— Но... но вѣдь онъ хамъ, душа моя, холуй... На него нельзя обращать вниманіе...

— Хамъ, холуй, однако же вы выбрали этого свистуна въ члены и позволяете ему всюду совать свой носъ! Вы вотъ улыбаетесь! По-вашему все это мелочи, пустяки, но поймите же, что этихъ мелочей такъ много, что изъ нихъ сложилась вся жизнь, какъ изъ песчинокъ гора! Я больше не могу! Силъ нѣтъ, Александръ Архипычъ! Еще немного и, увѣряю васъ, я не только бить по мордасамъ, но и стрѣлять въ людей буду! Поймите, что у меня не проволоки, а нервы. Я такой же человѣкъ, какъ и вы...

Глаза доктора налились слезами и голосъ дрогнулъ; онъ отвернулся и сталъ глядѣть въ окно. Наступило молчаніе.

— Н-да-съ, почтеннѣйшій... — пробормоталъ мировой въ раздумьѣ.—Съ другой же стороны, если разсудить хладнокровно, то... (мировой поймалъ комара и, сильно прищуривъ глаза, оглядѣлъ его со всѣхъ сторонъ, придавилъ и бросилъ въ полоскательную чашку)... то, видите ли, и прогонять его нѣтъ резона. Прогоните, а на его мѣсто сядетъ другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемѣните вы сто человѣкъ, а хорошаго не найдете... Всѣ мерзавцы (мировой погладилъ себя подъ мышками и медленно закурилъ папиросу). Съ этимъ зломъ надо мириться. Я долженъ вамъ сказать, что-о въ настоящее время честныхъ и трезвыхъ работниковъ, на которыхъ вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенціи и мужиковъ, то-есть среди двухъ этихъ крайностей и только. Вы, такъ сказать, можете найти честнѣйшаго врача, превосходнѣйшаго педагога, честнѣйшаго пахаря или кузнеца, но средніе люди, то-есть, если такъ выразиться, люди, ушедшіе отъ народа и не дошедшіе до интеллигенціи, составляютъ элементъ ненадежный. Весьма трудно поэтому найти честнаго и трезваго фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно! Я служу-съ въ юстиціи со временъ царя Гороха и во все время своей службы не имѣлъ еще ни разу честнаго и трезваго писаря, хотя и прогналъ ихъ на своемъ вѣку видимо-невидимо. Народъ безъ всякой моральной дисциплины, не говоря ужъ о-о-о-о принципахъ, такъ сказать...

«Зачѣмъ онъ это говоритъ?—подумалъ докторъ.—Не то мы съ нимъ говоримъ, что нужно».

— Вотъ не дальше, какъ въ прошлую пятницу, — продолжалъ мировой: — мой Дюжинскій учинилъ такую, можете

себѣ представить, штуку. Созвалъ онъ къ себѣ вечеромъ какихъ-то пьяницъ, чортъ ихъ знаетъ, кто они такіе, и всю ночь пропьянствовалъ съ ними въ камерѣ. Какъ вамъ это понравится? Я ничего не имѣю противъ питья. Чортъ съ тобой, пей, но зачѣмъ пускать въ камеру неизвѣстныхъ людей? Вѣдь, судите сами, выкрасть изъ дѣлъ какой-нибудь документъ, вексель и прочее — минутное дѣло! И что жъ вы думаете? Послѣ той оргіи я долженъ былъ дня два провѣрять всѣ дѣла, не пропало ли что... Ну, что жъ вы подѣлаете со стервецомъ? Прогнать? Хорошо-съ... А чѣмъ вы поручитесь, что другой не будетъ хуже?

— Да и какъ его прогонишь? — сказалъ докторъ. — Прогнать человѣка легко только на словахъ... Какъ я прогоню и лишу его куска хлѣба, если знаю, что онъ семейный, голодный? Куда онъ дѣнется со своей семьей?

«Чортъ знаетъ что, не то я говорю! — подумалъ онъ, и ему показалось страннымъ, что онъ никакъ не можетъ укрѣпить свое сознаніе на какой-нибудь одной, опредѣленной мысли, или на какомъ-нибудь одномъ чувствѣ. — Это оттого, что я не глубокъ и не умѣю мыслить», — подумалъ онъ.

— Средній человѣкъ, какъ вы назвали, не надеженъ, — продолжалъ онъ. — Мы его гонимъ, бранимъ, бьемъ по физіономіи, но вѣдь надо же войти и въ его положеніе. Онъ ни мужикъ, ни баринъ, ни рыба, ни мясо; прошлое у него горькое, въ настоящемъ у него только 25 рублей въ мѣсяцъ, голодная семья и подчиненность, въ будущемъ тѣ же 25 рублей и зависимое положеніе, прослужи онъ хоть сто лѣтъ. У него ни образованія, ни собственности; читать и ходить въ церковь ему некогда, насъ онъ не слышитъ, потому что мы не подпускаемъ его къ себѣ близко. Такъ и живетъ изо дня въ день до самой смерти безъ надеждъ на лучшее, обѣдая впроголодь, боясь, что вотъ-вотъ его прогонятъ изъ казенной квартиры, не зная, куда приткнуть своихъ дѣтей. Ну, какъ тутъ, скажите, не пьянствовать, не красть? Гдѣ тутъ взяться принципамъ!

«Мы, кажется, ужъ соціальные вопросы рѣшаемъ. — подумалъ онъ. — И какъ нескладно, Господи! Да и къ чему все это?»

Послышались звонки. Кто-то въѣхалъ во дворъ и подкатилъ сначала къ камерѣ, потомъ къ крыльцу большого дома.

— Самъ пріѣхалъ, — сказалъ мировой, поглядѣвъ въ окно. — Ну, будетъ вамъ на орѣхи!

— А вы, пожалуйста, отпустите меня поскорѣе... — попросилъ докторъ. — Если можно, то разсмотрите мое дѣло не въ очередь. Ей-Богу, некогда.

— Хорошо, хорошо... Только я еще не знаю, батенька, подсудно ли мнѣ это дѣло. Отношенія вѣдь у васъ съ фельдшеромъ, такъ сказать, служебныя и къ тому же вы смазали его при исполненіи служебныхъ обязанностей. Впрочемъ, не знаю хорошенько. Спросимъ сейчасъ у Льва Трофимовича.

Послышались торопливые шаги и тяжелое дыханіе, и въ дверяхъ показался Левъ Трофимовичъ, предсѣдатель, сѣдой и лысый старикъ съ длинной бородой и красными вѣками.

— Мое почтеніе... — сказалъ онъ, задыхаясь. — Уфъ, батюшки! Вели-ка, судья, подать мнѣ квасу! Смерть моя...

Онъ опустился въ кресло, но тотчасъ же быстро вскочилъ, подбѣжалъ къ доктору и, сердито таращa на него глаза, заговорилъ визгливымъ теноромъ:

— Очень и чрезвычайно вамъ благодаренъ, Григорій Иванычъ! Одолжили, благодарю васъ! Во-вѣки-вѣковъ аминь не забуду! Такъ пріятели не дѣлаютъ! Какъ угодно, а это даже недобросовѣстно съ вашей стороны! Отчего вы меня не извѣстили? Что я вамъ? Кто? Врагъ, или посторонній человѣкъ? Врагъ я вамъ? Развѣ я вамъ когда-нибудь въ чемъ отказывалъ? А?

Тараща глаза и шевеля пальцами, предсѣдатель напился квасу, быстро вытеръ губы и продолжалъ:

— Очень, очень вамъ благодаренъ! Отчего вы меня не извѣстили? Если бы вы имѣли ко мнѣ чувства, пріѣхали бы ко мнѣ и по-дружески: — «Голубушка, Левъ Трофимычъ, такъ и такъ, молъ... Такого сорта исторія и прочее...» Я бы вамъ въ одинъ мигъ все устроилъ и не понадобилось бы этого скандала... Тотъ дуракъ, словно бѣлены объѣлся, шляется по уѣзду, кляузничаетъ да сплетничаетъ съ бабами, а вы, срамъ сказать, извините за выраженіе, затѣяли чортъ знаетъ что, заставили того дурака подать въ судъ! Срамъ, чистый срамъ! Всѣ меня спрашиваютъ, въ чемъ дѣло, какъ и что, а я, предсѣдатель, и ничего не знаю, что у васъ тамъ дѣлается. Вамъ до меня и надобности нѣтъ! Очень, очень вамъ благодаренъ, Григорій Иванычъ!

Предсѣдатель поклонился такъ низко, что даже побагровѣлъ весь, потомъ подошелъ къ окну и крикнулъ:

— Жигаловъ, позови сюда Михаила Захарыча! Скажи, чтобъ сію минуту сюда шелъ! Не хорошо-съ! — сказалъ онъ, отходя отъ окна. — Даже жена моя обидѣлась, а ужъ на что, кажется, благоволитъ къ вамъ. Ужъ очень вы, господа, умствуете! Все норовите, какъ бы это по-умному, да по принципамъ, да со всякими выкрутасами, а выходитъ у васъ только одно: тѣнь наводите...

— Вы норовите все не по-умному, а у васъ-то что выходитъ? — спросилъ докторъ.

— Что у насъ выходитъ? А то выходитъ, что если бы я сейчасъ сюда не пріѣхалъ, то вы бы и себя осрамили, и насъ... Счастье ваше, что я пріѣхалъ!

Вошелъ фельдшеръ и остановился у порога. Предсѣдатель сталъ къ нему бокомъ, засунулъ руки въ карманы, откашлялся и сказалъ:

— Проси сейчасъ у доктора прощенія!

Докторъ покраснѣлъ и выбѣжалъ въ другую комнату.

— Вотъ видишь, докторъ не хочетъ принимать твоихъ извиненій!—продолжалъ предсѣдатель.—Онъ желаетъ, чтобъ ты не на словахъ, а на дѣлѣ выказалъ свое раскаяніе. Даешь слово, что съ сегодняшняго дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?

— Даю... — угрюмо пробасилъ фельдшеръ.

— Смотри же! Бо-оже тебя сохрани! У меня въ одинъ мигъ потеряешь мѣсто! Если что случится, не проси милости... Ну, ступай домой...

Для фельдшера, который уже помирился со своимъ несчастьемъ, такой поворотъ дѣла былъ неожиданнымъ сюрпризомъ. Онъ даже поблѣднѣлъ отъ радости. Что-то онъ хотѣлъ сказать и протянулъ впередъ руку, но ничего не сказалъ, а тупо улыбнулся и вышелъ.

— Вотъ и все! — сказалъ предсѣдатель. — И суда никакого не нужно.

Онъ облегченно вздохнулъ и съ такимъ видомъ, какъ будто только-что совершилъ очень трудное и важное дѣло, оглядѣлъ самоваръ и стаканы, потеръ руки и сказалъ:

— Блажени миротворцы... Налей-ка мнѣ, Саша, стаканчикъ. А впрочемъ, вели сначала дать чего-нибудь закусить... Ну, и водочки...

— Господа, это невозможно! — сказалъ докторъ, входя въ столовую, все еще красный и ломая руки. — Это... это комедія! Это гадко! Я не могу. Лучше двадцать разъ судиться, чѣмъ рѣшать вопросы такъ водевильно. Нѣтъ, я не могу!

— Что же вамъ нужно? — огрызнулся на него предсѣдатель. — Прогнать? Извольте, я прогоню...

— Нѣтъ, не прогнать... Я не знаю, что мнѣ нужно, но такъ, господа, относиться къ жизни... ахъ, Боже мой! Это мучительно!

Докторъ нервно засуетился и сталъ искать своей шляпы и, не найдя ея, въ изнеможеніи опустился въ кресло.

— Гадко! — повторилъ онъ.

— Душа моя, — зашепталъ мировой: — отчасти я васъ не понимаю, такъ сказать... Вѣдь вы виноваты въ этомъ инцидентѣ! Хлобыстать по физіономіи въ концѣ девятнадцатаго вѣка — это, нѣкоторымъ образомъ, какъ хотите, не того... Онъ мерзавецъ, но-о-о, согласитесь, и вы поступили неосторожно...

— Конечно! — согласился предсѣдатель.

Подали водку и закуску. На прощанье докторъ машинально выпилъ рюмку и закусилъ редиской. Когда онъ возвращался къ себѣ въ больницу, мысли его заволакивались туманомъ, какъ трава въ осеннее утро.

«Неужели, — думалъ онъ: — въ послѣднюю недѣлю было такъ много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы все кончилось такъ нелѣпо и пошло! Какъ глупо! Какъ глупо!»

Ему было стыдно, что въ свой личный вопросъ онъ впуталъ постороннихъ людей, стыдно за слова, которыя онъ говорилъ этимъ людямъ, за водку, которую онъ выпилъ по привычкѣ пить и жить зря, стыдно за свой не понимающій, не глубокій умъ... Вернувшись въ больницу, онъ тотчасъ же принялся за обходъ палатъ. Фельдшеръ ходилъ около него, ступая мягко, какъ котъ, и мягко отвѣчая на вопросы... И фельдшеръ, и русалка, и сидѣлки дѣлали видъ, что ничего не случилось и что все было благополучно. И самъ докторъ изо всѣхъ силъ старался казаться равнодушнымъ. Онъ приказывалъ, сердился, шутилъ съ больными, а въ мозгу его копошилось:

— Глупо, глупо, глупо...

# Оглавленіе

## VI ТОМА.


| | стр. |
|---|---|
| Тина | 3 |
| Тайный совѣтникъ | 21 |
| Письмо | 39 |
| Поцѣлуй | 51 |
| Пассажиръ I-го класса | 69 |
| Воры | 76 |
| Пари | 92 |
| Именины | 100 |
| Безъ заглавія | 133 |
| Каштанка | 138 |
| Почта | 158 |
| Непріятность | 164 |

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

# Ант. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

## ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Володя.—Княгиня.—Бѣда.—Спать хочется.—Холодная кровь.—Скучная исторія.—Припадокъ.—Шампанское.—Въ ссылкѣ.—Отецъ.—Жена.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

# ВОЛОДЯ.

Въ одно изъ лѣтнихъ воскресеній, часовъ въ пять вечера, Володя, семнадцатилѣтній юноша, некрасивый, болѣзненный и робкій, сидѣлъ въ бесѣдкѣ на дачѣ у Шумихиныхъ и скучалъ. Его невеселыя мысли текли по тремъ направленіямъ. Во-первыхъ, на завтра, въ понедѣльникъ, ему предстояло держать экзаменъ по математикѣ; онъ зналъ, что если завтра ему не удастся рѣшить письменную задачу, то его исключатъ, такъ какъ сидѣлъ онъ въ шестомъ классѣ два года и имѣлъ годовую отмѣтку по алгебрѣ $2^3/_4$. Во-вторыхъ, его пребываніе у Шумихиныхъ, людей богатыхъ и претендующихъ на аристократизмъ, причиняло постоянную боль его самолюбію. Ему казалось, что m-me Шумихина и ея племянницы глядятъ на него и его maman, какъ на бѣдныхъ родственниковъ и приживаловъ, что онѣ не уважаютъ maman и смѣются надъ ней. Разъ онъ нечаянно подслушалъ, какъ m-me Шумихина говорила на террасѣ своей кузинѣ Аннѣ Ѳедоровнѣ, что его maman продолжаетъ еще молодиться и наводить на себя красоту, что она никогда не платитъ проигрыша и имѣетъ пристрастіе къ чужимъ ботинкамъ и къ чужому табаку. Каждый день Володя умолялъ maman не ѣздить къ Шумихинымъ, описывалъ ей, какую обидную роль играетъ она у этихъ господъ, убѣждалъ, говорилъ дерзости, но та, легкомысленная, избалованная, прожившая на своемъ вѣку два состоянія — свое и мужнино, всегда тяготѣвшая къ высшему обществу, не понимала его, и Володя раза два въ недѣлю долженъ былъ провожать ее на ненавистную дачу.

Въ-третьихъ, юноша ни на минуту не могъ отдѣлаться отъ страннаго, непріятнаго чувства, которое было для него совершенно ново... Ему казалось, что онъ былъ влюбленъ въ кузину и гостью Шумихиной, Анну Ѳедоровну. Это была подвижная, голосистая и смѣшливая барынька, лѣтъ тридцати, здоровая, крѣпкая, розовая, съ круглыми плечами, съ круглымъ жирнымъ подбородкомъ и съ постоянной улыбкой на тонкихъ губахъ. Она была некрасива и немолода — Володя отлично зналъ это, но почему-то онъ былъ не въ силахъ не думать о ней, не глядѣть на нее, когда она, играя въ крокетъ, дожимала своими круглыми плечами и двигала гладкой спиной, или же, послѣ долгаго смѣха и бѣготни по лѣстницамъ, падала въ кресло и, зажмуривъ глаза, тяжело дыша, дѣлала видъ, что ея груди тѣсно и душно. Она была замужемъ. Ея мужъ, солидный архитекторъ, разъ въ недѣлю пріѣзжалъ на дачу, отлично высыпался и возвращался назадъ въ городъ. Странное чувство началось у Володи съ того, что онъ безпричинно возненавидѣлъ этого архитектора и радовался всякій разъ, когда тотъ уѣзжалъ въ городъ.

Теперь, сидя въ бесѣдкѣ и думая о завтрашнемъ экзаменѣ и о maman, надъ которой смѣются, онъ чувствовалъ сильное желаніе видѣть Нюту (такъ Шумихины называли Анну Ѳедоровну), слышать ея смѣхъ, шорохъ ея платья... Это желаніе не походило на ту чистую, поэтическую любовь, которая была знакома ему по романамъ и о которой онъ мечталъ каждый вечеръ, ложась спать; оно было странно, непонятно, онъ стыдился его и боялся, какъ чего-то очень нехорошаго и нечистаго, въ чемъ тяжело сознаваться передъ самимъ собой...

— Это не любовь,—говорилъ онъ себѣ.—Въ тридцатилѣтнихъ и замужнихъ не влюбляются... Это просто маленькая интрижка... Да, интрижка...

Думая объ интрижкѣ, онъ вспоминалъ про свою непобѣдимую робость, про отсутствіе усовъ, веснушки, узкіе глаза, ставилъ себя въ воображеніи рядомъ съ Нютою — и эта пара казалась ему невозможной; тогда спѣшилъ онъ вообразить себя красивымъ, смѣлымъ, остроумнымъ, одѣтымъ по самой послѣдней модѣ...

Въ самый разгаръ мечтаній, когда онъ, сгорбившись и глядя въ землю, сидѣлъ въ темномъ уголкѣ бесѣдки, по-

слышались легкіе шаги. Кто-то не спѣша шелъ по аллеѣ Скоро шаги затихли, и у входа мелькнуло что-то бѣлое.

— Есть здѣсь кто-нибудь?—спросилъ женскій голосъ.

Володя узналъ этотъ голосъ и испуганно поднялъ голову.

— Кто тутъ?—спрашивала Нюта, входя въ бесѣдку.— Ахъ, это вы, Володя? Что вы здѣсь дѣлаете? Думаете? И какъ это можно все думать, думать, думать... этакъ можно съ ума сойти!

Володя поднялся и растерянно поглядѣлъ на Нюту. Она только-что вернулась изъ купальни. На ея плечахъ висѣли простыня и мохнатое полотенце, и изъ-подъ бѣлаго шелковаго платка на головѣ выглядывали мокрые волосы, прилипшіе ко лбу. Отъ нея шелъ влажный, прохладный запахъ купальни и миндальнаго мыла. Отъ быстрой ходьбы она запыхалась. Верхняя пуговка ея блузы была разстегнута, такъ что юноша видѣлъ и шею, и грудь.

— Что же вы молчите?—спросила Нюта, оглядывая Володю.—Невѣжливо молчать, когда съ вами говоритъ дама. Какой вы, однако, тюлень, Володя! Вы все сидите, молчите, думаете, какъ философъ какой-нибудь. Въ васъ совсѣмъ нѣтъ жизни и огня! Противный вы, право... Въ ваши годы нужно жить, прыгать, болтать, ухаживать за женщинами, влюбляться.

Володя глядѣлъ на простыню, которую поддерживала бѣлая, пухлая рука, и думалъ...

— Молчитъ!—удивлялась Нюта.—Это даже странно... Послушайте, будьте мужчиной! Ну, хоть улыбнитесь! Фуй, противный философъ!—засмѣялась она.—А знаете, Володя, отчего вы такой тюлень? Оттого, что не ухаживаете за женщинами. Отчего вы не ухаживаете? Правда, здѣсь барышенъ нѣтъ, но вѣдь вамъ ничто не мѣшаетъ ухаживать за дамами! Отчего вы, напримѣръ, за мной не ухаживаете?

Володя слушалъ и въ тяжеломъ, напряженномъ раздумьѣ почесывалъ себѣ високъ.

— Молчать и любятъ уединеніе только очень гордые люди,—продолжала Нюта, отдергивая его руку отъ виска.— Вы гордецъ, Володя. Почему вы глядите исподлобья? Извольте мнѣ глядѣть прямо въ лицо! Да ну же, тюлень!

Володя рѣшилъ заговорить. Желая улыбнуться, онъ задергалъ нижней губой, замигалъ глазами и опять потянулъ руку къ виску.

— Я... я люблю васъ!—проговорилъ онъ.

Нюта удивленно подняла брови и засмѣялась.

— Что слышу я?! — запѣла она, какъ поютъ оперные пѣвцы, когда слышатъ что-нибудь ужасное. — Какъ? Что вы сказали? Повторите, повторите...

— Я... я люблю васъ!—повторилъ Володя.

И ужъ безъ всякаго участія своей воли, ничего не понимая и не соображая, онъ сдѣлалъ полшага къ Нютѣ и взялъ ее за руку выше кисти. Въ глазахъ его помутилось и выступили слезы, весь міръ обратился въ одно большое, мохнатое полотенце, отъ котораго пахло купальней.

— Браво, браво!—услышалъ онъ веселый смѣхъ.—Что же вы молчите? Мнѣ хочется, чтобы вы говорили! Ну?

Видя, что ему не мѣшаютъ держать руку, Володя взглянулъ на смѣющееся лицо Нюты и неуклюже, неудобно взялъ обѣими руками ее за талію, причемъ кисти обѣихъ рукъ его сошлись на ея спинѣ. Онъ держалъ ее обѣими руками за талію, а она, закинувъ на затылокъ руки и показывая ямочки на локтяхъ, поправляла подъ платкомъ прическу и говорила покойнымъ голосомъ:

— Надо, Володя, быть ловкимъ, любезнымъ, милымъ, а такимъ можно сдѣлаться подъ вліяніемъ только женскаго общества. Однако, какое у васъ нехорошее... злое лицо. Надо говорить, смѣяться... Да, Володя, не будьте букой, вы молоды и успѣете еще нафилософствоваться. Ну, пустите меня, я пойду. Пустите же!

Она безъ усилія освободила свою талію и, что-то напѣвая, вышла изъ бесѣдки. Володя остался одинъ. Онъ пригладилъ свои волосы, улыбнулся и раза три прошелся изъ угла въ уголъ, потомъ сѣлъ на скамью и улыбнулся еще разъ. Ему было невыносимо стыдно, такъ что даже онъ удивлялся, что человѣческій стыдъ можетъ достигать такой остроты и силы. Отъ стыда онъ улыбался, шепталъ какія-то несвязныя слова и жестикулировалъ.

Ему было стыдно, что съ нимъ только-что обошлись, какъ съ мальчикомъ, стыдно за свою робость, а главное за то, что онъ осмѣлился взять порядочную замужнюю женщину за талію, хотя ни по возрасту, ни по своимъ наружнымъ качествамъ, ни по общественному положенію онъ, какъ ему казалось, не имѣлъ на это никакого права.

Онъ вскочилъ, вышелъ изъ бесѣдки и, не оглядываясь, пошелъ въ глубину сада подальше отъ дома.

«Ахъ, поскорѣе бы уѣхать отсюда!—думалъ онъ, хватая себя за голову.—Боже, поскорѣе бы!»

Поѣздъ, на которомъ долженъ былъ ѣхать Володя съ maman, отходилъ въ восемь часовъ сорокъ минутъ. Оставалось до поѣзда около трехъ часовъ, но онъ съ наслажденіемъ ушелъ бы на станцію сейчасъ же, не дожидаясь maman.

Въ восьмомъ часу онъ подходилъ къ дому. Вся его фигура изображала рѣшимость: что будетъ, то будетъ! Онъ рѣшился войти смѣло, глядѣть прямо, говорить громко, несмотря ни на что.

Онъ прошелъ террасу, большую залу, гостиную и остановился въ послѣдней, чтобы перевести духъ. Отсюда слышно было, какъ въ сосѣдней столовой пили чай. M-me Шумихина, maman и Нюта о чемъ-то говорили и смѣялись.

Володя прислушался.

— Увѣряю васъ!—говорила Нюта.—Я своимъ глазамъ не вѣрила! Когда онъ сталъ объясняться мнѣ въ любви и даже, представьте, взялъ меня за талію, я не узнала его. И знаете, у него есть манера! Когда онъ сказалъ, что влюбленъ въ меня, то въ лицѣ у него было что-то звѣрское, какъ у черкеса.

— Неужели!—ахнула maman, закатываясь протяжнымъ смѣхомъ. — Неужели! Какъ онъ напоминаетъ мнѣ своего отца!

Володя побѣжалъ назадъ и выскочилъ на свѣжій воздухъ.

«И какъ онѣ могутъ говорить вслухъ объ этомъ! — мучился онъ, всплескивая руками и съ ужасомъ глядя на небо. — Говорятъ вслухъ, хладнокровно... И maman смѣялась... maman! Боже мой, зачѣмъ ты далъ мнѣ такую мать? Зачѣмъ?

Но идти въ домъ нужно было, во что бы то ни стало. Онъ раза три прошелся по аллеѣ, немного успокоился и вошелъ въ домъ.

— Что же вы не приходите во-время чай пить?—строго спросила m-me Шумихина.

— Виноватъ, мнѣ... мнѣ пора ѣхать,—забормоталъ онъ, не поднимая глазъ.—Maman, ужъ восемь часовъ!

— Поѣзжай самъ, мой милый,—сказала томно maman:—

я остаюсь ночевать у Лили. Прощай, мой другъ... Дай я тебя перекрещу...

Она перекрестила сына и сказала по-французски, обращаясь къ Нютѣ:

— Онъ немного похожъ на Лермонтова... Не правда ли?

Кое-какъ простившись и не взглянувъ ни на чье лицо, Володя вышелъ изъ столовой. Черезъ десять минутъ онъ ужъ шагалъ по дорогѣ къ станціи и былъ радъ этому. Теперь ужъ ему не было ни страшно, ни стыдно, дышалось легко и свободно.

Въ полуверстѣ отъ станціи онъ сѣлъ на камень у дороги и сталъ глядѣть на солнце, которое больше чѣмъ наполовину спряталось за насыпь. На станціи ужъ кое-гдѣ зажглись огни, замелькалъ одинъ мутный, зеленый огонекъ, но поѣзда еще не было видно. Володѣ пріятно было сидѣть, не двигаться и прислушиваться къ тому, какъ мало-по-малу наступалъ вечеръ. Сумракъ бесѣдки, шаги, запахъ купальни, смѣхъ и талія — все это съ поразительною ясностью предстало въ его воображеніи и все это ужъ не было такъ страшно и значительно, какъ раньше...

«Пустяки... Она не отдернула руку и смѣялась, когда я держалъ ее за талію, — думалъ онъ: — значитъ, ей это нравилось. Если бъ ей это было противно, то она разсердилась бы...»

И теперь Володѣ стало досадно, что тамъ, въ бесѣдкѣ, у него было недостаточно смѣлости. Ему стало жаль, что онъ такъ глупо уѣзжаетъ, и ужъ онъ былъ увѣренъ, что если бы тотъ случай повторился, то онъ былъ бы смѣлѣе и проще смотрѣлъ бы на вещи.

А случаю повториться не трудно. У Шумихиныхъ послѣ ужина долго гуляютъ. Если Володя пойдетъ гулять съ Нютой по темному саду, то—вотъ и случай!

«Вернусь, — думалъ онъ: — а уѣду завтра съ утреннимъ поѣздомъ... Скажу, что опоздалъ къ поѣзду».

И онъ вернулся... M-me Шумихина, maman, Нюта и одна изъ племянницъ сидѣли на террасѣ и играли въ винтъ. Когда Володя солгалъ имъ, что опоздалъ къ поѣзду, онѣ обезпокоились, какъ бы онъ завтра не опоздалъ къ экзамену, и посовѣтовали ему встать пораньше. Все время, пока онѣ играли въ карты, онъ сидѣлъ въ сторонѣ, жадно отглядывалъ Нюту и ждалъ... Въ его головѣ ужъ готовъ

былъ планъ: онъ подойдетъ въ потемкахъ къ Нютѣ, возьметъ ее за руку, потомъ обниметъ; говорить ничего не нужно, такъ какъ обоимъ все будетъ понятно безъ разговоровъ.

Но послѣ ужина дамы не пошли гулять въ садъ и продолжали играть въ карты. Играли онѣ до часа ночи и потомъ разошлись спать.

«Какъ это все глупо! — досадовалъ Володя, ложась въ постель. — Но ничего, погожу завтрашняго дня... Завтра опять въ бесѣдкѣ. Ничего...»

Онъ не старался уснуть, а сидѣлъ въ постели, обнявъ руками колѣни, и думалъ. Мысль объ экзаменѣ была ему противна. Онъ ужъ рѣшилъ, что его исключатъ и что въ этомъ исключеніи нѣтъ ничего ужаснаго. Напротивъ, все очень хорошо, даже очень. Завтра онъ будетъ свободенъ, какъ птица, надѣнетъ партикулярное платье, будетъ курить явно, ѣздить сюда и ухаживать за Нютой, когда угодно; и ужъ онъ будетъ не гимназистомъ, а «молодымъ человѣкомъ». А остальное, что называется карьерой и будущимъ, такъ ясно: Володя поступитъ въ вольноопредѣляющіеся, въ телеграфисты, наконецъ, въ аптеку, гдѣ дослужится до провизора... мало ли должностей? Прошелъ часъ-другой, а онъ все сидѣлъ и думалъ...

Въ третьемъ часу, когда ужъ свѣтало, дверь осторожно скрипнула, и въ комнату вошла maman.

— Ты не спишь? — спросила она, зѣвая. — Спи, спи, я на минутку... Я только капли возьму...

— Зачѣмъ вамъ?

— У бѣдной Лили опять спазмы. Спи, дитя мое, у тебя завтра экзаменъ...

Она достала изъ шкапчика флаконъ съ чѣмъ-то, подошла къ окну, прочла сигнатурку и вышла.

— Марья Леонтьевна, это не тѣ капли! — услышалъ черезъ минуту Володя женскій голосъ. — Это ландышъ, а Лили проситъ морфинъ. Вашъ сынъ спитъ? Попросите его, чтобы онъ отыскалъ...

Это былъ голосъ Нюты. Володя похолодѣлъ. Онъ быстро надѣлъ брюки, накинулъ на плечи шинель и пошелъ къ двери.

— Понимаете? Морфинъ! — объясняла шопотомъ Нюта. —

Тамъ должно быть написано по-латыни. Разбудите Володю, онъ найдетъ...

Maman открыла дверь, и Володя увидѣлъ Нюту. Она была въ той же самой блузѣ, въ какой ходила купаться. Волосы ея были не причесаны, разбросаны по плечамъ, лицо заспанное, смуглое отъ сумерекъ...

— Вотъ Володя не спитъ...—сказала она.—Володя, поищите, голубчикъ, въ шкапѣ морфинъ! Наказаніе съ этой Лили... Вѣчно у нея что-нибудь.

Maman что-то пробормотала, зѣвнула и ушла.

— Ищите же,—сказала Нюта.—Что стоите?

Володя пошелъ къ шкапчику, присѣлъ на колѣни и сталъ перебирать флаконы и коробки съ лѣкарствами. Руки у него дрожали, а въ груди и въ животѣ было такое ощущеніе, какъ будто по всѣмъ его внутренностямъ бѣгали холодныя волны. Отъ запаха эѳира, карболовой кислоты и разныхъ травъ, за которыя онъ безъ всякой надобности хватался дрожащими руками и которыя разсыпались отъ этого, ему было душно и кружилась голова.

«Кажется, maman ушла, — думалъ онъ. — Это хорошо... хорошо...»

— Скоро же?—спросила протяжно Нюта.

— Сейчасъ... Вотъ это, кажется, морфинъ...—сказалъ Володя, прочитавъ на одной изъ сигнатуръ слово «morph...»— Извольте!

Нюта стояла въ дверяхъ такъ, что одна нога ея была въ коридорѣ, а другая въ его комнатѣ. Она поправляла свои волосы, которые трудно было поправить — такъ они были густы и длинны! — и разсѣянно глядѣла на Володю. Въ просторной блузѣ, заспанная, съ распущенными волосами, при томъ скудномъ свѣтѣ, какой шелъ въ комнату отъ бѣлаго, но еще не освѣщеннаго солнцемъ неба, она показалась Володѣ обаятельной, роскошной... Очарованный, дрожа всѣмъ тѣломъ и съ наслажденіемъ вспоминая о томъ, какъ онъ обнималъ это чудное тѣло въ бесѣдкѣ, онъ подалъ ей капли и сказалъ:

— Какая вы...

— Что?

Она вошла въ комнату.

— Что?—спросила она, улыбаясь.

Онъ молчалъ и смотрѣлъ на нее, потомъ, какъ тогда въ

бесѣдкѣ, взялъ за руку... А она смотрѣла на него, улыбалась и ждала: что будетъ дальше?

— Я васъ люблю...—прошепталъ онъ.

Она перестала улыбаться, подумала и сказала:

— Погодите, кажется, кто-то идетъ. Охъ, ужъ эти мнѣ гимназисты!—говорила она вполголоса, идя къ двери и выглядывая въ коридоръ.—Нѣтъ, никого не видно...

Она вернулась...

Затѣмъ Володѣ показалось, что комната, Нюта, разсвѣтъ и самъ онъ — все слилось въ одно ощущеніе остраго, необыкновеннаго, небывалаго счастья, за которое можно отдать всю жизнь и пойти на вѣчную муку, но прошло полминуты, и все это вдругъ исчезло. Володя видѣлъ одно только полное, некрасивое лицо, искаженное выраженіемъ гадливости, и самъ вдругъ почувствовалъ отвращеніе къ тому, что произошло.

— Однако мнѣ нужно уходить,—сказала Нюта, брезгливо оглядывая Володю.—Какой некрасивый, жалкій... фи, гадкій утенокъ!

Какъ теперь Володѣ казались безобразны ея длинные волосы, просторная блуза, ея шаги, голосъ!..

«Гадкій утенокъ... — думалъ онъ послѣ того, какъ она ушла.—Въ самомъ дѣлѣ я гадокъ... Все гадко».

На дворѣ ужъ восходило солнце, громко пѣли птицы; слышно было, какъ въ саду шагалъ садовникъ и какъ скрипѣла его тачка... А немного погодя послышалось мычанье коровъ и звуки пастушеской свирѣли. Солнечный свѣтъ и звуки говорили, что гдѣ-то на этомъ свѣтѣ есть жизнь чистая, изящная, поэтическая. Но гдѣ она? О ней никогда не говорили Володѣ ни maman, ни всѣ тѣ люди, которые окружали его.

Когда лакей будилъ его къ утреннему поѣзду, онъ представился спящимъ...

«Ну его, все къ чорту!»—думалъ онъ.

Всталъ онъ съ постели въ одиннадцатомъ часу. Причесываясь передъ зеркаломъ и глядя на свое некрасивое, блѣдное отъ безсонной ночи лицо, онъ подумалъ:

«Совершенно вѣрно... Гадкій утенокъ».

Когда maman увидѣла его и ужаснулась, что онъ не на экзаменѣ, Володя сказалъ:

— Я проспалъ, maman... Но вы не безпокойтесь, я представлю медицинское свидѣтельство.

M-me Шумихина и Нюта проснулись въ первомъ часу. Володя слышалъ, какъ проснувшаяся m-me Шумихина со звономъ открыла у себя окно, какъ на ея грубый голосъ отвѣтила Нюта раскатистымъ смѣхомъ. Онъ видѣлъ, какъ отворилась дверь и изъ гостиной потянулась къ завтраку вереница племянницъ и приживалокъ (въ толпѣ послѣднихъ была и maman), какъ замелькало умытое, смѣющееся лицо Нюты, а рядомъ съ ея лицомъ черныя брови и борода только-что пріѣхавшаго архитектора.

Нюта была въ малороссійскомъ костюмѣ, который совсѣмъ не шелъ къ ней и дѣлалъ ее неуклюжею; архитекторъ острилъ пошло и плоско; въ котлетахъ, что подавали за завтракомъ, было очень много луку—такъ казалось Володѣ. Ему также казалось, что Нюта нарочно громко хохотала и поглядывала въ его сторону, чтобы этимъ дать понять ему, что воспоминаніе о ночи нисколько не безпокоитъ ея и что она не замѣчаетъ присутствія за столомъ гадкаго утенка.

Въ четвертомъ часу Володя ѣхалъ съ maman на станцію. Грязныя воспоминанія, безсонная ночь, предстоящее исключеніе изъ гимназіи, угрызенія совѣсти—все это возбуждало въ немъ теперь тяжелую, мрачную злобу. Онъ глядѣлъ на тощій профиль maman, на ея маленькій носикъ, на ватерпруфъ, подаренный ей Нютою, и бормоталъ:

— Зачѣмъ вы пудритесь? Это не пристало въ ваши годы! Вы наводите на себя красоту, не платите проигрыша, курите чужой табакъ... противно! Я васъ не люблю... не люблю!

Онъ оскорблялъ ее, а она испуганно поводила своими глазками, всплескивала ручками и шептала въ ужасѣ:

— Что ты, другъ мой? Боже мой, кучеръ услышитъ! Замолчи, а то кучеръ услышитъ! Ему все слышно!

— Не люблю... не люблю!—продолжалъ онъ, задыхаясь.— Вы безнравственная, бездушная... Не смѣйте носить этого ватерпруфа! Слышите? А то я изорву его въ клочки...

— Опомнись, дитя мое! — заплакала maman. — Кучеръ услышитъ!

— А гдѣ состояніе моего отца? Гдѣ ваши деньги? Вы все промотали! Мнѣ не стыдно своей бѣдности, но стыдно, что у меня такая мать... Когда мои товарищи спрашиваютъ о васъ, я всегда краснѣю.

На поѣздѣ пришлось ѣхать до города двѣ станціи. Все время Володя стоялъ на площадкѣ и дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Ему не хотѣлось входить въ вагонъ, такъ какъ тамъ сидѣла мать, которую онъ ненавидѣлъ. Ненавидѣлъ онъ самого себя, кондукторовъ, дымъ отъ паровоза, холодъ, которому приписывалъ свою дрожь... И чѣмъ тяжелѣе становилось у него на душѣ, тѣмъ сильнѣе онъ чувствовалъ, что гдѣ-то на этомъ свѣтѣ, у какихъ-то людей есть жизнь чистая, благородная, теплая, изящная, полная любви, ласкъ, веселья, раздолья... Онъ чувствовалъ это и тосковалъ такъ сильно, что даже одинъ пассажиръ, пристально поглядѣвъ ему въ лицо, спросилъ:

— Вѣроятно, у васъ зубы болятъ?

Въ городѣ maman и Володя жили у Марьи Петровны, дамы-дворянки, которая нанимала большую квартиру и отъ себя сдавала ее жильцамъ. Maman нанимала двѣ комнаты: въ одной съ окнами, гдѣ стояла ея кровать и висѣли на стѣнахъ двѣ картины въ золотыхъ рамахъ, жила она сама, а въ другой, смежной, маленькой и темной, жилъ Володя. Тутъ стоялъ диванъ, на которомъ онъ спалъ, и кромѣ этого дивана не было никакой другой мебели: вся комната была занята плетеными корзинами съ платьемъ, картонками отъ шляпъ и всякимъ хламомъ, который для чего-то берегла maman. Уроки приготовлялъ Володя въ комнатѣ матери или въ «общей»—такъ называлась большая комната, куда всѣ жильцы сходились во время обѣда и по вечерамъ.

Вернувшись домой, онъ легъ на диванъ и укрылся одѣяломъ, чтобы унять дрожь. Картонки отъ шляпъ, плетенки и хламъ напомнили ему, что у него нѣтъ своей комнаты, нѣтъ пріюта, гдѣ бы онъ могъ спрятаться отъ maman, отъ ея гостей и отъ голосовъ, которые доносились теперь изъ «общей»; ранецъ и книги, разбросанныя по угламъ, напомнили ему объ экзаменѣ, на которомъ онъ не былъ... Почему-то совсѣмъ некстати пришла ему на память Ментона, гдѣ онъ жилъ со своимъ покойнымъ отцомъ, когда былъ семи лѣтъ; припомнились ему Біарриць и двѣ дѣвочки-англичанки, съ которыми онъ бѣгалъ по песку... Захотѣлось возобновить въ памяти цвѣтъ неба и океана, высоту волнъ и свое тогдашнее настроеніе, но это не удалось ему, дѣвочки-англичанки промелькнули въ воображеніи, какъ живыя, все же остальное смѣшалось, безпорядочно расплылось...

«Нѣтъ, здѣсь холодно»,—подумалъ Володя, всталъ, надѣлъ шинель и пошелъ въ «общую».

Въ «общей» пили чай. За самоваромъ сидѣли трое: maman, учительница музыки, старушка въ черепаховомъ pincenez и Августинъ Михайловичъ, пожилой, очень толстый французъ, служившій на парфюмерной фабрикѣ.

— Я сегодня не обѣдала,—говорила maman.—Надо бы горничную послать за хлѣбомъ.

— Дуняшъ!—крикнулъ французъ.

Оказалось, что горничную услала куда-то хозяйка.

— О, это ничего не означаетъ,—сказалъ французъ, широко улыбаясь.—Я сейчасъ самъ схожу за хлѣбомъ. О, это ничего!

Онъ положилъ свою крѣпкую, вонючую сигару на видное мѣсто, надѣлъ шляпу и вышелъ. По уходѣ его, maman стала разсказывать учительницѣ музыкѣ о томъ, какъ она гостила у Шумихиныхъ и какъ хорошо ее тамъ принимали.

— Вѣдь Лили Шумихина моя родственница...—говорила она.—Ея покойный мужъ, генералъ Шумихинъ, приходится кузеномъ моему мужу. А сама она урожденная баронесса Кольбъ...

— Maman, это неправда!—сказалъ раздраженно Володя.—Зачѣмъ лгать?

Онъ зналъ отлично, что maman говоритъ правду; въ ея разсказѣ о генералѣ Шумихинѣ и урожденной баронессѣ Кольбъ не было ни одного слова лжи, но тѣмъ не менѣе, все-таки онъ чувствовалъ, что она лжетъ. Ложь чувствовалась въ ея манерѣ говорить, въ выраженіи лица, во взглядѣ, во всемъ.

— Вы лжете! — повторилъ Володя и ударилъ кулакомъ по столу съ такой силой, что задрожала вся посуда и у maman расплескался чай.—Для чего вы разсказываете про генераловъ и баронессъ? Все это ложь!

Учительница музыки растерялась и закашляла въ платокъ, дѣлая видъ, что она поперхнулась, а maman заплакала.

«Куда уйти?»—подумалъ Володя.

На улицѣ онъ ужъ былъ; къ товарищамъ идти стыдно. Опять некстати припомнились ему двѣ дѣвочки-англичанки... Онъ прошелся изъ угла въ уголъ по «общей» и вошелъ въ

комнату Августина Михайлыча. Тутъ сильно пахло эфирными маслами и глицериновымъ мыломъ. На столѣ, на окнахъ и даже на стульяхъ стояло множество флаконовъ, стаканчиковъ и рюмокъ съ разноцвѣтными жидкостями. Володя взялъ со стола газету, развернулъ ее и прочелъ заглавіе: «Figaro»... Газета издавала какой-то сильный и пріятный запахъ. Потомъ онъ взялъ со стола револьверъ...

— Полноте, не обращайте вниманія! — утѣшала въ сосѣдней комнатѣ учительница музыки maman. — Онъ еще такъ молодъ! Въ его годы молодые люди всегда позволяютъ себѣ лишнее. Съ этимъ надо мириться.

— Нѣтъ, Евгенія Андреевна, онъ слишкомъ испорченъ! — говорила maman нараспѣвъ. — Надъ нимъ нѣтъ старшаго, а я слаба и ничего не могу сдѣлать. Нѣтъ, я несчастна!

Володя вложилъ дуло револьвера въ ротъ, нащупалъ что-то похожее на курокъ или собачку и надавилъ пальцемъ... Потомъ нащупалъ еще какой-то выступъ и еще разъ надавилъ. Вынувъ дуло изо рта, онъ вытеръ его о полу шинели, оглядѣлъ замокъ; раньше онъ никогда въ жизни не бралъ въ руки оружія...

— Кажется, это надо поднять...—соображалъ онъ.—Да, кажется...

Въ «общую» вошелъ Августинъ Михайлычъ и, хохоча, сталъ разсказывать о чемъ-то. Володя опять вложилъ дуло въ ротъ, сжалъ его зубами и надавилъ что-то пальцемъ. Раздался выстрѣлъ... Что-то съ страшною силою ударило Володю по затылку, и онъ упалъ на столъ, лицомъ прямо въ рюмки и во флаконы. Затѣмъ онъ увидѣлъ, какъ его покойный отецъ въ цилиндрѣ съ широкой, черной лентой, носившій въ Ментонѣ трауръ по какой-то дамѣ, вдругъ охватилъ его обѣими руками, и оба они полетѣли въ какую-то очень темную, глубокую пропасть.

Потомъ все смѣшалось и исчезло...

# КНЯГИНЯ.

Въ большія, такъ-называемыя «Красныя» ворота N—скаго мужского монастыря въѣхала коляска, заложенная въ четверку сытыхъ, красивыхъ лошадей; іеромонахи и послушники, стоявшіе толпой около дворянской половины гостинаго корпуса, еще издали по кучеру и по лошадямъ узнали въ дамѣ, которая сидѣла въ коляскѣ, свою хорошую знакомую, княгиню Вѣру Гавриловну.

Старикъ въ ливреѣ прыгнулъ съ козелъ и помогъ княгинѣ выйти изъ экипажа. Она подняла темную вуаль и не спѣша подошла ко всѣмъ іеромонахамъ подъ благословеніе, потомъ ласково кивнула послушникамъ и направилась въ покои.

— Что, соскучились безъ своей княгини?—говорила она монахамъ, вносившимъ ея вещи.—Я у васъ цѣлый мѣсяцъ не была. Ну, вотъ пріѣхала, глядите на свою княгиню. А гдѣ отецъ архимандритъ? Боже мой, я сгораю отъ нетерпѣнія! Чудный, чудный старикъ! Вы должны гордиться, что у васъ такой архимандритъ.

Когда вошелъ архимандритъ, княгиня восторженно вскрикнула, скрестила на груди руки и подошла къ нему подъ благословеніе.

— Нѣтъ, нѣтъ! Дайте мнѣ поцѣловать! — сказала она, хватая его за руку и жадно цѣлуя ее три раза.—Какъ я рада, святой отецъ, что наконецъ вижу васъ! Вы, небось, забыли свою княгиню, а я каждую минуту мысленно жила въ вашемъ миломъ монастырѣ. Какъ у васъ здѣсь хорошо! Въ этой жизни для Бога, вдали отъ суетнаго міра, есть

какая-то особая прелесть, святой отецъ, которую я чувствую всей душой, но передать на словахъ не могу!

У княгини покраснѣли щеки и навернулись слезы. Говорила она безъ умолку, горячо, а архимандритъ, старикъ лѣтъ 70, серьезный, некрасивый и застѣнчивый, молчалъ, лишь изрѣдка говорилъ отрывисто и по-военному:

— Такъ точно, ваше сіятельство... слушаю-съ... понимаю-съ...

— Надолго изволили пожаловать къ намъ?—спросилъ онъ.

— Сегодня я переночую у васъ, а завтра поѣду къ Клавдіи Николаевнѣ—давно ужъ мы съ ней не видались, а послѣзавтра опять къ вамъ и проживу дня три-четыре. Хочу у васъ здѣсь отдохнуть душой, святой отецъ...

Княгиня любила бывать въ N—скомъ монастырѣ. Въ послѣдніе два года она облюбовала это мѣсто и пріѣзжала сюда почти каждый лѣтній мѣсяцъ и жила дня по два, по три, а иногда и по недѣлѣ. Робкіе послушники, тишина, низкіе потолки, запахъ кипариса, скромная закуска, дешевыя занавѣски на окнахъ — все это трогало ее, умиляло и располагало къ созерцанію и хорошимъ мыслямъ. Достаточно ей было побыть въ покояхъ полчаса, какъ ей начинало казаться, что она тоже робка и скромна, что и отъ нея пахнетъ кипарисомъ; прошлое уходило куда-то вдаль, теряло свою цѣну, и княгиня начинала думать, что, несмотря на свои 29 лѣтъ, она очень похожа на стараго архимандрита и такъ же, какъ онъ, рождена не для богатства, не для земного величія и любви, а для жизни тихой, скрытой отъ міра, сумеречной, какъ покои...

Бываетъ такъ, что въ темную келію постника, погруженнаго въ молитву, вдругъ нечаянно заглянетъ лучъ, или сядетъ у окна келіи птичка и запоетъ свою пѣсню; суровый постникъ невольно улыбнется, и въ его груди изъ-подъ тяжелой скорби о грѣхахъ, какъ изъ-подъ камня, вдругъ польется ручьемъ тихая, безгрѣшная радость. Княгинѣ казалось, что она приносила съ собою извнѣ точно такое же утѣшеніе, какъ лучъ или птичка. Ея привѣтливая, веселая улыбка, кроткій взглядъ, голосъ, шутки, вообще вся она, маленькая, хорошо сложенная, одѣтая въ простое черное платье, своимъ появленіемъ должна была возбуждать въ простыхъ, суровыхъ людяхъ чувство умиле-

нія и радости. Каждый, глядя на нее, долженъ былъ думать: «Богъ послалъ намъ ангела»... И чувствуя, что каждый невольно думаетъ это, она улыбалась еще привѣтливѣе и старалась походить на птичку.

Напившись чаю и отдохнувъ, она вышла погулять. Солнце уже сѣло. Отъ монастырскаго цвѣтника повѣяло на княгиню душистой влагой только-что политой резеды, изъ церкви донеслось тихое пѣніе мужскихъ голосовъ, которое издали казалось очень пріятнымъ и грустнымъ. Шла всенощная. Въ темныхъ окнахъ, гдѣ кротко мерцали лампадные огоньки, въ тѣняхъ, въ фигурѣ старика монаха, сидѣвшаго на паперти около образа съ кружкой, было написано столько безмятежнаго покоя, что княгинѣ почему-то захотѣлось плакать...

А за воротами, на аллеѣ между стѣной и березами, гдѣ стоятъ скамьи, былъ уже совсѣмъ вечеръ. Воздухъ темнѣлъ быстро, быстро... Княгиня прошлась по аллеѣ, сѣла на скамью и задумалась.

Она думала о томъ, что хорошо бы поселиться на всю жизнь въ этомъ монастырѣ, гдѣ жизнь тиха и безмятежна, какъ лѣтній вечеръ; хорошо бы позабыть совсѣмъ о неблагодарномъ, распутномъ князѣ, о своемъ громадномъ состояніи, о кредиторахъ, которые безпокоятъ ее каждый день, о своихъ несчастьяхъ, о горничной Дашѣ, у которой сегодня утромъ было дерзкое выраженіе лица. Хорошо бы всю жизнь сидѣть здѣсь на скамьѣ и сквозь стволы березъ смотрѣть, какъ внизу подъ горой клочьями бродитъ вечерній туманъ, какъ далеко-далеко надъ лѣсомъ чернымъ облакомъ, похожимъ на вуаль, летятъ на ночлегъ грачи, какъ два послушника — одинъ верхомъ на пѣгой лошади, другой пѣшкомъ — гонятъ лошадей на ночное и, обрадовавшись свободѣ, шалятъ, какъ малыя дѣти; ихъ молодые голоса звонко раздаются въ неподвижномъ воздухѣ, и можно разобрать каждое слово. Хорошо сидѣть и прислушиваться къ тишинѣ: то вѣтеръ подуетъ и тронетъ верхушки березъ, то лягушка зашелеститъ въ прошлогодней листвѣ, то за стѣною колокольные часы пробьютъ четверть... Сидѣть бы неподвижно, слушать и думать, думать, думать...

Мимо прошла старуха съ котомкой. Княгиня подумала, что хорошо бы остановить эту старуху и сказать ей что-

нибудь ласковое, задушевное, помочь ей... Но старуха ни разу не оглянулась и повернула за уголъ.

Немного погодя, на аллеѣ показался высокій мужчина, съ сѣдой бородой и въ соломенной шляпѣ. Поровнявшись съ княгиней, онъ снялъ шляпу и поклонился, и по его большой лысинѣ и острому, горбатому носу княгиня узнала въ немъ доктора Михаила Ивановича, который, лѣтъ пять тому назадъ, служилъ у нея въ Дубовкахъ. Она вспомнила, что кто-то ей говорилъ, что въ прошломъ году у этого доктора умерла жена, и ей захотѣлось посочувствовать ему, утѣшить.

— Докторъ, вы, вѣроятно, меня не узнаете? — спросила она, привѣтливо улыбаясь.

— Нѣтъ, княгиня, узналъ, — сказалъ докторъ, снимая еще разъ шляпу.

— Ну, спасибо, а то я думала, что и вы забыли свою княгиню. Люди помнятъ только своихъ враговъ, а друзей забываютъ. И вы пріѣхали помолиться?

— Я здѣсь каждую субботу ночую, по обязанности. Я тутъ лѣчу.

— Ну, какъ поживаете?—спросила княгиня, вздыхая.— Я слышала, у васъ скончалась супруга! Какое несчастье!

— Да, княгиня, для меня это большое несчастье.

— Что дѣлать! Мы должны съ покорностью переносить несчастья. Безъ воли Провидѣнія ни одинъ волосъ не падаетъ съ головы человѣка.

— Да, княгиня.

На привѣтливую, кроткую улыбку княгини и ея вздохи докторъ отвѣчалъ холодно и сухо: «Да, княгиня». И выраженіе лица у него было холодное, сухое.

«Что бы еще такое сказать ему?»—подумала княгиня.

— Сколько времени мы съ вами не видѣлись, однако!— сказала она. — Пять лѣтъ! За это время сколько воды въ море утекло, сколько произошло перемѣнъ, даже подумать страшно! Вы знаете, я замужъ вышла... изъ графини стала княгиней. И уже успѣла разойтись съ мужемъ.

— Да, я слышалъ.

— Много Богъ послалъ мнѣ испытаній! Вы, вѣроятно, тоже слышали, я почти разорена. За долги моего несчастнаго мужа продали у меня Дубовки, и Кирьяково, и Софьино. Остались у меня только Бараново да Михаль-

цево. Страшно оглянуться назадъ: сколько перемѣнъ, несчастій разныхъ, сколько ошибокъ!

— Да, княгиня, много ошибокъ.

Княгиня немного смутилась. Она знала свои ошибки; всѣ онѣ были до такой степени интимны, что только одна она могла думать и говорить о нихъ. Она не удержалась и спросила:

— Вы про какія ошибки думаете?

— Вы упомянули о нихъ, стало-быть, знаете... — отвѣтилъ докторъ и усмѣхнулся.—Что жъ о нихъ говорить!

— Нѣтъ, скажите, докторъ. Я буду вамъ очень благодарна! И, пожалуйста, не церемоньтесь со мной. Я люблю слушать правду.

— Я вамъ не судья, княгиня.

— Не судья? Какимъ вы тономъ говорите! Значитъ, знаете что-то. Скажите!

— Если желаете, то извольте. Только, къ сожалѣнію, я не умѣю говорить и меня не всегда можно понять.

Докторъ подумалъ и началъ:

— Ошибокъ много, но собственно главная изъ нихъ, по моему мнѣнію, это общій духъ, которымъ.... который царилъ во всѣхъ вашихъ имѣніяхъ. Видите, я не умѣю выражаться. То-есть главное — это нелюбовь, отвращеніе къ людямъ, какое чувствовалось положительно во всемъ. На этомъ отвращеніи у васъ была построена вся система жизни. Отвращеніе къ человѣческому голосу, къ лицамъ, къ затылкамъ, шагамъ... однимъ словомъ, ко всему, что составляетъ человѣка. У всѣхъ дверей и на лѣстницахъ стоятъ сытые, грубые и лѣнивые гайдуки въ ливреяхъ, чтобъ не пускать въ домъ неприлично одѣтыхъ людей; въ передней стоятъ стулья съ высокими спинками, чтобъ во время баловъ и пріемовъ лакеи не пачкали затылками обоевъ на стѣнахъ; во всѣхъ комнатахъ шарщавые ковры, чтобъ не было слышно человѣческихъ шаговъ; каждаго входящаго обязательно предупреждаютъ, чтобы онъ говорилъ потище и поменьше и чтобъ не говорилъ того, что можетъ дурно повліять на воображеніе и нервы. А въ вашемъ кабинетѣ не подаютъ человѣку руки и не просятъ его садиться, точно такъ, какъ сейчасъ вы не подали мнѣ руки и не пригласили сѣсть...

— Извольте, если хотите! — сказала княгиня, протяги-

вая руку и улыбаясь. — Право, сердиться изъ-за такого пустяка...

— Да развѣ я сержусь? — засмѣялся докторъ, но тотчасъ же вспыхнулъ, снялъ шляпу и, размахивая ею, заговорилъ горячо:—откровенно говоря, я давно уже ждалъ случая, чтобъ сказать вамъ все, все... То-есть я хочу сказать, что вы глядите на всѣхъ людей по-наполеоновски, какъ на мясо для пушекъ. Но у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у васъ, кромѣ отвращенія, ничего!

— У меня отвращеніе къ людямъ!—улыбалась княгиня, пожимая въ изумленіи плечами.—У меня!

— Да, у васъ! Вамъ нужно фактовъ? Извольте! Въ Михальцевѣ у васъ живутъ милостыней три бывшихъ вашихъ повара, которые ослѣпли въ вашихъ кухняхъ отъ печного жара. Все, что есть на десяткахъ тысячъ вашихъ десятинъ здороваго, сильнаго и красиваго, все взято вами и вашими прихлебателями въ гайдуки, лакеи, въ кучера. Все это двуногое живье воспиталось въ лакействѣ, объѣлось, огрубѣло, потеряло образъ и подобіе, однимъ словомъ... Молодыхъ медиковъ, агрономовъ, учителей, вообще интеллигентныхъ работниковъ, Боже мой, отрываютъ отъ дѣла, отъ честнаго труда и заставляютъ изъ-за куска хлѣба участвовать въ разныхъ кукольныхъ комедіяхъ, отъ которыхъ стыдно дѣлается всякому порядочному человѣку! Иной молодой человѣкъ не прослужитъ и трехъ лѣтъ, какъ становится лицемѣромъ, подлипалой, ябедникомъ... Хорошо это? Ваши управляющіе-поляки, эти подлые шпіоны, всѣ эти Казиміры и Каэтаны рыщутъ отъ утра до ночи по десяткамъ тысячъ десятинъ и въ угоду вамъ стараются содрать съ одного вола три шкуры. Позвольте, я выражаюсь безъ системы, но это ничего! Простой народъ у васъ не считаютъ людьми. Да и тѣхъ князей, графовъ и архіереевъ, которые пріѣзжали къ вамъ, вы признавали только какъ декорацію, а не какъ живыхъ людей. Но главное... главное, что меня больше всего возмущаетъ, — имѣть больше милліона состоянія и ничего не сдѣлать для людей, ничего!

Княгиня сидѣла удивленная, испуганная, обиженная, не зная, что сказать и какъ держать себя. Никогда раньше съ нею не говорили такимъ тономъ. Непріятный, сердитый голосъ доктора и его неуклюжая, заикающаяся рѣчь производили въ ея ушахъ и головѣ рѣзкій, стучащій шумъ,

потомъ же ей стало казаться, что жестикулирующій докторъ бьетъ ее своею шляпой по головѣ.

— Неправда!—выговорила она тихо и умоляющимъ голосомъ. — Для людей я много хорошаго сдѣлала, это вы сами знаете!

— Да полноте! — крикнулъ докторъ. — Неужели вы еще продолжаете считать вашу благотворительную дѣятельность чѣмъ-то серьезнымъ и полезнымъ, а не кукольной комедіей? Вѣдь то была комедія отъ начала до конца, то была игра въ любовь къ ближнему, самая откровенная игра, которую понимали даже дѣти и глупыя бабы! Взять хоть этотъ вашъ — какъ его? — страннопріимный домъ для безродныхъ старухъ, въ которомъ меня вы заставили быть чѣмъ-то въ родѣ главнаго доктора, а сами были почетной опекуншей. О, Господи Боже нашъ, что за учрежденіе милое! Построили домъ съ паркетными полами и съ флюгеромъ на крышѣ, собрали въ деревняхъ съ десятокъ старухъ и заставили ихъ спать подъ байковыми одѣялами, на простыняхъ изъ голландскаго полотна и кушать леденцы.

Докторъ злорадно прыснулъ въ шляпу и продолжалъ быстро и заикаясь:

— Была игра! Низшіе пріютскіе чины прячутъ одѣяла и простыни подъ замокъ, чтобы старухи не пачкали — пусть спятъ, чортовы перечницы, на полу! Старуха не смѣетъ ни на кровать сѣсть, ни кофту надѣть, ни по гладкому паркету пройтись. Все сохранялось для парада и пряталось отъ старухъ, какъ отъ воровъ, а старухи потихоньку кормились и одѣвались Христа ради, и денно, и нощно молили Бога, чтобъ поскорѣе уйти изъ-подъ ареста и отъ душеспасительныхъ назиданій сытыхъ подлецовъ, которымъ вы поручили надзоръ за старухами. А высшіе чины что дѣлали? Это просто восхитительно! Этакъ, раза два въ недѣлю, вечеромъ, скачутъ тридцать пять тысячъ курьеровъ и объявляютъ, что завтра княгиня, то-есть вы, будете въ пріютѣ. Это значитъ, что завтра нужно бросать больныхъ, одѣваться и ѣхать на парадъ. Хорошо, пріѣзжаю. Старухи во всемъ чистомъ и новомъ уже выстроены въ рядъ и ждутъ. Около нихъ ходитъ отставная гарнизонная крыса — смотритель, со своей сладенькой, ябедической улыбочкой. Старухи зѣваютъ и переглядываются, но роптать боятся. Ждемъ. Скачетъ младшій управляющій.

Черезъ полчаса послѣ него старшій управляющій, потомъ главноуправляющій конторой экономіи, потомъ еще кто-нибудь и еще кто-нибудь... скачутъ безъ конца! У всѣхъ таинственныя, торжественныя лица. Ждемъ, ждемъ, переминаемся съ ноги на ногу, посматриваемъ на часы—все это въ гробовомъ молчаніи, потому что всѣ мы ненавидимъ другъ друга и на ножахъ. Проходитъ часъ, другой, и вотъ, наконецъ, показывается вдали коляска и... и...

Докторъ залился тонкимъ смѣхомъ и выговорилъ тоненькимъ голоскомъ:

— Вы выходите изъ коляски, и старыя вѣдьмы по командѣ гарнизонной крысы начинаютъ пѣть:—«Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ, не можетъ изъяснить языкъ»... Недурно?

Докторъ захохоталъ басомъ и махнулъ рукой, какъ бы желая показать, что отъ смѣха онъ не можетъ выговорить ни одного слова. Смѣялся онъ тяжело, рѣзко, съ крѣпко стиснутыми зубами, какъ смѣются недобрые люди, и по его голосу, лицу и блестящимъ, немножко наглымъ глазамъ можно было понять, что онъ глубоко презиралъ и княгиню, и пріютъ, и старухъ. Во всемъ, что онъ такъ неумѣло и грубо разсказалъ, не было ничего смѣшного и веселаго, но хохоталъ онъ съ удовольствіемъ и даже съ радостью.

— А школа?—продолжалъ онъ, тяжело дыша отъ смѣха.— Помните, какъ вы пожелали сами учить мужицкихъ дѣтей? Должно-быть, очень хорошо учили, потому что скоро всѣ мальчишки разбѣжались, такъ что потомъ пришлось пороть ихъ и нанимать за деньги, чтобъ они ходили къ вамъ. А помните, какъ вы пожелали собственноручно кормить соской грудныхъ младенцевъ, матери которыхъ работаютъ въ полѣ? Вы ходили по деревнѣ и плакали, что младенцевъ этихъ нѣтъ къ вашимъ услугамъ—всѣ матери брали ихъ съ собой въ поле. Потомъ староста приказалъ матерямъ по-очереди оставлять своихъ младенцевъ вамъ на потѣху. Удивительное дѣло! Всѣ бѣжали отъ вашихъ благодѣяній, какъ мыши отъ кота! А почему это? Очень просто! Не оттого, что народъ у насъ невѣжественный и неблагодарный, какъ вы объясняли всегда, а оттого, что во всѣхъ вашихъ затѣяхъ, извините меня за выраженіе, не было ни на одинъ грошъ любви и милосердія! Было одно только желаніе забавляться живыми куклами и ничего другого... Кто не умѣетъ отличать людей отъ болонокъ, тотъ не долженъ заниматься бла-

готвореніемъ. Увѣряю васъ, между людьми и болонками— большая разница!

У княгини страшно билось сердце, въ ушахъ у нея стучало и все еще ей казалось, что докторъ долбитъ ее своей шляпой по головѣ. Докторъ говорилъ быстро, горячо и некрасиво, съ заиканьемъ и съ излишней жестикуляціей; для нея было только понятно, что съ нею говоритъ грубый, невоспитанный, злой, неблагодарный человѣкъ, но чего онъ хочетъ отъ нея и о чемъ говоритъ—она не понимала.

— Уйдите!—сказала она плачущимъ голосомъ, поднимая вверхъ руки, чтобы заслонить свою голову отъ докторской шляпы.—Уйдите!

— А какъ вы обращаетесь со своими служащими!—продолжалъ возмущаться докторъ.—Вы ихъ за людей не считаете и третируете, какъ послѣднихъ мошенниковъ. Напримѣръ, позвольте васъ спросить, за что вы меня уволили? Служилъ десять лѣтъ вашему отцу, потомъ вамъ честно, не зная ни праздниковъ, ни отпусковъ, заслужилъ любовь всѣхъ на сто верстъ кругомъ, и вдругъ въ одинъ прекрасный день мнѣ объявляютъ, что я уже не служу! За что? До сихъ поръ не понимаю! Я докторъ медицины, дворянинъ, студентъ московскаго университета, отецъ семейства, такая мелкая и ничтожная сошка, что меня можно выгнать въ шею безъ объясненія причинъ! Зачѣмъ со мной церемониться? Я слышалъ потомъ, что жена, безъ моего вѣдома, тайкомъ ходила къ вамъ раза три просить за меня и вы ее не приняли ни разу. Говорятъ, плакала въ передней. И я этого никогда не прощу ей, покойницѣ! Никогда!

Докторъ замолчалъ и стиснулъ зубы, напряженно придумывая, что бы еще такое сказать очень непріятное, мстительное. Онъ что-то вспомнилъ, и нахмуренное, холодное лицо его вдругъ просіяло.

— Взять хоть бы ваши отношенія къ этому монастырю!— заговорилъ онъ съ жадностью.—Вы никогда никого не щадили и, чѣмъ святѣе мѣсто, тѣмъ больше шансовъ, что ему достанется на орѣхи отъ вашего милосердія и ангельской кротости. Зачѣмъ вы ѣздите сюда? Что вамъ здѣсь у монаховъ нужно, позвольте васъ спросить? Что вамъ Гекуба, и что вы Гекубѣ? Опять-таки забава, игра, кощунство надъ человѣческою личностью и больше ничего. Вѣдь въ монашескаго Бога вы не вѣруете, у васъ въ сердцѣ свой соб-

ственный Богъ, до котораго вы дошли своимъ умомъ на спиритическихъ сеансахъ; на обряды церковные вы смотрите снисходительно, къ обѣднѣ и ко всенощной не ходите, спите до полудня... зачѣмъ же вы сюда ѣздите?.. Въ чужой монастырь вы ходите со своимъ Богомъ и воображаете, что монастырь считаетъ это за превеликую честь для себя! Какъ бы не такъ! Вы спросите-ка, между прочимъ, во что обходятся монахамъ ваши визиты? Вы изволили пріѣхать сюда сегодня вечеромъ, а третьяго дня ужъ тутъ былъ верховой, посланный изъ экономіи предупредить, что вы сюда собираетесь. Цѣлый день вчера приготовляли для васъ покои и ждали. Сегодня прибылъ авангардъ—наглая горничная, которая то и дѣло бѣгаетъ черезъ дворъ, шуршитъ, пристаетъ съ вопросами, распоряжается... терпѣть не могу! Сегодня монахи весь день были насторожѣ: вѣдь если васъ не встрѣтить съ церемоніей—бѣда! Архіерею пожалуетесь! «Меня, ваше преосвященство, монахи не любятъ. Не знаю, чѣмъ я ихъ прогнѣвала. Правда, я великая грѣшница, но вѣдь я такъ несчастна!» Ужъ одному монастырю была изъ-за васъ нахлобучка. Архимандритъ занятой, ученый человѣкъ, у него и минуты нѣтъ свободной, а вы то и дѣло требуете его къ себѣ въ покои. Никакого уваженія ни къ старости, ни къ сану. Добро бы жертвовали много, не такъ бы ужъ обидно было, а то вѣдь за все время монахи отъ васъ и ста рублей не получили!

Когда княгиню безпокоили, не понимали, обижали, и когда она не знала, что ей говорить и дѣлать, то обыкновенно она начинала плакать. И теперь въ концѣ концовъ она закрыла лицо и заплакала тонкимъ, дѣтскимъ голоскомъ. Докторъ вдругъ замолчалъ и посмотрѣлъ на нее. Лицо его потемнѣло и стало суровымъ.

— Простите меня, княгиня,—сказалъ онъ глухо.—Я поддался злому чувству и забылся. Это нехорошо.

И, конфузливо кашлянувъ, забывая надѣть шляпу, онъ быстро отошелъ отъ княгини.

На небѣ уже мерцали звѣзды. Должно-быть, по ту сторону монастыря восходила луна, потому что небо было ясно, прозрачно и нѣжно. Вдоль бѣлой монастырской стѣны безшумно носились летучія мыши.

Часы медленно пробили три четверти какого-то часа, должно-быть, девятаго. Княгиня поднялась и тихо пошла къ воротамъ. Она чувствовала себя обиженной и плакала;

и ей казалось, что и деревья, и звѣзды, и летучія мыши жалѣютъ ее; и часы пробили мелодично только для того, чтобы посочувствовать ей. Она плакала и думала о томъ, что хорошо бы ей на всю жизнь уйти въ монастырь: въ тихіе лѣтніе вечера она гуляла бы одиноко по аллеямъ, обиженная, оскорбленная, непонятая людьми, и только бы одинъ Богъ да звѣздное небо видѣли слезы страдалицы. Въ церкви еще продолжалась всенощная. Княгиня остановилась и прислушалась къ пѣнію; какъ хорошо это пѣніе звучало въ неподвижномъ, темномъ воздухѣ! Какъ сладко подъ это пѣніе плакать и страдать!

Придя къ себѣ въ покои, она поглядѣла въ зеркало на свое заплаканное лицо и попудрилась, потомъ сѣла ужинать. Монахи знали, что она любитъ маринованную стерлядь, мелкіе грибки, малагу и простые медовые пряники, отъ которыхъ во рту пахнетъ кипарисомъ, и каждый разъ, когда она пріѣзжала, подавали ей все это. Кушая грибки и запивая ихъ малагой, княгиня мечтала о томъ, какъ ее окончательно разорятъ и покинутъ, какъ всѣ ея управляющіе, приказчики, конторщики и горничныя, для которыхъ она такъ много сдѣлала, измѣнятъ ей и начнутъ говорить грубости, какъ всѣ люди, сколько ихъ есть на землѣ, будутъ нападать на нее, злословить, смѣяться; она откажется отъ своего княжескаго титула, отъ роскоши и общества, уйдетъ въ монастырь, и никому ни одного слова упрека; она будетъ молиться за враговъ своихъ, и тогда всѣ вдругъ поймутъ ее, придутъ къ ней просить прощенія, но ужъ будетъ поздно...

А послѣ ужина она опустилась въ углу передъ образомъ на колѣни и прочла двѣ главы изъ Евангелія. Потомъ горничная постлала ей постель, и она легла спать. Потягиваясь подъ бѣлымъ покрываломъ, она сладко и глубоко вздохнула, какъ вздыхаютъ послѣ плача, закрыла глаза и стала засыпать...

Утромъ она проснулась и взглянула на свои часики: было половина десятаго. На коврѣ около кровати тянулась узкая, яркая полоса свѣта отъ луча, который шелъ изъ окна и чуть-чуть освѣщалъ комнату. За черной занавѣской на окнѣ шумѣли мухи.

«Рано!»—подумала княгиня и закрыла глаза.

Потягиваясь и нѣжась въ постели, она вспомнила вчерашнюю встрѣчу съ докторомъ и всѣ тѣ мысли, съ какими вчера она уснула; вспомнила, что она несчастна. Потомъ пришли

ей на память ея мужъ, живущій въ Петербургѣ, управляющіе, доктора, сосѣди, знакомые чиновники... Длинный рядъ знакомыхъ мужскихъ лицъ пронесся въ ея воображеніи. Она улыбнулась и подумала, что если бы эти люди сумѣли проникнуть въ ея душу и понять ее, то всѣ они были бы у ея ногъ...

Въ четверть двѣнадцатаго она позвала горничную.

— Давайте, Даша, одѣваться, — сказала она томно. — Впрочемъ, сначала подите скажите, чтобы запрягали лошадей. Надо къ Клавдіи Николаевнѣ ѣхать.

Выйдя изъ покоевъ, чтобы садиться въ экипажъ, она зажмурилась отъ яркаго дневного свѣта и засмѣялась отъ удовольствія: день былъ удивительно хорошъ! Оглядывая прищуренными глазами монаховъ, которые собрались у крыльца проводить ее, она привѣтливо закивала головой и сказала:

— Прощайте, мои друзья! До послѣзавтра.

Ее пріятно удивило, что вмѣстѣ съ монахами у крыльца находился и докторъ. Лицо его было блѣдно и сурово.

— Княгиня,—сказалъ онъ, снимая шляпу и виновато улыбаясь:—я уже давно жду васъ тутъ. Простите Бога ради... Нехорошее, мстительное чувство увлекло меня вчера, и я наговорилъ вамъ... глупостей. Однимъ словомъ, я прошу прощенія.

Княгиня привѣтливо улыбнулась и протянула къ его губамъ руку. Онъ поцѣловалъ и покраснѣлъ.

Стараясь походить на птичку, княгиня порхнула въ экипажъ и закивала головой во всѣ стороны. На душѣ у нея было весело, ясно и тепло, и сама она чувствовала, что ея улыбка необыкновенно ласкова и мягка. Когда экипажъ покатилъ къ воротамъ, потомъ по пыльной дорогѣ мимо избъ и садовъ, мимо длинныхъ чумацкихъ обозовъ и богомольцевъ, шедшихъ вереницами въ монастырь, она все еще щурилась и мягко улыбалась. Она думала о томъ, что нѣтъ выше наслажденія, какъ всюду вносить съ собою теплоту, свѣтъ и радость, прощать обиды и привѣтливо улыбаться врагамъ. Встрѣчные мужики кланялись ей, коляска мягко шуршала, изъ-подъ колесъ валили облака пыли, уносимыя вѣтромъ на золотистую рожь, и княгинѣ казалось, что ея тѣло качается не на подушкахъ коляски, а на облакахъ, и что сама она похожа на легкое, прозрачное облачко...

— Какъ я счастлива!—шептала она, закрывая глаза.— Какъ я счастлива!

# БѢДА.

Директора городского банка Петра Семеныча, бухгалтера, его помощника и двухъ членовъ отправили ночью въ тюрьму. На другой день послѣ переполоха купецъ Авдѣевъ, членъ ревизіонной комиссіи банка, сидѣлъ съ пріятелями у себя въ лавкѣ и говорилъ:

— Такъ, значитъ, Богу угодно. Отъ судьбы не уйдешь. Сейчасъ вотъ мы икрой закусываемъ, а завтра, гляди — тюрьма, сума, а то и смерть. Всякое бываетъ. Теперь взять къ примѣру хоть Петра Семеныча...

Онъ говорилъ и жмурилъ свои пьяные глазки, а пріятели выпивали, закусывали икрой и слушали. Описавъ позоръ и безпомощность Петра Семеныча, который еще вчера былъ силенъ и всѣми уважаемъ, Авдѣевъ продолжалъ со вздохомъ:

— Отзываются кошкѣ мышкины слезки. Такъ имъ, мошенникамъ, и надо! Умѣли, курицыны дѣти, грабить, такъ пущай же теперь отвѣтъ дадутъ.

— Гляди, Иванъ Данилычъ, какъ бы и тебѣ не досталось!—замѣтилъ одинъ изъ пріятелей.

— А мнѣ за что?

— А за то. Тѣ грабили, а ревизіонная комиссія что глядѣла? Небось, вѣдь ты подписывалъ отчеты?

— Экось, легко ли дѣло!—усмѣхнулся Авдѣевъ.—Подписывалъ! Носили ко мнѣ въ лавку отчеты, ну и подписывалъ. Нешто я понимаю? Мнѣ что ни дай, я все подмахну. Напиши ты сейчасъ, что я человѣка зарѣзалъ, такъ я и

то подпишу. Не время мнѣ разбирать, да и не вижу безъ очковъ.

Потолковавъ о крахѣ банка и о судьбѣ Петра Семеныча, Авдѣевъ и его пріятели отправились на пирогъ къ знакомому, у котораго въ этотъ день была именинница жена. На именинахъ всѣ гости говорили только о крахѣ банка. Авдѣевъ горячился больше всѣхъ и увѣрялъ, что онъ давно уже предчувствовалъ этотъ крахъ и еще два года тому назадъ зналъ, что въ банкѣ не совсѣмъ чисто. Пока ѣли пирогъ, онъ описалъ съ десятокъ противозаконныхъ операцій, которыя ему были извѣстны.

— Если вы знали, то отчего же вы не донесли?—спросилъ его офицеръ, бывшій на именинахъ.

— Не я одинъ, весь городъ зналъ... — усмѣхнулся Авдѣевъ.—Да и нѣтъ времени по судамъ ходить. Ну ихъ!

Отдохнувъ послѣ пирога, онъ пообѣдалъ и еще разъ отдохнулъ, потомъ отправился ко всенощной въ свою церковь, гдѣ былъ старостой; послѣ всенощной опять пошелъ на именины и до самой полночи игралъ въ преферансъ. Повидимому, все обстояло благополучно.

Когда же послѣ полночи Авдѣевъ вернулся къ себѣ домой, кухарка, отворявшая ему дверь, была блѣдна и отъ дрожи не могла выговорить ни одного слова. Его жена, Елизавета Трофимовна, откормленная, сырая старуха, съ распущенными сѣдыми волосами, сидѣла въ залѣ на диванѣ, тряслась всѣмъ тѣломъ и, какъ пьяная, безсмысленно поводила глазами. Около нея со стаканомъ воды суетился тоже блѣдный и крайне взволнованный старшій сынъ ея, гимназистъ Василій.

— Что такое?—спросилъ Авдѣевъ и сердито покосился на печку. (Его семья часто угорала).

— Сейчасъ слѣдователь съ полиціей приходилъ...—отвѣтилъ Василій.—Обыскивали.

Авдѣевъ поглядѣлъ вокругъ себя. Шкапы, комоды, столы—все носило на себѣ слѣды недавняго обыска. Минуту Авдѣевъ простоялъ неподвижно, какъ въ столбнякѣ, ничего не понимая, потомъ всѣ внутренности его задрожали и отяжелѣли, лѣвая нога онѣмѣла, и онъ, не вынося дрожи, легъ ничкомъ на диванъ; ему слышно было, какъ переворачивались его внутренности и какъ непослушная лѣвая нога стучала по спинкѣ дивана.

Въ какія-нибудь двѣ-три минуты онъ припомнилъ все свое прошлое, но не нашелъ ни одной такой вины, которая заслуживала бы вниманія судебной власти...

— Все это одна чепуха...—сказалъ онъ, поднимаясь.— Это, должно-быть, меня оговорили. Надо будетъ завтра жалобу подать, чтобы они не смѣли это самое...

На другой день утромъ, послѣ безсонной ночи, Авдѣевъ, какъ всегда, отправился къ себѣ въ лавку. Покупатели принесли ему извѣстіе, что въ истекшую ночь прокуроръ отправилъ въ тюрьму еще товарища директора и письмоводителя банка. Это извѣстіе не обезпокоило Авдѣева. Онъ былъ увѣренъ, что его оговорили и что, если онъ сегодня подастъ жалобу, то слѣдователю достанется за вчерашній обыскъ.

Въ десятомъ часу онъ побѣжалъ въ управу къ секретарю, который былъ единственнымъ образованнымъ человѣкомъ во всей управѣ.

— Владиміръ Степанычъ, что же это за мода?—началъ онъ, наклоняясь къ уху секретаря.—Люди крали, а я-то тутъ при чемъ? Съ какой стати? Милый человѣкъ,—зашепталъ онъ:—ночью-то у меня обыскъ былъ! Ей-Богу... Осатанѣли они, что ли? За что меня трогать?

— А за то, что не нужно быть бараномъ,—покойно отвѣтилъ секретарь.—Прежде чѣмъ подписывать, надо было глядѣть...

— Что глядѣть? Да гляди я въ эти отчеты хоть тысячу лѣтъ, я ничего не пойму! Чорта лысаго я понимаю! Какой я булгахтеръ? Мнѣ носили, я и подписывалъ.

— Позвольте. Кромѣ того, вы, какъ и вся ваша комиссія, сильно скомпрометированы. Вы безъ всякаго обезпеченія взяли изъ банка 19 тысячъ.

— Господи твоя воля!—удивился Авдѣевъ.—Нешто я одинъ долженъ? Вѣдь весь городъ долженъ! Я плачу проценты и отдамъ долгъ. Господь съ тобой! А кромѣ того, ежели, скажемъ, разсуждать по совѣсти, нешто я самъ взялъ эти деньги? Мнѣ Петръ Семенычъ всучилъ. Возьми, говоритъ, и возьми. Ежели, говоритъ, не берешь, то, значитъ, намъ не довѣряешь и сторонишься. Ты, говоритъ, возьми и отцу мельницу построй. Я и взялъ.

— Ну, вотъ видите: такъ могутъ разсуждать только дѣти и бараны. Во всякомъ случаѣ, сеньоръ, вы напрасно вол-

нуетесь. Суда вамъ, конечно, не избѣжать, но навѣрное васъ оправдаютъ.

Равнодушіе и покойный тонъ секретаря подѣйствовали на Авдѣева успокаивающе. Вернувшись къ себѣ въ лавку и заставъ въ ней пріятелей, онъ опять выпивалъ, закусывалъ икрой и философствовалъ. Онъ ужъ почти забылъ объ обыскѣ и его безпокоило только одно обстоятельство, которое онъ не могъ не замѣтить: у него какъ-то странно нѣмѣла лѣвая нога и почему-то совсѣмъ не варилъ желудокъ.

Вечеромъ того же дня судьба сдѣлала по Авдѣевѣ еще одинъ оглушительный выстрѣлъ: на экстренномъ засѣданіи думы всѣ банковцы, въ томъ числѣ и Авдѣевъ, были исключены изъ числа гласныхъ, какъ находящіеся подъ судомъ и слѣдствіемъ. Утромъ онъ получилъ бумагу, въ которой его приглашали немедленно сдать должность церковнаго старосты.

Затѣмъ Авдѣевъ потерялъ счетъ въ выстрѣлахъ, которые дѣлала по немъ судьба, и для него быстро одинъ за другимъ замелькали странные, небывалые дни, и каждый день приносилъ съ собой какой-нибудь новый неожиданный сюрпризъ. Между прочимъ слѣдователь прислалъ ему повѣстку. Отъ слѣдователя вернулся онъ домой оскорбленный, красный.

— Присталъ, какъ съ ножомъ къ горлу: зачѣмъ подписывалъ? Подписывалъ, вотъ и все! Нешто я нарочно? Носили въ лавку, я и подписывалъ. Я и читать-то по писанному путемъ не умѣю.

Пришли какіе-то молодые люди съ равнодушными лицами, запечатали лавку и описали въ домѣ всю мебель. Подозрѣвая въ этомъ интригу и попрежнему не чувствуя за собой никакой вины, оскорбленный Авдѣевъ сталъ бѣгать по присутственнымъ мѣстамъ и жаловаться. По цѣлымъ часамъ ожидалъ онъ въ переднихъ, сочинялъ длинныя прошенія, плакалъ, бранился. Въ отвѣтъ на его жалобы прокуроръ и слѣдователь говорили ему равнодушно и резонно:

— Приходите, когда васъ позовутъ, а теперь намъ некогда.

А другіе отвѣчали:

— Это не наше дѣло.

Секретарь же, образованный человѣкъ, который, какъ

казалось Авдѣеву, могъ бы помочь ему, только пожималъ плечами и говорилъ:

— Вы сами виноваты. Не нужно быть бараномъ...

Старикъ хлопоталъ, а нога нѣмѣла попрежнему и желудокъ варилъ все хуже. Когда бездѣлье утомило его и наступила нужда, онъ рѣшилъ поѣхать къ отцу на мельницу, или къ брату, и заняться мучной торговлей, но его не пустили изъ города. Семья уѣхала къ отцу, а онъ остался одинъ.

Дни мелькали за днями. Безъ семьи, безъ работы и безъ денегъ, бывшій староста, почтенный и уважаемый человѣкъ, по цѣлымъ днямъ ходилъ по лавкамъ своихъ пріятелей, выпивалъ, закусывалъ и выслушивалъ совѣты. По утрамъ и вечерамъ онъ, чтобы убить время, ходилъ въ церковь. Глядя по цѣлымъ часамъ на иконы, онъ не молился, а думалъ. Совѣсть его была чиста, и свое положеніе объяснялъ онъ ошибкой и недоразумѣніемъ; по его мнѣнію, все произошло только оттого, что слѣдователи и чиновники молоды и неопытны; ему казалось, что если бы какой-нибудь старый судья поговорилъ съ нимъ по душамъ и подробно, то все вошло бы въ свою колею. Онъ не понималъ своихъ судей, а судьи, казалось ему, не понимали его...

Дни бѣжали за днями и, наконецъ, послѣ долгой, томительной проволочки наступило время суда. Авдѣевъ взялъ взаймы 50 рублей, запасся спиртомъ для ноги и травкой для желудка, и поѣхалъ въ тотъ городъ, гдѣ находилась судебная палата.

Судъ продолжался полторы недѣли. Все время суда Авдѣевъ солидно и съ достоинствомъ, какъ это подобаетъ человѣку почтенному и невинно пострадавшему, сидѣлъ среди товарищей по несчастью, слушалъ и ровно ничего не понималъ. Настроеніе у него было враждебное. Онъ сердился, что его долго держатъ въ судѣ, что нигдѣ нельзя достать постной ѣды, что защитникъ не понимаетъ его и, какъ казалось ему, говоритъ не то, что нужно. Судьи, казалось ему, судили не такъ, какъ бы слѣдовало. Они не обращали на Авдѣева почти никакого вниманія, обращались къ нему разъ въ три дня и вопросы, которые они задавали ему, были такого свойства, что, отвѣчая на нихъ, Авдѣевъ всякій разъ возбуждалъ въ публикѣ смѣхъ. Когда онъ порывался говорить о своихъ проторяхъ, убыткахъ и о томъ, что

желаетъ взыскать судебныя издержки, защитникъ оборачивался и дѣлалъ непонятную гримасу, публика смѣялась, а предсѣдатель строго заявлялъ, что это къ дѣлу не относится. Въ своемъ послѣднемъ словѣ онъ сказалъ не то, чему училъ его защитникъ, а совсѣмъ другое, тоже возбудившее смѣхъ.

Въ тѣ страшные часы, когда присяжные совѣщались въ своей комнатѣ, онъ сердитый сидѣлъ въ буфетѣ и совсѣмъ не думалъ о присяжныхъ. Онъ не понималъ, зачѣмъ они совѣщаются такъ долго, если все такъ ясно, и что имъ нужно отъ него.

Проголодавшись, онъ попросилъ лакея дать ему чего-нибудь дешеваго и постнаго. За сорокъ копеекъ ему дали какой-то холодной рыбы съ морковью. Онъ съѣлъ и тотчасъ же почувствовалъ, какъ эта рыба тяжелымъ комомъ заходила въ его животѣ; начались отрыжка, изжога, боль...

Когда онъ потомъ слушалъ старшину, читавшаго вопросные пункты, внутренности его переворачивались, тѣло обливалось холоднымъ потомъ, лѣвая нога нѣмѣла; онъ не слушалъ, ничего не понималъ и невыносимо страдалъ оттого, что старшину нельзя слушать сидя или лежа. Наконецъ, когда ему и его товарищамъ позволили сѣсть, всталъ прокуроръ судебной палаты и сказалъ что-то непонятное. Точно изъ земли выросши, появились откуда-то жандармы съ шашками наголо и окружили всѣхъ обвиняемыхъ. Авдѣеву приказали встать и идти.

Теперь онъ понялъ, что его обвинили и взяли подъ стражу, но онъ не испугался и не удивился; въ животѣ происходилъ такой безпорядокъ, что ему было совсѣмъ не до стражи.

— Значитъ, насъ теперь не пустятъ въ номеръ?—спросилъ онъ у одного изъ своихъ товарищей. — А у меня въ номерѣ три рубля денегъ и непочатая четверка чаю.

Ночевалъ онъ въ частномъ домѣ, всю ночь чувствовалъ отвращеніе къ рыбѣ и думалъ о трехъ рубляхъ и четверкѣ чаю. Рано утромъ, когда небо стало синѣть, ему приказали одѣться и идти. Два солдата со штыками повели его въ тюрьму. Никогда въ другое время городскія улицы не казались ему такъ длинны и безконечны. Шелъ онъ не по тротуару, а среди улицы по тающему, грязному снѣгу. Внутренности все еще воевали съ рыбой, лѣвая нога нѣ-

мѣла; калоши онъ забылъ не то въ судѣ, не то въ частномъ домѣ, ноги его зябли...

Черезъ пять дней всѣхъ обвиняемыхъ опять повели въ судъ для выслушиванія приговора. Авдѣевъ узналъ, что его приговорили къ ссылкѣ на житье въ Тобольскую губернію. И это не испугало его и не удивило. Ему почему-то казалось, что судъ еще не кончился, что проволочка все еще тянется и что настоящаго «рѣшенія» еще не было... Жилъ онъ въ тюрьмѣ и каждый день ждалъ этого рѣшенія.

Только полгода спустя, когда пришли къ нему прощаться жена и сынъ Василій, когда онъ въ тощей, нищенски одѣтой старушкѣ едва узналъ свою, когда-то сырую и солидную Елизавету Трофимовну, и когда вмѣсто гимназическаго платья увидѣлъ на сынѣ куцый, потертый пиджачокъ и сарпинковыя панталоны, онъ понялъ, что судьба его уже рѣшена и что, какое бы еще ни было новое «рѣшеніе», ему уже не вернуть своего прошлаго. И онъ въ первый разъ за все время суда и тюремнаго заключенія, согналъ со своего лица сердитое выраженіе и горько заплакалъ.

# СПАТЬ ХОЧЕТСЯ.

Ночь. Нянька Варька, дѣвочка лѣтъ тринадцати, качаетъ колыбель, въ которой лежитъ ребенокъ, и чуть слышно мурлычетъ:

Баю-баюшки-баю,
А я пѣсенку спою...

Передъ образомъ горитъ зеленая лампадка; черезъ всю комнату отъ угла до угла тянется веревка, на которой висятъ пеленки и большія черныя панталоны. Отъ лампадки ложится на потолокъ большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросаютъ длинныя тѣни на печку, колыбель, на Варьку.... Когда лампадка начинаетъ мигать, пятно и тѣни оживаютъ и приходятъ въ движеніе, какъ отъ вѣтра. Душно. Пахнетъ щами и сапожнымъ товаромъ.

Ребенокъ плачетъ. Онъ давно уже осипъ и изнемогъ отъ плача, но все еще кричитъ, и неизвѣстно, когда онъ уймется. А Варькѣ хочется спать. Глаза ея слипаются, голову тянетъ внизъ, шея болитъ. Она не можетъ шевельнуть ни вѣками, ни губами, и ей кажется, что лицо ея высохло и одеревенѣло, что голова стала маленькой, какъ булавочная головка.

— Баю-баюшки-баю, — мурлычетъ она: — тебѣ кашки наварю...

Въ печкѣ кричитъ сверчокъ. Въ сосѣдней комнатѣ, за дверью, похрапываютъ хозяинъ и подмастерье Аѳанасій... Колыбель жалобно скрипитъ, сама Варька мурлычетъ — и все это сливается въ ночную, убаюкивающую музыку, которую такъ сладко слушать, когда ложишься въ постель.

Теперь же эта музыка только раздражаетъ и гнететъ, потому что она вгоняетъ въ дремоту, а спать нельзя; если Варька, не дай Богъ, уснетъ, то хозяева прибьютъ ее.

Лампадка мигаетъ. Зеленое пятно и тѣни приходятъ въ движеніе, лѣзутъ въ полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки и въ ея на-половину уснувшемъ мозгу складываются въ туманныя грезы. Она видитъ темныя облака, которыя гоняются другъ за другомъ по небу и кричатъ, какъ ребенокъ. Но вотъ подулъ вѣтеръ, пропали облака, и Варька видитъ широкое шоссе, покрытое жидкою грязью; по шоссе тянутся обозы, плетутся люди съ котомками на спинахъ, носятся взадъ и впередъ какія-то тѣни; по обѣ стороны сквозь холодный, суровый туманъ видны лѣса. Вдругъ люди съ котомками и тѣнями падаютъ на землю въ жидкую грязь. — «Зачѣмъ это?» — спрашиваетъ Варька. — «Спать, спать!» — отвѣчаютъ ей. И они засыпаютъ крѣпко, спятъ сладко, а на телеграфныхъ проволокахъ сидятъ вороны и сороки, кричатъ, какъ ребенокъ, и стараются разбудить ихъ.

— Баю-баюшки-баю, а я пѣсенку спою...—мурлычетъ Варька и уже видитъ себя въ темной, душной избѣ.

На полу ворочается ея покойный отецъ Ефимъ Степановъ. Она не видитъ его, но слышитъ, какъ онъ катается отъ боли по полу и стонетъ. У него, какъ онъ говоритъ, «разыгралась грыжа». Боль такъ сильна, что онъ не можетъ выговорить ни одного слова и только втягиваетъ въ себя воздухъ и отбиваетъ зубами барабанную дробь:

— Бу-бу-бу-бу...

Мать Пелагея побѣжала въ усадьбу къ господамъ сказать, что Ефимъ помираетъ. Она давно уже ушла и пора бы ей вернуться. Варька лежитъ на печи, не спитъ и прислушивается къ отцовскому «бу-бу-бу». Но вотъ слышно, кто-то подъѣхалъ къ избѣ. Это господа прислали молодого доктора, который пріѣхалъ къ нимъ изъ города въ гости. Докторъ входитъ въ избу; его не видно въ потемкахъ, но слышно, какъ онъ кашляетъ и щелкаетъ дверью.

— Засвѣтите огонь,—говоритъ онъ.

— Бу-бу-бу...—отвѣчаетъ Ефимъ.

Пелагея бросается къ печкѣ и начинаетъ искать черепокъ со спичками. Проходитъ минута въ молчаніи. Докторъ, порывшись въ карманахъ, зажигаетъ свою спичку.

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ,—говоритъ Пелагея, бро-

сается вонъ изъ избы и, немного погодя, возвращается съ огаркомъ.

Щеки у Ефима розовыя, глаза блестятъ и взглядъ какъ-то особенно остръ, точно Ефимъ видитъ насквозь и избу, и доктора.

— Ну, что? Что ты это вздумалъ? — говоритъ докторъ, нагибаясь къ нему.—Эге! Давно ли это у тебя?

— Чего-съ? Помирать, ваше благородіе, пришло время... Не быть мнѣ въ живыхъ...

— Полно вздоръ говорить... Вылѣчимъ!

— Это какъ вамъ угодно, ваше благородіе, благодаримъ покорно, а только мы понимаемъ... Коли смерть пришла, что ужъ тутъ.

Докторъ съ четверть часа возится съ Ефимомъ; потомъ поднимается и говоритъ:

— Я ничего не могу подѣлать... Тебѣ нужно въ больницу ѣхать, тамъ тебѣ операцію сдѣлаютъ. Сейчасъ же поѣзжай... Непремѣнно поѣзжай! Немножко поздно, въ больницѣ всѣ уже спятъ, но это ничего, я тебѣ записочку дамъ. Слышишь?

— Батюшка, да на чемъ же онъ поѣдетъ? — говоритъ Пелагея.—У насъ нѣтъ лошади.

— Ничего, я попрошу господъ, они дадутъ лошадь.

Докторъ уходитъ, свѣча тухнетъ и опять слышится «бу-бу-бу»... Спустя полчаса, къ избѣ кто-то подъѣзжаетъ. Это господа прислали телѣжку, чтобы ѣхать въ больницу. Ефимъ собирается и ѣдетъ...

Но вотъ наступаетъ хорошее, ясное утро. Пелагеи нѣтъ дома: она пошла въ больницу узнать, что дѣлается съ Ефимомъ. Гдѣ-то плачетъ ребенокъ и Варька слышитъ, какъ кто-то ея голосомъ поетъ:

— Баю-баюшки-баю, а я пѣсенку спою...

Возвращается Пелагея; она крестится и шепчетъ:

— Ночью вправили ему, а къ утру Богу душу отдалъ... Царство небесное, вѣчный покой... Сказываютъ, поздно захватили... Надо бы раньше...

Варька идетъ въ лѣсъ и плачетъ тамъ, но вдругъ кто-то бьетъ ее по затылку съ такой силой, что она стукается лбомъ о березу. Она поднимаетъ глаза и видитъ передъ собой хозяина-сапожника.

— Ты что же это, паршивая? — говоритъ онъ. — Дитё плачетъ, а ты спишь?

Онъ больно треплетъ ее за ухо, а она встряхиваетъ головой, качаетъ колыбель и мурлычетъ свою пѣсню. Зеленое пятно и тѣни отъ панталонъ и пеленокъ колеблются, мигаютъ ей и скоро опять овладѣваютъ ея мозгомъ. Опять она видитъ шоссе, покрытое жидкою грязью. Люди съ котомками на спинахъ и тѣни разлеглись и крѣпко спятъ. Глядя на нихъ, Варькѣ страстно хочется спать; она легла бы съ наслажденіемъ, но мать Пелагея идетъ рядомъ и торопитъ ее. Обѣ онѣ спѣшатъ въ городъ наниматься.

— Подайте милостынки Христа-ради! — проситъ мать у встрѣчныхъ. — Явите божескую милость, господа милосердные!

— Подай сюда ребенка!—отвѣчаетъ ей чей-то знакомый голосъ.—Подай сюда ребенка!—повторяетъ тотъ же голосъ, но уже сердито и рѣзко. — Спишь, подлая?

Варька вскакиваетъ и, оглядѣвшись, понимаетъ, въ чемъ дѣло: нѣтъ ни шоссе, ни Пелагеи, ни встрѣчныхъ, а стоитъ посреди комнаты одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормитъ и унимаетъ ребенка, Варька стоитъ, глядитъ на нее и ждетъ, когда она кончитъ. А за окнами уже синѣетъ воздухъ, тѣни и зеленое пятно на потолкѣ замѣтно блѣднѣютъ. Скоро утро.

— Возьми!—говоритъ хозяйка, застегивая на груди сорочку.—Плачетъ. Должно, сглазили.

Варька беретъ ребенка, кладетъ его въ колыбель и опять начинаетъ качать. Зеленое пятно и тѣни мало-по-малу исчезаютъ и ужъ некому лѣзть въ ея голову и туманить мозгъ. А спать хочется попрежнему, ужасно хочется! Варька кладетъ голову на край колыбели и качается всѣмъ туловищемъ, чтобы пересилить сонъ, но глаза все-таки слипаются и голова тяжела.

— Варька, затопи печку! — раздается за дверью голосъ хозяина.

Значитъ, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляетъ колыбель и бѣжитъ въ сарай за дровами. Она рада. Когда бѣгаешь и ходишь, спать уже не такъ хочется, какъ въ сидячемъ положеніи. Она приноситъ дрова, топитъ печь и чувствуетъ, какъ расправляется ея одеревенѣвшее лицо и какъ проясняются мысли.

— Варька, поставь самоваръ!—кричитъ хозяйка.

Варька колетъ лучину, но едва успѣваетъ зажечь ихъ и сунуть въ самоваръ, какъ слышится новый приказъ:

— Варька, почисть хозяину калоши!

Она садится на полъ, чиститъ калоши и думаетъ, что хорошо бы сунуть голову въ большую, глубокую калошу и подремать въ ней немножко... И вдругъ калоша растетъ, пухнетъ, наполняетъ собою всю комнату, Варька роняетъ щетку, но тотчасъ же встряхиваетъ головой, пучитъ глаза и старается глядѣть такъ, чтобы предметы не росли и не двигались въ ея глазахъ.

— Варька, помой снаружи лѣстницу, а то отъ заказчиковъ совѣстно!

Варька моетъ лѣстницу, убираетъ комнаты, потомъ топитъ другую печь и бѣжитъ въ лавочку. Работы много, нѣтъ ни одной минуты свободной.

Но ничто такъ не тяжело, какъ стоять на одномъ мѣстѣ передъ кухоннымъ столомъ и чистить картошку. Голову тянетъ къ столу, картошка рябитъ въ глазахъ, ножъ валится изъ рукъ, а возлѣ ходитъ толстая, сердитая хозяйка съ засученными руками и говоритъ такъ громко, что звенитъ въ ушахъ. Мучительно также прислуживать за обѣдомъ, стирать, шить. Бываютъ минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на полъ и спать.

День проходитъ. Глядя, какъ темнѣютъ окна, Варька сжимаетъ себѣ деревенѣющіе виски и улыбается, сама не зная чего ради. Вечерняя мгла ласкаетъ ея слипающіеся глаза и обѣщаетъ ей скорый, крѣпкій сонъ. Вечеромъ къ хозяевамъ приходятъ гости.

— Варька, ставь самоваръ!—кричитъ хозяйка.

Самоваръ у хозяевъ маленькій и прежде, чѣмъ гости напиваются чаю, приходится подогрѣвать его разъ пять. Послѣ чаю Варька стоитъ цѣлый часъ на одномъ мѣстѣ, глядитъ на гостей и ждетъ приказаній.

— Варька, сбѣгай купи три бутылки пива!

Она срывается съ мѣста и старается бѣжать быстрѣе, чтобы прогнать сонъ.

— Варька, сбѣгай за водкой! Варька, гдѣ штопоръ? Варька, почисть селедку!

Но вотъ, наконецъ, гости ушли; огни тушатся, хозяева ложатся спать.

— Варька, покачай ребенка!—раздается послѣдній приказъ.

Въ печкѣ кричитъ сверчокъ; зеленое пятно на потолкѣ и тѣни отъ панталонъ и пеленокъ опять лѣзутъ въ полуоткрытые глаза Варьки, мигаютъ и туманятъ ей голову.

— Баю-баюшки-баю, — мырлычетъ она: — а я пѣсенку спою...

А ребенокъ кричитъ и изнемогаетъ отъ крика. Варька видитъ опять грязное шоссе, людей съ котомками, Пелагею, отца Ефима. Она все понимаетъ, всѣхъ узнаетъ, но сквозь полусонъ она не можетъ только никакъ понять той силы, которая сковываетъ ее по рукамъ и по ногамъ, давитъ ее и мѣшаетъ ей жить. Она оглядывается, ищетъ эту силу, чтобы избавиться отъ нея, но не находитъ. Наконецъ, измучившись, она напрягаетъ всѣ свои силы и зрѣніе, глядитъ вверхъ на мигающее зеленое пятно и, прислушавшись къ крику, находитъ врага, мѣшающаго ей жить.

Этотъ врагъ—ребенокъ.

Она смѣется. Ей удивительно: какъ это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тѣни и сверчокъ тоже, кажется, смѣются и удивляются.

Ложное представленіе овладѣваетъ Варькой. Она встаетъ съ табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнатѣ. Ей пріятно и щекотно отъ мысли, что она сейчасъ избавится отъ ребенка, сковывающаго ее по рукамъ и ногамъ... Убить ребенка, а потомъ спать, спать, спать...

Смѣясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается къ колыбели и наклоняется къ ребенку. Задушивъ его, она быстро ложится на полъ, смѣется отъ радости, что ей можно спать, и черезъ минуту спитъ уже крѣпко, какъ мертвая...

# ХОЛОДНАЯ КРОВЬ.

Длинный товарный поѣздъ давно уже стоитъ у полустанка. Паровозъ не издаетъ ни звука, точно потухъ; около поѣзда и въ дверяхъ полустанка ни души.

Отъ одного изъ вагоновъ идетъ блѣдная полоса свѣта и скользитъ по рельсамъ запаснаго пути. Въ этомъ вагонѣ на разостланной буркѣ сидятъ двое: одинъ—старый съ широкой, сѣдой бородой, въ полушубкѣ и въ высокой, мерлушковой шапкѣ, похожей на папаху, другой — молодой, безусый, въ потертомъ драповомъ пиджакѣ и въ высокихъ, грязныхъ сапогахъ. Это грузоотправители. Старикъ сидитъ, протянувъ впередъ ноги, молчитъ и о чемъ-то думаетъ; молодой полулежитъ и едва слышно пиликаетъ на дешевой гармоникѣ. Около нихъ на стѣнѣ виситъ фонарь съ сальной свѣчкой.

Вагонъ полонъ груза. Если сквозь тусклый свѣтъ фонаря вглядѣться въ этотъ грузъ, то въ первую минуту глазамъ представится что-то безформенно-чудовищное и несомнѣнно живое, что-то очень похожее на гигантскихъ раковъ, которые шевелятъ клешнями и усами, тѣснятся и безшумно карабкаются по скользкой стѣнѣ вверхъ къ потолку; но вглядишься попристальнѣе, и въ сумеркахъ начинаютъ явственно выростать рога и ихъ отраженія, затѣмъ тощія, длинныя спины, грязная шерсть, хвосты, глаза. Это быки и ихъ тѣни. Всѣхъ быковъ въ вагонѣ восемь. Одни изъ нихъ, обернувшись, глядятъ на людей и помахиваютъ хвостами, другіе стараются лечь или стать поудобнѣе. Имъ тѣсно. Если одинъ ложится, то остальные

должны стоять и жаться другъ къ другу. Нѣтъ ни яслей, ни коновязей, ни подстилокъ и ни клочка сѣна [1])...

Послѣ долгаго молчанія старикъ вытаскиваетъ изъ кармана серебряную луковицу и справляется, который часъ: четверть третьяго.

— Ужъ второй часъ стоимъ, — говоритъ онъ, зѣвая. — Пойти поторопить ихъ, а то до утра будемъ здѣсь стоять. Они позаснули, или Богъ ихъ знаетъ, что они тамъ.

Старикъ встаетъ и вмѣстѣ со своею длинною тѣнью осторожно спускается изъ вагона въ потемки. Онъ пробирается вдоль поѣзда къ локомотиву и, пройдя десятка два вагоновъ, видитъ раскрытую, красную печь; противъ печи неподвижно сидитъ человѣческая фигура; ея козырекъ, носъ и колѣни выкрашены въ багровый цвѣтъ, все же остальное черно и едва вырисовывается изъ потемокъ.

— Долго еще тутъ стоять будемъ?—спрашиваетъ старикъ.

Отвѣта нѣтъ. Неподвижная фигура, очевидно, спитъ. Старикъ нетерпѣливо крякаетъ и, пожимаясь отъ ѣдкой сырости, обходитъ локомотивъ, причемъ яркій свѣтъ двухъ фонарей на мгновеніе бьетъ ему въ глаза, а ночь отъ этого становится для него еще чернѣе; онъ идетъ къ полустанку.

Платформа и ступени полустанка мокры. Кое-гдѣ бѣлѣетъ недавно выпавшій, тающій снѣгъ. Въ самомъ полустанкѣ свѣтло и натоплено жарко, какъ въ банѣ. Пахнетъ керосиномъ. Кромѣ десятичныхъ вѣсовъ и небольшого, желтаго дивана, на которомъ спитъ какой-то человѣкъ въ кондукторской формѣ, въ помѣщеніи нѣтъ никакой мебели. Налѣво двѣ настежь открытыя двери. Въ одну изъ нихъ видны телеграфный станокъ и лампа съ зеленымъ колпакомъ, въ другую—небольшая комнатка, на-половину занятая темнымъ шкапомъ. Въ этой комнаткѣ, на подоконникѣ сидятъ оберъ-кондукторъ и машинистъ. Оба они мнутъ въ рукахъ какую-то шапку и спорятъ.

— Это не настоящій боберъ, а польскій,—говоритъ машинистъ.—Настоящіе бобры не такіе бываютъ. Всей этой шапкѣ, ежели желаете знать, красная цѣна — пять цѣлковыхъ!

---

[1]) На многихъ дорогахъ, во избѣжаніе несчастныхъ случаевъ, запрещается держать въ вагонахъ сѣно, а потому живой грузъ во все время пути остается безъ корма.

— Понимаете вы много...—обижается оберъ-кондукторъ.— Пять цѣлковыхъ! А вотъ мы сейчасъ купца спросимъ. Господинъ Малахинъ,—обращается онъ къ старику:—какъ по-вашему: польскій это боберъ, или настоящій?

Старикъ Малахинъ беретъ въ руки шапку и съ видомъ знатока щупаетъ мѣхъ, дуетъ, нюхаетъ и на сердитомъ лицѣ его вдругъ вспыхиваетъ презрительная улыбка.

— Стало-быть, польскій!—говоритъ онъ радостно.—Польскій и есть.

Начинается споръ. Оберъ-кондукторъ доказываетъ, что на шапкѣ боберъ настоящій, а машинистъ и Малахинъ стараются убѣдить его въ противномъ. Среди спора старикъ вдругъ вспоминаетъ о цѣли своего прихода.

— Боберъ бобромъ, шапка шапкой, а поѣздъ стоитъ, господа!—говоритъ онъ.—Что жъ? Кого ждемъ? Поѣдемъ!

— Поѣдемъ,—соглашается оберъ-кондукторъ.—Выкуримъ еще по папироскѣ и поѣдемъ. Только спѣшить нечего... Все равно насъ задержатъ на станціи!

— Это съ какой стати?

— А такъ... Запоздали слишкомъ... Если на одной станціи опоздаешь, то на другихъ поневолѣ будутъ задерживать, чтобъ дать ходъ встрѣчнымъ. Поѣзжай хоть сейчасъ, хоть утромъ, а все равно намъ ужъ не придется ѣхать четырнадцатымъ номеромъ. Поѣдемъ, должно-быть, двадцать третьимъ.

— Это же по-каковски?

— А по-таковски.

Малахинъ пытливо глядитъ на оберъ-кондуктора, думаетъ и бормочетъ машинально, какъ бы про себя:

— Накажи меня Богъ, считалъ и даже въ книжку записалъ: за всю дорогу простояли мы лишнихъ тридцать четыре часа. Доведете вы, господа, до той точки, что у меня или быки подохнутъ, или мнѣ за мясо, когда до мѣста доѣду, и двухъ рублей не дадутъ. Это не ѣзда, а чистое разоренье!

Оберъ-кондукторъ поднимаетъ брови и вздыхаетъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто хочетъ сказать: «Къ сожалѣнію, все это правда!» Машинистъ молчитъ и задумчиво оглядываетъ шапку. По лицамъ обоихъ видно, что у нихъ есть какая-то одна общая тайная мысль, которую они не высказываютъ не потому, что хотятъ скрыть ее, а потому,

что подобныя мысли передаются молчаніемъ гораздо лучше, чѣмъ на словахъ. И старикъ понимаетъ. Онъ лѣзетъ въ карманъ, достаетъ оттуда десятирублевку и безъ предисловій, не мѣняя ни тона голоса, ни выраженія лица, а съ увѣренностью и прямотою, съ какими даютъ и берутъ взятки, вѣроятно, одни только русскіе люди, подаетъ бумажку оберъ-кондуктору. Тотъ молча беретъ, складываетъ ее вчетверо и, не спѣша, кладетъ въ карманъ. Послѣ этого всѣ трое выходятъ изъ комнатки и, разбудивъ на пути спящаго кондуктора, идутъ на платформу.

— Погода!—крякаетъ оберъ-кондукторъ, вздрагивая плечами.—Зги не видать!

— Да, волчья погода...

Въ окно видно, какъ около зеленой лампы и телеграфнаго станка появляется бѣлокурая голова телеграфиста; около нея показывается скоро другая голова, бородатая и въ красной фуражкѣ—должно-быть, начальника полустанка. Начальникъ нагнулся къ столу, читаетъ что-то на синемъ бланкѣ и быстро водитъ папиросой вдоль строкъ... Малахинъ идетъ къ своему вагону.

Его спутникъ, молодой человѣкъ, попрежнему полулежитъ и едва слышно пиликаетъ на гармоникѣ. Онъ безусъ, почти еще мальчикъ; полное, бѣлое лицо его съ широкими скулами дѣтски задумчиво, глаза глядятъ не какъ у взрослыхъ, а грустно и покорно, но весь онъ широкъ, крѣпокъ, тяжелъ и грубъ такъ же, какъ старикъ; онъ не шевелится и не мѣняетъ своей позы, точно ему не подъ-силу приводить въ движеніе свое крупное тѣло. Пошевелись онъ, и тотчасъ, кажется, на немъ что-нибудь лопнетъ или раздастся стукъ, котораго испугаются быки и онъ самъ. Изъ-подъ его большихъ, толстыхъ пальцевъ, неповоротливо перебирающихъ клавиши и клапаны гармоники, непрерывно текутъ мелкіе, жиденькіе звуки и сливаются въ немудрый, однообразный мотивчикъ; онъ слушаетъ и, повидимому, очень доволенъ своей музыкой.

Слышится звонокъ, но такъ глухо, какъ будто бы звонятъ не вблизи, а гдѣ-то очень далеко. За нимъ тотчасъ же слѣдуетъ торопливый второй звонокъ, потомъ третій и свистъ оберъ-кондуктора. Проходитъ минута въ глубокомъ молчаніи; вагонъ не движется, стоитъ на мѣстѣ, но изъ-подъ него начинаютъ слышаться какіе-то неопредѣленные

звуки, похожіе на скрипъ снѣга подъ полозьями; вагонъ вздрагиваетъ и звуки стихаютъ. Наступаетъ опять тишина. Но вотъ раздается лязгъ буферовъ, отъ сильнаго толчка вагонъ вздрагиваетъ, точно дѣлаетъ прыжокъ, и всѣ быки падаютъ другъ на друга.

— Чтобъ тебя на томъ свѣтѣ такъ дернуло! — ворчитъ старикъ, поправляя свою высокую шапку, съѣхавшую отъ толчка на затылокъ.—Этакъ онъ у меня всю скотину перекалѣчитъ!

Яша молча встаетъ и, взявъ одного упавшаго быка за рога, помогаетъ ему подняться на ноги... Вслѣдъ за толчкомъ опять наступаетъ тишина. Изъ-подъ вагона слышатся звуки скрипящаго снѣга, и кажется, что поѣздъ тронулся слегка назадъ.

— Сейчасъ опять дернетъ,—говоритъ старикъ.

И дѣйствительно, по поѣзду проносится судорога, раздается трескъ, вагонъ вздрагиваетъ и быки опять падаютъ другъ на друга.

— Задача!—говоритъ Яша, прислушиваясь.—Должно, поѣздъ тяжелый. Никакъ не сдвинетъ.

— Раньше не былъ тяжелый, а теперь вдругъ потяжелѣлъ. Нѣтъ, братъ, это значитъ оберъ-кондукторъ съ нимъ не подѣлился. Поди-ка снеси ему, а то онъ до утра будетъ дергать.

Яша беретъ у старика трехрублевую бумажку и прыгаетъ изъ вагона. Его тяжелые шаги глухо раздаются внѣ вагона и постепенно стихаютъ. Тишина... Въ сосѣднемъ вагонѣ протяжно и тихо мычитъ быкъ, точно поетъ.

Яша возвращается. Въ вагонъ влетаетъ сырой, холодный вѣтеръ.

— Закрой-ка, Яша, дверь, да будемъ ложиться, — говоритъ старикъ.—Что даромъ свѣчку жечь?

Яша задвигаетъ тяжелую дверь; раздается свистъ локомотива и поѣздъ трогается.

— Холодно!—бормочетъ старикъ, растягиваясь на буркѣ и кладя голову на узелъ.—То ли дѣло дома! И тепло, и чисто, и мягко, и Богу есть гдѣ помолиться, а тутъ хуже свиней всякихъ. Ужъ четверо сутокъ какъ сапогъ не снимали.

Яша, пошатываясь отъ вагонной качки, открываетъ фонарь и мокрыми пальцами сдавливаетъ фитиль. Свѣчка вспыхиваетъ, шипитъ, какъ сковорода, и тухнетъ.

— Да, братъ... — продолжаетъ Малахинъ, слыша, какъ Яша ложится рядомъ и своей громадной спиной прижимается къ его спинѣ. — Холодно. Изъ всѣхъ щелей такъ и дуетъ. Поспи тутъ твоя мать или сестра одну ночь, такъ къ утру бы ноги протянули. Такъ-то, братъ, не хотѣлъ учиться и въ гимназію ходить, какъ братья, ну вотъ и вози съ отцомъ быковъ. Самъ виноватъ, на себя и ропщи... Братья-то теперь на постеляхъ спятъ, одѣялами укрылись, а ты, нерадивый и лѣнивый, на одной линіи съ быками... Да...

Изъ-за шума поѣзда не слышно словъ старика, но онъ еще долго бормочетъ, вздыхаетъ и крякаетъ. Холодный воздухъ въ вагонѣ становится все гуще и душнѣе. Острый запахъ свѣжаго навоза и свѣчная гарь дѣлаютъ его такимъ противнымъ и ѣдкимъ, что у засыпающаго Яши начинаетъ чесаться въ горлѣ и внутри груди. Онъ перхаетъ и чихаетъ, а привычный старикъ, какъ ни въ чемъ не бывало, дышитъ всею грудью и только покрякиваетъ.

Судя по качкѣ вагона и по стуку колесъ, поѣздъ летитъ быстро и неровно. Паровозъ тяжело дышитъ, пыхтитъ не въ тактъ шуму поѣзда и въ общемъ получается какое-то клокотанье. Быки безпокойно тѣснятся и стучатъ рогами о стѣны.

Когда старикъ просыпается, въ щели вагона и въ открытое оконце глядитъ синеё небо ранняго утра. Холодно невыносимо, въ особенности спинѣ и ногамъ. Поѣздъ стоитъ. Яша заспанный и угрюмый возится около быковъ.

Старикъ просыпается не въ духѣ. Нахмуренный и суровый, онъ сердито крякаетъ и глядитъ исподлобья на Яшу, который подперъ своимъ могучимъ плечомъ подъ грудь быка и, слегка приподнявъ его, старается распутать ему ногу.

— Говорилъ вчерась, что веревки длинныя,—ворчитъ старикъ:—такъ нѣтъ—«не длинныя, папаша!» Ничего нельзя заставить, все по-своему дѣлаешь... Болванъ.

Онъ сердито выдвигаетъ дверь, и въ вагонъ врывается свѣтъ. Какъ разъ противъ двери стоитъ пассажирскій поѣздъ, а за нимъ красное зданіе съ навѣсомъ — какая-то большая станція съ буфетомъ. Крыши и площадки вагоновъ, земля, шпалы — все покрыто тонкимъ слоемъ пушистаго, недавно выпавшаго снѣга. Въ промежутки между вагонами пассажирскаго поѣзда видно, какъ снуютъ пассажиры и

прохаживается рыжій, краснолицый жандармъ; лакей во фракѣ и въ бѣлой, какъ снѣгъ, манишкѣ, не выспавшійся, озябшій и, вѣроятно, очень недовольный своею жизнью, бѣжитъ по платформѣ и несетъ на подносѣ стаканъ чаю съ двумя сухарями.

Старикъ поднимается и начинаетъ молиться на востокъ. Яша, покончивъ съ быкомъ и поставивъ въ уголъ лопату, становится рядомъ съ нимъ и тоже молится. Онъ только шевелитъ губами и крестится, отецъ же громко шепчетъ и конецъ каждой молитвы произноситъ вслухъ и отчетливо.

— ... и жизни будущаго вѣка аминь!—говоритъ громко старикъ, втягиваетъ въ себя воздухъ и тотчасъ же шепчетъ другую молитву и въ концѣ отчеканиваетъ твердо и ясно:—и возложатъ на алтарь твой тельцы!

Прочитавъ свои молитвы, Яша торопливо крестится и говоритъ:

— Пожалуйте пять копеекъ.

И, получивъ пятакъ, онъ беретъ красный мѣдный чайникъ и бѣжитъ на станцію за кипяткомъ. Широко прыгая черезъ шпалы и рельсы, оставляя на пушистомъ снѣгу громадные слѣды и выливая на пути изъ чайника вчерашній чай, онъ подбѣгаетъ къ буфету и звонко стучитъ пятакомъ по своей посудѣ. Изъ вагона видно, какъ буфетчикъ отстраняетъ рукой его большой чайникъ и не соглашается отдать за пятакъ почти половину своего самовара, но Яша самъ отворачиваетъ кранъ и, разставивъ локти, чтобы ему не мѣшали, наливаетъ себѣ кипятку полный чайникъ.

— Сволочь проклятая!—кричитъ ему вслѣдъ буфетчикъ, когда онъ бѣжитъ обратно къ вагону.

За чаемъ хмурое лицо старика Малахина немного проясняется.

— Пить и ѣсть мы умѣемъ, а дѣла не помнимъ, — говоритъ онъ. — Вчерась цѣлый день только и знали, что пили да ѣли, а небось забыли расходы записать. Экая память, Господи!

Старикъ припоминаетъ вслухъ вчерашніе расходы и записываетъ въ истрепанной записной книжкѣ, гдѣ и сколько было дано кондукторамъ, машинистамъ, смазчикамъ...

Между тѣмъ пассажирскій поѣздъ давно уже ушелъ, и по свободному пути взадъ и впередъ, какъ кажется, безъ вся-

кой опредѣленной цѣли, а просто радуясь своей свободѣ, бѣгаетъ дежурный локомотивъ. Солнце уже взошло и играетъ по снѣгу; съ навѣса станціи и съ крышъ вагоновъ падаютъ свѣтлыя капли.

Напившись чаю, старикъ лѣниво плетется изъ вагона на станцію. Тутъ среди залы перваго класса стоятъ знакомый оберъ-кондукторъ и начальникъ станціи, молодой человѣкъ съ красивой бородкой и въ великолѣпномъ, шаршавомъ пальто. Молодой человѣкъ, вѣроятно, отъ непривычки стоять на одномъ мѣстѣ, граціозно, какъ хорошій скаковой конь, переминается съ ноги на ногу, глядитъ по сторонамъ, дѣлаетъ подъ козырекъ всѣмъ мимо проходящимъ, улыбается, щуритъ глаза... Онъ румянъ, здоровъ, веселъ, лицо его дышитъ вдохновеніемъ и такою свѣжестью, какъ будто онъ только-что свалился съ неба вмѣстѣ съ пушистымъ снѣгомъ. Увидѣвъ Малахина, оберъ-кондукторъ виновато вздыхаетъ и разводитъ руками.

— Не придется намъ ѣхать четырнадцатымъ номеромъ!— говоритъ онъ. — Опоздали сильно. Ужъ другой поѣздъ пошелъ съ этимъ номеромъ.

Начальникъ станціи быстро просматриваетъ какіе-то бланки, потомъ переводитъ свои голубые, восторженные глаза на Малахина и, улыбаясь, дыша на него свѣжестью, осыпаетъ его вопросами:

— Вы господинъ Малахинъ? У васъ быки? Восемь вагоновъ? Какъ же теперь быть? Вы опоздали, и четырнадцатый номеръ уже пущенъ мною ночью. Что же мы теперь будемъ дѣлать?

Молодой человѣкъ двумя розовыми пальцами осторожно беретъ Малахина за мѣхъ полушубка и, переминаясь съ ноги на ногу, ласково и убѣдительно объясняетъ ему, что такіе-то номера уже ушли, а такіе-то пойдутъ, что онъ готовъ сдѣлать для Малахина все отъ него зависящее. И по лицу его видно, что онъ дѣйствительно готовъ сдѣлать пріятное не только Малахину, но даже всему свѣту—такъ онъ счастливъ, доволенъ и радъ! Старикъ слушаетъ и хотя ровно ничего не понимаетъ въ замысловатой поѣздной номераціи, но одобрительно киваетъ головой и самъ касается двумя пальцами нѣжной ворсы шаршаваго пальто. Ему пріятно видѣть и слушать приличнаго и ласковаго молодого человѣка. Чтобы съ своей стороны показать ему свое располо-

женіе, онъ вынимаетъ десятирублевку, подумавъ, прибавляетъ къ ней еще двѣ рублевыя бумажки и подаетъ ихъ начальнику станціи. Тотъ беретъ, дѣлаетъ подъ козырекъ и граціозно суетъ себѣ въ карманъ.

— Вотъ что, господа, не устроить ли намъ такимъ образомъ?—говоритъ онъ, озаренный новою, только-что мелькнувшей идеей. — Воинскій поѣздъ опоздалъ... его, какъ видите, нѣтъ... Такъ не отправиться ли вамъ воинскимъ *) поѣздомъ? А воинскій я ужъ пущу двадцать восьмымъ номеромъ. А?

— Пожалуй,—соглашается оберъ-кондукторъ.

— И отлично!—радуется начальникъ станціи.—Въ такомъ случаѣ вамъ нечего тутъ ждать, сейчасъ и поѣзжайте! Я васъ сейчасъ и отправлю! Отлично!

Онъ дѣлаетъ Малахину подъ козырекъ и, читая на пути бланки, бѣжитъ къ себѣ. Старикъ очень доволенъ только-что бывшимъ разговоромъ; онъ улыбается и оглядываетъ всю залу, какъ бы ища: нѣтъ ли тутъ еще чего-нибудь пріятнаго?

— А мы все-таки выпьемъ,—говоритъ онъ, беря оберъ-кондуктора подъ руку.

— Какъ будто бы еще рановато пить.

— Нѣтъ, ужъ вы позвольте мнѣ угостить васъ изъ любезности.

Оба идутъ къ буфету. Выпивши, оберъ-кондукторъ долго выбираетъ, чѣмъ бы закусить.

Это человѣкъ пожилой, чрезвычайно полный, съ полинявшимъ, пухлымъ лицомъ. Полнота у него непріятная, обрюзглая, съ желтизною, какая бываетъ у людей, много пьющихъ и спящихъ не во-время.

— А теперь и по второй можно выпить,—говоритъ Малахинъ. — Теперь время холодное, не грѣхъ выпить. Кушайте, покорнѣйше прошу. Такъ, значитъ, я на васъ надѣюсь, господинъ оберъ-кондукторъ, что всю дорогу не будетъ никакихъ препятствій и непріятностей. Потому, знаете, въ нашемъ скотопромышленномъ дѣлѣ каждый часъ дорогъ. Сегодня одна цѣна мясу, а завтра, гляди, другая.

---

*) Воинскимъ называется номеръ поѣзда, предназначеннаго спеціально для перевозки войскъ; когда войскъ не бываетъ, онъ везетъ товаръ и идетъ быстрѣе обыкновенныхъ товарныхъ поѣздовъ.

Опоздаешь на день—на два и не попадешь въ цѣну, да вмѣсто того, чтобъ пользу взять, гляди, и пріѣдешь домой, извините, безъ брюковъ. Кушайте, покорнѣйше прошу... Я на васъ надѣюсь, а насчетъ угощенія, или чего желаете, я изъ любезности могу во всякое время васъ уважить.

Накормивъ оберъ-кондуктора, Малахинъ возвращается къ себѣ въ вагонъ.

— Сейчасъ я себѣ воинскій номеръ вымаклачилъ,— говоритъ онъ сыну.—Шибко поѣдемъ. Кондукторъ говоритъ, что если все время съ этимъ номеромъ будемъ ѣхать, то завтра въ 8 часовъ вечера будемъ на мѣстѣ. Не похлопочешь, братъ, не получишь... Такъ-то... Гляди вотъ и пріучайся...

Послѣ перваго звонка къ дверямъ вагона подходитъ человѣкъ съ лицомъ, чернымъ отъ сажи, въ блузѣ и въ грязныхъ, потертыхъ панталонахъ на-выпускъ. Это смазчикъ, который только-что лазилъ подъ вагонами и стучалъ молоткомъ по колесамъ.

— Господа, это ваши вагоны съ быками?—спрашиваетъ онъ.

— Наши, а что?

— А то, что два вагона больные. Нельзя ихъ пущать, надо тутъ въ починку оставить.

— Ну да, бреши больше! Просто выпить хочется, хабару взять... Такъ и говорилъ бы.

— Какъ вамъ угодно, а только я сейчасъ обязанъ доложить.

Не возмущаясь и не протестуя, а спокойно, почти машинально старикъ достаетъ изъ кармана два двугривенныхъ и подаетъ ихъ смазчику. Тотъ тоже очень спокойно беретъ ихъ и, добродушно глядя на старика, заводитъ разговоръ:

— Поторговать, стало-быть, ѣдете... Хорошее дѣло!

Малахинъ вздыхаетъ и, спокойно глядя на черное лицо смазчика, разсказываетъ, что торговля быками прежде была дѣйствительно выгодна, теперь же она составляетъ дѣло рискованное и убыточное.

— Тутъ у меня товарищъ есть,—перебиваетъ его смазчикъ.—Такъ вы бы, господа купцы, и ему сколько-нибудь презентовали...

Малахинъ даетъ и на товарища... Воинскій поѣздъ идетъ быстро и стоитъ на станціяхъ сравнительно недолго. Старикъ доволенъ. Пріятное впечатлѣніе, оставленное молодымъ человѣкомъ въ шаршавомъ пальто, крѣпко засѣло въ немъ, выпитая водка слегка туманитъ голову, погода великолѣпная и, повидимому, все обстоитъ прекрасно. Онъ безъ умолку говоритъ и во время каждой остановки бѣгаетъ къ буфету. Чувствуя потребность въ слушателяхъ, онъ тащитъ къ буфету то оберъ-кондуктора, то машиниста, и пьетъ не просто, а длинно, съ причитываніями и съ чоканьемъ.

— У васъ свое дѣло, у насъ свое...—говоритъ онъ благодушно, улыбаясь.—Дай Богъ и намъ, и вамъ, и чтобъ не какъ намъ угодно, а какъ Богу...

Отъ водки онъ мало-по-малу возбуждается и впадаетъ въ дѣловой азартъ. Ему хочется хлопотать, торопиться, наводить справки, безъ умолку говорить. Онъ то роется въ карманахъ и въ узлахъ, и ищетъ какой-то бланокъ, то что-то вспоминаетъ и никакъ не можетъ вспомнить, то вынимаетъ бумажникъ и безъ всякой надобности пересчитываетъ свои деньги. Онъ суетится, охаетъ, ужасается, всплескиваетъ руками... Разложивъ передъ собою письма и телеграммы столичныхъ мясоторговцевъ, счеты, почтовыя и телеграфныя расписки, бланки, свою записную книжку, онъ соображаетъ вслухъ и требуетъ, чтобы Яша слушалъ.

А когда надоѣдаетъ ему читать бланки и говорить о цѣнахъ, онъ во время остановокъ бѣгаетъ по вагонамъ, гдѣ стоятъ его быки, ничего не дѣлаетъ, а только всплескиваетъ руками и ужасается.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой!—говоритъ онъ жалобнымъ голосомъ.—Священномученикъ Власій! Хоть оно и быкъ, хоть оно и тварь, а вѣдь тоже, какъ и люди, хочетъ и пить, и ѣсть. Ужъ четверо сутокъ, какъ не пили и не ѣли. Ахъ, Боже мой, Боже мой!

Яша, какъ послушный сынъ, ходитъ за нимъ и исполняетъ его приказанія. Ему не нравится, что старикъ часто бѣгаетъ къ буфету. Хоть онъ и боится отца, но не можетъ удержаться отъ замѣчанія.

— А вы ужъ начали!—говоритъ онъ, сурово оглядывая старика.—Съ какой это радости? Именинники вы, что ли?

— Не смѣешь ты родному отцу указывать.

— Ишь, моду какую взяли...

Когда не нужно бываетъ ходить за отцомъ, Яша все время сидитъ неподвижно на буркѣ и пиликаетъ на гармоникѣ. Изрѣдка онъ выйдетъ изъ вагона и лѣниво пройдется вдоль поѣзда; остановится онъ около локомотива и устремитъ долгій, неподвижный взглядъ на колеса или на рабочихъ, бросающихъ полѣнья на тендеръ; горячій локомотивъ сипитъ, падающія полѣнья издаютъ сочный, здоровый звукъ свѣжаго дерева; машинистъ и его помощникъ, люди очень хладнокровные и равнодушные, дѣлаютъ какія-то непонятныя движенія и не спѣшатъ. Постоявъ около паровоза, Яша лѣниво плетется на станцію; тутъ онъ оглядитъ закуски въ буфетѣ, прочтетъ для себя вслухъ какое-нибудь очень неинтересное объявленіе и не спѣша возвращается въ вагонъ. Лицо его не выражаетъ ни скуки, ни желаній; ему, повидимому, рѣшительно все равно, гдѣ ни быть: дома ли, въ вагонѣ, около ли паровоза...

Къ вечеру поѣздъ останавливается около большой станціи. Огни по линіи только-что зажжены; на синѣющемъ фонѣ, въ свѣжемъ, прозрачномъ воздухѣ огни ярки и блѣдны, какъ звѣзды; красны и лучисты они только подъ навѣсомъ, гдѣ уже темно. Всѣ пути запружены вагонами и, кажется, приди новый поѣздъ, для него не найдется мѣста. Яша бѣжитъ на станцію за кипяткомъ для вечерняго чая. На платформѣ гуляютъ хорошо одѣтыя дамы и гимназисты. По обѣ стороны вокзала, если поглядѣть съ платформы вдаль, мелькаютъ въ вечерней мглѣ далекіе огоньки—это городъ. Какой? Яшѣ не интересно знать. Онъ видитъ только тусклые огни и жалкія постройки за вокзаломъ, слышитъ крикъ извозчиковъ, чувствуетъ на лицѣ рѣзкій, холодный вѣтеръ и думаетъ, что этотъ городъ, вѣроятно, не хорошій, не уютный и скучный...

Во время чая, когда уже совсѣмъ стемнѣло и на стѣнѣ вагона по-вчерашнему виситъ фонарь, поѣздъ вздрагиваетъ отъ легкаго толчка и тихо идетъ назадъ. Пройдя немного, онъ останавливается; слышатся неясные крики, кто-то стучитъ цѣпями около буферовъ и кричитъ: «готово!» Поѣздъ трогается и идетъ впередъ. Минутъ черезъ десять его опять тащатъ назадъ.

Выйдя изъ вагона Малахинъ не узнаетъ своего поѣзда.

Его восемь вагоновъ съ быками стоятъ въ одномъ ряду съ невысокими вагонами-платформами, какихъ раньше не было въ поѣздѣ. На двухъ-трехъ платформахъ наваленъ бутъ, а остальныя пусты. Вдоль поѣзда снуютъ незнакомые кондуктора. На вопросы они отвѣчаютъ неохотно и глухо. Имъ не до Малахина; они торопятся составить поѣздъ, чтобы поскорѣе отдѣлаться и идти въ тепло.

— Какой это номеръ?—спрашиваетъ Малахинъ.

— Восемнадцатый!

— А гдѣ же воинскій? Зачѣмъ меня отъ воинскаго отцѣпили?

Не получивъ отвѣта, старикъ идетъ на станцію. Онъ ищетъ сначала знакомаго оберъ-кондуктора и, не найдя его, идетъ къ начальнику станціи. Начальникъ сидитъ у себя въ комнатѣ за столомъ и перебираетъ пальцами пачку какихъ-то бланковъ. Онъ занятъ и дѣлаетъ видъ, что не замѣчаетъ вошедшаго. Наружность у него внушительная: голова черная, стриженая, уши оттопыренныя, носъ длинный, съ горбиной, лицо смуглое; выраженіе у него суровое и какъ будто оскорбленное. Малахинъ начинаетъ длинно излагать ему свою претензію.

— Что-съ? — спрашиваетъ начальникъ. — Какъ? — онъ откидывается на спинку стула и продолжаетъ, возмущаясь:— что-съ? А почему же вамъ не ѣхать съ восемнадцатымъ номеромъ? Говорите яснѣе, я ничего не понимаю! Какъ? Прикажете мнѣ разорваться на части?

Онъ сыплетъ вопросами и безъ всякой видимой причины становится все строже и строже. Малахинъ уже лѣзетъ въ карманъ за бумажникомъ, но начальникъ, въ конецъ оскорбленный и возмущенный, неизвѣстно чѣмъ, вскакиваетъ со стула и выбѣгаетъ изъ комнаты. Малахинъ, пожимая плечами, выходитъ и ищетъ, съ кѣмъ бы еще поговорить.

Отъ скуки ли, изъ желанія ли завершить хлопотливый день еще какой-нибудь новой хлопотой, или просто потому, что на глаза ему попадается оконце съ вывѣской «Телеграфъ», онъ подходитъ къ окну и заявляетъ желаніе послать телеграмму. Взявши перо, онъ думаетъ и пишетъ на синемъ бланкѣ: «Срочная. Начальнику движенія. Восемь вагоновъ живымъ грузомъ. Задерживаютъ на каждой станціи. Прошу дать скорый номеръ. Отвѣтъ уплоченъ. Малахинъ».

Пославъ телеграмму, онъ опять идетъ въ комнату начальника станціи. Тутъ на диванчикѣ, обитомъ сѣрымъ сукномъ, сидитъ какой-то благообразный господинъ съ бакенами, въ очкахъ и въ енотовой шапкѣ; на немъ какая-то странная шубка, очень похожая на женскую, съ мѣховой опушкой, съ аксельбантами и съ разрѣзами на рукавахъ. Передъ нимъ стоитъ другой господинъ, сухой и жилистый, въ формѣ контролера.

— Помилуйте, — разсказываетъ контролеръ, обращаясь къ господину въ странной шубкѣ. — Я сейчасъ разскажу вамъ случай такой, что мое вамъ почтеніе! Z—я дорога преспокойнѣйшимъ образомъ украла у N—ской дороги триста товарныхъ вагоновъ. Это фактъ-съ! Клянусь Богомъ! Завезла къ себѣ, перекрасила, выставила свои литеры и— сдѣлайте ваше одолженіе! N—ская дорога шлетъ всюду агентовъ, ищетъ, ищетъ, и вдругъ, можете себѣ представить, попадается ей больной вагонъ Z—ской дороги. Она чинитъ его у себя въ депо и вдругъ, мое вамъ почтеніе, видитъ на колесахъ и осяхъ свое клеймо. Каково-съ? А? Сдѣлай это я, меня въ Сибирь сошлютъ, а желѣзнымъ дорогамъ—пссс!

Малахину пріятно поговорить съ интеллигентными, образованными людьми. Онъ разглаживаетъ бороду и солидно вмѣшивается въ разговоръ.

— Взять теперь, господа, къ примѣру хоть такой случай,—говоритъ онъ. — Я везу быковъ въ Х. Восемь вагоновъ. Хорошо-съ... Скажемъ теперь такъ: берутъ съ меня за каждый вагонъ, какъ за 600 пудовъ тяги. Въ восьми быкахъ не будетъ шести сотъ пудовъ, а гораздо меньше, они же не принимаютъ этого себѣ во вниманіе...

Въ это время въ комнату входитъ Яша, ищущій отца. Онъ слушаетъ и хочетъ сѣсть на стулъ, но, вѣроятно, вспомнивъ про свою тяжесть, отходитъ отъ стула и садится на подоконникъ.

— А они не принимаютъ это себѣ во вниманіе,—продолжаетъ Малахинъ: — и берутъ еще съ меня и съ сына за то, что мы при быкахъ ѣдемъ, сорокъ два рубля, какъ за III классъ. Это мой сынъ Іаковъ; есть у меня дома еще двое, да тѣ по ученой части. Ну-съ, и кромѣ того, я такъ понимаю, что желѣзныя дороги разорили скотопромышленниковъ. Прежде, когда гурты гоняли, лучше было.

Говоритъ старикъ протяжно и длинно. Послѣ каждой фразы онъ взглядываетъ на Яшу, какъ бы желая сказать: гляди, какъ я съ умными людьми разговариваю!

— Помилуйте!—перебиваетъ его контролеръ.—Никто не возмущается, никто не критикуетъ! А почему? Очень просто! Мерзость возмущаетъ и рѣжетъ глаза только тамъ, гдѣ она случайна, гдѣ ею нарушается порядокъ; здѣсь же, гдѣ она, мое вамъ почтеніе, составляетъ давно заведенную программу и входитъ въ основу самаго порядка, гдѣ каждая шпала носитъ ея слѣдъ и издаетъ ея запахъ, она слишкомъ скоро входитъ въ привычку! Да-съ!

Бьетъ второй звонокъ. Господинъ въ странной шубкѣ поднимается. Контролеръ беретъ его подъ руку и, продолжая горячо говорить, уходитъ съ нимъ на платформу. Послѣ третьяго звонка въ комнату вбѣгаетъ начальникъ станціи и садится за свой столъ.

— Послушайте, съ какимъ же номеромъ я поѣду?—спрашиваетъ Малахинъ.

Начальникъ глядитъ въ бланокъ и говоритъ, возмущаясь:

— Вы Малахинъ? Восемь вагоновъ? Съ васъ по рублю за вагонъ и шесть двадцать за марки. У васъ марокъ нѣтъ. Итого 14 руб. 20 коп.

Получивъ деньги, онъ записываетъ что-то, засыпаетъ пескомъ и, сердито рванувъ со стола пачку бланковъ, быстро выходитъ изъ комнаты.

Въ 10 часовъ вечера Малахинъ получаетъ отвѣтъ начальника движенія: «Дать преимущество». Прочитавъ эту телеграмму, старикъ значительно подмигиваетъ глазомъ и, очень довольный собою, кладетъ ее въ карманъ.

— Вотъ,—говоритъ онъ Яшѣ.—Гляди и пріучайся.

Въ полночь его поѣздъ идетъ дальше. Ночь, какъ вчера темная и холодная, стоянки долгія. Яша сидитъ на буркѣ и невозмутимо пиликаетъ на гармоникѣ, а старику все еще хочется хлопотать. На одной изъ станцій ему приходитъ охота составить протоколъ. По его требованію, жандармъ садится и пишетъ: «188* года ноября 10 я, унтеръ-офицеръ Z-го отдѣленія N-скаго жандармскаго полицейскаго управленія желѣзныхъ дорогъ Илья Чередъ, на основаніи 11 статьи закона 19-го мая 1871 года, составилъ сей протоколъ на станціи X. въ нижеслѣдующемъ...»

— Дальше что писать?—спрашиваетъ жандармъ.

Малахинъ выкладываетъ передъ нимъ бланки, почтовыя и телеграфныя расписки, счеты... Что ему нужно отъ жандарма, онъ самъ опредѣленно не знаетъ; ему хочется описать въ протоколѣ не какой-нибудь отдѣльный эпизодъ, а все свое путешествіе, всѣ свои убытки, разговоры съ начальниками станцій, описать длинно и язвительно.

— А на станціи Z.,—говоритъ онъ:—напишите: начальникъ станціи отцѣпилъ мои вагоны отъ воинскаго поѣзда, потому что моя физіономія ему не понравилась.

И ему хочется, чтобы жандармъ непремѣнно упомянулъ о физіономіи. Тотъ утомленно слушаетъ и, не дослушавъ, продолжаетъ писать. Свой протоколъ онъ заканчиваетъ такъ: «Вышеизложенное я, унтеръ-офицеръ Чередъ, записалъ въ сей протоколъ и постановилъ представить оный начальнику Z-го отдѣленія, а копію онаго выдать мѣщанину Гаврилѣ Малахину». Старикъ беретъ копію, пріобщаетъ ее къ бумагамъ, которыми набитъ его боковой карманъ, и очень довольный идетъ къ себѣ въ вагонъ.

Утромъ Малахинъ опять просыпается не въ духѣ, но уже гнѣвъ свой изливаетъ не на Яшѣ, а на быкахъ.

— Пропали быки!—ворчитъ онъ.—Пропали! Они передохнутъ! Накажи меня Богъ, передохнутъ всѣ! Тьфу!

Быки, давно уже не пившіе, мучимые жаждою, лижутъ иней на стѣнахъ и, когда подходитъ къ нимъ Малахинъ, начинаютъ лизать его холодный полушубокъ. По ихъ свѣтлымъ слезящимся глазамъ видно, что они изнеможены жаждой и вагонной качкой, голодны и тоскуютъ.

— Вотъ, вози васъ, проклятыхъ!—ворчитъ Малахинъ.— Ужъ издыхали бы поскорѣй, что ли! Глядѣть на васъ противно.

Въ полдень поѣздъ останавливается у большой станціи, гдѣ, по правиламъ, для живого груза устраивается водопой. Быкамъ Малахина даютъ пить, но быки не пьютъ: вода оказывается слишкомъ холодной...

---

Проходитъ еще двое сутокъ и наконецъ вдали, въ смугломъ туманѣ показывается столица. Путь конченъ. Поѣздъ останавливается, не доѣзжая города, около товарной станціи. Быки, выпущенные изъ вагоновъ на волю, пошатываются и спотыкаются, точно идутъ по скользкому льду.

Покончивъ съ выгрузкой и ветеринарнымъ осмотромъ,

Малахинъ и Яша поселяются въ грязныхъ, дешевыхъ номерахъ на окраинѣ города, на той самой площади, гдѣ производится торгъ скотомъ. Живутъ они въ грязи, ѣдятъ отвратительно, какъ никогда не ѣли у себя дома, спятъ подъ рѣзкіе звуки плохого оркестріона, день и ночь играющаго въ трактирѣ подъ номерами. Старикъ съ утра уходитъ куда-то искать покупателей, а Яша по цѣлымъ днямъ сидитъ въ номерѣ, или же выходитъ на улицу поглядѣть столичный городъ. Онъ видитъ грязную, унавоженную площадь, трактирныя вывѣски, зубчатую стѣну монастыря въ туманѣ... Изрѣдка перебѣжитъ онъ улицу и заглянетъ въ окно бакалейной лавочки, полюбуется на банки съ разноцвѣтными пряниками, зѣвнетъ и лѣниво поплетется къ себѣ въ номеръ. Столица не интересуетъ его.

Наконецъ быковъ продаютъ какому-то купцу. Малахинъ нанимаетъ погонщиковъ. Всѣхъ быковъ дѣлятъ на партіи по десяти головъ въ каждой и гонятъ ихъ на другой конецъ города. Быки, понуривъ головы, утомленные, идутъ по шумнымъ улицамъ и равнодушно глядятъ на то, что видятъ они первый и послѣдній разъ въ жизни. Оборванные погонщики идутъ за ними, тоже понуривъ головы. Имъ скучно... Изрѣдка какой-нибудь погонщикъ встрепенется отъ думъ, вспомнитъ, что впереди его идутъ ввѣренные ему быки, и, чтобы показать себя занятымъ человѣкомъ, со всего размаха ударитъ палкой по спинѣ быка. Быкъ спотыкнется отъ боли, пробѣжитъ шаговъ десять впередъ и поглядитъ въ стороны съ такимъ выраженіемъ, какъ будто ему совѣстно, что его бьютъ при чужихъ людяхъ.

Продавъ быковъ и накупивъ для семьи гостинцевъ, какіе можно было бы купить у себя дома, Малахинъ и Яша собираются въ обратный путь. За три часа до отхода поѣзда, старикъ, уже выпившій съ покупателемъ, а потому хлопотливый, спускается съ Яшей въ трактиръ и садится пить чай. Какъ всѣ провинціалы, онъ не можетъ одинъ пить и ѣсть: ему нужна компанія, такая же хлопотливая и разсудительная, какъ онъ самъ.

— Позови хозяина! — говоритъ онъ половому. — Скажи, что я его угостить желаю изъ любезности.

Хозяинъ, человѣкъ сытый и совершенно равнодушный къ своимъ постояльцамъ, приходитъ и садится за столъ.

— Ну, поторговали!—говоритъ ему Малахинъ, смѣясь.— Промѣняли козу на ястреба. Какъ же, уѣхали сюда—было мясо по три-девяносто, а пріѣзжаемъ—оно ужъ по три съ четвертакомъ. Говорятъ, опоздали, было бы тремя днями раньше пріѣзжать, потому что теперь на мясо спросъ нетотъ, Филипповъ постъ пришелъ... А? Чистая катавасія! На каждомъ быкѣ взялъ убытку четырнадцать рублей. Да вы посудите: провозъ быка сколько стоитъ? Пятнадцать рублей тарифа, да шесть рублей кладите на каждаго быка— шахеръ-махеръ, взятки, угощенія, то да се...

Хозяинъ изъ приличія слушаетъ и неохотно хлебаетъ чай. Малахинъ охаетъ, всплескиваетъ руками, подшучиваетъ надъ своей неудачей, но по всему видно, что понесенный имъ убытокъ мало волнуетъ его. Ему все равно, что убытокъ, что польза, лишь бы только были у него слушатели, было бы о чемъ хлопотать, да не опоздать бы какъ-нибудь на поѣздъ.

Черезъ часъ Малахинъ и Яша, навьюченные мѣшками и чемоданами, спускаются изъ номеровъ внизъ къ выходу, чтобы садиться на извозчика и ѣхать на вокзалъ. Ихъ провожаютъ хозяинъ, коридорные и какія-то бабы. Старикъ растроганъ. Онъ тычетъ во всѣ стороны гривенники и говоритъ нараспѣвъ:

— Прощайте, оставайтесь здоровы! Дай Богъ вамъ, чтобъ все было, какъ надо. Богъ дастъ, коли будемъ живы и здоровы, опять пріѣдемъ въ Великомъ посту. Прощайте! Спасибо... дай Богъ!

Сѣвши въ санки, старикъ снимаетъ шапку и долго крестится въ ту сторону, гдѣ въ туманѣ темнѣетъ монастырская стѣна. Яша садится рядомъ съ нимъ на краешекъ сидѣнья и свѣшиваетъ ногу въ сторону. Его лицо попрежнему безстрастно и не выражаетъ ни скуки, ни желаній. Онъ не радуется, что ѣдетъ домой, и не жалѣетъ, что не успѣлъ поглядѣть на столицу.

— Трогай!

Извозчикъ бьетъ по лошадкѣ и, обернувшись, начинаетъ браниться за тяжелый и громоздкій багажъ.

# СКУЧНАЯ ИСТОРІЯ.

(Изъ записокъ стараго человѣка.)

---

## I.

Есть въ Россіи заслуженный профессоръ Николай Степановичъ такой-то, тайный совѣтникъ и кавалеръ; у него такъ много русскихъ и иностранныхъ орденовъ, что когда ему приходится надѣвать ихъ, то студенты величаютъ его иконостасомъ. Знакомство у него самое аристократическое; по крайней мѣрѣ за послѣднія 25 — 30 лѣтъ въ Россіи нѣтъ и не было такого знаменитаго ученаго, съ которымъ онъ не былъ бы коротко знакомъ. Теперь дружить ему не съ кѣмъ, но если говорить о прошломъ, то длинный списокъ его славныхъ друзей заканчивается такими именами, какъ Пироговъ, Кавелинъ и поэтъ Некрасовъ, дарившіе его самой искренней и теплой дружбой. Онъ состоитъ членомъ всѣхъ русскихъ и трехъ заграничныхъ университетовъ. И прочее, и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляетъ то, что называется моимъ именемъ.

Это мое имя популярно. Въ Россіи оно извѣстно каждому грамотному человѣку, а за границею оно упоминается съ каѳедръ съ прибавкою извѣстный и почтенный. Принадлежитъ оно къ числу тѣхъ немногихъ счастливыхъ именъ, бранить которыя или упоминать ихъ всуе въ публикѣ и въ печати считается признакомъ дурного тона. Такъ это и должно быть. Вѣдь съ моимъ именемъ тѣсно связано понятіе о человѣкѣ знаменитомъ, богато одаренномъ и несо-

мнѣнно полезномъ. Я трудолюбивъ и выносливъ, какъ верблюдъ, а это важно, и талантливъ, а это еще важнѣе. Къ тому же, къ слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совалъ своего носа въ литературу и въ политику, не искалъ популярности въ полемикѣ съ невѣждами, не читалъ рѣчей ни на обѣдахъ, ни на могилахъ своихъ товарищей... Вообще на моемъ ученомъ имени нѣтъ ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо.

Носящій это имя, т. е. я, изображаю изъ себя человѣка 62 лѣтъ, съ лысой головой, съ вставными зубами и съ неизлѣчимымъ tic'омъ. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тусклъ и безобразенъ я самъ. Голова и руки у меня трясутся отъ слабости; шея, какъ у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, ротъ у меня кривится въ сторону; когда улыбаюсь — все лицо покрывается старчески-мертвенными морщинами. Ничего нѣтъ внушительнаго въ моей жалкой фигурѣ; только развѣ, когда бываю я боленъ tic'омъ, у меня появляется какое-то особенное выраженіе, которое у всякаго, при взглядѣ на меня, должно-быть, вызываетъ суровую внушительную мысль: «Повидимому, этотъ человѣкъ скоро умретъ».

Читаю я попрежнему не худо; какъ и прежде, я могу удерживать вниманіе слушателей въ продолженіе двухъ часовъ. Моя страстность, литературность изложенія и юморъ дѣлаютъ почти незамѣтными недостатки моего голоса, а онъ у меня сухъ, рѣзокъ и пѣвучъ, какъ у ханжи. Пишу же я дурно. Тотъ кусочекъ моего мозга, который завѣдуетъ писательскою способностью, отказался служить. Память моя ослабѣла, въ мысляхъ недостаточно послѣдовательности, и когда я излагаю ихъ на бумагѣ, мнѣ всякій разъ кажется, что я утерялъ чутье къ ихъ органической связи, конструкція однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу; когда пишу конецъ, не помню начала. Часто я забываю обыкновенныя слова, и всегда мнѣ приходится тратить много энергіи, чтобы избѣгать въ письмѣ лишнихъ фразъ и ненужныхъ вводныхъ предложеній — то и другое ясно свидѣтельствуетъ объ упадкѣ умственной дѣятельности. И замѣчательно, чѣмъ проще письмо, тѣмъ мучительнѣе мое напряженіе. За научной статьей я чувствую себя го-

раздо свободнѣе и умнѣе, чѣмъ за поздравительнымъ письмомъ или докладной запиской. Еще одно: писать по-нѣмецки или по-англійски для меня легче, чѣмъ по-русски.

Что касается моего теперешняго образа жизни, то прежде всего я долженъ отмѣтить безсонницу, которою страдаю въ послѣднее время. Если бы меня спросили: что составляетъ теперь главную и основную черту твоего существованія? Я отвѣтилъ бы: безсонница. Какъ и прежде, по привычкѣ, ровно въ полночь я раздѣваюсь и ложусь въ постель. Засыпаю я скоро, но во второмъ часу просыпаюсь, и съ такимъ чувствомъ, какъ будто совсѣмъ не спалъ. Приходится вставать съ постели и зажигать лампу. Часъ, или два я хожу изъ угла въ уголъ по комнатѣ и разсматриваю давно знакомыя картины и фотографіи. Когда надоѣдаетъ ходить, сажусь за свой столъ. Сижу я неподвижно, ни о чемъ не думая и не чувствуя никакихъ желаній; если передо мной лежитъ книга, то машинально я придвигаю ее къ себѣ и читаю безъ всякаго интереса. Такъ, недавно, въ одну ночь я прочелъ машинально цѣлый романъ подъ страннымъ названіемъ: «О чемъ пѣла ласточка». Или же я, чтобы занять свое вниманіе, заставляю себя считать до тысячи, или воображаю лицо кого-нибудь изъ товарищей и начинаю вспоминать: въ какомъ году и при какихъ обстоятельствахъ онъ поступилъ на службу? Люблю прислушиваться къ звукамъ. То за двѣ комнаты отъ меня быстро проговоритъ что-нибудь въ бреду моя дочь Лиза, то жена пройдетъ черезъ залу со свѣчой и непремѣнно уронитъ коробку со спичками, то скрипнетъ разсыхающійся шкапъ, или неожиданно загудитъ горѣлка въ лампѣ — и всѣ эти звуки почему-то волнуютъ меня.

Не спать ночью—значитъ каждую минуту сознавать себя ненормальнымъ, а потому я съ нетерпѣніемъ жду утра и дня, когда я имѣю право не спать. Проходитъ много томительнаго времени, прежде чѣмъ на дворѣ закричитъ пѣтухъ. Это мой первый благовѣститель. Какъ только онъ прокричитъ, я уже знаю, что черезъ часъ внизу проснется швейцаръ и, сердито кашляя, пойдетъ зачѣмъ-то вверхъ по лѣстницѣ. А потомъ за окнами начнетъ мало-по-малу блѣднѣть воздухъ, раздадутся на улицѣ голоса...

День начинается у меня приходомъ жены. Она входитъ ко мнѣ въ юбкѣ, непричесанная, но уже умытая, пахнущая

цвѣточнымъ одеколономъ, и съ такимъ видомъ, какъ будто вошла нечаянно, и всякій разъ говоритъ одно и то же:

— Извини, я на минутку... Ты опять не спалъ?

Затѣмъ она тушитъ лампу, садится около стола и начинаетъ говорить. Я не пророкъ, но заранѣе знаю, о чемъ будетъ рѣчь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно, послѣ тревожныхъ разспросовъ о моемъ здоровьѣ, она вдругъ вспоминаетъ о нашемъ сынѣ офицерѣ, служащемъ въ Варшавѣ. Послѣ двадцатаго числа каждаго мѣсяца мы высылаемъ ему по 50 рублей—это главнымъ образомъ и служитъ темою для нашего разговора.

— Конечно, это намъ тяжело,—вздыхаетъ жена:—но пока онъ окончательно не сталъ на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчикъ на чужой сторонѣ, жалованье маленькое... Впрочемъ, если хочешь, въ будущемъ мѣсяцѣ мы пошлемъ ему не пятьдесятъ, а сорокъ. Какъ ты думаешь?

Ежедневный опытъ могъ бы убѣдить жену, что расходы не становятся меньше оттого, что мы часто говоримъ о нихъ, но жена моя не признаетъ опыта и аккуратно каждое утро разсказываетъ и о нашемъ офицерѣ, и о томъ, что хлѣбъ, славу Богу, сталъ дешевле, а сахаръ подорожалъ на двѣ копейки — и все это такимъ тономъ, какъ будто сообщаетъ мнѣ новость.

Я слушаю, машинально поддакиваю и, вѣроятно оттого, что не спалъ ночь, странныя, ненужныя мысли овладѣваютъ мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь какъ ребенокъ. Въ недоумѣніи я спрашиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, съ тупымъ выраженіемъ мелочной заботы и страха передъ кускомъ хлѣба, со взглядомъ, отуманеннымъ постоянными мыслями о долгахъ и нуждѣ, умѣющая говорить только о расходахъ и улыбаться только дешевизнѣ — неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варею, которую я страстно полюбилъ за хорошій, ясный умъ, за чистую душу, красоту и, какъ Отелло Дездемону, за «состраданье» къ моей наукѣ? Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мнѣ сына?

Я напряженно всматриваюсь въ лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу въ ней свою Варю, но отъ прошлаго у ней уцѣлѣлъ только страхъ за мое здоровье, да еще манера мое жалованье называть нашимъ жалованьемъ, мою шапку—

нашей шапкой. Мнѣ больно смотрѣть на нее, и чтобы утѣшить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно, и даже молчу, когда она несправедливо судитъ о людяхъ, или журитъ меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебниковъ.

Кончается нашъ разговоръ всегда одинаково. Жена вдругъ вспоминаетъ, что я еще не пилъ чаю, и пугается.

— Что жъ это я сижу?—говоритъ она, поднимаясь.— Самоваръ давно на столѣ, а я тутъ болтаю. Какая я стала безпамятная, Господи!

Она быстро идетъ и останавливается у двери, чтобы сказать:

— Мы Егору должны за пять мѣсяцевъ. Ты это знаешь? Не слѣдуетъ запускать жалованья прислугѣ, сколько разъ я говорила! Отдать за мѣсяцъ десять рублей гораздо легче, чѣмъ за пять мѣсяцевъ—пятьдесятъ!

Выйдя за дверь, она опять останавливается и говоритъ:

— Никого мнѣ такъ не жаль, какъ нашу бѣдную Лизу. Учится дѣвочка въ консерваторіи, постоянно въ хорошемъ обществѣ, а одѣта Богъ знаетъ какъ. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но вѣдь всѣ знаютъ, что ея отецъ знаменитый профессоръ, тайный совѣтникъ!

И, попрекнувъ меня моимъ именемъ и чиномъ, она наконецъ уходитъ. Такъ начинается мой день. Продолжается онъ не лучше.

Когда я пью чай, ко мнѣ входитъ моя Лиза, въ шубкѣ, въ шапочкѣ и съ нотами, уже совсѣмъ готовая, чтобы идти въ консерваторію. Ей 22 года. На видъ она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену въ молодости. Она нѣжно цѣлуетъ меня въ високъ и въ руку и говоритъ:

— Здравствуй, папочка. Ты здоровъ?

Въ дѣтствѣ она очень любила мороженое, и мнѣ часто приходилось водить ее въ кондитерскую. Мороженое для нея было мѣриломъ всего прекраснаго. Если ей хотѣлось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Одинъ пальчикъ назывался у нея фисташковымъ, другой сливочнымъ, третій малиновымъ и т. д. Обыкновенно, когда по утрамъ она приходила ко мнѣ здороваться, я сажалъ ее къ себѣ на колѣни и, цѣлуя ея пальчики, приговаривалъ:

— Сливочный... фисташковый... лимонный...

И теперь, по старой памяти, я цѣлую пальцы Лизы и бормочу: «фисташковый... сливочный... лимонный...», но выходитъ у меня совсѣмъ не то. Я холоденъ какъ мороженое, и мнѣ стыдно. Когда входитъ ко мнѣ дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю точно въ високъ жалитъ меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. Съ тѣхъ поръ, какъ я страдаю безсонницей, въ моемъ мозгу гвоздемъ сидитъ вопросъ: дочь моя часто видитъ, какъ я, старикъ, знаменитый человѣкъ, мучительно краснѣю оттого, что долженъ лакею; она видитъ, какъ часто забота о мелкихъ долгахъ заставляетъ меня бросать работу и по цѣлымъ часамъ ходить изъ угла въ уголъ и думать, но отчего же она ни разу тайкомъ отъ матери не пришла ко мнѣ и не шепнула: «Отецъ, вотъ мои часы, браслеты, сережки, платья... Заложи все это, тебѣ нужны деньги...»? Отчего она, видя, какъ я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть отъ людей свою бѣдность, отчего она не откажется отъ дорогого удовольствія заниматься музыкой? Я бы не принялъ ни часовъ, ни браслетовъ, ни жертвъ, храни меня Богъ, — мнѣ не это нужно.

Кстати вспоминаю я и про своего сына, варшавскаго офицера. Это умный, честный и трезвый человѣкъ. Но мнѣ мало этого. Я думаю, если бы у меня былъ отецъ старикъ и если бы я зналъ, что у него бываютъ минуты, когда онъ стыдится своей бѣдности, то офицерское мѣсто я отдалъ бы кому-нибудь другому, а самъ нанялся бы въ работники. Подобныя мысли о дѣтяхъ отравляютъ меня. Къ чему онѣ? Таить въ себѣ злое чувство противъ обыкновенныхъ людей за то, что они не герои, можетъ только узкій или озлобленный человѣкъ. Но довольно объ этомъ.

Въ безъ четверти десять нужно идти къ моимъ милымъ мальчикамъ читать лекцію. Одѣваюсь и иду по дорогѣ, которая знакома мнѣ уже 30 лѣтъ и имѣетъ для меня свою исторію. Вотъ большой, сѣрый домъ съ аптекой; тутъ когда-то стоялъ маленькій домикъ, а въ немъ была портерная; въ этой портерной я обдумывалъ свою диссертацію и написалъ первое любовное письмо къ Варѣ. Писалъ карандашомъ, на листѣ съ заголовкомъ «Historia morbi». Вотъ бакалейная лавочка; когда-то хозяйничалъ въ ней жидокъ, продававшій мнѣ въ долгъ папиросы, потомъ толстая баба,

любившая студентовъ за то, что «у каждаго изъ нихъ мать есть»; теперь сидитъ рыжій купецъ, очень равнодушный человѣкъ, пьющій чай изъ мѣднаго чайника. А вотъ мрачныя, давно не ремонтированныя университетскія ворота; скучающій дворникъ въ тулупѣ, метла, кучи снѣга... На свѣжаго мальчика, пріѣхавшаго изъ провинціи и воображающаго, что храмъ науки въ самомъ дѣлѣ храмъ, такія ворота не могутъ произвести здороваго впечатлѣнія. Вообще ветхость университетскихъ построекъ, мрачность коридоровъ, копоть стѣнъ, недостатокъ свѣта, унылый видъ ступеней, вѣшалокъ и скамей въ исторіи русскаго пессимизма занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ на ряду причинъ предрасполагающихъ... Вотъ и нашъ садъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я былъ студентомъ, онъ, кажется, не сталъ ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнѣе, если бы вмѣсто чахоточныхъ липъ, желтой акаціи и рѣдкой, стриженой сирени росли тутъ высокія сосны и хорошіе дубы. Студентъ, настроеніе котораго въ большинствѣ создается обстановкой, на каждомъ шагу, тамъ, гдѣ онъ учится, долженъ видѣть передъ собою только высокое, сильное и изящное... Храни его Богъ отъ тощихъ деревьевъ, разбитыхъ оконъ, сѣрыхъ стѣнъ и дверей, обитыхъ рваной клеенкой.

Когда подхожу я къ своему крыльцу, дверь распахивается и меня встрѣчаетъ мой старый сослуживецъ, сверстникъ и тезка швейцаръ Николай. Впустивъ меня, онъ крякаетъ и говоритъ:

— Морозъ, ваше превосходительство!

Или же, если моя шуба мокрая, то:

— Дождикъ, ваше превосходительство!

Затѣмъ онъ бѣжитъ впереди меня и отворяетъ на моемъ пути всѣ двери. Въ кабинетѣ онъ бережно снимаетъ съ меня шубу и въ это время успѣваетъ сообщить мнѣ какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существуетъ между всѣми университетскими швейцарами и сторожами, ему извѣстно все, что происходитъ на четырехъ факультетахъ, въ канцеляріи, въ кабинетѣ ректора, въ библіотекѣ. Чего только онъ не знаетъ? Когда у насъ злобою дня бываетъ, напримѣръ, отставка ректора или декана, то я слышу, какъ онъ, разговаривая съ молодыми сторожами, называетъ кандидатовъ и тутъ же поясняетъ, что такого-то не утвердитъ министръ, такой-то

самъ откажется, потомъ вдается въ фантастическія подробности о какихъ-то таинственныхъ бумагахъ, полученныхъ въ канцеляріи, о секретномъ разговорѣ, бывшемъ якобы у министра съ попечителемъ и т. п. Если исключить эти подробности, то въ общемъ онъ почти всегда оказывается правымъ. Характеристики, дѣлаемыя имъ каждому изъ кандидатовъ, своеобразны, но тоже вѣрны. Если вамъ нужно узнать, въ какомъ году кто защищалъ диссертацію, поступилъ на службу, вышелъ въ отставку, или умеръ, то призовите къ себѣ на помощь громадную память этого солдата, и онъ не только назоветъ вамъ годъ, мѣсяцъ и число, но и сообщитъ также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Такъ помнить можетъ только тотъ, кто любитъ.

Онъ хранитель университетскихъ преданій. Отъ своихъ предшественниковъ-швейцаровъ онъ получилъ въ наслѣдство много легендъ изъ университетской жизни, прибавилъ къ этому богатству много своего добра, добытаго за время службы, и если хотите, то онъ разскажетъ вамъ много длинныхъ и короткихъ исторій. Онъ можетъ разсказать о необыкновенныхъ мудрецахъ, знавшихъ *все*, о замѣчательныхъ труженикахъ, не спавшихъ по недѣлямъ, о многочисленныхъ мученикахъ и жертвахъ науки; добро торжествуетъ у него надъ зломъ, слабый всегда побѣждаетъ сильнаго, мудрый глупаго, скромный гордаго, молодой стараго... Нѣтъ надобности принимать всѣ эти легенды и небылицы за чистую монету, но процѣдите ихъ, и у васъ на фильтрѣ останется то, что нужно: наши хорошія традиціи и имена истинныхъ героевъ, признанныхъ всѣми.

Въ нашемъ обществѣ всѣ свѣдѣнія о мірѣ ученыхъ исчерпываются анекдотами о необыкновенной разсѣянности старыхъ профессоровъ и двумя-тремя остротами, которыя приписываются то Груберу, то мнѣ, то Бабухину. Для образованнаго общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученыхъ и студентовъ такъ, какъ Николай, то его литература давно бы уже имѣла цѣлыя эпопеи, сказанія и житія, какихъ, къ сожалѣнію, она не имѣетъ теперь.

Сообщивъ мнѣ новость, Николай придаетъ своему лицу строгое выраженіе, и у насъ начинается дѣловой разговоръ. Если бы въ это время кто-нибудь посторонній послушалъ, какъ Николай свободно обращается съ термино-

логіей, то, пожалуй, могъ бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатомъ. Кстати сказать, толки объ учености университетскихъ сторожей сильно преувеличены. Правда, Николай знаетъ больше сотни латинскихъ названій, умѣетъ собрать скелетъ, иногда приготовитъ препаратъ, разсмѣшитъ студентовъ какой-нибудь длинной, ученой цитатой, но, напримѣръ, незамысловатая теорія кровообращенія для него и теперь такъ же темна, какъ 20 лѣтъ назадъ.

За столомъ въ кабинетѣ, низко нагнувшись надъ книгой или препаратомъ, сидитъ мой прозекторъ Петръ Игнатьевичъ, трудолюбивый, скромный, но безталанный человѣкъ, лѣтъ 35, уже плѣшивый и съ большимъ животомъ. Работаетъ онъ отъ утра до ночи, читаетъ массу, отлично помнитъ все прочитанное—и въ этомъ отношеніи онъ не человѣкъ, а золото; въ остальномъ же прочемъ—это ломовой конь, или, какъ иначе говорятъ, ученый тупица. Характерныя черты ломового коня, отличающія его отъ таланта, таковы: кругозоръ его тѣсенъ и рѣзко ограниченъ спеціальностью; внѣ своей спеціальности онъ наивенъ какъ ребенокъ. Помнится, какъ-то утромъ я вошелъ въ кабинетъ и сказалъ:

— Представьте, какое несчатье! Говорятъ, Скобелевъ умеръ.

Николай перекрестился, а Петръ Игнатьевичъ обернулся ко мнѣ и спросилъ:

— Какой это Скобелевъ?

Въ другой разъ — это было нѣсколько раньше — я объявилъ, что умеръ профессоръ Перовъ. Милѣйшій Петръ Игнатьевичъ спросилъ:

— А что онъ читалъ?

Кажется, запой у него подъ самымъ ухомъ Патти, нападе на Россію полчища китайцевъ, случись землетрясеніе, онъ не пошевельнется ни однимъ членомъ и преспокойно будетъ смотрѣть прищуреннымъ глазомъ въ своей микроскопъ. Однимъ словомъ, до Гекубы ему нѣтъ никакого дѣла. Я бы дорого далъ, чтобы посмотрѣть, какъ этотъ сухарь спитъ со своей женой.

Другая черта: фанатическая вѣра въ непогрѣшимость науки и главнымъ образомъ всего того, что пишутъ нѣмцы. Онъ увѣренъ въ самомъ себѣ, въ своихъ препаратахъ,

знаетъ цѣль жизни и совершенно не знакомъ съ сомнѣніями и разочарованіями, отъ которыхъ сѣдѣютъ таланты. Рабское поклоненіе авторитетамъ и отсутствіе потребности самостоятельно мыслить. Разубѣдить его въ чемъ-нибудь трудно, спорить съ нимъ невозможно. Извольте-ка поспорить съ человѣкомъ, который глубоко убѣжденъ, что самая лучшая наука—медицина; самые лучшіе люди—врачи, самыя лучшія традиціи — медицинскія. Отъ недобраго медицинскаго прошлаго уцѣлѣла только одна традиція—бѣлый галстукъ, который носятъ теперь доктора; для ученаго же и вообще образованнаго человѣка могутъ существовать только традиціи обще-университетскія, безъ всякаго дѣленія ихъ на медицинскія, юридическія и т. п., но Петру Игнатьевичу трудно согласиться съ этимъ и онъ готовъ спорить съ вами до страшнаго суда.

Будущность его представляется мнѣ ясно. За всю свою жизнь онъ приготовитъ нѣсколько сотенъ препаратовъ необыкновенной чистоты, напишетъ много сухихъ, очень приличныхъ рефератовъ, сдѣлаетъ съ десятокъ добросовѣстныхъ переводовъ, но пороха не выдумаетъ. Для пороха нужны фантазія, изобрѣтательность, умѣніе угадывать, а у Петра Игнатьевича нѣтъ ничего подобнаго. Короче говоря, это не хозяинъ въ наукѣ, а работникъ.

Я, Петръ Игнатьевичъ и Николай говоримъ вполголоса. Намъ немножко не по себѣ. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью моремъ гудитъ аудиторія. За 30 лѣтъ я не привыкъ къ этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртукъ, задаю Николаю лишніе вопросы, сержусь... Похоже на то, какъ будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не въ состояніи ни назвать, ни описать.

Безъ всякой надобности я смотрю на часы и говорю:

— Что жъ? Надо идти.

И мы шествуемъ въ такомъ порядкѣ: впереди идетъ Николай съ препаратами или съ атласами, за нимъ я, а за мною, скромно поникнувъ головою, шагаетъ ломовой конь; или же, если нужно, впереди на носилкахъ несутъ трупъ, за трупомъ идетъ Николай и т. д. При моемъ появленіи студенты встаютъ, потомъ садятся, и шумъ моря внезапно стихаетъ. Наступаетъ штиль.

Я знаю, о чемъ буду читать, но не знаю, какъ буду чи-

тать, съ чего начну и чѣмъ кончу. Въ головѣ нѣтъ ни одной готовой фразы. Но стоитъ мнѣ только оглядѣть аудиторію (она построена у меня амфитеатромъ) и произнести стереотипное «въ прошлой лекціи мы остановились на...», какъ фразы длинной вереницей вылетаютъ изъ моей души и — пошла писать губернія! Говорю я неудержимо быстро, страстно и, кажется, нѣтъ той силы, которая могла бы прервать теченіе моей рѣчи. Чтобы читать хорошо, т. е. нескучно и съ пользой для слушателей, нужно, кромѣ таланта, имѣть еще сноровку и опытъ, нужно обладать самымъ яснымъ представленіемъ о своихъ силахъ, о тѣхъ, кому читаешь, и о томъ, что составляетъ предметъ твоей рѣчи. Кромѣ того, надо быть человѣкомъ себѣ на умѣ, слѣдить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрѣнія.

Хорошій дирижеръ, передавая мысль композитора, дѣлаетъ сразу двадцать дѣлъ: читаетъ партитуру, машетъ палочкой, слѣдитъ за пѣвцомъ, дѣлаетъ движеніе въ сторону то барабана, то волторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтораста лицъ непохожихъ одно на другое, и триста глазъ, глядящихъ мнѣ прямо въ лицо. Цѣль моя—побѣдить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имѣю ясное представленіе о степени ея вниманія и о силѣ разумѣнія, то она въ моей власти. Другой мой противникъ сидитъ во мнѣ самомъ. Это—безконечное разнообразіе формъ, явленій и законовъ и множество ими обусловленныхъ своихъ и чужихъ мыслей. Каждую минуту я долженъ имѣть ловкость выхватывать изъ этого громаднаго матеріала самое важное и нужное, и такъ же быстро, какъ течетъ моя рѣчь, облекать свою мысль въ такую форму, которая была бы доступна разумѣнію гидры и возбуждала бы ея вниманіе, причемъ надо зорко слѣдить, чтобы мысли передавались не по мѣрѣ ихъ накопленія, а въ извѣстномъ порядкѣ, необходимомъ для правильной компановки картины, какую я хочу нарисовать. Далѣе я стараюсь, чтобы рѣчь моя была литературна, опредѣленія кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я долженъ осаживать себя и помнить, что въ моемъ распоряженіи имѣются только часъ и сорокъ минутъ. Однимъ словомъ, работы не мало. Въ одно и то же время приходится изображать изъ себя и

ученаго, и педагога, и оратора, и плохо дѣло, если ораторъ побѣдитъ въ васъ педагога и ученаго, или наоборотъ.

Читаешь четверть, полчаса и вотъ замѣчаешь, что студенты начинаютъ поглядывать на потолокъ, на Петра Игнатьевича, одинъ полѣзетъ за платкомъ, другой сядетъ поудобнѣе, третій улыбнется своимъ мыслямъ... Это значитъ, что вниманіе утомлено. Нужно принять мѣры. Пользуясь первымъ удобнымъ случаемъ, я говорю какой-нибудь каламбуръ. Всѣ полтораста лицъ широко улыбаются, глаза весело блестятъ, слышится ненадолго гулъ моря... Я тоже смѣюсь. Вниманіе освѣжилось, и я могу продолжать.

Никакой спортъ, никакія развлеченія и игры никогда не доставляли мнѣ такого наслажденія, какъ чтеніе лекціи. Только на лекціи я могъ весь отдаваться страсти и понималъ, что вдохновеніе не выдумка поэтовъ, а существуетъ на самомъ дѣлѣ. И я думаю, Геркулесъ послѣ самаго пикантнаго изъ своихъ подвиговъ не чувствовалъ такого сладостнаго изнеможенія, какое переживалъ я всякій разъ послѣ лекцій.

Это было прежде. Теперь же на лекціяхъ я испытываю одно только мученіе. Не проходитъ и получаса, какъ я начинаю чувствовать непобѣдимую слабость въ ногахъ и въ плечахъ; сажусь въ кресло, но сидя читать я не привыкъ; черезъ минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потомъ опять сажусь. Во рту сохнетъ, голосъ сипнетъ, голова кружится... Чтобы скрыть отъ слушателей свое состояніе, я то и дѣло пью воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мнѣ мѣшаетъ насморкъ, говорю невпопадъ каламбуры и, въ концѣ концовъ, объявляю перерывъ раньше, чѣмъ слѣдуетъ. Но главнымъ образомъ мнѣ стыдно.

Мои совѣсть и умъ говорятъ мнѣ, что самое лучшее, что я могъ бы теперь сдѣлать,—это прочесть мальчикамъ прощальную лекцію, сказать имъ послѣднее слово, благословить ихъ и уступить свое мѣсто человѣку, который моложе и сильнѣе меня. Но пусть судитъ меня Богъ, у меня не хватаетъ мужества поступить по совѣсти.

Къ несчастію, я не философъ и не богословъ. Мнѣ отлично извѣстно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробныхъ потемкахъ и о тѣхъ видѣніяхъ, которыя посѣтятъ мой могильный сонъ. Но почему-то душа

моя не хочетъ знать этихъ вопросовъ, хотя умъ и сознаетъ всю ихъ важность. Какъ 20—30 лѣтъ назадъ, такъ и теперь передъ смертію меня интересуетъ одна только наука. Испуская послѣдній вздохъ, я все-таки буду вѣрить, что наука—самое важное, самое прекрасное и нужное въ жизни человѣка, что она всегда была и будетъ высшимъ проявленіемъ любви, и что только ею одною человѣкъ побѣдитъ природу и себя. Вѣра эта, быть-можетъ, наивна и несправедлива въ своемъ основаніи, но я не виноватъ, что вѣрю такъ, а не иначе; побѣдить же въ себѣ этой вѣры я не могу.

Но не въ этомъ дѣло. Я только прошу снизойти къ моей слабости и понять, что оторвать отъ каѳедры и учениковъ человѣка, котораго судьбы костнаго мозга интересуютъ больше, чѣмъ конечная цѣль мірозданія, равносильно тому, если бы его взяли да и заколотили въ гробъ, не дожидаясь, пока онъ умретъ.

Отъ безсонницы и вслѣдствіе напряженной борьбы съ возрастающею слабостью, со мной происходитъ нѣчто странное. Среди лекціи къ горлу вдругъ подступаютъ слезы, начинаютъ чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желаніе протянуть впередъ руки и громко пожаловаться. Мнѣ хочется прокричать громкимъ голосомъ, что меня, знаменитаго человѣка, судьба приговорила къ смертной казни, что черезъ какихъ-нибудь полгода, здѣсь въ аудиторіи будетъ хозяйничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравленъ; новыя мысли, какихъ не зналъ я раньше, отравили послѣдніе дни моей жизни и продолжаютъ жалить мой мозгъ, какъ москиты. И въ это время мое положеніе представляется такимъ ужаснымъ, что мнѣ хочется, чтобы всѣ мои слушатели ужаснулись, вскочили съ мѣстъ и въ паническомъ страхѣ, съ отчаяннымъ крикомъ бросились къ выходу.

Не легко переживать такія минуты.

## II.

Послѣ лекціи я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертаціи, или готовлюсь къ слѣдующей лекціи, иногда пишу что-нибудь. Работаю съ перерывами, такъ какъ приходится принимать посѣтителей.

Слышится звонокъ. Это товарищъ пришелъ поговорить о

дѣлѣ. Онъ входитъ ко мнѣ со шляпой, съ палкой и, протягивая ко мнѣ ту и другую, говоритъ:

— Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова!

Первымъ дѣломъ мы стараемся показать другъ другу, что мы оба необыкновенно вѣжливы и очень рады видѣть другъ друга. Я усаживаю его въ кресло, а онъ усаживаетъ меня; при этомъ мы осторожно поглаживаемъ другъ друга по таліямъ, касаемся пуговицъ и похоже на то, какъ будто мы ощупываемъ другъ друга и боимся обжечься. Оба смѣемся, хотя не говоримъ ничего смѣшного. Усѣвшись, наклоняемся другъ къ другу головами и начинаемъ говорить вполголоса. Какъ бы сердечно мы ни были расположены другъ къ другу, мы не можемъ, чтобы не золотить нашей рѣчи всякой китайщиной, въ родѣ: «вы изволили справедливо замѣтить», или «какъ я уже имѣлъ честь вамъ сказать», не можемъ, чтобы не хохотать, если кто изъ насъ сострить, хотя бы неудачно. Кончивъ говорить о дѣлѣ, товарищъ порывисто встаетъ и, помахивая шляпой въ сторону моей работы, начинаетъ прощаться. Опять щупаемъ другъ друга и смѣемся. Провожаю до передней; тутъ помогаю товарищу надѣть шубу, но онъ всячески уклоняется отъ этой высокой чести. Затѣмъ, когда Егоръ отворяетъ дверь, товарищъ увѣряетъ меня, что я простужусь, а я дѣлаю видъ, что готовъ идти за нимъ даже на улицу. И когда, наконецъ, я возвращаюсь къ себѣ въ кабинетъ, лицо мое все еще продолжаетъ улыбаться, должно-быть, по инерціи.

Немного погодя, другой звонокъ. Кто-то входитъ въ переднюю, долго раздѣвается и кашляетъ. Егоръ докладываетъ, что пришелъ студентъ. Я говорю: проси. Черезъ минуту входитъ ко мнѣ молодой человѣкъ пріятной наружности. Вотъ ужъ годъ, какъ мы съ нимъ находимся въ натянутыхъ отношеніяхъ: онъ отвратительно отвѣчаетъ мнѣ на экзаменахъ, а я ставлю ему единицы. Такихъ молодцовъ, которыхъ я, выражаясь на студенческомъ языкѣ, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человѣкъ семь. Тѣ изъ нихъ, которые не выдерживаютъ экзамена по неспособности или по болѣзни, обыкновенно несутъ свой крестъ терпѣливо и не торгуются со мной; торгуются же и ходятъ ко мнѣ на домъ только сангвиники, широкія натуры,

которымъ проволочка на экзаменахъ портитъ аппетитъ и мѣшаетъ аккуратно посѣщать оперу. Первымъ я мирволю, а вторыхъ гоняю по цѣлому году.

— Садитесь,—говорю я гостю.—Что скажете?

— Извините, профессоръ, за безпокойство...—начинаетъ онъ, заикаясь и не глядя мнѣ въ лицо.—Я бы не посмѣлъ безпокоить васъ, если бы не... Я держалъ у васъ экзаменъ уже пять разъ и... и срѣзался. Прошу васъ, будьте добры, поставьте мнѣ «удовлетворительно», потому что...

Аргументъ, который всѣ лѣнтяи приводятъ въ свою пользу, всегда одинъ и тотъ же: они прекрасно выдержали по всѣмъ предметамъ и срѣзались только на моемъ, и это тѣмъ болѣе удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знаютъ его прекрасно; срѣзались же они, благодаря какому-то непонятному недоразумѣнію.

— Извините, мой другъ,—говорю я гостю:—поставить вамъ «удовлетворительно» я не могу. Подите еще почитайте лекціи и приходите. Тогда увидимъ.

Пауза. Мнѣ приходитъ охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу онъ любитъ больше, чѣмъ науку, и я говорю со вздохомъ:

— По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сдѣлать, это—совсѣмъ оставить медицинскій факультетъ. Если при вашихъ способностяхъ вамъ никакъ не удается выдержать экзамена, то, очевидно, у васъ нѣтъ ни желанія, ни призванія быть врачомъ.

Лицо сангвиника вытягивается.

— Простите, профессоръ,—усмѣхается онъ:—но это было бы съ моей стороны по меньшей мѣрѣ странно. Проучиться пять лѣтъ и вдругъ... уйти!

— Ну, да! Лучше потерять даромъ пять лѣтъ, чѣмъ потомъ всю жизнь заниматься дѣломъ, котораго не любишь.

Но тотчасъ же мнѣ становится жаль его и я спѣшу сказать:

— Впрочемъ, какъ знаете. Итакъ, почитайте еще немножко и приходите.

— Когда?—глухо спрашиваетъ лѣнтяй.

— Когда хотите. Хоть завтра.

И въ его добрыхъ глазахъ я читаю: «Придти-то можно, но вѣдь ты, скотина, опять меня прогонишь!»

— Конечно,—говорю я:—вы не станете ученѣе оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать разъ, но это воспитаетъ въ васъ характеръ. И на томъ спасибо.

Наступаетъ молчаніе. Я поднимаюсь и жду, когда уйдетъ гость, а онъ стоитъ, смотритъ на окно, теребитъ свою бородку и думаетъ. Становится скучно.

Голосъ у сангвиника пріятный, сочный, глаза умные, насмѣшливые, лицо благодушное, нѣсколько помятое отъ частаго употребленія пива и долгаго лежанья на диванѣ; повидимому, онъ могъ бы разсказать мнѣ много интереснаго про оперу, про свои любовныя похожденія, про товарищей, которыхъ онъ любитъ, но, къ сожалѣнію, говорить объ этомъ не принято. А я бы охотно послушалъ.

— Профессоръ! Даю вамъ честное слово, что если вы поставите мнѣ «удовлетворительно», то я...

Какъ только дѣло дошло до «честнаго слова», я махаю руками и сажусь за столъ. Студентъ думаетъ еще минуту и говоритъ уныло:

— Въ такомъ случаѣ прощайте... Извините.

— Прощайте, мой другъ. Добраго здоровья.

Онъ нерѣшительно идетъ въ переднюю, медленно одѣвается тамъ и, выйдя на улицу, вѣроятно, опять долго думаетъ; ничего не придумавъ, кромѣ «стараго чорта» по моему адресу, онъ идетъ въ плохой ресторанъ пить пиво и обѣдать, а потомъ къ себѣ домой спать. Миръ праху твоему, честный труженикъ!

Третій звонокъ. Входитъ молодой докторъ въ новой черной парѣ, въ золотыхъ очкахъ и, конечно, въ бѣломъ галстукѣ. Рекомендуется. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не безъ волненія молодой жрецъ науки начинаетъ говорить мнѣ, что въ этомъ году онъ выдержалъ экзаменъ на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацію. Ему хотѣлось бы поработать у меня, подъ моимъ руководствомъ, и я бы премного обязалъ его, если бы далъ ему тему для диссертаціи.

— Очень радъ быть полезнымъ, коллега,—говорю я:—но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертація. Подъ этимъ словомъ принято разумѣть сочиненіе, составляющее продуктъ самостоятельнаго творчества. Не такъ ли? Сочиненіе же, написанное на чужую тему и подъ чужимъ руководствомъ, называется иначе...

Докторантъ молчитъ. Я вспыхиваю и вскакиваю съ мѣста.

— Что вы всѣ ко мнѣ ходите, не понимаю? — кричу я сердито. — Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами! Въ тысячу первый разъ прошу васъ всѣхъ оставить меня въ покоѣ! Извините за неделикатность, но мнѣ, наконецъ, это надоѣло!

Докторантъ молчитъ и только около его скулъ выступаетъ легкая краска. Лицо его выражаетъ глубокое уваженіе къ моему знаменитому имени и учености, а по глазамъ его я вижу, что онъ презираетъ и мой голосъ, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцію. Въ своемъ гнѣвѣ я представляюсь ему чудакомъ.

— У меня не лавочка! — сержусь я. — И удивительное дѣло! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вамъ такъ противна свобода?

Говорю я много, а онъ все молчитъ. Въ концѣ концовъ я мало-по-малу стихаю и, разумѣется, сдаюсь. Докторантъ получитъ отъ меня тему, которой грошъ цѣна, напишетъ подъ моимъ наблюденіемъ никому ненужную диссертацію, съ достоинствомъ выдержитъ скучный диспутъ и получитъ ненужную ему ученую степень.

Звонки могутъ слѣдовать одинъ за другимъ безъ конца, но я здѣсь ограничусь только четырьмя. Бьетъ четвертый звонокъ, и я слышу знакомые шаги, шорохъ платья, милый голосъ...

18 лѣтъ тому назадъ умеръ мой товарищъ окулистъ и оставилъ послѣ себя семилѣтнюю дочь Катю и тысячъ шестьдесятъ денегъ. Въ своемъ завѣщаніи онъ назначилъ опекуномъ меня. До десяти лѣтъ Катя жила въ моей семьѣ, потомъ была отдана въ институтъ и живала у меня только въ лѣтніе мѣсяцы, во время каникулъ. Заниматься ея воспитаніемъ было мнѣ некогда, наблюдалъ я ее только урывками, и потому о дѣтствѣ ея могу сказать очень немного.

Первое, что я помню и люблю по воспоминаніямъ, это — необыкновенную довѣрчивость, съ какою она вошла въ мой домъ, лѣчилась у докторовъ и которая всегда свѣтилась на ея личикѣ. Бывало, сидитъ гдѣ-нибудь въ сторонкѣ съ подвязанной щекой и непремѣнно смотритъ на что-нибудь со вниманіемъ; видитъ ли она въ это время, какъ я пишу и перелистываю книги, или какъ хлопочетъ жена, или какъ

кухарка въ кухнѣ чиститъ картофель, или какъ играетъ собака, у нея всегда неизмѣнно глаза выражали одно и то же, а именно: «Все, что дѣлается на этомъ свѣтѣ, все прекрасно и умно». Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидитъ за столомъ противъ меня, слѣдитъ за моими движеніями и задаетъ вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что дѣлаю въ университетѣ, не боюсь ли труповъ, куда дѣваю свое жалованье.

— Студенты дерутся въ университетѣ?—спрашиваетъ она.

— Дерутся, милая.

— А вы ставите ихъ на колѣни?

— Ставлю.

И ей было смѣшно, что студенты дерутся и что я ставлю ихъ на колѣни, и она смѣялась. Это былъ кроткій, терпѣливый и добрый ребенокъ. Нерѣдко мнѣ приходилось видѣть, какъ у нея отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну, или не удовлетворяли ея любопытства; въ это время къ постоянному выраженію довѣрчивости на ея лицѣ примѣшивалась еще грусть—и только. Я не умѣлъ заступаться за нее, а только, когда видѣлъ грусть, у меня являлось желаніе привлечь ее къ себѣ и пожалѣть тономъ старой няньки: «сиротка моя милая»!

Помню также, она любила хорошо одѣваться и прыскаться духами. Въ этомъ отношеніи она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошіе духи.

Жалѣю, что у меня не было времени и охоты прослѣдить начало и развитіе страсти, которая вполнѣ уже владѣла Катею, когда ей было 14—15 лѣтъ. Я говорю объ ея страстной любви къ театру. Когда она пріѣзжала къ намъ изъ института на каникулы и жила у насъ, то ни о чемъ она не говорила съ такимъ удовольствіемъ и съ такимъ жаромъ, какъ о пьесахъ и актерахъ. Своими постоянными разговорами о театрѣ она утомляла насъ. Жена и дѣти не слушали ея. У одного только меня не хватало мужества отказывать ей во вниманіи. Когда у нея являлось желаніе подѣлиться своими восторгами, она входила ко мнѣ въ кабинетъ и говорила умоляющимъ тономъ:

— Николай Степанычъ, позвольте мнѣ поговорить съ вами о театрѣ!

Я показывалъ ей на часы и говорилъ:

— Даю тебѣ полчаса. Начинай.

Позднѣе она стала привозить съ собою цѣлыми дюжинами портреты актеровъ и актрисъ, на которыхъ молилась; потомъ попробовала нѣсколько разъ участвовать въ любительскихъ спектакляхъ и въ концѣ концовъ, когда кончила курсъ, объявила мнѣ, что она родилась быть актрисой.

Я никогда не раздѣлялъ театральныхъ увлеченій Кати. По-моему, если пьеса хороша, то, чтобы она произвела должное впечатлѣніе, нѣтъ надобности утруждать актеровъ; можно ограничиться однимъ только чтеніемъ. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сдѣлаетъ ее хорошею.

Въ молодости я часто посѣщалъ театръ, и теперь раза два въ годъ семья беретъ ложу и возитъ меня «провѣтрить». Конечно, этого недостаточно, чтобы имѣть право судить о театрѣ, но я скажу о немъ немного. По моему мнѣнію, театръ не сталъ лучше, чѣмъ онъ былъ 30—40 лѣтъ назадъ. Попрежнему ни въ театральныхъ коридорахъ, ни въ фойэ я никакъ не могу найти стакана чистой воды. Попрежнему капельдинеры штрафуютъ меня за мою шубу на двугривенный, хотя въ ношеніи теплаго платья зимою нѣтъ ничего предосудительнаго. Попрежнему въ антрактахъ играетъ безъ всякой надобности музыка, прибавляющая къ впечатлѣнію, получаемому отъ пьесы, еще новое, непрошенное. Попрежнему мужчины въ антрактахъ ходятъ въ буфетъ пить спиртные напитки. Если не видно прогресса въ мелочахъ, то напрасно я сталъ бы искать его и въ крупномъ. Когда актеръ съ головы до ногъ опутанный театральными традиціями и предразсудками, старается читать простой, обыкновенный монологъ «Быть или не быть» не просто, а почему-то непремѣнно съ шипѣніемъ, и съ судорогами во всемъ тѣлѣ, или когда онъ старается убѣдить меня во что бы то ни стало, что Чацкій, разговаривающій много съ дураками и любящій дуру, очень умный человѣкъ, и что «Горе отъ ума» не скучная пьеса, то на меня отъ сцены вѣетъ тою же самой рутиной, которая скучна мнѣ была еще 40 лѣтъ назадъ, когда меня угощали классическими завываніями и біеніемъ по персямъ. И всякій разъ выхожу я изъ театра консервативнымъ болѣе, чѣмъ когда вхожу туда.

Сантиментальную и довѣрчивую толпу можно убѣдить въ томъ, что театръ въ настоящемъ его видѣ есть школа. Но

кто знакомъ со школой въ истинномъ ея смыслѣ, того на эту удочку не поймаешь. Не знаю, что будетъ черезъ 50—100 лѣтъ, но при настоящихъ условіяхъ театръ можетъ служить только развлеченіемъ. Но развлеченіе это слишкомъ дорого для того, чтобы продолжать пользоваться имъ. Оно отнимаетъ у государства тысячи молодыхъ, здоровыхъ и талантливыхъ мужчинъ и женщинъ, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлѣбопашцами, учительницами, офицерами; оно отнимаетъ у публики вечерніе часы—лучшее время для умственнаго труда и товарищескихъ бесѣдъ. Не говорю ужъ о денежныхъ затратахъ и о тѣхъ нравственныхъ потеряхъ, какія несетъ зритель, когда видитъ на сценѣ неправильно трактуемыя убійство, прелюбодѣяніе, или клевету.

Катя же была совсѣмъ другого мнѣнія. Она увѣряла меня, что театръ, даже въ настоящемъ его видѣ, выше аудиторій, выше книгъ, выше всего на свѣтѣ. Театръ—это сила, соединяющая въ себѣ одной всѣ искусства, а актеры—миссіонеры. Никакое искусство и никакая наука въ отдѣльности не въ состояніи дѣйствовать такъ сильно и такъ вѣрно на человѣческую душу, какъ сцена, и недаромъ поэтому актеръ средней величины пользуется въ государствѣ гораздо большею популярностью, чѣмъ самый лучшій ученый или художникъ. И никакая публичная дѣятельность не можетъ доставить такого наслажденія и удовлетворенія, какъ сценическая.

И въ одинъ прекрасный день Катя поступила въ труппу и уѣхала, кажется, въ Уфу, увезя съ собою много денегъ, тьму радужныхъ надеждъ и аристократическіе взгляды на дѣло.

Первыя письма ея съ дороги были удивительны. Я читалъ ихъ и просто изумлялся, какъ это небольшіе листки бумаги могутъ содержать въ себѣ столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вмѣстѣ съ тѣмъ тонкихъ, дѣльныхъ сужденій, которыя могли бы сдѣлать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посѣщала, товарищей, свои успѣхи и неудачи она не описывала, а воспѣвала; каждая строчка дышала довѣрчивостью, какую я привыкъ видѣть на ея лицѣ—и при всемъ томъ масса грамматическихъ ошибокъ, а знаковъ препинанія почти совсѣмъ не было.

Не прошло и полгода, какъ я получилъ въ высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами: «Я полюбила». Къ этому письму была приложена фотографія, изображавшая молодого мужчину съ бритымъ лицомъ, въ широкополой шляпѣ и съ пледомъ, перекинутымъ черезъ плечо. Слѣдующія затѣмъ письма были попрежнему великолѣпны, но ужъ показались въ нихъ знаки препинанія, исчезли грамматическія ошибки и сильно запахло отъ нихъ мужчиною. Катя стала писать мнѣ о томъ, что хорошо бы гдѣ-нибудь на Волгѣ построить большой театръ не иначе, какъ на паяхъ, и привлечь къ этому предпріятію богатое купечество и пароходовладѣльцевъ; денегъ было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условіяхъ товарищества... Можетъ-быть, все это и въ самомъ дѣлѣ хорошо, но мнѣ кажется, что подобныя измышленія могутъ исходить только изъ мужской головы.

Какъ бы то ни было, полтора-два года, повидимому, все обстояло благополучно: Катя любила, вѣрила въ свое дѣло и была счастлива; но потомъ въ письмахъ я сталъ замѣчать явные признаки упадка. Началось съ того, что Катя пожаловалась мнѣ на своихъ товарищей—это первый и самый зловѣщій симптомъ; если молодой ученый или литераторъ начинаетъ свою дѣятельность съ того, что горько жалуется на ученыхъ или литераторовъ, то это значитъ, что онъ уже утомился и не годенъ для дѣла. Катя писала мнѣ, что ея товарищи не посѣщаютъ репетицій и никогда не знаютъ ролей; въ постановкѣ нелѣпыхъ пьесъ и въ манерѣ держать себя на сценѣ видно у каждаго изъ нихъ полное неуваженіе къ публикѣ; въ интересахъ сбора, о которомъ только и говорятъ, драматическія актрисы унижаются до пѣнія шансонетокъ, а трагики поютъ куплеты, въ которыхъ смѣются надъ рогатыми мужьями и надъ беременностью невѣрныхъ женъ и т. д. Въ общемъ надо изумляться, какъ это до сихъ поръ не погибло еще провинціальное дѣло и какъ оно можетъ держаться на такой тонкой и гнилой жилочкѣ.

Въ отвѣтъ я послалъ Катѣ длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочимъ я писалъ ей: «Мнѣ нерѣдко приходилось бесѣдовать со стариками-актерами, благороднѣйшими людьми, дарившими меня своимъ расположеніемъ; изъ разговоровъ съ ними я могъ понять, что ихъ

дѣятельностью руководятъ не столько ихъ собственный разумъ и свобода, сколько мода и настроеніе общества; лучшимъ изъ нихъ приходилось на своемъ вѣку играть и въ трагедіи, и въ опереткѣ, и въ парижскихъ фарсахъ, и въ фееріяхъ, и всегда одинаково имъ казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значитъ, какъ видишь, причину зла нужно искать не въ актерахъ, а глубже, въ самомъ искусствѣ и въ отношеніяхъ къ нему всего общества». Это мое письмо только раздражило Катю. Она мнѣ отвѣтила: «Мы съ вами поемъ изъ разныхъ оперъ. Я вамъ писала не о благороднѣйшихъ людяхъ, которые дарили васъ своимъ расположеніемъ, а о шайкѣ пройдохъ, не имѣющихъ ничего общаго съ благородствомъ. Это табунъ дикихъ людей, которые попали на сцену только потому, что ихъ не приняли бы нигдѣ въ другомъ мѣстѣ, и которые называютъ себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяницъ, интригановъ, сплетниковъ. Не могу вамъ высказать, какъ горько мнѣ, что искусство, которое я такъ люблю, попало въ руки ненавистныхъ мнѣ людей; горько, что лучшіе люди видятъ зло только издали, не хотятъ подойти поближе и вмѣсто того, чтобы вступиться, пишутъ тяжеловѣснымъ слогомъ общія мѣста и никому ненужную мораль...» и такъ далѣе, все въ такомъ родѣ.

Прошло еще немного времени и я получилъ такое письмо: «Я безчеловѣчно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, какъ это найдете нужнымъ. Я любила васъ, какъ отца и единственнаго моего друга. Простите».

Оказалось, что и ея *онъ* принадлежалъ тоже къ «табуну дикихъ людей». Впослѣдствіи по нѣкоторымъ намекамъ я могъ догадаться, что было покушеніе на самоубійство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потомъ была серьезно больна, такъ какъ слѣдующее письмо я получилъ уже изъ Ялты, куда, по всей вѣроятности, ее послали доктора. Послѣднее письмо ея ко мнѣ содержало въ себѣ просьбу возможно скорѣе выслать ей въ Ялту тысячу рублей и оканчивалось оно такъ: «Извините, что письмо такъ мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Проживъ въ Крыму около года, она вернулась домой.

Путешествовала она около четырехъ лѣтъ и во всѣ эти

четыре года, надо сознаться, я игралъ по отношенію къ ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранѣе она объявила мнѣ, что идетъ въ актрисы и потомъ писала мнѣ про свою любовь, когда ею періодически овладѣвалъ духъ расточительности и мнѣ то и дѣло приходилось, по ея требованію, высылать ей то тысячу, то двѣ рублей, когда она писала мнѣ о своемъ намѣреніи умереть и потомъ о смерти ребенка, то всякій разъ я терялся и все мое участіе въ ея судьбѣ выражалось только въ томъ, что я много думалъ и писалъ длинныя, скучныя письма, которыхъ я могъ бы совсѣмъ не писать. А между тѣмъ, вѣдь я замѣнялъ ей родного отца и любилъ ее, какъ дочь!

Теперь Катя живетъ въ полуверстѣ отъ меня. Она наняла квартиру въ пять комнатъ и обставилась довольно комфортабельно и съ присущимъ ей вкусомъ. Если бы кто взялся нарисовать ея обстановку, то преобладающимъ настроеніемъ въ картинѣ получилась бы лѣнь. Для лѣниваго тѣла—мягкія кушетки, мягкія табуретки, для лѣнивыхъ ногъ—ковры, для лѣниваго зрѣнія—линючіе, тусклые, или матовые цвѣта; для лѣнивой души—изобиліе на стѣнахъ дешевыхъ вѣеровъ и мелкихъ картинъ, въ которыхъ оригинальность исполненія преобладаетъ надъ содержаніемъ, избытокъ столиковъ и полочекъ, уставленныхъ совершенно ненужными и не имѣющими цѣны вещами, безформенные лоскутья вмѣсто занавѣсей... Все это вмѣстѣ съ боязнью яркихъ цвѣтовъ, симметріи и простора, помимо душевной лѣни, свидѣтельствуетъ еще и объ извращеніи естественнаго вкуса. По цѣлымъ днямъ Катя лежитъ на кушеткѣ и читаетъ книги, преимущественно романы и повѣсти. Изъ дому она выходитъ только разъ въ день, послѣ полудня, чтобы повидаться со мной.

Я работаю, а Катя сидитъ недалеко отъ меня на диванѣ, молчитъ и кутается въ шаль, точно ей холодно. Оттого ли, что она симпатична мнѣ, или оттого, что я привыкъ къ ея частымъ посѣщеніямъ, когда она была еще дѣвочкой, ея присутствіе не мѣшаетъ мнѣ сосредоточиться. Изрѣдка я задаю ей машинально какой-нибудь вопросъ, она даетъ очень короткій отвѣтъ; или же, чтобъ отдохнуть минутку, я оборачиваюсь къ ней и гляжу, какъ она, задумавшись, просматриваетъ какой-нибудь медицинскій журналъ или газету. И въ это время я замѣчаю, что на лицѣ

ея уже нѣтъ прежняго выраженія довѣрчивости. Выраженіе теперь холодное, безразличное, разсѣянное, какъ у пассажировъ, которымъ приходится долго ждать поѣзда. Одѣта она попрежнему красиво и просто, но небрежно; видно, что платью и прическѣ не мало достается отъ кушетокъ и качалокъ, на которыхъ она лежитъ по цѣлымъ днямъ. И ужъ она не любопытна, какъ была прежде. Вопросовъ она ужъ мнѣ не задаетъ, какъ будто все ужъ испытала въ жизни и не ждетъ услышать ничего новаго.

Въ исходѣ четвертаго часа въ залѣ и въ гостиной начинается движеніе. Это изъ консерваторіи вернулась Лиза и привела съ собою подругъ. Слышно, какъ играютъ на рояли, пробуютъ голоса и хохочутъ; въ столовой Егоръ накрываетъ на столъ и стучитъ посудой.

— Прощайте,—говоритъ Катя.—Сегодня я не зайду къ вашимъ. Пусть извинятъ. Некогда. Приходите.

Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядываетъ меня съ головы до ногъ и говоритъ съ досадой:

— А вы все худѣете! Отчего не лѣчитесь? Я съѣзжу къ Сергѣю Ѳедоровичу и приглашу. Пусть васъ посмотритъ.

— Не нужно, Катя.

— Не понимаю, что ваша семья смотритъ! Хороши, нечего сказать.

Она порывисто надѣваетъ свою шубку и въ это время изъ ея небрежно сдѣланной прически непремѣнно падаютъ на полъ двѣ-три шпильки. Поправлять прическу лѣнь и некогда; она неловко прячетъ упавшіе локоны подъ шапочку и уходитъ.

Когда я вхожу въ столовую, жена спрашиваетъ меня:

— У тебя была сейчасъ Катя? Отчего же она не зашла къ намъ? Это даже странно...

— Мама!—говоритъ ей укоризненно Лиза.—Если не хочетъ, то и Богъ съ ней. Не на колѣни же намъ становиться.

— Какъ хочешь, это пренебреженіе. Сидѣть въ кабинетѣ три часа и не вспомнить о насъ. Впрочемъ, какъ ей угодно.

Варя и Лиза обѣ ненавидятъ Катю. Ненависть эта мнѣ непонятна и, вѣроятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что изъ тѣхъ полутораста молодыхъ мужчинъ, которыхъ я почти ежедневно вижу въ

своей аудиторіи, и изъ той сотни пожилыхъ, которыхъ мнѣ приходится встрѣчать каждую недѣлю, едва ли найдется хоть одинъ такой, который умѣлъ бы понимать ненависть и отвращеніе къ прошлому Кати, т. е. къ внѣбрачной беременности и къ незаконному ребенку; и въ то же время я никакъ не могу припомнить ни одной такой знакомой мнѣ женщины, или дѣвушки, которая сознательно, или инстинктивно не питала бы въ себѣ этихъ чувствъ. И это не оттого, что женщина добродѣтельнѣе и чище мужчины: вѣдь добродѣтель и чистота мало отличаются отъ порока, если онѣ не свободны отъ злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщинъ. Унылое чувство состраданія и боль совѣсти, какія испытываетъ современный мужчина, когда видитъ несчастіе, гораздо больше говорятъ мнѣ о культурѣ и нравственномъ ростѣ, чѣмъ ненависть и отвращеніе. Современная женщина такъ же слезлива и груба сердцемъ, какъ и въ средніе вѣка. И по-моему, вполнѣ благоразумно поступаютъ тѣ, которые совѣтуютъ ей воспитываться какъ мужчина.

Жена не любитъ Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за всѣ тѣ многочисленные пороки, какіе одна женщина всегда умѣетъ находить въ другой.

Кромѣ меня и моей семьи, у насъ обѣдаютъ еще двѣ-три подруги дочери и Александръ Адольфовичъ Гнеккеръ, поклонникъ Лизы и претендентъ на ея руку. Это молодой блондинъ, не старше 30 лѣтъ, средняго роста, очень полный, широкоплечій, съ рыжими бакенами около ушей и съ нафабренными усиками, придающими его полному, гладкому лицу какое-то игрушечное выраженіе. Одѣтъ онъ въ очень короткій пиджакъ, въ цвѣтную жилетку, въ брюки съ большими клѣтками, очень широкія сверху и очень узкія книзу, и въ желтыя ботинки безъ каблуковъ. Глаза у него выпуклые, рачьи, галстукъ похожъ на рачью шейку, и даже, мнѣ кажется, весь этотъ молодой человѣкъ издаетъ запахъ раковаго супа. Бываетъ онъ у насъ ежедневно, но никто въ моей семьѣ не знаетъ, какого онъ происхожденія, гдѣ учился и на какія средства живетъ. Онъ не играетъ и не поетъ, но имѣетъ какое-то отношеніе и къ музыкѣ, и къ пѣнію, продаетъ гдѣ-то чьи-то рояли, бываетъ часто въ консерваторіи, знакомъ со всѣми знамени-

тостями и распоряжается на концертахъ; судитъ онъ о музыкѣ съ большимъ авторитетомъ и, я замѣтилъ, съ нимъ охотно всѣ соглашаются.

Богатые люди имѣютъ всегда около себя приживаловъ; науки и искусства тоже. Кажется, нѣтъ на свѣтѣ такого искусства или науки, которыя были бы свободны отъ присутствія «инородныхъ тѣлъ» въ родѣ этого г. Гнеккера. Я не музыкантъ и, быть-можетъ, ошибаюсь относительно Гнеккера, котораго къ тому же мало знаю. Но слишкомъ ужъ кажутся мнѣ подозрительными его авторитетъ и то достоинство, съ какимъ онъ стоитъ около рояля и слушаетъ, когда кто-нибудь поетъ или играетъ.

Будь вы сто разъ джентльменомъ и тайнымъ совѣтникомъ, но если у васъ есть дочь, то вы ничѣмъ не гарантированы отъ того мѣщанства, которое часто вносятъ въ вашъ домъ и въ ваше настроеніе ухаживанія, сватовство и свадьба. Я, напримѣръ, никакъ не могу помириться съ тѣмъ торжественнымъ выраженіемъ, какое бываетъ у моей жены всякій разъ, когда сидитъ у насъ Гнеккеръ, не могу также помириться съ тѣми бутылками лафита, портвейна и хереса, которыя ставятся только ради него, чтобы онъ воочію убѣдился, какъ широко и роскошно мы живемъ. Не перевариваю я и отрывистаго смѣха Лизы, которому она научилась въ консерваторіи, и ея манеры щурить глаза въ то время, когда у насъ бываютъ мужчины. А главное, я никакъ не могу понять, почему это ко мнѣ каждый день ходитъ и каждый день со мною обѣдаетъ существо, совершенно чуждое моимъ привычкамъ, моей наукѣ, всему складу моей жизни, совершенно непохожее на тѣхъ людей, которыхъ я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчутъ, что «это женихъ», но я все-таки не понимаю его присутствія; оно возбуждаетъ во мнѣ такое же недоумѣніе, какъ если бы со мною за столъ посадили зулуса. И мнѣ также кажется страннымъ, что моя дочь, которую я привыкъ считать ребенкомъ, любитъ этотъ галстукъ, эти глаза, эти мягкія щеки...

Прежде я любилъ обѣдъ, или былъ къ нему равнодушенъ, теперь же онъ не возбуждаетъ во мнѣ ничего, кромѣ скуки и раздраженія. Съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ превосходительнымъ и побывалъ въ деканахъ факультета, семья моя нашла почему-то нужнымъ совершенно измѣнить наш

меню и обѣденные порядки. Вмѣсто тѣхъ простыхъ блюдъ, къ которымъ я привыкъ, когда былъ студентомъ и лѣкаремъ, теперь меня кормятъ супомъ-пюре, въ которомъ плаваютъ какія-то бѣлыя сосульки, и почками въ мадерѣ. Генеральскій чинъ и извѣстность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся съ яблоками, и леща съ кашей. Они же отняли у меня горничную Агашу, говорливую и смѣшливую старушку, вмѣсто которой подаетъ теперь обѣдъ Егоръ, тупой и надменный малый, съ бѣлой перчаткой на правой рукѣ. Антракты коротки, но кажутся чрезмѣрно длинными, потому что ихъ нечѣмъ наполнить. Ужъ нѣтъ прежней веселости, непринужденныхъ разговоровъ, шутокъ, смѣха, нѣтъ взаимныхъ ласокъ и той радости, которая волновала дѣтей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, въ столовой; для меня, занятаго человѣка, обѣдъ былъ временемъ отдыха и свиданія, а для жены и дѣтей праздникомъ, правда, короткимъ, но свѣтлымъ и радостнымъ, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не наукѣ, не студентамъ, а только имъ однимъ и больше никому. Нѣтъ уже больше умѣнья пьянѣть отъ одной рюмки, нѣтъ Агаши, нѣтъ леща съ кашей, нѣтъ того шума, какимъ всегда встрѣчались маленькіе обѣденные скандалы въ родѣ драки подъ столомъ кошки съ собакой, или паденія повязки съ Катиной щеки въ тарелку съ супомъ.

Описывать теперешній обѣдъ такъ же не вкусно, какъ ѣсть его. На лицѣ у жены торжественность, напускная важность и обычное выраженіе заботы. Она безпокойно оглядываетъ наши тарелки и говоритъ: «Я вижу, вамъ жаркое не нравится... Скажите: вѣдь не нравится?» И я долженъ отвѣчать: «Напрасно ты безпокоишься, милая, жаркое очень вкусно». А она: «Ты всегда за меня заступаешься, Николай Степанычъ, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александръ Адольфовичъ такъ мало кушалъ?» и все въ такомъ родѣ въ продолженіе всего обѣда. Лиза отрывисто хохочетъ и щуритъ глаза. Я гляжу на обѣихъ и только вотъ теперь за обѣдомъ для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обѣихъ давно уже ускользнула отъ моего наблюденія. У меня такое чувство, какъ будто когда-то я жилъ дома съ настоящей семьей, а теперь обѣдаю въ гостяхъ у не настоящей жены и вижу

не настоящую Лизу. Произошла въ обѣихъ рѣзкая перемѣна, я прозѣвалъ тотъ долгій процессъ, по которому эта перемѣна совершалась, и не мудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемѣна? Не знаю. Быть-можетъ, вся бѣда въ томъ, что женѣ и дочери Богъ не далъ такой же силы, какъ мнѣ. Съ дѣтства я привыкъ противостоять внѣшнимъ вліяніямъ и закалилъ себя достаточно; такія житейскія катастрофы, какъ извѣстность, генеральство, переходъ отъ довольства къ жизни не по средствамъ, знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цѣлъ и невредимъ; на слабыхъ же, не закаленныхъ жену и Лизу все это свалилось, какъ большая снѣговая глыба, и сдавило ихъ.

Барышни и Гнеккеръ говорятъ о фугахъ, контра-пунктахъ, о пѣвцахъ и піанистахъ, о Бахѣ и Брамсѣ, а жена, боясь, чтобы ея не заподозрили въ музыкальномъ невѣжествѣ, сочувственно улыбается имъ и бормочетъ: «Это прелестно... Неужели? Скажите...» Гнеккеръ солидно кушаетъ, солидно острить и снисходительно выслушиваетъ замѣчанія барышенъ. Изрѣдка у него является желаніе поговорить на плохомъ французскомъ языкѣ и тогда онъ почему-то находитъ нужнымъ величать меня votre excellence.

А я угрюмъ. Видимо, я всѣхъ ихъ стѣсняю, а они стѣсняютъ меня. Никогда раньше я не былъ коротко знакомъ съ сословнымъ антагонизмомъ, но теперь меня мучаетъ именно что-то въ родѣ этого. Я стараюсь находить въ Гнеккерѣ однѣ только дурныя черты, скоро нахожу ихъ и терзаюсь, что на его жениховскомъ мѣстѣ сидитъ человѣкъ не моего круга. Присутствіе его дурно вліяетъ на меня еще и въ другомъ отношеніи. Обыкновенно, когда я остаюсь самъ съ собою, или бываю въ обществѣ людей, которыхъ люблю, я никогда не думаю о своихъ заслугахъ, а если начинаю думать, то онѣ представляются мнѣ такими ничтожными, какъ будто я сталъ ученымъ только вчера; въ присутствіи же такихъ людей, какъ Гнеккеръ, мои заслуги кажутся мнѣ высочайшей горой, вершина которой исчезаетъ въ облакахъ, а у подножія шевелятся едва замѣтные для глаза Гнеккеры.

Послѣ обѣда я иду къ себѣ въ кабинетъ и закуриваю тамъ свою трубочку, единственную за весь день, уцѣлѣвшую отъ давно бывшей скверной привычки дымить отъ

утра до ночи. Когда я курю, ко мнѣ входитъ жена и садится, чтобы поговорить со мной. Такъ же, какъ и утромъ, я заранѣе знаю, о чемъ у насъ будетъ разговоръ.

— Надо бы намъ съ тобой поговорить серьезно, Николай Степанычъ,—начинаетъ она.—Я насчетъ Лизы... Отчего ты не обратишь вниманія?

— То-есть?

— Ты дѣлаешь видъ, что ничего не замѣчаешь, но это не хорошо. Нельзя быть безпечнымъ... Гнеккеръ имѣетъ насчетъ Лизы намѣренія... Что ты скажешь?

— Что онъ дурной человѣкъ, я не могу сказать, такъ какъ не знаю его, но что онъ мнѣ не нравится, объ этомъ я говорилъ тебѣ уже тысячу разъ.

— Но такъ нельзя... нельзя...

Она встаетъ и ходитъ въ волненіи.

— Такъ нельзя относиться къ серьезному шагу...—говоритъ она.—Когда рѣчь идетъ о счастьѣ дочери, надо отбросить все личное. Я знаю, онъ тебѣ не нравится... Хорошо... Если мы откажемъ ему теперь, разстроимъ все, то чѣмъ ты поручишься, что Лиза всю жизнь не будетъ жаловаться на насъ? Жениховъ теперь не Богъ вѣсть сколько, и можетъ случиться, что не представится другой партіи... Онъ очень любитъ Лизу и, повидимому, нравится ей... Конечно, у него нѣтъ опредѣленнаго положенія, но что же дѣлать? Богъ дастъ, со временемъ опредѣлится куда-нибудь. Онъ изъ хорошаго семейства и богатый.

— Откуда тебѣ это извѣстно?

— Онъ говорилъ. У его отца въ Харьковѣ большой домъ и подъ Харьковомъ имѣніе. Однимъ словомъ, Николай Степанычъ, тебѣ непремѣнно нужно съѣздить въ Харьковъ.

— Зачѣмъ?

— Ты разузнаешь тамъ... У тебя тамъ есть знакомые профессора, они тебѣ помогутъ. Я бы сама поѣхала, но я женщина. Не могу...

— Не поѣду я въ Харьковъ,—говорю я угрюмо.

Жена пугается, и на лицѣ ея появляется выраженіе мучительной боли.

— Ради Бога, Николай Степанычъ!—умоляетъ она меня, всхлипывая. — Ради Бога, сними съ меня эту тяжесть! Я страдаю!

Мнѣ становится больно глядѣть на нее.

— Хорошо, Варя,—говорю я ласково.—Если хочешь, то изволь, я съѣзжу въ Харьковъ и сдѣлаю все, что тебѣ угодно.

Она прижимаетъ къ глазамъ платокъ и уходитъ къ себѣ въ комнату плакать. Я остаюсь одинъ.

Немного погодя, приносятъ огонь. Отъ креселъ и ламповаго колпака ложатся на стѣны и полъ знакомыя, давно надоѣвшія тѣни, и когда я гляжу на нихъ, мнѣ кажется, что уже ночь и что уже начинается моя проклятая безсонница. Я ложусь въ постель, потомъ встаю и хожу по комнатѣ, потомъ опять ложусь... Обыкновенно послѣ обѣда, передъ вечеромъ, мое нервное возбужденіе достигаетъ своего высшаго градуса. Я начинаю безъ причины плакать и прячу голову подъ подушку. Въ это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошелъ, боюсь внезапно умереть, стыжусь своихъ слезъ и въ общемъ получается въ душѣ нѣчто нестерпимое. Я чувствую, что долѣе я не могу видѣть ни своей лампы, ни книгъ, ни тѣней на полу, не могу слышать голосовъ, которые раздаются въ гостиной. Какая-то невидимая и непонятная сила грубо толкаетъ меня вонъ изъ моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одѣваюсь и осторожно, чтобъ не замѣтили домашніе, выхожу на улицу. Куда идти?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ у меня давно уже сидитъ въ мозгу: къ Катѣ.

## III.

По обыкновенію, она лежитъ на турецкомъ диванѣ или на кушеткѣ и читаетъ что-нибудь. Увидѣвъ меня, она лѣниво поднимаетъ голову, садится и протягиваетъ мнѣ руку.

— А ты все лежишь,—говорю я, помолчавъ немного и отдохнувъ.—Это нездорово. Ты бы занялась чѣмъ-нибудь!

— А?

— Ты бы, говорю, занялась чѣмъ-нибудь.

— Чѣмъ? Женщина можетъ быть только простой работницей или актрисой.

— Ну, что жъ? Если нельзя въ работницы, иди въ актрисы.

Молчитъ.

— Замужъ бы выходила,—говорю я, полушутя.

— Не за кого. Да и незачѣмъ.

— Такъ жить нельзя.

— Безъ мужа? Велика важность! Мужчинъ сколько угодно, была бы охота.

— Это, Катя, некрасиво.

— Что некрасиво?

— Да вотъ то, что ты сейчасъ сказала.

Замѣтивъ, что я огорченъ, и желая сгладить дурное впечатлѣніе, Катя говоритъ:

— Пойдемте. Идите сюда. Вотъ.

Она ведетъ меня въ маленькую, очень уютную комнатку и говоритъ, указывая на письменный столъ:

— Вотъ... Я приготовила для васъ. Тутъ вы будете заниматься. Пріѣзжайте каждый день и привозите съ собой работу. А тамъ дома вамъ только мѣшаютъ. Будете здѣсь работать? Хотите?

Чтобы не огорчить ее отказомъ, я отвѣчаю ей, что заниматься у нея буду и что комната мнѣ очень нравится. Затѣмъ мы оба садимся въ уютной комнаткѣ и начинаемъ разговаривать.

Тепло, уютная обстановка и присутствіе симпатичнаго человѣка возбуждаютъ во мнѣ теперь не чувство удовольствія, какъ прежде, а сильный позывъ къ жалобамъ и брюзжанію. Мнѣ кажется почему-то, что если я поропщу и пожалуюсь, то мнѣ станетъ легче.

— Плохо дѣло, моя милая!—начинаю я со вздохомъ.— Очень плохо...

— Что такое?

— Видишь ли, въ чемъ дѣло, мой другъ. Самое лучшее и самое святое право королей—это право помилованія. И я всегда чувствовалъ себя королемъ, такъ какъ безгранично пользовался этимъ правомъ. Я никогда не судилъ, былъ снисходителенъ, охотно прощалъ всѣхъ направо и налѣво. Гдѣ другіе протестовали и возмущались, тамъ я только совѣтовалъ и убѣждалъ. Всю свою жизнь я старался только о томъ, чтобы мое общество было выносимо для семьи студентовъ, товарищей, для прислуги. И такое мое отношеніе къ людямъ, я знаю, воспитывало всѣхъ, кому приходилось быть около меня. Но теперь ужъ я не король. Во мнѣ происходитъ нѣчто такое, что прилично только рабамъ: въ головѣ моей день и ночь бродятъ злыя мысли, а въ душѣ свили себѣ гнѣздо чувства, какихъ я не зналъ

раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я сталъ не въ мѣру строгъ, требователенъ, раздражителенъ, нелюбезенъ, подозрителенъ. Даже то, что прежде давало мнѣ поводъ только сказать лишній каламбуръ и добродушно посмѣяться, родитъ во мнѣ теперь тяжелое чувство. Измѣнилась во мнѣ и моя логика: прежде я презиралъ только деньги, теперь же питаю злое чувство не къ деньгамъ, а къ богачамъ, точно они виноваты; прежде ненавидѣлъ насиліе и произволъ, а теперь ненавижу людей, употребляющихъ насиліе, точно виноваты они одни, а не всѣ мы, которые не умѣемъ воспитывать другъ друга. Что это значитъ? Если новыя мысли и новыя чувства произошли отъ перемѣны убѣжденій, то откуда могла взяться эта перемѣна? Развѣ міръ сталъ хуже, а я лучше, или раньше я былъ слѣпъ и равнодушенъ? Если же эта перемѣна произошла отъ общаго упадка физическихъ и умственныхъ силъ—я вѣдь боленъ и каждый день теряю въ вѣсѣ,—то положеніе мое жалко: значитъ, мои новыя мысли ненормальны, нездоровы, я долженъ стыдиться ихъ и считать ничтожными...

— Болѣзнь тутъ ни при чемъ,—перебиваетъ меня Катя.—Просто у васъ открылись глаза; вотъ и все. Вы увидѣли то, чего раньше почему-то не хотѣли замѣчать. По-моему, прежде всего вамъ нужно окончательно порвать съ семьей и уйти.

— Ты говоришь нелѣпости.

— Вы ужъ не любите ихъ, что жъ тутъ кривить душой? И развѣ это семья? Ничтожества! Умри онѣ сегодня, и завтра же никто не замѣтитъ ихъ отсутствія.

Катя презираетъ жену и дочь такъ же сильно, какъ тѣ ее ненавидятъ. Едва ли можно въ наше время говорить о правѣ людей презирать другъ друга. Но если стать на точку зрѣнія Кати и признать такое право существующимъ, то все-таки увидишь, что она имѣетъ такое же право презирать жену и Лизу, какъ тѣ ее ненавидѣть.

— Ничтожества!—повторяетъ она.—Вы обѣдали сегодня? Какъ же это онѣ не позабыли позвать васъ въ столовую? Какъ это онѣ до сихъ поръ помнятъ еще о вашемъ существованіи?

— Катя,—говорю я строго:—прошу тебя замолчать.

— А вы думаете, мнѣ весело говорить о нихъ? Я была

бы рада совсѣмъ ихъ не знать. Слушайтесь же меня, мой дорогой: бросьте все и уѣзжайте. Поѣзжайте за границу. Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— Что за вздоръ! А университетъ?

— И университетъ тоже. Что онъ вамъ? Все равно никакого толку. Читаете вы уже 30 лѣтъ, а гдѣ ваши ученики? Много ли у васъ знаменитыхъ ученыхъ? Сочтите-ка? А чтобы размножать этихъ докторовъ, которые эксплоатируютъ невѣжество и наживаютъ сотни тысячъ, для этого не нужно быть талантливымъ и хорошимъ человѣкомъ. Вы лишній.

— Боже мой, какъ ты рѣзка! — ужасаюсь я.—Какъ ты рѣзка! Замолчи, иначе я уйду! Я не умѣю отвѣчать на твои рѣзкости!

Входитъ горничная и зоветъ насъ пить чай. Около самовара нашъ разговоръ, слава Богу, мѣняется. Послѣ того, какъ я уже пожаловался, мнѣ хочется дать волю другой своей старческой слабости—воспоминаніямъ. Я разсказываю Катѣ о своемъ прошломъ и, къ великому удивленію, сообщаю ей такія подробности, о какихъ я даже не подозрѣвалъ, что онѣ еще цѣлы въ моей памяти. А она слушаетъ меня съ умиленіемъ, съ гордостью, притаивъ дыханіе. Особенно я люблю разсказывать ей о томъ, какъ я когда-то учился въ семинаріи и какъ мечталъ поступить въ университетъ.

— Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду...—разсказываю я.—Донесетъ вѣтеръ изъ какого-нибудь далекаго кабака пиликанье гармоники и пѣсню, или промчится мимо семинарскаго забора тройка съ колоколами, и этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдругъ наполнило не только грудь, но даже животъ, ноги, руки... Слушаешь гармонику, или затихающіе колокола, а самъ воображаешь себя врачомъ и рисуешь картины—одна другой лучше. И вотъ, какъ видишь, мечты мои сбылись. Я получилъ больше, чѣмъ смѣлъ мечтать. Тридцать лѣтъ я былъ любимымъ профессоромъ, имѣлъ превосходныхъ товарищей, пользовался почетною извѣстностью. Я любилъ, женился по страстной любви, имѣлъ дѣтей. Однимъ словомъ, если оглянуться назадъ, то вся моя жизнь представляется мнѣ красивой, талантливо сдѣланной композиціей. Теперь мнѣ остается только не испортить финала. Для этого нужно уме-

реть по-человѣчески. Если смерть въ самомъ дѣлѣ опасность, то нужно встрѣтить ее такъ, какъ подобаетъ это учителю, ученому и гражданину христіанскаго государства: бодро и со спокойной душой. Но я порчу финалъ. Я утопаю, бѣгу къ тебѣ, прошу помощи, а ты мнѣ: утопайте, это такъ и нужно.

Но вотъ въ передней раздается звонокъ. Я и Катя узнаемъ его и говоримъ:

— Это, должно-быть, Михаилъ Ѳедоровичъ.

И въ самомъ дѣлѣ, черезъ минуту входитъ мой товарищъ-филологъ, Михаилъ Ѳедоровичъ, высокій, хорошо сложенный, лѣтъ 50, съ густыми, сѣдыми волосами, съ черными бровями и бритый. Это добрый человѣкъ и прекрасный товарищъ. Происходитъ онъ отъ старинной дворянской фамиліи, довольно счастливой и талантливой, играющей замѣтную роль въ исторіи нашей литературы и просвѣщенія. Самъ онъ уменъ, талантливъ, очень образованъ, но не безъ странностей. До нѣкоторой степени всѣ мы странны и всѣ мы чудаки, но его странности представляютъ нѣчто исключительное и небезопасное для его знакомыхъ. Между послѣдними я знаю не мало такихъ, которые за его странностями совершенно не видятъ его многочисленныхъ достоинствъ.

Войдя къ намъ, онъ медленно снимаетъ перчатки и говоритъ бархатнымъ басомъ:

— Здравствуйте. Чай пьете? Это очень кстати. Адски холодно.

Затѣмъ онъ садится за столъ, беретъ себѣ стаканъ и тотчасъ же начинаетъ говорить. Самое характерное въ его манерѣ говорить, это постоянно шутливый тонъ, какая-то помѣсь философіи съ балагурствомъ, какъ у шекспировскихъ гробокопателей. Онъ всегда говоритъ о серьезномъ, но никогда не говоритъ серьезно. Сужденія его всегда рѣзки, бранчивы, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону, какъ-то такъ выходитъ, что рѣзкость и брань не рѣжутъ уха и къ нимъ скоро привыкаешь. Каждый вечеръ онъ приноситъ съ собою штукъ пять-шесть анекдотовъ изъ университетской жизни и съ нихъ обыкновенно начинаетъ, когда садится за столъ.

— Охъ, Господи! — вздыхаетъ онъ, насмѣшливо шевеля своими черными бровями. — Бываютъ же на свѣтѣ такіе комики!

— А что? — спрашиваетъ Катя.

— Иду я сегодня съ лекціи и встрѣчаю на лѣстницѣ этого стараго идіота, нашего NN... Идетъ и, по обыкновенію, выставилъ впередъ свой лошадиный подбородокъ и ищетъ, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентовъ, которые не хотятъ посѣщать его лекцій. Ну, думаю, увидѣлъ меня — теперь погибъ, пропало дѣло...

И такъ далѣе въ такомъ родѣ. Или же онъ начинаетъ такъ:

— Былъ вчера на публичной лекціи нашего ZZ. Удивляюсь, какъ это наша alma mater, не къ ночи будь помянута, рѣшается показывать публикѣ такихъ балбесовъ и патентованныхъ тупицъ, какъ этотъ ZZ. Вѣдь это европейскій дуракъ! Помилуйте, другого такого по всей Европѣ днемъ съ огнемъ не сыщешь! Читаетъ, можете себѣ представить, точно леденецъ сосетъ! сю-сю-сю... Струсилъ, плохо разбираетъ свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, ѣдущаго на велосипедѣ, а главное, никакъ не разберешь, что онъ хочетъ сказать. Скучища страшная, мухи мрутъ. Эту скучищу можно сравнить только развѣ съ тою, какая бываетъ у насъ въ актовомъ залѣ на годичномъ актѣ, когда читается традиціонная рѣчь, чтобъ ее чортъ взялъ.

И тотчасъ же рѣзкій переходъ:

— Года три тому назадъ, вотъ Николай Степановичъ помнитъ, пришлось мнѣ читать эту рѣчь. Жарко, душно, мундиръ давитъ подъ мышками — просто смерть! Читаю полчаса, часъ, полтора часа, два часа... «Ну, думаю, слава Богу, осталось еще только десять страницъ». А въ концѣ у меня были такія четыре страницы, что можно было совсѣмъ не читать, и я разсчитывалъ ихъ выпустить. Значитъ, осталось, думаю, только шесть. Но, представьте, взглянулъ мелькомъ впередъ и вижу: въ первомъ ряду сидятъ рядышкомъ какой-то генералъ съ лентой и архіерей. Бѣдняги окоченѣли отъ скуки, таращатъ глаза, чтобъ не уснуть, и все-таки тѣмъ не менѣе стараются изображать на своихъ лицахъ вниманіе и дѣлаютъ видъ, что мое чтеніе имъ понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, такъ нате же вамъ! На зло! Взялъ и прочелъ всѣ четыре страницы.

Когда онъ говоритъ, то улыбаются у него, какъ вообще

у насмѣшливыхъ людей, одни только глаза и брови. Въ глазахъ у него въ это время нѣтъ ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно бывастъ подмѣтить только у очень наблюдательныхъ людей. Если продолжать говорить объ его глазахъ, то я замѣтилъ еще одну ихъ особенность. Когда онъ принимаетъ отъ Кати стаканъ, или выслушиваетъ ея замѣчаніе, или провожаетъ ее взглядомъ, когда она зачѣмъ-нибудь ненадолго выходитъ изъ комнаты, то въ его взглядѣ я замѣчаю что-то кроткое, молящееся, чистое...

Горничная убираетъ самоваръ и ставитъ на столъ большой кусокъ сыру, фрукты и бутылку крымскаго шампанскаго, довольно плохого вина, которое Катя полюбила, когда жила въ Крыму. Михаилъ Ѳедоровичъ беретъ съ этажерки двѣ колоды картъ и раскладываетъ пасьянсъ. По его увѣренію, нѣкоторые пасьянсы требуютъ большой сообразительности и вниманія, но тѣмъ не менѣе все-таки, раскладывая ихъ, онъ не перестаетъ развлекать себя разговоромъ. Катя внимательно слѣдитъ за его картами и больше мимикой, чѣмъ словами помогаетъ ему. Вина за весь вечеръ она выпиваетъ не больше двухъ рюмокъ, я выпиваю четверть стакана; остальная часть бутылки приходится на долю Михаила Ѳедоровича, который можетъ пить много и никогда не пьянѣетъ.

За пасьянсомъ мы рѣшаемъ разные вопросы, преимущественно высшаго порядка, причемъ больше всего достается тому, что мы больше всего любимъ, т. е. наукѣ.

— Наука, слава Богу, отжила свой вѣкъ, — говоритъ Михаилъ Ѳедоровичъ съ разстановкой.—Ея пѣсня уже спѣта. Да-съ. Человѣчество начинаетъ уже чувствовать потребность замѣнить ее чѣмъ-нибудь другимъ. Выросла она на почвѣ предразсудковъ, вскормлена предразсудками и составляетъ теперь такую же квинтъ-эссенцію изъ предразсудковъ, какъ ея отжившія бабушки: алхимія, метафизика и философія. И въ самомъ дѣлѣ, что она дала людямъ? Вѣдь между учеными европейцами и китайцами, не имѣющими у себя никакихъ наукъ, разница самая ничтожная, чисто внѣшняя. Китайцы не знали науки, но что они отъ этого потеряли?

— И мухи не знаютъ науки,—говорю я:—но что же изъ этого?

— Вы напрасно сердитесь, Николай Степанычъ. Я вѣдь это говорю здѣсь, между нами... Я осторожнѣе, чѣмъ вы думаете, и не стану говорить это публично, спаси Богъ! Въ массѣ живетъ предразсудокъ, что науки и искусства выше земледѣлія, торговли, выше ремеслъ. Наша секта кормится этимъ предразсудкомъ, и не мнѣ съ вами разрушать его. Спаси Богъ!

За пасьянсомъ достается на орѣхи и молодежи.

— Измельчала нынче наша публика, — вздыхаетъ Михаилъ Ѳедоровичъ. — Не говорю уже объ идеалахъ и прочее, но хоть бы работать и мыслить умѣли толкомъ! Вотъ ужъ именно: «Печально я гляжу на наше поколѣнье».

— Да, ужасно измельчали, — соглашается Катя. — Скажите, въ послѣднія пять-десять лѣтъ былъ ли у васъ хоть одинъ выдающійся?

— Не знаю, какъ у другихъ профессоровъ, но у себя что-то не помню.

— Я видѣла на своемъ вѣку много студентовъ и вашихъ молодыхъ ученыхъ, много актеровъ... Что жъ? Ни разу не сподобилась встрѣтиться не только съ героемъ, или съ талантомъ, но даже просто съ интереснымъ человѣкомъ. Все сѣро, бездарно, надуто претензіями...

Всѣ эти разговоры объ измельчаніи производятъ на меня всякій разъ такое впечатлѣніе, какъ будто я нечаянно подслушалъ нехорошій разговоръ о своей дочери. Мнѣ обидно, что обвиненія огульны и строятся на такихъ давно избитыхъ общихъ мѣстахъ, такихъ жупелахъ, какъ измельчаніе, отсутствіе идеаловъ, или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвиненіе, даже если оно высказывается въ дамскомъ обществѣ, должно быть формулировано съ возможною опредѣленностью, иначе оно не обвиненіе, а пустое злословіе, недостойное порядочныхъ людей.

Я старикъ, служу уже 30 лѣтъ, но не замѣчаю ни измельчанія, ни отсутствія идеаловъ и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чѣмъ прежде. Мой швейцаръ, Николай, опытъ котораго въ данномъ случаѣ имѣетъ свою цѣну, говоритъ, что нынѣшніе студенты не лучше и не хуже прежнихъ.

Если бы меня спросили, что мнѣ не нравится въ теперешнихъ моихъ ученикахъ, то я отвѣтилъ бы на это не сразу и не много, но съ достаточной опредѣленностью. Недостатки ихъ я знаю, и мнѣ поэтому нѣтъ надобности при-

бѣгать къ туману общихъ мѣстъ. Мнѣ не нравится, что они курятъ табакъ, употребляютъ спиртные напитки и поздно женятся; что они безпечны и часто равнодушны до такой степени, что терпятъ въ своей средѣ голодающихъ и не платятъ долговъ въ общество вспомоществованія студентамъ. Они не знаютъ новыхъ языковъ и неправильно выражаются по-русски; не дальше, какъ вчера, мой товарищъ-гигіенистъ жаловался мнѣ, что ему приходится читать вдвое больше, такъ какъ они плохо знаютъ физику и совершенно незнакомы съ метеорологіей. Они охотно поддаются вліянію писателей новѣйшаго времени, даже не лучшихъ, но совершенно равнодушны къ такимъ классикамъ, какъ, напримѣръ, Шекспиръ, Маркъ Аврелій, Епиктетъ, или Паскаль, и въ этомъ неумѣньѣ отличать большое отъ малаго наиболѣе всего сказывается ихъ житейская непрактичность. Всѣ затруднительные вопросы, имѣющіе болѣе или менѣе общественный характеръ (напримѣръ, переселенческій), они рѣшаютъ подписными листами, но не путемъ научнаго изслѣдованія и опыта, хотя послѣдній путь находится въ полномъ ихъ распоряженіи и наиболѣе соотвѣтствуетъ ихъ назначенію. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти мѣста до сорока лѣтъ, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная инициатива въ наукѣ не меньше нужны, чѣмъ, напримѣръ, въ искусствѣ или торговлѣ. У меня есть ученики и слушатели, но нѣтъ помощниковъ и наслѣдниковъ, и потому я люблю ихъ и умиляюсь, но не горжусь ими. И т. д., и т. д...

Подобные недостатки, какъ бы много ихъ ни было, могутъ породить пессимистическое или бранчивое настроеніе только въ человѣкѣ малодушномъ и робкомъ. Всѣ они имѣютъ случайный, преходящій характеръ и находятся въ полной зависимости отъ жизненныхъ условій; достаточно какихъ-нибудь десяти лѣтъ, чтобы они исчезли, или уступили свое мѣсто другимъ, новымъ недостаткамъ, безъ которыхъ не обойтись и которые въ свою очередь будутъ пугать малодушныхъ. Студенческіе грѣхи досаждаютъ мнѣ часто, но эта досада ничто въ сравненіи съ тою радостью, какую я испытываю уже 30 лѣтъ, когда бесѣдую съ учениками, читаю имъ, приглядываюсь къ ихъ отношеніямъ и сравниваю ихъ съ людьми не ихъ круга.

Михаилъ Ѳедоровичъ злословитъ, Катя слушаетъ и оба не замѣчаютъ, въ какую глубокую пропасть мало-по-малу втягиваетъ ихъ такое, повидимому, невинное развлеченіе, какъ осужденіе ближнихъ. Они не чувствуютъ, какъ простой разговоръ постепенно переходитъ въ глумленіе и въ издѣвательство и какъ оба они начинаютъ пускать въ ходъ даже клеветническіе пріемы.

— Уморительные попадаются субъекты, — говоритъ Михаилъ Ѳедоровичъ. — Вчера прихожу я къ нашему Егору Петровичу и застаю тамъ студіоза, изъ вашихъ же медиковъ, III курса, кажется. Лицо этакое... въ добролюбовскомъ стилѣ, на лбу печать глубокомыслія. Разговорились. «Такія-то дѣла, говорю, молодой человѣкъ. Читалъ я, говорю, что какой-то нѣмецъ—забылъ его фамилію—добылъ изъ человѣческаго мозга новый алкалоидъ идіотинъ». Что жъ вы думаете? Повѣрилъ и даже на лицѣ своемъ уваженіе изобразилъ: знай, молъ, нашихъ! А то намедни прихожу я въ театръ. Сажусь. Какъ разъ впереди меня, въ слѣдующемъ ряду, сидятъ какихъ-то два: одинъ «изъ насихъ» и, повидимому, юристъ, другой лохматый — медикъ. Медикъ пьянъ, какъ сапожникъ. На сцену — ноль вниманія. Знай себѣ дремлетъ да носомъ клюетъ. Но какъ только какой-нибудь актеръ начнетъ громко читать монологъ или просто возвыситъ голосъ, мой медикъ вздрагиваетъ, толкаетъ своего сосѣда въ бокъ и спрашиваетъ: «Что онъ говоритъ? Бла-ародно?»—Благородно,—отвѣчаетъ «изъ насихъ».—«Брраво! оретъ медикъ. Бла-родно. Браво!» Онъ, видите ли, дубина пьяная, пришелъ въ театръ не за искусствомъ, а за благородствомъ. Ему благородство нужно.

А Катя слушаетъ и смѣется. Хохотъ у нея какой-то странный: вдыханія быстро и ритмически правильно чередуются съ выдыханіями — похоже на то, какъ будто она играетъ на гармоникѣ—и на лицѣ при этомъ смѣются однѣ только ноздри. Я же падаю духомъ и не знаю, что говорить. Выйдя изъ себя, я вспыхиваю, вскакиваю съ мѣста и кричу:

— Замолчите, наконецъ! Что вы сидите тутъ, какъ двѣ жабы, и отравляете воздухъ своими дыханіями? Довольно!

И, не дождавшись, когда они кончатъ злословить, я собираюсь уходить домой. Да ужъ и пора: одиннадцатый часъ.

— А я еще посижу немножко,—говоритъ Михаилъ Ѳедоровичъ.—Позволяете, Екатерина Владиміровна?

— Позволяю,—отвѣчаетъ Катя.

— Bene. Въ такомъ случаѣ прикажите подать еще бутылочку.

Оба провожаютъ меня со свѣчами въ переднюю, и пока я надѣваю шубу, Михаилъ Ѳедоровичъ говоритъ:

— Въ послѣднее время вы ужасно похудѣли и состарились, Николай Степановичъ. Что съ вами? Больны?

— Да, боленъ немножко.

— И не лѣчится...—угрюмо вставляетъ Катя.

— Отчего же не лѣчитесь? Какъ можно такъ? Бережонаго, милый человѣкъ, Богъ бережетъ. Кланяйтесь вашимъ и извинитесь, что не бываю. На-дняхъ, передъ отъѣздомъ за границу, приду проститься. Непремѣнно! На будущей недѣлѣ уѣзжаю.

Выхожу я отъ Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болѣзни и недовольный собою. Я себя спрашиваю: въ самомъ дѣлѣ, не полѣчиться ли у кого-нибудь изъ товарищей? И тотчасъ же я воображаю, какъ товарищъ, выслушавъ меня, отойдетъ молча къ окну, подумаетъ, потомъ обернется ко мнѣ и, стараясь, чтобы я не прочелъ на его лицѣ правды, скажетъ равнодушнымъ тономъ:—«Пока не вижу ничего особеннаго, но все-таки, коллега, я совѣтовалъ бы вамъ прекратить занятія»... И это лишитъ меня послѣдней надежды.

У кого нѣтъ надеждъ? Теперь, когда я самъ ставлю себѣ діагнозъ и самъ лѣчу себя, временами я надѣюсь, что меня обманываетъ мое невѣжество, что я ошибаюсь и насчетъ бѣлка и сахара, которые нахожу у себя, и насчетъ сердца, и насчетъ тѣхъ отековъ, которые уже два раза видѣлъ у себя по утрамъ; когда я съ усердіемъ ипохондрика перечитываю учебники терапіи и ежедневно мѣняю лѣкарства, мнѣ все кажется, что я набреду на что-нибудь утѣшительное. Мелко все это.

Покрыто ли небо тучами, или сіяютъ на немъ луна и звѣзды, я всякій разъ, возвращаясь, гляжу на него и думаю о томъ, что скоро меня возьметъ смерть. Казалось бы, въ это время мысли мои должны быть глубоки, какъ небо, ярки, поразительны... Но нѣтъ! Я думаю о себѣ самомъ, о женѣ, Лизѣ, Гнеккерѣ, о студентахъ, вообще о людяхъ;

думаю нехорошо, мелко, хитрю передъ самимъ собою, и въ это время мое міросозерцаніе можетъ быть выражено словами, которыя знаменитый Аракчеевъ сказалъ въ одномъ изъ своихъ интимныхъ писемъ: «Все хорошее въ свѣтѣ не можетъ быть безъ дурного, и всегда болѣе худого, чѣмъ хорошаго». То-есть все гадко, не для чего жить, а тѣ 62 года, которые уже прожиты, слѣдуетъ считать пропащими. Я ловлю себя на этихъ мысляхъ и стараюсь убѣдить себя, что онѣ случайны, временны и сидятъ во мнѣ не глубоко, но тотчасъ же я думаю:

«Если такъ, то зачѣмъ же каждый вечеръ тебя тянетъ къ тѣмъ двумъ жабамъ?»

И я даю себѣ клятву больше никогда не ходить къ Катѣ, хотя и знаю, что завтра же опять пойду къ ней.

Дергая у своей двери за звонокъ и потомъ идя вверхъ по лѣстницѣ, я чувствую, что у меня уже нѣтъ семьи и нѣтъ желанія вернуть ее. Ясно, что новыя, аракчеевскія мысли сидятъ во мнѣ не случайно и не временно, а владѣютъ всѣмъ моимъ существомъ. Съ больною совѣстью, унылый, лѣнивый, едва двигая членами, точно во мнѣ прибавилась тысяча пудовъ вѣсу, я ложусь въ постель и скоро засыпаю.

А потомъ—безсонница...

## IV.

Наступаетъ лѣто, и жизнь мѣняется.

Въ одно прекрасное утро входитъ ко мнѣ Лиза и говоритъ шутливымъ тономъ:

— Пойдемте, ваше превосходительство. Готово.

Мое превосходительство ведутъ на улицу, сажаютъ на извозчика и везутъ. Я ѣду и отъ нечего дѣлать читаю вывѣски справа налѣво. Изъ слова «трактиръ» выходитъ «риткартъ». Это годилось бы для баронской фамиліи: баронесса Риткартъ. Далѣе ѣду по полю мимо кладбища, которое не производитъ на меня ровно никакого впечатлѣнія, хотя я скоро буду лежать на немъ; потомъ ѣду лѣсомъ и опять полемъ. Ничего интереснаго. Послѣ двухчасовой ѣзды, мое превосходительство ведутъ въ нижній этажъ дачи и помѣщаютъ его въ небольшой, очень веселенькой комнаткѣ съ голубыми обоями.

Ночью попрежнему безсонница, но утромъ я уже не

бодрствую и не слушаю жены, а лежу въ постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояніе, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны. Въ полдень я встаю и сажусь по привычкѣ за свой столъ, но ужъ не работаю, а развлекаю себя французскими книжками въ желтыхъ обложкахъ, которыя присылаетъ мнѣ Катя. Конечно, было бы патріотичнѣе читать русскихъ авторовъ, но, признаться, я не питаю къ нимъ особеннаго расположенія. Исключая двухъ-трехъ стариковъ, вся нынѣшняя литература представляется мнѣ не литературой, а въ своемъ родѣ кустарнымъ промысломъ, существующимъ только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его издѣліями. Самое лучшее изъ кустарныхъ издѣлій нельзя назвать замѣчательнымъ и нельзя искренно похвалить его безъ «но»; то же самое слѣдуетъ сказать и о всѣхъ тѣхъ литературныхъ новинкахъ, которыя я прочелъ въ послѣднія 10—15 лѣтъ: ни одной замѣчательной, и не обойдешься безъ «но». Умно, благородно, но не талантливо; талантливо, благородно, но не умно, или наконецъ — талантливо, умно, но не благородно.

Я не скажу, чтобы французскія книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И онѣ не удовлетворяютъ меня. Но онѣ не такъ скучны, какъ русскія, и въ нихъ не рѣдкость найти главный элементъ творчества—чувство личной свободы, чего нѣтъ у русскихъ авторовъ. Я не помню ни одной такой новинки, въ которой авторъ съ первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совѣстью. Одинъ боится говорить о голомъ тѣлѣ, другой связалъ себя по рукамъ и по ногамъ психологическимъ анализомъ, третьему нужно «теплое отношеніе къ человѣку», четвертый нарочно цѣлыя страницы размазываетъ описаніями природы, чтобы не быть заподозрѣннымъ въ тенденціозности... Одинъ хочетъ быть въ своихъ произведеніяхъ непремѣнно мѣщаниномъ, другой непремѣнно дворяниномъ и т. д. Умышленность, осторожность, себѣ на умѣ, но нѣтъ ни свободы, ни мужества писать, какъ хочется, а стало-быть, нѣтъ и творчества.

Все это относится къ такъ-называемой изящной словесности.

Что же касается русскихъ серьезныхъ статей, напри-

мѣръ, по соціологіи, по искусству и проч., то я не читаю ихъ просто изъ робости. Въ дѣтствѣ и въ юности я почему-то питалъ страхъ къ швейцарамъ и къ театральнымъ капельдинерамъ, и этотъ страхъ остался у меня до сихъ поръ. Я и теперь боюсь ихъ. Говорятъ, что кажется страшнымъ только то, что непонятно. И въ самомъ дѣлѣ, очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры такъ важны, надменны и величаво невѣжливы. Читая серьезныя статьи, я чувствую точно такой же неопредѣленный страхъ. Необычайная важность, игривый генеральскій тонъ, фамильярное обращеніе съ иностранными авторами, умѣнье съ достоинствомъ переливать изъ пустого въ порожнее— все это для меня непонятно, страшно и все это не похоже на скромность и джентльменски-покойный тонъ, къ которымъ я привыкъ, читая нашихъ писателей-врачей и естественниковъ. Не только статьи, но мнѣ тяжело читать даже переводы, которые дѣлаютъ или редактируютъ русскіе серьезные люди. Чванный, благосклонный тонъ предисловій, изобиліе примѣчаній отъ переводчика, мѣшающихъ мнѣ сосредоточиться, знаки вопроса и sic въ скобкахъ, разбросанные щедрымъ переводчикомъ во всей статьѣ или книгѣ, представляются мнѣ покушеніемъ и на личность автора, и на мою читательскую самостоятельность.

Какъ-то разъ я былъ приглашенъ экспертомъ въ окружный судъ; въ антрактѣ одинъ изъ моихъ товарищей-экспертовъ обратилъ мое вниманіе на грубое отношеніе прокурора къ подсудимымъ, среди которыхъ были двѣ интеллигентныя женщины. Мнѣ кажется, я нисколько не преувеличилъ, отвѣтивъ товарищу, что это отношеніе не грубѣе тѣхъ, какія существуютъ у авторовъ серьезныхъ статей другъ къ другу. Въ самомъ дѣлѣ, эти отношенія такъ грубы, что о нихъ можно говорить только съ тяжелымъ чувствомъ. Другъ къ другу и къ тѣмъ писателямъ, которыхъ они критикуютъ, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же наоборотъ, третируютъ ихъ гораздо смѣлѣе, чѣмъ я въ этихъ запискахъ и мысляхъ своего будущаго зятя Гнеккера. Обвиненія въ невмѣняемости, въ нечистотѣ намѣреній и даже во всякаго рода уголовщинѣ составляютъ обычное украшеніе серьезныхъ статей. А это ужъ, какъ любятъ выражаться въ своихъ статейкахъ молодые врачи, ultima ratio! Такія отношенія неминуемо должны

отражаться на нравахъ молодого поколѣнія пишущихъ, и поэтому я нисколько не удивляюсь, что въ тѣхъ новинкахъ, какія пріобрѣла въ послѣднія 10—15 лѣтъ наша изящная словесность, герои пьютъ много водки, а героини недостаточно цѣломудренны.

Я читаю французскія книжки и поглядываю на окно, которое открыто; мнѣ видны зубцы моего палисадника, два-три тощихъ деревца, а тамъ дальше за палисадникомъ дорога, поле, потомъ широкая полоса хвойнаго лѣса. Часто я любуюсь, какъ какіе-то мальчикъ и дѣвочка, оба бѣловолосые и оборванные, карабкаются на палисадникъ и смѣются надъ моей лысиной. Въ ихъ блестящихъ глазенкахъ я читаю: «Гряди, плѣшивый!» Это едва ли не единственные люди, которымъ нѣтъ никакого дѣла ни до моей извѣстности, ни до чина.

Посѣтители теперь бываютъ у меня не каждый день. Упомяну только о посѣщеніяхъ Николая и Петра Игнатьевича. Николай приходитъ обыкновенно ко мнѣ по праздникамъ, какъ будто за дѣломъ, но больше затѣмъ, чтобъ повидаться. Приходитъ онъ сильно навеселѣ, чего съ нимъ никогда не бываетъ зимою.

— Что скажешь? — спрашиваю я, выходя къ нему въ сѣни.

— Ваше превосходительство! — говоритъ онъ, прижимая руку къ сердцу и глядя на меня съ восторгомъ влюбленнаго. — Ваше превосходительство! Накажи меня Богъ! Убей громъ на этомъ мѣстѣ! Гаудеамусъ игитуръ ювенестусъ!

И онъ жадно цѣлуетъ меня въ плечи, въ рукава, въ пуговицы.

— Все у насъ тамъ благополучно? — спрашиваю я его.

— Ваше превосходительство! Какъ передъ Истиннымъ...

Онъ не перестаетъ божиться безъ всякой надобности, скоро наскучаетъ мнѣ и я отсылаю его въ кухню, гдѣ ему подаютъ обѣдъ. Петръ Игнатьевичъ пріѣзжаетъ ко мнѣ тоже по праздникамъ спеціально за тѣмъ, чтобы провѣдать и подѣлиться со мною мыслями. Сидитъ онъ у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенькій, разсудительный, не рѣшаясь положить ногу на ногу или облокотиться о столъ; и все время онъ тихимъ, ровнымъ голоскомъ, гладко и книжно разсказываетъ мнѣ разныя, по его мнѣнію, очень

интересныя и пикантныя новости, вычитанныя имъ изъ журналовъ и книжекъ. Всѣ эти новости похожи одна на другую и сводятся къ такому типу: одинъ французъ сдѣлалъ открытіе, другой—нѣмецъ—уличилъ его, доказавъ, что это открытіе было сдѣлано еще въ 1870 году какимъ-то американцемъ, а третій—тоже нѣмецъ—перехитрилъ обоихъ, доказавъ имъ, что оба они опростоволосились, принявъ подъ микроскопомъ шарики воздуха за темный пигментъ. Петръ Игнатьевичъ, даже когда хочетъ разсмѣшить меня, разсказываетъ длинно, обстоятельно, точно защищаетъ диссертацію, съ подробнымъ перечисленіемъ литературныхъ источниковъ, которыми онъ пользовался, стараясь не ошибиться ни въ числахъ, ни въ номерахъ журналовъ, ни въ именахъ, причемъ говоритъ не просто Пти, а непремѣнно Жанъ Жакъ Пти. Случается, что онъ остается у насъ обѣдать, и тогда въ продолженіе всего обѣда онъ разсказываетъ все тѣ же пикантныя исторіи, наводящія уныніе на всѣхъ обѣдающихъ. Если Гнеккеръ и Лиза заводятъ при немъ рѣчь о фугахъ и контра-пунктахъ, о Брамсѣ и Бахѣ, то онъ скромно потупляетъ взоры и конфузится; ему стыдно, что въ присутствіи такихъ серьезныхъ людей, какъ я и онъ, говорятъ о такихъ пошлостяхъ.

При теперешнемъ моемъ настроеніи достаточно пяти минутъ, чтобы онъ надоѣлъ мнѣ такъ, какъ будто я вижу и слушаю его уже цѣлую вѣчность. Я ненавижу бѣднягу. Отъ его тихаго, ровнаго голоса и книжнаго языка я чахну, отъ разсказовъ тупѣю... Онъ питаетъ ко мнѣ самыя хорошія чувства и говоритъ со мною только для того, чтобы доставить мнѣ удовольствіе, а я плачу ему тѣмъ, что въ упоръ гляжу на него, точно хочу его загипнотизировать, и думаю: «уйди, уйди, уйди»... Но онъ не поддается мысленному внушенію и сидитъ, сидитъ, сидитъ...

Пока онъ сидитъ у меня, я никакъ не могу отдѣлаться отъ мысли: «очень возможно, что, когда я умру, его назначатъ на мое мѣсто», и моя бѣдная аудиторія представляется мнѣ оазисомъ, въ которомъ высохъ ручей, и я съ Петромъ Игнатьевичемъ нелюбезенъ, молчаливъ, угрюмъ, какъ будто въ подобныхъ мысляхъ виноватъ онъ, а не я самъ. Когда онъ начинаетъ по обычаю превозносить нѣмецкихъ ученыхъ я ужъ не подшучиваю добродушно, какъ прежде, а угрюмо бормочу:

— Ослы ваши нѣмцы...

Это похоже на то, какъ покойный профессоръ Никита Крыловъ, купаясь однажды съ Пироговымъ въ Ревелѣ и разсердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился: «Подлецы нѣмцы!» Веду я себя съ Петромъ Игнатьевичемъ дурно, и только когда онъ уходитъ и я вижу, какъ въ окнѣ за палисадникомъ мелькаетъ его сѣрая шляпа, мнѣ хочется окликнуть его и сказать: «Простите меня, голубчикъ!»

Обѣдъ у насъ проходитъ скучнѣе, чѣмъ зимою. Тотъ же Гнеккеръ, котораго я теперь ненавижу и презираю, обѣдаетъ у меня почти каждый день. Прежде я терпѣлъ его присутствіе молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющія краснѣть жену и Лизу. Увлекшись злымъ чувствомъ, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачѣмъ говорю ихъ. Такъ случилось однажды, я долго глядѣлъ съ презрѣніемъ на Гнеккера и ни съ того, ни съ сего выпалилъ:

Орламъ случается и ниже куръ спускаться,
Но курамъ никогда до облакъ не подняться...

И досаднѣе всего, что курица Гнеккеръ оказывается гораздо умнѣе орла-профессора. Зная, что жена и дочь на его сторонѣ, онъ держится такой тактики: отвѣчаетъ на мои колкости снисходительнымъ молчаніемъ (спятилъ, молъ, старикъ—что съ нимъ разговаривать?), или же добродушно подшучиваетъ надо мной. Нужно удивляться, до какой степени можетъ измельчать человѣкъ! Я въ состояніи въ продолженіе всего обѣда мечтать о томъ, какъ Гнеккеръ окажется авантюристомъ, какъ Лиза и жена поймутъ свою ошибку и какъ я буду дразнить ихъ — и подобныя нелѣпыя мечты въ то время, когда одною ногой я стою уже въ могилѣ!

Бываютъ теперь и недоразумѣнія, о которыхъ я прежде имѣлъ понятіе только по наслышкѣ. Какъ мнѣ ни совѣстно, но опишу одно изъ нихъ, случившееся на-дняхъ послѣ обѣда.

Я сижу у себя въ комнатѣ и курю трубочку. Входитъ, по обыкновенію, жена, садится и начинаетъ говорить о томъ, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть свободное время, съѣздить въ Харьковъ и разузнать тамъ, что за человѣкъ нашъ Гнеккеръ.

— Хорошо, съѣзжу...—соглашаюсь я.

Жена, довольная мною, встаетъ и идетъ къ двери, но тотчасъ же возвращается и говоритъ:

— Кстати еще одна просьба. Я знаю, ты разсердишься, но моя обязанность предупредить тебя... Извини, Николай Степанычъ, но всѣ наши знакомые и сосѣди стали ужъ поговаривать о томъ, что ты очень часто бываешь у Кати. Она умная, образованная, я не спорю, съ ней пріятно провести время, но въ твои годы и съ твоимъ общественнымъ положеніемъ какъ-то, знаешь, странно находить удовольствіе въ ея обществѣ... Къ тому же, у нея такая репутація, что...

Вся кровь вдругъ отливаетъ отъ моего мозга, изъ глазъ сыплются искры, я вскакиваю и, схвативъ себя за голову, топоча ногами, кричу не своимъ голосомъ:

— Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!

Вѣроятно лицо мое ужасно, голосъ страненъ, потому что жена вдругъ блѣднѣетъ и громко вскрикиваетъ какимъ-то тоже не своимъ, отчаяннымъ голосомъ. На нашъ крикъ вбѣгаютъ Лиза, Гнеккеръ, потомъ Егоръ...

— Оставьте меня!—кричу я.—Вонъ! Оставьте!

Ноги мои нѣмѣютъ, точно ихъ нѣтъ совсѣмъ, я чувствую, какъ падаю на чьи-то руки, потомъ недолго слышу плачъ и погружаюсь въ обморокъ, который длится часа два-три.

Теперь о Катѣ. Она бываетъ у меня каждый день передъ вечеромъ и этого, конечно, не могутъ не замѣтить ни сосѣди, ни знакомые. Она пріѣзжаетъ на минутку и увозитъ меня съ собой кататься. У нея своя лошадь и новенькій шарабанъ, купленный этимъ лѣтомъ. Вообще живетъ она на широкую ногу: наняла дорогую дачу-особнякъ съ большимъ садомъ и перевезла въ нее всю свою городскую обстановку, имѣетъ двухъ горничныхъ, кучера... Часто я спрашиваю ее:

— Катя, чѣмъ ты будешь жить, когда промотаешь отцовскія деньги?

— Тамъ увидимъ,—отвѣчаетъ она.

— Эти деньги, мой другъ, заслуживаютъ болѣе серьезнаго отношенія къ нимъ. Онѣ нажиты хорошимъ человѣкомъ, честнымъ трудомъ.

— Объ этомъ вы уже говорили мнѣ. Знаю.

Сначала мы ѣдемъ по полю, потомъ по хвойному лѣсу,

который виденъ изъ моего окна. Природа попрежнему кажется мнѣ прекрасною, хотя бѣсъ и шепчетъ мнѣ, что всѣ эти сосны и ели, птицы и бѣлыя облака на небѣ черезъ три или четыре мѣсяца, когда я умру, не замѣтятъ моего отсутствія. Катѣ нравится править лошадью и пріятно, что погода хороша и что я сижу рядомъ съ нею. Она въ духѣ и не говоритъ рѣзкостей.

— Вы очень хорошій человѣкъ, Николай Степанычъ,— говоритъ она. — Вы рѣдкій экземпляръ и нѣтъ такого актера, который сумѣлъ бы сыграть васъ. Меня или, напримѣръ, Михаила Ѳедорыча сыграетъ даже плохой актеръ, а васъ никто. И я вамъ завидую, страшно завидую! Вѣдь что я изображаю изъ себя? Что?

Она минуту думаетъ и спрашиваетъ меня:

— Николай Степанычъ, вѣдь я отрицательное явленіе? Да?

— Да,—отвѣчаю я.

— Гм... Что же мнѣ дѣлать?

Что отвѣтить ей? Легко сказать «трудись», или «раздай свое имущество бѣднымъ», или «познай самого себя», и потому что это легко сказать, я не знаю, что отвѣтить.

Мои товарищи терапевты, когда учатъ лѣчить, совѣтуютъ «индивидуализировать каждый отдѣльный случай». Нужно послушаться этого совѣта, чтобы убѣдиться, что средства, рекомендуемыя въ учебникахъ за самыя лучшія и вполнѣ пригодныя для шаблона, оказываются совершенно негодными въ отдѣльныхъ случаяхъ. То же самое и въ нравственныхъ недугахъ.

Но отвѣтить что-нибудь нужно, и я говорю:

— У тебя, мой другъ, слишкомъ много свободнаго времени. Тебѣ необходимо заняться чѣмъ-нибудь. Въ самомъ дѣлѣ, отчего бы тебѣ опять не поступить въ актрисы, если есть призваніе?

— Не могу.

— Тонъ и манера у тебя таковы, какъ будто ты жертва. Это мнѣ не нравится, другъ мой. Сама ты виновата. Вспомни, ты начала съ того, что разсердилась на людей и на порядки, но ничего не сдѣлала, чтобы тѣ и другіе стали лучше. Ты не боролась со зломъ, а утомилась, и ты жертва не борьбы, а своего безсилія. Ну, конечно, тогда ты была молода, неопытна, теперь же все можетъ пойти

иначе. Право, поступай! Будешь ты трудиться, служить святому искусству...

— Не лукавьте, Николай Степанычъ,—перебиваетъ меня Катя.—Давайте разъ навсегда условимся: будемъ говорить объ актерахъ, объ актрисахъ, писателяхъ, но оставимъ въ покоѣ искусство. Вы прекрасный, рѣдкій человѣкъ, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совѣсти считать его святымъ. Къ искусству у васъ нѣтъ ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были заняты и вамъ некогда было пріобрѣтать это чутье. Вообще... я не люблю этихъ разговоровъ объ искусствѣ! — продолжаетъ она нервно. — Не люблю! И такъ ужъ опошлили его, благодарю покорно!

— Кто опошлилъ?

— Тѣ опошлили его пьянствомъ, газеты—фамильярнымъ отношеніемъ, умные люди—философіей.

— Философія тутъ ни при чемъ.

— Причемъ. Если кто философствуетъ, то это значитъ, что онъ не понимаетъ.

Чтобы дѣло не дошло до рѣзкостей, я спѣшу перемѣнить разговоръ и потомъ долго молчу. Только когда мы выѣзжаемъ изъ лѣса и направляемся къ Катиной дачѣ, я возвращаюсь къ прежнему разговору и спрашиваю:

— Ты все-таки не отвѣтила мнѣ: отчего ты не хочешь идти въ актрисы?

— Николай Степанычъ, это наконецъ жестоко!—вскрикиваетъ она и вдругъ вся краснѣетъ.—Вамъ хочется, чтобы я вслухъ сказала правду? Извольте, если это... это вамъ нравится! Таланта у меня нѣтъ! Таланта нѣтъ и... и много самолюбія! Вотъ!

Сдѣлавъ такое признаніе, она отворачиваетъ отъ меня лицо и, чтобы скрыть дрожь въ рукахъ, сильно дергаетъ за вожжи.

Подъѣзжая къ ея дачѣ, мы уже издали видимъ Михаила Ѳедоровича, который гуляетъ около воротъ и нетерпѣливо поджидаетъ насъ.

— Опять этотъ Михаилъ Ѳедорычъ!—говоритъ Катя съ досадой.—Уберите его отъ меня, пожалуйста! Надоѣлъ, выдохся... Ну его!

Михаилу Ѳедоровичу давно уже нужно ѣхать за границу, но онъ каждую недѣлю откладываетъ свой отъѣздъ. Въ послѣднее время съ нимъ произошли кое-какія перемѣны:

онъ какъ-то осунулся, сталъ хмелѣть отъ вина, чего съ нимъ раньше никогда не бывало, и его черныя брови начинаютъ сѣдѣть. Когда нашъ шарабанъ останавливается у воротъ, онъ не скрываетъ своей радости и своего нетерпѣнія. Онъ суетливо высаживаетъ Катю и меня, торопится задавать вопросы, смѣется, потираетъ руки и то кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замѣчалъ только въ его взглядѣ, теперь разлито по всему его лицу. Онъ радуется и въ то же время ему стыдно своей радости, стыдно этой привычки бывать у Кати каждый вечеръ, и онъ находитъ нужнымъ мотивировать свой пріѣздъ какою-нибудь очевидною нелѣпостью, въ родѣ: «Ѣхалъ мимо по дѣлу и дай, думаю, заѣду на минуту».

Всѣ трое мы идемъ въ комнаты; сначала пьемъ чай, потомъ на столѣ появляются давно знакомыя мнѣ двѣ колоды картъ, большой кусокъ сыру, фрукты и бутылка крымскаго шампанскаго. Темы для разговоровъ у насъ не новы, все тѣ же, что были и зимою. Достается и университету, и студентамъ, и литературѣ, и театру; воздухъ отъ злословія становится гуще, душнѣе, и отравляютъ его своими дыханіями уже не двѣ жабы, какъ зимою, а цѣлыхъ три. Кромѣ бархатнаго, баритоннаго смѣха и хохота, похожаго на гармонику, горничная, которая служитъ намъ, слышитъ еще непріятный, дребезжащій смѣхъ, какимъ въ водевиляхъ смѣются генералы: хе-хе-хе...

## V.

Бываютъ страшныя ночи съ громомъ, молніей, дождемъ и вѣтромъ, которыя въ народѣ называются воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и въ моей личной жизни...

Я просыпаюсь послѣ полуночи и вдругъ вскакиваю съ постели. Мнѣ почему-то кажется, что я сейчасъ внезапно умру. Почему кажется? Въ тѣлѣ нѣтъ ни одного такого ощущенія, которое указывало бы на скорый конецъ, но душу мою гнететъ такой ужасъ, какъ будто я вдругъ увидѣлъ громадное зловѣщее зарево.

Я быстро зажигаю огонь, пью воду прямо изъ графина, потомъ спѣшу къ открытому окну. Погода на дворѣ великолѣпная. Пахнетъ сѣномъ и чѣмъ-то еще очень хорошимъ. Видны мнѣ зубцы палисадника, сонныя тощія деревца у

окна, дорога, темная полоса лѣса; на небѣ спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Тишина, не шевельнется ни одинъ листъ. Мнѣ кажется, что все смотритъ на меня и прислушивается, какъ я буду умирать...

Жутко. Закрываю окно и бѣгу къ постели. Щупаю у себя пульсъ и, не найдя на рукѣ, ищу его въ вискахъ, потомъ въ подбородкѣ и опять на рукѣ и все это у меня холодно, склизко отъ пота. Дыханіе становится все чаще и чаще, тѣло дрожитъ, всѣ внутренности въ движеніи, на лицѣ и на лысинѣ такое ощущеніе, какъ будто на нихъ садится паутина.

Что дѣлать? Позвать семью? Нѣтъ, не нужно. Я не понимаю, что будутъ дѣлать жена и Лиза, когда войдутъ ко мнѣ.

Я прячу голову подъ подушку, закрываю глаза и жду, жду... Спинѣ моей холодно, она точно втягивается во внутрь и такое у меня чувство, какъ будто смерть подойдетъ ко мнѣ непремѣнно сзади, потихоньку...

— Киви-киви! — раздается вдругъ пискъ въ ночной тишинѣ, и я не знаю, гдѣ это: въ моей груди, или на улицѣ?

— Киви-киви!

Боже мой, какъ страшно! Выпилъ бы еще воды, но ужъ страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужасъ у меня безотчетный, животный, и я никакъ не могу понять, отчего мнѣ страшно: оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждетъ новая, еще неизвѣданная боль?

Наверху за потолкомъ кто-то не то стонетъ, не то смѣется... Прислушиваюсь. Немного погодя на лѣстницѣ раздаются шаги. Кто-то торопливо идетъ внизъ, потомъ опять наверхъ. Черезъ минуту шаги опять раздаются внизу; кто-то останавливается около моей двери и прислушивается.

— Кто тамъ?—кричу я.

Дверь отворяется, я смѣло открываю глаза и вижу жену. Лицо у нея блѣдно и глаза заплаканы.

— Ты не спишь, Николай Степанычъ?—спрашиваетъ она.

— Что тебѣ?

— Ради Бога сходи къ Лизѣ и посмотри на нее. Съ ней что-то дѣлается...

— Хорошо... съ удовольствіемъ... — бормочу я, очень довольный тѣмъ, что я не одинъ.—Хорошо... Сію минуту.

Я иду за своей женой, слушаю, что она говоритъ мнѣ, и ничего не понимаю отъ волненія. По ступенямъ лѣстницы прыгаютъ свѣтлыя пятна отъ ея свѣчи, дрожатъ наши длинныя тѣни, ноги мои путаются въ полахъ халата, я задыхаюсь, и мнѣ кажется, что за мной кто-то гонится и хочетъ схватить меня за спину. «Сейчасъ умру здѣсь на этой лѣстницѣ,—думаю я.—Сейчасъ...» Но вотъ миновали лѣстницу, темный коридоръ съ итальянскимъ окномъ и входимъ въ комнату Лизы. Она сидитъ на постели въ одной сорочкѣ, свѣсивъ босыя ноги, и стонетъ.

— Ахъ, Боже мой... ахъ, Боже мой! — бормочетъ она, жмурясь отъ нашей свѣчи.—Не могу, не могу...

— Лиза, дитя мое,—говорю я.—Что съ тобой?

Увидѣвъ меня, она вскрикиваетъ и бросается мнѣ на шею.

— Папа мой добрый...—рыдаетъ она:—папа мой хорошій... Крошечка мой, миленькій... Я не знаю, что со мною... Тяжело!

Она обнимаетъ меня, цѣлуетъ и лепечетъ ласкательныя слова, какія я слышалъ отъ нея, когда она была еще ребенкомъ.

— Успокойся, дитя мое, Богъ съ тобой, — говорю я.— Не нужно плакать. Мнѣ самому тяжело.

Я стараюсь укрыть ее, жена даетъ ей пить и оба мы безпорядочно толчемся около постели; своимъ плечомъ я толкаю ее въ плечо, и въ это время мнѣ вспоминается, какъ мы когда-то вмѣстѣ купали нашихъ дѣтей.

— Да помоги же ей, помоги!—умоляетъ жена.—Сдѣлай что-нибудь!

Что же я могу сдѣлать? Ничего не могу. На душѣ у дѣвочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать:

— Ничего, ничего... Это пройдетъ... Спи, спи...

Какъ нарочно, въ нашемъ дворѣ раздается вдругъ собачій вой, сначала тихій и нерѣшительный, потомъ громкій, въ два голоса. Я никогда не придавалъ значенія такимъ примѣтамъ, какъ вой собакъ или крикъ совъ, но теперь сердце мое мучительно сжимается и я спѣшу объяснить себѣ этотъ вой.

«Пустяки... — думаю я. — Вліяніе одного организма на другой. Мое сильное нервное напряженіе передалось женѣ,

Лизѣ, собакѣ, вотъ и все... Этой передачей объясняются предчувствія, предвидѣнія»...

Когда я, немного погодя, возвращаюсь къ себѣ въ комнату, чтобы написать для Лизы рецептъ, я ужъ не думаю о томъ, что скоро умру, но просто на душѣ тяжко, нудно, такъ что даже жаль, что я не умеръ внезапно. Долго я стою среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое прописать для Лизы, но стоны за потолкомъ умолкаютъ и я рѣшаю ничего не прописывать, и все-таки стою...

Тишина мертвая, такая тишина, что, какъ выразился какой-то писатель, даже въ ушахъ звенитъ. Время идетъ медленно, полосы луннаго свѣта на подоконникѣ не мѣняютъ своего положенія, точно застыли... Разсвѣтъ еще не скоро.

Но вотъ въ палисадникѣ скрипитъ калитка, кто-то крадется и, отломивъ отъ одного изъ тощихъ деревецъ вѣтку, осторожно стучитъ ею по окну.

— Николай Степанычъ! — слышу я шопотъ. — Николай Степанычъ!

Я отворяю окно и мнѣ кажется, что я вижу сонъ: подъ окномъ, прижавшись къ стѣнѣ, стоитъ женщина въ черномъ платьѣ, ярко освѣщенная луной, и глядитъ на меня большими глазами. Лицо ея блѣдно, строго и фантастично отъ луны, какъ мраморное, подбородокъ дрожитъ.

— Это я...—говоритъ она.—Я... Катя!

При лунномъ свѣтѣ всѣ женскіе глаза кажутся большими и черными, люди выше и блѣднѣе и потому, вѣроятно, я не узналъ ея въ первую минуту.

— Что тебѣ?

— Простите, — говоритъ она. — Мнѣ вдругъ почему-то стало невыносимо тяжело... Я не выдержала и поѣхала сюда... У васъ въ окнѣ свѣтъ и... и я рѣшила постучать... Извините... Ахъ, если бъ вы знали, какъ мнѣ было тяжело! Что вы сейчасъ дѣлаете?

— Ничего... Безсонница.

— У меня какое-то предчувствіе было. Впрочемъ, пустяки.

Брови ея поднимаются, глаза блестятъ отъ слезъ и все лицо озаряется, какъ свѣтомъ, знакомымъ, давно невиданнымъ выраженіемъ довѣрчивости.

— Николай Степанычъ!—говоритъ она умоляюще, про-

тягивая ко мнѣ обѣ руки. — Дорогой мой, прошу васъ... умоляю... Если вы не презираете моей дружбы и уваженія къ вамъ, то согласитесь на мою просьбу!

— Что такое?

— Возьмите отъ меня мои деньги!

— Ну, вотъ еще что выдумала! На что мнѣ твои деньги?

— Вы поѣдете куда-нибудь лѣчиться... Вамъ нужно лѣчиться. Возьмете? Да? Голубчикъ, да?

Она жадно всматривается въ мое лицо и повторяетъ:

— Да? Возьмете?

— Нѣтъ, мой другъ, не возьму...—говорю я.—Спасибо.

Она поворачивается ко мнѣ спиной и поникаетъ головой. Вѣроятно, я отказалъ ей такимъ тономъ, который не допускалъ дальнѣйшихъ разговоровъ о деньгахъ.

— Поѣзжай домой спать,—говорю я.—Завтра увидимся.

— Значитъ, вы не считаете меня своимъ другомъ?—спрашиваетъ она уныло.

— Я этого не говорю. Но деньги твои теперь для меня безполезны.

— Извините...—говоритъ она, понизивъ голосъ на цѣлую октаву.—Я понимаю васъ... Одолжаться у такого человѣка, какъ я... у отставной актрисы... Впрочемъ, прощайте...

И она уходитъ такъ быстро, что я не успѣваю даже сказать ей прощай.

## VI.

Я въ Харьковѣ.

Такъ какъ бороться съ теперешнимъ моимъ настроеніемъ было бы безполезно, да и не въ моихъ силахъ, то я рѣшилъ, что послѣдніе дни моей жизни будутъ безупречны хотя съ формальной стороны; если я не правъ по отношенію къ своей семьѣ, что я отлично сознаю, то буду стараться дѣлать такъ, какъ она хочетъ. Въ Харьковъ ѣхать, такъ въ Харьковъ. Къ тому же, въ послѣднее время я такъ оравнодушѣлъ ко всему, что мнѣ положительно все равно, куда ни ѣхать, въ Харьковъ, въ Парижъ ли, или въ Бердичевъ.

Пріѣхалъ я сюда часовъ въ 12 дня и остановился въ гостиницѣ, недалеко отъ собора. Въ вагонѣ меня укачало, продуло сквозняками и теперь я сижу на кровати, держусь

за голову и жду tic'а. Надо бы сегодня же поѣхать къ знакомымъ профессорамъ, да нѣтъ охоты и силы.

Входитъ коридорный лакей - старикъ и спрашиваетъ, есть ли у меня постельное бѣлье. Я задерживаю его минутъ на пять и задаю ему нѣсколько вопросовъ насчетъ Гнеккера, ради котораго я пріѣхалъ сюда. Лакей оказывается уроженцемъ Харькова, знаетъ этотъ городъ, какъ свои пять пальцевъ, но не помнитъ ни одного такого дома, который носилъ бы фамилію Гнеккера. Разспрашиваю насчетъ имѣній—то же самое.

Въ коридорѣ часы бьютъ часъ, потомъ два, потомъ три... Послѣдніе мѣсяцы моей жизни, пока я жду смерти, кажутся мнѣ гораздо длиннѣе всей моей жизни. И никогда раньше я не умѣлъ такъ мириться съ медленностію времени, какъ теперь. Прежде бывало, когда ждешь на вокзалѣ поѣзда или сидишь на экзаменѣ, четверть часа кажутся вѣчностью, теперь же я могу всю ночь сидѣть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о томъ, что завтра будетъ такая же длинная, безцвѣтная ночь, и послѣзавтра...

Въ коридорѣ бьетъ пять часовъ, шесть, семь... Становится темно.

Въ щекѣ тупая боль—это начинается tic. Чтобы занять себя мыслями, я становлюсь на прежнюю свою точку зрѣнія, когда не былъ равнодушенъ, и спрашиваю: зачѣмъ я, знаменитый человѣкъ, тайный совѣтникъ, сижу въ этомъ маленькомъ номерѣ, на этой кровати съ чужимъ, сѣрымъ одѣяломъ? Зачѣмъ я гляжу на этотъ дешевый жестяной рукомойникъ и слушаю, какъ въ коридорѣ дребезжатъ дрянные часы? Развѣ все это достойно моей славы и моего высокаго положенія среди людей? И на эти вопросы я отвѣчаю себѣ усмѣшкой. Смѣшна мнѣ моя наивность, съ какою я когда-то въ молодости преувеличивалъ значеніе извѣстности и того исключительнаго положенія, какимъ будто бы пользуются знаменитости. Я извѣстенъ, мое имя произносится съ благоговѣніемъ, мой портретъ былъ и въ «Нивѣ» и во «Всемірной Иллюстраціи», свою біографію я читалъ даже въ одномъ нѣмецкомъ журналѣ—и что же изъ этого? Сижу я одинъ-одинешенекъ въ чужомъ городѣ, на чужой кровати, тру ладонью свою больную щеку... Семейныя дрязги, немилосердіе кредиторовъ, грубость желѣзнодорожной прислуги, неудобства паспортной системы, до-

рогая и нездоровая пища въ буфетахъ, вообщее невѣжество и грубость въ отношеніяхъ—все это и многое другое, что было бы слишкомъ долго перечислять, касается меня не менѣе, чѣмъ любого мѣщанина, извѣстнаго только своему переулку. Въ чемъ же выражается исключительность моего положенія? Допустимъ, что я знаменитъ тысячу разъ, что я герой, которымъ гордится моя родина; во всѣхъ газетахъ пишутъ бюллетени о моей болѣзни, по почтѣ идутъ уже ко мнѣ сочувственные адреса отъ товарищей, учениковъ и публики, но все это не помѣшаетъ мнѣ умереть на чужой кровати, въ тоскѣ, въ совершенномъ одиночествѣ... Въ этомъ, конечно, никто не виноватъ, но, грѣшный человѣкъ, не люблю я своего популярнаго имени. Мнѣ кажется, какъ будто оно меня обмануло.

Часовъ въ десять я засыпаю и, несмотря на tic, сплю крѣпко и спалъ бы долго, если бы меня не разбудили. Въ началѣ второго часа вдругъ раздается стукъ въ дверь.

— Кто тамъ?

— Телеграмма!

— Могли бы и завтра, — сержусь я, получая отъ коридорнаго телеграмму. — Теперь ужъ я не усну въ другой разъ.

— Виноватъ-съ. У васъ огонь горитъ, я думалъ, что вы не спите.

Я распечатываю телеграмму и прежде всего гляжу на подпись: отъ жены. Что ей нужно?

«Вчера Гнеккеръ тайно обвѣнчался съ Лизой. Возвратись».

Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго. Пугаетъ меня не поступокъ Лизы и Гнеккера, а мое равнодушіе, съ какимъ я встрѣчаю извѣстіе объ ихъ свадьбѣ. Говорятъ, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушіе—это параличъ души, преждевременная смерть.

Опять ложусь я въ постель и начинаю придумывать, какими бы занять себя мыслями. О чемъ думать? Кажется, все ужъ передумано и ничего нѣтъ такого, что было бы теперь способно возбудить мою мысль.

Когда разсвѣтаетъ, я сижу въ постели, обнявъ руками колѣни, и отъ нечего дѣлать стараюсь познать самого себя. «Познай самого себя» — прекрасный и полезный совѣтъ;

жаль только, что древніе не догадались указать способъ, какъ пользоваться этимъ совѣтомъ.

Когда мнѣ прежде приходила охота понять кого-нибудь, или себя, то я принималъ во вниманіе не поступки, въ которыхъ все условно, а желанія. Скажи мнѣ, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты.

И теперь я экзаменую себя: чего я хочу?

Я хочу, чтобы наши жены, дѣти, друзья, ученики любили въ насъ не имя, не фирму и не ярлыкъ, а обыкновенныхъ людей. Еще что? Я хотѣлъ бы имѣть помощниковъ и наслѣдниковъ. Еще что? Хотѣлъ бы проснуться лѣтъ черезъ сто и хоть однимъ глазомъ взглянуть, что будетъ съ наукой. Хотѣлъ бы еще пожить лѣтъ десять... Дальше что?

А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думалъ и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что въ моихъ желаніяхъ нѣтъ чего-то главнаго, чего-то очень важнаго. Въ моемъ пристрастіи къ наукѣ, въ моемъ желаніи жить, въ этомъ сидѣньѣ на чужой кровати и въ стремленіи познать самого себя, во всѣхъ мысляхъ, чувствахъ и понятіяхъ, какія я составляю обо всемъ, нѣтъ чего-то общаго, что связывало бы все это въ одно цѣлое. Каждое чувство и каждая мысль живутъ во мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ моихъ сужденіяхъ о наукѣ, театрѣ, литературѣ, ученикахъ и во всѣхъ картинкахъ, которыя рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей, или богомъ живого человѣка.

А коли нѣтъ этого, то, значитъ, нѣтъ и ничего.

При такой бѣдности достаточно было серьезнаго недуга, страха смерти, вліянія обстоятельствъ и людей, чтобы все то, что я прежде считалъ своимъ міровоззрѣніемъ и въ чемъ видѣлъ смыслъ и радость своей жизни, перевернулось вверхъ дномъ и разлетѣлось въ клочья. Ничего же поэтому нѣтъ удивительнаго, что послѣдніе мѣсяцы своей жизни я омрачилъ мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушенъ и не замѣчаю разсвѣта. Когда въ человѣкѣ нѣтъ того, что выше и сильнѣе всѣхъ внѣшнихъ вліяній, то, право, достаточно для него хорошаго насморка, чтобы потерять равновѣсіе и начать видѣть

въ каждой птицѣ сову, въ каждомъ звукѣ слышать собачій вой. И весь его пессимизмъ или оптимизмъ съ его великими и малыми мыслями въ это время имѣютъ значеніе только симптома и больше ничего.

Я побѣжденъ. Если такъ, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидѣть и молча ждать, что будетъ.

Утромъ коридорный приноситъ мнѣ чай и нумеръ мѣстной газеты. Машинально я прочитываю объявленія на первой страницѣ, передовую, выдержки изъ газетъ и журналовъ, хронику... Между прочимъ въ хроникѣ я нахожу такое извѣстіе: «Вчера съ курьерскимъ поѣздомъ прибылъ въ Харьковъ нашъ извѣстный ученый, заслуженный профессоръ Николай Степановичъ такой-то и остановился въ такой-то гостиницѣ».

Очевидно, громкія имена создаются для того, чтобы жить особнякомъ, помимо тѣхъ, кто ихъ носитъ. Теперь мое имя безмятежно гуляетъ по Харькову; мѣсяца черезъ три оно, изображенное золотыми буквами на могильномъ памятникѣ, будетъ блестѣть, какъ самое солнце — и это въ то время, когда я буду ужъ покрытъ мохомъ...

Легкій стукъ въ дверь. Кому-то я нуженъ.

— Кто тамъ? Войдите!

Дверь отворяется и я, удивленный, дѣлаю шагъ назадъ и спѣшу запахнуть полы своего халата. Передо мной стоитъ Катя.

— Здравствуйте,—говоритъ она, тяжело дыша отъ ходьбы по лѣстницѣ.—Не ожидали? Я тоже... тоже сюда пріѣхала.

Она садится и продолжаетъ, заикаясь и не глядя на меня:

— Что же вы не здороваетесь? Я тоже пріѣхала... сегодня... Узнала, что вы въ этой гостиницѣ, и пришла къ вамъ.

— Очень радъ видѣть тебя, — говорю я, пожимая плечами:—но я удивленъ... Ты точно съ неба свалилась. Зачѣмъ ты здѣсь?

— Я? Такъ... просто взяла и пріѣхала.

Молчаніе. Вдругъ она порывисто встаетъ и идетъ ко мнѣ.

— Николай Степанычъ!—говоритъ она, блѣднѣя и сжимая на груди руки.—Николай Степанычъ! Я не могу дольше такъ жить! Не могу! Ради истиннаго Бога скажите скорѣе, сію минуту: что мнѣ дѣлать? Говорите, что мнѣ дѣлать?

— Что же я могу сказать? — недоумѣваю я. — Ничего я не могу.

— Говорите же, умоляю васъ! — продолжаетъ она, задыхаясь и дрожа всѣмъ тѣломъ. — Клянусь вамъ, что я не могу дольше такъ жить! Силъ моихъ нѣтъ!

Она падаетъ на стулъ и начинаетъ рыдать. Она закинула назадъ голову, ломаетъ руки, топочетъ ногами; шляпка ея свалилась съ головы и болтается на резинкѣ, прическа растрепалась.

— Помогите мнѣ! Помогите! — умоляетъ она. — Не могу я дольше!

Она достаетъ изъ своей дорожной сумочки платокъ и вмѣстѣ съ нимъ вытаскиваетъ нѣсколько писемъ, которыя съ ея колѣнъ падаютъ на полъ. Я подбираю ихъ съ полу и на одномъ изъ нихъ узнаю почеркъ Михаила Ѳедоровича и нечаянно прочитываю кусочекъ какого-то слова «страсти...».

— Ничего я не могу сказать тебѣ, Катя, — говорю я.

— Помогите! — рыдаетъ она, хватая меня за руку и цѣлуя ее. — Вѣдь вы мой отецъ, мой единственный другъ! Вѣдь вы умны, образованы, долго жили! Вы были учителемъ! Говорите же: что мнѣ дѣлать?

— По совѣсти, Катя: не знаю...

Я растерялся, сконфуженъ, тронутъ рыданіями и едва стою на ногахъ.

— Давай, Катя, завтракать, — говорю я, натянуто улыбаясь. — Будетъ плакать!

И тотчасъ же я прибавляю упавшимъ голосомъ:

— Меня скоро не станетъ, Катя...

— Хоть одно слово, хоть одно слово! — плачетъ она, протягивая ко мнѣ руки. — Что мнѣ дѣлать?

— Чудачка, право... — бормочу я. — Не понимаю! Такая умница и вдругъ — на тебѣ! расплакалась...

Наступаетъ молчаніе. Катя поправляетъ прическу, надѣваетъ шляпу, потомъ комкаетъ письма и суетъ ихъ въ сумочку — и все это молча и не спѣша. Лицо, грудь и перчатки у нея мокры отъ слезъ, но выраженіе лица уже сухо, сурово... Я гляжу на нее и мнѣ стыдно, что я счастливѣе ея. Отсутствіе того, что товарищи-философы называютъ общей идеей, я замѣтилъ въ себѣ только незадолго передъ смертью, на закатѣ своихъ дней, а вѣдь душа этой

бѣдняжки не знала и не будетъ знать пріюта всю жизнь, всю жизнь!

— Давай, Катя, завтракать,—говорю я.

— Нѣтъ, благодарю,—отвѣчаетъ она холодно.

Еще одна минута проходитъ въ молчаніи.

— Не нравится мнѣ Харьковъ,—говорю я.—Сѣро ужъ очень. Какой-то сѣрый городъ.

— Да, пожалуй... Некрасивый... Я ненадолго сюда... Мимоѣздомъ. Сегодня же уѣду.

— Куда?

— Въ Крымъ... то-есть на Кавказъ.

— Такъ. Надолго?

— Не знаю.

Катя встаетъ и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягиваетъ мнѣ руку.

Мнѣ хочется спросить:—«Значитъ, на похоронахъ у меня не будешь?» Но она не глядитъ на меня, рука у нея холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей... Вотъ она вышла отъ меня, идетъ по длинному коридору, не оглядываясь. Она знаетъ, что я гляжу ей вслѣдъ, и, вѣроятно, на поворотѣ оглянется.

Нѣтъ, не оглянулась. Черное платье въ послѣдній разъ мелькнуло, затихли шаги... Прощай, мое сокровище!

# ПРИПАДОКЪ.

## I.

Студентъ-медикъ Майеръ и ученикъ московскаго училища живописи, ваянія и зодчества Рыбниковъ пришли какъ-то вечеромъ къ своему пріятелю студенту-юристу Васильеву и предложили ему сходить съ ними въ С—въ переулокъ. Васильевъ сначала долго не соглашался, но потомъ одѣлся и пошелъ съ ними.

Падшихъ женщинъ онъ зналъ только по наслышкѣ и изъ книгъ, и въ тѣхъ домахъ, гдѣ онѣ живутъ, не былъ ни разу въ жизни. Онъ зналъ, что есть такія безнравственныя женщины, которыя подъ давленіемъ роковыхъ обстоятельствъ—среды, дурного воспитанія, нужды и т. п. вынуждены бываютъ продавать за деньги свою честь. Онѣ не знаютъ чистой любви, не имѣютъ дѣтей, не правоспособны; матери и сестры оплакиваютъ ихъ, какъ мертвыхъ, наука третируетъ ихъ, какъ зло, мужчины говорятъ имъ ты. Но, несмотря на все это, онѣ не теряютъ образа и подобія Божія. Всѣ онѣ сознаютъ свой грѣхъ и надѣются на спасеніе. Средствами, которыя ведутъ къ спасенію, онѣ могутъ пользоваться въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Правда, общество не прощаетъ людямъ прошлаго, но у Бога святая Марія Египетская считается не ниже другихъ святыхъ. Когда Васильеву приходилось по костюму или по манерамъ узнавать на улицѣ падшую женщину, или видѣть ея изображеніе въ юмористическомъ журналѣ, то всякій разъ онъ вспоминалъ одну исторію, гдѣ-то и когда-то имъ вычитан-

ную: какой-то молодой человѣкъ, чистый и самоотверженный, полюбилъ падшую женщину и предложилъ ей стать его женою, она же, считая себя недостойною такого счастія, отравилась.

Васильевъ жилъ въ одномъ изъ переулковъ, выходящихъ на Тверской бульваръ. Когда онъ вышелъ съ пріятелями изъ дому, было около 11 часовъ. Недавно шелъ первый снѣгъ и все въ природѣ находилось подъ властью этого молодого снѣга. Въ воздухѣ пахло снѣгомъ, подъ ногами мягко хрустѣлъ снѣгъ, земля, крыши, деревья, скамьи на бульварахъ — все было мягко, бѣло, молодо, и отъ этого дома выглядывали иначе, чѣмъ вчера, фонари горѣли ярче, воздухъ былъ прозрачнѣй, экипажи стучали глуше, и въ душу вмѣстѣ со свѣжимъ, легкимъ морознымъ воздухомъ просилось чувство, похожее на бѣлый, молодой, пушистый снѣгъ.

— Невольно къ этимъ грустнымъ берегамъ,—запѣлъ медикъ пріятнымъ теноромъ:—меня влечетъ невѣдомая сила...

— Вотъ мельница...—подтянулъ ему художникъ.—Она ужъ развалилась...

— Вотъ мельница... Она ужъ развалилась...—повторилъ медикъ, поднимая брови и грустно покачивая головою.

Онъ помолчалъ, потеръ лобъ, припоминая слова, и запѣлъ громко и такъ хорошо, что на него оглянулись прохожіе:

— Здѣсь нѣкогда меня встрѣчала свободнаго свободная любовь...

Всѣ трое зашли въ ресторанъ и, не снимая пальто, выпили у буфета по двѣ рюмки водки. Передъ тѣмъ, какъ выпить по второй, Васильевъ замѣтилъ у себя въ водкѣ кусочекъ пробки, поднесъ рюмку къ глазамъ, долго глядѣлъ въ нее и близоруко хмурился. Медикъ не понялъ его выраженія и сказалъ:

— Ну, что глядишь? Пожалуйста, безъ философіи! Водка дана, чтобы пить ее, осетрина—чтобы ѣсть, женщины—чтобы бывать у нихъ, снѣгъ—чтобы ходить по немъ. Хоть одинъ вечеръ поживи по-человѣчески!

— Да я ничего...—сказалъ Васильевъ, смѣясь.—Развѣ я отказываюсь?

Отъ водки у него потеплѣло въ груди. Онъ съ умиленіемъ глядѣлъ на своихъ пріятелей, любовался ими и за-

видовалъ. Какъ у этихъ здоровыхъ, сильныхъ, веселыхъ людей все уравновѣшено, какъ въ ихъ умахъ и душахъ все закончено и гладко! Они и поютъ, и страстно любятъ театръ, и рисуютъ, и много говорятъ, и пьютъ, и голова у нихъ не болитъ на другой день послѣ этого; они и поэтичны, и распутны, и нѣжны; и дерзки; они умѣютъ и работать, и возмущаться, и хохотать безъ причины, и говорить глупости; они горячи, честны, самоотвержены, и, какъ люди, ничѣмъ не хуже его, Васильева, который сторожитъ каждый свой шагъ и каждое свое слово, мнителенъ, остороженъ, и малѣйшій пустякъ готовъ возводить на степень вопроса. И ему захотѣлось хоть одинъ вечеръ пожить такъ, какъ живутъ пріятели, развернуться, освободить себя отъ собственнаго контроля. Понадобится водку пить? Онъ будетъ пить, хотя бы завтра у него лопнула голова отъ боли. Его ведутъ къ женщинамъ? Онъ идетъ. Онъ будетъ хохотать, дурачиться, весело отвѣчать на затрогиванія прохожихъ...

Вышелъ онъ изъ ресторана со смѣхомъ. Ему нравились его пріятели—одинъ въ помятой широкополой шляпѣ съ претензіей на художественный безпорядокъ, другой въ котиковой шапочкѣ, человѣкъ не бѣдный, но съ претензіей на принадлежность къ ученой богемѣ; нравился ему снѣгъ, блѣдные, фонарные огни, рѣзкіе, черные слѣды, какіе оставляли по первому снѣгу подошвы прохожихъ; нравился ему воздухъ и особенно этотъ прозрачный, нѣжный, наивный, точно дѣвственный тонъ, какой въ природѣ можно наблюдать только два раза въ году: когда все покрыто снѣгомъ и весною въ ясные дни, или въ лунные вечера, когда на рѣкѣ ломаетъ ледъ.

— Невольно къ этимъ грустнымъ берегамъ,—запѣлъ онъ вполголоса:—меня влечетъ невѣдомая сила...

И всю дорогу почему-то у него и у его пріятелей не сходилъ съ языка этотъ мотивъ, и всѣ трое напѣвали его машинально, не въ тактъ другъ другу.

Воображеніе Васильева рисовало, какъ минутъ черезъ десять онъ и его пріятели постучатся въ дверь, какъ они по темнымъ коридорчикамъ и по темнымъ комнатамъ будутъ красться къ женщинамъ, какъ онъ, воспользовавшись потемками, чиркнетъ спичкой и вдругъ освѣтитъ и увидитъ страдальческое лицо и виноватую улыбку. Невѣдомая блон-

динка, или брюнетка навѣрное будетъ съ распущенными волосами и въ бѣлой ночной кофточкѣ; она испугается свѣта, страшно сконфузится и скажетъ: «Ради Бога, что вы дѣлаете! Потушите!» Все это страшно, но любопытно и ново.

## II.

Пріятели съ Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли въ переулокъ, о которомъ Васильевъ зналъ только по наслышкѣ. Увидѣвъ два ряда домовъ съ ярко-освѣщенными окнами и съ настежь открытыми дверями, услышавъ веселые звуки роялей и скрипокъ—звуки, которые вылетали изъ всѣхъ дверей и мѣшались въ странную путаницу, похожую на то, какъ будто гдѣ-то въ потемкахъ, надъ крышами, настраивался невидимый оркестръ, Васильевъ удивился и сказалъ:

— Какъ много домовъ!

— Это что!—сказалъ медикъ.—Въ Лондонѣ въ десять разъ больше. Тамъ около ста тысячъ такихъ женщинъ.

Извозчики сидѣли на козлахъ такъ же покойно и равнодушно, какъ и во всѣхъ переулкахъ; по тротуарамъ шли такіе же прохожіе, какъ и на другихъ улицахъ. Никто не торопился, никто не пряталъ въ воротникъ своего лица, никто не покачивалъ укоризненно головой... И въ этомъ равнодушіи, въ звуковой путаницѣ роялей и скрипокъ, въ яркихъ окнахъ, въ настежь открытыхъ дверяхъ чувствовалось что-то очень откровенное, наглое, удалое и размашистое. Должно-быть, во время оно на рабовладѣльческихъ рынкахъ было такъ же весело и шумно, и лица, и походка людей выражали такое же равнодушіе.

— Начнемъ съ самаго начала,—сказалъ художникъ.

Пріятели вошли въ узкій коридорчикъ, освѣщенный лампою съ рефлекторомъ. Когда они отворили дверь, то въ передней съ желтаго дивана лѣниво поднялся человѣкъ въ черномъ сюртукѣ, съ небритымъ лакейскимъ лицомъ и съ заспанными глазами. Тутъ пахло какъ въ прачешной и кромѣ того еще уксусомъ. Изъ передней вела дверь въ ярко освѣщенную комнату. Медикъ и художникъ остановились въ этой двери и, вытянувъ шеи, оба разомъ заглянули въ комнату.

— Бона-сэра, сеньеры, риголетто-гугеноты-травіата!—началъ художникъ, театрально раскланиваясь.

— Гаванна-таракано-пистолето!—сказалъ медикъ, прижимая къ груди свою шапочку и низко кланяясь.

Васильевъ стоялъ позади нихъ. Ему тоже хотѣлось театрально раскланяться и сказать что-нибудь глупое, но онъ только улыбался, чувствовалъ неловкость, похожую на стыдъ, и съ нетерпѣніемъ ждалъ, что будетъ дальше. Въ дверяхъ показалась маленькая блондинка лѣтъ 17—18, стриженная, въ короткомъ голубомъ платьѣ и съ бѣлымъ аксельбантомъ на груди.

— Что жъ вы въ дверяхъ стоите?—сказала она.—Скиньте ваши пальты и входите въ залу.

Медикъ и художникъ, продолжая говорить по-итальянски, вошли въ залу. Васильевъ нерѣшительно пошелъ за ними.

— Господа, снимайте ваши пальты!—сказалъ строго лакей.—Такъ нельзя.

Кромѣ блондинки, въ залѣ была еще одна женщина, очень полная и высокая, съ нерусскимъ лицомъ и съ обнаженными руками. Она сидѣла около рояля и раскладывала у себя на колѣняхъ пасьянсъ. На гостей она не обратила никакого вниманія.

— Гдѣ же остальныя барышни?—спросилъ медикъ.

— Онѣ чай пьютъ,—сказала блондинка.—Степанъ,—крикнула она:—пойди скажи барышнямъ, что студенты пришли!

Немного погодя, въ залу вошла третья барышня. Эта была въ ярко-красномъ платьѣ съ синими полосами. Лицо ея было густо и неумѣло накрашено, лобъ прятался за волосами, глаза глядѣли не мигая и испуганно. Войдя, она тотчасъ же запѣла сильнымъ, грубымъ контральто какую-то пѣсню. За нею показалась четвертая барышня, за нею пятая...

Во всемъ этомъ Васильевъ не видѣлъ ничего ни новаго, ни любопытнаго. Ему казалось, что эту залу, рояль, зеркало въ дешевой золотой рамѣ, аксельбантъ, платье съ синими полосами и тупыя, равнодушныя лица онъ видѣлъ уже гдѣ-то и не одинъ разъ. Потемокъ же, тишины, тайны, виноватой улыбки, всего того, что ожидалъ онъ здѣсь встрѣтить и что пугало его, онъ не видѣлъ даже тѣни.

Все было обыкновенно, прозаично и неинтересно. Одно только слегка раздражало его любопытство—это страшная,

словно нарочно придуманная безвкусица, какая видна была въ карнизахъ, въ нелѣпыхъ картинахъ, въ платьяхъ, въ аксельбантѣ. Въ этой безвкусицѣ было что-то характерное, особенное.

— Какъ все бѣдно и глупо!—думалъ Васильевъ.—Что во всей этой чепухѣ, которую я теперь вижу, можетъ искусить нормальнаго человѣка, побудить его совершить странный грѣхъ—купить за рубль живого человѣка? Я понимаю любой грѣхъ ради блеска, красоты, граціи, страсти, вкуса, но тутъ-то что? Ради чего тутъ грѣшать? Впрочемъ... но надо думать!

— Борода, угостите портеромъ! — обратилась къ нему блондинка.

Васильевъ вдругъ сконфузился.

— Съ удовольствіемъ... — сказалъ онъ, вѣжливо кланяясь.—Только извините, сударыня, я... я съ вами пить не буду. Я не пью.

Минутъ черезъ пять пріятели шли уже въ другой домъ.

— Ну, зачѣмъ ты потребовалъ портеру?—сердился медикъ.—Милліонщикъ какой! Бросилъ шесть рублей такъ, здорово-живешь, на вѣтеръ!

— Если она хочетъ, то отчего же не сдѣлать ей этого удовольствія?—оправдывался Васильевъ.

— Ты доставилъ удовольствіе не ей, а хозяйкѣ. Требовать отъ гостей угощенія приказываютъ имъ хозяйки, которымъ это выгодно.

— Вотъ мельница...—запѣлъ художникъ.—Она ужъ развалилась...

Придя въ другой домъ, пріятели постояли только въ передней, но въ залу не входили. Такъ же, какъ и въ первомъ домѣ, въ передней съ дивана поднялась фигура въ сюртукѣ и съ заспаннымъ лакейскимъ лицомъ. Глядя на этого лакея, на его лицо и поношенный сюртукъ, Васильевъ подумалъ: «Сколько долженъ пережить обыкновенный, простой русскій человѣкъ, прежде чѣмъ судьба забрасываетъ его сюда въ лакеи? Гдѣ онъ былъ раньше и что дѣлалъ? Что ждетъ его? Женатъ ли онъ? Гдѣ его мать и знаетъ ли она, что онъ служитъ тутъ въ лакеяхъ?» И ужъ Васильевъ невольно въ каждомъ домѣ обращалъ свое вниманіе прежде всего на лакея. Въ одномъ изъ домовъ, кажется, въ четвертомъ по счету, былъ лакей маленькій,

тщедушный, сухой, съ цѣпочкой на жилеткѣ. Онъ читалъ «Листокъ» и не обратилъ никакого вниманія на вошедшихъ. Поглядѣвъ на его лицо, Васильевъ почему-то подумалъ, что человѣкъ съ такимъ лицомъ можетъ и украсть, и убить, и дать ложную клятву. А лицо въ самомъ дѣлѣ было интересное: большой лобъ, сѣрые глаза, приплюснутый носикъ, мелкія, стиснутыя губы, а выраженіе тупое и въ то же время наглое, какъ у молодой гончей собаки, когда она догоняетъ зайца. Васильевъ подумалъ, что хорошо бы потрогать этого лакея за волосы: жесткіе они или мягкіе? Должно-быть, жесткіе, какъ у собаки.

## III.

Художникъ оттого, что выпилъ два стакана портеру, какъ-то вдругъ опьянѣлъ и неестественно оживился.

— Пойдемте въ другой!—командовалъ онъ, размахивая руками.—Я васъ поведу въ самый лучшій!

Приведя пріятелей въ тотъ домъ, который, по его мнѣнію, былъ самымъ лучшимъ, онъ изъявилъ настойчивое желаніе танцовать кадриль. Медикъ сталъ ворчать на то, что музыкантамъ придется платить рубль, но согласился быть vis-à-vis. Начали танцовать.

Въ самомъ лучшемъ было такъ же нехорошо, какъ и въ самомъ худшемъ. Тутъ были точно такія же зеркала и картины, такія же прически и платья. Осматривая обстановку и костюмы, Васильевъ уже понималъ, что это не безвкусица, а нѣчто такое, что можно назвать вкусомъ и даже стилемъ С—ва переулка и чего нельзя найти нигдѣ въ другомъ мѣстѣ, нѣчто цѣльное въ своемъ безобразіи, не случайное, выработанное временемъ. Послѣ того, какъ онъ побывалъ въ восьми домахъ, его ужъ не удивляли ни цвѣта платьевъ, ни длинные шлейфы, ни яркіе банты, ни матросскіе костюмы, ни густая фіолетовая окраска щекъ; онъ понималъ, что все это здѣсь такъ и нужно, что если бы хоть одна изъ женщинъ одѣлась по-человѣчески, или если бы на стѣнѣ повѣсили порядочную гравюру, то отъ этого пострадалъ бы общій тонъ всего переулка.

— Какъ неумѣло онѣ продаютъ себя! — думалъ онъ.— Неужели онѣ не могутъ понять, что порокъ только тогда обаятеленъ, когда онъ красивъ и прячется, когда онъ носитъ оболочку добродѣтели? Скромныя черныя платья, блѣд-

ныя лица, печальныя улыбки и потомки сильнѣе дѣйствуютъ, чѣмъ эта аляповатая мишура. Глупыя! Если онѣ сами не понимаютъ этого, то гости бы ихъ поучили, что ли...

Барышня въ польскомъ костюмѣ съ бѣлой мѣховой опушкой подошла къ нему и сѣла рядомъ съ нимъ.

— Симпатичный брюнетъ, что жъ вы не танцуете?— спросила она.—Отчего вы такой скучный?

— Потому что скучно.

— А вы угостите лафитомъ. Тогда не будетъ скучно.

Васильевъ ничего не отвѣтилъ. Онъ помолчалъ и спросилъ:

— Вы въ которомъ часу ложитесь спать?

— Въ шестомъ.

— А встаете когда?

— Когда въ два, а когда и въ три.

— А вставши, что дѣлаете?

— Кофій пьемъ, въ седьмомъ часу обѣдаемъ.

— А что вы обѣдаете?

— Обыкновенно... Супъ или щи, бифштексъ, дессертъ. Паша мадамъ хорошо содержитъ дѣвушекъ. Да для чего вы все это спрашиваете?

— Такъ, чтобъ поговорить...

Васильеву хотѣлось поговорить съ барышней о многомъ. Онъ чувствовалъ сильное желаніе узнать, откуда она родомъ, живы ли ея родители и знаютъ ли они, что она здѣсь, какъ она попала въ этотъ домъ, весела ли и довольна, или же печальна и угнетена мрачными мыслями, надѣется ли выйти когда-нибудь изъ своего настоящаго положенія... Но никакъ онъ не могъ придумать, съ чего начать и какую форму придать вопросу, чтобъ не показаться нескромнымъ. Онъ долго думалъ и спросилъ:

— Вамъ сколько лѣтъ?

— Восемьдесятъ, — сострила барышня, глядя со смѣхомъ на фокусы, какіе выдѣлывалъ руками и ногами плясавшій художникъ.

Вдругъ она чему-то захохотала и сказала громко, такъ, что всѣ слышали, длинную циническую фразу. Васильевъ оторопѣлъ и, не зная, какое выраженіе придать своему лицу, напряженно улыбнулся. Улыбнулся только одинъ онъ, всѣ же остальные—его пріятели, музыканты и женщины даже и не взглянули на его сосѣдку, точно не слышали.

— Угостите лафитомъ!—опять сказала сосѣдка.

Васильевъ почувствовалъ отвращеніе къ ея бѣлой опушкѣ и къ голосу и отошелъ отъ нея. Ему ужъ казалось душно и жарко, и сердце начинало биться медленно, но сильно, какъ молотъ: разъ-два-три!

— Пойдемъ отсюда! — сказалъ онъ, дернувъ художника за рукавъ.

— Погоди, дай кончить.

Пока художникъ и медикъ кончали кадриль, Васильевъ, чтобы не глядѣть на женщинъ, осматривалъ музыкантовъ. На рояли игралъ благообразный старикъ въ очкахъ, похожій лицомъ на маршала Базена; на скрипкѣ—молодой человѣкъ съ русой бородкой, одѣтый по послѣдней модѣ. У молодого человѣка было лицо не глупое, не испитое, а наоборотъ, умное, молодое, свѣжее. Одѣтъ онъ былъ прихотливо и со вкусомъ, игралъ съ чувствомъ. Задача: какъ онъ и этотъ приличный, благообразный старикъ попали сюда? отчего имъ не стыдно сидѣть здѣсь? о чемъ они думаютъ, когда глядятъ на женщинъ?

Если бы на рояли и на скрипкѣ играли люди оборванные, голодные, мрачные, пьяные, съ испитыми или тупыми лицами, тогда присутствіе ихъ, быть-можетъ, было бы понятно. Теперь же Васильевъ ничего не понималъ. Ему вспоминалась исторія падшей женщины, прочитанная имъ когда-то, и онъ находилъ теперь, что этотъ человѣческій образъ съ виноватой улыбкой не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ, что онъ теперь видитъ. Ему казалось, что онъ видитъ не падшихъ женщинъ, а какой-то другой, совершенно особый міръ, ему чуждый и непонятный; если бы раньше онъ увидѣлъ этотъ міръ въ театрѣ на сценѣ, или прочелъ бы о немъ въ книгѣ, то не повѣрилъ бы...

Женщина съ бѣлой опушкой опять захохотала и громко произнесла отвратительную фразу. Гадливое чувство овладѣло имъ, онъ покраснѣлъ и вышелъ.

— Постой, и мы идемъ! — крикнулъ ему художникъ.

## IV.

— Сейчасъ у меня съ моей дамой, пока мы плясали, былъ разговоръ, — разсказывалъ медикъ, когда всѣ трое вышли на улицу.—Рѣчь шла объ ея первомъ романѣ. Онъ, герой—какой-то бухгалтеръ въ Смоленскѣ, имѣющій жену

и пятерыхъ ребятъ. Ей было 17 лѣтъ и жила она у папаши и мамаши, торгующихъ мыломъ и свѣчами.

— Чѣмъ же онъ побѣдилъ ея сердце? — спросилъ Васильевъ.

— Тѣмъ, что купилъ ей бѣлья на пятьдесятъ рублей. Чортъ знаетъ что!

«Однако же, вотъ онъ сумѣлъ выпытать у своей дамы ея романъ, — подумалъ Васильевъ про медика. — А я не умѣю»...—Господа, я ухожу домой!—сказалъ онъ.

— Почему?

— Потому что я не умѣю держать себя здѣсь. Къ тому же мнѣ скучно и противно. Что тутъ веселаго? Хоть бы люди были, а то дикари и животныя. Я ухожу, какъ угодно.

— Ну, Гриша, Григорій, голубчикъ... — сказалъ плачущимъ голосомъ художникъ, прижимаясь къ Васильеву.— Пойдемъ! Сходимъ еще въ одинъ и будь они прокляты... Пожалуйста! Григоріанцы!

Васильева уговорили и повели вверхъ по лѣстницѣ. Въ коврѣ и въ золоченыхъ перилахъ, въ швейцарѣ, отворившемъ дверь, и въ пано, украшавшихъ переднюю, чувствовался все тотъ же стиль С—ва переулка, но усовершенствованный, импонирующій.

— Право, я пойду домой!—сказалъ Васильевъ, снимая пальто.

— Ну, ну, голубчикъ... — сказалъ художникъ и поцѣловалъ его въ шею.—Не капризничай... Гри-Гри, будь товарищемъ! Вмѣстѣ пришли, вмѣстѣ и уйдемъ. Какой ты скотъ, право.

— Я могу подождать васъ на улицѣ. Ей-Богу, мнѣ здѣсь противно.

— Ну, ну, Гриша... Противно, а ты наблюдай! Понимаешь? Наблюдай!

— Надо смотрѣть объективно на вещи,—сказалъ серьезно медикъ.

Васильевъ вошелъ въ залу и сѣлъ. Кромѣ него и пріятелей, въ залѣ было еще много гостей: два пѣхотныхъ офицера, какой-то сѣдой и лысый господинъ въ золотыхъ очкахъ, два безусыхъ студента изъ межевого института и очень пьяный человѣкъ съ актерскимъ лицомъ. Всѣ барышни были заняты этими гостями и не обратили на Ва-

сильева никакого вниманія. Только одна изъ нихъ, одѣтая Аидой, искоса взглянула на него, чему-то улыбнулась и проговорила, зѣвая:

— Брюнетъ пришелъ...

У Васильева стучало сердце и горѣло лицо. Ему было и стыдно передъ гостями за свое присутствіе здѣсь и гадко, и мучительно. Его мучила мысль, что онъ порядочный и любящій человѣкъ (такимъ онъ до сихъ поръ считалъ себя), ненавидитъ этихъ женщинъ и ничего не чувствуетъ къ нимъ, кромѣ отвращенія. Ему не было жаль ни этихъ женщинъ, ни музыкантовъ, ни лакеевъ.

«Это оттого, что я не стараюсь понять ихъ,—думалъ онъ. — Всѣ они похожи на животныхъ больше, чѣмъ на людей, но вѣдь они все-таки люди, у нихъ есть души. Надо ихъ понять и тогда ужъ судить»...

— Гриша, ты же не уходи, насъ подожди! — крикнулъ ему художникъ и исчезъ куда-то.

Скоро исчезъ и медикъ.

«Да, надо постараться понять, а такъ нельзя»... — продолжалъ думать Васильевъ.

И онъ сталъ напряженно вглядываться въ лицо каждой женщины и искать виноватой улыбки. Но — или онъ не умѣлъ читать на лицахъ, или же ни одна изъ этихъ женщинъ не чувствовала себя виноватою—на каждомъ лицѣ онъ читалъ только тупое выраженіе обыденной, пошлой скуки и довольства. Глупые глаза, глупыя улыбки, рѣзкіе, глупые голоса, наглыя движенія — и ничего больше. Повидимому, у каждой въ прошломъ былъ романъ съ бухгалтеромъ и съ бѣльемъ на пятьдесятъ рублей, а въ настоящемъ нѣтъ другой прелести въ жизни кромѣ кофе, обѣда изъ трехъ блюдъ, вина, кадрили, спанья до двухъ часовъ...

Не найдя ни одной виноватой улыбки, Васильевъ сталъ искать: нѣтъ ли умнаго лица. И вниманіе его остановилось на одномъ блѣдномъ, немножко сонномъ, утомленномъ лицѣ... Это была немолодая брюнетка, одѣтая въ костюмъ, усыпанный блестками; она сидѣла въ креслѣ, глядѣла въ полъ и о чемъ-то думала. Васильевъ прошелся изъ угла въ уголъ и точно нечаянно сѣлъ рядомъ съ нею.

«Нужно начать съ чего - нибудь пошлаго, — думалъ онъ: — а потомъ постепенно перейти къ серьезному»...—А

какой у васъ хорошенькій костюмчикъ! — сказалъ онъ и коснулся пальцемъ золотой бахромы на косынкѣ.

— Какой есть...—сказала вяло брюнетка.

— Вы изъ какой губерніи?

— Я? Дальняя... Изъ Черниговской.

— Хорошая губернія. Тамъ хорошо.

— Тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ.

«Жаль, что я не умѣю природу описывать, — подумалъ Васильевъ. — Можно было бы тронуть ее описаніями черниговской природы. Небось, вѣдь любитъ, коли родилась тамъ».

— Вамъ здѣсь скучно?—спросилъ онъ.

— Извѣстно, скучно.

— Отчего же вы не уходите отсюда, если вамъ скучно?

— Куда жъ я уйду? Милостыню просить, что ли?

— Милостыню просить легче, чѣмъ жить здѣсь.

— А вы откуда знаете? Нешто вы просили?

— Просилъ, когда нечѣмъ было платить за ученье. Хотя бы даже не просилъ, это такъ понятно. Нищій, какъ бы ни было, свободный человѣкъ, а вы раба.

Брюнетка потянулась и проводила сонными глазами лакея, который несъ на подносѣ стаканы и сельтерскую воду.

— Угостите портеромъ,—сказала она и опять зѣвнула.

«Портеромъ... — подумалъ Васильевъ. — А что если бы сейчасъ вошелъ сюда твой братъ или твоя мать? Что бы ты сказала? А что сказали бы они? Былъ бы тогда портеръ, воображаю»...

Вдругъ послышался плачъ. Изъ сосѣдней комнаты, куда лакей понесъ сельтерскую, быстро вышелъ какой-то блондинъ съ краснымъ лицомъ и сердитыми глазами. За нимъ шла высокая, полная хозяйка и кричала визгливымъ голосомъ:

— Никто вамъ не позволялъ бить дѣвушекъ по щекамъ! У насъ бываютъ гости получше васъ, да не дерутся! Шарлатанъ!

Поднялся шумъ. Васильевъ испугался и поблѣднѣлъ. Въ сосѣдней комнатѣ плакали навзрыдъ, искренно, какъ плачутъ оскорбленные. И онъ понялъ, что въ самомъ дѣлѣ, тутъ живутъ люди, настоящіе люди, которые, какъ вездѣ, оскорбляются, страдаютъ, плачутъ, просятъ помощи... Тя-

желая ненависть и гадливое чувство уступили свое мѣсто острому чувству жалости и злобы на обидчика. Онъ бросился въ ту комнату, гдѣ плакали; сквозь ряды бутылокъ, стоявшихъ на мраморной доскѣ стола, онъ разглядѣлъ страдальческое, мокрое отъ слезъ лицо, протянулъ къ этому лицу руки, сдѣлалъ шагъ къ столу, но тотчасъ же въ ужасѣ отскочилъ назадъ. Плачущая была пьяна.

Пробираясь сквозь шумную толпу, собравшуюся вокругъ блондина, онъ палъ духомъ, струсилъ, какъ мальчикъ, и ему казалось, что въ этомъ чужомъ, непонятномъ для него мірѣ хотятъ гнаться за нимъ, бить его, осыпать грязными словами... Онъ сорвалъ съ вѣшалки свое пальто и бросился опрометью внизъ по лѣстницѣ.

## V.

Прижавшись къ забору, онъ стоялъ около дома и ждалъ, когда выйдутъ его товарищи. Звуки роялей и скрипокъ, веселые, удалые, наглые и грустные, путались въ воздухѣ въ какой-то хаосъ, и эта путаница попрежнему походила на то, какъ будто въ потемкахъ надъ крышами настраивался невидимый оркестръ. Если взглянуть вверхъ на эти потемки, то весь черный фонъ былъ усыпанъ бѣлыми движущимися точками: это шелъ снѣгъ. Хлопья его, попавъ въ свѣтъ, лѣниво кружились въ воздухѣ, какъ пухъ, и еще лѣнивѣе падали на землю. Снѣжинки кружились толпой около Васильева и висли на его бородѣ, рѣсницахъ, бровяхъ... Извозчики, лошади и прохожіе были бѣлы.

«И какъ можетъ снѣгъ падать въ этотъ переулокъ!— думалъ Васильевъ.—Будь прокляты эти дома!

Оттого, что онъ сбѣжалъ внизъ по лѣстницѣ, ноги подгибались отъ усталости; онъ задыхался, точно взбирался на гору, сердце стучало такъ, что было слышно. Его томило желаніе скорѣе выбраться изъ переулка и идти домой, но еще сильнѣе хотѣлось дождаться товарищей и сорвать на нихъ свое тяжелое чувство.

Онъ многаго не понялъ въ домахъ, души погибающихъ женщинъ остались для него попрежнему тайной, но для него ясно было, что дѣло гораздо хуже, чѣмъ можно было думать. Если та виноватая женщина, которая отравилась, называлась падшею, то для всѣхъ этихъ, которыя плясали теперь подъ звуковую путаницу и говорили длинныя отвра-

тительныя фразы, трудно было подобрать подходящее названіе. Это были не погибающія, а уже погибшія.

«Порокъ есть, — думалъ онъ: — но нѣтъ ни сознанія вины, ни надежды на спасеніе. Ихъ продаютъ, покупаютъ, топятъ въ винѣ и въ мерзостяхъ, а онѣ, какъ овцы, тупы, равнодушны и не понимаютъ. Боже мой, Боже мой!»

Для него также ясно было, что все то, что называется человѣческимъ достоинствомъ, личностью, образомъ и подобіемъ Божіимъ, осквернено тутъ до основанія, «въ-дрызгъ», какъ говорятъ пьяницы, и что виноваты въ этомъ не одинъ только переулокъ да тупыя женщины.

Толпа студентовъ, бѣлыхъ отъ снѣга, весело разговаривая и со смѣхомъ, прошла мимо него. Одинъ изъ нихъ, высокій и тонкій, остановился, заглянулъ Васильеву въ лицо и сказалъ пьянымъ голосомъ:

— Нашъ! Налимонился, братъ? Ага-га, братъ! Ничего, гуляй! Валяй! Не унывай, дядя!

Онъ взялъ Васильева за плечи и прижался къ его щекѣ мокрыми холодными усами, потомъ поскользнулся, покачнулся и, взмахнувъ обѣими руками, крикнулъ:

— Держись! Не падай!

И засмѣявшись, побѣжалъ догонять своихъ товарищей.

Сквозь шумъ послышался голосъ художника:

— Вы не смѣете бить женщинъ! Я вамъ не позволю, чортъ васъ подери! Негодяи вы этакіе!

Въ дверяхъ дома показался медикъ. Онъ поглядѣлъ по сторонамъ и, увидѣвъ Васильева, сказалъ встревоженно:

— Ты здѣсь? Послушай, ей-Богу, съ Егоромъ положительно невозможно никуда ходить! Что это за человѣкъ, не понимаю! Скандалъ затѣялъ! Слышишь? Егоръ!—крикнулъ онъ въ дверь:—Егоръ!

— Я вамъ не позволю бить женщинъ!—раздался наверху пронзительный голосъ художника.

Что-то тяжелое и громоздкое покатилось внизъ по лѣстницѣ. Это художникъ летѣлъ кубаремъ внизъ. Его, очевидно, вытолкали.

Онъ поднялся съ земли, отряхнулъ шляпу и со злымъ, негодующимъ лицомъ погрозилъ вверхъ кулакомъ и крикнулъ:

— Подлецы! Живодеры! Кровопійцы! Я не позволю вамъ бить! Бить слабую, пьяную женщину! Ахъ, вы...

— Егоръ... Ну, Егоръ...—началъ умолять медикъ.—Даю

тебѣ честное слово, ужъ больше никогда не пойду съ тобой въ другой разъ. Честное слово!

Художникъ мало-по-малу успокоился, и пріятели пошли домой.

— Невольно къ этимъ грустнымъ берегамъ,—запѣлъ медикъ:—меня влечетъ невѣдомая сила...

— Вотъ мельница...—подтянулъ, немного погодя художникъ.—Она ужъ развалилась... Экій снѣгъ валитъ, Мать Пресвятая! Гришка, отчего ты ушелъ? Трусъ ты, баба и больше ничего.

Васильевъ шелъ позади пріятелей, глядѣлъ имъ въ спины и думалъ:

«Что-нибудь изъ двухъ: или намъ только кажется, что проституція — зло, и мы преувеличиваемъ, или же, если проституція въ самомъ дѣлѣ такое зло, какъ принято думать, то эти мои милые пріятели такіе же рабовладѣльцы, насильники и убійцы, какъ тѣ жители Сиріи и Каира, которыхъ рисуютъ въ «Нивѣ». Они теперь поютъ, хохочутъ, здраво разсуждаютъ, но развѣ не они сейчасъ эксплоатировали голодъ, невѣжество и тупость? Они—я былъ свидѣтелемъ. При чемъ же тутъ ихъ гуманность, медицина, живопись? Науки, искусства и возвышенныя чувства этихъ душегубовъ напоминаютъ мнѣ сало въ одномъ анекдотѣ. Два разбойника зарѣзали въ лѣсу нищаго; стали дѣлить между собою его одежду и нашли въ сумкѣ кусокъ свиного сала. «Очень кстати,—сказалъ одинъ изъ нихъ:—давай закусимъ». — «Что ты, какъ можно? — ужаснулся другой. — Развѣ ты забылъ, что сегодня среда?» И не стали ѣсть. Они, зарѣзавши человѣка, вышли изъ лѣсу съ увѣренностью, что они постники. Такъ и эти, купивши женщинъ, идутъ и думаютъ теперь, что они художники и ученые»...

— Послушайте, вы!—сказалъ онъ сердито и рѣзко.—Зачѣмъ вы сюда ходите? Неужели, неужели вы не понимаете, какъ это ужасно? Ваша медицина говоритъ, что каждая изъ этихъ женщинъ умираетъ преждевременно отъ чахотки, или чего-нибудь другого; искусства говорятъ, что морально она умираетъ еще раньше. Каждая изъ нихъ умираетъ оттого, что на своемъ вѣку принимаетъ среднимъ числомъ, допустимъ, пятьсотъ человѣкъ. Каждую убиваетъ пятьсотъ человѣкъ. Въ числѣ этихъ пятисотъ—вы! Теперь, если вы оба за всю

жизнь побываете здѣсь и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ по двѣсти пятьдесятъ разъ, то значитъ на обоихъ васъ придется одна убитая женщина! Развѣ это не понятно? Развѣ не ужасно? Убить вдвоемъ, втроемъ, впятеромъ одну глупую, голодную женщину! Ахъ, да развѣ это не ужасно, Боже мой?

— Такъ и зналъ, что этимъ кончится,—сказалъ художникъ, морщась.—Не слѣдовало бы связываться съ этимъ дуракомъ и болваномъ! Ты думаешь, что теперь у тебя въ головѣ великія мысли, идеи? Нѣтъ, чортъ знаеть что, а не идеи! Ты сейчасъ смотришь на меня съ ненавистью и съ отвращеніемъ, а по-моему лучше бы ты построилъ еще двадцать такихъ домовъ, чѣмъ глядѣть такъ. Въ этомъ твоемъ взглядѣ больше порока, чѣмъ во всемъ переулкѣ! Пойдемъ, Володя, чортъ съ нимъ! Дуракъ, болванъ и больше ничего...

— Мы, люди, убиваемъ взаимно другъ друга,—сказалъ медикъ.—Это, конечно, безнравственно,—но философіей тутъ не поможешь. Прощай!

На Трубной площади пріятели простились и разошлись. Оставшись одинъ, Васильевъ быстро зашагалъ по бульвару. Ему было страшно потемокъ, страшно снѣга, который хлопьями валилъ на землю и, казалось, хотѣлъ засыпать весь міръ; страшно было фонарныхъ огней, блѣдно мерцавшихъ сквозь снѣговыя облака. Душою его овладѣлъ безотчетный, малодушный страхъ. Попадались изрѣдка навстрѣчу прохожіе, но онъ пугливо сторонился отъ нихъ. Ему казалось, что отовсюду идутъ и отовсюду глядятъ на него женщины, только женщины...

«Начинается у меня,—думалъ онъ.—Припадокъ начинается...»

## VI.

Дома лежалъ онъ на кровати и говорилъ, содрогаясь всѣмъ тѣломъ:

— Живыя! Живыя! Боже мой, онѣ живыя!

Онъ всячески изощрялъ свою фантазію воображалъ себя самого то братомъ падшей женщины, то отцомъ ея, то самою падшею женщиною съ намазанными щеками, и все это приводило его въ ужасъ.

Ему почему-то казалось, что онъ долженъ рѣшить во-

просъ немедлённо, во что бы то ни стало, и что вопросъ этотъ не чужой, а его собственный. Онъ напрягъ силы, поборолъ въ себѣ отчаяніе и, сѣвши на кровать, обнявъ руками голову, сталъ рѣшать: какъ спасти всѣхъ тѣхъ женщинъ, которыхъ онъ сегодня видѣлъ? Порядокъ рѣшенія всякихъ вопросовъ ему, какъ человѣку ученому, былъ хорошо извѣстенъ. И онъ, какъ ни былъ возбужденъ, строго держался этого порядка. Онъ припомнилъ исторію вопроса, его литературу, а въ четвертомъ часу шагалъ изъ угла въ уголъ и старался вспомнить всѣ тѣ опыты, какіе въ настоящее время практикуются для спасенія женщинъ. У него было очень много хорошихъ пріятелей и друзей, жившихъ въ номерахъ Фальцфейнъ, Галяшкина, Нечаева, Ечкина... Между ними не мало людей честныхъ и самоотверженныхъ. Нѣкоторые изъ нихъ пытались спасать женщинъ...

«Всѣ эти немногочисленныя попытки, — думалъ Васильевъ: — можно раздѣлить на три группы. Одни, выкупивъ изъ притона женщину, нанимали для нея номеръ, покупали ей швейную машину, и она дѣлалась швеей. И выкупившій, вольно или невольно, дѣлалъ ее своей содержанкой, потомъ, кончивъ курсъ, уѣзжалъ и сдавалъ ее на руки другому порядочному человѣку, какъ какую-нибудь вещь. И падшая оставалась падшею. Другіе, выкупивъ, тоже нанимали для нея отдѣльный номеръ, покупали неизбѣжную швейную машинку, пускали въ ходъ грамоту, проповѣди, чтеніе книжекъ. Женщина жила и шила, пока это для нея было интересно и ново, потомъ же, соскучившись, начинала тайкомъ отъ проповѣдниковъ принимать мужчинъ, или же убѣгала назадъ туда, гдѣ можно спать до трехъ часовъ, пить кофе и сытно обѣдать. Третьи, самые горячіе и самоотверженные, дѣлали смѣлый, рѣшительный шагъ. Они женились. И когда наглое, избалованное, или тупое, забитое животное становилось женою, хозяйкой и потомъ матерью, то это переворачивало вверхъ дномъ ея жизнь и міровоззрѣніе, такъ что потомъ въ женѣ и въ матери трудно было узнать бывшую падшую женщину. Да, женитьба лучшее, и пожалуй, единственное средство».

— Но невозможное! — сказалъ вслухъ Васильевъ и повалился въ постель.—Я первый не могъ бы жениться! Для этого надо быть святымъ, не умѣть ненавидѣть и не знать

отвращенія. Но допустимъ, что я, медикъ и художникъ пересилили себя и женились, что всѣ онѣ выйдутъ замужъ. Но какой же выводъ? Выводъ какой? А тотъ выводъ, что пока здѣсь, въ Москвѣ, онѣ будутъ выходить замужъ, смоленскій бухгалтеръ развратитъ новую партію, и эта партія хлынетъ сюда на вакантныя мѣста съ саратовскими, нижегородскими, варшавскими... А куда дѣвать сто тысячъ лондонскихъ? Куда дѣвать гамбургскихъ?

Лампа, въ которой выгорѣлъ керосинъ, стала чадить. Васильевъ не замѣтилъ этого. Онъ опять зашагалъ, продолжая думать. Теперь ужъ онъ поставилъ вопросъ иначе: что нужно сдѣлать, чтобы падшія женщины перестали быть нужны? Для этого необходимо, чтобы мужчины, которые ихъ покупаютъ и убиваютъ, почувствовали всю безнравственность своей рабовладѣльческой роли и ужаснулись. Надо спасать мужчинъ.

«Наукой и искусствами, очевидно, ничего не подѣлаешь...—думалъ Васильевъ.—Тутъ единственный выходъ—это апостольство».

И онъ сталъ мечтать о томъ, какъ завтра же вечеромъ онъ будетъ стоять на углу переулка и говорить каждому прохожему:

— Куда и зачѣмъ вы идете? Побойтесь вы Бог

Онъ обратится къ равнодушнымъ извозчикамъ и имъ скажетъ:

— Зачѣмъ вы тутъ стоите? Отчего же вы не возмущаетесь, не негодуете? Вѣдь вы вѣруете въ Бога и знаете, что это грѣшно, что за это люди пойдутъ въ адъ, отчего же вы молчите? Правда, онѣ вамъ чужія, но вѣдь и у нихъ есть отцы, братья, точно такіе же, какъ вы...

Кто-то изъ пріятелей сказалъ однажды про Васильева, что онъ талантливый человѣкъ. Есть таланты писательскіе, сценическіе, художническіе, у него же особый талантъ—*человѣческій*. Онъ обладаетъ тонкимъ, великолѣпнымъ чутьемъ къ боли вообще. Какъ хорошій актеръ отражаетъ въ себѣ чужія движенія и голосъ, такъ Васильевъ умѣетъ отражать въ своей душѣ чужую боль. Увидѣвъ слезы, онъ плачетъ; около больного онъ самъ становится больнымъ и стонетъ; если видитъ насиліе, то ему кажется, что насиліе совершается надъ нимъ, онъ труситъ какъ пальчикъ и,

струсивъ, бѣжитъ на помощь. Чужая боль раздражаетъ его, возбуждаетъ, приводитъ въ состояніе экстаза и т. п.

Правъ ли пріятель — не знаю, но то, что переживалъ Васильевъ, когда ему казалось, что вопросъ рѣшенъ, было очень похоже на вдохновеніе. Онъ плакалъ, смѣялся, говорилъ вслухъ тѣ слова, какія онъ скажетъ завтра, чувствовалъ горячую любовь къ тѣмъ людямъ, которые послушаются его и станутъ рядомъ съ нимъ на углу переулка, чтобы проповѣдывать; онъ садился писать письма, давалъ себѣ клятвы...

Все это было похоже на вдохновеніе ужъ и потому, что продолжалось недолго. Васильевъ скоро усталъ. Лондонскія, гамбургскія, варшавскія своею массою давили его, какъ горы давятъ землю; онъ робѣлъ передъ этой массой, терялся; вспоминалъ онъ, что у него нѣтъ дара слова, что онъ труслив и малодушенъ, что равнодушные люди едва ли захотятъ слушать и понимать его, студента-юриста третьяго курса, человѣка робкаго и ничтожнаго, что истинное апостольство заключается не въ одной только проповѣди, но и въ дѣлахъ...

Когда было свѣтло и на улицѣ уже стучали экипажи, Васильевъ лежалъ неподвижно на диванѣ и смотрѣлъ въ одну точку. Онъ уже не думалъ ни о женщинахъ, ни о мужчинахъ, ни объ апостольствѣ. Все вниманіе его было обращено на душевную боль, которая мучила его. Это была боль тупая, безпредметная, неопредѣленная, похожая и на тоску, и на страхъ въ высочайшей степени, и на отчаяніе. Указать, гдѣ она, онъ могъ: въ груди, подъ сердцемъ; но сравнить ее нельзя было ни съ чѣмъ. Раньше у него бывала сильная зубная боль, бывали плевритъ и невралгіи, но все это въ сравненіи съ душевной болью было ничтожно. При этой боли жизнь представлялась отвратительной. Диссертація, отличное сочиненіе, уже написанное имъ, любимые люди, спасеніе погибающихъ женщинъ — все то, что вчера еще онъ любилъ, или къ чему былъ равнодушенъ, теперь при воспоминаніи раздражало его наравнѣ съ шумомъ экипажей, бѣготней коридорныхъ, дневнымъ свѣтомъ... Если бы теперь кто-нибудь на его глазахъ совершилъ подвигъ милосердія или возмутительное насиліе, то на него то и другое произвело бы одинаково отвратительное впечатлѣніе. Изъ всѣхъ мыслей, лѣниво бродившихъ въ его

головѣ, только двѣ не раздражали его: одна—что онъ каждую минуту имѣетъ власть убить себя, другая—что боль не будетъ продолжаться дольше трехъ дней. Второе онъ зналъ по опыту.

Полежавъ, онъ всталъ и, ломая руки, прошелся не изъ угла въ уголъ, какъ обыкновенно, а по квадрату, вдоль стѣнъ. Мелькомъ онъ поглядѣлъ на себя въ зеркало. Лицо его было блѣдно и осунулось, виски впали, глаза были больше, темнѣе, неподвижнѣе, точно чужіе, и выражали невыносимое душевное страданіе.

Въ полдень въ дверь постучался художникъ.

— Григорій, ты дома?—спросилъ онъ.

Не получивъ отвѣта, онъ постоялъ минуту, подумалъ и отвѣтилъ себѣ по-хохлацки:

— Нема. Въ нивырситетъ пійшовъ, треклятый хлопецъ.

И ушелъ. Васильевъ легъ на кровать и, спрятавъ голову подъ подушку, сталъ плакать отъ боли, и чѣмъ обильнѣй лились слезы, тѣмъ ужаснѣе становилась душевная боль. Когда потемнѣло, онъ вспомнилъ о той мучительной ночи, которая ожидаетъ его, и страшное отчаяніе овладѣло имъ. Онъ быстро одѣлся, выбѣжалъ изъ номера и, оставивъ свою дверь настежь, безъ всякой надобности и цѣли вышелъ на улицу. Не спрашивая себя, куда идти, онъ быстро пошелъ по Садовой улицѣ.

Снѣгъ валилъ, какъ вчера; была оттепель. Засунувъ руки въ рукава, дрожа и пугаясь стуковъ, звонковъ конки и прохожихъ, Васильевъ прошелъ по Садовой до Сухаревой башни, потомъ до Красныхъ воротъ, отсюда свернулъ на Басманную. Онъ зашелъ въ кабакъ и выпилъ большой стаканъ водки, но отъ этого не стало легче. Дойдя до Разгуляя, онъ повернулъ вправо и зашагалъ по переулкамъ, въ какихъ не былъ раньше ни разу въ жизни. Онъ дошелъ до того стараго моста, гдѣ шумитъ Яуза и откуда видны длинные ряды огней въ окнахъ Красныхъ казармъ. Чтобы отвлечь свою душевную боль какимъ-нибудь новымъ ощущеніемъ или другою болью, не зная, что дѣлать, плача и дрожа, Васильевъ разстегнулъ пальто и сюртукъ и подставилъ свою голую грудь сырому снѣгу и вѣтру. Но и это не уменьшило боли. Тогда онъ нагнулся черезъ перила моста и поглядѣлъ внизъ, на черную, бурливую Яузу, и ему захотѣлось броситься внизъ головой, не изъ отвраще-

нія къ жизни, не ради самоубійства, а чтобы хотя ушибиться и одною болью отвлечь другую. Но черная вода, потемки, пустынные берега, покрытые снѣгомъ, были страшны. Онъ содрогнулся и пошелъ дальше. Прошелся онъ вдоль Красныхъ казармъ, потомъ назадъ и спустился въ какую-то рощу, изъ рощи опять на мостъ...

«Нѣтъ, домой, домой!—думалъ онъ.—Дома, кажется, легче»...

И онъ пошелъ назадъ. Вернувшись домой, онъ сорвалъ съ себя мокрое пальто и шапку, зашагалъ вдоль стѣнъ и неутомимо шагалъ до самаго утра.

## VII.

Когда на другой день утромъ пришли къ нему художникъ и медикъ, онъ въ разодранной рубахѣ и съ искусанными руками метался по комнатѣ и стоналъ отъ боли.

— Ради Бога!—зарыдалъ онъ, увидѣвъ пріятелей.—Ведите меня, куда хотите, дѣлайте что знаете, но, Бога ради, скорѣе спасайте меня! Я убью себя!

Художникъ поблѣднѣлъ и растерялся. Медикъ тоже едва не заплакалъ, но, полагая, что медики во всѣхъ случаяхъ жизни обязаны быть хладнокровны и серьезны, сказалъ холодно:

— Это у тебя припадокъ. Но это ничего. Пойдемъ сейчасъ къ доктору.

— Куда хотите, только ради Бога, скорѣй!

— Ты не волнуйся. Нужно бороться съ собой.

Художникъ и медикъ дрожащими руками одѣли Васильева и вывели его на улицу.

— Михаилъ Сергѣичъ давно уже хочетъ съ тобой познакомиться,—говорилъ дорогою медикъ.—Онъ очень милый человѣкъ и отлично знаетъ свое дѣло. Кончилъ онъ въ 82 году, а практика уже громадная. Со студентами держитъ себя по-товарищески.

— Скорѣе, скорѣе...—торопилъ Васильевъ.

Михаилъ Сергѣичъ, полный, бѣлокурый докторъ, встрѣтилъ пріятелей учтиво, солидно, холодно и улыбнулся одной только щекой.

— Мнѣ художникъ и Майеръ говорили уже о вашей болѣзни,—сказалъ онъ.—Очень радъ служить. Ну-съ? Садитесь, покорнѣйше прошу

Онъ усадилъ Васильева въ большое кресло около стола и придвинулъ къ нему ящикъ съ папиросами.

— Ну-съ?—началъ онъ, поглаживая колѣни.—Приступимъ къ дѣлу... Сколько вамъ лѣтъ?

Онъ задавалъ вопросы, а медикъ отвѣчалъ. Онъ спросилъ, не былъ ли отецъ Васильева боленъ какими-нибудь особенными болѣзнями, не пилъ ли запоемъ, не отличался ли жестокостью или какими-либо странностями. То же самое спросилъ о его дѣдѣ, матери, сестрахъ и братьяхъ. Узнавъ, что его мать имѣла отличный голосъ и играла иногда въ театрѣ, онъ вдругъ оживился и спросилъ:

— Виноватъ-съ, а не припомните ли, не былъ ли театръ у вашей матушки страстью?

Прошло минутъ двадцать. Васильеву наскучило, что докторъ поглаживаетъ колѣни и говоритъ все объ одномъ и томъ же.

— Насколько я понимаю ваши вопросы, докторъ,—сказалъ онъ:—вы хотите знать, наслѣдственна моя болѣзнь, или нѣтъ. Она не наслѣдственна.

Далѣе докторъ спросилъ, не было ли у Васильева въ молодости какихъ-либо тайныхъ пороковъ, ушибовъ головы, увлеченій, странностей, исключительныхъ пристрастій. На половину вопросовъ, какіе обыкновенно задаются старательными докторами, можно не отвѣчать безъ всякаго ущерба для здоровья; но у Михаила Сергѣича, у медика и художника были такія лица, какъ будто, если бы Васильевъ не отвѣтилъ хотя бы на одинъ вопросъ, то все бы погибло. Получая отвѣты, докторъ для чего-то записывалъ ихъ на бумажкѣ. Узнавъ, что Васильевъ кончилъ уже на естественномъ факультетѣ и теперь на юридическомъ, докторъ задумался...

— Въ прошломъ году онъ написалъ отличное сочиненіе...—сказалъ медикъ.

— Виноватъ, не перебивайте меня, вы мѣшаете мнѣ сосредоточиться,—сказалъ докторъ и улыбнулся одной щекой.—Да, конечно, и это играетъ роль въ анамнезѣ. Форсированная умственная работа, переутомленіе... Да, да... А водку вы пьете?—обратился онъ къ Васильеву.

— Очень рѣдко.

Прошло еще двадцать минутъ. Медикъ сталъ вполголоса высказывать свое мнѣніе о ближайшихъ иричинахъ при-

падка и разсказалъ, какъ третьяго дня онъ, художникъ и Васильевъ ходили въ С—въ переулокъ.

Равнодушный, сдержанный, холодный тонъ, какимъ его пріятели и докторъ говорили о женщинахъ и о несчастномъ переулкѣ, показался ему въ высшей степени страннымъ...

— Докторъ, скажите мнѣ только одно,—сдерживая себя, чтобы не быть грубымъ, сказалъ онъ: — проституція зло, или нѣтъ?

— Голубчикъ, кто жъ споритъ?—сказалъ докторъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто давно уже рѣшилъ для себя всѣ эти вопросы.—Кто споритъ?

— Вы психіатръ?—спросилъ грубо Васильевъ.

— Да-съ, психіатръ.

— Можетъ-быть, всѣ вы и правы!—сказалъ Васильевъ, поднимаясь и начиная ходить изъ угла въ уголъ. — Можетъ-быть! Но мнѣ все это кажется удивительнымъ! Что я былъ на двухъ факультетахъ — въ этомъ видятъ подвигъ; за то, что я написалъ сочиненіе, которое черезъ три года будетъ брошено и забудется, меня превозносятъ до небесъ, а за то, что о падшихъ женщинахъ я не могу говорить такъ же хладнокровно, какъ объ этихъ стульяхъ, меня лѣчатъ, называютъ сумасшедшимъ, сожалѣютъ!

Васильеву почему-то вдругъ стало невыносимо жаль и себя, и товарищей, и всѣхъ тѣхъ, которыхъ онъ видѣлъ третьяго дня, и этого доктора, онъ заплакалъ и упалъ въ кресло.

Пріятели вопросительно глядѣли на доктора. Тотъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто отлично понималъ и слезы, и отчаяніе, какъ будто чувствовалъ себя спеціалистомъ по этой части, подошелъ къ Васильеву и молча далъ ему выпить какихъ-то капель, а потомъ, когда онъ успокоился, раздѣлъ его и сталъ изслѣдовать чувствительность его кожи, колѣнные рефлексы и проч.

И Васильеву полегчало. Когда онъ выходилъ отъ доктора, ему уже было совѣстно, шумъ экипажей не казался раздражительнымъ и тяжесть подъ сердцемъ становилась все легче и легче, точно таяла. Въ рукахъ у него было два рецепта: на одномъ былъ бромистый калій, на другомъ морфій... Все это принималъ онъ и раньше!

На улицѣ онъ постоялъ немного, подумалъ и, простившись съ пріятелями, лѣниво поплелся къ университету.

# ШАМПАНСКОЕ.

(РАЗСКАЗЪ ПРОХОДИМЦА.)

— —

Въ тотъ годъ, съ котораго начинается мой разсказъ, я служилъ начальникомъ полустанка на одной изъ нашихъ юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ. Весело мнѣ жилось на полустанкѣ или скучно, вы можете видѣть изъ того, что на 20 верстъ вокругъ не было ни одного человѣческаго жилья, ни одной женщины, ни одного порядочнаго кабака, а я въ тѣ поры былъ молодъ, крѣпокъ, горячъ, взбалмошенъ и глупъ. Единственнымъ развлеченіемъ могли быть только окна пассажирскихъ поѣздовъ да поганая водка, въ которую жиды подмѣшивали дурманъ. Бывало, мелькнетъ въ окнѣ вагона женская головка, а ты стоишь, какъ статуя, не дышишь и глядишь до тѣхъ поръ, пока поѣздъ не обратится въ едва видимую точку; или же выпьешь, сколько влѣзетъ, противной водки, очертенѣешь и не чувствуешь, какъ бѣгутъ длинные часы и дни. На меня, уроженца сѣвера, степь дѣйствовала, какъ видъ заброшеннаго татарскаго кладбища. Лѣтомъ она со своимъ торжественнымъ покоемъ — этотъ монотонный трескъ кузнечиковъ, прозрачный лунный свѣтъ, отъ котораго никуда не спрячешься,— наводила на меня унылую грусть, а зимою безукоризненная бѣлизна степи, ея холодная даль, длинныя ночи и волчій вой давили меня тяжелымъ кошмаромъ.

На полустанкѣ жило нѣсколько человѣкъ: я съ женой, глухой и золотушный телеграфистъ да три сторожа. Мой помощникъ, молодой, чахоточный человѣкъ, ѣздилъ лѣчиться въ городъ, гдѣ жилъ по цѣлымъ мѣсяцамъ, пред-

оставляя мнѣ свои обязанности вмѣстѣ съ правомъ пользоваться его жалованьемъ. Дѣтей у меня не было, гостей, бывало, ко мнѣ никакимъ калачомъ не заманишь, а самъ я могъ ѣздить въ гости только къ сослуживцамъ по линіи, да и то не чаще одного раза въ мѣсяцъ. Вообще, прескучнѣйшая жизнь.

Помню, встрѣчалъ я съ женою Новый годъ. Мы сидѣли за столомъ, лѣниво жевали и слушали, какъ въ сосѣдней комнатѣ монотонно постукивалъ на своемъ аппаратѣ глухой телеграфистъ. Я уже выпилъ рюмокъ пять водки съ дурманомъ и, подперевъ свою тяжелую голову кулакомъ, думалъ о своей непобѣдимой, невылазной скукѣ, а жена сидѣла рядомъ и не отрывала отъ моего лица глазъ. Глядѣла она на меня такъ, какъ можетъ глядѣть только женщина, у которой на этомъ свѣтѣ нѣтъ ничего, кромѣ красиваго мужа. Любила она меня безумно, рабски и не только мою красоту, или душу, но мои грѣхи, мою злобу и скуку, и даже мою жестокость, когда я въ пьяномъ изступленіи, не зная на комъ излить свою злобу, терзалъ ее попреками.

Несмотря на скуку, которая ѣла меня, мы готовились встрѣтить Новый годъ съ необычайной торжественностью и ждали полночи съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ. Дѣло въ томъ, что у насъ были припасены двѣ бутылки шампанскаго, самаго настоящаго, съ ярлыкомъ вдовы Клико; это сокровище я выигралъ на пари еще осенью у начальника дистанціи, гуляя у него на крестинахъ. Бываетъ, что во время урока математики, когда даже воздухъ стынетъ отъ скуки, въ классъ со двора влетаетъ бабочка; мальчуганы встряхиваютъ головами и начинаютъ съ любопытствомъ слѣдить за полетомъ, точно видятъ передъ собой не бабочку, а что-то новое, странное; такъ точно и обыкновенное шампанское, попавъ случайно въ нашъ скучный полустанокъ, забавляло насъ. Мы молчали и поглядывали то на часы, то на бутылки.

Когда стрѣлка показывала безъ пяти двѣнадцать, я сталъ медленно раскупоривать бутылку. Не знаю, ослабѣлъ ли я отъ водки, или же бутылка была слишкомъ влажна, но только помню, когда пробка съ трескомъ полетѣла къ потолку, моя бутылка выскользнула у меня изъ рукъ и упала на полъ. Пролилось вина не болѣе стакана, такъ какъ я

успѣлъ подхватить бутылку и заткнуть ей шипящее горло пальцемъ.

— Ну,-съ Новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ!—сказалъ я, наливая два стакана.—Пей.

Жена взяла свой стаканъ и уставилась на меня испуганными глазами. Лицо ея поблѣднѣло и выражало ужасъ.

— Ты уронилъ бутылку?—спросила она.

— Да, уронилъ. Ну, такъ что же изъ этого?

— Нехорошо,—сказала она, ставя свой стаканъ и еще больше блѣднѣя. — Нехорошая примѣта. Это значитъ, что въ этомъ году съ нами случится что-нибудь недоброе.

— Какая ты баба!—вздохнулъ я.—Умная женщина, а бредишь, какъ старая нянька. Пей.

— Дай Богъ, чтобъ я бредила, но... непремѣнно случится что-нибудь! Вотъ увидишь!

Она даже не пригубила своего стакана, отошла въ сторону и задумалась. Я сказалъ нѣсколько старыхъ фразъ насчетъ предразсудковъ, выпилъ полбутылки, пошагалъ изъ угла въ уголъ и вышелъ.

На дворѣ во всей своей холодной, нелюдимой красѣ стояла тихая морозная ночь. Луна и около нея два бѣлыхъ пушистыхъ облачка неподвижно, какъ приклеенныя, висѣли въ вышинѣ надъ самымъ полустанкомъ и какъ будто чего-то ждали. Отъ нихъ шелъ легкій прозрачный свѣтъ и нѣжно, точно боясь оскорбить стыдливость, касался бѣлой земли, освѣщая все: сугробы, насыпь... Было тихо.

Я шелъ вдоль насыпи.

«Глупая женщина! — думалъ я, глядя на небо, усыпанное яркими звѣздами.—Если даже допустить, что примѣты иногда говорятъ правду, то что же недоброе можетъ случиться съ нами? Тѣ несчастья, которыя уже испытаны и которыя есть теперь налицо, такъ велики, что трудно придумать что-нибудь еще хуже. Какое еще зло можно причинить рыбѣ, которая уже поймана, изжарена и подана на столъ подъ соусомъ?»

Тополь, высокій, покрытый инеемъ, показался въ синеватой мглѣ, какъ великанъ, одѣтый въ саванъ. Онъ поглядѣлъ на меня сурово и уныло, точно, подобно мнѣ, понималъ свое одиночество. Я долго глядѣлъ на него.

«Молодость моя погибла ни за грошъ, какъ ненужный окурокъ, — продолжалъ я думать. — Родители мои умерли,

когда я былъ еще ребенкомъ, изъ гимназіи меня выгнали. Родился я въ дворянской семьѣ, но не получилъ ни воспитанія, ни образованія, и знаній у меня не больше, чѣмъ у любого смазчика. Нѣтъ у меня ни пріюта, ни близкихъ, ни друзей, ни любимаго дѣла. Ни на что я неспособенъ и въ расцвѣтѣ силъ сгодился только на то, чтобы мною заткнули мѣсто начальника полустанка. Кромѣ неудачъ и бѣдъ, ничего другого не зналъ я въ жизни. Что же еще недоброе можетъ случиться?»

Вдали показались красные огни. Мнѣ навстрѣчу шелъ поѣздъ. Уснувшая степь слушала его шумъ. Мои мысли были такъ горьки, что мнѣ казалось, что я мыслилъ вслухъ, что стонъ телеграфа и шумъ поѣзда передаютъ мои мысли.

«Что же еще недоброе можетъ случиться? Потеря жены? — спрашивалъ я себя. — И это не страшно. Отъ своей совѣсти нельзя прятаться: не люблю я жены! Женился я на ней, когда еще былъ мальчишкой. Теперь я молодъ, крѣпокъ, а она осунулась, состарилась, поглупѣла, отъ головы до пятъ набита предразсудками. Что хорошаго въ ея приторной любви, впалой груди, въ вяломъ взглядѣ? Я терплю ее, но не люблю. Что же можетъ случиться? Молодость моя пропадаетъ, какъ говорится, ни за понюшку табаку. Женщины мелькаютъ передо мной только въ окнахъ вагоновъ, какъ падающія звѣзды. Любви не было и нѣтъ. Гибнетъ мое мужество, моя смѣлость, сердечность... Все гибнетъ, какъ соръ, и мои богатства здѣсь, въ степи, не стоятъ гроша мѣднаго.»

Поѣздъ съ шумомъ пролетѣлъ мимо меня и равнодушно посвѣтилъ мнѣ своими красными окнами. Я видѣлъ, какъ онъ остановился у зеленыхъ огней полустанка, постоялъ минуту и покатилъ далѣе. Пройдя версты двѣ, я вернулся назадъ. Печальныя мысли не оставили меня. Какъ ни горько было мнѣ, но, помнится, я какъ будто старался, чтобы мои мысли были печальнѣе и мрачнѣе. Знаете, у недалекихъ и самолюбивыхъ людей бываютъ моменты, когда сознаніе, что они несчастны, доставляетъ имъ нѣкоторое удовольствіе, и они даже кокетничаютъ передъ самими собой своими страданіями. Много въ моихъ мысляхъ было правды, но много и нелѣпаго, хвастливаго и что-то мальчишески вызывающее было въ моемъ вопросѣ: «Что можетъ случиться недоброе?»

— Да, что же случится? — спрашивалъ я себя, возвращаясь.—Кажется, все пережито. И болѣлъ я, и деньги терялъ, и выговоры каждый день отъ начальства получаю, и голодаю, и волкъ бѣшеный забѣгалъ во дворъ полустанка. Что еще? Меня оскорбляли, унижали... и я оскорблялъ на своемъ вѣку. Вотъ развѣ только преступникомъ никогда не былъ, но на преступленіе я, кажется, неспособенъ, суда же не боюсь.

Два облачка уже отошли отъ луны и стояли поодаль съ такимъ видомъ, какъ будто шептались о чемъ-то такомъ, чего не должна знать луна. Легкій вѣтерокъ пробѣжалъ по степи, неся глухой шумъ ушедшаго поѣзда.

У порога дома встрѣтила меня жена. Глаза ея весело смѣялись и все лицо дышало удовольствіемъ.

— А у насъ новость!—зашептала она.—Ступай скорѣе въ свою комнату и надѣнь новый сюртукъ: у насъ гостья!

— Какая гостья?

— Сейчасъ съ поѣздомъ пріѣхала тетя Наталья Петровна.

— Какая Наталья Петровна?

— Жена моего дяди Семена Ѳедорыча. Ты ея не знаешь. Она очень добрая и хорошая...

Вѣроятно, я нахмурился, потому что жена сдѣлала серьезное лицо и зашептала быстро:

— Конечно, странно, что она пріѣхала, но ты, Николай, не сердись и взгляни снисходительно. Она вѣдь несчастная. Дядя Семенъ Ѳедорычъ въ самомъ дѣлѣ деспотъ и злой, съ нимъ трудно ужиться. Она говоритъ, что только три дня у насъ проживетъ, пока не получитъ письма отъ своего брата.

Жена долго еще шептала мнѣ какую-то чепуху про деспота-дядюшку, про слабость человѣческую вообще и молодыхъ женъ въ частности, про обязанность нашу давать пріютъ всѣмъ, даже большимъ грѣшникамъ, и проч. Не понимая ровно ничего, я надѣлъ новый сюртукъ и пошелъ знакомиться съ «тетей».

За столомъ сидѣла маленькая женщина съ большими, черными глазами. Мой столъ, сѣрыя стѣны, топорный диванъ... кажется, все до малѣйшей пылинки помолодѣло и повеселѣло въ присутствіи этого существа, новаго, молодого, издававшаго какой-то мудреный запахъ, красиваго и

порочнаго. А что гостья была порочна, я понялъ по улыбкѣ, по запаху, по особой манерѣ глядѣть и играть рѣсницами, по тону, съ какимъ она говорила съ моей женой — порядочной женщиной... Не нужно ей было разсказывать мнѣ, что она бѣжала отъ мужа, что мужъ ея старъ и деспотъ, что она добра и весела. Я все понялъ съ перваго взгляда, да едва ли въ Европѣ есть еще мужчины, которые не умѣютъ отличить съ перваго взгляда женщину извѣстнаго темперамента.

— А я не знала, что у меня есть такой крупный племянничекъ! — сказала тетя, протягивая мнѣ руку и улыбаясь.

— А я не зналъ, что у меня есть такая хорошенькая тетя! — сказалъ я.

Снова начался ужинъ. Пробка съ трескомъ вылетѣла изъ второй бутылки, и моя тетя залпомъ выпила пол-стакана, а когда моя жена вышла куда-то на минутку, тетя уже не церемонилась и выпила цѣлый стаканъ. Опьянѣлъ я и отъ вина, и отъ присутствія женщины. Вы помните романсъ?

Очи черныя, очи страстныя,
Очи жгучія и прекрасныя,
Какъ люблю я васъ,
Какъ боюсь я васъ!

Не помню, что было потомъ. Кому угодно знать, какъ начинается любовь, тотъ пусть читаетъ романы и длинныя повѣсти, а я скажу только немного и словами все того же глупаго романса:

Знать увидѣлъ васъ
Я не въ добрый часъ...

Все полетѣло къ чорту верхнимъ концомъ внизъ. Помнится мнѣ страшный, бѣшеный вихрь, который закружилъ меня, какъ перышко. Кружилъ онъ долго и стеръ съ лица земли и жену, и самую тетю, и мою силу. Изъ степного полустанка, какъ видите, онъ забросилъ меня на эту темную улицу.

Теперь скажите: что еще недоброе можетъ со мной случиться?

# [illegible]

Татаринъ взглянулъ на небо. Звѣздъ такъ же много, какъ дома у него, такая же чернота кругомъ, но чего-то недостаетъ. Дома, въ Симбирской губерніи, совсѣмъ не такія звѣзды и не такое небо.

— Худо! худо!—повторилъ онъ.

— Привыкнешь!—сказалъ Толковый и засмѣялся.—Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губахъ не обсохло, и кажется тебѣ по глупости, что несчастнѣй тебя человѣка нѣтъ, а придетъ время, самъ скажешь: дай Богъ всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Черезъ недѣлю времени пройдетъ вода и поставимъ тутъ паромъ, вы всѣ пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить отъ берега къ берегу. Ужъ двадцать два года такъ хожу. День и ночь. Щука и нельма подъ водой, а я надъ водой. И слава Богу. Ничего мнѣ не надо. Дай Богъ всякому такой жизни.

Татаринъ подложилъ въ костеръ хворосту, легъ поближе къ огню и сказалъ:

— У меня отецъ хворый человѣкъ. Когда онъ помретъ, мать и жена сюда пріѣдутъ. Обѣщали.

— А на что тебѣ мать и жена?—спросилъ Толковый.— Одна глупость, братъ. Это тебя бѣсъ смущаетъ, язви его душу. Ты его не слушай, проклятаго. Не давай ему воли. Онъ тебѣ насчетъ бабы, а ты ему на зло: не желаю! Онъ тебѣ насчетъ воли, а ты упрись и — не желаю! Ничего не надо! Нѣту ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язви ихъ душу!

Толковый потянулъ изъ бутылки и продолжалъ:

— Я, братуша, не мужикъ простой, не изъ хамскаго званія, а дьячковскій сынъ и, когда на волѣ жилъ въ Курскѣ, въ сюртукѣ ходилъ, а теперь довелъ себя до такой точки, что могу голый на землѣ спать и траву жрать. И дай Богъ всякому такой жизни. Ничего мнѣ не надо и никого я не боюсь, и такъ себя понимаю, что богаче и вольнѣе меня человѣка нѣтъ. Какъ прислали меня сюда изъ Россіи, я съ перваго же дня уперся: ничего не хочу! Бѣсъ мнѣ и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мнѣ не надо! Уперся на своемъ и вотъ, какъ видишь, хорошо живу, не жалуюсь. А ежели кто дастъ поблажку бѣсу и хоть разъ послушается, тотъ пропалъ, нѣтъ ему спасенія: завязнетъ въ болотѣ по самую маковку и не вылѣзетъ. Не то, что вашъ братъ, глупый мужикъ,

но и благородные и образованные пропадаютъ. Лѣтъ пятнадцать назадъ прислали сюда изъ Россіи одного барина. Съ братьями что-то тамъ не подѣлилъ и въ завѣщаніи фальшь сдѣлалъ какую-то. Сказывали, изъ князей или бароновъ, а можетъ, и просто изъ чиновниковъ — кто его знаетъ! Ну, пріѣхалъ сюда баринъ и первымъ дѣломъ купилъ себѣ въ Мухортинскомъ домъ и землю. «Хочу, говоритъ, своимъ трудомъ жить, въ потѣ лица, потому что, говоритъ, я теперь не господинъ, а поселенецъ». Что жъ, говорю, помогай Богъ; дѣло хорошее. Человѣкъ онъ былъ тогда молодой, хлопотунъ, заботливый; самъ и косилъ, бывало, и рыбу ловилъ, и верхомъ верстъ за шестьдесятъ ѣздилъ. Только вотъ бѣда: съ перваго же года сталъ ѣздить въ Гырино, въ почтовую контору. Стоитъ, бывало, у меня на паромѣ и вздыхаетъ: «Эхъ, Семенъ, что-то долго не шлютъ мнѣ изъ дому денегъ!» Не надо, говорю, Василій Сергѣичъ, денегъ. Къ чему онѣ? Вы старое-то бросьте, забудьте, какъ будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сызнова. Не слушайте, говорю, бѣса, — онъ до добра не доведетъ, въ петлю затянетъ. Теперь вы денегъ желаете, говорю, а пройдетъ мало-мало времени и, гляди, чего другого захотите, а потомъ и еще, и еще. Ежели, говорю, желаете для себя счастья, то первѣе всего—ничего не желайте. Да... Ужъ ежели, говорю ему, насъ съ вами судьба обидѣла горько, то нечего у ней милости просить и кланяться ей въ ножки, а надо пренебрегать и смѣяться надъ ней. А то она сама насмѣется. Такъ и говорю ему... Года черезъ два перевожу я его на эту сторону, а онъ потираетъ руки и смѣется. «Ѣду, говоритъ, въ Гырино жену встрѣчать. Пожалѣла, говоритъ, меня, пріѣхала. Хорошая она у меня, добрая». А самъ отъ радости даже запыхался. Вотъ черезъ день ѣдетъ съ женой. Дама молодая, красивая, въ шляпкѣ; на рукахъ младенчикъ-дѣвочка. И всякаго багажу много. А Василій Сергѣичъ мой вертится около нея, не наглядится и никакъ не нахвалится. «Да, братъ Семенъ, и въ Сибири люди живутъ!» Ну, думаю, ладно, не обрадуешься. И съ той поры, почитай, каждую недѣлю, сталъ онъ въ Гырино навѣдываться: не пришли ли изъ Россіи деньги. Денегъ-то понадобилось пропасть. «Она, говоритъ, ради меня тутъ въ Сибири свою молодость и красоту губитъ и, говоритъ,

со мной мою горькую долю дѣлитъ, и черезъ это, говоритъ, я долженъ предоставлять ей всякое удовольствіе...» Чтобъ барынѣ веселѣй было, завелъ онъ знакомство съ чиновниками и съ шушерой всякой. А всю эту компанію, извѣстно, кормить и поить надо, да чтобъ и фортепьянъ былъ и собачка лохматенькая на диванѣ, — чтобъ она издохла... Роскошь, однимъ словомъ, баловство. Прожила съ нимъ барыня недолго. Гдѣ ей? Глина. вода, холодно, ни тебѣ овоща, ни фрукта, кругомъ необразованные да пьяные, никакого обхожденія, а она дама балованная, столичная... Извѣстно, соскучилась. Да и мужъ, какъ ни говори, уже не баринъ, а поселенецъ — не та честь. Года черезъ три, помню, ночью подъ самый Успеньевъ день кричатъ съ того берега. Пошелъ я туда на паромѣ, гляжу—барыня, вся окутавшись, а съ ней молодой господинъ, изъ чиновниковъ. Тройка... Перевезъ я ихъ сюда, сѣли — и поминай, какъ звали! Только ихъ и видѣли. А подъ утро Василій Сергѣичъ скачетъ на парѣ. «Не проѣзжала ли тутъ, Семенъ, моя жена съ господиномъ въ очкахъ?» Проѣзжала, говорю, — ищи вѣтра въ полѣ! Поскакалъ онъ вдогонку, сутокъ пять гнался. Когда послѣ перевозилъ я его на ту сторону, онъ повалился на паромъ и давай головой биться о доски и выть. То-то вотъ, говорю, и есть. Смѣюсь и припоминаю ему: «И въ Сибири люди живутъ!» А онъ еще пуще бьется... Потомъ это захотѣлось ему воли. Жена въ Россію подалась, и его, значитъ, туда потянуло, чтобъ ее повидать и отъ полюбовника вызволить. И сталъ онъ, братецъ ты мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то въ городъ къ начальству. Все прошенія посылалъ и подавалъ, чтобъ его помиловали и назадъ домой вернули, и сказывалъ онъ, на однѣ телеграммы у него рублей двѣсти пошло. Землю продалъ, домъ жидамъ заложилъ. Самъ посѣдѣлъ, сгорбился, съ лица желтый сталъ, словно чахоточный. Говоритъ съ тобою, а самъ: кхе-кхе-кхе... и слезы на глазахъ. Промаялся такъ съ прошеніями годовъ восемь, а теперь опять ожилъ и веселый сталъ: новое баловство придумалъ. Дочка, видишь, выросла. Глядитъ на нее и не надышится. А она, правду говорить, ничего себѣ: красивенькая, чернобровая и нрава бойкаго. Каждое воскресенье онъ въ Гырино ѣздитъ съ ней въ церковь. Стоятъ оба на паромѣ рядышкомъ, она смѣется, а

крытымъ лицомъ и просить милостыню? Нѣтъ, объ этомъ даже подумать страшно...

Уже свѣтало; ясно обозначались баржа, кусты тальника на водѣ и зыбь, а назадъ оглянуться — тамъ глинистый обрывъ, внизу избушка, крытая бурою соломой, а выше лѣпятся деревенскія избы. На деревнѣ уже пѣли пѣтухи.

Рыжій глинистый обрывъ, баржа, рѣка, чужіе, недобрые люди, голодъ, холодъ, болѣзни — быть-можетъ, всего этого нѣтъ на самомъ дѣлѣ. Вѣроятно, все это только снится,— думалъ татаринъ. Онъ чувствовалъ, что спитъ, и слышалъ свой храпъ... Конечно, онъ дома, въ Симбирской губерніи, и стоитъ ему только назвать жену по имени, какъ она откликнется; а въ сосѣдней комнатѣ мать... Однако, какіе бываютъ страшные сны! Къ чему они? Татаринъ улыбнулся и открылъ глаза. Какая это рѣка? Волга?

Шелъ снѣгъ.

— Подава-ай!—кричалъ кто-то на той сторонѣ:—Карба-а-асъ!

Татаринъ очнулся и пошелъ будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надѣвая на ходу рваные тулупы, бранясь хриплыми спросонокъ голосами и пожимаясь отъ холода, показались на берегу перевозчики. Послѣ сна рѣка, отъ которой вѣяло пронизывающимъ холодомъ, повидимому, казалась имъ отвратительной и жуткой. Не спѣша попрыгали они въ карбасъ... Татаринъ и три перевозчика взялись за длинныя весла съ широкими лопастями, похожія въ потемкахъ на рачьи клешни, Семенъ навалился животомъ на длинный руль. А на той сторонѣ все еще продолжали кричать и два раза выстрѣлили изъ револьвера, думая, вѣроятно, что перевозчики спятъ или ушли на деревню, въ кабакъ.

— Ладно, успѣешь!—проговорилъ Толковый тономъ человѣка, убѣжденнаго, что на этомъ свѣтѣ нѣтъ надобности спѣшить—все равно, молъ, толку не выйдетъ.

Тяжелая неуклюжая баржа отдѣлилась отъ берега и поплыла межъ кустовъ тальника, и только по тому, что тальникъ медленно уходилъ назадъ, замѣтно было, что она не стояла на одномъ мѣстѣ, а двигалась. Перевозчики мѣрно, въ разъ, взмахивали веслами; Толковый лежалъ животомъ на рулѣ и, описывая въ воздухѣ дугу, леталъ съ одного борта на другой. Было въ потемкахъ похоже

на то, какъ будто люди сидѣли на какомъ-то допотопномъ животномъ съ длинными лапами и уплывали на немъ въ холодную, унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара.

Миновали тальникъ, выплыли на просторъ. На томъ берегу уже заслышали стукъ и мѣрное плесканье веселъ и кричали: «Скорѣй! скорѣй!» Прошло еще минутъ съ десять, и баржа тяжело ударилась о пристань.

— И все оно сыплетъ, и все оно сыплетъ!—бормоталъ Семенъ, вытирая съ лица снѣгъ. — И откуда оно берется, Богъ его знаетъ!

На той сторонѣ ждалъ худощавый, невысокаго роста старикъ, въ полушубкѣ на лисьемъ мѣху и въ бѣлой мерлушковой шапкѣ. Онъ стоялъ поодаль отъ лошадей и не двигался; у него было угрюмое, сосредоточенное выраженіе, какъ будто онъ старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семенъ подошелъ къ нему и, улыбаясь, снялъ шапку, то онъ сказалъ:

— Спѣшу въ Анастасьевку. Дочери опять хуже, а въ Анастасьевку, говорятъ, новаго доктора назначили.

Втащили тарантасъ на баржу и поплыли назадъ. Человѣкъ, котораго Семенъ назвалъ Василіемъ Сергѣичемъ, все время, пока плыли, стоялъ неподвижно, крѣпко сжавъ свои толстыя губы и глядя въ одну точку; когда ямщикъ попросилъ у него позволенія покурить въ его присутствіи, онъ ничего не отвѣтилъ, точно не слышалъ. А Семенъ лежа животомъ на рулѣ, насмѣшливо глядѣлъ не него и говорилъ:

— И въ Сибири люди живутъ. Живу-утъ!

На лицѣ у Толковаго было торжествующее выраженіе, какъ будто онъ что-то доказалъ и будто радовался, что вышло именно такъ, какъ онъ предполагалъ. Несчастный, безпомощный видъ человѣка въ полушубкѣ на лисьемъ мѣху, повидимому, доставлялъ ему большое удовольствіе.

— Грязно теперь ѣхать, Василій Сергѣичъ,—сказалъ онъ, когда на берегу запрягали лошадей.—Погодили бы ѣздить еще недѣльки съ двѣ, пока суше станетъ. А то и вовсе бы не ѣздили... Ежели бы толкъ какой отъ ѣзды былъ, а то, сами изволите знать, люди вѣки вѣчные ѣздятъ, и днемъ и ночью, а все никакого толку. Право!

Василій Сергѣичъ молча далъ на водку, сѣлъ въ тарантасъ и поѣхалъ дальше.

— Вотъ, за доктоpомъ поскакалъ!—сказалъ Семенъ, пожимаясь отъ холода.—Да, ищи настоящаго доктора, догоняй вѣтра въ полѣ, хватай чорта за хвостъ, язви твою душу! Экіе чудаки! Господи, прости меня грѣшнаго!

Татаринъ подошелъ къ Толковому и, глядя на него съ ненавистью и съ отвращеніемъ, дрожа и примѣшивая къ своей ломаной рѣчи татарскія слова, заговорилъ:

— Онъ хорошо... хорошо, а ты—худо! Ты худо! Баринъ хорошая душа, отличный, а ты звѣрь, ты худо! Баринъ живой, а ты дохлый... Богъ создалъ человѣка, чтобы живой былъ, чтобы и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значитъ, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего, и тебѣ ничего... Ты камень—и Богъ тебя не любитъ, а барина любитъ!

Всѣ засмѣялись; татаринъ брезгливо поморщился, махнулъ рукой и, кутаясь въ свои лохмотья, пошелъ къ костру. Перевозчики и Семенъ поплелись въ избушку.

— Холодно! — прохрипѣлъ одинъ перевозчикъ, растягиваясь на соломѣ, которою былъ покрытъ сырой глинистый полъ.

— Да, не тепло! — согласился другой. — Жизнь каторжная!..

Всѣ улеглись. Дверь отворилась отъ вѣтра, и въ избушку понесло снѣгомъ. Встать и затворить дверь никому не хотѣлось: было холодно и лѣнь.

— А мнѣ хорошо!—проговорилъ Семенъ, засыпая.—Дай Богъ всякому такой жизни.

— Ты, извѣстно, семикаторжный. Тебя и черти не берутъ.

Со двора послышались звуки, похожіе на собачій вой.

— Что это? Кто это тамъ?

— Это татаринъ плачетъ.

— Ишь ты... Чудакъ!

— Привы-ыкнетъ! — сказалъ Семенъ и тотчасъ же заснулъ.

Скоро заснули и остальные. А дверь такъ и осталась не затворенной.

# ОТЕЦЪ.

— Признаться, я выпивши... Извини, зашелъ дорогой въ портерную и по случаю жары выпилъ двѣ бутылочки. Жарко, братъ!

Старикъ Мусатовъ вытащилъ изъ кармана какую-то тряпочку и вытеръ ею свое бритое, испитое лицо.

— Я къ тебѣ, Боренька, ангелъ мой, на минуточку, — продолжалъ онъ, не глядя на сына: — по весьма важному дѣлу. Извини, можетъ-быть, помѣшалъ. Нѣтъ ли у тебя, душа моя, до вторника десяти рублей? Понимаешь ли, вчера еще нужно было платить за квартиру, а денегъ, понимаешь ли... во! Хоть зарѣжь!

Молодой Мусатовъ молча вышелъ и сталъ за дверью шептаться со своею дачною хозяйкой и съ сослуживцами, которые вмѣстѣ съ нимъ сообща нанимали дачу. Черезъ три минуты онъ вернулся и молча подалъ отцу десятирублевку. Тотъ, не поглядѣвъ, небрежно сунулъ ее въ карманъ и сказалъ:

— Мерси. Ну, какъ живешь? Давно ужъ не видались.

— Да, давно. Съ самой Святой.

— Разъ пять собирался къ тебѣ, да все некогда. То одно дѣло, то другое... просто смерть! Впрочемъ, вру... Все это я вру. Ты мнѣ не вѣрь, Боренька. Сказалъ—во вторникъ отдамъ десять рублей, тоже не вѣрь. Ни одному моему слову не вѣрь. Никакихъ у меня дѣловъ нѣтъ, а просто лѣнь, пьянство и совѣстно въ такомъ одѣяніи на улицу показаться. Ты меня, Боренька, извини. Тутъ я раза три къ тебѣ дѣвчонку за деньгами присылалъ и жалостныя письма писалъ.

За деньги спасибо, а письмамъ не вѣрь: вралъ. Совѣстно мнѣ обирать тебя, ангелъ мой; знаю, что самъ ты едва концы съ концами сводишь и акридами питаешься, но ничего я со своимъ нахальствомъ не подѣлаю. Такой нахалъ, что хоть за деньги показывай!.. Ты извини меня, Боренька. Говорю тебѣ всю эту правду, потому не могу равнодушно твоего ангельскаго лица видѣть.

Прошла минута въ молчаніи. Старикъ глубоко вздохнулъ и сказалъ:

— Угостилъ бы ты меня пивкомъ, что ли.

Сынъ молча вышелъ, и за дверями опять послышался шопотъ. Когда, немного погодя, принесли пиво, старикъ при видѣ бутылокъ оживился и рѣзко измѣнилъ свой тонъ.

— Былъ, братецъ ты мой, намедни я на скачкахъ, — разсказывалъ онъ, дѣлая испуганные глаза. — Насъ было трое, и взяли мы въ тотализаторѣ одинъ трехрублевый билетъ на Шустраго. И спасибо этому Шустрому. На рубль намъ выдали по тридцать два рубля. Не могу, братъ, безъ скачекъ. Удовольствіе благородное. Моя бабенція всегда задаетъ мнѣ трепку за скачки, а я хожу. Люблю, хоть ты что!

Борисъ, молодой человѣкъ, бѣлокурый, съ меланхолическимъ, неподвижнымъ лицомъ, тихо ходилъ изъ угла въ уголъ и молча слушалъ. Когда старикъ прервалъ свой разсказъ, чтобы откашляться, онъ подошелъ къ нему и сказалъ:

— На-дняхъ, папаша, я купилъ себѣ штиблеты, которыя оказались для меня слишкомъ узки. Не возьмешь ли ты ихъ у меня? Я уступлю тебѣ ихъ дешевле.

— Пожалуй,—согласился старикъ, дѣлая гримасу:—только за ту же цѣну, безъ уступокъ.

— Хорошо. Я тебѣ это взаймы даю.

Сынъ полѣзъ подъ кровать и досталъ оттуда новыя штиблеты. Отецъ снялъ свои неуклюжіе, бурые, очевидно, чужіе сапоги и сталъ примѣривать новую обувь.

— Какъ разъ! — сказалъ онъ. — Ладно, пускай у меня остаются. А во вторникъ, когда получу пенсію, пришлю тебѣ за нихъ. Впрочемъ, вру, — продолжалъ онъ, вдругъ опять впадая въ прежній слезливый тонъ.—И про тотализаторъ вру, и про пенсію вру. И ты меня обманываешь, Боренька... Я вѣдь чувствую твою великодушную политику.

Насквозь я тебя понимаю! Штиблеты потому оказались узки, что душа у тебя широкая. Ахъ, Боря, Боря! Все я понимаю и все чувствую!

— Вы на новую квартиру перебрались? — прервалъ его сынъ, чтобы перемѣнить разговоръ.

— Да, братъ, на новую. Каждый мѣсяцъ перебираюсь. Моя бабенція со своимъ характеромъ не можетъ долго на одномъ мѣстѣ ужиться.

— Я у васъ былъ на старой квартирѣ, хотѣлъ васъ къ себѣ на дачу пригласить. Съ вашимъ здоровьемъ вамъ не мѣшало бы пожить на чистомъ воздухѣ.

— Нѣтъ! — махнулъ рукой старикъ. — Баба не пуститъ, да и самъ не хочу. Разъ сто вы пытались вытащить меня изъ ямы, и самъ я пытался, да ни черта не вышло. Бросьте! Въ ямѣ и околѣвать мнѣ. Сейчасъ вотъ сижу съ тобой, гляжу на твое ангельское лицо, а самого такъ и тянетъ домой въ яму. Такая ужъ, знать, судьба. Навознаго жука не затащишь на розу. Нѣтъ. Однако, братецъ, мнѣ пора ужъ. Темно становится.

— Такъ постойте же, я васъ провожу. Мнѣ самому сегодня нужно въ городъ.

Старикъ и молодой надѣли свои пальто и вышли. Когда, немного погодя, они ѣхали на извозчикѣ, было уже темно, и въ окнахъ замелькали огни.

— Обобралъ я тебя, Боренька! — бормоталъ отецъ. — Бѣдныя, бѣдныя дѣти! Должно-быть, великое горе имѣть такого отца! Боренька, ангелъ мой, не могу врать, когда вижу твое лицо. Извини... До чего доходитъ мое нахальство, Боже мой! Сейчасъ вотъ я тебя обобралъ, конфужу тебя своимъ пьянымъ видомъ, братьевъ твоихъ тоже обираю и конфужу, а поглядѣлъ бы ты на меня вчера! Не скрою, Боренька! Сошлись вчера къ моей бабенціи сосѣди и всякая шваль, нацился и я съ ними и давай на чемъ свѣтъ стоитъ честить васъ, моихъ дѣточекъ. И ругалъ я васъ, и жаловался, что будто вы меня бросили. Хотѣлъ, видишь ли, пьяныхъ бабъ разжалобить и разыграть изъ себя несчастнаго отца. Такая ужъ у меня манера: когда хочу свои пороки скрыть, то всю бѣду на невинныхъ дѣтей взваливаю. Не могу я врать тебѣ, Боренька, и скрывать. Шелъ къ тебѣ гоголемъ, а какъ увидѣлъ твою кротость и милосердіе твое, языкъ

прилипъ къ гортани и всю мою совѣсть вверхъ тормашкой перевернуло.

— Полно, папаша, давайте говорить о чемъ-нибудь другомъ.

— Матерь Божія, какія у меня дѣти! — продолжалъ старикъ, не слушая сына. — Какую Господь мнѣ роскошь послалъ! Такихъ бы дѣтей не мнѣ, непутевому, а настоящему бы человѣку съ душой и чувствами! Недостоинъ я!

Старикъ снялъ свой маленькій картузикъ съ пуговкой и нѣсколько разъ перекрестился.

— Слава Тебѣ, Господи!—вздохнулъ онъ, оглядываясь по сторонамъ и какъ бы ища образа.—Замѣчательныя, рѣдкія дѣти! Три у меня сына, и всѣ какъ одинъ. Трезвые, степенные, дѣловые, а какіе умы! Извозчикъ, какіе умы! У одного Григорія ума столько, что на десять человѣкъ хватитъ. Онъ и по-французски, онъ и по-нѣмецки, а говоритъ, такъ куда тебѣ твои адвокаты—заслушаешься... Дѣти мои, дѣти, не вѣрю я, что вы мои! Не вѣрю! Ты у меня, Боренька, мученикъ. Разоряю я тебя и буду разорять... Даешь ты мнѣ безъ конца, хотя и знаешь, что деньги твои идутъ не на дѣло. Намедни прислалъ я тебѣ жалостное письмо, болѣзнь описывалъ свою, а вѣдь вралъ: деньги я у тебя на ромъ просилъ. А даешь ты мнѣ потому, что боишься меня отказомъ оскорбить. Все это я знаю и чувствую. Гриша тоже мученикъ. Въ четвергъ, братецъ ты мой, пошелъ я къ нему въ присутствіе пьяный, грязный, оборванный... водкой отъ меня, какъ изъ погреба. Прихожу прямо, этакая фигура, лѣзу къ нему съ подлыми разговорами, а тутъ кругомъ его товарищи, начальство, просители. Осрамилъ на всю жизнь. А онъ хоть бы тебѣ капельку сконфузился, только чуточку поблѣднѣлъ, но улыбнулся и подошелъ ко мнѣ какъ ни въ чемъ не бывало, даже товарищамъ отрекомендовалъ. Потомъ проводилъ меня до самаго дома и хоть бы однимъ словомъ попрекнулъ! Обираю я его пуще, чѣмъ тебя. Взять теперь брата твоего Сашу, вѣдь тоже мученикъ! Женился онъ, знаешь, на полковницкой дочкѣ изъ аристократическаго круга, приданое взялъ... Кажется, не до меня ему. Нѣтъ, братъ, какъ только женился, послѣ свадьбы со своею молодою супругой мнѣ первому визитъ сдѣлалъ... въ моей ямѣ... Ей-Богу!

Старикъ всхлипнулъ и тотчасъ же засмѣялся.

— А въ ту пору, какъ нарочно, у насъ тертую рѣдьку съ квасомъ ѣли и рыбу жарили, и такая вонь была въ квартирѣ, что чорту тошно. Я лежалъ выпивши, бабенція моя выскочила къ молодымъ съ красною рожей... безобразіе, однимъ словомъ. А Саша все превозмогъ.

— Да, нашъ Саша хорошій человѣкъ,—сказалъ Борисъ.

— Великолѣпнѣйшій! Всѣ вы у меня золото: и ты, и Гриша, и Саша, и Соня. Мучу я васъ, терзаю, срамлю, обираю, а за всю жизнь не слыхалъ отъ васъ ни одного слова упрека, не видалъ ни одного косого взгляда. Добро бы, отецъ порядочный былъ, а то — тьфу! Не видали вы отъ меня ничего, кромѣ зла. Я человѣкъ нехорошій, распутный... Теперь еще, слава Богу, присмирѣлъ и характера у меня нѣтъ, а вѣдь прежде, когда вы маленькими были, во мнѣ положительность сидѣла, характеръ. Что я ни дѣлалъ и ни говорилъ, все казалось мнѣ, какъ будто такъ и надо. Бывало, вернусь ночью домой изъ клуба пьяный, злой, и давай твою покойницу мать попрекать за расходы. Цѣлую ночь ѣмъ ее поѣдомъ и думаю, что это такъ и надо; бывало, утромъ вы встанете и въ гимназію уйдете, а я все еще надъ ней свой характеръ показываю. Царство небесное, замучилъ я ее, мученицу! А когда, бывало, вернетесь вы изъ гимназіи, а я сплю, вы не смѣете обѣдать, пока я не встану. За обѣдомъ опять музыка. Небось, помнишь. Не дай Богъ никому такого отца. Вамъ меня Богъ на подвигъ послалъ. Именно, на подвигъ! Тяните ужъ, дѣтки, до конца. Чти отца твоего и долголѣтенъ будеши. За вашъ подвигъ, можетъ, Господь пошлетъ вамъ жизнь долгую. Извозчикъ стой!

Старикъ спрыгнулъ съ пролетки и побѣжалъ въ портерную. Черезъ полчаса онъ вернулся, пьяно крякнулъ и сѣлъ рядомъ съ сыномъ.

— А гдѣ теперь Соня? — спросилъ онъ. — Все еще въ пансіонѣ?

— Нѣтъ, въ маѣ она кончила и теперь у Сашиной тещи живетъ.

— Во! — удивился старикъ. — Молодецъ-дѣвка, стало быть, въ братьевъ пошла. Эхъ, нѣту, Боренька, матери, некому утѣшаться. Послушай, Боренька, она... она знаетъ, какъ я живу? А?

Борисъ ничего не отвѣтилъ. Прошло минутъ пять въ глу-

бокомъ молчаніи. Старикъ всхлипнулъ, утерся своей тряпочкой и сказалъ:

— Люблю я ее, Боренька! Вѣдь единственная дочь, а въ старости лучшаго утѣшенія нѣтъ, какъ дочка. Повидаться бы мнѣ съ ней. Можно, Боренька?

— Конечно, когда хотите.

— Ей-Богу? А она ничего?

— Полноте, она сама искала васъ, чтобъ повидаться.

— Ей-Богу? Вотъ дѣти! Извозчикъ, а? Устрой, Боренька, голубчикъ! Она теперь барышня, деликатесъ, консуме и все такое, на благородный манеръ, и я не желаю показываться ей въ такомъ подлѣйшемъ видѣ. Мы, Боренька, всю эту механику такъ устроимъ. Денька три я воздержусь отъ спиртуозовъ, чтобы поганое пьяное рыло мое пришло въ порядокъ, потомъ приду къ тебѣ, и ты дашь мнѣ на время какой-нибудь свой костюмчикъ; побреюсь я, постригусь, потомъ ты съѣздишь и привезешь ее къ себѣ. Ладно?

— Хорошо.

— Извозчикъ, стой!

Старикъ опять спрыгнулъ съ пролетки и побѣжалъ въ портерную. Пока Борисъ доѣхалъ съ нимъ до его квартиры, онъ еще раза два прыгалъ, и сынъ всякій разъ молча и терпѣливо ожидалъ его. Когда они, отпустивъ извозчика, пробирались длиннымъ грязнымъ дворомъ къ квартирѣ «бабенціи», старикъ принялъ въ высшей степени сконфуженный и виноватый видъ, сталъ робко крякать и причмокивать губами.

— Боренька, — сказалъ онъ заискивающимъ тономъ: — если моя бабенція начнетъ говорить тебѣ что-нибудь такое, то ты не обращай вниманія и... и обойдись съ ней, знаешь, этакъ, попривѣтливѣй. Она у меня невѣжественна и дерзка, но все-таки хорошая баба. У нея въ груди бьется доброе, горячее сердце!

Длинный дворъ кончился, и Борисъ вошелъ въ темныя сѣни. Заскрипѣла дверь на блокѣ, пахнуло кухней и самоварнымъ дымомъ, послышались рѣзкіе голоса. Проходя изъ сѣней черезъ кухню, Борисъ видѣлъ только темный дымъ, веревку съ развѣшеннымъ бѣльемъ и самовариую трубу, сквозь щели которой сыпались золотыя искры.

— А вотъ и моя келья, — сказалъ старикъ, нагибаясь и входя въ маленькую комнату съ низкимъ потолкомъ и съ

атмосферой, невыносимо душной отъ сосѣдства съ кухней.

Здѣсь за столомъ сидѣли какія-то три бабы и угощались. Увидѣвъ гостя, онѣ переглянулись и перестали ѣсть.

— Что жъ, досталъ? — спросила сурово одна изъ нихъ, повидимому, сама «бабенція».

— Досталъ, досталъ, — забормоталъ старикъ. — Ну, Борисъ, милости просимъ, садись! У насъ, братъ, молодой человѣкъ, просто... Мы въ простотѣ живемъ.

Онъ какъ-то безъ толку засуетился. Ему было совѣстно сына и въ то же время, повидимому, ему хотѣлось держать себя около бабъ, какъ всегда, «гоголемъ» и несчастнымъ, брошеннымъ отцомъ.

— Да, братецъ ты мой, молодой человѣкъ, мы живемъ просто, безъ затѣй, — бормоталъ онъ.—Мы люди простые, молодой человѣкъ... Мы не то, что вы, не любимъ пыль въ глаза пускать. Да-съ... Развѣ водки выпить?

Одна изъ бабъ (ей было совѣстно пить при чужомъ человѣкѣ) вздохнула и сказала:

— А я черезъ грибы еще выпью... Такіе грибы, что не захочешь, такъ выпьешь. Иванъ Герасимычъ, пригласите ихъ, можетъ, и они выпьютъ!

Послѣднее слово она произнесла такъ: випьютъ.

— Выпей, молодой человѣкъ!—сказалъ старикъ, не глядя на сына.—У насъ, братъ, винъ и ликеровъ нѣтъ, мы попросту.

— Имъ у насъ не ндравится!—вздохнула «бабенція».

— Ничего, ничего, онъ выпьетъ!

Чтобы не обидѣть отца отказомъ, Борисъ взялъ рюмку и молча выпилъ. Когда принесли самоваръ, онъ молча, съ меланхолическимъ лицомъ, въ угоду старику, выпилъ двѣ чашки противнаго чаю. Молча онъ слушалъ, какъ «бабенція» намеками говорила о томъ, что на этомъ свѣтѣ есть жестокія и безбожныя дѣти, которыя бросаютъ своихъ родителей.

— Я знаю, что ты теперь думаешь! — говорилъ подвыпившій старикъ, входя въ свое обычное пьяное возбужденное состояніе. — Ты думаешь: я опустился, погрязъ, я жалокъ, а по-моему эта простая жизнь гораздо нормальнѣе твоей жизни, молодой человѣкъ. Ни въ комъ я не нуждаюсь и... и не намѣренъ унижаться... Терпѣть не могу, если какой-нибудь мальчишка глядитъ на меня съ сожалѣніемъ

Послѣ чаю онъ чистилъ селедку и посыпалъ ее лукомъ съ такимъ чувствомъ, что даже на глазахъ у него выступили слезы умиленія. Онъ опять заговорилъ о тотализаторѣ, о выигрышахъ, о какой-то шляпѣ изъ панамской соломы, за которую онъ вчера заплатилъ 16 рублей. Лгалъ онъ съ такимъ же аппетитомъ, съ какимъ ѣлъ селедку и пилъ. Сынъ молча высидѣлъ часъ и сталъ прощаться.

— Не смѣю удерживать!—сказалъ надменно старикъ.— Извините, молодой человѣкъ, что я живу не такъ, какъ вамъ хочется!

Онъ хорохорился, съ достоинствомъ фыркалъ и подмигивалъ бабамъ.

— Прощайте-съ, молодой человѣкъ!—говорилъ онъ, провожая сына до сѣней.—Атанде!

Въ сѣняхъ же, гдѣ было темно, онъ вдругъ прижался лицомъ къ рукаву сына и всхлипнулъ.

— Поглядѣть бы мнѣ Сонюшку! — зашепталъ онъ. — Устрой, Боренька, ангелъ мой! Я побреюсь, надѣну твой костюмчикъ... строгое лицо сдѣлаю... Буду при ней молчать. Ей-ей, буду молчать!

Онъ робко оглянулся на дверь, за которой слышались голоса бабъ, задержалъ рыданіе и сказалъ громко:

— Прощайте, молодой человѣкъ! Атанде!

# ЖЕНА.

## I.

Я получилъ такое письмо:

«Милостивый Государь, Павелъ Андреевичъ! Недалеко отъ васъ, а именно въ деревнѣ Пестровѣ, происходятъ прискорбные факты, о которыхъ считаю долгомъ сообщить. Всѣ крестьяне этой деревни продали избы и все свое имущество и переселились въ Томскую губернію, но не доѣхали и возвратились назадъ. Здѣсь, понятно, у нихъ ничего уже нѣтъ, все теперь чужое; поселились они по три и четыре семьи въ одной избѣ, такъ что населеніе каждой избы не менѣе 15 человѣкъ обоего пола, не считая малыхъ дѣтей, и въ концѣ концовъ ѣсть нечего, голодъ, поголовная эпидемія голоднаго или сыпного тифа; всѣ буквально больны. Фельдшерица говоритъ: придешь въ избу и что видишь? Всѣ больны, всѣ бредятъ, кто хохочетъ, кто на стѣну лѣзетъ; въ избахъ смрадъ, ни воды подать, ни принести ее некому, а пищей служитъ одинъ мерзлый картофель. Фельдшерица и Соболь (нашъ земскій врачъ) что могутъ сдѣлать, когда имъ прежде лѣкарства надо хлѣба, котораго они не имѣютъ? Управа земская отказывается тѣмъ, что они уже выписаны изъ этого земства и числятся въ Томской губерніи, да и денегъ нѣтъ. Сообщая объ этомъ вамъ и зная вашу гуманность, прошу, не откажите въ скорѣйшей помощи. Вашъ доброжелатель».

Очевидно, писала сама фельдшерица или этотъ докторъ, имѣющій звѣриную фамилію. Земскіе врачи и фельдшерицы въ продолженіе многихъ лѣтъ изо дня въ день убѣждаются, что они *ничего* не могутъ сдѣлать, и все-таки получаютъ жалованье съ людей, которые питаются однимъ мерзлымъ картофелемъ, и все-таки почему-то считаютъ себя въ правѣ судить, гуманенъ я, или нѣтъ.

Обезпокоенный анонимнымъ письмомъ и тѣмъ, что каждое

утро какіе-то мужики приходили въ людскую кухню и становились тамъ на колѣни, и тѣмъ, что ночью изъ амбара вытащили двадцать кулей ржи, сломавъ предварительно стѣну, и общимъ тяжелымъ настроеніемъ, которое поддерживалось разговорами, газетами и дурною погодой—обезпокоенный всѣмъ этимъ, я работалъ вяло и неуспѣшно. Я писалъ «Исторію желѣзныхъ дорогъ»; нужно было прочесть множество русскихъ и иностранныхъ книгъ, брошюръ, журнальныхъ статей, нужно было щелкать на счетахъ, перелистывать логариѳмы, думать и писать, потомъ опять читать, щелкать и думать; но едва я брался за книгу или начиналъ думать, какъ мысли мои путались, глаза жмурились, я со вздохомъ вставалъ изъ-за стола и начиналъ ходить по большимъ комнатамъ своего пустыннаго деревенскаго дома. Когда надоѣдало ходить, я останавливался въ кабинетѣ у окна и, глядя черезъ свой широкій дворъ, черезъ прудъ и голый молодой березнякъ, и черезъ большое поле, покрытое недавно выпавшимъ, тающимъ снѣгомъ, я видѣлъ на горизонтѣ, на холмѣ кучу бурыхъ избъ, отъ которыхъ по бѣлому полю спускалась внизъ неправильной полосой черная, грязная дорога. Это было Пестрово, то самое, о которомъ писалъ мнѣ анонимный авторъ. Если бы не вороны, которыя, предвѣщая дождь или снѣжную погоду, съ крикомъ носились надъ прудомъ и полемъ, и если бы не стукъ въ плотницкомъ сараѣ, то этотъ мірокъ, о которомъ теперь такъ много шумятъ, казался бы похожимъ на Мертвое озеро,—такъ все здѣсь тихо, неподвижно, безжизненно, скучно!

Работать и сосредоточиться мѣшало мнѣ безпокойство; я не зналъ, что это такое, и хотѣлъ думать, что это разочарованіе. Въ самомъ дѣлѣ, оставилъ я службу по министерству путей сообщенія и пріѣхалъ сюда въ деревню, чтобы жить въ покоѣ и заниматься литературой по общественнымъ вопросамъ. Это была моя давнишняя, завѣтная мечта. А теперь нужно было проститься и съ покоемъ, и съ литературой, оставить все и заняться одними только мужиками. И это было неизбѣжно, потому что кромѣ меня, какъ я былъ убѣжденъ, въ этомъ уѣздѣ положительно некому было помочь голодающимъ. Окружали меня люди необразованные, неразвитые, равнодушные; въ громадномъ большинствѣ нечестные, или же честные, но взбалмошные и не-

серьезные, какъ, напримѣръ, моя жена. Положиться на такихъ людей было нельзя, оставить мужиковъ на произволъ судьбы было тоже нельзя, значитъ, оставалось покориться необходимости и самому заняться приведеніемъ мужиковъ въ порядокъ.

Началъ я съ того, что рѣшилъ пожертвовать въ пользу голодающихъ пять тысячъ рублей серебромъ. И это не уменьшило, а только усилило мое безпокойство. Когда я стоялъ у окна или ходилъ по комнатамъ, меня мучилъ вопросъ, котораго раньше не было: какъ распорядиться этими деньгами? Приказать купить хлѣба, пойти по избамъ и раздавать — это не подъ силу одному человѣку, не говоря уже о томъ, что второпяхъ рискуешь дать сытому или кулаку вдвое больше, чѣмъ голодному. Администраціи я не вѣрилъ. Всѣ эти земскіе начальники и податные инспектора были люди молодые, и къ нимъ относился я недовѣрчиво, какъ ко всей современной молодежи, матеріалистической и не имѣющей идеаловъ. Земская управа, волостныя правленія и всѣ вообще уѣздныя канцеляріи тоже не внушали мнѣ ни малѣйшаго желанія обратиться къ ихъ помощи. Я зналъ, что эти учрежденія, присосавшіяся къ земскому и казенному пирогу, каждый день держали свои рты наготовѣ, чтобы присосаться къ какому-нибудь еще третьему пирогу.

Мнѣ приходило на мысль пригласить къ себѣ сосѣдей-помѣщиковъ и предложить имъ организовать у меня въ домѣ что-нибудь въ родѣ комитета или центра, куда бы стекались всѣ пожертвованія и откуда по всему уѣзду давались бы пособія и распоряженія; такая организація, допускавшая частыя совѣщанія и широкій свободный контроль, вполнѣ отвѣчала моимъ взглядамъ; но я воображалъ закуски, обѣды, ужины и тотъ шумъ, праздность, говорливость и дурной тонъ, какіе неминуемо внесла бы въ мой домъ эта пестрая уѣздная компанія, и спѣшилъ отказаться отъ своей мысли.

Что касается моихъ домашнихъ, то ждать отъ нихъ помощи или поддержки я могъ меньше всего. Отъ моей первой, отцовской, когда-то большой и шумной семьи уцѣлѣла одна только гувернантка m-lle Marie, или, какъ ее звали теперь, Марья Герасимовна, личность совершенно ничтожная. Эта маленькая, аккуратная старушка лѣтъ семидесяти,

одѣтая въ свѣтло-сѣрое платье и чепецъ съ бѣлыми лентами, похожая на фарфоровую куклу, всегда сидѣла въ гостиной и читала книгу. Когда я проходилъ мимо нея, она, зная причину моего раздумья, всякій разъ говорила:

— Что же вы хотите, Паша? Я и раньше говорила, что это такъ будетъ. Вы по нашей прислугѣ можете судить.

Моя вторая семья, то-есть жена Наталья Гавриловна, жила въ нижнемъ этажѣ, въ которомъ занимала всѣ комнаты. Обѣдала, спала и гостей своихъ принимала она у себя внизу, совсѣмъ не интересуясь тѣмъ, какъ обѣдаю, какъ сплю и кого принимаю я. Отношенія наши были просты и не натянуты, но холодны, безсодержательны и скучны, какъ у людей, которые давно уже далеки другъ другу, такъ что даже ихъ жизнь въ смежныхъ этажахъ не походила на близость. Любви страстной, безпокойной, то сладкой, то горькой, какъ полынь, какую прежде возбуждала во мнѣ Наталья Гавриловна, уже не было; не было уже и прежнихъ вспышекъ, громкихъ разговоровъ, попрековъ, жалобъ и тѣхъ взрывовъ ненависти, которые оканчивались обыкновенно со стороны жены поѣздкой за границу или къ роднымъ, а съ моей стороны—посылкой денегъ понемногу, но почаще, чтобы чаще жалить самолюбіе жены. (Моя гордая, самолюбивая жена и ея родня живутъ на мой счетъ, и жена при всемъ своемъ желаніи не можетъ отказаться отъ моихъ денегъ—это доставляло мнѣ удовольствіе и было единственнымъ утѣшеніемъ въ моемъ горѣ). Теперь, когда мы случайно встрѣчались внизу въ коридорѣ или на дворѣ, я кланялся, она привѣтливо улыбалась; говорили мы о погодѣ, о томъ, что, кажется, пора уже вставлять двойныя рамы и что кто-то со звонками по плотинѣ проѣхалъ, и въ это время я читалъ на ея лицѣ: «Я вѣрна вамъ и не порочу вашего честнаго имени, которое вы такъ любите, вы умны и не безпокоите меня—мы квиты».

Я увѣрялъ себя, что любовь давно уже погасла во мнѣ и что работа слишкомъ глубоко захватила меня, чтобы я могъ серьезно думать о своихъ отношеніяхъ къ женѣ. Но, увы!—я только думалъ такъ. Когда жена громко разговаривала внизу, я внимательно прислушивался къ ея голосу, хотя нельзя было разобрать ни одного слова. Когда она играла внизу на рояли, я вставалъ и слушалъ. Когда ей подавали экипажъ или верховую лошадь, я подходилъ къ окну и ждалъ.

когда она выйдетъ изъ дому, потомъ смотрѣлъ, какъ она садилась въ коляску или на лошадь и какъ выѣзжала со двора. Я чувствовалъ, что у меня въ душѣ происходитъ что-то неладное, и боялся, что выраженіе моего взгляда и лица можетъ выдать меня. Я провожалъ жену глазами и потомъ ожидалъ ея возвращенія, чтобы опять увидѣть въ окно ея лицо, плечи, шубку, шляпку; мнѣ было скучно, грустно, безконечно жаль чего-то, и хотѣлось въ ея отсутствіе пройтись по ея комнатамъ, и хотѣлось, чтобы вопросъ, который я и жена не сумѣли рѣшить, потому что не сошлись характерами, поскорѣе бы рѣшился самъ собою, естественнымъ порядкомъ, т. е. поскорѣе бы эта красивая 27-лѣтняя женщина состарилась и поскорѣе бы моя голова стала сѣдой и лысой.

Однажды во время завтрака мой приказчикъ Владиміръ Прохорычъ доложилъ мнѣ, что пестровскіе мужики стали уже сдирать соломенныя крыши, чтобы кормить скотъ, Марья Герасимовна смотрѣла на меня со страхомъ и недоумѣніемъ.

— Что же я могу сдѣлать? — сказалъ я ей.—Одинъ въ полѣ не воинъ, а я еще никогда не испытывалъ такого одиночества, какъ теперь. Я бы дорого далъ, чтобы найти во всемъ уѣздѣ хоть одного человѣка, на котораго я могъ бы положиться..

— А вы пригласите Ивана Иваныча, — сказала Марья Герасимовна.

— Въ самомъ дѣлѣ!—вспомнилъ я и обрадовался.—Это идея! C'est raison,—запѣлъ я, идя къ себѣ въ кабинетъ, чтобы написать письмо Ивану Ивановичу.—C'est raison, c'est raison...

## II.

Изъ всей массы знакомыхъ, которые когда-то, лѣтъ 25—30 назадъ, пили въ этомъ домѣ, ѣли, пріѣзжали ряжеными, влюблялись, женились, надоѣдали разговорами о своихъ великолѣпныхъ сворахъ и лошадяхъ, остался въ живыхъ одинъ только Иванъ Иванычъ Брагинъ. Когда-то онъ былъ очень дѣятеленъ, болтливъ, крикливъ и влюбчивъ, и славился своимъ крайнимъ направленіемъ и какимъ-то особеннымъ выраженіемъ лица, которое очаровывало не только женщинъ, но и мужчинъ; теперь же онъ совсѣмъ постарѣлъ, заплылъ жиромъ и доживалъ свой вѣкъ безъ направленія и выраженія. Пріѣхалъ онъ на другой день по полученіи отъ меня письма, вечеромъ, когда въ столо-

вой только-что подали самоваръ, и маленькая Марья Герасимовна рѣзала лимонъ.

— Очень радъ васъ видѣть, мой другъ,—сказалъ я весело, встрѣчая его.—А вы все полнѣете!

— Это я не полнѣю, а распухъ,—отвѣтилъ онъ.—Меня пчелы покусали.

Съ фамильярностью человѣка, который самъ смѣется надъ своею толщиною, онъ взялъ меня обѣими руками за талію и положилъ мнѣ на грудь свою мягкую большую голову съ волосами, зачесанными на лобъ по-хохлацки, и залился тонкимъ, старческимъ смѣхомъ.

— А вы все молодѣете!—выговорилъ онъ сквозь смѣхъ.—Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите, мнѣ бы дали.—Онъ, сопя и задыхаясь, обнялъ меня и поцѣловалъ въ щеку.—Мнѣ бы дали...—повторилъ онъ.—Да вамъ, родной мой, есть сорокъ?

— Ого, уже сорокъ-шесть!—засмѣялся я.

Отъ Ивана Иваныча пахло свѣчнымъ саломъ и кухоннымъ дымомъ, и это шло къ нему. Его большое, распухшее, неповоротливое тѣло было стянуто въ длинный сюртукъ, похожій на кучерской кафтанъ, съ крючками и съ петлями вмѣсто пуговицъ и съ высокою таліей, и было бы странно, если бы отъ него пахло, напримѣръ, одеколономъ. Въ двойномъ, давно не бритомъ, сизомъ, напоминавшемъ репейникъ, подбородкѣ, въ выпученныхъ глазахъ, въ одышкѣ и во всей неуклюжей, неряшливой фигурѣ, голосѣ, смѣхѣ и въ рѣчахъ трудно было узнать того стройнаго, интереснаго краснобая, къ которому когда-то уѣздные мужья ревновали своихъ женъ.

— Вы мнѣ очень нужны, мой другъ,—сказалъ я, когда мы уже сидѣли въ столовой и пили чай. — Хочется мнѣ организовать какую-нибудь помощь для голодающихъ, и я не знаю, какъ за это приняться. Такъ вотъ, быть-можетъ, вы будете любезны, посовѣтуете что-нибудь.

— Да, да, да... — сказалъ Иванъ Иванычъ, вздыхая.—Такъ, такъ, такъ...

— Я бы васъ не безпокоилъ, но, право, кромѣ васъ, милѣйшій, тутъ положительно не къ кому обратиться. Вы знаете, какіе тутъ люди.

— Такъ, такъ, такъ... Да...

Я подумалъ: предстояло совѣщаніе серьезное и дѣловое,

въ которомъ могъ принимать участіе всякій, независимо отъ мѣста и личныхъ отношеній, а потому не пригласить ли Наталью Гавриловну?

— Tres faciunt collegium!—сказалъ я весело.—Что, если бы мы пригласили Наталью Гавриловну? Какъ вы думаете? Ѳеня,—обратился я къ горничной:—попросите Наталью Гавриловну пожаловать къ намъ наверхъ, если можно, сію минуту. Скажите: очень важное дѣло.

Немного погодя, пришла Наталья Гавриловна. Я поднялся ей навстрѣчу и сказалъ:

— Простите, Natalie, что мы безпокоимъ васъ. Мы толкуемъ здѣсь объ одномъ очень важномъ дѣлѣ, и намъ пришла счастливая мысль воспользоваться вашимъ добрымъ совѣтомъ, въ которомъ вы намъ не откажете. Садитесь, прошу васъ.

Иванъ Иванычъ поцѣловалъ у Натальи Гавриловны руку, а она его въ голову, потомъ, когда всѣ сѣли за столъ, онъ, слезливо и блаженно глядя на нее, потянулся къ ней и опять поцѣловалъ руку. Одѣта она была въ черное и старательно причесана, и пахло отъ нея свѣжими духами: очевидно, собралась въ гости или ждала къ себѣ кого-нибудь. Входя въ столовую, она просто и дружески протянула мнѣ руку и улыбалась мнѣ такъ же привѣтливо, какъ и Ивану Иванычу—это понравилось мнѣ; но она, разговаривая, двигала пальцами, часто и рѣзко откидывалась на спинку стула и говорила быстро, и эта неровность въ рѣчахъ и движеніяхъ раздражала меня и напоминала мнѣ ея родину—Одессу, гдѣ общество мужчинъ и женщинъ когда-то утомляло меня своимъ дурнымъ тономъ.

— Я хочу сдѣлать что-нибудь для голодающихъ,—началъ я и, помолчавъ немного, продолжалъ: — Деньги, разумѣется, великое дѣло, но ограничиться однимъ только денежнымъ пожертвованіемъ и на этомъ успокоиться, значило бы откупиться отъ главнѣйшихъ заботъ. Помощь должна заключаться въ деньгахъ, но главнымъ образомъ въ правильной и серьезной организаціи. Давайте же подумаемъ, господа, и сдѣлаемъ что-нибудь.

Наталья Гавриловна вопросительно посмотрѣла на меня и пожала плечами, какъ бы желая сказать: «Что же я знаю?»

— Да, да, голодъ...—забормоталъ Иванъ Иванычъ.—Дѣйствительно... Да...

— Положеніе серьезное,—сказалъ я:—и помощь нужна

скорѣйшая. Полагаю, пунктомъ первымъ тѣхъ правилъ, которыя намъ предстоитъ выработать, должна быть именно скорость. По-военному: глазомѣръ, быстрота и натискъ.

— Да, быстрота... — протоворилъ Иванъ Иванычъ сонно и вяло, какъ будто засыпая.—Только ничего не подѣлаешь. Земля не уродила, такъ что ужъ тутъ... никакимъ глазомѣромъ и натискомъ ея не проймешь... Стихія... Противъ Бога и судьбы не пойдешь...

— Да, но вѣдь человѣку дана голова, чтобы бороться со стихіями.

— А? Да... Это такъ, такъ... Да.

Иванъ Иванычъ чихнулъ въ платокъ, ожилъ и, какъ будто только-что проснулся, оглядѣлъ меня и жену.

— У меня тоже ничего не уродило, — засмѣялся онъ тонкимъ голосомъ и хитро подмигнулъ, какъ будто это въ самомъ дѣлѣ было очень смѣшно.—Денегъ нѣтъ, хлѣба нѣтъ, а работниковъ полонъ дворъ, какъ у графа Шереметьева. Хочу по шеямъ разогнать, да жалко какъ будто.

Наталья Гавриловна разсмѣялась и стала разспрашивать Ивана Иваныча объ его домашнихъ дѣлахъ. Ея присутствіе доставляло мнѣ удовольствіе, какого я уже давно не испытывалъ, и я боялся смотрѣть на нее, чтобы мой взглядъ какъ-нибудь не выдалъ моего скрытаго чувства. Наши отношенія были таковы, что это чувство могло бы показаться неожиданнымъ и смѣшнымъ. Жена говорила съ Иваномъ Иванычемъ и смѣялась, нисколько не смущаясь тѣмъ, что она у меня и что я не смѣюсь.

— Итакъ, господа, что же мы сдѣлаемъ?—спросилъ я, выждавъ паузу.—Полагаю, мы прежде всего, по возможности скорѣе, объявимъ подписку. Мы, Natalie, напишемъ нашимъ столичнымъ и одесскимъ знакомымъ и привлечемъ ихъ къ пожертвованіямъ. Когда же у насъ соберется малая толика, мы займемся покупкой хлѣба и корма для скота, а вы, Иванъ Иванычъ, будете добры, займитесь распредѣленіемъ пособій. Во всемъ полагаясь на присущіе вамъ тактъ и распорядительность, мы съ своей стороны позволимъ себѣ только выразить желаніе, чтобы вы, прежде чѣмъ выдавать пособіе, подробно знакомились на мѣстѣ со всѣми обстоятельствами дѣла, а также, что очень важно, имѣли бы наблюденіе, чтобы хлѣбъ былъ выдаваемъ только истинно нуждающимся, но отнюдь не пьяницамъ, не лѣнтяямъ и не кулакамъ.

— Да, да, да...—забормоталъ Иванъ Иванычъ.—Такъ, такъ, такъ...

«Ну, съ этой слюнявою развалиной каши не сваришь»,— подумалъ я и почувствовалъ раздраженіе.

— Надоѣли мнѣ эти голодающіе, ну ихъ! И все обижаются и все обижаются,—продолжалъ Иванъ Иванычъ, обсасывая лимонную корку. — Голодные обижаются на сытыхъ. И тѣ, у кого есть хлѣбъ, обижаются на голодныхъ. Да... Съ голоду человѣкъ шалѣетъ, дурѣетъ, становится дикій. Голодъ не картошка. Голодный и грубости говоритъ, и воруетъ, и, можетъ, еще что похуже... Понимать надо.

Иванъ Иванычъ поперхнулся чаемъ, закашлялся и весь затрясся отъ скрипучаго удушливаго смѣха.

— Было дѣло подъ По... Полтавой! — выговорилъ онъ, отмахиваясь обѣими руками отъ смѣха и кашля, которые мѣшали ему говорить. — Было дѣло подъ Полтавой! Когда года черезъ три послѣ воли былъ тутъ въ двухъ уѣздахъ голодъ, пріѣзжаетъ ко мнѣ покойничекъ Ѳедоръ Ѳедорычъ и зоветъ къ себѣ. Поѣдемъ да поѣдемъ,—присталъ, какъ съ ножомъ къ горлу. Отчего жъ? Поѣдемъ, говорю. Ну, взяли и поѣхали. Дѣло было къ вечеру, снѣжокъ шелъ. Подъѣзжаемъ уже ночью къ его усадьбѣ и вдругъ изъ лѣсу— бацъ! и въ другой разъ: бацъ! Ахъ ты, шутъ тебя... Выскочилъ я изъ саней, гляжу—въ потемкахъ на меня человѣкъ бѣжитъ и по колѣна въ снѣгу грузнетъ; я его обхватилъ рукой за плечи, вотъ этакъ, и выбилъ изъ рукъ ружьишко, потомъ другой подвернулся, я его по затылку урѣзалъ, такъ что онъ крякнулъ и въ снѣгъ носомъ чкнулся, — здоровый я тогда былъ, рука тяжелая; я съ двумя управился, гляжу, а Ѳедя уже на третьемъ верхомъ сидитъ. Задержали мы трехъ молодчиковъ, ну, скрутили имъ назадъ руки, чтобъ какого зла намъ и себѣ не сдѣлали, и привели дураковъ въ кухню. И зло на нихъ беретъ, и глядѣть стыдно: мужики-то знакомые и народъ хорошій, жалко. Совсѣмъ одурѣли съ перепугу. Одинъ плачетъ и прощенія проситъ, другой звѣремъ глядитъ и ругается, третій сталъ на колѣни и Богу молится. Я и говорю Ѳедѣ: не обижайся, отпусти ты ихъ, подлецовъ! Онъ накормилъ ихъ, далъ по пуду муки и отпустилъ: ступайте къ шуту! Такъ вотъ какъ... Царство небесное, вѣчный покой! Понималъ и не обижался, а были, которые обижались, и сколько

народу перепортили! Да... Изъ-за одного клочковскаго кабака одиннадцать человѣкъ въ арестантскія роты пошло. Да... И теперь, гляди, то же самое... Въ четвергъ у меня ночевалъ слѣдователь Анисьинъ, такъ вотъ онъ разсказывалъ про какого-то помѣщика... Да... Ночью у помѣщика разобрали стѣну въ амбарѣ и вытащили двадцать кулей ржи. Когда утромъ помѣщикъ узналъ, что у него такой криминалъ случился, то сейчасъ бухъ губернатору телеграмму, потомъ другую бухъ прокурору, третью исправнику, четвертую слѣдователю... Извѣстно, кляузниковъ боятся... Начальство всполошилось, и началась катавасія. Двѣ деревни обыскали.

— Позвольте, Иванъ Иванычъ,—сказалъ я.—Двадцать кулей ржи украли у меня, и это я телеграфировалъ губернатору. Я и въ Петербургъ телеграфировалъ. Но это вовсе не изъ любви къ кляузничеству, какъ вы изволили выразиться, и не потому, что я обижался. На всякое дѣло я прежде всего смотрю съ принципіальной стороны. Крадетъ ли сытый или голодный—для закона безразлично.

— Да, да...—забормоталъ Иванъ Иванычъ, смутившись.—Конечно.... Такъ, да...

Наталья Гавриловна покраснѣла.

— Есть люди...—сказала она и остановилась; она сдѣлала надъ собой усиліе, чтобы казаться равнодушной, но не выдержала и посмотрѣла мнѣ въ глаза съ ненавистью, которая мнѣ была такъ знакома. — Есть люди, — сказала она:—для которыхъ голодъ и человѣческое горе существуютъ только для того, чтобы можно было срывать на нихъ свой дурной, ничтожный характеръ.

Я смутился и пожалъ плечами.

— Я хочу сказать вообще,—продолжала она:—есть люди совершенно равнодушные, лишенные всякаго чувства состраданія, но которые не проходятъ мимо человѣческаго горя и вмѣшиваются изъ страха, что безъ нихъ могутъ обойтись. Для ихъ тщеславія нѣтъ ничего святого.

— Есть люди,—сказалъ я мягко:—которые обладаютъ ангельскимъ характеромъ, но выражаютъ свои великолѣпныя мысли въ такой формѣ, что бываетъ трудно отличить ангела отъ особы, торгующей въ Одессѣ на базарѣ.

Сознаюсь, это было сказано неудачно.

Жена поглядѣла на меня такъ, какъ будто ей стоило

большихъ усилій, чтобы молчать. Ея внезапная вспышка и затѣмъ неумѣстное краснорѣчіе по поводу моего желанія помочь голодающимъ были по меньшей мѣрѣ неумѣстны; когда я приглашалъ ее наверхъ, я ожидалъ совсѣмъ иного отношенія къ себѣ и къ своимъ намѣреніямъ. Не могу сказать опредѣленно, чего я ожидалъ, но ожиданіе пріятно волновало меня. Теперь же я видѣлъ, что продолжать говорить о голодающихъ было бы тяжело и, пожалуй, не умно.

— Да... — забормоталъ Иванъ Иванычъ некстати. — У купца Бурова тысячъ четыреста есть, а, можетъ, и больше. Я ему и говорю: «Отвали-ка, тезка, голодающимъ тысячъ сто или двѣсти. Все равно помирать будешь, на тотъ свѣтъ съ собой не возьмешь». Обидѣлся. А помирать-то вѣдь надо. Смерть не картошка.

Опять наступило молчаніе.

— Итакъ, значитъ, остается одно: мириться съ одиночествомъ, — вздохнулъ я. — Одинъ въ полѣ не воинъ. Ну, что жъ! Попробую и одинъ воевать. Авось, война съ голодомъ будетъ болѣе успѣшна, чѣмъ война съ равнодушіемъ.

— Меня внизу ждутъ,—сказала Наталья Гавриловна.— Она встала изъ-за стола и обратилась къ Ивану Иванычу:— Такъ вы придете ко мнѣ внизъ на минуточку? Я не прощаюсь съ вами.

И ушла.

Иванъ Иванычъ пилъ уже седьмой стаканъ, задыхаясь, чмокая и обсасывая то усы, то лимонную корку. Онъ сонно и вяло бормоталъ о чемъ-то, а я не слушалъ и ждалъ, когда онъ уйдетъ. Наконецъ, съ такимъ выраженіемъ, какъ будто онъ пріѣхалъ ко мнѣ только за тѣмъ, чтобы напиться чаю, онъ поднялся и сталъ прощаться. Провожая его, я сказалъ:

— Итакъ, вы не дали мнѣ никакого совѣта.

— А? Я человѣкъ сырой, отупѣлъ, — отвѣтилъ онъ. — Какіе мои совѣты? И вы напрасно безпокоитесь... Не знаю, право, отчего вы безпокоитесь? Не безпокойтесь, голубчикъ! Ей-Богу ничего нѣтъ...—зашепталъ онъ ласково и искренно, успокаивая меня, какъ ребенка.—Ей-Богу ничего!..

— Какъ же ничего? Мужики сдираютъ съ избъ крыши и уже, говорятъ, гдѣ-то тифъ.

— Ну, такъ что же? Въ будущемъ году уродитъ, будутъ новыя крыши, а если помремъ отъ тифа, то послѣ насъ

другіе люди жить будутъ. И все равно помирать надо, не теперь, такъ послѣ. Не безпокойтесь, красавецъ!

— Я не могу не безпокоиться,—сказалъ я раздраженно.

Мы стояли въ слабо освѣщенной передней. Иванъ Иванычъ вдругъ взялъ меня за локоть и, собираясь сказать что-то, повидимому, очень важное, съ полминуты молча смотрѣлъ на меня.

— Павелъ Андреичъ!—сказалъ онъ тихо, и на его жирномъ застывшемъ лицѣ и въ темныхъ глазахъ вдругъ вспыхнуло то особенное выраженіе, которымъ онъ когда-то славился, въ самомъ дѣлѣ очаровательное. — Павелъ Андреичъ, скажу я вамъ по-дружески: перемѣните вашъ характеръ! Тяжело съ вами! Голубчикъ, тяжело!

Онъ пристально посмотрѣлъ мнѣ въ лицо; прекрасное выраженіе потухло, взглядъ потускнѣлъ, и онъ забормоталъ вяло и сопя.

— Да, да... Извините старика... Чепухенція... Да...

Тяжело спускаясь внизъ по лѣстницѣ, растопыривъ руки для равновѣсія и показывая мнѣ свою жирную громадную спину и красный затылокъ, онъ давалъ непріятное впечатлѣніе какого-то краба.

— Ѣхали бы вы куда-нибудь, ваше превосходительство,—бормоталъ онъ. — Въ Петербургъ или за границу... Зачѣмъ вамъ тутъ жить и золотое время терять? Человѣкъ вы молодой, здоровый, богатый... Да... Эхъ, будь я помоложе, улепетнулъ бы, какъ заяцъ, и только бы въ ушахъ засвистѣло!

## III.

Вспышка жены напомнила мнѣ нашу супружескую жизнь. Прежде, обыкновенно, послѣ всякой вспышки насъ непреодолимо тянуло другъ къ другу, мы сходились и пускали въ ходъ весь динамитъ, какой съ теченіемъ времени скоплялся въ нашихъ душахъ. И теперь послѣ ухода Ивана Иваныча, меня сильно потянуло къ женѣ. Мнѣ хотѣлось сойти внизъ и сказать ей, что ея поведеніе за чаемъ оскорбило меня, что она жестока, мелочна, и со своимъ мѣщанскимъ умомъ никогда не возвышалась до пониманія того, что *я* говорю и что *я* дѣлаю. Я долго ходилъ по комнатамъ, придумывая, что̀ скажу ей, и угадывая то, что она мнѣ отвѣтитъ.

То безпокойство, которое томило меня въ послѣднее время,

въ этотъ вечеръ, когда ушелъ Иванъ Иванычъ, я чувствовалъ въ какой-то особенной раздражающей формѣ. Я не могъ ни сидѣть, ни стоять, а ходилъ и ходилъ, причемъ выбиралъ только освѣщенныя комнаты и держался ближе той, въ которой сидѣла Марья Герасимовна. Было чувство, очень похожее на то, какое я испытывалъ однажды на Нѣмецкомъ морѣ во время бури, когда всѣ боялись, что пароходъ, не имѣвшій груза и балласта, опрокинется. И въ этотъ вечеръ я понялъ, что мое безпокойство было не разочарованіе, какъ я думалъ раньше, а что-то другое, но что именно, я не понималъ, и это меня еще больше раздражало.

«Пойду къ ней,—рѣшилъ я.—А предлогъ можно выдумать. Скажу, что мнѣ понадобился Иванъ Иванычъ, вотъ и все».

Я спустился внизъ и по коврамъ, не торопясь, прошелъ переднюю и залу. Иванъ Иванычъ сидѣлъ въ гостиной на диванѣ, опять цилъ чай и бормоталъ. Жена стояла противъ него, держась за спинку кресла. На лицѣ у нея было то тихое, сладкое и послушное выраженіе, съ какимъ слушаютъ юродивыхъ и блаженненькихъ, когда въ ничтожныхъ словахъ и въ бормотаньѣ предполагаютъ особое, скрытое значеніе. Въ выраженіи и позѣ жены, показалось мнѣ, было что-то психопатическое или монашеское, и ея комнаты со старинною мебелью, со спящими птицами въ клѣткахъ и съ запахомъ герани, невысокія, полутемныя, очень теплыя, напоминали мнѣ покои игуменьи или какой-нибудь богомольной старухи-генеральши.

Я вошелъ въ гостиную. Жена не выразила ни удивленія, ни смущенія и посмотрѣла на меня сурово и спокойно, какъ будто знала, что я приду.

— Виноватъ, — сказалъ я мягко. — Очень радъ, Иванъ Иванычъ, что вы еще не уѣхали. Забылъ я у васъ наверху спросить: не знаете ли, какъ имя и отчество предсѣдателя нашей земской управы?

— Андрей Станиславовичъ. Да...

— Mercі, — сказалъ я, досталъ изъ кармана книжку и записалъ.

Наступило молчаніе, въ продолженіе котораго жена и Иванъ Иванычъ, вѣроятно, ждали, когда я уйду; жена не вѣрила, что мнѣ нуженъ предсѣдатель земской управы—это я видѣлъ по ея глазамъ.

— Такъ я поѣду, красавица,—забормоталъ Иванъ Ива

нычъ, когда я прошелся по гостиной разъ-другой и потомъ сѣлъ около камина.

— Нѣтъ, — быстро сказала Наталья Гавриловна, дотронувшись до его руки.—Еще четверть часа... Прошу васъ.

Очевидно, ей не хотѣлось оставаться со мной съ глазу на глазъ, безъ свидѣтелей.

«Что жъ, я и подожду четверть часа»,—подумалъ я.

— А, идетъ снѣгъ! — сказалъ я, вставая и глядя въ окно. — Превосходный снѣгъ! Иванъ Иванычъ, — продолжалъ я, прохаживаясь по гостиной: — я очень жалѣю, что я не охотникъ. Воображаю, какое удовольствіе по такому снѣгу гоняться за зайцами и волками!

Жена, стоя на одномъ мѣстѣ и не поворачивая головы, а только искоса поглядывая, слѣдила за моими движеніями; у нея было такое выраженіе, какъ будто я пряталъ въ карманѣ острый ножъ и револьверъ.

— Иванъ Иванычъ, возьмите меня какъ-нибудь на охоту, — продолжалъ я мягко.—Я буду вамъ очень, очень благодаренъ.

Въ это время въ гостиную вошелъ гость. Это былъ незнакомый мнѣ господинъ, лѣтъ сорока, высокій, плотный, плѣшивый, съ большою русою бородой и съ маленькими глазами. По помятому, мѣшковатому платью и по манерамъ я принялъ его за дьячка или учителя, но жена отрекомендовала мнѣ его докторомъ Соболемъ.

— Очень, очень радъ познакомиться!—сказалъ докторъ громко, теноромъ, крѣпко пожимая мнѣ руку и наивно улыбаясь.—Очень радъ.

Онъ сѣлъ за столъ, взялъ стаканъ чаю и сказалъ громко:

— А нѣтъ ли у васъ случаемъ рому или коньячку? Будьте милостивы, Оля,—обратился онъ къ горничной:—поищите въ шкапчикѣ, а то я озябъ.

Я опять сѣлъ у камина, глядѣлъ, слушалъ и изрѣдка вставлялъ въ общій разговоръ какое-нибудь слово. Жена привѣтливо улыбалась гостямъ и зорко слѣдила за мною, какъ за звѣремъ; она тяготилась моимъ присутствіемъ, а это возбуждало во мнѣ ревность, досаду и упрямое желаніе причинить ей боль. Жена, думалъ я, эти уютныя комнаты, мѣстечко около камина—мои, давно мои, но почему-то какой-нибудь выжившій изъ ума Иванъ Иванычъ или Соболь имѣютъ на нихъ больше правъ, чѣмъ я. Теперь я

вижу жену не въ окно, а вблизи себя, въ обычной домашней обстановкѣ, въ той самой, которой недостаетъ мнѣ теперь въ мои пожилые годы, и несмотря на ея ненависть ко мнѣ, я скучаю по ней, какъ когда-то въ дѣтствѣ скучалъ по матери и нянѣ, и чувствую, что теперь подъ старость, я люблю ее чище и выше, чѣмъ любилъ прежде,—и поэтому мнѣ хочется подойти къ ней, покрѣпче наступить ей каблукомъ на носокъ, причинить боль и при этомъ улыбнуться.

— Мосье Енотъ, — обратился я къ доктору: — сколько у насъ въ уѣздѣ больницъ?

— Соболь...—поправила жена.

— Двѣ-съ,—отвѣтилъ Соболь.

— А сколько покойниковъ приходится ежегодно на долю каждой больницы?

— Павелъ Андреичъ, мнѣ нужно поговорить съ вами,— сказала мнѣ жена.

Она извинилась предъ гостями и вышла въ сосѣднюю комнату. Я всталъ и пошелъ за ней.

— Вы сію же минуту уйдете къ себѣ наверхъ, — сказала она.

— Вы дурно воспитаны,—сказалъ я.

— Вы сію же минуту уйдете къ себѣ наверхъ, — рѣзко повторила она и съ ненавистью посмотрѣла мнѣ въ лицо.

Она стояла такъ близко, что если бы я немножко нагнулся, то моя борода коснулась бы ея лица.

— Но что такое?—сказалъ я.—Въ чемъ я такъ вдругъ провинился?

Подбородокъ ея задрожалъ, она торопясь вытерла глаза, мелькомъ взглянула на себя въ зеркало и прошептала:

— Начинается опять старая исторія. Вы, конечно, не уйдете. Ну, какъ хотите. Я сама уйду, а вы оставайтесь.

Она съ рѣшительнымъ лицомъ, а я пожимая плечами и стараясь насмѣшливо улыбаться, вернулись въ гостиную. Здѣсь уже были новые гости: какая-то пожилая дама и молодой человѣкъ въ очкахъ. Не здороваясь съ новыми и не прощаясь со старыми, я пошелъ къ себѣ.

Послѣ того, что произошло у меня за чаемъ и потомъ внизу, для меня стало ясно, что наше «семейное счастье», о которомъ мы стали уже забывать въ эти послѣдніе два года, въ силу какихъ-то ничтожныхъ, безсмысленныхъ причинъ возобновлялось опять, и что ни я, ни жена не могли

уже остановиться, и что завтра или послѣзавтра вслѣдъ за взрывомъ ненависти, какъ я могъ судить по опыту прошлыхъ лѣтъ, должно будетъ произойти что-нибудь отвратительное, что перевернетъ весь порядокъ нашей жизни. Значитъ, въ эти два года, думалъ я, начиная ходить по своимъ комнатамъ, мы не стали умнѣе, холоднѣе и покойнѣе. Значитъ, опять пойдутъ слезы, крики, проклятія, чемоданы, заграница, потомъ постоянный болѣзненный страхъ, что она тамъ, за границей, съ какимъ-нибудь франтомъ, италіанцемъ или русскимъ, надругается надо мной, опять отказъ въ паспортѣ, письма, круглое одиночество, скука по ней, а черезъ пять лѣтъ старость, сѣдые волосы... Я ходилъ и воображалъ то, чего не можетъ быть, какъ она, красивая, пополнѣвшая, обнимается съ мужчиною, котораго я не знаю... Уже увѣренный, что это непремѣнно произойдетъ, отчего,—спрашивалъ я себя въ отчаяніи,—отчего въ одну изъ прошлыхъ давнишнихъ ссоръ я не далъ ей развода, или отчего она въ ту пору не ушла отъ меня совсѣмъ, навсегда? Теперь бы не было этой тоски по ней, ненависти, тревоги, и я доживалъ бы свой вѣкъ покойно, работая, ни о чемъ не думая..,

Во дворъ въѣхала карета съ двумя фонарями, потомъ широкія сани тройкой. У жены, очевидно, былъ вечеръ.

До полуночи внизу было тихо, и я ничего не слышалъ, но въ полночь задвигали стульями, застучали посудой. Значитъ ужинъ. Потомъ опять задвигали стульями, и мнѣ изъ-подъ пола послышался шумъ; кричали, кажется, ура. Марья Герасимовна уже спала, и во всемъ верхнемъ этажѣ былъ только я одинъ; въ гостиной глядѣли на меня со стѣнъ портреты моихъ предковъ, людей ничтожныхъ и жестокихъ, а въ кабинетѣ непріятно подмигивало отраженіе моей лампы въ окнѣ. И съ завистливымъ, ревнивымъ чувствомъ къ тому, что происходило внизу, я прислушивался и думалъ: «Хозяинъ тутъ *я*; если захочу, то въ одну минуту могу разогнать всю эту почтенную компанію». Но я зналъ, что это вздоръ, никого разогнать нельзя и слово «хозяинъ» ничего не значитъ. Можно сколько угодно считать себя хозяиномъ, женатымъ, богатымъ, камеръ-юнкеромъ, и въ то же время не знать, что это значитъ.

Послѣ ужина кто-то внизу запѣлъ теноромъ.

«Вѣдь ничего же не случилось особеннаго!—убѣждалъ я

себя.—Что же я такъ волнуюсь? Завтра не пойду къ ней внизъ, вотъ и все—и конецъ нашей ссорѣ».

Въ четверть второго я пошелъ спать.

— Внизу уже разъѣхались гости? — спросилъ я у Алексѣя, который раздѣвалъ меня.

— Точно такъ, разъѣхались.

— А зачѣмъ кричали ура?

— Алексѣй Дмитричъ Махоновъ пожертвовали на голодающихъ тысячу пудовъ муки и тысячу рублей денегъ. И старая барыня, не знаю какъ ихъ звать, обѣщали устроить у себя въ имѣніи столовую на полтораста человѣкъ. Слава Богу-съ... Отъ Натальи Гавриловны вышло такое рѣшеніе: всѣмъ господамъ собираться каждую пятницу.

— Собираться здѣсь внизу?

— Точно такъ. Передъ ужиномъ бумагу читали: съ августа по сей день Наталья Гавриловна собрали тысячъ восемь деньгами, кромѣ хлѣба. Слава Богу-съ... Я такъ понимаю, ваше превосходительство, ежели барыня похлопочутъ за спасеніе души, то много соберутъ. Народъ тутъ есть богатый.

Отпустивъ Алексѣя, я потушилъ огонь и укрылся съ головой.

«Въ самомъ дѣлѣ, что я такъ безпокоюсь?—думалъ я.—Какая сила тянетъ меня къ голодающимъ, какъ бабочку на огонь? Вѣдь я же ихъ не знаю, не понимаю, никогда не видѣлъ и не люблю. Откуда же это безпокойство?»

Я вдругъ перекрестился подъ одѣяломъ.

«Но какова?—говорилъ я себѣ, думая о женѣ. — Тайно отъ меня въ этомъ домѣ цѣлый комитетъ. Почему тайно? Почему заговоръ? Что я имъ сдѣлалъ?»

Иванъ Иванычъ правъ:—мнѣ нужно уѣхать!

На другой день я проснулся съ твердымъ рѣшеніемъ—поскорѣе уѣхать. Подробности вчерашняго дня—разговоръ за чаемъ, жена, Соболь, ужинъ, мои страхи—томили меня, и я радъ былъ, что скоро избавлюсь отъ обстановки, которая напоминала мнѣ обо всемъ этомъ. Когда я пилъ кофе, управляющій Владиміръ Прохорычъ длинно докладывалъ мнѣ о разныхъ дѣлахъ. Самое пріятное онъ приберегъ къ концу.

— Воры, что рожь у насъ украли, нашлись,—доложилъ онъ, улыбаясь.—Вчера слѣдователь арестовалъ въ Пестровѣ трехъ мужиковъ.

— Убирайтесь вонъ!—крикнулъ я ему, страшно разсер-

дился, и ни съ того ни съ сего схватилъ корзину съ бисквитами и бросилъ ее на полъ.

## IV.

Послѣ завтрака я потиралъ руки и думалъ: надо пойти къ женѣ и объявить ей о своемъ отъѣздѣ. Для чего? Кому это нужно? Никому не нужно, отвѣчалъ я себѣ, но почему же и не объявить, тѣмъ болѣе, что это не доставитъ ей ничего, кромѣ удовольствія? Къ тому же уѣхать послѣ вчерашней ссоры, не сказавши ей ни одного слова, было бы не совсѣмъ тактично: она можетъ подумать, что я испугался ея, и, пожалуй, мысль, что она выжила меня изъ моего дома, будетъ тяготить ее. Не мѣшаетъ также объявить ей, что я жертвую пять тысячъ, и дать ей нѣсколько совѣтовъ насчетъ организаціи и предостеречь, что ея неопытность въ такомъ сложномъ, отвѣтственномъ дѣлѣ можетъ повести къ самымъ плачевнымъ результатамъ. Однимъ словомъ, меня тянуло къ женѣ и, когда я придумывалъ разные предлоги, чтобы пойти къ ней, во мнѣ уже сидѣла крѣпкая увѣренность, что я это непремѣнно сдѣлаю.

Когда я пошелъ къ ней, было свѣтло и еще не зажигали лампъ. Она сидѣла въ своей рабочей комнатѣ, проходной между гостиной и спальней, и, низко нагнувшись къ столу, что-то быстро писала. Увидѣвъ меня, она вздрогнула, вышла изъ-за стола и остановилась въ такой позѣ, какъ будто загораживала отъ меня свои бумаги.

— Виноватъ, я на одну минуту,—сказалъ я и, не знаю отчего, смутился. — Я узналъ случайно, что вы, Natalie, организуете помощь голодающимъ.

— Да, организую. Но это мое дѣло,—отвѣтила она.

— Да, это ваше дѣло,—сказалъ я мягко.—Я радъ ему, потому что оно вполнѣ отвѣчаетъ моимъ намѣреніямъ. Я прошу позволенія участвовать въ немъ.

— Простите, я не могу вамъ этого позволить,—отвѣтила она и посмотрѣла въ сторону.

— Почему же, Natalie?—спросилъ я тихо.—Почему же? Я тоже сытъ и тоже хочу помочь голодающимъ.

— Я не знаю, при чемъ вы тутъ?—спросила она, презрительно усмѣхнувшись и пожавъ однимъ плечомъ.—Васъ никто не проситъ.

— И васъ никто не проситъ, однако же, вы въ *моемъ* домѣ устроили цѣлый комитетъ!—сказалъ я.

— Меня просятъ, а васъ, повѣрьте, никто и никогда не попроситъ. Идите, помогайте тамъ, гдѣ васъ не знаютъ.

— Бога ради, не говорите со мною такимъ тономъ.

Я старался быть кроткимъ и всѣми силами души умолялъ себя не терять хладнокровія. Въ первыя минуты мнѣ было хорошо около жены. На меня вѣяло чѣмъ-то мягкимъ, домовитымъ, молодымъ, женственнымъ, въ высшей степени изящнымъ, именно тѣмъ, чего такъ не хватало въ моемъ этажѣ и вообще въ моей жизни. На женѣ былъ капотъ изъ розовой фланели — это сильно молодило ее и придавало мягкость ея быстрымъ, иногда рѣзкимъ движеніямъ. Ея хорошіе темные волосы, одинъ видъ которыхъ когда-то возбуждалъ во мнѣ страсть, теперь оттого, что она долго сидѣла нагнувшись, выбились изъ прически и имѣли безпорядочный видъ, но отъ этого казались мнѣ еще пышнѣе и роскошнѣе. Впрочемъ, все это банально до пошлости. Передо мною стояла обыкновенная женщина, быть-можетъ, некрасивая и неизящная, но это была моя жена, съ которой я когда-то жилъ и съ которою жилъ бы до сего дня, если бы не ея несчастный характеръ; это былъ единственный на всемъ земномъ шарѣ человѣкъ, котораго я любилъ. Теперь передъ отъѣздомъ, когда я зналъ, что не буду видѣть ея даже въ окно, она, даже суровая и холодная, отвѣчающая мнѣ съ гордою, презрительною усмѣшкой, казалась обольстительной, я гордился ею и сознавался себѣ, что уѣхать отъ нея мнѣ страшно и невозможно.

— Павелъ Андреичъ, — сказала она послѣ нѣкотораго молчанія: — два года мы не мѣшали другъ другу и жили покойно. Зачѣмъ это вдругъ вамъ такъ понадобилось возвращаться къ прошлому? Вчера вы пришли, чтобы оскорбить меня и унизить, — продолжала она, возвышая голосъ, и лицо ея покраснѣло, и глаза вспыхнули ненавистью: — но воздержитесь, не дѣлайте этого, Павелъ Андреичъ! Завтра я подамъ прошеніе, мнѣ дадутъ паспортъ, и я уйду, уйду, уйду! Уйду въ монастырь, во вдовій домъ, въ богадѣльню...

— Въ сумасшедшій домъ! — крикнулъ я, не выдержавъ.

— Даже въ сумасшедшій домъ! Лучше! лучше! — продолжала она кричать, блестя глазами. — Сегодня, когда я была въ Пестровѣ, я завидовала голоднымъ и больнымъ бабамъ, потому что онѣ не живутъ съ такимъ человѣкомъ, какъ вы. Онѣ честны и свободны, а я, по вашей милости, тунея-

дица, погибаю въ праздности, ѣмъ вашъ хлѣбъ, трачу ваши деньги и плачу вамъ своею свободой и какою-то вѣрностью, которая никому не нужна. За то, что вы не даете мнѣ паспорта, я должна стеречь ваше честное имя, котораго у васъ нѣтъ.

Надо было молчать. Стиснувъ зубы, я быстро вышелъ въ гостиную, но тотчасъ же вернулся и сказалъ:

— Убѣдительно прошу, чтобы этихъ сборищъ, заговоровъ и конспиративныхъ квартиръ у меня въ домѣ больше не было! Въ свой домъ я пускаю только тѣхъ, съ кѣмъ я знакомъ, а эта вся ваша сволочь, если ей угодно заниматься филантропіей, пусть ищетъ себѣ другое мѣсто. Я не позволю, чтобы въ моемъ домѣ по ночамъ кричали ура отъ радости, что могутъ эксплуатировать такую психопатку, какъ вы!

Жена, ломая руки и съ протяжнымъ стономъ, какъ будто у нея болѣли зубы, блѣдная, быстро прошлась изъ угла въ уголъ. Я махнулъ рукой и вышелъ въ гостиную. Меня душило бѣшенство, и въ то же время я дрожалъ отъ страха, что не выдержу и сдѣлаю или скажу что-нибудь такое, въ чемъ буду раскаиваться всю мою жизнь. И я крѣпко сжималъ себѣ руки, думая, что этимъ сдерживаю себя.

Выпивъ воды, немного успокоившись, я вернулся къ женѣ. Она стояла въ прежней позѣ, какъ бы загораживая отъ меня столъ съ бумагами. По ея холодному, блѣдному лицу медленно текли слезы. Я помолчалъ и сказалъ ей съ горечью, но уже безъ гнѣва:

— Какъ вы меня не понимаете! Какъ вы ко мнѣ несправедливы! Клянусь честью, я шелъ къ вамъ съ чистыми побужденіями, съ единственнымъ желаніемъ — сдѣлать добро!

— Павелъ Андреичъ, — сказала она, сложивъ на груди руки, и ея лицо приняло страдальческое, умоляющее выраженіе, съ какимъ испуганныя, плачущія дѣти просятъ, чтобы ихъ не наказывали. — Я отлично знаю, вы мнѣ откажете, но я все-таки прошу. Принудьте себя, сдѣлайте хоть разъ въ жизни доброе дѣло. Я прошу васъ, уѣзжайте отсюда! Это единственное, что вы можете сдѣлать для голодающихъ. Уѣзжайте, и я прощу вамъ все, все!

— Напрасно вы меня оскорбляете, Natalie, — вздохнулъ я, чувствуя вдругъ особенный приливъ смиренія. — Я уже рѣшилъ уѣхать, но я не уѣду, прежде чѣмъ не сдѣлаю чего-нибудь для голодающихъ. Это — мой долгъ.

— Ахъ! — сказала она тихо и нетерпѣливо поморщи-

лась.—Вы можете сдѣлать отличную желѣзную дорогу или мостъ, но для голодающихъ вы ничего не можете сдѣлать. Поймите вы!

— Да? Вы вчера попрекнули меня въ равнодушіи и въ томъ, что я лишенъ чувства состраданія. Какъ вы меня хорошо знаете!—усмѣхнулся я.—Вы вѣруете въ Бога, такъ вотъ вамъ Богъ свидѣтель, что я безпокоюсь день и ночь....

— Я вижу, что вы безпокоитесь, но голодъ и состраданіе тутъ ни при чемъ. Вы безпокоитесь оттого, что голодающіе обходятся безъ васъ, и что земство и вообще всѣ помогающіе не нуждаются въ вашемъ руководительствѣ.

Я помолчалъ, чтобы подавить въ себѣ раздраженіе и сказалъ:

— Я пришелъ, чтобы поговорить съ вами о дѣлѣ. Садитесь. Садитесь, прошу васъ.

Она не садилась.

— Садитесь, прошу васъ!—повторилъ я и указалъ ей на стулъ.

Она сѣла. Я тоже сѣлъ, подумалъ и сказалъ:

— Прошу васъ отнестись серьезно къ тому, что я говорю. Слушайте... Вы, побуждаемая любовью къ ближнему, взяли на себя организацію помощи голодающимъ. Противъ этого, конечно, я ничего не имѣю, вполнѣ вамъ сочувствую и готовъ оказывать вамъ всякое содѣйствіе, каковы бы отношенія наши ни были. Но при всемъ уваженіи моемъ къ вашему уму и сердцу... и сердцу,—повторилъ я:—я не могу допустить, чтобы такое трудное, сложное и отвѣтственное дѣло, какъ организація помощи, находилась въ однѣхъ только вашихъ рукахъ. Вы женщина, вы неопытны, незнакомы съ жизнью, слишкомъ довѣрчивы и экспансивны. Вы окружили себя помощниками, которыхъ совершенно не знаете. Не преувеличу, если скажу, что при названныхъ условіяхъ ваша дѣятельность неминуемо повлечетъ за собою два печальныхъ послѣдствія. Во-первыхъ, нашъ уѣздъ останется совершенно безъ помощи, и во-вторыхъ, за свои ошибки и за ошибки вашихъ помощниковъ вамъ придется расплачиваться не только собственными карманами, но и своею репутаціей. Растраты и упущенія, допустимъ, я покрою, но кто вамъ возвратитъ ваше честное имя? Когда вслѣдствіе плохого контроля и упущеній разнесется слухъ, что вы, а, стало-быть, и я, нажили на этомъ дѣлѣ двѣсти тысячъ, то развѣ ваши помощники придутъ къ вамъ на помощь?

Она молчала.

— Не изъ самолюбія, какъ вы говорите, — продолжалъ я:—а просто изъ расчета, чтобы голодающіе не остались безъ помощи, а вы безъ честнаго имени, я считаю своимъ нравственнымъ долгомъ вмѣшаться въ ваши дѣла.

— Говорите покороче,—сказала жена.

— Вы будете такъ добры,—продолжалъ я:—укажете мнѣ, сколько у васъ поступило до сегодня на приходъ и сколько вы уже потратили. Затѣмъ о каждомъ новомъ поступленіи деньгами или натурой, о каждомъ новомъ расходѣ вы будете ежедневно извѣщать меня. Вы, Natalie, дадите мнѣ также списокъ вашихъ помощниковъ. Быть-можетъ, они вполнѣ порядочные люди, я не сомнѣваюсь въ этомъ, но все-таки необходимо навести справки.

Она молчала. Я всталъ и прошелся по комнатѣ.

— Давайте же займемся,—сказалъ я и сѣлъ за ея столъ.

— Вы это серьезно?—спросила она, глядя на меня съ недоумѣніемъ и испугомъ.

— Natalie, будьте разсудительны!—сказалъ я умоляюще, видя по ея лицу, что она хочетъ протестовать. — Прошу васъ, довѣрьтесь вполнѣ моему опыту и порядочности!

— Я все-таки не понимаю, что вамъ нужно!

— Покажите мнѣ, сколько вы уже собрали и сколько истратили.

— У меня нѣтъ тайнъ. Всякій можетъ видѣть. Смотрите.

На столѣ лежало штукъ пять ученическихъ тетрадокъ, нѣсколько листовъ исписанной почтовой бумаги, карта уѣзда и множество клочковъ бумаги всякаго формата. Наступали сумерки. Я зажегъ свѣчку.

— Извините, я пока еще ничего не вижу,—сказалъ я, перелистывая тетради.—Гдѣ у васъ вѣдомость о поступленіи пожертвованій деньгами?

— Это видно изъ подписныхъ листовъ.

— Да-съ, но вѣдь и вѣдомость же нужна! — сказалъ я, улыбаясь ея наивности.—Гдѣ у васъ письма, при которыхъ вы получали пожертвованія деньгами и натурой? Pardon, маленькое практическое указаніе, Natalie: эти письма необходимо беречь. Вы каждое письмо нумеруйте и записывайте его въ особую вѣдомость. Такъ же вы поступайте и со своими письмами. Впрочемъ, все это я буду дѣлать самъ.

— Дѣлайте, дѣлайте...—сказала она.

Я былъ очень доволенъ собой. Увлекшись живымъ, интереснымъ дѣломъ, маленькимъ столомъ, наивными тетрадками и прелестью, какую обѣщала мнѣ эта работа въ обществѣ жены, я боялся, что жена вдругъ помѣшаетъ мнѣ и все разстроитъ какою-нибудь неожиданною выходкой, и потому я торопился и дѣлалъ надъ собою усилія, чтобы не придавать никакого значенія тому, что у нея трясутся губы и что она пугливо и растерянно, какъ пойманный звѣрекъ, смотритъ по сторонамъ.

— Вотъ что, Natalie, — сказалъ я, не глядя на нее. — Позвольте мнѣ взять всѣ эти бумаги и тетрадки къ себѣ наверхъ. Я тамъ посмотрю, ознакомлюсь и завтра скажу вамъ свое мнѣніе. Нѣтъ ли у васъ еще какихъ бумагъ? — спросилъ я, складывая тетради и листки въ пачки.

— Берите, все берите! — сказала жена, помогая мнѣ складывать бумаги въ пачки, и крупныя слезы текли у нея по лицу. — Берите все! Это все, что оставалось у меня въ жизни... Отнимайте послѣднее.

— Ахъ, Natalie, Natalie! — вздохнулъ я укоризненно.

Она какъ-то безпорядочно, толкая меня въ грудь локтемъ и касаясь моего лица волосами, выдвинула изъ стола ящикъ и стала оттуда выбрасывать мнѣ на столъ бумаги; при этомъ мелкія деньги сыпались мнѣ на колѣни и на полъ.

— Все берите... — говорила она осипшимъ голосомъ.

Выбросивъ бумаги, она отошла отъ меня и, ухватившись обѣими руками за голову, повалилась на кушетку. Я подобралъ деньги, положилъ ихъ обратно въ ящикъ и заперъ, чтобы не вводить въ грѣхъ прислугу; потомъ взялъ въ охапку всѣ бумаги и пошелъ къ себѣ. Проходя мимо жены, я остановился и, глядя на ея спину и вздрагивающія плечи, сказалъ:

— Какой вы еще ребенокъ, Natalie! Ай-ай! Слушайте, Natalie: когда вы поймете, какъ серьезно и отвѣтственно это дѣло, то вы первая же будете благодарить меня. Клянусь вамъ.

Придя къ себѣ, я не спѣша занялся бумагами. Тетрадки не прошнурованы, на страницахъ нумеровъ нѣтъ. Записки сдѣланы различными почерками, очевидно, въ тетрадкахъ хозяйничаетъ всякій, кто хочетъ. Въ спискахъ пожертвованій натурою не проставлена цѣна продуктовъ. Но вѣдь, позвольте, та рожь, которая теперь стоитъ 1 р. 15 к., черезъ два мѣсяца можетъ подняться въ цѣнѣ до 2 р. 15 к.

Какъ же можно такъ? Затѣмъ «выдано А. М. Соболю 32 р.». Когда выдано? Для чего выдано? Гдѣ оправдательный документъ? Ничего нѣтъ и ничего не поймешь. Въ случаѣ судебнаго разбирательства, эти бумаги будутъ только затемнять дѣло.

— Какъ она наивна!—изумлялся я.—Какой она еще ребенокъ!

Мнѣ было и досадно, и смѣшно.

## V.

Жена собрала уже восемь тысячъ, прибавить къ нимъ мои пять—итого будетъ тринадцать. Для начала это очень хорошо. Дѣло, которое меня такъ интересовало и безпокоило, находится, наконецъ, въ моихъ рукахъ; я дѣлаю то, чего не хотѣли и не могли сдѣлать другіе, я исполняю свой долгъ, организую правильную и серьезную помощь голодающимъ.

Все, кажется, идетъ согласно съ моими намѣреніями и желаніями, но почему же меня не оставляетъ мое безпокойство? Я въ продолженіе четырехъ часовъ разсматривалъ бумаги жены, уясняя ихъ смыслъ и исправляя ошибки, но вмѣсто успокоенія я испытывалъ такое чувство, какъ будто кто-то чужой стоялъ позади меня и водилъ по моей спинѣ шаршавою ладонью. Чего мнѣ не доставало? Организація помощи попала въ надежныя руки, голодающіе будутъ сыты,—что же еще нужно?

Легкая четырехчасовая работа почему-то утомила меня, такъ что я не могъ ни сидѣть согнувшись, ни писать. Снизу изрѣдка доносились глухіе стоны—это рыдала жена. Мой всегда смирный, сонный и ханжеватый Алексѣй то и дѣло подходилъ къ столу, чтобы поправить свѣчи, и посматривалъ на меня какъ-то странно.

— Нѣтъ, надо уѣхать!—рѣшилъ я, наконецъ, выбившись изъ силъ.—Подальше отъ этихъ великолѣпныхъ впечатлѣній. Завтра же уѣду.

Я собралъ бумаги и тетрадки и пошелъ къ женѣ. Когда я, чувствуя сильное утомленіе и разбитость, прижалъ обѣими руками къ груди бумаги и тетради и, проходя черезъ спальню, увидѣлъ свои чемоданы, то до меня изъ-подъ пола донесся плачъ...

— Вы камеръ-юнкеръ?—спросилъ меня кто-то на ухо.—Очень пріятно. Но все-таки вы гадина.

— Все вздоръ, вздоръ, вздоръ...—бормоталъ я, спускаясь по лѣстницѣ.—Вздоръ... И то вздоръ, будто мною руководитъ самолюбіе или тщеславіе... Какіе пустяки! Развѣ за голодающихъ дадутъ мнѣ звѣзду, что ли, или сдѣлаютъ меня директоромъ департамента? Вздоръ, вздоръ! И передъ кѣмъ тутъ въ деревнѣ тщеславиться?

Я усталъ, ужасно усталъ, и что-то шептало мнѣ на ухо: «Очень пріятно. Но все же вы гадина». Почему-то я вспомнилъ строку изъ одного стариннаго стихотворенія, которое когда-то зналъ въ дѣтствѣ: «Какъ пріятно добрымъ быть!»

Жена лежала на кушеткѣ въ прежней позѣ — лицомъ внизъ и обхвативъ голову обѣими руками. Она плакала. Возлѣ нея стояла горничная съ испуганнымъ, недоумѣвающимъ лицомъ. Я отослалъ горничную, сложилъ бумаги на столъ, подумалъ и сказалъ:

— Вотъ ваша канцелярія, Natalie. Все въ порядкѣ, все прекрасно, и я очень доволенъ. Завтра я уѣзжаю.

Она продолжала плакать. Я вышелъ въ гостиную и сѣлъ тамъ въ потемкахъ. Всхлипыванія жены, ея вздохи обвиняли меня въ чемъ-то, и, чтобы оправдать себя, я припоминалъ всю нашу ссору, начиная съ того какъ мнѣ пришла въ голову несчастная мысль пригласить жену на совѣщаніе, и кончая тетрадками и этимъ плачемъ. Это былъ обычный припадокъ нашей супружеской ненависти, безобразный и безсмысленный, какихъ было много послѣ нашей свадьбы, но при чемъ же тутъ голодающіе? Какъ это могло случиться, что они попали намъ подъ горячую руку? Похоже на то, какъ будто мы, гоняясь другъ за другомъ, нечаянно вбѣжали въ алтарь и подняли тамъ драку.

— Natalie,—говорю я тихо изъ гостиной:—полно, полно!

Чтобы прекратить плачъ и положить конецъ этому мучительному состоянію, надо пойти къ женѣ и утѣшить, приласкать или извиниться; но какъ это сдѣлать, чтобы она мнѣ повѣрила? Какъ я могу убѣдить дикаго утенка, живущаго въ неволѣ и ненавидящаго меня, что онъ мнѣ симпатиченъ и что я сочувствую его страданію? Жены своей я никогда не зналъ и потому никогда не зналъ, о чемъ и какъ съ нею говорить. Наружность ея я зналъ хорошо и цѣнилъ по достоинству, но ея душевный, нравственный міръ, умъ, міросозерцаніе, частыя перемѣны въ настроеніи, ея ненавидящіе глаза, высокомѣріе, начитан-

ность, которою она иногда поражала меня, или, напримѣръ, монашеское выраженіе, какъ вчера, — все это было мнѣ неизвѣстно и непонятно. Когда въ своихъ столкновеніяхъ съ нею я пытался опредѣлить, что она за человѣкъ, то моя психологія не шла дальше такихъ опредѣленій, какъ взбалмошная, несерьезная, несчастный характеръ, бабья логика—и для меня, казалось, этого было совершенно достаточно. Но теперь, пока она плакала, у меня было страстное желаніе знать больше.

Плачъ прекратился. Я пошелъ къ женѣ. Она сидѣла на кушеткѣ, подперевъ голову обѣими руками, и задумчиво, неподвижно глядѣла на огонь.

— Я уѣзжаю завтра утромъ,—сказалъ я.

Она молчала. Я прошелся по комнатѣ, вздохнулъ и сказалъ:

— Natalie, когда вы просили меня уѣхать, то сказали: прощу вамъ все, все... Значитъ, вы считаете меня виноватымъ передъ вами. Прошу васъ, хладнокровно и въ короткихъ выраженіяхъ формулируйте мою вину передъ вами.

— Я утомлена. Послѣ какъ-нибудь...—сказала жена.

— Какая вина?—продолжалъ я.—Что я сдѣлалъ? Скажете, вы молоды, красивы, хотите жить, а я почти вдвое старше васъ и ненавидимъ вами, но развѣ это вина? Я женился на васъ не насильно. Ну, что жъ, если хотите жить на свободѣ, идите, я дамъ вамъ волю. Идите, можете любить, кого вамъ угодно... Я и разводъ дамъ.

— Этого мнѣ не надо, — сказала она. — Вы знаете, я васъ любила прежде и всегда считала себя старше васъ. Пустяки все это... Вина ваша не въ томъ, что вы старше, а я моложе, или что на свободѣ я могла бы полюбить другого, а въ томъ, что вы тяжелый человѣкъ, эгоистъ, ненавистникъ.

— Не знаю, можетъ-быть,—проговорилъ я.

— Уходите, пожалуйста. Вы хотите ѣсть меня до утра, но предупреждаю, я совсѣмъ ослабѣла и отвѣчать вамъ не могу. Вы дали мнѣ слово уѣхать, я очень вамъ благодарна, и больше ничего мнѣ не нужно.

Жена хотѣла, чтобы я ушелъ, но мнѣ не легко было сдѣлать это. Я ослабѣлъ и боялся своихъ большихъ, неуютныхъ, опостылѣвшихъ комнатъ. Бывало въ дѣтствѣ, когда у меня болѣло что-нибудь, я жался къ матери или нянѣ, и, когда я пряталъ лицо въ складкахъ теплаго платья, мнѣ казалось, что я прячусь отъ боли. Такъ и те-

перь почему-то мнѣ казалось, что отъ своего безпокойства я могу спрятаться только въ этой маленькой комнатѣ, около жены. Я сѣлъ и рукою заслонилъ глаза отъ свѣта. Было тихо.

— Какая вина?—сказала жена послѣ долгаго молчанія, глядя на меня красными, блестящими отъ слезъ глазами.— Вы прекрасно образованы и воспитаны, очень честны, справедливы, съ правилами, но все это выходитъ у васъ такъ, что куда бы вы ни вошли, вы всюду вносите какую-то духоту, гнетъ, что-то въ высшей степени оскорбительное, унизительное. У васъ честный образъ мыслей, и потому вы ненавидите весь міръ. Вы ненавидите вѣрующихъ, такъ какъ вѣра есть выраженіе неразвитія и невѣжества, и въ то же время ненавидите и невѣрующихъ за то, что у нихъ нѣтъ вѣры и идеаловъ; вы ненавидите стариковъ за отсталость и консерватизмъ, а молодыхъ — за вольнодумство. Вамъ дороги интересы народа и Россіи, и потому вы ненавидите народъ, такъ какъ въ каждомъ подозрѣваете вора и грабителя. Вы всѣхъ ненавидите. Вы справедливы и всегда стоите на почвѣ законности, и потому вы постоянно судитесь съ мужиками и сосѣдями. У васъ украли 20 кулей ржи, и изъ любви къ порядку вы пожаловались на мужиковъ губернатору и всему начальству, а на здѣшнее начальство пожаловались въ Петербургъ. Почва законности!—сказала жена и засмѣялась.— На основаніи закона и въ интересахъ нравственности вы не даете мнѣ паспорта. Есть такая нравственность и такой законъ, чтобы молодая, здоровая, самолюбивая женщина проводила свою жизнь въ праздности, въ тоскѣ, въ постоянномъ страхѣ и получала бы за это столъ и квартиру отъ человѣка, котораго она не любитъ. Вы превосходно знаете законы, очень честны и справедливы, уважаете бракъ и семейныя основы, а изъ всего этого вышло то, что за всю свою жизнь вы не сдѣлали ни одного добраго дѣла, всѣ васъ ненавидятъ, со всѣми вы въ ссорѣ и за эти семь лѣтъ, пока женаты, вы и семи мѣсяцевъ не прожили съ женой. У васъ жены не было, а у меня не было мужа. Съ такимъ человѣкомъ, какъ вы, жить невозможно, нѣтъ силъ. Въ первые годы мнѣ съ вами было страшно, а теперь мнѣ стыдно... Такъ и пропали лучшіе годы. Пока воевала съ вами, я испортила себѣ характеръ, стала рѣз-

кой, грубой, пугливой, недовѣрчивой... Э, да что говорить! Развѣ вы захотите понять? Идите себѣ съ Богомъ.

Жена прилегла на кушетку и задумалась.

— А какая бы могла быть прекрасная, завидная жизнь!— тихо сказала она, глядя въ раздумьѣ на огонь. — Какая жизнь! Не вернешь теперь.

Кто живалъ зимою въ деревнѣ и знаетъ эти длинные, скучные, тихіе вечера, когда даже собаки не лаютъ отъ скуки и, кажется, часы томятся отъ того, что имъ надоѣло тикать, и кого въ такіе вечера тревожила пробудившаяся совѣсть и кто безпокойно метался съ мѣста на мѣсто, желая то заглушить, то разгадать свою совѣсть, тотъ пойметъ, какое развлеченіе и наслажденіе доставлялъ мнѣ женскій голосъ, раздавшійся въ маленькой уютной комнатѣ и говорившій мнѣ, что я дурной человѣкъ. Я не понималъ, чего хочетъ моя совѣсть, и жена, какъ переводчикъ, по-женски, но ясно истолковывала мнѣ смыслъ моей тревоги. Какъ часто раньше, въ минуты сильнаго безпокойства, я догадывался, что весь секретъ не въ голодающихъ, а въ томъ, что я не такой человѣкъ, какъ нужно.

Жена черезъ силу поднялась и подошла ко мнѣ.

— Павелъ Андреичъ, — сказала она, печально улыбаясь. — Простите, я не вѣрю вамъ: вы не уѣдете. Но я еще разъ прошу. Называйте это, — она указала на свои бумаги:—самообманомъ, бабьей логикой, ошибкой, какъ хотите, но не мѣшайте мнѣ. Это все, что осталось у меня въ жизни.—Она отвернулась и помолчала.—Раньше у меня ничего не было. Свою молодость я потратила на то, что воевала съ вами. Теперь я ухватилась за это и ожила, я счастлива... Мнѣ кажется, въ этомъ я нашла способъ, какъ оправдать свою жизнь.

— Natalie, вы хорошая, идейная женщина,—сказалъ я, восторженно глядя на жену:—и все, что вы дѣлаете и говорите, прекрасно и умно.

Чтобы скрыть свое волненіе, я прошелся по комнатѣ.

— Natalie, — продолжалъ я черезъ минуту: — передъ отъѣздомъ прошу у васъ, какъ особенной милости, помогите мнѣ сдѣлать что-нибудь для голодающихъ!

— Что же я могу?—сказала жена и пожала плечами.— Развѣ вотъ только подписной листъ?

Она порылась въ своихъ бумагахъ и нашла подписной листъ.

— Пожертвуйте сколько-нибудь деньгами,—сказала она, и по ея тону замѣтно было, что своему подписному листу она не придавала серьезнаго значенія.—А участвовать въ этомъ дѣлѣ какъ-нибудь иначе вы не можете.

Я взялъ листъ и подписалъ: *Неизвѣстный—5000.*

Въ этомъ «неизвѣстный» было что-то нехорошее, фальшивое, самолюбивое, но я понялъ это только, когда замѣтилъ, что жена сильно покраснѣла и торопливо сунула листъ въ кучу бумагъ. Намъ обоимъ стало стыдно. Я почувствовалъ, что мнѣ непремѣнно, во что бы то ни стало, сейчасъ же нужно загладить эту неловкость, иначе мнѣ будетъ стыдно потомъ въ вагонѣ и въ Петербургѣ. Но какъ загладить? Что̀ сказать?

— Я благословляю вашу дѣятельность, Natalie, — сказалъ я искренно: — и желаю вамъ всякаго успѣха. Но позвольте на прощаньѣ дать вамъ одинъ совѣтъ. Natalie, держите себя поосторожнѣе съ Соболемъ и вообще съ вашими помощниками и не довѣряйтесь имъ. Я не скажу, чтобы они были не честны, но это не дворяне, это люди безъ идеи, безъ идеаловъ и вѣры, безъ цѣли въ жизни, безъ опредѣленныхъ принциповъ, и весь смыслъ ихъ зиждется на рублѣ. Рубль, рубль и рубль! — вздохнулъ я. — Они любятъ легкіе и даровые хлѣба и въ этомъ отношеніи, чѣмъ они образованнѣе, тѣмъ опаснѣе для дѣла.

Жена пошла къ кушеткѣ и прилегла.

— Идеи, идейно, — проговорила она вяло и нехотя: — идейность, идеалы, цѣль жизни, принципы... Эти слова вы говорили всегда, когда хотѣли кого-нибудь унизить, обидѣть или сказать непріятность. Вѣдь вотъ вы какой! Если съ вашими взглядами и съ такимъ отношеніемъ къ людямъ подпустить васъ близко къ дѣлу, то это значитъ разрушить дѣло въ первый же день. Пора бы это понять.

Она вздохнула и помолчала.

— Это грубость нравовъ, Павелъ Андреичъ, — сказала она.—Вы образованы и воспитаны, но въ сущности какой вы еще... скиѳъ! Это оттого, что вы ведете замкнутую, ненавистническую жизнь, ни съ кѣмъ не видаетесь и не читаете ничего, кромѣ вашихъ инженерныхъ книгъ. А вѣдь есть хорошіе люди, хорошія книги! Да... Но я утомилась и мнѣ тяжело говорить. Спать надо.

— Такъ я ѣду, Natalie,—сказалъ я.

— Да, да... Merci...

Я постоялъ немного и пошелъ къ себѣ наверхъ. Часъ спустя—это было въ половинѣ второго—я со свѣчкою въ рукахъ опять сошелъ внизъ, чтобы поговорить съ женой. Я не зналъ, что скажу ей, но чувствовалъ, что мнѣ нужно сказать ей что-то важное и необходимое. Въ рабочей комнатѣ ея не было. Дверь, которая вела въ спальню, была закрыта.

— Natalie, вы спите?—тихо спросилъ я.

Отвѣта не было. Я постоялъ около двери, вздохнулъ и пошелъ въ гостиную. Здѣсь я сѣлъ на диванъ, потушилъ свѣчу и просидѣлъ въ потемкахъ до самаго разсвѣта.

## VI.

Выѣхалъ я на станцію въ 10 часовъ утра. Мороза не было, но валилъ съ неба крупный, мокрый снѣгъ и дулъ непріятный, сырой вѣтеръ.

Миновали прудъ, потомъ березнякъ и стали взбираться на гору по дорогѣ, которая видна изъ моихъ оконъ. Я оглянулся, чтобы въ послѣдній разъ взглянуть на свой домъ, но за снѣгомъ ничего не было видно. Немного погодя, впереди, какъ въ туманѣ, показались темныя избы. Это Пестрово.

«Если я когда-нибудь сойду съ ума, то виновато будетъ Пестрово,—подумалъ я.—Оно меня преслѣдуетъ».

Въѣхали на улицу. На избахъ всѣ крыши цѣлы, нѣтъ ни одной содранной, — значитъ, совралъ мой приказчикъ. Мальчикъ возитъ въ салазкахъ дѣвочку съ ребенкомъ, другой мальчикъ, лѣтъ трехъ, съ окутанной по-бабьи головой и съ громадными рукавицами, хочетъ поймать языкомъ летающія снѣжинки и смѣется. Вотъ навстрѣчу ѣдетъ возъ съ хворостомъ, около идетъ мужикъ, и никакъ не поймешь, сѣдъ ли онъ или же борода его бѣла отъ снѣга. Онъ узналъ моего кучера, улыбается ему и что-то говоритъ, а передо мной машинально снимаетъ шапку. Собаки выбѣгаютъ изъ дворовъ и съ любопытствомъ смотрятъ на моихъ лошадей. Все тихо, обыкновенно, просто. Вернулись переселенцы, нѣтъ хлѣба, въ избахъ «кто хохочетъ, кто на стѣну лѣзетъ», но все это такъ просто, что даже не вѣрится, чтобы это было на самомъ дѣлѣ. Ни растерянныхъ лицъ, ни голосовъ вопіющихъ о помощи, ни плача, ни брани, а кругомъ тишина, порядокъ жизни, дѣти, салазки,

собаки съ задранными хвостами. Не безпокоятся ни дѣти, ни встрѣчный мужикъ, но почему же я такъ безпокоюсь?

Глядя на улыбающагося мужика, на мальчика съ громадными рукавицами, на избы, вспоминая свою жену, я понималъ теперь, что нѣтъ такого бѣдствія, которое могло бы побѣдить этихъ людей; мнѣ казалось, что въ воздухѣ уже пахнетъ побѣдой. я гордился и готовъ былъ крикнуть имъ, что я тоже съ ними; но лошади вынесли изъ деревни въ поле, закружилъ снѣгъ, заревѣлъ вѣтеръ, и я остался одинъ со своими мыслями. Изъ милліонной толпы людей, совершавшихъ народное дѣло, сама жизнь выбрасывала меня, какъ ненужнаго, неумѣлаго, дурного человѣка. Я помѣха, частица народнаго бѣдствія, меня побѣдили, выбросили, и я спѣшу на станцію, чтобы уѣхать и спрятаться въ Петербургѣ, въ отелѣ на Большой Морской.

Черезъ часъ пріѣхали на станцію. Сторожъ съ бляхой и кучеръ внесли мои чемоданы въ дамскую комнату. Кучеръ Никаноръ съ заткнутою за поясъ полой, въ валенкахъ, весь мокрый отъ снѣга и довольный, что я уѣзжаю, улыбнулся мнѣ дружелюбно и сказалъ:

— Счастливой дороги, ваше превосходительство. Дай Богъ часъ.

Кстати: меня всѣ называютъ превосходительствомъ, хотя я лишь коллежскій совѣтникъ, камеръ-юнкеръ. Сторожъ сказалъ, что поѣздъ еще не выходилъ изъ сосѣдней станціи. Надо было ждать. Я вышелъ наружу и, съ тяжелой отъ безсонной ночи головой и едва передвигая ноги отъ утомленія, направился безъ всякой цѣли къ водокачкѣ. Кругомъ не было ни души.

— Зачѣмъ я ѣду?—спрашивалъ я себя.—Что меня ожидаетъ тамъ? Знакомые, отъ которыхъ я уже уѣхалъ, одиночество, ресторанные обѣды, шумъ, электрическое освѣщеніе, отъ котораго у меня глаза болятъ... Куда и зачѣмъ я ѣду? Зачѣмъ я ѣду?

И какъ-то странно было уѣзжать, не поговоривши съ женой. Мнѣ казалось, что я оставилъ ее въ неизвѣстности. Уѣзжая, слѣдовало бы сказать ей, что она права, что я въ самомъ дѣлѣ дурной человѣкъ.

Когда я повернулъ отъ водокачки, въ дверяхъ показался начальникъ станціи, на котораго я два раза уже жаловался его начальству; приподнявъ воротникъ сюртука, пожимаясь

отъ вѣтра и снѣга, онъ подошелъ ко мнѣ и, приложивъ два пальца къ козырьку, съ растеряннымъ, напряженно почтительнымъ и ненавидящимъ лицомъ сказалъ мнѣ, что поѣздъ опоздаетъ на 20 минутъ и что не желаю ли я пока обождать въ тепломъ помѣщеніи.

— Благодарю васъ, — отвѣтилъ я: — но, вѣроятно, я не поѣду. Велите сказать моему кучеру, чтобы онъ подождалъ. Я еще подумаю.

Я ходилъ взадъ и впередъ по платформѣ и думалъ: уѣхать мнѣ, или нѣтъ? Когда пришелъ поѣздъ, я рѣшилъ, что не поѣду. Дома меня ожидали недоумѣніе и, пожалуй, насмѣшки жены, унылый верхній этажъ и мое безпокойство, но это въ мои годы все-таки легче и какъ-то роднѣе, чѣмъ ѣхать двое сутокъ съ чужими людьми въ Петербургъ, гдѣ я каждую минуту сознавалъ бы, что жизнь моя никому и ни на что не нужна и приближается къ концу. Нѣтъ, ужъ лучше домой, что бы тамъ ни было... Я вышелъ изъ станціи. Возвращаться домой, гдѣ всѣ такъ радовались моему отъѣзду, при дневномъ свѣтѣ было неловко. Остатокъ дня до вечера можно было провести у кого-нибудь изъ сосѣдей. Но у кого? Съ одними я въ натянутыхъ отношеніяхъ, съ другими незнакомъ вовсе. Я подумалъ и вспомнилъ про Ивана Иваныча.

— Поѣдемъ къ Брагину! — сказалъ я кучеру, садясь въ сани.

— Далече,—вздохнулъ Никаноръ.—Верстъ, пожалуй, 28 будетъ, а то и всѣ 30.

— Пожалуйста, голубчикъ, — сказалъ я такимъ тономъ, какъ будто Никаноръ имѣлъ право не послушаться. — Поѣдемъ, пожалуйста!

Никаноръ съ сомнѣніемъ покачалъ головой и медленно проговорилъ, что по-настоящему слѣдовало бы запрячь въ корень не Черкеса, а Мужика или Чижика, и нерѣшительно, какъ бы ожидая, что я отмѣню свое рѣшеніе, забралъ вожжи въ рукавицы, привсталъ, подумалъ и потомъ ужъ взмахнулъ кнутомъ.

«Цѣлый рядъ непослѣдовательныхъ поступковъ...—думалъ я, пряча лицо отъ снѣга.—Это я сошелъ съ ума. Ну, пускай...»

Въ одномъ мѣстѣ на очень высокомъ и крутомъ спускѣ Никаноръ осторожно спустилъ лошадей до половины горы, но съ половины лошади вдругъ сорвались и со страшною

быстротой понесли внизъ; онъ вздрогнулъ, поднялъ локти и закричалъ дикимъ, неистовымъ голосомъ, какого я раньше никогда у него не слышалъ:

— Эй, прокатимъ генерала! Запалимъ, новыхъ купитъ, голубчики! Ай, берегись, задавимъ!

Только теперь, когда у меня отъ необыкновенно быстрой ѣзды захватило дыханіе, я замѣтилъ, что онъ сильно пьянъ; должно-быть, на станціи выпилъ. На днѣ оврага затрещалъ ледъ, кусокъ крѣпкаго унавоженнаго снѣга, сбитый съ дороги, больно ударилъ меня по лицу. Разбѣжавшіяся лошади съ разгону понесли на гору такъ же быстро, какъ съ горы, и не успѣлъ я крикнуть Никанору, какъ моя тройка уже летѣла по ровному мѣсту, въ старомъ еловомъ лѣсу, и высокія ели со всѣхъ сторонъ протягивали ко мнѣ свои бѣлыя мохнатыя лапы.

«Я сошелъ съ ума, кучеръ пьянъ...—думалъ я.—Хорошо!»

Ивана Иваныча я засталъ дома. Онъ закашлялся отъ смѣха, положилъ мнѣ на грудь голову и сказалъ то, что всегда говоритъ при встрѣчѣ со мной:

— А вы все молодѣете. Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите, мнѣ бы дали.

— Я, Иванъ Иванычъ, пріѣхалъ вамъ визитъ отдать,— солгалъ я.—Не взыщите, человѣкъ я столичный, съ предразсудками, считаюсь визитами.

— Радъ, голубчикъ! Я изъ ума выжилъ, люблю честь... Да.

По его голосу и блаженно улыбавшемуся лицу я могъ судить, что своимъ визитомъ я сильно польстилъ ему. Въ передней шубу съ меня снимали двѣ бабы, а повѣсилъ ее на крючокъ мужикъ въ красной рубахѣ. И когда мы съ Иваномъ Иванычемъ вошли въ его маленькій кабинетъ, двѣ босыя дѣвочки сидѣли на полу и разсматривали иллюстрацію въ переплетѣ; увидѣвъ насъ, онѣ вспрыгнули и побѣжали вонъ, и тотчасъ же вошла высокая тонкая старуха въ очкахъ, степенно поклонилась мнѣ и, подобравъ съ дивана подушку, а съ полу иллюстрацію, вышла. Изъ сосѣднихъ комнатъ непрерывно слышались шопотъ и шлепанье босыхъ ногъ.

— А я къ себѣ доктора жду обѣдать,—сказалъ Иванъ Иванычъ.—Обѣщалъ съ пункта заѣхать. Да. Онъ у меня каждую среду обѣдаетъ, дай Богъ ему здоровья.—Онъ потянулся ко мнѣ и поцѣловалъ въ шею.—Пріѣхали, голуб-

чикъ—значитъ, не сердитесь,—зашепталъ онъ, сопя.—Не сердитесь, матушка. Да. Можетъ, и обидно, но не надо сердиться. Я объ одномъ только прошу Бога передъ смертью: со всѣми жить въ мирѣ и согласіи, по правдѣ! Да.

— Простите, Иванъ Иванычъ, я положу ноги на кресло,— сказалъ я, чувствуя, что отъ сильнаго утомленія я не могу быть самимъ собой; я поглубже сѣлъ на диванъ и протянулъ ноги на кресло. Послѣ снѣга и вѣтра у меня горѣло лицо и, казалось, все тѣло впитывало въ себя теплоту и отъ этого становилось слабѣе. — У васъ тутъ хорошо, — продолжалъ я:—тепло, мягко, уютно... И гусиныя перья,— засмѣялся я, поглядѣвъ на письменный столъ:—песочница...

— А? Да, да... Письменный столъ и вотъ этотъ шкапчикъ изъ краснаго дерева дѣлалъ моему отцу столяръ-самоучка Глѣбъ Бутыга, крѣпостной генерала Жукова. Да... Большой художникъ по своей части.

Вяло, тономъ засыпающаго человѣка, онъ сталъ разсказывать мнѣ про столяра Бутыгу. Я слушалъ. Потомъ Иванъ Иванычъ вышелъ въ сосѣднюю комнату, чтобы показать мнѣ замѣчательный по красотѣ и дешевизнѣ комодъ изъ палисандроваго дерева. Онъ постучалъ пальцемъ по комоду, потомъ обратилъ мое вниманіе на изразцовую печь съ рисунками, которыхъ теперь нигдѣ не встрѣтишь. И по печи постучалъ пальцемъ. Отъ комода, изразцовой печи и отъ креселъ и картинъ, шитыхъ шерстью и шелкомъ по канвѣ, въ прочныхъ и некрасивыхъ рамахъ, вѣяло добродушіемъ и сытостью. Какъ вспомнишь, что всѣ эти предметы стояли на этихъ же мѣстахъ и точно въ такомъ же порядкѣ, когда я еще былъ ребенкомъ и пріѣзжалъ сюда съ матерью на именины, то просто не вѣрится, чтобы они могли когда-нибудь не существовать.

Я думалъ: какая страшная разница между Бутыгой и мной! Бутыга, строившій прежде всего прочно и основательно и видѣвшій въ этомъ главное, придавалъ какое-то особенное значеніе человѣческому долголѣтію, не думалъ о смерти и, вѣроятно, плохо вѣрилъ въ ея возможность; я же, когда строилъ свои желѣзные и каменные мосты, которые будутъ существовать тысячи лѣтъ, никакъ не могъ удержаться отъ мыслей: «Это не долговѣчно... Это ни къ чему». Если со временемъ какому-нибудь толковому историку искусствъ попадутся на глаза шкапъ Бутыги и мой

мостъ, то онъ скажетъ: «Это два въ своемъ родѣ замѣчательныхъ человѣка: Бутыга любилъ людей и не допускалъ мысли, что они могутъ умирать и разрушаться, и потому, дѣлая свою мебель, имѣлъ въ виду безсмертнаго человѣка, инженеръ же Асоринъ не любилъ ни людей, ни жизни; даже въ счастливыя минуты творчества ему не были противны мысли о смерти, разрушеніи и конечности, и потому, посмотрите, какъ у него ничтожны, конечны, робки и жалки эти линіи»...

— Я только эти комнаты топлю,—бормоталъ Иванъ Иванычъ, показывая мнѣ свои комнаты.—Съ тѣхъ поръ, какъ умерла жена и сына на войнѣ убили, я заперъ парадныя. Да... вотъ...

Онъ отперъ одну дверь, и я увидѣлъ большую комнату съ четырьмя колоннами, старый фортепьяно и кучу гороху на полу; пахнуло холодомъ и запахомъ сырья.

— А въ другой комнатѣ садовыя скамейки...—бормоталъ Иванъ Иванычъ.—Некому ужъ мазурку танцовать... Заперъ.

Послышался шумъ... Это пріѣхалъ докторъ Соболь. Пока онъ съ холоду потиралъ руки и приводилъ въ порядокъ свою мокрую бороду, я успѣлъ замѣтить, что, во-первыхъ, ему жилось очень скучно и потому пріятно было видѣть Ивана Иваныча и меня, и во-вторыхъ, это былъ простоватый и наивный человѣкъ. Онъ смотрѣлъ на меня такъ, какъ будто я былъ очень радъ его видѣть и очень интересуюсь имъ.

— Двѣ ночи не спалъ!—говорилъ онъ, наивно глядя на меня и причесываясь. — Одну ночь съ роженицей, а другую, всю напродетъ, клопы кусали, у мужика ночевалъ. Спать хочу, понимаете ли, какъ сатана.

Съ такимъ выраженіемъ, какъ будто это не можетъ доставить мнѣ ничего, кромѣ удовольствія, онъ взялъ меня подъ руку и повелъ въ столовую. Его наивные глаза, помятый сюртукъ, дешевый галстукъ и запахъ іодоформа произвели на меня непріятное впечатлѣніе; я почувствовалъ себя въ дурномъ обществѣ. Когда сѣли за столъ, онъ налилъ мнѣ водки, и я, безпомощно улыбаясь, выпилъ; онъ положилъ мнѣ на тарелку кусокъ ветчины — и я покорно съѣлъ.

— Repetitia est mater studiorum,—сказалъ Соболь, торопясь выпить другую рюмку. — Вѣрите ли, отъ радости.

что хорошихъ людей увидѣлъ, даже сонъ прошелъ. Я мужикъ, одичалъ въ глуши, огрубѣлъ, но я все-таки еще, господа, интеллигентный человѣкъ и искренно говорю вамъ: тяжело безъ людей!

Подали на холодное бѣлаго поросенка съ хрѣномъ и со сметаной, потомъ жирныя, очень горячія щи со свининой и гречневую кашу, отъ которой столбомъ валилъ паръ. Докторъ продолжалъ говорить, и скоро я убѣдился, что это былъ слабый, внѣшне безпорядочный и несчастный человѣкъ. Отъ трехъ рюмокъ онъ опьянѣлъ, неестественно оживился, ѣлъ очень много, покрякивая и причмокивая, и меня уже величалъ по-италіански: экчеленца. Наивно глядя на меня, какъ будто увѣренный, что я очень радъ видѣть его и слушать, онъ сообщилъ мнѣ, что со своею женой онъ давно уже разошелся и отдаетъ ей три четверти своего жалованья; что живетъ она въ городѣ съ его дѣтьми — мальчикомъ и дѣвочкой, которыхъ онъ обожаетъ, что любитъ онъ другую, вдову-помѣщицу, интеллигентную женщину, но бываетъ у нея рѣдко, такъ какъ бываетъ занятъ своимъ дѣломъ съ утра до ночи и совсѣмъ не имѣетъ свободнаго времени.

— Цѣлый день то въ больницѣ, то въ разъѣздахъ, — разсказывалъ онъ:—и, клянусь вамъ, экчеленца, не только что къ любимой женщинѣ съѣздить, но даже книжку прочесть некогда. Десять лѣтъ ничего не читалъ! Десять лѣтъ, экчеленца! Что же касается матеріальной стороны, то вотъ извольте спросить у Ивана Ивановича: табаку купить иной разъ не на что.

— Зато у васъ нравственное удовлетвореніе,—сказалъ я.

— Чего-съ?—спросилъ онъ и прищурилъ одинъ глазъ.— Нѣтъ, давайте ужъ лучше выпьемъ.

Я слушалъ доктора и по своей всегдашней привычкѣ подводилъ къ нему свои обычныя мѣрки, — матеріалистъ, идеалистъ, рубль, стадные инстинкты и т. п., но ни одна мѣрка не подходила даже приблизительно; и странное дѣло, пока я только слушалъ и глядѣлъ на него, то онъ, какъ человѣкъ, былъ для меня совершенно ясенъ, но какъ только я начиналъ подводить къ нему свои мѣрки, то при всей своей откровенности и простотѣ онъ становился необыкновенно сложной, запутанной и непонятной натурой. Можетъ ли этотъ человѣкъ, спрашивалъ я себя, растратить чужія

деньги, злоупотребить довѣріемъ, имѣть склонность къ даровымъ хлѣбамъ? И теперь этотъ, когда-то серьезный значительный вопросъ казался мнѣ наивнымъ, мелочнымъ и грубымъ.

Подали пирогъ, потомъ, помню, съ длинными промежутками, въ продолженіе которыхъ мы пили наливку, подавали соусъ изъ голубей, что-то изъ потроховъ, жаренаго поросенка, утку, куропатокъ, цвѣтную капусту, вареники, творогъ съ молокомъ, кисель и, подъ конецъ, блинчики съ вареньемъ. Сначала, особенно щи и кашу, я ѣлъ съ большимъ аппетитомъ, но потомъ жевалъ и глоталъ машинально, безпомощно улыбаясь и не ощущая никакого вкуса. Отъ горячихъ щей и отъ жары, какая была въ комнатѣ, у меня сильно горѣло лицо. Иванъ Иванычъ и Соболь тоже были красны.

— За здоровье вашей супруги,—сказалъ Соболь.—Она меня любитъ. Скажите ей, что кланялся ей лейбъ-медикъ.

— Счастливая, ей-Богу!—вздохнулъ Иванъ Иванычъ.—Не хлопотала, не безпокоилась, не суетилась, а вышло такъ, что она теперь первая персона во всемъ уѣздѣ. Почти все дѣло у нея въ рукахъ и около нея всѣ: и докторъ, и земскіе начальники, и барыни. У настоящихъ людей это какъ-то само собой выходитъ. Да... Яблонѣ не надо безпокоиться, чтобы на ней яблоки росли—сами выростутъ.

— Не безпокоятся равнодушные,—сказалъ я.

— А? Да, да...—забормоталъ Иванъ Иванычъ, не разслышавъ.—Это вѣрно... Надо быть равнодушнымъ. Такъ, такъ... Именно... Будь только справедливъ передъ Богомъ и людьми, а тамъ—хоть трава не расти.

— Экчеленца,—сказалъ торжественно Соболь:—посмотрите вы на окружающую природу: высунь изъ воротника носъ или ухо—откуситъ; останься въ полѣ на одинъ часъ—снѣгомъ засыплетъ. А деревня такая же, какая еще при Рюрикѣ была, нисколько не измѣнилась, тѣ же печенѣги и половцы. Только и знаемъ, что горимъ, голодаемъ и на всѣ лады съ природой воюемъ. О чемъ бишь я? Да! Если, понимаете ли, хорошенько вдуматься, вглядѣться да разобрать эту, съ позволенія сказать, кашу, то вѣдь это не жизнь, а пожаръ въ театрѣ! Тутъ, кто падаетъ или кричитъ отъ страха и мечется, тотъ первый врагъ порядка. Надо стоять прямо и глядѣть въ оба—и ни чичиркъ! Тутъ ужъ некогда нюни распускать и мелочами заниматься. Коли имѣешь дѣло со

стихіей, то и выставляй противъ нея стихію,—будь твердъ и неподатливъ, какъ камень. Не такъ ли, дѣдушка? — повернулся онъ къ Ивану Иванычу и засмѣялся. — Я самъ баба, тряпка, кисляй кисляичъ и потому терпѣть не могу кислоты. Не люблю мелкихъ чувствъ! Одинъ хандритъ, другой труситъ, третій войдетъ сейчасъ сюда и скажетъ: «Ишь ты, уперли десять блюдъ и заговорили о голодающихъ!» Мелко и глупо! Четвертый попрекнетъ васъ, экчеленца, что вы богаты. Извините меня, экчеленца,—продолжалъ онъ громко, приложивъ руку къ сердцу: — но то, что вы задали нашему слѣдователю работу, что онъ вашихъ воровъ день и ночь ищетъ, извините, это тоже мелко съ вашей стороны. Я выпивши, потому и говорю это сейчасъ, но понимаете ли, мелко!

— Кто его проситъ безпокоиться, не понимаю?—сказалъ я, вставая; мнѣ вдругъ стало невыносимо стыдно и обидно, и я заходилъ около стола.—Кто его проситъ безпокоиться? Я вовсе не просилъ... Чортъ его подери совсѣмъ!

— Троихъ арестовалъ и выпустилъ... Оказались не тѣ и теперь новыхъ ищетъ,—засмѣялся Соболь.—Грѣхи!

— И я вовсе не просилъ его безпокоиться,—сказалъ я, готовый заплакать отъ волненія. — Къ чему, къ чему все это? Ну, да, положимъ, я былъ не правъ, поступалъ я дурно, положимъ, но зачѣмъ они стараются, чтобы я былъ еще больше не правъ?

— Ну, ну, ну, ну!—сказалъ Соболь, успокаивая меня.— Ну, я выпивши, потому и сказалъ. Языкъ мой—врагъ мой. Ну-съ,—вздохнулъ онъ:—поѣли, наливки попили, а теперь на боковую.

Онъ всталъ изъ-за стола, поцѣловалъ Ивана Иваныча въ голову и, пошатываясь отъ сытости, вышелъ изъ столовой. Я и Иванъ Иванычъ молча покурили.

— Я, родной мой, не сплю послѣ обѣда,—сказалъ Иванъ Иванычъ:—а вы пожалуйте въ диванную, отдохните.

Я согласился. Въ полутемной, жарко натопленной комнатѣ, которая называлась диванною, стояли у стѣнъ длинные, широкіе диваны, крѣпкіе и тяжелые, работы столяра Бутыги; на нихъ лежали постели высокія, мягкія, бѣлыя, постланныя, вѣроятно, старушкою въ очкахъ. На одной постели, лицомъ къ спинкѣ дивана, безъ сюртука и безъ сапогъ, спалъ уже Соболь; другая ожидала меня. Я снялъ

сюртукъ, разулся и, подчиняясь усталости, духу Бутыги, который виталъ въ тихой диванной, и легкому, ласковому храпу Соболя, покорно легъ!

И тотчасъ же мнѣ стали сниться жена, ея комната, начальникъ станціи съ ненавидящимъ лицомъ, кучи снѣга, пожаръ въ театрѣ... Приснились мужики, вытащившіе у меня изъ амбара двадцать кулей ржи...

— Все-таки это хорошо, что слѣдователь отпустилъ ихъ,—говорю я.

Я просыпаюсь отъ своего голоса, минуту съ недоумѣніемъ смотрю на широкую спину Соболя, на его жилетную пряжку и толстыя пятки, потомъ опять ложусь и засыпаю.

Когда я проснулся въ другой разъ, было уже темно. Соболь спалъ. На душѣ у меня было покойно и хотѣлось поскорѣе домой. Я одѣлся и вышелъ изъ диванной. Иванъ Иванычъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ въ большомъ креслѣ совершенно неподвижно и глядѣлъ въ одну точку, и видно было, что въ такомъ состояніи оцѣпенѣнія онъ находился все время, пока я спалъ.

— Хорошо!—сказалъ я, зѣвая.—У меня такое чувство, какъ будто я проснулся послѣ розговѣнья на Пасху. Я къ вамъ теперь часто буду ѣздить. Скажите, у васъ обѣдала жена когда-нибудь?

— Бы... ба... бы... бываетъ,—забормоталъ Иванъ Иванычъ, дѣлая усиліе, чтобы пошевелиться. — Въ прошлую субботу обѣдала. Да... Она меня любитъ.

Послѣ нѣкотораго молчанія я сказалъ:

— Помните, Иванъ Иванычъ, вы говорили, что у меня дурной характеръ и что со мной тяжело? Но что надо сдѣлать, чтобы характеръ былъ другой?

— Не знаю, голубчикъ... Я человѣкъ сырой, обрюзгъ, совѣтовать уже не могу... Да... А сказалъ я вамъ тогда потому, что люблю васъ, и жену вашу люблю, и отца любилъ... Да. Я скоро помру и какая мнѣ надобность таиться отъ васъ или врать? Такъ и говорю: люблю васъ крѣпко, но не уважаю. Да, не уважаю.

Онъ повернулся ко мнѣ и проговорилъ шопотомъ, задыхаясь:

— Невозможно васъ уважить, голубчикъ. Съ виду вы какъ будто и настоящій человѣкъ. Наружность у васъ и осанка какъ у французскаго президента Карно,—въ иллю-

страціи намедни видѣлъ... да... Говорите вы высоко, и умны вы, и въ чинахъ, рукой до васъ не достанешь, но, голубчикъ, у васъ душа не настоящая... Силы въ ней нѣтъ... Да.

— Скиѳъ, однимъ словомъ,—засмѣялся я.—Но что жена? Разскажите мнѣ что-нибудь про мою жену. Вы ее больше знаете.

Мнѣ хотѣлось говорить про жену, но вошелъ Соболь и помѣшалъ.

— Поспалъ, умылся, — сказалъ онъ, наивно глядя на меня:—попью чайку съ ромомъ и домой.

## VII.

Былъ уже восьмой часъ вечера. Изъ передней до крыльца, кромѣ Ивана Иваныча, провожали насъ съ причитываніями и пожеланіями всякихъ благъ бабы, старуха въ очкахъ, дѣвочки и мужикъ, а около лошадей въ потемкахъ стояли и бродили какіе-то люди съ фонарями, учили нашихъ кучеровъ, какъ и гдѣ лучше проѣхать, и желали намъ добраго пути. Лошади, сани и люди были бѣлы.

— Откуда у него столько народу? — спросилъ я, когда моя тройка и докторская пара шагомъ выѣзжали со двора.

— Это все его крѣпостные,—сказалъ Соболь.—До него еще не дошло положеніе. Кое-кто изъ старой прислуги свой вѣкъ доживаетъ; ну, сиротки разныя, которымъ дѣваться некуда; есть и такіе, что насильно живутъ, не выгонишь. Чудной старикъ!

Опять быстрая ѣзда, необыкновенный голосъ пьянаго Никанора, вѣтеръ и неотвязчивый снѣгъ, лѣзущій въ глаза, въ ротъ, во всѣ складки шубы...

«Эка меня носитъ!»—думаю я, а мои колокольчики заливаются вмѣстѣ съ докторскими, вѣтеръ свиститъ, кучера гикаютъ и подъ этотъ неистовый шумъ я вспоминаю всѣ подробности этого страннаго, дикаго, единственнаго въ моей жизни дня, и мнѣ кажется, что я въ самомъ дѣлѣ съ ума сошелъ или же сталъ другимъ человѣкомъ. Какъ будто тотъ, кѣмъ я былъ до сегодняшняго дня, мнѣ уже чуждъ.

Докторъ ѣхалъ позади и все время громко разговаривалъ со своимъ кучеромъ. Изрѣдка онъ догонялъ меня, ѣхалъ рядомъ и все съ тою же наивною увѣренностью, что для меня это очень пріятно, предлагалъ папиросъ, просилъ спичекъ. А то, поровнявшись со мной, онъ вдругъ вытянулся въ са-

няхъ во весь ростъ, замахалъ рукавами своей шубы, которые были у него чуть ли не вдвое длиннѣе рукъ, и закричалъ:

— Лупи, Васька! Обгони-ка тысячныхъ! Эй, котята!

И докторскія котята при громкомъ злорадномъ смѣхѣ Соболя и его Васьки понеслись впередъ. Мой Никаноръ обидѣлся и придержалъ тройку, но когда не стало уже слышно докторскихъ звонковъ, поднялъ локти, гикнулъ и моя тройка, какъ бѣшеная, понеслась вдогонку. Мы въѣхали въ какую-то деревню. Вотъ мелькнули огоньки, силуэты избъ, кто-то крикнулъ: «Ишь, черти!» Проскакали, кажется, версты двѣ, а улица все еще тянется и конца ей не видно. Когда поровнялись съ докторомъ и поѣхали тише, онъ попросилъ спичекъ и сказалъ:

— Вотъ прокормите-ка эту улицу! А вѣдь здѣсь пять такихъ улицъ, сударь. Стой! Стой!—закричалъ онъ.—Къ трактиру поворачивай! Надо согрѣться и лошадямъ отдохнуть.

Остановились около трактира.

— У меня въ епархіи не одна такая деревенька,—говорилъ докторъ, отворяя тяжелую дверь съ визжащимъ блокомъ и пропуская меня впередъ.—Среди бѣла дня взглянешь на такую улицу — конца не видать, а тутъ еще переулки, и только затылокъ почешешь. Трудно что-нибудь сдѣлать.

Мы вошли въ «чистую» комнату, гдѣ сильно пахло скатертями, и при нашемъ входѣ вскочилъ съ лавки заспанный мужикъ въ жилеткѣ и рубахѣ на-выпускъ. Соболь попросилъ пива, а я чаю.

— Трудно что-нибудь сдѣлать,—говорилъ Соболь.—Ваша супруга вѣритъ, я преклоняюсь передъ ней и уважаю, но самъ глубоко не вѣрю. Пока наши отношенія къ народу будутъ носить характеръ обычной благотворительности, какъ въ дѣтскихъ пріютахъ или инвалидныхъ домахъ, до тѣхъ поръ мы будемъ только хитрить, вилять, обманывать себя и больше ничего. Отношенія наши должны быть дѣловыя, основанныя на расчетѣ, знаніи и справедливости. Мой Васька всю свою жизнь былъ у меня работникомъ; у него не уродило, онъ голоденъ и боленъ. Если я даю ему теперь по 15 коп. въ день, то этимъ я хочу вернуть его въ прежнее положеніе работника, то-есть охраняю прежде всего свои интересы, а между тѣмъ эти 15 коп. я почему-то называю помощью, пособіемъ, добрымъ дѣломъ. Теперь будемъ говорить такъ. По самому скромному расчету, считая по 7 коп.

# Оглавленіе

## VII ТОМА.


| | стр. |
|---|---|
| Володя | 3 |
| Княгиня | 16 |
| Бѣда | 28 |
| Спать хочется | 35 |
| Холодная кровь | 41 |
| Скучная исторія | 59 |
| Припадокъ | 119 |
| Шампанское | 142 |
| Въ ссылкѣ | 148 |
| Отецъ | 157 |
| Жена | 165 |

# ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

# Ант. П. ЧЕХОВА.

**ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ**

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

## ТОМЪ ВОСЬМОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Учитель.—Тяжелые люди.—Дуэль.—Палата № 6.—Гусевъ.—Бабы.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
**Изданіе А. Ф. МАРКСА.**
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

# УЧИТЕЛЬ.

Ѳедоръ Лукичъ Сысоевъ, учитель фабричной школы, содержимой на счетъ «Мануфактуры Куликина сыновья», готовился къ торжественному обѣду. Ежегодно послѣ экзаменовъ дирекція фабрики устраивала обѣдъ, на которомъ присутствовали: инспекторъ народныхъ училищъ, всѣ присутствовавшіе на экзаменѣ и администрація фабрики. Обѣды, несмотря на свою офиціальность, выходили всегда длинные, веселые и вкусные; забывъ чинопочитаніе и памятуя только о своихъ трудахъ праведныхъ, учителя досыта наѣдались, дружно напивались, болтали до хрипоты и расходились поздно вечеромъ, оглашая весь фабричный поселокъ пѣніемъ и звуками поцѣлуевъ. Такихъ обѣдовъ Сысоевъ, сообразно числу лѣтъ, прослуженныхъ имъ въ фабричной школѣ, пережилъ тринадцать.

Теперь, собираясь на четырнадцатый обѣдъ, онъ старался придать себѣ возможно праздничный и приличный видъ. Цѣлый часъ онъ чистилъ вѣничкомъ новую черную пару, почти столько же времени стоялъ передъ зеркаломъ, когда надѣвалъ модную сорочку; запонки плохо пролѣзали въ петли сорочки, и это обстоятельство вызвало цѣлую бурю жалобъ, угрозъ и попрековъ по адресу жены. Бѣгаючи около него, бѣдная жена выбилась изъ силъ. Да и самъ онъ подъ конецъ замучился. Когда принесли ему изъ кухни вычищенные штиблеты, то у него не хватило силъ натянуть ихъ на ноги. Пришлось полежать и выпить воды.

— Какъ ты слабъ сталъ!—вздохнула жена.—Тебѣ бы вовсе не ходить на этотъ обѣдъ.

— Прошу безъ совѣтовъ!—сердито оборвалъ ее учитель.

Онъ былъ сильно не въ духѣ, такъ какъ былъ очень недоволенъ послѣдними экзаменами. Сошли эти экзамены прекрасно; всѣ мальчики старшаго отдѣленія были удостоены свидѣтельства и награды; начальство, и фабричное, и казенное, осталось довольно успѣхами, но учителю было мало этого. Ему было досадно, что ученикъ Бабкинъ, всегда писавшій безъ одной ошибки, сдѣлалъ въ экзаменаціонномъ диктантѣ три ошибки; ученикъ Сергѣевъ отъ волненія не сумѣлъ помножить 17 на 13; инспекторъ, человѣкъ молодой и неопытный, статью для диктанта выбралъ трудную, а учитель сосѣдней школы, Ляпуновъ, котораго инспекторъ попросилъ диктовать, велъ себя «не по-товарищески»: диктуя—выговаривалъ слова не такъ, какъ они пишутся, и точно жевалъ слова.

Натянувши съ помощью жены штиблеты и оглядѣвъ себя еще разъ въ зеркало, учитель взялъ свою суковатую палку и отправился на обѣдъ. У самаго входа въ квартиру директора фабрики, гдѣ устраивалось торжество, съ нимъ произошла маленькая непріятность. Онъ вдругъ закашлялся... Отъ кашлевыхъ толчковъ съ головы слетѣла фуражка и изъ рукъ вывалилась палка, а когда изъ квартиры директора, заслышавъ его кашель, выбѣжали учителя и инспекторъ училищъ, онъ сидѣлъ на нижней ступени и обливался потомъ.

— Ѳедоръ Лукичъ, это вы?—удивился инспекторъ.—Вы... пришли?

— А что?

— Вамъ, голубчикъ, посидѣть бы дома. Сегодня вы совсѣмъ нездоровы...

— Сегодня я такой, какимъ и вчера былъ. А если вамъ непріятно мое присутствіе, то я могу уйти.

— Ну, къ чему эти слова, Ѳедоръ Лукичъ? Зачѣмъ говорить это? Милости просимъ! Собственно вѣдь не мы, а вы виновникъ торжества. Намъ даже очень пріятно, помилуйте!..

Въ квартирѣ директора фабрики все уже было готово къ торжеству. Въ большой столовой съ нѣмецкими олеографіями и запахомъ герани и лака, стояли два стола: одинъ большой для обѣда, другой поменьше—закусочный. Въ окно сквозь спущенныя шторы еле-еле пробивался полуденный,

знойный свѣтъ... Комнатныя сумерки, швейцарскіе виды на шторахъ, герань, тонко порѣзанная колбаса на тарелкахъ—глядѣли наивно, дѣвически-сентиментально, и все это было похоже на самого хозяина квартиры, маленькаго, добродушнаго нѣмца, съ круглымъ животикомъ и съ масляными, ласковыми глазками. Адольфъ Андреичъ Бруни (такъ звали хозяина) суетился около закусочнаго стола, какъ на пожарѣ, наливалъ рюмки, подкладывалъ въ тарелки и все старался, какъ бы угодить, разсмѣшить, показать свое дружелюбіе. Онъ хлопалъ по плечамъ, заглядывалъ въ глаза, хихикалъ, потиралъ руки, однимъ словомъ, ласкался, какъ добрая собака.

— Ѳедоръ Лукичъ, кого вижу!—заговорилъ онъ прерывистымъ голосомъ, увидѣвъ Сысоева.—Какъ намъ пріятно! Несмотря на свою болѣзнь, вы пришли!.. Господа, позвольте васъ порадовать: Ѳедоръ Лукичъ пришелъ!

Около закусочнаго столика уже толпились педагоги и ѣли. Сысоевъ нахмурился; ему не понравилось, что товарищи начали ѣсть и пить, не дождавшись его. Онъ выглядѣлъ среди нихъ Ляпунова, того самаго, который диктовалъ на экзаменѣ, и подойдя къ нему началъ:

— Это не по-товарищески! Да-съ! Такъ порядочные люди не диктуютъ!

— Господи, вы все о томъ же!—сказалъ Ляпуновъ и поморщился.—Неужели вамъ не надоѣло?

— Да, все о томъ же! У меня Бабкинъ никогда ошибокъ не дѣлалъ! Я знаю, почему вы такъ диктовали. Вамъ просто хотѣлось, чтобы мои ученики провалились и ваша школа показалась лучше моей. Я все понимаю!..

— Да что вы придираетесь?—огрызнулся Ляпуновъ.—Какого чорта вы ко мнѣ пристаете?

— Будетъ, господа,—вмѣшался инспекторъ, дѣлая плачущее лицо.—Ну, стоитъ ли изъ-за пустяковъ горячиться? Три ошибки... ни одной ошибки... ну, не все ли это равно?

— Нѣтъ, не все равно. У меня Бабкинъ никогда ошибокъ не дѣлалъ!

— Пристаетъ!—продолжалъ Ляпуновъ, сердито фыркая.—Пользуется своимъ положеніемъ больного человѣка и всѣхъ поѣдомъ ѣстъ. Ну, я, батенька, не погляжу, что вы больной!

— Оставьте мою болѣзнь въ покоѣ!—сердито крикнулъ Сысоевъ.—Какое вамъ дѣло? Зарядили всѣ одно: болѣзнь! болѣзнь! болѣзнь!.. Очень мнѣ нужно ваше сочувствіе! Да и откуда вы взяли, что я боленъ? Былъ до экзаменовъ боленъ, это правда, а теперь я совсѣмъ поправился, только слабость осталась.

— Выздоровѣлъ, ну, и слава Богу,—сказалъ законоучитель о. Николай, молодой священникъ въ франтоватой коричневой рясѣ и въ брюкахъ на выпускъ.—Радоваться нужно, а вы раздражаетесь и прочее тому подобное.

— Вы тоже хороши,—перебилъ его Сысоевъ.—Вопросы должны быть прямые, ясные, а вы все время загадки задавали. Такъ нельзя!

Его кое-какъ общими силами успокоили и усадили за столъ. Онъ долго выбиралъ, чего бы выпить, и, сдѣлавъ кислое лицо, выпилъ полрюмки какой-то зеленой настойки, затѣмъ потянулъ къ себѣ кусокъ пирога и кропотливо выбралъ изъ начинки яйца и лукъ. Съ перваго же глотка пирогъ показался ему прѣснымъ. Онъ посолилъ его и тотчасъ же сердито отодвинулъ, такъ какъ пирогъ былъ пересоленъ.

За обѣдомъ Сысоева посадили между инспекторомъ и Бруни. Послѣ перваго же блюда, по давно заведенному обычаю, начались тосты.

— Считаю пріятнымъ долгомъ,—началъ инспекторъ:—поблагодарить отсутствующихъ здѣсь попечителей школы Даніила Петровича и... и... и...

— И Ивана Петровича...—подсказалъ Бруни.

— И Ивана Петровича Куликиныхъ, не жалѣющихъ средствъ на школу, и предлагаю выпить за ихъ здоровье...

— Съ своей стороны,—сказалъ Бруни, вскочивъ, какъ ужаленный:—я предлагаю тостъ за здоровье уважаемаго инспектора народныхъ училищъ, Павла Геннадіевича Надарова!

Задвигались стулья, заулыбались лица и началось обычное чоканье. Третій тостъ всегда принадлежалъ Сысоеву. И на этотъ разъ онъ поднялся и сталъ говорить. Сдѣлавъ серьезное лицо и откашлявшись, онъ прежде всего заявилъ, что у него нѣтъ дара краснорѣчія и что говорить онъ не готовился. Далѣе онъ сказалъ, что за 11 лѣтъ его службы б[illegible] интригъ, подкоповъ и даже доносовъ на него

и что онъ знаетъ своихъ враговъ и доносчиковъ, но не желаетъ называть ихъ «изъ боязни испортить кое-кому аппетитъ»; несмотря на интриги, Куликинская школа заняла первое мѣсто во всей губерніи «не только въ нравственномъ, но даже и въ матеріальномъ отношеніи».

— Вездѣ, — сказалъ онъ:—учителя получаютъ 200 да 300, а я получаю 500 рублей, и къ тому же моя квартира отдѣлана заново и даже меблирована на счетъ фабрики. А въ этомъ году всѣ стѣны оклеены новыми обоями...

Далѣе учитель распространился о томъ, какъ щедро сравнительно съ земскими и казенными школами ученики снабжаются письменными принадлежностями. И всѣмъ этимъ, по его мнѣнію, школа обязана не хозяевамъ фабрики, живущимъ за границей и едва ли даже знающимъ о существованіи школы, а человѣку, который, несмотря на свое нѣмецкое происхожденіе и лютеранскую вѣру, имѣетъ русскую душу. Сысоевъ говорилъ долго, съ передышками и съ претензіей на витіеватость, и рѣчь его вышла тягучей и непріятной. Онъ нѣсколько разъ упомянулъ про какихъ-то враговъ своихъ, старался говорить намеками, повторялся, кашлялъ, некрасиво шевелилъ пальцами. Подъ конецъ онъ утомился, вспотѣлъ и сталъ говорить тихо, прерывисто, какъ бы про себя и кончилъ свою рѣчь не совсѣмъ складно:

— Итакъ, предлагаю выпить за Бруни, то-есть за Адольфа Андреича, который тутъ, между нами... вообще... и понятно.

Когда онъ кончилъ, всѣ легко вздохнули, какъ будто кто брызнулъ въ воздухъ холодной водой и разсѣялъ духоту. Непріятнаго чувства не испыталъ, повидимому, одинъ только Бруни. Сіяя и закатывая свои сентиментальные глаза, нѣмецъ съ чувствомъ потрясъ руку Сысоеву и опять заласкался, какъ собака.

— О, благодарю васъ!—сказалъ онъ, дѣлая удареніе на *о* и прижимая лѣвую руку къ сердцу.—Я очень счастливъ, что вы меня понимаете! Я всей душой, я желаю всего лучшаго! Но только долженъ я вамъ замѣтить, вы преувеличиваете мое значеніе. Своимъ процвѣтаніемъ школа обязана только вамъ, почтеннѣйшій мой другъ, Ѳедоръ Лукичъ! Безъ васъ она ничѣмъ не отличалась бы отъ другихъ школъ! Вы думаете: нѣмецъ говоритъ комплиментъ, нѣмецъ

говоритъ деликатности. Ха-ха! Нѣтъ, душа моя, Өедоръ Лукичъ, я честный человѣкъ и никогда не говорю комплиментовъ. Если мы платимъ вамъ пятьсотъ рублей въ годъ, то, значитъ, вы дороги намъ. Не такъ ли? Господа, вѣдь я правду говорю? Другому мы не платили бы столько... Помилуйте, хорошая школа—это честь для фабрики!

— Я долженъ искренно сознаться, что ваша школа дѣйствительно необыкновенна, — сказалъ инспекторъ.—Не подумайте, что это өиміамъ. По крайней мѣрѣ другой такой мнѣ не приходилось встрѣчать во всю жизнь. Я сидѣлъ у васъ на экзаменѣ и все время удивлялся... Чудо, что за дѣти! Много знаютъ и бойко отвѣчаютъ и притомъ они у васъ какія-то особенныя, незапуганныя, искреннія... Замѣтно, что и васъ любятъ, Өедоръ Лукичъ. Вы педагогъ до мозга костей, вы, должно-быть, родились учителемъ. Всѣ данныя въ васъ: и врожденное призваніе, и многолѣтній опытъ, и любовь къ дѣлу... Просто удивительно, сколько у васъ при слабости здоровья энергіи, знанія дѣла... этой, понимаете ли, выдержки, увѣренности! Правду сказалъ кто-то въ училищномъ совѣтѣ, что вы поэтъ въ своемъ дѣлѣ... Именно поэтъ!

И всѣ обѣдавшіе единодушно, какъ одинъ человѣкъ, заговорили о необыкновенномъ талантѣ Сысоева. И точно плотина прорвалась: потекли искреннія, восторженныя рѣчи, какихъ не говоритъ человѣкъ, когда его сдерживаетъ разсчетливая и осторожная трезвость. Были забыты и рѣчь Сысоева, и его несносный характеръ, и злое, нехорошее выраженіе лица. Разговорились всѣ, даже молчаливые и робкіе, вновь назначенные учителя, убогіе, забитые юноши, иначе не величавшіе инспектора, какъ «ваше высокоблагородіе». Ясно, что въ своемъ кругу Сысоевъ былъ личностью замѣчательной.

Привыкшій за 14 лѣтъ службы къ успѣхамъ и похваламъ, онъ равнодушно прислушивался къ восторженному гулу своихъ почитателей.

Вмѣсто него похвалами упивался Бруни. Нѣмецъ ловилъ каждое слово, сіялъ, хлопалъ въ ладоши и застѣнчиво краснѣлъ, точно похвалы относились не къ учителю, а къ нему.

— Браво! Браво!—кричалъ онъ.—Вѣрно! Вы угадали мою мысль!.. Отлично!..

Онъ заглядывалъ учителю въ глаза, какъ бы желая подѣлиться съ нимъ своимъ блаженствомъ. Въ концѣ концовъ онъ не выдержалъ, вскочилъ и, покрывая всѣ голоса своимъ визгливымъ тенорокомъ, прокричалъ:

— Господа! Позвольте мнѣ говорить! Тсс! На всѣ ваши слова я могу только одно сказать: фабричная администрація не останется въ долгу у Ѳедора Лукича!..

Всѣ смолкли. Сысоевъ поднялъ глаза на розовое лицо нѣмца.

— Мы умѣемъ цѣнить,—продолжалъ Бруни, дѣлая серьезное лицо и понижая голосъ.—На всѣ ваши слова я долженъ сказать вамъ, что... семья Ѳедора Лукича будетъ обезпечена и что на этотъ предметъ мѣсяцъ тому назадъ уже положенъ въ банкъ капиталъ.

Сысоевъ вопросительно поглядѣлъ на нѣмца, на товарищей, какъ бы недоумѣвая: почему будетъ обезпечена семья, а не онъ самъ? И тутъ на всѣхъ лицахъ, во всѣхъ неподвижныхъ, устремленныхъ на него взглядахъ, онъ прочелъ не сочувствіе, не состраданіе, которыхъ онъ терпѣть не могъ, а что-то другое, что-то мягкое, нѣжное и въ то же время въ высшей степени зловѣщее, похожее на страшную истину, что-то такое, что въ одно мгновеніе наполнило его тѣло холодомъ, а душу невыразимымъ отчаяніемъ. Съ блѣднымъ, покрившимся лицомъ, онъ вдругъ вскочилъ и схватилъ себя за голову. Четверть минуты простоялъ онъ такъ, съ ужасомъ глядѣлъ впередъ въ одну точку, какъ будто видѣлъ передъ собою эту близкую смерть, о которой говорилъ Бруни, потомъ сѣлъ и заплакалъ.

— Полноте!.. Что съ вами?..—слышалъ онъ встревоженные голоса.—Воды! Выпейте воды!

Прошло немного времени и учитель успокоился, но уже прежнее оживленіе не возвращалось къ обѣдающимъ. Обѣдъ кончился въ угрюмомъ молчаніи и гораздо раньше, чѣмъ въ прошлые годы.

Придя домой, Сысоевъ прежде всего поглядѣлся въ зеркало.

«Конечно, напрасно я тамъ разревѣлся!» — думалъ онъ, глядя на свои глаза съ темными кругами и на впалыя щеки. — Сегодня у меня цвѣтъ лица гораздо лучше, чѣмъ вчера. У меня малокровіе и катаръ желудка, а кашель у меня желудочный.

стально на отца, опять принимался за ѣду. Наконецъ, когда подали кашу, онъ рѣшительно кашлянулъ и сказалъ:

— Мнѣ бы сегодня ѣхать съ вечернимъ поѣздомъ. Давно пора, а то я ужъ и такъ двѣ недѣли пропустилъ. Лекціи начинаются перваго сентября!

— И поѣзжай,—согласился Ширяевъ.—Чего тебѣ тутъ ждать? Возьми и поѣзжай съ Богомъ.

Прошла минута въ молчаніи.

— Ему, Евграфъ Иванычъ, денегъ на дорогу надо...— тихо проговорила мать.

— Денегъ? Что жъ! Безъ денегъ не уѣдешь. Коли нужно, хоть сейчасъ бери. Давно бы взялъ!

Студентъ легко вздохнулъ и весело переглянулся съ матерью. Ширяевъ не спѣша вынулъ изъ бокового кармана бумажникъ и надѣлъ очки.

— Сколько тебѣ?—спросилъ онъ.

— Собственно дорога до Москвы стоитъ одиннадцать рублей сорокъ двѣ...

— Эхъ, деньги, деньги! — вздохнулъ отецъ (онъ всегда вздыхалъ, когда видѣлъ деньги, даже получая ихъ).—Вотъ тебѣ двѣнадцать. Тутъ, братъ, будетъ сдача, такъ это тебѣ въ дорогѣ сгодится.

— Благодарю васъ.

Немного погодя, студентъ сказалъ:

— Въ прошломъ году я не сразу попалъ на урокъ. Не знаю, что будетъ въ этомъ году; вѣроятно, не скоро найду себѣ заработокъ. Я просилъ бы васъ дать мнѣ рублей пятнадцать на квартиру и обѣдъ.

Ширяевъ подумалъ и вздохнулъ.

— Будетъ съ тебя и десяти,—сказалъ онъ.—На, возьми!

Студентъ поблагодарилъ. Слѣдовало бы попросить еще на одежду, на плату за слушаніе лекцій, на книги, но поглядѣвъ пристально на отца, онъ рѣшилъ уже больше не приставать къ нему. Мать же, неполитичная и неразсудительная, какъ всѣ матери, не выдержала и сказала:

— Ты бы, Евграфъ Иванычъ, далъ ему еще рублей шесть на сапоги. Ну, какъ ему, погляди, ѣхать въ Москву въ такой рвани?

— Пусть мои старые возьметъ. Они еще совсѣмъ новые.

— Хоть бы на брюки далъ. На него глядѣть срамъ...

И послѣ этого тотчасъ же показался буревѣстникъ, пе-

редъ которымъ трепетала вся семья: короткая, упитанная шея Ширяева стала вдругъ красной, какъ кумачъ. Краска медленно поползла къ ушамъ, отъ ушей къ вискамъ и мало-по-малу залила все лицо. Евграфъ Иванычъ задвигался на стулѣ и разстегнулъ воротникъ сорочки, чтобы не было душно. Видимо онъ боролся съ чувствомъ, которое овладѣвало имъ. Наступила мертвая тишина. Дѣти притаили дыханіе, Ѳедосья же Семеновна, словно не понимая, что дѣлается съ ея мужемъ, продолжала:

— Вѣдь онъ уже не маленькій. Ему совѣстно ходить раздѣтымъ.

Ширяевъ вдругъ вскочилъ и изо всей силы швырнулъ на середину стола свой толстый бумажникъ, такъ что сшибъ съ тарелки ломоть хлѣба. На лицѣ его вспыхнуло отвратительное выраженіе гнѣва, обиды, жадности — всего этого вмѣстѣ.

— Берите все! — крикнулъ онъ не своимъ голосомъ.— Грабьте! Берите все! Душите!

Онъ выскочилъ изъ-за стола, схватилъ себя за голову и, спотыкаясь, забѣгалъ по комнатѣ.

— Обирайте все до нитки! — кричалъ онъ визгливымъ голосомъ.—Выжимайте послѣднее! Грабьте! Душите за горло!

Студентъ покраснѣлъ и опустилъ глаза. Онъ не могъ уже ѣсть. Ѳедосья Семеновна, не привыкшая за двадцать пять лѣтъ къ тяжелому характеру мужа, вся съежилась и залепетала что-то въ свое оправданіе. На ея истощенномъ птичьемъ лицѣ, всегда тупомъ и испуганномъ, появилось выраженіе изумленія и тупого страха. Ребята и старшая дочь Варвара, дѣвушка-подростокъ съ блѣднымъ, некрасивымъ лицомъ, положили свои ложки и замерли.

Ширяевъ, свирѣпѣя все болѣе, произнося слова одно другого ужаснѣе, подскочилъ къ столу и сталъ вытряхивать изъ бумажника деньги.

— Берите!—бормоталъ онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.—Объѣли, опили, такъ на-те вамъ и деньги! Ничего мнѣ не нужно! Шейте себѣ новые сапоги и мундиры!

Студентъ поблѣднѣлъ и поднялся.

— Послушайте, папаша,—началъ онъ, задыхаясь.—Я... я прошу васъ прекратить, потому что...

— Молчи!—крикнулъ на него отецъ и такъ громко, что очки у него свалились съ носа.—Молчи!

— Прежде я... я могъ сносить подобныя сцены, но... теперь я отвыкъ. Понимаете? Я отвыкъ!

— Молчи! — крикнулъ отецъ и затопалъ ногами. — Ты долженъ слушать, что я говорю! Что хочу, то и говорю, а ты—молчать! Въ твои годы я деньги зарабатывалъ, а ты, подлецъ, знаешь, сколько мнѣ стоишь? Я тебя выгоню! Дармоѣдъ!

— Евграфъ Иванычъ,—пробормотала Ѳедосья Семеновна, нервно шевеля пальцами.—Вѣдь онъ... вѣдь Петя...

— Молчи! — крикнулъ на нее Ширяевъ, и даже слезы выступили у него на глазахъ отъ гнѣва.—Это ты ихъ избаловала! Ты! Ты всему виновата! Онъ насъ не почитаетъ, Богу не молится, денегъ не зарабатываетъ! Васъ десятеро, а я одинъ! Изъ дому я васъ выгоню!

Дочь Варвара долго глядѣла на мать, разинувъ ротъ, потомъ перевела тупой взглядъ на окно, поблѣднѣла и, громко вскрикнувъ, откинулась на спинку стула. Отецъ махнулъ рукой, плюнулъ и выбѣжалъ на дворъ.

Этимъ обыкновенно заканчивались у Ширяевыхъ ихъ семейныя сцены. Но тутъ, къ несчастью, студентомъ Петромъ овладѣла вдругъ непреодолимая злоба. Онъ былъ такъ же вспыльчивъ и тяжелъ, какъ его отецъ и его дѣдъ протопопъ, бившій прихожанъ палкой по головамъ. Блѣдный, съ сжатыми кулаками подошелъ онъ къ матери и прокричалъ самой высокой теноровой нотой, какую только онъ могъ взять:

— Мнѣ гадки, отвратительны эти попреки! Ничего мнѣ отъ васъ не нужно! Ничего! Скорѣй съ голоду умру, чѣмъ съѣмъ у васъ еще хоть одну крошку! На-те вамъ назадъ ваши подлыя деньги! Возьмите!

Мать прижалась къ стѣнѣ и замахала руками, точно передъ нею стоялъ не сынъ, а привидѣніе.

— Чѣмъ же я виновата?—заплакала она.—Чѣмъ?

Сынъ такъ же, какъ и отецъ, махнулъ рукой и выбѣжалъ на дворъ. Домъ Ширяева стоялъ одиночкой у балки, которая бороздой проходила по степи верстъ на пять. Края ея поросли молодымъ дубомъ и ольхой, а на днѣ бѣжалъ ручей. Домъ одною стороною глядѣлъ на балку, другою выходилъ въ поле. Заборовъ и плетней не было. Ихъ замѣняли всякаго рода стройки, тѣсно жавшіяся другъ къ другу и замыкавшія передъ домомъ небольшое простран-

ство, которое считалось дворомъ и гдѣ ходили куры, утки и свиньи.

Выйдя наружу, студентъ пошелъ по грязной дорогѣ въ поле. Въ воздухѣ стояла осенняя, пронизывающая сырость. Дорога была грязна, блестѣли тамъ и сямъ лужицы, а въ желтомъ полѣ изъ травы глядѣла сама осень; унылая, гнилая, темная. По правую сторону дороги былъ огородъ, весь изрытый, мрачный, кое-гдѣ возвышались на немъ подсолнечники съ опущенными, уже черными головами.

Петръ думалъ, что не дурно бы пойти въ Москву пѣшкомъ, пойти, какъ есть, безъ шапки, въ рваныхъ сапогахъ и безъ копейки денегъ. На сотой верстѣ его догонитъ встрепанный и испуганный отецъ, начнетъ просить его вернуться или принять деньги, но онъ даже не взглянетъ на него, а все будетъ идти, идти... Голые лѣса будутъ смѣняться унылыми полями, поля—лѣсами; скоро земля забѣлѣетъ первымъ снѣгомъ, и рѣчки подернутся льдомъ... Гдѣ-нибудь подъ Курскомъ или подъ Серпуховымъ онъ, обезсиленный и умирающій отъ голода, свалится и умретъ. Его трупъ найдутъ и во всѣхъ газетахъ появится извѣстіе, что тамъ-то студентъ такой-то умеръ отъ голода...

Бѣлая собака съ грязнымъ хвостомъ, бродившая по огороду и чего-то искавшая, поглядѣла на него и побрела за нимъ...

Онъ шелъ по дорогѣ и думалъ о смерти, о горѣ близкихъ, о нравственныхъ мученіяхъ отца, и тутъ же рисовалъ себѣ всевозможныя дорожныя приключенія, одно другого причудливѣе, живописныя мѣста, страшныя ночи, нечаянныя встрѣчи. Вообразилъ онъ вереницу богомолокъ, избушку въ лѣсу съ однимъ окошкомъ, которое ярко свѣтится въ потемкахъ; онъ стоитъ передъ окошкомъ, просится на ночлегъ... его пускаютъ и—вдругъ онъ видитъ разбойниковъ. А то еще лучше, попадаетъ онъ въ большой помѣщичій домъ, гдѣ, узнавъ, кто онъ, поятъ и кормятъ его, играютъ ему на рояли, слушаютъ его жалобы, и въ него влюбляется хозяйская дочь красавица.

Занятый своимъ горемъ и подобными мыслями, молодой Ширяевъ все шелъ и шелъ... Впереди далеко-далеко на сѣромъ облачномъ фонѣ темнѣлъ постоялый дворъ; еще дальше двора, на самомъ горизонтѣ виденъ былъ маленькій бу-

горокъ; это станція желѣзной дороги. Этотъ бугорокъ напомнилъ ему связь, существующую между мѣстомъ, гдѣ онъ теперь стоялъ, и Москвой, въ которой горятъ фонари, стучатъ экипажи, читаются лекціи. И онъ едва не заплакалъ отъ тоски и нетерпѣнія. Эта торжественная природа со своимъ порядкомъ и красотой, эта мертвая тишина кругомъ опротивѣли ему до отчаянія, до ненависти!

— Берегись!—услышалъ онъ сзади себя громкій голосъ, Мимо студента въ легкомъ, изящномъ ландо прокатила знакомая старушка-помѣщица. Онъ поклонился ей и улыбнулся во все лицо. И тотчасъ же онъ поймалъ себя на этой улыбкѣ, которая совсѣмъ не шла къ его мрачному настроенію. Откуда она, если вся его душа полна досады и тоски?

И онъ подумалъ, что, вѣроятно, сама природа дала человѣку эту способность лгать, чтобы онъ даже въ тяжелыя минуты душевнаго напряженія могъ хранить тайны своего гнѣзда, какъ хранитъ ихъ лисица или дикая утка. Въ каждой семьѣ есть свои радости и свои ужасы, но какъ они ни велики, трудно увидать ихъ постороннему глазу; они тайна. У этой помѣщицы, напр., которая только-что проѣхала мимо, родной отецъ за какую-то неправду полжизни несъ гнѣвъ царя Николая, мужъ ея былъ картежникомъ, изъ четырехъ сыновей ни изъ одного не вышло толку. Можно же представить себѣ, сколько въ ея семьѣ происходило ужасныхъ сценъ, сколько пролито слезъ. А между тѣмъ старуха казалась счастливою, довольной и на его улыбку отвѣтила тоже улыбкой. Вспомнилъ студентъ своихъ товарищей, которые неохотно говорятъ о семьяхъ, вспомнилъ свою мать, которая почти всегда лжетъ, когда ей приходится говорить о мужѣ и дѣтяхъ...

До самыхъ сумерекъ Петръ ходилъ далеко отъ дома по дорогамъ и предавался невеселымъ мыслямъ. Когда заморосилъ дождь, онъ направился къ дому. Возвращаясь, онъ рѣшилъ, во что бы то ни стало, поговорить съ отцомъ, втолковать ему, разъ и навсегда, что съ нимъ тяжело и страшно жить.

Дома засталъ онъ тишину. Сестра Варвара лежала за перегородкой и слегка стонала отъ головной боли. Мать съ удивленнымъ, виноватымъ лицомъ сидѣла около нея на сундукѣ и починяла брюки Архипки. Евграфъ Иванычъ

ходилъ отъ окна къ окну и хмурился на погоду. По его походкѣ, по кашлю и даже по затылку видно было, что онъ чувствовалъ себя виноватымъ.

— Стало-быть, ты раздумалъ сегодня ѣхать? — спросилъ онъ.

Студенту стало жаль его, но тотчасъ же, пересиливъ это чувство, онъ сказалъ:

— Послушайте... Мнѣ нужно поговорить съ вами серьезно... Да, серьезно... Всегда я уважалъ васъ и... и никогда не рѣшался говорить съ вами такимъ тономъ, но ваше поведеніе... послѣдній поступокъ...

Отецъ глядѣлъ въ окно и молчалъ. Студентъ, какъ бы придумывая слова, потеръ себѣ лобъ и продолжалъ въ сильномъ волненіи:

— Не проходитъ обѣда и чая, чтобы вы не поднимали шума. Вашъ хлѣбъ останавливается у всѣхъ поперекъ горла... Нѣтъ ничего оскорбительнѣе, унизительнѣе, какъ попреки кускомъ хлѣба... Вы хоть и отецъ, но никто, ни Богъ, ни природа, не дали вамъ права такъ тяжко оскорблять, унижать, срывать на слабыхъ свое дурное расположеніе. Вы замучили, обезличили мать, сестра безнадежно забита, а я...

— Не твое дѣло меня учить,—сказалъ отецъ.

— Нѣтъ, мое дѣло! Надо мной можете издѣваться, сколько вамъ угодно, но мать оставьте въ покоѣ! Я не позволю вамъ мучить мать! — продожалъ студентъ, сверкая глазами. — Вы избалованы, потому что никто еще не рѣшался идти противъ васъ. Передъ вами трепетали, нѣмѣли, но теперь кончено! Грубый, невоспитанный человѣкъ! Вы грубы... понимаете? вы грубы, тяжелы, черствы! И мужики васъ терпѣть не могутъ!

Студентъ уже потерялъ нить и не говорилъ уже, а точно выпаливалъ отдѣльными словами. Евграфъ Ивановичъ слушалъ и молчалъ, какъ бы ошеломленный; но вдругъ шея его побагровѣла, краска поползла по лицу, и онъ задвигался.

— Молчать!—крикнулъ онъ.

— Ладно! — не унимался сынъ. — Не любите слушать правду? Отлично! Хорошо! Начинайте кричать! Отлично!

— Молчать, тебѣ говорю!—заревѣлъ Евграфъ Ивановичъ.

Въ дверяхъ показалась Ѳедосья Семеновна съ удивлен-

нымъ лицомъ, очень блѣдная; хотѣла она что-то сказать и не могла, а только шевелила пальцами.

— Это ты виновата!—крикнулъ ей Ширяевъ.—Ты его такъ воспитала!

— Я не желаю жить болѣе въ этомъ домѣ! — крикнулъ студентъ, плача и глядя на мать со злобой.—Не желаю я съ вами жить!

Дочь Варвара вскрикнула за ширмой и громко зарыдала. Ширяевъ махнулъ рукой и выбѣжалъ изъ дому.

Студентъ пошелъ къ себѣ и тихо легъ. До самой полночи лежалъ онъ неподвижно и не открывая глазъ. Онъ не чувствовалъ ни злобы, ни стыда, а какую-то неопредѣленную душевную боль. Онъ не обвинялъ отца, не жалѣлъ матери, не терзалъ себя угрызеніями; ему понятно было, что всѣ въ домѣ теперь испытываютъ такую же боль, а кто виноватъ, кто страдаетъ болѣе, кто менѣе, Богу извѣстно...

Въ полночь онъ разбудилъ работника и приказалъ ему приготовить къ пяти часамъ утра лошадь, чтобы ѣхать на станцію, раздѣлся и укрылся, но уснуть не могъ. Слышно ему было до самаго утра, какъ не спавшій отецъ тихо бродилъ отъ окна къ окну и вздыхалъ. Никто не спалъ; всѣ говорили рѣдко, только шопотомъ. Два раза къ нему за ширмы приходила мать. Все съ тѣмъ же удивленно-тупымъ выраженіемъ, она долго крестила его и нервно вздрагивала...

Въ пять часовъ утра студентъ нѣжно простился со всѣми и даже поплакалъ. Проходя мимо отцовской комнаты, онъ заглянулъ въ дверь. Евграфъ Ивановичъ одѣтый, еще не ложившійся, стоялъ у окна и барабанилъ по стекламъ.

— Прощайте, я ѣду,—сказалъ сынъ.

— Прощай... Деньги на кругломъ столикѣ... — отвѣтилъ отецъ, не поворачиваясь.

Когда работникъ везъ его на станцію, шелъ противный, холодный дождь. Подсолнечники еще ниже нагнули свои головы и трава казалась темнѣе.

# ДУЭЛЬ.

Было восемь часовъ утра—время, когда офицеры, чиновники и пріѣзжіе обыкновенно послѣ жаркой, душной ночи купались въ морѣ и потомъ шли въ павильонъ пить кофе или чай. Иванъ Андреичъ Лаевскій, молодой человѣкъ лѣтъ 28, худощавый блондинъ, въ фуражкѣ министерства финансовъ и въ туфляхъ, придя купаться, засталъ на берегу много знакомыхъ и между ними своего пріятеля, военнаго доктора Самойленко.

Съ большой стриженой головой, безъ шеи, красный, носастый, съ мохнатыми черными бровями и съ сѣдыми бакенами, толстый, обрюзглый, да еще вдобавокъ съ хриплымъ армейскимъ басомъ, этотъ Самойленко на всякаго вновь пріѣзжавшаго производилъ непріятное впечатлѣніе бурбона и хрипуна, но проходило два-три дня послѣ перваго знакомства, и лицо его начинало казаться необыкновенно добрымъ, милымъ и даже красивымъ. Несмотря на свою неуклюжесть и грубоватый тонъ, это былъ человѣкъ смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всѣми въ городѣ онъ былъ на ты, всѣмъ давалъ деньги взаймы, всѣхъ лѣчилъ, сваталъ, мирилъ, устраивалъ пикники, на которыхъ жарилъ шашлыкъ и варилъ очень вкусную уху изъ кэфалей; всегда онъ за кого-нибудь хлопоталъ и просилъ и всегда чему-нибудь радовался. По общему мнѣнію, онъ былъ безгрѣшенъ, и водились за нимъ только двѣ слабости: во-первыхъ, онъ стыдился своей

доброты и старался маскировать ее суровымъ взглядомъ и напускною грубостью и, во-вторыхъ, онъ любилъ, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашимъ превосходительствомъ, хотя былъ только статскимъ совѣтникомъ.

— Отвѣть мнѣ, Александръ Давидычъ, на одинъ вопросъ, — началъ Лаевскій, когда оба они, онъ и Самойленко, вошли въ воду по самыя плечи. — Положимъ, ты полюбилъ женщину и сошелся съ ней; прожилъ ты съ нею, положимъ, больше двухъ лѣтъ и потомъ, какъ это случается, разлюбилъ и сталъ чувствовать, что она для тебя чужая. Какъ бы ты поступилъ въ такомъ случаѣ?

— Очень просто. Иди, матушка, на всѣ четыре стороны— и разговоръ весь.

— Легко сказать! Но если ей дѣваться некуда? Женщина она одинокая, безродная, денегъ ни гроша, работать не умѣетъ...

— Что жъ? Единовременно пятьсотъ въ зубы, или двадцать пять по-мѣсячно—и никакихъ. Очень просто.

— Допустимъ, что у тебя есть и пятьсотъ, и двадцать пять по-мѣсячно, но женщина, о которой я говорю, интеллигентна и горда. Неужели ты рѣшился бы предложить ей деньги? И въ какой формѣ?

Самойленко хотѣлъ что-то отвѣтить, но въ это время большая волна накрыла ихъ обоихъ, потомъ ударилась о берегъ и съ шумомъ покатилась назадъ по мелкимъ камнямъ. Пріятели вышли на берегъ и стали одѣваться.

— Конечно, мудрено жить съ женщиной, если не любишь,—сказалъ Самойленко, вытрясая изъ сапога песокъ.— Но надо, Ваня, разсуждать по человѣчности. Доведись до меня, то я бы и виду ей не показалъ, что разлюбилъ, а жилъ бы съ ней до самой смерти.

Ему вдругъ стало стыдно своихъ словъ; онъ спохватился и сказалъ:

— А по мнѣ хоть бы и вовсе бабъ не было. Ну ихъ къ лѣшему!

Пріятели одѣлись и пошли въ павильонъ. Тутъ Самойленко былъ своимъ человѣкомъ, и для него имѣлась даже особая посуда. Каждое утро ему подавали на подносѣ чашку кофе, высокій граненый стаканъ съ водою и со льдомъ и рюмку коньяку; онъ сначала выпивалъ коньякъ, потомъ горячій кофе, потомъ воду со льдомъ, и это, должно-

быть, было очень вкусно, потому что послѣ питья глаза у него становились масляными, онъ обѣими руками разглаживалъ бакены и говорилъ, глядя на море:

— Удивительно великолѣпный видъ!

Послѣ долгой ночи, потраченной на невеселыя, безполезныя мысли, которыя мѣшали спать и, казалось, усиливали духоту и мракъ ночи, Лаевскій чувствовалъ себя разбитымъ и вялымъ. Отъ купанья и кофе ему не стало лучше.

— Будемъ, Александръ Давидычъ, продолжать нашъ разговоръ,—сказалъ онъ.—Я не буду скрывать и скажу тебѣ откровенно, какъ другу: дѣла мои съ Надеждой Ѳедоровной плохи... очень плохи! Извини, что я посвящаю тебя въ свои тайны, но мнѣ необходимо высказаться.

Самойленко, предчувствовавшій, о чемъ будетъ рѣчь, потупилъ глаза и застучалъ пальцами по столу.

— Я прожилъ съ нею два года и разлюбилъ...—продолжалъ Лаевскій: — то-есть, вѣрнѣе, я понялъ, что никакой любви не было... Эти два года были—обманъ.

У Лаевскаго была привычка во время разговора внимательно осматривать свои розовыя ладони, грызть ногти, или мять пальцами манжеты. И теперь онъ дѣлалъ то же самое.

— Я отлично знаю, ты не можешь мнѣ помочь, — сказалъ онъ:—но говорю тебѣ, потому что для нашего брата-неудачника и лишняго человѣка все спасеніе въ разговорахъ. Я долженъ обобщать каждый свой поступокъ, я долженъ находить объясненіе и оправданіе своей нелѣпой жизни въ чьихъ-нибудь теоріяхъ, въ литературныхъ типахъ, въ томъ, напримѣръ, что мы, дворяне, вырождаемся и прочее... Въ прошлую ночь, напримѣръ, я утѣшалъ себя тѣмъ, что все время думалъ: ахъ, какъ правъ Толстой, безжалостно правъ! И мнѣ было легче отъ этого. Въ самомъ дѣлѣ, братъ, великій писатель! Что ни говори.

Самойленко, никогда не читавшій Толстого и каждый день собиравшійся прочесть его, сконфузился и сказалъ:

— Да, всѣ писатели пишутъ изъ воображенія, а онъ прямо съ натуры...

— Боже мой,—вздохнулъ Лаевскій:—до какой степени мы искалѣчены цивилизаціей! Полюбилъ я замужнюю женщину; она меня тоже... Въ началѣ у насъ были и поцѣлуи, и тихіе вечера, и клятвы, и Спенсеръ, и идеалы, и

общіе интересы... Какая ложь! Мы бѣжали въ сущности отъ мужа, но лгали себѣ, что бѣжимъ отъ пустоты нашей интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось намъ такъ: въ началѣ на Кавказѣ, пока мы ознакомимся съ мѣстомъ и людьми, я надѣну вицъ-мундиръ и буду служить, потомъ же на просторѣ возьмемъ себѣ клокъ земли, будемъ трудиться въ потѣ лица, заведемъ виноградникъ, поле и прочее. Если бы вмѣсто меня былъ ты, или этотъ твой зоологъ фонъ-Коренъ, то вы, быть-можетъ, прожили бы съ Надеждой Ѳедоровной тридцать лѣтъ и оставили бы своимъ наслѣдникамъ богатый виноградникъ и тысячу десятинъ кукурузы, я же почувствовалъ себя банкротомъ съ перваго дня. Въ городѣ невыносимая жара; скука, безлюдье, а выйдешь въ поле, тамъ подъ каждымъ кустомъ и камнемъ чудятся фаланги, скорпіоны и змѣи, а за полемъ горы и пустыня. Чуждые люди, чуждая природа, жалкая культура — все это, братъ, не такъ легко, какъ гулять по Невскому въ шубѣ, подъ ручку съ Надеждой Ѳедоровной, и мечтать о теплыхъ краяхъ. Тутъ нужна борьба не на жизнь, а на смерть, а какой я боецъ? Жалкій неврастеникъ, бѣлоручка... Съ перваго же дня я понялъ, что мысли мои о трудовой жизни и виноградникѣ — ни къ чорту. Что же касается любви, то я долженъ тебѣ сказать, что жить съ женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край свѣта, такъ же не интересно, какъ съ любой Анфисой, или Акулиной. Такъ же пахнетъ утюгомъ, пудрой и лѣкарствами, тѣ же папильотки каждое утро и тотъ же самообманъ...

— Безъ утюга нельзя въ хозяйствѣ, — сказалъ Самойленко, краснѣя отъ того, что Лаевскій говоритъ съ нимъ такъ откровенно о знакомой дамѣ.—Ты, Ваня, сегодня не въ духѣ, я замѣчаю. Надежда Ѳедоровна женщина прекрасная, образованная, ты — величайшаго ума человѣкъ... Конечно, вы не вѣнчаны, — продолжалъ Самойленко, оглядываясь на сосѣдніе столы: — но вѣдь это не ваша вина и къ тому же... надо быть безъ предразсудковъ и стоять на уровнѣ современныхъ идей. Я самъ стою за гражданскій бракъ, да... Но, по-моему, если разъ сошлись, то надо жить до самой смерти.

— Безъ любви?

— Я тебѣ сейчасъ объясню, — сказалъ Самойленко.—

Лѣтъ восемь назадъ у насъ тутъ былъ агентомъ старичокъ, величайшаго ума человѣкъ. Такъ вотъ онъ говаривалъ: въ семейной жизни главное — терпѣніе. Слышишь, Ваня? Не любовь, а терпѣніе. Любовь продолжаться долго не можетъ. Года два ты прожилъ въ любви, а теперь очевидно, твоя семейная жизнь вступила въ тотъ періодъ, когда ты, чтобы сохранить равновѣсіе, такъ сказать, долженъ пустить въ ходъ все свое терпѣніе...

— Ты вѣришь своему старичку-агенту, для меня же его совѣтъ — безсмыслица. Твой старичокъ могъ лицемѣрить, онъ могъ упражняться въ терпѣніи и при этомъ смотрѣть на нелюбимаго человѣка, какъ на предметъ, необходимый для его упражненій, но я еще не палъ такъ низко; если мнѣ захочется упражняться въ терпѣніи, то я куплю себѣ гимнастическія гири или норовистую лошадь, но человѣка оставлю въ покоѣ.

Самойленко потребовалъ бѣлаго вина со льдомъ. Когда выпили по стакану, Лаевскій вдругъ спросилъ:

— Скажи, пожалуйста, что значитъ размягченіе мозга?

— Это, какъ бы тебѣ объяснить... такая болѣзнь, когда мозги становятся мягче... какъ бы разжижаются.

— Излѣчимо?

— Да, если болѣзнь не запущена. Холодные души, мушка... Ну, внутрь чего-нибудь.

— Такъ... Такъ вотъ видишь ли, какое мое положеніе. Жить съ нею я не могу: это выше силъ моихъ. Пока я съ тобой, я вотъ и философствую, и улыбаюсь, но дома я совершенно падаю духомъ. Мнѣ до такой степени жутко, что если бы мнѣ сказали, положимъ, что я обязанъ прожить съ нею еще хоть одинъ мѣсяцъ, то я, кажется, пустилъ бы себѣ пулю въ лобъ. И въ то же время разойтись съ ней нельзя. Она одинока, работать не умѣетъ, денегъ нѣтъ ни у меня, ни у нея... Куда она дѣнется? Къ кому пойдетъ? Ничего не придумаешь... Ну, вотъ, скажи: что̀ дѣлать?

— М-да... — промычалъ Самойленко, не зная, что̀ отвѣтить.—Она тебя любитъ?

— Да, любитъ настолько, насколько ей въ ея годы и при ея темпераментѣ нуженъ мужчина. Со мной ей было бы такъ же трудно разстаться, какъ съ пудрой, или папильотками. Я для нея необходимая составная часть ея будуара.

Самойленко сконфузился.

— Ты сегодня, Ваня, не въ духѣ, — сказалъ онъ. — Не спалъ, должно-быть.

— Да, плохо спалъ... Вообще, братъ, скверно себя чувствую. Въ головѣ пусто, замиранія сердца, слабость какая-то... Бѣжать надо!

— Куда?

— Туда, на сѣверъ. Къ соснамъ, къ грибамъ, къ людямъ, къ идеямъ... Я бы отдалъ полжизни, чтобы теперь гдѣ-нибудь въ Московской губерніи, или въ Тульской, выкупаться въ рѣчкѣ, озябнуть, знаешь, потомъ бродить часа три хоть съ самымъ плохенькимъ студентомъ и болтать, болтать... А сѣномъ-то какъ пахнетъ! Помнишь? А по вечерамъ, когда гуляешь въ саду, изъ дому доносятся звуки рояля, слышно, какъ идетъ поѣздъ...

Лаевскій засмѣялся отъ удовольствія, на глазахъ у него выступили слезы и, чтобы скрыть ихъ, онъ, не вставая съ мѣста, потянулся къ сосѣднему столу за спичками.

— А я уже восемнадцать лѣтъ не былъ въ Россіи, — сказалъ Самойленко. — Забылъ ужъ, какъ тамъ. По-моему, великолѣпнѣе Кавказа и края нѣтъ.

— У Верещагина есть картина: на днѣ глубочайшаго колодца томятся приговоренные къ смерти. Такимъ вотъ точно колодцемъ представляется мнѣ твой великолѣпный Кавказъ. Если бы мнѣ предложили что-нибудь изъ двухъ: быть трубочистомъ въ Петербургѣ, или быть здѣшнимъ княземъ, то я взялъ бы мѣсто трубочиста.

Лаевскій задумался. Глядя на его согнутое тѣло, на глаза, устремленные въ одну точку, на блѣдное, вспотѣвшее лицо и впалые виски, на изгрызенные ногти и на туфлю, которая свѣсилась у пятки и обнаружила дурно заштопанный чулокъ, Самойленко проникся жалостью и, вѣроятно, потому, что Лаевскій напомнилъ ему безпомощнаго ребенка, спросилъ:

— Твоя мать жива?

— Да, но мы съ ней разошлись. Она не могла мнѣ простить этой связи.

Самойленко любилъ своего пріятеля. Онъ видѣлъ въ Лаевскомъ добраго малаго, студента, человѣка-рубаху, съ которымъ можно было и выпить, и посмѣяться, и потолковать по душѣ. То, что онъ понималъ въ немъ, ему крайне не

нравилось. Лаевскій пилъ много и не во-время, игралъ въ карты, презиралъ свою службу, жилъ не по средствамъ, часто употреблялъ въ разговорѣ непристойныя выраженія, ходилъ по улицѣ въ туфляхъ и при постороннихъ ссорился съ Надеждой Ѳедоровной—и это не нравилось Самойленку. А то, что Лаевскій былъ когда-то на филологическомъ факультетѣ, выписывалъ теперь два толстыхъ журнала, говорилъ часто такъ умно, что только немногіе его понимали, жилъ съ интеллигентной женщиной—всего этого не понималъ Самойленко, и это ему нравилось, и онъ считалъ Лаевскаго выше себя и уважалъ его.

— Еще одна подробность,—сказалъ Лаевскій, встряхивая головой.—Только это между нами. Я пока скрываю отъ Надежды Ѳедоровны, не проболтайся при ней... Третьяго дня я получилъ письмо, что ея мужъ умеръ отъ размягченія мозга.

— Царство небесное...—вздохнулъ Самойленко.—Почему же ты отъ нея скрываешь?

— Показать ей это письмо значило бы: пожалуйте въ церковь вѣнчаться. А надо сначала выяснить наши отношенія. Когда она убѣдится, что продолжать жить вмѣстѣ мы не можемъ, я покажу ей письмо. Тогда это будетъ безопасно.

— Знаешь что, Ваня?—сказалъ Самойленко, и лицо его вдругъ приняло грустное и умоляющее выраженіе, какъ будто онъ собирался просить о чемъ-то очень сладкомъ и боялся, что ему откажутъ.—Женись, голубчикъ!

— Зачѣмъ?

— Исполни свой долгъ передъ этой прекрасной женщиной! Мужъ у нея умеръ, и такимъ образомъ само Провидѣніе указываетъ тебѣ, что дѣлать!

— Но пойми, чудакъ, что это невозможно. Жениться безъ любви такъ же подло и недостойно человѣка, какъ служить обѣдню, не вѣруя.

— Но ты обязанъ!

— Почему же я обязанъ?—спросилъ съ раздраженіемъ Лаевскій.

— Потому что ты увезъ ее отъ мужа и взялъ на свою отвѣтственность.

— Но тебѣ говорятъ русскимъ языкомъ: я не люблю!

— Ну, любви нѣтъ, такъ почитай, ублажай...

— Почитай, ублажай...—передразнилъ Лаевскій.—Точно она игуменья... Плохой ты психологъ и физіологъ, если думаешь, что, живя съ женщиной, можно выѣхать на одномъ только почтеніи да уваженіи. Женщинѣ прежде всего нужна спальня.

— Ваня, Ваня...—сконфузился Самойленко.

— Ты—старый ребенокъ, теоретикъ, а я—молодой старикъ и практикъ, и мы никогда не поймемъ другъ друга. Прекратимъ лучше этотъ разговоръ. Мустафа! — крикнулъ Лаевскій человѣку:—сколько съ насъ слѣдуетъ?

— Нѣтъ, нѣтъ...—испугался докторъ, хватая Лаевскаго за руку.—Это я заплачу. Я требовалъ. Запиши за мной!—крикнулъ онъ Мустафѣ.

Пріятели встали и молча пошли по набережной. У входа на бульваръ они остановились и на прощанье пожали другъ другу руки.

— Избалованы вы очень, господа! — вздохнулъ Самойленко.—Послала тебѣ судьба женщину молодую, красивую, образованную—и ты отказываешься, а мнѣ бы далъ Богъ хоть кривобокую старушку, только ласковую и добрую, и какъ бы я былъ доволенъ! Жилъ бы я съ ней на своемъ виноградникѣ и...

Самойленко спохватился и сказалъ:

— Пускай бы она тамъ, старая вѣдьма, самоваръ ставила.

Простившись съ Лаевскимъ, онъ пошелъ по бульвару. Когда онъ, грузный, величественный, со строгимъ выраженіемъ на лицѣ, въ своемъ бѣлоснѣжномъ кителѣ и превосходно вычищенныхъ сапогахъ, выпятивъ впередъ грудь, на которой красовался Владиміръ съ бантомъ, шелъ по бульвару, то въ это время онъ очень нравился себѣ самому, и ему казалось, что весь міръ смотритъ на него съ удовольствіемъ. Не поворачивая головы, онъ посматривалъ по сторонамъ и находилъ, что бульваръ вполнѣ благоустроенъ, что молодые кипарисы, эвкалипты и некрасивыя, худосочныя пальмы очень красивы и будутъ со временемъ давать широкую тѣнь, что черкесы честный и гостепріимный народъ. «Странно, что Кавказъ Лаевскому не нравится,—думалъ онъ:—очень странно». Встрѣтились пять солдатъ съ ружьями и отдали ему честь. По правую сторону бульвара по тротуару прошла жена одного чиновника съ сыномъ-гимназистомъ.

— Марья Константиновна, доброе утро!—крикнулъ ей Самойленко, пріятно улыбаясь.—Купаться ходили? Ха-ха-ха... Почтеніе Никодиму Александрычу!

И онъ пошелъ дальше, продолжая пріятно улыбаться, но, увидѣвъ идущаго навстрѣчу военнаго фельдшера, вдругъ нахмурился, остановилъ его и спросилъ?

— Есть кто-нибудь въ лазаретѣ?

— Никого, ваше превосходительство.

— А?

— Никого, ваше превосходительство.

— Хорошо, ступай...

Величественно покачиваясь, онъ направился къ лимонадной будкѣ, гдѣ за прилавкомъ сидѣла старая, полногрудая еврейка, выдававшая себя за грузинку, и сказалъ ей такъ громко, какъ будто командовалъ полкомъ:

— Будьте такъ любезны, дайте мнѣ содовой воды!

## II.

Нелюбовь Лаевскаго къ Надеждѣ Ѳедоровнѣ выражалась главнымъ образомъ въ томъ, что все, что она говорила и дѣлала, казалось ему ложью или похожимъ на ложь, и все, что онъ читалъ противъ женщинъ и любви, казалось ему, какъ нельзя лучше подходило къ нему, къ Надеждѣ Ѳедоровнѣ и ея мужу. Когда онъ вернулся домой, она, уже одѣтая и причесанная, сидѣла у окна и съ озабоченнымъ лицомъ пила кофе и перелистывала книжку толстаго журнала, и онъ подумалъ, что питье кофе — не такое ужъ замѣчательное событіе, чтобы изъ-за него стоило дѣлать озабоченное лицо, и что напрасно она потратила время на модную прическу, такъ какъ нравиться тутъ некому и не для чего. И въ книжкѣ журнала онъ увидѣлъ ложь. Онъ подумалъ, что одѣвается она и причесывается, чтобы казаться красивой, а читаетъ для того, чтобы казаться умной.

— Ничего, если я сегодня пойду купаться? — спросила она.

— Что жъ? Пойдешь, или не пойдешь, отъ этого землетрясенія не будетъ, полагаю...

— Нѣтъ, я потому спрашиваю, что какъ бы докторъ не разсердился.

— Ну, и спроси у доктора. Я не докторъ.

На этотъ разъ Лаевскому больше всего не понравилась

у Надежды Ѳедоровны ея бѣлая, открытая шея и завитушки волосъ на затылкѣ, и онъ вспомнилъ, что Аннѣ Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши, и подумалъ: «какъ это вѣрно! какъ вѣрно!» Чувствуя слабость и пустоту въ головѣ, онъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ, легъ на диванъ и накрылъ лицо платкомъ, чтобы не надоѣдали мухи. Вялыя, тягучія мысли все объ одномъ и томъ же потянулись въ его мозгу, какъ длинный обозъ въ осенній ненастный вечеръ, и онъ впалъ въ сонливое, угнетенное состояніе. Ему казалось, что онъ виноватъ передъ Надеждой Ѳедоровной и передъ ея мужемъ, и что мужъ умеръ по его винѣ. Ему казалось, что онъ виноватъ передъ своею жизнью, которую испортилъ, передъ міромъ высокихъ идей, знаній и труда, и этотъ чудесный міръ представлялся ему возможнымъ и существующимъ не здѣсь на берегу, гдѣ бродятъ голодные турки и лѣнивые абхазцы, а тамъ, на сѣверѣ, гдѣ опера, театры, газеты и всѣ виды умственнаго труда. Честнымъ, умнымъ, возвышеннымъ и чистымъ можно быть только тамъ, а не здѣсь. Онъ обвинялъ себя въ томъ, что у него нѣтъ идеаловъ и руководящей идеи въ жизни, хотя смутно понималъ теперь, что̀ это значитъ. Два года тому назадъ, когда онъ полюбилъ Надежду Ѳедоровну, ему казалось, что сто̀итъ ему только сойтись съ Надеждой Ѳедоровной и уѣхать съ нею на Кавказъ, какъ онъ будетъ спасенъ отъ пошлости и пустоты жизни; такъ и теперь онъ былъ увѣренъ, что сто̀итъ ему только бросить Надежду Ѳедоровну и уѣхать въ Петербургъ, какъ онъ получитъ все, что ему нужно.

— Бѣжать!—пробормоталъ онъ, садясь и грызя ногти.— Бѣжать!

Воображеніе его рисовало, какъ онъ садится на пароходъ и потомъ завтракаетъ, пьетъ холодное пиво, разговариваетъ на палубѣ съ дамами, потомъ въ Севастополѣ садится въ поѣздъ и ѣдетъ. Здравствуй, свобода! Станціи мелькаютъ одна за другой, воздухъ становится все холоднѣе и жестче, вотъ березы и ели, вотъ Курскъ, Москва... Въ буфетахъ щи, баранина съ кашей, осетрина, пиво, однимъ словомъ, не азіатчина, а Россія, настоящая Россія. Пассажиры въ поѣздѣ говорятъ о торговлѣ, новыхъ пѣвцахъ, о франко-русскихъ симпатіяхъ; всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь... Скорѣй, ско-

рѣй! Вотъ, наконецъ, Невскій, Большая Морская, а вотъ Ковенскій переулокъ, гдѣ онъ жилъ когда-то со студентами, вотъ милое, сѣрое небо, моросящій дождикъ, мокрые извозчики...

— Иванъ Андреичъ!—позвалъ кто-то изъ сосѣдней комнаты.—Вы дома?

— Я здѣсь!—отозвался Лаевскій.—Что вамъ?

— Бумаги!

Лаевскій поднялся лѣниво, съ головокруженіемъ и, зѣвая, шлепая туфлями, пошелъ въ сосѣднюю комнату. Тамъ у открытаго окна на улицѣ стоялъ одинъ изъ его молодыхъ сослуживцевъ и раскладывалъ на подоконникѣ казенныя бумаги.

— Сейчасъ, голубчикъ,—мягко сказалъ Лаевскій и пошелъ отыскивать чернильницу; вернувшись къ окну, онъ, не читая, подписалъ бумаги и сказалъ:—Жарко!

— Да-съ. Вы придете сегодня?

— Едва ли... Нездоровится что-то. Скажите, голубчикъ, Шешковскому, что послѣ обѣда я зайду къ нему.

Чиновникъ ушелъ. Лаевскій опять легъ у себя на диванѣ и началъ думать:

— Итакъ, надо взвѣсить всѣ обстоятельства и сообразить. Прежде чѣмъ уѣхать отсюда, я долженъ расплатиться съ долгами. Долженъ я около двухъ тысячъ рублей. Денегъ у меня нѣтъ... Это, конечно, не важно; часть теперь заплачу какъ-нибудь, а часть вышлю потомъ изъ Петербурга. Главное, Надежда Ѳедоровна... Прежде всего, надо выяснить наши отношенія... Да.

Немного погодя, онъ соображалъ: не пойти ли лучше къ Самойленко посовѣтоваться?

«Пойти можно,—думалъ онъ:—но какая польза отъ этого? Опять буду говорить ему некстати о будуарѣ, о женщинахъ, о томъ, что честно или нечестно. Какіе тутъ, чортъ подери, могутъ быть разговоры о честномъ или нечестномъ, если поскорѣе надо спасать жизнь мою, если я задыхаюсь въ этой проклятой неволѣ и убиваю себя?... Надо же, наконецъ, понять, что продолжать такую жизнь, какъ моя — это подлость и жестокость, предъ которой все остальное мелко и ничтожно. Бѣжать! — бормоталъ онъ, садясь. — Бѣжать!»

Пустынный берегъ моря, неутолимый зной и однообразіе

дымчатыхъ, лиловатыхъ горъ, вѣчно одинаковыхъ и молчаливыхъ, вѣчно одинокихъ, нагоняли на него тоску и, какъ казалось, усыпляли и обкрадывали его. Быть-можетъ, онъ очень уменъ, талантливъ, замѣчательно честенъ; быть-можетъ, если бы со всѣхъ сторонъ его не замыкали море и горы, изъ него вышелъ бы превосходный земскій дѣятель, государственный человѣкъ, ораторъ, публицистъ, подвижникъ. Кто знаетъ! Если такъ, то не глупо ли толковать, честно это или нечестно, если даровитый и полезный человѣкъ, напримѣръ, музыкантъ или художникъ, чтобы бѣжать изъ плѣна, ломаетъ стѣну и обманываетъ своихъ тюремщиковъ? Въ положеніи такого человѣка все честно.

Въ два часа Лаевскій и Надежда Ѳедоровна сѣли обѣдать. Когда кухарка подала имъ рисовый супъ съ томатами, Лаевскій сказалъ:

— Каждый день одно и то же. Отчего бы не сварить щей?

— Капусты нѣтъ.

— Странно. И у Самойленка варятъ щи съ капустой, и у Марьи Константиновны щи, одинъ только я почему-то обязанъ ѣсть эту сладковатую бурду. Нельзя же такъ, голубка.

Какъ это бываетъ у громаднаго большинства супруговъ, раньше у Лаевскаго и у Надежды Ѳедоровны ни одинъ обѣдъ не обходился безъ капризовъ и сценъ, но съ тѣхъ поръ, какъ Лаевскій рѣшилъ, что онъ уже не любитъ, онъ старался во всемъ уступать Надеждѣ Ѳедоровнѣ, говорилъ съ нею мягко и вѣжливо, улыбался, называлъ голубкой.

— Этотъ супъ похожъ вкусомъ на лакрицу,—сказалъ онъ улыбаясь; онъ дѣлалъ надъ собою усилія, чтобы казаться привѣтливымъ, но не удержался и сказалъ:—Никто у насъ не смотритъ за хозяйствомъ... Если ужъ ты такъ больна или занята чтеніемъ, то, изволь, я займусь нашей кухней.

Раньше она отвѣтила бы ему: «займись», или «ты, я вижу, хочешь изъ меня кухарку сдѣлать», но теперь только робко взглянула на него и покраснѣла.

— Ну, какъ ты чувствуешь себя сегодня? — спросилъ онъ ласково.

— Сегодня ничего. Такъ, только маленькая слабость.

— Надо беречься, голубка. Я ужасно боюсь за тебя.

Надежда Ѳедоровна была чѣмъ-то больна. Самойленко

говорилъ, что у нея перемежающаяся лихорадка, и кормилъ ее хиной; другой же докторъ Устимовичъ, высокій, сухощавый, нелюдимый человѣкъ, который днемъ сидѣлъ дома, а по вечерамъ, заложивъ назадъ руки и вытянувъ вдоль спины трость, тихо разгуливалъ по набережной и кашлялъ, находилъ, что у нея женская болѣзнь, и прописывалъ согрѣвающіе компрессы. Прежде, когда Лаевскій любилъ, болѣзнь Надежды Ѳедоровны возбуждала въ немъ жалость и страхъ, теперь же и въ болѣзни онъ видѣлъ ложь. Желтое, сонное лицо, вялый взглядъ и зѣвота, которые бывали у Надежды Ѳедоровны послѣ лихорадочныхъ припадковъ, и то, что она во время припадка лежала подъ пледомъ и была похожа больше на мальчика, чѣмъ на женщину, и что въ ея комнатѣ было душно и нехорошо пахло— все это, по его мнѣнію, разрушало иллюзію и было протестомъ противъ любви и брака.

На второе блюдо ему подали шпинатъ съ крутыми яйцами, а Надеждѣ Ѳедоровнѣ, какъ больной, кисель съ молокомъ. Когда она съ озабоченнымъ лицомъ сначала потрогала ложкой кисель и потомъ стала лѣниво ѣсть его, запивая молокомъ, и онъ слышалъ ея глотки, имъ овладѣла такая тяжелая ненависть, что у него даже зачесалась голова. Онъ сознавалъ, что такое чувство было бы оскорбительно даже въ отношеніи собаки, но ему было досадно не на себя, а Надежду Ѳедоровну за то, что она возбуждала въ немъ это чувство, и онъ понималъ, почему иногда любовники убиваютъ своихъ любовницъ. Самъ бы онъ не убилъ, конечно, но, доведись ему теперь быть присяжнымъ, онъ оправдалъ бы убійцу.

— Mercі, голубка,—сказалъ онъ послѣ обѣда и поцѣловалъ Надежду Ѳедоровну въ лобъ.

Придя къ себѣ въ кабинетъ, онъ минутъ пять ходилъ изъ угла въ уголъ, искоса поглядывая на сапоги, потомъ сѣлъ на диванъ и пробормоталъ:

— Бѣжать, бѣжать! Выяснить отношенія и бѣжать!

Онъ легъ на диванъ и опять вспомнилъ, что мужъ Надежды Ѳедоровны, быть-можетъ, умеръ по его винѣ.

— Обвинять человѣка въ томъ, что онъ полюбилъ или разлюбилъ, это глупо,—убѣждалъ онъ себя, лежа и задирая ноги, чтобы надѣть сапоги.—Любовь и ненависть не въ нашей власти. Что же касается мужа, то я, быть-можетъ,

косвеннымъ образомъ былъ одною изъ причинъ его смерти; но опять-таки виноватъ ли я въ томъ, что полюбилъ его жену, а жена—меня.

Затѣмъ онъ всталъ и, отыскавъ свою фуражку, отправился къ своему сослуживцу Шешковскому, у котораго каждый день собирались чиновники играть въ винтъ и пить холодное пиво.

«Своею нерѣшительностью я напоминаю Гамлета,—думалъ Лаевскій дорогой.—Какъ вѣрно Шекспиръ подмѣтилъ! Ахъ, какъ вѣрно!»

## III.

Чтобы скучно не было и снисходя къ крайней нуждѣ вновь пріѣзжавшихъ и несемейныхъ, которымъ, за неимѣніемъ гостиницы въ городѣ, негдѣ было обѣдать, докторъ Самойленко держалъ у себя нѣчто въ родѣ табльдота. Въ описываемое время у него столовались только двое: молодой зоологъ фонъ-Коренъ, пріѣзжавшій лѣтомъ къ Черному морю, чтобы изучать эмбріологію медузъ, и дьяконъ Побѣдовъ, недавно выпущенный изъ семинаріи и командированный въ городокъ для исполненія обязанностей дьякона-старика, уѣхавшаго лѣчиться. Оба они платили за обѣдъ и за ужинъ по 12 рублей въ мѣсяцъ, и Самойленко взялъ съ нихъ честное слово, что они будутъ являться обѣдать аккуратно къ двумъ часамъ.

Первымъ обыкновенно приходилъ фонъ-Коренъ. Онъ молча садился въ гостиной и, взявши со стола альбомъ, начиналъ внимательно разсматривать потускнѣвшія фотографіи какихъ-то неизвѣстныхъ мужчинъ въ широкихъ панталонахъ и цилиндрахъ и дамъ въ кринолинахъ и въ чепцахъ; Самойленко только немногихъ помнилъ по фамиліи, а про тѣхъ, кого забылъ, говорилъ со вздохомъ: «Прекраснѣйшій, величайшаго ума человѣкъ!» Покончивъ съ альбомомъ, фонъ-Коренъ бралъ съ этажерки пистолетъ и, прищуривъ лѣвый глазъ, долго прицѣливался въ портретъ князя Воронцова, или же становился передъ зеркаломъ и разсматривалъ свое смуглое лицо, большой лобъ и черные, курчавые, какъ у негра, волоса, и свою рубаху изъ тусклаго ситца съ крупными цвѣтами, похожаго на персидскій коверъ, и широкій кожаный поясъ вмѣсто жилетки. Самосозерцаніе доставляло ему едва ли не большее удовольствіе,

чѣмъ осмотръ фотографій, или пистолета въ дорогой оправѣ. Онъ былъ очень доволенъ и своимъ лицомъ, и красиво подстриженной бородкой, и широкими плечами, которыя служили очевиднымъ доказательствомъ его хорошаго здоровья и крѣпкаго сложенія. Онъ былъ доволенъ и своимъ франтовскимъ костюмомъ, начиная съ галстука, подобраннаго подъ цвѣтъ рубахи, и кончая желтыми башмаками.

Пока онъ разсматривалъ альбомъ и стоялъ передъ зеркаломъ, въ это время въ кухнѣ и около нея въ сѣняхъ Самойленко, безъ сюртука и безъ жилетки, съ голой грудью, волнуясь и обливаясь потомъ, суетился около столовъ, приготовляя салатъ, или какой-нибудь соусъ или мясо, огурцы и лукъ для окрошки, и при этомъ злобно таращилъ глаза на помогавшаго ему денщика и замахивался на него то ножомъ, то ложкой.

— Подай уксусъ! — приказывалъ онъ. — То, бишь, не уксусъ, а прованское масло!—кричалъ онъ, топая ногами.— Куда же ты пошелъ, скотина.

— За масломъ, ваше превосходительство,—говорилъ оторопѣвшій денщикъ надтреснутымъ теноромъ.

— Скорѣе! Оно въ шкапу! Да скажи Дарьѣ, чтобъ она въ банку съ огурцами укропу прибавила! Укропу! Накрой сметану, раззява, а то мухи налѣзутъ!

И отъ его крика, казалось, гудѣлъ весь домъ. Когда до двухъ часовъ оставалось 10 или 15 минутъ, приходилъ дьяконъ, молодой человѣкъ, лѣтъ 22, худощавый, длинноволосый, безъ бороды и съ едва замѣтными усами. Войдя въ гостиную, онъ крестился на образъ, улыбался и протягивалъ фонъ-Корену руку.

— Здравствуйте, — холодно говорилъ зоологъ. — Гдѣ вы были?

— На пристани бычковъ ловилъ.

— Ну, конечно... Повидимому, дьяконъ, вы никогда не будете заниматься дѣломъ.

— Отчего же? Дѣло не медвѣдь, въ лѣсъ не уйдетъ,— говорилъ дьяконъ, улыбаясь и засовывая руки въ глубочайшіе карманы своего бѣлаго подрясника.

— Бить васъ некому, вздыхалъ зоологъ.

Проходило еще 15—20 минутъ, а обѣдать не звали и все еще слышно было, какъ денщикъ, бѣгая изъ сѣней въ кухню и обратно, стучалъ сапогами и какъ Самойленко кричалъ:

— Поставь на столъ! куда суешь? Помой сначала!

Проголодавшіеся дьяконъ и фонъ-Коренъ начинали стучать о полъ каблуками, выражая этимъ свое нетерпѣніе, какъ зрители въ театральномъ райкѣ. Наконецъ, дверь отворялась и замученный денщикъ объявлялъ: кушать готово! Въ столовой встрѣчалъ ихъ багровый, распаренный въ кухонной духотѣ и сердитый Самойленко; онъ злобно глядѣлъ на нихъ и съ выраженіемъ ужаса на лицѣ поднималъ крышку съ супника и наливалъ обоимъ по тарелкѣ, и только когда убѣждался, что они ѣдятъ съ аппетитомъ и что кушанье имъ нравится, легко вздыхалъ и садился въ свое глубокое кресло. Лицо его становилось тоннымъ, маслянымъ... Онъ не спѣша наливалъ себѣ рюмку водки и говорилъ:

— За здоровье молодого поколѣнія!

Послѣ разговора съ Лаевскимъ, Самойленко все время отъ утра до обѣда, несмотря на прекраснѣйшее настроеніе, чувствовалъ въ глубинѣ души нѣкоторую тяжесть; ему было жаль Лаевскаго и хотѣлось помочь ему. Выпивъ передъ супомъ рюмку водки, онъ вздохнулъ и сказалъ:

— Видѣлъ я сегодня Ваню Лаевскаго. Трудно живется человѣчку. Матеріальная сторона жизни неутѣшительна, а главное—психологія одолѣла. Жаль парня.

— Вотъ ужъ кого мнѣ не жаль! — сказалъ фонъ-Коренъ.—Если бы этотъ милый мужчина тонулъ, то я бы еще палкой подтолкнулъ: тони, братецъ, тони...

— Неправда. Ты бы этого не сдѣлалъ.

— Почему ты думаешь? — пожалъ плечами зоологъ.—Я такъ же способенъ на доброе дѣло, какъ и ты.

— Развѣ утопить человѣка — доброе дѣло? — спросилъ дьяконъ и засмѣялся.

— Лаевскаго? Да.

— Въ окрошкѣ, кажется, чего-то недостаетъ...—сказалъ Самойленко, желая перемѣнить разговоръ.

— Лаевскій безусловно вреденъ и такъ же опасенъ для общества, какъ холерная микроба,—продолжалъ фонъ-Коренъ.—Утопить его—заслуга.

— Не дѣлаетъ тебѣ чести, что ты такъ выражаешься о своемъ ближнемъ. Скажи: за что ты его ненавидишь?

— Не говори, докторъ, пустяковъ. Ненавидѣть и презирать микробу—глупо, а считать своимъ ближнимъ, но что

бы то ни стало, всякаго встрѣчнаго безъ различія — это, покорно благодарю, это значитъ не разсуждать, отказаться отъ справедливаго отношенія къ людямъ, умыть руки, однимъ словомъ. Я считаю твоего Лаевскаго мерзавцемъ, не скрываю этого и отношусь къ нему, какъ къ мерзавцу, съ полною моею добросовѣстностью. Ну, а ты считаешь его своимъ ближнимъ — и поцѣлуйся съ нимъ; ближнимъ считаешь, а это значитъ, что къ нему ты относишься такъ же, какъ ко мнѣ и дьякону, то-есть, никакъ. Ты одинаково равнодушенъ ко всѣмъ.

— Называть человѣка мерзавцемъ! — пробормоталъ Самойленко, брезгливо морщась. — Это до такой степени не хорошо, что и выразить тебѣ не могу!

— О людяхъ судятъ по ихъ поступкамъ, — продолжалъ фонъ-Коренъ. — Теперь судите же, дьяконъ... Я, дьяконъ, буду съ вами говорить. Дѣятельность господина Лаевскаго откровенно развернута передъ вами, какъ длинная китайская грамота, и вы можете читать ее отъ начала до конца. Что онъ сдѣлалъ за эти два года, пока живетъ здѣсь? Будемъ считать по пальцамъ. Во-первыхъ, онъ научилъ жителей городка играть въ винтъ; два года тому назадъ эта игра была здѣсь неизвѣстна, теперь же въ винтъ играютъ отъ утра до поздней ночи всѣ, даже женщины и подростки; во-вторыхъ, онъ научилъ обывателей пить пиво, которое тоже здѣсь не было извѣстно; ему же обыватели обязаны свѣдѣніями по части разныхъ сортовъ водокъ, такъ что съ завязанными глазами они могутъ теперь отличить водку Кошелева отъ Смирнова № 21. Въ-третьихъ, прежде здѣсь жили съ чужими женами тайно, по тѣмъ же побужденіямъ, по какимъ воры воруютъ тайно, а не явно; прелюбодѣяніе считалось чѣмъ-то такимъ, что стыдились выставлять на общій показъ; Лаевскій же явился въ этомъ отношеніи піонеромъ: онъ живетъ съ чужой женой открыто. Въ-четвертыхъ...

Фонъ-Коренъ быстро съѣлъ свою окрошку и отдалъ денщику тарелку.

— Я понялъ Лаевскаго въ первый же мѣсяцъ нашего знакомства,—продолжалъ онъ, обращаясь къ дьякону.—Мы въ одно время пріѣхали сюда. Такіе люди, какъ онъ, очень любятъ дружбу, сближеніе, солидарность и тому подобное, потому что имъ всегда нужна компанія для винта, выпивки и закуски; къ тому же, они болтливы, и имъ нужны слу-

шатели. Мы подружились, то-есть онъ шлялся ко мнѣ каждый день, мѣшалъ мнѣ работать и откровенничалъ насчетъ своей содержанки. На первыхъ же порахъ онъ поразилъ меня своею необыкновенною лживостью, отъ которой меня просто тошнило. Въ качествѣ друга я журилъ его, зачѣмъ онъ много пьетъ, зачѣмъ живетъ не по средствамъ и дѣлаетъ долги, зачѣмъ ничего не дѣлаетъ и не читаетъ, зачѣмъ онъ такъ мало культуренъ и мало знаетъ— и въ отвѣтъ на всѣ мои вопросы онъ горько улыбался, вздыхалъ и говорилъ:—«Я неудачникъ, лишній человѣкъ», или:—«Что вы хотите, батенька, отъ насъ, осколковъ крѣпостничества?» или:—«Мы вырождаемся...» Или начиналъ нести длинную галиматью объ Онѣгинѣ, Печоринѣ, байроновскомъ Каинѣ, Базаровѣ, про которыхъ говорилъ:—«Это наши отцы по плоти и духу». Понимайте такъ, молъ, что не онъ виноватъ въ томъ, что казенные пакеты по недѣлямъ лежатъ не распечатанными, и что самъ онъ пьетъ и другихъ спаиваетъ, а виноваты въ этомъ Онѣгинъ, Печоринъ и Тургеневъ, выдумавшій неудачника и лишняго человѣка. Причина крайней распущенности и безобразія, видите ли, лежитъ не въ немъ самомъ, а гдѣ-то внѣ, въ пространствѣ. И притомъ—ловкая штука!—распутенъ, лживъ и гадокъ не онъ одинъ, а мы... «мы люди восьмидесятыхъ годовъ», «мы вялое, нервное отродье крѣпостного права», «насъ искалѣчила цивилизація»... Однимъ словомъ, мы должны понять, что такой великій человѣкъ, какъ Лаевскій, и въ паденіи своемъ великъ; что его распутство, необразованность и нечистоплотность составляютъ явленіе естественно-историческое, освященное необходимостью, что причины тутъ міровыя, стихійныя и что передъ Лаевскимъ надо лампаду повѣсить, такъ какъ онъ—роковая жертва времени, вѣяній, наслѣдственности и прочее. Всѣ чиновники и дамы, слушая его, охали и ахали, а я долго не могъ понять, съ кѣмъ я имѣю дѣло: съ циникомъ, или съ ловкимъ мазурикомъ? Такіе субъекты, какъ онъ, съ виду интеллигентные, немножко воспитанные и говорящіе много о собственномъ благородствѣ, умѣютъ прикидываться необыкновенно сложными натурами.

— Замолчи!—вспыхнулъ Самойленко. — Я не позволю, чтобы въ моемъ присутствіи говорили дурно о благороднѣйшемъ человѣкѣ!

— Не перебивай, Александръ Давидычъ, — холодно сказалъ фонъ-Коренъ. — Я сейчасъ кончу. Лаевскій — довольно несложный организмъ. Вотъ его нравственный остовъ: утромъ туфли, купанье и кофе, потомъ до обѣда туфли, моціонъ и разговоры, въ два часа туфли, обѣдъ и вино, въ пять часовъ купанье, чай и вино, затѣмъ винтъ и лганье, въ десять часовъ ужинъ и вино, а послѣ полуночи сонъ и la femme. Существованіе его заключено въ эту тѣсную программу, какъ яйцо въ скорлупу. Идетъ ли онъ, сидитъ ли, сердится, пишетъ, радуется—все сводится къ вину, картамъ, туфлямъ и женщинѣ. Женщина играетъ въ его жизни роковую, подавляющую роль. Онъ самъ повѣствуетъ, что 13-ти лѣтъ онъ уже былъ влюбленъ; будучи студентомъ перваго курса, онъ жилъ съ дамой, которая имѣла на него благотворное вліяніе и которой онъ обязанъ своимъ музыкальнымъ образованіемъ. Во второмъ курсѣ онъ выкупилъ изъ публичнаго дома проститутку и возвысилъ ее до себя, то-есть взялъ въ содержанки, а она пожила съ нимъ полгода и убѣжала назадъ къ хозяйкѣ, и это бѣгство причинило ему не мало душевныхъ страданій. Увы, онъ такъ страдалъ, что долженъ былъ оставить университетъ и два года жить дома безъ дѣла. Но это къ лучшему. Дома онъ сошелся съ одной вдовой, которая посовѣтовала ему оставить юридическій факультетъ и поступить на филологическій. Онъ такъ и сдѣлалъ. Кончивъ курсъ, онъ страстно полюбилъ теперешнюю свою... какъ ее?.. замужнюю, и долженъ былъ бѣжать съ нею сюда на Кавказъ, за идеалами якобы... Не сегодня—завтра онъ разлюбитъ ее и убѣжитъ назадъ въ Петербургъ, и тоже за идеалами.

— А ты почемъ знаешь?—проворчалъ Самойленко, со злобой глядя на зоолога.—Ѣшь-ка лучше.

Подали отварныхъ кефалей съ польскимъ соусомъ. Самойленко положилъ обоимъ нахлѣбникамъ по цѣлой кефали и собственноручно полилъ соусомъ. Минуты двѣ прошли въ молчаніи.

— Женщина играетъ существенную роль въ жизни каждаго человѣка, — сказалъ дьяконъ. — Ничего не подѣлаешь.

— Да, но въ какой степени? У каждаго изъ насъ женщина есть мать, сестра, жена, другъ, у Лаевскаго же она— все и притомъ только любовница. Она, то-есть сожитель-

ство съ ней—счастье и цѣль его жизни; онъ веселъ, грустенъ, скученъ, разочарованъ—отъ женщины; жизнь опостылѣла—женщина виновата; загорѣлась заря новой жизни, нашлись идеалы—и тутъ ищи женщину... Удовлетворяютъ его только тѣ сочиненія или картины, гдѣ есть женщина. Нашъ вѣкъ, по его мнѣнію, плохъ и хуже сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ только потому, что мы не умѣемъ до самозабвенія отдаваться любовному экстазу и страсти. У этихъ сладострастниковъ, должно-быть, въ мозгу есть особый наростъ въ родѣ саркомы, который сдавилъ мозгъ и управляетъ всею психикой. Понаблюдайте-ка Лаевскаго, когда онъ сидитъ гдѣ-нибудь въ обществѣ. Вы замѣтьте: когда при немъ поднимаешь какой-нибудь общій вопросъ, напримѣръ, о клѣточкѣ, или инстинктѣ, онъ сидитъ въ сторонѣ, молчитъ и не слушаетъ; видъ у него томный, разочарованный, ничто для него не интересно, все пошло и ничтожно, но какъ только вы заговорили о самкахъ и самцахъ, о томъ, напримѣръ, что у пауковъ самка послѣ оплодотворенія съѣдаетъ самца—глаза у него загораются любопытствомъ, лицо проясняется и человѣкъ оживаетъ, однимъ словомъ. Всѣ его мысли, какъ бы благородны, возвышенны, или безразличны онѣ ни были, имѣютъ всегда одну и ту же точку общаго схода. Идешь съ нимъ по улицѣ и встрѣчаешь, напримѣръ, осла...—«Скажите, пожалуйста, — спрашиваетъ: — что произойдетъ, если случить ослицу съ верблюдомъ?» А сны! Онъ разсказывалъ вамъ свои сны? Это великолѣпно! То ему снится, что его женятъ на лунѣ, то будто зовутъ его въ полицію и приказываютъ ему тамъ, чтобы онъ жилъ съ гитарой...

Дьяконъ звонко захохоталъ; Самойленко нахмурился и сердито сморщилъ лицо, чтобы не засмѣяться, но не удержался и захохоталъ.

— И все вретъ!—сказалъ онъ, вытирая слезы.—Ей-Богу, вретъ!

## IV.

Дьяконъ былъ очень смѣшливъ и смѣялся отъ каждаго пустяка до колотья въ боку, до упада. Казалось, что онъ любилъ бывать среди людей только потому, что у нихъ есть смѣшныя стороны и что имъ можно давать смѣшныя прозвища. Самойленка онъ прозвалъ тарантуломъ, его женщина

селезнемъ и былъ въ восторгѣ, когда однажды фонъ-Коренъ обозвалъ Лаевскаго и Надежду Ѳедоровну макаками. Онъ жадно всматривался въ лица, слушалъ не мигая, и видно было, какъ глаза его наполнялись смѣхомъ и какъ напрягалось лицо въ ожиданіи, когда можно будетъ дать себѣ волю и покатиться со смѣху.

— Это развращенный и извращенный субъектъ,—продолжалъ зоологъ, а дьяконъ, въ ожиданіи смѣшныхъ словъ, впился ему въ лицо.—Рѣдко гдѣ можно встрѣтить такое ничтожество. Тѣломъ онъ вялъ, хилъ и старъ, а интеллектомъ ничѣмъ не отличается отъ толстой купчихи, которая только жретъ, пьетъ, спитъ на перинѣ и держитъ въ любовникахъ своего кучера.

Дьяконъ опять захохоталъ.

— Не смѣйтесь, дьяконъ,—сказалъ фонъ-Коренъ:—это глупо, наконецъ. Я бы не обратилъ вниманія на его ничтожество,—продолжалъ онъ, выждавъ, когда дьяконъ пересталъ хохотать:—я бы прошелъ мимо него, если бы онъ не былъ такъ вреденъ и опасенъ. Вредоносность его заключается прежде всего въ томъ, что онъ имѣетъ успѣхъ у женщинъ и такимъ образомъ угрожаетъ имѣть потомство, то-есть подарить міру дюжину Лаевскихъ, такихъ же хилыхъ и извращенныхъ, какъ онъ самъ. Во-вторыхъ, онъ заразителенъ въ высшей степени. Я уже говорилъ вамъ о винтѣ и пивѣ. Еще годъ-два—и онъ завоюетъ все кавказское побережье. Вы знаете, до какой степени масса, особенно ея средній слой, вѣритъ въ интеллигентность, въ университетскую образованность, въ благородство манеръ и литературность языка. Какую бы онъ ни сдѣлалъ мерзость, всѣ вѣрятъ, что это хорошо, что это такъ и быть должно, такъ какъ онъ интеллигентный, либеральный и университетскій человѣкъ. Къ тому же, онъ неудачникъ, лишній человѣкъ, неврастеникъ, жертва времени, а это значитъ, что ему все можно. Онъ милый малый, душа-человѣкъ, онъ такъ сердечно снисходитъ къ человѣческимъ слабостямъ; онъ сговорчивъ, податливъ, покладистъ, не гордъ, съ нимъ и выпить можно, и посквернословить, и посудачить... Масса, всегда склонная къ антропоморфизму въ религіи и морали, больше всего любитъ тѣхъ божковъ, которые имѣютъ такія же слабости, какъ она сама. Судите же, какое у него широкое поле для заразы! Къ тому же, онъ недурной актеръ

и ловкій лицемѣръ, и отлично знаетъ, гдѣ раки зимуютъ. Возьмите-ка его увертки и фокусы, напримѣръ, хотя бы его отношеніе къ цивилизаціи. Онъ и не нюхалъ цивилизаціи, а между тѣмъ:—«Ахъ, какъ мы искалѣчены цивилизаціей! Ахъ, какъ я завидую этимъ дикарямъ, этимъ дѣтямъ природы, которые не знаютъ цивилизаціи!» Надо понимать, видите ли, что онъ когда-то, во времена оны, всей душой былъ преданъ цивилизаціи, служилъ ей, постигъ ее насквозь, но она утомила, разочаровала, обманула его; онъ, видите ли, Фаустъ, второй Толстой... А Шопенгауэра и Спенсера онъ третируетъ, какъ мальчишекъ, и отечески хлопаетъ ихъ по плечу: ну, что, братъ, Спенсеръ? Онъ Спенсера, конечно, не читалъ, но какъ бываетъ милъ, когда съ легкой, небрежной ироніей говоритъ про свою барыню:—«Она читала Спенсера!» И его слушаютъ, и никто не хочетъ понять, что этотъ шарлатанъ не имѣетъ права не только выражаться о Спенсерѣ въ такомъ тонѣ, но даже цѣловать подошву Спенсера! Рыться подъ цивилизацію, подъ авторитеты, подъ чужой алтарь, брызгать грязью, шутовски подмигивать на нихъ только для того, чтобы оправдать и скрыть свою хилость и нравственную убогость, можетъ только очень самолюбивое, низкое и гнусное животное.

— Я не знаю, Коля, чего ты добиваешься отъ него,— сказалъ Самойленко, глядя на зоолога уже не со злобой, а виновато.—Онъ такой же человѣкъ, какъ и всѣ. Конечно, не безъ слабостей, но онъ стоитъ на уровнѣ современныхъ идей, служитъ, приноситъ пользу отечеству. Десять лѣтъ назадъ здѣсь служилъ агентомъ старичокъ, величайшаго ума человѣкъ... Такъ вотъ онъ говаривалъ...

— Полно, полно! — перебилъ зоологъ. — Ты говоришь: онъ служитъ. Но какъ служитъ? Развѣ оттого, что онъ явился сюда, порядки стали лучше, а чиновники исправнѣе, честнѣе и вѣжливѣе? Напротивъ, своимъ авторитетомъ интеллигентнаго университетскаго человѣка онъ только санкціонировалъ ихъ распущенность. Бываетъ онъ исправенъ только двадцатаго числа, когда получаетъ жалованье, въ остальныя же числа онъ только шаркаетъ у себя дома туфлями и старается придать себѣ такое выраженіе, какъ будто дѣлаетъ русскому правительству большое одолженіе тѣмъ, что живетъ на Кавказѣ. Нѣтъ, Александръ Давидычъ,

не вступайся за него. Ты не искренен отъ начала до конца. Если бы ты въ самомъ дѣлѣ любилъ его и считалъ своимъ ближнимъ, то прежде всего ты не былъ бы равнодушенъ къ его слабостямъ, не снисходилъ бы къ нимъ, а для его же пользы постарался бы обезвредить его.

— То-есть?

— Обезвредить. Такъ какъ онъ неисправимъ, то обезвредить его можно только однимъ способомъ...

Фонъ-Коренъ провелъ пальцемъ около своей шеи.

— Или утопить, что ли...—добавилъ онъ.—Въ интересахъ человѣчества и въ своихъ собственныхъ интересахъ такіе люди должны быть уничтожаемы. Непремѣнно.

— Что ты говоришь?!—пробормоталъ Самойленко, поднимаясь и съ удивленіемъ глядя на спокойное, холодное лицо зоолога. — Дьяконъ, что онъ говоритъ? Да ты въ своемъ умѣ?

— Я не настаиваю на смертной казни,—сказалъ фонъ-Коренъ.—Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевскаго нельзя, ну, такъ изолируйте его, обезличьте, отдайте въ общественныя работы...

— Что ты говоришь?—ужаснулся Самойленко.—Съ перцемъ, съ перцемъ!—закричалъ онъ отчаяннымъ голосомъ, замѣтивъ, что дьяконъ ѣстъ фаршированные кабачки безъ перца.—Ты, величайшаго ума человѣкъ, что ты говоришь?! Нашего друга, гордаго, интеллигентнаго человѣка, отдавать въ общественныя работы!!

— А если гордъ, станетъ противиться—въ кандалы!

Самойленко не могъ ужъ выговорить ни одного слова и только шевелилъ пальцами; дьяконъ взглянулъ на его ошеломленное, въ самомъ дѣлѣ, смѣшное лицо и захохоталъ.

— Перестанемъ говорить объ этомъ,—сказалъ зоологъ.—Помни только одно, Александръ Давидычъ, что первобытное человѣчество было охраняемо отъ такихъ, какъ Лаевскій, борьбой за существованіе и подборомъ; теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подборъ, и мы должны сами позаботиться объ уничтоженіи хилыхъ и негодныхъ, иначе, когда Лаевскіе размножатся, цивилизація погибнетъ, и человѣчество выродится совершенно. Мы будемъ виноваты.

— Если людей топить и вѣшать,—сказалъ Самойленко:— то къ чорту твою цивилизацію, къ чорту человѣчество! Къ чорту! Вотъ что я тебѣ скажу: ты ученѣйшій, величайшаго ума человѣкъ и гордость отечества, но тебя нѣмцы испортили. Да, нѣмцы! Нѣмцы!

Самойленко съ тѣхъ поръ, какъ уѣхалъ изъ Дерпта, въ которомъ учился медицинѣ, рѣдко видѣлъ нѣмцевъ и не прочелъ ни одной нѣмецкой книги, но, по его мнѣнію, все зло въ политикѣ и наукѣ происходило отъ нѣмцевъ. Откуда у него взялось такое мнѣніе, онъ и самъ не могъ сказать, но держался его крѣпко.

— Да, нѣмцы!—повторилъ онъ еще разъ.—Пойдемте чай пить.

Всѣ трое встали и, надѣвши шляпы, пошли въ палисадникъ и сѣли тамъ подъ тѣнью блѣдныхъ кленовъ, грушъ и каштана. Зоологъ и дьяконъ сѣли на скамью около столика, а Самойленко опустился въ плетеное кресло съ широкой, покатой спинкой. Денщикъ подалъ чай, варенье и бутылку съ сиропомъ.

Было очень жарко, градусовъ тридцать въ тѣни. Знойный воздухъ застылъ, былъ неподвиженъ и длинная паутина, свѣсившаяся съ каштана до земли, слабо повисла и не шевелилась.

Дьяконъ взялъ гитару, которая постоянно лежала на землѣ около стола, настроилъ ее и запѣлъ тихо, тонкимъ голоскомъ: «Отроцы семинаристіи у кабака стояху»... но тотчасъ же замолкъ отъ жары, вытеръ со лба потъ и взглянулъ вверхъ на синее горячее небо. Самойленко задремалъ; отъ зноя, тишины и сладкой послѣобѣденной дремоты, которая быстро овладѣла всѣми его членами, онъ ослабѣлъ и опьянѣлъ; руки его отвисли, глаза стали маленькими, голову потянуло на грудь. Онъ со слезливымъ умиленіемъ поглядѣлъ на фонъ-Корена и дьякона и забормоталъ:

— Молодое поколѣніе... Звѣзда науки и свѣтильникъ церкви... Гляди, длиннополая аллилуйя въ митрополиты выскочитъ, чего добраго, придется ручку цѣловать... Что жъ... дай Богъ...

Скоро послышалось храпѣнье. Фонъ-Коренъ и дьяконъ допили чай и вышли на улицу.

— Вы опять на пристань бычковъ ловить? — спросилъ зоологъ.

— Нѣтъ, жарковато.

— Пойдемте ко мнѣ. Вы упакуете у меня посылку и кое-что перепишете. Кстати потолкуемъ, чѣмъ бы вамъ заняться. Надо работать, дьяконъ. Такъ нельзя.

— Ваши слова справедливы и логичны,—сказалъ дьяконъ:—но лѣность моя находитъ себѣ извиненіе въ обстоятельствахъ моей настоящей жизни. Сами знаете, неопредѣленность положенія значительно способствуетъ апатичному состоянію людей. На время ли меня сюда прислали, или навсегда, Богу одному извѣстно; я здѣсь живу въ неизвѣстности, а дьяконица моя прозябаетъ у отца и скучаетъ. И, признаться, отъ жары мозги раскисли.

— Все вздоръ,—сказалъ зоологъ.—И къ жарѣ можно привыкнуть, и безъ дьяконицы можно привыкнуть. Не слѣдуетъ баловаться. Надо себя въ рукахъ держать.

## V.

Надежда Ѳедоровна шла утромъ купаться, а за нею съ кувшиномъ, мѣднымъ тазомъ, съ простынями и губкой шла ея кухарка Ольга. На рейдѣ стояли два какихъ-то незнакомыхъ парохода съ грязными бѣлыми трубами, очевидно, иностранные грузовые. Какіе-то мужчины въ бѣломъ, въ бѣлыхъ башмакахъ ходили по пристани и громко кричали по-французски, и имъ откликались съ этихъ пароходовъ. Въ маленькой городской церкви бойко звонили въ колокола.

— Сегодня воскресенье!—съ удовольствіемъ вспомнила Надежда Ѳедоровна.

Она чувствовала себя совершенно здоровой и была въ веселомъ, праздничномъ настроеніи. Въ новомъ просторномъ платьѣ изъ грубой мужской чечунчи и въ большой соломенной шляпѣ, широкія поля которой сильно были загнуты къ ушамъ, такъ что лицо ея глядѣло какъ-будто изъ коробочки, она казалась себѣ очень миленькой. Она думала о томъ, что во всемъ городѣ есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина—это она, и что только она одна умѣетъ одѣться дешево, изящно и со вкусомъ. Напримѣръ, это платье стоитъ только 22 рубля, а между тѣмъ какъ мило! Во всемъ городѣ только она одна можетъ нравиться, а мужчинъ много, и потому всѣ они волей-неволей должны завидовать Лаевскому.

Она радовалась, что Лаевскій въ послѣднее время былъ

съ нею холоденъ, сдержанно-вѣжливъ и временами даже дерзокъ и грубъ; на всѣ его выходки и презрительные, холодные или странные непонятные взгляды она прежде отвѣчала бы слезами, попреками и угрозами уѣхать отъ него, или уморить себя голодомъ, теперь же въ отвѣтъ она только краснѣла, виновато поглядывала на него и радовалась, что онъ не ласкается къ ней. Если бы онъ бранилъ ее, или угрожалъ, то было бы еще лучше и пріятнѣе, такъ какъ она чувствовала себя кругомъ виноватою передъ нимъ. Ей казалось, что она виновата въ томъ, во-первыхъ, что не сочувствовала его мечтамъ о трудовой жизни, ради которой онъ бросилъ Петербургъ и пріѣхалъ сюда на Кавказъ, и была она увѣрена, что сердился онъ на нее въ послѣднее время именно за это. Когда она ѣхала на Кавказъ, ей казалось, что она въ первый же день найдетъ здѣсь укромный уголокъ на берегу, уютный садикъ съ тѣнью, птицами и ручьями, гдѣ можно будетъ садить цвѣты и овощи, разводить утокъ и куръ, принимать сосѣдей, лѣчить бѣдныхъ мужиковъ и раздавать имъ книжки; оказалось же, что Кавказъ—это лысыя горы, лѣса и громадныя долины, гдѣ надо долго выбирать, хлопотать, строиться, и что никакихъ тутъ сосѣдей нѣтъ и очень жарко, и могутъ ограбить. Лаевскій не торопился пріобрѣтать участокъ; она была рада этому, и оба они точно условились мысленно никогда не упоминать о трудовой жизни. Онъ молчалъ, думала она, значитъ сердился на нее за то, что она молчитъ.

Во-вторыхъ, она безъ его вѣдома за эти два года набрала въ магазинѣ Ачміанова разныхъ пустяковъ рублей на триста. Брала она понемножку то матеріи, то шелку, то зонтикъ, и незамѣтно скопился такой долгъ.

— Сегодня же скажу ему объ этомъ...—рѣшила она, но тотчасъ же сообразила, что при теперешнемъ настроеніи Лаевскаго едва ли удобно говорить ему о долгахъ.

Въ-третьихъ, она уже два раза, въ отсутствіи Лаевскаго, принимала у себа Кирилина, полицейскаго пристава: разъ утромъ, когда Лаевскій уходилъ купаться, и въ другой разъ въ полночь, когда онъ игралъ въ карты. Вспомнивъ объ этомъ, Надежда Ѳедоровна вся вспыхнула и оглянулась на кухарку, какъ бы боясь, чтобы та не подслушала ея мыслей. Длинные, нестерпимо жаркіе, скучные дни, прекрасные томительные вечера, душныя ночи, и вся эта жизнь, когда отъ

утра до вечера не знаешь, на что употребить ненужное время, и навязчивыя мысли о томъ, что она самая красивая и молодая женщина въ городѣ, и что молодость ея проходитъ даромъ, и самъ Лаевскій, честный, идейный, но однообразный, вѣчно шаркающій туфлями, грызущій ногти и наскучающій своими капризами — сдѣлали то, что ею мало-по-малу овладѣли желанія и она, какъ сумасшедшая, день и ночь думала объ одномъ и томъ же. Въ своемъ дыханіи, во взглядахъ, въ тонѣ голоса и въ походкѣ она чувствовала только желаніе; шумъ моря говорилъ ей, что надо любить, вечерняя темнота—то же, горы—то же... И когда Кирилинъ сталъ ухаживать за нею, она была не въ силахъ и не хотѣла, не могла противиться, и отдалась ему...

Теперь иностранные пароходы и люди въ бѣломъ напомнили ей почему-то огромную залу; вмѣстѣ съ французскимъ говоромъ зазвенѣли у нея въ ушахъ звуки вальса, и грудь ея задрожала отъ безпричинной радости. Ей захотѣлось танцовать и говорить по-французски.

Она съ радостью соображала, что въ ея измѣнѣ нѣтъ ничего страшнаго. Въ ея измѣнѣ душа не участвовала; она продолжаетъ любить Лаевскаго, и это видно изъ того, что она ревнуетъ его, жалѣетъ и скучаетъ, когда онъ не бываетъ дома. Кирилинъ же оказался такъ себѣ, грубоватымъ, хотя и красивымъ, съ нимъ все уже порвано и больше ничего не будетъ. Что было, то прошло, никому до этого нѣтъ дѣла, а если Лаевскій узнаетъ, то не повѣритъ.

На берегу была только одна купальня для дамъ, мужчины же купались подъ открытымъ небомъ. Войдя въ купальню, Надежда Ѳедоровна застала тамъ пожилую даму Марью Константиновну Битюгову, жену чиновника, и ея 15-лѣтнюю дочь Катю, гимназистку; обѣ онѣ сидѣли на лавочкѣ и раздѣвались. Марья Константиновна была добрая, восторженная и деликатная особа, говорившая протяжно и съ паѳосомъ. До 32 лѣтъ она жила въ гувернанткахъ, потомъ вышла за чиновника Битюгова, маленькаго, лысаго человѣка, зачесывавшаго волосы на виски и очень смирнаго. До сихъ поръ она была влюблена въ него, ревновала, краснѣла при словѣ «любовь» и увѣряла всѣхъ, что она очень счастлива.

— Дорогая моя! — сказала она восторженно, увидѣвъ Надежду Ѳедоровну и придавая своему лицу выраженіе,

которое всѣ ея знакомые называли миндальнымъ.—Милая, какъ пріятно, что вы пришли! Мы будемъ купаться вмѣстѣ— это очаровательно!

Ольга быстро сбросила съ себя платье и сорочку и стала раздѣвать свою барыню.

— Сегодня погода не такая жаркая, какъ вчера, — не правда ли? — сказала Надежда Ѳедоровна, пожимаясь отъ грубыхъ прикосновеній голой кухарки. — Вчера я едва не умерла отъ духоты.

— О, да, моя милая! Я сама едва не задохнулась. Вѣрите ли, я вчера купалась три раза... представьте, милая, три раза! Даже Никодимъ Александрычъ безпокоился.

«Ну можно ли быть такими некрасивыми?» подумала Надежда Ѳедоровна, поглядѣвъ на Ольгу и на чиновницу; она взглянула на Катю и подумала: «дѣвочка недурно сложена». — Вашъ Никодимъ Александрычъ очень, очень милъ!—сказала она.—Я въ него просто влюблена.

— Ха-ха-ха!—принужденно засмѣялась Марья Константиновна.—Это очаровательно!

Освободившись отъ одежи, Надежда Ѳедоровна почувствовала желаніе летѣть. И ей казалось, что если бы она взмахнула руками, то непремѣнно бы улетѣла вверхъ. Раздѣвшись, она замѣтила, что Ольга брезгливо смотритъ на ея бѣлое тѣло. Ольга, молодая солдатка, жила съ законнымъ мужемъ, и потому считала себя лучше и выше ея. Надежда Ѳедоровна чувствовала также, что Марья Константиновна и Катя не уважаютъ и боятся ея. Это было непріятно и, чтобы поднять себя въ ихъ мнѣніи, она сказала:

— У насъ въ Петербургѣ дачная жизнь теперь въ разгарѣ. У меня и у мужа столько знакомыхъ! Надо бы съѣздить повидаться.

— Вашъ мужъ, кажется, инженеръ? — робко спросила Марья Константиновна.

— Я говорю о Лаевскомъ. У него очень много знакомыхъ. Но, къ сожалѣнію, его мать, гордая аристократка, недалекая...

Надежда Ѳедоровна не договорила и бросилась въ воду; за нею полѣзли Марья Константиновна и Катя.

— У насъ въ свѣтѣ очень много предразсудковъ,—продолжала Надежда Ѳедоровна: — и живется не такъ легко, какъ кажется.

Марья Константиновна, служившая гувернанткою въ аристократическихъ семействахъ и знавшая толкъ въ свѣтѣ, сказала:

— О да! Вѣрите ли, милая, у Гаратынскихъ и къ завтраку, и къ обѣду требовался непремѣнно туалетъ, такъ что я, точно актриса, кромѣ жалованья, получала еще и на гардеробъ.

Она стала между Надеждой Ѳедоровной и Катей, какъ бы загораживая свою дочь отъ той воды, которая омывала Надежду Ѳедоровну. Въ открытую дверь, выходившую наружу въ море, было видно, какъ кто-то плылъ въ ста шагахъ отъ купальни.

— Мама, это нашъ Костя!—сказала Катя.

— Ахъ, ахъ! — закудахтала Марья Константиновна въ испугѣ. — Ахъ! Костя, — закричала она:—вернись! Костя, вернись!

Костя, мальчикъ лѣтъ 14, чтобы похвастать своею храбростью передъ матерью и сестрой, нырнулъ и поплылъ дальше, но утомился и поспѣшилъ назадъ, и по его серьезному, напряженному лицу видно было, что онъ не вѣрилъ въ свои силы.

— Бѣда съ этими мальчиками, милая!—сказала Марья Константиновна, успокаиваясь. — Того и гляди, свернетъ себѣ шею. Ахъ, милая, какъ пріятно и въ то же время какъ тяжело быть матерью! Всего боишься.

Надежда Ѳедоровна надѣла свою соломенную шляпу и бросилась наружу въ море. Она отплыла сажени на четыре и легла на спину. Ей были видны море до горизонта, пароходы, люди на берегу, городъ, и все это вмѣстѣ со зноемъ и прозрачными нѣжными волнами раздражало ее и шептало ей, что надо жить, жить... Мимо нея быстро, энергически разрѣзывая волны и воздухъ, пронеслась парусная лодка; мужчина, сидѣвшій у руля, глядѣлъ на нее, и ей пріятно было, что на нее глядятъ...

Выкупавшись, дамы одѣлись и пошли вмѣстѣ.

— У меня черезъ день бываетъ лихорадка, а между тѣмъ я не худѣю,—говорила Надежда Ѳедоровна, облизывая свои соленыя отъ купанья губы и отвѣчая улыбкой на поклоны знакомыхъ. — Я всегда была полной и теперь, кажется, еще больше пополнѣла.

— Это, милая, отъ расположенія. Если кто не располо-

жепъ къ полнотѣ, какъ я, напримѣръ, то никакая пища не поможетъ. Однако, милая, вы измочили свою шляпу.

— Ничего, высохнетъ.

Надежда Ѳедоровна опять увидѣла людей въ бѣломъ, которые ходили по набережной и разговаривали по-французски; и почему-то опять въ груди у нея заволновалась радость и смутно припомнилась ей какая-то большая зала, въ которой она когда-то танцовала, или которая, быть-можетъ, когда-то снилась ей. И что-то въ самой глубинѣ души, смутно и глухо шептало ей, что она мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина...

Марья Константиновна остановилась около своихъ воротъ и пригласила ее зайти посидѣть.

— Зайдите, моя дорогая!—сказала она умоляющимъ голосомъ и въ то же время поглядѣла на Надежду Ѳедоровну съ тоской и съ надеждой: авось откажется и не зайдетъ!

— Съ удовольствіемъ,—согласилась Надежда Ѳедоровна.— Вы знаете, какъ я люблю быть у васъ!

И она вошла въ домъ. Марья Константиновна усадила ее, дала кофе, накормила сдобными булками, потомъ показала ей фотографіи своихъ бывшихъ воспитанницъ — барышенъ Гаратынскихъ, которыя уже повыходили замужъ, показала также экзаменаціонныя отмѣтки Кати и Кости; отмѣтки были очень хорошія, но чтобы онѣ показались еще лучше, она со вздохомъ пожаловалась на то, какъ трудно теперь учиться въ гимназіи... Она ухаживала за гостьей и, въ то же время, жалѣла ее и страдала отъ мысли, что Надежда Ѳедоровна своимъ присутствіемъ можетъ дурно повліять на нравственность Кости и Кати, и радовалась, что ея Никодима Александрыча не было дома. Такъ какъ, по ея мнѣнію, всѣ мужчины любятъ «такихъ», то Надежда Ѳедоровна могла дурно повліять и на Никодима Александрыча.

Разговаривая съ гостьей, Марья Константиновна все время помнила, что сегодня вечеромъ будетъ пикникъ, и что фонъ-Коренъ убѣдительно просилъ не говорить объ этомъ макакамъ, т. е. Лаевскому и Надеждѣ Ѳедоровнѣ, но она нечаянно проговорилась, вся вспыхнула и сказала въ смущеніи:

— Надѣюсь, и вы будете!

## VI.

Условились ѣхать за семь верстъ отъ города по дорогѣ къ югу, остановиться около духана, при сліяніи двухъ рѣчекъ—Черной и Желтой, и варить тамъ уху. Выѣхали въ началѣ шестого часа. Впереди всѣхъ, въ шарабанѣ, ѣхали Самойленко и Лаевскій, за ними въ коляскѣ, заложенной въ тройку, Марья Константиновна, Надежда Ѳедоровна, Катя и Костя; при нихъ была корзина съ провизіей и посуда. Въ слѣдующемъ экипажѣ ѣхали приставъ Кирилинъ и молодой Ачміановъ, сынъ того самаго купца Ачміанова, которому Надежда Ѳедоровна была должна триста рублей, и противъ ихъ на скамеечкѣ, скорчившись и поджавъ ноги, сидѣлъ Никодимъ Александрычъ, маленькій, аккуратненькій, съ зачесанными височками. Позади всѣхъ ѣхали фонъ-Коренъ и дьяконъ; у дьякона въ ногахъ стояла корзина съ рыбой.

— Пррава! — кричалъ во все горло Самойленко, когда попадалась навстрѣчу арба или абхазецъ верхомъ на ослѣ.

— Черезъ два года, когда у меня будутъ готовы средства и люди, я отправлюсь въ экспедицію,—разсказывалъ фонъ-Коренъ дьякону.—Я пройду берегомъ отъ Владивостока до Берингова пролива и потомъ отъ пролива до устья Енисея. Мы начертимъ карту, изучимъ фауну и флору и обстоятельно займемся геологіей, антропологическими и этнографическими изслѣдованіями. Отъ васъ зависитъ поѣхать со мною или нѣтъ.

— Это невозможно,—сказалъ дьяконъ.

— Почему?

— Я человѣкъ зависимый, семейный.

— Дьяконица васъ отпуститъ. Мы ее обезпечимъ. Еще лучше, если бы вы убѣдили ее, для общей пользы, постричься въ монахини; это дало бы вамъ возможность самому постричься и поѣхать въ экспедицію іеромонахомъ. Я могу вамъ устроить это.

Дьяконъ молчалъ.

— Вы свою богословскую часть хорошо знаете?—спросилъ зоологъ.

— Плоховато.

— Гм... Я вамъ не могу сдѣлать никакихъ указаній на этотъ счетъ, потому что я самъ мало знакомъ съ богословіемъ.

Вы дайте мнѣ списочекъ книгъ, какія вамъ нужны, и я вышлю вамъ зимою изъ Петербурга. Вамъ также нужно будетъ прочесть записки духовныхъ путешественниковъ; между ними попадаются хорошіе этнологи и знатоки восточныхъ языковъ. Когда вы ознакомитесь съ ихъ манерой, вамъ легче будетъ приступить къ дѣлу. Ну, а пока книгъ нѣтъ, не теряйте времени попусту, ходите ко мнѣ, и мы займемся компасомъ, пройдемъ метеорологію. Все это необходимо.

— Такъ-то такъ...—пробормоталъ дьяконъ и засмѣялся.— Я просилъ себѣ мѣста въ средней Россіи, и мой дядя-протоіерей обѣщалъ мнѣ поспособствовать. Если я поѣду съ вами, то выйдетъ, что я ихъ даромъ безпокоилъ.

— Не понимаю я вашихъ колебаній. Продолжая быть обыкновеннымъ дьякономъ, который обязанъ служить только по праздникамъ, а въ остальные дни—почивать отъ дѣлъ, вы и черезъ десять лѣтъ останетесь все такимъ же, какой вы теперь, и прибавятся у васъ развѣ только усы и бородка, тогда какъ, вернувшись изъ экспедиціи, черезъ эти же десять лѣтъ вы будете другимъ человѣкомъ, вы обогатитесь сознаніемъ, что вами кое-что сдѣлано.

Изъ дамскаго экипажа послышались крики ужаса и восторга. Экипажи ѣхали по дорогѣ, прорытой въ совершенно отвѣсномъ скалистомъ берегу, и всѣмъ казалось, что они скачутъ по полкѣ, придѣланной къ высокой стѣнѣ, и что сейчасъ экипажи свалятся въ пропасть. Направо разстилалось море, налѣво — была неровная коричневая стѣна съ черными пятнами, красными жилами и ползучими корневищами, а сверху, нагнувшись, точно со страхомъ и любопытствомъ, смотрѣли внизъ кудрявыя хвои. Черезъ минуту опять визгъ и смѣхъ: пришлось ѣхать подъ громаднымъ нависшимъ камнемъ.

— Не понимаю, за какимъ такимъ чортомъ я ѣду съ вами,—сказалъ Лаевскій.—Какъ глупо и пошло! Мнѣ надо ѣхать на сѣверъ, бѣжать, спасаться, а я почему-то ѣду на этотъ дурацкій пикникъ.

— А ты посмотри, какая панорама! — сказалъ ему Самойленко, когда лошади повернули влѣво и открылась долина Желтой рѣчки, и блеснула сама рѣчка—желтая, мутная, сумасшедшая...

— Ничего я, Саша, не вижу въ этомъ хорошаго,—отвѣ-

тилъ Лаевскій. — Восторгаться постоянно природой — это значитъ показывать скудость своего воображенія. Въ сравненіи съ тѣмъ, что мнѣ можетъ дать мое воображеніе, всѣ эти ручейки и скалы—дрянь и больше ничего.

Коляски ѣхали уже по берегу рѣчки. Высокіе гористые берега мало-по-малу сходились, долина суживалась и представлялась впереди ущельемъ; каменистая гора, около которой ѣхали, была сколочена природою изъ громадныхъ камней, давившихъ другъ друга съ такой страшной силой, что при взглядѣ на нихъ Самойленко всякій разъ невольно кряхтѣлъ. Мрачная и красивая гора мѣстами прорѣзывалась узкими трещинами и ущельями, изъ которыхъ вѣяло на ѣхавшихъ влагой и таинственностью; сквозь ущелья видны были другія горы, бурыя, розовыя, лиловыя, дымчатыя или залитыя яркимъ свѣтомъ. Слышалось изрѣдка, когда проѣзжали мимо ущелій, какъ гдѣ-то съ высоты падала вода и шлепала по камнямъ.

— Ахъ, проклятыя горы, — вздыхалъ Лаевскій: — какъ онѣ мнѣ надоѣли!

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ Черная рѣчка впадала въ Желтую, и черная вода, похожая на чернила, пачкала желтую и боролась съ ней, въ сторонѣ отъ дороги стоялъ духанъ татарина Кербалая съ русскимъ флагомъ на крышѣ и съ вывѣской, написанной мѣломъ: «Пріятный духанъ»; около него былъ небольшой садикъ, обнесенный плетнемъ, гдѣ стояли столы и скамьи, и среди жалкаго колючаго кустарника возвышался одинъ единственный кипарисъ, красивый и темный.

Кербалай, маленькій, юркій татаринъ, въ синей рубахѣ и бѣломъ фартукѣ, стоялъ на дорогѣ и, взявшись за животъ, низко кланялся навстрѣчу экипажамъ и, улыбаясь, показывалъ свои бѣлые блестящіе зубы.

— Здорово, Кербалайка! — крикнулъ ему Самойленко.— Мы отъѣдемъ немножко дальше, а ты тащи туда самоваръ и стулья! Живо!

Кербалай кивалъ своей стриженой головой и что-то бормоталъ и только сидѣвшіе въ заднемъ экипажѣ могли разслышать: «есть форели, ваше превосходительство».

— Тащи, тащи!—сказалъ ему фонъ-Коренъ.

Отъѣхавъ шаговъ пятьсотъ отъ духана, экипажи остановились. Самойленко выбралъ небольшой лужокъ, на ко-

торомъ были разбросаны камни, удобные для сидѣнья, и лежало дерево, поваленное бурей, съ вывороченнымъ мохнатымъ корнемъ и съ высохшими желтыми иглами. Тутъ черезъ рѣчку былъ перекинутъ жидкій бревенчатый мостъ, и на другомъ берегу, какъ разъ напротивъ, на четырехъ невысокихъ сваяхъ стоялъ сарайчикъ, сушильня для кукурузы, напоминавшая сказочную избушку на курьихъ ножкахъ; отъ ея двери внизъ спускалась лѣсенка.

Первое впечатлѣніе у всѣхъ было такое, какъ будто они никогда не выберутся отсюда. Со всѣхъ сторонъ, куда ни посмотришь, громоздились и надвигались горы, и быстро, быстро со стороны духана и темнаго кипариса набѣгала вечерняя тѣнь, и отъ этого узкая, кривая долина Черной рѣчки становилась уже, а горы выше. Слышно было, какъ ворчала рѣка и безъ умолку кричали цикады.

— Очаровательно! — сказала Марья Константиновна, дѣлая глубокія вдыханія отъ восторга.—Дѣти, посмотрите, какъ хорошо! Какая тишина!

— Да, въ самомъ дѣлѣ хорошо, — согласился Лаевскій, которому понравился видъ и почему-то, когда онъ посмотрѣлъ на небо и потомъ на синій дымокъ, выходившій изъ трубы духана, вдругъ стало грустно.—Да, хорошо!—повторилъ онъ.

— Иванъ Андреичъ, опишите этотъ видъ!—сказала слезливо Марья Константиновна.

— Зачѣмъ? — спросилъ Лаевскій. — Впечатлѣніе лучше всякаго описанія. Это богатство красокъ и звуковъ, какое всякій получаетъ отъ природы путемъ впечатлѣній, писатели выбалтываютъ въ безобразномъ, неузнаваемомъ видѣ.

— Будто бы?—холодно спросилъ фонъ-Коренъ, выбравъ себѣ самый большой камень около воды и стараясь взобраться на него и сѣсть.—Будто бы?—повторилъ онъ, глядя въ упоръ на Лаевскаго.—А Ромео и Джульета? А, напримѣръ, Украинская ночь Пушкина? Природа должна придти и въ ножки поклониться.

— Пожалуй... согласился Лаевскій, которому было лѣнь соображать и противорѣчить.—Впрочемъ,—сказалъ онъ немного погодя:—что такое Ромео и Джульета въ сущности? Красивая, поэтическая святая любовь—это розы, подъ которыми хотятъ спрятать гниль. Ромео—такое же животное, какъ и всѣ.

— О чемъ съ вами ни заговоришь, вы все сводите къ... Фонъ-Коренъ оглянулся на Катю и не договорилъ.

— Къ чему я свожу?—спросилъ Лаевскій.

— Вамъ говоришь, напримѣръ: «какъ красива кисть винограда!», а вы: «да, но какъ она безобразна, когда ее жуютъ и перевариваютъ въ желудкахъ». Къ чему это говорить? Не ново и... вообще странная манера.

Лаевскій зналъ, что его не любитъ фонъ-Коренъ, и потому боялся его и въ его присутствіи чувствовалъ себя такъ, какъ будто всѣмъ было тѣсно и за спиной стоялъ кто-то. Онъ ничего не отвѣтилъ, отошелъ въ сторону и пожалѣлъ, что поѣхалъ.

— Господа, маршъ за хворостомъ для костра!—скомандовалъ Самойленко.

Всѣ разбрелись, куда попало, и на мѣстѣ остались только Кирилинъ, Ачміановъ и Никодимъ Александрычъ. Кербалай принесъ стулья, разостлалъ на землѣ коверъ и поставилъ нѣсколько бутылокъ вина. Приставъ Кирилинъ, высокій, видный мужчина, во всякую погоду носившій сверхъ кителя шинель, своею горделивою осанкою, важной походкой и густымъ, нѣсколько хриплымъ голосомъ, напоминалъ провинціальныхъ полицеймейстеровъ изъ молодыхъ. Выраженіе у него было грустное и сонное, какъ будто его только-что разбудили противъ его желанія.

— Ты что же это, скотина, принесъ?—спросилъ онъ у Кербалая, медленно выговаривая каждое слово.—Я приказывалъ тебѣ подать кварели, а ты что принесъ, татарская морда? А? Кого?

— У насъ много своего вина, Егоръ Алексѣичъ, — робко и вѣжливо замѣтилъ Никодимъ Александрычъ.

— Что-съ? Но я желаю, чтобы и мое вино было. Я участвую въ пикникѣ и, полагаю, имѣю полное право внести свою долю. По-ла-гаю! Принеси десять бутылокъ кварели!

— Для чего такъ много?—удивился Никодимъ Александрычъ, знавшій, что у Кирилина не было денегъ.

— Двадцать бутылокъ! Тридцать!—крикнулъ Кирилинъ.

— Ничего, пусть,—шепнулъ Ачміановъ Никодиму Александрычу,—я заплачу.

Надежда Ѳедоровна была въ веселомъ, шаловливомъ настроеніи. Ей хотѣлось прыгать, хохотать, кричать, дразнить, кокетничать. Въ своемъ дешевомъ платьѣ изъ сит-

чика съ голубыми глазками, въ красныхъ туфелькахъ и въ той же самой соломенной шляпѣ она казалась себѣ маленькой, простенькой, легкой и воздушной, какъ бабочка. Она пробѣжала по жидкому мостику и минуту глядѣла въ воду, чтобы закружилась голова, потомъ вскрикнула и со смѣхомъ побѣжала на ту сторону къ сушильнѣ, и ей казалось, что всѣ мужчины и даже Кербалай, любовались ею. Когда въ быстро наступавшихъ потемкахъ деревья сливались съ горами, лошади съ экипажами и въ окнахъ духана блеснулъ огонекъ, она по тропинкѣ, которая вилась между камнями и колючими кустами, взобралась на гору и сѣла на камень. Внизу уже горѣлъ костеръ. Около огня съ засученными рукавами двигался дьяконъ, и его длинная черная тѣнь радіусомъ ходила вокругъ костра; онъ подкладывалъ хворостъ и ложкой, привязанной къ длинной палкѣ, мѣшалъ въ котлѣ. Самойленко, съ мѣдно-краснымъ лицомъ, хлопоталъ около огня, какъ у себя въ кухнѣ, и кричалъ свирѣпо:

— Гдѣ же соль, господа? Небось забыли? Что же это всѣ разсѣлись, какъ помѣщики, а я одинъ хлопочи?

На поваленномъ деревѣ рядышкомъ сидѣли Лаевскій и Никодимъ Александрычъ и задумчиво смотрѣли на огонь. Марья Константиновна, Катя и Костя вынимали изъ корзинъ чайную посуду и тарелки. Фонъ-Коренъ, скрестивъ руки и поставивъ одну ногу на камень, стоялъ на берегу около самой воды и о чемъ-то думалъ. Красныя пятна отъ костра, вмѣстѣ съ тѣнями, ходили по землѣ около темныхъ человѣческихъ фигуръ, дрожали на горѣ, на деревьяхъ, на мосту, на сушильнѣ; на другой сторонѣ обрывистый, изрытый бережокъ весь былъ освѣщенъ, мигалъ и отражался въ рѣчкѣ, и быстро бѣгущая бурливая вода рвала на части его отраженіе.

Дьяконъ пошелъ за рыбой, которую на берегу чистилъ и мылъ Кербалай, но на полдорогѣ остановился и посмотрѣлъ вокругъ.

«Боже мой, какъ хорошо!—подумалъ онъ.—Люди, камни, огонь, сумерки, уродливое дерево—ничего больше, но какъ хорошо!»

На томъ берегу около сушильни появились какіе-то незнакомые люди. Оттого, что свѣтъ мелькалъ и дымъ отъ костра несло на ту сторону, нельзя было разсмотрѣть всѣхъ

этихъ людей сразу, а видны были по частямъ то мохнатая шапка и сѣдая борода, то синяя рубаха, то лохмотья отъ плечъ до колѣнъ и кинжалъ поперекъ живота, то молодое смуглое лицо съ черными бровями, такими густыми и рѣзкими, какъ будто онѣ были написаны углемъ. Человѣкъ пять изъ нихъ сѣли въ кружокъ на землѣ, а остальные пять пошли въ сушильню. Одинъ сталъ въ дверяхъ спиною къ костру и, заложивъ руки назадъ, сталъ разсказывать что-то, должно-быть, очень интересное, потому что, когда Самойленко подложилъ хворосту и костеръ вспыхнулъ, брызнулъ искрами и ярко освѣтилъ сушильню, было видно, какъ изъ дверей глядѣли двѣ физіономіи, спокойныя, выражавшія глубокое вниманіе, и какъ тѣ, которые сидѣли въ кружокъ, обернулись и стали прислушиваться къ разсказу. Немного погодя, сидѣвшіе въ кружокъ тихо запѣли что-то протяжное, мелодичное, похожее на великопостную церковную пѣсню... Слушая ихъ, дьяконъ вообразилъ, что будетъ съ нимъ черезъ десять лѣтъ, когда онъ вернется изъ экспедиціи: онъ—молодой іеромонахъ-миссіонеръ, авторъ съ именемъ и великолѣпнымъ прошлымъ; его посвящаютъ въ архимандриты, потомъ въ архіереи; онъ служитъ въ каѳедральномъ соборѣ обѣдню: въ золотой митрѣ, съ панагіей выходитъ на амвонъ и, осѣняя массу народа трикиріемъ и дикиріемъ, возглашаетъ:—«Призри съ небесе, Боже, и виждь и посѣти виноградъ сей, его же насади десница Твоя!» А дѣти ангельскими голосами поютъ въ отвѣтъ: «Святый Боже»...

— Дьяконъ, гдѣ же рыба?—послышался голосъ Самойленка.

Вернувшись къ костру, дьяконъ вообразилъ, какъ въ жаркій іюльскій день по пыльной дорогѣ идетъ крестный ходъ: впереди мужики несутъ хоругви, а бабы и дѣвки иконы, за ними мальчишки-пѣвчіе и дьячокъ съ подвязанной щекой и съ соломой въ волосахъ, потомъ по порядку онъ, дьяконъ, за нимъ попъ въ скуфейкѣ и съ крестомъ, а сзади пылитъ толпа мужиковъ, бабъ мальчишекъ; тутъ же въ толпѣ попадья и дьяконица въ платочкахъ. Поютъ пѣвчіе, ревутъ дѣти, кричатъ перепела, заливается жаворонокъ... Вотъ остановились и покропили святой водой стадо... Пошли дальше и съ колѣнопреклоненіемъ попросили дождя. Потомъ закуска, разговоры...

«И это тоже хорошо...»—подумалъ дьяконъ.

## VII.

Кирилинъ и Ачміановъ взбирались на гору по тропинкѣ Ачміановъ отсталъ и остановился, а Кирилинъ подошелъ къ Надеждѣ Ѳедоровнѣ.

— Добрый вечеръ!—сказалъ онъ, дѣлая подъ козырекъ.

— Добрый вечеръ.

— Да-съ!—сказалъ Кирилинъ, глядя на небо и думая.

— Что—да-съ?—спросила Надежда Ѳедоровна, помолчавъ немного и замѣчая, что Ачміановъ наблюдаетъ за ними обоими.

— Итакъ, значитъ,— медленно выговорилъ офицеръ:— наша любовь увяла, не успѣвъ расцвѣсть, такъ сказать. Какъ прикажете это понять? Кокетство это съ вашей стороны, въ своемъ родѣ, или же вы считаете меня шалопаемъ, съ которымъ можно поступать какъ угодно?

— Это была ошибка! Оставьте меня! — сказала рѣзко Надежда Ѳедоровна, въ этотъ прекрасный, чудесный вечеръ глядя на него со страхомъ и спрашивая себя въ недоумѣніи: «неужели въ самомъ дѣлѣ была минута, когда этотъ человѣкъ нравился ей и былъ близокъ?»

— Такъ-съ! — сказалъ Кирилинъ; онъ молча постоялъ немного, подумалъ и сказалъ:—Что жъ? Подождемъ, когда вы будете въ лучшемъ настроеніи, а пока смѣю васъ увѣрить, я человѣкъ порядочный и сомнѣваться въ этомъ никому не позволю. Мной играть нельзя! Adieu!

Онъ сдѣлалъ подъ козырекъ и пошелъ въ сторону, пробираясь межъ кустами. Немного погодя, нерѣшительно подошелъ Ачміановъ.

— Хорошій вечеръ сегодня! — сказалъ онъ съ легкимъ армянскимъ акцентомъ.

Онъ былъ недуренъ собой, одѣвался по модѣ, держался просто, какъ благовоспитанный юноша, но Надежда Ѳедоровна не любила его за то, что была должна его отцу триста рублей; ей непріятно было также, что на пикникъ пригласили лавочника, и было непріятно, что онъ подошелъ къ ней именно въ этотъ вечеръ, когда на душѣ у нея было такъ чисто.

— Вообще пикникъ удался,—сказалъ онъ, помолчавъ.

— Да,—согласилась она и, какъ будто только-что вспомнив[illegible] свой долгъ, сказала небрежно:—Да, скажите въ

своемъ магазинѣ, что на-дняхъ зайдетъ Иванъ Андреичъ и заплатитъ тамъ триста... или не помню сколько.

— Я готовъ дать еще триста, только чтобы вы каждый день не напоминали объ этомъ долгѣ. Къ чему проза?

Надежда Ѳедоровна засмѣялась; ей пришла въ голову смѣшная мысль, что если бы она была недостаточно нравственной и пожелала, то въ одну минуту могла бы отдѣлаться отъ долга. Если бы, напримѣръ, этому красивому, молодому дурачку вскружить голову! Какъ бы это въ сущности было смѣшно, нелѣпо, дико! И ей вдругъ захотѣлось влюбить, обобрать, бросить, потомъ посмотрѣть, что̀ изъ этого выйдетъ.

— Позвольте дать вамъ одинъ совѣтъ, — робко сказалъ Ачміановъ. — Прошу васъ, остерегайтесь Кирилина. Онъ всюду разсказываетъ про васъ ужасныя вещи.

— Мнѣ неинтересно знать, что̀ разсказываетъ про меня всякій дуракъ,—сказала холодно Надежда Ѳеодоровна, и ею овладѣло безпокойство, и смѣшная мысль поиграть молодымъ, хорошенькимъ Ачміановымъ вдругъ потеряла свою прелесть.

— Надо внизъ идти,—сказала она.—Зовутъ.

Внизу уже была готова уха. Ее разливали по тарелкамъ и ѣли съ тѣмъ священнодѣйствіемъ, съ какимъ это дѣлается только на пикникахъ; и всѣ находили, что уха очень вкусна, и что дома они никогда не ѣли ничего такого вкуснаго. Какъ это водится на всѣхъ пикникахъ, теряясь въ массѣ салфетокъ, свертковъ, ненужныхъ, ползающихъ отъ вѣтра сальныхъ бумагъ, не знали, гдѣ чей стаканъ и гдѣ чей хлѣбъ, проливали вино на коверъ и себѣ на колѣни, разсыпали соль, а кругомъ было темно и костеръ горѣлъ уже не такъ ярко и каждому было лѣнь встать и подложить хворосту. Всѣ пили вино, и Костѣ, и Катѣ дали по полустакану. Надежда Ѳедоровна выпила стаканъ, потомъ другой, опьянѣла и забыла про Кирилина.

— Роскошный пикникъ, очаровательный вечеръ, — сказалъ Лаевскій, веселѣя отъ вина: — но я предпочелъ бы всему этому хорошую зиму. «Морозной пылью серебрится его бобровый воротникъ».

— У всякаго свой вкусъ,—замѣтилъ фонъ-Коренъ.

Лаевскій почувствовалъ неловкость: въ спину ему билъ жаръ отъ костра, а въ грудь и въ лицо—ненависть фонъ-

Корена; эта ненависть порядочнаго, умнаго человѣка, въ которой таилась, вѣроятно, основательная причина, унижала его, ослабляла, и онъ, не будучи въ силахъ противостоять ей, сказалъ заискивающимъ тономъ:

— Я страстно люблю природу и жалѣю, что я не естественникъ. Я завидую вамъ.

— Ну, а я не жалѣю и не завидую,—сказала Надежда Ѳедоровна.—Я не понимаю, какъ это можно серьезно заниматься букашками и козявками, когда страдаетъ народъ.

Лаевскій раздѣлялъ ея мнѣніе. Онъ былъ совершенно незнакомъ съ естественными науками и потому никогда не могъ помириться съ авторитетнымъ тономъ и ученымъ, глубокомысленнымъ видомъ людей, которые занимаются муравьиными усиками и тараканьими лапками, и ему всегда было досадно, что эти люди, на основаніи усиковъ, лапокъ и какой-то протоплазмы (онъ почему-то воображалъ ее въ видѣ устрицы), берутся рѣшать вопросы, охватывающіе собою происхожденіе и жизнь человѣка. Но въ словахъ Надежды Ѳедоровны ему послышалась ложь, и онъ сказалъ только для того, чтобы противорѣчить ей:

— Дѣло не въ козявкахъ, а въ выводахъ!

## VIII.

Стали садиться въ экипажи, чтобы ѣхать домой, поздно, часу въ одиннадцатомъ. Всѣ сѣли и недоставало только Надежды Ѳедоровны и Ачміанова, которые по ту сторону рѣки бѣгали въ перегонки и хохотали.

— Господа, поскорѣй!—крикнулъ имъ Самойленко.

— Не слѣдовало бы дамамъ давать вино,—тихо сказалъ фонъ-Коренъ.

Лаевскій, утомленный пикникомъ, ненавистью фонъ-Корена и своими мыслями, пошелъ къ Надеждѣ Ѳедоровнѣ навстрѣчу и, когда она, веселая, радостная, чувствуя себя легкой, какъ перышко, запыхавшись и хохоча, схватила его за обѣ руки и положила ему голову на грудь, онъ сдѣлалъ шагъ назадъ и сказалъ сурово:

— Ты ведешь себя, какъ... кокотка.

Это вышло ужъ очень грубо, такъ что ему даже стало жаль ея. На его сердитомъ, утомленномъ лицѣ она прочла ненависть, жалость, досаду на себя, и вдругъ пала духомъ. Она поняла, что пересолила, вела себя слишкомъ развязно;

и, опечаленная, чувствуя себя тяжелой, толстой, грубой и пьяною, сѣла въ первый попавшійся пустой экипажъ вмѣстѣ съ Ачміановымъ. Лаевскій сѣлъ съ Кирилинымъ, зоологъ съ Самойленкомъ, дьяконъ съ дамами, и поѣздъ тронулся.

— Вотъ они каковы макаки... — началъ фонъ-Коренъ, кутаясь въ плащъ и закрывая глаза. — Ты слышалъ, она не хотѣла бы заниматься букашками и козявками, потому что страдаетъ народъ. Такъ судятъ нашего брата всѣ макаки. Племя рабское, лукавое, въ десяти поколѣніяхъ запуганное кнутомъ и кулакомъ; оно трепещетъ, умиляется и куритъ ѳиміамы только передъ насиліемъ, но впусти макаку въ свободную область, гдѣ ее некому брать за шиворотъ, тамъ она развертывается и даетъ себя знать. Посмотри, такъ она смѣла на картинныхъ выставкахъ, въ музеяхъ, въ театрахъ, или когда судитъ о наукѣ: она топорщится, становится на дыбы, ругается, критикуетъ... И непремѣнно критикуетъ — рабская черта! Ты прислушайся: людей свободныхъ профессій ругаютъ чаще, чѣмъ мошенниковъ—это оттого, что общество на три четверти состоитъ изъ рабовъ, изъ такихъ же вотъ макакъ. Не случается, чтобы рабъ протянулъ тебѣ руку и сказалъ искренно спасибо за то, что ты работаешь.

— Не знаю, что ты хочешь! — сказалъ Самойленко, зѣвая. — Бѣдненькой по простотѣ захотѣлось поговорить съ тобой объ умномъ, а ты ужъ заключеніе выводишь. Ты сердитъ на него за что-то, ну и на нее за компанію. А она прекрасная женщина!

— Э, полно! Обыкновенная содержанка, развратная и пошлая. Послушай, Александръ Давидычъ, когда ты встрѣчаешь простую бабу, которая не живетъ съ мужемъ, ничего не дѣлаетъ и только хи-хи да ха-ха, ты говоришь ей: ступай работать. Почему же ты тутъ робѣешь и боишься говорить правду? Потому только, что Надежда Ѳедоровна живетъ на содержаніи не у матроса, а у чиновника?

— Что же мнѣ съ ней дѣлать? — разсердился Самойленко.—Бить ее, что ли?

— Не льстить пороку. Мы проклинаемъ порокъ только за глаза, а это похоже на кукишъ въ карманѣ. Я зоологъ, или соціологъ, что одно и то же, ты—врачъ; общество намъ вѣритъ; мы обязаны указывать ему на тотъ страшный

вредъ, какимъ угрожаетъ ему и будущимъ поколѣніямъ существованіе госпожъ въ родѣ этой Надежды Ивановны.

— Ѳедоровны,—поправилъ Самойленко. — А что должно дѣлать общество?

— Оно? Это его дѣло. По-моему, самый прямой и вѣрный путь, это—насиліе. Manu militari ее слѣдуетъ отправить къ мужу, а если мужъ не приметъ, то отдать ее въ каторжныя работы, или въ какое-нибудь исправительное заведеніе.

— Уфъ!—вздохнулъ Самойленко; онъ помолчалъ и спросилъ тихо: — Какъ-то на-дняхъ ты говорилъ, что такихъ людей, какъ Лаевскій, уничтожать надо... Скажи мнѣ, если бы того... положимъ, государство, или общество поручило тебѣ уничтожить его, ты бы... рѣшился?

— Рука бы не дрогнула.

## IX.

Пріѣхавъ домой, Лаевскій и Надежда Ѳедоровна вошли въ свои темныя, душныя, скучныя комнаты. Оба молчали. Лаевскій зажегъ свѣчу, а Надежда Ѳедоровна сѣла и, не снимая манто и шляпы, подняла на него печальные, виноватые глаза.

Онъ понялъ, что она ждетъ отъ него объясненія; но объясняться было бы скучно, безполезно и утомительно, и на душѣ было тяжело оттого, что онъ не удержался и сказалъ ей грубость. Случайно онъ нащупалъ у себя въ карманѣ письмо, которое каждый день собирался прочесть ей, и подумалъ, что если показать ей теперь это письмо, то оно отвлечетъ ея вниманіе въ другую сторону.

«Пора ужъ выяснить отношенія,—подумалъ онъ.—Дамъ ей; что будетъ, то будетъ».

Онъ вынулъ письмо и подалъ ей.

— Прочти. Это тебя касается.

Сказавши это, онъ пошелъ къ себѣ къ кабинетъ и легъ на диванъ въ потемкахъ, безъ подушки. Надежда Ѳедоровна прочла письмо, и показалось ей, что потолокъ опустился и стѣны подошли близко къ ней. Стало вдругъ тѣсно, темно и страшно. Она быстро перекрестилась три раза и проговорила:

— Упокой Господи... упокой Господи...

И заплакала.

— Ваня!—позвала она.—Иванъ Андреичъ!

Отвѣта не было. Думая, что Лаевскій вошелъ и стоитъ у нея за стуломъ, она всхлипывала, какъ ребенокъ, и говорила:

— Зачѣмъ ты раньше не сказалъ мнѣ, что онъ умеръ? Я бы не поѣхала на пикникъ, не хохотала бы такъ страшно... Мужчины говорили мнѣ пошлости. Какой грѣхъ, какой грѣхъ! Спаси меня, Ваня, спаси меня... Я обезумѣла... Я пропала...

Лаевскій слышалъ ея всхлипыванья. Ему было нестерпимо душно, и сильно стучало сердце. Въ тоскѣ онъ поднялся, постоялъ посреди комнаты, нащупалъ въ потемкахъ кресло около стола и сѣлъ.

«Это тюрьма... — подумалъ онъ. — Надо уйти... Я не могу»...

Идти играть въ карты было уже поздно, ресторановъ въ городѣ не было. Онъ опять легъ и заткулъ уши, чтобы не слышать всхлипываній, и вдругъ вспомнилъ, что можно пойти къ Самойленку. Чтобы не проходить мимо Надежды Ѳедоровны, онъ черезъ окно пробрался въ садикъ, перелѣзъ черезъ палисадникъ и пошелъ по улицѣ. Было темно. Только-что пришелъ какой-то пароходъ, судя по огнямъ, большой пассажирскій... Загремѣла якорная цѣпь. Отъ берега по направленію къ пароходу быстро двигался красный огонекъ: это плыла таможенная лодка.

«Спятъ себѣ пассажиры въ каютахъ»...—подумалъ Лаевскій и позавидовалъ чужому покою.

Окна въ домѣ Самойленка были открыты. Лаевскій поглядѣлъ въ одно изъ нихъ, потомъ въ другое: въ комнатахъ было темно и тихо.

— Александръ Давидычъ, ты спишь? — позвалъ онъ.— Александръ Давидычъ!

Послышался кашель и тревожный окрикъ:

— Кто тамъ? Какого чорта?

— Это я, Александръ Давидычъ. Извини.

Немного погодя, отворилась дверь; блеснулъ мягкій свѣтъ отъ лампадки и показался громадный Самойленко весь въ бѣломъ и въ бѣломъ колпакѣ.

— Что тебѣ?—спросилъ онъ, тяжело дыша съ просонокъ и почесываясь.—Погоди, я сейчасъ отопру.

— Не трудись, я въ окно...

Лаевскій влѣзъ въ окошко и, подойдя къ Самойленку, схватилъ его за руку.

— Александръ Давидычъ,—сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ:—спаси меня! Умоляю тебя, заклинаю, пойми меня! Положеніе мое мучительно. Если оно продолжится еще хотя день-два, то я задушу себя, какъ... какъ собаку!

— Постой... Ты насчетъ чего собственно?

— Зажги свѣчу.

— Охъ, охъ...—вздохнулъ Самойленко, зажигая свѣчу.—Боже мой, Боже мой... А уже второй часъ, братъ.

— Извини, но я не могу дома сидѣть,—сказалъ Лаевскій, чувствуя большое облегченіе отъ свѣта и присутствія Самойленка. — Ты, Александръ Давидычъ, мой единственный, мой лучшій другъ... Вся надежда на тебя. Хочешь, не хочешь, Бога ради выручай. Во что бы то ни стало, я долженъ уѣхать отсюда. Дай мнѣ денегъ взаймы!

— Охъ, Боже мой, Боже мой!..—вздохнулъ Самойленко, почесываясь.—Засыпаю и слышу: свистокъ, пароходъ пришелъ, а потомъ ты... Много тебѣ нужно?

— По крайней мѣрѣ рублей триста. Ей нужно оставить сто и мнѣ на дорогу двѣсти... Я тебѣ долженъ уже около четырехсотъ, но я все выплю... все...

Самойленко забралъ въ одну руку оба бакена, разставилъ ноги и задумался.

— Такъ...—пробормоталъ онъ въ раздумьи.—Триста... Да... Но у меня нѣтъ столько. Придется занять у кого-нибудь.

— Займи, Бога ради!—сказалъ Лаевскій, видя по лицу Самойленка, что онъ хочетъ дать ему денегъ и непремѣнно дастъ.—Займи, а я непремѣнно отдамъ. Выплю изъ Петербурга, какъ только пріѣду туда. Это ужъ будь покоенъ. Вотъ что, Саша,—сказалъ онъ, оживляясь:—давай выпьемъ вина!

— Такъ... Можно и вина.

Оба пошли въ столовую.

— А какъ же Надежда Ѳедоровна? — спросилъ Самойленко, ставя на столъ три бутылки и тарелку съ персиками.—Она останется развѣ?

— Все устрою, все устрою... — сказалъ Лаевскій, чувствуя неожиданный приливъ радости. — Я потомъ выплю ей денегъ, она пріѣдетъ ко мнѣ... Тамъ ужъ мы и выяснимъ наши отношенія. За твое здоровье, друже.

— Погоди! — сказалъ Самойленко. — Сначала ты этого выпей... Это изъ моего виноградника. Это вотъ бутылка изъ виноградника Наваридзе, а это Ахатулова... Попробуй всѣ три сорта и скажи откровенно... Мое какъ будто съ кислотцой. А? Не находишь?

— Да. Утѣшилъ ты меня, Александръ Давидычъ. Спасибо... Я ожилъ.

— Съ кислотцой?

— А чортъ его знаетъ, не знаю. Но ты великолѣпный, чудный человѣкъ!

Глядя на его блѣдное, возбужденное, доброе лицо, Самойленко вспомнилъ мнѣніе фонъ-Корена, что такихъ уничтожать нужно, и Лаевскій показался ему слабымъ, беззащитнымъ ребенкомъ, котораго всякій можетъ обидѣть и уничтожить.

— А ты, когда поѣдешь, съ матерью помирись,—сказалъ онъ.—Не хорошо.

— Да, да, непремѣнно.

Помолчали немного. Когда выпили первую бутылку, Самойленко сказалъ:

— Помирился бы ты и съ фонъ-Кореномъ. Оба вы прекраснѣйшіе, умнѣйшіе люди, а глядите другъ на дружку, какъ волки.

— Да, онъ прекраснѣйшій, умнѣйшій человѣкъ,—согласился Лаевскій, готовый теперь всѣхъ хвалить и прощать.—Онъ замѣчательный человѣкъ, но сойтись съ нимъ для меня невозможно. Нѣтъ! Наши натуры слишкомъ различны. Я натура вялая, слабая, подчиненная; быть-можетъ, въ хорошую минуту и протянулъ бы ему руку, но онъ отвернулся бы отъ меня... съ презрѣніемъ.

Лаевскій хлебнулъ вина, прошелся изъ угла въ уголъ и продолжалъ, стоя посреди комнаты:

— Я отлично понимаю фонъ-Корена. Это натура твердая, сильная, деспотическая. Ты слышалъ, онъ постоянно говоритъ объ экспедиціи, и это не пустыя слова. Ему нужна пустыня, лунная ночь; кругомъ въ палаткахъ и подъ открытымъ небомъ спятъ его голодные и больные, замученные тяжелыми переходами казаки, проводники, носильщики, докторъ, священникъ, и не спитъ только одинъ онъ и, какъ Стэнли, сидитъ на складномъ стулѣ и чувствуетъ себя царемъ пустыни и хозяиномъ этихъ людей. Онъ идетъ,

идетъ, идетъ куда-то, люди его стонутъ и мрутъ одинъ за другимъ, а онъ идетъ и идетъ, въ концѣ концовъ погибаетъ самъ и все-таки остается деспотомъ и царемъ пустыни, такъ какъ крестъ у его могилы виденъ караванамъ за тридцать-сорокъ миль и царитъ надъ пустыней. Я жалѣю, что этотъ человѣкъ не на военной службѣ. Изъ него вышелъ бы превосходный, геніальный полководецъ. Онъ умѣлъ бы топить въ рѣкѣ свою конницу и дѣлать изъ труповъ мосты, а такая смѣлость на войнѣ нужнѣе всякихъ фортификацій и тактикъ. О, я его отлично понимаю! Скажи, зачѣмъ онъ проѣдается здѣсь? Что ему тутъ нужно?

— Онъ морскую фауну изучаетъ.

— Нѣтъ. Нѣтъ, братъ, нѣтъ! — вздохнулъ Лаевскій. — Мнѣ на пароходѣ одинъ проѣзжій ученый разсказывалъ, что Черное море бѣдно фауной и что на глубинѣ его, благодаря изобилію сѣроводорода, невозможна органическая жизнь. Всѣ серьезные зоологи работаютъ на біологическихъ станціяхъ въ Неаполѣ, или Villefranche. Но фонъ-Коренъ самостоятеленъ и упрямъ: онъ работаетъ на Черномъ морѣ, потому что никто здѣсь не работаетъ; онъ порвалъ съ университетомъ, не хочетъ знать ученыхъ и товарищей, потому что онъ прежде всего деспотъ, а потомъ ужъ зоологъ. И изъ него, увидишь, выйдетъ большой толкъ. Онъ ужъ и теперь мечтаетъ, что, когда вернется изъ экспедиціи, то выкуритъ изъ нашихъ университетовъ интригу и посредственность и скрутитъ ученыхъ въ бараній рогъ. Деспотія и въ наукѣ такъ же сильна, какъ на войнѣ. А живетъ онъ второе лѣто въ этомъ вонючемъ городишкѣ, потому что лучше быть первымъ въ деревнѣ, чѣмъ въ городѣ вторымъ. Онъ здѣсь король и орелъ; онъ держитъ всѣхъ жителей въ ежахъ и гнететъ ихъ своимъ авторитетомъ. Онъ прибралъ къ рукамъ всѣхъ, вмѣшивается въ чужія дѣла, все ему нужно и всѣ боятся его. Я ускользаю изъ-подъ его ланы, онъ чувствуетъ это и ненавидитъ меня. Не говорилъ ли онъ тебѣ, что меня нужно уничтожить, или отдать въ общественныя работы?

— Да,—засмѣялся Самойленко.

Лаевскій тоже засмѣялся и выпилъ вина.

— И идеалы у него деспотическіе,—сказалъ онъ, смѣясь и закусывая персикомъ. — Обыкновенные смертные, если работаютъ на общую пользу, то имѣютъ въ виду своего

ближняго: меня, тебя, однимъ словомъ человѣка. Для фонъ-Корена же люди—щенки и ничтожества, слишкомъ мелкія для того, чтобы быть цѣлью его жизни. Онъ работаетъ, пойдетъ въ экспедицію и свернетъ себѣ тамъ шею не во-имя любви къ ближнему, а во-имя такихъ абстрактовъ, какъ человѣчество, будущія поколѣнія, идеальная порода людей. Онъ хлопочетъ объ улучшеніи человѣческой породы и въ этомъ отношеніи мы для него только рабы, мясо для пушекъ, вьючныя животныя; однихъ бы онъ уничтожилъ, или законопатилъ на каторгу, другихъ скрутилъ бы дисциплиной, заставилъ бы, какъ Аракчеевъ, вставать и ложиться по барабану, поставилъ бы евнуховъ, чтобы стеречь наше цѣломудріе и нравственность, велѣлъ бы стрѣлять во всякаго, кто выходитъ за кругъ нашей узкой, консервативной морали, и все это во-имя улучшенія человѣческой породы... А что такое человѣческая порода? Иллюзія, миражъ... Деспоты всегда были иллюзіонистами. Я, братъ, отлично понимаю его. Я цѣню его и не отрицаю его значенія; на такихъ, какъ онъ, этотъ міръ держится, и если бы міръ былъ предоставленъ только однимъ намъ, то мы, при всей своей добротѣ и благихъ намѣреніяхъ, сдѣлали бы изъ него то же самое, что вотъ мухи изъ этой картины. Да.

Лаевскій сѣлъ рядомъ съ Самойленкомъ и сказалъ съ искреннимъ увлеченіемъ:

— Я пустой, ничтожный, падшій человѣкъ! Воздухъ, которымъ дышу, это вино, любовь, однимъ словомъ, жизнь я до сихъ поръ покупалъ цѣною лжи, праздности и малодушія. До сихъ поръ я обманывалъ людей и себя, я страдалъ отъ этого, и страданія мои были дешевы и пошлы. Передъ ненавистью фонъ-Корена я робко гну спину, потому что временами самъ ненавижу и презираю себя.

Лаевскій опять въ волненіи прошелся изъ угла въ уголъ и сказалъ:

— Я радъ, что ясно вижу свои недостатки и сознаю ихъ. Это поможетъ мнѣ воскреснуть и стать другимъ человѣкомъ. Голубчикъ мой, если бъ ты зналъ, какъ страстно, съ какою тоской я жажду своего обновленія. И, клянусь тебѣ, я буду человѣкомъ! Буду! Не знаю, вино ли во мнѣ заговорило, или оно такъ и есть на самомъ дѣлѣ, но мнѣ кажется, что я давно уже не переживалъ такихъ свѣтлыхъ, чистыхъ минутъ, какъ сейчасъ у тебя.

— Пора, братецъ, спать...—сказалъ Самойленко.

— Да, да... Извини. Я сейчасъ.

Лаевскій засуетился около мебели и оконъ, ища своей фуражки.

— Спасибо...—бормоталъ онъ, вздыхая.—Спасибо... Ласка и доброе слово выше милостыни. Ты оживилъ меня.

Онъ нашелъ свою фуражку, остановился и виновато посмотрѣлъ на Самойленка.

— Александръ Давидычъ! — сказалъ онъ умоляющимъ голосомъ.

— Что?

— Позволь, голубчикъ, остаться у тебя ночевать!

— Сдѣлай милость... отчего же?

Лаевскій легъ спать на диванѣ и еще долго разговаривалъ съ докторомъ.

## X.

Дня черезъ три послѣ пикника къ Надеждѣ Ѳедоровнѣ неожиданно пришла Марья Константиновна и, не здороваясь, не снимая шляпы, схватила ее за обѣ руки, прижала ихъ къ своей груди и сказала въ сильномъ волненіи:

— Дорогая моя, я взволнована, поражена. Нашъ милый, симпатичный докторъ вчера передавалъ моему Никодиму Александрычу, что будто скончался вашъ мужъ. Скажите, дорогая... Скажите, это правда?

— Да, правда, онъ умеръ,—отвѣтила Надежда Ѳедоровна.

— Это ужасно, ужасно, дорогая! Но нѣтъ худа безъ добра. Вашъ мужъ былъ, вѣроятно, дивный, чудный, святой человѣкъ, а такіе на небѣ нужнѣе, чѣмъ на землѣ.

На лицѣ у Марьи Константиновны задрожали всѣ черточки и точечки, какъ будто подъ кожей запрыгали мелкія иголочки, она миндально улыбнулась и сказала восторженно, задыхаясь:

— Итакъ, вы свободны, дорогая. Вы можете теперь высоко держать голову и смѣло глядѣть людямъ въ глаза. Отнынѣ Богъ и люди благословятъ вашъ союзъ съ Иваномъ Андреичемъ. Это очаровательно. Я дрожу отъ радости, не нахожу словъ. Милая, я буду вашею свахой... Мы съ Никодимомъ Александрычемъ такъ любили васъ, вы позволите намъ благословить вашъ законный, чистый союзъ. Когда, когда вы думаете вѣнчаться?

— Я и не думала объ этомъ,— сказала Надежда Ѳедоровна, освобождая свои руки.

— Это невозможно, милая. Вы думали, думали!

— Ей-Богу, не думала, — засмѣялась Надежда Ѳедоровна. — Къ чему намъ вѣнчаться? Я не вижу въ этомъ никакой надобности. Будемъ жить, какъ жили.

— Что вы говорите! — ужаснулась Марья Константиновна.—Ради Бога, что вы говорите!

— Отъ того, что мы повѣнчаемся, не станетъ лучше. Напротивъ, даже хуже. Мы потеряемъ свою свободу.

— Милая! Милая, что вы говорите!—воскликнула Марья Константиновна, отступая назадъ и всплескивая руками.— Вы экстравагантны! Опомнитесь! Угомонитесь!

— То-есть, какъ угомониться? Я еще не жила, а вы— угомонитесь!

Надежда Ѳедоровна вспомнила, что она въ самомъ дѣлѣ еще не жила. Кончила курсъ въ институтѣ и вышла за нелюбимаго человѣка, потомъ сошлась съ Лаевскимъ и все время жила съ нимъ на этомъ скучномъ, пустынномъ берегу въ ожиданіи чего-то лучшаго. Развѣ это жизнь?

«А повѣнчаться бы слѣдовало...» — подумала она, но вспомнила про Кирилина и Ачміанова, покраснѣла и сказала:

— Нѣтъ, это невозможно. Если бы даже Иванъ Андреичъ сталъ просить меня объ этомъ на колѣняхъ, то и тогда бы я отказалась.

Марья Константиновна минуту сидѣла молча на диванѣ, печальная, серьезная, и глядѣла въ одну точку, потомъ встала и проговорила холодно:

— Прощайте, милая! Извините, что побезпокоила. Хотя это для меня и не легко, но я должна сказать вамъ, что съ этого дня между нами все кончено и, несмотря на мое глубокое уваженіе къ Ивану Андреичу, дверь моего дома для васъ закрыта.

Она проговорила это съ торжественностью, и сама же была подавлена своимъ торжественнымъ тономъ; лицо ея опять задрожало, приняло мягкое, миндальное выраженіе, она протянула испуганной, сконфуженной Надеждѣ Ѳедоровнѣ обѣ руки и сказала умоляюще:

— Милая моя, позвольте мнѣ хотя одну минуту побыть вашею матерью, или старшей сестрой! Я буду откровенна съ вами, какъ мать.

Надежда Ѳедоровна почувствовала въ своей груди такую теплоту, радость и состраданіе къ себѣ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ воскресла ея мать и стояла передъ ней. Она порывисто обняла Марью Константиновну и прижалась лицомъ къ ея плечу. Обѣ заплакали. Онѣ сѣли на диванъ и нѣсколько минутъ всхлипывали, не глядя другъ на друга и будучи не въ силахъ выговорить ни одного слова.

— Милая, дитя мое,—начала Марья Константиновна:— я буду говорить вамъ суровыя истины, не щадя васъ.

— Ради Бога, ради Бога!

— Довѣрьтесь мнѣ, милая. Вы вспомните, изъ всѣхъ здѣшнихъ дамъ только я одна принимала васъ. Вы ужаснули меня съ перваго же дня, но я была не въ силахъ отнестись къ вамъ съ пренебреженіемъ, какъ всѣ. Я страдала за милаго, добраго Ивана Андреича, какъ за сына. Молодой человѣкъ на чужой сторонѣ, неопытенъ, слабъ, безъ матери, и я мучилась, мучилась... Мужъ былъ противъ знакомства съ нимъ, но я уговорила... убѣдила... Мы стали принимать Ивана Андреича, а съ нимъ, конечно, и васъ, иначе бы онъ оскорбился. У меня дочь, сынъ... Вы понимаете, нѣжный дѣтскій умъ, чистое сердце... аще кто соблазнитъ единаго изъ малыхъ сихъ... Я принимала васъ и дрожала за дѣтей. О, когда вы будете матерью, вы поймете мой страхъ. И всѣ удивлялись, что я принимаю васъ, извините, какъ порядочную, намекали мнѣ... ну, конечно, сплетни, гипотезы... Въ глубинѣ моей души я осудила васъ, но вы были несчастны, жалки, экстравагантны, и я страдала отъ жалости.

— Но почему? Почему?—спросила Надежда Ѳедоровна, дрожа всѣмъ тѣломъ.—Что я кому сдѣлала?

— Вы страшная грѣшница. Вы нарушили обѣтъ, который дали мужу передъ алтаремъ. Вы соблазнили прекраснаго молодого человѣка, который, быть-можетъ, если бы не встрѣтился съ вами, взялъ бы себѣ законную подругу жизни изъ хорошей семьи своего круга, и былъ бы теперь, какъ всѣ. Вы погубили его молодость. Не говорите, не говорите, милая! Я не повѣрю, чтобы въ нашихъ грѣхахъ былъ виноватъ мужчина. Всегда виноваты женщины. Мужчины въ домашнемъ быту легкомысленны, живутъ умомъ, а не сердцемъ, не понимаютъ многаго, но женщина все понимаетъ. Отъ нея все зависитъ. Ей много дано, съ нея много и взыщется. О, милая, если бы она была въ этомъ отношеніи глу-

нѣе или слабѣе мужчины, то Богъ не ввѣрилъ бы ей воспитанія мальчиковъ и дѣвочекъ. И затѣмъ, дорогая, вы вступили на стезю порока, забывъ всякую стыдливость; другая въ вашемъ положеніи укрылась бы отъ людей, сидѣла бы дома запершись, и люди видѣли бы ее только въ храмѣ Божіемъ, блѣдную, одѣтую во все черное, плачущую, и каждый бы въ искреннемъ сокрушеніи сказалъ:—«Боже, это согрѣшившій ангелъ опять возвращается къ Тебѣ...» Но вы, милая, забыли всякую скромность, жили открыто, экстравагантно, точно гордились грѣхомъ, вы рѣзвились, хохотали, и я, глядя на васъ, дрожала отъ ужаса и боялась, чтобы громъ небесный не поразилъ нашего дома въ то время, когда вы сидите у насъ. Милая, не говорите, не говорите!—вскликнула Марья Константиновна, замѣтивъ, что Надежда Ѳедоровна хочетъ говорить.—Довѣрьтесь мнѣ, я не обману васъ и не скрою отъ взоровъ вашей души ни одной истины. Слушайте же меня, дорогая... Богъ отмѣчаетъ великихъ грѣшниковъ, и вы были отмѣчены. Вспомните, костюмы ваши всегда были ужасны!

Надежда Ѳедоровна, бывшая всегда самаго лучшаго мнѣнія о своихъ костюмахъ, перестала плакать и посмотрѣла на нее съ удивленіемъ.

— Да, ужасны!—продолжала Марья Константиновна.— По изысканности и пестротѣ вашихъ нарядовъ всякій можетъ судить о вашемъ поведеніи. Всѣ, глядя на васъ, посмѣивались и пожимали плечами, а я страдала, страдала... И простите меня, милая, вы нечистоплотны! Когда мы встрѣчались въ купальнѣ, вы заставляли меня трепетать. Верхнее платье еще туда-сюда, но юбка, сорочка... милая, я краснѣю! Бѣдному Ивану Андреичу тоже никто не завяжетъ галстука, какъ слѣдуетъ, и по бѣлью, и по сапогамъ бѣдняжки видно, что дома за нимъ никто не смотритъ. И всегда онъ у васъ, мой голубчикъ, голоденъ, и въ самомъ дѣлѣ, если дома некому позаботиться насчетъ самовара и кофе, то поневолѣ будешь проживать въ павильонѣ половину своего жалованья. А дома у васъ просто ужасъ, ужасъ! Во всемъ городѣ ни у кого нѣтъ мухъ, а у васъ отъ нихъ отобою нѣтъ, всѣ тарелки и блюдечки черны. На окнахъ и на столахъ, посмотрите, пыль, дохлыя мухи, стаканы... Къ чему тутъ стаканы? И, милая, до сихъ поръ у васъ со стола не убрано. А въ спальню къ вамъ войти

стыдно: разбросано вездѣ бѣлье, висятъ на стѣнахъ эти ваши разные каучуки, стоитъ какая-то посуда... Милая! Мужъ ничего не долженъ знать и жена должна быть передъ нимъ чистой, какъ ангельчикъ. Я каждое утро просыпаюсь чуть-свѣтъ и мою холодной водой лицо, чтобы мой Никодимъ Александрычъ не замѣтилъ, что я заспанная.

— Это все пустяки,—зарыдала Надежда Ѳедоровна. — Если бы я была счастлива, но я такъ несчастна!

— Да, да, вы очень несчастны!—вздохнула Марья Константиновна, едва удерживаясь, чтобы не заплакать. — И васъ ожидаетъ въ будущемъ страшное горе! Одинокая старость, болѣзни, а потомъ отвѣтъ на страшномъ судилищѣ... Ужасно, ужасно! Теперь сама судьба протягиваетъ вамъ руку помощи, а вы неразумно отстраняете ее. Вѣнчайтесь, скорѣе вѣнчайтесь!

— Да, надо, надо, — сказала Надежда Ѳедоровна: — но это невозможно!

— Почему же?

— Невозможно! О, если бъ вы знали!

Надежда Ѳедоровна хотѣла разсказать про Кирилина и про то, какъ она вчера вечеромъ встрѣтилась на пристани съ молодымъ, красивымъ Ачміановымъ и какъ ей пришла въ голову сумасшедшая, смѣшная мысль отдѣлаться отъ долга въ триста рублей, ей было очень смѣшно, и она вернулась домой поздно вечеромъ, чувствуя себя безповоротно падшей и продажной. Она сама не знала, какъ это случилось. И ей хотѣлось теперь поклясться передъ Марьей Константиновной, что она непремѣнно отдастъ долгъ, но рыданія и стыдъ мѣшали ей говорить.

— Я уѣду, — сказала она. — Иванъ Андреичъ пусть остается, а я уѣду.

— Куда?

— Въ Россію.

— Но чѣмъ вы будете тамъ жить? Вѣдь у васъ ничего нѣтъ.

— Я буду переводами заниматься, или... или открою библіотечку...

— Не фантазируйте, моя милая. На библіотечку деньги нужны. Ну, я васъ теперь оставлю, а вы успокойтесь и подумайте, а завтра приходите ко мнѣ веселенькая. Это будетъ очаровательно! Ну, прощайте, мой ангелочекъ. Дайте я васъ поцѣлую.

Марья Константиновна поцѣловала Надежду Ѳедоровну въ лобъ, перекрестила ее и тихо вышла. Становилось уже темно, и Ольга въ кухнѣ зажгла огонь. Продолжая плакать, Надежда Ѳедоровна пошла въ спальню и легла на постель. Ее стала бить сильная лихорадка. Лежа, она раздѣлась, смяла платье къ ногамъ и свернулась подъ одѣяломъ клубочкомъ. Ей хотѣлось пить, и некому было подать.

— Я отдамъ!—говорила она себѣ, и ей въ бреду казалось, что она сидитъ возлѣ какой-то больной и узнаетъ въ ней самоё себя.—Я отдамъ. Было бы глупо думать, что я изъ-за денегъ... Я уѣду и вышлю ему деньги изъ Петербурга. Сначала сто... потомъ сто... и потомъ—сто...

Поздно ночью пришелъ Лаевскій.

— Сначала сто...—сказала ему Надежда Ѳедоровна:—потомъ сто...

— Ты бы приняла хины,—сказалъ онъ, и подумалъ: «Завтра среда, отходитъ пароходъ, и я не ѣду. Значитъ, придется жить здѣсь до субботы».

Надежда Ѳедоровна поднялась въ постели на колѣни.

— Я ничего сейчасъ не говорила?—спросила она, улыбаясь и щурясь отъ свѣчи.

— Ничего. Надо будетъ завтра утромъ за докторомъ послать. Спи.

Онъ взялъ подушку и пошелъ къ двери. Послѣ того, какъ онъ окончательно рѣшилъ уѣхать и оставить Надежду Ѳедоровну, она стала возбуждать въ немъ жалость и чувство вины; ему было въ ея присутствіи немножко совѣстно, какъ въ присутствіи больной, или старой лошади, которую рѣшили убить. Онъ остановился въ дверяхъ и оглянулся на нее.

— На пикникѣ я былъ раздраженъ и сказалъ тебѣ грубость. Ты извини меня, Бога ради.

Сказавши это, онъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ, легъ и долго не могъ уснуть.

Когда на другой день утромъ Самойленко, одѣтый, по случаю табельнаго дня, въ полную парадную форму съ эполетами и орденами, пощупавъ у Надежды Ѳедоровны пульсъ и поглядѣвъ ей на языкъ, выходилъ изъ спальни, Лаевскій, стоявшій у порога, спросилъ его съ тревогой:

— Ну, что? Что?

Лицо его выражало страхъ, крайнее безпокойство и надежду.

— Успокойся, ничего опаснаго,—сказалъ Самойленко.— Обыкновенная лихорадка.

— Я не о томъ,—нетерпѣливо поморщился Лаевскій.— Досталъ денегъ?

— Душа моя, извини,—зашепталъ Самойленко, оглядываясь на дверь и конфузясь.—Бога ради извини! Ни у кого нѣтъ свободныхъ денегъ, и я собралъ пока по пяти да по десяти рублей—всего-на-все сто десять. Сегодня еще кое съ кѣмъ поговорю. Потерпи.

— Но крайній срокъ суббота! — прошепталъ Лаевскій, дрожа отъ нетерпѣнія.—Ради всѣхъ святыхъ, до субботы! Если я въ субботу не уѣду, то ничего мнѣ не нужно... ничего! Не понимаю, какъ это у доктора могутъ не быть деньги!

— Да, Господи, Твоя воля,—быстро и съ напряженіемъ зашепталъ Самойленко, и что-то даже пискнуло у него въ горлѣ:—у меня все разобрали, должны мнѣ семь тысячъ, и я кругомъ долженъ. Развѣ я виноватъ?

— Значитъ: къ субботѣ достанешь? Да?

— Постараюсь.

— Умоляю, голубчикъ! Такъ, чтобы въ пятницу утромъ деньги у меня въ рукахъ были.

Самойленко сѣлъ и прописалъ хину въ растворѣ, kalii bromati, ревенной настойки, tincturae gentianae, aquae foeniculi—все это въ одной микстурѣ, прибавилъ розоваго сиропу, чтобы горько не было, и ушелъ.

## XI.

— У тебя такой видъ, какъ будто ты идешь арестовать меня,—сказалъ фонъ-Коренъ, увидѣвъ входившаго къ нему Самойленка въ парадной формѣ.

— А я иду мимо и думаю: дай-ка зайду, зоологію провѣдаю,—сказалъ Самойленко, садясь у большого стола, сколоченнаго самимъ зоологомъ изъ простыхъ досокъ.—Здравствуй, святой отецъ!—кивнулъ онъ дьякону, который сидѣлъ у окна и что-то переписывалъ.—Посижу минуту и побѣгу домой распорядиться насчетъ обѣда. Уже пора... Я вамъ не помѣшалъ?

— Нисколько,—отвѣтилъ зоологъ, раскладывая по столу мелко исписанныя бумажки.—Мы перепиской занимаемся.

— Такъ... Охъ, Боже мой, Боже мой...—вздохнулъ Са-

мойленко; онъ осторожно потянулъ со стола запыленную книгу, на которой лежала мертвая сухая фаланга, и сказалъ:—Однако! Представь, идетъ по своимъ дѣламъ какой-нибудь зелененькій жучокъ и вдругъ по дорогѣ встрѣчаетъ такую анаѳему. Воображаю, какой ужасъ!

— Да, полагаю.

— Ей ядъ данъ, чтобы защищаться отъ враговъ?

— Да, защищаться и самой нападать.

— Такъ, такъ, такъ... И все въ природѣ, голубчики мои, цѣлесообразно и объяснимо,—вздохнулъ Самойленко.—Только вотъ чего я не понимаю. Ты, величайшаго ума человѣкъ, объясни-ка мнѣ, пожалуйста. Бываютъ, знаешь, звѣрки, не больше крысы, на видъ красивенькіе, но въ высочайшей степени, скажу я тебѣ, подлые и безнравственные. Идетъ такой звѣрекъ, положимъ, по лѣсу; увидалъ птичку, поймалъ и съѣлъ. Идетъ дальше и видитъ въ травѣ гнѣздышко съ яйцами; жрать ему уже не хочется, сытъ, но все-таки раскусываетъ яйцо, а другія вышвыриваетъ изъ гнѣзда лапкой. Потомъ, встрѣчаетъ лягушку и давай съ ней играть. Замучилъ лягушку, идетъ и облизывается, а навстрѣчу ему жукъ. Онъ жука лапкой... И все онъ портитъ и разрушаетъ на своемъ пути... Залѣзаетъ и въ чужія норы, разрываетъ зря муравейники, раскусываетъ улитокъ... Встрѣтится крыса—онъ съ ней въ драку; увидитъ змѣйку или мышонка—задушить надо. И такъ цѣлый день. Ну, скажи, для чего такой звѣрь нуженъ? Зачѣмъ онъ созданъ?

— Я не знаю, про какого звѣрка ты говоришь,—сказалъ фонъ-Коренъ:—вѣроятно, про какого-нибудь изъ насѣкомоядныхъ. Ну, что жъ? Птица попалась ему, потому что неосторожна; онъ разрушилъ гнѣздо съ яйцами, потому что птица не искусна, дурно сдѣлала гнѣздо и не сумѣла замаскировать его. У лягушки, вѣроятно, какой-нибудь изъянъ въ цвѣтовой окраскѣ, иначе бы онъ не увидѣлъ ея, и такъ далѣе. Твой звѣрь сокрушаетъ только слабыхъ, неискусныхъ, неосторожныхъ, однимъ словомъ, имѣющихъ недостатки, которые природа не находитъ нужнымъ передавать въ потомство. Остаются въ живыхъ только болѣе ловкіе, осторожные, сильные и развитые. Такимъ образомъ, твой звѣрекъ, самъ того не подозрѣвая, служитъ великимъ цѣлямъ усовершенствованія.

— Да, да, да... Кстати, братъ,—сказалъ Самойленко развязно:—дай-ка мнѣ взаймы рублей сто.

— Хорошо. Между насѣкомоядными попадаются очень интересные субъекты. Напримѣръ, кротъ. Про него говорятъ, что онъ полезенъ, такъ какъ истребляетъ вредныхъ насѣкомыхъ. Разсказываютъ, что будто какой-то нѣмецъ прислалъ императору Вильгельму I шубу изъ кротовыхъ шкурокъ и будто императоръ приказалъ сдѣлать ему выговоръ за то, что онъ истребилъ такое множество полезныхъ животныхъ. А между тѣмъ кротъ въ жестокости нисколько не уступитъ твоему звѣрку и къ тому же очень вреденъ, такъ какъ страшно портитъ луга.

Фонъ-Коренъ отперъ шкатулку и досталъ оттуда сторублевую бумажку.

— У крота сильная грудная клѣтка, какъ у летучей мыши,—продолжалъ онъ, запирая шкатулку:—страшно развитыя кости и мышцы, необыкновенное вооруженіе рта. Если бы онъ имѣлъ размѣры слона, то былъ бы всесокрушающимъ, непобѣдимымъ животнымъ. Интересно, когда два крота встрѣчаются подъ землей, то они оба, точно сговорившись, начинаютъ рыть площадку; эта площадка нужна имъ для того, чтобы удобнѣе было сражаться. Сдѣлавъ ее, они вступаютъ въ жестокій бой и дерутся до тѣхъ поръ, пока не падаетъ слабѣйшій. Возьми же сто рублей,—сказалъ фонъ-Коренъ, понизивъ тонъ:—но съ условіемъ, что ты берешь не для Лаевскаго.

— А хоть бы и для Лаевскаго!—вспыхнулъ Самойленко.—Тебѣ какое дѣло?

— Для Лаевскаго я не могу дать. Я знаю, ты любишь давать взаймы. Ты далъ бы и разбойнику Кериму, если бы онъ попросилъ у тебя, но, извини, помогать тебѣ въ этомъ направленіи я не могу.

— Да, я прошу для Лаевскаго! — сказалъ Самойленко, вставая и размахивая правой рукой.—Да! Для Лаевскаго! И никакой ни чортъ, ни дьяволъ не имѣетъ права учить меня, какъ я долженъ распоряжаться своими деньгами. Вамъ не угодно дать? Нѣтъ?

Дьяконъ захохоталъ.

— Ты не кипятись, а разсуждай, — сказалъ зоологъ.— Благодѣтельствовать г. Лаевскому такъ же не умно, по-моему, какъ поливать сорную траву, или прикармливать саранчу.

— А по-моему, мы обязаны помогать нашимъ ближнимъ!— крикнулъ Самойленко.

— Въ такомъ случаѣ помоги вотъ этому голодному турку, что лежитъ подъ заборомъ! Онъ работникъ и нужнѣе, полезнѣе твоего Лаевскаго. Отдай ему эти сто рублей! Или пожертвуй мнѣ сто рублей на экспедицію!

— Ты даешь или нѣтъ, я тебя спрашиваю?

— Ты скажи откровенно: на что ему нужны деньги?

— Это не секретъ. Ему нужно въ субботу въ Петербургъ ѣхать.

— Вотъ какъ!—сказалъ протяжно фонъ-Коренъ.—Ага... Понимаемъ. А она съ нимъ поѣдетъ, или какъ?

— Она пока здѣсь остается. Онъ устроитъ въ Петербургѣ свои дѣла и пришлетъ ей денегъ, тогда и она поѣдетъ.

— Ловко!..—сказалъ зоологъ и засмѣялся короткимъ теноровымъ смѣхомъ.—Ловко! Умно придумано.

Онъ быстро подошелъ къ Самойленку и, ставъ лицомъ къ лицу, глядя ему въ глаза, спросилъ:

— Ты говори откровенно: онъ разлюбилъ? Да? Говори: разлюбилъ? Да?

— Да,—выговорилъ Самойленко и вспотѣлъ.

— Какъ это отвратительно!—сказалъ фонъ-Коренъ, и по лицу его видно было, что онъ чувствовалъ отвращеніе.— Что-нибудь изъ двухъ, Александръ Давидычъ: или ты съ нимъ въ заговорѣ, или же, извини, ты простофиля. Неужели ты не понимаешь, что онъ проводитъ тебя, какъ мальчишку, самымъ безсовѣстнымъ образомъ? Вѣдь ясно, какъ день, что онъ хочетъ отдѣлаться отъ нея и бросить ее здѣсь. Она останется на твоей шеѣ, и ясно, какъ день, что тебѣ придется отправлять ее въ Петербургъ на свой счетъ. Неужели твой прекрасный другъ до такой степени ослѣпилъ тебя своими достоинствами, что ты не видишь даже самыхъ простыхъ вещей?

— Это одни только предположенія,—сказалъ Самойленко, садясь.

— Предположенія? Но почему онъ ѣдетъ одинъ, а не вмѣстѣ съ ней? И почему, спроси его, не поѣхать бы ей впередъ, а ему послѣ? Продувная бестія!

Подавленный внезапными сомнѣніями и подозрѣніями насчетъ своего пріятеля, Самойленко вдругъ ослабѣлъ и понизилъ тонъ.

— Но это невозможно!—сказалъ онъ, вспоминая ту ночь, когда Лаевскій ночевалъ у него.—Онъ такъ страдаетъ!

— Что жъ изъ этого? Воры и поджигатели тоже страдаютъ!

— Положимъ даже, что ты правъ... — сказалъ въ раздумьи Самойленко.—Допустимъ... Но онъ молодой человѣкъ, на чужой сторонѣ... студентъ, мы тоже студенты и кромѣ насъ тутъ некому оказать ему поддержку.

— Помогать ему дѣлать мерзости только потому, что ты и онъ въ разное время были въ университетѣ и оба тамъ ничего не дѣлали! Что за вздоръ!

— Постой, давай хладнокровно разсудимъ. Можно будетъ, полагаю, устроить вотъ какъ... — соображалъ Самойленко, шевеля пальцами.—Я, понимаешь, дамъ ему деньги, но возьму съ него честное, благородное слово, что черезъ недѣлю же онъ пришлетъ Надеждѣ Ѳедоровнѣ на дорогу.

— И онъ дастъ тебѣ честное слово, даже прослезится и самъ себѣ повѣритъ, но цѣна-то этому слову? Онъ его не сдержитъ, и когда черезъ годъ—два ты встрѣтишь его на Невскомъ подъ ручку съ новой любовью, то онъ будетъ оправдываться тѣмъ, что его искалѣчила цивилизація и что онъ сколокъ съ Рудина. Брось ты его, Бога ради! Уйди отъ грязи и не копайся въ ней обѣими руками!

Самойленко подумалъ минуту и сказалъ рѣшительно:

— Но я все-таки дамъ ему денегъ. Какъ хочешь. Я не въ состояніи отказать человѣку на основаніи однихъ только предположеній.

— И превосходно. Поцѣлуйся съ нимъ.

— Такъ дай же мнѣ сто рублей,—робко попросилъ Самойленко.

— Не дамъ.

Наступило молчаніе. Самойленко совсѣмъ ослабѣлъ; лицо его приняло виноватое, пристыженное и заискивающее выраженіе, и какъ-то странно было видѣть это жалкое, дѣтски-сконфуженное лицо у громаднаго человѣка съ эполетами и орденами.

— Здѣшній преосвященный объѣзжаетъ свою епархію не въ каретѣ, а верхомъ на лошади, — сказалъ дьяконъ, кладя перо.—Видъ его, сидящаго на лошадкѣ, до чрезвычайности трогателенъ. Простота и скромность его преисполнены библейскаго величія.

— Онъ хорошій человѣкъ?—спросилъ фонъ-Коренъ, который радъ былъ перемѣнить разговоръ.

— А то какъ же? Если бъ не былъ хорошимъ, то развѣ его посвятили бы въ архіереи?

— Между архіереями встрѣчаются очень хорошіе и даровитые люди,—сказалъ фонъ-Коренъ.—Жаль только, что у многихъ изъ нихъ есть слабость—воображать себя государственными мужами. Одинъ занимается обрусеніемъ, другой критикуетъ науки. Это не ихъ дѣло. Они бы лучше почаще въ консисторію заглядывали.

— Свѣтскій человѣкъ не можетъ судить архіереевъ.

— Почему же, дьяконъ? Архіерей такой же человѣкъ, какъ и я.

— Такой да не такой,—обидѣлся дьяконъ, принимаясь за перо.—Ежели бы вы были такой, то на васъ почила бы благодать и вы сами были бы архіереемъ, а ежели вы не архіерей, то, значитъ, не такой.

— Не мели, дьяконъ!—сказалъ Самойленко съ тоской.—Послушай, вотъ что я придумалъ,—обратился онъ къ фонъ-Корену.—Ты мнѣ этихъ ста рублей не давай. Ты у меня до зимы будешь столоваться еще три мѣсяца, такъ вотъ дай мнѣ впередъ за три мѣсяца.

— Не дамъ.

Самойленко замигалъ глазами и побагровѣлъ; онъ машинально потянулъ къ себѣ книгу съ фалангой и посмотрѣлъ на нее, потомъ всталъ и взялся за шапку. Фонъ-Корену стало жаль его.

— Вотъ извольте жить и дѣло дѣлать съ такими господами!—сказалъ зоологъ и въ негодованіи швырнулъ ногой въ уголъ какую-то бумагу.—Пойми же, что это не доброта, не любовь, а малодушіе, распущенность, ядъ! Что дѣлаетъ разумъ, то разрушаютъ ваши дряблыя, никуда негодныя сердца! Когда я гимназистомъ былъ боленъ брюшнымъ тифомъ, моя тетушка изъ состраданія обкормила меня маринованными грибами, и я чуть не умеръ. Пойми ты вмѣстѣ съ тетушкой, что любовь къ человѣку должна находиться не въ сердцѣ, не подъ ложечкой и не въ поясницѣ, а вотъ здѣсь!

Фонъ-Коренъ хлопнулъ себя по лбу.

— Возьми!—сказалъ онъ и швырнулъ сторублевую бумажку.

— Напрасно ты сердишься, Коля,—кротко сказалъ Самойленко, складывая бумажку.—Я тебя отлично понимаю, но... войди въ мое положеніе.

— Баба ты старая, вотъ что!

Дьяконъ захохоталъ.

— Послушай, Александръ Давидычъ, послѣдняя просьба!— горячо сказалъ фонъ-Коренъ. — Когда ты будешь давать тому прохвосту деньги, то предложи ему условіе: пусть уѣзжаетъ вмѣстѣ со своей барыней, или же отошлетъ ее впередъ, а иначе не давай. Церемониться съ нимъ нечего. Такъ ему и скажи, а если не скажешь, то, даю тебѣ честное слово, я пойду къ нему въ присутствіе и сгоню его тамъ съ лѣстницы, а съ тобою знаться не буду. Тамъ и знай!

— Что жъ? Если онъ уѣдетъ вмѣстѣ съ ней, или впередъ ее отправитъ, то для него же удобнѣе,—сказалъ Самойленко. — Онъ даже радъ будетъ. Ну, прощай.

Онъ нѣжно простился и вышелъ, но, прежде чѣмъ затворить за собою дверь, оглянулся на фонъ-Корена, сдѣлалъ страшное лицо и сказалъ:

— Это тебя, братъ, нѣмцы испортили! Да! Нѣмцы!

## XII.

На другой день, въ четвергъ, Марья Константиновна праздновала день рожденія своего Кости. Въ полдень всѣ были приглашены кушать пирогъ, а вечеромъ пить шоколадъ. Когда вечеромъ пришли Ласевскій и Надежда Ѳедоровна, зоологъ, уже сидѣвшій въ гостиной и пившій шоколадъ, спросилъ у Самойленка:

— Ты говорилъ съ нимъ?

— Нѣтъ еще.

— Смотри же не церемонься. Не понимаю я наглости этихъ господъ! Вѣдь отлично знаютъ взглядъ здѣшней семьи на ихъ сожительство, а между тѣмъ лѣзутъ сюда.

— Если обращать вниманіе на каждый предразсудокъ,— сказалъ Самойленко: — то придется никуда не ходить.

— Развѣ отвращеніе массы къ внѣбрачной любви и распущенности предразсудокъ?

— Конечно. Предразсудокъ и ненавистничество. Солдаты, какъ увидятъ дѣвицу легкаго поведенія, то хохочутъ и свищутъ, а спроси-ка ихъ: кто они сами?

— Недаромъ они свищутъ. То, что дѣвки душатъ своихъ незаконно-прижитыхъ дѣтей и идутъ на каторгу, и что Анна Каренина бросилась подъ поѣздъ, и что въ деревняхъ мажутъ ворота дегтемъ, и что намъ съ тобой, неизвѣстно почему, нравится въ Катѣ ея чистота, и то, что каждый смутно чувствуетъ потребность въ чистой любви, хотя знаетъ, что такой любви нѣтъ,—развѣ все это предразсудокъ? Это, братецъ, единственное, что уцѣлѣло отъ естественнаго подбора и, не будь этой темной силы, регулирующей отношенія половъ, господа Лаевскіе показали бы тебѣ, гдѣ раки зимуютъ, и человѣчество выродилось бы въ два года.

Лаевскій вошелъ въ гостиную; со всѣми поздоровался и, пожимая руку фонъ-Корену, заискивающе улыбнулся. Онъ выждалъ удобную минуту и сказалъ Самойленку:

— Извини, Александръ Давидычъ, мнѣ нужно сказать тебѣ два слова.

Самойленко всталъ, обнялъ его за талію, и оба пошли въ кабинетъ Никодима Александрыча.

— Завтра пятница...—сказалъ Лаевскій, грызя ногти.— Ты досталъ, что обѣщалъ?

— Досталъ только двѣсти десять. Остальныя сегодня достану, или завтра. Будь покоенъ.

— Слава Богу!..—вздохнулъ Лаевскій, и руки задрожали у него отъ радости.—Ты меня спасаешь, Александръ Давидычъ, и, клянусь тобѣ Богомъ, своимъ счастьемъ и чѣмъ хочешь, эти деньги я вышлю тебѣ тотчасъ же по пріѣздѣ. И старый долгъ вышлю.

— Вотъ что, Ваня...—сказалъ Самойленко, беря его за пуговицу и краснѣя. — Ты извини, что я вмѣшиваюсь въ твои семейныя дѣла, но... почему бы тебѣ не уѣхать вмѣстѣ съ Надеждой Ѳедоровной?

— Чудакъ, но развѣ это можно? Одному изъ насъ непремѣнно надо остаться, иначе кредиторы завопіютъ. Вѣдь я долженъ по лавкамъ рублей семьсотъ, если не больше. Погоди, вышлю имъ деньги, заткну зубы, тогда и она выѣдетъ отсюда.

— Такъ... Но почему бы тебѣ не отправить ее впередъ?

— Ахъ, Боже мой, развѣ это возможно? — ужаснулся Лаевскій.—Вѣдь она женщина, что она тамъ одна сдѣлаетъ?

Что она понимаетъ? Это только проволочка времени и лишняя трата денегъ.

«Резонно» — подумалъ Самойленко, но вспомнилъ разговоръ свой съ фонъ-Кореномъ, потупился и сказалъ угрюмо:

— Съ тобою я не могу согласиться. Или поѣзжай вмѣстѣ съ ней, или же отправь ее впередъ, иначе... иначе я не дамъ тебѣ денегъ. Это мое послѣднее слово...

Онъ попятился назадъ, навалился спиною на дверь и вышелъ въ гостиную красный, въ страшномъ смущеніи.

«Пятница... пятница, — думалъ Лаевскій, возвращаясь въ гостиную. — Пятница...»

Ему подали чашку шоколаду. Онъ ожегъ губы и языкъ горячимъ шоколадомъ и думалъ:

«Пятница... пятница...»

Слово «пятница» почему-то не выходило у него изъ головы; онъ ни о чемъ, кромѣ пятницы, не думалъ и для него ясно было только, но не въ головѣ, а гдѣ-то подъ сердцемъ, что въ субботу ему не уѣхать. Передъ нимъ стоялъ Никодимъ Александрычъ, аккуратненькій, съ зачесанными височками и просилъ:

— Кушайте, покорнѣйше прошу-съ...

Марья Константиновна показывала гостямъ отмѣтки Кати и говорила протяжно:

— Теперь ужасно, ужасно трудно учиться! Такъ много требуютъ...

— Мама!—стонала Катя, не зная куда спрятаться отъ стыда и похвалъ.

Лаевскій тоже посмотрѣлъ въ отмѣтки и похвалилъ. Законъ Божій, русскій языкъ, поведеніе, пятерки и четверки запрыгали въ его глазахъ и все это вмѣстѣ съ привязавшейся къ нему пятницей, съ зачесанными височками Никодима Александрыча и съ красными щеками Кати представилось ему такой необъятной, непобѣдимой скукой, что онъ едва не вскрикнулъ съ отчаянія и спросилъ себя: — «Неужели, неужели я не уѣду?»

Поставили рядомъ два ломберныхъ стола и сѣли играть въ почту. Лаевскій тоже сѣлъ.

«Пятница... пятница... — думалъ онъ, улыбаясь и вынимая изъ кармана карандашъ. — Пятница...»

Онъ хотѣлъ обдумать свое положеніе и боялся думать. Ему страшно было сознаться, что докторъ поймалъ его на

обманѣ, который онъ такъ долго и тщательно скрывалъ отъ самого себя. Всякій разъ, думая о своемъ будущемъ, онъ не давалъ своимъ мыслямъ полной свободы. Онъ сядетъ въ вагонъ и поѣдетъ—этимъ рѣшался вопросъ его жизни, и дальше онъ не пускалъ своихъ мыслей. Какъ далекій тусклый огонекъ въ полѣ, такъ изрѣдка въ головѣ его мелькала мысль, что гдѣ-то въ одномъ изъ переулковъ Петербурга, въ отдаленномъ будущемъ, для того, чтобы разойтись съ Надеждой Ѳедоровной и уплатить долги, ему придется прибѣгнуть къ маленькой лжи; онъ солжетъ только одинъ разъ, и затѣмъ наступитъ полное обновленіе. И это хорошо: цѣною маленькой лжи онъ купитъ большую правду.

Теперь же, когда докторъ своимъ отказомъ грубо намекнулъ ему на обманъ, ему стало понятно, что ложь понадобится ему не только въ отдаленномъ будущемъ, но и сегодня, и завтра, и черезъ мѣсяцъ и, быть-можетъ, даже до конца жизни. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы уѣхать, ему нужно будетъ солгать Надеждѣ Ѳедоровнѣ, кредиторамъ и начальству; затѣмъ, чтобы добыть въ Петербургѣ денегъ, придется солгать матери, сказать ей, что онъ уже разошелся съ Надеждой Ѳедоровной; и мать не дастъ ему больше пятисотъ рублей, значитъ, онъ уже обманулъ доктора, такъ какъ будетъ не въ состояніи въ скоромъ времени прислать ему денегъ. Затѣмъ, когда въ Петербургъ пріѣдетъ Надежда Ѳедоровна, нужно будетъ употребить цѣлый рядъ мелкихъ и крупныхъ обмановъ, чтобы разойтись съ ней; и опять слезы, скука, постылая жизнь, раскаяніе и, значитъ, никакого обновленія не будетъ. Обманъ и больше ничего. Въ воображеніи Лаевскаго выросла цѣлая гора лжи. Чтобы перескочить ее въ одинъ разъ, а не лгать по частямъ, нужно было рѣшиться на крутую мѣру, напримѣръ, ни слова не говоря, встать съ мѣста, надѣть шапку и тотчасъ же уѣхать безъ денегъ, не говоря ни слова, но Лаевскій чувствовалъ, что для него это невозможно.

«Пятница, пятница... — думалъ онъ. — Пятница...»

Писали записки, складывали ихъ вдвое и клали въ старый цилиндръ Никодима Александрыча и, когда скоплялось достаточно записокъ, Костя, изображавшій почтальона, ходилъ вокругъ стола и раздавалъ ихъ. Дьяконъ, Катя и Костя, получавшіе смѣшныя записки и старавшіеся писать посмѣшнѣе, были въ восторгѣ.

«Намъ надо поговорить»,—прочла Надежда Ѳедоровна на записочкѣ. Она переглянулась съ Марьей Константиновной, и та миндально улыбнулась и закивала ей головой.

«О чемъ же говорить?—подумала Надежда Ѳедоровна.— Если нельзя разсказать всего, то и говорить незачѣмъ».

Передъ тѣмъ, какъ идти въ гости, она завязала Лаевскому галстукъ, и это пустое дѣло наполнило ея душу нѣжностью и печалью. Тревога на его лицѣ, разсѣянные взгляды, блѣдность и непонятная перемѣна, происшедшая съ нимъ въ послѣднее время, и то, что она имѣла отъ него страшную, отвратительную тайну, и то, что у нея дрожали руки, когда она завязывала галстукъ, — все это почему-то говорило ей, что имъ обоимъ уже недолго осталось жить вмѣстѣ. Она глядѣла на него, какъ на икону, со страхомъ и раскаяніемъ, и думала: — «Прости, прости...» Противъ нея за столомъ сидѣлъ Ачміановъ и не отрывалъ отъ нея своихъ черныхъ влюбленныхъ глазъ; ее волновали желанія, она стыдилась себя и боялась, что даже тоска и печаль не помѣшаютъ ей уступить нечистой страсти, не сегодня, такъ завтра,—и что она, какъ запойный пьяница, уже не въ силахъ остановиться.

Чтобы не продолжать этой жизни, позорной для нея и оскорбительной для Лаевскаго, она рѣшила уѣхать. Она будетъ съ плачемъ умолять его, чтобы онъ отпустилъ ее, и если онъ будетъ противиться, то она уйдетъ отъ него тайно. Она не разскажетъ ему о томъ, что произошло. Пусть онъ сохранитъ о ней чистое воспоминаніе.

«Люблю, люблю, люблю»,—прочла она.—Это отъ Ачміанова.

Она будетъ жить гдѣ-нибудь въ глуши, работать и высылать Лаевскому «отъ неизвѣстнаго» деньги, вышитыя сорочки, табакъ, и вернется къ нему только въ старости и въ случаѣ, если онъ опасно заболѣетъ и понадобится ему сидѣлка. Когда въ старости онъ узнаетъ, по какимъ причинамъ она отказалась быть его женой и оставила его, онъ оцѣнитъ ея жертву и проститъ.

«У васъ длинный носъ». — Это, должно-быть, отъ дьякона, или отъ Кости.

Надежда Ѳедоровна вообразила, какъ, прощаясь съ Лаевскимъ, она крѣпко обниметъ его, поцѣлуетъ ему руку и поклянется, что будетъ любить его всю, всю жизнь, а по-

томъ, живя въ глуши, среди чужихъ людей, она будетъ каждый день думать о томъ, что гдѣ-то у нея есть другъ, любимый человѣкъ, чистый, благородный и возвышенный, который хранитъ о ней чистое воспоминаніе.

«Если вы сегодня не назначите мнѣ свиданія, то я прійму мѣры, увѣряю честнымъ словомъ. Такъ съ порядочными людьми не поступаютъ, надо это понять». — Это отъ Кирилина.

## XIII.

Лаевскій получилъ двѣ записки; онъ развернулъ одну и прочелъ: «Не уѣзжай, голубчикъ мой».

«Кто бы это могъ написать?—подумалъ онъ.—Конечно, не Самойленко... И не дьяконъ, такъ какъ онъ не знаетъ, что я хочу уѣхать. Фонъ-Коренъ развѣ?»

Зоологъ нагнулся къ столу и рисовалъ пирамиду. Лаевскому показалось, что глаза его улыбаются.

«Вѣроятно, Самойленко проболтался...»—подумалъ Лаевскій.

На другой запискѣ тѣмъ же самымъ изломаннымъ почеркомъ съ длинными хвостами и закорючками было написано: «А кто-то въ субботу не уѣдетъ».

«Глупое издѣвательство, — подумалъ Лаевскій. — Пятница, пятница...»

Что-то подступило у него къ горлу. Онъ потрогалъ воротничокъ и кашлянулъ, но вмѣсто кашля изъ горла вырвался смѣхъ.

— Ха-ха-ха! — захохоталъ онъ. — Ха-ха-ха! «Чему это я?»—подумалъ онъ.—Ха-ха-ха!

Онъ попытался удержать себя, закрылъ рукою ротъ, но смѣхъ давилъ ему грудь и шею, и рука не могла закрыть рта.

«Какъ это, однако, глупо!—думалъ онъ, покатываясь со смѣху.—Я съ ума сошелъ, что ли?»

Хохотъ становился все выше и выше и обратился во что-то похожее на лай болонки. Лаевскій хотѣлъ встать изъ-за стола, но ноги его не слушались и правая рука какъ-то странно, помимо его воли, прыгала по столу, судорожно ловила бумажки и сжимала ихъ. Онъ увидѣлъ удивленные взгляды, серьезное испуганное лицо Самойленка и взглядъ зоолога, полный холодной насмѣшки и гадливости, и понялъ, что съ нимъ истерика.

«Какое безобразіе, какой стыдъ, — думалъ онъ, чувствуя на лицѣ теплоту отъ слезъ...—Ахъ, ахъ, какой срамъ! Никогда со мною этого не было...»

Вотъ взяли его подъ руки и, поддерживая сзади голову, повели куда-то; вотъ стаканъ блеснулъ передъ глазами и стукнулъ по зубамъ, и вода пролилась на грудь; вотъ маленькая комната, посреди двѣ постели рядомъ, покрытыя чистыми, бѣлыми, какъ снѣгъ, покрывалами. Онъ повалился на одну постель и зарыдалъ.

— Ничего, ничего... — говорилъ Самойленко. — Это бываетъ... Это бываетъ...

Похолодѣвшая отъ страха, дрожа всѣмъ тѣломъ и предчувствуя что-то ужасное, Надежда Ѳедоровна стояла у постели и спрашивала:

— Что съ тобой? Что? Ради Бога говори...

«Не написалъ ли ему чего-нибудь Кирилинъ?» — думала она.

— Ничего...—сказалъ Лаевскій, смѣясь и плача.—Уйди отсюда... голубка.

Лицо его не выражало ни ненависти, ни отвращенія: значитъ, онъ ничего не знаетъ; Надежда Ѳедоровна немного успокоилась и пошла въ гостиную.

— Не волнуйтесь, милая!—сказала ей Марья Константиновна, садясь рядомъ и беря ее за руку.—Это пройдетъ. Мужчины такъ же слабы, какъ и мы, грѣшныя. Вы оба теперь переживаете кризисъ... это такъ понятно! Ну, милая, я жду отвѣта. Давайте поговоримъ.

— Нѣтъ, не будемъ говорить...—сказала Надежда Ѳедоровна, прислушиваясь къ рыданіямъ Лаевскаго. — У меня тоска... Позвольте мнѣ уйти...

— Что вы, что вы, милая!—испугалась Марья Константиновна. — Неужели вы думаете, что я отпущу васъ безъ ужина? Закусимъ, тогда и съ Богомъ.

— У меня тоска... —прошептала Надежда Ѳедоровна и, чтобы не упасть, взялась обѣими руками за ручку кресла.

— У него родимчикъ!—сказалъ весело фонъ-Коренъ, входя въ гостиную, но, увидѣвъ Надежду Ѳедоровну, смутился и вышелъ.

Когда кончилась истерика, Лаевскій сидѣлъ на чужой постели и думалъ:

«Срамъ, разревѣлся, какъ дѣвчонка! Должно-быть, я

смѣшонъ и гадокъ. Уйду чернымъ ходомъ... Впрочемъ, это значило бы, что я придаю своей истерикѣ серьезное значеніе. Слѣдовало бы ее разыграть въ шутку...»

Онъ посмотрѣлся въ зеркало, посидѣлъ немного и вышелъ въ гостиную.

— А вотъ и я!—сказалъ онъ, улыбаясь; ему было мучительно стыдно и онъ чувствовалъ, что и другимъ стыдно въ его присутствіи.—Бываютъ же такія исторіи,—сказалъ онъ, садясь.—Сидѣлъ я и вдругъ, знаете ли, почувствовалъ страшную колющую боль въ боку... невыносимую, нервы не выдержали и... и вышла такая глупая штука. Нашъ нервный вѣкъ, ничего не подѣлаешь!

За ужиномъ онъ пилъ вино, разговаривалъ и изрѣдка, судорожно вздыхая, поглаживалъ себѣ бокъ, какъ бы показывая, что боль еще чувствуется. И никто, кромѣ Надежды Ѳедоровны, не вѣрилъ ему, и онъ видѣлъ это.

Въ десятомъ часу пошли гулять на бульваръ. Надежда Ѳедоровна, боясь, чтобы съ нею не заговорилъ Кирилинъ, все время старалась держаться около Маріи Константиновны и дѣтей. Она ослабѣла отъ страха и тоски и, предчувствуя лихорадку, томилась и еле передвигала ноги, но не шла домой, такъ какъ была увѣрена, что за нею пойдетъ Кирилинъ или Ачміановъ, или оба вмѣстѣ. Кирилинъ шелъ сзади, рядомъ съ Никодимомъ Александрычемъ, и напѣвалъ вполголоса:

— Я игра-ать мной не позво-олю! Не позво-олю!

Съ бульвара повернули къ павильону и пошли по берегу и долго смотрѣли, какъ фосфорится море. Фонъ-Коренъ сталъ разсказывать, отчего оно фосфорится.

## XIV.

— Однако, мнѣ пора винтить... Меня ждутъ,—сказалъ Лаевскій.—Прощайте, господа.

— И я съ тобой, погоди,—сказала Надежда Ѳедоровна и взяла его подъ руку.

Они простились съ обществомъ и пошли. Кирилинъ тоже простился, сказалъ, что ему по дорогѣ, и пошелъ рядомъ съ ними.

«Что будетъ, то будетъ...—думала Надежда Ѳедоровна.—Пусть...»

Ей казалось, что всѣ нехорошія воспоминанія вышли изъ ея головы и идутъ въ потемкахъ рядомъ съ ней и т-

жело дышать, а она сама, какъ муха, попавшая въ чернила, ползетъ черезъ силу по мостовой и пачкаетъ въ черное бокъ и руку Лаевскаго.—«Если Кирилинъ,—думала она:—сдѣлаетъ что-нибудь дурное, то въ этомъ будетъ виноватъ не онъ, а она одна. Вѣдь было время, когда ни одинъ мужчина не разговаривалъ съ нею такъ, какъ Кирилинъ, и сама она порвала это время, какъ нитку, и погубила его безвозвратно—кто же виноватъ въ этомъ? Одурманенная своими желаніями, она стала улыбаться совершенно незнакомому человѣку только потому, вѣроятно, что онъ статенъ и высокъ ростомъ, въ два свиданія онъ наскучилъ ей, и она бросила его, и развѣ поэтому,—думала она теперь:—онъ не имѣетъ права поступить съ нею, какъ ему угодно?»

— Тутъ, голубка, я съ тобой прощусь,—сказалъ Лаевскій, останавливаясь.—Тебя проводитъ Илья Михайлычъ.

Онъ поклонился Кирилину и быстро пошелъ поперекъ бульвара, прошелъ черезъ улицу къ дому Шешковскаго, гдѣ свѣтились окна, и слышно было затѣмъ, какъ онъ стукнулъ калиткой.

— Позвольте мнѣ объясниться съ вами,—началъ Кирилинъ.—Я не мальчишка, не какой-нибудь Ачкасовъ или Лачкасовъ, Зачкасовъ... Я требую серьезнаго вниманія!

У Надежды Ѳедоровны сильно забилось сердце. Она ничего не отвѣтила.

— Вашу рѣзкую перемѣну въ обращеніи со мной я объяснялъ сначала кокетствомъ,—продолжалъ Кирилинъ:—теперь же вижу, что вы просто не умѣете обращаться съ порядочными людьми. Вамъ просто хотѣлось поиграть мной, какъ съ этимъ мальчишкой армяниномъ, но я порядочный человѣкъ, и требую, чтобы со мной поступали, какъ съ порядочнымъ человѣкомъ. Итакъ, я къ вашимъ услугамъ...

— У меня тоска...—сказала Надежда Ѳедоровна и заплакала и, чтобы скрыть слезы, отвернулась.

— У меня тоже тоска, но что же изъ этого слѣдуетъ?

Кирилинъ помолчалъ немного и сказалъ отчетливо, съ разстановкой:

— Я повторяю, сударыня, что если вы не дадите мнѣ сегодня свиданія, то сегодня же я сдѣлаю скандалъ.

— Отпустите меня сегодня,—сказала Надежда Ѳедоровна и не узнала своего голоса, до такой степени онъ былъ жалобенъ и тонокъ.

— Я долженъ проучить васъ... Извините за грубый тонъ, но мнѣ необходимо проучить васъ. Да-съ, къ сожалѣнію, я долженъ проучить васъ. Я требую два свиданія: сегодня и завтра. Послѣзавтра вы совершенно свободны и можете идти на всѣ четыре стороны съ кѣмъ вамъ угодно. Сегодня и завтра.

Надежда Ѳедоровна подошла къ своей калиткѣ и остановилась.

— Отпустите меня!—шептала она, дрожа всѣмъ тѣломъ и не видя передъ собою въ потемкахъ ничего, кромѣ бѣлаго кителя.—Вы правы, я ужасная женщина... я виновата, но отпустите... Я васъ прошу... — она дотронулась до его холодной руки и вздрогнула.—Я васъ умоляю...

— Увы!—вздохнулъ Кирилинъ. — Увы! Не въ моихъ планахъ отпускать васъ, я только хочу проучить васъ, дать понять, и къ тому же, мадамъ, я слишкомъ мало вѣрю женщинамъ.

— У меня тоска...

Надежда Ѳедоровна прислушалась къ ровному шуму моря, поглядѣла на небо, усыпанное звѣздами, и ей захотѣлось скорѣе покончить все и отдѣлаться отъ проклятаго ощущенія жизни съ ея моремъ, звѣздами, мужчинами, лихорадкой...

— Только не у меня дома...—сказала она холодно.— Уведите меня куда-нибудь.

— Пойдемте къ Мюридову. Самое лучшее.

— Гдѣ это?

— Около стараго вала.

Она быстро пошла по улицѣ и потомъ повернула въ переулокъ, который велъ къ горамъ. Было темно. Кое-гдѣ на мостовой лежали блѣдныя свѣтовыя полосы отъ освѣщенныхъ оконъ, и ей казалось, что она, какъ муха, то попадаетъ въ чернила, то опять выползаетъ изъ нихъ на свѣтъ. Кирилинъ шелъ за нею. На одномъ мѣстѣ онъ споткнулся, едва не упалъ и засмѣялся.

«Онъ пьянъ... — подумала Надежда Ѳедоровна. — Все равно... все равно... Пусть».

Ачміановъ тоже скоро простился съ компаніей и пошелъ вслѣдъ за Надеждой Ѳедоровной, чтобы пригласить ее покататься на лодкѣ. Онъ подошелъ къ ея дому и посмотрѣлъ черезъ палисадникъ: окна были открыты настежь, огня не было.

— Надежда Ѳедоровна!—позвалъ онъ.

Прошла минута. Онъ опять позвалъ.

— Кто тамъ?—послышался голосъ Ольги.

— Надежда Ѳедоровна дома?

— Нѣту. Еще не приходила.

«Странно... Очень странно,—подумалъ Ачміановъ, начиная чувствовать сильное безпокойство.—Она пошла домой...»

Онъ прошелся по бульвару, потомъ по улицѣ и заглянулъ въ окна къ Шешковскому. Лаевскій безъ сюртука сидѣлъ у стола и внимательно смотрѣлъ въ карты.

— Странно, странно...—пробормоталъ Ачміановъ, и при воспоминаніи объ истерикѣ, которая была съ Лаевскимъ, ему стало стыдно.—Если она не дома, то гдѣ же?

Онъ опять пошелъ къ квартирѣ Надежды Ѳедоровны и посмотрѣлъ на темныя окна.

«Это обманъ, обманъ...»—думалъ онъ, вспоминая, что она же сама, встрѣтясь съ нимъ сегодня въ полдень у Битюговыхъ, обѣщала вмѣстѣ кататься вечеромъ на лодкѣ.

Окна въ томъ домѣ, гдѣ жилъ Кирилинъ, были темны, и у воротъ на лавочкѣ сидѣлъ городовой и спалъ. Ачміанову, когда онъ посмотрѣлъ на окна и на городового, стало все ясно. Онъ рѣшилъ идти домой и пошелъ, но очутился опять около квартиры Надежды Ѳедоровны. Тутъ онъ сѣлъ на лавочку и снялъ шляпу, чувствуя, что его голова горитъ отъ ревности и обиды.

Въ городской церкви били часы только два раза въ сутки: въ полдень и въ полночь. Вскорѣ послѣ того, какъ они пробили полночь, послышались торопливые шаги.

— Значитъ, завтра вечеромъ опять у Мюридова!—услышалъ Ачміановъ и узналъ голосъ Кирилина.—Въ восемь часовъ. До свиданья-съ!

Около палисадника показалась Надежда Ѳедоровна. Не замѣчая, что на лавочкѣ сидитъ Ачміановъ, она прошла тѣнью мимо него, отворила калитку и, оставивъ ее отпертою, вошла въ домъ. У себя въ комнатѣ она зажгла свѣчу, быстро раздѣлась, но не легла въ постель, а опустилась передъ стуломъ на колѣни, обняла его и припала къ нему лбомъ.

Лаевскій вернулся домой въ третьемъ часу.

## XV.

Рѣшивъ лгать не сразу, а по частямъ, Лаевскій на другой день, во второмъ часу, пошелъ къ Самойленку попросить денегъ, чтобы уѣхать непремѣнно въ субботу. Послѣ вчерашней истерики, которая къ тяжелому состоянію его души прибавила еще острое чувство стыда, оставаться въ городѣ было не мыслимо. Если Самойленко будетъ настаивать на своихъ условіяхъ, думалъ онъ, то можно будетъ согласиться на нихъ и взять деньги, а завтра, въ самый часъ отъѣзда, сказать, что Надежда Ѳедоровна отказалась ѣхать; съ вечера ее можно будетъ уговорить, что все это дѣлается для ея же пользы. Если же Самойленко, находящійся подъ очевиднымъ вліяніемъ фонъ-Корена, совершенно откажетъ въ деньгахъ, или предложитъ какія-нибудь новыя условія, то онъ, Лаевскій, сегодня же уѣдетъ на грузовомъ пароходѣ, или даже на парусникѣ въ Новый Аѳонъ, или Новороссійскъ, пошлетъ оттуда матери унизительную телеграмму и будетъ жить тамъ до тѣхъ поръ, пока мать не вышлетъ ему на дорогу.

Придя къ Самойленку, онъ засталъ въ гостиной фонъ-Корена. Зоологъ только-что пришелъ обѣдать и, по обыкновенію, раскрывъ альбомъ, разсматривалъ мужчинъ въ цилиндрахъ и дамъ въ чепцахъ.

«Какъ некстати,—подумалъ Лаевскій, увидѣвъ его.—Онъ можетъ помѣшать».—Здравствуйте!

— Здравствуйте,—отвѣтилъ фонъ-Коренъ, не глядя на него.

— Александръ Давидычъ дома?

— Да. Въ кухнѣ.

Лаевскій пошелъ въ кухню, но, увидѣвъ въ дверь, что Самойленко занятъ салатомъ, вернулся въ гостиную и сѣлъ. Въ присутствіи зоолога онъ всегда чувствовалъ неловкость, а теперь боялся, что придется говорить объ истерикѣ. Прошло больше минуты въ молчаніи. Фонъ-Коренъ вдругъ поднялъ глаза на Лаевскаго и спросилъ:

— Какъ вы себя чувствуете послѣ вчерашняго?

— Превосходно, — отвѣтилъ Лаевскій, краснѣя. — Въ сущности, вѣдь ничего не было особеннаго...

— До вчерашняго дня я полагалъ, что истерика бываетъ только у дамъ, и потому думалъ сначала, что у васъ пляска святого Витта.

Лаевскій заискивающе улыбнулся и подумалъ:

«Какъ это неделикатно съ его стороны. Вѣдь онъ отлично знаетъ, что мнѣ тяжело»... — Да, смѣшная была исторія,—сказалъ онъ, продолжая улыбаться.—Я сегодня все утро смѣялся. Курьезно въ истерическомъ припадкѣ то, что знаешь, что онъ нелѣпъ, и смѣешься надъ нимъ въ душѣ и въ то же время рыдаешь. Въ нашъ нервный вѣкъ мы рабы своихъ нервовъ; они наши хозяева и дѣлаютъ съ нами, что хотятъ. Цивилизація въ этомъ отношеніи оказала намъ медвѣжью услугу...

Лаевскій говорилъ, и ему было непріятно, что фонъ-Коренъ серьезно и внимательно слушаетъ его и глядитъ на него внимательно, не мигая, точно изучаетъ; и досадно ему было на себя за то, что, несмотря на свою нелюбовь къ фонъ-Корену, онъ никакъ не могъ согнать со своего лица заискивающей улыбки.

— Хотя, надо сознаться,—продолжалъ онъ:—были ближайшія причины для припадка и довольно-таки основательныя. Въ послѣднее время мое здоровье сильно пошатнулось. Прибавьте къ этому скуку, постоянное безденежье... отсутствіе людей и общихъ интересовъ... Положеніе хуже губернаторскаго.

— Да, ваше положеніе безвыходно, — сказалъ фонъ-Коренъ.

Эти покойныя, холодныя слова, содержавшія въ себѣ не то насмѣшку, не то непрошенное пророчество, оскорбили Лаевскаго. Онъ вспомнилъ вчерашній взглядъ зоолога, полный насмѣшки и гадливости, помолчалъ немного и спросилъ, уже не улыбаясь:

— А вамъ откуда извѣстно мое положеніе?

— Вы только-что говорили о немъ сами, да и ваши друзья принимаютъ въ васъ такое горячее участіе, что цѣлый день только и слышишь, что о васъ.

— Какіе друзья? Самойленко, что ли?

— Да, и онъ.

— Я попросилъ бы Александра Давидыча и вообще моихъ друзей поменьше обо мнѣ заботиться.

— Вотъ идетъ Самойленко, попросите его, чтобы онъ о васъ поменьше заботился.

— Я не понимаю вашего тона... — пробормоталъ Лаевскій; его охватило такое чувство, какъ будто онъ сейчасъ

только понялъ, что зоологъ ненавидитъ его, презираетъ и издѣвается надъ нимъ и что зоологъ самый злѣйшій и непримиримый врагъ его.—Приберегите этотъ тонъ для кого-нибудь другого,—сказалъ онъ тихо, не имѣя силъ говорить громко отъ ненависти, которая уже тѣснила ему грудь и шею, какъ вчера желаніе смѣяться.

Вошелъ Самойленко безъ сюртука, потный и багровый отъ кухонной духоты.

— А, ты здѣсь?—сказалъ онъ.—Здравствуй, голубчикъ. Ты обѣдалъ? Не церемонься, говори: обѣдалъ?

— Александръ Давидычъ,—сказалъ Лаевскій, вставая:—если я обращался къ тебѣ съ какой-нибудь интимной просьбой, то это не значило, что я освобождалъ тебя отъ обязанности быть скромнымъ и уважать чужія тайны.

— Что такое?—удивился Самойленко.

— Если у тебя нѣтъ денегъ, — продолжалъ Лаевскій, возвышая голосъ и отъ волненія переминаясь съ ноги на ногу: — то не давай, откажи, но зачѣмъ благовѣстить въ каждомъ переулкѣ о томъ, что мое положеніе безвыходно и прочее? Этихъ благодѣяній и дружескихъ услугъ, когда дѣлаютъ на копейку, а говорятъ на рубль, я терпѣть не могу! Можешь хвастать своими благодѣяніями, сколько тебѣ угодно, но никто не давалъ тебѣ права разоблачать мои тайны!

— Какія тайны? — спросилъ Самойленко, недоумѣвая и начиная сердиться.—Если ты пришелъ ругаться, то уходи. Послѣ придешь!

Онъ вспомнилъ правило, что когда гнѣваешься на ближняго, то начни мысленно считать до ста и успокоишься; и онъ началъ быстро считать.

— Прошу васъ обо мнѣ не заботиться! — продолжалъ Лаевскій.—Не обращайте на меня вниманія. И кому какое дѣло до меня и до того, какъ я живу? Да, я хочу уѣхать! Да, я дѣлаю долги, пью, живу съ чужой женой, у меня истерика, я пошлъ, не такъ глубокомысленъ, какъ нѣкоторые, но кому какое дѣло до этого? Уважайте личность!

— Ты, братецъ, извини, — сказалъ Самойленко, сосчитавъ до тридцати пяти:—но...

— Уважайте личность! — перебилъ его Лаевскій. — Эти постоянные разговоры на чужой счетъ, охи да ахи, постоянныя выслѣживанія, подслушиванія, эти сочувствія дру-

жескія... къ чорту! Мнѣ даютъ деньги взаймы и предлагаютъ условія, какъ мальчишкѣ! Меня третируютъ, какъ чортъ знаетъ что! Ничего я не желаю! — крикнулъ Лаевскій, шатаясь отъ волненія и боясь, какъ бы съ нимъ опять не приключилась истерика.—«Значитъ, въ субботу я не уѣду», мелькнуло у него въ мысляхъ. — Ничего я не желаю! Только прошу, пожалуйста, избавить меня отъ опеки. Я не мальчишка и не сумасшедшій и прошу снять съ меня этотъ надзоръ!

Вошелъ дьяконъ и, увидѣвъ Лаевскаго, блѣднаго, размахивающаго руками и обращающагося со своею странною рѣчью къ портрету князя Воронцова, остановился около двери, какъ вкопанный.

— Постоянныя заглядыванія въ мою душу, — продолжалъ Лаевскій:—оскорбляютъ во мнѣ человѣческое достоинство, и я прошу добровольныхъ сыщиковъ прекратить свое шпіонство! Довольно!

— Что ты... что вы сказали? — спросилъ Самойленко, сосчитавъ до ста, багровѣя и подходя къ Лаевскому.

— Довольно! — повторилъ Лаевскій, задыхаясь и беря фуражку.

— Я русскій врачъ, дворянинъ и статскій совѣтникъ!— сказалъ съ разстановкой Самойленко. — Шпіономъ я никогда не былъ и никому не позволю себя оскорблять! — крикнулъ онъ дребезжащимъ голосомъ, дѣлая удареніе на послѣднемъ словѣ.—Замолчать!

Дьяконъ, никогда не видавшій доктора такимъ величественнымъ, надутымъ, багровымъ и страшнымъ, зажалъ ротъ, выбѣжалъ въ переднюю и покатился тамъ со смѣху. Словно въ туманѣ, Лаевскій видѣлъ, какъ фонъ-Коренъ всталъ и, заложивъ руки въ карманы панталонъ, остановился въ такой позѣ, какъ будто ждалъ, что будетъ дальше; эта покойная поза показалась Лаевскому въ высшей степени дерзкой и оскорбительной.

— Извольте взять ваши слова назадъ! — крикнулъ Самойленко.

Лаевскій, уже не помнившій, какія онъ слова говорилъ, отвѣчалъ:

— Оставьте меня въ покоѣ! Я ничего не хочу! Я хочу только, чтобы вы и нѣмецкіе выходцы изъ жидовъ оставили меня въ покоѣ! Иначе я приму мѣры! Я драться буду!

— Теперь понятно,—сказалъ фонъ-Коренъ, выходя изъ-за стола.—Г. Лаевскому хочется передъ отъѣздомъ поразвлечься дуэлью. Я могу доставить ему это удовольствіе. Г. Лаевскій, я принимаю вашъ вызовъ.

— Вызовъ? — проговорилъ тихо Лаевскій, подходя къ зоологу и глядя съ ненавистью на его смуглый лобъ и курчавые волосы. — Вызовъ? Извольте! Я ненавижу васъ! Ненавижу!

— Очень радъ. Завтра утромъ пораньше около Кербалая, со всѣми подробностями въ вашемъ вкусѣ. А теперь убирайтесь.

— Ненавижу! —говорилъ Лаевскій тихо, тяжело дыша.— Давно ненавижу! Дуэль! Да!

— Убери его, Александръ Давидычъ, а то я уйду, — сказалъ фонъ-Коренъ.—Онъ меня укуситъ.

Покойный тонъ фонъ-Корена охладилъ доктора; онъ какъ-то вдругъ пришелъ въ себя, образумился, взялъ обѣими руками Лаевскаго за талію и, отводя его отъ зоолога, забормоталъ ласковымъ, дрожащимъ отъ волненія голосомъ:

— Друзья мои... хорошіе, добрые... Погорячились и будетъ... и будетъ... Друзья мои...

Услышавъ мягкій, дружескій голосъ, Лаевскій почувствовалъ, что въ его жизни только-что произошло что-то небывалое, чудовищное, какъ будто его чуть было не раздавилъ поѣздъ; онъ едва не заплакалъ, махнулъ рукой и выбѣжалъ изъ комнаты.

«Испытать на себѣ чужую ненависть, выказать себя передъ ненавидящимъ человѣкомъ въ самомъ жалкомъ, презрѣнномъ, безпомощномъ видѣ, — Боже мой, какъ это тяжело!—думалъ онъ, немного погодя, сидя въ павильонѣ и чувствуя точно ржавчину на тѣлѣ отъ только-что испытанной чужой ненависти.—Какъ это грубо, Боже мой!»

Холодная вода съ коньякомъ подбодрила его. Онъ съ ясностью представилъ себѣ покойное, надменное лицо фонъ-Корена, его вчерашній взглядъ, рубаху, похожую на коверъ, голосъ, бѣлыя руки, и тяжелая ненависть, страстная, голодная заворочалась въ его груди и потребовала удовлетворенія. Въ мысляхъ онъ повалилъ фонъ-Корена на землю и сталъ топтать его ногами. Онъ вспоминалъ въ мельчайшихъ подробностяхъ все происшедшее и удивлялся, какъ

это онъ могъ заискивающе улыбаться ничтожному человѣку и вообще дорожить мнѣніемъ мелкихъ, никому неизвѣстныхъ людишекъ, живущихъ въ ничтожнѣйшемъ городѣ, котораго, кажется, нѣтъ даже на картѣ и о которомъ въ Петербургѣ не знаетъ ни одинъ порядочный человѣкъ. Если бы этотъ городишко вдругъ провалился, или сгорѣлъ, то телеграмму объ этомъ прочли бы въ Россіи съ такою же скукой, какъ объявленіе о продажѣ подержанной мебели, Убить завтра фонъ-Корена, или оставить его въ живыхъ— это все равно, одинаково безполезно и неинтересно. Выстрѣлить въ ногу, или въ руку, ранить, потомъ посмѣяться надъ нимъ, и какъ насѣкомое съ оторванной ножкой теряется въ травѣ, такъ пусть онъ со своимъ глухимъ страданіемъ затеряется послѣ въ толпѣ такихъ же ничтожныхъ людей, какъ онъ самъ.

Лаевскій пошелъ къ Шешковскому, разсказалъ ему обо всемъ и пригласилъ его въ секунданты; потомъ оба они отправились къ начальнику почтово-телеграфной конторы, пригласили и его въ секунданты и остались у него обѣдать. За обѣдомъ много шутили и смѣялись. Лаевскій подтрунивалъ надъ тѣмъ, что онъ почти совсѣмъ не умѣетъ стрѣлять, и называлъ себя королевскимъ стрѣлкомъ и Вильгельмомъ Телемъ.

— Надо этого господина проучить...—говорилъ онъ.

Послѣ обѣда сѣли играть въ карты. Лаевскій игралъ, пилъ вино и думалъ, что дуэль вообще глупа и безтолкова, такъ какъ она не рѣшаетъ вопроса, а только осложняетъ его, но что безъ нея иногда нельзя обойтись. Напримѣръ, въ данномъ случаѣ: вѣдь не подашь же на фонъ-Корена мировому! И предстоящая дуэль еще тѣмъ хороша, что послѣ нея ему ужъ нельзя будетъ оставаться въ городѣ. Онъ слегка опьянѣлъ, развлекся картами и чувствовалъ себя хорошо.

Но когда зашло солнце и стало темно, имъ овладѣло безпокойство. Это былъ не страхъ передъ смертью, потому что въ немъ, пока онъ обѣдалъ и игралъ въ карты, сидѣла почему-то увѣренность, что дуэль кончится ничѣмъ; это былъ страхъ передъ чѣмъ-то неизвѣстнымъ, что должно случиться завтра утромъ первый разъ въ его жизни, и страхъ передъ наступающею ночью... Онъ зналъ, что ночь будетъ длинная, безсонная и что придется думать не объ

одномъ только фонъ-Коренѣ и его ненависти, но и о той горѣ лжи, которую ему предстояло пройти, и обойти которую у него не было силъ и умѣнья. Похоже было на то, какъ будто онъ заболѣлъ внезапно; онъ потерялъ вдругъ всякій интересъ къ картамъ и людямъ, засуетился и сталъ просить, чтобы его отпустили домой. Ему хотѣлось поскорѣе лечь въ постель, не двигаться и приготовить свои мысли къ ночи. Шешковскій и почтовый чиновникъ проводили его и отправились къ фонъ-Корену, чтобы поговорить насчетъ дуэли.

Около своей квартиры Лаевскій встрѣтилъ Ачміанова. Молодой человѣкъ запыхался и былъ возбужденъ.

— А я васъ ищу, Иванъ Андреичъ! — сказалъ онъ. — Прошу васъ, пойдемте скорѣе...

— Куда?

— Васъ желаетъ видѣть одинъ незнакомый вамъ господинъ, который имѣетъ до васъ очень важное дѣло. Онъ убѣдительно проситъ васъ придти на минутку. Ему нужно о чемъ-то поговорить съ вами... Для него это все равно, какъ жизнь и смерть...

Волнуясь, Ачміановъ проговорилъ это съ сильнымъ армянскимъ акцентомъ, такъ что у него вышло не «жизнь», а «жизень».

— Кто онъ такой?—спросилъ Лаевскій.

— Онъ просилъ не говорить его имени.

— Скажите ему, что я занятъ. Завтра если угодно...

— Какъ можно! — испугался Ачміановъ. — Онъ хочетъ сказать вамъ такое очень важное для васъ... очень важное! Если не пойдете, то случится несчастье.

— Странно...—пробормоталъ Лаевскій, не понимая, почему Ачміановъ такъ возбужденъ и какія это тайны могутъ быть въ скучномъ, никому не нужномъ городишкѣ. — Странно,—повторилъ онъ въ раздумьи.—Впрочемъ пойдемте. Все равно.

Ачміановъ быстро пошелъ впередъ, а онъ за нимъ. Прошли по улицѣ, потомъ переулкомъ.

— Какъ это скучно,—сказалъ Лаевскій.

— Сейчасъ, сейчасъ... Близко.

Около стараго вала они прошли узкимъ переулкомъ между двумя огороженными пустырями, затѣмъ вошли въ какой-то большой дворъ и направились къ небольшому домику...

— Это домъ Мюридова, что ли?—спросилъ Лаевскій.

— Да.

— Но зачѣмъ мы идемъ задворками, не понимаю? Могли бы и улицей. Тамъ ближе...

— Ничего, ничего...

Лаевскому показалось также страннымъ, что Ачміановъ повелъ его къ черному ходу и замахалъ ему рукой, какъ бы приглашая его идти потише и молчать.

— Сюда, сюда...—сказалъ Ачміановъ, осторожно отворяя дверь и входя въ сѣни на цыпочкахъ.—Тише, тише, прошу васъ... Могутъ услышать.

Онъ прислушался, тяжело перевелъ духъ и сказалъ шопотомъ:

— Отворите вотъ эту дверь и войдите... Не бойтесь.

Лаевскій, недоумѣвая, отворилъ дверь и вошелъ въ комнату съ низкимъ потолкомъ и занавѣшанными окнами. На столѣ стояла свѣча.

— Кого нужно? — спросилъ кто-то въ сосѣдней комнатѣ.—Ты, Мюридка?

Лаевскій повернулъ въ эту комнату и увидѣлъ Кирилина, а рядомъ съ нимъ Надежду Ѳедоровну.

Онъ не слышалъ, что ему сказали, попятился назадъ и не замѣтилъ, какъ очутился на улицѣ. Ненависть къ фонъ-Корену и безпокойство — все исчезло изъ души. Идя домой, онъ неловко размахивалъ правой рукой и внимательно смотрѣлъ себѣ подъ ноги, стараясь идти по гладкому. Дома, въ кабинетѣ, онъ, потирая руки и угловато поводя плечами и шеей, какъ будто ему было тѣсно въ пиджакѣ и сорочкѣ, прошелся изъ угла въ уголъ, потомъ зажегъ свѣчу и сѣлъ за столъ...

## XVI.

— Гуманитарныя науки, о которыхъ вы говорите, тогда только будутъ удовлетворять человѣческую мысль, когда въ движеніи своемъ онѣ встрѣтятся съ точными науками и пойдутъ съ ними рядомъ. Встрѣтятся ли онѣ подъ микроскопомъ, или въ монологахъ новаго Гамлета, или въ новой религіи, я не знаю, но думаю, что земля покроется ледяной корой раньше, чѣмъ это случится. Самое стойкое и живучее изъ всѣхъ гуманитарныхъ знаній, это, конечно, ученіе Христа, но, посмотрите, какъ даже оно различно по-

пимается! Одни учатъ, чтобы мы любили всѣхъ ближнихъ, и дѣлаютъ при этомъ исключеніе для солдатъ, преступниковъ и безумныхъ: первыхъ они разрѣшаютъ убивать на войнѣ, вторыхъ изолировать, или казнить, а третьимъ запрещаютъ вступленіе въ бракъ. Другіе толкователи учатъ любить всѣхъ ближнихъ безъ исключенія, не различая плюсовъ и минусовъ. По ихъ ученію, если къ вамъ приходитъ бугорчатный, или убійца, или эпилептикъ и сватаетъ вашу дочь—отдавайте; если кретины идутъ войной на физически и умственно здоровыхъ—подставляйте головы. Эта проповѣдь любви ради любви, какъ искусства для искусства, если бы могла имѣть силу, въ концѣ концовъ, привела бы человѣчество къ полному вымиранію и такимъ образомъ совершилось бы грандіознѣйшее изъ злодѣйствъ, какія когда-либо бывали на землѣ. Толкованій очень много, а если ихъ много, то серьезная мысль не удовлетворяется ни однимъ изъ нихъ и къ массѣ всѣхъ толкованій спѣшитъ прибавить свое собственное. Поэтому никогда не ставьте вопроса, какъ вы говорите, на философскую, или такъ-называемую христіанскую почву; этимъ вы только отдаляетесь отъ рѣшенія вопроса.

Дьяконъ внимательно выслушалъ зоолога, подумалъ и спросилъ:

— Нравственный законъ, который свойственъ каждому изъ людей, философы выдумали, или же его Богъ создалъ вмѣстѣ съ тѣломъ?

— Не знаю. Но этотъ законъ до такой степени общъ для всѣхъ народовъ и эпохъ, что, мнѣ кажется, его слѣдуетъ признать органически связаннымъ съ человѣкомъ. Онъ не выдуманъ, а есть и будетъ. Я не скажу вамъ, что его увидятъ когда-нибудь подъ микроскопомъ, но органическая связь его уже доказывается очевидностью: серьезное страданіе мозга и всѣ такъ-называемыя душевныя болѣзни выражаются прежде всего въ извращеніи нравственнаго закона, насколько мнѣ извѣстно.

— Хорошо-съ. Значитъ, какъ желудокъ хочетъ ѣсть, такъ нравственное чувство хочетъ, чтобы мы любили своихъ ближнихъ. Такъ? Но естественная природа наша по себялюбію противится голосу совѣсти и разума, и потому возникаетъ много головоломныхъ вопросовъ. Къ кому же мы должны обращаться за разрѣшеніемъ этихъ вопросовъ, если вы не велите ставить ихъ на философскую почву?

— Обратитесь къ тѣмъ немногимъ точнымъ знаніямъ, какія у насъ есть. Довѣрьтесь очевидности и логикѣ фактовъ. Правда, это скудно, но зато не такъ зыбко и расплывчато, какъ философія. Нравственный законъ, положимъ, требуетъ, чтобы вы любили людей. Что жъ? Любовь должна заключаться въ устраненіи всего того, что такъ или иначе вредитъ людямъ и угрожаетъ имъ опасностью въ настоящемъ и будущемъ. Наши знанія и очевидность говорятъ вамъ, что человѣчеству грозитъ опасность со стороны нравственно и физически ненормальныхъ. Если такъ, то боритесь съ ненормальными. Если вы не въ силахъ возвысить ихъ до нормы, то у васъ хватитъ силы и умѣнья обезвредить ихъ, то-есть уничтожить.

— Значитъ, любовь въ томъ, чтобы сильный побѣждалъ слабаго?

— Несомнѣнно.

— Но вѣдь сильные распяли Господа нашего Іисуса Христа!—сказалъ горячо дьяконъ.

— Въ томъ-то и дѣло, что распяли его не сильные, а слабые. Человѣческая культура ослабила и стремится свести къ нулю борьбу за существованіе и подборъ; отсюда быстрое размноженіе слабыхъ и преобладаніе ихъ надъ сильными. Вообразите, что вамъ удалось внушить пчеламъ гуманныя идеи въ ихъ неразработанной, рудиментарной формѣ. Что произойдетъ отъ этого? Трутни, которыхъ нужно убивать, останутся въ живыхъ, будутъ съѣдать медъ, развращать и душить пчелъ—въ результатѣ преобладаніе слабыхъ надъ сильными и вырожденіе послѣднихъ. То же самое происходитъ теперь и съ человѣчествомъ: слабые гнетутъ сильныхъ. У дикарей, которыхъ еще не коснулась культура, самый сильный мудрый и самый нравственный идетъ впереди: онъ вождь и владыка. А мы, культурные, распяли Христа и продолжаемъ его распинать. Значитъ, у насъ чего-то недостаетъ... И это «что-то» мы должны возстановить у себя, иначе конца не будетъ этимъ недоразумѣніямъ.

— Но какой у васъ есть критеріумъ для различенія сильныхъ и слабыхъ?

— Знаніе и очевидность. Бугорчатыхъ и золотушныхъ узнаютъ по ихъ болѣзнямъ, а безнравственныхъ и сумасшедшихъ по поступкамъ.

— Но вѣдь возможны ошибки!

— Да, но нечего бояться промочить ноги, когда угрожаетъ потопъ.

— Это философія,—засмѣялся дьяконъ.

— Нисколько. Вы до такой степени испорчены вашей семинарской философіей, что во всемъ хотите видѣть одинъ только туманъ. Отвлеченныя науки, которыми набита ваша молодая голова, потому и называются отвлеченными, что онѣ отвлекаютъ вашъ умъ отъ очевидности. Смотрите въ глаза чорту прямо, и если онъ чортъ, то и говорите, что это чортъ, а не лѣзьте къ Канту или къ Гегелю за объясненіями.

Зоологъ помолчалъ и продолжалъ:

— Дважды два есть четыре, а камень есть камень. Завтра вотъ у насъ дуэль. Мы съ вами будемъ говорить, что это глупо и нелѣпо, что дуэль уже отжила свой вѣкъ, что аристократическая дуэль ничѣмъ по существу не отличается отъ пьяной драки въ кабакѣ, а все-таки мы не остановимся, поѣдемъ и будемъ драться. Есть, значитъ, сила, которая сильнѣе нашихъ разсужденій. Мы кричимъ, что война—это разбой, варварство, ужасъ, братоубійство, мы безъ обморока не можемъ видѣть крови; но стоитъ только французамъ или нѣмцамъ оскорбить насъ, какъ мы тотчасъ же почувствуемъ подъемъ духа, самымъ искреннимъ образомъ закричимъ ура и бросимся на врага, вы будете призывать на наше оружіе благословеніе Божіе, и наша доблесть будетъ вызывать всеобщій и притомъ искренній восторгъ. Опять-таки, значитъ, есть сила, которая если не выше, то сильнѣе насъ и нашей философіи. Мы не можемъ остановить ея такъ же, какъ вотъ этой тучи, которая подвигается изъ-за моря. Не лицемѣрьте же, не показывайте ей кукиша въ карманѣ и не говорите: «ахъ, глупо! ахъ, устарѣло! ахъ, не согласно съ писаніемъ!» а глядите ей прямо въ глаза, признавайте ея разумную законность, и когда она, напримѣръ, хочетъ уничтожить хилое, золотушное, развращенное племя, то не мѣшайте ей вашими пилюлями и цитатами изъ дурно понятаго Евангелія. У Лѣскова есть совѣстливый Данила, который нашелъ за городомъ прокаженнаго и кормитъ, и грѣетъ его во имя любви и Христа. Если бы этотъ Данила въ самомъ дѣлѣ любилъ людей, то онъ оттащилъ бы прокаженнаго подальше отъ города и бросилъ его въ ровъ, а

самъ пошелъ бы служить здоровымъ. Христосъ, надѣюсь, заповѣдалъ намъ любовь разумную, осмысленную и полезную.

— Экой вы какой!—засмѣялся дьяконъ.—Въ Христа же вы не вѣруете, зачѣмъ же вы Его такъ часто упоминаете?

— Нѣтъ, вѣрую. Но только, конечно, по-своему, а не по-вашему. Ахъ, дьяконъ, дьяконъ!—засмѣялся зоологъ; онъ взялъ дьякона за талію и сказалъ весело: — Ну, что жъ? Поѣдемъ завтра на дуэль?

— Санъ не позволяетъ, а то бы поѣхалъ.

— А что значитъ—санъ?

— Я посвященный. На мнѣ благодать.

— Ахъ, дьяконъ, дьяконъ, — повторилъ фонъ-Коренъ, смѣясь.—Люблю я съ вами разговаривать.

— Вы говорите—у васъ вѣра,—сказалъ дьяконъ.—Какая это вѣра? А вотъ у меня есть дядька попъ, такъ тотъ такъ вѣритъ, что когда въ засуху идетъ въ поле дождя просить, то беретъ съ собой дождевой зонтикъ и кожаное пальто, чтобы его на обратномъ пути дождикъ не промочилъ. Вотъ это вѣра! Когда онъ говоритъ о Христѣ, такъ отъ него сіяніе идетъ и всѣ бабы и мужики навзрыдъ плачутъ. Онъ бы и тучу эту остановилъ и всякую бы вашу силу обратилъ въ бѣгство. Да... Вѣра горами двигаетъ.

Дьяконъ засмѣялся и похлопалъ зоолога по плечу.

— Такъ-то... — продолжалъ онъ. — Вотъ вы все учите, постигаете пучину моря, разбираете слабыхъ да сильныхъ, книжки пишете и на дуэли вызываете—и все остается на своемъ мѣстѣ, а глядите, какой-нибудь слабенькій старецъ святымъ духомъ пролепечетъ одно только слово, или изъ Аравіи прискачетъ на конѣ новый Магометъ съ шашкой, и полетитъ у васъ все вверхъ тарамашкой, и въ Европѣ камня на камнѣ не останется.

— Ну, это, дьяконъ, на небѣ вилами писано!

— Вѣра безъ дѣлъ мертва есть, а дѣла безъ вѣры—еще хуже, одна только трата времени и больше ничего.

На набережной показался докторъ. Онъ увидѣлъ дьякона и зоолога и подошелъ къ нимъ.

— Кажется, все готово,—сказалъ онъ, запыхавшись. — Секундантами будутъ Говоровскій и Бойко. Заѣдутъ утромъ въ пять часовъ. Наворотило-то какъ! — сказалъ онъ, посмотрѣвъ на небо. — Ничего не видать. Сейчасъ дождикъ будетъ.

— Ты, надѣюсь, поѣдешь съ нами? — спросилъ фонъ-Коренъ.

— Нѣтъ, Боже меня сохрани, я и такъ замучился. Вмѣсто меня Устимовичъ поѣдетъ. Я уже говорилъ съ нимъ.

Далеко надъ моремъ блеснула молнія и послышались глухіе раскаты грома.

— Какъ душно передъ грозой!—сказалъ фонъ-Коренъ.— Бьюсь объ закладъ, что ты уже былъ у Лаевскаго и плакалъ у него на груди.

— Зачѣмъ я къ нему пойду? — отвѣтилъ докторъ, смутившись.—Вотъ еще!

До захода солнца онъ нѣсколько разъ прошелся по бульвару и по улицѣ, въ надеждѣ встрѣтиться съ Лаевскимъ. Ему было стыдно за свою вспышку и за внезапный порывъ доброты, который послѣдовалъ за этой вспышкой. Онъ хотѣлъ извиниться передъ Лаевскимъ въ шуточномъ тонѣ, пожурить его, успокоить и сказать ему, что дуэль—остатки средневѣкового варварства, но что само Провидѣніе указало имъ на дуэль, какъ на средство примиренія: завтра оба они, прекраснѣйшіе, величайшаго ума люди, обмѣнявшись выстрѣлами, оцѣнятъ благородство другъ друга и сдѣлаются друзьями. Но Лаевскій ни разу не встрѣтился.

— Зачѣмъ я къ нему пойду?—повторилъ Самойленко.— Не я его оскорбилъ, а онъ меня. Скажи на милость, за что онъ на меня набросился? Что я ему дурного сдѣлалъ? Вхожу въ гостиную и вдругъ, здорово живешь: шпіонъ! Вотъ-те на! Ты скажи: съ чего у васъ началось? Что ты ему сказалъ?

— Я ему сказалъ, что его положеніе безвыходно. И я былъ правъ. Только честные и мошенники могутъ найти выходъ изъ всякаго положенія; а тотъ, кто хочетъ въ одно и то же время быть честнымъ и мошенникомъ, не имѣетъ выхода. Однако, господа, ужъ 11 часовъ, а завтра намъ рано вставать.

Внезапно налетѣлъ вѣтеръ; онъ поднялъ на набережной пыль, закружилъ ее вихремъ, заревѣлъ и заглушилъ шумъ моря.

— Шквалъ!—сказалъ дьяконъ.—Надо идти, а то глаза запорошило.

Когда пошли, Самойленко вздохнулъ и сказалъ, придерживая фуражку:

— Должно-быть, я не буду нынче спать.

— А ты не волнуйся, — засмѣялся зоологъ. — Можешь быть покоенъ, дуэль ничѣмъ не кончится. Лаевскій великодушно въ воздухъ выстрѣлитъ, онъ иначе не можетъ, а я, должно-быть, и совсѣмъ стрѣлять не буду. Попадать подъ судъ изъ-за Лаевскаго, терять время—не стоитъ игра свѣчъ. Кстати, какая отвѣтственность полагается за дуэль?

— Арестъ, а въ случаѣ смерти противника, заключеніе въ крѣпости до трехъ лѣтъ.

— Въ Петропавловской?

— Нѣтъ, въ военной, кажется.

— Хотя слѣдовало бы проучить этого молодца!

Позади на морѣ сверкнула молнія и на мгновеніе освѣтила крыши домовъ и горы. Около бульвара пріятели разошлись. Когда докторъ исчезъ въ потемкахъ и уже стихали его шаги, фонъ-Коренъ крикнулъ ему:

— Какъ бы погода не помѣшала намъ завтра!

— Чего добраго! А далъ бы Богъ!

— Спокойной ночи!

— Что—ночь? Что ты говоришь?

За шумомъ вѣтра и моря и за раскатами грома трудно было разслышать.

— Ничего!—крикнулъ зоологъ и поспѣшилъ домой.

## XVII.

... въ умѣ, подавленномъ тоской,
Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ;
Воспоминаніе безмолвно предо мной
Свой длинный развиваетъ свитокъ.
И съ отвращеніемъ читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.

*Пушкинъ.*

Убьютъ ли его завтра утромъ, или посмѣются надъ нимъ, то-есть оставятъ ему эту жизнь, онъ все равно погибъ. Убьетъ ли себя съ отчаянія и стыда эта опозоренная женщина, или будетъ влачить свое жалкое существованіе, она все равно погибла...

Такъ думалъ Лаевскій, сидя за столомъ поздно вечеромъ и все еще продолжая потирать руки. Окно вдругъ отворилось и хлопнуло, въ комнату ворвался сильный вѣтеръ и бумаги полетѣли со стола. Лаевскій заперъ окно и нагнулся, чтобы собрать съ полу бумаги. Онъ чувствовалъ въ своемъ

тѣлѣ что-то новое, какую-то неловкость, которой раньше не было, и не узнавалъ своихъ движеній; ходилъ онъ не смѣло, тыча въ стороны локтями и подергивая плечами, а когда сѣлъ за столъ, то опять сталъ потирать руки. Тѣло его потеряло гибкость.

Наканунѣ смерти надо писать къ близкимъ людямъ. Лаевскій помнилъ объ этомъ. Онъ взялъ перо и написалъ дрожащимъ почеркомъ:

«Матушка!»

Онъ хотѣлъ написать матери, чтобы она во-имя милосерднаго Бога, въ Котораго она вѣруетъ, дала бы пріютъ и согрѣла лаской несчастную, обезчещенную имъ женщину, одинокую, нищую и слабую, чтобы она забыла и простила все, все, все и жертвою хотя отчасти искупила страшный грѣхъ сына; но онъ вспомнилъ, какъ его мать, полная, грузная старуха, въ кружевномъ чепцѣ, выходитъ утромъ изъ дома въ садъ, а за нею идетъ приживалка съ болонкой, какъ мать кричитъ повелительнымъ голосомъ на садовника и на прислугу, и какъ гордо, надменно ея лицо,—онъ вспомнилъ объ этомъ и зачеркнулъ написанное слово.

Во всѣхъ трехъ окнахъ ярко блеснула молнія, и вслѣдъ за этимъ раздался оглушительный, раскатистый ударъ грома, сначала глухой, а потомъ грохочущій и съ трескомъ, и такой сильный, что зазвенѣли въ окнахъ стекла. Лаевскій всталъ, подошелъ къ окну и припалъ лбомъ къ стеклу. На дворѣ была сильная, красивая гроза. На горизонтѣ молніи бѣлыми лентами непрерывно бросались изъ тучъ въ море и освѣщали на далекое пространство высокія черныя волны. И справа, и слѣва, и, вѣроятно, также надъ домомъ сверкали молніи.

— Гроза!—прошепталъ Лаевскій; онъ чувствовалъ желаніе молиться кому-нибудь, или чему-нибудь, хотя бы молніи или тучамъ.—Милая гроза!

Онъ вспомнилъ, какъ въ дѣтствѣ во время грозы онъ съ непокрытой головой выбѣгалъ въ садъ, а за нимъ гнались двѣ бѣловолосыя дѣвочки съ голубыми глазами, и ихъ мочилъ дождь; онѣ хохотали отъ восторга, но когда раздавался сильный ударъ грома, дѣвочки довѣрчиво прижимались къ мальчику, онъ крестился и спѣшилъ читать: «Святъ, святъ, святъ...» О, куда вы ушли, въ какомъ вы морѣ утонули, зачатки прекрасной чистой жизни? Грозы ужъ онъ

не боится и природы не любитъ, Бога у него нѣтъ, всѣ довѣрчивыя дѣвочки, какихъ онъ зналъ когда-либо, уже сгублены имъ и его сверстниками, въ родномъ саду онъ за всю свою жизнь не посадилъ ни одного деревца и не выростилъ ни одной травки, а живя среди живыхъ, не спасъ ни одной мухи, а только разрушалъ, губилъ и лгалъ, лгалъ...

«Что въ моемъ прошломъ не порокъ?»—спрашивалъ онъ себя, стараясь уцѣпиться за какое-нибудь свѣтлое воспоминаніе, какъ падающій въ пропасть цѣпляется за кусты.

Гимназія? Университетъ? Но это обманъ. Онъ учился дурно и забылъ то, чему его учили. Служеніе обществу? Это тоже обманъ, потому что на службѣ онъ ничего не дѣлалъ, жалованье получалъ даромъ и служба его—это гнусное казнокрадство, за которое не отдаютъ подъ судъ.

Истина не нужна была ему и онъ не искалъ ея, его совѣсть, околдованная порокомъ и ложью, спала, или молчала; онъ, какъ чужой, или нанятый съ другой планеты, не участвовалъ въ общей жизни людей, былъ равнодушенъ къ ихъ страданіямъ, идеямъ, религіямъ, знаніямъ, исканіямъ, борьбѣ, онъ не сказалъ людямъ ни одного добраго слова, не написалъ ни одной полезной, не пошлой строчки, не сдѣлалъ людямъ ни на одинъ грошъ, а только ѣлъ ихъ хлѣбъ, пилъ ихъ вино, увозилъ ихъ женъ, жилъ ихъ мыслями и, чтобы оправдать свою презрѣнную, паразитную жизнь передъ ними и самимъ собой, всегда старался придавать себѣ такой видъ, какъ будто онъ выше и лучше ихъ. Ложь, ложь и ложь...

Онъ ясно вспомнилъ то, что видѣлъ вечеромъ въ домѣ Мюридова, и ему было невыносимо жутко отъ омерзѣнія и тоски. Кирилинъ и Ачміановъ отвратительны, но вѣдь они продолжали то, что онъ началъ; они его сообщники и ученики. У молодой, слабой женщины, которая довѣряла ему больше, чѣмъ брату, онъ отнялъ мужа, кругъ знакомыхъ и родину, и завезъ ее сюда—въ зной, въ лихорадку и въ скуку; изо дня въ день она, какъ зеркало, должна была отражать въ себѣ его праздность, порочность и ложь—и этимъ, только этимъ наполнялась ея жизнь, слабая, вялая, жалкая; потомъ онъ пресытился ею, возненавидѣлъ, но не хватило мужества бросить, и онъ старался все крѣпче опутать ее лганьемъ, какъ паутиной... Остальное додѣлали эти люди.

Лаевскій то садился у стола, то опять отходилъ къ окну; онъ то тушилъ свѣчу, то опять зажигалъ ее. Онъ вслухъ

проклиналъ себя, плакалъ, жаловался, просилъ прощенія; нѣсколько разъ въ отчаяніи подбѣгалъ онъ къ столу и писалъ: «Матушка!»

Кромѣ матери, у него не было никого родныхъ и близкихъ; но какъ могла помочь ему мать? И гдѣ она? Онъ хотѣлъ бѣжать къ Надеждѣ Ѳедоровнѣ, чтобы пасть къ ея ногамъ, цѣловать ея руки и ноги, умолять о прощеніи, но она была его жертвой и онъ боялся ея, точно она умерла.

— Погибла жизнь!—бормоталъ онъ, потирая руки.—Зачѣмъ же я еще живъ, Боже мой!..

Онъ столкнулъ съ неба свою тусклую звѣзду, она закатилась и слѣдъ ея смѣшался съ ночною тьмой; она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только одинъ разъ и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, онъ ложь въ нихъ замѣнилъ бы правдой, праздность—трудомъ, скуку — радостью, онъ вернулъ бы чистоту тѣмъ, у кого взялъ ее, нашелъ бы Бога и справедливость, но это такъ же невозможно, какъ закатившуюся звѣзду вернуть опять на небо. И оттого, что это невозможно, онъ приходилъ въ отчаяніе.

Когда прошла гроза, онъ сидѣлъ у открытаго окна и покойно думалъ о томъ, что будетъ съ нимъ. Фонъ-Коренъ, вѣроятно, убьетъ его. Ясное, холодное міросозерцаніе этого человѣка допускаетъ уничтоженіе хилыхъ и негодныхъ; если же оно измѣнитъ въ рѣшительную минуту, то помогутъ ему ненависть и чувство гадливости, какія возбуждаетъ въ немъ Лаевскій. Если же онъ промахнется, или для того, чтобы посмѣяться надъ ненавистнымъ противникомъ, только ранитъ его, или выстрѣлитъ въ воздухъ, то что тогда дѣлать? Куда идти?

— Ѣхать въ Петербургъ?—спрашивалъ себя Лаевскій.— Но это значило бы снова начать старую жизнь, которую я проклинаю. И кто ищетъ спасенія въ перемѣнѣ мѣста, какъ перелетная птица, тотъ ничего не найдетъ, такъ какъ для него земля вездѣ одинакова. Искать спасенія въ людяхъ? Въ комъ искать и какъ? Доброта и великодушіе Самойленка такъ же мало спасительны, какъ смѣшливость дьякона или ненависть фонъ-Корена. Спасенія надо искать только въ себѣ самомъ, а если не найдешь, то къ чему терять время, надо убить себя, вотъ и все...

Послышался шумъ экипажа. Уже свѣтало. Коляска про-

ѣхала мимо, повернула и, скрипя колесами по мокрому песку, остановилась около дома. Въ коляскѣ сидѣли двое.

— Погодите, я сейчасъ! — сказалъ имъ Лаевскій въ окно.—Я не сплю. Развѣ уже пора?

– Да. Четыре часа. Пока доѣдемъ...

Лаевскій надѣлъ пальто и фуражку, взялъ въ карманъ папиросъ и остановился въ раздумьи; ему казалось, что нужно было сдѣлать еще что-то. На улицѣ тихо разговаривали секунданты и фыркали лошади, и эти звуки въ ранее сырое утро, когда всѣ спятъ и чуть брезжитъ небо, наполнили душу Лаевскаго уныніемъ, похожимъ на дурное предчувствіе. Онъ постоялъ немного въ раздумьи и пошелъ въ спальню.

Надежда Ѳедоровна лежала въ своей постели, вытянувшись, окутанная съ головою въ пледъ; она не двигалась и напоминала, особенно головою, египетскую мумію. Глядя на нее молча, Лаевскій мысленно попросилъ у нея прощенія и подумалъ, что если небо не пусто и въ самомъ дѣлѣ тамъ есть Богъ, то Онъ сохранитъ ее; если же Бога нѣтъ, то пусть она погибнетъ, жить ей не зачѣмъ.

Она вдругъ вскочила и сѣла въ постели. Поднявъ свое блѣдное лицо и глядя съ ужасомъ на Лаевскаго, она спросила:

— Это ты? Гроза прошла?

— Прошла.

Она вспомнила, положила обѣ руки на голову и вздрогнула всѣмъ тѣломъ.

— Какъ мнѣ тяжело!—проговорила она. — Если бъ ты зналъ, какъ мнѣ тяжело! Я ждала,—продолжала она, жмурясь:—что ты убьешь меня, или прогонишь изъ дому подъ дождь и грозу, а ты медлишь... медлишь...

Онъ порывисто и крѣпко обнялъ ее, осыпалъ поцѣлуями ея колѣни и руки, потомъ, когда она что-то бормотала ему и вздрагивала отъ воспоминаній, онъ пригладилъ ея волосы и, всматриваясь ей въ лицо, понялъ, что эта несчастная, порочная женщина для него единственный близкій, родной и незамѣнимый человѣкъ.

Когда онъ, выйдя изъ дому, садился въ коляску, ему хотѣлось [illegible]ся домой живымъ.

## XVIII.

Дьяконъ всталъ, одѣлся, взялъ свою толстую суковатую палку и тихо вышелъ изъ дому. Было темно, и дьяконъ въ первыя минуты, когда пошелъ по улицѣ, не видѣлъ даже своей бѣлой палки; на небѣ не было ни одной звѣзды, и походило на то, что опять будетъ дождь. Пахло мокрымъ пескомъ и моремъ.

«Пожалуй, не напали бы чеченцы»,—думалъ дьяконъ, слушая, какъ его палка стучала о мостовую и какъ звонко и одиноко раздавался въ ночной тишинѣ этотъ стукъ.

Выйдя за городъ, онъ сталъ видѣть и дорогу, и свою палку; на черномъ небѣ кое-гдѣ показались мутныя пятна и скоро выглянула одна звѣзда и робко заморгала своимъ однимъ глазомъ. Дьяконъ шелъ по высокому каменистому берегу и не видѣлъ моря; оно засыпало внизу, и невидимыя волны его лѣниво и тяжело ударялись о берегъ и точно вздыхали: уфъ! И какъ медленно! Ударилась одна волна, дьяконъ успѣлъ сосчитать восемь шаговъ, тогда ударилась другая, черезъ шесть шаговъ третья. Такъ же точно не было ничего видно, и въ потемкахъ слышался лѣнивый, сонный шумъ моря, слышалось безконечно далекое, невообразимое время, когда Богъ носился надъ хаосомъ.

Дьякону стало жутко. Онъ подумалъ о томъ, какъ бы Богъ не наказалъ его за то, что онъ водитъ компанію съ невѣрующими и даже идетъ смотрѣть на ихъ дуэль. Дуэль будетъ пустяковая, безкровная, смѣшная, но, какъ бы то ни было, она—зрѣлище языческое и присутствовать на ней духовному лицу совсѣмъ неприлично. Онъ остановился и подумалъ: не вернуться ли? Но сильное, безпокойное любопытство взяло верхъ надъ сомнѣніями, и онъ пошелъ дальше.

«Они хотя невѣрующіе, но добрые люди и спасутся», успокаивалъ онъ себя.—Обязательно спасутся! — сказалъ онъ вслухъ, закуривая папиросу.

Какою мѣрою нужно измѣрять достоинства людей, чтобы судить о нихъ справедливо? Дьяконъ вспомнилъ своего врага, инспектора духовнаго училища, который и въ Бога вѣровалъ, и на дуэляхъ не дрался, и жилъ въ цѣломудріи, но когда-то кормилъ дьякона хлѣбомъ съ пескомъ и однажды едва не оторвалъ ему уха. Если человѣческая жизнь сло-

жилась такъ немудро, что этого жестокаго и нечестнаго инспектора, кравшаго казенную муку, всѣ уважали и молились въ училищѣ о здравіи его и спасеніи, то справедливо ли сторониться такихъ людей, какъ фонъ-Коренъ и Лаевскій только потому, что они невѣрующіе? Дьяконъ сталъ рѣшать этотъ вопросъ, но ему вспомнилось, какая смѣшная фигура была сегодня у Самойленка, и это прервало теченіе его мыслей. Сколько завтра будетъ смѣху! Дьяконъ воображалъ, какъ онъ засядетъ подъ кустъ и будетъ подсматривать, а когда завтра за обѣдомъ фонъ-Коренъ начнетъ хвастать, то онъ, дьяконъ, со смѣхомъ станетъ разсказывать ему всѣ подробности дуэли.

«Откуда вы все знаете?» спроситъ зоологъ.—«То-то вотъ и есть. Дома сидѣлъ, а знаю».

Хорошо бы описать дуэль въ смѣшномъ видѣ. Тесть будетъ читать и смѣяться, тестя же кашей не корми, а только разскажи или напиши ему что-нибудь смѣшное.

Открылась долина Желтой рѣчки. Отъ дождя рѣчка стала шире и злѣе, и ужъ она не ворчала, какъ прежде, а ревѣла. Начинался разсвѣтъ. Сѣрое тусклое утро, и облака, бѣжавшія на западъ, чтобы догнать грозовую тучу, и горы, опоясанныя туманомъ, и мокрыя деревья—все показалось дьякону некрасивымъ и сердитымъ. Онъ умылся изъ ручья, прочелъ утреннія молитвы, и захотѣлось ему чаю и горячихъ пышекъ со сметаной, которыя каждое утро подаютъ у тестя къ столу. Впомнилась ему дьяконица и «Невозвратное», которое она играетъ на фортепіано. Что̀ она за женщина? Дьякона познакомили, сосватали и женили на ней въ одну недѣлю; пожилъ онъ съ нею меньше мѣсяца и его командировали сюда, такъ что онъ и не разобралъ до сихъ поръ, что̀ она за человѣкъ. А все-таки безъ нея скучновато.

«Надо ей письмишко написать»...—думалъ онъ.

Флагъ на духанѣ размокъ отъ дождя и повисъ, и самъ духанъ съ мокрой крышей казался темнѣе и ниже, чѣмъ онъ былъ раньше. Около дверей стояла арба; Кербалай, какихъ-то два абхазца и молодая татарка въ шароварахъ, должно-быть, жена или дочь Кербалая, выносили изъ духана мѣшки съ чѣмъ-то и клали ихъ въ арбу на кукурузовую солому. Около арбы, опустивъ головы, стояла пара ословъ. Уложивъ мѣшки, абхазцы и татарка стали накры-

вать ихъ сверху соломой, а Кербалай принялся поспѣшно запрягать ословъ.

«Контрабанда, пожалуй»,—подумалъ дьяконъ.

Вотъ поваленное дерево съ высохшими иглами, вотъ черное пятно отъ костра. Припомнился пикникъ со всѣми его подробностями, огонь, пѣніе абхазцевъ, сладкія мечты объ архіерействѣ и крестномъ ходѣ... Черная рѣчка отъ дождя стала чернѣе и шире. Дьяконъ осторожно прошелъ по жидкому мостику, до котораго уже дохватывали грязныя волны своими гривами, и взобрался по лѣсенкѣ въ сушильню.

«Славная голова!—думалъ онъ, растягиваясь на соломѣ и вспоминая о фонъ-Коренѣ.—Хорошая голова, дай Богъ здоровья. Только въ немъ жестокость есть»...

За что онъ ненавидитъ Лаевскаго, а тотъ его? За что они будутъ драться на дуэли? Если бы они съ дѣтства знали такую нужду, какъ дьяконъ, если бы они воспитывались въ средѣ невѣжественныхъ, черствыхъ сердцемъ, алчныхъ до наживы, попрекающихъ кускомъ хлѣба, грубыхъ и неотесанныхъ въ обращеніи, плюющихъ на полъ и отрыгивающихъ за обѣдомъ и во время молитвы, если бы они съ дѣтства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избраннымъ кругомъ людей, то какъ бы они ухватились другъ за друга, какъ бы охотно прощали взаимно недостатки и цѣнили бы то, что есть въ каждомъ изъ нихъ. Вѣдь даже внѣшне порядочныхъ людей такъ мало на свѣтѣ! Правда, Лаевскій шалый, распущенный, странный, но вѣдь онъ не украдетъ, не плюнетъ громко на полъ, не попрекнетъ жену: «лопаешь, а работать не хочешь», не станетъ бить ребенка вожжами, или кормить своихъ слугъ вонючей солониной—неужели этого недостаточно, чтобы относиться къ нему снисходительно? Къ тому же, вѣдь онъ первый страдаетъ отъ своихъ недостатковъ, какъ больной отъ своихъ ранъ. Вмѣсто того, чтобы, отъ скуки и по какому-то недоразумѣнію, искать другъ въ другѣ вырожденія, вымиранія, наслѣдственности и прочаго, что мало понятно, не лучше ли имъ спуститься пониже и направить ненависть и гнѣвъ туда, гдѣ стономъ гудятъ цѣлыя улицы отъ грубаго невѣжества, алчности, попрековъ, нечистоты, ругани, женскаго визга...

Послышался стукъ экипажа и прервалъ мысли дьякона. Онъ выглянулъ въ дверь и увидѣлъ коляску, а въ ней

троихъ: Лаевскаго, Шешковскаго и начальника почтово-телеграфной конторы.

— Стопъ!—сказалъ Шешковскій.

Всѣ трое вылѣзли изъ коляски и посмотрѣли другъ на друга.

— Ихъ еще нѣтъ,—сказалъ Шешковскій, стряхивая съ себя грязь.—Что жъ? Пока судъ да дѣло, пойдемъ поищемъ удобнаго мѣста. Здѣсь повернуться негдѣ.

Они пошли дальше вверхъ по рѣкѣ и скоро скрылись изъ виду. Кучеръ-татаринъ сѣлъ въ коляску, склонилъ голову на плечо и заснулъ. Подождавъ минутъ десять, дьяконъ вышелъ изъ сушильни и, снявши черную шляпу, чтобы его не замѣтили, присѣдая и оглядываясь, сталъ пробираться по берегу между кустами и полосами кукурузы; съ деревьевъ и съ кустовъ сыпались на него крупныя капли, трава и кукуруза были мокры.

— Срамота! — бормоталъ онъ, подбирая свои мокрыя и грязныя фалды.—Зналъ бы, не пошелъ.

Скоро онъ услышалъ голоса и увидѣлъ людей. Лаевскій, засунувъ руки въ рукава и согнувшись, быстро ходилъ взадъ и впередъ по небольшой полянѣ; его секунданты стояли у самаго берега и крутили папиросы.

«Странно... — подумалъ дьяконъ, не узнавая походки Лаевскаго.—Будто старикъ».

— Какъ это невѣжливо съ ихъ стороны!—сказалъ почтовый чиновникъ, глядя на часы.—Можетъ-быть, по-ученому, и хорошо опаздывать, но, по-моему, это свинство.

Шешковскій, толстый человѣкъ съ черной бородой, прислушался и сказалъ:

— Ѣдутъ!

## XIX.

— Первый разъ въ жизни вижу! Какъ славно! — сказалъ фонъ-Коренъ, показываясь на полянѣ и протягивая обѣ руки къ востоку.—Посмотрите: зеленые лучи!

На востокѣ изъ-за горъ вытянулись два зеленыхъ луча, и это, въ самомъ дѣлѣ, было красиво. Восходило солнце.

— Здравствуйте!—продолжалъ зоологъ, кивнувъ головой секундантамъ Лаевскаго.—Я не опоздалъ?

За нимъ шли его секунданты, два очень молодыхъ офицера одинаковаго роста, Бойко и Говоровскій, въ бѣлыхъ кителяхъ, и тощій, нелюдимый докторъ Устимовичъ, кото-

рый въ одной рукѣ несъ узелъ съ чѣмъ-то, а другую заложилъ назадъ; по обыкновенію, вдоль спины у него была вытянута трость. Положивъ узелъ на землю и ни съ кѣмъ не здороваясь, онъ отправилъ и другую руку за спину и зашагалъ по полянѣ.

Лаевскій чувствовалъ утомленіе и неловкость человѣка, который, быть-можетъ, скоро умретъ и поэтому обращаетъ на себя общее вниманіе. Ему хотѣлось, чтобы его поскорѣе убили, или же отвезли домой. Восходъ солнца онъ видѣлъ теперь первый разъ въ жизни; это раннее утро, зеленые лучи, сырость и люди въ мокрыхъ сапогахъ казались ему лишними въ его жизни, ненужными и стѣсняли его; все это не имѣло никакой связи съ пережитою ночью, съ его мыслями и съ чувствомъ вины, и потому онъ охотно бы ушелъ, не дожидаясь дуэли.

Фонъ-Коренъ былъ замѣтно возбужденъ и старался скрыть это, дѣлая видъ, что его больше всего интересуютъ зеленые лучи. Секунданты были смущены и переглядывались другъ съ другомъ, какъ бы спрашивая, зачѣмъ они тутъ и что имъ дѣлать.

— Я полагаю, господа, что идти дальше намъ не зачѣмъ,—сказалъ Шешковскій.—И здѣсь ладно.

— Да, конечно,—согласился фонъ-Коренъ.

Наступило молчаніе. Устимовичъ, шагая, вдругъ круто повернулъ къ Лаевскому и сказалъ вполголоса, дыша ему въ лицо:

— Вамъ, вѣроятно, еще не успѣли сообщить моихъ условій. Каждая сторона платитъ мнѣ по 15 рублей, а въ случаѣ смерти одного изъ противниковъ оставшійся въ живыхъ платитъ всѣ 30.

Лаевскій былъ раньше знакомъ съ этимъ человѣкомъ, но только теперь въ первый разъ отчетливо увидѣлъ его тусклые глаза, жесткіе усы и тощую, чахоточную шею: ростовщикъ, а не докторъ! Дыханіе его имѣло непріятный, говяжій запахъ.

«Какихъ только людей не бываетъ на свѣтѣ»,—подумалъ Лаевскій и отвѣтилъ:

— Хорошо.

Докторъ кивнулъ головой и опять зашагалъ, и видно было, что ему вовсе не нужны были деньги, а спрашивалъ онъ ихъ просто изъ ненависти. Всѣ чувствовали, что пора уже

начинать, или кончать то, что уже начато, но не начинали и не кончали, а ходили, стояли и курили. Молодые офицеры, которые первый разъ въ жизни присутствовали на дуэли, и теперь плохо вѣрили въ эту штатскую, по ихъ мнѣнію, не нужную дуэль, внимательно осматривали свои кителя и поглаживали рукава. Шешковскій подошелъ къ нимъ и сказалъ тихо:

— Господа, мы должны употребить всѣ усилія, чтобы эта дуэль не состоялась. Нужно помирить ихъ.

Онъ покраснѣлъ и продолжалъ:

— Вчера у меня былъ Кирилинъ и жаловался, что Лаевскій засталъ его вчера съ Надеждой Ѳедоровной и всякая штука.

— Да, намъ тоже это извѣстно,—сказалъ Бойко.

— Ну, вотъ видите ли... У Лаевскаго дрожатъ руки и всякая штука... Онъ и пистолета теперь не подниметъ. Драться съ нимъ такъ же не-человѣчно, какъ съ пьянымъ или съ тифознымъ. Если примиреніе не состоится, то надо, господа, хоть отложить дуэль, что ли... Такая чертовщина, что не глядѣлъ бы.

— Вы поговорите съ фонъ-Кореномъ.

— Я правилъ дуэли не знаю, чортъ ихъ подери совсѣмъ, и знать не желаю; можетъ-быть, онъ подумаетъ, что Лаевскій струсилъ и меня подослалъ къ нему. А, впрочемъ, какъ ему угодно, я поговорю.

Шешковскій нерѣшительно, слегка прихрамывая, точно отсидѣлъ ногу, направился къ фонъ-Корену и, пока онъ шелъ и покрякивалъ, вся его фигура дышала лѣнью.

— Вотъ что я долженъ вамъ сказать, сударь мой,—началъ онъ, внимательно разсматривая цвѣты на рубахѣ зоолога.—Это конфиденціально... Я правилъ дуэли не знаю, чортъ ихъ побери совсѣмъ, и знать не желаю и разсуждаю не какъ секундантъ и всякая штука, а какъ человѣкъ и все.

— Да. Ну?

— Когда секунданты предлагаютъ мириться, то ихъ обыкновенно не слушаютъ, смотрятъ, какъ на формальность. Самолюбіе и все. Но я прошу васъ покорнѣйше обратить вниманіе на Ивана Андреича. Онъ сегодня не въ нормальномъ состояніи, такъ сказать, не въ своемъ умѣ и жалокъ. У него произошло несчастіе. Терпѣть я не могу сплетенъ,—

Шешковскій покраснѣлъ и оглянулся: — но въ виду дуэли я нахожу нужнымъ сообщить вамъ. Вчера вечеромъ онъ въ домѣ Мюридова засталъ свою мадамъ съ... однимъ господиномъ.

— Какая гадость! — пробормоталъ зоологъ; онъ поблѣднѣлъ, поморщился и громко сплюнулъ:—Тьфу!

Нижняя губа у него задрожала; онъ отошелъ отъ Шешковскаго, не желая дальше слушать, и, какъ будто нечаянно попробовалъ чего-то горькаго, опять громко сплюнулъ и съ ненавистью первый разъ за все утро взглянулъ на Лаевскаго. Его возбужденіе и неловкость прошли, онъ встряхнулъ головой и сказалъ громко:

— Господа, что же это мы ждемъ, спрашивается? Почему не начинаемъ?

Шешковскій переглянулся съ офицерами и пожалъ плечами.

— Господа!—сказалъ онъ громко, ни къ кому не обращаясь.—Господа! Мы предлагаемъ вамъ помириться!

— Покончимъ скорѣе съ формальностями,—сказалъ фонъ-Коренъ. — О примиреніи уже говорили. Теперь еще какая слѣдующая формальность? Поскорѣе бы, господа, а то время не ждетъ.

— Но мы все-таки настаиваемъ на примиреніи, — сказалъ Шешковскій виноватымъ голосомъ, какъ человѣкъ, который вынужденъ вмѣшиваться въ чужія дѣла; онъ покраснѣлъ, приложилъ руку къ сердцу и продолжалъ: — Господа, мы не видимъ причинной связи между оскорбленіемъ и дуэлью. У обиды, какую мы иногда по слабости человѣческой наносимъ другъ другу, и у дуэли нѣтъ ничего общаго. Вы люди университетскіе и образованные и, конечно, сами видите въ дуэли одну только устарѣлую, пустую формальность и всякая штука. Мы такъ на нее и смотримъ, иначе бы не поѣхали, такъ какъ не можемъ допустить, чтобы въ нашемъ присутствіи люди стрѣляли другъ въ друга и все.—Шешковскій вытеръ съ лица потъ и продолжалъ: — Покончите же, господа, ваше недоразумѣніе, подайте другъ другу руки и поѣдемъ домой пить мировую. Честное слово, господа!

Фонъ-Коренъ молчалъ. Лаевскій, замѣтивъ, что на него смотрятъ, сказалъ:

— Я ничего не имѣю противъ Николая Васильича

Если онъ находитъ, что я виноватъ, то я готовъ извиниться передъ нимъ.

Фонъ-Коренъ обидѣлся.

— Очевидно, господа,—сказалъ онъ:—вамъ угодно, чтобы г. Лаевскій вернулся домой великодушнымъ и рыцаремъ, но я не могу доставить вамъ и ему этого удовольствія. И не было надобности вставать рано и ѣхать изъ города за десять верстъ для того только, чтобы пить мировую, закусывать и объяснять мнѣ, что дуэль устарѣлая формальность. Дуэль есть дуэль, и не слѣдуетъ дѣлать ее глупѣе и фальшивѣе, чѣмъ она есть на самомъ дѣлѣ. Я желаю драться!

Наступило молчаніе. Офицеръ Бойко досталъ изъ ящика два пистолета: одинъ подали фонъ-Корену, другой Лаевскому, и затѣмъ произошло замѣшательство, которое ненадолго развеселило зоолога и секундантовъ. Оказалось, что изъ всѣхъ присутствовавшихъ ни одинъ не былъ на дуэли ни разу въ жизни и никто не зналъ точно, какъ нужно становиться и что должны говорить и дѣлать секунданты. Но потомъ Бойко вспомнилъ и, улыбаясь, сталъ объяснять.

— Господа, кто помнитъ, какъ описано у Лермонтова?—спросилъ фонъ-Коренъ, смѣясь.—У Тургенева также Базаровъ стрѣлялся съ кѣмъ-то тамъ...

— Къ чему тутъ помнить?—сказалъ нетерпѣливо Устимовичъ, останавливаясь.—Отмѣрьте разстояніе—вотъ и все.

И онъ раза три шагнулъ, какъ бы показывая, какъ надо отмѣривать. Бойко отсчиталъ шаги, а его товарищъ обнажилъ шашку и поцарапалъ землю на крайнихъ пунктахъ, чтобы обозначить барьеръ.

Противники, при всеобщемъ молчаніи, заняли свои мѣста.

«Кроты», вспомнилъ дьяконъ, сидѣвшій въ кустахъ.

Что-то говорилъ Шешковскій, что-то объяснялъ опять Бойко, но Лаевскій не слышалъ, или, вѣрнѣе, слышалъ, но не понималъ. Онъ, когда настало для этого время, взвелъ курокъ и поднялъ тяжелый, холодный пистолетъ дуломъ вверхъ. Онъ забылъ разстегнуть пальто, и у него сильно сжимало въ плечѣ и подъ мышкой, и рука поднималась съ такою неловкостью, какъ будто рукавъ былъ сшитъ изъ жести. Онъ вспомнилъ свою вчерашнюю ненависть къ смуглому лбу и курчавымъ волосамъ и подумалъ, что даже вчера, въ минуту сильной ненависти и гнѣва, онъ

не смогъ бы выстрѣлить въ человѣка. Боясь, чтобы пуля какъ-нибудь невзначай не попала въ фонъ-Корена, онъ поднималъ пистолетъ все выше и выше, и чувствовалъ, что это слишкомъ показное великодушіе не деликатно и не великодушно, но иначе не умѣлъ и не могъ. Глядя на блѣдное, насмѣшливо улыбавшееся лицо фонъ-Корена, который, очевидно, съ самаго начала былъ увѣренъ, что его противникъ выстрѣлитъ въ воздухъ, Лаевскій думалъ, что сейчасъ, слава Богу, все кончится и что вотъ только нужно надавить покрѣпче собачку...

Сильно отдало въ плечо, раздался выстрѣлъ и въ горахъ отвѣтило эхо: пахъ-тахъ!

И фонъ-Коренъ взвелъ курокъ и посмотрѣлъ въ сторону Устимовича, который попрежнему шагалъ, заложивъ руки назадъ и не обращая ни на что вниманія.

— Докторъ,—сказалъ зоологъ:—будьте добры, не ходите, какъ маятникъ. У меня отъ васъ мелькаетъ въ глазахъ.

Докторъ остановился. Фонъ-Коренъ сталъ прицѣливаться въ Лаевскаго.

«Кончено!»—подумалъ Лаевскій.

Дуло пистолета, направленное прямо въ лицо, выраженіе ненависти и презрѣнія въ позѣ и во всей фигурѣ фонъ-Корена и это убійство, которое сейчасъ совершитъ порядочный человѣкъ среди бѣла дня въ присутствіи порядочныхъ людей, и эта тишина, и неизвѣстная сила, заставляющая Лаевскаго стоять, а не бѣжать — какъ все это таинственно, и непонятно, и страшно! Время, пока фонъ-Коренъ прицѣливался, показалось Лаевскому длиннѣе ночи. Онъ умоляюще взглянулъ на секундантовъ; они не шевелились и были блѣдны.

«Скорѣе же стрѣляй!»—думалъ Лаевскій и чувствовалъ, что его блѣдное, дрожащее, жалкое лицо должно возбуждать въ фонъ-Коренѣ еще большую ненависть.

«Я его сейчасъ убью, — думалъ фонъ-Коренъ, прицѣливаясь въ лобъ и уже ощущая пальцемъ собачку.—Да, конечно, убью...»

— Онъ убьетъ его!—послышался вдругъ отчаянный крикъ гдѣ-то очень близко.

Тотчасъ же раздался выстрѣлъ. Увидѣвъ, что Лаевскій стоитъ на мѣстѣ, а не упалъ, всѣ посмотрѣли въ ту сторону, откуда послышался крикъ, и увидѣли дьякона. Онъ,

блѣдный, съ мокрыми, прилипшими ко лбу и къ щекамъ волосами, весь мокрый и грязный, стоялъ на томъ берегу въ кукурузѣ, какъ-то странно улыбался и махалъ мокрой шляпой. Шешковскій засмѣялся отъ радости, заплакалъ и отошелъ въ сторону...

## XX.

Немного погодя, фонъ-Коренъ и дьяконъ сошлись около мостика. Дьяконъ былъ взволнованъ, тяжело дышалъ и избѣгалъ смотрѣть въ глаза. Ему было стыдно и за свой страхъ, и за свою грязную, мокрую одежу.

— Мнѣ показалось, что вы хотѣли его убить...—бормоталъ онъ.—Какъ это противно природѣ человѣческой! До какой степени это противоестественно!

— Какъ вы сюда попали, однако?—спросилъ зоологъ.

— Не спрашивайте,—махнулъ рукой дьяконъ. — Нечистый попуталъ: иди да иди... Вотъ и пошелъ, и чуть въ кукурузѣ не померъ отъ страха. Но теперь, слава Богу, слава Богу... Я весьма вами доволенъ, — бормоталъ дьяконъ.—И нашъ дѣдка-тарантулъ будетъ доволенъ... Смѣху-то, смѣху! А только я прошу васъ убѣдительно, никому не говорите, что я былъ тутъ, а то мнѣ, пожалуй, влетитъ въ загривокъ отъ начальства. Скажутъ: дьяконъ секундантомъ былъ.

— Господа!—сказалъ фонъ-Коренъ. — Дьяконъ проситъ васъ никому не говорить, что вы видѣли его здѣсь. Могутъ выйти непріятности.

— Какъ это противно природѣ человѣческой!—вздохнулъ дьяконъ. — Извините меня великодушно, но у васъ такое было лицо, что я думалъ, что вы непремѣнно его убьете.

— У меня было сильное искушеніе прикончить этого мерзавца, — сказалъ фонъ-Коренъ: — но вы крикнули мнѣ подъ руку, и я промахнулся. Вся эта процедура, однако, противна съ непривычки и утомила меня, дьяконъ. Я ужасно ослабѣлъ. Поѣдемте...

— Нѣтъ, ужъ дозвольте мнѣ пѣшкомъ идти. Мнѣ просохнуть надо, а то я измокъ и прозябъ.

— Ну, какъ знаете, — сказалъ томнымъ голосомъ ослабѣвшій зоологъ, садясь въ коляску и закрывая глаза.— Какъ знаете...

Пока ходили около экипажей и усаживались, Кербалай

стоялъ у дороги и, взявшись обѣими руками за животъ, низко кланялся и показывалъ зубы; онъ думалъ, что господа пріѣхали наслаждаться природой и пить чай, и не понималъ, почему это они садятся въ экипажи. При общемъ безмолвіи поѣздъ тронулся, и около духана остался одинъ только дьяконъ.

— Ходилъ духанъ, пилъ чай,—сказалъ онъ Кербалаю.— Мой хочетъ кушать.

Кербалай хорошо говорилъ по-русски, но дьяконъ думалъ, что татаринъ скорѣе пойметъ его, если онъ будетъ говорить съ нимъ на ломаномъ русскомъ языкѣ.

— Яичницу жарилъ, сыръ давалъ...

— Иди, иди, попъ,—сказалъ Кербалай, кланяясь.—Все дамъ... И сыръ есть, и вино есть... Кушай, чего хочешь.

— Какъ по-татарски — Богъ? — спрашивалъ дьяконъ, входя въ духанъ.

— Твой Богъ и мой Богъ все равно, — сказалъ Кербалай, не понявъ его.—Богъ у всѣхъ одинъ, а только люди разные. Которые русскіе, которые турки, или которые англійски—всякихъ людей много, а Богъ одинъ.

— Хорошо-съ. Если всѣ народы поклоняются единому Богу, то почему же вы, мусульмане, смотрите на христіанъ какъ на вѣковѣчныхъ враговъ своихъ?

— Зачѣмъ сердишься? — сказалъ Кербалай, хватаясь обѣими руками за животъ. — Ты попъ, я мусульманъ, ты говоришь — кушать хочу, я даю... Только богатый разбираетъ, какой Богъ твой, какой мой, а для бѣднаго все равно. Кушай, пожалуста.

Пока въ духанѣ происходилъ богословскій разговоръ, Лаевскій ѣхалъ домой и вспоминалъ, какъ жутко ему было ѣхать на разсвѣтѣ, когда дорога, скалы и горы были мокры и темны и неизвѣстное будущее представлялось страшнымъ, какъ пропасть, у которой не видно дна, а теперь дождевыя капли, висѣвшія на травѣ и на камняхъ, сверкали отъ солнца, какъ алмазы, природа радостно улыбалась, и страшное будущее оставалось позади. Онъ посматривалъ на угрюмое, заплаканное лицо Шешковскаго и впередъ на двѣ коляски, въ которыхъ сидѣли фонъ-Коренъ, его секунданты и докторъ, и ему казалось, какъ будто они всѣ возвращались изъ кладбища, гдѣ только-что похоронили тяжелаго, невыносимаго человѣка, который мѣшалъ всѣмъ жить.

«Все кончено»,—думалъ онъ о своемъ прошломъ, осторожно поглаживая пальцами шею.

У него въ правой сторонѣ шеи, около воротничка, вздулась небольшая опухоль, длиною и толщиною съ мизинецъ, и чувствовалась боль, какъ будто кто провелъ по шеѣ утюгомъ. Это контузила пуля.

Затѣмъ, когда онъ пріѣхалъ домой, для него потянулся длинный, странный, сладкій и туманный, какъ забытье, день. Онъ, какъ выпущенный изъ тюрьмы или больницы, всматривался въ давно знакомые предметы и удивлялся, что столы, окна, стулья, свѣтъ и море возбуждаютъ въ немъ живую, дѣтскую радость, какой онъ давно-давно уже не испытывалъ. Блѣдная и сильно похудѣвшая Надежда Ѳедоровна не понимала его кроткаго голоса и странной походки; она торопилась разсказать ему все, что съ нею было... Ей казалось, что онъ, вѣроятно, плохо слышитъ и не понимаетъ ее, и что если онъ все узнаетъ, то проклянетъ ее и убьетъ, а онъ слушалъ ее, гладилъ ей лицо и волоса, смотрѣлъ ей въ глаза и говорилъ:

— У меня нѣтъ никого, кромѣ тебя...

Потомъ они долго сидѣли въ палисадникѣ, прижавшись другъ къ другу, и молчали, или же, мечтая вслухъ о своей будущей счастливой жизни, говорили короткія, отрывистыя фразы, и ему казалось, что онъ никогда раньше не говорилъ такъ длинно и красиво.

## XXI.

Прошло три мѣсяца съ лишнимъ.

Наступилъ день, назначенный фонъ-Кореномъ для отъѣзда. Съ ранняго утра шелъ крупный, холодный дождь, дулъ нордъ-остовый вѣтеръ и на морѣ развело сильную волну. Говорили, что въ такую погоду пароходъ едва ли зайдетъ на рейдъ. По росписанію онъ долженъ былъ придти въ десятомъ часу утра, но фонъ-Коренъ, выходившій на набережную въ полдень и послѣ обѣда, не увидѣлъ въ бинокль ничего, кромѣ сѣрыхъ волнъ и дождя, застилавшаго горизонтъ.

Къ концу дня дождь пересталъ и вѣтеръ началъ замѣтно стихать. Фонъ-Коренъ уже помирился съ мыслью, что ему сегодня не уѣхать, и сѣлъ играть съ Самойленкомъ въ шах-

маты; но когда стемнѣло, денщикъ доложилъ, что на морѣ показались огни и что видѣли ракету.

Фонъ-Коренъ заторопился. Онъ надѣлъ сумочку черезъ плечо, поцѣловался съ Самойленкомъ и съ дьякономъ, безъ всякой надобности обошелъ всѣ комнаты, простился съ денщикомъ и съ кухаркой и вышелъ на улицу съ такимъ чувствомъ, какъ будто забылъ что-то у доктора или у себя на квартирѣ. На улицѣ шелъ онъ рядомъ съ Самойленкомъ, за ними дьяконъ съ ящикомъ, а позади всѣхъ денщикъ съ двумя чемоданами. Только Самойленко и денщикъ различали тусклые огоньки на морѣ, остальные же смотрѣли въ потемки и ничего не видѣли. Пароходъ остановился далеко отъ берега.

— Скорѣе, скорѣе,—торопился фонъ-Коренъ.—Я боюсь, что онъ уйдетъ!

Проходя мимо трехъ-оконнаго домика, въ который перебрался Лаевскій вскорѣ послѣ дуэли, фонъ-Коренъ не удержался и заглянулъ въ окно. Лаевскій, согнувшись, сидѣлъ за столомъ, спиною къ окну и писалъ.

— Я удивляюсь,—тихо сказалъ зоологъ.—Какъ онъ скрутилъ себя!

— Да, удивленія достойно,—вздохнулъ Самойленко.—Такъ съ утра до вечера сидитъ, все сидитъ и работаетъ. Долги хочетъ выплатить. А живетъ, братъ, хуже нищаго!

Прошло полминуты въ молчаніи. Зоологъ, докторъ и дьяконъ стояли у окна и все смотрѣли на Лаевскаго.

— Такъ и не уѣхалъ отсюда, бѣднята,—сказалъ Самойленко.—А помнишь, какъ онъ хлопоталъ?

— Да, сильно онъ скрутилъ себя,—повторилъ фонъ-Коренъ.—Его свадьба, эта цѣлодневная работа изъ-за куска хлѣба, какое-то новое выраженіе на его лицѣ и даже его походка — все это до такой степени необыкновенно, что я и не знаю, какъ назвать это, — зоологъ взялъ Самойленко за рукавъ и продолжалъ съ волненіемъ въ голосѣ:—Ты передай ему и его женѣ, что когда я уѣзжалъ, я удивился имъ, желалъ всего хорошаго... и попроси его, чтобы онъ, если это можно, не поминалъ меня лихомъ. Онъ меня знаетъ. Онъ знаетъ, что если бы я могъ тогда предвидѣть эту перемѣну, то я могъ бы стать его лучшимъ другомъ.

— Ты зайди къ нему, простись.

— Нѣтъ. Это неудобно.

— Отчего? Богъ знаетъ, можетъ, больше ужъ никогда не увидишься съ нимъ.

Зоологъ подумалъ и сказалъ:

— Это правда.

Самойленко тихо постучалъ пальцемъ въ окно. Лаевскій вздрогнулъ и оглянулся.

— Ваня, Николай Васильичъ желаетъ съ тобой проститься,—сказалъ Самойленко.—Онъ сейчасъ уѣзжаетъ.

Лаевскій всталъ изъ-за стола и пошелъ въ сѣни, чтобы отворить дверь. Самойленко, фонъ-Коренъ и дьяконъ вошли въ домъ.

— Я на одну минутку,—началъ зоологъ, снимая въ сѣняхъ калоши и уже жалѣя, что онъ уступилъ чувству и вошелъ сюда безъ приглашенія. «Я какъ будто навязываюсь,—подумалъ онъ:—а это глупо». — Простите, что я безпокою васъ,—сказалъ онъ, входя за Лаевскимъ въ его комнату:—но я сейчасъ уѣзжаю, и меня потянуло къ вамъ. Богъ знаетъ, увидимся ли когда еще.

— Очень радъ... Покорнѣйше прошу,—сказалъ Лаевскій и неловко подставилъ гостямъ стулья, точно желая загородить имъ дорогу, и остановился посреди комнаты, потирая руки.

«Напрасно я не оставилъ свидѣтелей на улицѣ»,—подумалъ фонъ-Коренъ и сказалъ твердо: — Не поминайте меня лихомъ, Иванъ Андреичъ. Забыть прошлаго, конечно, нельзя, оно слишкомъ грустно, и я не затѣмъ пришелъ сюда, чтобы извиняться или увѣрять, что я не виноватъ. Я дѣйствовалъ искренно и не измѣнилъ своихъ убѣжденій съ тѣхъ поръ... Правда, какъ вижу теперь къ великой моей радости, я ошибся относительно васъ, но вѣдь спотыкаются и на ровной дорогѣ, и такова ужъ человѣческая судьба: если не ошибаешься въ главномъ, то будешь ошибаться въ частностяхъ. Никто не знаетъ настоящей правды.

— Да, никто не знаетъ правды...—сказалъ Лаевскій.

— Ну, прощайте... Дай Богъ намъ всего хорошаго.

Фонъ-Коренъ подалъ Лаевскому руку; тотъ пожалъ ее и поклонился.

— Не поминайте же лихомъ,—сказалъ фонъ-Коренъ.— Поклонитесь вашей женѣ и скажите ей, что я очень жалѣлъ, что не могъ проститься съ ней.

— Она дома.

Лаевскій подошелъ къ двери и сказалъ въ другую комнату:

— Надя, Николай Васильевичъ желаетъ съ тобой проститься.

Вошла Надежда Ѳедоровна; она остановилась около двери и робко взглянула на гостей. Лицо у нея было виноватое и испуганное, и руки она держала, какъ гимназистка, которой дѣлаютъ выговоръ.

— Я сейчасъ уѣзжаю, Надежда Ѳедоровна,—сказалъ фонъ-Коренъ:—и пришелъ проститься.

Она нерѣшительно протянула ему руку, а Лаевскій поклонился.

«Какъ они, однако, оба жалки! — подумалъ фонъ-Коренъ.—Не дешево достается имъ эта жизнь».—Я буду въ Москвѣ и въ Петербургѣ, — спросилъ онъ: — не нужно ли вамъ что-нибудь прислать оттуда?

— Что же?—сказала Надежда Ѳедоровна и встревоженно переглянулась съ мужемъ.—Кажется, ничего...

— Да, ничего...—сказалъ Лаевскій, потирая руки.—Кланяйтесь.

Фонъ-Коренъ не зналъ, что еще можно и нужно сказать, а раньше, когда входилъ, то думалъ, что скажетъ очень много хорошаго, теплаго и значительнаго. Онъ молча пожалъ руки Лаевскому и его женѣ и вышелъ отъ нихъ съ тяжелымъ чувствомъ.

— Какіе люди! — говорилъ дьяконъ вполголоса, идя сзади. — Боже мой, какіе люди! Воистину десница Божія насадила виноградъ сей! Господи, Господи! Одинъ побѣдилъ тысячи, а другой тьмы. Николай Васильичъ, — сказалъ онъ восторженно:—знайте, что сегодня вы побѣдили величайшаго изъ враговъ человѣческихъ—гордость!

— Полно, дьяконъ! Какіе мы съ нимъ побѣдители? Побѣдители орлами смотрятъ, а онъ жалокъ, робокъ, забитъ, кланяется, какъ китайскій болванчикъ, а мнѣ... мнѣ грустно.

Сзади послышались шаги. Это догонялъ Лаевскій, чтобы проводить. На пристани стоялъ денщикъ съ двумя чемоданами, а нѣсколько поодаль—четыре гребца.

— Однако, подуваетъ... бррр!—сказалъ Самойленко.—Въ морѣ, должно-быть, теперь штормяга—ой, ой! Не въ пору ты ѣдешь, Коля.

— Я не боюсь морской болѣзни.

— Не въ томъ... Не опрокинули бы тебя эти дураки. Слѣдовало бы на агентской шлюпкѣ доѣхать. Гдѣ агентская шлюпка?—крикнулъ онъ гребцамъ.

— Ушла, ваше превосходительство.

— А таможенная?

— Тоже ушла.

— Отчего же не доложили?—разсердился Самойленко.— Остолопы!

— Все равно, не волнуйся... — сказалъ фонъ-Коренъ.— Ну, прощай. Храни васъ Богъ.

Самойленко обнялъ фонъ-Корена и перекрестилъ его три раза.

— Не забывай же, Коля... Пиши... Будущей весной ждать будемъ.

— Прощайте, дьяконъ,—сказалъ фонъ-Коренъ, пожимая дьякону руку. — Спасибо вамъ за компанію и за хорошіе разговоры. Насчетъ экспедиціи подумайте.

— Да, Господи, хоть на край свѣта!—засмѣялся дьяконъ.—Развѣ я противъ?

Фонъ-Коренъ узналъ въ потемкахъ Лаевскаго и молча протянулъ ему руку. Гребцы уже стояли внизу и придерживали лодку, которая билась о сваи, хотя молъ загораживалъ ее отъ большой зыби. Фонъ-Коренъ спустился по трапу, прыгнулъ въ лодку и сѣлъ у руля.

— Пиши!—крикнулъ ему Самойленко.—Здоровье береги!

«Никто не знаетъ настоящей правды»,—думалъ Лаевскій, поднимая воротникъ своего пальто и засовывая руки въ рукава.

Лодка бойко обогнула пристань и вышла на просторъ. Она исчезла въ волнахъ, но тотчасъ же изъ глубокой ямы скользнула на высокій холмъ, такъ что можно было различить и людей, и даже весла. Лодка прошла сажени три, и ее отбросило назадъ сажени на двѣ.

— Пиши!—крикнулъ Самойленко.—Понесла тебя нелегкая въ такую погоду!

«Да, никто не знаетъ настоящей правды...»—думалъ Лаевскій, съ тоскою глядя на безпокойное темное море.

«Лодку бросаетъ назадъ,—думалъ онъ:—дѣлаетъ она два шага впередъ и шагъ назадъ, но гребцы упрямы, машутъ неутомимо веслами и не боятся высокихъ волнъ. Лодка

идетъ все впередъ и впередъ, вотъ ужъ ея и не видно, а пройдетъ съ полчаса и гребцы ясно увидятъ пароходные огни, а черезъ часъ будутъ уже у пароходнаго трапа. Такъ и въ жизни... Въ поискахъ за правдой люди дѣлаютъ два шага впередъ, шагъ назадъ. Страданія, ошибки и скука жизни бросаютъ ихъ назадъ, но жажда правды и упрямая воля гонятъ впередъ и впередъ. И кто знаетъ? Быть-можетъ, доплывутъ до настоящей правды...»

— Проща-а-ай! — крикнулъ Самойленко.

— Не видать и не слыхать,—сказалъ дьяконъ.—Счастливой дороги!

Сталъ накрапывать дождь.

# ПАЛАТА № 6.

## I.

Въ больничномъ дворѣ стоитъ небольшой флигель, окруженный цѣлымъ лѣсомъ репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на немъ ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а отъ штукатурки остались одни только слѣды. Переднимъ фасадомъ обращенъ онъ къ больницѣ, заднимъ—глядитъ въ поле, отъ котораго отдѣляетъ его сѣрый больничный заборъ съ гвоздями. Эти гвозди, обращенные остріями кверху, и заборъ, и самый флигель имѣютъ тотъ особый унылый, окаянный видъ, какой у насъ бываетъ только у больничныхъ и тюремныхъ построекъ.

Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинкѣ, ведущей къ флигелю, и посмотримъ, что дѣлается внутри. Отворивъ первую дверь, мы входимъ въ сѣни. Здѣсь у стѣнъ и около печки навалены цѣлыя горы больничнаго хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи съ синими полосками, никуда негодная, истасканная обувь,—вся эта рвань свалена въ кучи, перемята, спуталась, гніетъ и издаетъ удушливый запахъ.

На хламѣ всегда съ трубкой въ зубахъ лежитъ сторожъ Никита, старый отставной солдатъ съ порыжѣлыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшія брови, придающія лицу выраженіе степной овчарки, и красный носъ; онъ невысокъ ростомъ, на видъ сухощавъ и жилистъ, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. При-

надлежитъ онъ къ числу тѣхъ простодушныхъ, положительныхъ, исполнительныхъ и тупыхъ людей, которые больше всего на свѣтѣ любятъ порядокъ и потому убѣждены, что ихъ надо бить. Онъ бьетъ по лицу, по груди, по спинѣ, по чемъ попало, и увѣренъ, что безъ этого не было бы здѣсь порядка.

Далѣе вы входите въ большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сѣней. Стѣны здѣсь вымазаны грязно-голубой краской, потолокъ закопченъ, какъ въ курной избѣ,—ясно, что здѣсь зимой дымятъ печи и бываетъ угарно. Окна изнутри обезображены желѣзными рѣшетками. Полъ сѣръ и занозистъ. Воняетъ кислою капустой, фитильною гарью, клопами и амміакомъ, и эта вонь въ первую минуту производитъ на васъ такое впечатлѣніе, какъ будто вы входите въ звѣринецъ.

Въ комнатѣ стоятъ кровати, привинченныя къ полу. На нихъ сидятъ и лежатъ люди въ синихъ больничныхъ халатахъ и по-старинному въ колпакахъ. Это—сумасшедшіе.

Всѣхъ ихъ здѣсь пять человѣкъ. Только одинъ благороднаго званія, остальные же всѣ мѣщане. Первый отъ двери, высокій, худощавый мѣщанинъ съ рыжими, блестящими усами и съ заплаканными глазами, сидитъ, подперевъ голову, и глядитъ въ одну точку. День и ночь онъ груститъ, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; въ разговорахъ онъ рѣдко принимаетъ участіе и на вопросы обыкновенно не отвѣчаетъ. Ѣстъ и пьетъ онъ машинально, когда даютъ. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобѣ и румянцу на щекахъ, у него начинается чахотка.

За нимъ слѣдуетъ маленькій, живой, очень подвижной старикъ съ острою бородкой и съ черными, кудрявыми, какъ у негра, волосами. Днемъ онъ прогуливается по палатѣ отъ окна къ окну или сидитъ на своей постели, поджавъ по-турецки ноги, и неугомонно, какъ снигирь, насвистываетъ, тихо поетъ и хихикаетъ. Дѣтская веселость и живой характеръ проявляетъ онъ и ночью, когда встаетъ за тѣмъ, чтобы помолиться Богу, то-есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцемъ въ дверяхъ. Это жидъ Мойсейка, дурачокъ, помѣшавшійся лѣтъ двадцать назадъ, когда у него сгорѣла шапочная мастерская.

Изъ всѣхъ обитателей палаты № 6 только ему одному позволяется выходить изъ флигеля и даже изъ больничнаго

двора на улицу. Такой привилегіей онъ пользуется издавна, вѣроятно, какъ больничный старожилъ и какъ тихій, безвредный дурачокъ, городской шутъ, котораго давно уже привыкли видѣть на улицахъ, окруженнымъ мальчишками и собаками. Въ халатишкѣ, въ смѣшномъ колпакѣ и въ туфляхъ, иногда босикомъ и даже безъ панталонъ, онъ ходитъ по улицамъ, останавливаясь у воротъ и лавочекъ, и проситъ копеечку. Въ одномъ мѣстѣ дадутъ ему квасу, въ другомъ—хлѣба, въ третьемъ—копеечку, такъ что возвращается онъ во флигель обыкновенно сытымъ и богатымъ. Все, что онъ приноситъ съ собой, отбираетъ у него Никита въ свою пользу. Дѣлаетъ это солдатъ грубо, съ сердцемъ, выворачивая карманы и призывая Бога въ свидѣтели, что онъ никогда уже больше не станетъ пускать жида на улицу и что безпорядки для него хуже всего на свѣтѣ.

Мойсейка любитъ услуживать. Онъ подаетъ товарищамъ воду, укрываетъ ихъ, когда они спятъ, обѣщаетъ каждому принести съ улицы по копеечкѣ и сшить по новой шапкѣ; онъ же кормитъ съ ложки своего сосѣда съ лѣвой стороны, паралитика. Поступаетъ онъ такъ не изъ состраданія и не изъ какихъ-либо соображеній гуманнаго свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему сосѣду съ правой стороны, Громову.

Иванъ Дмитричъ Громовъ, мужчина лѣтъ тридцати трехъ, изъ благородныхъ, бывшій судебный приставъ и губернскій секретарь, страдаетъ маніей преслѣдованія. Онъ или лежитъ на постели, свернувшись калачикомъ, или же ходитъ изъ угла въ уголъ, какъ бы для моціона, сидитъ же очень рѣдко. Онъ всегда возбужденъ, взволнованъ и напряженъ какимъ-то смутнымъ, неопредѣленнымъ ожиданіемъ. Достаточно малѣйшаго шороха въ сѣняхъ или крика на дворѣ, чтобы онъ поднялъ голову и сталъ прислушиваться: не за нимъ ли это идутъ? Не его ли ищутъ? И лицо его при этомъ выражаетъ крайнее безпокойство и отвращеніе.

Мнѣ нравится его широкое, скуластое лицо, всегда блѣдное и несчастное, отражающее въ себѣ, какъ въ зеркалѣ, замученную борьбой и продолжительнымъ страхомъ душу. Гримасы его странны и болѣзненны, но тонкія черты, положенныя на его лицо глубокимъ искреннимъ страданіемъ, разумны и интеллигентны, и въ глазахъ теплый, здоровый

блескъ. Нравится мнѣ онъ самъ, вѣжливый, услужливый и необыкновенно деликатный въ обращеніи со всѣми, кромѣ Никиты. Когда кто-нибудь роняетъ пуговку или ложку, онъ быстро вскакиваетъ съ постели и поднимаетъ. Каждое утро онъ поздравляетъ своихъ товарищей съ добрымъ утромъ, ложась спать—желаетъ имъ спокойной ночи.

Кромѣ постоянно напряженнаго состоянія и гримасничанья, сумашествіе его выражается еще въ слѣдующемъ. Иногда по вечерамъ онъ запахивается въ свой халатикъ и, дрожа всѣмъ тѣлюмъ, стуча зубами, начинаетъ быстро ходить изъ угла въ уголъ и между кроватей. Похоже на то, какъ будто у него сильная лихорадка. По тому, какъ онъ внезапно останавливается и взглядываетъ на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, повидимому, соображая, что его не будутъ слушать или не поймутъ, онъ нетерпѣливо встряхиваетъ головой и продолжаетъ шагать. Но скоро желаніе говорить беретъ верхъ надъ всякими соображеніями, и онъ даетъ себѣ волю и говоритъ горячо и страстно. Рѣчь его безпорядочна, лихорадочна, какъ бредъ, порывиста и не всегда понятна, но зато въ ней слышится, и въ словахъ, и въ голосѣ, что-то чрезвычайно хорошее. Когда онъ говоритъ, вы узнаете въ немъ сумасшедшаго и человѣка. Трудно передать на бумагѣ его безумную рѣчь. Говоритъ онъ о человѣческой подлости, о насиліи, попирающемъ правду, о прекрасной жизни, какая со временемъ будетъ на землѣ, объ оконныхъ рѣшеткахъ, напоминающихъ ему каждую минуту о тупости и жестокости насильниковъ. Получается безпорядочное, нескладное попури изъ старыхъ, но еще недопѣтыхъ пѣсенъ.

## II.

Лѣтъ 12—15 тому назадъ, въ городѣ, на самой главной улицѣ, въ собственномъ домѣ проживалъ чиновникъ Громовъ, человѣкъ солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергѣй и Иванъ. Будучи уже студентомъ четвертаго курса, Сергѣй заболѣлъ скоротечною чахоткой и умеръ, и эта смерть какъ бы послужила началомъ цѣлаго ряда несчастій, которыя вдругъ посыпались на семью Громовыхъ. Черезъ недѣлю послѣ похоронъ Сергѣя старикъ-отецъ былъ отданъ подъ судъ за подлоги и растраты и вскорѣ умеръ въ тюремной больницѣ отъ тифа. Домъ и вся движимость

были проданы съ молотка, и Иванъ Дмитричъ съ матерью остались безъ всякихъ средствъ.

Прежде, при отцѣ, Иванъ Дмитричъ, проживая въ Петербургѣ, гдѣ онъ учился въ университетѣ, получалъ 60—70 рублей въ мѣсяцъ и не имѣлъ никакого понятія о нуждѣ, теперь же ему пришлось рѣзко измѣнить свою жизнь. Онъ долженъ былъ отъ утра до ночи давать грошевые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, такъ какъ весь заработокъ посылался матери на пропитаніе. Такой жизни не выдержалъ Иванъ Дмитричъ; онъ палъ духомъ, захирѣлъ и, бросивъ университетъ, уѣхалъ домой. Здѣсь, въ городкѣ, онъ по протекціи получилъ мѣсто учителя въ уѣздномъ училищѣ, но не сошелся съ товарищами, не понравился ученикамъ и скоро бросилъ мѣсто. Умерла мать. Онъ съ полгода ходилъ безъ мѣста, питаясь только хлѣбомъ и водой, затѣмъ поступилъ въ судебные пристава. Эту должность занималъ онъ до тѣхъ поръ, пока не былъ уволенъ по болѣзни.

Онъ никогда, даже въ молодые студенческіе годы, не производилъ впечатлѣнія здороваго. Всегда онъ былъ блѣденъ, худъ, подверженъ простудѣ, мало ѣлъ, дурно спалъ. Отъ одной рюмки вина у него кружилась голова и дѣлалась истерика. Его всегда тянуло къ людямъ, но, благодаря своему раздражительному характеру и мнительности, онъ ни съ кѣмъ близко не сходился и друзей не имѣлъ. О горожанахъ онъ всегда отзывался съ презрѣніемъ, говоря, что ихъ грубое невѣжество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорилъ онъ теноромъ, громко, горячо и не иначе, какъ негодуя и возмущаясь, или съ восторгомъ и удивленіемъ, и всегда искренно. О чемъ, бывало, ни заговоришь съ нимъ, онъ все сводитъ къ одному: въ городѣ душно и скучно жить, у общества нѣтъ высшихъ интересовъ, оно ведетъ тусклую, безсмысленную жизнь, разнообразя ее насиліемъ, грубымъ развратомъ и лицемѣріемъ; подлецы сыты и одѣты, а честные питаются крохами; нужны школы, мѣстная газета съ честнымъ направленіемъ, театръ, публичныя чтенія, сплоченность интеллигентныхъ силъ; нужно, чтобъ общество сознало себя и ужаснулось. Въ своихъ сужденіяхъ о людяхъ онъ клалъ густыя краски, только бѣлую и черную, не признавая никакихъ оттѣнковъ; человѣчество дѣлилось у него на чест-

ныхъ и подлецовъ; середины же не было. О женщинахъ и любви онъ всегда говорилъ страстно, съ восторгомъ, но ни разу не былъ влюбленъ.

Въ городѣ, несмотря на рѣзкость его сужденій и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучокъ, болѣзненный видъ и семейныя несчастія внушали хорошее, теплое и грустное чувство; къ тому же, онъ былъ хорошо образованъ и начитанъ, зналъ, по мнѣнію горожанъ, все и былъ въ городѣ чѣмъ-то въ родѣ ходячаго справочнаго словаря.

Читалъ онъ очень много. Бывало, все сидитъ въ клубѣ, нервно теребитъ бородку и перелистываетъ журналы и книги; и по лицу его видно, что онъ не читаетъ, а глотаетъ, едва успѣвъ разжевать. Надо думать, что чтеніе было одною изъ его болѣзненныхъ привычекъ, такъ какъ онъ съ одинаковою жадностью набрасывался на все, что попадало ему подъ руки, даже на прошлогодніе газеты и календари. Дома у себя читалъ онъ всегда лежа.

## III.

Однажды осеннимъ утромъ, поднявъ воротникъ своего пальто и шлепая по грязи, по переулкамъ и задворкамъ пробирался Иванъ Дмитричъ къ какому-то мѣщанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроеніе у него было мрачное, какъ всегда по утрамъ. Въ одномъ изъ переулковъ встрѣтились ему два арестанта въ кандалахъ и съ ними четыре конвойныхъ съ ружьями. Раньше Иванъ Дмитричъ очень часто встрѣчалъ арестантовъ, и всякій разъ они возбуждали въ немъ чувства состраданія и неловкости, теперь же эта встрѣча произвела на него какое-то особенное, странное впечатлѣніе. Ему вдругъ почему-то показалось, что его тоже могутъ заковать въ кандалы и такимъ же образомъ вести по грязи въ тюрьму. Побывавъ у мѣщанина и возвращаясь къ себѣ домой, онъ встрѣтилъ около почты знакомаго полицейскаго надзирателя, который поздоровался и прошелъ съ нимъ по улицѣ нѣсколько шаговъ, и почему-то это показалось ему подозрительнымъ. Дома цѣлый день у него не выходили изъ головы арестанты и солдаты съ ружьями, и непонятная душевная тревога мѣшала ему

читать и сосредоточиться. Вечеромъ онъ не зажигалъ у себя огня, а ночью не спалъ и все думалъ о томъ, что его могутъ арестовать, заковать и посадить въ тюрьму. Онъ не зналъ за собой никакой вины и могъ поручиться, что и въ будущемъ никогда не убьетъ, не подожжетъ и не украдетъ; но развѣ трудно совершить преступленіе нечаянно, невольно, и развѣ не возможна клевета, наконецъ, судебная ошибка? Вѣдь недаромъ же вѣковой народный опытъ учитъ отъ сумы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнемъ судопроизводствѣ очень возможна, и ничего въ ней нѣтъ мудренаго. Люди, имѣющіе служебное, дѣловое отношеніе къ чужому страданію, напримѣръ, судьи, полицейскіе, врачи, съ теченіемъ времени, въ силу привычки, закаляются до такой степени, что хотѣли бы, да не могутъ относиться къ своимъ кліентамъ иначе, какъ формально; съ этой стороны они ничѣмъ не отличаются отъ мужика, который на задворкахъ рѣжетъ барановъ и телятъ и не замѣчаетъ крови. При формальномъ же, бездушномъ отношеніи къ личности, для того, чтобы невиннаго человѣка лишить всѣхъ правъ состоянія и присудить къ каторгѣ, судьѣ нужно только одно: время. Только время на соблюденіе кое-какихъ формальностей, за которыя судьѣ платятъ жалованье, а затѣмъ—все кончено. Ищи потомъ справедливости и защиты въ этомъ маленькомъ, грязномъ городишкѣ, за двѣсти верстъ отъ желѣзной дороги! Да и не смѣшно ли помышлять о справедливости, когда всякое насиліе встрѣчается обществомъ, какъ разумная и цѣлесообразная необходимость, и всякій актъ милосердія, напримѣръ, оправдательный приговоръ, вызываетъ цѣлый взрывъ неудовлетвореннаго, мстительнаго чувства?

Утромъ Иванъ Дмитричъ поднялся съ постели въ ужасѣ, съ холоднымъ потомъ на лбу, совсѣмъ уже увѣренный, что его могутъ арестовать каждую минуту. Если вчерашнія тяжелыя мысли такъ долго не оставляютъ его, — думалъ онъ,—то, значитъ, въ нихъ есть доля правды. Не могли же онѣ въ самомъ дѣлѣ придти въ голову безо всякаго повода.

Городовой, не спѣша, прошелъ мимо оконъ: это недаромъ. Вотъ два человѣка остановились около дома и молчатъ. Почему они молчатъ?

И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и

ночи. Всѣ проходившіе мимо оконъ и входившіе во дворъ казались шпіонами и сыщиками. Въ полдень обыкновенно исправникъ проѣзжалъ на парѣ по улицѣ; это онъ ѣхалъ изъ своего подгороднаго имѣнія въ полицейское правленіе, но Ивану Дмитричу казалось каждый разъ, что онъ ѣдетъ слишкомъ быстро и съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ, очевидно, спѣшитъ объявить, что въ городѣ проявился очень важный преступникъ. Иванъ Дмитричъ вздрагивалъ при всякомъ звонкѣ и стукѣ въ ворота, томился, когда встрѣчалъ у хозяйки новаго человѣка; при встрѣчѣ съ полицейскими и жандармами улыбался и насвистывалъ, чтобы казаться равнодушнымъ. Онъ не спалъ всѣ ночи напролетъ, ожидая ареста, но громко храпѣлъ и вздыхалъ, какъ сонный, чтобы хозяйкѣ казалось, что онъ спитъ; вѣдь если не спитъ, то, значитъ, его мучаютъ угрызенія совѣсти—какая улика! Факты и здравая логика убѣждали его, что всѣ эти страхи — вздоръ и психопатія, что въ арестѣ и тюрьмѣ, если взглянуть на дѣло пошире, въ сущности, нѣтъ ничего страшнаго, — была бы совѣсть спокойна; но чѣмъ умнѣе и логичнѣе онъ разсуждалъ, тѣмъ сильнѣе и мучительнѣе становилась душевная тревога. Это было похоже на то, какъ одинъ пустынникъ хотѣлъ вырубить себѣ мѣстечко въ дѣвственномъ лѣсу; чѣмъ усерднѣе онъ работалъ топоромъ, тѣмъ гуще и сильнѣе разростался лѣсъ. Иванъ Дмитричъ, въ концѣ концовъ, видя, что это безполезно, совсѣмъ бросилъ разсуждать и весь отдался отчаянію и страху.

Онъ сталъ уединяться и избѣгатъ людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Онъ боялся, что его какъ-нибудь подведутъ, положатъ ему незамѣтно въ карманъ взятку и потомъ уличатъ, или онъ самъ нечаянно сдѣлаетъ въ казенныхъ бумагахъ ошибку, равносильную подлогу, или потеряетъ чужія деньги. Странно, что никогда въ другое время мысль его не была такъ гибка и изобрѣтательна, какъ теперь, когда онъ каждый день выдумывалъ тысячи разнообразныхъ поводовъ къ тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабѣлъ интересъ къ внѣшнему міру, въ частности къ книгамъ, и стала сильно измѣнять память.

Весной, когда сошелъ снѣгъ, въ оврагѣ около кладбища

нашли два полусгнившіе трупа — старухи и мальчика, съ признаками насильственной смерти. Въ городѣ только и разговора было, что объ этихъ трупахъ и неизвѣстныхъ убійцахъ. Иванъ Дмитричъ, чтобы не подумали, что это онъ убилъ, ходилъ по улицамъ и улыбался, а при встрѣчѣ со знакомыми блѣднѣлъ, краснѣлъ и начиналъ увѣрять, что нѣтъ подлѣе преступленія, какъ убійство слабыхъ и беззащитныхъ. Но эта ложь скоро утомила его и, послѣ нѣкотораго размышленія, онъ рѣшилъ, что въ его положеніи самое лучшее—это спрятаться въ хозяйкинъ погребъ. Въ погребѣ просидѣлъ онъ день, потомъ ночь и другой день, сильно озябъ и, дождавшись потемокъ, тайкомъ, какъ воръ, пробрался къ себѣ въ комнату. До разсвѣта простоялъ онъ среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утромъ до восхода солнца къ хозяйкѣ пришли печники. Иванъ Дмитричъ хорошо зналъ, что они пришли затѣмъ, чтобы перекладывать въ кухнѣ печь, но страхъ подсказалъ ему, что это полицейскіе, переодѣтые печниками. Онъ потихоньку вышелъ изъ квартиры и, охваченный ужасомъ, безъ шапки и сюртука, побѣжалъ по улицѣ. За нимъ съ лаемъ гнались собаки, кричалъ гдѣ-то позади мужикъ, въ ушахъ свистѣлъ воздухъ, и Ивану Дмитричу казалось, что насиліе всего міра скопилось за его спиной и гонится за нимъ.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за докторомъ. Докторъ Андрей Ефимычъ, о которомъ рѣчь впереди, прописалъ холодныя примочки на голову и лавровишневыя капли, грустно покачалъ головой и ушелъ, сказавъ хозяйкѣ, что ужъ больше онъ не придетъ, потому что не слѣдуетъ мѣшать людямъ сходить съ ума. Такъ какъ дома не на что было жить и лѣчиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили въ больницу и положили его тамъ въ палатѣ для венерическихъ больныхъ. Онъ не спалъ по ночамъ, капризничалъ и безпокоилъ больныхъ, и скоро, по распоряженію Андрея Ефимыча, былъ переведенъ въ палату № 6.

Черезъ годъ въ городѣ уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленныя хозяйкой въ сани подъ навѣсомъ, были растасканы мальчишками.

## IV.

Сосѣдъ съ лѣвой стороны у Ивана Дмитрича, какъ я уже сказалъ, жидъ Мойсейка, сосѣдъ же съ правой — оплывшій жиромъ, почти круглый мужикъ съ тупымъ, совершенно безсмысленнымъ лицомъ. Это — неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. Отъ него постоянно идетъ острый, удушливый смрадъ.

Никита, убирающій за нимъ, бьетъ его страшно, со всего размаха, не щадя своихъ кулаковъ; и страшно тутъ не то, что его бьютъ,—къ этому можно привыкнуть,—а то, что это отупѣвшее животное не отвѣчаетъ на побои ни звукомъ, ни движеніемъ, ни выраженіемъ глазъ, а только слегка покачивается, какъ тяжелая бочка.

Пятый и послѣдній обитатель палаты № 6—мѣщанинъ, служившій когда-то сортировщикомъ на почтѣ, маленькій, худощавый блондинъ съ добрымъ, но нѣсколько лукавымъ лицомъ. Судя по умнымъ, покойнымъ глазамъ, смотрящимъ ясно и весело, онъ себѣ на умѣ и имѣетъ какую-то очень важную и пріятную тайну. У него есть подъ подушкой и подъ матрацомъ что-то такое, чего онъ никому не показываетъ, но не изъ страха, что могутъ отнять, или украсть, а изъ стыдливости. Иногда онъ подходитъ къ окну и обернувшись къ товарищамъ спиной, надѣваетъ себѣ что-то на грудь и смотритъ, нагнувъ голову; если въ это время подойти къ нему, то онъ сконфузится и сорветъ что-то съ груди. Но тайну его угадать не трудно.

— Поздравьте меня,—говоритъ онъ часто Ивану Дмитричу: — я представленъ къ Станиславу второй степени со звѣздой. Вторую степень со звѣздой даютъ только иностранцамъ, но для меня почему-то хотятъ сдѣлать исключеніе,— улыбается онъ, въ недоумѣніи пожимая плечами. — Вотъ ужъ, признаться, не ожидалъ!

— Я въ этомъ ничего не понимаю,—угрюмо заявляетъ Иванъ Дмитричъ.

— Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? — продолжаетъ бывшій сортировщикъ, лукаво щуря глаза. — Я непремѣнно получу шведскую «Полярную Звѣзду». Орденъ такой, что стоитъ похлопотать. Бѣлый крестъ и черная лента. Это очень красиво.

Вѣроятно, нигдѣ въ другомъ мѣстѣ такъ жизнь не однообразна, какъ во флигелѣ. Утромъ больные, кромѣ паралитика и толстаго мужика, умываются въ сѣняхъ изъ большого ушата и утираются фалдами халатовъ; послѣ этого пьютъ изъ оловянныхъ кружекъ чай, который приноситъ изъ главнаго корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружкѣ. Въ полдень ѣдятъ щи изъ кислой капусты и кашу, вечеромъ ужинаютъ кашей, оставшеюся отъ обѣда. Въ промежуткахъ лежатъ, спятъ, глядятъ въ окна и ходятъ изъ угла въ уголъ. И такъ каждый день. Даже бывшій сортировщикъ говоритъ все объ однихъ и тѣхъ же орденахъ.

Свѣжихъ людей рѣдко видятъ въ палатѣ № 6. Новыхъ помѣшанныхъ докторъ давно уже не принимаетъ, а любителей посѣщать сумасшедшіе дома немного на этомъ свѣтѣ. Разъ въ два мѣсяца бываетъ во флигелѣ Семенъ Лазаричъ, цырюльникъ. Какъ онъ стрижетъ сумасшедшихъ и какъ Никита помогаетъ ему дѣлать это, и въ какое смятеніе приходятъ больные всякій разъ при появленіи пьянаго улыбающагося цырюльника, мы говорить не будемъ.

Кромѣ цырюльника никто не заглядываетъ во флигель. Больные осуждены видѣть изо дня въ день одного только Никиту.

Впрочемъ, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слухъ.

Распустили слухъ, что палату № 6 будто бы сталъ посѣщать докторъ.

## V.

Странный слухъ!

Докторъ Андрей Ефимычъ Рагинъ—замѣчательный человѣкъ въ своемъ родѣ. Говорятъ, что въ ранней молодости онъ былъ очень набоженъ и готовилъ себя къ духовной карьерѣ, и что, кончивъ въ 1863 году курсъ въ гимназіи, онъ намѣревался поступить въ духовную академію, но будто бы его отецъ, докторъ медицины и хирургъ, ѣдко посмѣялся надъ нимъ и заявилъ категорически, что не будетъ считать его своимъ сыномъ, если онъ пойдетъ въ попы. Насколько это вѣрно — не знаю, но самъ Андрей Ефимычъ не разъ признавался, что онъ никогда не чувствовалъ призванія къ медицинѣ и вообще къ спеціальнымъ наукамъ.

Какъ бы то ни было, кончивъ курсъ по медицинскому факультету, онъ въ священники не постригся. Набожности онъ не проявлялъ и на духовную особу въ началѣ своей врачебной карьеры походилъ такъ же мало, какъ теперь.

Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая; своимъ лицомъ, бородой, плоскими волосами и крѣпкимъ, неуклюжимъ сложеніемъ напоминаетъ онъ трактирщика на большой дорогѣ, разъѣвшагося, невоздержнаго и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькіе, носъ красный. При высокомъ ростѣ и широкихъ плечахъ у него громадныя руки и ноги; кажется, хватитъ кулакомъ— духъ вонъ. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрѣчѣ въ узкомъ коридорѣ онъ всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басомъ, какъ ждешь, а тонкимъ, мягкимъ теноркомъ говоритъ: «виноватъ!» У него на шеѣ небольшая опухоль, которая мѣшаетъ ему носить жесткіе крахмальные воротнички, и потому онъ всегда ходитъ въ мягкой полотняной или ситцевой сорочкѣ. Вообще, одѣвается онъ не по-докторски. Одну и ту же пару онъ таскаетъ лѣтъ по десяти, а новая одежа, которую онъ обыкновенно покупаетъ въ жидовской лавкѣ, кажется на немъ такою же поношенною и помятою, какъ старая; въ одномъ и томъ же сюртукѣ онъ и больныхъ принимаетъ, и обѣдаетъ, и въ гости ходитъ; но это не изъ скупости, а отъ полнаго невниманія къ своей наружности.

Когда Андрей Ефимычъ пріѣхалъ въ городъ, чтобы принять должность, «богоугодное заведеніе» находилось въ ужасномъ состояніи. Въ палатахъ, коридорахъ и въ больничномъ дворѣ тяжело было дышать отъ смрада. Больничные мужики, сидѣлки и ихъ дѣти спали въ палатахъ вмѣстѣ съ больными. Жаловались, что житья нѣтъ отъ таракановъ, клоповъ и мышей. Въ хирургическомъ отдѣленіи не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, въ ваннахъ держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшеръ грабили больныхъ, а про стараго доктора, предшественника Андрея Ефимыча, разсказывали, будто онъ занимался тайною продажей больничнаго спирта и завелъ себѣ изъ сидѣлокъ и больныхъ женщинъ цѣлый гаремъ. Въ городѣ отлично знали про эти безпорядки и даже преувеличивали ихъ, но

относились къ нимъ спокойно; одни оправдывали ихъ тѣмъ, что въ больницу ложатся только мѣщане и мужики, которые не могутъ быть недовольны, такъ какъ дома живутъ гораздо хуже, чѣмъ въ больницѣ; не рябчиками же ихъ кормить! Другіе же въ оправданіе говорили, что одному городу безъ помощи земства не подъ силу содержать хорошую больницу; слава Богу, что хоть плохая да есть. А молодое земство не открывало лѣчебницы ни въ городѣ, ни возлѣ, ссылаясь на то, что городъ уже имѣетъ свою больницу.

Осмотрѣвъ больницу, Андрей Ефимычъ пришелъ къ заключенію, что это учрежденіе безнравственное и въ высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнѣнію, самое умное, что можно было сдѣлать, это — выпустить больныхъ на волю, а больницу закрыть. Но онъ разсудилъ, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы безполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать съ одного мѣста, то она перейдетъ на другое; надо ждать, когда она сама вывѣтрится. Къ тому же, если люди открывали больницу и терпятъ ее у себя, то, значитъ, она имъ нужна; предразсудки и всѣ эти житейскія гадости и мерзости нужны, такъ какъ они съ теченіемъ времени перерабатываются во что-нибудь путное, какъ навозъ въ черноземъ. На землѣ нѣтъ ничего такого хорошаго, что въ своемъ первоисточникѣ не имѣло бы гадости.

Принявъ должность, Андрей Ефимычъ отнесся къ безпорядкамъ, повидимому, довольно равнодушно. Онъ попросилъ только больничныхъ мужиковъ и сидѣлокъ не ночевать въ палатахъ и поставилъ два шкапа съ инструментами; смотритель же, кастелянша, фельдшеръ и хирургическая рожа остались на своихъ мѣстахъ.

Андрей Ефимычъ чрезвычайно любитъ умъ и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватаетъ характера и вѣры въ свое право. Приказывать, запрещать и настаивать онъ положительно не умѣетъ. Похоже на то, какъ будто онъ далъ обѣтъ никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительнаго наклоненія. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно; когда ему хочется ѣсть, онъ нерѣшительно покашливаетъ и говоритъ кухаркѣ: «Какъ бы мнѣ чаю»... или: «Какъ бы мнѣ

пообѣдать». Сказать же смотрителю, чтобъ онъ пересталъ красть, или прогнать его, или совсѣмъ упразднить эту ненужную паразитную должность — для него совершенно не подъ силу. Когда обманываютъ Андрея Ефимыча или льстятъ ему, или подносятъ для подписи завѣдомо подлый счетъ, то онъ краснѣетъ, какъ ракъ, и чувствуетъ себя виноватымъ, но счетъ все-таки подписываетъ; когда больные жалуются ему на голодъ или на грубыхъ сидѣлокъ, онъ конфузится и виновато бормочетъ:

— Хорошо, хорошо, я разберу послѣ... Вѣроятно, тутъ недоразумѣніе...

Въ первое время Андрей Ефимычъ работалъ очень усердно. Онъ принималъ ежедневно съ утра до обѣда, дѣлалъ операціи и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что онъ внимателенъ и отлично угадываетъ болѣзни, особенно дѣтскія и женскія. Но съ теченіемъ времени дѣло замѣтно прискучило ему своимъ однообразіемъ и очевидною безполезностью. Сегодня примешь 30 больныхъ, а завтра, глядишь, привалило ихъ 35, послѣзавтра 40, и такъ изо дня въ день, изъ года въ годъ, а смертность въ городѣ не уменьшается, и больные не перестаютъ ходить. Оказать серьезную помощь 40 приходящимъ больнымъ отъ утра до обѣда нѣтъ физической возможности, значитъ, поневолѣ выходитъ одинъ обманъ. Принято въ отчетномъ году 12.000 приходящихъ больныхъ, значитъ, попросту разсуждая, обмануто 12.000 человѣкъ. Класть же серьезныхъ больныхъ въ палаты и заниматься ими по правиламъ науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нѣтъ; если же оставить философію и педантически слѣдовать правиламъ, какъ прочіе врачи, то для этого, прежде всего, нужны чистота и вентиляція, а не грязь, здоровая пища, а не щи изъ вонючей кислой капусты, и хорошіе помощники, а не воры.

Да и къ чему мѣшать людямъ умирать, если смерть есть нормальный и законный конецъ каждаго? Что изъ того, если какой-нибудь торгашъ или чиновникъ проживетъ лишнихъ пять, десять лѣтъ? Если же видѣть цѣль медицины въ томъ, что лѣкарства облегчаютъ страданія, то невольно напрашивается вопросъ: зачѣмъ ихъ облегчать? Во-первыхъ, говорятъ, что страданія ведутъ человѣка къ совершенству, и, во-вторыхъ, если человѣчество въ самомъ дѣлѣ научится

облегчать свои страданія пилюлями и каплями, то оно совершенно забросить религію и философію, въ которыхъ до сихъ поръ находило не только защиту отъ всякихъ бѣдъ, но даже счастіе. Пушкинъ передъ смертью испытывалъ страшныя мученія, бѣдняжка Гейне нѣсколько лѣтъ лежалъ въ параличѣ; почему же не поболѣть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матренѣ Савишнѣ, жизнь которыхъ безсодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбы, если бы не страданія?

Подавляемый такими разсужденіями, Андрей Ефимычъ опустилъ руки и сталъ ходить въ больницу не каждый день.

## VI.

Жизнь его проходитъ такъ. Обыкновенно онъ встаетъ утромъ часовъ въ восемь, одѣвается и пьетъ чай. Потомъ садится у себя въ кабинетѣ читать или идетъ въ больницу. Здѣсь, въ больницѣ, въ узкомъ темномъ коридорчикѣ сидятъ амбулаторные больные, ожидающіе пріемки. Мимо нихъ, стуча сапогами по кирпичному полу, бѣгаютъ мужики и сидѣлки, проходятъ тощіе больные въ халатахъ, проносятъ мертвецовъ и посуду съ нечистотами, плачутъ дѣти, дуетъ сквозной вѣтеръ. Андрей Ефимычъ знаетъ, что для лихорадящихъ, чахоточныхъ и вообще впечатлительныхъ больныхъ такая обстановка мучительна, но что подѣлаешь? Въ пріемной встрѣчаетъ его фельдшеръ Сергѣй Сергѣичъ, маленькій, толстый человѣкъ съ бритымъ, чисто вымытымъ, пухлымъ лицомъ, съ мягкими плавными манерами и въ новомъ просторномъ костюмѣ, похожій больше на сенатора, чѣмъ на фельдшера. Въ городѣ онъ имѣетъ громадную практику, носитъ бѣлый галстукъ и считаетъ себя болѣе свѣдущимъ, чѣмъ докторъ, который совсѣмъ не имѣетъ практики. Въ углу, въ пріемной, стоитъ большой образъ въ кіотѣ, съ тяжелою лампадой, возлѣ — ставникъ въ бѣломъ чехлѣ; на стѣнахъ висятъ портреты архіереевъ, видъ Святогорскаго монастыря и вѣнки изъ сухихъ васильковъ. Сергѣй Сергѣичъ религіозенъ и любитъ благолѣпіе. Образъ поставленъ его иждивеніемъ; по воскресеньямъ въ пріемной кто-нибудь изъ больныхъ, по его приказанію, читаетъ вслухъ акаѳистъ, а послѣ чтенія самъ Сергѣй Сергѣичъ обходитъ всѣ палаты съ кадильницей и кадитъ въ нихъ ладаномъ.

Больныхъ много, а времени мало, и потому дѣло ограничивается однимъ только короткимъ опросомъ и выдачей какого-нибудь лѣкарства, въ родѣ летучей мази или касторки. Андрей Ефимычъ сидитъ, подперевъ щеку кулакомъ, задумавшись и машинально задаетъ вопросы. Сергѣй Сергѣичъ тоже сидитъ, потираетъ свои ручки и изрѣдка вмѣшивается.

— Болѣемъ и нужду терпимъ оттого,—говоритъ онъ:— что Господу милосердному плохо молимся. Да!

Во время пріемки Андрей Ефимычъ не дѣлаетъ никакихъ операцій; онъ давно уже отвыкъ отъ нихъ и видъ крови его непріятно волнуетъ. Когда ему приходится раскрывать ребенку ротъ, чтобы заглянуть въ горло, а ребенокъ кричитъ и защищается ручонками, то отъ шума въ ушахъ у него кружится голова и выступаютъ слезы на глазахъ. Онъ торопится прописать лѣкарство и машетъ руками, чтобы баба поскорѣе унесла ребенка.

На пріемкѣ скоро ему прискучаютъ робость больныхъ и ихъ безтолковость, близость благолѣпнаго Сергѣя Сергѣича, портреты на стѣнахъ и свои собственные вопросы, которые онъ задаетъ неизмѣнно уже болѣе двадцати лѣтъ. И онъ уходитъ, принявъ пять-шесть больныхъ. Остальныхъ безъ него принимаетъ фельдшеръ.

Съ пріятною мыслью, что, слава Богу, частной практики у него давно уже нѣтъ и что ему никто не помѣшаетъ, Андрей Ефимычъ, придя домой, немедленно садится въ кабинетѣ за столъ и начинаетъ читать. Читаетъ онъ очень много и всегда съ большимъ удовольствіемъ. Половина жалованья уходитъ у него на покупку книгъ, и изъ шести комнатъ его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего онъ любитъ сочиненія по исторіи и философіи; по медицинѣ же выписываетъ одного только «Врача», котораго всегда начинаетъ читать съ конца. Чтеніе всякій разъ продолжается безъ перерыва по нѣскольку часовъ и его не утомляетъ. Читаетъ онъ не такъ быстро и порывисто, какъ когда-то читалъ Иванъ Дмитричъ, а медленно, съ проникновеніемъ, часто останавливаясь на мѣстахъ, которыя ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоитъ графинчикъ съ водкой и лежитъ соленый огурецъ или моченое яблоко прямо на сукнѣ, безъ тарелки. Черезъ каждые полчаса онъ, не отрывая глазъ отъ книги, нали-

ваетъ себѣ рюмку водки и выпиваетъ, потомъ, не глядя, нащупываетъ огурецъ и откусываетъ кусочекъ.

Въ три часа онъ осторожно подходитъ къ кухонной двери, кашляетъ и говоритъ:

— Дарьюшка, какъ бы мнѣ пообѣдать...

Послѣ обѣда, довольно плохого и неопрятнаго, Андрей Ефимычъ ходитъ по своимъ комнатамъ, скрестивъ на груди руки, и думаетъ. Бьетъ четыре часа, потомъ пять, а онъ все ходитъ и думаетъ. Изрѣдка поскрипываетъ кухонная дверь и показывается изъ нея красное, заспанное лицо Дарьюшки.

— Андрей Ефимычъ, вамъ не пора пиво пить?—спрашиваетъ она озабоченно.

— Нѣтъ, еще не время...—отвѣчаетъ онъ.—Я погожу... погожу...

Къ вечеру обыкновенно приходитъ почтмейстеръ, Михаилъ Аверьянычъ, единственный во всемъ городѣ человѣкъ, общество котораго для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаилъ Аверьянычъ когда-то былъ очень богатымъ помѣщикомъ и служилъ въ кавалеріи, но разорился и изъ нужды поступилъ подъ старость въ почтовое вѣдомство. У него бодрый, здоровый видъ, роскошные сѣдые бакены, благовоспитанныя манеры и громкій пріятный голосъ. Онъ добръ и чувствителенъ, но вспыльчивъ. Когда на почтѣ кто-нибудь изъ посѣтителей протестуетъ, не соглашается или просто начинаетъ расуждать, то Михаилъ Аверьянычъ багровѣетъ, трясется всѣмъ тѣломъ и кричитъ громовымъ голосомъ: «Замолчать!» такъ что за почтовымъ отдѣленіемъ давно уже установилась репутація учрежденія, въ которомъ страшно бывать. Михаилъ Аверьянычъ уважаетъ и любитъ Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, къ прочимъ же обывателямъ относится свысока, какъ къ своимъ подчиненнымъ.

— А вотъ и я!—говоритъ онъ, входя къ Андрею Ефимычу.—Здравствуйте, мой дорогой! Небось я уже надоѣлъ вамъ, а?

— Напротивъ, очень радъ,—отвѣчаетъ ему докторъ.—Я всегда радъ вамъ.

Пріятели садятся въ кабинетѣ на диванъ и нѣкоторое время молча курятъ.

— Дарьюшка, какъ бы намъ пива! — говоритъ Андрей Ефимычъ.

Первую бутылку выпиваютъ тоже молча: докторъ—задумавшись, а Михаилъ Аверьянычъ—съ веселымъ, оживленнымъ видомъ, какъ человѣкъ, который имѣетъ разсказать что-то очень интересное. Разговоръ всегда начинаетъ докторъ.

— Какъ жаль, — говоритъ онъ медленно и тихо, покачивая головой и не глядя въ глаза собесѣднику (онъ никогда не смотритъ въ глаза):—какъ глубоко жаль, уважаемый Михаилъ Аверьянычъ, что въ нашемъ городѣ совершенно нѣтъ людей, которые бы умѣли и любили вести умную и интересную бесѣду. Это громадное для насъ лишеніе. Даже интеллигенція не возвышается надъ пошлостью; уровень ея развитія, увѣряю васъ, нисколько не выше, чѣмъ у низшаго сословія.

— Совершенно вѣрно. Согласенъ.

— Вы сами изволите знать,—продолжаетъ докторъ тихо и съ разстановкой:—что на этомъ свѣтѣ все незначительно и неинтересно, кромѣ высшихъ духовныхъ проявленій человѣческаго ума. Умъ проводитъ рѣзкую грань между животнымъ и человѣкомъ, намекаетъ на божественность послѣдняго и въ нѣкоторой степени даже замѣняетъ ему безсмертіе, котораго нѣтъ. Исходя изъ этого, умъ служитъ единственно возможнымъ источникомъ наслажденія. Мы же не видимъ и не слышимъ около себя ума, — значитъ, мы лишены наслажденія. Правда, у насъ есть книги, но это совсѣмъ не то, что живая бесѣда и общеніе. Если позволите сдѣлать не совсѣмъ удачное сравненіе, то книги—это ноты, а бесѣда—пѣніе.

— Совершенно вѣрно.

Наступаетъ молчаніе. Изъ кухни выходитъ Дарьюшка и съ выраженіемъ тупой скорби, подперевъ кулачкомъ лицо, останавливается въ дверяхъ, чтобы послушать.

— Эхъ! — вздыхаетъ Михаилъ Аверьянычъ. — Захотѣли отъ нынѣшнихъ ума!

И онъ разсказываетъ, какъ жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была въ Россіи умная интеллигенція и какъ высоко она ставила понятія о чести и дружбѣ. Давали деньги взаймы безъ векселя, и считалось позоромъ не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какіе

были походы, приключенія, стычки, какіе товарищи, какія женщины! А Кавказъ—какой удивительный край! А жена одного батальоннаго командира, странная женщина, надѣвала офицерское платье и уѣзжала по вечерамъ въ горы, одна безъ проводника. Говорятъ, что въ аулахъ у нея былъ романъ съ какимъ-то князькомъ.

— Царица небесная, матушка...—вздыхаетъ Дарьюшка.

— А какъ пили! Какъ ѣли! А какіе были отчаянные либералы!

Андрей Ефимычъ слушаетъ и не слышитъ; онъ о чемъ-то думаетъ и прихлебываетъ пиво.

— Мнѣ часто снятся умные люди и бесѣды съ ними,— говоритъ онъ неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча.—Мой отецъ далъ мнѣ прекрасное образованіе, но подъ вліяніемъ идей шестидесятыхъ годовъ заставилъ меня сдѣлаться врачомъ. Мнѣ кажется, что если бъ я тогда не послушался его, то теперь я находился бы въ самомъ центрѣ умственнаго движенія. Вѣроятно, былъ бы членомъ какого-нибудь факультета. Конечно, умъ тоже не вѣченъ и преходящъ, но вы уже знаете, почему я питаю къ нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящій человѣкъ достигаетъ возмужалости и приходитъ въ зрѣлое сознаніе, то онъ невольно чувствуетъ себя какъ бы въ ловушкѣ, изъ которой нѣтъ выхода. Въ самомъ дѣлѣ, противъ его воли вызванъ онъ какими-то случайностями изъ небытія къ жизни... Зачѣмъ? Хочетъ онъ узнать смыслъ и цѣль своего существованія, ему не говорятъ или же говорятъ нелѣпости; онъ стучится—ему не отворяютъ; къ нему приходитъ смерть — тоже противъ его воли. И вотъ, какъ въ тюрьмѣ люди, связанные общимъ несчастіемъ, чувствуютъ себя легче, когда сходятся вмѣстѣ, такъ и въ жизни не замѣчаешь ловушки, когда люди, склонные къ анализу и обобщеніямъ, сходятся вмѣстѣ и проводятъ время въ обмѣнѣ гордыхъ, свободныхъ идей. Въ этомъ смыслѣ умъ есть наслажденіе незамѣнимое.

— Совершенно вѣрно.

Не глядя собесѣднику въ глаза, тихо и съ паузами, Андрей Ефимычъ продолжаетъ говорить объ умныхъ людяхъ и бесѣдахъ съ ними, а Михаилъ Аверьянычъ внимательно слушаетъ его и соглашается: «Совершенно вѣрно».

— А вы не вѣрите въ безсмертіе души?—вдругъ спрашиваетъ почтмейстеръ.

— Нѣтъ, уважаемый Михаилъ Аверьянычъ, не вѣрю и не имѣю основанія вѣрить.

— Признаться, и я сомнѣваюсь. А хотя, впрочемъ, у меня такое чувство, какъ будто я никогда не умру. Ой, думаю себѣ, старый хрѣнъ, умирать пора! А въ душѣ какой-то голосочекъ: не вѣрь, не умрешь!..

Въ началѣ десятаго часа Михаилъ Аверьянычъ уходитъ. Надѣвая въ передней шубу, онъ говоритъ со вздохомъ:

— Однако, въ какую глушь занесла насъ судьба! Досаднѣе всего, что здѣсь и умирать придется. Эхъ!..

## VII.

Проводивъ пріятеля, Андрей Ефимычъ садится за столъ и опять начинаетъ читать. Тишина вечера и потомъ ночи не нарушается ни однимъ звукомъ и время, кажется, останавливается и замираетъ вмѣстѣ съ докторомъ надъ книгой, и кажется, что ничего не существуетъ, кромѣ этой книги и лампы съ зеленымъ колпакомъ. Грубое, мужицкое лицо доктора мало-по-малу озаряется улыбкой умиленія и восторга передъ движеніями человѣческаго ума. О, зачѣмъ человѣкъ не безсмертенъ?—думаетъ онъ.—Зачѣмъ мозговые центры и извилины, зачѣмъ зрѣніе, рѣчь, самочувствіе, геній, если всему этому суждено уйти въ почву и, въ концѣ концовъ, охладѣть вмѣстѣ съ земною корой, а потомъ милліоны лѣтъ безъ смысла и безъ цѣли носиться съ землей вокругъ солнца? Для того, чтобы охладѣть и потомъ носиться, совсѣмъ не нужно извлекать изъ небытія человѣка съ его высокимъ, почти божескимъ умомъ, и потомъ, словно въ насмѣшку, превращать его въ глину.

Обмѣнъ веществъ! Но какая трусость утѣшать себя этимъ суррогатомъ безсмертія! Безсознательные процессы, происходящіе въ природѣ, ниже даже человѣческой глупости, такъ какъ въ глупости есть все-таки сознаніе и воля, въ процессахъ же ровно ничего. Только трусъ, у котораго больше страха передъ смертью, чѣмъ достоинства, можетъ утѣшать себя тѣмъ, что тѣло его будетъ со временемъ жить въ травѣ, въ камнѣ, въ жабѣ... Видѣть свое безсмертіе въ обмѣнѣ веществъ такъ же странно, какъ пророчить бле-

стящую будущность футляру послѣ того, какъ разбилась и стала негодною дорогая скрипка.

Когда бьютъ часы, Андрей Ефимычъ откидывается на спинку кресла и закрываетъ глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай, подъ вліяніемъ хорошихъ мыслей, вычитанныхъ изъ книги, онъ бросаетъ взглядъ на свое прошедшее и на настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о немъ. А въ настоящемъ то же, что въ прошломъ. Онъ знаетъ, что въ то время, когдя его мысли носятся вмѣстѣ съ охлажденною землей вокругъ солнца, рядомъ съ докторской квартирой, въ большомъ корпусѣ томятся люди въ болѣзняхъ и физической нечистотѣ; быть-можетъ, кто-нибудь не спитъ и воюетъ съ насѣкомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонетъ отъ туго положенной повязки; быть-можетъ, больные играютъ въ карты съ сидѣлками и пьютъ водку. Въ отчетномъ году было обмануто 12.000 человѣкъ; все больничное дѣло, какъ и 20 лѣтъ назадъ, построено на воровствѣ, дрязгахъ, сплетняхъ, кумовствѣ, на грубомъ шарлатанствѣ, и больница попрежнему представляетъ изъ себя учрежденіе безнравственное и въ высшей степени вредное для здоровья жителей. Онъ знаетъ, что въ палатѣ № 6 за рѣшетками Никита колотитъ больныхъ и что Мойсейка каждый день ходитъ по городу и собираетъ милостыню.

Съ другой же стороны, ему отлично извѣстно, что за послѣднія 25 лѣтъ съ медициной произошла сказочная перемѣна. Когда онъ учился въ университетѣ, ему казалось, что медицину скоро постигнетъ участь алхиміи и метафизики, теперь же, когда онъ читаетъ по ночамъ, медицина трогаетъ его и возбуждаетъ въ немъ удивленіе и даже восторгъ. Въ самомъ дѣлѣ, какой неожиданный блескъ, какая революція! Благодаря антисептикѣ, дѣлаютъ операціи, какія великій Пироговъ считалъ невозможными даже in spe. Обыкновенные земскіе врачи рѣшаются производить резекцію колѣннаго сустава, на сто чревосѣченій одинъ только смертный случай, а каменная болѣзнь считается такимъ пустякомъ, что о ней даже не пишутъ. Радикально излѣчивается сифилисъ. А теорія наслѣдственности, гипнотизмъ, открытія Пастера и Коха, гигіена со статистикой, а наша русская земская медицина? Психіатрія съ ея теперешнею классификаціей болѣзней, мето-

дами распознаванія и лѣченія—это въ сравненіи съ тѣмъ, что было, цѣлый Эльборусъ. Теперь помѣшаннымъ не льютъ на голову холодную воду и не надѣваютъ на нихъ горячечныхъ рубахъ; ихъ содержатъ по-человѣчески и даже, какъ пишутъ въ газетахъ, устраиваютъ для нихъ спектакли и балы. Андрей Ефимычъ знаетъ, что при теперешнихъ взглядахъ и вкусахъ такая мерзость, какъ палата № 6, возможна развѣ только въ двухстахъ верстахъ отъ желѣзной дороги, въ городкѣ, гдѣ городской голова и всѣ гласные—полуграмотные мѣщане, видящіе во врачѣ жреца, которому нужно вѣрить безъ всякой критики, хотя бы онъ вливалъ въ ротъ расплавленное олово; въ другомъ же мѣстѣ публика и газеты давно бы уже расхватали въ клочья эту маленькую Бастилію.

«Но что же?—спрашиваетъ себя Андрей Ефимычъ, открывая глаза.—Что же изъ этого? И антисептика, и Кохъ, и Пастеръ, а сущность дѣла нисколько не измѣнилась. Болѣзненность и смертность все тѣ же. Сумасшедшимъ устраиваютъ балы и спектакли, а на волю ихъ все-таки не выпускаютъ. Значитъ, все вздоръ и суета, и разницы между лучшею вѣнскою клиникой и моею больницей, въ сущности, нѣтъ никакой».

Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мѣшаютъ ему быть равнодушнымъ. Это, должно-быть, отъ утомленія. Тяжелая голова склоняется къ книгѣ, онъ кладетъ подъ лицо руки, чтобы мягче было, и думаетъ:

«Я служу вредному дѣлу и получаю жалованье отъ людей, которыхъ обманываю; я не честенъ. Но вѣдь самъ по себѣ я ничто, я только частица необходимаго соціальнаго зла: всѣ уѣздные чиновники вредны и даромъ получаютъ жалованье... Значитъ, въ своей нечестности виноватъ не я, а время... Родись я двумя стами лѣтъ позже, я былъ бы другимъ».

Когда бьетъ 3 часа, онъ тушитъ лампу и уходитъ въ спальню. Спать ему не хочется.

## VIII.

Года два тому назадъ земство расщедрилось и постановило выдавать триста рублей ежегодно въ качествѣ пособія на усиленіе медицинскаго персонала въ городской больницѣ впредь до открытія земской больницы, и на помощь Андрею Ефимычу

былъ приглашенъ городомъ уѣздный врачъ Евгеній Ѳедорычъ Хоботовъ. Это еще очень молодой человѣкъ — ему нѣтъ и тридцати,—высокій брюнетъ съ широкими скулами и маленькими глазками; вѣроятно, предки его были инородцами. Пріѣхалъ онъ въ городъ безъ гроша денегъ, съ небольшимъ чемоданчикомъ и съ молодою некрасивою женщиной, которую онъ называетъ своей кухаркой. У этой женщины грудной младенецъ. Ходитъ Евгеній Ѳедорычъ въ фуражкѣ съ козырькомъ и въ высокихъ сапогахъ, а зимой въ полушубкѣ. Онъ близко сошелся съ фельдшеромъ Сергѣемъ Сергѣичемъ и съ казначеемъ, а остальныхъ чиновниковъ называетъ почему-то аристократами и сторонится ихъ. Во всей квартирѣ у него есть только одна книга—«Новѣйшіе рецепты вѣнской клиники за 1881 г.». Идя къ больному, онъ всегда беретъ съ собой и эту книжку. Въ клубѣ по вечерамъ играетъ онъ въ билліардъ, картъ же не любитъ. Большой охотникъ употреблять въ разговорѣ такія слова, какъ «канитель», «мантифолія съ уксусомъ», «будетъ тебѣ тѣнь наводить» и т. п.

Въ больницѣ онъ бываетъ два раза въ недѣлю, обходитъ палаты и дѣлаетъ пріемку больныхъ. Совершенное отсутствіе антисептики и кровососныя банки возмущаютъ его, но новыхъ порядковъ онъ не вводитъ, боясь оскорбить этимъ Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча онъ считаетъ старымъ плутомъ, подозрѣваетъ у него большія средства и втайнѣ завидуетъ ему. Онъ охотно бы занялъ его мѣсто.

## IX.

Въ одинъ изъ весеннихъ вечеровъ, въ концѣ марта, когда уже на землѣ не было снѣга и въ больничномъ саду пѣли скворцы, докторъ вышелъ проводить до воротъ своего пріятеля почтмейстера. Какъ разъ въ это время во дворъ входилъ жидъ Мойсейка, возвращавшійся съ добычи. Онъ былъ безъ шапки и въ мелкихъ калошахъ на босую ногу и въ рукахъ держалъ небольшой мѣшочекъ съ милостыней.

— Дай копеечку!—обратился онъ къ доктору, дрожа отъ холода и улыбаясь.

Андрей Ефимычъ, который никогда не умѣлъ отказывать, подалъ ему гривенникъ.

«Какъ это не хорошо, — подумалъ онъ, глядя на его

босыя ноги съ красными тощими щиколками. — Вѣдь, мокро».

И, побуждаемый чувствомъ, похожимъ и на жалость, и на брезгливость, онъ пошелъ во флигель вслѣдъ за евреемъ, поглядывая то на его лысину, то на щиколки. При входѣ доктора, съ кучи хлама вскочилъ Никита и вытянулся.

— Здравствуй, Никита, — сказалъ мягко Андрей Ефимычъ.—Какъ бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.

— Слушаю, ваше высокоблагородіе. Я доложу смотрителю.

— Пожалуйста. Ты попроси его отъ моего имени. Скажи, что я просилъ.

Дверь изъ сѣней въ палату была отворена. Иванъ Дмитричъ, лежа на кровати и приподнявшись на локоть, съ тревогой прислушивался къ чужому голосу и вдругъ узналъ доктора. Онъ весь затрясся отъ гнѣва, вскочилъ и съ краснымъ, злымъ лицомъ, съ глазами на выкатѣ, выбѣжалъ на середину палаты.

— Докторъ пришелъ! — крикнулъ онъ и захохоталъ. — Наконецъ-то! Господа, поздравляю, докторъ удостаиваетъ насъ своимъ визитомъ! Проклятая гадина! — взвизгнулъ онъ и въ изступленіи, какого никогда еще не видѣли въ палатѣ, топнулъ ногой.—Убить эту гадину! Нѣтъ, мало убить! Утопить въ отхожемъ мѣстѣ!

Андрей Ефимычъ, слышавшій это, выглянулъ изъ сѣней въ палату и спросилъ мягко:

— За что?

— За что?- крикнулъ Иванъ Дмитричъ, подходя къ нему съ угрожающимъ видомъ и судорожно запахиваясь въ халатъ.—За что? Воръ! — проговорилъ онъ съ отвращеніемъ и дѣлая губы такъ, какъ будто желая плюнуть.—Шарлатанъ! Палачъ!

— Успокойтесь, — сказалъ Андрей Ефимычъ, виновато улыбаясь. — Увѣряю васъ, я никогда ничего не кралъ, въ остальномъ же, вѣроятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу васъ, если можете, и скажите хладнокровно: за что вы сердиты?

— А за что вы меня здѣсь держите?

— За то, что вы больны.

— Да, боленъ. Но вѣдь десятки, сотни сумасшедшихъ гуляютъ на свободѣ, потому что ваше невѣжество несно-

собно отличить ихъ отъ здоровыхъ. Почему же я и вотъ эти несчастные должны сидѣть тутъ за всѣхъ, какъ козлы отпущенія? Вы, фельдшеръ, смотритель и вся ваша больничная сволочь въ нравственномъ отношеніи неизмѣримо ниже каждаго изъ насъ, почему же мы сидимъ, а вы нѣтъ? Гдѣ логика?

— Нравственное отношеніе и логика тутъ ни при чемъ. Все зависитъ отъ случая. Кого посадили, тотъ сидитъ, а кого не посадили, тотъ гуляетъ, вотъ и все. Въ томъ, что я докторъ, а вы душевно-больной, нѣтъ ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.

— Этой ерунды я не понимаю... — глухо проговорилъ Иванъ Дмитричъ и сѣлъ на свою кровать.

Мойсейка, котораго Никита постѣснился обыскивать въ присутствіи доктора, разложилъ у себя на постели кусочки хлѣба, бумажки и косточки и, все еще дрожа отъ холода, что-то быстро и пѣвуче заговорилъ по-еврейски. Вѣроятно, онъ вообразилъ, что открылъ лавочку.

— Отпустите меня,—сказалъ Иванъ Дмитричъ, и голосъ его дрогнулъ.

— Не могу.

— Но почему же? Почему?

— Потому что это не въ моей власти. Посудите, какая польза вамъ отъ того, если я отпущу васъ? Идите. Васъ задержатъ горожане или полиція и вернутъ назадъ.

— Да, да, это правда...—проговорилъ Иванъ Дмитричъ и потеръ себѣ лобъ.—Это ужасно! Но что же мнѣ дѣлать? Что?

Голосъ Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо съ гримасами понравились Андрею Ефимычу. Ему захотѣлось приласкать молодого человѣка и успокоить его. Онъ сѣлъ рядомъ съ нимъ на постель, подумалъ и сказалъ:

— Вы спрашиваете, что дѣлать? Самое лучшее въ вашемъ положеніи — бѣжать отсюда. Но, къ сожалѣнію, это безполезно. Васъ задержатъ. Когда общество ограждаетъ себя отъ преступниковъ, психическихъ больныхъ и вообще неудобныхъ людей, то оно непобѣдимо. Вамъ остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребываніе здѣсь необходимо.

— Никому оно не нужно.

— Разъ существуютъ тюрьмы и сумасшедшіе дома, то долженъ же кто-нибудь сидѣть въ нихъ. Не вы — такъ я,

не я—такъ кто-нибудь третій. Погодите, когда въ далекомъ будущемъ закончатъ свое существованіе тюрьмы и сумасшедшіе дома, то не будетъ ни рѣшетокъ на окнахъ, ни халатовъ. Конечно, такое время рано или поздно настанетъ.

Иванъ Дмитричъ насмѣшливо улыбнулся.

— Вы шутите,—сказалъ онъ, щуря глаза.—Такимъ господамъ, какъ вы и вашъ помощникъ Никита, нѣтъ никакого дѣла до будущаго, но можете быть увѣрены, милостивый государь, настанутъ лучшія времена! Пусть я выражаюсь пошло, смѣйтесь, но возсіяетъ заря новой жизни, восторжествуетъ правда, и — на нашей улицѣ будетъ праздникъ! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Привѣтствую ихъ отъ всей души и радуюсь, радуюсь за нихъ! Впередъ! Помогай вамъ Богъ, друзья!

Иванъ Дмитричъ съ блестящими глазами поднялся и, протягивая руки къ окну, продолжалъ съ волненіемъ въ голосѣ:

— Изъ-за этихъ рѣшетокъ благословляю васъ! Да здравствуетъ правда! Радуюсь!

— Я не нахожу особенной причины радоваться, — сказалъ Андрей Ефимычъ, которому движеніе Ивана Дмитрича показалось театральнымъ и въ то же время очень понравилось. — Тюремъ и сумасшедшихъ домовъ не будетъ, и правда, какъ вы изволили выразиться, восторжествуетъ, но вѣдь сущность вещей не измѣнится, законы природы останутся все тѣ же. Люди будутъ болѣть, стариться и умирать такъ же, какъ и теперь. Какая бы великолѣпная заря ни освѣщала вашу жизнь, все же въ концѣ концовъ васъ заколотятъ въ гробъ и бросятъ въ яму.

— А безсмертіе?

— Э, полноте!

— Вы не вѣрите, ну, а я вѣрю. У Достоевскаго или у Вольтера кто-то говоритъ, что если бы не было Бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко вѣрю, что если нѣтъ безсмертія, то его рано или поздно изобрѣтетъ великій человѣческій умъ.

— Хорошо сказано,—проговорилъ Андрей Ефимычъ, улыбаясь отъ удовольствія.—Это хорошо, что вы вѣруете. Съ такою вѣрой можно жить припѣваючи даже замуравленному въ стѣнѣ. Вы изволили гдѣ-нибудь получить образованіе?

— Да, я былъ въ университетѣ, но не кончилъ.

— Вы мыслящій и вдумчивый человѣкъ. При всякой обстановкѣ вы можете находить успокоеніе въ самомъ себѣ. Свободное и глубокое мышленіе, которое стремится къ уразумѣнію жизни, и полное презрѣніе къ глупой суетѣ міра,— вотъ два блага, выше которыхъ никогда не зналъ человѣкъ. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя рѣшетками. Діогенъ жилъ въ бочкѣ, однако же былъ счастливѣе всѣхъ царей земныхъ.

— Вашъ Діогенъ былъ болванъ, — угрюмо проговорилъ Иванъ Дмитричъ. — Что вы мнѣ говорите про Діогена, да про какое-то уразумѣніе? — разсердился онъ вдругъ и вскочилъ. — Я люблю жизнь, люблю страстно! У меня манія преслѣдованія, постоянный мучительный страхъ, но бываютъ минуты, когда меня охватываетъ жажда жизни, и тогда я боюсь сойти съ ума. Ужасно хочу жить, ужасно!

Онъ въ волненіи прошелся по палатѣ и сказалъ, понизивъ голосъ:

— Когда я мечтаю, меня посѣщаютъ призраки. Ко мнѣ ходятъ какіе-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мнѣ, что я гуляю по какимъ-то лѣсамъ, по берегу моря, и мнѣ такъ страстно хочется суеты, заботы... Скажите мнѣ, ну, что тамъ новаго? — спросилъ Иванъ Дмитричъ. — Что тамъ?

— Вы про городъ желаете знать или вообще?

— Ну, сначала разскажите мнѣ про городъ, а потомъ вообще.

— Что жъ? Въ городѣ томительно скучно... Не съ кѣмъ слова сказать, не кого послушать. Новыхъ людей нѣтъ. Впрочемъ, пріѣхалъ недавно молодой врачъ Хоботовъ.

— Онъ еще при мнѣ пріѣхалъ. Что, хамъ?

— Да, некультурный человѣкъ. Странно, знаете ли... Судя по всему, въ нашихъ столицахъ нѣтъ умственнаго застоя, есть движеніе, — значитъ, должны быть тамъ и настоящіе люди, но почему-то всякій разъ оттуда присылаютъ къ намъ такихъ людей, что не глядѣлъ бы. Несчастный городъ!

— Да, несчастный городъ!—вздохнулъ Иванъ Дмитричъ и засмѣялся. — А вообще какъ? Что пишутъ въ газетахъ и журналахъ?

Въ палатѣ было уже темно. Докторъ поднялся и,

стоя, началъ разсказывать, что пишутъ за границей и въ Россіи, и какое замѣчается теперь направленіе мысли. Иванъ Дмитричъ внимательно слушалъ и задавалъ вопросы, но вдругъ, точно вспомнивъ что-то ужасное, хватилъ себя за голову и легъ на постель, спиной къ доктору.

— Что съ вами?—спросилъ Андрей Ефимычъ.

— Вы отъ меня не услышите больше ни одного слова!— грубо проговорилъ Иванъ Дмитричъ.—Оставьте меня!

— Отчего же?

— Говорю вамъ: оставьте! Какого дьявола?

Андрей Ефимычъ пожалъ плечами, вздохнулъ и вышелъ. Проходя черезъ сѣни, онъ сказалъ:

— Какъ бы здѣсь убрать, Никита... Ужасно тяжелый запахъ!

— Слушаю, ваше высокоблагородіе.

«Какой пріятный молодой человѣкъ! — думалъ Андрей Ефимычъ, идя къ себѣ на квартиру.—За все время, пока я тутъ живу, это, кажется, первый, съ которымъ можно поговорить. Онъ умѣетъ разсуждать и интересуется именно тѣмъ, чѣмъ нужно».

Читая и потомъ ложась спать, онъ все время думалъ объ Иванѣ Дмитричѣ, а проснувшись на другой день утромъ, вспомнилъ, что вчера познакомился съ умнымъ и интереснымъ человѣкомъ, и рѣшилъ сходить къ нему еще разъ при первой возможности.

## X.

Иванъ Дмитричъ лежалъ въ такой же позѣ, какъ вчера, обхвативъ голову руками и поджавъ ноги. Лица его не было видно.

— Здравствуйте, мой другъ, — сказалъ Андрей Ефимычъ.—Вы не спите?

— Во-первыхъ, я вамъ не другъ,—проговорилъ Иванъ Дмитричъ въ подушку:—а во-вторыхъ, вы напрасно хлопочете: вы не добьетесь отъ меня ни одного слова.

— Странно... — пробормоталъ Андрей Ефимычъ въ смущеніи. — Вчера мы бесѣдовали такъ мирно, но вдругъ вы почему-то обидѣлись и сразу оборвали... Вѣроятно, я выразился какъ-нибудь неловко или, быть-можетъ, высказалъ мысль, несогласную съ вашими убѣжденіями...

— Да, такъ я вамъ и повѣрю! — сказалъ Иванъ Дмитричъ, приподнимаясь и глядя на доктора насмѣшливо и

съ тревогой; глаза у него были красны. — Можете идти шпіонить и пытать въ другое мѣсто, а тутъ вамъ нечего дѣлать. Я еще вчера понялъ, зачѣмъ вы приходили.

— Странная фантазія!—усмѣхнулся докторъ.—Значитъ, вы полагаете, что я шпіонъ?

— Да, полагаю... Шпіонъ или докторъ, къ которому положили меня на испытаніе,—это все равно.

— Ахъ, какой вы, право, извините... чудакъ!

Докторъ сѣлъ на табуретъ возлѣ постели и укоризненно покачалъ головой.

— Но допустимъ, что вы правы, — сказалъ онъ. — Допустимъ, что я предательски ловлю васъ на словѣ, чтобы выдать полиціи. Васъ арестуютъ и потомъ судятъ. Но развѣ въ судѣ и въ тюрьмѣ вамъ будетъ хуже, чѣмъ здѣсь? А если сошлютъ на поселеніе и даже на каторгу, то развѣ это хуже, чѣмъ сидѣть въ этомъ флигелѣ? Полагаю, не хуже... Чего же бояться?

Видимо, эти слова подѣйствовали на Ивана Дмитрича. Онъ покойно сѣлъ.

Былъ пятый часъ вечера, — время, когда обыкновенно Андрей Ефимычъ ходитъ у себя по комнатамъ и Дарьюшка спрашиваетъ его, не пора ли ему пиво пить. На дворѣ была тихая, ясная погода.

— А я послѣ обѣда вышелъ прогуляться, да вотъ и зашелъ, какъ видите,—сказалъ докторъ.—Совсѣмъ весна.

— Теперь какой мѣсяцъ? Мартъ? — спросилъ Иванъ Дмитричъ.

— Да, конецъ марта.

— Грязно на дворѣ?

— Нѣтъ, не очень. Въ саду уже тропинки.

— Теперь бы хорошо проѣхаться въ коляскѣ куда-нибудь за городъ, — сказалъ Иванъ Дмитричъ, потирая свои красные глаза, точно съ просонокъ:—потомъ вернуться бы домой въ теплый, уютный кабинетъ и... и полѣчиться у порядочнаго доктора отъ головной боли... Давно уже я не жилъ по-человѣчески. А здѣсь гадко! Нестерпимо гадко!

Послѣ вчерашняго возбужденія онъ былъ утомленъ и вялъ и говорилъ неохотно. Пальцы у него дрожали и по лицу видно было, что у него сильно болѣла голова.

— Между теплымъ, уютнымъ кабинетомъ и этою палатой

нѣтъ никакой разницы,—сказалъ Андрей Ефимычъ.—Покой и довольство человѣка не внѣ его, а въ немъ самомъ.

— То-есть какъ?

— Обыкновенный человѣкъ ждетъ хорошаго или дурного извнѣ, то-есть отъ коляски и кабинета, а мыслящій—отъ самого себя.

— Идите, проповѣдуйте эту философію въ Греціи, гдѣ тепло и пахнетъ померанцемъ, а здѣсь она не по климату. Съ кѣмъ это я говорилъ о Діогенѣ? Съ вами, что ли?

— Да, вчера со мной.

— Діогенъ не нуждался въ кабинетѣ и въ тепломъ помѣщеніи; тамъ и безъ того жарко. Лежи себѣ въ бочкѣ, да кушай апельсины и оливки. А доведись ему въ Россіи жить, такъ онъ не то что въ декабрѣ, а въ маѣ запросился бы въ комнату. Небось, скрючило бы отъ холода.

— Нѣтъ. Холодъ, какъ и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Маркъ Аврелій сказалъ: «Боль есть живое представленіе о боли: сдѣлай усиліе воли, чтобъ измѣнить это представленіе, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнетъ». Это справедливо. Мудрецъ, или, попросту, мыслящій, вдумчивый человѣкъ отличается именно тѣмъ, что презираетъ страданіе; онъ всегда доволенъ и ничему не удивляется.

— Значитъ, я идіотъ, такъ какъ я страдаю, недоволенъ и удивляюсь человѣческой подлости.

— Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, какъ ничтожно все то внѣшнее, что волнуетъ насъ. Нужно стремиться къ уразумѣнію жизни, а въ немъ—истинное благо.

— Уразумѣніе...—поморщился Иванъ Дмитричъ.—Внѣшнее, внутреннее... Извините, я этого не понимаю. Я знаю только,—сказалъ онъ, вставая и сердито глядя на доктора:—я знаю, что Богъ создалъ меня изъ теплой крови и нервовъ, да-съ! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздраженіе. И я реагирую! На боль я отвѣчаю крикомъ и слезами, на подлость—негодованіемъ, на мерзость—отвращеніемъ. Помоему, это собственно и называется жизнью. Чѣмъ ниже организмъ, тѣмъ онъ менѣе чувствителенъ и тѣмъ слабѣе отвѣчаетъ на раздраженіе, и чѣмъ выше, тѣмъ онъ воспріимчивѣе и энергичнѣе реагируетъ на дѣйствительность.

Какъ не знать этого? Докторъ, а не знаетъ такихъ пустяковъ! Чтобы презирать страданіе, быть всегда довольнымъ и ничему не удивляться, нужно дойти вотъ до этакого состоянія, — и Иванъ Дмитричъ указалъ на толстаго, заплывшаго жиромъ мужика: — или же закалить себя страданіями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность къ нимъ, то-есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрецъ и не философъ, — продолжалъ Иванъ Дмитричъ съ раздраженіемъ: — и ничего я въ этомъ не понимаю. Я не въ состояніи разсуждать.

— Напротивъ, вы прекрасно разсуждаете.

— Стоики, которыхъ вы пародируете, были замѣчательные люди, но ученіе ихъ застыло еще двѣ тысячи лѣтъ назадъ и ни капли не подвинулось впередъ и не будетъ двигаться, такъ какъ оно не практично и не жизненно. Оно имѣло успѣхъ только у меньшинства, которое проводитъ свою жизнь въ штудированіи и смакованіи всякихъ ученій, большинство же не понимало его. Ученіе, проповѣдующее равнодушіе къ богатству, къ удобствамъ жизни, презрѣніе къ страданіямъ и смерти, совсѣмъ непонятно для громаднаго большинства, такъ какъ это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобствъ въ жизни, а презирать страданія значило бы для него презирать самую жизнь, такъ какъ все существо человѣка состоитъ изъ ощущеній голода, холода, обидъ, потерь и гамлетовскаго страха передъ смертью. Въ этихъ ощущеніяхъ вся жизнь: ею можно тяготиться, ненавидѣть ее, но не презирать. Да, такъ, повторяю, ученіе стоиковъ никогда не можетъ имѣть будущности, прогрессируютъ же, какъ видите, отъ начала вѣка до сегодня борьба, чуткость къ боли, способность отвѣчать на раздраженіе...

Иванъ Дмитричъ вдругъ потерялъ нить мыслей, остановился и досадливо потеръ лобъ.

— Хотѣлъ сказать что-то важное, да сбился, — сказалъ онъ. — О чемъ я? Да! Такъ вотъ я и говорю: кто-то изъ стоиковъ продалъ себя въ рабство затѣмъ, чтобы выкупить своего ближняго. Вотъ видите, значитъ, и стоикъ реагировалъ на раздраженіе, такъ какъ для такого великодушнаго акта, какъ уничтоженіе себя ради ближняго, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забылъ тутъ въ тюрьмѣ все, что училъ, а то бы еще что-нибудь вспомнилъ. А

Христа взять? Христосъ отвѣчалъ на дѣйствительность тѣмъ, что плакалъ, улыбался, печалился, гнѣвался, даже тосковалъ; Онъ не съ улыбкой шелъ навстрѣчу страданіямъ и не презиралъ смерти, а молился въ саду Геѳсиманскомъ, чтобы Его миновала чаша сія.

Иванъ Дмитричъ засмѣялся и сѣлъ.

— Положимъ, покой и довольство человѣка не внѣ его, а въ немъ самомъ,—сказалъ онъ.—Положимъ, нужно презирать страданія и ничему не удивляться. Но вы-то на какомъ основаніи проповѣдуете это? Вы мудрецъ? Философъ?

— Нѣтъ, я не философъ, но проповѣдывать это долженъ каждый, потому что это разумно.

— Нѣтъ, я хочу знать, почему вы въ дѣлѣ уразумѣнія, презрѣнія къ страданіямъ и прочее считаете себя компетентнымъ? Развѣ вы страдали когда-нибудь? Вы имѣете понятіе о страданіяхъ? Позвольте: васъ въ дѣтствѣ сѣкли?

— Нѣтъ, мои родители питали отвращеніе къ тѣлеснымъ наказаніямъ.

— А меня отецъ поролъ жестоко. Мой отецъ былъ крутой, геморроидальный чиновникъ, съ длиннымъ носомъ и съ желтою шеей. Но будемъ говорить о васъ. Во всю вашу жизнь до васъ никто не дотронулся пальцемъ, никто васъ не запугивалъ, не забивалъ; здоровы вы, какъ быкъ. Росли вы подъ крылышкомъ отца и учились на его счетъ, а потомъ сразу захватили синекуру. Больше двадцати лѣтъ вы жили на безплатной квартирѣ, съ отопленіемъ, съ освѣщеніемъ, съ прислугой, имѣя притомъ право работать, какъ и сколько вамъ угодно, хоть ничего не дѣлать. Отъ природы вы человѣкъ лѣнивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь такъ, чтобы васъ ничто не безпокоило и не двигало съ мѣста. Дѣла вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидѣли въ теплѣ, да въ тишинѣ, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышленіями о разной возвышенной чепухѣ и (Иванъ Дмитричъ посмотрѣлъ на красный носъ доктора) выпивахомъ. Однимъ словомъ, жизни вы не видѣли, не знаете ея совершенно, а съ дѣйствительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страданія и ничему не удивляетесь по очень простой причинѣ: суета-суетъ, внѣшнее и внутреннее, презрѣніе къ жизни, страданіямъ и смерти,

уразумѣніе, истинное благо, — все это философія, самая подходящая для россійскаго лежебока. Видите вы, напримѣръ, какъ мужикъ бьетъ жену. Зачѣмъ вступаться? Пускай бьетъ, все равно оба помрутъ рано или поздно; и бьющій къ тому же оскорбляетъ побоями не того, кого бьетъ, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить— умирать и не пить — умирать. Приходитъ баба, зубы болятъ... Ну, что жъ? Боль есть представленіе о боли и къ тому же безъ болѣзней не проживешь на этомъ свѣтѣ, всѣ помремъ, а потому ступай баба прочь, не мѣшай мнѣ мыслить и водку пить. Молодой человѣкъ проситъ совѣта, что̀ дѣлать, какъ жить; прежде чѣмъ отвѣтить, другой бы задумался, а тутъ ужъ готовъ отвѣтъ: стремись къ уразумѣнію или къ истинному благу. А что такое это фантастическое «истинное благо»? Отвѣта нѣтъ, конечно. Насъ держатъ здѣсь за рѣшеткой, гноятъ, истязуютъ, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатой и теплымъ, уютнымъ кабинетомъ нѣтъ никакой разницы. Удобная философія: и дѣлать нечего, и совѣсть чиста, и мудрецомъ себя чувствуешь... Нѣтъ, сударь, это не философія, не мышленіе, не широта взгляда, а лѣнь, факирство, сонная одурь... Да!—опять разсердился Иванъ Дмитричъ.— Страданія презираете, а небось прищеми вамъ дверью палецъ, такъ заорете во все горло!

— А, можетъ, и не заору, — сказалъ Андрей Ефимычъ, кротко улыбаясь.

— Да, какъ же! А вотъ, если бы васъ трахнулъ параличъ или, положимъ, какой-нибудь дуракъ и наглецъ, пользуясь своимъ положеніемъ и чиномъ, оскорбилъ васъ публично и вы знали бы, что это пройдетъ ему безнаказанно, — ну, тогда бы вы поняли, какъ это отсылать другихъ къ уразумѣнію и истинному благу.

— Это оригинально,—сказалъ Андрей Ефимычъ, смѣясь отъ удовольствія и потирая руки. — Меня пріятно поражаетъ въ васъ склонность къ обобщеніямъ, а моя характеристика, которую вы только-что изволили сдѣлать, просто блестяща. Признаться, бесѣда съ вами доставляетъ мнѣ громадное удовольствіе. Ну-съ, я васъ выслушалъ, теперь и вы благоволите выслушать меня...

## XI.

Этотъ разговоръ продолжался еще около часа и, повидимому, произвелъ на Андрея Ефимыча глубокое впечатлѣніе. Онъ сталъ ходить во флигель каждый день. Ходилъ онъ туда по утрамъ и послѣ обѣда, и часто вечерняя темнота заставала его въ бесѣдѣ съ Иваномъ Дмитричемъ. Въ первое время Иванъ Дмитричъ дичился его, подозрѣвалъ въ зломъ умыслѣ и откровенно выражалъ свою непріязнь, потомъ же привыкъ къ нему и свое рѣзкое обращеніе смѣнилъ на снисходительно-ироническое.

Скоро по больницѣ разнесся слухъ, что докторъ Андрей Ефимычъ сталъ посѣщать палату № 6. Никто—ни фельдшеръ, ни Никита, ни сидѣлки не могли понять, зачѣмъ онъ ходилъ туда, зачѣмъ просиживалъ тамъ по цѣлымъ часамъ, о чемъ разговаривалъ и почему не прописывалъ рецептовъ. Поступки его казались странными. Михаилъ Аверьянычъ часто не заставалъ его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, такъ какъ докторъ пилъ пиво уже не въ опредѣленное время и иногда даже запаздывалъ къ обѣду.

Однажды, это было уже въ концѣ іюня, докторъ Хоботовъ пришелъ по какому-то дѣлу къ Андрею Ефимычу; не заставъ его дома, онъ отправился искать его по двору; тутъ ему сказали, что старый докторъ пошелъ къ душевнобольнымъ. Войдя во флигель и остановившись въ сѣняхъ, Хоботовъ услышалъ такой разговоръ:

— Мы никогда не споемся, и обратить меня въ свою вѣру вамъ не удастся,—говорилъ Иванъ Дмитричъ съ раздраженіемъ.—Съ дѣйствительностью вы совершенно не знакомы и никогда вы не страдали, а только, какъ пьявица, кормились около чужихъ страданій, я же страдалъ непрерывно со дня рожденія до сегодня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше васъ и компетентнѣе во всѣхъ отношеніяхъ. Не вамъ учить меня.

— Я совсѣмъ не имѣю претензіи обращать васъ въ свою вѣру,—проговорилъ Андрей Ефимычъ тихо и съ сожалѣніемъ, что его не хотятъ понять.—И не въ этомъ дѣло, мой другъ. Дѣло не въ томъ, что вы страдали, а я нѣтъ. Страданія и радости преходящи; оставимъ ихъ, Богъ съ ними. А дѣло въ томъ, что мы съ вами мыслимъ; мы

видимъ другъ въ другѣ людей, которые способны мыслить и разсуждать, и это дѣлаетъ насъ солидарными, какъ бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, другъ мой, какъ надоѣли мнѣ всеобщее безуміе, бездарность, тупость, и съ какою радостью я всякій разъ бесѣдую съ вами! Вы умный человѣкъ, и я наслаждаюсь вами.

Хоботовъ отворилъ на вершокъ дверь и взглянулъ въ палату; Иванъ Дмитричъ въ колпакѣ и докторъ Андрей Ефимычъ сидѣли рядомъ на постели. Сумасшедшій гримасничалъ, вздрагивалъ и судорожно запахивался въ халатъ, а докторъ сидѣлъ неподвижно, опустивъ голову, и лицо у него было красное, безпомощное, грустное. Хоботовъ пожалъ плечами, усмѣхнулся и переглянулся съ Никитой. Никита тоже пожалъ плечами.

На другой день Хоботовъ приходилъ во флигель вмѣстѣ съ фельдшеромъ. Оба стояли въ сѣняхъ и подслушивали.

— А нашъ дѣдъ, кажется, совсѣмъ сдрефилъ!—сказалъ Хоботовъ, выходя изъ флигеля.

— Господи, помилуй насъ, грѣшныхъ!—вздохнулъ благолѣпный Сергѣй Сергѣичъ, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своихъ ярко вычищенныхъ сапоговъ.— Признаться, уважаемый Евгеній Ѳедорычъ, я давно уже ожидалъ этого!

## XII.

Послѣ этого Андрей Ефимычъ сталъ замѣчать кругомъ какую-то таинственность. Мужики, сидѣлки и больные при встрѣчѣ съ нимъ вопросительно взглядывали на него и потомъ шептались. Дѣвочка Маша, дочь смотрителя, которую онъ любилъ встрѣчать въ больничномъ саду, теперь, когда онъ съ улыбкой подходилъ къ ней, чтобы погладить ее по головкѣ, почему-то убѣгала отъ него. Почтмейстеръ Михаилъ Аверьянычъ, слушая его, уже не говорилъ: «Совершенно вѣрно», а въ непонятномъ смущеніи бормоталъ: «да, да, да...» и глядѣлъ на него задумчиво и печально; почему-то онъ сталъ совѣтовать своему другу оставить водку и пиво, но при этомъ, какъ человѣкъ деликатный, говорилъ не прямо, а намеками, разсказывая то про одного батальоннаго командира, отличнаго человѣка, то про полкового священника, славнаго малаго, которые пили и заболѣли, но, бросивъ пить, совершенно выздоровѣли. Два-три

раза приходилъ къ Андрею Ефимычу коллега Хоботовъ; онъ тоже совѣтовалъ оставить спиртные напитки и безъ всякаго видимаго повода рекомендовалъ принимать бромистый калій.

Въ августѣ Андрей Ефимычъ получилъ отъ городского головы письмо съ просьбой пожаловать по очень важному дѣлу. Придя въ назначенное время въ управу, Андрей Ефимычъ засталъ тамъ воинскаго начальника, штатнаго смотрителя уѣзднаго училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полнаго, бѣлокураго господина, котораго представили ему какъ доктора. Этотъ докторъ, съ польскою, трудно выговариваемою фамиліей, жилъ въ тридцати верстахъ отъ города, на конскомъ заводѣ и былъ теперь въ городѣ проѣздомъ.

— Тутъ заявленьице по вашей части-съ, — обратился членъ управы къ Андрею Ефимычу послѣ того, какъ всѣ поздоровались и сѣли за столъ. — Вотъ Евгеній Ѳедорычъ говорятъ, что аптекѣ тѣсновато въ главномъ корпусѣ и что ее надо бы перевести въ одинъ изъ флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина — флигель ремонту захочетъ.

— Да, безъ ремонта не обойтись, — сказалъ Андрей Ефимычъ, подумавъ. — Если, напримѣръ, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится minimum рублей пятьсотъ. Расходъ непроизводительный.

Немного помолчали.

— Я уже имѣлъ честь докладывать десять лѣтъ назадъ, — продолжалъ Андрей Ефимычъ тихимъ голосомъ: — что эта больница въ настоящемъ ея видѣ является для города роскошью не по средствамъ. Строилась она въ сороковыхъ годахъ, но вѣдь тогда были не тѣ средства. Городъ слишкомъ много затрачиваетъ на ненужныя постройки и лишнія должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы, при другихъ порядкахъ, содержать двѣ образцовыя больницы.

— Такъ вотъ и давайте заводить другіе порядки! — живо сказалъ членъ управы.

— Я уже имѣлъ честь докладывать: передайте медицинскую часть въ вѣдѣніе земства.

— Да, передайте земству деньги, а оно украдетъ, — засмѣялся бѣлокурый докторъ.

— Это какъ водится,—согласился членъ управы, и тоже засмѣялся.

Андрей Ефимычъ вяло и тускло посмотрѣлъ на бѣлокураго доктора и сказалъ:

— Надо быть справедливымъ.

Опять помолчали. Подали чай. Воинскій начальникъ, почему-то очень смущенный, черезъ столъ дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказалъ:

— Совсѣмъ вы насъ забыли, докторъ. Впрочемъ, вы монахъ: въ карты не играете, женщинъ не любите. Скучно вамъ съ нашимъ братомъ.

Всѣ заговорили о томъ, какъ скучно порядочному человѣку жить въ этомъ городѣ. Ни театра, ни музыки, а на послѣднемъ танцовальномъ вечерѣ въ клубѣ было около двадцати дамъ и только два кавалера. Молодежь не танцуетъ, а все время толпится около буфета или играетъ въ карты. Андрей Ефимычъ медленно и тихо, ни на кого не глядя, сталъ говорить о томъ, какъ жаль, какъ глубоко жаль, что горожане тратятъ свою жизненную энергію, свое сердце и умъ на карты и сплетни, а не умѣютъ и не хотятъ проводить время въ интересной бесѣдѣ и въ чтеніи, не хотятъ пользоваться наслажденіями, какія даетъ умъ. Только одинъ умъ интересенъ и замѣчателенъ, все же остальное мелко и низменно. Хоботовъ внимательно слушалъ своего коллегу и вдругъ спросилъ:

— Андрей Ефимычъ, какое сегодня число?

Получивъ отвѣтъ, онъ и бѣлокурый докторъ тономъ экзаменаторовъ, чувствующихъ свою неумѣлость, стали спрашивать у Андрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько дней въ году и правда ли, что въ палатѣ № 6 живетъ замѣчательный пророкъ.

Въ отвѣтъ на послѣдній вопросъ Андрей Ефимычъ покраснѣлъ и сказалъ:

— Да, это больной, но интересный молодой человѣкъ.

Больше ему не задавали никакихъ вопросовъ.

Когда онъ въ передней надѣвалъ пальто, воинскій начальникъ положилъ руку ему на плечо и сказалъ со вздохомъ:

— Намъ, старикамъ, на отдыхъ пора!

Выйдя изъ управы, Андрей Ефимычъ понялъ, что это была комиссія, назначенная для освидѣтельствованія его

умственныхъ способностей. Онъ вспомнилъ вопросы, которые задавали ему, покраснѣлъ и почему-то теперь первый разъ въ жизни ему стало горько жаль медицину.

«Боже мой,—думалъ онъ, вспоминая, какъ врачи только что изслѣдовали его:—вѣдь они такъ недавно слушали психіатрію, держали экзаменъ—откуда же это круглое невѣжество? Они понятія не имѣютъ о психіатріи!»

И въ первый разъ въ жизни онъ почувствовалъ себя оскорбленнымъ и разсерженнымъ.

Въ тотъ же день вечеромъ у него былъ Михаилъ Аверьянычъ. Не здороваясь, почтмейстеръ подошелъ къ нему, взялъ его за обѣ руки и сказалъ взволнованнымъ голосомъ:

— Дорогой мой, другъ мой, докажите мнѣ, что вы вѣрите въ мое искреннее расположеніе и считаете меня своимъ другомъ... Другъ мой!—и, мѣшая говорить Андрею Ефимычу, онъ продолжалъ, волнуясь: — Я люблю васъ за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязываютъ докторовъ скрывать отъ васъ правду, но я по-военному рѣжу правду-матку: вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, но это правда, это давно уже замѣтили всѣ окружающіе. Сейчасъ мнѣ докторъ Евгеній Ѳедорычъ говорилъ, что для пользы вашего здоровья вамъ необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно вѣрно! Превосходно! На сихъ дняхъ я беру отпускъ и уѣзжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мнѣ другъ, поѣдемъ вмѣстѣ! Поѣдемъ, тряхнемъ стариной.

— Я чувствую себя совершенно здоровымъ, — сказалъ Андрей Ефимычъ, подумавъ.—Ѣхать же не могу. Позвольте мнѣ какъ-нибудь иначе доказать вамъ свою дружбу.

Ѣхать куда-то, неизвѣстно зачѣмъ, безъ книгъ, безъ Дарьюшки, безъ пива, рѣзко нарушить порядокъ жизни, установившійся за 20 лѣтъ,—такая идея въ первую минуту показалась ему дикою и фантастическою. Но онъ вспомнилъ разговоръ, бывшій въ управѣ, и тяжелое настроеніе, какое онъ испыталъ, возвращаясь изъ управы домой, и мысль уѣхать ненадолго изъ города, гдѣ глупые люди считаютъ его сумасшедшимъ, улыбнулась ему.

— А вы собственно куда намѣрены ѣхать? — спросилъ онъ.

— Въ Москву, въ Петербургъ, въ Варшаву... Въ Вар-

шавѣ я провелъ пять счастливѣйшихъ лѣтъ моей жизни. Что за городъ изумительный! Ѣдемте, дорогой мой!

## XIII.

Черезъ недѣлю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то-есть подать въ отставку, къ чему онъ отнесся равнодушно, а еще черезъ недѣлю онъ и Михаилъ Аверьянычъ уже сидѣли въ почтовомъ тарантасѣ и ѣхали на ближайшую желѣзнодорожную станцію. Дни были прохладные, ясные, съ голубымъ небомъ и съ прозрачною далью. Двѣсти верстъ до станціи проѣхали въ двое сутокъ и по пути два раза ночевали. Когда на почтовыхъ станціяхъ подавали къ чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаилъ Аверьянычъ багровѣлъ, трясся всѣмъ тѣломъ и кричалъ: «Замолчать! не разсуждать!» А сидя въ тарантасѣ, онъ, не переставая ни на минуту, разсказывалъ о своихъ поѣздкахъ по Кавказу и Царству Польскому. Сколько было приключеній, какія встрѣчи! Онъ говорилъ громко и при этомъ дѣлалъ такіе удивленные глаза, что можно было подумать, что онъ лгалъ. Вдобавокъ, разсказывая, онъ дышалъ въ лицо Андрею Ефимычу и хохоталъ ему въ ухо. Это стѣсняло доктора и мѣшало ему думать и сосредоточиться.

По желѣзной дорогѣ ѣхали изъ экономіи въ третьемъ классѣ, въ вагонѣ для некурящихъ. Публика на-половину была чистая. Михаилъ Аверьянычъ скоро со всѣми перезнакомился и, переходя отъ скамьи къ скамьѣ, громко говорилъ, что не слѣдуетъ ѣздить по этимъ возмутительнымъ дорогамъ. Кругомъ мошенничество! То ли дѣло верхомъ на конѣ: отмахаешь въ одинъ день сто верстъ и потомъ чувствуешь себя здоровымъ и свѣжимъ. А неурожаи у насъ оттого, что осушили Пинскія болота. Вообще безпорядки страшные. Онъ горячился, говорилъ громко и не давалъ говорить другимъ. Эта безконечная болтовня въ перемежку съ громкимъ хохотомъ и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча.

«Кто изъ насъ обоихъ сумасшедшій?—думалъ онъ съ досадой.—Я ли, который стараюсь ничѣмъ не обезпокоить пассажировъ, или этотъ эгоистъ, который думаетъ, что онъ здѣсь умнѣе и интереснѣе всѣхъ, и оттого никому не даетъ покоя?»

Въ Москвѣ Михаилъ Аверьянычъ надѣлъ военный сюртукъ безъ погоновъ и панталоны съ красными кантами. На улицѣ онъ ходилъ въ военной фуражкѣ и въ шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это былъ человѣкъ, который изъ всего барскаго, которое у него когда-то было, промоталъ все хорошее и оставилъ себѣ одно только дурное. Онъ любилъ, чтобъ ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали передъ нимъ на столѣ, и онъ ихъ видѣлъ, но кричалъ человѣку, чтобы тотъ подалъ ему спички; при горничной онъ не стѣснялся ходить въ одномъ нижнемъ бѣльѣ; лакеямъ всѣмъ безъ разбора, даже старикамъ, говорилъ ты и, осердившись, величалъ ихъ болванами и дураками. Это, какъ казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко.

Прежде всего Михаилъ Аверьянычъ повелъ своего друга къ Иверской. Онъ молился горячо, съ земными поклонами и со слезами, и когда кончилъ, глубоко вздохнулъ и сказалъ:

— Хоть и не вѣришь, но оно какъ-то покойнѣе, когда помолишься. Приложитесь, голубчикъ.

Андрей Ефимычъ сконфузился и приложился къ образу, а Михаилъ Аверьянычъ вытянулъ губы и, покачивая головой, помолился шопотомъ, и опять у него на глазахъ навернулись слезы. Затѣмъ пошли въ Кремль и посмотрѣли тамъ на царь-пушку и царь-колоколъ, и даже пальцами ихъ потрогали, полюбовались видомъ на Замоскворѣчье, побывали въ храмѣ Спасителя и въ Румянцевскомъ музеѣ.

Обѣдали они у Тѣстова. Михаилъ Аверьянычъ долго смотрѣлъ въ меню, разглаживая бакены, и сказалъ тономъ гурмана, привыкшаго чувствовать себя въ ресторанахъ какъ дома:

— Посмотримъ, чѣмъ вы насъ сегодня покормите, ангелъ!

## XIV.

Докторъ ходилъ, смотрѣлъ, ѣлъ, пилъ, но чувство у него было одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотѣлось отдохнуть отъ друга, уйти отъ него, спрятаться, а другъ считалъ своимъ долгомъ не отпускать его ни на шагъ отъ себя и доставлять ему возможно больше развлеченій. Когда не на что было смотрѣть, онъ развлекалъ его разговорами.

Два дня терпѣлъ Андрей Ефимычъ, но на третій объявилъ своему другу, что онъ боленъ и хочетъ остаться на весь день дома. Другъ сказалъ, что въ такомъ случаѣ и онъ остается. Въ самомъ дѣлѣ, надо отдохнуть, а то этакъ ногъ не хватитъ. Андрей Ефимычъ легъ на диванъ, лицомъ къ спинкѣ и, стиснувъ зубы, слушалъ своего друга, который горячо увѣрялъ его, что Франція рано или поздно непремѣнно разобьетъ Германію, что въ Москвѣ очень много мошенниковъ и что по наружному виду лошади нельзя судить о ея достоинствахъ. У доктора начались шумъ въ ушахъ и сердцебіеніе, но попросить друга уйти или помолчать онъ изъ деликатности не рѣшался. Къ счастію, Михаилу Аверьянычу наскучило сидѣть въ номерѣ, и онъ послѣ обѣда ушелъ прогуляться.

Оставшись одинъ, Андрей Ефимычъ предался чувству отдыха. Какъ пріятно лежать неподвижно на диванѣ и сознавать, что ты одинъ въ комнатѣ! Истинное счастіе невозможно безъ одиночества. Падшій ангелъ измѣнилъ Богу, вѣроятно потому, что захотѣлъ одиночества, котораго не знаютъ ангелы. Андрей Ефимычъ хотѣлъ думать о томъ, что онъ видѣлъ и слышалъ въ послѣдніе дни, но Михаилъ Аверьянычъ не выходилъ у него изъ головы.

«А вѣдь онъ взялъ отпускъ и поѣхалъ со мной изъ дружбы, изъ великодушія,—думалъ докторъ съ досадой.— Хуже нѣтъ ничего, какъ эта дружеская опека. Вѣдь, вотъ, кажется, и добръ, и великодушенъ, и весельчакъ, а скученъ. Нестерпимо скученъ. Такъ же вотъ бываютъ люди, которые всегда говорятъ одни только умныя и хорошія слова, но чувствуешь, что они тупые люди».

Въ слѣдующіе затѣмъ дни Андрей Ефимычъ сказывался больнымъ и не выходилъ изъ номера. Онъ лежалъ лицомъ къ спинкѣ дивана и томился, когда другъ развлекалъ его разговорами, или же отдыхалъ, когда другъ отсутствовалъ. Онъ досадовалъ на себя за то, что поѣхалъ, и на друга, который съ каждымъ днемъ становился все болтливѣе и развязнѣе; настроить свои мысли на серьезный, возвышенный ладъ ему никакъ не удавалось.

«Это меня пробираетъ дѣйствительность, о которой говорилъ Иванъ Дмитричъ,—думалъ онъ сердясь на свою мелочность. — Впрочемъ, вздоръ... Пріѣду домой и все пойдетъ по-старому»...

И въ Петербургѣ то же самое: онъ по цѣлымъ днямъ не выходилъ изъ номера, лежалъ на диванѣ и вставалъ только затѣмъ, чтобы выпить пива.

Михаилъ Аверьянычъ все время торопилъ ѣхать въ Варшаву.

— Дорогой мой, зачѣмъ я туда поѣду?—говорилъ Андрей Ефимычъ умоляющимъ голосомъ.—Поѣзжайте одни, а мнѣ позвольте ѣхать домой! Прошу васъ!

— Ни подъ какимъ видомъ! — протестовалъ Михаилъ Аверьянычъ. — Это изумительный городъ. Въ немъ я провелъ пять счастливѣйшихъ лѣтъ моей жизни!

У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своемъ, и онъ, скрѣпя сердце, поѣхалъ въ Варшаву. Тутъ онъ не выходилъ изъ номера, лежалъ на диванѣ и злился на себя, на друга и на лакеевъ, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаилъ Аверьянычъ, по обыкновенію, здоровый, бодрый и веселый, съ утра до вечера гулялъ по городу и разыскивалъ своихъ старыхъ знакомыхъ. Нѣсколько разъ онъ не ночевалъ дома. Послѣ одной ночи, проведенной неизвѣстно гдѣ, онъ вернулся домой рано утромъ въ сильно возбужденномъ состояніи, красный и непричесанный. Онъ долго ходилъ изъ угла въ уголъ, что-то бормоча про себя, потомъ остановился и сказалъ:

— Честь прежде всего!

Походивъ еще немного, онъ схватилъ себя за голову и произнесъ трагическимъ голосомъ:

— Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мнѣ впервые пришло въ голову ѣхать въ этотъ Вавилонъ! Дорогой мой—обратился онъ къ доктору,—презирайте меня: я проигрался! Дайте мнѣ пятьсотъ рублей!

Андрей Ефимычъ отсчиталъ пятьсотъ рублей и молча отдалъ ихъ своему другу. Тотъ, все еще багровый отъ стыда и гнѣва, безсвязно произнесъ какую-то ненужную клятву, надѣлъ фуражку и вышелъ. Вернувшись часа черезъ два, онъ повалился въ кресло, громко вздохнулъ и сказалъ:

— Честь спасена! Ѣдемте, мой другъ! Ни одной минуты я не желаю остаться въ этомъ проклятомъ городѣ. Мошенники! Австрійскіе шпіоны!

Когда пріятели вернулись въ свой городъ, былъ уже

ноябрь и на улицахъ лежалъ глубокій снѣгъ. Мѣсто Андрея Ефимыча занималъ докторъ Хоботовъ; онъ жилъ еще на старой квартирѣ, въ ожиданіи, когда Андрей Ефимычъ пріѣдетъ и очиститъ больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую онъ называлъ своею кухаркой, уже жила въ одномъ изъ флигелей.

По городу ходили новыя больничныя сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со смотрителемъ и этотъ будто бы ползалъ передъ нею на колѣняхъ, прося прощенія.

Андрею Ефимычу въ первый же день по пріѣздѣ пришлось отыскивать себѣ квартиру.

— Другъ мой,—сказалъ ему робко почтмейстеръ:—извините за нескромный вопросъ: какими средствами вы располагаете?

Андрей Ефимычъ молча сосчиталъ свои деньги и сказалъ:

— Восемьдесятъ шесть рублей.

— Я не о томъ спрашиваю,—проговорилъ въ смущеніи Михаилъ Аверьянычъ, не понявъ доктора.—Я спрашиваю, какія у васъ средства вообще?

— Я же и говорю вамъ: восемьдесятъ шесть рублей... Больше у меня ничего нѣтъ.

Михаилъ Аверьянычъ считалъ доктора честнымъ и благороднымъ человѣкомъ, но все-таки подозрѣвалъ, что у него есть капиталъ по крайней мѣрѣ тысячъ въ двадцать. Теперь же, узнавъ, что Андрей Ефимычъ нищій, что ему нечѣмъ жить, онъ почему-то вдругъ заплакалъ и обнялъ своего друга.

## XV.

Андрей Ефимычъ жилъ въ трехъоконномъ домикѣ мѣщанки Бѣловой. Въ этомъ домикѣ было только три комнаты, не считая кухни. Двѣ изъ нихъ, съ окнами на улицу, занималъ докторъ, а въ третьей и въ кухнѣ жили Дарьюшка и мѣщанка съ тремя дѣтьми. Иногда къ хозяйкѣ приходилъ ночевать любовникъ, пьяный мужикъ, бушевавшій по ночамъ и наводившій на дѣтей и на Дарьюшку ужасъ. Когда онъ приходилъ, и усѣвшись на кухнѣ, начиналъ требовать водки, всѣмъ становилось очень тѣсно, и докторъ изъ жалости бралъ къ себѣ плачущихъ дѣтей, укладывалъ

ихъ у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствіе.

Вставалъ онъ попрежнему въ восемь часовъ и послѣ чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денегъ. Оттого ли, что книги были старыя, или, быть-можетъ, отъ перемѣны обстановки, чтеніе уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени въ праздности, онъ составлялъ подробный каталогъ своимъ книгамъ и приклеивалъ къ ихъ корешкамъ билетики, и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснѣе, чѣмъ чтеніе. Однообразная кропотливая работа какимъ-то непонятнымъ образомъ убаюкивала его мысли, онъ ни о чемъ не думалъ, и время проходило быстро. Даже сидѣть въ кухнѣ и чистить съ Дарьюшкой картофель или выбирать соръ изъ гречневой крупы ему казалось интересно. По субботамъ и воскресеньямъ онъ ходилъ въ церковь. Стоя около стѣны и зажмуривъ глаза, онъ слушалъ пѣніе и думалъ объ отцѣ, о матери, объ университетѣ, о религіяхъ; ему было покойно, грустно, и потомъ, уходя изъ церкви, онъ жалѣлъ, что служба такъ скоро кончилась.

Онъ два раза ходилъ въ больницу къ Ивану Дмитричу, чтобы поговорить съ нимъ. Но въ оба раза Иванъ Дмитричъ былъ необыкновенно возбужденъ и золъ; онъ просилъ оставить его въ покоѣ, такъ какъ ему давно уже надоѣла пустая болтовня, и говорилъ, что у проклятыхъ подлыхъ людей онъ за всѣ страданія проситъ только одной награды—одиночнаго заключенія. Неужели даже въ этомъ ему отказываютъ? Когда Андрей Ефимычъ прощался съ нимъ въ оба раза и желалъ покойной ночи, то онъ огрызался и говорилъ:

— Къ чорту!

И Андрей Ефимычъ не зналъ теперь, пойти ему въ третій разъ или нѣтъ. А пойти хотѣлось.

Прежде въ послѣобѣденное время Андрей Ефимычъ ходилъ по комнатамъ и думалъ, теперь же онъ отъ обѣда до вечерняго чая лежалъ на диванѣ лицомъ къ спинкѣ и предавался мелочнымъ мыслямъ, которыхъ никакъ не могъ побороть. Ему было обидно, что за его больше чѣмъ двадцатилѣтнюю службу ему не дали ни пенсіи, ни единовременнаго пособія. Правда, онъ служилъ не честно, но вѣдь

пенсію получаютъ всѣ служащіе безъ различія, честны они или нѣтъ. Современная справедливость и заключается именно въ томъ, что чинами, орденами и пенсіями награждаются не нравственныя качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же онъ одинъ долженъ составлять исключеніе? Денегъ у него совсѣмъ не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядѣть на хозяйку. За пиво должны уже 32 рубля. Мѣщанкѣ Бѣловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продаетъ старыя платья и книги и лжетъ хозяйкѣ, что скоро докторъ получитъ очень много денегъ.

Онъ сердился на себя за то, что истратилъ на путешествіе тысячу рублей, которая у него была скоплена. Какъ бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляютъ въ покоѣ люди. Хоботовъ считалъ своимъ долгомъ изрѣдка навѣщать больного коллегу. Все было въ немъ противно Андрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный тонъ, и слово «коллега», и высокіе сапоги; самое же противное было то, что онъ считалъ своею обязанностью лѣчить Андрея Ефимыча и думалъ, что въ самомъ дѣлѣ лѣчитъ. Въ каждое свое посѣщеніе онъ приносилъ стклянку съ бромистымъ каліемъ и пилюли изъ ревеня.

И Михаилъ Аверьянычъ тоже считалъ своимъ долгомъ навѣщать друга и развлекать его. Всякій разъ онъ входилъ къ Андрею Ефимычу съ напускною развязностью, принужденно хохоталъ и начиналъ увѣрять его, что онъ сегодня прекрасно выглядитъ и что дѣла, слава Богу, идутъ на поправку, и изъ этого можно было заключить, что положеніе своего друга онъ считалъ безнадежнымъ. Онъ не выплатилъ еще своего варшавскаго долга и былъ удрученъ тяжелымъ стыдомъ, былъ напряженъ и потому старался хохотать громче и разсказывать смѣшнѣе. Его анекдоты и разсказы казались теперь безконечными и были мучительны и для Андрея Ефимыча, и для него самого.

Въ его присутствіи Андрей Ефимычъ ложился обыкновенно на диванъ лицомъ къ стѣнѣ и слушалъ, стиснувъ зубы; на душу его пластами ложилась накипь, и послѣ каждаго посѣщенія друга онъ чувствовалъ, что накипь эта становится все выше и словно подходитъ къ горлу.

Чтобы заглушить мелочныя чувства, онъ спѣшилъ ду-

кать о томъ, что и онъ самъ, и Хоботовъ, и Михаилъ Аверьянычъ должны рано или поздно погибнуть, не оставивъ въ природѣ даже отпечатка. Если вообразить, что черезъ милліонъ лѣтъ мимо земного шара пролетитъ въ пространствѣ какой-нибудь духъ, то онъ увидитъ только глину и голые утесы. Все — и культура, и нравственный законъ—пропадетъ и даже лопухомъ не порастетъ. Что же значатъ стыдъ передъ лавочникомъ, ничтожный Хоботовъ, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздоръ и пустяки.

Но такія разсужденія уже не помогали. Едва онъ воображалъ земной шаръ черезъ милліонъ лѣтъ, какъ изъ-за голаго утеса показывался Хоботовъ въ высокихъ сапогахъ или напряженно хохочущій Михаилъ Аверьянычъ и даже слышался стыдливый шопотъ: «А варшавскій долгъ, голубчикъ, возвращу на этихъ дняхъ... Непремѣнно».

## XVI.

Однажды Михаилъ Аверьянычъ пришелъ послѣ обѣда, когда Андрей Ефимычъ лежалъ на диванѣ. Случилось такъ, что въ это же время явился и Хоботовъ съ бромистымъ каліемъ. Андрей Ефимычъ тяжело поднялся, сѣлъ и уперся обѣими руками о диванъ.

— А сегодня, дорогой мой,—началъ Михаилъ Аверьянычъ:—у васъ цвѣтъ лица гораздо лучше, чѣмъ вчера. Да вы молодцомъ! Ей-Богу, молодцомъ!

— Пора, пора поправляться, коллега, — сказалъ Хоботовъ зѣвая.—Небось, вамъ самимъ надоѣла эта канитель.

— И поправимся! — весело сказалъ Михаилъ Аверьянычъ.—Еще лѣтъ сто жить будемъ! Такъ-тось!

— Сто не сто, а на двадцать еще хватитъ, — утѣшалъ Хоботовъ.—Ничего, ничего, коллега, не унывайте... Будетъ вамъ тѣнь наводить.

— Мы еще покажемъ себя!—захохоталъ Михаилъ Аверьянычъ и похлопалъ друга по колѣну. — Мы еще покажемъ! Будущимъ лѣтомъ, Богъ дастъ, махнемъ на Кавказъ и весь его верхомъ объѣдемъ—гопъ! гопъ! гопъ! А съ Кавказа вернемся, гляди, чего добраго, на свадьбѣ гулять будемъ.—Михаилъ Аверьянычъ лукаво подмигнулъ глазомъ.— Женимъ васъ, дружка милаго... женимъ...

Андрей Ефимычъ вдругъ почувствовалъ, что накипь подходитъ къ горлу; у него страшно забилось сердце.

— Это пошло! — сказалъ онъ, быстро вставая и отходя къ окну. — Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?

Онъ хотѣлъ продолжать мягко и вѣжливо, но противъ воли вдругъ сжалъ кулаки и поднялъ ихъ выше головы.

— Оставьте меня! — крикнулъ онъ не своимъ голосомъ, багровѣя и дрожа всѣмъ тѣломъ.—Вонъ! Оба вонъ, оба!

Михаилъ Аверьянычъ и Хоботовъ встали и уставились на него сначала съ недоумѣніемъ, потомъ со страхомъ.

— Оба вонъ!—продолжалъ кричать Андрей Ефимычъ.— Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мнѣ ни дружбы, ни твоихъ лѣкарствъ, тупой человѣкъ! Пошлость! Гадость!

Хоботовъ и Михаилъ Аверьянычъ, растерянно переглядываясь, попятились къ двери и вышли въ сѣни. Андрей Ефимычъ схватилъ стклянку съ бромистымъ каліемъ и швырнулъ имъ вслѣдъ; стклянка со звономъ разбилась о порогъ.

— Убирайтесь къ чорту!—крикнулъ онъ плачущимъ голосомъ, выбѣгая въ сѣни.—Къ чорту!

По уходѣ гостей, Андрей Ефимычъ, дрожа какъ въ лихорадкѣ, легъ на диванъ и долго еще повторялъ:

— Тупые люди! Глупые люди!

Когда онъ успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бѣдному Михаилу Аверьянычу теперь, должно-быть, страшно стыдно и тяжело на душѣ, и что все это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобнаго. Гдѣ же умъ и тактъ? Гдѣ уразумѣніе вещей и философское равнодушіе?

Докторъ всю ночь не могъ уснуть отъ стыда и досады на себя, а утромъ, часовъ въ десять, отправился въ почтовую контору и извинился передъ почтмейстеромъ.

— Не будемъ вспоминать о томъ, что произошло,—сказалъ со вздохомъ растроганный Михаилъ Аверьянычъ, крѣпко пожимая ему руку. — Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ. Любавкинъ! — вдругъ крикнулъ онъ такъ громко, что всѣ почтальоны и посѣтители вздрогнули.—Подай стулъ. А ты подожди! — крикнулъ онъ бабѣ, которая сквозь рѣшетку протягивала къ нему заказное письмо. — Развѣ не видишь, что я занятъ? Не будемъ вспоминать

старое, — продолжалъ онъ нѣжно, обращаясь къ Андрею Ефимычу.—Садитесь, покорнѣйше прошу, мой дорогой.

Онъ минуту молча поглаживалъ себѣ колѣни и потомъ сказалъ:

— У меня и въ мысляхъ не было обижаться на васъ. Болѣзнь не свой братъ, я понимаю. Вашъ припадокъ испугалъ насъ вчера съ докторомъ, и мы долго потомъ говорили о васъ. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашею болѣзнью? Развѣ можно такъ? Извините за дружескую откровенность, — зашепталъ Михаилъ Аверьянычъ: — вы живете въ самой неблагопріятной обстановкѣ: тѣснота, нечистота, ухода за вами нѣтъ, лѣчиться не на что... Дорогой мой другъ, умоляемъ васъ вмѣстѣ съ докторомъ всѣмъ сердцемъ, послушайтесь нашего совѣта: ложитесь въ больницу! Тамъ и пища здоровая, и уходъ, и лѣченіе. Евгеній Ѳедоровичъ хотя и моветонъ, между нами говоря, но свѣдущій, на него вполнѣ можно положиться. Онъ далъ мнѣ слово, что займется вами.

Андрей Ефимычъ былъ тронутъ искреннимъ участіемъ и слезами, которыя вдругъ заблестѣли на щекахъ у почтмейстера.

— Уважаемый, не вѣрьте!—зашепталъ онъ, прикладывая руку къ сердцу.—Не вѣрьте имъ! Это обманъ! Болѣзнь моя только въ томъ, что за двадцать лѣтъ я нашелъ во всемъ городѣ одного только умнаго человѣка, да и тотъ сумасшедшій. Болѣзни нѣтъ никакой, а просто я попалъ въ заколдованный кругъ, изъ котораго нѣтъ выхода. Мнѣ все равно, я на все готовъ.

— Ложитесь въ больницу, дорогой мой.

— Мнѣ все равно, хоть въ яму.

— Дайте, голубчикъ, слово, что вы будете слушаться во всемъ Евгенія Ѳедорыча.

— Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попалъ въ заколдованный кругъ. Теперь все, даже искреннее участіе моихъ друзей, клонится къ одному—къ моей погибели. Я погибаю и имѣю мужество сознавать это.

— Голубчикъ, вы выздоровѣете.

— Къ чему это говорить? — сказалъ Андрей Ефимычъ съ раздраженіемъ. — Рѣдкій человѣкъ подъ конецъ жизни не испытываетъ того же, что я теперь. Когда вамъ скажутъ, что у васъ что-нибудь въ родѣ плохихъ почекъ и

увеличеннаго сердца и вы станете лѣчиться, или скажутъ, что вы сумасшедшій или преступникъ, то-есть, однимъ словомъ, когда люди вдругъ обратятъ на васъ вниманіе, то знайте, что вы попали въ заколдованный кругъ, изъ котораго уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакія человѣческія усилія уже не спасутъ васъ. Такъ мнѣ кажется.

Между тѣмъ, у рѣшетки толпилась публика. Андрей Ефимычъ, чтобы не мѣшать, всталъ и началъ прощаться. Михаилъ Аверьянычъ еще разъ взялъ съ него честное слово и проводилъ его до наружной двери.

Въ тотъ же день, передъ вечеромъ, къ Андрею Ефимычу неожиданно явился Хоботовъ въ полушубкѣ и въ высокихъ сапогахъ и сказалъ такимъ тономъ, какъ будто вчера ничего не случилось:

— А я къ вамъ по дѣлу, коллега. Пришелъ приглашать васъ: не хотите ли со мной на консиліумъ, а?

Думая, что Хоботовъ хочетъ развлечь его прогулкой или, въ самомъ дѣлѣ, дать ему заработать, Андрей Ефимычъ одѣлся и вышелъ съ нимъ на улицу. Онъ радъ былъ случаю загладить вчерашнюю вину и помириться, и въ душѣ благодарилъ Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнемъ и, повидимому, щадилъ его. Отъ этого некультурнаго человѣка трудно было ожидать такой деликатности.

— А гдѣ вашъ больной?—спросилъ Андрей Ефимычъ.

— У меня въ больницѣ. Мнѣ ужъ давно хотѣлось показать вамъ... Интереснѣйшій случай.

Вошли въ больничный дворъ и, обойдя главный корпусъ, направились къ флигелю, гдѣ помѣщались умалишенные. И все это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита, по обыкновенію, вскочилъ и вытянулся.

— Тутъ у одного произошло осложненіе со стороны легкихъ, — сказалъ вполголоса Хоботовъ, входя съ Андреемъ Ефимычемъ въ палату.—Вы погодите здѣсь, а я сейчасъ. Схожу только за стетоскопомъ.

И вышелъ.

## XVII.

Уже смеркалось. Иванъ Дмитричъ лежалъ на своей постели, уткнувшись лицомъ въ подушку; паралитикъ сидѣлъ

неподвижно, тихо плакалъ и шевелилъ губами. Толстый мужикъ и бывшій сортировщикъ спали. Было тихо.

Андрей Ефимычъ сидѣлъ на кровати Ивана Дмитрича и ждалъ. Но прошло съ полчаса, и вмѣсто Хоботова вошелъ въ палату Никита, держа въ охапкѣ халатъ, чье-то бѣлье и туфли.

— Пожалуйте одѣваться, ваше высокоблагородіе, — сказалъ онъ тихо.—Вотъ ваша постелька, пожалуйте сюда,—добавилъ онъ, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать.—Ничего, Богъ дастъ, выздоровѣете.

Андрей Ефимычъ все понялъ. Онъ, ни слова не говоря, перешелъ къ кровати, на которую указалъ Никита, и сѣлъ; видя, что Никита стоитъ и ждетъ, онъ раздѣлся до-гола, и ему стало стыдно. Потомъ онъ надѣлъ больничное платье; кальсоны были очень коротки, рубаха длинна, а отъ халата пахло копченою рыбой.

— Выздоровѣете, Богъ дастъ,—повторилъ Никита.

Онъ забралъ въ охапку платье Андрея Ефимыча, вышелъ и затворилъ за собой дверь.

«Все равно...—думалъ Андрей Ефимычъ, стыдливо запахиваясь въ халатъ и чувствуя, что въ своемъ новомъ костюмѣ онъ похожъ на арестанта.—Все равно... Все равно, что фракъ, что мундиръ, что этотъ халатъ»...

Но какъ же часы? А записная книжка, что въ боковомъ карманѣ? А папиросы? Куда Никита унесъ платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надѣвать брюкъ, жилета и сапоговъ. Все это какъ-то странно и даже непонятно въ первое время. Андрей Ефимычъ и теперь былъ убѣжденъ, что между домомъ мѣщанки Бѣловой и палатой № 6 нѣтъ никакой разницы, что все на этомъ свѣтѣ вздоръ и суета-суетъ, а между тѣмъ у него дрожали руки, ноги холодѣли и было жутко отъ мысли, что скоро Иванъ Дмитричъ встанетъ и увидитъ, что онъ въ халатѣ. Онъ всталъ, прошелся и опять сѣлъ.

Вотъ онъ просидѣлъ уже полчаса, часъ, и ему надоѣло до тоски; неужели здѣсь можно прожить день, недѣлю и даже годы, какъ эти люди? Ну, вотъ онъ сидѣлъ, прошелся и опять сѣлъ; можно пойти и посмотрѣть въ окно, и опять пройтись изъ угла въ уголъ. А потомъ что? Такъ и сидѣть все время, какъ истуканъ, и думать? Нѣтъ, это едва ли возможно.

Андрей Ефимычъ легъ, но тотчасъ же всталъ, вытеръ рукавомъ со лба холодный потъ и почувствовалъ, что все лицо его запахло копченою рыбой. Онъ опять прошелся.

— Это какое-то недоразумѣніе...—проговорилъ онъ, разводя руками въ недоумѣніи.—Надо объясниться, тутъ недоразумѣніе...

Въ это время проснулся Иванъ Дмитричъ. Онъ сѣлъ и подперъ щеки кулаками. Сплюнулъ. Потомъ онъ лѣниво взглянулъ на доктора и, повидимому, въ первую минуту ничего не понялъ; но скоро сонное лицо его стало злымъ и насмѣшливымъ.

— Ага, и васъ засадили сюда, голубчикъ!—проговорилъ онъ сиплымъ съ просонокъ голосомъ, зажмуривъ одинъ глазъ.—Очень радъ. То вы пили изъ людей кровь, а теперь изъ васъ будутъ пить. Превосходно!

— Это какое-то недоразумѣніе... — проговорилъ Андрей Ефимычъ, пугаясь словъ Ивана Дмитрича; онъ пожалъ плечами и повторилъ:—недоразумѣніе какое-то...

Иванъ Дмитричъ опять сплюнулъ и легъ.

— Проклятая жизнь!—проворчалъ онъ.—И что горько и обидно, вѣдь эта жизнь кончится не наградой за страданія, не апоѳеозомъ, какъ въ оперѣ, а смертью; придутъ мужики и потащутъ мертваго за руки и за ноги въ подвалъ. Брр! Ну, ничего... Зато на томъ свѣтѣ будетъ нашъ праздникъ... Я съ того свѣта буду являться сюда тѣнью и пугать этихъ гадинъ. Я ихъ посѣдѣть заставлю.

Вернулся Мойсейка и, увидѣвъ доктора, протянулъ руку.

— Дай копеечку!—сказалъ онъ.

## XVIII.

Андрей Ефимычъ отошелъ къ окну и посмотрѣлъ въ поле. Уже становилось темно и на горизонтѣ съ правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко отъ больничнаго забора, въ ста саженяхъ, не больше, стоялъ высокій бѣлый домъ, обнесенный каменною стѣной. Это была тюрьма.

«Вотъ она дѣйствительность!»—подумалъ Андрей Ефимычъ, и ему стало страшно.

Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборѣ, и далекій пламень въ костопальномъ заводѣ. Сзади послышался вздохъ. Андрей Ефимычъ оглянулся и увидѣлъ чело-

вѣка съ блестящими звѣздами и съ орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивалъ глазомъ. И это показалось страшнымъ.

Андрей Ефимычъ увѣрялъ себя, что въ лунѣ и въ тюрьмѣ нѣтъ ничего особеннаго, что и психически здоровые люди носятъ ордена и что все со временемъ сгніетъ и обратится въ глину, но отчаяніе вдругъ овладѣло имъ, онъ ухватился обѣими руками за рѣшетку и изо всей силы потрясъ ее. Крѣпкая рѣшетка не поддалась.

Потомъ, чтобы не такъ было страшно, онъ пошелъ къ постели Ивана Дмитрича и сѣлъ.

— Я палъ духомъ, дорогой мой, — пробормоталъ онъ, дрожа и утирая холодный потъ.—Палъ духомъ.

— А вы пофилософствуйте,—сказалъ насмѣшливо Иванъ Дмитричъ.

— Боже мой, Боже мой... Да, да... Вы какъ-то изволили говорить, что въ Россіи нѣтъ философіи, но философствуютъ всѣ, даже мелюзга. Но вѣдь отъ философствованія мелюзги никому нѣтъ вреда,—сказалъ Андрей Ефимычъ такимъ тономъ, какъ будто хотѣлъ заплакать и разжалобить.—Зачѣмъ же, дорогой мой, этотъ злорадный смѣхъ? И какъ не философствовать этой мелюзгѣ, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человѣку, подобію Божію, нѣтъ другого выхода, какъ идти лѣкаремъ въ грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, піявки, горчичники! Шарлатанство, узость, пошлость! О, Боже мой!

— Вы болтаете глупости. Если въ лѣкаря противно, шли бы въ министры.

— Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой... Былъ я равнодушенъ, бодро и здраво разсуждалъ, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мнѣ, какъ я палъ духомъ... прострація... Слабы мы, дрянные мы... И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, съ молокомъ матери всосали благіе порывы, но едва вступили въ жизнь, какъ утомились и заболѣли... Слабы, слабы!

Что-то еще неотвязчивое, кромѣ страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимыча все время съ наступленія вечера. Наконецъ, онъ сообразилъ, что это ему хочется пива и курить.

— Я выйду отсюда, дорогой мой,—сказалъ онъ.—Скажу, чтобы сюда огня дали... Не могу такъ... не въ состояніи...

Андрей Ефимычъ пошелъ къ двери и отворилъ ее, но тотчасъ же Никита вскочилъ и загородилъ ему дорогу.

— Куда вы? Нельзя, нельзя!—сказалъ онъ.—Пора спать!

— Но я только на минуту, по двору пройтись!—оторопѣлъ Андрей Ефимычъ.

— Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете.

Никита захлопнулъ дверь и прислонился къ ней спиной.

— Но если я выйду отсюда, что кому сдѣлается отъ этого? — спросилъ Андрей Ефимычъ, пожимая плечами. — Не понимаю! Никита, я долженъ выйти!—сказалъ онъ дрогнувшимъ голосомъ.—Мнѣ нужно!

— Не заводите безпорядковъ, нехорошо!—сказалъ наставительно Никита.

— Это чортъ знаетъ что такое! — вскрикнулъ вдругъ Иванъ Дмитричъ и вскочилъ. — Какое онъ имѣетъ право не пускать? Какъ они смѣютъ держать насъ здѣсь? Въ законѣ, кажется, ясно сказано, что никто не можетъ быть лишенъ свободы безъ суда! Это насиліе! Произволъ!

— Конечно, произволъ! — сказалъ Андрей Ефимычъ, подбодряемый крикомъ Ивана Дмитрича. — Мнѣ нужно, я долженъ выйти! Онъ не имѣетъ права! Отпусти, тебѣ говорятъ!

— Слышишь, тупая скотина?—крикнулъ Иванъ Дмитричъ и постучалъ кулакомъ въ дверь.—Отвори, а то я дверь выломаю! Живодеръ!

— Отвори! — крикнулъ Андрей Ефимычъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.—Я требую!

— Поговори еще! — отвѣтилъ за дверью Никита.—Поговори!

— По крайней мѣрѣ, поди позови сюда Евгенія Ѳедорыча! Скажи, что я прошу его пожаловать... на минуту!

— Завтра они сами придутъ.

— Никогда насъ не выпустятъ! — продолжалъ между тѣмъ Иванъ Дмитричъ.—Сгноятъ насъ здѣсь! О, Господи, неужели же въ самомъ дѣлѣ на томъ свѣтѣ нѣтъ ада и эти негодяи будутъ прощены? Гдѣ же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь!—крикнулъ онъ сиплымъ голосомъ и навалился на дверь.—Я размозжу себѣ голову! Убійцы!

Никита быстро отворилъ дверь, грубо обѣими руками и колѣномъ отпихнулъ Андрея Ефимыча, потомъ размахнулся и ударилъ его кулакомъ по лицу. Андрею Ефимычу пока-

залось, что громадная соленая волна накрыла его съ головой и потащила къ кровати; въ самомъ дѣлѣ, во рту было солоно: вѣроятно, изъ зубовъ пошла кровь. Онъ, точно желая выплыть, замахалъ руками и ухватился за чью-то кровать, и въ это время почувствовалъ, что Никита два раза ударилъ его въ спину.

Громко вскрикнулъ Иванъ Дмитричъ. Должно-быть, и его били.

Затѣмъ все стихло. Жидкій лунный свѣтъ шелъ сквозь рѣшетки и на полу лежала тѣнь, похожая на сѣть. Было страшно. Андрей Ефимычъ легъ и притаилъ дыханіе; онъ съ ужасомъ ждалъ, что его ударятъ еще разъ. Точно кто взялъ серпъ, воткнулъ въ него и нѣсколько разъ повернулъ въ груди и въ кишкахъ. Отъ боли онъ укусилъ подушку и стиснулъ зубы, и вдругъ въ головѣ его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня въ день, эти люди, казавшіеся теперь при лунномъ свѣтѣ черными тѣнями. Какъ могло случиться, что въ продолженіе больше, чѣмъ двадцати лѣтъ, онъ не зналъ и не хотѣлъ знать этого? Онъ не зналъ, не имѣлъ понятія о боли, значитъ, онъ не виноватъ, но совѣсть, такая же несговорчивая и грубая, какъ Никита, заставила его похолодѣть отъ затылка до пятъ. Онъ вскочилъ, хотѣлъ крикнуть изо всѣхъ силъ и бѣжать скорѣе, чтобъ убить Никиту, потомъ Хоботова, смотрителя и фельдшера, потомъ себя, но изъ груди не вышло ни одного звука и ноги не повиновались; задыхаясь, онъ рванулъ на груди халатъ и рубаху, порвалъ и безъ чувствъ повалился на кровать.

## XIX.

Утромъ на другой день у него болѣла голова, гудѣло въ ушахъ и во всемъ тѣлѣ чувствовалось недомоганіе. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Онъ былъ вчера малодушенъ, боялся даже луны, искренно высказывалъ чувства и мысли, какихъ раньше и не подозрѣвалъ у себя. Напримѣръ, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было все равно.

Онъ не ѣлъ, не пилъ, лежалъ неподвижно и молчалъ.

«Мнѣ все равно,—думалъ онъ, когда ему задавали вопросы.—Отвѣчать не стану... Мнѣ все равно».

Послѣ обѣда пришелъ Михаилъ Аверьянычъ и принесъ четвертку чаю и фунтъ мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и цѣлый часъ стояла около кровати съ выраженіемъ тупой скорби на лицѣ. Посѣтилъ его и докторъ Хоботовъ. Онъ принесъ стклянку съ бромистымъ каліемъ и приказалъ Никитѣ покурить въ палатѣ чѣмъ-нибудь.

Подъ вечеръ Андрей Ефимычъ умеръ отъ апоплексическаго удара. Сначала онъ почувствовалъ потрясающій ознобъ и тошноту; что-то отвратительное, какъ казалось, проникая во все тѣло, даже въ пальцы, потянуло отъ желудка къ головѣ и залило глаза и уши. Позеленѣло въ глазахъ. Андрей Ефимычъ понялъ, что ему пришелъ конецъ, и вспомнилъ, что Иванъ Дмитричъ, Михаилъ Аверьянычъ и милліоны людей вѣрятъ въ безсмертіе. А вдругъ оно есть? Но безсмертія ему не хотѣлось, и онъ думалъ о немъ только одно мгновеніе. Стадо оленей, необыкновенно красивыхъ и граціозныхъ, о которыхъ онъ читалъ вчера, пробѣжало мимо него; потомъ баба протянула къ нему руку съ заказнымъ письмомъ... Сказалъ что-то Михаилъ Аверьянычъ. Потомъ все исчезло, и Андрей Ефимычъ забылся навѣки.

Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли въ часовню. Тамъ онъ лежалъ на столѣ съ открытыми глазами, и луна ночью освѣщала его. Утромъ пришелъ Сергѣй Сергѣичъ, набожно помолился на Распятіе и закрылъ своему бывшему начальнику глаза.

Черезъ день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронахъ были только Михаилъ Аверьянычъ и Дарьюшка.

# ГУСЕВЪ.

## I.

Уже потемнѣло, скоро ночь.

Гусевъ, безсрочно-отпускной рядовой, приподнимается на койкѣ и говоритъ вполголоса:

— Слышишь, Павелъ Иванычъ? Мнѣ одинъ солдатъ въ Сучанѣ сказывалъ: ихнее судно, когда они шли, на рыбину наѣхало и днище себѣ проломило.

Человѣкъ неизвѣстнаго званія, къ которому онъ обращается и котораго всѣ въ судовомъ лазаретѣ зовутъ Павломъ Иванычемъ, молчитъ, какъ будто не слышитъ.

И опять наступаетъ тишина... Вѣтеръ гуляетъ по снастямъ, стучитъ винтъ, хлещутъ волны, скрипятъ койки, но ко всему этому давно уже привыкло ухо и кажется, что все кругомъ спитъ и безмолвствуетъ. Скучно. Тѣ трое больныхъ— два солдата и одинъ матросъ — которые весь день играли въ карты, уже спятъ и бредятъ.

Кажется, начинаетъ покачивать. Койка подъ Гусевымъ медленно поднимается и опускается, точно вздыхаетъ—и этакъ разъ, другой, третій... Что-то ударилось о полъ и зазвенѣло: должно-быть, кружка упала.

— Вѣтеръ съ цѣпи сорвался... — говоритъ Гусевъ, прислушиваясь.

На этотъ разъ Павелъ Иванычъ кашляетъ и отвѣчаетъ раздраженно:

— То у тебя судно на рыбу наѣхало, то вѣтеръ съ цѣпи сорвался... Вѣтеръ звѣрь, что ли, что съ цѣпи срывается?

— Такъ крещеные говорятъ.

— И крещеные такіе же невѣжды, какъ ты... Мало ли чего они не говорятъ? Надо свою голову имѣть на плечахъ и разсуждать. Безсмысленный человѣкъ.

Павелъ Иванычъ подверженъ морской болѣзни. Когда качаетъ, онъ обыкновенно сердится и приходитъ въ раздраженіе отъ малѣйшаго пустяка. А сердиться, по мнѣнію Гусева, положительно не на что. Что страннаго, или мудренаго, напримѣръ, хоть въ рыбѣ, или въ вѣтрѣ, который срывается съ цѣпи? Положимъ, что рыба величиной съ гору и что спина у нея твердая, какъ у осетра; также положимъ, что тамъ, гдѣ конецъ свѣта, стоятъ толстыя каменныя стѣны, а къ стѣнамъ прикованы злые вѣтры... Если они не сорвались съ цѣпи, то почему же они мечутся по всему морю, какъ угорѣлые, и рвутся, словно собаки? Если ихъ не приковываютъ, то куда же они дѣваются, когда бываетъ тихо?

Гусевъ долго думаетъ о рыбахъ, величиною съ гору, и о толстыхъ, заржавленныхъ цѣпяхъ, потомъ ему становится скучно, и онъ начинаетъ думать о родной сторонѣ, куда теперь возвращается онъ послѣ пятилѣтней службы на Дальнемъ Востокѣ. Рисуется ему громадный прудъ, занесенный снѣгомъ... На одной сторонѣ пруда фарфоровый заводъ кирпичнаго цвѣта, съ высокой трубой и съ облаками чернаго дыма; на другой сторонѣ—деревня... Изъ двора, пятаго съ краю, ѣдетъ въ саняхъ братъ Алексѣй; позади него сидятъ сынишка Ванька, въ большихъ валенкахъ, и дѣвчонка Акулька, тоже въ валенкахъ. Алексѣй выпивши, Ванька смѣется, а Акулькина лица не видать— закуталась.

«Неровенъ часъ, дѣтей поморозитъ...» — думаетъ Гусевъ.—Пошли имъ, Господи,—шепчетъ онъ: — ума-разума, чтобъ родителей почитали и умнѣй отца-матери не были...

— Тутъ нужны новыя подметки,—бредитъ басомъ больной матросъ.—Да, да!

Мысли у Гусева обрываются, и вмѣсто пруда вдругъ ни къ селу, ни къ городу показывается большая бычья голова безъ глазъ, а лошадь и сани ужъ не ѣдутъ, а кружатся въ черномъ дыму. Но онъ все-таки радъ, что повидалъ родныхъ. Радость захватываетъ у него дыханіе, бѣгаетъ мурашками по тѣлу, дрожитъ въ пальцахъ.

— Привелъ Господь повидаться!—бредитъ онъ, но тотчасъ же открываетъ глаза и ищетъ въ потемкахъ воду.

Онъ пьетъ и ложится, и опять ѣдутъ сани, потомъ опять бычья голова безъ глазъ, дымъ, облака... И такъ до разсвѣта.

## II.

Сначала въ потемкахъ обозначается синій кружокъ—это круглое окошечко; потомъ Гусевъ мало-по-малу начинаетъ различать своего сосѣда по койкѣ, Павла Иваныча. Этотъ человѣкъ спитъ сидя, такъ какъ въ лежачемъ положеніи онъ задыхается. Лицо у него сѣрое, носъ длинный, острый, глаза отъ того, что онъ страшно исхудалъ, громадные; виски впали, борода жиденькая, волосы на головѣ длинные... Глядя на лицо, никакъ не поймешь, какого онъ званія: баринъ ли, купецъ или мужицкаго званія? Судя по выраженію и длиннымъ волосамъ, онъ какъ будто бы постникъ, монастырскій послушникъ, а прислушаешься къ его словамъ—выходитъ какъ будто бы и не монахъ. Отъ кашля, духоты и отъ своей болѣзни онъ изнемогъ, тяжело дышитъ и шевелитъ высохшими губами. Замѣтивъ, что Гусевъ глядитъ на него, онъ поворачивается къ нему лицомъ и говоритъ:

— Я начинаю догадываться... Да... Я теперь отлично все понимаю.

— Что вы понимаете, Павелъ Иванычъ?

— А вотъ что... Мнѣ все казалось страннымъ, какъ это вы, тяжело больные, вмѣсто того, чтобы находиться въ покоѣ, очутились на пароходѣ, гдѣ и духота, и жаръ, и качка, все, однимъ словомъ, угрожаетъ вамъ смертью, теперь же для меня все ясно... Да... Ваши доктора сдали васъ на пароходъ, чтобы отвязаться отъ васъ. Надоѣло съ вами возиться, со скотами... Денегъ вы имъ не платите, возня съ вами, да и отчетность своими смертями портите — сталобыть, скоты! А отдѣлаться отъ васъ не трудно... Для этого нужно только, во-первыхъ, не имѣть совѣсти и человѣколюбія и, во-вторыхъ, обмануть пароходное начальство. Первое условіе можно хоть и не считать, въ этомъ отношеніи мы артисты, а второе всегда удается при нѣкоторомъ навыкѣ. Въ толпѣ четырехсотъ здоровыхъ солдатъ и матросовъ пять больныхъ не бросаются въ глаза; ну, согнали васъ на пароходъ, смѣшали со здоровыми, наскоро сосчитали и въ суматохѣ ничего дурного не замѣтили, а

когда пароходъ отошелъ, то и увидѣли: на палубѣ валяются параличные да чахоточные въ послѣднемъ градусѣ...

Гусевъ не понимаетъ Павла Иваныча; думая, что ему дѣлаютъ выговоръ, онъ говоритъ въ свое оправданіе:

— Я лежалъ на палубѣ потому, что силъ не было; когда насъ изъ баржи на пароходъ выгружали, я шибко озябъ.

— Возмутительно! — продолжаетъ Павелъ Иванычъ. — Главное, отлично вѣдь знаютъ, что вы не перенесете этого далекаго перехода, а все-таки сажаютъ васъ сюда! Ну, положимъ, до Индѣйскаго океана вы дойдете, а потомъ что? Страшно подумать... И это благодарность за вѣрную безпорочную службу!

Павелъ Иванычъ дѣлаетъ злые глаза, брезгливо морщится и говоритъ, задыхаясь:

— Вотъ бы кого въ газетахъ расщелкать такъ, чтобы перья посыпались!

Больные два солдата и матросъ проснулись и уже играютъ въ карты. Матросъ полулежитъ на койкѣ, солдаты сидятъ возлѣ на полу и въ самыхъ неудобныхъ позахъ. У одного солдата правая рука въ повязкѣ и на кисти наворочена цѣлая шапка, такъ что карты держитъ онъ въ правой подмышкѣ или въ локтевомъ сгибѣ, а ходитъ лѣвой рукой. Сильно качаетъ. Нельзя ни встать, ни чаю напиться, ни лѣкарства принять.

— Ты въ денщикахъ служилъ? — спрашиваетъ Павелъ Иванычъ у Гусева.

— Точно такъ, въ денщикахъ.

— Боже мой, Боже мой! — говоритъ Павелъ Иванычъ и печально покачиваетъ головой. — Вырвать человѣка изъ родного гнѣзда, тащить пятнадцать тысячъ верстъ, потомъ вогнать въ чахотку и... и для чего все это, спрашивается? Для того, чтобъ сдѣлать изъ него денщика для какого-нибудь капитана Копейкина или мичмана Дырки. Какъ много логики!

— Дѣло не трудное, Павелъ Иванычъ. Встанешь утромъ, сапоги почистишь, самоваръ поставишь, комнаты уберешь, а потомъ и дѣлать нечего. Поручикъ цѣлый день планты чертитъ, а ты хочешь — Богу молись, хочешь — книжки читай, хочешь — на улицу ступай. Дай Богъ всякому такой жизни.

— Да, очень хорошо! Поручикъ планты чертитъ, а ты

весь день на кухнѣ сидишь и по родинѣ тоскуешь... Планты.. Не въ плантахъ дѣло, а въ жизни человѣческой! Жизнь не повторяется, щадить ее нужно.

— Оно, конечно, Павелъ Иванычъ, дурному человѣку нигдѣ пощады нѣтъ, ни дома, ни на службѣ, но ежели ты живешь правильно, слушаешься, то какая кому надобность тебя обижать? Господа образованные, понимаютъ... За пять лѣтъ я ни разу въ карцерѣ не сидѣлъ, а битъ былъ, дай Богъ память, не больше одного раза...

— За что?

— За драку. У меня рука тяжелая, Павелъ Иванычъ. Вошли къ намъ во дворъ четыре манзы; дрова носили, что ли—не помню. Ну, мнѣ скучно стало, я имъ того, бока помялъ, у одного проклятаго изъ носа кровь пошла... Поручикъ увидѣлъ въ окошко, осерчалъ и далъ мнѣ по-уху.

— Глупый, жалкій ты человѣкъ...—шепчетъ Павелъ Иванычъ.—Ничего ты не понимаешь.

Онъ совсѣмъ изнемогъ отъ качки и закрылъ глаза; голова у него то откидывается назадъ, то опускается на грудь. Нѣсколько разъ пробуетъ онъ лечь, но ничего у него не выходитъ: мѣшаетъ удушье.

— А за что ты четырехъ манзъ побилъ?—спрашиваетъ онъ, немного погодя.

— Такъ. Во дворъ вошли, я и побилъ.

И наступаетъ тишина... Картежники играютъ часа два, съ азартомъ и съ руганью, но качка утомляетъ и ихъ; они бросаютъ карты и ложатся. Опять рисуется Гусеву большой прудъ, заводъ, деревня... Опять ѣдутъ сани, опять Ванька смѣется, а Акулька-дура распахнула шубу и выставила ноги: глядите, молъ, люди добрые, у меня не такіе валенки, какъ у Ваньки, а новые.

— Шестой годочекъ пошелъ, а все еще разума нѣтъ!—бредитъ Гусевъ.—Замѣсто того, чтобы ноги задирать, поди-кась дядькѣ служивому напиться принеси. Гостинца дамъ.

Вотъ Андронъ съ кремневымъ ружьемъ на плечѣ несетъ убитаго зайца, а за нимъ идетъ дряхлый жидъ Исайчикъ и предлагаетъ ему промѣнять зайца на кусокъ мыла; вотъ черная телочка въ сѣняхъ, вотъ Домна рубаху шьетъ и о чемъ-то плачетъ, а вотъ опять бычья голова безъ глазъ, черный дымъ...

Наверху кто-то громко крикнулъ, пробѣжало нѣсколько матросовъ; кажется, протащили по палубѣ что-то громоздкое, или что-то треснуло. Опять пробѣжали... Ужъ не случилось ли несчастье? Гусевъ поднимаетъ голову, прислушивается и видитъ: два солдата и матросъ опять играютъ въ карты; Павелъ Иванычъ сидитъ и шевелитъ губами. Душно, нѣтъ силъ дышать, пить хочется, а вода теплая, противная... Качка не унимается.

Вдругъ съ солдатомъ-картежникомъ дѣлается что-то странное... Онъ называетъ черви бубнами, путается въ счетѣ и роняетъ карты, потомъ испуганно и глупо улыбается и обводитъ всѣхъ глазами.

— Я сейчасъ, братцы... — говоритъ онъ и ложится на полъ.

Всѣ въ недоумѣніи. Его окликаютъ, онъ не отзывается.

— Степанъ, можетъ, тебѣ нехорошо? а?—спрашиваетъ другой солдатъ съ повязкой на рукѣ.—Можетъ, попа призвать? а?

— Ты, Степанъ, воды выпей...—говоритъ матросъ.—На, братишка, пей.

— Ну, что ты его по зубамъ кружкой колотишь—сердится Гусевъ.—Нешто не видишь, голова садовая?

— Что?

— Что! — передразниваетъ Гусевъ. — Въ немъ дыханія нѣтъ, померъ! Вотъ тебѣ—и что! Экій народъ не разумный, Господи, ты Боже мой!..

## III.

Качки нѣтъ, и Павелъ Иванычъ повеселѣлъ. Онъ уже не сердится. Выраженіе лица у него хвастливое, задорное и насмѣшливое. Онъ какъ будто хочетъ сказать: «Да, сейчасъ я скажу вамъ такую штуку, что вы всѣ отъ смѣха животы себѣ порвете». Круглое окошечко открыто, и на Павла Иваныча дуетъ мягкій вѣтерокъ. Слышны голоса, шлепанье веселъ о воду... Подъ самымъ окошечкомъ кто-то завываетъ тоненькимъ, противнымъ голоскомъ; должно-быть, китаецъ поетъ.

— Да, вотъ мы и на рейдѣ,—говоритъ Павелъ Иванычъ, насмѣшливо улыбаясь.—Еще какой-нибудь одинъ мѣсяцъ, и мы въ Россіи. Нда-съ, многоуважаемые господа солдафоны. Пріѣду въ Одессу, а оттуда прямо въ Харьковъ.

Въ Харьковѣ у меня литераторъ пріятель. Приду къ нему и скажу: ну, братъ, оставь на время свои гнусные сюжеты насчетъ бабьихъ амуровъ и красотъ природы и обличай двуногую мразь... Вотъ тебѣ темы...

Минуту онъ думаетъ о чемъ-то, потомъ говоритъ:

— Гусевъ, а ты знаешь, какъ я надулъ ихъ?

— Кого, Павелъ Иванычъ?

— Да этихъ самыхъ... Понимаешь ли, тутъ на пароходѣ существуютъ только первый и третій классы, причемъ въ третьемъ классѣ дозволяется ѣхать однимъ только мужикамъ, то-есть хамамъ. Если же ты въ пиджакѣ и хоть издали похожъ на барина, или на буржуа, то изволь ѣхать въ первомъ классѣ. Хоть тресни, а выкладывай пятьсотъ рублей. Къ чему, спрашиваю, завели вы такой порядокъ? Ужъ не хотите ли поднять этимъ престижъ россійской интеллигенціи? «Нисколько. Не пускаемъ васъ просто потому, что въ третьемъ классѣ нельзя ѣхать порядочному человѣку: ужъ очень тамъ скверно и безобразно». Да-съ? Благодарю, что такъ заботитесь о порядочныхъ людяхъ. Но во всякомъ случаѣ, скверно тамъ, или хорошо, а пятисотъ рублей у меня нѣтъ. Казны я не грабилъ, инородцевъ не эксплоатировалъ, контрабандой не занимался, никого не запоролъ до-смерти, а потому судите: имѣю ли я право возсѣдать въ первомъ классѣ, а тѣмъ паче причислять себя къ россійской интеллигенціи? Но ихъ логикой не проймешь... Пришлось прибѣгнуть къ надувательству. Надѣлъ я чуйку и большіе сапоги, состроилъ пьяную хамскую рожу и иду къ агенту: «Давай, говорю, ваше высокоблагородіе, билетишко»...

— А вы сами какого званія?—спрашиваетъ матросъ.

— Духовнаго. Мой отецъ былъ честный попъ. Всегда говорилъ великимъ міра сего правду въ глаза и за это много страдалъ.

Павелъ Иванычъ утомился говорить и задыхается, но все-таки продолжаетъ:

— Да, я всегда говорю въ лицо правду... Я никого и ничего не боюсь. Въ этомъ отношеніи между мной и вами — разница громадная. Вы люди темные, слѣпые, забитые, ничего вы не видите, а что видите, того не понимаете... Вамъ говорятъ, что вѣтеръ съ цѣпи срывается, что вы скоты, печенѣги, вы и вѣрите; по шеѣ васъ бьютъ, вы

ручку цѣлуете; ограбитъ васъ какое-нибудь животное въ енотовой шубѣ и потомъ швырнетъ вамъ пятіалтынный на чай, а вы: «пожалуйте, баринъ, ручку». Паріи вы, жалкіе люди... Я же другое дѣло. Я живу сознательно, я все вижу, какъ видитъ орелъ или ястребъ, когда летаетъ надъ землей, и все понимаю. Я воплощенный протестъ. Вижу произволъ—протестую, вижу ханжу и лицемѣра—протестую, вижу торжествующую свинью — протестую. И я непобѣдимъ, никакая испанская инквизиція не можетъ заставить меня замолчать. Да... Отрѣжь мнѣ языкъ—буду протестовать мимикой, замуравь меня въ погребъ — буду кричать оттуда такъ, что за версту будетъ слышно, или уморю себя голодомъ, чтобъ на ихъ черной совѣсти однимъ пудомъ было больше, убей меня—буду являться тѣнью. Всѣ знакомые говорятъ мнѣ: «Невыносимѣйшій вы человѣкъ, Павелъ Иванычъ!» Горжусь такой репутаціей. Прослужилъ на Дальнемъ Востокѣ три года, а оставилъ послѣ себя память на сто лѣтъ: со всѣми разругался. Пріятели пишутъ изъ Россіи: «Не пріѣзжай». А я вотъ возьму, да на зло и пріѣду... Да... Вотъ это жизнь, я понимаю. Это можно назвать жизнью.

Гусевъ не слушаетъ и смотритъ въ окошечко. На прозрачной, нѣжно-бирюзовой водѣ, вся залитая ослѣпительнымъ, горячимъ солнцемъ, качается лодка. Въ ней стоятъ голые китайцы, протягиваютъ вверхъ клѣтки съ канарейками и кричатъ:

— Поетъ! Поетъ!

О лодку стукнулась другая лодка, пробѣжалъ паровой катеръ. А вотъ еще лодка: сидитъ въ ней толстый китаецъ и ѣстъ палочками рисъ. Лѣниво колышется вода, лѣниво носятся надъ нею бѣлыя чайки.

«Вотъ этого жирнаго по шеѣ бы смазать...»—думаетъ Гусевъ, глядя на толстаго китайца и зѣвая.

Онъ дремлетъ, и кажется ему, что вся природа находится въ дремотѣ. Время бѣжитъ быстро. Незамѣтно проходитъ день, незамѣтно наступаютъ потемки... Пароходъ не стоитъ ужъ на мѣстѣ, а идетъ куда-то дальше.

## IV.

Проходитъ два дня. Павелъ Иванычъ уже не сидитъ, а лежитъ; глаза у него закрыты, носъ сталъ какъ будто острѣе.

— Павелъ Иванычъ!—окликаетъ его Гусевъ.—А, Павелъ Иванычъ!

Павелъ Иванычъ открываетъ глаза и шевелитъ губами.

— Вамъ нездорово?

— Ничего...—отвѣчаетъ Павелъ Иванычъ, задыхаясь.— Ничего, даже, напротивъ... лучше... Видишь, я уже и лежать могу... Полегчало...

— Ну, и слава Богу, Павелъ Иванычъ.

— Какъ сравнишь себя съ вами, жалко мнѣ васъ... бѣднягъ. Легкія у меня здоровыя, а кашель это желудочный... Я могу перенести адъ, не то что Красное море! Къ тому же, я отношусь критически и къ болѣзни своей, и къ лѣкарствамъ. А вы... вы темные... Тяжело вамъ, очень, очень тяжело!

Качки нѣтъ, тихо, но зато душно и жарко, какъ въ банѣ; не только говорить, но даже слушать трудно. Гусевъ обнялъ колѣни, положилъ на нихъ голову и думаетъ о родной сторонѣ. Боже мой, въ такую духоту какое наслажденіе думать о снѣгѣ и холодѣ! Ѣдешь на саняхъ; вдругъ лошади испугались чего-то и понесли... Не разбирая ни дорогъ, ни канавъ, ни овраговъ, несутся онѣ, какъ бѣшеныя, по всей деревнѣ, черезъ прудъ, мимо завода, потомъ по полю... «Держи!—кричатъ во все горло заводскіе и встрѣчные.—Держи!» Но зачѣмъ держать! Пусть рѣзкій, холодный вѣтеръ бьетъ въ лицо и кусаетъ руки, пусть комья снѣга, подброшенные копытами, падаютъ на шапку, за воротникъ на шею, на грудь, пусть визжатъ полозья и обрываются постромки и вальки, чортъ съ ними совсѣмъ! А какое наслажденіе, когда опрокидываются сани и летишь со всего размаху въ сугробъ, прямо лицомъ въ снѣгъ, а потомъ встанешь весь бѣлый, съ сосульками на усахъ; ни шапки, ни рукавицъ, поясъ развязался... Люди хохочутъ, собаки лаютъ...

Павелъ Иванычъ открываетъ наполовину одинъ глазъ, глядитъ имъ на Гусева и спрашиваетъ тихо:

— Гусевъ, твой командиръ кралъ?

— А кто жъ его знаетъ, Павелъ Иванычъ! Мы не знаемъ, до насъ не доходитъ.

И затѣмъ много времени проходитъ въ молчаніи. Гусевъ думаетъ, бредитъ и то и дѣло пьетъ воду; ему трудно говорить, трудно слушать, и боится онъ, чтобъ съ нимъ не за-

говорили. Проходитъ часъ, другой, третій; наступаетъ вечеръ, потомъ ночь, но онъ не замѣчаетъ этого, а все сидитъ и думаетъ о морозѣ.

Слышно, какъ будто кто вошелъ въ лазаретъ, раздаются голоса, но проходитъ минутъ пять, и все смолкаетъ.

— Царство небесное, вѣчный покой,—говоритъ солдатъ съ повязкой на рукѣ.—Неспокойный былъ человѣкъ!

— Что? —спрашиваетъ Гусевъ.—Кого?

— Померъ. Сейчасъ наверхъ унесли.

— Ну, что жъ,—бормочетъ Гусевъ зѣвая.—Царство небесное.

— Какъ по-твоему, Гусевъ?—спрашиваетъ послѣ нѣкотораго молчанія солдатъ съ повязкой.—Будетъ онъ въ царствѣ небесномъ или нѣтъ?

— Про кого ты?

— Про Павла Иваныча.

— Будетъ... мучился долго. И то взять, изъ духовнаго званія, а у поповъ родни много. Замолятъ.

Солдатъ съ повязкой садится на койку къ Гусеву и говоритъ вполголоса:

— И ты, Гусевъ, не жилецъ на этомъ свѣтѣ. Не доѣдешь ты до Россіи.

— Нешто докторъ или фельдшеръ сказывалъ?—спрашиваетъ Гусевъ.

— Не то, чтобы кто сказывалъ, а видать... Человѣка, который скоро помретъ, сразу видно. Не ѣшь ты, не пьешь, исхудалъ—глядѣть страшно. Чахотка, однимъ словомъ. Я говорю не для того, чтобы тебя тревожить, а къ тому, можетъ ты захочешь причаститься и собороваться. А ежели у тебя деньги есть, то сдалъ бы ты ихъ старшему офицеру.

— Я домой не написалъ...—вздыхаетъ Гусевъ.—Помру, и не узнаютъ.

— Узнаютъ,—говоритъ басомъ больной матросъ.—Когда помрешь, здѣсь запишутъ въ вахтенный журналъ, въ Одессѣ дадутъ воинскому начальнику выписку, а тотъ пошлетъ въ волость или куда тамъ...

Гусеву становится жутко отъ такого разговора и начинаетъ его томить какое-то жела[illegible] Пьетъ онъ воду—не то; тянется къ круглому окон[illegible] вдыхаетъ горячій, влажный воздухъ—не то; старае[illegible]думать о родной сторонѣ, о морозѣ—не то... Наконецъ, ему кажется, что если

онъ еще хоть одну минуту пробудетъ въ лазаретѣ, то непремѣнно задохнется.

— Тяжко, братцы...—говоритъ онъ.—Я пойду наверхъ. Сведите меня ради Христа наверхъ!

— Ладно,—соглашается солдатъ съ повязкой. — Ты не дойдешь, я тебя снесу. Держись за шею.

Гусевъ обнимаетъ солдата за шею, тотъ обхватываетъ его здоровою рукою и несетъ наверхъ. На палубѣ въ повалку спятъ безсрочно-отпускные солдаты и матросы; ихъ такъ много, что трудно пройти.

— Становись наземь, — говоритъ тихо солдатъ съ повязкой.—Иди за мной потихоньку, держись за рубаху...

Темно. Нѣтъ огней ни на палубѣ, ни на мачтахъ, ни кругомъ на морѣ. На самомъ носу стоитъ неподвижно, какъ статуя, часовой, но похоже на то, какъ будто и онъ спитъ. Кажется, что пароходъ предоставленъ собственной волѣ и идетъ, куда хочетъ.

— Въ море теперь Павла Иваныча бросятъ...—говоритъ солдатъ съ повязкой.—Въ мѣшокъ да въ воду.

— Да. Порядокъ такой.

— А дома въ землѣ лучше лежать. Все хоть мать придетъ на могилку, да поплачетъ.

— Извѣстно.

Запахло навозомъ и сѣномъ. Понуривъ головы, стоятъ у борта быки. Разъ, два, три... восемь штукъ! А вотъ и маленькая лошадка. Гусевъ протягиваетъ руку, чтобы приласкать ее, но она мотнула головой, оскалила зубы и хочетъ укусить его за рукавъ.

— Прроклятая...—сердится Гусевъ.

Оба, онъ и солдатъ, тихо пробираются къ носу, потомъ становятся у борта и молча глядятъ то вверхъ, то внизъ. Наверху глубокое небо, ясныя звѣзды, покой и тишина—точь-въ-точь какъ дома въ деревнѣ, внизу же—темнота и безпорядокъ. Неизвѣстно для чего, шумятъ высокія волны. На какую волну ни посмотришь, всякая старается подняться выше всѣхъ, и давитъ, и гонитъ другую; на нее съ шумомъ, отсвѣчивая своей бѣлой гривой, налетаетъ третья, такая же свирѣпая и безобразная.

У моря нѣтъ ни смысла, ни жалости. Будь пароходъ поменьше и сдѣланъ не изъ толстаго желѣза, волны разбили бы его безъ всякаго сожалѣнія и сожрали бы всѣхъ

людей, не разбирая святыхъ и грѣшныхъ. У парохода тоже безсмысленное и жестокое выраженіе. Это носатое чудовище прётъ впередъ и рѣжетъ на своемъ пути милліоны волнъ; оно не боится ни потемокъ, ни вѣтра, ни пространства, ни одиночества, ему все нипочемъ, и если бы у океана были свои люди, то оно, чудовище, давило бы ихъ, не разбирая тоже святыхъ и грѣшныхъ.

— Гдѣ мы теперь?—спрашиваетъ Гусевъ.

— Не знаю. Должно, въ океанѣ.

— Не видать земли...

— Гдѣ жъ! Говорятъ, только черезъ семь дней увидимъ.

Оба солдата смотрятъ на бѣлую пѣну, отсвѣчивающую фосфоромъ, молчатъ и думаютъ. Первый нарушаетъ молчаніе Гусевъ.

— А ничего нѣту страшнаго, — говоритъ онъ. — Только жутко, словно въ темномъ лѣсу сидишь, а ежели бъ, положимъ, спустили сейчасъ на воду шлюпку и офицеръ приказалъ ѣхать за сто верстъ въ море рыбу ловить — поѣхалъ бы. Или, скажемъ, крещеный упалъ бы сейчасъ въ воду—упалъ бы и я за имъ. Нѣмца или манзу не сталъ бы спасать, а за крещенымъ полѣзъ бы.

— А помирать страшно?

— Страшно. Мнѣ хозяйства жалко. Братъ у меня дома, знаешь, не степенный: пьяница, бабу зря бьетъ, родителей не почитаетъ. Безъ меня все пропадетъ, и отецъ со старухой, гляди, по-міру пойдутъ. Одначе, братъ, ноги у меня не стоятъ, да и душно тутъ... Пойдемъ спать.

## V.

Гусевъ возвращается въ лазаретъ и ложится на койку. Попрежнему томитъ его неопредѣленное желаніе, и онъ никакъ не можетъ понять, что̀ ему нужно. Въ груди давитъ, въ головѣ стучитъ, во рту такъ сухо, что трудно пошевельнуть языкомъ. Онъ дремлетъ и бредитъ, и, замученный кошмарами, кашлемъ и духотой, къ утру крѣпко засыпаетъ. Снится ему, что въ казармѣ только-что вынули хлѣбъ изъ печи, а онъ залѣзъ въ печь и парится въ ней березовымъ вѣникомъ. Спитъ онъ два дня, а на третій въ полдень приходятъ сверху два матроса и выносятъ его изъ лазарета.

Его зашиваютъ въ парусину и, чтобы онъ сталъ тяжелѣе, кладутъ вмѣстѣ съ нимъ два желѣзныхъ колосника.

Зашитый въ парусину, онъ становится похожимъ на морковь, или рѣдьку: у головы широко, къ ногамъ узко... Передъ заходомъ солнца выносятъ его на палубу и кладутъ на доску; одинъ конецъ доски лежитъ на бортѣ, другой на ящикѣ, поставленномъ на табуретѣ. Вокругъ стоятъ безсрочно-отпускные и команда безъ шапокъ.

— Благословенъ Богъ нашъ,—начинаетъ священникъ: — всегда, нынѣ и присно и вовѣки вѣковъ!

— Аминь!—поютъ три матроса.

Безсрочно-отпускные и команда крестятся и поглядываютъ въ сторону на волны. Странно, что человѣкъ зашитъ въ парусину и что онъ полетитъ сейчасъ въ волны. Неужели это можетъ случиться со всякимъ?

Священникъ посыпаетъ Гусева землей и кланяется. Поютъ вѣчную память.

Вахтенный приподнимаетъ конецъ доски, Гусевъ сползаетъ съ нея, летитъ внизъ головой, потомъ перевертывается въ воздухѣ и — бултыхъ! Пѣна покрываетъ его, и мгновеніе кажется онъ окутаннымъ въ кружева, но прошло это мгновеніе—и онъ исчезаетъ въ волнахъ.

Онъ быстро идетъ ко дну. Дойдетъ ли? До дна, говорятъ, четыре версты. Пройдя саженъ восемь-десять, онъ начинаетъ идти тише и тише, мѣрно покачивается, точно раздумываетъ, и, увлекаемый теченіемъ, ужъ несется въ сторону быстрѣе, чѣмъ внизъ.

Но вотъ встрѣчаетъ онъ на пути стаю рыбокъ, которыхъ называютъ лоцманами. Увидѣвъ темное тѣло, рыбки останавливаются, какъ вкопанныя, и вдругъ всѣ разомъ поворачиваютъ назадъ и исчезаютъ. Меньше, чѣмъ черезъ минуту, онѣ быстро, какъ стрѣлы, опять налетаютъ на Гусева и начинаютъ зигзагами пронизывать вокругъ него воду...

Послѣ этого показывается другое темное тѣло. Это акула. Она важно и нехотя, точно не замѣчая Гусева, подплываетъ подъ него, и онъ опускается къ ней на спину, затѣмъ она поворачивается вверхъ брюхомъ, нѣжится въ теплой, прозрачной водѣ и лѣниво открываетъ пасть съ двумя рядами зубовъ. Лоцмана въ восторгѣ; они остановились и смотрятъ, что̀ будетъ дальше. Поигравши тѣломъ, акула нехотя подставляетъ подъ него пасть, осторожно касается зубами и парусина разрывается во всю длину

тѣла, отъ головы до ногъ; одинъ колосникъ выпадаетъ и, испугавши лоцмановъ, ударивши акулу по боку, быстро идетъ ко дну.

А наверху въ это время, въ той сторонѣ, гдѣ заходитъ солнце, скучиваются облака: одно облако похоже на тріумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Изъ-за облаковъ выходитъ широкій зеленый лучъ и протягивается до самый средины неба; немного погодя, рядомъ съ этимъ ложится фіолетовый, рядомъ съ этимъ золотой, потомъ розовый... Небо становится нѣжно-сиреневымъ. Глядя на это великолѣпное, очаровательное небо, океанъ сначала хмурится, но скоро самъ пріобрѣтаетъ цвѣта ласковые, радостные, страстные, какіе на человѣческомъ языкѣ и назвать трудно.

# БАБЫ.

Въ селѣ Райбужѣ, какъ разъ противъ церкви, стоитъ двухъ этажный домъ на каменномъ фундаментѣ и съ желѣзной крышей. Въ нижнемъ этажѣ живетъ со своей семьей самъ хозяинъ, Филиппъ Ивановъ Кашинъ, по прозванію Дюдя, а въ верхнемъ, гдѣ лѣтомъ бываетъ очень жарко, а зимою очень холодно, останавливаются проѣзжіе чиновники, купцы и помѣщики. Дюдя арендуетъ участки, держитъ на большой дорогѣ кабакъ, торгуетъ и дегтемъ, и медомъ, и скотомъ, и сороками, и у него ужъ набралось тысячъ восемь, которыя лежатъ въ городѣ въ банкѣ.

Старшій сынъ его Ѳедоръ служитъ на заводѣ въ старшихъ механикахъ и, какъ говорятъ про него мужики, далеко въ гору пошелъ, такъ что до него теперь рукой не достанешь; жена Ѳедора, Софья, некрасивая и болѣзненная баба, живетъ дома при свекрѣ, все плачетъ и каждое воскресенье ѣздитъ въ больницу лѣчиться. Второй сынъ Дюди, горбатенькій Алешка, живетъ дома при отцѣ. Его недавно женили на Варварѣ, которую взяли изъ бѣдной семьи: это баба молодая, красивая, здоровая и щеголиха. Когда останавливаются чиновники и купцы, то всегда требуютъ, чтобы самоваръ имъ подавала и постели постилала непремѣнно Варвара.

Въ одинъ іюньскій вечеръ, когда заходило солнце и въ воздухѣ пахло сѣномъ, теплымъ навозомъ и парнымъ молокомъ, во дворъ къ Дюдѣ въѣхала простая повозка, на которой сидѣло трое: мужчина лѣтъ тридцати въ парусинковомъ костюмѣ, рядомъ съ нимъ мальчикъ, лѣтъ семи-

восьми, въ длинномъ черномъ сюртукѣ съ большими костяными пуговицами, и молодой парень въ красной рубахѣ за кучера.

Парень распрягъ лошадей и повелъ ихъ на улицу прохаживать, а проѣзжій умылся, помолился на церковь, потомъ разостлалъ около повозки полость и сѣлъ съ мальчикомъ ужинать; ѣлъ онъ не спѣша, степенно, и Дюдя, видавшій на своемъ вѣку много проѣзжихъ, узналъ въ немъ по манерамъ человѣка дѣлового, серьезнаго и знающаго себѣ цѣну.

Дюдя сидѣлъ на крылечкѣ въ одной жилеткѣ, безъ шапки и ждалъ, когда заговоритъ проѣзжій. Онъ привыкъ къ тому, что проѣзжіе по вечерамъ на сонъ грядущій разсказывали всякія исторіи, и любилъ это. Его старуха Аѳанасьевна и невѣстка Софья доили подъ навѣсомъ коровъ; другая невѣстка Варвара сидѣла у открытаго окна въ верхнемъ этажѣ и ѣла подсолнухи.

— Мальчишка этотъ твой сынокъ будетъ, стало?—спросилъ Дюдя у проѣзжаго.

— Нѣтъ, пріемышекъ, сиротка. Взялъ его къ себѣ за спасеніе души.

Разговорились. Проѣзжій оказался человѣкомъ словоохотливымъ и краснорѣчивымъ, и Дюдя изъ разговора узналъ, что это мѣщанинъ изъ города, домовладѣлецъ, что зовутъ его Матвѣемъ Саввичемъ, что ѣдетъ онъ теперь смотрѣть сады, которые арендуетъ у нѣмцевъ-колонистовъ, и что мальчика зовутъ Кузькой. Вечеръ былъ жаркій и душный, спать никому не хотѣлось. Когда стемнѣло и на небѣ коегдѣ замигали блѣдныя звѣзды, Матвѣй Саввичъ сталъ разсказывать, откуда у него взялся Кузька. Аѳанасьевна и Софья стояли поодаль и слушали, а Кузька пошелъ къ воротамъ.

— Это, дѣдушка, исторія подробная до чрезвычайности—началъ Матвѣй Саввичъ:—и если тебѣ разсказать все, какъ было, то и ночи не хватитъ. Лѣтъ десять назадъ, на нашей улицѣ, какъ разъ рядомъ со мной въ домикѣ, гдѣ теперь свѣчной заводъ и маслобойня, жила Мареа Симоновна Каплунцева, вдова-старушка, и у нея было два сына: одинъ служилъ въ кондукторахъ на чугункѣ, а другой, Вася, мой сверстникъ, жилъ дома при маменькѣ. Покойный старикъ Каплунцевъ держалъ лошадей, паръ пять, и посылалъ по

городу ломовыхъ извозчиковъ; вдова этого дѣла не бросала и командовала извозчиками не хуже покойника, такъ что въ иные дни чистаго рублей пять выѣзжали. И у парня тоже доходишки были. Голубей породистыхъ разводилъ и продавалъ охотникамъ; все, бывало, стоитъ на крышѣ, вѣникъ вверхъ швыряетъ и свиститъ, а турманы подъ самыми небесами, а ему все мало и еще выше хочется. Чижей и скворцовъ ловилъ, клѣтки мастерилъ... Пустое дѣло, а гляди по пустякамъ въ мѣсяцъ рублей десять набѣжитъ. Ну-съ, по прошествіи времени, у старушки отнялись ноги и слегла она въ постель. По причинѣ такого факта домъ остался безъ хозяйки, а это все равно, что человѣкъ безъ глаза. Захлопотала старушка и надумала оженить своего Васю. Позвали сейчасъ сваху, пятое-десятое, бабьи разговоры, и пошелъ нашъ Вася невѣстъ глядѣть. Засваталъ онъ у вдовы Самохвалихи Машеньку. Недолго думаючи, благословили и въ одну недѣлю все дѣло оборудовали. Дѣвочка молодая, лѣтъ семнадцати, маленькая, кургузенькая, но лицомъ бѣлая и пріятная, со всѣми качествами, какъ барышня; и приданое ничего себѣ: деньгами рублей пятьсотъ, коровенка, постель... А старуха, чуяло ея сердце, на третій же день послѣ свадьбы отправилась въ горній Іерусалимъ, идѣже нѣсть ни болѣзней, ни воздыханій. Молодые помянули и зажили. Прожили они съ полгодика великолѣпнымъ образомъ и вдругъ новое горе. Пришла бѣда, отворяй ворота: потребовали Васю въ присутствіе жребій вынимать. Взяли его, сердягу, въ солдаты и даже льготы не дали. Забрили лобъ и погнали въ Царство Польское. Божья воля, ничего не подѣлаешь. Когда съ женой во дворѣ прощался — ничего, а какъ взглянулъ послѣдній разъ на сѣнникъ съ голубями, залился ручьемъ. Глядѣть было жалко. Въ первое время Машенька, чтобъ скучно не было, взяла къ себѣ мать; та пожила до родовъ, когда вотъ этотъ самый Кузька родился, и поѣхала въ Обоянь къ другой дочкѣ, тоже замужней, и осталась Машенька одна съ ребеночкомъ. Пять ломовыхъ мужиковъ, народъ все пьяный, озорной; лошади, дроги, тамъ гляди заборъ обвалился, или въ трубѣ сажа загорѣлась—не женскаго ума дѣло, и стала она по сосѣдству ко мнѣ за каждымъ пустякомъ обращаться. Ну, придешь распорядишься, посовѣтуешь... Извѣстное дѣло, не безъ того, зайдешь въ домъ чаю выпьешь, поговоришь.

Человѣкъ я былъ молодой, умственный, любилъ поговорить о всякихъ предметахъ, она тоже была образованная и вѣжливая. Одѣвалась чистенько и лѣтомъ съ зонтикомъ ходила. Бывало, начну ей про божественное или насчетъ политики, а ей лестно, она меня чаемъ и вареньемъ... Однимъ словомъ, чтобъ долго не расписывать, скажу тебѣ, дѣдушка, не прошло и года, какъ смутилъ меня нечистый духъ, врагъ рода человѣческаго. Сталъ я замѣчать, что въ который день не пойду къ ней, мнѣ словно не по-себѣ, скучно. И все придумываю, за чѣмъ бы къ ней сходить. «Вамъ, говорю, пора зимнія рамы вставлять», и цѣлый день у ней прохлаждаюсь, рамы вставляю и норовлю еще на завтра рамы двѣ оставить. «Надо бы голубей Васиныхъ сосчитать, не пропали бы которые» — и все такъ. Все, бывало, съ ней черезъ заборъ разговариваю и подъ конецъ, чтобы недалеко было ходить, сдѣлалъ я въ заборѣ калиточку. На этомъ свѣтѣ отъ женскаго пола много зла и всякой пакости. Не только мы, грѣшные, но и святые мужи совращались. Машенька меня отъ себя не отвадила. Вмѣсто того, чтобъ мужа помнить и себя соблюдать, она меня полюбила. Сталъ я замѣчать, что ей тоже скучно и что все она около забора похаживаетъ и въ щелки въ мой дворъ смотритъ. Завертѣлись въ моей головѣ мозги отъ фантазіи. Въ четвергъ на Святой недѣлѣ иду рано утромъ, чуть свѣтъ, на базаръ, прохожу мимо ея воротъ, а нечистый тутъ какъ тутъ; поглядѣлъ я — у нея калитка съ этакой рѣшеточкой наверху,—а она стоитъ среди двора, уже проснувшись, и утокъ кормитъ. Я не удержался и окликнулъ. Она подошла и глядитъ на меня сквозь рѣшетку. Личико бѣлое, глазки ласковые, заспанные... Очень она мнѣ понравилась, и сталъ я ей комплименты говорить, словно мы не у воротъ, а на именинахъ, а она покраснѣла, смѣется и все смотритъ мнѣ въ самые глаза и не мигаетъ. Потерялъ я разумъ и началъ объяснять ей свои любовныя чувства... Она отперла калитку, впустила и съ того утра стали мы жить, какъ мужъ и жена.

Съ улицы во дворъ вошелъ горбатенькій Алешка и, запыхавшись, ни на кого не глядя, побѣжалъ въ домъ; черезъ минуту онъ выбѣжалъ изъ дома съ гармоникой и, звеня въ карманѣ мѣдными деньгами, щелкая на бѣгу подсолнухи, скрылся за воротами.

— А это кто у васъ?—спросилъ Матвѣй Саввичъ.

— Сынъ Алексѣй, — отвѣтилъ Дюдя. — Гулять пошелъ, подлецъ. Богъ его горбомъ обидѣлъ, такъ мы ужъ не очень взыскиваемъ.

— И все онъ гуляетъ съ ребятами, и все гуляетъ, — вздохнула Аѳанасьевна. — Передъ масляной женили его, думали—какъ лучше; а онъ, поди, еще хуже сталъ.

— Безъ пользы. Только чужую дѣвку осчастливили задаромъ,—сказалъ Дюдя.

Гдѣ-то за церковью запѣли великолѣпную печальную пѣсню. Нельзя было разобрать словъ, и слышались одни только голоса: два тенора и басъ. Оттого, что всѣ прислушались, во дворѣ стало тихо-тихо... Два голоса вдругъ оборвали пѣсню раскатистымъ смѣхомъ, а третій, теноръ, продолжалъ пѣть и взялъ такую высокую ноту, что всѣ невольно посмотрѣли вверхъ, какъ будто голосъ въ высотѣ своей достигалъ самаго неба. Варвара вышла изъ дому и, заслонивъ глаза рукою, какъ отъ солнца, поглядѣла на церковь.

— Это поповичи съ учителемъ,—сказала она.

Опять всѣ три голоса запѣли вмѣстѣ. Матвѣй Саввичъ вздохнулъ и продолжалъ:

— Такія-то дѣла, дѣдушка. Года черезъ два получили мы письмо отъ Васи изъ Варшавы. Пишетъ, что начальство отправляетъ его домой на поправку. Нездоровъ. Къ тому времени я дурь изъ головы выбросилъ, и за меня ужъ хорошую невѣсту сватали, и не зналъ я только, какъ съ любвишкой развязаться. Каждый день собирался поговорить съ Машенькой, да не зналъ, съ какой стороны къ ней подступить, чтобъ бабьяго визгу не было. Письмо мнѣ руки развязало. Прочитали мы его съ Машенькой, она побѣлѣла, какъ снѣгъ, а я и говорю: — Слава Богу, теперь, говорю, значитъ, ты опять будешь мужняя жена.—А она мнѣ: «Не стану я съ нимъ жить». — Да вѣдь онъ тебѣ мужъ? — говорю. — «Легко ли... Я его никогда не любила и неволей за него пошла. Мать велѣла».—Да ты, говорю, не отвиливай, дура, ты скажи: вѣнчалась ты съ нимъ въ церкви или нѣтъ?—«Вѣнчалась, говоритъ, но я тебя люблю и буду жить съ тобой до самой смерти. Пускай люди смѣются... Я безъ вниманія»... — Ты, говорю, богомольная и читала писаніе, что̀ тамъ написано?

— За мужа выдана, съ мужемъ и жить должна, — сказалъ Дюдя.

— Жена и мужъ едина плоть.—Погрѣшили, говорю, мы съ тобой и будетъ, надо совѣсть имѣть и Бога бояться. Повинимся, говорю, передъ Васей, онъ человѣкъ смирный, робкій — не убьетъ. Да и лучше, говорю, на этомъ свѣтѣ муки отъ законнаго мужа претерпѣть, чѣмъ на страшномъ судилищѣ зубами скрежетать.—Не слушаетъ баба, уперлась на своемъ и хоть ты что! «Тебя люблю» — и больше ничего. Пріѣхалъ Вася въ субботу подъ самую Троицу, рано утромъ. Мнѣ въ заборъ все было видно: вбѣжалъ онъ въ домъ, черезъ минуту вышелъ съ Кузькой на рукахъ, и смѣется, и плачетъ. Кузьку цѣлуетъ, а самъ на сѣнникъ смотритъ—и Кузьку бросать жалко и къ голубямъ хочется. Нѣжный былъ человѣкъ, чувствительный. День прошелъ благополучно, тихо и скромно. Зазвонили ко всенощной, я и думаю: завтра Троица, что же они воротъ и забора зеленями не убираютъ? Дѣло, думаю, неладно. Пошелъ я къ нимъ. Гляжу, сидитъ онъ среди комнаты на полу, поводитъ глазами, какъ пьяный, слезы по щекамъ текутъ и руки трясутся: вынимаетъ онъ изъ узла баранки, монисты, пряники и всякіе гостинцы и разбрасываетъ по полу. Кузька — тогда ему три годочка было—ползаетъ около и пряники жуетъ, а Машенька стоитъ около печки, блѣдная, вся дрожитъ и бормочетъ: «Я тебѣ не жена, не хочу съ тобой жить» — и всякія глупости. Поклонился я Васѣ въ ноги и говорю: «Виноваты мы передъ тобой, Василій Максимычъ, прости Христа ради!» Потомъ всталъ и говорю Машенькѣ такія слова: «Вы, Марья Семеновна, говорю, должны теперь Василію Максимычу ноги мыть и воду пить. И будете вы ему законная жена, а за меня молитесь Богу, чтобъ Онъ, говорю, милосердный, простилъ мнѣ мое согрѣшеніе». Какъ будто мнѣ было внушеніе отъ самаго небеснаго, прочиталъ я ей наставленіе и говорилъ такъ чувствительно, что меня даже слеза прошибла. Этакъ дня черезъ два приходитъ къ мнѣ баба. «Я, говоритъ, грѣшная. Матушка, и тебя, и жену. Богъ съ вами. Она солдатка, тѣмъ женскіе, молодые, грѣхъ себя соблюсти. Не она первая, не она послѣдняя. А только, говоритъ, я прошу тебя жить такъ, какъ будто между вами ничего не было, и жену не позорить, а я, говоритъ, буду стараться

ей угождать во всемъ, чтобы она меня опять полюбила». Руку мнѣ подалъ, чайку попилъ и ушелъ веселый. Ну, думаю, слава Богу, и весело мнѣ стало, что все такъ хорошо вышло. Но только-что Вася изъ двора, какъ прицла Машенька. Чистое наказаніе! Вѣшается на шею, плачетъ и молитъ: «Ради Бога не бросай, жить безъ тебя не могу».

— Эка подлая!—вздохнулъ Дюдя.

— Я на нее закричалъ, ногами затопалъ, выволокъ ее въ сѣни и дверь на крючокъ заперъ. «Иди, кричу, къ мужу! Не срами меня передъ людями, Бога побойся!» И каждый день такая исторія. Разъ утромъ стою я у себя на дворѣ около конюшни и починяю уздечку. Вдругъ, смотрю, бѣжитъ она черезъ калитку ко мнѣ во дворъ, босая, въ одной юбкѣ, и прямо ко мнѣ; ухватилась руками за уздечку, вся опачкалась въ смолѣ, трясется, плачетъ... «Не могу жить съ постылымъ; силъ моихъ нѣтъ! Если не любишь, то лучше убей». Я осерчалъ и ударилъ ее раза два уздечкой, а въ это время вбѣгаетъ въ калитку Вася и кричитъ отчаяннымъ голосомъ: «Не бей! не бей!» А самъ подбѣжалъ и, словно очумѣлъ, размахнулся и давай бить ее кулаками изо всей силы, потомъ повалилъ на землю и ну топтать ногами: я сталъ оборонять, а онъ схватилъ вожжи и давай вожжами. Бьетъ и все, какъ жеребенокъ, повизгиваетъ: ги-ги-ги!

— Взять вожжи, да тебя бы такъ... — проворчала Варвара, отходя.—Извели нашу сестру, проклятые...

— Замолчи, ты!—крикнулъ на нее Дюдя.—Кобыла!

— Ги-ги-ги!—продолжалъ Матвѣй Саввичъ. — Изъ его двора прибѣжалъ извозчикъ, кликнулъ я своего работника, и всѣ втроемъ отняли у него Машеньку и повели подъ ручки домой. Срамота! Того же дня вечеромъ пошелъ я провѣдать. Она лежитъ въ постели, вся закутанная, въ примочкахъ, только одни глаза и носъ видать, и глядитъ въ потолокъ. Я говорю:—Здравствуйте, Марья Семеновна! Молчитъ. А Вася сидитъ въ другой комнатѣ, держится за голову и плачетъ: — Злодѣй я! Погубилъ я свою жизнь! Пошли мнѣ, Господи, смерть!—Я посидѣлъ съ полчасика около Машеньки и прочиталъ ей наставленіе. Пострацалъ. — Праведные, говорю, на томъ свѣтѣ пойдутъ въ рай, а ты въ геену огненную, заодно со всѣми блудни-

цами... Не противься мужу, иди ему въ ноги поклонись.— А она ни словечка, даже глазомъ не моргнула, словно я столбу говорю. На другой же день Вася заболѣлъ, въ родѣ какъ бы холерой, и къ вечеру, слышу, померъ. Похоронили. Машенька на кладбищѣ не была, не хотѣла людямъ свое безстыжее лицо и синяки показывать. И въ скорости пошли по мѣщанству разговоры, что Вася померъ не своей смертью, что извела его Машенька. Дошло до начальства. Васю вырыли, распотрошили и нашли у него въ животѣ мышьякъ. Дѣло было ясное, какъ пить дать; пришла полиція и забрала Машеньку, а съ ней и Кузьму-безсребренника. Посадили въ острогъ. Допрыгалась баба, наказалъ Богъ... Мѣсяцевъ черезъ восемь судили. Сидитъ, помню, на скамеечкѣ въ бѣломъ платочкѣ и въ сѣромъ халатикѣ, а сама худенькая, блѣдная, остроглазая, смотрѣть жалко. Позади солдатъ съ ружьемъ. Не признавалась. Одни на судѣ говорили, что она мужа отравила, а другіе доказывали, что мужъ самъ съ горя отравился. Я въ свидѣтеляхъ былъ. Когда меня спрашивали, я объяснялъ все по совѣсти.—Ея говорю, грѣхъ. Скрывать нечего, не любила мужа, съ характеромъ была... Судить начали съ утра, а къ ночи вынесли такое рѣшеніе: сослать ее въ каторгу въ Сибирь на 13 лѣтъ. Послѣ такого рѣшенія Машенька потомъ въ нашемъ острогѣ мѣсяца три сидѣла. Я ходилъ къ ней и по человѣчности носилъ ей чайку, сахарку. А она, бывало, увидитъ меня и начнетъ трястись всѣмъ тѣломъ, машетъ руками и бормочетъ: «Уйди! Уйди!» И Кузьку къ себѣ прижимаетъ, словно боится, чтобъ я не отнялъ. — Вотъ, говорю, до чего ты дожила! Эхъ, Маша, Маша, погибшая душа! Не слушалась меня, когда я училъ тебя уму, вотъ и плачься теперь. Сама, говорю, виновата, себя и вини. — Я ей читаю наставленіе, а она: «Уйди! уйди!» и жмется съ Кузькой къ стѣнѣ и дрожитъ. Когда ее отъ насъ въ губернію отправляли, я провожать ходилъ до вокзала и сунулъ ей въ узелъ рублишку за спасеніе души. Но не дошла она до Сибири... Въ губерніи заболѣла горячкой и померла въ острогѣ.

— Собакѣ собачья и смерть,—сказалъ Дюдя.

— Кузьку вернули назадъ домой... Я подумалъ, подумалъ и взялъ его къ себѣ. Что жъ? Хоть и арестантское отродье, а все-таки живая душа, крещеная... Жалко. Сдѣ-

лаю его приказчикомъ, а ежели своихъ дѣтей не будетъ, то и въ купцы выведу. Теперь, какъ ѣду куда, беру его съ собой: пускай пріучается.

Пока Матвѣй Саввичъ разсказывалъ, Кузька все время сидѣлъ около воротъ на камешкѣ и, подперевъ обѣими руками голову, смотрѣлъ на небо; издали въ потемкахъ походилъ онъ на пенекъ.

— Кузька, иди спать!—крикнулъ ему Матвѣй Саввичъ.

— Да, ужъ время, — сказалъ Дюдя, поднимаясь; онъ громко зѣвнулъ и добавилъ: — норовятъ все своимъ умомъ жить, не слушаются, вотъ и выходитъ по-ихнему.

Надъ дворомъ на небѣ плыла уже луна; она быстро бѣжала въ одну сторону, а облака подъ нею въ другую; облака уходили дальше, а она все была видна надъ дворомъ. Матвѣй Саввичъ помолился на церковь и, пожелавъ доброй ночи, легъ на землѣ около повозки. Кузька тоже помолился, легъ въ повозку и укрылся сюртучкомъ; чтобы удобнѣе было, онъ намялъ себѣ въ сѣнѣ ямочку и согнулся такъ, что локти его касались колѣней. Со двора видно было, какъ Дюдя у себя внизу зажегъ свѣчку, надѣлъ очки и сталъ въ углу съ книжкой. Онъ долго читалъ и кланялся.

Пріѣзжіе уснули. Аѳанасьевна и Софья подошли къ повозкѣ и стали смотрѣть на Кузьку.

— Спитъ сиротка, — сказала старуха. — Худенькій, тощенькій, однѣ кости. Родной матери нѣтъ, и покормить его путемъ некому.

— Мой Гришутка, должно, годочка на два старше,— сказала Софья. — На заводѣ въ неволѣ живетъ, безъ матери. Хозяинъ бьетъ, небось. Какъ поглядѣла я давеча на этого мальчонка, вспомнила про своего Гришутку—сердце мое кровью запеклось.

Прошла минута въ молчаніи.

— Чай, не помнитъ матери,—сказала старуха.

— Гдѣ помнить!

И у Софьи изъ глазъ потекли крупныя слезы.

— Калачикомъ свернулся...—сказала она, всхлипывая и смѣясь отъ умиленія и жалости.—Сиротка моя бѣдная.

Кузька вздрогнулъ и открылъ глаза. Онъ увидѣлъ передъ собой некрасивое, сморщенное заплаканное лицо, рядомъ съ нимъ другое старушечье, беззубое, съ острымъ

подбородкомъ и горбатымъ носомъ, а выше нихъ бездонное небо съ бѣгущими облаками и луной, и вскрикнулъ отъ ужаса. Софья тоже вскрикнула: имъ обоимъ отвѣтило эхо и въ душномъ воздухѣ пронеслось безпокойство; застучалъ по сосѣдству сторожъ, залаяла собака. Матвѣй Саввичъ пробормоталъ что-то во снѣ и повернулся на другой бокъ.

Поздно вечеромъ, когда уже спали и Дюдя, и старуха, и сосѣдній сторожъ, Софья вышла за ворота и сѣла на лавочку. Ей было душно и отъ слезъ разболѣлась голова. Улица была широкая и длинная; направо версты двѣ налѣво столько же, и конца ей не видно. Луна уже ушла отъ двора и стояла за церковью. Одна сторона улицы была залита луннымъ свѣтомъ, а другая чернѣла отъ тѣней; длинныя тѣни тополей и скворешенъ тянулись черезъ всю улицу, а тѣнь отъ церкви, черная и страшная, легла широко и захватила ворота Дюди и половину дома. Было безлюдно и тихо. Съ конца улицы изрѣдка доносилась едва слышная музыка; должно-быть, это Алешка игралъ на своей гармоникѣ.

Въ тѣни около церковной ограды кто-то ходилъ, и нельзя было разобрать, человѣкъ это или корова, или, быть-можетъ, никого не было и только большая птица шуршала въ дерезьяхъ. Но вотъ изъ тѣни вышла одна фигура, остановилась и сказала что-то мужскимъ голосомъ, потомъ скрылась въ переулкѣ около церкви. Немного погодя, саженяхъ въ двухъ отъ воротъ, показалась еще фигура; она шла отъ церкви прямо къ воротамъ и, увидѣвъ на лавочкѣ Софью, остановилась.

— Варвара, ты, что ли?—спросила Софья.

— А хоть бы и я.

Это была Варвара. Она минуту постояла, потомъ подошла къ лавочкѣ и сѣла.

— Ты гдѣ ходила?—спросила Софья.

Варвара ничего не отвѣтила.

— Не нагуляла ли ты себѣ, молодайка, какого горя,— сказала Софья. — Слыхала, какъ Машеньку и ногами, и вожжами? Тебѣ бы, гляди, того не было.

— А пускай.

Варвара засмѣялась въ платокъ и сказала шопотомъ:

— Съ поповичемъ сейчасъ гуляла.

— Болтаешь.

— Ей-Богу.

— Грѣхъ!—шепнула Софья.

— А пускай... Чего жалѣть? Грѣхъ, такъ грѣхъ, а лучше пускай громъ убьетъ, чѣмъ такая жизнь. Я молодая, здоровая, а мужъ у меня горбатый, постылый, крутой, хуже Дюди проклятаго. Въ дѣвкахъ жила, куска не доѣдала, босая ходила и ушла отъ тѣхъ злыдней, польстилась на Алешкино богатство и попала въ неволю, какъ рыба въ вершу, и легче мнѣ было бы съ гадюкой спать, чѣмъ съ этимъ Алешкой паршивымъ. А твоя жизнь? Не глядѣли бъ мои глаза. Твой Ѳедоръ прогналъ тебя съ завода къ отцу, а самъ себѣ другую завелъ; мальчишку у тебя отняли и въ неволю отдали. Работаешь ты, словно лошадь, и добраго слова не слышишь. Лучше весь свой вѣкъ въ дѣвкахъ маяться, лучше съ поповичей полтинники брать, милостыню собирать, лучше въ колодезь головой...

— Грѣхъ!—опять шепнула Софья.

— А пускай.

Гдѣ-то за церковью опять запѣли печальную пѣсню тѣ же самые три голоса: два тенора и басъ. И опять нельзя было разобрать словъ.

— Полунощники...—засмѣялась Варвара.

И она стала разсказывать шопотомъ, какъ она по ночамъ гуляетъ съ поповичемъ, и что онъ ей говоритъ, и какіе у него товарищи, и какъ она съ проѣзжими чиновниками и купцами гуляла. Отъ печальной пѣсни потянуло свободной жизнью, Софья стала смѣяться, ей было и грѣшно, и страшно, и сладко слушать, и завидовала она, и жалко ей было, что она сама не грѣшила, когда была молода и красива...

На погостѣ въ старой церкви ударили полночь.

— Пора спать,—сказала Софья, вставая,—а то какъ бы Дюдя не хватился.

Обѣ тихо пошли во дворъ.

— Я ушла и не слыхала, что онъ про Машеньку разсказывалъ,—сказала Варвара, постилая подъ окномъ.

— Померла, говоритъ, въ острогѣ. Мужа отравила.

Варвара легла рядомъ съ Софьей, подумала и сказала тихо:

— Я бы своего Алешку извела и не пожалѣла.

— Болтаешь, Богъ съ тобой.

Когда Софья засыпала, Варвара прижалась къ ней и шепнула на ухо:

— Давай Дюдю и Алешку изведемъ!

Софья вздрогнула и ничего не сказала, потомъ открыла глаза и долго, не мигая, глядѣла на небо.

— Люди узнаютъ,—сказала она.

— Не узнаютъ. Дюдя уже старый, ему помирать пора, а Алешка, скажутъ, отъ пьянства издохъ.

— Страшно... Богъ убьетъ.

— А пускай...

Обѣ не спали и молча думали.

— Холодно, — сказала Софья, начиная дрожать всѣмъ тѣломъ.—Должно, утро скоро... Ты спишь?

— Нѣтъ... Ты меня не слушай, голубка, — зашептала Варвара.—Злоблюсь на нихъ, проклятыхъ, и сама не знаю, что говорю. Спи, а то ужъ заря занимается... Спи...

Обѣ замолчали, успокоились и скоро уснули.

Раньше всѣхъ проснулась старуха. Она разбудила Софью, и обѣ пошли подъ навѣсъ доить коровъ. Пришелъ горбатенькій Алешка, совершенно пьяный, безъ гармоники; грудь и колѣни у него были въ пыли и соломѣ—должно-быть, падалъ дорогой. Покачиваясь, онъ пошелъ подъ навѣсъ и, не раздѣваясь, повалился въ сани и тотчасъ же захрапѣлъ. Когда отъ восходившаго солнца яркимъ пламенемъ загорѣлись кресты на церкви, потомъ окна, и черезъ дворъ по росистой травѣ потянулись тѣни отъ деревьевъ и колодезнаго журавля, Матвѣй Саввичъ вскочилъ и засуетился.

— Кузька, вставай!—закричалъ онъ. — Запрягать пора! Живо!

Началась утренняя суматоха. Молодая жидовка, въ коричневомъ платьѣ съ оборками, привела во дворъ лошадь на водопой. Заскрипѣлъ жалобно колодезный журавль, застучало ведро... Кузька сонный, вялый, покрытый росой, сидѣлъ на повозкѣ, лѣниво надѣвалъ сюртучокъ и слушалъ, какъ въ колодезѣ изъ ведра плескалась вода, и пожимался отъ холода.

— Тетка, — крикнулъ Матвѣй Саввичъ Софьѣ: — тюкни моему парню, чтобы запрягать шелъ!

И Дюдя въ это время кричалъ изъ окошка:

— Софья, возьми съ жидовки за водопой копейку! Попадились, пархатые.

На улицѣ взадъ и впередъ бѣгали овцы и блеяли; бабы кричали на пастуха, а онъ игралъ на свирѣли, хлопалъ бичомъ, или отвѣчалъ имъ тяжелымъ, сиплымъ басомъ. Во дворъ забѣжали три овцы и, не находя воротъ, тыкались у забора. Отъ шума проснулась Варвара, забрала въ охапку постель и пошла къ дому.

— Ты бы хоть овецъ выгнала!—крикнула ей старуха.— Барыня!

— Вотъ еще! Стану я на васъ, иродовъ, работать,— проворчала Варвара, уходя въ домъ.

Подмазали повозку и запрягли лошадей. Изъ дома вышелъ Дюдя со счетами въ рукахъ, сѣлъ на крылечкѣ и сталъ считать, сколько приходится съ проѣзжаго за ночлегъ, за овесъ и водопой.

— Дорого, дѣдушка, за овесъ кладешь,—сказалъ Матвѣй Саввичъ.

— Коли дорого, не бери. Мы, купецъ, не неволимъ.

Когда проѣзжіе пошли къ повозкѣ, чтобы садиться и ѣхать, ихъ на минутку задержало одно обстоятельство. У Кузьки пропала шапка.

— Куда же ты, свиненокъ, ее дѣвалъ?—крикнулъ сердито Матвѣй Саввичъ.—Гдѣ она?

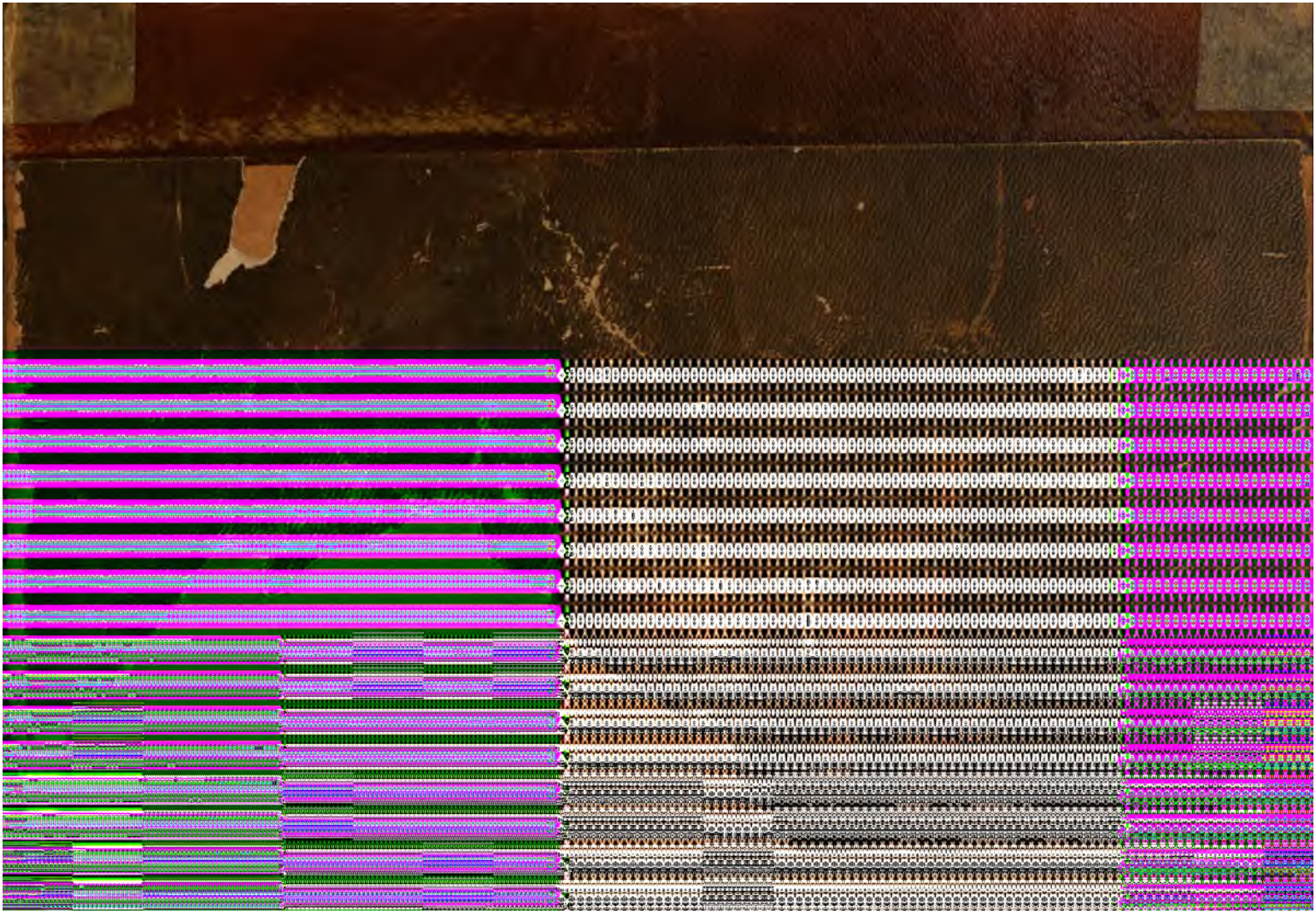
У Кузьки отъ ужаса перекосило лицо, онъ заметался около повозки и, не найдя тутъ, побѣжалъ къ воротамъ, потомъ подъ навѣсъ. Ему помогали искать старуха и Софья.

— Я тебѣ уши оборву! — крикнулъ Матвѣй Саввичъ.— Поганецъ этакій!

Шапка нашлась на днѣ повозки. Кузька рукавомъ стряхнулъ съ нея сѣно, надѣлъ и робко, все еще съ выраженіемъ ужаса на лицѣ, точно боясь, чтобы его не ударили сзади, полѣзъ въ повозку. Матвѣй Саввичъ перекрестился, парень дернулъ за вожжи, и повозка, тронувшись съ мѣста, покатила со двора.

# Оглавленіе

## VIII ТОМА.


| | стр. |
|---|---|
| Учитель | 3 |
| Тяжелые люди | 11 |
| Дуэль | 19 |
| Палата № 6 | 124 |
| Гусевъ | 179 |
| Бабы | 193 |